



ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМИОТИКЕ



*Сборник статей к юбилею
Вяч. Вс. Иванова*

S T U D I A P H I L O L O G I C A



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМИОТИКЕ



*Сборник статей к юбилею
Вяч. Вс. Иванова*

Ответственный редактор
Т. М. Николаева



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР
МОСКВА 2010

УДК 811
ББК 81.2
И 85

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)
проект № 10-05-07009



Редколлегия:

Т. М. Николаева (ответственный редактор),
П. М. Аркадьев (ответственный секретарь),
А. А. Зализняк, Н. Н. Казанский

И 85 Исследования по лингвистике и семиотике: Сб. ст. к юбилею
Вяч. Вс. Иванова. М.: Языки славянских культур, 2010. — 616 с.,
ил. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 978-5-9551-0438-6

Сборник статей посвящен юбилею академика Вячеслава Всеволодовича Иванова, ученого с мировым именем и широчайшим спектром интересов. Авторы — коллеги и ученики юбиляра из России, США, Франции и других стран — обсуждают в своих работах разнообразные вопросы, так или иначе затронутые в трудах Вяч. Вс. Иванова. Это — теория и история лингвистики и семиотики, сравнительно-историческое и типологическое языкознание, грамматика и лексика русского и других языков, мифология и фольклор, поэтика и история культуры. В сборник также включен перевод на английский язык фрагмента воспоминаний Вяч. Вс. Иванова о Романе Якобсоне, выполненный М. Х. Хаймом.

ББК 81.2

*В оформлении переплета использована
фотоаграмма светлАны ивАновой*

ISBN 978-5-9551-0438-6

© Авторы, 2010
© Языки славянских культур, оригинал-макет, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Вопросы теории

<i>T. V. Gamkrelidze.</i> «Paradigms» in linguistics and the problem of the isomorphism between the Genetic Code & Semiotic Systems	11
<i>A. E. Кибрик.</i> Место сравнительного языкознания в кругу лингвистических дисциплин	16
<i>B. K. Финн.</i> Принципы искусственного интеллекта и феноменология сознания	27
<i>G. Buccellati.</i> The question of digital thought	46
<i>B. Г. Лысенко.</i> «Лингвистический детерминизм» Эмиля Бенвениста и случай вайшешики	56
<i>R. K. Englund.</i> The Smell of the Cage	68

Сравнительно-историческое языкознание

<i>A. Ю. Милитарев.</i> О возможности пролить свет на интеллектуальную культуру доисторического человека (на примере праафразийских терминов, связанных с музыкой, пением и танцем)	97
<i>M. Valério, I. Yakubovich.</i> Semitic word for 'iron' as an Anatolian loanword	108
<i>V. Blažek.</i> Hurrian numerals	117
<i>N. Operstein.</i> Two developments of Proto-Zapotec * <i>ty</i> and * <i>tty</i>	124
<i>I. Klock-Fontanille.</i> Le loup en hittite et louvite: exclusion et rassemblement.	135
<i>H. C. Melchert.</i> Hittite <i>talliyē(šš)</i> - 'be(come) calm, quiescent'	148
<i>J. Puhvel.</i> Notes on Anatolian sibling terms	153
<i>V. Shevoroshkin.</i> Four notes on Milyan	156
<i>R. Anttila.</i> Unmasking <i>Gustav</i> — once again	168
<i>L. I. Kulikov.</i> Atharvaveda-Śaunakīya 19.49.1 = Atharvaveda-Paipalāda 14.8.1: An etymological note on Vedic <i>rātrī</i> - 'night'	174
<i>J. P. Mallory.</i> Semantic field and cognate distribution in Indo-European	180
<i>B. Vine, O. T. Yokoyama.</i> PIE *(<i>h</i> ₃) <i>eu</i> h ₁ - <i>dh</i> - 'excrete liquid' and Russian Dialectal <i>udut</i> (3 pl.)	191
<i>Ж. Ж. Варбот.</i> Рус. разгов. <i>сечь</i> 'понимать' — неологизм или архаизм?	197
<i>T. М. Николаева.</i> Русский и хеттский — через тысячелетия	200

Грамматика, лексика, типология

<i>Ю. Д. Апресян.</i> Принципы лексикографического описания многозначных слов	217
<i>Е. В. Падучева.</i> Метонимия как сдвиг фокуса внимания	234
<i>В. С. Храковский.</i> О зависимом/независимом статусе ситуаций	251
<i>А. А. Зализняк.</i> Ударение просодических комплексов в истории русского языка	260
<i>Л. Л. Касаткин.</i> Неопределенные местоимения и наречия с постфиксом/ суффиксом <i>-ся/-сь</i> в говорах русских старообрядцев	272
<i>М. С. Флайер.</i> Суржик или суржики?	281
<i>Р. Ф. Касаткина.</i> Ларингализация в русской фонетике — сегментный уровень	296
<i>R. M. W. Dixon.</i> Gradual loss of a gender contrast	302
<i>A. Y. Aikhenvald.</i> Typological plausibility and historical reconstruction: A puzzle from New Guinea	309
<i>W. R. Schmalstieg.</i> Some common functions of the dative, accusative, and locative cases	318
<i>П. М. Аркадьев.</i> И невозможное возможно: Типологические заметки о взаимодействии падежа с другими морфологическими категориями	325
<i>Б. Огибенин.</i> О выражении грамем в склонении имен в буддийском санскрите	337
<i>С. А. Бурлак, И. Б. Иткин.</i> <i>Yreki</i> et autres addenda et corrigenda-2	342

Культурология и семиотика

<i>J. Kordys.</i> Of gifts, sovereigns, and philosophers	361
<i>А. И. Коваль.</i> Ремесленники Слова у фульбе (Субсахарская Африка)	368
<i>С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик.</i> Невидимый и нежеланный гость	393
<i>М. В. Завьялова.</i> Мифологема гороха и боба в контексте основного мифа (на балто-славянском материале)	409
<i>Е. В. Пчелов.</i> «Лев и Единорог» в русской культуре: К вопросу о семантике символов	426
<i>М. Мейлах.</i> «Не оглядывайся!»: Где, когда и позади кого оглянулась Лотова жена?	436
<i>Т. В. Цивьян.</i> Богини изваянье	460

<i>И. А. Протопопова.</i> Метафора «воскового отпечатка» в греческой философии	477
<i>Л. Флейшман.</i> Отклики в русском Париже на «Зимнюю войну»	483

Структура текста

<i>М. Ланглебен.</i> Рассказ И. Бунина «Сны» и <i>Откровение Св. Иоанна</i>	503
<i>Г. А. Левинтон.</i> Заметки об Ив́ановых	517
<i>N. Pollak.</i> Akhmatova's two imitations of I. F. Annenskii	532
<i>R. Vroon.</i> Nets, stars and numbers: Some notes on Velimir Khlebnikov's cosmology	538
<i>А. Хан.</i> О значении образа «глухой вселенной» в контексте цикла «Заняты́е философией» Бориса Пастернака	543
<i>Д. М. Сегал.</i> Доктор Живаго — еврейский роман?	553
<i>Ф. Б. Успенский.</i> Об отдельных случаях неявной иконичности в русской литературе	562
<i>Н. В. Злыднева.</i> Экфрасис в «Путешествии в Армению» Мандельштама: проблема референции	572
<i>Е. А. Папкова.</i> Русский народный утопический идеал в творчестве Всеволода Иванова	580
<i>I. Merkoulova.</i> Les mécanismes du dialogue: Polyphonie, ponctuation, énonciation	590

* * *

<i>Jakobson in My Life: An Excerpt from <i>The Blue Beast</i></i> (translated from Russian by Michael Henry Heim)	605
--	-----

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

T. V. Gamkrelidze

**«PARADIGMS» IN LINGUISTICS AND THE PROBLEM
OF THE ISOMORPHISM BETWEEN
THE GENETIC CODE & SEMIOTIC SYSTEMS**

It is a special privilege to participate in this Anniversary Volume dedicated to the 80th birthday of my friend and colleague Vyacheslav V. Ivanov — an eminent scholar of our time — Linguist and Semiotician, Philologist and Culture Historian.

During many years of our joint work on the monograph on the Reconstruction of the Indo-European Proto-Language and the Proto-Indo-European Culture, we often discussed the problem of validity of the notion of «Paradigm» in science (in *Thomas Kuhn's* sense of the term) and its application to Humanities and Social Sciences.

Notwithstanding some objections to this effect on the part of serious scholars, we inclined to view the notion of '«Paradigm»' as effective in application to Humanities, especially to Linguistics, enabling us to propose a reasonable historical classification of diverse directions in the Science of Language.

As a matter of fact, we may envisage the history of European (and American) Linguistics as an interchange of certain «Paradigms» existing parallelly, or replacing one another, in space and time that may be presented globally as follows:

Paradigm I:

Port-Royal Grammar (Grammaire générale et raisonnée) [Antoine Arnaud & Claude Lancelot].

Paradigm II:

Comparative Historical Linguistics (Franz Bopp; Karl Brugmann & Neogrammarians; Antoine Meillet et al.).

Paradigm III:

Japhetic Linguistics (Nicholas Marr).

Paradigm IV:

Linguistique synchronique (Ferdinand de Saussure):

Phonology & Structural Linguistics (Nicolaus Trubetzkoy, Roman Jakobson);

Descriptive Linguistics (Leonard Bloomfield et al.);

Structural Typology & Universals of Language (Joseph Greenberg, Irine Milikishvili, Georgi Klimov).

Paradigm V:

Transformational Generative Grammar (Noam Chomsky).

Paradigm VI:

Nostratic Theory & Language Macrofamilies (Holger Pedersen; Vladislav Illich-Svitych, Sergey Starostin, Aaron Dolgopolsky; Allan Bomhard, Joseph Greenberg, Merrit Ruhlen).

Paradigm VII:

Typological Comparative Historical Linguistics (Roman Jakobson, Oswald Szemerényi, Winfred Lehmann, Paul Hopper, Vyacheslav Ivanov/Tomas Gamkrelidze...).

A particularly insightful «*Paradigm*» revealing the isomorphism existing between the genetic code and different semiotic systems was advanced in the second half of the 20th century; it may be called a «*Biosemiotic Paradigm*».

As is known, a great discovery was made in the 50's of the past century in molecular biology shedding light on the hereditary mechanism. Heredity was found to correspond to information recorded along the chromosomes by means of a definite type of chemical alphabet. *Four* nucleotides or «chemical radicals» serve as the initial elements of this alphabet — its «letters»; combining with each other in infinite linear sequences of nucleic acids, these elements create, as it were, a chemical text of genetic information. Similarly to a phrase constituting a segment of a definite linguistic text formed with the aid of a linear sequence of a small number of initial discrete units — letters or phonemes — an individual gene corresponds to a definite segment in a long chain of nucleic acids presenting the *four* initial chemical radicals. And similarly to the linguistic code, in which the initial units — phonemes — are per se devoid of meaning but serve for the building through definite combinations of minimal sequences expressing a definite content within the given system, precisely in the same way, in the genetic code it is not a separate element of the system, not an individual chemical radical that is informative, but special combinations of these initial *four nucleotides of three elements* each, forming so-called «triplets». Since in all $4^3 = 64$ combinations of *three* can be formed by these *four initial elements*, the genetic vocabulary comprises 64 «words», of which three triplets represent «punctuation marks», denoting in a long sequence of nucleic acids the beginning and end of a «phrase», while the rest correlate with one of the 20 amino-acids, and among such «triplets» further «synonymous words» are identifiable, i. e. several sequences that correlate with one and the same amino-acid.

The establishment of such correlations between «triplets» of the *four initial elements* and 20 amino-acids, and the conversion of a long chain of «triplets» into a protein sequence of amino-acids — into a peptide chain — is precisely the deciphering or decoding of the hereditary information contained in the genetic code, similarly to the decipherment of a Morse code message when translating it into some other language.

Obviously enough, all living beings on earth possess «knowledge» of the genetic code in the sense of being capable of correctly deciphering the genetic «words» forming the

content of the genetic information, and accordingly of synthesizing protein sequences. In this sense, the genetic code is universal, every living thing on earth possessing a key to it [Jacob 1977].

Thus, the infinite variety of living beings is reducible in the final analysis to long genetic «messages» formed according to the rules of linear combination of the elements of the genetic code, exhibiting striking features of structural similarity with the linguistic code. It is not fortuitous that from the very moment of the decipherment of the genetic code molecular genetics began to extensively borrow linguistic concepts and terminology in its further research into the mechanism of heredity¹.

However, the linguistic code underlying natural languages has a much greater number (than four) of initial units-phonemes — whose combinations constitute the minimal meaningful elements of a sound language, this being one of structural features distinguishing it from the genetic code. This creates a redundancy in a language system, permitting the correction or the reconstruction of the established sequences of initial units and correction of distortions in messages that result from «noise» under the impact of external factors. The genetic code lacks such a property; hence any permutation or elimination of individual elements in the linear sequence of nucleotides inevitably leads to a distortion of the originally recorded genetic information.

The structural isomorphism evidenced by the two different information-carrying systems — genetic and linguistic — built on the principle of a linear combination of initial discrete units, raises a phenomenological question as to the nature of these systems and to the causes of such structural isomorphism. Various points of view are being advanced.

Most characteristic in this respect was the controversy between the two famous scientists representing different fields of knowledge: The linguist *Roman Jakobson* and the biologist-geneticist *François Jacob*: Is the observed structural isomorphism between the two codes — genetic and verbal — purely external, resulting from a mere convergence induced by similar information needs, or does this isomorphism stem from the phylogenetic principle of construing the linguistic code according to the structural patterns of the genetic code; is it perhaps due to the fact that the foundations of the linguistic patterns superimposed upon molecular communication have been modelled directly upon its structural principles? The latter assumption was upheld by *Roman Jakobson*, whereas *François Jacob* assumes rather an analogous structuration of different information-carrying systems with analogous functions.

¹ For its part, linguistics also has cases of borrowing some concepts and terms from molecular genetics. Thus, e. g., it is suggested that, in the theory of markedness, the members of the hierarchical relation of «markedness» — called earlier «unmarked» ~ «marked» (ultimately traceable to the terminology of the Prague Linguistic School according to which the members of this binary relation were characterised as *merkmallos* ~ *merkmalhaltig*) — may now be called — in conformity with their content — as «dominant» vs. «recessive», and the «relation of markedness» be reformulated as «relation of dominance» cf. [Gamkrelidze 1979].

The Jakobsonian conception of structural isomorphism between the genetic and linguistic codes presupposes an evolutionary process of superposition of the linguistic code immediately on the genetic and copying of its structural principles, this having been effected under conditions of an unconscious possession by the living organism of knowledge on the character and structure of the latter. This fully refers to the sphere of the «unconscious» — the unconscious possession by the organism of information on the structure of its essential mechanisms. And all this was manifested not only in the phylogenetic process of shaping the language mechanism according to the model of the genetic code, but also in the various creative acts of outstanding individuals who build special information-carrying (semiotic) systems according to the model and principles of the genetic code, apparently without explicit familiarity with the structure of the latter².

In this connection it is appropriate to recall the «Theory of the glottogonic process» advanced by the outstanding linguist and philologist of his time *Nicholas Marr*, who possessed a peculiar scholarly intuition, at times leading him to logically unfounded, but quite unexpected solutions of certain phenomena in a right direction.

Thus, for example, *Nicholas Marr* reduced the historically existing diversity of languages to precisely *four* (sic!) initial elements consisting, strange as it may seem, of peculiar sound «triplets» — meaningless sequences of three sounds: *sal, ber, yon, rosh*. According to *Nicholas Marr*, any text of arbitrary length in any language of the world is, in the final analysis, the result of a phonetic transformation of only these initial *four elements* — per se signifying nothing — combined into definite linear sequences. This, in *Marr's* view, made for the unity of the glottogonic process.

Nicholas Marr's glottogonic theory has no rational basis whatsoever; it contradicts also the logic of modern theoretical linguistics and general linguistic methodology, and in this sense it is irrational and irrelevant to Linguistics proper. However, this theory — representing a peculiar structural model of language, very close to the genetic code — is not irrelevant to Science and Psychology, in general, and may serve to illustrate the occurrence in an outstanding personality of intuitive ideas on the structure of the genetic code, evidently copied by him subconsciously in developing an original model of language as an information-carrying system.

Of course, *Nicholas Marr* could not have had explicit and conscious knowledge of such a structure of the genetic information system, as neither could those ancient Chinese philosophers who, about three thousand years earlier, compiled the book *I Ching* (Chinese «*Book of Changes*»), in which they developed a special system of «transformations» of *four* binary elements formed of the «masculine principle» *yang* and the «feminine principle» *yin*, and grouped into «triplets», yielding a total of 64 triple sequences, analogous to the genetic «triplets». It is with the help of such «triplets» that the diversi-

² The very scientific penetration into the structure of the genetic code essentially amounts to the human beings becoming explicitly aware of the structure of their own genetic mechanism, to the transfer from the «unconscious» to the sphere of conscious of the knowledge on the ultimate structure of all living beings on earth, implicitly built into each living organism.

ty of the living world is described in this ancient Chinese symbolic system. In this context, especially significant seem to be also the systems with *four* elements of the world in the cosmogony of the *Ionians*, with *four* humours of the human body in *Hippocrates*, and others, supporting the idea that a strict relation is imposed by a sort of unconscious filiation between the discussed systems and the genetic code.

All these symbolic semiotic systems (in particular the ancient Chinese «*Book of Changes*» of the binary elements *yin* and *yang*, and *Nicholas Marr's* model of language) strikingly correspond — down to quantitative parameters — to the structure of the genetic code that evidently served in the creators of these systems as an unconscious modelling substratum.

I assume that *Nicholas Marr's* so-called «*Japhetic Theory*» is a special «*Paradigm*» that came into being on ideological grounds as a counterpart to «*Comparative Historical Paradigm*».

REFERENCES

- Gamkrelidze 1979 — *Gamkrelidze T. V.* Hierarchical relations among phonemic units as phonological universals // *Proceedings 9th Internal. Congress of Phonetic Sciences (Copenhagen) II.* 1979. P. 9—15.
- Jacob 1977 — *Jacob F.* The linguistic model in biology // *Armstrong D., Schooneveld C. H. van* (eds.). *Roman Jakobson, Echoes of his Scholarship.* Lisse, de Ridder. 1977. P. 186—192.

А. Е. Кибрик

МЕСТО СРАВНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В КРУГУ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

«Все познается в сравнении.»

Из вечных истин

0. Введение

Известно, что современная лингвистика является весьма разветвленной областью научного знания с его глубокой, почти катастрофической специализацией. Вместе с тем терминологическое и содержательное структурирование лингвистического знания продолжает происходить стихийно и осознаться обычно задним числом. Сперва возникает некоторая новая безымянная область лингвистического знания, и ей присваивается некоторое имя. Позже зачастую оказывается, что выбранное наименование является осмысленным для более широкого круга проблем, чем тот, с которым это наименование первоначально связывалось. Возникает конфликт между узусом термина и его внутренней формой, как бы предсказавшей развитие лингвистического знания, и вслед за постепенным переосмыслением структуры науки изменяется и объем отражающих эту структуру терминов.

Таким историческим казусом является термин «прикладная лингвистика». В западной традиции термин *applied linguistics* с начала прошлого века ассоциировался с методикой преподавания иностранного языка и сохранил свой объем до настоящего времени. В нашей стране этот термин вошел в обиход в середине XX в. как обозначение того бурно формировавшегося направления, которое было связано с новыми информационными технологиями на основе компьютерной техники. Однако за последние полвека термин «прикладная лингвистика» был переосмыслен в соответствии с его внутренней формой, включив в себя не только компьютерную лингвистику и методику преподавания иностранных языков, но и все необозримое разнообразие проблем, связанных с востребованными жизнью приложениями теоретического лингвистического знания, см. [Кибрик 1975/1992: 261—262; Баранов 2000]. Таким образом, прикладная лингвистика в отечественной традиции стала пониматься не как один из многих частных разделов лингвистики, а как дополнение к теоретической лингвистике в целом (ср. соответствующую специальность «теоретическая и прикладная лингвистика» в высшей школе). При этом, поскольку заранее невозможно предсказать, какие области «чистой» лингвистической теории окажутся полезны-

ми для решения прикладных задач, разделение всего пространства лингвистического знания на теоретическую и прикладную лингвистику является не статическим, а динамическим. То, что сегодня рассматривается как чистая теория, завтра оказывается необходимым инструментом для решения прикладных задач.

Не является исключением и термин «сравнительное языкознание», вынесенный в название данной статьи. О нем далее и пойдет речь.

1. Сравнительно-историческое языкознание

Компонент «сравнительный» впервые появился в лингвистике в связи с возникновением **сравнительно-исторического метода**, в англоязычной традиции известного как *comparative method*. Этот существующий уже два столетия метод характеризует весьма конкретное лингвистическое направление. В этом направлении органически сочетаются исторический и сравнительный аспекты, из которых первый связан с объектом изучения данной науки (языки в диахронической перспективе), а второй — со способом изучения этого объекта. Существенно, что сравнительно-историческое языкознание неотделимо от сравнительного метода, поскольку объектом изучения является множество языков, объединяемых родством. Наряду с этим в сравнительно-историческом языкознании используются и другие, вспомогательные методы (например, статистические).

Однако сводится ли метод сравнения языков к проблематике сравнительно-исторического языкознания? никоим образом, и развитие лингвистики в XX в. убедительно это подтвердило. К настоящему времени сформировалось несколько других лингвистических наук, для которых сравнительный метод является основополагающим.

2. Типология

Наиболее развитой и престижной областью лингвистики, немислимой без межъязыкового сравнения, является **типология**. В отличие от сравнительно-исторического языкознания, типология до недавнего времени специально не занималась проблемами языкового родства и предшествующих языковых состояний конкретных языков. Объектом типологии является наблюдаемое структурное разнообразие естественных языков, не ограниченное и не объясняемое их родством, и ее главная цель — исследование языкового варьирования и естественных ограничений на языковое варьирование, предсказывающих, какие свойства могут и какие не могут быть присущи человеческим языкам, не только ныне существующим или когда-либо существовавшим, но и тем, которые могут когда бы то ни было и где бы то ни было существовать.

Обобщения относительно пределов языкового варьирования необходимым образом базируются на сравнении конкретных языков. Естественно, чем больше языков включено в процедуру сравнения, тем надежнее будет конечный результат. Результат мог бы быть исчерпывающим, если бы можно было исследовать все язы-

ки. Однако это невозможно не только ввиду огромного количества существующих ныне языков (по разным оценкам их имеется 5—7 тысяч), но и потому, что количество потенциальных человеческих языков не является конечным. Поэтому типологические обобщения всегда будут индуктивными, основываясь на ограниченной эмпирической базе. Тем не менее, выбор оптимальной эмпирической языковой базы (= выборки языков) для успешности сравнения является весьма существенным. В типологии сложилось несколько основных стратегий формирования языковой выборки.

Наиболее признанным в настоящее время является метод взвешенной представительной выборки, претендующей на статистическую достоверность. Этот метод стремится уменьшить воздействие генетических и ареальных факторов на результат исследования. Поэтому языки отбираются так, чтобы в выборке были равномерно представлены языки разных семей и разных географических ареалов. К такой выборке стремятся в своих исследованиях Дж. Николс и М. Драйер. Чаще, однако, требование взвешенности не соблюдается. Естественно, что в обоих случаях эмпирической базой при этом методе являются языковые описания, выполненные различными исследователями, то есть это *метод вторичных языковых данных*. Современные исследования, основанные на таком методе, имеют выборку от полусотни до нескольких сотен языков, см. [Архипов 2009 (используются данные около 80 языков); Филимонова 1999 (выборка из 154 языков); Майсак 2005 (выборка включает порядка 400 языков); Stassen 2009 (в выборке 418 языков)]. Рекордное количество языков имеется в [Dryer 2008], где выборка составляет 1228 языков.

У такого метода имеются существенные внешние ограничения. Большие выборки предполагают наличие однотипных языковых описаний, содержащих нужную языковую информацию. Поэтому таким способом можно исследовать только достаточно элементарные языковые параметры, которые эксплицитно отражены во многих грамматических описаниях или могут быть из них извлечены. Однако далеко не всегда возможно получить нужную информацию в готовом виде. Поэтому достаточно распространено типологическое сравнение языков методом целенаправленного сбора эмпирических данных в непосредственной работе с носителями языка, то есть *методом первичных языковых данных*. В этом случае выборка включает такое количество языков, данные по которым могут быть полноценно собраны и обработаны одним исследователем. Обычно в таких исследованиях подвергается сравнению не более пяти-десяти языков, см. [Андрей Кибрик 1988] (пять языков). К отбору языков при такой методике также предъявляются особые требования: эти языки должны демонстрировать максимальное разнообразие реализации исследуемого языкового параметра. Это должны быть языки, генетически и пространственно максимально удаленные друг от друга, и притом такие, чтобы всю необходимую исследователю информацию можно было получить непосредственно от носителей языка, используя активный метод интервьюирования по единой стандартной программе. Преимущество данного метода состоит в том, что вся

исходная информация собирается исследователем единообразно, и он лично контролирует ее качество, адекватность и релевантность, в отличие от метода вторичных языковых данных, использующих языковой материал из вторых рук, что неизбежно создает повышенные интерпретационные шумы, когда фактически разные явления трактуются как идентичные, а идентичные как различные. Кроме того, метод первичных языковых данных позволяет достичь максимального уровня полноты материала и глубины интерпретации.

Иногда эти два метода совмещаются: для некоторых опорных языков используется метод первичных языковых данных, а остальные добиваются по методу вторичных языковых данных, что позволяет расширить круг вовлекаемых в сравнение языков. На таком принципе строится исследование [Andrej Kibrik (in press)], в котором рассматривается 200 языков, из них 10 изучены лично автором. См. также [Калинина 2001; Лютикова 2002; Татевосов 2002].

Существует также и другая компромиссная стратегия — *метод группового типологического исследования*, объединяющего специалистов по всем языкам, включенным в выборку. Этим обеспечивается эмпирическая качественность данных и возможность получить такие данные, которые в грамматических описаниях отсутствуют. Первоначально разрабатывается априорная классификация возможных значений изучаемого параметра и создается проект единой достаточно подробной программы и единая анкета, теоретически предусматривающая пространство типологических возможностей варьирования изучаемого параметра. Далее сбор языкового материала осуществляется не по имеющимся описаниям, а специалистами по включенным в выборку языкам. Как и при всяком групповом исследовании, большое значение имеет координация действий членов коллектива. Такая стратегия типологического исследования была разработана и многократно успешно применена ленинградской типологической школой (см. [Холодович (ред.) 1974; Недялков (ред.) 1983; Храковский (ред.) 1998]; Nedjalkov (ed.) 2007).

Все описанные выше стратегии ориентированы на преодоление генетических и ареальных факторов с целью установления опорных точек в пространстве языкового варьирования. Но часто остается неясным, как эти точки связаны между собой и какова непрерывная структура этого пространства. Случайно выбранные языки из разных языковых семей и географических ареалов не дают возможности это уяснить. Поэтому наряду с *экстрагенетической* типологией имеет право на существование и *интрагенетическая* типология. Известно, что генетически и пространственно близкие языки также бесконечно варьируют по многим языковым параметрам, и исследование небольших различий между языками наиболее продуктивно в пределах одной языковой семьи. В этом случае, когда огрубленные контуры пространства типологических возможностей выявлены, типология родственных языков помогает заполнить белые пятна в этом пространстве, см. [Казенин 1997; Кибрик 2003: Часть 6].

Типологические исследования последних десятилетий способствуют укоренению типологического менталитета и в описательной лингвистике, с позиций которо-

го каждый язык должен рассматриваться не сам по себе, а в контексте современных знаний о пределах языкового варьирования. Это позволяет различить в языке типологически «тривиальные» и «уникальные» характеристики, уделяя последним особое внимание. Появляются типологически ориентированные грамматические описания, в которых также имплицитно присутствует компонент языкового сравнения: описываемый язык рассматривается в сравнении с имеющейся типологической информацией о языковом разнообразии, и каждое явление описываемого языка помещается в некоторую релевантную зону пространства типологических возможностей (см. [Коваль, Нялибули 1997; Кибрик (ред.) 1999]).

3. *Контрастивная лингвистика*

Наряду с типологией межъязыковое сравнение лежит в основе **контрастивной лингвистики**, не претендующей на глобальные обобщения о природе естественного языка, но исследующей сходства и различия (обычно пары) конкретных сопоставляемых языков. Такое сопоставление в миниатюре воспроизводит эмпирическую стадию типологических наблюдений, хотя выбор языков для контрастивного изучения, как правило, предопределяется не типологическими достоинствами этих языков, а внешними факторами. Во многих случаях это те языки, которыми владеет исследователь. Результаты контрастивного изучения языков имеют практическую ценность, прежде всего, для совершенствования методик обучения иностранному языку, когда один из языков является родным для обучающегося: в фокусе внимания при обучении языку должны находиться отличия языка обучения от родного языка обучающегося, в то время как идентичные свойства усваиваются им по образцу родного языка.

В области контрастивной лингвистики накоплено большое количество локальных обобщений для пар языков, которые, к сожалению, обычно не попадают в поле внимания типологов, хотя, справедливости ради, следует отметить, что имеются образцы контрастивных исследований, достигающих уровня типологических обобщений, например, [Гак 1977]. Вообще же практика контрастивных исследований показывает, что сравнение даже пары случайно подобранных языков дает мощный импульс для более глубокого понимания устройства каждого из них. Наложение свойств одного языка на сопоставимые свойства другого обнаруживает в них зоны тождеств и различий.

Если языки являются родственными, *тождества* могут быть следствием сохранения в них генетической общности, и в таком случае они фактически реализуют свойства одного и того же языка (общего предка). Тождество может также быть следствием пространственной смежности языков и связанных с этим межъязыковых контактов. Если же языки генетически и пространственно не связаны между собой, тождественные свойства являются важным аргументом в пользу реальности обнаруженной точки в пространстве типологических возможностей языкового варьирования и, более того, они свидетельствуют о существовании некоторых глубинных при-

чин, обуславливающих независимую многократную реализацию одной из многих (часто априорно бесчисленных) возможностей языкового варьирования¹.

Не менее многозначительны различия между языками, поиск которых составляет главную цель контрастивного исследования. Различия между неродственными языками являются основным эмпирическим материалом для выявления основных параметров языкового варьирования и уточнения значений, которые могут принимать эти параметры. При родстве языков различия между ними позволяют уточнить близкие точки пространства возможностей языкового варьирования по исследуемому параметру. Кроме того, зафиксированные различия между языками индивидуализируют каждый из сравниваемых языков, облегчая доступ к пониманию его существенных свойств.

4. Ареальная лингвистика

Имеется еще одна область лингвистического знания, для которой метод сравнения является основополагающим. Это **ареальная лингвистика**. Ареальная лингвистика выросла из лингвистической географии, изучающей распределение языков в пространстве. У лингвистической географии есть свои задачи и цели, прежде всего — установление территориальных зон распространения человеческих языков. Современная карта языков мира есть фиксация результата исторических процессов расселения народов, говорящих на этих языках. Она нуждается в исторической интерпретации. Одни народы в течение весьма длительного времени проживали на одной и той же территории, составляя ее коренное население, другие народы вместе со своими языками мигрировали, оставляя старые и заселяя новые территории. Для конкретных языков эти процессы зачастую имели драматические последствия. Многое в истории переселения народов и языков уходит в доисторическую эпоху (так, столетиями не утихали споры о прародине индоевропейских языков, конструктивное разрешение которых представлено в [Гамкрелидзе, Иванов 1988: 859—894]). Одни языки безвозвратно погибали, другие вступали во взаимодействие с контактными языками, что видоизменяло процесс их естественной внутренней эволюции. Не углубляясь в эту проблематику, можно только сказать, что она имеет огромное значение для методологии сравнительно-исторического языкознания², а также для теории языка [Топоров 1990]. Дело в том, что географическое распределение язы-

¹ В зоне тождеств могут также находиться элементы универсальной природы языка, хотя не следует слишком надеяться на такой короткий путь к ее постижению. При расширении языковой области сравнения обычно оказывается, что то, что казалось универсальным, исчезает как мираж воды на асфальте. Это не значит, что универсальная природа языка является миражом, это значит лишь, что она не лежит на поверхности. В частности, поиск естественных ограничений на языковое варьирование есть поиск универсального в языке, а такая универсальность не может быть обнаружена иначе как в обнаружении закономерностей пространства варьирования.

² Более ста лет назад на этом настаивал И. А. Бодуэн де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963: 31], практически обозначив задачи ареальной лингвистики.

ков, длительное время сосуществующих на одной территории, не проходит для них бесследно, и ареальный аспект сравнения языков заслуживает самого пристального внимания. Это и составляет предмет ареальной лингвистики.

Для ареальной лингвистики сравнительный аспект также является фундаментальным. Языковая область сравнения задается исследуемым географическим ареалом. В эту область могут входить как заведомо родственные, так и неродственные языки. Целью исследования является обычно обнаружение ареальных общностей, не выводимых из общности исторического развития. Географический ареал может быть как локальным (например, Балканы, Балтика, Кавказ), так и глобальным, охватывающим целые континенты или их значительную часть (например, Юго-Восточная Азия, Африка, Европа). Взаимовлияние языков в относительно малом ареале частично имеет историческую и социолингвистическую мотивацию (длительные языковые контакты), но особенно впечатляющими являются ареальные общности (обычно статистические), охватывающие большие пространства, см. [Nichols 1992].

Ареальная лингвистика пока еще стеснена недостатком однотипной грамматической информации по многим языковым параметрам, однако в настоящее время предпринимаются масштабные исследования, например, программа WALS, см. [Haspelmath et al. (eds.) 2005].

5. Диалектология

Выше уже отмечалось некоторое сходство типологии с контрастивной лингвистикой, можно также указать на некоторое сходство ареальной лингвистики с синхронной **диалектологией**. Синхронная диалектология в своем географическом аспекте является ареальной лингвистикой в пределах одного языка, имеющей дело со сверхблизкородственными идиомами. Сравнение таких идиомов обычно в еще большей степени коррелирует с их географической смежностью. Однако если в фокусе внимания ареальной лингвистики находятся тождества, то в диалектологии наибольший интерес представляют различия. Естественно, что варьирование между диалектами и говорами в первую очередь мотивировано дивергентными процессами при параллельной эволюции. Поэтому не удивительно, что в диалектологии существенное значение имеет диахронический аспект, сближающий диалектологию со сравнительно-историческим языкознанием. Диахроническая диалектология является сравнительно-историческим языкознанием сверхблизкого родства.

6. Эволюционная типология

Типологию и контрастивную лингвистику часто противопоставляют сравнительно-историческому языкознанию как лингвистику синхроническую лингвистике диахронической. Думается, что такое противопоставление является поверхностным, отражающим лишь начальный этап развития этих наук. В области типологии этот этап уже заканчивается, и налицо формирование **эволюционной**

типологии³ (см. [Гухман 1981]), целью которой является установление ограничений на переходы от одного типологического состояния к другому. Презумпция эволюционной типологии состоит в том, что исторические процессы не аналогичны броуновскому движению (когда значение некоторого параметра может замениться на любое другое из заданного пространства возможностей), а одни переходы типологически весьма вероятны, другие маловероятны или невозможны. У изменений имеется некоторый вектор в пространстве типологических возможностей варьирования языкового параметра, и этот вектор в значительной мере предопределяется структурой значений изменяемого параметра и местом исходного значения в этой структуре. Так, многочисленные исследования последних десятилетий в области грамматикализации показали, что грамматические морфемы являются результатом последовательного преобразования полнозначных слов в служебные слова, затем в клитики и, наконец, в морфемы. Обратный процесс последовательного перехода морфем в полнозначные слова почти невозможен⁴. Это не значит, что грамматическая морфема есть окончательная языковая форма, она тоже подвержена изменению, но в том же направлении — все большего сращения с элементами полнозначного слова (от агглютинации к флексии и/или слияния с корнем) вплоть до ее полной аннигиляции.

Таким образом, изначально объединенные только методом сравнения, типология и сравнительно-историческое языкознание начинают обнаруживать новые области взаимных интересов.

7. Сравнительное и «несравнительное» языкознание

Мы рассмотрели шесть различных лингвистических областей знания, включающих в себя метод межязыкового сравнения. Небезынтересно отметить, что все они системно связаны с соответствующими разделами общего и описательного языкознания. Общее языкознание принято считать наукой о свойствах человеческого языка вообще (Языка с большой буквы), а к сфере описательного языкознания относить исследования конкретных идиоэтнических языков (в нашей стране таким главным направлением описательного языкознания является русистика). Здесь не место подробно говорить об этих основных областях лингвистического знания, которые иногда объединяют под именем «внутренней лингвистики» (лингвистики, изучающей собственно Язык и языки), противопоставляя «внешней лингвистике» (изучающей язык в его отношении к человеческому поведению вообще, к коммуникации, к социуму, к этносу, к культуре, к мышлению и т. д. и т. п.). Существенно, что структура общего и описательного языкознания в значительной степени совпадают, поскольку общее языкознание является метатеорией для описательного, а описательное языкознание является эмпирической исходной базой для общего.

³ Интерес к ней в истории отечественного языкознания был отражен в теории стадийности, позитивные наработки которой были скомпрометированы априорной плоттогонической теорией Н. Я. Марра.

⁴ Кажущимся исключением являются случаи лексикализации словообразовательных морфем типа *измы*: *Надоели все и всяческие измы*.

Что касается сравнительно-исторического языкознания, то оно коррелирует прежде всего с описательным историческим (эволюционным) языкознанием, исследующим конкретные человеческие языки в плане их диахронии. Оставаясь в пределах эмпирии конкретных языков, сравнительно-историческое языкознание опирается на метод сравнения, что и отличает его от исторического языкознания. Как мне представляется, в области исторической лингвистики соответствующий общелингвистический компонент еще только формируется, и здесь наибольшие надежды обращены к эволюционной типологии.

Типология, несомненно, теснейшим образом связана с общим языкознанием, поскольку она принципиально ориентирована на общеязыковые свойства естественных языков. От классического общего языкознания типология отличается не целями, а своим сравнительным эмпирическим методом, то есть процессом получения знаний о Языке вообще. Конечный результат типологических исследований неотличим от утверждений о Языке в рамках общего языкознания.

Контрастивная лингвистика является разновидностью синхронного описательного языкознания, когда в сферу рассмотрения вовлечено более одного конкретного языка и при этом используется сравнительный метод.

Диалектология традиционно относится к описательному языкознанию и является компонентом описания конкретного языка, отличаясь от классического описательного языкознания активным использованием сравнительного метода.

Ареальная лингвистика интересным образом ортогональна как описательному, так и общему языкознанию и, более того, «внешней лингвистике». С одной стороны, ареальная лингвистика всегда имеет дело с конкретными языками, с другой стороны, она претендует на обобщения об ареальном поведении языков вообще, и, наконец, она рассматривает, как языки существуют в пространстве. В свете сказанного становится очевидным, что историческое и сравнительно-историческое языкознание также соотносятся с «внешней лингвистикой», поскольку рассматривают, как языки существуют во времени. Это существование предопределяется не только внутренними языковыми законами, но и множеством экстралингвистических факторов, мотивирующих языковые изменения.

8. Пути экспансии сравнительного языкознания

До сих пор речь шла о сформировавшихся областях лингвистики, опирающихся на сравнительный метод. Можно ли считать, что возможности применения этого метода исчерпаны целями общего и описательного языкознания? Думаю, что нет, и впереди нас ждет освоение этого метода другими лингвистическими дисциплинами, относящимися к «внешней лингвистике». Я имею в виду такие междисциплинарные области лингвистики, как психолингвистика, нейролингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика и др.

Психолингвистика до последнего времени была наукой, совмещающей психологическую экспериментальную методику с целями общего языкознания и эмпи-

рической базой описательного языкознания. Тем самым психолингвистика повторяла опыт построения основ общего языкознания, восходящих от фактов конкретного языка к обобщениям о Языке вообще. Типология, базирующаяся на сравнительном методе, объективировала этап обобщения от фактов многих конкретных языков к знаниям о Языке вообще. Сейчас в психолингвистике назревает потребность дополнить ее сравнительным методом. Например, при изучении развития детской речи нас интересуют не столько закономерности овладения конкретным языком в детском возрасте, сколько закономерности овладения Языком вообще. А для этого необходима сравнительная психолингвистика детской речи.

Нейролингвистика пока еще находится в своем зачаточном состоянии, но для нее тем более необходимо систематическое использование сравнительного метода, поскольку целью этой науки является выведение субстанции содержания на уровень наблюдения, и это будет революция прежде всего в области общего языкознания.

Социоллингвистика также может перейти от уровня социального бытования конкретного языка (то есть от уровня описательного языкознания) к обобщениям о законах социального бытования Языка вообще не иначе как через этап сравнительной социоллингвистики.

Наконец, обращаясь к когнитивной лингвистике, можно заметить, что в ней прогресс в понимании архитектуры когнитивных структур возможен прежде всего при использовании сравнительного метода, и сейчас уже можно говорить о формировании когнитивной типологии, ориентированной на реконструкцию когнитивных структур методом типологической реконструкции (см., в частности, [Кибрик 2003]).

Итак, как мы видим, сравнительное языкознание пронизывает всю систему лингвистических знаний, оно также является ортогональным к прочим его членениям, этот метод обладает далеко не исчерпанным эвристическим потенциалом, и надо всячески приветствовать его творческое применение.

ЛИТЕРАТУРА

- Архипов 2009 — *Архипов А. В.* Типология комитативных конструкций. М., 2009.
- Андрей Кибрик 1988 — *Кибрик А. А.* Типология средств оформления анафорических связей: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.
- Баранов 2000 — *Баранов А. Н.* Введение в прикладную лингвистику. М.: УРСС, 2000.
- Бодуэн де Куртенэ 1963 — *Бодуэн де Куртенэ И. А.* Сравнительная грамматика славянских языков // *Избранные труды по общему языкознанию.* М., 1963.
- Гак 1977 — *Гак В. Г.* Сравнительная типология французского и русского языков. Л.: Просвещение, 1977.
- Гамкрелидзе, Иванов 1988 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Тбилиси: Изд. Тбилисского ун-та, 1988.

- Гухман 1981 — *Гухман М. М.* Историческая типология и проблема диахронических констант. М.: Наука, 1981.
- Казенин 1997 — *Казенин К. И.* Синтаксические ограничения и пути их объяснения (на материале дагестанских языков): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.
- Калинина 2001 — *Калинина Е. Ю.* Нефинитные сказуемые в независимом предложении. М.: Наследие, 2001.
- Кибрик 1975 — *Кибрик А. Е.* Прикладная лингвистика // Большая советская энциклопедия. Т. 20. М., 1975. С. 17—19.
- Кибрик (ред.) 1999 — *Кибрик А. Е.* (ред.). Элементы цахурского языка в типологическом освещении. М.: Наследие, 1999.
- Кибрик 2003 — *Кибрик А. Е.* Константы и переменные языка. СПб.: Алетей, 2003.
- Коваль, Нялибули 1997 — *Коваль А. И., Нялибули Б. А.* Язык фула в типологическом освещении. М.: Русские словари, 1997.
- Лютикова 2002 — *Лютикова Е. А.* Когнитивная типология: рефлексивы и квантификаторы. М.: Наследие, 2002.
- Майсак 2005 — *Майсак Т. А.* Типология грамматикализации конструкции с глаголами движения и глаголами позиции М.: Языки слав. культуры, 2005.
- Недялков (ред.) 1983 — *Недялков В. П.* (ред.). Типология результативных конструкций. Л.: Наука, 1983.
- Татевосов 2002 — *Татевосов С. Г.* Семантика составляющих именной группы: кванторные слова. М.: Наследие, 2002.
- Топоров 1990 — *Топоров В. Н.* Сравнительно-историческое языкознание // Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990.
- Филимонова 1999 — *Филимонова Е. Ю.* Универсальные аномалии личных местоимений: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1999.
- Холодович (ред.) 1974 — *Холодович А. А.* (ред.). Типология пассивных конструкций. Л.: Наука, 1974.
- Храковский (ред.) 1998 — *Храковский В. С.* (ред.). Типология условных конструкций. СПб.: Наука, 1998.
- Andrej Kibrik (in press) — *Kibrik A. A.* Reference in discourse. Oxford: Oxford University Press. (In press.)
- Dryer 2008 — *Dryer M.* Order of subject, object and verb // *Haspelmath M., Dryer M. S., Gil D., Comrie B.* (eds.). World Atlas of Language Structures. München: Max Planck Digital Library, 2008. <http://wals.info/feature/81>
- Haspelmath et al. (eds.) 2005 — *Haspelmath M., Dryer M. S., Gil D., Comrie B.* (eds.). World Atlas of Language Structures. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Nedjalkov (ed.) 2007 — *Nedjalkov V. P.* (ed.). Reciprocal Constructions [Typological Studies in Language 71]. Vol. 1—5. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. P. xxiii + 2219.
- Nichols 1992 — *Nichols J.* Linguistic diversity in space and time. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Stassen 2009 — *Stassen L.* Predicate possession. Oxford: Oxford University Press, 2009.

ПРИНЦИПЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ

Развитие когнитивных наук, для которых междисциплинарные связи являются необходимым условием их полезности, зависит от взаимодействия психологии, физиологии, лингвистики, а также логики и искусственного интеллекта — полигона экспериментальной проверки научных средств имитации рациональности и продуктивного мышления. В связи со сказанным весьма интересно рассмотреть явление асимметрии мозговой деятельности в связи с конструкциями искусственного интеллекта и его логических средств.

Вяч. Вс. Иванов систематически рассмотрел явление асимметрии мозга и знаковых систем и их связи с исследованиями в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники [Иванов 1978]. В настоящей статье предпринята попытка сопоставить принципы ИИ и феноменологии сознания. Предлагаемое их сопоставление является терминологическим и экспликативным, но не экспериментальным, и содержит попытку выявления «левых» и «правых» механизмов интеллектуальной деятельности, имитируемых в основных продуктах ИИ — интеллектуальных системах (ИС).

Основная идея данной статьи состоит в аналогии между структурой сознания и архитектурой ИС, имитирующей некоторые аспекты естественного интеллекта — его феноменологии.

Под структурой человеческого сознания мы будем понимать следующее соотношение: сознание = система знаний + мышление + субъективный мир личности (СМЛ). Разумеется, для каждой из трех подсистем сознания требуется дать некоторые характеристики, являющиеся подобием уточнения соответствующих идей. Само же сознание в нашем смысле следует понимать как эмерджентное явление, порожденное тремя указанными выше подсистемами — знаниями, мышлением, субъективным миром личности. Говоря неформально, под сознанием будем понимать функцию, зависящую от знаний, мышления и СМЛ.

В наших рассуждениях нет претензий на выделение точных определений, рассматриваемых идей, которые были бы трансформацией этих идей в понятия [Финн 1999]. Скорее всего, будет представлена схема понимания рациональных аспектов сознания с точки зрения знаний об интеллектуальных системах, как имитаторов сознательной активности человека. Следствием такого рассмотрения будет выяснение, в частности, различий сознания животных и сознания человека с точки зрения ИИ и логики, а также уточнение идеи продуктивного мышления.

Обратим внимание на тонкие различия двух пониманий сознания у С. Л. Франка [Франк 1995]. Сознание в первом смысле, согласно С. Л. Франку, есть поток актуальных переживаний [Там же: 148]; сознание во втором смысле понимается не только как актуальное переживание, но и как включающее в себя все содержание потенциально доступное субъекту сознания. Связь второго понимания сознания с идеей Мира 3, по К. Р. Попперу, кажется очевидной [Поппер 2002]. Второе понимание сознания в смысле С. Л. Франка будет рассмотрено с точки зрения ИИ.

Для понимания задач, решаемых в системах ИИ, следует уточнить феномен естественного интеллекта (ЕИ), ибо ИИ (как направление исследований) занимается аппроксимацией ЕИ, точнее, совокупности способностей, образующих его реальный феномен. Таковыми являются:

- (1) способность выделять существенное в наличных данных и знаниях и упорядочивать их (она — необходимый аспект интуиции);
- (2) способность к целеполаганию и планированию поведения — порождение последовательностей «цель — план — действие»;
- (3) способность к отбору знаний (посылок выводов, релевантных цели рассуждения);
- (4) способность извлекать следствия из имеющихся фактов и знаний, т. е. способность к рассуждению, которое может содержать как правдоподобные выводы, используемые для выдвижения гипотез, так и достоверные выводы (следовательно, под рассуждением понимаются последовательности правдоподобных и достоверных выводов);
- (5) способность к аргументированному принятию решений, использующему упорядоченные знания (представление знаний) и результаты рассуждений, соответствующие поставленной цели;
- (6) способность к рефлексии — оценке знаний и действий;
- (7) наличие познавательного любопытства: познающий субъект должен быть способен задавать вопрос «что такое?» и искать на него ответ;
- (8) способность и потребность находить объяснение (не обязательно дедуктивное!), как ответ на вопрос «почему?»;
- (9) способность к синтезу познавательных процедур, образующих эвристики решения задач и рассмотрения проблем, например, такой эвристикой является взаимодействие индукции, аналогии и абдукции (с учетом фальсификации выдвигаемых гипотез посредством поиска контрпримеров) с последующим применением дедукции;
- (10) способность к обучению и использованию памяти;
- (11) способность к рационализации идей: стремление и умение уточнить их как понятия;
- (12) способность к созданию целостной картины относительно предмета мышления, объединяющей знания, релевантные поставленной цели (т. е. формирование приближенной «теории» предметной области);

(13) способность к адаптации в условиях изменения жизненных ситуаций и знаний, что означает коррекцию «теории» и поведения.

Следует отметить, что характеристика «практического интеллекта» в когнитивной психологии [Стернберг (ред.) 2002] содержит три способности — целеполагание, адаптацию и оценку (способность быть критичным относительно своих мыслей и действий)¹.

Р. Соло приводит уникально человеческие способности [Соло 2002], характеризующие ЕИ согласно Е. И. Никерсону, Д. Н. Перкинсу и Е. Е. Смиты [Nickerson et al. 1985], таковыми являются:

- способность классифицировать паттерны,
- способность к адаптивному изменению поведения — к научению,
- способность к дедуктивному мышлению,
- способность к индуктивному мышлению,
- способность разрабатывать и использовать концептуальные модели,
- способность понимать.

Сравнение способностей (1)—(13) [Финн 2004] и множества способностей из [Nickerson et al. 1985] показывает, что (1)—(13) фактически покрывают последние за исключением способности понимания. Однако (1)—(13), порожденные потребностями ИИ имитировать ЕИ, являются более содержательными.

Для характеристики ЕИ существенны:

- (1) способность выделения существенного в наличных знаниях;
- (2) способность к целеполаганию и планированию поведения;
- (3) способность к отбору посылок выводов, релевантных цели поведения;
- (4) способность к рассуждению, включающему выдвижение гипотез ((4) — средство для планирования поведения), (9) — способность к синтезу познавательных процедур (эта способность обеспечивает формирование эвристик для перехода от незнания к знанию). Очевидно, что способности к дедукции и индукции, изолированно формулируемые в [Nickerson et al. 1985], содержатся в приведенных выше (3), (4) и (9), выражающих механизм получения нового знания (knowledge discovery), формализуемой в системах ИИ как синтез познавательных процедур. Изолированное же рассмотрение дедукции и индукции может способствовать развитию формальных методов, но не проясняет механизма познания как инструмента рационального аспекта сознания.

Заметим также, что способность к пониманию [Соло 2002] есть следствие взаимодействия способностей (1), (3), (4)—(12), сформулированных выше.

Напомним структурную схему, характеризующую человеческое сознание: сознание = система знаний + мышление + СМЛ.

¹ Целеполагание, адаптация и оценка образуют ядро интеллекта, согласно Альфреду Бине и Теодору Симону [Binet, Simon 1916]. Эти способности соответствуют приведенными выше характеристиками феноменологии ЕИ: (2), (13) и (6), сформулированным в [Финн 2004].

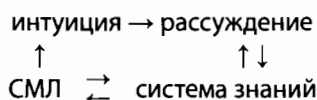
Функционирование сознания состоит во взаимодействии трех образующих его подсистем, но различные состояния сознания связаны с приоритетами актуализации его подсистем и возможных их комбинаций, например, актуализация системы знаний и мышления в виде рассуждений, реализующих способности (1)—(13) при фоновом участии СМЛ, образуют интеллектуальную деятельность — функционирование рационального интеллекта (приоритет участия левополушарного мозгового процесса [Иванов 1978]). Актуализация же системы знаний (в особенности хранимой в ней подсистемы образов) и СМЛ при фоновом участии мышления образуют художественную деятельность с преобладанием интуиции².

Неактивное состояние сознания есть некоторый внутренний разговор, скорость которого превышает скорость превращения его результатов в связную речь (можно предположить, что в этом состоянии сознания приоритет имеет правополушарный мозговой процесс [Там же]).

Интуиция (инсайт, озарение) является труднообъяснимым (и даже таинственным явлением сознания). Интуиция является продуктом интегративной психической деятельности с обязательным влиянием системы знаний и СМЛ.

Чрезвычайно трудно экспериментально изучить роль интуиции в интеллектуальной деятельности человека в силу ее интегративности, т. е. зависимости от всей психической жизни человека. Анри Бергсон, характеризуя сознательную жизнь человека выделял в ней ведущую роль интуиции: «...интуиция есть сама сущность духа и, в известном смысле, сама жизнь: интеллект высекается в интуиции путем процесса, подражающего тому, который породил материю. Так выявляется единство духовной жизни. Познать его можно только войдя в интуицию, чтобы оттуда идти к интеллекту, ибо от интеллекта никогда нельзя перейти к интуиции» [Бергсон 1914: 239]. Американский логик Д. Майхил говорил, что интуиция порождает формализацию, а формализация уточняет интуицию.

Место интуиции в сознательной деятельности человека можно изобразить посредством «четырёхугольника сознания»:



Представляется естественным считать, что интуиция является эмерджентным явлением сознания, относящимся к СМЛ и зависящим от правополушарной мозговой деятельности.

Прояснение идей сознания, интеллекта и мышления можно попытаться осуществить с точки зрения архитектуры и функциональных характеристик интеллекту-

² Интуиция может присутствовать и в случае функционирования рационального интеллекта, но не как средство рассуждения, а как некий стимул или догадка. В этом смысле интуиция — эмерджентное явление, присущее сознанию, но не сводимое к системе знаний и мышлению.

альных систем, представляющих артефакты сознания и имитирующих рациональное принятие решений.

Компьютерную систему, имитирующую способности (1)—(13) посредством приводимой ниже архитектуры будем называть интеллектуальной системой (ИС). ИС = информационная среда + Решатель задач + интерфейс (комфортный для пользователя), где информационная среда = база фактов (БФ) + база знаний (БЗ), Решатель задач = Рассуждатель + Вычислитель + Синтезатор. БФ содержит представления отношений, характеризующих предметную область, которым соответствуют элементарные высказывания с истинностными значениями «фактически истинно», «фактически ложно», «неопределенно»³.

В БЗ содержатся два типа знаний — декларативные и процедурные, первые характеризуют предметную область, вторые — способы преобразования знаний и фактов (логические правила и вычислительные процедуры)⁴. Кроме того, создание ИС зависит от использования концептуальных знаний, формулирующих принципы реализации интеллектуальных способностей (1)—(13), представляющих феноменологию ЕИ.

Главной подсистемой ИС является Решатель задач, в которой ведущей составляющей является Рассуждатель, реализующий синтез познавательных процедур [Финн 1999]. Этот синтез формализует процесс получения нового знания с использованием БФ и БЗ. Получение нового знания осуществляется посредством правдоподобных рассуждений, содержащих амплиативные выводы, т. е. выводы нового знания — индукцию и аналогию. Примером синтеза познавательных процедур в ИС являются ДСМ-рассуждения [Там же], реализующие два этапа преобразования знаний. Первый этап состоит в последовательном применении индукции и аналогии, который повторяется до стабилизации порождаемых гипотез — новые гипотезы на $n+1$ -м шаге не возникают, где n — номер шага стабилизации. На втором этапе ДСМ-рассуждений реализуется принятие порожденных гипотез посредством абдукции: гипотезы принимаются, если начальное состояние БФ объясняется этими гипотезами. Таковыми являются гипотезы о зависимостях причинно-следственного типа: из отношений «объект множество свойств» в БФ порождаются новые отношения «подобъект есть причина множества свойств».

Таким образом, ДСМ-рассуждения порождают гипотезы о причинах; посредством этих гипотез, используя умозаключения по аналогии, ДСМ-рассуждение осуществляет предсказание для фактов, ранее имевших оценку «неопределенно».

³ БФ в ИС для фармакологии содержит факты «химическое соединение — множество биологических активностей», БФ в ИС для медицинской диагностики содержит факты «история болезни — диагноз» и т. п.

⁴ Элементы БЗ соответствуют семантической и процедурной памяти и аналогичным видам сознания, которые образуют нозтичное сознание, согласно [Соло 2002: 11], а его содержанием является осознание отношений и взаимосвязей объектов и событий (ср. с [Бергсон 1914]: врожденное качество интеллекта — установление отношений).

ДСМ-рассуждения используются для расширения БЗ, содержащей в результате функционирования ДСМ-рассуждений гипотезы о причинах и гипотезы, предсказывающие наличие (отсутствие) изучаемых эффектов у объектов из БФ, имевших ранее истинностное значение «неопределенно».

Подсистема ИС, представляющая интерфейс, осуществляет следующие функции — диалог на естественном языке, обзор и демонстрацию результатов работы ИС (в том числе в графическом виде), научение работе с ИС. Интерфейс поддерживает связь ИС с внешней средой в интерактивном режиме, реализуя открытость ИС и выбор пользователем стратегии решения задач посредством Синтезатора — подсистемы Решателя.

Сопоставим теперь две схемы структуры сознания и архитектуры ИС:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{сознание} & = & \text{система знаний} & + & \text{мышление} & + & \text{СМЛ} \\ \uparrow & & \uparrow & & \nearrow & & \nearrow \\ \text{ИС} & = & (\text{БФ} + \text{БЗ}) & + & \text{Решатель} & + & \text{интерфейс} \end{array}$$

Обратим внимание на то, что в ИС реализуются имитации интеллектуальных способностей (1), (3), (4), (5), (6), (8), (9) и (10). Они образуют «ядро» приближенного отображения познавательных способностей человека в автоматическом режиме работы ИС. Способности же (2), (7) и (13) могут имитироваться лишь в интерактивном режиме с участием человека, использующего возможности общения с ИС посредством комфортного интерфейса. Построение ИС высокого уровня, имитирующих и, возможно, усиливающих «ядро» познавательных способностей человека, управляется концептуальным знанием, которое представлено следующими принципами [Финн 2004].

Принцип I (цель ИС).

Для создания ИС должна быть сформулирована проблема P1, которой соответствует некоторый класс формализуемых задач такой, что для их решения имитируются способности из «ядра». Этот принцип соответствует интеллектуальной способности (2) — способности к целеполаганию.

Принцип II (типы «миров» — предметных областей и представление знаний о них в ИС).

ИС имеют три типа предметных областей (а), (б) и (с):

(а) предметные области («миры») W такие, что факты принадлежащие им, являются случайными событиями; соответственно, правила вывода, применяемые в рассуждениях о W, используют аппарат теории вероятностей (в том числе различные статистические методы анализа данных);

(б) предметные области W такие, что факты, принадлежащие W, причинно обусловлены; соответственно, правила вывода, примененные в рассуждениях о W, порождают гипотезы о причинно-следственных зависимостях и основанные на них обобщения;

(с) предметные области W такие, что факты, принадлежащие W , могут быть как причинно обусловленными, так и случайными событиями; это означает, что W является объединением «миров» (а) и (b), а рассуждения, применяемые к знаниям о W , должны использовать правила, порождающие гипотезы о зависимостях причинно-следственного типа с учетом вероятностных соображений.

Цель ИС $P1$ формулируется посредством представления знаний в соответствии с типами W (а), (b) и (с).

Принцип III (адекватность предметной области W и Решателя для $P1$).

Рассуждатель и Вычислитель должны содержать методы рассуждений и вычислений, соответствующие типам W — (а), (b) и (с).

Принцип IV (условие применимости ИС к W).

Условия применимости Решателя к W должны быть точно сформулированы.

ИС, создаваемые в соответствии с Принципом IV, применяются для предметных областей W таких, что знания о них слабо формализованы, а данные (факты) пригодны для структурирования и установления сходства.

Принцип V (синтез познавательных процедур в ИС).

Для достижения цели $P1$ необходима соответствующая формализованная эвристика для решения задач из класса $P1$, которая должна быть синтезом познавательных процедур, применение которого к объединению БФ и БЗ порождает новые знания, расширяющие БЗ.

Примером такой эвристики являются ДСМ-рассуждения со схемой «индукция-аналогия-абдукция» (с возможным последующим применением дедукции) [Финн 1999].

Принцип V соответствует интеллектуальной способности (9) — возможности синтеза познавательных процедур, образующих эвристику для решения определенного класса задач⁵.

Принцип VI (фальсифицируемость и аргументируемость результатов работы Решателя).

Этот принцип состоит в том, что в ИС должны содержаться средства фальсификации результатов применения Решателя к БФ и БЗ. Таковыми могут быть утверждения из БЗ, накладывающие ограничения на принятие выдвинутых Рассуждателем гипотез, или же автоматически порожденные фальсификаторы, которые извлекаются из отрицательных примеров БФ и запрещают некоторые гипотезы, выдвинутые Решателем⁶.

⁵ Синтез познавательных процедур является средством продуктивного мышления в смысле [Вергеймер 1987].

⁶ Факт называется отрицательным, если элементарное высказывание его представляющее имеет истинностное значение «фактически ложно».

Аргументируемость результатов работы Решателя означает, что гипотезы, порожденные Рассуждателем, имеют аргументы за их принятие и не имеют контраргументов против их принятия. Очевидно, что принцип V соответствует интеллектуальной способности (5).

Принцип VII (синтез теорий истины).

Для ИС, аппроксимирующих базисные интеллектуальные способности, неадекватной оказывается аристотелевская теория истины как теория соответствия, формализованная А. Тарским [Тарский 1999] для дедуктивных наук средствами двузначной логики (см. также: [Поппер 2002: гл. 9]). Дело в том, что выдвинутые Решателем гипотезы либо правдоподобны, если порождены Рассуждателем посредством правдоподобных рассуждений [Финн 1999; 2004], либо имеют некоторую вероятность, если порождены Решателем с использованием Вычислителя статистических методов (и в том и другом случае имеются критерии принятия гипотез на основе БФ и БЗ). Применение Решателя к объединению БФ и БЗ и использование БЗ, содержащей ранее выдвинутые гипотезы, порождают оценки, вновь полученных знаний в силу их согласованности с имеющимися знаниями в БЗ и посредством правил правдоподобных выводов (например, индукции и аналогии). Следовательно, используется не теория соответствия, а теория когерентности в качестве теории истины для получения истинностных значений, включающих указание на степень правдоподобия [Поппер 2000]. Истинностные же значения высказываний, соответствующие фактам из БФ (если они являются эмпирическими данными) приписываются этим высказываниям согласно аристотелевской теории истины — теории соответствия [Поппер 2002].

Наконец, результаты работы ИС могут иметь практическую полезность, хотя их истинность не была установлена. В этом случае можно говорить о применимости прагматической теории истины [Там же]: истинно то, что полезно.

Таким образом, когнитивный процесс получения нового знания посредством ИС, включающий анализ данных из БФ и выдвижения гипотез, может быть охарактеризован тремя теориями истины — теорией соответствия, теорией когерентности и прагматической теорией [Поппер 2000]: БФ формируется при соблюдении теории соответствия, гипотезы оцениваются согласно теории когерентности, а результаты работы ИС могут быть оправданы согласно прагматической теории истины. Использование синтеза трех теорий истины обусловлено в ИС автоматическим порождением гипотез и машинным обучением. Этот синтез проясняет сложность познавательного механизма рефлексии, представимой интеллектуальной способностью (6) — оценкой знаний и действий познающего субъекта.

Принцип VIII (инвариантность структуры Рассуждателя относительно варьируемости предметных областей и структур данных).

Если Рассуждатель используется для решения некоторого класса задач P1 посредством синтеза познавательных процедур согласно Принципу V, то структу-

ра Рассуждателя не изменяется при применении его к различным предметным областям W и различным структурам данных таким, что они удовлетворяют Принципу IV — условиям применимости ИС. Таким образом, при варьировании W и структур данных не изменяется тип правил правдоподобного вывода и тип рассуждения. Например, сохраняется синтез познавательных процедур типа «индукция + аналогия + абдукция» с последующим применением дедукции, осуществляемый ДСМ-рассуждениями [Финн 1999]. Принцип VIII выражает существование формализованных эвристик, которые являются средством продуктивного мышления [Вергеймер 1987]. Разумеется, возникает вопрос, как соотносятся подобные эвристики с асимметрией мозговой деятельности?

Принцип IX (наличие метауровня ИС).

Предположим, что задан формальный язык L , выразительная сила которого не слабее языка логики предикатов 1-го порядка [Мендельсон 1978], в котором представляются факты из БФ и знания из БЗ. Будем считать, что имеются метаматематические средства ML такие, что в языке ML можно сформулировать дедуктивную имитацию Рассуждателя и осуществлять анализ алгоритмов, соответствующих процедурам Решателя.

Принцип IX создает возможность исследования функционирования ИС, а потому он соответствует интеллектуальным способностям (2), (3) и (13) — формированию планов (стратегий ИС), исследованию на логическом уровне рассуждений и коррекции представлениям знаний и стратегий решения задач, соответственно.

Принцип IX является еще одним логическим средством формализованной имитации рефлексии — интеллектуальной способности (6) из перечня феноменологии интеллекта (1)—(13).

Можно предположить, что метатеоретическая деятельность по исследованию и развитию ИС в существенных своих аспектах сопоставима с левополушарным механизмом.

Принцип X (абдуктивное объяснение результатов ИС посредством Рассуждателя).

Для открытых предметных областей типа (b) или (c), рассуждения о которых содержат порождение гипотез, дедуктивное объяснение результатов ИС неприменимо [Гемпель 1998]. Для ИС используется уточненная идея абдуктивного объяснения БФ (абдукция) Ч. С. Пирса [Abductive Inference 1994]:

D — множество фактов

H — множество гипотез

H объясняют D

Все h , принадлежащие H , правдоподобны

Если D есть БФ, H содержится во множестве результатов Решателя, а отношение « H объясняет БФ» формализуемо в метаязыке ML для ИС, который использу-

ется в Принципе IX, то абдуктивное принятие гипотез завершает синтез познавательных процедур в соответствии с Принципом VI.

В ИС, реализующих ДСМ-рассуждения, применение абдукции образует второй этап рассуждений. На первом этапе гипотезы из Н порождаются посредством индукции и аналогии. Таким образом, Принцип X конкретизирует Принцип V — синтез познавательных процедур. Очевидно, что Принцип X является имитацией и формализацией способности (8) — поиска ответа на вопрос «почему?».

Имеются два типа понимания — пассивное и активное. Пассивное понимание основано на восприятии сочетаний привычных смыслов. Активное же понимание использует абдуктивное объяснение воспринимаемого текста или сообщения как ответа на вопрос «почему?» с использованием знания интерпретатора. Согласно Ч. С. Пирсу, это означает построение интерпретанта (с точки зрения интерпретатора)⁷. В силу сказанного понимание (как интеллектуальная способность) производна от способностей (1)—(13), что было ранее отмечено.

Заметим однако, что Принцип X формулируется относительно ИС, их БФ и БЗ. Хотя условно можно говорить о понимании БФ с точки зрения БЗ и ее подмножества — гипотез Н.

Принцип X, являющийся имитацией и формализацией интеллектуальной способности (8), связан с Принципами V и VI. Он является имитацией завершающего акта аргументированного принятия решения на основе БФ и БЗ, а потому он является интегративным и формальным аналогом взаимодействия правополушарного механизма (хранилища смыслов [Иванов 1978]) и левополушарного механизма, связанного с логическими преобразованиями знаний.

Последним принципом создания ИС является

Принцип XI (эволюционная эпистемология решения задач в ИС).

Схемой роста знания, согласно К. Р. Попперу [Поппер 2000], является схема $P1 \rightarrow TT \rightarrow EE \rightarrow P2$, где $P1$ — решаемая проблема, TT — пробная теория ее решения, EE — устранение ошибок и коррекция TT после ее применения, а $P2$ — вновь возникшая проблема после анализа результатов измененной (и более корректной) TT .

Этот принцип связан со всеми интеллектуальными способностями (1)—(13), аккумулируя их. В самом деле, $P1$ соответствует (2) — целеполаганию, TT получается с использованием (1), (3), (4), (7), (9), (10), (11), (12), EE соответствуют (5), (10) и (13).

Эта схема роста знания применительно к функционированию ИС получает следующую интерпретацию:

$P1 \rightarrow$ Решатель (БФ, БЗ) $\rightarrow EE \rightarrow P2$, где $P1$ класс задач, решаемых в ИС (Принцип I); TT соответствует применению Решателя к БФ и БЗ, EE — анализ результа-

⁷ Более простая формулировка этой мысли: текст осмысленен, если он реферируем. Его реферат есть интерпретант с точки зрения интерпретатора, а реферат — объяснение текста.

тов ИС и коррекция стратегий решения задачи в интерактивном режиме человеко-машинной системы; а P2 — новая возникшая проблема после реализации ЕЕ.

Следствием Принципа XI является необходимость включения ИС в реальный процесс исследования, управления или принятия решений, а также открытость объединения БФ и БЗ, что означает, что ИС является человеко-машинной (партнерской) компьютерной системой. В этом смысле Принцип XI является «социальным», предполагающим взаимодействие ИС и ее пользователей (оно реализуется в подсистеме интерфейса ИС).

Выше фактически мы установили соответствия между множеством интеллектуальных способностей (1)—(13) и Принципами I—XI, но последние соответствуют функциям ИС, имеющей архитектуру ИС = (БФ+БЗ) + Решатель + комфортный интерфейс. Архитектура же ИС сопоставима с предложенной выше структурой сознания: сознание = система знаний + мышление + СМЛ. Архитектура и функциональное содержание ИС полезны как пример имитации продуктивного мышления, где под имитацией последнего понимается некоторая формализованная эвристика, содержащая как средства выдвижения гипотез, так и средства их принятия. Продуктивное мышление, систематически рассмотренное М. Вертгеймером, было охарактеризовано средствами традиционной логики (классификация, умозаключения, силлогистика, индуктивные методы Д. С. Милля) и специфическими операциями группировки, центрирования и реализации целого мыслительного материала [Вертгеймер 1987]⁸.

Логика продуктивного мышления согласно [Там же], разумеется, не может служить аппаратом автоматизации решения задач. Имитация решения задач с помощью компьютера стала возможной с развитием идей ИИ и современной логики. Новое состояние знаний в этой области требует изменения представлений о рациональном знании и поведении. Рациональность в новом смысле объединяет индуктивные процедуры и правдоподобные (амплиативные) выводы, выдвижение гипотез и их абдуктивное принятие с последующими дедуктивными выводами. Смысл более широкого понятия рациональности в понимании эвристик решения задач и проблем, как предмета формализации и автоматизации в ИС, состоит в том, что рациональное знание есть знание, полученное аргументированной эвристикой как познавательной структурой адекватной поставленной задаче (проблеме) в данной предметной области. Примером такой эвристики являются ДСМ-рассуждения, представляющие синтез познавательных процедур — индукции, аналогии и абдукции с последующим применением дедукции [Финн 1999]. Поэтому естественно предположить, что предметом когнитивных наук должна быть следующая схематическая структура рационального сознания:

рациональное сознание = система знаний + продуктивное мышление + СМЛ

⁸ В [Вертгеймер 1987] упоминается и математическая логика как аппарат полезный для изучения мышления.

Уточнением продуктивного мышления с точки зрения Принципов I—XI, характеризующих системы ИИ, будут эвристики, формализующие интеллектуальные способности (1)—(13), автоматизацией которых являются ИС (они же образуют экспериментальную базу для имитации познавательной деятельности — knowledge discovery).

Идеальным типом в смысле Макса Вебера (естественного) интеллекта с точки зрения ИИ естественно считать реализацию способностей (1)—(10) и (13).

Схема, представляющая структуру сознания, имеет несколько интерпретаций — (α), (β) и (γ).

(α) Обыденное сознание с приоритетом личностного знания, непосредственных восприятий, ассоциаций, элементарных умозаключений и СМЛ.

Обыденному сознанию в [Соло 2002] соответствует аноэтичное сознание, которое ограничено во времени текущей ситуацией. Этот тип сознания позволяет человеку ориентироваться в окружающей среде и реагировать на данную обстановку и свое внутреннее состояние (последнее является автоноэтичным сознанием («знающим о себе»)) в смысле [Там же].

(β) Креативное сознание с приоритетом продуктивного мышления и использованием системы знаний, соответствующих Миру 3 объективного содержания знаний К. Р. Поппера [Поппер 2000].

Креативному сознанию в [Соло 2002] соответствует ноэтичное сознание, находясь в котором человек осознает объекты, события, их отношения как при их наличии, так и при их отсутствии. Система знаний, используемая креативным сознанием, предполагает оперирование не только идеями, но и понятиями [Финн 1999]⁹.

(γ) Объединяющее сознание, которое содержит как состояния сознания (α), так и состояния сознания (β).

Можно усмотреть сходство между типом сознания (α) и пониманием сознания С. Л. Франком как потока актуальных переживаний [Франк 1995: 148]. Тип сознания (β) имеет сходство с пониманием сознания в [Франк 1995] во втором смысле. Это понимание сознания состоит в том, что в его состав входит не только актуально данное, но вместе с ним и все содержания, потенциально доступные сознанию; это понимание сознания соответствует объединению (α) и (β), т. е. типу сознания (γ).

Обратим внимание на следующее обстоятельство, которое является аргументом в пользу существования эмерджентных явлений сознания, источником которых не могут быть изолированные подсистемы знаний, мышления и СМЛ. Дело в том, что представляется правдоподобным считать, что интуиция есть функция, зависящая от системы знаний субъекта и его СМЛ. Так как только система знаний и только СМЛ не могут быть достаточным условием интуиции. Правда, можно предположить, что в системе знаний субъекта и в его СМЛ имеются «следы» предыдущего опыта работы мышления, но интуиция непосредственно не выводима из мышления.

⁹ С семиотической точки зрения креативное сознание использует знаки-символы в смысле Ч. С. Пирса.

ИС как формализованные аппроксимации сознания типа (β) в качестве аналога продуктивного мышления имеют соответствующие эвристики для решения заданных проблем (целей) P1. Для ИС, реализующих ДСМ-рассуждения (они формализуют эвристику «индукция-аналогия-абдукция») эмерджентным свойством перехода от незнания (неопределенности) к знанию, является предсказание посредством аналогии и абдукции наличия (отсутствия) эффектов у рассматриваемых объектов (факт = объект + эффекты). Это эмерджентное свойство проявляется в автоматическом режиме работы ИС, а в интерактивном режиме работы ИС возникает эмерджентное свойство P2 — новая проблема, полученная в результате анализа результатов ИС в соответствии с Принципом XI: P1 → Решатель (БФ, БЗ) → ЕЕ → P2.

ДСМ-рассуждения основаны на принципе сходства, восходящем к Д. С. Миллю [Милль 1990]: сходство фактов влечет наличие (отсутствие) изучаемых эффектов и их повторяемость. Этот принцип сходства используется в правилах правдоподобного вывода индукции и аналогии. Естественно предположить, что обнаружение сходства посредством процедур индукции у познающего субъекта связано с психофизиологическим механизмом ассоциаций и, возможно, с правополушарным распознаванием сходства объектов и ситуаций как гештальтов. Предсказание же посредством аналогий, использующее гипотезы о причинах, полученные индукцией [Финн 1999], скорее всего, имеют левополушарный психофизиологический аналог. Наконец, принятие гипотез посредством абдукции, которая представлена в виде немонотонного вывода [Арский, Финн 2008], соотносимо с левополушарным психофизиологическим аналогом, но использование в качестве средств объяснения гипотез о причинах, полученных индукцией, означает косвенное отношение к правополушарному психофизиологическому аналогу. Разумеется, что процедурная реализация ДСМ-рассуждений в ИС использует комбинированные алгоритмы сравнения и перебора вариантов. В силу чего относительно функционирования ИС (имитаторов рационального сознания) можно говорить как об имеющих «бледные следы» интуиции — поиск посылок, релевантных цели рассуждения (интеллектуальная способность (3)). Эти послышки используются в правдоподобных выводах индукции и аналогии в ДСМ-рассуждениях.

Характеристики сознания (α) и (β) были рассмотрены как идеальные типы в смысле Макса Вебера [Вебер 1990]. Реальное же существование этих типов сознания (как и типа сознания (γ)) представляет собой динамическую смену состояний, образующих текущее состояние памяти, восприятий, мышления и СМЛ (в том числе желаний, установок, волевых усилий и т. п.).

В [Финн 1991] в связи с идеями Вяч. Вс. Иванова в [Иванов 1978] была сделана попытка рассмотрения интеллекта с использованием оппозиции «левое» — «правое».

В [Финн 1991] не было введено представление о структуре сознания, предложенное в настоящей статье, а поэтому интеллект субъекта рассматривается в [Там же] как результат взаимодействия мышления субъекта со сферой сознания в соответствии с имеющимся у него духовным миром.

Перечислим черты интеллекта, сформулированные в [Финн 1991], называемые также способностями:

1. к рассуждению, включающую способность к рефлексии;
2. усвоения внеличного знания;
3. порождения личностного знания и накопления опыта;
4. получения сверхценок с точки зрения «высших ценностей» духовного мира усвоенной культуры;
5. самоорганизации знаний субъекта посредством фальсификации и верификации (включающие распознавание парадоксов исследования, т. е. расхождение теории и опыта);
6. познавательного любопытства — выдвижения целей и постановки вопросов для уменьшения неопределенности в знаниях;
7. многоаспектного рассмотрения ситуации (т. е. использование знаний в различных направлениях исследования);
8. интуиции.

Очевидно, что подобное понимание интеллекта является необергсонистским, ибо включает интуицию в совокупность способностей интеллекта (согласно [Бергсон 1914], интуиция несводима к интеллекту).

Используя известные представления об асимметрии мозга и соответствующих левополушарных и правополушарных психофизиологических механизмов [Иванов 1978; Спрингер, Дейч 1983; Маслов 1983], в [Финн 1991] была представлена следующая оппозиция познавательных механизмов «левое — правое»:

«Левое»	«Правое»
Логический вывод и доказательство	Рассуждение и индукция
Логическое противоречие	«Исследовательский парадокс»
Логическая обоснованность теоретической конструкции	Эстетическая красота теоретической конструкции
Аксиоматическая теория	Квазиаксиоматическая теория
Имитация познавательного механизма	Усиление познавательного механизма
Изоморфизм структур данных	Сходство и аналогия структур данных
Объяснение	Обоснование и прогнозирование, генерирование гипотез
Внеличное знание	Личностное знание
Допущение о замкнутости мира компьютерных систем	Открытость компьютерных систем [Хьюитт 1987]

Под квазиаксиоматической теорией (КАТ) [Финн 1991] понимается структура знаний, состоящая из множества аксиом, лишь частично характеризующих пред-

метную область, открытого множества фактов и гипотез, множества правил правдоподобного и достоверного выводов¹⁰.

Под усилением познавательного механизма понимается использование формальных средств рассуждения, реализация которых практически невозможна без использования компьютерных систем.

Под обоснованием и прогнозированием понимается принятие некоторых утверждений посредством аргументации с использованием гипотез, порожденных формализованными эвристиками (в том числе абдуктивное принятие гипотез в соответствии с Принципом X).

Заметим, что объединение «левых» и «правых» познавательных средств соответствует Принципу XI — эволюционной эпистемологии решения задач в ИС.

Приведенные выше способности 1—8 из [Финн 1991] покрываются интеллектуальными способностями (1)—(13), но требуется уточнить отношение интуиции к способностям (1)—(13). С этой целью установим связи между идеями естественного интеллекта, сознания и мышления с точки зрения ИИ, позволяющей внести некоторое упорядочение терминологии для когнитивных наук (в предположении признания логики как необходимого средства наук о познании).

Под мышлением будем понимать рассуждения, их подготовку и организацию, включающие цель, поиск посылок, формирование плана достижения цели и реакцию на полученные результаты (рефлексию). Необходимым условием процесса мышления является осуществление интеллектуальных способностей (2), (3), (4), (5) и (9). Под естественным интеллектом (ЕИ) будем понимать эмерджентную структуру, образованную системой знаний субъекта, интеллектуальными способностями (1)—(13) и интуицией, т. е. $ЕИ = \text{система знаний (субъекта)} + \{(1)–(13)\} + \text{интуиция}$, где интуиция функция F системы знаний и СМЛ: $\text{интуиция} = F(\text{система знаний, СМЛ})$. Заметим, что реализация интуиции в соответствующем состоянии сознания предполагает влияние системы знаний и СМЛ при условии функционирования способностей (1) (выделение существенного в наличных значениях субъекта) и (2) (способности к отбору знаний). Разумеется, что ЕИ есть идеальный тип.

Сознание субъекта ранее было охарактеризовано как эмерджентное явление со структурой: $\text{сознание} = \text{система знаний (субъекта)} + \text{мышление} + \text{СМЛ}$, где под мышлением понимается процесс рождения, организации и осуществления рассуждения.

Под феноменологией сознания с точки зрения естественных принципов ИИ, имеющих простую экспериментальную реализацию, будем понимать результат взаимодействия ЕИ и СМЛ, т. е. феноменология сознания = $ЕИ + \text{СМЛ}$.

Таким образом, проявление сознания зависит от системы знаний, способностей (1)—(13) и СМЛ, ибо интуиция есть функция системы знаний и СМЛ. Уточнение СМЛ есть дело психологии, исследования которой должны выяснять влия-

¹⁰ В ИС аналогом КАТ являются БЗ, БФ и Решатель задач с Рассуждателем, формализующие некоторую эвристику, — например, ДСМ-рассуждения с индукцией, аналогией и абдукцией.

ние личностных качеств субъекта на его познавательные возможности и его продуктивное мышление. В частности, интересно установить типологии различных взаимодействий «левых» и «правых» механизмов для различных эвристик решения проблем.

Легко понять, что сформулированные выше уточнения идей сознания, мышления и ЕИ получены посредством конструирования и исследования ИС (как систем ИИ) вида $ИС = (БФ + БЗ) + \text{Решатель (задач)} + \text{комфортный интерфейс}$.

Аналогия понятия ИС с идеями сознания, феноменологии сознания и ЕИ позволяет формулировать задачи по «очеловечиванию» ИС, с одной стороны, и по созданию экспериментальной базы для имитации ЕИ — с другой. Уточнение же идеи ЕИ создает возможность классификации интеллектуальных способностей (1)—(13) с точки зрения как Принципов I—XI (принципов создания ИС), так и асимметрии мозговых механизмов. Идеи синтеза познавательных процедур (Принцип V), инвариантности структуры Рассуждателя (Принцип VIII)¹¹ и эволюционной эпистемологии решения задач в ИС (Принцип XI) приводят к заключению, что помимо интеллектуальных способностей «левого» и «правого» типов имеются способности **интегративного типа**. Таким образом, интеллектуальными способностями «левого» типа являются (4), (5), (8), (9) и (11), интеллектуальными способностями «правого» типа — (10) и (7), а интеллектуальными способностями интегративного типа — (1), (2), (3), (6) (12) и (13).

В психологии выделяют тип ступени в развитии поведения — инстинкты, дрессуру и интеллект [Выготский, Лурия 1993], которые относятся как к поведению животных, так и к поведению человека. При этом не имеется четко характеризующих различий идей «сознания» и «интеллекта». В предлагаемой системе терминологии в данной статье, полученной на основе анализа теории и практики применения ИС, выделен идеальный тип ЕИ в предположении уточнения идеи субъективного мира личности (СМЛ) — восприятий, эмоций, желаний, волевых актов, установок.

В системе терминологии данной статьи предлагается говорить о сознании животных и их прединтеллекте, ибо, разумеется, бессмысленно считать, что животные обладают способностями (4), (5), (8), (9) и (11). Они обладают инстинктами, способностью к обучению и использованию памяти (дрессуре [Выготский, Лурия 1993]), способностью к экстраполяции [Крушинский 1974], формированию образов (но не понятий). Так как у животных отсутствует символическая система знаний и способности создания абстрактных обобщений и перебора возможностей, а их познавательный аппарат примитивен по сравнению с человеческим (Л. В. Крушинский в [Там же] называет его элементарной рассудочной деятельностью), то естественно говорить о наличии у них прединтеллекта, а не интеллекта в определенном выше смысле (т. е. ЕИ).

¹¹ Этот принцип, возможно, имеет корреляцию с законом структуры Кёлера [Выготский, Лурия 1993]: восприятие и действие (как процессы поведения) не являются суммой отдельных элементов, а представляют собой известное целое, свойствами которого определяется функция и значение каждой отдельной части, входящей в его состав.

Важным следствием введенных представлений о ИС и сознании является планирование развития теории интеллектуальных роботов [Добрынин, Карпов 2006]. Робот, созданный Д. А. Добрыниным и В. Э. Карповым, в качестве Решателя задач имеет упрощенную версию ИС, реализующую ДСМ-рассуждения [Там же]. Эта версия ДСМ-рассуждений содержит правила для индукции и аналогии, но не имеет подсистемы абдуктивного объяснения БФ. Расширение Рассуждателя робота для реализации эвристики «индукция-аналогия-абдукция» усилит его «интеллектуальные способности» для принятия решений в целях адаптации к среде обитания.

Интеллектуальные роботы можно рассматривать как когнитивные системы, обладающие возможностью действия после принятия решения. Когнитивная же система [Гергей 2004] есть ИС с подсистемой получения информации в БФ посредством мониторинга окружающей среды (т. е. устройства восприятия).

Таким образом, структурой интеллектуального робота является следующая схема: ИИ-робот = подсистема восприятия + ИС + подсистема действия (движение, манипулятор и т. п.).

Развитие ИИ-роботов зависит от имитации интеллектуальных способностей (1)–(13), подсистемы восприятия и механической подсистемы действий.

Асимметрия «левополушарной» и «правополушарной» мозговой деятельности имеет значительный исследовательский материал в психолингвистике [Иванов 1978]. Однако не имеется в настоящее время соответствующих исследований психологических и нейропсихологических механизмов синтеза познавательных процедур, комбинирующего порождение индуктивных обобщений, аналогий и абдуктивных объяснений при принятии гипотез, а также дедуктивных выводов из знаний, сформированных правдоподобными рассуждениями. Изучение подобных структур неэлементарных рассуждений, аналогичное исследованиям генезиса элементарных логических структур Ж. Пиаже [Пиаже, Инельдр 1963], может послужить стимулом развития **психологики** — необходимого аспекта когнитивных исследований. Современная логика создает возможности формализаций эвристик, следовательно, порождает проблемы их психологического изучения.

ЛИТЕРАТУРА

- Арский, Финн 2008 — *Арский Ю. М., Финн В. К.* Искусственный интеллект и интеллектуальные системы. Информационные технологии и вычислительные системы. 2008. № 4. С. 4—37.
- Бергсон 1914 — *Бергсон А.* Творческая эволюция. М.; СПб.: Русская мысль, 1914.
- Вебер 1990 — *Вебер М.* «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 389—393.
- Вертгеймер 1987 — *Вертгеймер М.* Продуктивное мышление. М.: Прогресс, 1987.
- Выготский, Лурия 1993 — *Выготский Л. С., Лурия А. Р.* Этюды по истории поведения. М.: Педагогика-Пресс, 1993. С. 38—44.

- Гемпель 1998 — *Гемпель К. Г.* Логика объяснения. Дом интеллектуальной книги. М., 1998.
- Гергей 2004 — *Гергей Т.* Когнитивные системы — потребность информационного общества и вызов компьютерным наукам // Труды 9-й национальной конф. по искусственному интеллекту. Тверь, 28 сентября — 20 октября 2004. Т. 1. М.: Физматлит, 2004. С. 3—12.
- Добрынин, Карпов 2006 — *Добрынин Д. А., Карпов В. Э.* Моделирование некоторых форм адаптивного поведения интеллектуальных роботов // Информационные технологии и вычислительные системы. 2006. № 2. С. 45—56.
- Иванов 1978 — *Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Советское радио, 1978.
- Крушинский 1974 — *Крушинский Л. В.* Элементарная рассудочная деятельность животных и ее роль в эволюции // Философия в современном мире: философия и теория эволюции. М.: Наука, 1974. С. 156—215.
- Маслов 1983 — *Маслов С. Ю.* Асимметрия познавательных механизмов и ее следствия // Семиотика и информатика. Вып. 20. 1983. С. 3—31.
- Мендельсон 1978 — *Мендельсон Э.* Введение в математическую логику. М.: Наука, 1978.
- Миллер, Галантер, Прибрам 1965 — *Миллер Д., Галантер Ю., Прибрам К.* Планы и структура поведения. М.: Прогресс, 1965.
- Милль 1990 — *Милль Д. С.* Система логики силлогистической и индуктивной. М.: Книжное дело, 1990.
- Пиаже, Инельдр 1963 — *Пиаже Ж., Инельдр Б.* Генезис элементарных логических структур. М.: ИЛ, 1963.
- Поппер 2000а — *Поппер К. Р.* Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика социальных наук. М.: УРСС, 2000. С. 57—74.
- Поппер 2002б — *Поппер К. Р.* Объективное знание. М.: УРСС, 2002. Гл. 9. Философские комментарии к теории истины Тарского. С. 301—319.
- Поппер 2002 — *Поппер К. Р.* Объективное знание. Эволюционный подход. М.: УРСС, 2002. Гл. 3. Эпистемология без субъекта знания. С. 108—123.
- Соло 2002 — *Соло Р.* Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002.
- Спрингер, Дейч 1983 — *Спрингер С., Дейч Г.* Левый мозг, правый мозг. М.: Мир, 1983.
- Стернберг (ред.) 2002 — *Стернберг Р.* (ред.). Практический интеллект. СПб.: Питер, 2002.
- Тарский 1999 — *Тарский А.* Понятие истины в языках дедуктивных наук // Философия и логика Львовско-Варшавской школы. М.: РОССПЭН, 1999. С. 19—177.
- Финн 1991 — *Финн В. К.* Интеллектуальные системы: проблемы их развития и социальные последствия // Будущее искусственного интеллекта / Ред.-сост. К. Е. Левитин, Д. А. Поспелов. М.: Наука, 1991. С. 157—177.
- Финн 1999а — *Финн В. К.* Интеллектуальные системы и общество: идеи и понятия // НТИ. 1999. Сер. 2. № 10. С. 6—20.
- Финн 1999б — *Финн В. К.* Синтез познавательных процедур и проблема индукции // НТИ. 1999. Сер. 2. № 1—2. С. 8—44.
- Финн 2004а — *Финн В. К.* Искусственный интеллект: идейная база и основной продукт // Труды 9-й национальной конф. по искусственному интеллекту. Тверь, 28 сентября — 20 октября 2004. Т. 1. М.: Физматлит, 2004. С. 11—20.
- Финн 2004б — *Финн В. К.* Об интеллектуальном анализе данных // Новости искусственного интеллекта. 2004. № 3. С. 3—18.
- Франк 1995 — *Франк С. Л.* Предмет знания. Душа Человека. СПб.: Наука, 1995.
- Хьюитт 1987 — *Хьюитт К.* Открытые системы // Реальность и прогнозы искусственного интеллекта. М.: Мир, 1987. С. 85—102.

- Abductive Inference 1994 — *Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology* / Eds. J. R. Josephson, S. G. Josephson. Cambridge Univ. Press, 1994.
- Binet, Simon 1916 — *Binet A., Simon T.* The development of intelligence in children. Baltimore: Williams & Wilkins, 1916.
- Nickerson et al. 1985 — *Nickerson R. S., Perkins D. N., Smith E. E.* The teaching of thinking. Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1985.

THE QUESTION OF DIGITAL THOUGHT¹

1. *Historical perspective*

When first introduced, writing had an incalculable perceptual impact. By providing an *extra-somatic embodiment of intellectual constructs*, writing made it possible to confront these constructs as something projected outside our mind, to be manipulated precisely as a «thing», an object independent of the mental processes that had produced them. The perception of the content of our thought was changed forever. In the most mundane of the early texts, say a ledger listing herds of animals, the graphic embodiment of totals and sub-totals has, indeed, a specific referential value: those vast numbers are matched by discrete physical entities, the animals. But the full valence of a number in the thousands, as applied for instance to a large herd in cuneiform archival ledgers, is greater than the graphic sign employed, and is more powerful than its referent (the physical herd as assembled in the actual pens). It is greater and more powerful because the concept can be inspected *qua* concept: you could never perceive thousands of physical animals as a whole, not the way you see the corresponding figure on a cuneiform tablet; and you could not verify, much less dispute, the accuracy of the figure arrived at perceptually by looking at the herd as a mass. You could only do that by checking the grand total in its written embodiment against the subtotals, all the way back to the initial input tablets where the single individuals are listed. The arrival of articulate speech had, much earlier in prehistory, already introduced the correlation between a concrete item and its referential embodiment (the word), but writing heightens the distinction by giving the referential element its own physical embodiment (the written word). *Verba volant, scripta manent*.

Let us take this one step further. When writing was first introduced in southwestern Asia, its practitioners depended primarily on two different types of material, *clay and papyrus*, at least when dealing with the standard record of routine information (stone, metal, sherds, eventually wax, were used in specialized settings). This simple fact conditioned, more than may appear at first, the perceptual impact of the new technique. Papyrus could best be assembled in long strips that would be rolled to almost unlimited lengths around a central peg. Clay, on the other hand, could best be shaped into tablets

¹ I am grateful to Hans Barnard, Federico Buccellati and Marilyn Kelly-Buccellati for their careful reading of the manuscript and their suggestions. The final choice of what appears in the article is of course my responsibility. See below, n. 2, for a reference to the website that I propose as exemplifying the principles stated here, and as the place where bibliographical reference are found.

that were self-standing and more limited in size. The perceptual impact has to do with the way in which information can be retrieved. The scroll is linear by definition: the argument unfolds as the document unfurls, in a sequential mode that is inflexibly tied to the physical aspect of the medium. The tablet, on the other hand, embodies self-contained fragments that, if more limited in scope, can more easily be compared with each other.

When yet another medium came into use, sheep skin or *parchment*, a further development ensued, which brought together in unexpected ways the two perceptual registers of tablet and scroll, and created a new vehicle, the codex, i. e., the book as we know it. This affected afresh the perception a reader could bring to the text, because the pages as discrete components were linked together by virtue of being bound in book form. It was like getting the best out of the two original systems: the book (like the scroll) provided an overarching linear continuity that held together a vast quantity of components, i. e., the pages, while the pages (like the tablets) could at the same time be viewed independently as self-standing entities. Two important consequences went hand in hand with this innovation.

Turning pages meant that *comparing bits of information* or logical steps in the reasoning was immensely easier than placing tablets side by side or pivoting a scroll around its central peg. But it was more than just ease. The impact on perception was such that a critical analysis of an argument and an accurate check of underlying data could now be performed with a control of details that was not heretofore possible. The reader could now develop as if a second set of logical threads pervading the argument — a second linearity, not as a sequence of pages, but as an alternative set of non-sequential pages, held together by the reader's own critical inquiry.

Second, a *perception of the whole* could be gained that was incomparably more substantial than with the previous tools. Leafing through a book meant that one could assess at a glance the consistency of the work. The whole could emerge in a visual and tactile way that provided an entirely new support for the conceptual reality embodied in the medium. The book was to be a more limpid mirror of an argument that develops linearly along a well defined sequence of steps but rests, at the same time, on discrete and individually accessible pieces of evidence.

The next major step in the perceptual history of writing and reading was the introduction of the *printing press*. While the immediate impact was on a practical level (greater accessibility), more significant repercussions were to be felt at some temporal remove in terms of conceptual organization. Two new types of «publications» emerged: the encyclopedia brought to a new level the search for generalization, and the scholarly journal offered a new avenue for in-depth specialization. The growing chasm among intellectual sectors made it possible to increase exponentially the results within each, while the growing encyclopedic mentality offered a bridge among sectors that would alleviate the sense of disparity caused by specialization. There was also another interesting and consonant development, the systematic development of the footnote. This is not just a minor formal device, but rather a conceptual mechanism that makes outwardly visible different registers on which writer and reader can operate: in a footnote, parallel aspects

of the argument and the full details of the documentation are provided in close juncture with the sequential flow of the main discourse.

The purpose of this brief overview is to suggest that, in order to better appreciate the way in which *the computer* affects, or should affect, our intellectual posture, we would do well to look at how this new medium impacts not only the practice of scholarship, but the deeper perception of how we construe arguments, both as writers and as readers. It is the question of digital thought. I am not referring to the use of outputs, however specialized (from data bases to simulations), nor to the familiarity we have developed with quantification (about which more later). These are indeed modifying our perception especially with regard to how we can muster data to bolster our argument. But they are in a sense a ready made result offered by technology, and do not effectively change the way in which we construe an argument in the first place — which is the theme I am seeking to develop here. In that respect, we may tend to take for granted the usefulness of the computer as a mechanical tool, and we stop there. With a more deliberate approach, we may instead try to channel perceptions more directly in such a way as to favor intellectual constructs that take advantage, more aggressively, of the new medium.

To dedicate this essay to Vyacheslav Ivanov is particularly meaningful to me. The breadth of his interests is matched only by the depth of his insights, and I know from our conversations that he follows with the same keen interest reflections based on archaeological data as he does a linguistic, a literary, or a historical argument. It has been such a privilege to share with him not only an institutional home, but beyond that a broad commonality of interests — from our work at ancient Urkesh to the reading of Akkadian literary texts. To share, also, a warm human friendship that has happily included our families. This article expounds the theoretical presuppositions which underlie a specific website,² and I hope that, by combining the musings of theory with data pertaining to Hurrian culture, my article may appeal to two of Vyacheslav's wide-ranging interests and may elicit that inimitable smile of his that conveys enthusiasm and thoughtfulness at one and the same time.

2. Digital thought

Some of the major cultural trends in the twentieth century have set the stage for a proper understanding of digital thought. I will refer in particular to two. The first is the projection of *discontinuities in the natural sequence*, of which painting provided the

² The website is devoted to the publication of our excavations at the ancient site of Urkesh (www.urkesh.org) and implements the principles I am outlining here: as such, it is meant to serve as an example of what I consider to be proper digital thought, something which is altogether distinct, conceptually, from a book, whether in a printed or an electronic medium. Because of space limitations, this article is meant as a programmatic statement, and I must refer to the website for concrete examples, a full exposition of the theory, and a complete bibliography. — In addition to the archaeological dimension which is embodied in the Urkesh website, I have also worked on a digitally based linguistic analysis of Old Babylonian, which has subsequently been expanded to other dialects of ancient Mesopotamia.

prime example with movements like cubism. Naturalism had meant, for centuries, that the continuity of the natural order provided the basic presupposition for the presumption of wholeness: it is not so much that a painter sought to imitate nature, but rather that, say, a human figure declared the compositional code that guided the creative effort of a painter and set the frame within which a viewer could understand it. This tagging is important compositionally more than representationally. The pipe in Magritte's «Ceci n'est pas une pipe» (and Michel Foucault's attendant monograph) elicits a compositional expectation that is confirmed by the fact that the contours in the painting match those of the referent. «Ceci» is the referential, «une pipe» is the referent. The two are not the same, but the former is configured in a way that is defined by the latter: one might rewrite Magritte's title as «Ceci est une 'pipe'», or, with a post-modern flair, «Ceci est ~~une pipe~~.» By adopting a representational mode, one states (however implicitly) the limits of expectation within which both painter and viewer operate: it is tacitly agreed that, say, a painted object (e. g., the pipe) will be compositionally configured in the same way as its perceived referent. This is a fundamental moment in the process of communication between painter and viewer. When a stylistic movement like cubism explodes the goal of representational naturalism, it simply transfers the limits of expectation from one level to another: the compositional wholeness of the proposed image does not match the wholeness of any known referent, hence the tagging of the painter's compositional intent is to be sought outside of the natural sequence.³ But it is by no means denied. It is just that the code binding painter and viewer, their shared limit of expectation, is to be found elsewhere.

The second trend is the *fluidity in the mode of thought*. It is an irony of deconstruction that the very notion of «deconstructing» has come to be understood as no more than parsing, an effort at articulating the structure of a construct. In so doing, one obtains the exact opposite effect of what was intended: once analyzed, the construct is frozen as an organized congeries of component parts. This is deconstruction as an epigonic fad. The merit of the original insight, on the other hand, was to point to the danger of a scholastic approach that leads only to the sterility of a presumed possession, i. e., the presumption that constructs, once defined, can be owned. The alternative proposal is that constructs are alive and cannot be boxed into immutable conceptual frames — in one word, fluidity.

Discontinuity and fluidity are the hallmarks of digital thought. *Discontinuity* refers to the disparity between the organization of the data on the one hand and their display on the other (between input and output, for short). To appreciate this point one may think of a merely electronic (as opposed to digital) way of using the computer: in standard word processing, the effort of the industry has been to obtain a perfect match between input and output, so that as one clicks on the keyboard the text appears in the format it will have when printed — in a What-You-See-Is-What-You-Get mode. (Those who started with the earliest versions of word processing will remember the various achievements

³ The reconfiguring of the natural sequence along alternative protocols of understanding is well expressed by the term that Svetlana Ivanova has chosen to define the style of her splendid art work — «anagrams».

that punctuated the progress and which are now taken for granted, such as page formatting or automatic insertion of footnotes at the bottom of the page.) There is no question as to the superiority of this technology over the typewriter. But it does not affect in an essential way the conceptual dimension of our writing or reading a text. Such a dimension emerges instead when the writing (input) is diversified in its formats and is structured in ways that do not match any of a variety of possible displays (output). Such match is produced by the operation of programs that manipulate the input in a variety of different ways and produce multiple outputs serving different purposes. There results a multi-layered quality that requires new perceptual ranges on the part of both the writer and the reader. Substantively, the input layer is the same as any of the possible outputs, which occur in a variety of alternative displays. The perceptual adaptation which I am advocating (on the part of writers and readers) pertains precisely to the ability of (a) exploiting the protean dimension of the system by designing the shape in which the multiple possible outputs may occur, (b) correlating the structure of diverse outputs that share the same substantive basis, (c) establishing a three-dimensional grid that raises the hyperlink function to a structural, rather than just an anecdotal, level (see the next section).

The need to transition smoothly and structurally from one level to the next takes us to the second point, *fluidity*. The multi-layered quality of a digital text makes it more fluid in its configuration, so that it becomes more difficult to develop a proper perception of the whole. We can never read a properly digital text from cover to cover⁴ — for conceptual as much as for physical reasons. But the flip side is that fluidity impacts greatly on the full utilization of the data. Think of it this way: a critical reading of a text means that one follows the linear argument developed by the author, while developing at the same time parallel registers where alternative arguments unfold and additional data emerge. The fluidity of a digital text means that these parallel registers are built into the text itself, in two ways: by saturating a text with hyperlinks, alternative inquiry paths offer themselves spontaneously to the reader; and by articulating clearly the conceptual structure of the underlying data, the reader can instantly go from the highest nodes of an argument to the most minute supporting piece of evidence. There is an important side effect to these considerations. Automation as well as the vastness of the basic data set mean that several of these alternative inquiry paths were not even envisaged by the writer, but emerge as if spontaneously for the reader (including the writer as reader). Mark well: I am not saying that the goal is to provide un-argued data. Quite the opposite. An argument must be developed that represents the author's point(s) of view. But the nature of the digital framework raises to a much higher level the possibility to branch off into alternative registers that form the basis of critical thinking.

An important correlate of discontinuity and fluidity is the co-presence of *fragmentation and integration*. Mustering single facts and data to support an argument is of course

⁴ I am obviously excluding from consideration texts that are electronic but not digital, of which the mirror image version of the printed page is the best example (for which currently the .PDF format is the rule). See below for a comment on otherwise obvious advantages of the electronic format, such as the search capability.

part and parcel of any reasoned discourse. But there is a major qualitative difference within digital thought, because there is practically no limit to the quantity of the fragments that can be invoked, nor to the speed with which they can be marshaled and recomposed. The search function is an important aspect of this process, in the sense that it gathers fragments in function of an item of choice. It is also the one that is universally used. However, it is very limited as to the ability to integrate the fragments into larger wholes.

The theme of fragmentation/integration can best be seen in the light of the concept of linearity vs. *non-linearity*. As in the case of deconstruction, the term «non-linear» has come to be used with a kind of awed reverence that belies its true meaning: as long as it is rooted in computer usage, anything seems to be susceptible of that label. Hyperlinks used as jump-off points for chained detours are the most common example. Conceptually, however, hyperlinks serve the same function as cross-references in standard books, which could then also be considered non-linear. A more powerful traditional example of non-linearity can be found in ledgers and maps, of which we have examples dating back to almost the very beginning of writing: in this case, non-linearity means that there is no unilinear sequence (as a set of directions would offer in contrast to a map), but rather a three-dimensional grid through which multiple linear sequences exist and reciprocally intersect. It is, rather, in another respect that the concept of non-linearity is new, valid and important. By virtue of the discontinuity and fluidity factors I have just described, and as a result of the grammatical dimension discussed below (section 4), any element of a complex website is explicitly relatable to a multitude of other elements. So, in effect, rather than non-linearity we could speak of multi-linearity, where connections among points of multiple linear sequences can be made instantly, short-circuiting the step-by-step progression of overt linearity. To refer to an alternate geometric figure (and to avoid the negative overtone of the term «nonlinear»), I have used the term polyhedral to refer to this mode of thought, viewing the connections as cutting figuratively across a volume (the polyhedron) and linking not just points, but planes (the faces of the polyhedron) on which the point is placed. Such «polyhedral», «multi-linear», or «non-linear» process is at the basis of intuition and originality: links are intuited that are not obvious. What the critical follow-up of an insight does laboriously, by articulating the intervening steps short-circuited by intuition, digital thought does systematically, when channeled and supported by a proper digital text.

It should be evident that I am not talking about anything like artificial intelligence. I am rather considering what happens downstream of it and of any form of automation. My goal is to show how we should develop new perceptual registers that take more fully into account the power of the medium at the very moment that it engages in automation. In contrast with a WYSIWYG goal, whereby the display mimics as perfectly as possible established traditional standards, it seems to me that we should develop a greater sensitivity for the new mechanisms the medium offers us. Consider what has taken place with regard to quantification. Not only is it within common parlance to use degrees when referring to temperature, knots for winds, Richter scale values for earthquakes, percentages for all sorts of statistical assessment (e. g., when we speak of a landslide election

that has been won with, say, 60% of the votes). In fact, our perception of quantification so permeates our mental attitudes that we approximate quantification even when no actual measurement has been taken (e. g., when I say that I am 90 % finished with the writing of an article). It is this kind of perceptual adaptation to the digital medium that I feel still needs to be developed, whether or not we master the intrinsic workings of the medium. A good parallel may be envisaged by referring back once more to the introduction of writing. While very few people in Mesopotamia were literate, they were all para-literate — meaning that there developed a universally accepted perception of scribal techniques and their products even by that vast majority who could neither write nor read. Thus even a commoner relied on a written title deed for his real estate, a plaintiff on the awareness that a legal canon had been enshrined on an inscribed stele, a sick person on the knowledge that his disease was somehow listed on a tablet that included also an incantation to be used as a remedy. It is in just this vein that I am suggesting we should develop a greater «para-digital» perception of what the medium can do that no previous communication medium ever did.

3. Mechanisms

Digital thought finds its specific embodiment in the shape of a *digital text*. The obvious definition, it would seem, is any combination of words and images displayed on a computer screen. But this refers merely to the electronic dimension. Conceptually, this difference may be minor, like that between a hard and a soft cover edition of a book. The proper digital dimension is one that builds on the elements of discontinuity and fluidity, providing a presentation that is at one and the same time linear (because it proposes an argument that flows sequentially) and non-linear or multi-linear (because it offers multiple registers that converge with and intersect the main narrative). A browser based text (as with .HTML and .XML formats) is an ideal venue. But it has to be produced and structured in ways that go beyond a string-like arrangement analogous to that of a printed text.

Automation is an important moment in this process — even more on the conceptual than on the practical level. It is through automation that the value of discontinuity emerges, for data entered in an atomistic fashion coalesce into an incremental, meaningful whole — or, in fact, into multiple meaningful wholes. These are all profoundly integrated, because the whole arises from the fragments, the structure is established from the bottom up in terms of the procedure followed, and from the top down in terms of the underlying grammatical structure (for which see presently). There is also a guarantee of transparency, because the organization of the data is independent of manual overrides that tend to gloss over inconsistencies.

But an important dimension that must be built into automation is to have the presentation result in a proper *narrative* that develops an argument, going beyond the static juxtaposition found in a data base approach.⁵ Or, again, in multiple narratives that draw

⁵ This is far from belittling data bases, which not only serve eminent practical purposes, but also represent a major conceptual achievement to the extent that the categorization on which

on the same substantive data and organize them from different points of view. This happens in the first place by sorting the data according to categories that are predetermined in a logical sequence: the implicit tagging that derives from the grammaticality of the input (as we shall see in the next section) matches the data against the pre-established logical sequence, and displays the data accordingly. It is important that the display on the actual page of the browser edition provide at all times a clear and explicit overview of the full scope of the whole (typically through expandable sidebars), so that a perception of this whole not be lost, as I already stressed in the preceding section. Another aspect of this self-generated narrative is the production of multiple statistical tables that organize the data according to a variety of nested higher nodes. While the format is that of a data base, the interconnection of each with the remainder of the browser edition results in a coherent whole that, in its own way, contributes to the unfolding of the narrative — by proposing meaningful groupings of data.

Such a digital narrative requires in effect the nurturing of a new perceptual response. An argument is truly proposed, and it is buttressed by the appropriate data as in any standard «linear» publication. But the complexity of the logical structure, the richness of the supporting evidence, and, indeed, the shape of the format in which it is all presented are such as to foster new scholarly habits. The correlative of digital thought is, therefore, a kind of *digital reading* that is supple enough to weave its way through the many parallel paths available. It is in this fashion that we will really be able to *study* a website, not just skim prose pages that are a priori deemed to be little more than introductory in nature, nor just consult data bases as organized but static repositories of data. If studying means, as I stressed earlier, to follow an argument and critique its data by developing our own registers parallel to those of the author, then digital reading must avail itself of the opportunity offered by the co-presence of multiple registers embedded in the original text itself.

One further opportunity in this dynamics is the one offered by a *hyperlink saturation* that, again, is only made possible by automation and grammaticality. In the Urkesh website several million hyperlinks are generated (an average of half a million for each excavation unit), and their conceptual significance is that they allow the reader to follow new inquiry paths, new narratives, beyond the ones already present explicitly within the system. Now, hyperlinks are of course a common feature of all websites, and some are particularly rich — for instance Perseus or Wikipedia. But there is a difference. The standard implementation of hyperlinks is, we might say, two-dimensional or flat: one atom leads to another. Now each is of course embedded in its own whole, its page. But there is no structural linkage among pages *qua* structures in their own right. That is instead a goal of the system I am advocating, and which I am proposing in the Urkesh website. By virtue of the implicit grammatical tagging of each element, each atom is an integral part of a subset of tags (as if a linguistic paradigm), so that a linkage between atoms es-

they are based offers a «grammatical» (see presently) articulation of the structure that defines the data. I am only saying that a data base is not a narrative, hence it is not, in and of itself, an argument.

establishes at the same time a linkage between subsets (paradigms). It is, you might say, a three-dimensional use of hyperlinks.⁶

The concept of interactivity is commonly applied to what I have just been describing. «Interactivity» is an apposite term, but it points to a general weakness in the way in which the computer (and in particular the World Wide Web) has, or has not, been integrated within the universe of intellectual discourse. Such a discourse has been in effect sidestepped because we have let ourselves be overtaken by *perceptual ranges that are instinctive rather than reasoned and channeled*. As a result, they detract from exploiting the potential of the medium, rather than contributing to it. Thus interactivity viewed as the *ad hoc* pursuit of one hyperlink after another does satisfy a sense of curiosity, which may well be perchance productive, but more often caters to a quest that is as aimless as it is endless. The superficiality of this approach is brought home by the terms used, such as «browsing» or «surfing», which aptly refer to skimming the surface rather than probing the depths. The vastness of the universe at our disposal is such that skimming has become second nature even for intellectual pursuits.

The situation seems to differ when we know already what we are looking for, and we seek only verification or expanded information. Then we «consult» an available text or data base through a search. This is of course a very powerful, and most welcome, tool. But mark well: a search presupposes knowledge of the whole, it does not contribute to it. Accessing with such ease the fragments easily leads away from envisioning the whole, i. e., from developing, or even following, an argument: *negatively, function wins over structure*. In the process, we are unwittingly fostering a generation of students who are experts in searching and finding the *disjecta membra* of an argument they never learn to construct, and which they may even have difficulty in following. Worse, the power of a Google search creates the illusion that one has done so.

4. Grammaticality

The success of the system depends on its grammatical underpinnings. The concept may seem at first to contradict what I said earlier about discontinuity and fluidity. In fact, however, there is no contradiction because the rigor of a grammatical structure antecedes the moment when both discontinuity and fluidity come into play, and it is then through it that the emerging non-linear narrative is possible in practice. What I mean by *grammaticality* is a closed system where each and every element is structurally related to every other element in the system. An open system would allow the *ad hoc* change of a single element, which would affect neither the structure of the system nor the other elements. In a closed system, on the other hand, any change would have structural implications. A simple example may be borrowed from linguistics: if we were to add a case to a nominal declension system, it would not affect a single lexical item; rather, one would have to

⁶ This aspect of the system has been aptly characterized in these terms by Federico Buccellati in a paper he presented at the national meeting of the Society for American Archaeology in Austin, April 2007.

make allowance for such a new case to be applicable to all other nouns in that declensional category.

The power of grammaticality, and its impact on digital thought, resides in three distinct aspects. The first has to do with the very notion of a *closed system*. The input can be immensely simplified because each element in it is integrated at its very origin within a system that expands its valence almost without limits. Each such element can be seen in a much larger scope than it would have if seen in a vacuum, i.e., in isolation from the grid of relationships that its grammatical status entails. It is because of this that the aspect of discontinuity is possible and constructive: elements that are disparate in themselves and disparate in their relationship to the various outputs are in fact ordered to the coherence of the whole, or wholes, which emerge in the output.

The second is the notion of *implicit tagging*. Consider again the linguistic example of a nominal declension. The Latin sequence *amor amoris* declares a structural set-up that is applicable to a number of other lexical items. However, neither does this sequence occur in speech, nor is it necessary for either form to be explicitly tagged in speech. In other words, there is no need, in speech, to parse *amor* as nominative singular masculine. Its belonging to the structural set-up of *amor amoris* is implicitly declared even apart from that paradigmatic sequence: any time that it occurs in the language, whatever the context, its full valence is embedded in the word. There is no need for explicit parsing, because a full implicit tagging is coterminous with the word itself. The impact on digital thought derives again from the fact that the input can be simplified to the extreme, since each element (as long as it grammatically coherent) carries within itself the potential to expand into the immensely larger matrix of the digital text.

The third is that, given a truly comprehensive grammar, each element carries within itself a *declaration of impossibility*. A form **amoram* is impossible in the linguistic paradigm. It is the sequence of which *amor amoris* are part that declares it so. An immensely rich distributional analysis becomes possible when a large inventory of data is grammatically coded (and hence implicitly tagged): we know then what the limits of distributional arrays are. And this is the ultimate, and the only objective, key we have to disclose meaning in closed systems that embody the broken traditions of past («dead») cultures.

It is through practical applications that these theoretical principles can be tested and shown to have validity. As a matter of fact, I am formulating them as the result of a long confrontation with concrete data. It was in working with both linguistic and archaeological data that I felt the need to create an instrument that would do justice to the power of the electronic medium, one that would develop new habits and perceptions that might be properly called digital. It is by looking at these websites (see above, note 2) that one will come to a better understanding and, I hope, appreciation of the theory presented here — as if listening to the actual language of which one has otherwise only read the grammar.

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ» ЭМИЛЯ БЕНВЕНИСТА И СЛУЧАЙ ВАЙШЕШИКИ

Ни одна другая работа Эмиля Бенвениста не приобрела такой широкой известности и вместе с тем не стала предметом столь острой и даже порой эмоциональной полемики, как его знаменитая статья «Категории мысли и категории языка» («Catégories de pensée et catégories de langue»)¹. В этой статье на примере «Категорий» Аристотеля Бенвенист показал, что категории мысли отражают некоторые структурные особенности языка. Анализ Бенвенистом системы категорий Аристотеля навлек на себя критику некоторых современных авторов (в основном философов), считающих, что он выступает с позиций «лингвистического детерминизма»². Насколько справедливо такое обвинение? На этот вопрос я пытаюсь ответить в первой части моей статьи. Во второй части я покажу, как идеи Бенвениста о влиянии категорий языка на мышление могут быть применены к анализу некоторых положений индийского философа Прашастапады (жил в VI в. н. э.), принадлежащего философской школе вайшешика.

Бенвенист был далеко не первым мыслителем, указавшим на способность языка не только подвергаться детерминации со стороны мысли, но и оказывать на нее свое собственное влияние. Ницше (в «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего»), один из самых свободных, «недетерминированных» европейских философов, раньше других сумел почувствовать и выразить эту революционную мысль: «Удивительное фамильное сходство всего индийского, греческого, германского философствования объясняется довольно просто. Именно там, где наличествует родство языков, благодаря общей философии грамматики (т. е. благодаря бессознательной власти и руководительству одинаковых грамматических функций), все неизбежно и заранее подготовлено для однородного развития и по-

¹ *Catégories de pensée et catégories de langue // Problèmes de linguistique générale*. Paris: Gallimard, 1966 (la première publication — *Les Études philosophiques*. № 4. Paris: PUF, 1958). (Рус. пер.: *Бенвенист Э. Общая лингвистика / Пер. с франц. Ю. Н. Караулова*. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998. С. 104—114.)

² Критические аргументы против трактовки системы категорий Аристотеля Бенвенистом (именно аристотелевские категории служили ему основной иллюстрацией влияния языка на мышление) составляют раздел, помещенный в приложении к новому переводу «Категорий» Аристотеля, осуществленному Фредерик Ильдефонс и Жаном Лалло (см.: *Aristote. Catégories / Présentation, traduction et commentaires de F. Ildéfonse et J. Lallot*. Éditions des Seuil, 2002. P. 328—344).

следовательности философских систем; точно так же как для некоторых иных объяснений мира путь является как бы закрытым»³. Эта тема языковой детерминации мышления нашла свой отклик и в понятии «лингвистических игр» Витгенштейна. Менее известны высказывания Э. Сепира, которые имеют самое прямое отношение к философии: «В гораздо большей степени, чем философ осознает это, он является жертвой обмана собственной речи; иными словами, форма, в которую отливается его мысль (а это в сущности языковая форма), поддается прямому соотношению с его мировоззрением. Так, внешне бесхитростные языковые категории могут принимать внушительный облик космических абсолютов. И если философ желает избавиться от философского буквоедства, для его собственной пользы ему стоит критически взглянуть на языковые основания и ограничения собственного мышления. Тогда ему не придется сделать унижительное для себя открытие, что многие новые идеи, многие внешне блестящие философские концепции суть не более, чем перестановки известных слов в формально допустимых конструкциях»⁴.

Но, несмотря на столь блестящие прецеденты, тезис о неразрывной связи языка и мышления получил самое широкое признание именно в предельно ясной и исчерпывающей формулировке Бенвениста: «Конечно, язык, когда он проявляется в речи, используется для передачи “того, что мы хотим сказать”. Однако явление, которое мы называем “то, что мы хотим сказать”, или “то, что у нас на уме”, или “наша мысль”, или каким-нибудь другим именем, — это явление есть содержание мысли; его весьма трудно определить как некую самостоятельную сущность, не прибегая к терминам “намерение” или “психическая структура”, и т. п. Это содержание приобретает форму лишь когда оно высказывается, и только таким образом. Оно оформляется языком и в языке, который как бы служит формой для отливки любого возможного выражения; оно не может отделиться от языка и возвыситься над ним... Языковая форма является тем самым не только условием передачи мысли, но прежде всего условием ее реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной языковыми рамками. Вне языка есть только неясные побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в жесты и мимику...»⁵.

Хотя никто не оспаривал самого этого тезиса, тем не менее Бенвениста стали обвинять в «лингвистическом детерминизме». Поводом для подобных упреков послужила та часть статьи, в которой Бенвенист попытался доказать свой тезис на конкретном примере — анализе категорий Аристотеля. «В качестве примера были взяты категории Аристотеля, — писал Клод Эмбер, — и в этом аспекте статья вызывает скорее презрение, чем возражения»⁶. Оставим на совести Эмбера столь эмоциональную оценку, — как показала история, реакция научного сообщества

³ Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2 / Пер. Н. Полилова. М.: Мысль, 1990. С. 256.

⁴ Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Пер. с англ. Е. Н. Перцова; Общ. ред. Е. А. Кибрик. М.: Прогресс, 1993. С. 248—258. (Первоисточник (англ.): Sapir E. The grammarian and his language // American Mercury. 1924. № 1. P. 149—155.)

⁵ Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 104—105.

⁶ Imbert C. Phénoménologie et langues formulaires. Paris: PUF, 1992. P. 205.

на эту часть статьи, заключалась не в молчаливом презрении, а скорее в активных возражениях — и попытаемся понять, в чем состоит этот «лингвистический детерминизм» Бенвениста.

Если говорить о термине, то — насколько я его понимаю — речь идет о детерминации мышления со стороны языка, сведении мышления к языку (Даррида⁷) и, если проставить все точки над *i*, то в сущности, о покушении на «святая святых» философии — фундаментальную и самоопределяющуюся свободу мышления.

Если это и есть «лингвистический детерминизм», то за ответом на вопрос, был ли Бенвенист «детерминистом», далеко ходить не надо — он содержится в конце его собственной статьи, где французский лингвист пишет: «Никакой тип языка не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления. Прогресс мысли скорее более тесно связан со способностями людей, с общими условиями развития культуры и с устройством общества, чем с особенностями данного языка. Но возможность мышления вообще неотрывна от языковой способности, поскольку язык — это структура, несущая значение, и мыслить — значит оперировать знаками языка»⁸.

Трудно высказаться яснее — язык не определяет мышление в том смысле, что оно выступает лишь механическим слепком с языка; прогресс мысли не связан с особенностями языка, но вместе с тем мышление не существует без языка, без оперирования языковыми знаками. То есть язык и определяет и не определяет мышление. В сущности, вопрос в том, как понимать сам процесс определения, где кончается кондициональное определение, то есть создание неких исходных условий, в которых будет развиваться то или иное явление, и начинается предопределение, жесткая детерминация — «детерминизм»? Можно сравнить мышление с человеком-невидимкой из романа Герберта Уэлса. Чтобы сделаться видимым, ему приходилось покрывать свое тело одеждой. Можно ли сказать, что одежда определяла человека-невидимку? В каком-то смысле, разумеется, да, ведь именно благодаря ей его можно было видеть. В каком-то смысле одежда определяет и всех нас (недаром существует пословица: по одежке встречают, по уму провожают). Нас определяет и устройство нашего тела, и конструкция органов восприятия, словом, все ограничения, накладываемые физикой, физиологией, окружающей средой, культурой и т. п. на свободу нашего самовыражения. Да, мы устроены иначе, чем птицы и не умеем летать, но это не помешало изобрести летательные аппараты. Но являются ли подобные ограничения детерминацией, «жесткой» и фаталистической, то есть если человеку не суждено летать, то и не суждено испытать чувство полета, если не суждено видеть на большом расстоянии, то тому ничем на поможешь? История человечества свидетельствует как раз об обратном — любое ограничение рано или поздно преодолевается, ибо оно всегда воспринимается как вызов человеческому разуму. Прогресс в области технических изобретений,

⁷ Derrida J. Le supplément de copule // Marges de la philosophie. Paris: Éditions de Minuit, 1972. P. 218.

⁸ Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 114.

восполняющих разного рода ограничения со стороны природы человека, породил веру во всемогущество разума, поэтому любое напоминание о том, что сам разум имеет свои ограничения, которые в частности связаны с языком, часто ассоциируется с «детерминизмом» — самым тяжелым философским обвинением, которое можно выдвинуть против какой-то теории. Ибо наша западная цивилизация, как известно, держится на принципе свободы и автономии человека как мыслящего существа.

Но, говоря о «лингвистическом детерминизме», мы забываем, что язык — тоже продукт человеческой цивилизации, и в частности, продукт мышления. Как все, что создано человеком, он содержит в себе скрытую логику, некую внутреннюю пружину собственного «мышления». В этом отношении язык может быть даже «умнее» тех, кто им пользуется. Стало быть, язык заряжен собственным запасом активного сопротивления, собственной энергией, которая часто сталкивается с «свободной энергией мысли». И ни в коей степени не является простым инструментом, послушным орудием мысли. Если бы это было так, то нам были бы неизвестны муки творчества, связанные с невозможностью передать какую-то мысль, выразить ее словами. Энергия мысли встречает сопротивление языка, но это не пассивное сопротивление неподвижного препятствия (стены), а активное сопротивление другой энергии. Борьба энергии мысли и энергии языка — это борьба, в которой не бывает ни победителей, ни побежденных, — лишь только максимальное сближение этих энергий, а не подавление одной со стороны другой, и дает наилучший результат.

Пафос статьи Бенвениста, с моей точки зрения, состоял в том, чтобы исправить крен в пользу энергии (свободы) мысли, который существовал в его время и продолжает существовать до сих пор. Как известно из механики, чтобы создать противовес уклону, требуется такое же усилие, как и для его создания, то есть необходимо сделать крен в противоположную сторону, чтобы потом уже установилось искомое равновесие. Критики интерпретации категорий Аристотеля, предложенной в статье Бенвениста, оспаривают прежде всего этот, в сущности, тактический крен в сторону влияния языка.

«Какова природа отношений между категориями мысли и категориями языка? В той степени, в какой категории, выделенные Аристотелем, можно признать действительными для мышления, они оказываются *транспозицией категорий языка* (курсив мой. — В. Л.) ... Таким образом, классификация этих предикатов показывает нам прежде всего структуру классов форм одного конкретного языка»⁹.

Против этого вывода Бенвениста, с которым критики и связывают его «лингвистический детерминизм», выдвигается много аргументов — в разной степени справедливых. Ришар Бодеюс пишет: «Высказывалось мнение, что категориальные дистинкции являются обычными лингвистическими дистинкциями, которые к тому же были инспирированы грамматическими делениями, свойственными греческому языку, начиная с существительного (ὀνόματα) до пассивного залога (πάσχειν). Этот тезис не выдерживает критики и никто сегодня не принимает его

⁹ Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 111.

всерьез (курсив мой. — В. Л.). Человек (*ἄνθρωπος*), число (*ἀριθμός*), раб (*δοῦλος*), справедливость (*δικαιοσύνη*), которые попадают в первые четыре “категории” соответственно, являются грамматически четырьмя существительными¹⁰. Справедливость этого единственного критического аргумента, выдвинутого Бодееюсом в пользу своей, скажем прямо, категоричной общей оценки тезиса Бенвениста, вызывает у меня серьезные сомнения. Мне не понятно, каким образом эти примеры опровергают вывод Бенвениста о том, что первые шесть категорий представляют собой именные формы, а последние четыре — глагольные, и что это деление является отражением особенностей греческой морфологии?¹¹ Кстати, другой исследователь Жюль Вюйемэн¹² ставит это в заслугу Бенвенисту. Этот исследователь в пику мнению Бодееюса принимает анализ Бенвениста именно так, как тот того заслуживает — совершенно «всерьез».

Думаю, что некоторый «лингвистический» крен Бенвениста, заключающийся в том, что, основываясь на целом ряде правильных фактов и принципов, которые он открыл в своем анализе, он сделал заключения, не определив ограничения, действующие в их отношении, мог вызвать вопросы и критические замечания. Например, вроде тех, что были высказаны Жюлем Вюйемэном: «из того, что философия заимствует из языка понятия и оппозиции, считающиеся фундаментальными для мысли, законно заключить не только то, что язык предлагает мысли что-то свое, но еще и то, что невозможно помыслить то, что не выражено в слове; тем не менее, из этого не следует, что таблица категорий мысли отражает таблицу категорий языка. Чтобы сделать такой вывод, было бы необходимо показать, что таблица категорий, заимствованных из языка, является также законченной таблицей категорий самого языка. В противном случае, будет осуществляться выбор и, если философ выбирает среди лингвистических категорий, значит его выбор не продиктован исключительно соображениями языка. Именно это и происходит в случае Аристотеля, поскольку невозможно предположить, что структура категорий греческого языка исчерпывающе отражена в таблице Аристотеля. В действительности, он следует логическому сочленению, которое одновременно имеет и онтологическое значение»¹³.

Любое категорическое суждение связано с риском, но в некоторых ситуациях такой риск оправдан. Иначе было бы вообще невозможно высказать что-то однозначно и определенно, ведь практически всякая мысль, более или менее общего характера, неизменно связана с оговорками, ограничениями, исключениями. И довольно часто такая «корректная» мысль принимает столько мер предосторожности, что остается стерильной. Если бы Бенвенист выдвинул свой тезис в более мягкой, «корректной» форме, то вряд ли бы проблема сдвинулась с мертвой точки. Поэтому некоторое усиление и заострение этого тезиса, как показало время, сослу-

¹⁰ *Aristote. Catégories / Texte établi et traduit par R. Bodéüs. Paris: Les Belles Lettres, 2001.*

¹¹ *Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 108.*

¹² *Vuillemin J. Le système des catégories // De la logique à la théologie. Cinq études sur Aristote. Paris: Flammarion, 1967. P. 76—77.*

¹³ *Ibid. P. 77.*

жило хорошую службу как для философии, так и для лингвистики. Именно благодаря этому, собственно, и началось настоящее исследование категорий Аристотеля в перспективе отношений грамматики и философии, языка и мышления. Бенвенист, так сказать, *сенсублизировал* исследователей по отношению к этой проблеме. Правота, равно как и неправота Бенвениста, — это вопрос степени, а не принципа. Если он в принципе прав — язык влияет на мышление, поскольку оно существует только при условии выраженности в языковых формах, то вопрос в том, в чем заключается его влияние и насколько оно определяет мышление? Этот вопрос остается открытым. О степени и о характере влияния языка на мышление и *vice versa* можно спорить.

Обратим внимание еще на одно замечание Бенвениста: «Разрабатывая перечень этих категорий, Аристотель ставил своей целью учесть все возможные в предложении предикаты, при условии, что каждый термин имеет значение в изолированном употреблении, а не в составе *σύνταξις*, то есть, говоря современным языком, синтагмы. Неосознанно он принял в качестве критерия эмпирическую обязательность особого выражения для каждого предиката. Таким образом, сам того не желая, он неизбежно должен был возвратиться к тем различиям, которые сам язык выявляет между основными классами форм, потому что эти классы и формы как раз и имеют языковое значение только благодаря разнице между ними. Он полагал, что определяет свойства объектов, а установил лишь сущности языка: ведь именно язык благодаря своим собственным категориям позволяет распознать и определить эти свойства»¹⁴.

Мы видим, что Бенвенист не исключает возможность чисто философского, а не просто неосознанно лингвистического анализа Аристотеля, то есть он не исключает, что философ может выбирать между разными лингвистическими категориями (ср. критику Вюйемэна), равно как он не исключает, что само обращение к «категориальности» является чисто философским демаршем (ср. Даррида), он обращает наше внимание лишь на тот факт, что невозможно классифицировать свойства вещей, не используя деления и оппозиции самого языка, и что по этой причине классификации свойств вещей могут оказаться классификациями свойств языка, то есть нашего способа рассматривать вещи. Заметим, что эта мысль не требует в качестве своего доказательства обязательного представления всех категорий языка, полной их таблицы (как в критике Вюйемэна).

Можно предположить, что, выявляя тесную связь между системой категорий Аристотеля и древнегреческим языком, Бенвенист тем самым утверждал зависимость между определенным языком и типом философствования, но это лишь предположение. Сам Бенвенист не претендует, насколько я могу судить, на понимание характера философского мышления. Согласился бы он с Ницше в том, что «философы урало-алтайских наречий (в которых хуже всего развито понятие “субъект”) иначе взглянут “в глубь мира” и пойдут иными путями, нежели индогерманцы и

¹⁴ Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 111.

мусульмане)?¹⁵ Обратимся к тексту статьи: «Неоспоримо, что в процессе научного познания мира мысль повсюду идет одинаковыми путями, на каком бы языке ни осуществлялось описание опыта. И в этом смысле оно становится независимым, но не от языка вообще, а от той или иной языковой структуры. Так, хотя китайский образ мышления и создал столь специфические категории, как дао, инь, ян, оно от этого не утратило способности к усвоению понятий материалистической диалектики или квантовой механики, и структура китайского языка не служит при этом помехой. Никакой тип языка не может сам по себе ни благоприятствовать, ни препятствовать деятельности мышления»¹⁶.

Судя по этому высказыванию, Ницше является в большей степени «лингвистическим детерминистом», чем Бенвенист. Трудно найти более яркое подтверждение идеи свободы философского мышления! Похоже, что в теории, когда речь идет об общих принципах, Бенвенист демонстрирует гораздо более сильные антидетерминистские настроения, чем в конкретном анализе категорий Аристотеля. Осуществляя этот анализ, он, как мне кажется, был более близок к пафосу уже процитированных слов Сепфира о том, что философ является жертвой обмана собственной речи.

Мысль Бенвениста, если мне будет позволено резюмировать ее в своих собственных выражениях, состоит в том, чтобы подчеркнуть влияние языка на мысль в определенном отношении — в том отношении, что китайский язык оставляет отпечаток своих категорий (*инь, ян, жэнь, Дао, дэ* и т. п.) на мышлении китайцев, греческий язык — на мышлении греков (*благо, идея, форма* и т. п.), санскрит — на мышлении индийцев (*дхарма, карма, мокша, Атман, Брахман* и т. п.). Однако это не мешает мысли выражать себя на китайском, греческом, санскрите и ассимилировать категории других языков и традиций мысли.

Воплощение этой идеи можно найти в работах современного французского философа Франсуа Жюльена, в которых он, благодаря обходному пути через Китай, показывает, до какой степени западная философия зависела от определенных языковых констелляций и по каким иным путям может пойти мысль, выраженная на китайском языке, как она может обходиться и без понятий субъекта и объекта, и без понятия времени, и без множества других понятий и принципов, казавшихся универсальным достоянием мышления¹⁷.

Это не значит, повторю, что исследование мышления должно сводиться к исследованию внутренней логики связей, выработанной в самом языке, но вместе с

¹⁵ Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 256.

¹⁶ Там же. С. 114.

¹⁷ См.: Jullien F. Le Détour et l'accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce. Paris: Grasset, 1995 (рус. пер. В. Лысенко: *Жюльен Ф. Путь к цели: в обход или напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции.* М.: Московский философский фонд, 2001; Jullien F. Du «Temps». Éléments d'une philosophie du vivre. Paris: Grasset, 2001 (рус. пер. В. Лысенко: *Жюльен Ф. О времени. Философия жить.* М.: Прогресс-Традиция, 2005); см. также: сборник статей, в которых обсуждается концепция Жюльена: Dépayser la pensée.

тем оно не может не учитывать этой логики. В фильме Фредерико Фелинни «Восемь с половиной» герою-режиссеру снится сон — он парит в облаках, но к его ноге привязана веревка, за которую его дергают стоящие на земле люди. В результате он просыпается. Нашу рефлексивность языка можно уподобить этому дерганью за веревку как способу вернуть нас из прекрасного философского сна в более прозаичную реальность.

* * *

В этой части статьи я предполагаю показать, как «работают» идеи Бенвениста в отношении традиции классической индийской философии, созданной на санскрите. Первое, что тут можно заметить, это семейное родство санскрита и древнегреческого, принадлежащих к единой индоевропейской языковой группе. Это дает нам возможность исследовать интереснейший случай, когда, с одной стороны, мы имеем дело с иной традицией, с иными «способностями людей, общими условиями развития культуры и устройством общества» (Бенвенист), но, с другой стороны, с языком структурно схожим с древнегреческим. Вот, стало быть, подходящий случай, чтобы проверить, насколько язык влияет на мышление.

Возьмем в качестве примера одну из самых развитых философских классификаций реальности, предложенных в индийской философской школе вайшешика виднейшим мыслителем этой школы Прашастападой (VI в. н. э.). Она состоит из шести единиц: субстанция (*дравья*), качество (*гуна*), движение (*карман*), общее (*саманья*), особенное (*вишеша*), присущность (*самавая*). Эти шесть рубрик претендуют на оптимальный, то есть одновременно и кратчайший и исчерпывающий список типов существующего. Даже само традиционное название этих единиц классификации «падартха» (букв. «значение слова»), как можно заметить, связано с лингвистической традицией, которая в Индии была, в отличие от Греции, самостоятельной научной дисциплиной, начиная примерно с VII—VI вв. до н. э.). На европейские языки слово «падартха» переводится как «категория» и это действительно категория в смысле классификационного термина (а не в смысле предиката как у Аристотеля).

Вайшешики до и после Прашастапады не принимали участия в многовековых лингвофилософских дискуссиях индийских философов о значении слова. В этих дискуссиях обсуждались две основные опции: значением слова является либо индивидуальная вещь (*дравья*), либо род (или универсалия) — *саманья*. Прашастапада рассматривает свою классификацию *падартх* не как классификацию типов слов и не как классификацию референтов слов, а только как классификацию реальных сущностей. Об этом можно судить по его трем характеристикам *падартх*: «существование» (*аститва*), познаваемость (*джнеятва*) и выразимость в слове (*абхидхейтва*). В соответствие с этими характеристиками можно заключить, что *падарт-*

Dialogues hétérotopiques avec François Jullien sur son usage philosophique de la Chine / Textes recueillis et publiés sous la direction de Thierry Marchaisse avec la collaboration de Le Huu Khoa. Les Empêcheurs de penser en rond. Paris: Le Seuil, 2003.

хи обладают реальным существованием, познаваемы и выразимы в слове. Если бы они были понятиями или словами, то последние две характеристики стали бы избыточными. Таким образом, мы имеем дело с абсолютно ясной и недвусмысленной декларацией онтологического (*надартхи* реальны), эпистемологического (*надартхи* познаваемы) и лингвистического (*надартхи* выразимы в слове) реализма.

Но таблица *надартх*, как можно заметить, не в меньшей степени, чем таблица категорий Аристотеля, отражает некоторые внутриязыковые классификации санскрита, прежде всего это касается первых трех *надартх-дравья* (субстанция), *гуна* (качество) и *карман* (движение), которые соответствуют грамматическим классификациям на имя существительное (*дравья-вачана*), имя прилагательное (*гуна-вачана*) и глагол (*крива-вачана*). Вайшешики считают, что наше восприятие схватывает лишь вещи в их целостности, которая обеспечивается категорией *самавая* (присущность, связывающая воедино качества и движения с их носителями), так что — ни качества, ни движения не постигаются вне их субстратов (*ашрая*) — субстанций. Однако познание вещей связано с разложением их на аспекты, предполагаемые структурой языка, отраженной в определенной терминологии.

Термин *дравья* имеет двойной смысл: с одной стороны, это индивидуальная вещь, сопоставимая с первой сущностью Аристотеля (*proté ousia*), с другой стороны, — субстрат, которому можно предсказать качества и движения; его можно сравнить с субстанцией Аристотеля (*ousia*). Что касается последних трех *надартх*, то две из них тоже косвенно связаны, но, на сей раз, не с языком, а с лингвистическим анализом мышления. *Саманья* и *вишеша* рассматриваются в вайшешике как продукт двух мысленных операций, соответственно, включения предмета в какой-то класс, или подведение под понятие (*анувритти*) и исключения, выделение индивида из класса (*вьевритти*). *Анувритти* (букв. «рассмотрение», «следование за чем-то», «согласие с чем-то», «соответствие чему-то») составляет термин метаязыка Панини, обозначающий «принцип возобновления», или «повторения», согласно которому, термин или правило, упомянутые в той или иной сутре, сохраняют свое действие и в последующих сутрах, до возгласения другого термина или правила. Термин *вьевритти* использовался в грамматике в смысле «препятствия к применению правила», «исключения правила». Только последняя *надартха-самавая* (присущность) не имеет прецедентов в лингвистической традиции.

Как и в случае с Аристотелевскими категориями, мы не можем сказать, что все *надартхи* представляют систему категорий санскрита, но вместе с тем мы ясно видим, что первые три *надартхи* — это способ видеть вещи, который средствами санскритского языка выражается в делении слов на существительные, прилагательные и глаголы.

«Сама природа языка, — пишет Бенвенист, — дает основания для возникновения двух противоположных представлений, одинаково ошибочных. Поскольку язык, состоящий всегда из ограниченного числа элементов, доступен усвоению, создается впечатление, что он выступает всего лишь как один из возможных посредников мысли, сама же мысль, свободная, независимая и индивидуальная, ис-

пользует его в качестве своего орудия. На деле же, пытаясь установить собственные формы мысли, снова приходят к тем же категориям языка. Другое заблуждение противоположного характера. Тот факт, что язык есть упорядоченное единство, что он имеет внутреннюю планировку, побуждает искать в формальной системе языка слепок с какой-то “логики”, будто бы внутренне присущей мышлению и, следовательно, внешней и первичной по отношению к языку. В действительности же это путь наивных воззрений и тавтологий»¹⁸.

Первое из заблуждений, упоминаемых Бенвенистом, которое можно сформулировать как убеждение в том, что язык есть лишь орудие мысли, не имеющее собственной реальности, очевидно присутствует и в учении Прашастапады — этот индийский философ не проводит различия между словом и понятием (идеей). Познавательный акт (*буддхи*), состоящий в контакте познающего субъекта (*атман*), внутреннего органа (*манас*), внешних чувств (*индрия*) и их объектов (*артха*), представляет для него не что иное, как вербальное суждение (именно как «суждение» переводит термин *буддхи* индолог Карл Поттер¹⁹).

Другой аргумент в пользу присутствия у Прашастапады этого заблуждения — его тезис о том, что познание через слово (*шабда*) не конституирует отдельный инструмент достоверного познания (*прамана*), а сводится к логическому выводу (*анумана*) — второй по значимости *прамане* после чувственного восприятия (*пратьякша*). Логический вывод необходим нам в тех ситуациях, в которых мы не способны воспринять объект непосредственно (когда не действует *прамана* чувственного восприятия), а можем лишь вывести его существование на основании воспринимаемого признака этого объекта, например, признака (*линга*) дыма в случае такого объекта, как огонь. По Прашастападе, слово является таким же выводным признаком реальной вещи, как дым — признаком огня. Эта идея является самым ярким выражением принципа корреспонденции (соответствия языка и реальности), сам же он — тоже продукт первого заблуждения.

Что касается второго заблуждения, о котором говорит Бенвенист, то предлагаю рассмотреть следующий текст Прашастапады. Речь идет о втором этапе чувственного познания. На первом этапе вещь и присущая ей универсалия воспринимаются как нечто неопределенное (соответствует *нирвикальпа-пратьякше*, допредикативной стадии восприятия, впервые выделенной буддийским логиком Дигнагой). На втором этапе восприятие приобретает определенный, то есть предикативный характер (*савикальпа пратьякша* у Дигнаги)²⁰.

ПБ [235] В результате контакта *атмана* и *манаса*, в зависимости от «спецификаций» (вишешана) [таких как]: (1) «общее», (2) «особенное», (3) «субстан-

¹⁸ Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 114.

¹⁹ Potter K. H. Encyclopedia of Indian Philosophies. Indian Metaphysics and Epistemology: The Tradition of Nyāya-Vaiśeṣika up to Gaṅgeśa, Motilal Banarsidass. Delhi, 1977. P. 148.

²⁰ О проблеме неопределенного-определенного восприятия см.: Лысенко В. Г. Непосредственное и опосредованное в чувственном познании: Дигнага и Прашастапада // Вопр. философии. 2006. № 5. С. 137—147.

ция», (4) «качество», (5) «движение», возникает чувственное познание [в форме суждения]: (1) «существующая» (2) «являющаяся субстанцией», (3) «(субстанцией) земли», (4) «рогатая, белая корова» (5) «идет»²¹.

Первое, что мы определяем в акте восприятия, — это само существование (*satta*) нашего объекта (коровы), что, по вайшешике, является наиболее общим и всеохватывающим фактором (ср. квантор существования в логике), соответствующим высшей универсалии «существования» — это акт *анувритти*. Но тем же самым мы отличаем нашу корову от несуществующих вещей — это уже акт *вьявритти*. Далее мы постепенно снижаем уровень обобщения (как бы сказал Гегель, движемся от абстрактного к конкретному). Мы понимаем, что объект X есть субстанция (*дравья*), т. е. относим его к категории «субстанция» (*вьявритти*), подразумевая, что он не относится ни к качествам, ни к движениям (*анувритти*). Из субстанций он относится к классу земли (*вьявритти*), а не к классу воды, огня или ветра (*анувритти*), из земляных субстанций он является коровой (*вьявритти*)²², а не лошастью (*вьявритти*), этой корове присущи качества (*гуна*) — белый цвет и рога, а также движение (карман — опять *анувритти-вьявритти*).

Это суждение относится к чисто перцептивным. Прашастапада не интересуется вопросы семантики, он не обсуждает, какое значение имеет то или иное слово или предложение в целом. Главное здесь — схема перцептивного акта, который рассматривается как спецификация через познавательные операции включения-исключения (*анувритти-вьявритти*) некоего объекта — бегущей белой коровы. В терминах вайшешики это называется предидецированием спецификаций (*вишешана*) специфицируемому (*вишешья*). Прашастапада показывает нам, что пять *надартх*-категорий — общее, особенное, субстанция, качество и движение — составляют сетку спецификаций (*вишешана*), которая структурирует чувственное познание²³. Но есть еще и шестая категория — *самавая*, или «присущность». Она призвана объяснить, почему в реальном опыте мы имеем дело не с отдельными категориями: субстанциями (*дравья*), качествами (*гуна*), движениями (*карма*), универсалиями (*саманья*) и предельными особенностями (*антья-вишеша*), а с целостными вещами, в которых категории выступают лишь как отдельные, но взаимосвязанные аспекты. В данном примере *самавая* объясняет, как вся эта сложная схема восприятия связана с одним-единственным объектом — коровой: все универсалии, начиная с существования (*самта*), кончая «субстанциальностью» и «земляностью»,

²¹ См.: Прашастапада. «Собрание характеристик категорий» с комментарием «Ньяякандали» Шридхары / Пер. с санскрита, вступит. раздел, историко-философский коммент., примеч., библиогр. и индексы В. Г. Лысенко. М.: Вост. лит., 2005.

²² К продуктам субстанции земли вайшешики относили все, что находится на земной поверхности и имеет запах. См.: Лысенко В. Г. Универсум вайшешики. М.: Вост. лит., 2003.

²³ Если попробовать перевести этот анализ в семантический план, то мы получим следующую картину. Поскольку наш объект (корова) существует, мы можем употребить слово *sat*, значением которого является *самта* (универсалия существования), поскольку он является субстанцией, употребить слово «субстанция», значением которого является «субстанциальность» и так далее.

равно как качества и движения суть свойства (*дхарма*), которые связаны с коро-
вой — их носителем (*дхармин*) отношением присущности.

Такому же «категориальному» структурированию можно подвергнуть позна-
ние любого явления. Но это не значит, что категории существуют лишь как позна-
вательные схематизации. С точки зрения Прашастапады, они работают как позна-
вательные схематизации лишь потому, что существуют в реальности. Именно так
и происходит то, о чем говорит Бенвенист, — обнаружение в языке логики, будто
бы присущей самой реальности. В этом тексте Прашастапада делает не что иное,
как «вчитывает» падартхи в структуру реальности.

The Smell of the Cage¹

Robert K. Englund
University of California, Los Angeles

It may seem less than remarkable to many observers of the advancing civil rights movement in the United States that, in November of 2008, citizens of this country elected a black man to the office of President. Barack Obama is not personally descended from African slaves; still his ascension to the highest elective US office, despite the lingering liability of his skin color, represents a true benchmark in a sordid history of abuse that is intimately related to the European pillage of the New World. The history of European enslavement of Africans for the purpose of forced labor in transatlantic colonies describes a cultural atrocity whose flames burned brightly in the American South, but, we might note, longest in Brazil, where, beginning in the 16th century, hard labor in sugar cane production and mining operations was transferred by the Portuguese from the deteriorating indigenous slave populations into the hands of imported Africans. Here as in other New World colonies, slavery well outlived its abolishment in Europe—in 1761 in Portugal,² or with the Slave Trade

Act effectively frozen in the British Empire in 1807 until its eventual prohibition in 1834.³

The US followed Britain in the abolition of the slave trade in the early 19th century,⁴ but retained legal ownership of slaves, in the Confederate states until Lincoln's famous Emancipation Proclamations of 22 September 1862 and 1 January 1863, finally banning all forms of slavery with adoption of the 13th Amendment in

whose labor resulted in no collateral costs—housing, clothing, rationing while sick or during off seasons—whatsoever. Cf. conveniently Schwartz 1996; Pang 1979; Conrad 1973. In an act of “national reconciliation,” many of Brazil's slavery records were burnt following a 14 December 1890 order of the then Minister of Finance, Rui Barbosa.

³ The parliamentary “Act for the Abolition of the Slave Trade” prohibited slave *trade* in the British Empire, but not slavery, that would remain legal for another 27 years, in some parts of the kingdom longer. The act levied fines of £100 for each offence, that is, for each slave found to be in transport by British-owned ships. Ingenious captains did not simply transfer their flags to those of Spain, but when cornered by the Royal Navy, were reported to have dumped their “cargo” at sea (P. S. Foner 1975: 120-122).

⁴ The law passed on 2 March 1807 in the US went into effect on 1 January 1808, but was rarely enforced (cf. Franklin and Moss 1994: 90-92). It has been conjectured that the prohibition of the slave trade by the UK, and then other European nations and the US, led to the institution of slave “breeding stations” in Virginia and elsewhere in the South. The breeding of slaves, however, was already attested in the late 18th century, due to the rapid expansion of slavery in southern plantations, and to the limited stocks of African slaves entering American ports (Franklin and Moss 1994: 114-120). This chapter of abuse is not well understood and based for the most part on anecdotal histories. But certainly the rapid expansion of slave populations in the US, easily seen in the US census reports beginning in 1790, demonstrate that owners were not repressing pregnancies, and were probably actively promoting them.

¹ The following is the revised version of a paper presented at the conference *Origins of Early Writing Systems*, held in Beijing in October of 2007. *Origins* was funded by the CAENO Foundation, New York, and organized by the Department of Near Eastern Languages and Civilizations of Peking University. I am grateful to Henry Zemel, Yushu Gong and Yiyi Chen for their kind support before and during that meeting. Otherwise unpublished (proto-)cuneiform texts will be cited in the article according to persistent URLs assigned the texts upon entry to the Cuneiform Digital Library Initiative in the form <<http://cdli.ucla.edu/P005573>>. Publication of the texts will thus not alter this pathway. Abbreviations of text publications follow <http://cdli.ucla.edu/wiki/doku.php/abbreviations_for_assyriology>.

² 12 February 1761, signed by ‘Minister of the Kingdom’ Sebastião José de Carvalho e Melo. Slavery was abolished in Brazil with adoption of the Lei Áurea (“Golden Law”) signed in 1888 by Princess Isabel. As elsewhere, a strong incentive to commit to this act of manumission was that slavery was simply *not profitable* compared to the depressed wages paid poor European immigrants

December of 1865. Approximately four million black slaves were freed by July of 1865,⁵ but, as post-war federalism would play out, freed into the very uncertain future of Reconstruction that eventually failed them, and rewarded the intransigence of secessionist Southern states. By 1877, with the final withdrawal of federal troops in a kowtow by the US president, Hayes, to advocates of “states rights,” all Republican state governments were replaced by Democrats who instituted a system of segregation and poll taxing that effectively disenfranchised recently freed black men. This was, however, as the history of southern paramilitary organizations comprised of former Confederate soldiers demonstrated, not the most pressing existential distress of blacks in the post-war United States; still, poll taxes and other means of intimidating blacks, including the Jim Crow laws passed by the Democratic state legislatures, were an infection of the US body politic that held through the freedom marches of the 1960’s and beyond—the 24th Amendment, ratified in January of 1964, finally abolished poll taxes, and the Civil Rights Act passed in July over the Senate filibuster led by Southern Democrats, one month before Obama’s third birthday. The best chronicler of the Southern experience with Reconstruction and the succeeding Confederate resurgence is William Faulkner, from whose *Go Down, Moses* this paper’s title is borrowed:

The Sam Fathers whom the boy knew was already sixty—a man not tall, squat rather, almost sedentary, flabby-looking though he actually was not, with hair like a horse’s mane which even at seventy showed no trace of white and a face which showed no age until he smiled, whose only visible trace of negro blood was a slight dullness of the hair and the fingernails, and something else which you did notice about the eyes, which you noticed because it was not always there, only in repose and not always then—something not in their shape

*nor pigment but in their expression, and the boy’s cousin McCaslin told him what that was: not the heritage of Ham, not the mark of servitude but of bondage; the knowledge that for a while that part of his blood had been the blood of slaves. “Like an old lion or a bear in a cage, he was born in the cage and has been in it all his life. He knows nothing else. Then he smells something. It might be anything, any breeze blowing past anything and then into his nostrils. But there for a second was the hot sand or the cane-break that he never even saw himself, might not even know it if he did see it and probably does know he couldn’t hold his own with it if he got back to it. But that’s not what he smells then. It was the cage he smelled. He hadn’t smelled the cage until that minute. Then the hot sand or the brake blew into his nostrils and blew away, and all he could smell was the cage. That’s what makes his eyes look like that.”*⁶

One might wonder where Sam Fathers got his name. He was described as part Chickasaw (his biological father), part African and part European (his quadroon mother), but his name derived from “Sam (Had-Two-)Fathers,” since his mother had been married off to a black slave before his birth. Such personal name etymologies (“anthroponomastics”) can form a vital part of social and linguistic research where source material is scarce. Genealogical research has always enjoyed a high degree of interest among informal learners in the United States, in particular of late among descendants of more recent European immigrants whose family records, though now much better searchable online, often end with the Ellis Island Online Database of New York passenger lists.⁷ With increasing digitization and networking of birth, marriage and death records from foreign organizations, including most importantly churches, we may expect in the near future to enjoy the capability of tracing, from our home computers, the lives of ancestors reaching back several centuries, and thus add to our family histories dimensions we had imagined long lost. Onomastic resources that might assist in charting the history of the African slaves imported into the Americas, however, are very meager indeed, and not likely to ever be recovered. For another indignity imposed on slaves arriving in the harbors of the New World was the stripping of their names, and the assigning of new ones by their masters.

⁵ The 1860 census counted 3,953,760 slaves in the Union. At this time, the slave populations of Mississippi and South Carolina easily surpassed those of free men (434,696 vs. 354,699 and 402,541 vs. 301,271, respectively), though with Virginia in the lead throughout the 19th century in total numbers (1860: 490,887 slaves). Though an abbreviated report due to political turmoil, the 1860 cartographic representations of the Census bureau did serve Union commanders with vital information concerning the populations—white and black—they would expect to encounter, the location of transportation routes, and even the crops they could count on to feed invading troops. See the historical resources of the US Census Bureau at <<http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/>>.

⁶ “The Old People,” in: *Go Down, Moses* (ML 1942 p. 167).

⁷ <http://www.ellislandrecords.org/>. Online genealogical resources are growing, with the Mormon site *Family Search* (<<http://www.familysearch.org/>>), *Ancestry.com* (<<http://www.ancestry.com/>>), and *GenealogyBank* (<<http://www.genealogybank.com/>>), among the better known current services.

Recent research conducted on ship rosters has shown us that transatlantic slaves' names were not included, but rather just numbers, age, and gender of individuals, much as we might expect in the stock car transportation of cattle to market.⁸

And in no less dehumanizing a fashion, slaves sold into the chattel possession of plantation owners of the South were renamed willy-nilly, with no reference to practice in their African homeland (as fragile as this practice may have already been in African communities, where names often changed following important events in the individuals' lives). Many black Americans thus today carry the European names of or assigned by their former owners, of their trades or of any of a number of other associations from their descendants' past in the Americas, including new names chosen by emancipated slaves, but very rarely the names of their African past.⁹ Aside from the educational and social value a full

reckoning of displaced Africans in the Americas would represent to the descendants of slaves, it is not difficult to imagine the geo-linguistic value such rosters would

⁸ Curtin 1969 is the first attempt at a more systematic compilation of data documenting this trade from both East and West Africa via European ships to the Americas ("triangular trade"). Curtin concludes that the bulk of the trade went to the tropical Americas (from Brazil up through the Caribbean) and that relatively few slaves (ca. 5% of the total from Africa) entered North America. The ambitious *Trans-Atlantic Slave Trade Database* sponsored by Emory University and directed by David Ellis and Martin Halbert (<<http://slavevoyages.org/>>) combines ship rosters with historical annotation with the market accounts, often anecdotal, available to earlier historians, and will fill in many of the gaps noted by commentators on Curtin, including testing Curtin's hypothesis that slaves in the US enjoyed a much higher rate of survival than did their counterparts to the south, given census numbers of the mid-20th century. African names of these slaves remain hard to come by. Only in the case of repatriation or legal challenge following the British Slave Trade Act of 1807 were slave cargoes recorded according to African names. These name rosters are the subject of further research by the Emory-led team (see <http://slavevoyages.org/tast/resources/slaves_faces/>).

⁹ A helpful general overview of naming practices, as is to be anticipated highly dependent on the particular language and culture of the naming owners, is offered by Miller and Smith 1997 s.v. "Names." Thus, slaves imported to the US from Spanish or Portuguese speaking colonies in the Caribbean often retained (first, but seldom sur-)names drawn from those languages, where slaves from Jamaica or Barbados carried common English names. In many cases, owners drew names

from ancient history or the Bible, evidently trying to keep individuals identifiable. See Berlin 2003: 73; he cites, pp. 57-58, Chesapeake plantation owner Robert Carter, writing to his overseer in 1727: "I name'd them here & by their names we can always know what sizes they are of & I am sure we repeated them so often to them that every one knew their names & would readily answer to them." The correspondence and papers of "King" Carter dating from 1701-1732, including transcribed inventories of slaves, have been made available by the University of Virginia at <<http://etext.lib.virginia.edu/users/berkeley/>>. For instance, Falls Quarter, located in King George County, listed 24 slaves, among them "Negroes: Sam Foreman, Grace his Wife, Gowin a boy, about 7 years old, Tomboy, about 3, ditto; Bristo a Man, Beck his Wife, Robin, about 6 Ditto, Ben, about 3 Ditto," etc., going on to record horses, hogs and cattle in precisely the same format, though without personal names. In similar fashion, Ball 1999: 98 describes the 18th century purchase of three slaves in Charleston, South Carolina, with succinct records: "1721 – Bought: Fatima, Hampshire, Plymouth." While the motivation for naming one of them "Fatima" is open to discussion, the names of the second and third slaves in this record surely derived from favored place names of locales (county, city) near the native Devon of the buyer, Elias Ball. This is not the place for a full discussion of terminology employed by slave owners in the South to qualify their chattel work force according to labor capacity; but I mention in passing that we have ample description of the "hand" terms applied to African slaves. As F. L. Olmstead 1862: 246 has described this system, "The field-hands are all divided into four classes, according to their physical capacities. The children beginning as "quarter-hands," advancing to "half-hands," and then to "three-quarter hands;" and, finally, when mature, and able-bodied, healthy and strong, to "full hands." As they decline in strength, from age, sickness, or other cause, they retrograde in the scale, and proportionately less labor is required of them. Many, of naturally weak frame, never are put among the full hands. Finally, the aged are left out at the annual classification, and no more regular field-work is required of them, although they are generally provided with some light, sedentary occupation" (cf. further Blackburn 1997: 467). Olmstead goes on to describe labor production norms employed, in plantations of eastern Georgia and South Carolina, to chart tasks of field gangs, for instance foreseeing the excavation of 1000 cubic feet of clear meadow soil per full-hand workday, etc.—all in uncommon parallel to worker categories and workday norms that were the ba-

bring to research on the African diaspora.

The destinies of slaves and the recording of slave names can be followed back much further in recorded history than most suspect. In particular the role of slavery in early state development assumed a central role in historical discussions of 3rd millennium Mesopotamia that took place among close colleagues of the scholar celebrated with this volume.¹⁰ I am honored, as a sign of

sis of Ur III labor accounts (the Gullah scholar L. Turner 1949: 283 offers the following: "They have three class: whole hand, and three-quarter, and half hand. The task-row length is thirty-five feet long. That's thirty-five feet long-task-row length. The breadth of the task—that the widest of the task cross and cross—is twenty-four bed. This carry twelve row each side. [They] call that one task. Now, these whole hand have to do two task of that one day for day's work. That's the whole hand, now. Not a row must [be] left. The three-quarter hand must do one of those whole task and a half. That's his day's work. The half hand shall do one of those whole task, and that is his day's work. That was the way they had them fix" [and see there Appendix H for a Gullah transcription of the Wadmaw Island, South Carolina, informant's text]; cp. Englund 1991). How slaves named their *own* children, so far as they retained some control of them in an American market heated by increasing values, is often unclear, but was also customarily tied to the names of previous owners, or of the owners of their ancestors. Creoles did retain some vestiges of their African past, though as a rule in names reserved for private, not public and thus not documented use. See generally Turner 1949. As has been amply noted, the name "Barack Obama" bears clear witness to the Kenyan Luo heritage of his father.

¹⁰ Dandamaev 1984: 30-35 and 67-80, offers a review of the history of philological and social-historical research of Babylonian slavery. The difficult terminology of slave trade and exploitation played a central role in debates conducted mostly in the 1930s and 1960s, debates as to the social status of dependent laborers known in 3rd millennium cuneiform texts as *guruš* (males) and *geme₂* (females), and organized in labor troops under the strict control of state foremen. See Struve 1947 and 1969 (engl. translation of a 1949 article). In the 1960s, I. M. Diakonoff and I. J. Gelb opposed the more stringently ideological views of Struve in his application of Marxist formation theory to the particularly Mesopotamian variant of state and empire evolution ("Asiatic mode of production"), including his presumption that Ur III laborers were chattel slaves. In a series of articles, they proposed a more pluralistic model of late 3rd millennium social structure in Babylonia, with only slightly varying

my gratitude for his intellectual generosity and his genuine personal warmth, to dedicate my paper to Vyacheslav Ivanov, whom I discovered at UCLA later than I would have wished, but to whom I have stuck like glue since. While the two of us have had occasion to discuss the linguistics of Babylonian onomastics, I have never compiled for his consideration a list of designations of slaves from early Mesopotamian texts. I hope that the slave names offered here, while, at least to my understanding, not credibly to be connected to any known Babylonian languages, will serve as a basis for further discussions with him.

It is understandable that earlier research on slavery in ancient Mesopotamia has concentrated on those periods best reflected in the inscriptional record. While most popular histories cite references to slaves and slave prices culled from the famous Babylonian law codes, certainly it is the documentation from legal contracts on the one hand, and from administrative accounts on the other, that offers the best evidence of the day-to-day existence of slave populations and their overlords. Historians are not entirely clear as to what constitutes chattel slave property, nor in many cases what the social, political or military environments were within, and beyond Babylonian borders that led to the enslavement of often large numbers of individuals. I would like to present here what little I have been able to gather from recent work on what I believe are personal names of slaves in proto-cuneiform documents dating to the Late Uruk period, ca. 3350-3000 BC, many of which derive from irregular excavations and are thus unproven. Indeed, without the rich resources of the Nor-

opinions about the status of the large numbers of laborers organized in Ur III labor gangs. See, for instance, Diakonoff 1969 and 1976; and Gelb 1965 (particularly pp. 238-241), 1967, 1971, 1972, 1973, 1979, 1982a. Further, Pecřrková 1979; V. Afanasieva et al. 1968; Melekišvili 1974; Komoróczy 1978; Brentjes 1987, 175-180; and Westbrook 1995. Englund 1990: 63-68, basing his argument above all on accounting practice, comes down on the side of Diakonoff that there was little difference in practice between the state-organized system of labor (characterized by the terms *guruš* and *geme₂*) and household chattel slavery, in which male slaves were designated with the sign ARAD₂ (in lead lines of contracts of sale often *sag nita₂*) female slaves with the same *geme₂* (in contracts of sale often *sag munus*) The chief difference would be that chattel slaves in 3rd millennium Mesopotamia were freely marketable, while laborers in state servitude were not. See more recently B. Studevent-Hickman 2006; Koslova 2008.

wegian Schøyen Collection made readily available for study by its owner, our current harvest of, at minimum, 440 personal names, would be reduced to a statistically insignificant 38.¹¹

¹¹ Assyriologists have taken a lot of flak recently, above all from members of the archaeological community, for their determination to publish and discuss all ancient cuneiform texts, with no regard to their immediate provenience. Thus the American Schools of Oriental Society, and the German Archaeological Institute, are currently restricting the publication of inscriptions that derive from recent antiquities market activity. Despite these roadblocks in scholarly communication and very possibly worse, most will agree that it is incumbent upon researchers to seek and exploit all avenues of evidence relevant to their work, but to condition the information derived from sources of varying reliability. Regardless of the irregular origin of many, indeed most cuneiform tablets in public and private collections, specialists are, based on a number of factors, well able to date, and even place in rough geographical locale, these unprovenienced documents, and are therefore able to judge their value in their own research. In the matter of the decipherment, or we should say the description and interpretation of proto-cuneiform, archival locus of text artifacts has in fact played no more than a passing role, insofar as the great bulk of texts derive from regular excavations of Uruk, and as these texts came exclusively from secondary, even tertiary *ancient* context. They had been discarded in antiquity and, together with the other detritus of administrative households, used to level depressions in underfloors, to fill mud-brick-faced walls, and so on. The private Schøyen cuneiform collection consists of a very substantial number of artifacts, with an over-representation of Old Babylonian and of Late Uruk period texts. The owner was fairly decided in his purchases in acquiring high-impact texts, with a representation of literary, epistolary and mathematical documents that far outweighs their percentage of a normal set of excavated texts. The first two editions of these texts appeared in 2007 (Friberg 2007; Alster 2007). Together with a small number of Ur III administrative texts published by in Owen and Mayr 2007 (nos. 1514-1526), two Gilgamesh witnesses published in George 2003 (vol. 2, p. 7, MS 2652/5 and pp. 8-9, MS 3025) and various other texts published before they were purchased by Schøyen, these editions amount to just under 200 published exemplars, a small fraction of the full collection. The remainder, including my own volume of the Late Uruk collection, are being prepared for publication under the general editorial supervision of Andrew George of the University of London. There can be little doubt but that the historical and linguistic content of this collection rivals that of most national

We should be clear that much that has been proposed in the identification of laborers in the eras prior to the fully historical Early Dynastic IIIb period (pre-Sargonic Lagash, ca. 2500-2340 BC) is highly speculative, necessarily based as it is on analogies drawn from later periods. Thus it seemed reasonable, in the absence of countervailing evidence, to attach the semantic field of “slave” or “dependent laborer” to graphic precursors of characters known from Ur III and ED IIIb accounts to represent slaves or dependent laborers. The sign *game₂* (“female slave”) appears in ED IIIa texts (Fara period, ca. 2600 BC) in a form slightly different from that known in the pre-Sargonic Lagash texts (“SAL×KUR” vs. SAL with the three Winkelhakens of the KUR sign spread out to its corners; see figure 2), itself the precursor of our conventional form of *game₂* composed of the element SAL followed by KUR.¹² This component KUR of the compound sign has in all discussion of *game₂* been considered a geographical qualifier, thus literally “mountain-woman,” where, with ample textual justification, the chattel slaves of early Babylonia were believed to have been purchased, or taken, by force or threat of force, from the mountains, or more generally

collections on earth. But even if it consisted entirely of mundane copies of long-known literary compositions, it seems to me the ethical imperative of specialists to fully document the texts’ content, and to communicate their findings to the scholarly community as well as to the general public. Those who are *not* prepared to utilize all sources in their research, including texts available to us through private collections, and certainly those who would presume to limit the access or use in scholarly communications of unprovenienced sources, as has begun to happen with submissions even to such politically neutral editorial boards as those that oversee the publication of papers on the *history of mathematics*, may want to reconsider the professional choices they have made in their lives.

¹² Cf. the forms a-c in the paleographical table compiled by Gelb 1982a: 98. Only the text *WF* 93 obv. ii 1 attests the sign in clear semantic relationship with the male counterparts *guruš* in the ED IIIa period. This ED IIIa period sign form was retained in Nippur into the Old Akkadian period (see, for instance, *TMH* 5, 28 i 7-8 and rev. i 2; 44 rev. ii 4; *OSP* 1, 23 vii 5; 1, 139 ii; but also the conventional form of other Old Akkadian sites, with exceptions in Nippur [cp. *OSP* 1, 41 obv. ii 1, and s. *OSP* 1, 25-27; *OSP* 2, 84 [onion archive] i 2), in Isin (*BIN* 8, 39 obv. ii 9 [and 66 obv. 8?]) and Adab (*OIP* 14, 56 obv. ii 7) through ED IIIb. The ED IIIb form



Figure 2: Paleography of *me*₂

names for elements that may support, or by their absence tend to hamper an identification of the language of our earliest cuneiform scribes.

The discussion about the “Sumerian question,” that addresses the linguistic affiliation of these archaic scribes, continues, at least in my mind, and has taken a rough edge of late, the more so with publication of the 2003 Leiden Rencontre volume that made no credible advances in the now fairly stale list of “proofs” that Sumerian phoneticisms, or even number words, were a clear element in Late Uruk documents.¹⁸ The lines of sign

176-181.

¹⁸ The RAI section organized by G. Whittaker in Leiden and published in van Soldt 2005 (*Ethnicity in Ancient Mesopotamia*; s. the Tuesday, July 2nd program, p. 452), was ostensibly devoted to the debate concerning phonetic glosses and other language clues in Late Uruk texts (thus not to be confused with the “Sumerian problem” debate that, at the turn of the 20th century addressed the question of whether Sumerian represented a real language at all). Two papers, one by the organizer (van Soldt 2005: 409-429) and one by G. Steiner (van Soldt 2005: 340-355; Steiner’s statement p. 345 that “all words transmitted in a “Sumerian” context are, independent of their structure, to be understood as “Sumerian” until they have been unambiguously assigned another language” [translation mine], does place skeptics at a distinct disadvantage!) were informed, and informative. (An important third paper offered by J. C. Johnson [“Complex graphemes in the proto-cuneiform corpus and the problem of phonological reconstruction”] unfortunately did not make it to press in this volume, and will be published elsewhere.) However, the papers, and I will assume the presentations by G. Rubio (van Soldt 2005: 316-332) and C. Wilcke (van Soldt 2005: 430-445) were neither. To be clear, and since both authors expended some effort in responding to points I and others have made in the past concerning the all too marked willingness of Assyriologists to declare the question of the linguistic affiliation of Late Uruk scribes resolved in favor of Sumerian, I have always professed simple agnosticism in the matter and have attempted to keep a running tally of lines of evidence that may be cited on one side or the other. To satisfy Rubio’s untoward sensibilities, I am happy to retract my modest

analysis that have accompanied this research are fairly

spoof equating Sumerian culture with Early Dynastic plano-convex bricks (van Soldt 2005: 321-322 and 325; I have otherwise restricted mention of this matter to my classes, where I make clear to those who do not know their history of cuneiform studies that the butt of the half-jest is the long-deceased Stephen Langdon, who, in Langdon 1931: 595, remarked that plano-convex builders of the ED periods may have represented the “recrudescence of the indigenous [=pre-Indo-Sumerian] civilization” of Mesopotamia). Even a passing remark in *OBO* 160/1, 81 n. 170, about qualifier-noun sequences in archaic lexical lists that seemed inconsonant with Sumerian led to an extended discussion by Rubio of ambivalent word order in a list, the pig list, that may be no lexical list at all—with no mention whatsoever of the pertinent compositions I was referring to, especially “Animals” (Englund and Nissen 1993: 89-93) and “Vessels” (Englund and Nissen 1993: 123-134) with a high level of consistency in the use of qualifier-noun sequences. Rubio states that I argue “that the so-called “Pig List” constitutes the best example of this word order” (van Soldt 2005: 322), and directs the reader to n. 350 (about color qualifications in archaic lists) of my publication instead of n. 349, which is the only reference I make to a possibly qualifier-noun word order in Late Uruk texts, citing specifically textile entries of the “Vessels” list. But that comment was only offered as a footnote remark recommending a possibly rewarding review of sign sequence in pre-ED IIIb texts that has in my opinion too facetiously been described as “unordered.” The apparently consistent order GAL-NOUN and NOUN-TUR in both scholastic and administrative archaic texts (for instance, Lu₂ A ll. 35-36 [Englund and Nissen 1993: 76], and Nissen, Damerow, and Englund 2004: 74 to nos. 6 and 11), quite aside from a number of other considerations about Uruk order of ideograms and numerical signs, might further interest those who are curious about such things. Such research as is demonstrated by Rubio in this volume is not rigorous, and possibly worse. His efforts, after all, were focused on insulting the organizer of the RAI section rather than adding anything new to the debate, or non-debate, however competing proclivities move the audience. Wilcke on the other hand should, in his contribution to *Ethnicity*, have known better than to open a discussion, in this case of numerical notations and number words (“das Sexagesimalsystem als sprachliches Phänomen,” roughly van Soldt 2005: 431-439), that he enlivens in ways that may be entertaining to some, but bothersome to others, and that in no way contributes to the question of Sumerian origins. We may leave aside the fact that he demonstrates limited command of the terminology of numeracy, to give a kind turn to some of his comments; and that he adds little to, and may rather subtract from

straightforward. In the first instance, a rebus use of discrete signs (for instance, the words for “arrow” and

previous analyses of the numerical notations in the 3rd millennium texts he cites (to his unique reference of an n-final reading of 7(geš₂) in Ukg 4 vi 6 etc., we add the multiple instances of 2(geš₂)-am₂ from administrative Ur III texts, and we note such potential anomalies as 1(geš₂u) = /nur/ or even /sar₂u/ in *MVN* 13, 343 obv. 3). For instance, the ED IIIb royal inscription Ent 35 iv 4 (cited Wilcke in van Soldt 2005: 436) is of unclear, possibly brick metrology, certainly followed by bitumen capacity (/Ukg 7 ii¹ 3-4; what is geš₂.d’ušu?); and his interpretations of Ent 28-29 A ii 25 and iv 11 are conventional and certainly incorrect (p. 436, and including the Lagash II text Gudea Star B [p. 437, corrected in addendum, p. 444]) and best viewed as simple šar₂ gur = guru₇ on the one hand, as 4 šar₂u gur = 40 guru₇ on the other. He should, further, withdraw most of the comments dealing with early numerical sign paleography, for instance van Soldt 2005: 437, n. 23 and n. 25, that are either wrong or hackneyed; frankly, an article by an expert on the subject of sexagesimal notations, J. Friberg (Friberg 2005 with very substantial literature), should be substituted for his remarks, van Soldt 2005: 438-439, on ED IIIa-Old Akkadian mathematical texts. When in all of this the author gathers up a bundle of large 3rd millennium numerical notations, and assiduously assigns Sumerian readings to each, thus “proving” their Sumerian origins, we are left to wonder what lines of logic are being proposed. Such reasoning is, in the end, no more credible than is the now standard means of demonstrating phonetic glosses in proto-cuneiform by attaching Sumerian readings to elements in complex signs, derivatively assigning semantic meanings to the base sign, and then citing the semantic root to justify use of the gloss. The prime example of this practice is the ubiquitously cited ama < GA₂×AN (AN = am₆), for which no evidence whatsoever has been heretofore cited from texts that this complex sign refers to “mother,” Sumerian ama. We would most expect this use to show up in personal names, but the sign’s rare occurrences in the appendix below (IM 134762 i 2: AMA₂ ZATU628_b N₄, <<http://cdli.ucla.edu/P005573>> obv. ii 1.b9: AMA₂ AN EN₄; *MSVO* 1, 212 obv. i 4.b3: 「AMA₂」 ERIM₃ MUŠEN MAŠ, ii 1.b: 「AMA₂ MUŠEN MAŠ KI ZATU694_c GI⁷」) give no indication of meaning “mother,” nor is the sign AMA₂ the variant (AMA_b = GIS×AN) that does appear to represent “mother” in the succeeding ED I and later periods (a search through CDLI files will demonstrate that these are syntactical and not just orthographic variants, with a significant shift in context and frequency across the period from Uruk III to ED I-II; for the record, I note one potential instance of AMA_a = “adult woman” in <[“life” are homophones in Sumerian, where as in the example below, if correct, the arrow pictogram is more likely to represent “life” than “arrow” or some other homophonic word\). There are precious few proposed pairs in this vein of attack, although we would hope that with improved access to all Late Uruk texts interested scholars would perform more systematic searches.¹⁹ Second,](http://</p>
</div>
<div data-bbox=)

www.cdli.ucla.edu/P387752> obv. 1b1a; collation needed of a notation that appears to read 2(N₁₄) GI₆ AMA_a, “20 black AMA_as”[?]). Instead of citing elsewhere in the paper various correct interpretations, or justifiable speculations by Friberg, Wilcke should rather defer to him entirely. It is difficult to locate anything in the rest that deserves our attention, perhaps excepting the fanciful notion that we might attach number words to Uruk V period clay tokens (van Soldt 2005: 439; the author, pp. 441-443, trumps all earlier speculation by transporting *Akkadian* glosses back to the Uruk IV period Lu₂ A list, and in a short excursus pp. 434-436 resolves, to his own satisfaction, a half century of theoretical discussions among historians of science on what constitutes abstract number in Mesopotamia). We must leave to Wilcke and M. Krebernik the determination of the ultimate source of Late Uruk GAL = /gal/ referred to in our list below (under NUN.ME = abgal), for which see van Soldt 2005: 444, with n. 56 citing Krebernik in Gerber, Ehlich and Müller 2002: 64 n. 4 (and cp. Krebernik in Streck and Weninger 2002: 1-2, n. 1; Krebernik 2007: 43 n. 19). In an uncommon sign of polygenesis, this identification even landed in Glassner 2000 (s. Englund 2005: 114).

¹⁹ I have been thinking about the apparent use of the SLEDGE sign GURUŠ to represent workmen (opposed to SAL) in the text *MSVO* 1,1, with which one of the participants of the University of Peking conference, Jerry Cooper, has confronted me in past, and, as we shall see, of the sign AL to represent apparent adult humans, consonant with later Sumerian AL = maḥ₂ (it should be noted that the sign MAḪ in the archaic texts was identified in Green and Nissen 1987 only according to graphic similarity with the sign maḥ of later periods, following Falkenstein 1936: sign no. 649, and that the sign maḥ is attested first in the ED IIIa period with both readings maḥ and al₆. MAḪ has not been identified in texts from the periods ED I-II, and AL in those texts does not occur in the same context as in the archaic texts). We might imagine a language in both cases with homonym pairs SLEDGE = FIELD-HAND and HOE = ADULT-SLAVE (unless this means simply “hoer”). The remarks of Steinkeller 1990: 22, based on the differentiation of KAL/GURUŠ in the ED IIIa corpus (GURUŠ a strict rectangle, KAL a rectangle with an angled line at the right, thus more graphically similar to the rounding of archaic GURUŠ and the graphic precursor of later kal/

we might expect to discover the use of phonetic rather than semantic values of signs (see the instance of "su_x-pa" below). Third, and most often seen, specialists will attempt to isolate use of phonetic glosses attached to logograms in some way (best known are instances of such phonetic glosses inscribed within sign frames, but also simply near to the sign of reference). This strategy considers the possible combinations in complex graphemes to include semantic element + semantic element (uninteresting for language identification), semantic element + phonetic element (interesting but difficult to identify), or phonetic element + phonetic element (very interesting, and very difficult to identify). I list below a selection of the multivalency proposals made heretofore on Sumerian phonetic signs,²⁰ together with possible instances of iteration common to Sumerian orthography, and the proposal of M. Powell²¹ that the uniquely sexagesimal structure of Sumerian number words offers proof that Sumerians invented proto-cuneiform, where sexagesimal notations are amply attested in the earliest texts. In this regard, we should note the examples of multivalent sign use cited from the other pristine writing systems, Egyptian (with its key example of proposed b3-st for the place name (per)-bastet, "(house) of the goddess Bastet"²²), Chinese and Mayan. I have set off in bold those candidates for Sumerian in the archaic texts that appear interesting, although of these only the very poorly attested *šabu* carries real conviction.

guruš), may not have accounted for the application field of GURUŠ in Uruk III, where it combines with SAL in parallel to KUR₄ (cp. in particular *MSVO* 1, 1, and *ATU* 5, pl. 66, W 9579,ac), thus demonstrating a good fit with later GURUŠ/GEME₂ and ARAD₂/GEME₂). Since "KAL_a" occurs only in the archaic Tribute List as a qualifier of cows, and given its graphic similarity to archaic GURUŠ, it may be that this "KAL_a" is in fact GURUŠ, that the ED IIIa correspondence of the lexical line (see the images provided at <<http://cdli.ucla.edu/P010581>> of *SF* 12 and cf. the duplicates *SF* 13 and *MVN* 3, 15) is to be read ab₂ GURUŠ in the Fara period, and thus that the second sign is to be interpreted as a failed attempt by Fara scribes to understand the original "sledge cow."

²⁰ See my *OBO* 160/1, 77 n. 158, with reference in particular to the reviews of Green and Nissen 1987 (the revised Uruk sign list) by M. Krebernik and P. Steinkeller. The most powerful example of this list would have been the first, en-lil₂-ti; it was, however, already shown in Englund 1988: 131-132 n. 9, to be fallacious.

²¹ Powell 1972: 172.

1) Multivalence?

- archaic sign(s)
EN-E₂-TI *proposed Sumerian interpretation*
en-lil₂-ti, "Enlil (gives) life"
(Langdon 1928: VII; Falkenstein 1936: pp. 37-38; etc.)
- PA-NAM₂-RAD/ZA(A) nam₂-su_x-pa, /nam-sipa(d)/
(van Dijk 1989: 446)
- DARA₄/PIRIG+MA alima with MA = /ma/
(Green in Nissen and Green 1987 s.v.)
- PIRIG+NUNUZ az(a) with NUNUZ = /za/
(Green, *op.cit.*)
- GA₂×AN ama with AN = /am/ (Green, *op.cit.*)
- GA₂×EN men with EN = /en/ or /men/ (Green, *op.cit.*)
- EN-ME-MU endub, with /en/ of EN
(Krebernik 2007: 43)
- EN-ME-GI engiz suggests /en/ of EN and /gi/ of GI (Krebernik 2007: 43)
- E₂-BAĤAR_{2b}-NUNUZ zilulu with NUNUZ = /za/
(Krebernik 2007: 43)
- GIR₂-SU gir₂-su (Krebernik 2007: 43)
- ZI // SI₄ with both = /si/ (Englund 1994: p. 38, W 9123,a1)
- URI₃-NA **nanna** with NA = /na/ (pas-sim)
- GI **gi** (gi₄) "return" (Vaiman 1974b: 16)
- NUN-ME **abgal** among "gal-words" in the Lu₂ A list, with GAL = /gal/ (see above, n. 18)
- ŠA₃-BU **ša₃-bu** // ED LAK50/ša-bu-nun, Oakk *ša-ab-bu-nu-um* (Krebernik 2007: 43)²³
- 2) Possible Sumerian verbal iteration?
ŠU+ŠU, GI+GI
- 3) Sumerian sexagesimal system?

As is evident from this list, classical graphotactics have

²² Dreyer 1998: nos. 103-104.

²³ Note the potential correspondence of the personal names A ŠA TAK_{4a} and A ŠA_{3a1} TAK_{4a} in the appendix below (MS 3887 obv. i 4 // MS 3035 obv. i 1.b27, MS 2436 obv. i 4.b1 and MS 2431 obv. i 4.b2; cp. *MSVO*

played only a minor role in such research, based on strong, though by no means overwhelming evidence that sign sequences in this largely logographic, or even saccade-based²⁴ ancient orthography were fluid, and not dependable indicators of word or phoneme flow within textual sub-units (“words,” cases or lines).

To this discussion I would like to add some material concerning Late Uruk personal names that have often been cited in literature generated by the Berlin-based project “Archaic Texts from Uruk,” but never gathered systematically, and that I have in the past year only ordered in a preliminary way. The major difficulty in isolating clear instances of personal names, where we must expect that the accounts and perhaps sections of the lexical lists were replete with such designations, is that the text formats do not explicitly identify what is what once you leave the realm of numerical notations, object designations and signs or sign combinations of thematic meaning derived from the lexical lists. Of course, we have been unable to identify, nor should we expect to find, any semantic glosses of personal names—aside from the simple number sign representing “one unit,” these were a millennium off. Frankly, one of the more dissatisfying discussions that I had with Peter Damerow and Hans Nissen in preparation of the Berlin Erlenmeyer exhibition catalogue²⁵ was in fact having to admit that we could not state whether the sign combination “KU ŠIM,” central though it was to understanding the archival meaning of the core texts in this collection, referred to a human, to a profession, or to a household. We agreed to an individual “human” (brewery fore-

man), but only as an expedient convention.²⁶

The same frustrations can be applied down the line to any number of signs or sign combinations that can, due to considerations of tablet format, or as part of a procedure that eliminates from consideration other spatially associated signs whose semantics are identifiable, be isolated. Since we cannot know how many variables are at play in these residual sign combinations, it would be less than prudent to simply assign to them all the role of personal names. There may be though other strategies to increase the likelihood that we are looking at names of specific persons. For instance, you can imagine an automatic text parser that searches all instances of sign combinations from the lexical lists “Professions” (Lu₂ A) and “Officials” from all sign strings found in discrete tablet cases (corresponding to “lines”), removes from the resulting list first these lexical notations, then eventual identifiable signs or sign combinations (numerical notations, object designations and so on) from the remainder, and writes a list of all still remaining signs and sign combinations. Aside from possible functional terms, including for instance verbal forms, we would anticipate that these entries represent the personal names of cited household officials. We might also look for parallels in the text formats that isolate distinct personal names for us—for instance, some designation of personnel inventories as was well known in later periods, or, say, a format like later table accounts with some global qualification followed by strings of individual cases, each with signs or sign combinations with no further qualifications.

Isolating these names would help to satisfy our curiosity about the conceptual organization of its members that archaic household accountants imposed on their books, but more importantly, since cultural continuity is regularly cited as one of the lynch pins of Sumero-Babylonian civilization, and since personal names as a conservative cultural trait should be discoverable in texts that code, or are coded by Sumerians, this prosopographic material from the Late Uruk texts could play a prominent role in discussions of archaic linguistics. For despite all the caveats offered by specialists in early cuneiform, it has, since my time as a student in Dietz Edzard’s seminars in Munich, reading 3rd millennium texts and examining, as was his wont, earliest sign etymologies, seemed to me curious that if these should be texts written by Sumerians, we did not immediately recognize a substantial number of forms that could at least plausibly be interpreted to represent elements of the Sumerian language—quite aside from the seeming-

1, 212 obv. ii 8.a, MS 2998 obv. ii 6, and <<http://www.cdli.ucla.edu/P004452>> rev. ii 4.b2).

²⁴ J. C. Johnson and A. Johnson (private communication) are investigating the sign clustering of selected Ed IIIa period UD.GAL.NUN texts with an eye to understanding how scribes were overcoming the challenges they faced in representing texts through syntactical rather than formally text structural means as was the case in the preceding ED I-II and Late Uruk periods. Their working hypothesis is that a cognitive reading strategy of harvesting sign clusters for interpretation rather than a strict linearization, is not only at work in early cuneiform orthography, but is a more natural and efficient means of reading. The “saccade” refers to a rapid movement of both eyes in the same direction, the natural way that humans gather visual information; “saccade generation” to such movements in lexical processing. See for instance Rayner 1998; Reichle et al. 1998; Engbert, Longtin and Kliegl 2002.

ly missing references to the Sumerian pantheon. And in the first instance, I would have expected language, or if you wish, culture-specific patterns to show up in personal names. Still, neither the list Lu₂ A, nor the so-called list of officials, gave any clear indication of sign patterns that would comport with later, often predicative formulations in personal names such as “servant of Enlil,” “he is my lord,” or “lady of Inanna.”

It turns out that the Late Uruk accounts of herds of animals led us to the sorts of texts that clearly included personal names.²⁷ Records of such herds, first edited by M. Green,²⁸ contained data much like that known to specialists working on texts from later periods, including numbers and designations of animals, of their ages and gender, as well of course as identification of their owners, herders, and whereabouts, and the real or anticipated dairy and textile products associated with these animals. As is the case with other types of accounts, these texts detail conceptually important terminological categorizations, for instance qualifying x ewes (sign U₈) and y rams (UDUNITA) as $x+y$ small cattle (UDU). Just as with small and large cattle, and as we are seeing with a substantial recent influx of archaic accounts dealing with donkeys,²⁹ pig herds were also differentiated according to animal age and use, in the case of cattle also gender. The text W 23948³⁰ records the distribution of animals from a large herd of 95 pigs into two groups of adults assigned temple units in Uruk, and a third com-

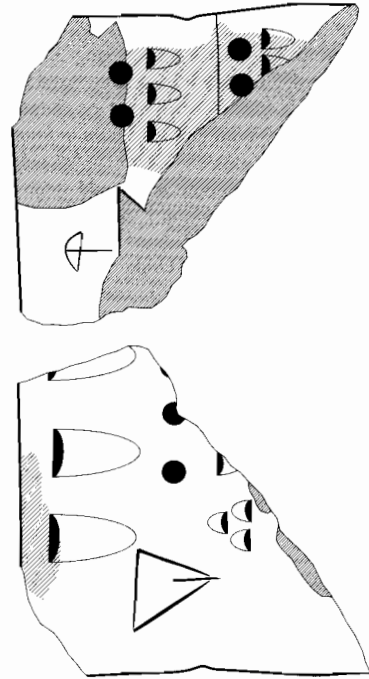


Figure 3: W 9827 contains an apparent account of a number of groups of male and female laborers, listed individually on the obverse (23+ in the first column, 22+ in the second) and totaled on the reverse (preserved is a notation representing in the sexagesimal system 211 + female and male laborers, in proto-cuneiform SAL KUR₂).

²⁵ Nissen, Damerow, and Englund 2004.

²⁶ Nissen, Damerow, and Englund 2004: 66-70.

²⁷ *OBO* 160/1, pp. 143-175.

²⁸ Green 1980; cf. Nissen, Damerow, and Englund 2004: 131-138, with further reference to contemporary herding texts from neighboring Iran.

²⁹ There are currently 68 administrative attestations of “KIS” in the CDLI corpus (that is, excluding attestations from the Tribute List that exhibit a different sign form, and appear to refer to a different object). See for instance the numerous donkey texts edited by Monaco 2007 (*CUSAS* 1): nos. 31-40, with examples of complex qualifications of animals divided into sub-totals and sub-sub-totals. A number of archaic Schøyen texts contain comparable accounts, but including records of donkeys qualified SAL and KUR, that is, as jennies and jacks (cf. the CDLI entries to MS 2963, 3878 and 4494). *CUSAS* 1, 40, lists groups of animals qualified as one and two-year-olds; as we might expect, the one-year-old animals are further qualified as AMAR—though specifically referring to “calves,” this sign acted as a general designa-

tion of juvenile animals. The juveniles were qualified with a designation borrowed from time accounting metrology to represent animals that had reached the age of one year; one porker, together with ten mature animals, were then according to this text possibly slaughtered for the household kitchen.³¹

During our work on the Uruk III period texts from Jemdet Nasr, Grégoire, Damerow and I noticed that a similar terminology and syntactically motivated text format were visible in accounts of what were, in totals of the texts, qualified as SAL KUR₁ ERIM₂ and SAL KUR₁ SAG×MA, that is, what we speculated to be “yoked” and “noosed” female and male slaves, follow-

tion of young animals in later cuneiform tradition.

³⁰ Cavigneaux 1991: 57; Englund 1995: 125-128.

³¹ This is a provisional interpretation of numerical signs

ing Vaiman's interpretation of SAL and KUR.³² With the series of three Jemdet Nasr texts *MSVO* 1, 212-214, we were able to demonstrate several things. First, that the numbers of individuals qualified as SAL or KUR_a in archaic texts were not large—at most 211+ recorded on the reverse of the account W 9827, doubtless representing the summation of smaller groups recorded on the obverse (see figure 3).³³ Second, we saw that the accounting procedure of text consolidation, so well attested for later periods of Mesopotamian history, was employed already by household bookkeepers at the dawn of writing. *MSVO* 1, 213 and 214, were in fact entered, sign for sign, into the larger account *MSVO* 1, 212. But then third and most significantly, we could see that the accounting format of these texts was very complex, but foresaw the division of individual records into sub-cases with formal differentiations. The first sub-case of one entry contained a numerical notation, an object designation (as we believe, “slave of quality x”) and one or more signs apparently referring to persons or offices. There followed one or more sub-cases, with one exception³⁴ never with a numerical notation, containing signs that we interpreted to represent the personal names of the designated slaves. Where the initial numerical notation was 1, there was one or two such associated sub-cases; where 2, there were at least two.

Thus the initial entries of *MSVO* 1, 212, are:

- 1a 1N₁ ʾSAL KUR_a ʾSAG×MA ŠA E_{2a}
 MUŠEN×2N₅₇
 1b1 ʾZATU751_a ʾERIM_a
 1b2 [...] X

from the derived system S' where it is employed to qualify herded animals, and possibly humans. See Green and Nissen 1987: p. 131.

³² Above, n. 14. The justification of MA = “noose” in SAG+MA was based on the associated yoke pictogram ERIM_a, on the combination of this sign with animal head signs (and thus in those instances not to be understood as a phonetic gloss), and on a consideration of the pictographic referent of MA. This sign, later peš₃, is interpreted to reflect the “string of fruit” that Gelb 1982b convincingly explained, and thus “tied-back cord” generally—in our case, tied round the neck of the slaves, thus qualifying them in some way other than the pictographic ERIM_a, “yoke.”

³³ *ATU* 5, pl. 118, W 9827; cf. Falkenstein 1936: no. 577 (and see p. 22); Vaiman 1974a: 141, no. 24; Nissen, Damerow, and Englund 2004: 112, no. 13.2; *OBO* 160/1, p. 178 fig. 66.

- 2a [1N₁] ʾSAL KUR_a SAG×MA ŠA ʾ[...]
 2b1 ʾDUR₂ 3N₅₇ ZATU751_a ʾ
 2b2 [AB_a TUR₂ N₂] KU_{3a}
 3a 1N₁ KUR_a E_{2a} ŠA ʾMUŠEN×2N₅₇ ʾ
 3b1 SI ʾMA₂ EN_a ʾ X
 3b2 [GL×KU_{b1} BAR]
 4a 1N₁ ʾKUR_a MUŠEN×2N₅₇ ʾ [E_{2a} ŠA]
 4b1 1N₁₄ ʾUDU_a ʾ
 4b2 1N₁ [KIŠ KUR_a]
 4b3 ʾAMA_a ʾERIM_a MUŠEN MAŠ

and the summation of all entries on the reverse:
 col. ii

1 1N₁₄ 7N₁ SAL KUR_a SAG×MA

2 1N₁₄ SAL KUR_a ERIM_a X [...]

col. iii

1 [2N₁₄] ʾ7N₁ SAL KUR_a ʾ UB ʾPA_a ʾ SAG×MA
 SANGA_a X EN_a ʾ N₄

Unfortunately, the complexity of the individual entries in this account makes it very difficult to understand the syntactical relationships among those entities represented by individual sub-cases, and the text would furthermore appear to contradict, with its combination in initial sub-cases of SAL, KUR_a and 1N₁, our belief that SAL denotes a single female, and KUR_a a single male. I have no credible explanation for this seeming contradiction. Similar accounts from Uruk with less complex accounting format, however, do help to fill out this picture with terminology more reflective of that known from herding accounts. Where herding texts recorded domesticated animals according to species, gender and age of breeding significance—we expect also qualifying the males as to whether and when they had been castrated—the archaic accounts of groups of humans added new levels of qualification, with clearer differentiation of the terms SAL and KUR_a, and with designations of slaves that contained greater terminological color.

The two Uruk texts in figure 4 are good examples of this accounting procedure. Each has in the left column a total, eight individuals in both texts, corresponding to numerical entries to the right. Clearly enough, the first text³⁵ lists 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 for a total of 8, while

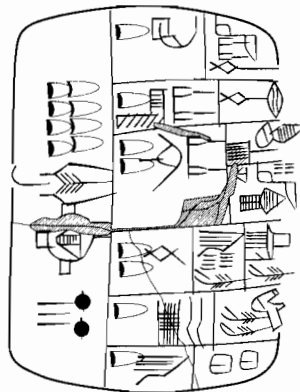
³⁴ And this exception, *MSVO* 1, 212 obv. i 4b1-2 = *MSVO* 1, 213 obv. i 4b1-2, recorded ten sheep and one male donkey, KIŠ KUR, probably purchased together with the recorded slave AMA_a MUŠEN MAŠ.

³⁵ Note that “LUGAL” in W 20274,2 obv. 3b1 probably refers to a one-year-old slave child, and thus is not likely to represent anything like “king” of later tradition. The

the second has $(4+1=) 5 + (1+2=) 3 = 8$. The latter text demonstrates that SAL and KUR_a qualify different objects, probably female and male slaves, that are themselves in the accounting terminology further divided into apparent age qualifications. Thus, in the former text we have, seen formally, the qualifications AL, EN_a TUR, 1N₅₇×U₄ TUR, BULUG₃, U_{2a} A and ŠU; in the second text, SAL, KUR_a and ŠA_{3a} TUR. Several of these designations are terms well known to Sumerologists. TUR (a presumed pictogram of human breasts) representing young children (Sumerian *dumu*), 1N₅₇×U₄ representing "one year,"³⁶ and AL (picture of a type of hoe) representing "adult" (with later Sumerian reading *maḫ*₂, this sign usually qualifies sexually mature domestic animals, but is also possibly an element of two personal names in the ED IIIa period, and is even a qualifier of the capacity unit *gur* [WF 76 rev. x 3]). Finally, ŠU will be associated by some with later *šu*-(*gi*)₄, "old one," found in many herding accounts and laborer inventories.

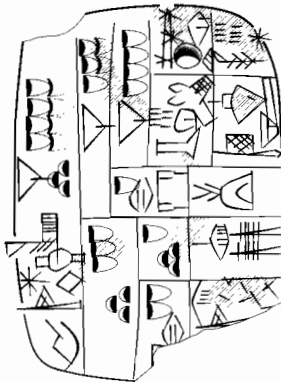
The most compelling accounting practice that emerges from the analysis of these two proto-cuneiform accounts from Uruk, was the clear practice of associating numerical notations and general slave designations with sub-cases of signs and sign combinations that corresponded exactly to the numerical notations. Thus, in the first text of figure 4, 1 AL (i 1a) is followed by one sub-case with non-numerical signs; 2 1N₅₇×U₄ TUR (i 3a) by two sub-cases, each with non-numerical signs. The case with 4 SAL in the second text (i 1b1a) is followed by four sub-cases, each, again, with non-numerical signs. It appears reasonable to conclude that these sub-cases contain personal names associated with individuals recorded in numerical sub-totals to their left (leaving aside a discussion of the true orientation of the proto-cuneiform texts), and that signs or sign combinations associated with these sub-totals qualified the named in-

sign combination LU₂ GAL is attested 10 times in Uruk texts [from a total of 36,448 lines], never in a context of any social consequence, and 55 times in ED I-II texts [from a total of 4004 lines] in personal names of a form that is largely consonant with later usage. These figures



W 20274.2

obv. i 1a	1N ₁ ; AL
1b	MUŠEN TUR BU ₂
2a	1N ₁ ; EN _a TUR
2b	BU ₂ ŠA _{3a1}
3a	2N ₁ ; 1N ₅₇ ×U ₄ TUR
3b1	GAL ₂ LU ₂
3b2	X MUŠEN GN ₅₇ ? KAŠ ₂
4a	2N ₁ ; BULUG ₃
4b1	ŠU Z _a
4b2	Z _a ŠUBUR PAP ₂
5a	1N ₁ ; U _{2b} A
5b	GI+GI PIRIG _{b1}
6a	1N ₁ ; ŠU
6b	DUR ₂ DUR ₂
obv. ii 1	8N ₁ ; BAR ŠAM ₂ ? EZEN _a +SU ₂ ? 3N ₅₇ +NUNUZ _{a1}



W 23999.1

obv. i 1a	5N ₁ ? SAL
1b1a	4N ₁ ; SAL
1b1b1	1NAB ? DI 6BU ₂ +DU _{6a}
1b1b2	1Z _a ? AN ?
1b1b3	ANŠE ₂ 7N ₅₇ DUR ₂ DU
1b1b4	1LAL _{3a} ? GAR IG _b
1b2a	1N ₁ ; ŠA _{3a1} TUR
1b2b	TU _b
2a	3N ₁ ? ; KUR _a
2b1a	1N ₁ ; KUR _a
2b1b	NA _a NIR _a
2b2a	2N ₁ ; ŠA _{3a1} ? TUR ?
2b2b1	GI ₆ KIŠIK _a UR _{3a} ?
2b2b2	[]
obv. ii 1	8N ₁ ; SAL KUR _a EN _a EZEN _b AN HI UR _{13a} ZATU774

Figure 4: The Uruk texts W 20274.2 and W 23999.1 (reverse surfaces are not inscribed)

dividuals in very much the same way as herding and dairy accountants recorded gender and age-specific sub-groups of agricultural units.

This format was then the "tracer" to locate further instances of the same phenomenon, that differs from accounting formats of herding accounts chiefly in the inclusion of these non-numerical sub-cases.³⁷ Due in part

would reflect a level of usage of "LUGAL" in the ED I-I period about 50 times that of Uruk IV-III, of course to be understood with a grain of salt.

³⁶ Englund 1988: 121-185, especially 156-160.

³⁷ Vaiman 1974a: 140 (=Vaiman 1989: 123), to no. 20, drew attention to the likelihood that ATU 1, 92 (=ATU















		1. SIG ₇ MUŠEN		7. EN _a U _{2b} DU
		2. EN _a U _{2b} DU		8. GIR _{3gumú} c EN _a
1N ₁₄ 2N ₁ U ₄ ×3N ₅₇ TUR		3. ZATU659		9. E _{2a} BU _a
		4. GI ŠA _{3a1}		10. 3N ₅₇ NUNUZ _c
		5. SAG×GEŠTU _b GIŠ		11. E _{2a} GIR _{3c}
		6. GU ₄ SAL EN _a		12. SI AD _a ? AN

Figure 5: The section in the lower left of the obverse of the Schøyen text MS 3035 (figure 6) demonstrates the numerical relationship between the initial notation (sexagesimal “12” qualifying a notation that may be interpreted to mean “three-year-old children”) and the number of sub-cases to the right with ideograms that in all likelihood represent personal names. Note the occurrence of the same names in sub-cases 2 and 7 (as well as 1b7 of the same column), and the possibility that sub-case 10 is to be interpreted as (KUR_x ZA₇=) “ZAGIN_x” = “Lapis.”

to the poor state of preservation of most Uruk texts, only about a dozen comparable accounts have been isolated among the more than 5000 tablets and tablet fragments unearthed there in regular excavations, and some few others from other sites.³⁸ These numbers have been significantly increased with nearly 40 new reference texts that form part of the Norwegian Schøyen collection.³⁹ One of these texts, first observed in Brussels by Philippe Talon, who kindly posted to me his carefully done copy and transliteration before it entered the Oslo collection and was assigned the manuscript no. MS 3035 (figures 5-6), is of particular note.⁴⁰

The large account exhibits the same correspondence between cases with numerical notations and associated sub-cases with non-numerical notations that we have seen in smaller texts above. For instance, the section in the lower left of the tablet’s obverse surface (figure 5) contains a notation representing “12” in the sexagesimal system, qualified by 3N₅₇×U₄ TUR, probably “three-year-old children.” Exactly 12 sub-cases follow, each with one or more signs representing as many personal names of the individuals summarized in the left-most case.

The account at a higher structural level employs procedures that are well known from the grain accounting office of Jemdet Nasr.⁴¹ The double dividing line down the middle of the text indicates that it is the compilation of two still quite significant accounts, each beginning with the most valuable objects (here AL, presumably adult slaves) and continuing through numbers of less valuable items. The first sub-account appears to be globally qualified by the sign 2N₅₇ MUN_{a1}, the second 1N₅₇ MUN_{a1}. This MUN_{a1} is likely to represent some sort of accounting (rationing?) period, possibly connected to the sign combination PAP_a SU_a discussed below.

5, pl. 81, W 9655,t) with its notation obv. 1: 3N₁ 2N₈, referred to three adult slaves and two slave children, parallel to the use of N₈ (N₁ rotated 90° clockwise) to designate young animals (cp. ATU 5, pl. 66, W 9579,ai, pl. 92, W 9656,ba, and pl. 109, W 9656,fx).

³⁸ Aside from MSVO 1, 212-214, see, for instance, ATU 6, pl. 64, W 15772,p; pl. 65, W 15772,z; pl. 74, W 15860,a4; ATU 7, pl. 86, W 22104,3; BagM 22, 60, W 23972,2; W 17729,bp+bx, W 20593,11, <http://cdli.ucla.edu/P006390> and <http://cdli.ucla.edu/P006426> (unpub.); MSVO 1, 217-222; MSVO 4, 58; CUSAS 1, 36 and 174; We might wonder, further, whether the archaic “tags” discussed in OBO 160/1, pp. 57-60, as well as a large number of recent additions to CDLI (nos. P387483-P387593, P387698-P387725), recorded names of persons.

³⁹ Above, fn. 11.

⁴⁰ See <http://cdli.ucla.edu/P006268>. A second, wholly

parallel text has not reemerged since it went through Belgium, but was copied by Talon and posted to CDLI under <http://cdli.ucla.edu/P005573>. A third, though poorly preserved parallel text is MS 2863/18 (<http://cdli.ucla.edu/P006184>). We may note that many of these texts give clear indication of gender distinctions

Using this, and the 50 other accounts registering numbers of humans in this way, we may compile a list of general qualifications for what we interpret to be archaic slaves:

general terms

KUR _a	male
SAL	female
SAG	head, human ⁴²
SAG×MA	noosed head
ERIM _a	yoked one
PAP _a SU _a	? ⁴³

adults

AL	of working age ("hoer"?)
----	--------------------------

youths

EN _a TUR	four years old and older up to AL?
KUR _a TUR	boy, younger than EN _a TUR?
KUR _a ŠA _{3a1}	boy, very young?
SAL TUR	girl, younger than EN _a TUR?
SAL ŠA _{3a1}	girl, very young?
ŠA _{3a1} TUR	= KUR _a /SAL ŠA ₃
3N ₅₇ ×U ₄ (TUR)	three-year-old (or: child in third year)
2N ₅₇ ×U ₄ (TUR)	two-year-old (or: child in second year)
1N ₅₇ ×U ₄ (TUR)	one-year-old (or: child in first year)

These then are the higher-level qualifications of persons in proto-cuneiform accounts, quite possibly chattel slaves, or humans in some form of servitude to Late Uruk households. While I must admit to some doubt

about the interpretation of the complex signs including "U₄" ("day," but a general anchor for time metrology notations in this period), it may be relevant to mention the analyses by I. Gelb, H. Waetzoldt and others that children of state-dependent laborers will have been assigned full work loads by the age of six or shortly thereafter. If our designation EN_a TUR encompasses a period of several years, AL might indeed qualify workers of an age that would appear young to us, but certainly not to many sweatshop owners around the world, and certainly not to the industrialized West prior to such legislation as the British Factory Act of 1833 aimed at curbing abusive child labor in British textile manufacturing. According to this at the time heralded advance in labor rights, children aged nine to thirteen could not be forced to work more than nine hours a day. Nevertheless, why did archaic accountants so exactly record the ages of children from their first through their third years? This system of dating bears an uncanny resemblance to herding accounts of large cattle and of pigs of later periods, or even of the initial lines of the so-called archaic Pig List.⁴⁴ The age designations of domestic animals employed in those accounts are explicit tools known to any dairy or pig farmer: they track age to know when to wean the young, to judge weight gain, and to prepare sexually mature animals for breeding, or to train oxen for the plough. It is difficult to recognize a comparable need in accounting for young children, aside possibly from the intent of accountants to retain strict control of juveniles as they grew to working age. As slave laborers, after all, they would have represented a substantial chattel asset to ancient households.

Doubtless, tagging all proto-cuneiform accounts that contain the format for personal names described above will result in a list that is, for a number of reasons, by no means complete. In the first place, H. J. Nissen and his research collaborators have stated again and again that we must understand the nature of the texts taken from Uruk excavations. To make historical points, often the best preserved of those accounts are cited and put in illustrative graphics or book jackets, but these are the tablets that survived more than 5000 years of deposition in Uruk, after having been rudely gathered and tipped, as detritus of a burgeoning administration, into construction projects of the ancients. Most artifacts could not survive such ill treatment intact.⁴⁵ Thus the very frag-

in names, for instance the young girls named SAL SAL and TUR_{3a} BALA_b vs. young boys named EN_a GAL_a AK_a, U₄ NIM_a and ŠU TUR in <<http://cdli.ucla.edu/P387752>>, obv. ll. 3.b1-2 and 4.b1-3.

⁴¹ See Englund 2001, especially pp. 26-27 to *MSVO* 1, 95-96.

⁴² See the SAG inventory MS 2437, comprising columns of lines, each with one sub-case containing a numerical notation and sign combinations representing presumable personal names, followed by a second sub-case with only counted SAL. The text, including particularly the summation rev. col. iii, is unclear to me.

⁴³ The total of the account MS 3035 (figs. 5-6 and cf. <<http://cdli.ucla.edu/P005573>> and MS 2863/18, bot-

tom of second column) contains this sign combination where we might expect a general designation of the humans recorded in the text; MS 2498 would tend to sup-

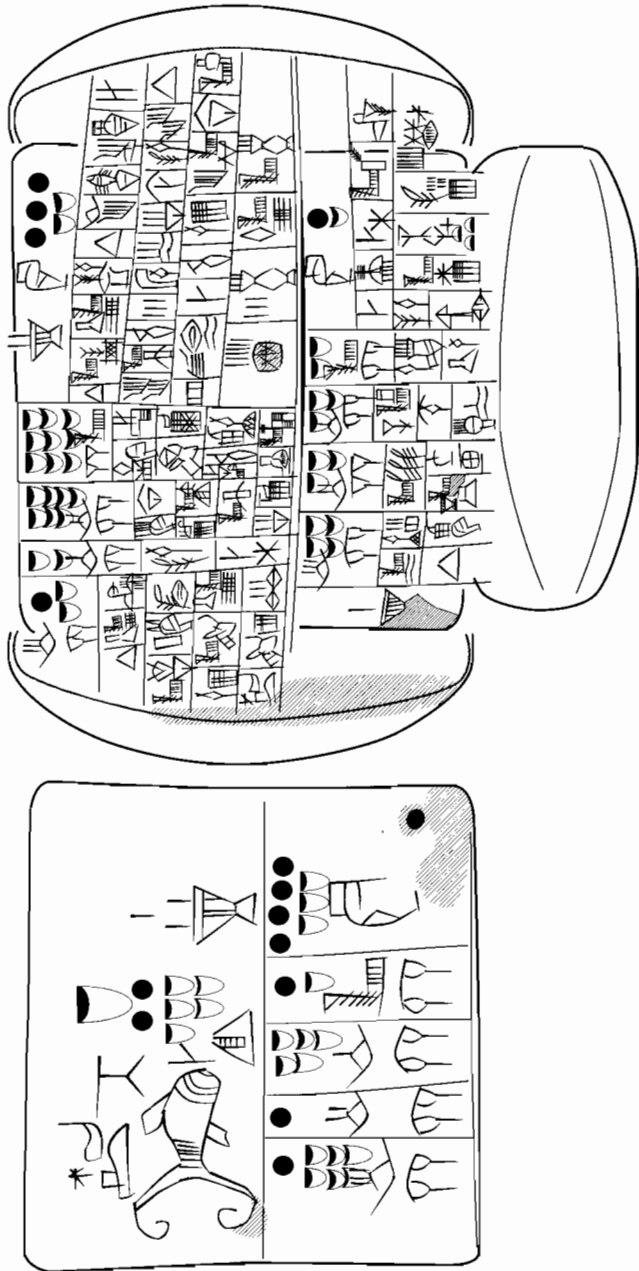


Figure 6: MS 3035, a complex account in the Schoyen collection, contains notations representing numbers of apparent slaves qualified according to age, though not (visibly) gender.

Transliteration of M 3035:

obverse i	5.b06	GU ₄ SAL EN _a
1.a. 3N ₁₄ 2N ₁ AL 2N ₅₇	5.b07	EN _a U _{2b} DU
MUN ₁₁	5.b08	GIR ₃ gunú _a EN _a
1.b01 PA _a	5.b09	E _{2a} BU ₁
1.b02 KAŠ ₂ DA _a	5.b10	3N ₅₇ NUNUZ _c
1.b03 SUKUDgunú ₃ NI ₄	5.b11	E _{2a} GIR _{3c}
1.b04 U ₁ ŠU	5.b12	SI AD ₂ ? AN
1.b05 ZATU659		
1.b06 BU ₂ ŠE _a ŠUBUR	obverse ii	
1.b07 EN _a U _{2b} DU	1.a. 1N ₁₄ 1N ₁ AL	
1.b08 EZINU, EN _a	1.b01 ŠE ₂ MUŠEN	
1.b09 ZATU659	1.b02 IN _b EN _a	
1.b10 ZATU659	1.b03 HAL PAP _a	
1.b11 ŠU ŠU	1.b04 TUR _{3a} 5N ₅₇	
1.b12 BU ₁ GI	1.b05 PAP _a	
1.b13 ŠU ₂ PAP _a	1.b06 AN TE KI GAL _a	
1.b14 3N ₅₇ SAL	1.b07 ZI ₁ E _{2a}	
1.b15 3N ₅₇ A	1.b08 ZATU773 _a MAŠ	
1.b16 BU _a UR _a	KUR _a	
1.b17 3N ₅₇	1.b09 EN _a AN E _{2a}	
1.b18 DIM _a	1.b10 BU ₁ ŠE _a	
1.b19 EN _a GIŠ ₂ ŠU _{2a}	1.b11 MUŠ _{2a} NU ₁₁ tenú	
1.b20 ŠU ŠU	2.a. 2N ₁ EN _a TUR	
1.b21 EZEN _b EN _a	2.b1 BAĤAR _{2a} BU _a	
1.b22 ŠU ₂ SAL	2.b2 BU ₁ DU	
1.b23 EN _a AMAR ŠU	3.a. 3N ₁ U ₄ ×1N ₅₇ TUR	
1.b24 E _{2a} BU ₁	3.b1 GA _{2a1} EN _a GU	
1.b25 DIM _a	3.b2 ŠU ₂ BU ₁	
1.b26 PAP _a	3.b3 1N ₅₇ A NE _a	
1.b27 ŠA _{3a1} A TAK _{4a}	4.a. 3N ₁ U ₄ ×2N ₅₇ TUR	
1.b28 NAM ₂	4.b1 GI/GI/GI EN _a	
1.b29 BAĤAR _{2a} EN _a	4.b2 NU (UDU ₂ ×TAR _a)	
1.b30 EN _a U _{2b} ĤI	4.b3 EN, ŠITAgunú _a	
1.b31 BAĤAR _{2a} 3N ₅₇	AB _a	
1.b32 6N ₅₇ U ₁ ĤI	5.a. 4N ₁ U ₄ ×3N ₅₇ TUR	
2.a. 9N ₁ EN _a TUR	5.b1 3N ₅₇ DUR ₂	
2.b1 PA, TUN _{3a}	BU ₁ +DU _{6a}	
2.b2 SAG ĤI NIN	5.b2 EN, A	
2.b3 SI BARA ₃	5.b3 GUL SAG	
2.b4 NI ₁ GIR _{3c}	5.b4 ZATU659	
2.b5 BU _a +DU _{6a} GUL	6. 1N ₅₇ U ₁ MUN ₄₁ U ₁	
2.b6 DIM _a		
2.b7 PAP _a SAL DAR _a	reverse i	
2.b8 KID ₂ NUN _a EN _a	1. 4N ₁₄ 3N ₁ AL	
2.b9 MAĤ _{1b} ×NA _a	2. 1N ₁₄ 1N ₁ EN _a TUR	
3.a. 7N ₁ U ₄ ×2N ₅₇ TUR	3. 5N ₁ U ₄ ×1N ₅₇ TUR	
3.b1 ŠU ₂ SAL	4. 1N ₁₄ U ₄ ×2N ₅₇ TUR	
3.b2 ŠUR _{2b}	5. 1N ₁₄ 6N ₁ U ₄ ×3N ₅₇ TUR	
3.b3 TI SU _a EN _a		
3.b4 DAR _b E _{2a}	reverse ii	
3.b5 GIŠ ₂ ŠU _{2a} EN _a	1. 1N ₃₄ 2N ₁₄ 5N ₁ 1N ₅₇	
3.b6 SI E _{2a} ME _a	2N ₅₇ MUN ₁ SU _a	
3.b7 3N ₅₇ SAL	PAP _a 1N ₅₈ .BAD _a	
4.a. 2N ₁ U ₄ ×1N ₅₇ TUR	SI AN AD _a GIR _a	
4.b1 BU ₁ GI		
4.b2 PAP _a HAL		
5.a. 1N ₁₄ 2N ₁ U ₄ ×3N ₁ TUR		
5.b01 SIG ₇ MUŠEN		
5.b02 EN _a U _{2b} DU		
5.b03 ZATU659		
5.b04 GI ŠA _{3a1}		
5.b05 SAG ₂ ×GEŠTU _b GIŠ		

mentary nature of the great majority of our texts gives fair warning that we are missing much of the original depositions, certainly most of the original text material, and that those exemplars we do have are so incomplete as to make a measured judgment of their contents very difficult. In the second place, the state of decipherment of proto-cuneiform approached a natural barrier with publication, in *ATU 2* (1987),⁴⁶ of the results of research conducted by H. J. Nissen and M. Green on the interpretation of non-numerical signs in the proto-cuneiform texts, and of research conducted by P. Damerow, R. K. Englund and J. Friberg on the numerical signs and sign systems. Advances in the understanding of Late Uruk texts from Mesopotamia have, since that publication, been modest.⁴⁷ Particularly the interpretation of much of the source material that is not directly associated with numerical notations, with counted or measured objects, or with signs or sign combinations found attested in the thematically ordered archaic lexical lists whose uninterrupted history of transmission resulted in sign-for-sign copies well into the 3rd millennium, and even into the Old Babylonian period, remains highly problematic. These remaining sets of signs will include personal names.⁴⁸

port the notion that PAP_a SU_a qualifies slaves in some general way, with the first cases containing numerical notations qualified with PAP_a SU_a in parallel to AL on our larger accounts. Cp. in particular MS 2439.

44 Englund and Nissen 1993: 22-23, 100-103; Englund 1995; *OBO* 160/1, 169-175.

45 The attractive state of preservation of many archaic collections gathered from the antiquities markets notwithstanding, since these tablets are what remained after a rigorous sifting process that selected "preserved" and left behind "fragmentary" at the site of plunder, and this sifting continues through the markets down to end-buyer. Though now exposed to the elements, we may hope that future regular excavations will gather in the many thousands of fragments of texts that must well litter the edges of illegal excavations of post-Kuwait war Iraq.

46 Green and Nissen 1987.

47 Research conducted in particular by J. Dahl on the approximately contemporaneous, proto-Elamite accounts from ancient Iran has led to substantive gains in accessing that related writing system. See Dahl 2005a and 2005b.

48 Still, public access to proto-cuneiform texts has moved to an entirely new level since the establishment of an

Nevertheless, the limited method of sign and sign string isolation used here has resulted in a list of ca. 450 entries—in an appendix below—, each with fair probability representing the given name of an individual. We may look at these personal names in a number of ways. The resolute decipherer will first just count and rank signs, always aware that the sample may be skewed, given that so much now derives from one private collection of inscriptions of unknown provenience. Persons whose names included the sign EN_a, possibly the ruler of archaic communities or even of regions, should not surprise us, and this may be the correspondence to lugal in later Early Dynastic personal names. This sign is attested more than twice as often as the runner-up signs BU_a (unclear meaning) and 3N₅₇ (in some and possibly most instances an abstracted form of the sign KUR_a, “male slave” or perhaps after all also “mountain,” “foreign land.” For comparison, I have listed below the high-frequency signs in the archaic texts generally (excluding lexical list attestations).

High frequency signs used in personal names and the number of attestations in all discovered names (left), and the most frequent signs in the proto-cuneiform texts generally (right; excluding lexical lists):

EN _a	91	EN _a	1470
BU _a	43	AN	811
3N ₅₇	40	GAL _a	783
PAP _a	33	SAL	683
AN	31	GI	679
ŠU	31	BA	662
E _{2a}	24	PAP _a	623
DU	21	SANGA _a	545
ŠUBUR	21	NUN _a	519
MUŠEN	19	ŠU	505
A	17	E _{2a}	463
HI	17		

international project, the Cuneiform Digital Library Initiative (<<http://cdli.ucla.edu/>>), dedicated to the digital capture and dissemination of all cuneiform sources, but in its initial phases focusing on corpora of the 4th and 3rd millennia. No phase of cuneiform is so well documented online currently as is the Late Uruk period, including image and text representations of nearly all available text artifacts, both edited and unedited. Thus, digital facsimiles of nearly all proto-cuneiform texts are available for free use by all networked researchers, and are being profitably exploited by specialists in their work and publications; one successful recent example is the edition of the Cornell proto-cuneiform collection by Monaco 2007. Further, the field may expect in the next years to avail itself of a federated and persistent website

SAL	17
GI	16
KAŠ _c	16
SAG	14
SI	14
U _{2b}	14
GIR _{3c}	12
ZATU659	12

Although I cannot recognize a meaningful pattern in these numbers, at least we now have a basis for comparing the frequency of signs used in personal names versus those used in the texts as a whole; such frequency tables can serve, for instance, to test in Babylonian texts the hypothesis of Meriggi, Vallat and Dahl that proto-Elamite scribes developed a syllabary used exclusively to record proper nouns.⁴⁹ It might here be more instructive to consider the signs and sign combinations that are most often found in our list as those representing true names of individuals, and to compare these entries with the most frequently attested names in the texts from the ED IIIb (ca. 2400 BC) and the Ur III (ca. 2000 BC) periods.⁵⁰

Late Uruk, ca. 3200 BC

<i>names</i>	<i>times attested</i>
ZATU659	10
PAP _a	7
ŠUBUR	7
BU _a GI	6
DIM _a	5
EN _a PAP _a	4
EN _a U _{2b} DU	4
EZEN _b EN _a	4
NI _a GIR _{3c}	4
ŠU ŠU	4
3N ₅₇ SAL	3
E _{2a} DAH	3
EN _a GIŠ _x ŠU _{2a}	3
KASKAL ŠUBUR	3
UB ZI _a	3

that will facilitate wholesale downloads of data packages and accompanying open source software to better interpret *locally* the descriptions of early cuneiform texts posted by Assyriologists, by linguists and scholars from other related fields, and by informal learners alike. We may therefore be confident that in the near future the resources for study of onomastics in the archaic texts will steadily improve.

⁴⁹ Meriggi 1975; F. Vallat 1986: 338-339; Dahl 2005a:

ED IIIb, ca. 2400 BC

<i>names, men</i>	<i>names with this element</i>
^d DN-... (in any position)	210
lugal-...	190
ur-...	170
en-... (excluding ^d en-ki/ ^d en-lil ₂)	82
e ₂ -...	81
a-...	68
amar-...	32
lu ₂ -...	27
me-...	24
nam-...	23
sag-...	20

<i>names, women</i>	<i>names with this element</i>
nin-...	141
geme ₂ -...	24
ama-...	24

Ur III, ca. 2000 BC

<i>names, men</i>	<i>names with this element</i>
^d DN-... (in any position)	1664
ur-...	683
lu ₂ -...	589
lugal-...	585
...-mu (some = muḫaldim)	368
e ₂ -...	290
du ₁₁ /inim-...	197
dingir-...	157
ḫa/ḫe ₂ /ḫu-...	150
(en-...	94)
(amar-...	32)

<i>names, women</i>	<i>names with this element</i>
nin-...	320
geme ₂ -...	201
ama-...	85

Comparing the list of proto-cuneiform personal names with those of the most common personal names or name elements in the Early Dynastic and Ur III periods, we see quite substantial differences. First is, our archaic personal names contain no obvious theophoric elements. Indeed, in this list, there is not one instance of a name that might plausibly be interpreted to include a

Sumerian divine element, whereas such names outnumber all other examples in both ED IIIb and Ur III texts. Then also, the common elements ur, amar, a (seed) are nearly unknown in the archaic texts, and those instances of EN₁ (in bold) that we might consider archaic correspondences to later lugal contain other elements that make no sense if interpreted to be Sumerian. Finally, the Sumerian names of women from later periods find no counterparts in the archaic texts.

I have stated elsewhere⁵¹ that this search for personal names among slaves might be skewed in another telling way. We might suspect that as in later periods, and as the designations SAG+MA and ERIM₂, as well as seeming prisoner scenes on many Late Uruk seals might tend to support, the chattel slaves were above all taken from foreign populations, their names thus in some non-Babylonian language. But frankly, it would surprise me if the Uruk overlords did not rename their foreign slaves with terms comprehensible to the local population, much as did the buyers of African slaves shipped to the Americas, since it is difficult to imagine that those engaged in the exchange and exploitation of humans, of whole families judged as little better than local livestock, would have made an effort to retain their native names. I can offer only indirect evidence that this may have been true. Contracts of the sale of chattel slaves in the Ur III period followed a standard format that included the name of sold persons in the form “one (slave type), PN his/her name, his/her price n shekels of silver ...”. A quick search of available documents, restricting myself for the present to only those contracts and related court records that included the phrase “PN mu-ni-im,” “PN is his/her name,”⁵² demonstrates that some of these names are clearly of foreign origin, or are Akkadian, but that the

§5.5, and nd.

⁵⁰ The numbers of ED IIIb and Ur III names are to be understood as very preliminary, and more relative than absolute; they are based on a count of attestations in the transliterations available to CDLI (and downloadable at <<http://cdli.ucla.edu/downloads.html>>). Our files contain ca. 8500 names in the Ur III period.

⁵¹ *OBO* 160/1, 176 n. 407.

⁵² A search for instances of PN1 ARAD₂ PN2 (“PN1, male slave of PN2”), PN1 sag nita₂ PN2 (“male ‘head’ of”), PN sag munus (“female ‘head’ of”) and PN1 dumu nita₂/munus PN2 (“male/female child of”) in our files results in a list of more than 300 occurrences, indicating the range of numbers we might expect in a full set of chattel slave names. My quick perusal of the names of

majority carried a plausible Sumerian pedigree.

In Nippur:

sag nita nam-dumu mu-ni-im
 ur-lugal mu-ni-im
 lugal-ur₂-ra-ni mu-ni-im
 ad-da-[...] mu-ni-im
 lu₂-^den-lil₂-la₂ mu-ni-im
 šar-ru-a mu-ni-im
 nu-^{hi}-dingir mu-ni-im
 lu₂-^dsuen mu-ni-im
 guruš i-din-^dda-gan mu-ni-im
 dumu a-bi-ša-ru-um
 sag munus maš-da₂-gu-la mu-ni-im
 en-ni-^dla-az mu-ni-im
 ni-za-ti-a mu-ni-im
 a-za-za mu-ni-im
 nin-mu-ba-zi-ge mu-ni-im
 geme₂-e₂-zi-da mu-ni-im

In Ur:

sag nita₂ šu-gu-bu-um mu-ni-im
 en-um-^diškur mu-ni-im
^dnin-gir₂-su-ka-i₃-sa₆ mu-ni-im
 dingir-ma-lik mu-ni-im
 sag munus ta-re-ša-am₃ mu-ni-im
 i₃-li₂-bad₃-re mu-ni-im

In Wilayah²:

sag nita₂ |PU₃.ŠA|-^ha-ia₃ mu-ni-im
 sag munus na-an-na-a mu-ni-im
 a-ga-ti-ma mu-ni-im
 eš₁₈-dar-um-mi mu-ni-im

In Umma:

sag nita a-ba-in-da-an-e₃ mu-ni-im
 dumu nita₂ a-ba-a-in-da-an-e₃ mu-ni-im

sag munus ^dba-ba₆-lu₂-sa₆-sa₆ mu-ni-im
 nin-mu-ušur_x(LAL₂.TUG₂)-mu mu-ni-im

In Girsu:

sag nita a-lu₂-du₁₀ mu-ni-im
 sag munus geme₂-aga mu-ni-im

Isolating personal names in the proto-cuneiform texts represents an important beginning in our efforts to lemmatize all proto-cuneiform transliterations with an eye toward identifying the signs that we do understand, or that we believe we understand, and toward more broadly defining what the sign combinations represent that do not correspond to common entries in our lexical lists. I put these data up to underscore the lingering problems in determining the linguistic affiliation of the earliest Babylonian scribes. It may be doubted that the rough translation “male slave” and “female slave” are correct renderings of the proto-cuneiform signs SAL and KUR₃, but I think not reasonably that most, perhaps all of the sign combinations discussed above in selection, and listed in the appendix below, do in fact represent personal names. They are directly, or by association categorized by Late Uruk scribes using terminology that ultimately points to SAL and KUR₃; they are found in a distinct text format that removes them from the realm of simple object designations; and they do not correspond to entries in the thematic lexical lists.

The list of presumed slave names is by no means definitive, but I think a good indication of problems inherent in the archaic Sumerian postulate. Even under the assumption that the personal names in our texts were those of prisoners of war, or of slaves imported into Babylonian bondage from regions surrounding Mesopotamia and thus were not of the “Uruk core,” sharing the language and culture of their overseers, it remains difficult to understand the absence of theophoric elements, Sumerian or otherwise. This reminds us of the fact that we have found no lexical god lists of the pantheistic form well attested in the ED IIIa period—it is in fact difficult to point to any clear evidence of anthropomorphic deities in the Late Uruk period at all, once the presumed depiction of Inanna on the Uruk Vase is put in doubt—and that such theophoric elements have not been identified in any other sign combinations that would be credible candidates for personal names. That would leave us with the common elements for males, lu₂, lugal, nin, ur, and ARAD₂, and for females nin, geme₂ and ama—all exceedingly rare, or missing here. If

PN1's indicated no deviation from the general pattern observed in our list of mu-ni-im names, although the terminological differentiation of slave designations in lead lines of sale contracts (sag nita₂/munus and dumu nita₂/munus) vs. ARAD₂ and geme₂ in legal case records (di-til-la) and related legal and administrative references is notable. Such texts as *TUT* 164-12 indicate that, as is generally understood, the more formal designation of ARAD₂ and geme₂ in the context of chattel slaves is in fact sag (nita₂/munus).

we exchange SAL for geme₂, and KUR₂ or 3N₅₇ or, for skeptics, even ŠUBUR for, say, ur, then the corresponding names in our list are not more reflective of expected early Sumerian forms. How much more agreeable this

discussion would be if Langdon, now eighty years ago, had been right and not just en-lil-ti, bur other names in this vein had been uncovered in the proto-cuneiform archives!

Appendix. List of personal names in "slave" accounts

(signs of individual names have been force-sorted without regard to potential language-revealing sequences; an annotated archaic name glossary will appear in due time in the pages of the CDLI)

A AL MUN ₂₁ TE	AN GIŠ ZATU77 _{3a} '	BU ₂ ŠE ₂	DU×DIŠ ERIM ₂ LAGAB ₆
A EN ₂	AN GUM ₆	BU ₂ ŠE ₂ ŠUBUR	DU ₇ ZATU68 ₆
A KI NE ₂ [...]	AN IM ₁ KISAL ₆₁	BU ₂ ŠE ₂ 3N ₅₇	DUG ₂ ' SI X X
A NAR	AN KAŠ _c ME ₂ NA ₂	BU ₂ ŠU	DUR ₂ DUR ₂
A NE ₂ 1N ₅₇	AN KI	BU ₂ ŠU ₂	DUR ₂ ERIM ₂ MEN ₂
A NUNUZ ₂₁	AN LU ₂ ZATU77 _{3a}	BU ₂ ŠUR _{2b}	ZATU75 _{1a}
A SAG	AN MUŠ _{3a} SIG	BU ₂ TUR	DUR ₂ ŠE ₃ '
A ² SANGA ₂ ' [...]	AN NIMGIR	BU ₂ U _{2a}	DUR ₂ ZATU75 _{1a} 3N ₅₇ [...]
A ŠA TAK _{4a}	AN PIRIG ₆₁ 3N ₅₇	BU ₂ UR ₂	E _{2a} BU ₂
A ŠA _{3a1} TAK _{4a}	AN TAK _{4a} U ₈ '	BU ₂ +DU _{6a}	E _{2a} DAḪ
A TAK _{4a}	AN TE KI GAL ₂	BU ₂ +DU _{6a} BU ₂ +DU _{6a}	E _{2a} EN ₂ AN
A U _{2b}	AN UB ḪI	EZINU ₂ PAP ₂	E _{2a} GIR _{3c}
A 3N ₅₇	AN URU ₂₁	BU ₂ +DU _{6a} DI NAB	E _{2a} LAM ₆ MUD
AB ₂ EN ₂ U _{2b}	AN ZI ₂ '	BU ₂ +DU _{6a} DUR ₂ 3N ₅₇	E _{2a} NE ₂ PAP ₂
AB ₂ EZEN ₆ X [...]	ANŠE _c DU DUR ₂ 7N ₅₇	BU ₂ +DU _{6a} GUL	E _{2a} PIRIG ₆₁ ' UDU ₂
AB ₂ KAK ₂ '	APIN ₆	DA ₂ E _{2a} 3N ₅₇	E _{2a} SAG 3N ₅₇
AB ₂ KU _{6a}	BA NESAG _{2b}	DA ₂ KAŠ _c	E _{2a} SAL
AB ₂ 5N ₅₇	BAḪAR _{2a} BU ₂	DA ₂ KAŠ _c ŠE ₂ /ŠE _{2a}	E _{2a} SI ME ₂
AB ₆ GU ₄ EN ₂	BAḪAR _{2a} EN ₂	DA ₂ KU _{6a} [...]	E _{2a} ŠUBUR
AB ₆ SANGA ₂	BAḪAR _{2a} ' EN ₂ AN	DAḪ	E _{2a} ZI ₂
AD ₂ ' AN SI	BAḪAR _{2a} 3N ₅₇	DAḪ [...]	E _{2a} [...]
AD ₂ X	BALA ₆ TUR _{3a}	DANNA KUR ₂	E _{2b} BAR 3N ₅₇
AD _c E _{2a} SAL	BAN ₆ PAP ₂	DAR ₂ PAP ₂ SAL	E _{2b} BU ₂
AD _c GI ḪI	BAR ₂ ' GUG ₂	DAR ₆ E _{2a}	E _{2b} KALAM ₂
AK ₂ EN ₂ GAL ₂	BAR X [...]	DAR ₆ E _{2b} ŠA	E _{2b} SI NAGA ₂
AMA ₂ AN EN ₂	BARA _{2a} TAK _{4a}	DARA _{3d} ×KAR ₂	E _{2b} 3N ₅₇
AMA ₂ AN MA	BARA ₃ DU	DARA _{4a1} SI	E _{2a} 3N ₅₇ [...]
AMA ₂ ERIM ₂ MUŠEN	BARA ₃ SI	DI NAB	E _{2b} 3N ₅₈
MAŠ	BU ₃ A	DI NAB NIN	EN ₂ EN ₂ -E _{2b}
AMA ₂ GI KI MUŠEN MAŠ	BU ₃ A DUR ₂	DIM ₂	EN ₂ EZEN ₆
ZATU69 _{4c}	BU ₂ DU	DIM ₂ DA ₂	EN ₂ EZINU ₂
AMA ₂ ZATU628 ₆ N ₄	BU ₂ EN ₂ KAL ₆₂ MAŠ	DIM ₂ X	EN ₂ GA _{2a1} GU
AMAR EN ₂ ŠU	BU ₂ EN ₂ MAŠ	DIN E _{2a}	EN ₂ GA _{2a1} ' NUNUZ ₂₀ '
AN AN GAR	BU ₂ EN ₂ 1N ₅₇	DU BA KI	EN ₂ GA _{2a2}
MUŠEN×2N ₅₇ N ₂₄ '	BU ₂ GI	DU E _{2a} PIRIG ₆₁ 3N ₅₇	EN ₂ GIŠ×ŠU _{2a}
AN DU ZATU735 ₂ '	BU ₂ ḪAL ŠITA ₂₃	DU EN ₂ KA ₂	EN ₂ GU ₄ SAL
AN DUB ₂ NIN	BU ₂ IŠ ₆	DU EN ₂ U _{2b}	EN ₂ ḪI
AN DUR ₂ EN ₂ ḪI 1N ₅₈	BU ₂ LAL _{2a}	DU ḪI TA _c	EN ₂ ḪI KAŠ _c
AN E ₂ ' ME ₂ ' [...]	BU ₂ MAŠ	DU IB ₂ X X	EN ₂ ḪI RAD ₂
AN EN ₂	BU ₂ MUD NA ₂	DU KI 3N ₅₇	EN ₂ ḪI ŠA _{3a1}
AN EN ₂ DU	BU ₂ MUŠEN TUR	DU KU _{6a}	EN ₂ ḪI U _{2b}
AN EN ₂ MUŠ _{3a}	BU ₂ PAP ₂	DU PAP ₂ TUR _{3a}	EN ₂ ḪI UNUG ₂
AN EN ₂ SAG	BU ₂ PAP ₂ BU ₂	DU TA _d	EN ₂ IB ₂
AN EN ₂ UMUN ₂	BU ₂ PAP ₂ [...]	DU TUR _{3a} U _{2b} '	EN ₂ IN ₆
AN EN ₂ [...]	BU ₂ SAL	DU ² URI _{3a} [...]	EN ₂ KI ₂
AN EŠDA	BU ₂ ŠA _{3a1}	DU N ₁ ' X	EN ₂ KID _c NUN ₂

EN _a NA ₁ NIM _{b2}	GI/GI PIRIG _{b1}	KID _b LAGAB _a	NI _a ZATU773 _a
EN _a NA ₁ UDU _a X	GI/GI 3N ₅₇	KISAL _{b1} PAP _a SI	NIM _a
EN _a NIGIN TI	GI/GI/GI EN _a	KISAL _{b1} X [...]	NIM _a U ₄
EN _a NIM _{b1} 1N ₅₇ ²	GI·KU _{b1}	KISIM _a KU _{b1} KU _{6a}	NIMGIR
EN _a NUNUZ _c	GI _{4a} ŠA _{3a1}	KIŠIK _a NA _a ŠUBUR	NIR _a ZATU773 _a
EN _a PA _a	GI _{4a} ŠA _{3a1} [...]	KITI 3N ₅₇	NU (UDU _a ×TAR) _a
EN _a PAP _a	GI ₆ KIŠIK _a URI _{3a}	KU _{3a} [...]	NU ŠUBUR
EN _a PAP _a X	GI ₆ ² LAM _b ŠU	KU _{6a} RAD _a UR _a	NUNUZ _{a1} 3N ₅₇
EN _a PAP _a [...]	GIR _{3a} NI _a	KU _{6a} RAD _a 3N ₅₇	NUNUZ _c 3N ₅₇
EN _a PIRIG _{b1}	GIR _{3c}	KU _{6a} ² TUM _c X	PA _a
EN _a SAG ¹	GIR _{3c} DU	KUR _a MAŠ ZATU773 _a	PA _a TUN _{3a}
EN _a SAG ŠE _a	GIR _{3c} NI _a	KUR _a E _{2a} 3N ₅₇	PA _a ² X
EN _a SAL TE 3N ₅₇	GIR _{3c} PAP _a	LA ₂ ² NA _{2a} ² X	PAP _a
EN _a SAR _a	GIR _{3c} ×ŠE ₃ NUN _a [...]	LA ₂ SUG ₅	PAP _a SAL N ₂
EN _a SI ŠAGAN	GIR _{3c} N ₁	LA ₂ SUM _b	PAP _a SU _a 3N ₅₇
EN _a SU _a TI	GIR _{3c} gunú _b 3N ₅₇	LA ₂ TE	PAP _a ŠU
EN _a ŠITAgunú _a AB _a	GIR _{3c} gunú _c EN _a	LAM _b X	PAP _a ŠU ₂
EN _a ŠU ₂ E _{2b}	GIŠ SAG×GEŠTU _b	LUGAL	PAP _a ŠUBUR ZI _a
EN _a TU _a [...]	GIŠ×ŠU _{2a} NIMGIR	MA MA	PAP _a 3N ₅₇
EN _a TUR	GIŠ×ŠU _{2a} SAG ŠU	MA SI	PAP _a X [...]
EN _a U ₄	GIŠ _{3b} UR _a	MAH _b ×NA _a	PAP _a [...]
EN _a URU _{a1} 2N ₅₇	GU ₄ gunú _c DIN	MAŠ MUŠEN	PIRIG _{b1}
EN _a ZATU630	GUL KITI	MAŠ ₂ 1N ₅₇	PIRIG _{b1} 3N ₅₇ [...]
EN _a ZATU697 _c	GUL SAG	ME _a ² SAL SAL ZATU751 _a	RU
EN _a ZATU829	HAL ME _a	X	RU NAR
EN _a N ₄	HAL PAP _a	ME _a ŠU	RU ŠUBUR
EN _a X	HI KASKAL	ME _a ŠU X X	RU U _{2b}
EN _a X [...]	HI MUŠEN SAL UR _{5a}	ME _a U ₈	RU 3N ₅₇
EN _a [...]	ZATU628 _a	ME _a X X	RU [...]
EN ₂ E _{2b} 3N ₅₇	HI MUŠEN 1N ₅₇	ME _a ² [...]	SAG U _{2b}
ERIM _a GI ₆ I	HI NAGA _a	MU TUR	SAG X
ERIM _a KU _{6a}	HI NIN SAG	MUD	SAG [...]
ERIM _a SAG [...]	HI ZATU832	MUD [...]	SAG×MA
ERIM _a ZATU751 _a	HI×1N ₅₇ GI ₆	MUŠ _{3a} NU ₁₁ temú	SAGŠU ¹ GAL _a
ERIM _a [...]	HI×1N ₅₇ /HI×1N ₅₇ EN _a	MUŠEN	SAL SAL
EZEN _a ×SU _a	HIgunú _b	MUŠEN RAD _a	SAL ŠU ₂
ZATU651×EN _a	IL KI ¹ X	MUŠEN RAD _a ŠUBUR	SAL 3N ₅₇
GA _{2a1} ×EN _a NUNUZ _{a1}	IŠ ₁ KAŠ _c	MUŠEN SIG ₇	SAR _a URU _{a1}
GA _{2a2} ŠU	IŠ _b ZATU832	MUŠEN ŠE _a	SAR _a 3N ₅₇ [...]
GA _{2a2} ×3N ₅₇	KA ₂ ×LAM GA _a [...]	MUŠEN ZATU659	SI _{4a} U ₄ X
GAL _a PU ₂	KAL _{b2} NIMGIR	NA _a NIR _a	ŠU U ₄
GAL _a MU SANGA _a ŠU	KASKAL ŠUBUR	NAGA _a	ŠUBUR UB
GAL _a MU SANGA _a ŠU	KASKAL [...]	NAM _a KI	SI UR _a
ZATU651gunú	KAŠ _a MUŠEN ²	NAM ₂	SI TUR _{3a} ZATU773 _a
GAL _a SILA _{3a} ×NI _a	KAŠ _a KAŠ _c	NAM ₂ X [...]	SI N ₁
GAN ₂ HI	KAŠ _a MUŠEN	NAR	SI 5N ₅₇
GAN ₂ 3N ₅₇	KAŠ _a MUŠEN 6N ₅₇ ² X	NAR ŠA _{3a1}	SI _{4a} U ₄ X
GAR IG _b LAL _{3a} ²	KAŠ _a ŠE _a /ŠE _a	NE _a ŠU	SU _a U _{2b}
GAR U _{2a}	KAŠ _a TAK _{4a}	NE _a ZATU778	SUKKAL X
GI DIM _a	KAŠ _a ZATU823	NI _a SA _c	ŠA X
GI KAŠ _a MUŠEN	KAŠ _a X	NI _a SAG TAK _{4a}	ŠA ŠA TUM _c
GI MUŠEN NA _a	KAŠ _a [...]	NI _a SUKUDgunú _d	ŠU ŠU
GI MUNŠUB _b	KI NU U ₄	NI _a ŠU	ŠU TUR
GI NA _a [...]	KI, ZATU629 _a	NI _a ŠU ZATU811	ŠU U ₄
GI ŠA _{3a1}	KI X X	NI _a ŠU ₂ U ₄	ŠU ZI _a
GI ŠU ¹ [...]		NI _a ZATU713	ŠU 3N ₅₇

ŠU X	TAK _{4a} U _{2b}	UB ZI _a	ZATU659
ŠU [...]	TE UNUG _a	UD _{5a}	ZATU795
ŠU ₂ URI _{3a}	TI ZI _a [?] [...]	UNUG _a ZATU773 _a	ZATU811 3N ₅₇
ŠU ₂ .N ₂	Tlstenû GIR _{3c}	UNUG _a [...]	ZATU819 [?] X
ŠUBUR	TU _b	UR _a [?]	N ₁ [...]
ŠUBUR X	TU _b UD _{5a} [?]	UR _a UR _a	3N ₅₇
ŠUBUR ŠUM	TUR	UR _a [?] URI _{3a}	3N ₅₇ X
ŠUBUR UB	TUR _{3a} 5N ₅₇	UR _{3b2}	3N ₅₇ X [...]
ŠUR _{2a}	U _{2b} [...]	URI _{3a} [...]	3N ₅₇ [...]
ŠUR _{2b}	U ₈ 6N ₅₇	URI _{3a} ZATU773 _a	

Bibliography

V. K. Afanasieva, et al.

1968 *Fifty Years of Soviet Oriental Studies: Cuneiform Studies* (Moscow)

Bendt Alster

2007 *Sumerian Proverbs in the Schøyen Collection* (=Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology 2, MSCCT 2; Bethesda, MD)

Edward Ball

1999 *Slaves in the Family* (New York)

Josef Bauer, Robert K. Englund, and Manfred Krebernik

1998 *Mesopotamien: Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit* (=Orbis Biblicus et Orientalis [OBO] 160/1; Freiburg, Switzerland)

Ira Berlin

2003 *Generations of Captivity* (Cambridge, MA)

Robin Blackburn

1997 *The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1492-1800* (New York)

Burchard Brentjes

1987 "Ein Nachwort zur 'asiatischen Produktionsweise'," *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* Sb. 1987, 175-180

Antoine Cavigneaux

1991 "Die Texte der 33. Kampagne," *BagM* 22 (1991) 33-123

Robert E. Conrad

1973 *The Destruction of Brazilian Slavery, 1850-1888* (Berkeley)

Philip D. Curtin

1969 *The Atlantic Slave Trade: a Census* (Madison, Wisconsin)

Jacob L. Dahl

2005a "Complex Graphemes in Proto-Elamite," *CDLJ* 2005/3

2005b "Animal Husbandry in Susa During the Proto-Elamite Period," *SMEA* 47, 81-134

nd "Early Writing in Iran: a Reappraisal," forthcoming

Peter Damerow, and Robert K. Englund

2003 *The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya* (=American School of Prehistoric Research Bulletin 39; Cambridge, MA, 3rd edition)

Muhammad A. Dandamaev

- 1984 *Slavery in Babylonia. From Nabopolassar to Alexander the Great (626-331 B.C.)* (translated from the Russian by M. A. Powell; DeKalb, Illinois)

Igor M. Diakonoff

- 1969 "Main Features of the Economy in the Monarchies of Ancient Western Asia," *3^{me} conférence internationale d'histoire économique*, Munich 1965 (Paris) 13-32
- 1976 "Slaves, Helots and Serfs in Early Antiquity," *ActAnt* 22 (1974) 45-78

Günter Dreyer

- 1998 *Umm el-Qaab I, Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen Schriftzeugnisse* (=AV 86; Mainz)

Ralf Engbert, André Longtin and Reinhold Kliegl

- 2002 "A Dynamical Model of Saccade Generation in Reading based on Spatially Distributed Lexical Processing," *Vision Research* 42/5, 621-636

Robert K. Englund

- 1988 "Administrative Timekeeping in Ancient Mesopotamia," *JESHO* 31 (1988) 121-185
- 1990 *Organisation und Verwaltung der Ur III-Fischerei* (=BBVO 10; Berlin)
- 1991 "Hard Work: Where Will It Get You? Labor Management in Ur III Mesopotamia," *JNES* 50, 255-280
- 1994 *Archaic Administrative Documents from Uruk: The Early Campaigns* (=ATU 5; Berlin)
- 1995 "Late Uruk Pigs and Other Herded Animals," in U. Finkbeiner, R. Dittmann and H. Hauptmann, eds., *Fs. Boehmer* (Mainz 1995) 121-133
- 2001 "Grain Accounting Practices in Archaic Mesopotamia," in J. Høyrup and P. Damerow, eds., *Changing Views on Ancient Near Eastern Mathematics* (=BBVO 19; Berlin) 1-35
- 2005 Review of J.-J. Glassner, *The Invention of Cuneiform: Writing in Sumer*, in *JAOS* 125, 113-116

Robert K. Englund and Jean-Pierre Grégoire

- 1991 *The Proto-Cuneiform Texts from Jemdet Nasr* (=MSVO 1; Berlin)

Robert K. Englund and Hans J. Nissen

- 1993 *Die lexikalischen Listen der archaischen Texte aus Uruk* (=ATU 3; Berlin)

Adam Falkenstein

- 1936 *Archaische Texte aus Uruk* (=ATU 1; Leipzig)

William Faulkner

- 1955 *Go Down, Moses* (New York, The Modern Library edition, 1955 [copyright William Faulkner 1940, Curtis Publishing 1942])

Philip S. Foner

- 1975 *History of Black Americans: From the Compromise of 1850 to the End of the Civil War* (New York)

John H. Franklin and Alfred A. Moss

- 1994 *From Slavery to Freedom* (7th edition New York)

Jöran Friberg

- 2005 "On the Alleged Counting with Sexagesimal Place Value Numbers in Mathematical Cuneiform Texts from the Third Millennium BC." *CDLJ* 2005/2
- 2007 *A Remarkable Collection of Babylonian Mathematical Texts* (=Manuscripts in the Schøyen Collection: Cuneiform Texts 1; New York)

Ignaz J. Gelb

- 1965 "The Ancient Mesopotamian Ration System," *JNES* 24, 230-243

- 1967 "Approaches to the Study of Ancient Society," *JAOS* 87. 1-8
- 1969 "On the Alleged Temple and State Economies in Ancient Mesopotamia," in *Fs. Volterra VI* (Milan) 137-154
- 1972 "From Freedom to Slavery," *RAI* 18 (1970) 81-92
- 1973 "Prisoners of War in Early Mesopotamia," *JNES* 32, 70-98
- 1979 "Definition and Discussion of Slavery and Serfdom," *Ugarit-Forschungen* 11, 283-297
- 1982a "Terms for Slaves in Ancient Mesopotamia," *Fs. Diakonoff* (Warminster) 81-98
- 1982b Sumerian and Akkadian Words for 'String of Fruit'," *Fs. Kraus* (Leiden) 67-82
- Andrew George
- 2003 *The Babylonian Gilgamesh Epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts* (Oxford)
- Erika Gerber, Konrad Ehlich and Jan-Dirk Müller, eds
- 2002 *Materialität und Medialität von Schrift* (Bielefeld)
- Jean-Jacques Glassner
- 2000 *Ecrire à Sumer: l'invention du cunéiforme* (Paris)
- Margaret W. Green
- 1980 "Animal Husbandry at Uruk in the Archaic Period," *JNES* 39. 1-35
- Margaret W. Green and Hans J. Nissen
- 1987 *Zeichenliste der Archaischen Texte aus Uruk (=ATU 2; Berlin)*
- Géza Komoróczy
- 1978 "Landed Property in Ancient Mesopotamia and the Theory of the So-called Asiatic Mode of Production", *Oikumene* 2, 9-26
- Natalya Koslova
- nd "(Selbst) ein freier Mann ist nicht gegen die Fronarbeit gefeit ... ," *RAI* forthcoming
- Manfred Krebernik
- 2007 "Zur Entwicklung des Sprachbewusstseins im Alten Orient," in C. Wilcke, ed., *Das geistige Erfassen der Welt im Alten Orient* (Wiesbaden) 39-61
- Stephen H. Langdon
- 1928 *The Herbert Weld Collection in the Ashmolean Museum (=OECT 7; Oxford)*
- 1931 "A New Factor in the Problem of Sumerian Origins," *JRAS* 1931, 593-596
- G. Melekišvili
- 1974 "Esclavage, féodalisme et mode de production asiatique dans l'Orient ancien," in *Sur le "Mode de production asiatique"* (Centre d'Études et de Recherches marxistes; Paris) 257-277
- Piero Meriggi
- 1975 "Der Stand der Erforschung des Proto-Elamischen," *JRAS* 1975, 105
- Randall M. Miller and John D. Smith, eds
- 1997 *Dictionary of Afro-American Slavery* (New York)
- Salvatore Monaco
- 2007 *The Cornell University Archaic Tablets (=Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology 1; Bethesda, MD)*
- Hans J. Nissen, Peter Damerow, and Robert K. Englund
- 1993 *Archaic Bookkeeping* (Chicago)
- 2004 *Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient* (Berlin, 3rd edition)

- Frederick L. Olmstead
1862 *The Cotton Kingdom* (New York)
- David I. Owen and Rudi H. Mayr
2007 *The Garšana Archives* (=Cornell University Studies in Assyriology and Sumerology 3; Bethesda, MD)
- Eul-Soo Pang
1979 "Modernization and Slavocracy in Nineteenth-Century Brazil," *Journal of Interdisciplinary History* 9/4, pp. 667–688
- Jana Pecírková
1979 "Social and Economic Aspects of Mesopotamian History in the Work of Soviet Historians (Mesopotamia in the First Millennium B.C.)," *ArOr* 47, 111-122
- Marvin A. Powell
1972 "Sumerian Area Measures and the Alleged Decimal Substratum," *ZA* 62 (1972) 165-221
- Keith Rayner
1998 "Eye Movements in Reading and Information Processing: 20 Years of Research," *Psychological Bulletin* 124/3, 372-422
- Erik D. Reichle, et al.
1998 "Toward a model of eye-movement control in reading," *Psychological Review* 105, 125–157
- Stuart B. Schwartz
1996 *Slaves, Peasants, and Rebels: Reconsidering Brazilian Slavery* (Urbana & Chicago)
- Piotr Steinkeller
1990 "Threshing Implements in Ancient Mesopotamia, Cuneiform Sources," *Iraq* 52, 19-24
- Michael P. Streck and Stefan Weninger, eds.
2002 *Altorientalische und semitische Onomastik* (=AOAT 296; Münster)
- Vasilii V. Struve
1947 "Social Structure in Southern Mesopotamia during the 3rd Dynasty of Ur" (in Russian), *Jubilejni sbornik ... II* (Moscow-Leningrad) 720-742
1969 "Some New Data on the Organization of Labour and on Social Structure in Sumer during the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur," in I. M. Diakonoff, ed., *Ancient Mesopotamia* (Moscow) 127-172
- Benjamin Studevent-Hickman
2006 *The Organization of Manual Labor in Ur III Babylonia* (PhD thesis, Harvard University)
- Lorenzo Dow Turner
1949 *Africanisms in the Gullah Dialect* (republished Columbia, South Carolina, 2002)
- Aizik A. Vaiman
1974a "The Designations of Male and Female Slaves in the Proto-Sumerian Writing System" (in Russian), *VDI* 1974/2, 138-148
1974b "Über die protosumerische Schrift," *ActAn* 22, 15-27
1981 "On Deciphering the Proto-Sumerian Writing System" (in Russian), *VDI* 1981/4, 81-87
1989 "Die Bezeichnung von Sklaven und Sklavinnen in der protosumerischen Schrift," *Baghdader Mitteilungen* 20, 121-133
1990 "Zur Entzifferung der proto-sumerischen Schrift (vorläufige Mitteilung)," *Baghdader Mitteilungen* 21, 116-123
- François Vallat
1986 "The Most Ancient Scripts of Iran: the Current Situation," *World Archaeology* 17/3, 335-347

Jan van Dijk

1989 "Ein spätaltbabylonischer Katalog einer Sammlung sumerischer Briefe," *OrNS* 58, 441-452

Wilfred van Soldt, ed.

2005 *Ethnicity in Ancient Mesopotamia* (=RAI 49; Leiden)

Raymond Westbrook

1995 "Slave and Master in Ancient Near Eastern Law," *Chicago-Kent Law Review* 70, 1631-1676

СРАВНИТЕЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

А. Ю. Милитарев

**О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЛИТЬ СВЕТ
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ
ДОИСТОРИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ ПРААФРАЗИЙСКИХ ТЕРМИНОВ,
СВЯЗАННЫХ С МУЗЫКОЙ, ПЕНИЕМ И ТАНЦЕМ)**

Одной из фундаментальнейших задач в изучении ранней истории человечества является заполнение зияющего пробела в наших представлениях о человеке и человеческих сообществах в дописьменную эпоху и отождествление этих сообществ с группами, говорившими на реконструируемых праязыках — предках вымерших языков, засвидетельствованных в письменных памятниках, и живых языков, сохранившихся до наших дней.

Так как главным идентификатором, «именем» всякой этнической общности является язык, а, за редчайшим исключением, имя практически любой этнической общности дописьменного периода, по определению, до нас не доходит, то подавляющее большинство бесписьменных археологических культур либо вовсе не идентифицируется с известными этническими группами и языками или их историческими предками, либо идентифицируется крайне гипотетически. Причем, если археологическая информация о дописьменной древности ограничена трудностью «вписывания» в известную этноязыковую историю человечества и фокусированием внимания, главным образом, на материальной культуре, то даже в историческую эпоху информация, полученная из письменных источников, далеко не полна и часто — как любой текст, созданный конкретными людьми, — субъективна, отражая, конечно, *какую-то* историческую реальность, но создавая большие проблемы для интерпретации и соотнесения с другими источниками. Ограниченность еще одного важного ресурса информации — доисторического изобразительного искусства: та же степень субъективности, что и в письменных памятниках, и те же проблемы интерпретации, усугубляемые трудностью, а зачастую и невозможностью датирования в абсолютном времени.

Едва ли не главным источником наших представлений о первобытности традиционно считаются этнографические сведения о живых «примитивных», или «архаических» культурах типа культур аборигенов Австралии или Новой Гвинеи, различных африканских племен и т. п., проецируемые на дописьменную древность. Однако главная трудность здесь — сомнительность правомерности такой экстраполяции в принципе. Одно дело — рассуждать о первобытности «вообще», другое — срав-

нивать культуры, оставшиеся до контактов с западной цивилизацией охотничье-собираТЕЛЬскими, т. е. практически не изменившиеся за десятки тысяч лет, с развитыми земледельческо-скотоводческими этноязыковыми группами (типа, скажем, праиндоевропейской, прасинотибетской, прасемитской или еще более древней праафризской) — предками создателей ранних цивилизаций. При всей «неполиткорректности» такого утверждения приходится, по-видимому, признать, что в доисторический период сложились как минимум два типа «первобытных» культур — условно говоря, динамичные и статичные. Очевидно, что многие параллели между ними вполне естественны и должны подтвердиться при серьезном сравнительном анализе, который, насколько мне известно, никто никогда не проводил (это, в первую очередь, сравнение картины жизни того или иного праязыкового сообщества, восстанавливаемой по обширной реконструированной лексике, с полным и детальным этнографическим материалом по «архаическим» культурам), но будет и много различий — как, само собой разумеется, в области материальной культуры, так и, скорее всего, в области культуры интеллектуальной.

В последние годы все более существенным средством прослеживания древних локализаций и передвижений человеческих групп и их соотношения с современными этническими общностями становится генетика, но координация получаемых ею идентификаций и календарных датировок с лингвистическими и археологическими данными находится пока в зачаточной стадии.

В этом контексте все яснее видится важнейшая роль сравнительно-исторической лингвистики. Ее возможности — по крайней мере, потенциальные — и методы на сегодняшний день: достаточно полная реконструкция праязыковой, в том числе культурной, лексики, позволяющая по сотням праязыковых лексем представить картину жизни говорившего на этом праязыке человеческого сообщества; метод глоттохронологии в его новейшей модификации, разработанной С. А. Старостиным, дающий возможность этот праязык датировать с такой же степенью точности (или, если угодно, приблизительности), как это делает радиоуглеродный метод в археологии; поиск и установление языковой прародины путем идентификации данного праязыкового коллектива с безымянными группами — создателями подходящих по времени, месту и облику археологических культур; выявление лексических заимствований как следов этнокультурных контактов, позволяющих установить направления древних миграций и сопоставить их с распространением археологических артефактов и передвижениями человеческих групп по генетическим данным; возможность проследить процессы культурной трансформации с помощью «ступенчатой» реконструкции последовательных праязыковых состояний вплоть до сопоставления с данными засвидетельствованных письменных памятников на языках-потомках; наконец, установление этимологии отдельных культурно значимых терминов и понятий, проливающих свет на разные стороны материальной и интеллектуальной культуры древних.

Использование лингвистических данных для реконструкции этнокультурной истории, известное еще с начала XX в. в «романтическом» варианте, в качестве со-

временного научного метода открывает совершенно новые возможности. Эти данные, если они получены и обработаны на профессиональном уровне, сами по себе не страдают субъективностью (будучи беспристрастным и не зависящим от индивидуального сознания свидетельством «самого языка»), не ограничены письменным периодом (реконструкция праязыкового словаря основывается на равноценном сопоставлении лексики древних памятников и современных, даже бесписьменных, языков; праязыки более или менее освоенных сравнительным методом макросемей датируются сейчас VIII—X тыс. до н. э.), могут охватывать все стороны жизни — от экологии и материальной культуры до отдельных элементов и целых аспектов устройства общества, родственных связей, верований и представлений, менталитета. Хотя языковые и, особенно, праязыковые данные иногда трудно интерпретировать в культурологическом плане, такая интерпретация тем полнее и точнее, чем более развитой становится методика и практика координации лингвистических, письменно-исторических, археологических, этнологических, генетических, физико-антропологических и прочих исследований.

Сегодняшнее состояние исследований в области реконструкция этнокультурной истории лингвистическими методами и по лингвистическим данным производно, в первую очередь, от пионерских отечественных работ 80-х гг.: Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова по индоевропейским, И. М. Дьяконова по семитским и афразийским языкам, С. А. Старостина по глоттохронологии и реконструкции праязыков разных языковых семей и макросемей и др.

Особое значение лингвистические данные имеют для реконструкции интеллектуальной («духовной») культуры, являясь едва ли не единственным источником хотя бы приблизительных представлений о менталитете и уровне интеллектуального развития человеческих коллективов, говоривших на том или ином праязыке в ту или иную доисторическую эпоху.

Вполне сознавая опасность модернизации древнего мышления, приписывания реконструируемому значению праязыковых лексем смыслов и ассоциаций, обитающих в голове современного исследователя, все же рискну утверждать, что предварительные результаты прасемитской и праафразийской реконструкции соответствующих терминов, похоже, не подтверждают распространенное мнение о том, что в древности, тем более доисторической, дописьменной, человеческое мышление было принципиально примитивнее мышления, скажем, человека европейского средневековья или любой более поздней эпохи вплоть до глобального охвата средствами массовой информации (речь идет, конечно, не о выдающихся умах любой исторической эпохи — каковые умы вполне могли существовать и в доисторической, — а о несколько абстрактном «усредненном», анонимном человеке, на чье мышление только и проливает хоть какой-то свет реконструированная лексика), что «первобытному человеку» не были знакомы абстрактные понятия, а место рационального осмысления, обобщения, членения окружающего мира занимала мифология.

Это мнение разделялось даже таким выдающимся историком древности и лингвистом, как И. М. Дьяконов, который писал: «Не следует... преувеличивать

силу побуждения первобытного человека к осмыслению окружающего мира... практический характер реакции на внешние импульсы преобладал... Только у философов поздней древности появились и интерес, и досуг, и практическая возможность к сознательным неэмоциональным обобщениям всего окружающего мироздания... никакое осмысление невозможно без обобщения, а первобытный человек, даже уже обладая словесной знаковой системой, был лишен аппарата языкового (а стало быть, вообще сознательного) абстрагирования явлений в их динамике» (Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990 с. 11). Речь здесь идет о «земледельцах и скотоводах, населявших Землю в догородской... период между IX тысячелетием до н. э. и I тысячелетием н. э.» (там же, с. 190, примеч. 4). Дьяконов утверждает: «...сознательная дискретная мысль (не эмоция) эквивалентна слову... чего нет в языке, нет и в сознании» (там же, с. 11). Это сильное утверждение, разделяемое далеко не всеми; более очевидным и менее спорным представляется утверждение «чего нет в сознании, нет и в языке».

Очевидно, что понятия выражаются в терминах, словах. Хотя словарное значение или даже совокупность всех значений слова в имеющихся контекстах лишь указывает на понятие, описывает его, не передавая во всем объеме и богатстве смысла, наличие понятийных терминов в словаре языка, даже давно вымершего, указывает на наличие соответствующих понятий в сознании и культуре говорившего когда-то на этом языке человеческого сообщества. Это относится и к реконструируемым праязыкам. Если родственные слова с одним и тем же значением засвидетельствованы в разных языках-потомках (и можно доказать, что они не заимствованы из одного родственного языка в другие), значит, данное значение имелось уже в праязыке. Более распространенный случай — родственных слов с разными, хотя и сопоставимыми значениями, — представляет большую трудность, особенно учитывая неразвитость исторической семантики как науки, однако опытный этимолог в состоянии оценить степень вероятности того или иного сопоставления и соответствующего ему семантического перехода и предложить наиболее непротиворечивое значение для реконструируемой праязыковой формы.

Праафразийский язык датируется приблизительно X тыс. до н. э. Эта датировка получена автором с помощью глоттохронологического метода в его старостинском варианте, логически, лингвистически и математически более убедительном, чем изначальный, свадешевский, и дающем гораздо более правдоподобные датировки с точки зрения как исторической хронологии (в тех немногочисленных случаях, когда такие отождествления возможны), так и того, что можно назвать «лингвистической интуицией». Реконструированная лексика указывает на то, что носитель праафразийского языка отнюдь не был лишен «аппарата языкового абстрагирования явлений» — в его лексиконе есть слова, указывающие на возможность и «осмысления окружающего мира», и «сознательных неэмоциональных обобщений всего окружающего мироздания».

На сегодняшний день реконструированы праафразийские термины, отражающие умственную деятельность, знания, представления, обобщения (такие как

‘знать’, ‘узнавать’, ‘понимать’, ‘думать’, ‘забывать’, ‘жить, быть рожденным’, ‘смерть, умирать’, ‘быть’, ‘имя’, ‘знак’, ‘вещь’ и т. п.); поведение, оценки, представления о некоем аналоге морали (‘хороший’, ‘плохой’, ‘плохо относиться, творить зло’, ‘обманывать, лгать’); верования, магические и ритуальные действия, с которыми, скорее всего, связаны пение, танец и игра на музыкальном инструменте (‘тростниковая дудочка’), знакомство с числом и счетом; представления о времени и его членении, о пространстве и ориентации на местности, об анатомии человека и животных, деторождении, сексуальных отношениях, о «классификации» животных и др.

К примеру, только знанием и достаточно глубоким осмыслением окружающего мира и человеческой природы можно объяснить наличие более сотни терминов в праафразийском лексиконе из области анатомии человека и животных (ср. с несколькими сотнями общесемитских терминов). И вряд ли можно чем-то другим, кроме умения по-своему обобщать и классифицировать факты, объяснить то, что, скажем, родство слов из разных афразийских языков, означающих где кошку, где леопарда, а где льва, явно указывает на некое представление праафразийского человека, объединяющее животных семейства кошачьих; как правило, эти термины не путаются с терминами со значениями «собака, волк, шакал, лисица», объединяющими собачьих (часто сюда попадает и «гиена»), а такие термины, как «лошадь, осел, зебра», объединяют лошадиных (сюда же где-то в 30 % корней попадает и «верблюд», что представляет собой историческую загадку: я не могу объяснить это ничем, кроме ассоциации по функции вьючного или верхового животного — для раннего неолита это неожиданно) и обычно четко различаются со словами со значениями «бык, (крупная) антилопа» и «козел, баран, (мелкая) антилопа», объединяющими полорогих. И даже когда, казалось бы, путаются, обозначаются в разных языках-потомках одним и тем же термином такие разные животные, как слон, носорог и бегемот, это, похоже, говорит не о неумении древних их различать, а об объединении по какому-то классификационному признаку — скорей всего, величине и толстокожести.

Для статьи в настоящий сборник, после долгих колебаний, был выбран фрагмент праафразийской лексики, связанной с музыкой, пением и танцем (скорее всего, ритуальным). В целях экономии места почти все библиографические ссылки заменены отсылкой к *Afrasian Database*, над которой автор работает совместно с О. В. Столбовой в рамках российско-американского проекта в Институте Санта Фе «Эволюция человеческих языков», возглавлявшегося, до его безвременной кончины, С. А. Старостиным (см. версию более чем годовалой давности, которую мы надеемся в скором времени представить в обновленном виде, на сайтах <http://ehl.santafe.edu> и <http://starling.rinet.ru>). Вся содержащаяся в этой базе данных лексика на настоящий момент составляет около трех с половиной тысяч общеафразийских корней разного качества и разной степени разработанности, пять-шесть сотен из которых представляют интерес для реконструкции картины жизни праафразийского общества (отождествляемого автором с создателями натуфийской и постна-

туфийской археологических культур в районе Леванта) и достаточно надежны по лингвистическим критериям; процентов двадцать из них можно отнести к сфере интеллектуальной культуры.

Выбор семантического поля для данной статьи был подсказан позапрошлогодним выступлением Вяч. Вс. Иванова на ностратическом семинаре в Центре компаративистики РГГУ, где он предположил возможность заимствования хаттского *-zīnar* «арфа, лира, струнный музыкальный инструмент» в конечном счете из семитского при том, что прямая параллель — аккадское *zinnar-* ‘вид лиры’ считается хаттским заимствованием (что трудно оспаривать ввиду изолированности аккадского термина в семитских).

Я предложил тогда далеко не бесспорный — и семантически, и фонетически — источник заимствования: аккадское, начиная со старовавилонского периода, *zamāru* ‘песня; текст, поющий под музыкальный аккомпанемент или без него’, *zimru* ‘мелодия, звучание’, древнееврейское *zimmēr* ‘петь, играть на музыкальном инструменте’, арабское *zamara* ‘играть на тростниковой дудочке’, угаритское, арамейское и общеэфиопское **zmr* ‘петь’. У этого общесемитского термина есть единственное, довольно загадочное прямое соответствие — *izumari* ‘флейта’ в южнокушитском языке ма’а, или мбугу (ср. *Takács. G. South Cushitic Consonant System in Afro-Asiatic Context // Afrikanistische Arbeitspapiere. 61. 2000. P. 80.* При крайне сомнительном сопоставлении с египетским *zm*; ‘легкое’). Для реконструкции надежного общеафризийского термина этого маловато, а если термин в ма’а — семитское заимствование, то теоретически оно может быть только из арабского, хотя неясно, как оно могло оттуда попасть в ма’а; зато есть любопытнейшая семитская параллель без третьего корневого **-r*, что, учитывая весьма «фокусную» семантику (‘петь’ — не то, что, скажем, ‘резать, колоть, бить’ или ‘течь, литься’, где из-за размытости значений и обилия синонимов в любом языке вероятность случайного сходства и, соответственно, «фантомной» этимологии гораздо выше), вряд ли может быть случайностью, а, значит, указывает на вторичный, «суффижированный» **-r*, семантика которого в данном случае совершенно не ясна (см.: *Militarev A. Root extension and root formation in Semitic and Afrasian // Proceedings of the Barcelona Symposium on comparative Semitic, 19—20/11/2004, Aula Orientalis 23/1—2. 2005. P. 83—130.*) Это — явно изначально «двухсогласный» (помещаю этот термин в кавычки, потому что как раз изначально афризийские и даже общесемитские корни, в т. ч. глагольные, по всей видимости, включали в себя и гласные) общеэфиопский корень: геэз *zēmā* ‘песнь, литургическое песнопение’, тиграи, амхарский, гураге *zema* ‘песнь, манера пения’, геэз *zēmmāte*, тиграи, амхарский *zemmata* ‘ритм (в пении)’, геэз *wāzēmā*, тиграи, амхарский *wazema* ‘песнопения, гимны в канун праздника’. У этого корня есть как проблематичные семитские параллели (сирийское *zam* ‘гудеть, мандейское *zmt* id., *zwt* ‘гудеть, жужжать’, арабское *zmzm* ‘издавать звук, слышный на расстоянии’ — все, по-видимому, звукоизобразительные), так и прямая параллель в агавских (центральнокушитских) языках: хамир *žim-*, аунги, каилинья *žēt-* ‘плясать’ и ‘петь’ (по-видимому, синкретическое действие,

включающее в себя и пение, и танец), реконструируемая Д. Эпплярдом как **zət-* (*Appleyard D. A Comparative Dictionary of the Agaw Languages. Köln, 2006*), причем заимствование из эфиосемитских не исключено, но, учитывая существенное культурное различие в семантике, представляется мне менее вероятным.

К настоящему моменту набрались еще семь вполне репрезентативных общеафриканских терминов из данного семантического поля. Хотя наличие этих слов в языке и передаваемых ими реалий в жизни мезолитического и раннеолитического общества не является неожиданным (здесь как раз этнографические параллели вполне подтверждаются), приводимые ниже праафриканские термины являются, по-видимому, самым ранним из прямых, а не умозрительных свидетельств такого рода. Преподношу их юбиляру с глубочайшим уважением и самыми теплыми чувствами.

Приведенный ниже материал организован так, чтобы он был доступен не только российскому, но и зарубежному читателю, поэтому переводы африканских слов и краткий комментарий даются по-английски. В качестве приложения в конце статьи приводится последнее генетическое древо африканских языков, полученное автором с помощью глоттохронологического метода С. А. Старостина, которое как минимум поможет читателю ориентироваться в названиях многих африканских языков и их генетической классификации, как она мне видится на текущий момент*.

(1) Afrasian **ĉa(n/m)b-ir-* ‘тростниковая дудочка // reed flute’:

Semitic **šab-*: Akkadian *šabî-t-* ‘musical instrument’; Arabic *šabbāb-at-* ‘reed flute’; (?) Tigre *säbar* ‘a flute melody’ (probably a loanword from Central Cushitic).

Egyptian *šnb* ‘trumpet’ (New Kingdom); cf. *šbb* ‘reed, reed tube’ (Medical texts).

West Chadic: Hausa *sámhárá* ‘piece of corn-stalk rubbed between hands as accompaniment to fiddle’.

Cushitic: Central: Bilin *sabaaraa*, Khamir *sibraa* ‘flute’; East: Highland: Sidamo, Darasa *sirb-*, (?) Burji *šibir-* ‘sing and dance’ (unrelated if from **kibir-*).

North Omotic: Mocha *šumbiro* ‘shepherd’s flute’.

[] Cf.: Afrasian Database. # 593.

* Автор выражает благодарность Институту Санта Фе, а также фондам, поддерживающим его исследования в области общесемитской и общеафриканской лексики: Российскому фонду фундаментальных исследований (проект № 09-06-00153-а «Реконструкция картины жизни раннеолитического человека и общества на Ближнем Востоке по лексике общеафриканской базы данных»), Российскому гуманитарному научному фонду (проект № 06-04-00397а «Семитский этимологический словарь») и Е. Я. Сатановскому и его группе «Ариэль» (проект «Вавилонская башня»).

(2) Afrasian *sV(y/w)Vr- ‘пение и танец // singing and dancing’:

Semitic *šīr — ‘song’, *šyr ‘sing’: Akkadian *šēru*, Ugaritic *šr-t*, Hebrew *šīr*, *šīrā* ‘song’, *šyr*, Aramaic *šyr* ‘sing’.

Chadic: West *sV(w)Vr- ‘song, dance’: Bolewa *šūrī* ‘singing for elms’, Gera *sóri* ‘song’, *swarri* ‘to dance’, Jimbin *sar* ‘dance’, Guus *sər* ‘song, dance’, Polchi *sər* ‘song’, Ngizim *suwaari* ‘dancing’; East: Ndam *siré* ‘sing’ (*Stolbova O. Chadic Lexical Database. Issue III. Moscow, 2009. # 3 22*).

North Omotic: Yamma *sur* ‘to sing’.

[] Cf.: Afrasian Database. # 888.

(3) Afrasian *rayw- *raʔ- ‘танец и пение // dancing and singing’:

(?) Semitic: Geʕez *larārāy* ‘modes of songs’ (metathetic? Being isolated in Semitic, not quite reliable).

Egyptian *rw.t* ‘dance (n.)’, *rw* ‘to dance, clap hands’ (Pyramid texts); cf. *rwyt* ‘kind of game’ (Middle Kingdom).

Chadic: West: Hausa *ráyà* ‘to dance’, *ráirà* ‘sing’, Ngizim *rúwàu* ‘sing’; Central: Lame-Peve *ru*, Zime-Bata *re* ‘to play’, Ngide *riu* ‘dance’; East: Mubi *rewa*, Birgit *raaya*, Bidiya *raa-* ‘sing’ (three latter forms quoted from *Orel V., Stolbova O. Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Leiden; New York; Köln, 1995, # 2075*), Dangla *riyè*, Migama *riyáw* ‘sing’.

South Cushitic *raʔ-: Alagwa *raʔ-*, Burunge *raʔ-am-*; Asa *raʔ-at-* ‘sing’; Maʔa *-ra* ‘to dance’.

[] Cf.: Afrasian Database. # 1732.

(4) Afrasian *sV(n)bal- ‘ритуальный (свадебный?) танец // kind of ritual (wedding?) dance’:

Semitic *šVbVl- ‘kind of ritual’: Arabic *sabbala* ‘to consecrate (an object) to pious uses’; (?) Geʕez *sobel*, *sanbilā* ‘banquet (of non-religious nature)’, Selti *šībālā*, Zway *šībāšā* ‘to sing and dance’, Selti *šābāl*, Zway *šībay* ‘song in honor of heroes and ancestors’, Selti *šābāto* ‘minstrel’, Soddo, Goggot *šābāl* ‘bridegroom’s wedding’ (the Modern Ethiopian forms may be Cushitisms); Mehri *sōbāl* ‘to pray with the hands at the sides and not folded in front’ (cf., however, Jibbali *essōl* ‘to let o’s arms hang by o’s sides’, *sābl-u’n* ‘paralysed in one or more limbs’, which seems to point to the original meaning not related to praying or any other ritual action).

West Chadic: Hausa *sambal-ee* ‘dance performed by young men and women’

Cushitic: North (Beja) *sēbibol* ‘dance of men with sticks and shields jumping into the air’; East: Lowland: Somali *šubal*, Oromo *šebole* ‘dance performed by women’, Highland: Hadiya *šibāle* ‘k. of wedding dance’ (likely < Oromo).

[] Cf.: Afrasian Database. # 3520.

(5) Afrasian **(ʔV)bVI-* ‘(траурный, похоронный?) танец // (mourning?) dance’:

Semitic: Ugaritic *ʔabl* ‘mourner’, Hebrew *ʔēbāl*, Syrian *ʔabl-* ‘mourning rituals, funeral ceremony, mourning’, Hebrew, Syrian *ʔbl* ‘to mourn, lament’; Arabic *ʔabbala* ‘to praise a dead person’; (?) Tigre *hobal* ‘funeral chant’ (with unexpected *h-*). [] Cf.: Syrian *bawl-*, ‘a musical instrument (tambourine?)’. Cf. also: Hebrew *Yūbāl* «the father of all such as handle the harp and organ» (Gen 4: 21).

Egyptian *ib*: (if from **yVbVI-*) ‘to dance’ (Old Kingdom).

Chadic West: Hausa *balula* ‘dance by men, women, youths, girls’, Sura *ḅél*, Boghom *pólili* ‘a dance’; Central: Mulwi *būli* ‘to dance (of men)’, Masa *bóllā* ‘to dance’.

Cushitic: North (Beja) *bōl* ‘to play’; East: Afar *abal-*, *bāl* id., Lowland: Oromo *bi-ilolee* ‘flute’, Highland: Burji *belēl* ‘a dance’.

[] Cf.: *Takács G.* Etymological Dictionary of Egyptian. Vol. I: A Phonological Introduction. Leiden; Boston (MA); Cologne, 1999. P. 63 (Egyptian compared to most of Chadic, Beja and Afar) and Afrasian Database, # 3489.

(6) North Afrasian **zab(-Vr)-* ‘(похоронный) обряд с пением, танцем и рецитацией // (funeral) performance including dancing, singing and recitation’:

Semitic: Arabic *zabūr-* ‘psalm’; Chaha, Eža, Muher, Ennemor, Gyeto *zobe* ‘funeral dance in honor of an important man’.

Egyptian *zb*: ‘to play the flute’ (Old Kingdom).

Chadic: West: Hausa *záabiyaa* ‘a woman who leads singing’, Miya *zabu*, Siri *zəbá*, Mburku *zábüzábù* ‘to dance’ (*Stolbova O.* Op. cit. # 382), (?) Central: Hildi *zavzavə* ‘play (a game)’, East: Jegu *zob* ‘a funeral dance’.

[] Cf.: Afrasian Database, # 3519. Cf. also *Takács G.* Op. cit. P. 286 (Egyptian compared to Sem. **zmr* ‘to sing’, which must be of a different origin, perhaps a variant root, but not a direct cognate).

(7) Afrasian *kVs(kVs)- ‘ВИД ТАНЦА // kind of dance’:

Semitic: Tigre *ʔaskaskas*, Amharic *askasta*, *akass*, Chaha, Eža, etc. *askaska* ‘dance (performed by boys and girls)’.

Egyptian *kks.t* ‘dancer’ (Middle Kingdom), *kks* ‘to dance’ (New Kingdom).

(?) East Cushitic: Highland: Burji *iskittā god-is* ‘to dance’ (*god-* ‘to make’), an Amharism?

North Omotic: Ometo dialects *kaš-*, Kafa *kas/c* Gimirra *kas(k)-*, Mao *kāši* ‘to play’.

[] Cf.: *Takács G.* Op. cit. P. 220 (Egyptian compared to Ethiopian, Burji and Omotic) and Afrasian Database, # 3513.

TRANSCRIPTION SIGNS AND CONVENTIONS:

b — emphatic (glottolized) voiced bilabial

ʒ — alveolar voiced affricate [dz]

ʒ̣ — palato-alveolar voiced fricative

ʒ̣̣ — palato-alveolar voiced affricate [dʒ]

ʃ — lateral voiceless fricative

č — lateral voiceless affricate

h — laryngeal voiceless fricative

ʔ — glottal stop

- separates affixed elements from the stem

* marks a reconstructed proto-form

in reconstructed proto-forms:

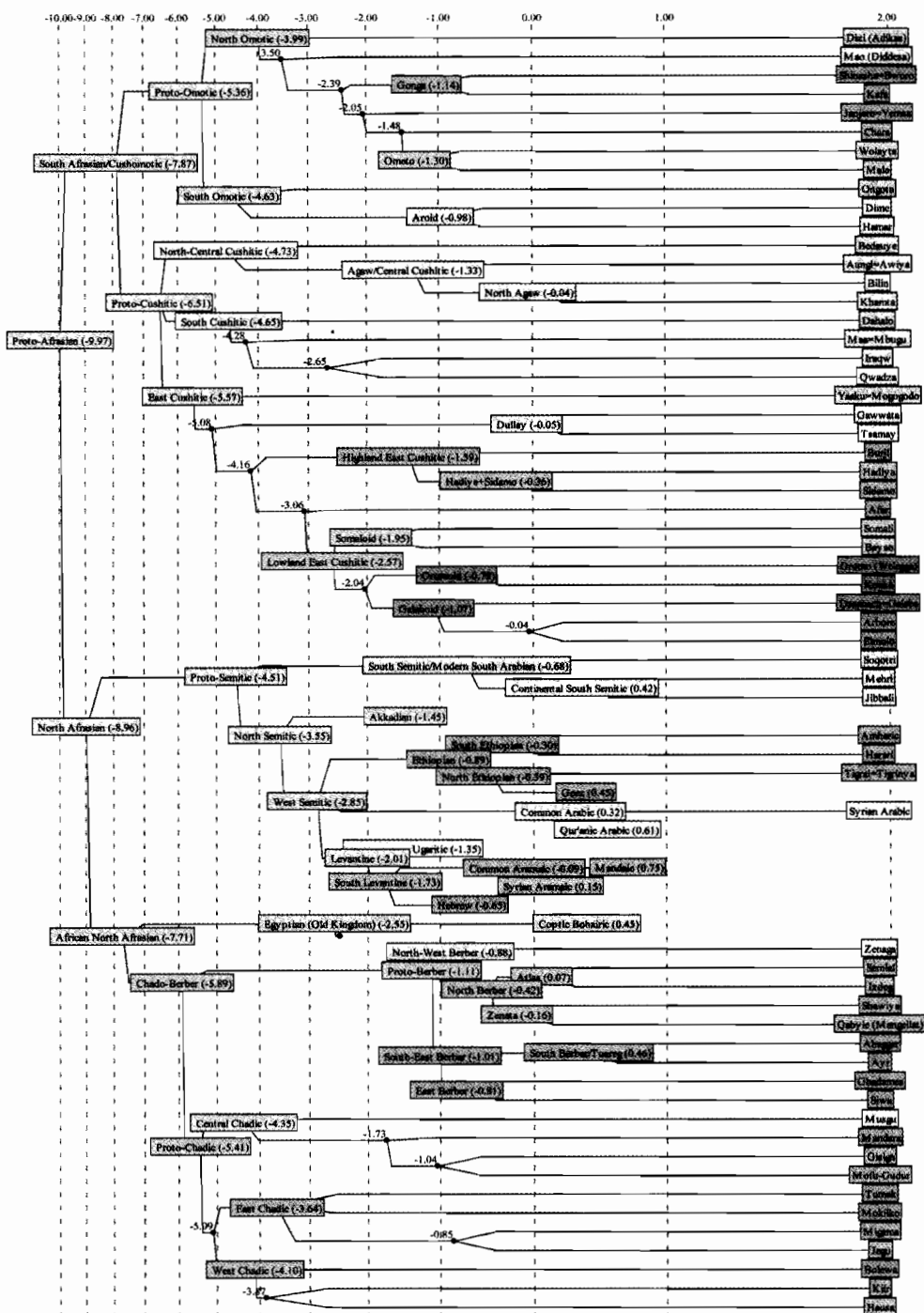
V renders a non-specified vowel, e.g. **bVr-* should be read ‘either **a*, or **i*, or **u*’

/ when separates two symbols means ‘or’

() a symbol in round brackets means ‘with or without this symbol’, e. g. **ba(w)r-* should be read ‘**bawr-* or **bar-*’

~ means ‘and’ pointing to two or more co-existing proto-forms

Supplement: The author’s latest version of the Afrasian Genealogical Tree obtained by S. Starostin’s glottochronological method.



SEMITIC WORD FOR ‘IRON’ AS ANATOLIAN LOANWORD

The earliest attestations of Akkadian *parzillu*- ‘iron’ are found in Old Assyrian sources (gen. *pár-zi-lim* and acc. *pár-zi-lam*, CAD, P: 212b. Cf.: [Dercksen 1992: 798b])¹. This word is also attested in all the subsequent dialects of Akkadian, where it can be written both Sumerographically (AN.BAR) and phonetically (e. g. Neo-Babylonian *pa-ar-zi-il-lum*, CAD, P: 213b). Moreover, Akkadian has been recognized as the source of the words for ‘iron’ in the other Semitic languages, such as, Ugaritic *brdl*, Hebrew and Phoenician *brzl*, Aramaic *przl*, Epigraphic South Arabian *frzn*, and Classical Arabic *firzil* ([Artzi 1969: 268—269], cf.: [del Olmo Lete, Sanmartín 2003: 236])². Artzi (loc. cit.) remarks with regard to the further background of this word: «it could be called safely, for present, only “Anatolian”, being not only non-Semitic but also non-Hittite». Vyacheslav Ivanov, the honorand of this volume, and his co-author Tamaz Gamkrelidze attempted to make a further step toward elucidating the origin of these lexemes in their monumental work *Indo-European Languages and Indo-Europeans*. They tentatively adduced a number of external comparanda, the most promising of which is Svan *berež* ‘iron’ [Иванов, Гамкрелидзе 1984: 710, fn. 1]. The goal of the present paper is to suggest the immediate Anatolian source for Akk. *parzillu* and its Semitic relatives.

The phonological structure of Akk. *parzillu*- inhibits the derivation of this noun from a Semitic triconsonantal template, but prompts its comparison with the Old Assyrian forms from Kültepe, *padal(l)u*- ‘fetter’, *išpa(n)dal(l)u* ‘lodging (?)’, and *išhiul(l)u*- ‘contract (?)’, which were borrowed from the Anatolian languages as a result of the large-scale Assyrian trade in Asia Minor in the so-called *kārum* or Colony period, in the twentieth through the eighteenth centuries BC (cf. [Dercksen 2007: 36—37]). The Indo-European languages of ancient Anatolia had a number of lateral suffixes featuring both *-l-* and *-ll-*, but it is possible that the variant with the geminate was generalized in Old As-

¹ Subject to the usual disclaimers. We are grateful to G. Barjamovic (Copenhagen), Ch. Woods (Chicago) and A. Yener (Chicago), who took pains to read the drafts of this paper and supplied us with important references, as well as to A. Butts (Chicago), who improved the style of its final version. We would also like to thank Y. Shapir and J. Wagner, who initially brought to our attention the problem of the origin of Akk. *parzillu*-. The abbreviations used in this paper are those of the Chicago Hittite Dictionary (CHD).

² See [Limet 1984] for the attestations of Akk. *parzillu*- in the Old Babylonian texts and for the frequent occurrence of the pseudo-Sumerogram BAR.ZIL ‘iron’ in documents from Mari (we accept the transliteration of the last item adopted in the CAD). It is noteworthy that many of the iron objects mentioned in the Mari texts appear to have been imported from the Levant.

syrian loanwords³. If so, one can explain Akk. *parzillu* from the hypothetical **parzil(i)-*, an adjectival derivative of the nominal stem **parza-*. The derivatives of this kind occur in both Hittite and Luvian, although Melchert [2003a: 16, fn. 10] maintains that the Hittite suffix *-ili-* is ultimately borrowed from Luvian *-il(i)-*.

The credibility of our hypothesis obviously depends on our ability to find other traces of *parza-* in Anatolian. CHD (P: 202b) lists without translation two Luvian words that may help clarify the issue, namely (:)*parzassa*, and *parzagulliya*. We shall argue that they are derived from the reconstructed Luvian stem *parza-* 'iron ore'.

The Luvian form *parzassa*, formerly taken to mean 'quiver', is not assigned any meaning in the Chicago Hittite Dictionary. We believe that it can be morphologically analyzed either as nom./acc. pl. of the possessive adjective *parzassa/i-* or as the rare genitive in *-assa* < **-os-so* formed directly from the nominal stem *parza-* (cf.: HEG H: 513—514)⁴. Two out of the three attestations of *parzassa* occur in lists of artifacts, some of which are made of metal. The relevant examples are:

- (1) KUB 13.35 iii 46-47, CTH 293, Werner 1967: 12
 GIŠTUKUL GIŠBAN GIKAK.TAG.GA :*pár-za-aš-ša* UNUT ZABAR / URUDU PĀŠU
 GAL URUDU HAŠŠINNU GÍR' GAL ZABAR
 'Mace(s), bow(s), arrow(s) (which are) of *parza-*, utensils of bronze, large hatchet(s), ax(es), sword(s) of bronze'.
- (2) KBo 48.262 ii 22-23, CTH 242, Otten 1989: 366
 2 GÚ PÍRIG.TUR GUŠKIN NA⁴ZA.GÌN NA⁴*musnuwan*[*tas*]⁵ / *pár-za-aš-ša*
 'Two leopard protomes of gold, lapis lazuli, *musnuwant*-stone and *parza-*'.

The first text represents a court deposition, where the interrogated individuals claim that they did not embezzle the items cited from the royal warehouses. The Glossenkeil form *parza-ssa* appears to modify either GIKAK.TAG.GA 'arrows' or, less likely, the triad of asyndetically coordinated Sumerograms 'maces, bows, arrows'. GIKAK.TAG.GA *parzassa* 'arrows made of *parza-*' would represent a good match to the next object

³ The last assumption is necessarily speculative, since Old Assyrian cuneiform did not normally distinguish between plain and geminate consonants, while *parzillu-* is the only Akkadian word belonging to this group that survived the end of the Old Assyrian period. Note, however, that at least Akk. *padallu-* is demonstrably derived from an Anatolian noun containing the geminate *-ll-* [Dercksen 2007: 37].

⁴ For the reconstruction of the *assa*-genitives in the Luvian dialect of Hattusa, see [Yakubovich 2008].

⁵ [CHD, P: 202b] attempts a different reconstruction NA⁴*musnuwan*[*tit*] and arrives at the translation 'Two gold leopard protomes *p*-ed (with) lapis lazuli and [with] *musnuwa*[*nt*]-stone'. The form *parzassa*, however, cannot represent a participle in either Hittite or Luvian, while the implied syntactic distinction between the juxtaposed Sumerograms GUŠKIN and NA⁴ZA.GÌN is strictly *ad hoc*.

in the list, *UNUT ZABAR* ‘bronze utensils’. One has however to observe that although the Hittite texts mention a number of sharp-ended objects made of iron (AN.BAR-*as*^{GIS} GAG ‘iron peg’, EME.GÍR AN.BAR ‘iron dagger blade(s)’, ^{GIS}SUKUR AN.BAR ‘iron spear(s)’ and ^{GIS}*māri*- AN.BAR ‘iron javelin’), cf. HW₂, H: 209-12), they never refer to iron arrowheads⁶. Therefore, it remains likely that *parzassa* denotes a kind of material that was different from the ordinary iron.

It is the second example that provides us with real corroborating evidence leading to the interpretation of **parza-*. This description of composite statuettes can be compared with KBo 20 103 ii 2 + KBo 21 87ii 10 [*HAŠ*]ŠINNU GAL GUŠKIN^{NA4} ZA.GÌN^{NA4} TI AN.BAR GE₆ ‘large axe of gold, lapis lazuli, «life-stone» and «black iron»’ and KUB 42.78 ii 13 1-EN AŠ.ME^{NA4} ZA.GÌN AN.BAR GE₆ GUŠKIN GAR.RA ‘one sundisk inlaid with lapis lazuli, «black iron», and gold’. One can see from these examples that both **parza-* and «black iron» could be used in combination with gold and lapis lazuli for manufacturing luxury items. Furthermore, the collocation GUŠKIN AN.BAR GE₆ ‘gold (and) «black iron»’ occurs in KBo 48.262 only five lines before (2). This opens a tantalizing possibility that AN.BAR GE₆ is the regular Sumerographic spelling of **parza-*. Independent evidence is required to confirm this theory, but we hope to have demonstrated that contexts (1) and (2) support the interpretation of *parzassa* as a possessive form derived from the name of a metal or a mineral.

The third occurrence of *parzassa* is, unfortunately, less conducive to elucidating the meaning of this form. The fragmentary passage cited below is taken from a poorly understood letter addressed to a king by his subordinate official. The immediate context contains the author’s complaints about difficult circumstances in which he has recently found himself. The Glossenkeil marking *dāyalla* suggests that the scribe of KUB 40.1 perceived this otherwise unknown adjective endowed with a Luvian suffix as a foreign word. The use of *parzassa* alongside *dāyalla* reinforces the impression that both words had a Luvian origin.

- (3) KUB 40.1 rev.¹ 16, CTH 203, [Hagenbuchner 1989: 69]

pár-za-aš-ša[*a x ku*?]-*e-qa* :*dāyalla mehurri*^{H1A} *artari*

‘Whatever² *parzassa* [...] *dayalla* times have come’ (lit. «...are standing»).

It is not clear whether the lacuna in the middle of the passage contains a noun functioning as the syntactic head of *parzassa* or rather both *parzassa* and *dāyalla* modify the same head-noun *mehurri*^{H1A} ‘times’. In the first case, the phrase *dāyalla mehurri* can function either as the second subject, which is asyndetically coordinated with *parzassa X*, or as the accusative modifier of time (‘in the *dāyalla* times’). In the second case, one probably has to assume that the expression **parzassa... mehurri* ‘times of *parza-*

⁶ This gap is unlikely to be accidental. Arrows are expendable commodities, and therefore arrowheads were unlikely to be manufactured of iron while it was still relatively expensive. The appearance of iron arrowheads in eighth century Assyria is normally taken as a telltale sign of the advent of the Iron Age.

had a negative metaphoric meaning. The interpretation of this phrase as «Iron Times» would chime with the later condemnation of the «Iron Age» in Hesiod's *Works and Days*, but we have no support from the Hittite metaphoric expressions involving iron (AN.BAR), where it invariably has positive connotations (cf.: [Kořak 1986: 131—132])⁷. The putative equation between *parza-* and AN.BAR GE₆ is more promising considering that black is cross-culturally regarded as an inauspicious color, but further speculations would be risky. At the present time, one should not go beyond saying that (3) does not either support or contradict the suggested interpretation of *parzassa*.

Another formation that helps to isolate the Luvian stem *parza-* is the compound *parzagulliya-*. Since it is listed together with gold earrings (and possibly other jewelry in the broken part of the inventory), it probably represents yet another luxury item. The second part of this exocentric compound can be compared with Akk. *qullu-* 'loop' (CAD, Q: 298^a), while the possessive suffix *-iya* probably functioned as its syntactic head. If so, the likely literal meaning of the whole compound was «having loops (made) of *parza-*»⁸.

- (4) KUB 12.1 iii 2-3, CTH 504.1, Siegelová 1986: 442
 30 HUB.HI.A ŠA LÚ GUŠKIN x[...] / 1-NUTUM *pár-za-gul-li-ia* [...] §
 'Thirty earrings of gold for men [...], one set of *p.* [...]'.

We have seen that three of the four examples featuring the Luvian morpheme *parza-* support is etymological connection with Akk. *parzillu-*, while the fourth one does not contradict it⁹. If the substantivized adjective **parzili-* «related to *parza-*» could be applied to iron, then the base noun *parza-* was more likely to refer not to iron per se, but to its natural source, such as black magnetite (Fe₃O₄) or black hematite (Fe₂O₃). The black color of these minerals would contrast with the color of gold and lapis lazuli in the composite statue mentioned in (2). It is important for our analysis that Maxwell-Hyslop [1980: 87—88] put forward a very similar identification for the Sumerogram AN.BAR GE₆ «black iron» and stressed the same contrast between black magnetite, blue stone,

⁷ Cf., however, the following metaphoric use of *parzillu* in Boghazköy Akkadian: Ínandik rev. 19-20 *awat Tabarna* LUGAL.GAL *ša* AN.BAR 'The words of Tabarna the Great King are of iron, (they cannot be altered)'. One can speculate that the expression 'hard times' could function as a negative metaphor in Hittite, as it does in English.

⁸ Alternatively, one can venture a comparison with *kūla-* 'link in a chain; pendant', which occurs in several lists of metal objects, including our inventory CTH 504.1 (HED, K: 236). The Luvian participle *kulaimi-* 'provided with pendants' coexisted with its Hittite equivalent *kulant-*, and this indicates that the noun *kūla-* was common to Luvian and New Hittite. This noun is probably derived from Luv. *kuwali-/ku(wa)lai-* 'to turn' [Starke 1990: 236, fn. 807], which suggests that its basic meaning must have been *'ring' (cf. typologically Russ. кольцо 'ring' derived from the same Indo-European root). Unfortunately, the geminate *-ll-* remains unexplained under this approach.

⁹ The fact that the Luvian form was adapted as *parzillu-* /*pardzillu-* and not **parsillu-* /*partsillu-* in Old Assyrian suggests that the Luvian phoneme /ts/ (transliterated as *z*) had a voiced allophone /dz/ in a position after the sonorants.

and gold in the case of the sundisk described in KUB 42.78¹⁰. In addition, she did not fail to notice that the majority of artifacts made of «black iron» are ornaments and jewelry ([Maxwell-Hyslop 1980: 87—88], cf.: [Kořak 1986: 132—133]). By contrast, regular iron was predominantly used for various tools and weapons and occasionally for larger objects, such as a wash basin (KBo 18.181 rev. 31) or a throne (KBo 3.22 rev. 74). This reinforces the impression that AN.BAR GE₆ was a mineral used because of its color rather than a metal valued for its durability.

Unlike the Sumerogram AN.BAR ‘iron’, which is known to correspond to Hittite and Hittite *habalki-* in Anatolian texts, the related Sumerogram AN.BAR GE₆ «black iron» has no established phonetic reading in any language of Anatolia¹¹. The traditional theory that identifies AN.BAR and AN.BAR GE₆ with respectively smelted iron and meteoric iron [Siegelová 1984: 159] has been shown by Kořak [Ibid: 125—26] to be philologically not probative¹². It is, however, likely that the external appearance of iron meteorites, which are normally oxydized in the atmosphere and acquire black crust, led to the secondary association between AN.BAR GE₆ and meteoric iron on the part of those scribes who were less familiar with metallurgy. Hence one encounters the passage KBo 4.1 i 39 (w. dupl. KBo 9.33 obv. 15) AN.BAR GE₆ *nebisas nebisaz uder* ‘They brought «black iron» of the sky from the sky’ alternating with the parallel passage KBo 2.2 i 48 AN.BAR *nebisaz uder* ‘they brought iron from the sky’.

Thus we wind up with a triangle of evidence linking black magnetite or hematite to its Sumerographic designation AN.BAR GE₆ and the Luvian noun *parza-*. The link between the Luvian word and the Sumerogram finds support in the interchanging use of the two materials in the description of multicolor composite artifacts. The etymological connection between Luv. *parza-* and Akk. *parzillu* suggests that *parza-* was a kind of iron ore, and this etymological interpretation is compatible with the contextual meaning of *parza-*. The internal structure of AN.BAR GE₆ suggests that this is a black substance containing iron, while

¹⁰ R. Maxwell-Hyslop acknowledges the role of R. Tylecote in the formulation of her hypothesis. She identified AN.BAR GE₆ with magnetite and did not consider black hematite as a possible alternative. We are grateful to A. Yener who turned our attention to the extensive use of hematite in Bronze Age Anatolia. Moorey [1994: 84] remarks that hematite was by far the most common stone for fine cylinder seals in Mesopotamia, Syria, and Asia Minor in the first four centuries of the second millennium BC and tentatively connects its proliferation with Old Assyrian trade.

¹¹ Melchert [1983: 139—41] suggests the identification of AN.BAR with Hitt. **kiklu-* ‘iron’ on the basis of the correspondence between Hitt. *kiklubassari-* and Akk. *unqi parzulli* ‘iron ring’. As an additional comparandum, he adduces Luv. *kiklimaimenzi* ‘plated with iron (pl.)’ (cf.: [Melchert 1993: 103]). Differently Puhvel [HED, K: 174—75], who reads *kiklibaimenzi* and tentatively connects Hitt. **kikliba-*, **kikluba-* ‘iron, steel’ with Gk. *χάλυβος* ‘steel’.

¹² We can add to Kořak’s criticism that there is no substantial difference in color between artifacts made of meteoric iron vs. smelted iron. Therefore, it appears very unlikely that the term «black iron» could be used with reference to objects fashioned from meteorites. Such a designation would be as peculiar as the term «brown ice» applied to ice-cream on the grounds that ice-cream bars are frequently covered with chocolate.

the contexts where this Sumerogram occurs speak for rather than against such a meaning. It may be impossible to arrive at present at the exact mineralogical identification of *parza-*, but its association with the sphere of iron production appears to be vindicated¹³.

The appropriate historical context for the borrowing of Luv. **parzil(i)-* is the invention of iron smelting, the technology that was already firmly in place in the Hittite period and possibly goes back to the early second millennium BC in Anatolia [Иванов 1983: 40—41; Muhly et al. 1985: 1977; Yalçın 1999: 184; Waldbaum 1999: 31]. Scholars frequently assume that the Mesopotamians had been only familiar with meteoric iron before the beginning of the Anatolian trade, while Moorey [1994: 279] proposes as an alternative that iron in early Mesopotamia may have been an accidental by-product of copper smelting. Be it as it may, Old Assyrian merchants treated iron as a rare and precious commodity, whose value surpassed that of gold and silver [Yalçın 1999: 182]. The earliest Sumerian word for iron was (KÛ.)AN or (KÛ)AN [Vaiman 1982], while its Old Assyrian equivalent was *amûtu-* and perhaps *aši'u-* (cf.: [CAD, A: 442a])¹⁴. We suggest that the growing awareness of Assyrian merchants about the differences in the technology of iron production in Anatolia vs. their homeland led them to borrow a Luvian word for the kind of iron that was conscientiously smelted from the ore, which was itself derived from the name of the respective ore. Presumably, the spread of smelted iron to Mesopotamia and the Levant resulted in the proliferation of this loanword to the areas where no contact with the Luvians can be surmised¹⁵. The terms *amûtu-* and *aši'u-* fell out of use in Mesopotamia after the end of the Old Assyrian period, and even the Sumerogram KÛ.AN was replaced with the innovative AN.BAR [Maxwell-Hyslop 1972: 162]¹⁶.

¹³ Puhvel (HED, L: 117—18) tentatively suggests the meaning 'iron ore, hematite' for Hitt. *lulluri-*, which CHD (L: 83—84) agnostically translates as '(a mineral)'. Even if Puhvel's guess proves to be correct, the Hittites were likely to have had several words for iron ores, reflecting their different colors. Nothing indicates that Hitt. *lulluri-* was a black mineral.

¹⁴ Differently Maxwell-Hyslop [1972], who suggests that Akk. *amûtu-* and *aši'u-* represent terms for 'bloom-iron' and 'iron ore' respectively in the Old Assyrian usage, thus implying that both words had already been specifically connected with the technology of iron smelting.

¹⁵ One of the early occurrences of AN.BAR is found in an Akkadian text from the 18th century BC found in Tell Açıana (Bronze Age Alalakh). The relevant text mentions 400 spearheads (or similar weapons) made of iron [AT 410, Wiseman 1953: 107]. In our opinion, it is very unlikely that the precious meteoric iron or the accidental by-product of copper smelting could be used for the mass production of weapons, and therefore it seems reasonable to assume that iron smelting (or smelted iron) had already made its way to northern Syria by that time.

¹⁶ Dercksen [1992: 798b, fn. 3] makes a plausible suggestion that the graphic AN.BAR was originally a way of rendering **parzil* (vel sim.) borrowed into Sumerian, where AN was the old word for 'metal, iron', while BAR functioned as a phonetic indicator hinting at the pronunciation of the initial part of this lexeme. This interpretation finds a degree of support in the spelling AN.BAR-*zi-lu-ú* (or ^{AN}*pár-zi-lu-ú* ?) in the Tigonani Letter of Hattusili I and in the pseudo-Sumerogram BAR.ZIL attested in the Mari texts (CAD, P: 212). For a similar acrophony in the graphic rendering of Sumerian words compare the use of the sign MU with the determinative LÚ 'man' for Sum. **muhaldim* 'cook'.

The importance of Anatolia in the matters of iron production can be independently confirmed through the destiny of *habalki-*, the main word for ‘iron’ in Hattic and Hittite. This word, which is usually thought to be Hattic in origin, spread not only to Hittite, but also to Hurrian. One can make this claim because the peripheral Akkadian form *habalkinnu-* ‘iron’ is attested in an Amarna letter coming from Mitanni and shows the addition of the Hurrian nasal suffix (cf.: [CAD, H: 3])¹⁷. One can hypothesize that the Mitanni Hurrians borrowed the term for ‘iron’ from the Hittite language, which acquired social dominance in central Anatolia beginning with the conquests of Anitta in the eighteenth century BC¹⁸.

The Luvian origin of Akk. *parzillu-* strengthens the suspicion that Luvian was as important of a source of lexical borrowings in Old Assyrian as was Hittite (cf.: [Derksen 2007: 31]). The Luvian origin of OAss. *targumannu-* ‘interpreter’ and *ubadinnu-* ‘land-grant’ is commonly accepted, while in the case of some other forms, such as vessel names *kullitannu-* and *hiniššannu-*, it can be plausibly surmised¹⁹. The majority of the extant Old Assyrian tablets emanate from Kaneš (Kültepe), a city whose population was predominantly Hittite, as the analysis of the local personal names appears to indicate [Garelli 1963: 148—149]. This is the reason why scholars are frequently willing to emphasize the Hittites as the primary partners of the Assyrian merchants in Anatolia in the *kārum* period. Yet we know that the network of Assyrian trade spread all over the central part of Asia Minor, and so the words for the local realia could be borrowed from Luvian, which was also widely spoken in this region in the Colony period, as argued in [Yakubovich 2010: 208—223].

¹⁷ There is a possibility that Hattic/Hittite *habalki-* ‘iron’ and Luvian *parza-* ‘id.’ are etymologically related. Schuster [2002: 194] remarked with regard to the relationship between the Hattic and the Hittite forms: «Dass für die Entlehnungen das H[attische] der gebende Teil war, wird befürwortet durch die Möglichkeit, daraufhin *ha-* als Präfixelement abzutrennen und **palki-* as Wortstamm zu bestimmen». Schuster never justified this segmentation in his published works, but see [Soysal 2004: 217] (and cf. already [Иванов 1983: 42]) for the existence of the locative prefix *ha-* in Hattic. Thus *habalki-* could originally mean “one that is in *balki-*”. If one assumes that **balki-* ‘iron ore (vel sim.)’ was borrowed into Luvian in a very early period, it could develop into **parza/i-* through well-attested phonological processes. See: [Melchert 1994: 234] for the development */k’/ > /ts/, [Melchert 2003b: 180] for the *r* ~ *l* alternation, and [Ibid.: 188] for the development of *i*-stems into mutation-stems in Luvian. Compare also the variation between ^{URU}*Hawalkina* and ^{URU}*Hawarkina* in the name of a northern Anatolian town derived from the Hattic word for ‘iron’ [Иванов 1983: 43].

¹⁸ Note, however, that the old term for ‘iron’, *amūtu-* is also attested in Mitanni Akkadian, although it completely fell out of use in Mesopotamia in the Late Bronze Age. For difficulties involved in tracing differences in meaning between various designations of ‘iron’ in Mitanni Akkadian, see: [Güterbock 1943: 150].

¹⁹ For Hitt./Luv. *kulli(t)-* ‘(a vessel)’ see HED, K: 239. Hitt. ^{DUG}*hanissa-* ‘(a vessel)’ should be connected with Luv. **hanī-* ‘to draw (liquids)’, from which it was derived with the help of a rare thematic suffix *-(i)ssa-*. Other Luvian nouns that may have been formed with the same suffix are Luv. *luwarissa-* ‘a topographic feature’, *masharissa-* ‘?’, and *parissā-* ‘relief?’.

REFERENCES

- Иванов 1983 — *Иванов Вяч. Вс.* История славянских и балканских названий металлов. М.: Наука, 1983.
- Иванов, Гамкрелидзе 1984 — *Иванов Вяч. Вс., Гамкрелидзе Т. В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилисский гос. унт, 1984.
- Artzi 1969 — *Artzi P.* On the Cuneiform Background of the Northwest-Semitic Form of the Word *brdl, b(a)rz(e)l*, 'Iron' // *Journal of Near Eastern Studies*. 28/4. 1969. P. 268—270.
- Dercksen 1992 — *Dercksen J. G.* Review of Cécile Michel, *Innāya dans les tablettes paléo-assyriennes* // *Bibliotheca Orientalis* 49/5—6. Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations, 1992. P. 790—800.
- Dercksen 2007 — *Dercksen J. G.* On Anatolian Loanwords in Akkadian Texts from Kültepe // *Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie*. 97/1. 2007. S. 26—46.
- Garelli 1963 — *Garelli P.* Les Assyriens en Cappadoce. Paris: A. Maisonneuve, 1963.
- Güterbock 1943 — *Güterbock H. G.* Review of Stefan Przeworski. *Die Metallindustrie Anatoliens in der Zeit von 1500—700 vor; Chr: Rohstoffe, Technik, Produktion* (Leiden: Brill) // *Orientalia*. 1943. 12. P. 146—51.
- Hagenbuchner 1989 — *Hagenbuchner A.* Die Korrespondenz der Hethiter. THeth 16. Heidelberg: Karl Winter, 1989.
- Košak 1986 — *Košak S.* The Gospel of Iron // *Hoffner H., Beckman G.* (eds.). *Kaniššuwār: a Tribute to Hans G. Güterbock on his Seventy-fifth Birthday (May 27, 1983)*. Chicago: Oriental Institute, 1986. P. 125—140.
- Limet 1984 — *Limet H.* Documents relatifs au fer à Mari. M.A.R.I., 1984. 3. P. 91—96.
- Maxwell-Hyslop 1972 — *Maxwell-Hyslop K. R.* The Metals *amutu* and *ašī'u* in the Kültepe Texts // *Anatolian Studies*. 22. 1972. P. 159—162.
- Maxwell-Hyslop 1980 — *Maxwell-Hyslop K. R.* A Note on the Jewellery Listed in the Inventory of Manninni (CTH 504) // *Anatolian Studies*. 29. 1980. P. 85—90.
- Melchert 1983 — *Melchert H. C.* Pudenda Hethitica // *Journal of Cuneiform Studies*. 36. 1983. P. 137—45.
- Melchert 1993 — *Melchert H. C.* Cuneiform Luvian Lexicon. Chapel Hill (NC): Self-published, 1993.
- Melchert 1994 — *Melchert H. C.* Anatolian Historical Phonology. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1994.
- Melchert 2003a — *Melchert H. C.* Prehistory // *Melchert C.* (ed.). *The Luwians*. HdO 1:68. Leiden: Brill, 2003. P. 8—26.
- Melchert 2003b — *Melchert H. C.* Language // *Melchert C.* (ed.). *The Luwians*. HdO 1:68. Leiden: Brill, 2003. P. 170—210.
- Moorey 1994 — *Moorey P. R. S.* Ancient Mesopotamian Materials and Industries: the Archaeological Evidence. Oxford: Clarendon, 1994.
- Muhly, Maddin, Stech, Özgen 1985 — *Muhly J. D., Maddin R., Stech T., Özgen E.* Iron in Anatolia and the Nature of the Hittite Iron Industry // *Anatolian Studies*. 35. 1985. P. 67—84.
- Olmo Lete del, Sanmartin 2003 — *Olmo L. G. del, J. Sanmartin.* A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition / Transl. W. G. E. Watson. HdO 1:67. Leiden: Brill, 2003.
- Otten 1989 — *Otten H.* Tiergefäße im Kult der späten hethitischen Grossreichszeit // *Emre K., Hrouda B., Mellink M., Özgüç N.* (eds.). *Anatolia and the Ancient Near East: Studies in Honor of Tahsin Özgüç*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1989. P. 365—368.

- Schuster 2002 — *Schuster H.-S.* Die Hattisch-Hethitischen Bilinguen II. Textbearbeitungen: Teil 2 und 3. DMOA 17: 2. Leiden: Brill, 2002.
- Siegelová 1984 — *Siegelová J.* Gewinnung und Verarbeitung von Eisen im hethitischen Reich im 2. Jahrtausend v.u.Z. Annual of the Naprstek Museum. 1984. 12. P. 71—178.
- Siegelová 1986 — *Siegelová J.* Hethitische Verwaltungspraxis im Lichte der Wirtschafts und Inventardokumente. I—III. Prag: Národní Muzeum v Praze, 1986.
- Soysal 2004 — *Soysal O.* Hattischer Wortschatz in hethitischer Textüberlieferung. HdO 1:74. Leiden: Brill, 2004.
- Starke 1990 — *Starke F.* Untersuchungen zur Stammbildung des keilschrift-luwischen Nomens. StBoT 31. Wiesbaden: Harrassowitz, 1990.
- Vaiman 1982 — *Vaiman A. A.* Eisen in Sumer. Vorträge gehalten auf der 28. Rencontre Assyriologique Internationale in Wien (6.—10. Juli 1981). AfO, Beiheft 19. Horn (Austria): F. Berger & Söhne, 1982. P. 33—37.
- Waldbaum 1999 — *Waldbaum J.* The Coming of Iron in the Eastern Mediterranean: Thirty Years of Archaeological and Technological Research // *Vincent C. P.* (ed.). The Archaeometallurgy of the Asian Old World. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1999. P. 27—57.
- Wiseman 1953 — *Wiseman D. J.* The Alalakh Tablets. Ankara: British Institute of Archaeology, 1953.
- Werner 1967 — *Werner R.* Hethitische Gerichtsprotokolle. StBoT 4. Wiesbaden: Harrassowitz, 1967.
- Yakubovich 2008 — *Yakubovich I.* The Origin of Anatolian Possessive Adjectives. Proceedings of the Nineteenth Annual UCLA Indo-European Conference. Washington: Institute for the Study of Man, 2008. P. 193—217.
- Yakubovich 2010 — *Yakubovich I.* Sociolinguistics of the Luvian Language. Leiden: Brill, 2010.
- Yalçın 1999 — *Yalçın Ü.* Early Iron Metallurgy in Anatolia // *Anatolian Studies*. 49. 1999. P. 177—187.

HURRIAN NUMERALS

The best information about the system of Hurrian numerals is given by Gernot Wilhelm [2004a: 115]:

	Cardinal	Ordinal	Others
1	<i>šukki, šuga?</i>		<i>šug=am=ġ(e)=a</i> simple, <i>šukki</i> once, <i>šukka=ni</i> single
2	<i>šin(a)</i>	<i>šinzi</i>	<i>šin(a)=am=ġ(e)=a</i> twofold, <i>šin=arbu</i> two years old
3	<i>kig(a)</i>	<i>kiški < *kikši</i>	<i>kig=ad(i)=ae</i> three each, <i>kig=arbu</i> three years old
4	<i>tumni</i>	<i>tumušše, -unzi</i>	<i>tumn=adi</i> four-spoked, <i>tumunzalli</i> one-quarter of a shekel
5	<i>nariy(a)</i>	<i>narišše</i>	
6	<i>šeže</i>		<i>šež=adi</i> six spoked
7	<i>šindi</i>	<i>šendešši</i>	<i>šinašinda</i> 14
8	<i>kira/i</i>		
9	<i>tamri/a</i>		<i>tamr=am=ġ(e)=a</i> ninefold
10	<i>eman</i>	<i>emanzi, -assi</i>	<i>eman=di</i> group of ten people, <i>eman=am=ġ(e)=a</i> tenfold
13/30	<i>kigman(i)</i>		
14?	<i>šinašinda</i>		
17/70	<i>šindeman(i)</i>		
18/80	<i>kir(e)man</i>	<i>kirmanze</i>	
10.000	<i>nubi</i>		
30.000	<i>kiga nubi</i>		

Affixes: *-a* essive; *=adi* collective; *-ae* instrumental; *=am=* factitive; *=ġ(e)=* adjective; *-šše/-š(š)i/-ze/-zi* abstract nouns and also ordinals.

Internal analysis and comparison with Urartian

«1» — Cf.: Urartian *šusi-ni* «1», *šui* «all» [Meščaninov 1978: 284, 292; Diakonoff, Starostin 1986: 38; Gernot 2004b: 133: *šusini* MU ~ 1 MU «one year»].

«2» — [Diakonoff, Starostin 1986: 37] add Urartian *šî-šə*, separated it from the word *šîštini*, which accompanies the ideogram MU «year». But there are also other interpretations, see [Meščaninov 1978: 282].

«4» — Hurrian *tumni* «4», *tumunzi* «4th» vs. *tamri* «9» can reflect **t[a]mu-ni*, where in *-ni* the individualizing suffix could be identified (cf. *evre* «lord» : *everni* «king»; see [Gernot 2004a: 103]).

«7» — Hurrian *šindi* & *šinda-* could represent a compound consisting of roots of the numerals **šin-* «2» & *nariy(a)* «5». The expected cluster **-n+r-* is not typical for Hurrian and could so be replaced by the cluster *-nd-*.

«8» — Hurrian *kira* & *kiri* could represent a compound consisting of roots of the numerals *ki-* «3» & *nariy(a)* «5». Nikolayev & Starostin (NCED 315) speculate about a Hurrian form *miri-* for the numeral «8», but it is probably a misinterpretation of the form *kiri*.

«9» — Hurrian *tamra* & *tamri* could represent a compound consisting of roots of the numerals **tum-* «4» & *nariy(a)* «5».

External comparisons

From the early stages of research in Urartian and Hurrian the North Caucasian languages represent the most promising candidates for relatives. On the other hand, the areal influence of some of important languages of the ancient Near East cannot also be excluded. For this reason two sets of external parallels are prepared, (A) Cultural languages of the ancient Near East; (B) North Caucasian languages as hypothetical relatives.

Etymologizing the Hurrian numeral in perspective of external comparisons

«1» — Hurro-Urartian **šū-* seems compatible with North Caucasian **cHš* «1» (NCED 323—324).

«2» — Hurrian *šin(a)* perfectly corresponds to Nakh obl. **šina-* «2» (NCED 845—846). But the influence of some of Semitic cultural languages cannot be excluded, cf. Eblaite *šina* «2».

«3» — Hurrian *ki-* agrees with Nakh **qo-*, obl. Chechen *qaʔa-*, Bats *qay-* (cf. NCED 845). This isogloss seems quite unique, perhaps only Etruscan *ci* «3» could be added [Orel, Starostin 1990: 61].

«4» — If Hurrian *tumni* «4», *tumunzi* «4th» and *tamra/i* «9» are related (see above), it is possible to speculate about the protoform **tamu(-)ni* «4». There are at least two alternative etymologies, based on external comparison:

(i) Connection with Semitic **tamānáy-* «8», cf.: Ugaritic *tmn* /*tamānīl*/, Syriac *tamāne* etc. «8» [Klimov 1985: 206; Blažek 2001: 26].

(ii) It is tempting to speculate about the prefix **t-* in the numeral *tum-ni* «4», which should correspond with the Nakh masculine class prefix **d-* (< North Caucasian **r-*): Chechen *d=iʔ ber* «four children» vs. *w=iʔ ḡant* «four sons», *y=iʔ yiša* «four sisters» [Dešeriev 1967a: 196—97], similarly Ingush *d=iʔ* «four» [Dolakovna 1967: 217]; Bats *d=ʔiʔ* id. [Dešeriev 1967b: 235]. The class markers also determine the numerals in the Andian languages, usually «1» and «4», but the latter numeral has been determined with excep-

Table A. Numerals from the cultural languages of the ancient Near East

	Indo-European			Semitic			'Isolated'	
	Hittite	^H (= Hier.) Luwian	Mitan- ni-Aryan	Ugari- tic	Eblaite	Akkadian	Sumerian (N 329)	Elamite (EW)
1	<i>sani-</i>		<i>a-i-ka-</i>	<i>ād</i> <i>ʿšty</i>			<i>*aš</i> <i>*diL(i)</i> <i>*g^we</i>	<i>ki</i> (459-69)
2	<i>duya-</i> <i>d/tā-</i>	^H <i>tuwaⁿzi</i> ^H <i>tuwana</i>		<i>ṭnm</i>	<i>šina šanû(m)</i> ord.	<i>šinān</i>	<i>*minⁿ/nim</i>	<i>mar</i> (876)
3	gen. <i>teriyas</i>	^H <i>*trinza/i-</i>	<i>ti-e-r^o</i>	<i>ṭlt</i>		<i>šalaš</i>	<i>*eweš</i>	<i>ziti</i> (1305)
4	<i>meyawas</i>	<i>māuwa/i-</i> ^H <i>*mawiⁿza-</i>		<i>ārbc^o</i>		<i>arba'um</i>	<i>*lim</i>	
5		^H <i>*panuwa</i> in <i>Tapapanuwa</i> (MONS) IUDEX. QUINQUE Lyc. <i>pñnuta-</i>	<i>pa-an-za-</i>	<i>ḥmš</i>	<i>ḥamuš/sum</i> <i>ḥamaštu</i> ord. <i>ḥamašum</i> be fifth	<i>ḥamiš</i>	<i>*i(a)</i>	<i>tuku?</i> (356)
6	? <i>waksur</i> (= 1/6 <i>sekan</i> measures)			<i>ṭṭ</i> <i>ṭdṭ</i> ord.		<i>šeššet</i> f. <i>ši/eššum</i> ord.	<i>*i-aš(-u)</i>	
7	<i>siptamiya-</i>	<i>sap(pa)tam-</i> <i>mammi-</i>	<i>šatta</i>	<i>šbc^o</i>		<i>sebe, seba</i> OAs. <i>šabe</i>	<i>*i-min(-u)</i>	
8		^H <i>*8-waⁿzi/a-</i> Lyc. <i>aitāta</i>		<i>ṭmn</i>		As. <i>šamāne</i>	<i>*i-eweš(-u)</i>	<i>barba</i> 80, cf. <i>mar</i> 2? (147)
9		^H <i>*nuwiⁿza-</i> Lyc. <i>nuñtāta</i>	<i>na-a-wa-</i>	<i>tšc^o</i>		<i>tiše</i>	<i>*i-lim(-u)</i>	
10		^H <i>tinata-</i> tithe		<i>ʿšr</i>		<i>ešer</i> As. <i>ešar</i>	<i>*ḥaw(-u)</i>	
100					<i>miat</i>			

Abbreviations: As. Assyrian, Lyc. Lycian.

tion of Andi by the prefix **b=*: Andi *w=/y=/b=/r=ogogu* «4», but *ce=v/=y/=b/=r* «1» [Cercvadze 1967: 285], further Chamalal *b=o^u-da* «4»: *se=v/=j/=b/=l/=Ø* «1» [Magomedbekova 1967b: 391], Tindal *b=u^o-ja* [Gudava 1967d: 372], Karata *b=o^o-da* «4»: *ce=v/=j/=b* «1» [Magomedbekova 1967a: 328], Botlikh *b=ukū-da* «4»: *ce=w/=y/=b* «1» [Gudava 1967a: 300—301], Godoberi *b=u^u-da* : *ce=j/=b*, pl. *ce=b/=r* «1» [Godoberi 1967b: 315], Bagvalal *b=ū-ra* & *b=u^u-ra* «4» [Gudava 1967c: 360], see also NCED 488—489. If this hypothesis is correct, it is possible to reconstruct the protoform **d=Vm^q-ni* or **d=Vm[?]-ni* as the predecessor of Hurrian *tumni*.

Table B. North Caucasian numerals

NCED	Nakh	Aw.-And.	Tsez.	Lakian	Darg.	Lezgian	Khinalug	WCauc.
*cHě 1	*cha?	*ci-	*hās, obl. *s:i-	ca	*ca	*s:a	sa	*zV
*qHwā 2		*ki-	*q ^w i-nV	ki=a	*k ^w i	*qI ^w ä	ku	*tqI ^w :
	*ši? obl. *šina-							
*λHě 3		*λob-	*λ:ɔl-		*hab-	*lep:i-		*λ:V
*šwimHV 3				šam=a		*š ^(w) imV- -çu-r 30	pš ^w a	
	*qo?							
*hēmqi 4	*=fiw?	*=uqu-	*ʔōqe-(nɔ)	muq	*ʔaw ^ʔ a-l	*jewqi-	unš	
								*pλə; cf. '8'
*fiä 5	*pxi(?)	*ʔin-š:-tu	*λ:i-nɔ	χ:ul-	*χu-	*λ: ^w e-	pxu	*s-x ^w ə
*ʔrānλE 6	*jalχ	*ʔinλ:i-	*ʔēλ:-(nɔ)	ralχ-	*ʔurik:	*riλi-	zäk	*λ ^w V
*ʔērλi 7	*worλ	*hoλ:u-	*ɔλ-(nɔ)	arul	*warβl-	*uirλ:i-	jiñ	*bəLə
*bünλe 8	*barλ	*biλ:i-	*beλ-(nɔ)	malj-	*k:añ-	*menλ:ä-	inñ	
*ʔilčwi 9	*ʔiss	*ho(b)č ^w o-	*ʔɔč ^w e-(nɔ)	urč	*ʔurčem-	*uilč ^w i-	joz	
								*by ^w ə
*ʔēncĚ 10	*ʔitt	*hoço-	*ʔɔçə-(nɔ)	aç	*weç-	*uiçi-	jäiz	*b-ç ^w ə
*Gš 20	*iqa	*q:V-	*qo-(nɔ)	lš ^u	*βa-	*q:a	qa(n)	
*Hlōšwě 100		*bišo-nV		t:urš	*darš:	*wallš:		*š ^w V

Abbreviations: And. Andian, Aw. Awar, Cauc. Caucasian, Dard. Darginian, Tsez. Tsezian, W West.

«5» — There are no apparent parallels to Hurrian *nariy(a)* «5» among other designations of the numeral «5» in languages of both the Caucasus and ancient Near East. But one promising cognate could be identified in North Caucasian *ʔrānλE «6», if it is analyzable as a compound *ʔrān- «5» & λE. The latter component is derivable from the North Caucasian verb *=āλĚw «to lie, put, lead» > Nakh *=ill- «to lie, put upon (something)», *t-ill- «to put (from above)»; Chamalal =aλ- «to begin»; Tsezian ʔɔL «to be»; Bezhta =oλ-, Gunzib =ol- «to finish»; Lezgian ʔeλ:^wi- «to put, lie»; West Caucasian λ'ə- «to lie» (NCED 278—279). The primary semantics could be «six» = «(one) put upon five» or «beginning the (new) five». A similar structure is assumed for Indo-European *(K)sueks «6», namely *g^hes- «hand» & *ueks- «to grow, rise» (*-k- is confirmed by Lithuanian *vešėti* «to grow vigorously, thrive; prosper, flourish»), i. e. «overgrowing the hand» (see: N 239—241).

Accepting the so called Sino-Caucasian macrofamily, the attractive external cognates to the first component appear in Burushaski of Hunza *-riin* & *-riiñ*, pl. *riiñciñ*, Nagir pl. in *°cañ*, Yasin *-rén*, pl. *-réiñ(čiñ)* «hand» [Berger 1998: 364—365] and Sino-Tibetan **ri* > Mikir *ri* & *ri-pak* «hand», *rikan* «forearm», *eri* «arm», Tamang *nā:ri* «arm» [Matisoff 1985: 446]. John Bentson drew my attention (p. c., Feb 27, 2008) to Yeniseian **rōŋ* «hand» (> Ket *laŋ* «hand»), compared directly with Burushaski *-riiñ* id. including the possessive prefixes by [Toporov 1971: 114] and Basque **a-rrae* «palm, span». Cf. also Old Chinese **prāʔ* «handful», derived from Sino-Tibetan **PaH* «palm of hand» (CVST I, 92—93), which could reflect **r-pāʔ* and so exactly correspond to Mikir *ri-pak* «hand». This etymon could serve as a key to the etymology of Sino-Tibetan **rūk* «6» (CVST II, 105), if it is analyzable as a compound of **ri* «hand» and the numeral «1», attested e. g. in Bahing, Thulung *kwon*, Balali *ikkū* etc. [Hodson 1913: 320], cf. also: Miri *ákkéñk* «6», which represents a transparent compound of *ak* «1» & *añok* «5» [Gowda 1983: 424].

«6» — Most probably Hurrian *šeže* «6» reflects a loan from Akkadian (cf.: *šešet* «6», *ši/eššum* «6th») or Eblaite, but the numeral is unknown here.

«7» — Hurrian *šindi* «7» and *-šinda* in *šinašinda* «14» = «2 x 7» cannot be borrowed from Akkadian (so [Diakonoff, Starostin 1986: 20], although they did not determine a source). The etymology based on the quinary system, i.e. the compound **šin-* & **nariy(a)* «2 + 5» (see above), is in agreement with etymologies of the higher numerals, «8» and «9».

Note: Diakonoff & Starostin [1986: 20] tried to find the numeral «7» in the word *fair* (in their transcription *qâîr*), interpreting it as a designation of the Pleiades, whose name frequently means «seven stars». If it is so, the word may really be compatible with **uě-ʔérĭĭ* «7» with the class prefix **uě-*.

«8» — Hurrian *kira* ~ *kiri* is derivable from the compound of **ki-* & **nariy(a)* «3 + 5», reflecting so an application of the quinary system (see above).

«9» — Hurrian *tamri* ~ *tamra* is derivable from the compound of **tum-* (< **tamu-?*) & **nariy(a)* «4 + 5», which is again based on the quinary system.

«10» — Hurrian *eman* has no apparent counterpart in the systems of numerals of languages of both the Caucasus and ancient Near East. J. Bengtson (p. c.) drew my attention to Basque (*h*)*amar* «10», (*h*)*ama-eka*, *ama-ika* «11», *amastarrika*, *amaxarri* «a las cinco piedras» (DEV 847—49, 694). But it is possible to speculate about the primary meaning «hand», «handful» or «fingers», if the final *-n* reflects the Hurrian plural relator *-na* (cf.: [Gernot 2004a: 106—108]) or Hurrian adjectival suffix *-n(n)i* [Gernot 2004a: 106], expressing so one of the possibilities, the plural of **ema-* or «belonging to **ema-*» respectively. The meaning of the hypothetical base **ema-* cannot be determined from Hurrian, but there are interesting North Caucasian forms:

(i) **mēfiw* (NCED 801—802), attested e.g. in Lak *ḱ^wi-jama* «handful», lit. «two (cupped) hands»; Akusha *meñ* «hollow of hand, handful»; Udin *aIm* «arm, wing»; Abkhaz **ma* in *a-ma-c^ʼá* «finger», *a-ma-χ^wár* «arm».

(ii) **mHōxi* (NCED 819), attested in Tsezian **mōχV* «handful»; Lezgian **χ:am* «hand(ful), palm of hand».

Outside of North Caucasian, cf. Sino-Tibetan **mu·k* ~ **mu·ŋ* «(fore)arm, hand» [Matisoff 1985: 445].

«10.000» — Hurrian *nubi* & *inubi* meant originally probably «very many». [Diakonoff, Starostin 1986: 70] identify here the collective suffix *-bi*, corresponding to *-(i)bə* in Urartian *nir(i)bə* «property», *atibə* «10.000», and the East Caucasian plural suffix **-p·V* > Rutul, Gunzib, Axwax *-ba*, Dargwa, Tsezian, Awar, Tindal, Bats *-bi*.

Conclusions

In the present comparative-etymological analysis of the Hurrian numerals the following conclusions can be formulated:

(1) For the numerals «1», «2», «3», «4» there are striking East Caucasian etymological counterparts. In the case of «2» and «3» they represent exclusive Nakh-Hurrian isoglosses. The numeral «4» preserves the dental class prefix, common for both Hurrian and Nakh (& Andi).

(2) The numeral «5» is etymologizable in the wider circle of the Sino-Caucasian languages as the «(palm of the) hand». In North Caucasian the same etymon can be identified in the numeral «6» (*«beginning the new five»?).

(3) The numeral «6» was borrowed from Akkadian.

(4) The numerals «7», «8», «9» were formed via the quinary pattern.

(5) The numeral «10» may also be etymologized as «hands, handful» or so on the basis of East Caucasian. The same can be said about other hypothetical external counterparts.

REFERENCES

- Berger 1998 — *Berger H.* Die Burushaski-Sprache von Hunza und Nagir. Teil III: Wörterbuch Burushaski-Deutsch, Deutsch-Burushaski. Wiesbaden: Harrassowitz, 1998. (Neuindische Studien, Bd. 13.)
- Blažek 2001 — *Blažek V.* Etymologizing the Semitic cardinal numerals of the first decade // *Zaborski A.* (ed.). *New Data and New Methods in Afroasiatic Linguistics: Robert Hetzron in memoriam.* Wiesbaden: Harrassowitz, 2001. P. 13—37.
- Cercvadze 1967 — *Cercvadze I. I.* Andijskij jazyk // IKJ. 1967. P. 276—292.
- CVST — *A Comparative Vocabulary of Five Sino-Tibetan Languages. I—VI* // Ed. by I. Peiros, S. Starostin. Parkville: University of Melbourne, 1996.
- Dešeriev 1967a — *Dešeriev Ju. D.* Čečenskij jazyk // IKJ. 1967. C. 190—209.
- Dešeriev 1967b — *Dešeriev Ju. D.* Bachijskij jazyk // IKJ. 1967. C. 228—246.
- DEV — *Diccionario etimológico vasco, I* / Ed. by M. Agud, A. Tovar. // *Anuario del Seminario de Filología Vasca.* 22. Donostia-San Sebastián, 1988. P. 253—312, 625—694, 845—913.
- Dolakova 1967 — *Dolakova R. I.* Ingušskij jazyk // IKJ. 1967. C. 228—227.
- Dombrowski 1994 — *Dombrowski B. W. W.* Das System der eblaitischen Zahlen im Vergleich zu anderen, vernehmlich in den semitischen und hamitischen Sprachbereichen // *Folia Orientalia.* 30. 1994. P. 39—76.

- EW — Elamisches Wörterbuch // Ed. by W. Hinz, H. Koch. Berlin: Reimer, 1987.
- Gowda 1983 — *Gowda G. K. S. Tibeto-Burman Numerals // International Journal of Dravidian Linguistics*. 1983. 12. P. 423—428.
- Gudava 1967a — *Gudava T. E. Botlixskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 293—306.
- Gudava 1967b — *Gudava T. E. Godoberinskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 307—321.
- Gudava 1967c — *Gudava T. E. Bagvalinskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 351—367.
- Gudava 1967d — *Gudava T. E. Tindinskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 368—383.
- Hodson 1913 — *Hodson T. C. Note on the Numeral Systems of the Tibeto-Burman Dialects // Journal of the Numeral Systems of the Tibeto-Burman Dialects*. 1913. P. 315—336.
- IKJ — Iberijsko-kavkazskie jazyki. Jazyki narodov SSSR. T. IV. M.: Nauka, 1967.
- Klimov 1985 — *Klimov G. A. Zu den ältesten indogermanisch-semitisch-kartwelischen Kontakten im Vorderen Asia // Öberg H. M. (ed.). Sprachwissenschaftliche Forschungen (Fs. J. Knobloch)*. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, 1985. Bd. 23. P. 205—210.
- Magomedbekova 1967a — *Magomedbekova Z. M. Karatinskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 322—335.
- Magomedbekova 1967b — *Magomedbekova Z. M. Axvaxskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 336—350.
- Magomedbekova 1967c — *Magomedbekova Z. M. Čamalinskij jazyk // IKJ*. 1967. C. 384—399.
- Matisoff 1985 — *Matisoff J. A. Out of a limb: arm, hand, and wing // Thurgood G., Matisoff J. A., Bradley D. (eds.). Linguistics of the Sino-Tibetan Area: The state of the art (Papers presented to Paul K. Benedict for his 71st birthday)*. Canberra: Australian National University, 1985. P. 421—450. (Pacific Linguistics, Series C: № 87).
- Meščaninov 1978 — *Meščaninov I. I. Annotirovannyj slovar' urart'skogo (biajn'skogo) jazyka*. Leningrad: Nauka, 1978.
- N — Numerals: Comparative-Etymological Analyses and their Implications / Ed. by V. Blažek. Brno: Masarykova univerzita, 1999.
- NCED — *Nikolayev S. L., Starostin S. A. (eds.). A North Caucasian Etymological Dictionary*. M.: Asterisk, 1994.
- Orel, Starostin 1990 — *Orel V., Starostin S. Etruscan as an East Caucasian Language // V. Shev-roshkin (ed.). Proto-languages and Proto-Cultures*. Bochum: Brockmeyer, 1990. P. 60—66.
- Toporov 1971 — *Toporov V. N. Burushaski and Yeniseian languages: Some parallels // Travaux linguistiques de Prague*. 4. 1971. P. 107—125.
- Wilhelm 2004a — *Wilhelm G. Hurrian // Woodard (ed.)*. 2004. P. 95—118.
- Wilhelm 2004b — *Wilhelm G. Urartian // Woodard (ed.)*. 2004. P. 119—137.
- Woodard (ed.) 2004 — *Woodard R. D. (ed.). The Cambridge Encyclopedia of the World's Ancient Languages*. Cambridge: University Press, 2004.

TWO DEVELOPMENTS OF PROTO-ZAPOTEC *TY AND *TTY

1. Introduction

This paper discusses two interesting developments that have affected Proto-Zapotec *ty and *tty [Benton 1988; Kaufman 1994—2007]. The first of these has to do with an exceptional behavior of these segments at the beginning of the second root of nominal compounds and after certain proclitics. The second development introduces a previously unreported type of nominal allomorphy in Papabuco and Valley Zapotec that has resulted from a stress-related split of *ty. The paper is organized as follows: section 2 provides an overview of the regular developments of *ty and *tty, the development of these consonants in second members of compounds and after proclitics is discussed in section 3, and section 4 focuses on the split of *ty that has served as the source of the nominal allomorphy in Valley and Papabuco Zapotec mentioned above.

2. Regular developments of *ty and *tty

The Zapotec language family is spoken mainly in the State of Oaxaca, Mexico, and is divided into the following five branches: Northern, Central, Southern, Western, and Papabuco [Kaufman 1994—2007]. The historical study of Zapotec began with Swadesh's (1947) reconstruction of Proto-Zapotec phonology; later studies include Upson and Longacre (1965), Fernández (1995), Suárez (1990), Benton (1988), and Kaufman (1994—2007). The last study is the most complete reconstruction of Proto-Zapotec phonology and lexicon to date, and it will be used as the basis of the following observations.

Kaufman [1994—2007], along with several of the earlier studies, assumes that the phonemic system of Proto-Zapotec was based on an opposition of single and geminate consonants¹; along with Benton [1988], that study also reconstructs the single/geminate pair *ty/*tty, whose regular development in the modern varieties may be summarized by means of the following table. Although neither of the above studies discusses the surface phonetics of *ty and *tty, the range of their reflexes in modern Zapotec suggests occlusive (alveo)palatal articulations.

¹ Modern Zapotec varieties distinguish consonants in terms of «fortis/lenis»; in certain positions (i. e., intervocalically), this contrast may involve an opposition of length.

Table 1. Regular development of Proto-Zapotec *ty and *tty²

	*tty before *i	*tty elsewhere	*ty before *i	*ty elsewhere
Northern Zapotec				
Zoogocho	ʃ	tʃ	ʒ	dʒ
Yatzachi	ʃ	tʃ	ʒ	dʒ
Cajonos	ʃ	tʃ	ʒ	dʒ
Yaganiza	ʃ	tʃ	ʒ	dʒ
Yalálag	t	tʃ	ʒ	ʒ
Atepec	ts-, -tts-	tʃ	ts	r
Yareni	ts	tʃ	s	r
Choapan	tʃ	tʃ	dʒ	r
Rincón	tʃ	tʃ	dʒ	r
Central Zapotec				
Juchitán	tʃ	tʃ	dʒ	r
Guevea	ts	tʃ	dz	r
Quiavicuzas	ts	tʃ	ts	r
Central Zapotec				
Córdova's	<ch>	<t(h)>	<ch>	<t ~ r>
Ayoquesco	tʃ	tj	dʒ	r
Tilquiapan	tʃ	tj	dʒ	r
Tejalapan	tʃ	tj	tʃ / _j / ¹ / ₋₋₋	r
Ocotlán	tʃ	---	dʒ	r
Quiegolani ³	tʃ	tʃ̥	dʒ	r
Santo Domingo Albarradas	tʃ	tj	dʒ	r before ¹ , d after ¹
Santa Catarina Albarradas	tʃ	tj	dʒ	r before ¹ , dj after ¹
Mitla	ts	tj	dz	r before ¹ , d after ¹

² Dashes represent gaps in the available data, which for most Zapotec varieties is incomplete. The sources of the data are referenced in [Operstein to appear].

³ This variety is usually classified as southern, but the pattern of the development of *tty, *ty, *ttz, and *tz suggests that it may need to be reclassified as Valley Zapotec (cf. [Ibid] for details).

	*t ₁ ty before *i	*t ₁ ty elsewhere	*ty before *i	*ty elsewhere
Guelavía	ts	tj	dz	r before ¹ , dj after ¹
Chichicapan	ts	tʂ	dz	r before ¹ , dz after ¹
Ocotepec	ts	tj	dz-, -z	r before ¹ , dj after ¹
Quiavini	ts	tj	z	r before ¹ , dj after ¹
Güilá	ts	tj	s	r before ¹ , dj after ¹
Southern Zapotec				
Xanaguía	ts	tʃ	dz	dʒ
San Francisco Ozolotepec	ts	tʃ	ts ~ dz	t ~ dʒ
Quioquitani	ts	tʃ	ts ~ dz ⁴	tʃ ~ dʒ
San Juan Mixtepec	ts	tʃ	dz	r
Xanica	ts	tʃ	dz	r
San Agustín Mixtepec	ts	tʃ	s	r
Ozolotepec	ts	tʃ	ts ~ s/z ⁵	r
Miahuatlán	s	tʃ	z	r
Amatlán	tʃ	tʃ	ʒ	r
Coatecas Altas	tʃ	tʃ	ʒ	r
Lapaguía	tʃ	tʃ	dʒ	r
San Baltazar Loxicha	t	t	t-, -d	t
Santa María Coatlán	t	t̥	t	t̥
Papabuco				
Texmelucan	c	c	r before ¹ , j after ¹	r before ¹ , j after ¹
Zaniza	tʃ	tʃ	r before ¹ , dʒ after ¹	r before ¹ , dʒ after ¹
Western Zapotec				
Lachixío	tʃ	tʃ, kj (pattern unclear)	r before ¹ , tʃ after ¹	r

⁴ The distribution of /ts/ and /dz/ is not clear from the available data.

⁵ Both /s/ and /z/ are attested word-finally.

As may be seen from Table 1, the individual varieties may attest one or both of the following two innovations: (i) split of one or both phonemes before Proto-Zapotec *i, and (ii) split of *ty into some type of coronal obstruent after, and a tap before, lexical stress. The development in (i) took place in Northern, Central, and Southern Zapotec exclusive of Coatlán-Loxicha, and may be exemplified with the development of *laʔttyiʔ ‘valley’ and *k-tyoppa ‘two’⁶.

(1) *laʔttyiʔ ‘valley’	>	Zoogocho (Northern)	<i>lafeʔ</i>
		Quiavini (Central)	<i>laaʔs</i>
		Quioquitani (Southern)	<i>letsʔ</i>
*k-tyoppa ‘two’	>	Zoogocho (Northern)	<i>tʃop</i>
		Quiavini (Central)	<i>tjoʔp</i>
		Quioquitani (Southern)	<i>tʃop</i>

The development in (ii) occurred in Papabuco, (possibly) Western, and part of Valley Zapotec, and may be exemplified with the development of *tyitta ‘bone’ and *lkatyi ‘seven’ in Texmelucan (Papabuco) Zapotec.

(2) *tyitta ‘bone’	>	<i>rit</i>
*lkatyi ‘seven’	>	<i>gaʃ</i>

There is evidence to suggest that the development in (ii) is chronologically the more recent of the two. Thus, in certain Valley varieties that attest both developments, *ty is not subject to stress-related split before *i. For example, *ty in *tyiʔla ‘clay griddle’, in which it is found in a stressed syllable, and *ty in *lkatyi ‘seven’, in which it is found in a posttonic syllable, produce identical results (cf. 3). If stress-related split of *ty had preceded its pre-*i split, we would expect to find a /r/-type reflex in *tyiʔla and a /d(j)/-type reflex in *lkatyi, these being the regular results of the former development (cf. 4).

(3) *tyiʔla ‘clay griddle’	>	Quiavini <i>zeeʔillj</i> ,	Mitla <i>dʒul</i> :
*lkatyi ‘seven’	>	Quiavini <i>gaaz</i> ,	Mitla <i>gaʒd</i>
(4) *tyoʔwa ‘mouth’	>	Quiavini <i>ruʔu</i> ,	Mitla <i>roʔ</i>
*k ^w -etya ‘turkey’	>	Quiavini <i>buʔudj</i> ,	Mitla <i>bed</i>

In addition to the regular developments summarized in Table 1, a number of Zapotec varieties show special treatments of one or both phonemes in selected environments. These may involve, e. g., word-initial, word-final, or preconsonantal position, and may entail additional changes by comparison with the regular reflex of the corresponding phoneme. For instance, (5a) below illustrates regular treatments of *ty before *i in Atepec (Northern) and Mitla (Central/Valley) Zapotec. By contrast, (5b) shows that the reflex of *ty in a preconsonantal position is deaffricated in Atepec, and both deaffricated and devoiced in Mitla Zapotec.

⁶ Sequences with an initial *k are assumed to have developed in the same way as the corresponding geminates [Kaufman 1994–2007].

(5a)	*tyina ‘to arrive’	>	Atepec <i>tsina’</i>	Mitla <i>dzun</i>
(5b)	*la?tyi?-tawo? ‘heart’	>	Atepec <i>los-tò’</i>	Mitla <i>las-to’o</i>

Especially interesting, are the developments of *ty and *tty in compounds, which may be divided into two types. The first type, attested in Coatec (Southern) and Valley Zapotec, occurs when one of these phonemes functions as the initial segment of the second root of a nominal compound. The development there is identical to the one found after certain proclitics, which suggests that the two environments may be considered identical. The second type of development is the direct consequence of the stress-induced split of *ty in Papabuco and Valley Zapotec. The two developments are taken up below in turn.

3. Development after proclitics and in second members of compounds

The position after certain proclitics tends to preserve an earlier value of the reconstructed phoneme; this type of development may be illustrated from Quiaviní (Central/Valley) Zapotec. As shown in (6a), the normal reflex of a pre-stress, non-pre-*i* *ty in that variety is /t/. However, in (6b) and (6c), i.e., after certain proclitics, the outcome is /d(j)/. This development is both different from the expected treatment of *ty, and is regularly found only in a post-stress environment (shown in 6d). The treatment of *ty in (6b) through (6d) is also more conservative than the regular treatment of pre-stress, non-pre-*i* *ty in that it preserves more faithfully the presumed surface value of the reconstructed stop, including its palatality.

(6a)	*tya?wo ‘to get fat/big’	>	Quiaviní (<i>w</i>)- <i>ròo’o</i>
(6b)	*tya?wo ‘to get fat/big’	>	Quiaviní (<i>n</i>)- <i>djo’o</i>
(6c)	*k ^w e-tye? ‘ant’	>	Quiaviní <i>b-di</i>
(6d)	*ke:?tyu ‘hole’	>	Quiaviní <i>kèèe’dj</i>

An initial position in the second member of a compound may also have a preservative effect on the original phoneme, and may be conveniently illustrated from SB Loxicha (Southern) Zapotec [Beam 2005] and Chichicapan (Central/Valley) Zapotec [Smith Stark 2007]. In SB Loxicha, *ty and *tty are both normally reflected as /t/ (cf. 7a, b), but surface as /tj/ after certain proclitics (7c, d) or as the initial segment in the second root of a compound (7e). The reflex in (7c) through (7e) is more conservative in that it preserves the palatality feature of the reconstructed stop which is lost in the regular reflex.

(7a)	*k-tyoppa ‘two’	>	<i>tõp</i>
(7b)	*tyi:?na ‘work’	>	<i>ti’n</i>
(7c)	*k ^w e-?ttyi? ‘louse’	>	<i>m-tjì’</i>
(7d)	*k ^w e-tye? ‘ant’	>	<i>m-tjê</i>
(7e)	(...)-*k-tyoppa ‘two’	>	<i>ti?β-tjõp</i> ‘twelve’

In Chichicapan Zapotec, *tʃy is reflected as /tʃ/ (cf. 8a). However, a linguistic questionnaire dating from 1887 shows that /tʃ/ comes from an earlier /tj/: this earlier reflex, spelled <ti>, is found in the questionnaire in the compound numeral ‘twelve’ (shown in 8b). The simple numeral ‘two’, however, is listed in the same questionnaire as *Chopá*: this indicates that at the time of writing, the earlier <ti> value of *tʃy may still have lingered in the onset of the second members of compounds while having already become an affricate in other positions (cf.: [Smith Stark 2007: 61]).

- (8a) *k-tyoppa ‘two’ > *tʃopá, Chopá* (1887)
 (8b) (...) *k-tyoppa ‘two’ > *Xicvi-tiopa* ‘twelve’ (1887)

To summarize: examples (6) through (8) show that the position as an initial segment of the second member of a compound or after certain proclitics may preserve an earlier value of *ty or *tʃy. The consonant in this position is in the onset of a stressed syllable, and its exceptional behavior does not seem to be affected by the nature of the preceding segment: for instance, SB Loxicha *mtjæ* and San Vicente Coatlán *mitjæ̃*, both from *kw-e:ʔtʃyʔ ‘louse’⁷, agree in having the conservative /tj/ reflex of *tʃy even though in the former variety the pretonic vowel has been lost. It is to be hoped that a more complete documentation of Southern and Valley Zapotec will soon come to light, which will enable further work on the historical phonology of these branches including the precise workings of this typologically interesting development.

4. Stress-related split of *ty

Table 1 shows that non-pre-ʔi *ty developed in most varieties into a tap, while preserving its obstruent character in some others, as follows.

- (9) *ty > r
 Northern: Atepec, Choapan, Rincón
 Southern: Miahuatec, Xanica, San Juan Mixtepec,
 Lapaguía, Amatlán, Coatecas Altas
 Central-Isthmus: Juchitán, Guevea, Quiavicuzas
 Central-Valley: Ayoquesco, Tilquiapan, Tejalapan,
 Quiegolani, (Córdova’s)
- *ty > tʃ/dʒ
 Northern: Villa Alta
 Southern: Xanaguía, Quiquitani

Table 1 also reflects the fact that in Papabuco, Valley, and possibly Western Zapotec, *ty may have two outcomes depending on the position of lexical stress, as shown in (10).

- (10) *ty > alveopalatal obstruent / r Papabuco
 (Western Zapotec)
 non-pre-ʔi *ty > d(j) / r Valley Zapotec

⁷ Modified from *kw-e:ʔtʃyʔ; cf.: [Operstein to appear] for argumentation.

Although similar in their conditioning environment, the developments in Papabuco (and Western) Zapotec, on the one hand, and Valley Zapotec, on the other, are not identical. For instance, in the first two groups the split affected all instances of *ty, whereas in Valley Zapotec it affected only non-pre-ⁱ*ty. Also, whereas in Papabuco and Western Zapotec the post-stress outcome of *ty is an alveopalatal stop or affricate, in Valley Zapotec it is /dj/, which may be (secondarily) reduced to /d/. This suggests that the developments in the three subgroups are either unrelated (for example, by being chronologically separated) or areally diffused. Regardless of the precise status of this development, it has provided Papabuco and Valley Zapotec with an interesting nominal allomorphy which has not been described to date.

The allomorphy involves nouns with a medial *ty which has become word-final as a result of post-tonic vowel loss. Such nouns may be attested in Papabuco and (to a considerably lesser extent) Valley Zapotec as two allomorphs differing in their reflexes of *ty, depending on whether this consonant is found in a free noun or in the first root of an old compound. (The compounds are in some cases old enough for the first member to have acquired a classifier-like function, following a tendency frequently found in Otomanguean languages.) Such allomorphs may be illustrated with the reflexes of *^lla^{tyi}? ‘emotional center’ in Zaniza (Papabuco) Zapotec, where *ty comes out as both /dz/ and /r/.

- (11) Free form: *ladʒ* ‘heart, seed’
 First member of a compound: *lar-do* ‘spirit’ (literally, ‘heart’-‘holy’)

The differing treatment of *ty in the above forms may be explained by assuming, firstly, that the free noun was stressed on its initial syllable, and secondly, that when it functioned as the first root of a compound, it was unstressed. This means that *ty would have been found after stress in the free noun (cf. *^llatyi? ‘emotional center’ > *ladʒ*) and before stress in the compound (*^lla^{tyi}?-^ltawo? ‘heart’ > *lar-do* ‘spirit’), with the corresponding differences in treatment.

In the Papabuco branch, both Zaniza and Texmelucan Zapotec are rich in the allomorphy described above⁸. A few additional forms are given in below in Tables 3 and 4; the corresponding Proto-Zapotec reconstructions are supplied wherever available.

⁸ The third known variety of Papabuco, Elotepec Zapotec, is sparsely documented, and the existing sources [Rendón 1971; Peñafiel 1886–93; Belmar 1901] are not sufficiently detailed to demonstrate the existence of such allomorphs in that variety. Nouns of the relevant type consistently show either a rhotic or an obstruent reflex of *ty, cf. /ur-lo/ ‘eye’ [Rendón 1971; Peñafiel 1886–93], /ur-za/ ‘beans’ [Peñafiel 1886–93; Belmar 1901], /ur-yaga/ ‘acorn’ (this is my interpretation of Belmar’s *urioga*), /kwir/ ‘leg’ [Peñafiel 1886–93], /ler(e)/ ‘heart’ (spelled ⟨lEre⟩ in [Rendón 1971], ⟨lere⟩ in [Belmar 1901] and ⟨ler⟩ in [Peñafiel 1886–93]), and ⟨lédxé⟩ ‘seed’ [Rendón 1971].

Table 2. Double treatment of *ty in Zaniza Zapotec

PZ	Free Form	Compound(s)	Literal Meaning of the Compound(s)
*laʔtyi? 'emotional center'	ladʒ 'heart'	lar-do 'spirit'	'heart'-'holy'
*ke:ʔtyu 'hole'	gédʒ 'hole, hollow'	ger-jeŋ 'throat' ger-kwit 'corner' ger-bá 'grave' ger-dʒid 'armpit'	'hole-neck' 'hole-side' 'hole-grave' 'hole-?'
*ketye 'pine'	gedʒ 'pine'	ger-giŋ 'candle'	'pine-wax'
*latye? 'cloth'	--	lar-du 'thread'	'cloth'-'rope'
--	ŋedʒ 'cloth, clothing'	ŋir-lo 'blanket'	'cloth-face'
*k ^w -etya 'large domestic bird'	bedʒ 'turkey'	ber-bizuny 'chachalaca' ber-jag 'carpenter' ber-giʔb 'blacksmith' ⁹	'bird'-'rattle' 'bird-wood' 'bird-iron'
*k ^w -etyi? 'frog'	bidʒ 'frog'	bir-béŋ 'toad'	'frog-guitar'
--	udʒ 'grain, seed'	ur-lo 'eye(ball)' ur-za 'refried beans' ur-giʔb 'bullet'	'grain-face' 'grain-bean' 'grain-iron'

⁹ [Speck 2004] derives *bir-* in the group of compounds denoting professional artisans from *mbeç* 'person, people'. However, it seems more likely that *bir-* is the bound allomorph of *beç* 'turkey': under this interpretation, the only original compound in the group would have been *bir-jag*, literally, 'bird-wood', with the original meaning 'woodpecker'. This word would have acquired the meaning 'carpenter' under the influence of Spanish, where *carpintero* means both 'woodpecker' and 'carpenter'. Then, since the *bir-* allomorph of 'turkey' was no longer perceived by the speakers as having to do with birds, it acquired a classifier-like meaning denoting professional artisans and was used to form further compounds, e. g., with 'iron' (for 'blacksmith', quite possibly under the influence of Spanish *herrero*, based on *hierro* 'iron'), and 'house' (for 'mason'). Incidentally, both Zaniza and Texmelucan Zapotec seem to have created new words for 'woodpecker' (cf. Zaniza Zapotec *ij-rit*, literally 'head-bone', and Texmelucan Zapotec *tfit*).

Table 3. Double treatment of *ty in Texmelucan Zapotec

PZ	Free Form	Compound(s)	Literal Meaning of the Compound(s)
*la?tyi? 'emotional center'	laʒ 'liver'	lār-dodò 'spirit'	'heart'-'holy'
*ke:ʔtyu 'hole'	jeɟ	jer-biiz 'post hole' jer-baa 'grave' jer-di 'fireplace' jer-mbe 'vagina' jer-jeɟ 'throat, pharynx'	'hole-forked pole' 'hole-tomb' 'hole-hearth' 'hole-female genitals' 'hole-neck'
*ketye 'pine'	jeʒ	jer-bedʒ 'splinter' jer-boo 'carbon' jer-jiɟ 'candle'	'pine'-'sawdust' 'pine-hot coals' 'pine-wax'
*k ^w -etya 'large domestic bird'	beʒ 'turkey'	bir-naa 'hen turkey' bir-jiib 'blacksmith' bir-jag 'carpenter' bir-ju 'mason'	'turkey-female' 'turkey-iron' 'turkey-wood' 'turkey-house'
*k ^w -etyi? 'frog'	biʒ 'frog'	bir-jag 'frog sp.' bir-jaʒ bir-beɟ 'guitar'	'frog-wood' 'frog-naked' 'frog-guitar'
*k ^w e:ʔtyi? 'seed'	mbiʒ 'seed'	mbir-jiɟɟ 'chile set' mbir-pcuʒ 'tomato set'	'seed'-'chili' 'seed'-'tomato'
	uuʒ 'fruit'	ùr-lò 'eye' ur-too 'head' ur-jag 'acorn' ur-zaa ʃtiʎ 'pomegranate' ur-nguu 'testicle'	'fruit-eye' 'fruit-head' 'fruit-tree' 'fruit-bean (of Castile' 'fruit-egg'

It is interesting to note that Zaniza and Texmelucan Zapotec differ as to the extent to which the allomorphs ending in /r/ are used. As may be seen in (12), some of the compounds that show up in Texmelucan with the pre-stress /r/-final allomorph are attested in Zaniza Zapotec with the post-stress reflex of *ty instead.

(12) Compounds based on...

- udʒ 'seed, fruit': udʒ-jag-gidʒ 'acorn'
 (lit. 'fruit'-'oak', where 'oak' is itself a compound)
 (cf. Texmelucan *ur-jag*)
 udʒ-ngu 'testicle'
 (lit. 'fruit'-'egg')
 (cf. Texmelucan *ur-ngu'u*)

<i>ged3</i> ‘hole’:	<i>ged3-gita</i> ‘cave’ (lit. ‘hole’-‘stone’) <i>ged3-lo</i> ‘eye socket’ (lit. ‘hole’-‘eye’) <i>ged3-iʹn</i> ‘anus’ (lit. ‘hole’-‘buttocks’) ¹⁰
<i>bed3</i> ‘turkey’:	<i>bed3-daʹw</i> ‘wild turkey’ (lit. ‘turkey’-‘mountain’) ¹⁰
<i>bid3</i> ‘frog’:	<i>bid3-ka</i> ‘green frog’ (lit. ‘frog’-‘green’) ¹⁰

While some of these compounds may be of a later date (i. e., formed after the stress-related development of *ty ceased to operate), in other cases the bound /r/-final allomorph seems to have been replaced with the free form, possibly due to its having become semantically opaque. This conclusion is prompted by the fact that some compounds in Zaniza Zapotec may have alternative forms; among these are *ud3-lo* ~ *ur-lo* ‘eye(ball)’ and *ud3-za* ~ *ur-za* ‘refried beans’.

The process of replacing the /r/-final allomorphs with the corresponding free allomorphs in Zaniza Zapotec may help explain the current situation in Valley Zapotec, where the above allomorphy is reported much more sparingly. Among the forms that can be obtained from published sources are Mitla Zapotec *bəd* ‘turkey’ and *ber-*, the first member of a compound referring to a bird species, ‘chachalaca occidental’, and the parallel pairs in Quiaviní Zapotec, *buʹudj* ~ *bar-* (= the first member of a compound meaning ‘wild turkey’) and Güilá Zapotec, *bïdj* ~ *bâr-* (= the first member of a compound meaning ‘butterfly’)¹¹. The paucity of such allomorphs in Valley Zapotec by comparison with Papabuco is clearly in need of an explanation. Plausible explanations include the consideration that in Valley Zapotec, stress-related split has affected *ty only in non-pre-*i environments, which considerably reduces the number of the affected forms. It is also possible that the Valley varieties have generalized the free allomorph to all environments, thereby replacing the bound and opaque /r/-final allomorphs with the semantically transparent free forms.

REFERENCES

- Beam de Azcona 2005 — *Beam de Azcona R.* Proto-Zapotec coronal obstruents in Southern Zapotec. Unpublished manuscript. 2005.
- Belmar 1901 — *Belmar F.* Breve noticia del idioma papabuco del pueblo de Elotepec. Oaxaca: Imprenta del Comercio, 1901.
- Benton 1988 — *Benton J.* Proto-Zapotec phonology. Unpublished manuscript. 1988.
- Fernández de Miranda 1995 — *Fernández de Miranda M. T.* El protozapoteco. México: El Colegio de México and Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1995.

¹⁰ Cf.: the corresponding Texmelucan compounds with *jer-* ‘hole’, *bir-* ‘turkey’, and *bir-* ‘frog’ in Table 3.

¹¹ The use of the word ‘turkey’ in compounds designating various kinds of birds is attested across Zapotec. For instance, the word for ‘chachalaca’ in Yaganiza (Northern) Zapotec is *bed3χ-šig* (cf. *bed3χ* ‘turkey’).

- Kaufman 1994—2007 — *Kaufman T.* Proto-Zapotec Reconstructions. Unpublished manuscript.
- Kaufman n. d. — *Kaufman T.* Phonology and morphology of Zapotec verbs. Unpublished manuscript.
- Operstein to appear — *Operstein N.* Proto-Zapotec *tty/*ty and *ttz/*tz // *International Journal of American Linguistics*.
- Peñafiel n. d. — *Peñafiel A.* Vocabulario comparativo en zapoteco de Elotepec. Unpublished manuscript.
- Rendón 1971 — *Rendón J. J.* Relaciones externas del llamado idioma papabuco // *Anales de Antropología*. 1971. 8. P. 213—231.
- Smith, Thomas 2007 — *Smith S., Thomas C.* Los préstamos entre el español y el zapoteco de San Baltasar Chichicapan // *UniverSOS*. 2007. 4. P. 9—39.
- Speck 2005 — *Speck C. H.* El diccionario de zapoteco de Texmelucan. Unpublished manuscript. 2005.
- Suárez 1990 — *Suárez J. A.* La clasificación de las lenguas zapotecas. Homenaje a J. A. Suárez / Ed. B. Garza Cuarón, P. Levy. México: El Colegio de México, 1990. P. 41—68.
- Swadesh 1947 — *Swadesh M.* The phonemic structure of Proto-Zapotec // *International Journal of American Linguistics*. 13. 1947. P. 220—30.
- Upton, Longacre 1965 — *Upton J., Longacre R. E.* Proto-Chatino phonology // *International Journal of American Linguistics*. 31. 1965. P. 312—22.

LE LOUP EN HITTITE ET LOUVITE: EXCLUSION ET RASSEMBLEMENT

Proposer une étude consacrée au loup en hommage à V. V. Ivanov est sans aucun doute une gageure. Et cela pour plusieurs raisons: (i) le loup est très présent dans les cultures indo-européennes et il a été beaucoup étudié par les spécialistes du domaine indo-européen; (ii) V. V. Ivanov lui-même lui a consacré des études; (iii) par ailleurs, en morphologie indo-européenne, on sait bien que les termes désignant des animaux — domestiques et sauvages — sont souvent caractérisés par une flexion irrégulière, que la reconstruction n'est pas aisée et l'étymologie souvent opaque. On invoque parfois le tabou linguistique; (iv) enfin, l'étymon pour «loup» a des formes de base variées et des appellations divergentes (pensons au vieil islandais *ulfr/vargr*).

Néanmoins, nous aimerions réexaminer les données anatoliennes (hittite / louvite) et tenter de montrer que les langues hittite et louvite ont certes puisé dans le fond indo-européen, mais que ces données ont été repensées et réinvesties de valeurs propres à la société hittite. C'est ce que nous nous attacherons à montrer après une présentation rapide des données lexicales¹.

1. Les modes de désignation du loup

1.1. UR.BAR.RA

Comme c'est souvent le cas dans les textes hittites, le mot pour «loup» peut être allographié. Ainsi dans le § 37 des *Lois hittites*, sur lequel nous reviendrons, trouve-t-on le sumérogramme UR.BAR.RA:

ták-ku MUNUS-an ku[(-iš-k)]i pít-te-nu-uz-zi EGIR-an-da-m[a-aš-ma-a]š [ša]r-di-ya-aš pa-iz-zi

ták-ku 2 LÚ^{MES} na-a[š-m]a 3 LÚ^{MES} ak-kán-zi šar-ni-ik-zi[(-i)]l NU.GÁL [(z)]i-ik-wa UR.BAR.RA ki-ša-at

Si quelqu'un enlève une femme et qu'une troupe suit pour porter secours, si deux ou trois hommes meurent, il n'y a pas d'indemnisation: «tu es devenu un loup», dit-on.

¹ Je remercie les professeurs René Lebrun et Jean-Pierre Levet pour leur lecture et pour les informations qu'ils m'ont apportées.

1.2. *wetna-*

Le sumérogramme est présent dans l'*Edit de Hattušili I*:

[šu-]mi-in-za-an ÌR.^{MES}-am-ma-an UR.BAR.RA-aš ma-a-an pa-an-g[ur] l^{EN} eš-tu

Mais dans le *Testament politique de Hattušili I*, nous pouvons lire un terme hittite:

[šu-me-en-za-na] ú-e-et-na-aš ma-a-an pa-an-ku-ur še-me-[et l-EN] e-eš-du

[ku-u-ru-ur n]u-wa-an e-eš-du

Que votre clan soit un comme celui du loup, qu'il n'y ait jamais d'hostilité.

Le parallèle entre les deux attestations nous autorise à poser l'équation UR.BAR.RA = *wetna*². Ce terme ne pose pas problème et s'explique par la philologie indo-européenne.

L'absence d'assimilation *-in-* > *-nn-* nous permet d'affirmer que le *t* fait partie de la racine et de poser: **wet-no*³. Le suffixe est connu dans les langues indo-européennes: c'est le «Herrschersuffix» **-no-* qui sert entre autres à former quelques noms de grands dieux ou de grands rois, ou des noms génériques désignant «celui qui dirige, celui qui ordonne», ou, enfin, il sert dans de nombreux cas à indiquer l'idée de «possession»⁴. Pour E. Benveniste, le suffixe contient la notion d'«incarner»⁵.

Le terme est à mettre en relation avec le mot bien connu *Wotan*: en vieil-anglais, on trouve *Wōden*, en vieux haut allemand *Wuotan*, en vieux suédois *Opin*, en vieil islandais *Óðinn*. Tous ces termes sont issus de la racine germanique **wōþa-*, apparentée au latin *vates* «poète, devin»⁶.

«Le terme germanique *Wotan*, désignant le 'maître des Tempêtes' [...], terme qui repose comme son homologue *Óðinn* sur une ancienne forme *wōða-na-z*, peut s'analyser en mot à mot comme 'maître de la fureur', 'seigneur de la fureur' — en particulier de l'inspiratrice fureur poétique — (**woda-*, forme ancienne du mot allemand *Wut*, signifie 'fureur'), d'où le fait qu'il en soit devenu à désigner l'un des plus grands dieux germaniques»⁷.

Ainsi le hittite *wetna-* pourrait-il s'analyser comme «celui qui incarne la fureur».

² Nous ne retiendrons pas la reconstruction proposée par certains savants: par exemple J. Puhvel qui propose: hu]-ú-e-id-na-as mān pankur-seme[t l-EN] ēsdu (*Huidar and vitmir*: creatures and critters in Anatolia and Iceland // *Die Sprache*. 32. 1986. P. 54—57, p. 55).

³ La question reste néanmoins posée de savoir si le radical hittite est **wēd-* ou **wēt-*.

⁴ *Badia E. L.* Le suffixe **-no-* dans les noms de chefs sacrés et guerriers indo-européens // *Études indo-européennes*. 1992. P. 59—80. P. 59—60.

⁵ Ainsi *Neptunus* incarne-t-il l'élément liquide / *Benveniste E.* Les quatre cercles de l'appartenance sociale // *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. 1. Economie, parenté, société. Paris: Minuit, 1969. P. 293—319. P. 302—303.

⁶ Cf.: *Pokorny J.* *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*. Bern; München: Francke Verlag, 1959. P. 1113.

⁷ *Badia E. L.* Op. cit. P. 70.

1.3. walipna/i- / ulipna/i-⁸

Ce terme louvite est à rapprocher du latin *lupus* et du grec *λύκος*, etc. On connaît les difficultés de reconstruction de ces termes, auxquels de très nombreuses études ont été consacrées. Par exemple, dans le rituel KBo 8 III 1-35, où se raccorde KUB VII 1 III 1⁹:

- 9 ŠEG₉.BAR-an kat-ta ^{GIS}eya ḫa-mi-ik-ta par-ša-na-aš
 10 ta-aš-ša-i pí-di ḫa-mi-ik-ta **ú-li-pa-na-an** par-ga-u-e-i
 11 ḫa-mi-ik-ta UR.MAḫ za-am-ni-ša-an (Rasur)
 12 ḫa-mi-ik-ta ša-a-ša-an ḫu-u-ra-at-ti-ša-an ḫa-mi-ik-ta
 13 ša-ša-aš GA ḫa-mi-ik-ta ŠA ^dLAMA ^{GIS}ŠÚ.A ḫa-mi-ik-ta

Il lia le cerf au bas d'un sapin; il lia le léopard dans un lieu inaccessible; il lia le loup sur un pic; il lia le lion fier; il lia l'antilope élégante; il lia le lait de l'antilope, il lia le trône de la divinité Tutélaire¹⁰.

- 27 [ŠEG₉.BA]R kat-ta-an ^{GIS}eya la-a-at-ta-at UG.TUR-aš-ša
 28 [ta-aš-š]a-i pí-di la-a-at-da-at **ú-li-ip-za-aš-ša-an**
 29 [par-ga-u]e la-a-at-da-at UR.MAḫ za-am-na-aš la-a-at-ta-at
 30 [ša-š]a-aš ḫu-u-ra-at-ti-ša-an la-a-at-ta-at
 31 [ša]-ša-aš GA la-a-at-ta-at ŠA ^dLAMA ^{GIS}ŠÚ.A la-a-at-ta-at

Le cerf sous le sapin fut délié; le léopard aussi dans le lieu inaccessible fut délié; le loup sur le pic fut délié; l'antilope élégante fut déliée, le lait de l'antilope fut délié; le trône de la divinité Tutélaire fut délié.

Ce terme louvite¹¹ est à mettre en relation avec le latin *uulpes* «renard», et avec le gotique *Wulfs*, issu de **ulp-o-*, produit phonétique de **wlkw-o-*. Le passage de la labiovélaire *k^w-à -p-* peut être dû à un traitement combinatoire propre à ce groupe de dialectes. Dans cet état dialectal de l'indo-européen qui donnera naissance aux langues germaniques, la séquence **u ... *k^w* aboutit, par dissimilation à **u ... *p*.

⁸ Starke V.F. Untersuchung zur Stammbildung des Keilschrift-luwischen Nomens. Harrassowitz: *StBoT*, 31, 1990. P. 410. № 1477.

⁹ Transcrit et traduit en allemand par H. Kronasser // Fünf hethitische Rituale // Die Sprache. 7. 1961. P. 140—167. P. 156—162.

¹⁰ La traduction des deux extraits est de A. Archi: Società des hommes et société des animaux // Studi di Storia e di Filologia Anatolica dedicati a Giovanni Pugliese Carratelli / Ed. F. Imparati. Firenze: Elite, 1988. P. 25—37. P. 36. Selon A. Archi, le «il» désigne «le Grand Fleuve», selon H. Kronasser, il s'agit de l'Aigle.

¹¹ Le rapport entre *úlipanan* et *ulipzaššan* de la ligne 28 pose problème. Götze pense qu'il doit y avoir une erreur [JCS 16, 1962: N. 10] et propose de corriger en *ulipnaššan*. Quant à l'élargissement en *s-*, R. Stefanini propose d'y voir un génitif adjectival louvite généralisé en adjectif de relation et d'appartenance et ensuite substantivé pour désigner un animal de la même espèce que le loup ou le petit du loup. Avec ensuite un développement soit généralisant, soit technique. On serait alors en présence de deux termes dont la distinction sémantique originelle se serait tout au plus maintenue ici comme une nuance stylistique (Note hittite // Archivio Glottologico Italiano. 54. 1969. P. 148—164. P. 155—156).

Donc, on peut poser une racine *włk^w-o-s. Le cadre de cette étude ne nous permet pas d'entrer dans le détail des argumentations des uns et des autres. Il nous faut admettre la difficulté de proposer une reconstruction tout à fait satisfaisante. Il ne faut pas oublier que la diversité des formes peut aussi être due au tabou linguistique.

Néanmoins, on peut penser 1) qu'il y a eu dissimilation (*u ... k*), ou suivre Chantaine qui pensait que *λόκος* reposait également sur i.e. *włk^w-o- et admettait que la labiovélaire avait coloré la sonante en *u* et qu'ensuite elle avait perdu son appendice labial et 2) que cette dissimilation a été suivie d'une labialisation (*u ... p*).

Cette labiale se trouve, en particulier, en louvite et en latin. Pour Ernout, le *p* latin de *lupus* représente la labiovélaire indo-européenne, la forme venant sans doute de parlers osco-ombriens. Pour Benveniste, *lupus* est peut-être issu du croisement de deux formes: *włk^w-o- et luk^w-o-, sk *vřkař*, grec *λόκος* et de *włp-, latin *uolpes*, germanique *Wulfs*, les deux animaux ayant des traits communs qui tendaient à les réunir¹².

Le rattachement à la racine indo-européenne *włk^w-o-s semble assuré¹³. Mais le détail de la reconstruction pose problème.

1.4. *ħurkil*

Si la racine qui a produit *walipna-* / *ulipna-* a formé des noms qui désignent directement le loup (ou le renard, ou le chacal, c'est-à-dire des animaux qui ont un certain nombre de traits communs), de nombreux termes sont des désignations métaphoriques du loup. D. Petit le note:

«On sait qu'en germanique, le nom indo-européen du 'loup', encore conservé en gotique (*wulfs*) en anglais (*wolf*) et en allemand (*Wolf*), a été concurrencé dans les langues scandinaves par une désignation métaphorique **wargaz* (> v. isl. *vargr*, suéd. *varg*, norv. *Vargr* 'loup'), dont le sens premier était 'misérable, criminel' (cf. v.ang. *wearg*, vha *warg*)»¹⁴.

¹² Mais pour T. I. Markey,

«il est impossible de dériver à la fois norrois *ulfr* (lat.: *vulpes*, Lith. *vilpiszys*) et *ylgr* (lith. *vilkas*, Alb. *ul'k*) d'une forme fondamentalement unitaire sauf si l'on assume un processus complexe de dissimilation, par ailleurs non motivé. Je dérive *ylgr* < *włk^w-yīs gen. (avec syncope de *w*) et *ylfa*, formation comparativement tardive de *włp-yōn et donc accepte la thèse de racines divergentes: *włk^w et *włp, i. e. 'loup' et 'renard', ou ce qui leur ressemble, comme en latin.» (ANGLAIS *dog* / GERMANIQUE *hound* // Etudes indo-européennes. 7. 1984. P. 47—54. P. 49).

¹³ Le recours aux faits tokhariens ne nous éclaire pas davantage. D. Q. Adams, dans son Dictionnaire, sous tokh. B *walkwe* < *włk^w-o-, propose un rapprochement avec le hittite *walkuwa-* (A Dictionary of Tocharian B. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1999. P. 582). Mais C. Melchert estime que faire dériver *walkuwa-* «monstruosité» de *włk^w-o- est sémantiquement et morphologiquement discutable (Anatolian Historical Phonology. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1994. P. 127).

¹⁴ Petit D. Lituanien *Erzvilkas*, une formule poétique indo-européenne? // Petit D., Pinault G.-J. (eds.). La langue poétique indo-européenne. Leuven; Paris: Peeters, 2006. P. 343—366. P. 363.

Il ne nous semble pas avoir trouvé dans les textes hittites un terme désignant le loup remontant à cette racine. En revanche, le hittite possède le mot *hurkil*, qui contient un certain nombre de sèmes de cette racine (voir plus loin).

Dans les *Lois*, le terme est utilisé dans une dizaine d'articles, essentiellement les derniers, c'est-à-dire ceux qui évoquent l'inceste, les attentats aux mœurs et les délits de bestialité commis avec un animal domestique; par exemple le § 187:

ták-ku LÚ-iš GU₄-aš kat-ta [wa-aš-t]a-i *hu-u-ur-ki-il* a-ki-aš
LUGAL-an a-aš-ki ú-wa-[(da-an)-z]i ku-en-zi-ma-an LUGAL-uš
hu-iš[-nu-]zi-y[a-an LUGAL-u]š LUGAL-i-ma-aš Ú-UL ti-ya-iz-zi

Si un homme¹⁵ faute (waštai) avec un bœuf, c'est une abomination hurkil, c'est la mort pour lui, on le conduit à la porte du palais, mais le roi peut le tuer ou le maintenir en vie, mais il ne peut plus paraître devant le roi.

Le terme *hurkil* est un inanimé qui remonte à la racine indo-européenne **H₁wer-ǵh-*, qui signifie «serrer, étrangler»¹⁶. Elle est bien attestée, puisqu'on trouve le germanique **wargaz* «loup», le vieil islandais *wargr* «loup, criminel, proscrit», le latin *vargus* «vagabond, rôdeur»¹⁷. Le degré o de la racine se trouve en gotique *gawargjan dauþau* «condamner à mort», et dans **Hworgǵhós* «étrangleur», ainsi que dans le vieux haut allemand *warg* «criminel, voleur». le degré zéro a donné *hurkil*, mais aussi le vieux haut allemand *wurgen*, l'allemand *erwürgen* «étrangler». Un dérivé nominal suffixé en *l*, comme dans *hurkil*, est présent en vieux norrois *virgill*, en vieil anglais *wurgil* «pendaison». En vieux norrois, *morðvargr* désignait un homme proscrit pour meurtre, et toujours en vieux norrois, *vargr* pouvait en arriver à signifier «loup» (à côté de *úlfr*)¹⁸.

En hittite / louvite, nous rencontrons donc trois modes de désignation du loup: UR.BAR.RA, *wetna-*, *walipna-/ulipna-*. A ces trois termes, il convient d'ajouter *hurkil*, qui remonte à une racine qui a produit dans d'autres langues des mots désignant le loup.

¹⁵ LÚ-iš = piš(e)niš. Le terme désigne «le mâle».

¹⁶ Voir: *Puhvel J.* Hittite *hurkiš* and *hurkel* // *Die Sprache*. 17. 1971. P. 42—45 et «Who were the Hittite *hurkilas pesnes?*», *Fs Risch*, ed. *von Etter A.*, W. de Gruyter. 1986. P. 151—155. Et pour une synthèse: *Hittite Etymological Dictionary*. Vol. 3: Words beginning with H. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1991. P. 401—402.

¹⁷ A. Ernout et A. Meillet signalent qu'il s'agit d'un mot tardif, d'origine germanique (*Dictionnaire étymologique de la langue latine*. Paris: Klincksieck, 1979. (1ère édition, 1932) P. 713).

¹⁸ En tokharien, on trouve *wārsse* «bandit, voleur», associé étymologiquement au hittite *hurkil*. Par rapport à *lyak*, nom courant du voleur en tokharien, *wārsse* semble plutôt désigner le bandit de grand chemin, celui qui surgit brutalement et détousse ou enlève les passants. (*Adams D. Q.* Op. cit. P. 587—588).

2. Quelques éléments de sémantique: «l'étrange contradiction du loup»¹⁹

On retrouve en hittite les principaux traits qui caractérisent le loup dans les cultures indo-européennes. Et tout d'abord son ambiguïté fondamentale. Plus particulièrement dans le domaine anatolien, il nous semble nécessaire de prendre en compte deux motifs différents, ou deux pôles complémentaires d'un terme complexe: le loup (solitaire) / le clan du loup.

B. J. Collins²⁰ explique que le loup est comparable à sa contrepartie domestique, le chien, un animal qui sert aussi de métaphore pour l'homme. Tandis que le chien est un humain dégradé vivant à la périphérie de la civilisation (mais à l'intérieur de sa juridiction), le loup est un humain proscrit, existant au-delà de la sphère ou de l'entendement humain. En même temps, comme un animal redouté, l'image du loup rôdeur était utilisée apotropaïquement dans les incantations rituelles²¹, et la sociabilité du loup servait aussi de modèle pour les membres de la cour de Hattušili I²².

2.1. Le proscrit

Le § 37 déjà cité des *Lois hittites*, qui a fait couler tant d'encre, met en lumière cet aspect:

ták-ku MUNUS-an ku[(-iš-k)]i pít-te-nu-uz-zi EGIR-an-da-m[a-aš-ma-a]š [ša]r-di-ya-aš pa-iz-zi

ták-ku 2 LÚ^{MES} na-a[š-m]a 3 LÚ^{MES} ak-kán-zi šar-ni-ik-zi[(-i)]l NU.GÁL [(z)]i-ik-wa UR.BAR.RA ki-ša-at

¹⁹ C'est ainsi que M. Détienne & J. Svenbro évoquent le loup // Les loups au festin ou la Cité impossible // *Quaderni di Storia*. 9. 1979. P. 3—31. P. 17.

²⁰ Collins B. J. *Animals in hittite literature* // *HdO*. 64. 2002. P. 237—250. P. 241.

²¹ Certains rituels qui évoquent des traditions fort anciennes exigent la présence de «chasseurs/hommes-chien», et même de fauves mimés par des «hommes-loup» et des «hommes-lion». Sur les fonctionnaires du culte que sont les hommes-chiens, les hommes-loups et les hommes-lions. Voir à ce sujet l'article: Jakob-Rost L. *Zu einigen hethitischen Kultfunktionären* // *Orientalia*. 35. 1966. P. 417—422.

²² Cette complexité, cette double face du loup, L. Gernet l'a remarquablement mise en évidence dans son étude «Dolon le loup» (in: *Anthropologie de la Grèce antique*. Paris, Maspéro, 1968. P. 154—171. P. 164):

«Le Loup figure un *outlaw*, et en double sens que les données du culte arcadien permettent de définir. D'une part, le Loup nouvellement promu fait immédiatement sécession, il se retranche de la société humaine. D'autre part, le sanctuaire de Zeus Lycaios est lieu d'asile, et on a pu conjecturer que la notion du loup était, ici comme ailleurs, en rapport avec celle du banni, du *vargr*: ce dernier mot, chez les Scandinaves, veut dire *friedlos*, et c'est en même temps, dans le germanique de l'Ouest et de l'Est, un terme — tabou — pour désigner le loup. Il y a là un engrenement bien curieux, voire une espèce d'antinomie; en tous cas, des rôles qui apparaissent interchangeables — l'animal étant tour à tour poursuivant et poursuivi».

šarnikzil NU.GÁL: «il n'existe pas d'indemnisation». En utilisant la violence, le ravisseur se place en-dehors du droit, et ne peut donc avoir recours à aucun moyen légal pour venger la mort de ses compagnons²³. D'ailleurs, pour J. Weitenberg²⁴, l'expression «devenir (être) un loup» signifie très précisément «être déchu de ses droits» dans une certaine situation, ce qui peut se concrétiser par le bannissement, comme dans ce § 37. Ce qui exprimé ici, estime l'auteur²⁵, ce n'est pas tant le fait que quelqu'un devienne «outlaw» que la déchéance de certains de ses droits, en liaison avec une situation particulière.

Un membre de la communauté peut être exclu pour une faute grave: zikwa UR.BAR.RA kišat: «tu es devenu un loup». J. Haudry explique que

«la procédure d'exclusion, qui remonte à une haute Antiquité, consiste en une 'interdiction' (latin *interdicere ignī et aquā*), c'est-à-dire une mise à l'écart par des moyens verbaux (et non par des moyens physiques)»²⁶.

D'ailleurs, l'enclitique *-wa* de la formule hittite indique une citation: la mise à l'écart est donc bien verbale. Exclu de la communauté, l'homme devient un loup.

«A la formule hittite 'tu es devenu un loup!' répond le nom germanique de l'exclu *warg-a 'l'étrangleur'²⁷, c'est-à-dire le loup, ainsi que la métaphore irlandaise du chien (ou loup) bleu' désignant le proscrit, l'exclu britannique et le célèbre passage védique RV, 9.79.3 distinguant l'adversaire intérieur désigné par *ari-* ('concitoyen' mais étranger à la tribu) de l'ennemi (étranger ou exclu) désigné par le nom du loup, *vrka-*»^{28, 29}

²³ Le cadre de cette étude ne nous permet pas de rappeler les nombreuses interprétations qui ont été proposées de ce paragraphe de lois. Pour les uns, dont fait partie V. V. Ivanov, on serait dans le cadre du mariage par enlèvement, à mettre en parallèle avec le sacrifice humain en Grèce (On the interpretation of the § 37 of the hittite Laws in the light of other indo-european traditions // *Linguistica*. 13. 1973. P. 102—110). Voir aussi Watkins C. *Studies in Indo-European Legal Language, Institutions and Mythology // Selected Writings*. II. Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft. 1994. P. 422—455. Pour F. Imparati, il ne s'agit pas d'un enlèvement en vue d'un mariage (ces cas sont traités dans les § 28 et 35), mais de l'enlèvement d'une femme mariée (Le leggi ittite. *Incunabula Graeca*, 7. Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1964).

²⁴ The meaning of the expression 'to become a wolf' in Hittite. *Perspectives on Indo-European Language, Studies in honor of E. C. Polomé // Journal of Indo-European Studies*. 1991. P. 189—198.

²⁵ Op. cit. P. 192.

²⁶ Haudry J. *Les Indo-Européens. Que sais-je n°1965*. Paris: PUF, 1981. P. 58.

²⁷ Voir la discussion de R. Haase: «Die Bezeichnung UR.BAR.RA 'Wolf' für den Entführer oder seine Gehilfen hat ihre Parallele im germanischen Recht, wo der Friedlose als 'wargus' bezeichnet wird, was 'Wolf' bedeutet. Die Gleichsetzung des Friedlosen mit dem Wolf bedeutet, dass er 'wolfsfrei sei, wie der Wolf als allgemeiner Feind von jedermann erschlagen werden könne und solle'» (Zur Deutung der §§ 37 und 38 der hethitischen Rechtssammlung. *Fs. Bossert, Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung / Anadolu Arastirmalari*. 1965. P. 251—256. P. 253).

²⁸ Haudry J. *Ibid.*

²⁹ R. Haase rappelle que chez les Romains, on mettait sur la tête des criminels un bonnet en peau de loup (Rechtsformalismus und Rechtssymbolik in den Hethitischen Gesetzen // RIDA. 1970. P. 55—65. P. 56). On pourrait multiplier les exemples.

2.2. Le clan

A ce motif de l'exclusion, s'oppose, dans les textes hittites, celui du rassemblement. Reprenons l'extrait du *Testament politique de Hattušili I*:

[šu-me-en-za-na] ú-e-et-na-aš ma-a-an pa-an-ku-ur-še-me-[et 1-EN] e-eš-du [ku-u-ru-ur n]u-wa-an e-eš-du

Que votre clan soit un comme celui du loup, qu'il n'y ait jamais d'hostilité.

Le terme *kurur* est intéressant ici: *kurur* dérive de la racine **kuer-* «couper»³⁰. Le verbe qui en dérive, *kururiya-*, signifie «être hostile, faire la guerre», la guerre envisagée comme rupture, division. On notera que, dans l'*Edit de Telibinu*, par exemple, le mot n'est pas employé quand il s'agit de guerres conquérantes, d'expéditions militaires, mais quand il est question de rébellions, de séditions, de guerres intérieures.

Le motif du loup dans les textes présente donc une ambivalence, ou plus exactement une complémentarité: (i) d'un côté, le loup comme symbole de l'exclu; (ii) de l'autre, le clan du loup comme symbole de l'union.

Mais un motif n'est pas forcément monosémique, même à l'intérieur d'une même culture. De plus, le motif du loup (solitaire) ne comporte pas obligatoirement les mêmes traits que celui du clan (*pankur*) du loup.

2.3. Le système de valeurs: le loup et l'idéologie royale

A. Archi fait remarquer que les comparaisons avec des animaux sont nombreuses pendant l'Ancien Royaume et que «ces images disparaissent ensuite dans les documents de la chancellerie»³¹.

Ainsi, dans l'idéologie royale, est-ce le lion qui, sans surprise, a la plus grande place³². Hattušili I se compare souvent à lion. Par exemple, dans ses *Actes*:

Hahḫa, comme un lion, je l'effrayai avec des gestes violents, je détruisis Zippašna. Je lui pris ses dieux et je les transportai pour la déesse Soleil d'Arinna.

Comme on l'a vu, le loup, dans les textes relatifs à Hattušili I, est lié à la notion d'union, de rassemblement, et le terme est connoté positivement³³. M. Détienné & J. Svenbro notaient à ce sujet pour le domaine grec:

«Comme le lion, que son courage et sa générosité mettent à part, le loup est un animal-emblème des valeurs d'un monde guerrier non moins qu'aristocratique. Leur guerre à l'un comme à l'autre est faite d'exploits cynégétiques, mais alors que le lion conduit une chasse solitaire, le loup est épris de vie collective»³⁴.

³⁰ Cf.: *Puhvel J. Hittite Etymological Dictionary. Vol. 4: Words beginning with K. Berlin; New York, 1997.*

³¹ Op. cit. P. 27.

³² Voir *Collins B. J. Hattušili I, the Lion King // JCS. 50. 1998. P. 15—20.*

³³ Ce qui n'est pas le cas du renard.

³⁴ Op. cit. P. 4.

«Phalange contre phalange, troupe contre troupe, les loups vont en bandes pour chasser, en meutes pour guerroyer»³⁵.

Dans son *Testament politique*, le vieux roi malade a déclaré à l'ensemble des troupes et dignitaires qu'il avait choisi Labarna comme successeur, puis, comme celui-ci ne s'en est pas montré digne, l'a déshérité et a choisi Muršili:

Mais voyez! Muršili est mon fils, reconnaissez-le, et installez-le sur le trône; dans son cœur beaucoup de choses ont été données par le dieu. La divinité va précisément placer un lion à la place du lion. Mais à quelque moment qu'une opération militaire prenne son cours ou qu'une affaire de révolte devienne pesante n'importe où, vous, mes serviteurs et vous, les grands, venez en aide à mon fils.

Après trois ans, qu'il parte en campagne et dès maintenant j'en ferai un roi héroïque; mais tant qu'il n'en est pas encore ainsi, [...] il est pour vous la descendance de votre Soleil et élevez-le en un roi héroïque. Si vous l'emmenez en campagne alors qu'il est encore jeune, ramenez-le sain et sauf. Que votre clan soit uni comme celui du loup, qu'il n'y ait jamais d'hostilité; ses serviteurs sont nés d'une seule mère.

Le texte met bien en évidence cette complémentarité entre le roi-lion solitaire et le clan uni. Par ailleurs, ce contexte nous permet de comprendre l'utilisation de *wetna-*, que nous avons rapproché de *Wotan*. Lisons E. Benveniste:

«Le nom d'Odin lui-même, c'est-à-dire *Wotan*, est formé aussi de cette manière: **Wōda-naz*, 'chef de la *Wōda*', de la fureur ou de l'armée furieuse»³⁶.

Le trait guerrier (la guerre en groupe, en bande), si caractéristique des cultures germaniques, est présent ici. Mais on voit bien que le trait «fureur», quant à lui, est absent³⁷.

Mais cette image positive du loup devient négative lorsque le loup est séparé de la meute. Lisons encore M. Détienne & J. Svenbro, évoquant le cas d'Athamas:

«Hors-la-loi et menant la vie errante d'un fugitif, Athamas n'appartient plus au monde des hommes; traqué, pourchassé par ses congénères, il est condamné à une vie si sauvage que les Grecs la comparent à celle du loup. Mais du loup, séparé de la meute: le solitaire qui mange plus facilement de l'homme, comme le note Aristote, quand l'*Histoire des animaux* insiste sur le caractère asocial du loup, au singulier»³⁸.

C'est ce qu'on retrouve dans les lois: l'homme qui a versé du sang pour une femme est chassé, parce qu'il n'a pas respecté les règles de la société, l'homme qui a commis des délits de bestialité, ou de l'inceste subit la réprobation de la part de la société.

Que devient le roi-loup, lorsqu'il se sépare du clan? Dans son *Testament politique*, Hattušili évoque la rébellion de sa fille:

Elle a repoussé la parole de son père et elle a bu le sang des fils du Hatti.

³⁵ Ibid.

³⁶ La fidélité personnelle // Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Op. cit. P. 103—121. P. 112.

³⁷ Voir, à ce sujet, l'étude très complète: Mc Cone K. R. Hund, *Wolf und Krieger bei den Indogermanen* // *Meid W.* (ed.). *Studien zum Indogermanischen Wortschatz*. Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1987. P. 101—154.

³⁸ Op. cit. P. 14.

Et un peu plus loin:

Moi le roi, je parlai ainsi: «C'est peu! Mais si je te donnais beaucoup de bœufs ou si je te donnais beaucoup de champs, je boirais moi-même le sang du pays.

On voit bien comment le non-respect de certaines règles font que le roi n'est plus roi, mais tyran³⁹. Relisons Aristote commenté par M. Détéienne & J. Svenbro:

«Lecture politique du rituel du Lycée: le loup, c'est l'homme qui goûte à la chair humaine et boit le sang de ses semblables. Mais le cannibalisme policé n'est plus de saison. Bête sauvage et effrénée, le tyran-loup ne recule devant l'horreur d'aucun meurtre (*phónos*), ni d'aucune nourriture (*brôma*). Son destin n'est-il pas de manger ses enfants? Hors-la-loi et, par sa voracité sanguinaire, destructeur de la Cité. Ce loup 'tyrannique', le bestiaire grec ne l'ignore pas. Il est la figure antithétique de ceux qui vivent en bande (*agelédón*), mais ne sont pas pour autant du nombre des animaux 'politiques', comme l'abeille, la guêpe, la fourmi, la grue et l'homme. Il y a dans le loup un aspect asocial qui le met du côté des rapaces, car 'les oiseaux à serres recourbées ne vivent jamais en troupe'. [...] Mais le loup qui donne de la graine de tyran n'est pas seulement un solitaire, sorti de compagnie. Plus qu'un être asocial, c'est l'ennemi mortel de toute communauté. Un proverbe le sait: 'Une amitié de loup' veut dire désunion, négation de tout intérêt commun.»⁴⁰

Dans le *Testament politique de Hattušili I*, il y a le système de valeurs qui irrite toute la société — le roi, les grands, et même les dieux. Et par rapport à cela, on prône soit la participation, soit l'exclusion. Ce principe sous-tend une conception de la monarchie qui ne serait pas fondée sur l'excellence ou la supériorité (au moins dans sa représentation). Ainsi, par exemple, si l'héritier refuse l'échange proposé par le roi, est-ce la ruine pour le pays, figurée ici par la métaphore «boire le sang du pays».

2.4. Chaque chose, chacun à sa place selon l'ordre des choses

Si le lien social consiste en une participation à la circulation de valeurs communes, il n'est pas surprenant que le vieux roi évoque la question de la faute avec le terme *waštul*:

*Celui dont tu verras une faute (waštul), soit qu'il commette un péché (waštui) à l'égard des dieux, soit qu'il prononce quelque parole, consulte chaque fois l'assemblée*⁴¹.

³⁹ V. V. Ivanov note qu'en vieil islandais, un homme qui en a tué un autre devient un loup et il est persécuté partout où les gens chassent les loups. De nouveau (comme dans les traditions hittite et grecque), l'homme devient un loup après avoir tué un autre homme. Il est considéré comme un loup-garou, c'est-à-dire qui peut se transformer en un loup, le fait d'être assoiffé de sang étant la principale caractéristique commune entre le loup et le loup-garou (Op. cit. P. 104).

⁴⁰ Op. cit. P. 16—17.

⁴¹ «*Le Testament politique de Hattušili I*», trad. I. Klock-Fontanille, dans: Les premiers rois hittites et la représentation de la royauté dans les textes de l'Ancien Royaume. Paris: L'Harmattan, 2001. P. 92. Le texte a été édité par Sommer F., Falkenstein A. Die hethitisch-akkadische Bilingue des Hattušili I. (Labarna II) // Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. 16. Munich, 1938.

waštai-/waštul est un terme complexe, généralement traduit, selon le contexte, par «emportement», «crime», «délit», ou encore «péché», «calamité»⁴². Le terme désigne une «faute» qui touche la société tout entière et qu'on ne peut pas expier par une simple indemnisation, principe de la plupart des lois hittites, surtout des plus récentes, mais qui mérite l'exclusion. Il s'agit de crimes contre nature, d'une transgression de l'ordre naturel; par exemple le § 187, déjà cité⁴³:

ták-ku LÚ-iš GU₄-aš kat-ta [wa-aš-t]a-i ħu-u-ur-ki-il a-ki-aš
LUGAL-an a-aš-ki ú-wa-[(da-an)-z]i ku-en-zi-ma-an LUGAL-uš
ħu-iš[-nu-]zi-y[a-an LUGAL-u]š LUGAL-i-ma-aš Ú-UL ti-ya-iz-zi

Dans certains contextes, le mot ne désigne pas à proprement parler une faute; c'est le cas dans le *Rituel des funérailles royales (CTH 450)*:

Quand une grande calamité (waštaiš) arrive à Ĥattuša, et que le roi ou la reine devient dieu.

Le mot *waštai-* désigne ici un «dérèglement, un désordre», un bouleversement de l'ordre des choses, un vide. On peut d'ailleurs rapprocher le mot du latin *vastus, vastare*: dans l'ordre sémantique, il y a en commun les traits «manque, manquement, vide» d'une part, «ravage, dévastation» d'autre part.

Enfin, dans d'autres contextes encore, *waštai-/waštul* désigne l'«emportement»: c'est le cas dans le *Mythe de Telibinu*.

En fait, on a un noyau sémique constitué des traits «manquement» sous forme d'«excès», de «transgression». Celui qui ne respecte pas scrupuleusement le contrat existant dans le monde humain ou entre le monde divin et celui des humains provoque un dérèglement dans l'harmonie qui doit régner⁴⁴.

⁴² Sur cette notion, voir: *Klock-Fontanille I*. La colère froide: Telebinu et Achille. Aspects de la tradition indo-européenne // *Anatolia Antiqua*. Istanbul, III. P. 55—66; *Klock-Fontanille I, Fontanille J*. Anger, passion and sin: from ethics to aesthetics // *Semiotica*. Berlin; New York: Mouton, 1997. Vol. 117. 2/4. P. 145—176; *Catsanicos J*. Recherche sur le vocabulaire de la faute, apports du hittite à l'étude de la phraséologie indo-européenne // *Cahiers de N.A.B.U.* Paris, 1991.

⁴³ Ces articles sont traités à part dans les lois:

- Par leur position à la fin de la seconde tablette, sans le moindre lien avec ce qui précède (paragraphe établissant le prix de denrées diverses).
- Par la gravité des peines requises (ces articles ordonnent la peine de mort 14 fois, alors que dans le reste de la seconde tablette, elle n'est prescrite que deux fois et qu'elle n'apparaît pas dans la première tablette).
- Par l'utilisation de deux termes nouveaux: *ħaratar* et *ħurkil*.
- Par l'importance de la juridiction royale qui n'avait été mentionnée que très rarement jusque-là.

⁴⁴ Voir notre analyse du *Testament politique de Ĥattušili I*: «Les conditions d'exercice de la royauté», *Les premiers rois hittites et la représentation de la royauté dans les textes de l'Ancien Royaume*, op. cit. P. 87—122.

C'est dans ce contexte qu'il faut envisager *hurkil*. On comprend alors mieux le lien avec la racine. Comme l'explique A. Archi⁴⁵:

«Dans KUB XII 63 + XXXVI 70 I 22—34, pendant la célébration d'un rituel un dialogue a lieu entre '(les hommes) du temple du dieu de l'Orage' et 'les hommes de l'abomination' (LŪ^{MES} *hurkilaš*): ceux-là — garants de la pureté rituelle — demandent à ceux-ci — qui représentent les exécuteurs du mal — d'accomplir les entreprises dépassant les possibilités humaines, c'est-à-dire renverser la nature, affronter les fauves d'une manière inadéquate».

Renverser la nature et le monde animal qui la compose est une action qui s'identifie au mal, comme le montre le passage déjà cité:

Il lia le cerf au bas d'un sapin; il lia le léopard dans un lieu inaccessible; il lia le loup sur un pic; il lia le lion fier; il lia l'antilope élégante; il lia le lait de l'antilope; il lia le trône de la divinité Tutélaire.

(A ce moment-là la déesse Kamrušepa célèbre un rituel) *Le cerf sous le sapin fut délié; le léopard dans le lieu inaccessible fut délié; l'antilope élégante fut déliée, le lait de l'[anti]lope fut délié; le trône de la divinité Tutélaire fut délié.*

Dans le *Rituel de Zuwi*, il est question des *hurkilaš* LŪ.MEŠ ou *hurkilaš pešneš*. Cette expression a été étudiée par J. Puhvel⁴⁶. *hurkil* désigne un crime sexuel capital (cf les *Lois*), auquel il faut ajouter le trait «strangulation» qui appartient à la racine. J. Puhvel pense que l'expression, plutôt ambiguë, de *hurkilaš pešneš* «étrangleurs» désigne des criminels sexuels bons à être pendus haut et court, mais à qui on donnait une chance de rentrer en grâce en devenant **Hworghós*, des *hurkilaš pešneš*, c'est-à-dire de prouver leur force d'âme en étranglant des animaux, comme forme de réparation de substitution.

Dans ce cas, toujours selon J. Puhvel, ces hommes doivent avoir été le contraire d'hommes virils, donc être efféminés, très probablement des homosexuels passifs. J. Puhvel précise que les lois ne disent rien à ce sujet, mais il est possible que cette ancienne histoire se fasse l'écho d'une ancienne loi coutumière relative aux gitons, et qu'elle perpétue *hurkil* dans un contexte où il signifie un délit sexuel méritant la mort par pendaison, avec une référence explicite à l'homosexualité passive⁴⁷.

Même s'il nous semble difficile de suivre J. Puhvel jusqu'au bout de sa démonstration (en particulier, rien dans le rituel n'indique explicitement une criminalité, rien dans les lois ne fait explicitement référence à une homosexualité passive), on retrouve néanmoins les traits qui caractérisent la racine: la notion de réprobation de la part de la société à la suite d'un délit qualifié de *waštul/waštai-*, sous forme de mise à mort et/ou de bannissement, afin de rétablir le cours normal des choses. Précisons que le rejet dans la non-société, le retour à l'animalité ne signifie pas un retour à la nature. L'inhumain n'est

⁴⁵ Op. cit. P. 35

⁴⁶ «Who were the Hittite *hurkilas pesnes?*», op. cit.

⁴⁷ M. Hutter pense que dans ce rituel, *hurkil* renvoie à une forme de sodomie: «Through the performance of the ritual the patient's sexual behaviour shall change so that he returns to those 'normal' sexual practices which were accepted in his society». *Aspects of Luwian Religion // Melchert C. (ed.). The Luwians, HdO. Leiden; Boston, 2003. P. 211—250. P. 249—250.*

pas le naturel, pas plus que l'envers du social n'est la nature. On retrouve donc toujours la notion de transgression, mais celui qui a franchi un seuil, rompu un équilibre et basculé dans un autre univers est un loup. Et dans cet autre univers, le sujet, qui est rejeté de la société, semble également rejeté de l'«humanité» et de ses compétences. V. V. Ivanov cite un rituel où on met une peau sur un jeune homme et il marche en hurlant comme un loup. Le rôle magique de la peau en relation avec le loup-garou se reflète dans d'autres traditions indo-européennes, en particulier en latin (cf *versipellus* «loup-garou»)⁴⁸.

Dans la culture hittite, la racine **H²wer-gʰ-* n'a donc pas formé de mot désignant directement le loup, mais un terme qui contient les traits sémantiques appartenant à la racine.

Conclusion

L'examen rapide des données anatolienne nous a permis de retrouver les trois racines indo-européennes qui ont produit des termes désignant le loup dans les langues indo-européennes.

On constate néanmoins des particularités: ainsi l'une des racines (celle qui a produit *hurkil*) n'a-t-elle pas formé de terme désignant le loup, mais renvoie à ce qui caractérise le loup; de même pour *wetna-*, le terme désigne bien le loup, mais tous les traits n'ont pas été retenus par la culture hittite, le sens d'origine s'est affaibli. Que le terme *walipna-/ulipna-* soit présent dans un rituel louvite n'est sans doute pas fortuit; car il remonte à la racine qui a produit le terme désignant, entre autres, les *lupercalia* à Rome.

Néanmoins, si de toute évidence, ces données renvoient au fond indo-européen, elles ont été réinterprétées et réinvesties de valeurs propres à la culture hittite. De fait, les choses sont envisagées du point de vue de l'ordre du monde, de sa cohérence, de son intégrité. Celui-ci est fondé sur l'ajustement des parties qui doivent former un tout. La faute rompt cet exact ajustement des parties. Lorsqu'on prend en compte cet arrière-plan, cette catégorisation du monde, les «traits» sémantiques — apparemment contradictoires — que nous avons pu faire émerger accèdent au statut de «motif» cohérent: le loup (solitaire) comme symbole / métaphore du proscrit et du tyran, le clan du loup comme symbole de l'union, le rejet dans la non-société (bannissement, mise à mort — réelle ou de substitution) de ce qui correspond à une transgression, un bouleversement de cet ordre des choses, de manière à ce que tout puisse de nouveau fonctionner harmonieusement.

⁴⁸ Op. cit. P. 105. Le lien avec le monde des morts est bien connu. Par exemple, L. Gernet rappelle que les faits germaniques montrent clairement le rapport entre l'exécution capitale et le sacrifice, puis entre les rites qui accompagnent l'un et l'autre et le cérémonial d'initiation dans les «sociétés secrètes». «Or ces confréries à masques (ce sont, chez les Germains, des confréries guerrières) se qualifient éminemment par leur relation au monde des morts» (Op. cit. P. 164).

HITTITE *TALLIYĒ(ŠŠ)*- ‘BE(COME) CALM, QUIESCENT’

Prominent among Professor Ivanov’s astonishingly diverse range of interests is the study of Hittite in both its synchronic and diachronic aspects. It is a pleasure to offer him as a modest token of esteem the following lexical analysis.

Hittite attests a fientive verb *talliyēšš-* whose approximate meaning ‘be(come) calm, pacified, soothed’ is clear from its occurrence in VBoT 24 iii 37—39 (Ritual of Anniyawanni, pre-NH/NS): *anda=kan eḫu* ^dLAMMA ^{KUŠ}*kuršaš nu=nnaš=šan anda miyēš nu=nnaš=šan anda talliyēš karpinn=a kartimmiyattan šāuwar arḫa tarna* ‘Come in, Tutelary Deity of the Hunting Bag, become mild toward us, become calm toward us. Let go of anger, wrath and resentment.’ Noteworthy in this example, in addition to the obvious parallelism with *miyēšš-* ‘become mild, gentle’, is the co-occurrence with the local particle *-šan*, for which see [Hoffner, Melchert 2008: 376—377].

We also find the verb *talliyēšš-* in one other passage, KUB 31.127+ iv 8-10 (Prayer to the Sun-god, pre-NH/NS): *nu=mu* DINGIR=*YA dallišš[a]nti UN-ši UD.KAM.ḪI.A idala(w)ēš* GE₆-*uš ḪUL-ēš maninkuwan lē tarnatti* ‘Do not, my god, let evil days and evil nights near me, a *t. man.*’ Since Lebrun [1980: 106], the participle *dalliššanti* has been interpreted as ‘bewildered, distraught’: see also Tischler [1991: 58] and Singer [2002: 39]¹. No justification has ever been given for this interpretation, or any explanation as to how such a sense can be derived from the meaning ‘become calm, soothed’ required by the other occurrence. No such development is in fact necessary. A meaning ‘quiescent’ fits the context of the prayer quite well. Having been chastened and humbled by grievous illness, the speaker is expressing his resigned acceptance of this previous punishment and asking that he be spared any more². We may thus assume a unitary sense ‘be(come) calm, quiescent’ for *talliyēšš-*.

As established by Watkins [1973: 73—83], Hittite fientive verbs in *-ēšš-* are based on stative-fientive stems in *-ē-*: cf. *tannatte-* ‘be(come) deserted’ beside *tannattešš-* ‘become deserted’ among other such pairs. I suggest that we likewise have evidence for a hitherto unrecognized *talliyē-* ‘be(come) calm, pacified’ alongside *talliyēšš-*. One occurrence is found in KUB 17.10 ii 12—14 (Telipinu Myth, OH/MS): *kāša galaktar kitta [ištanza=šiš/*

¹ Despite the claim of [Lebrun 1980: 109], erroneously repeated by [Tischler, Laroche 1964: 27] did *not* suggest the meaning ‘égaré’. Laroche explicitly left open the sense of the verb *talliyēšš-* and its possible relationship to the transitive verb *talliyē/a-* (on which see below). So far as I can determine, Lebrun is the originator of the alleged sense ‘égaré’.

² One citation offered by the *Oxford English Dictionary* s. v. ‘quiescent’ is ‘quiescent resignation’.

ZI=ŠU] *galankanza ēštu kāša parḥ[uenāš kitta] karaz=šan talliyēd[du]* ‘Here lies balm/soothing. [Let his soul] be soothed. [Here lies] *p*. Let (his) insides be(come) calm/pacified.’ My restorations follow those of the *CHD* (P 150), which are based on parallel passages involving *galaktar* and *parḥuenāš*, but the translation of the last clause as ‘let it implore(?) his *karaz*’ is quite impossible. First of all, *karaz* is animate nominative singular and cannot be the direct object of the transitive verb *talliyē/a-*³. Hoffner [1998: 16] translates ‘Here lies *galaktar*. May [your soul, O Telipinu], be made tranquil. Here [lies] *parḥuenas*-fruit. May (its) essence(?) implore him, [namely, Telipinu].’ His implied reading of the spelling *ka-ra-az-ša-an* as /karats=an/, animate nominative singular subject plus enclitic animate accusative pronoun *-an* ‘him’, is orthographically possible and supplies the needed direct object for the transitive verb. However, *karat-* in passages such as this describing the soothing of a deity who has withdrawn in anger *always* refers to the deity. The pair *ištanzan-* ‘soul’ and *karat-* ‘innards’ sometimes forms a virtual hendiadys ‘innermost being’ (see [Puhvel 1997: 75—76]). The habitual pairing of ‘soul’ and ‘innards’ in this context requires a likewise parallel construction in the Telipinu example: just as the soul is to be soothed by the *galaktar*, so are the innards to be calmed by the *parḥuenāš* (whatever the precise nature of these substances). The stem *talliyē-* naturally co-occurs with *-šan* just like *talliyēšš-*⁴.

This interpretation is confirmed by the passage KUB 33.62 ii 14-15 (Ritual for the Storm-god of Kuliwišna, pre-NH/MS): *parḥuenāš=šan kitta nu=ššan parā tallianz[a] ēš kalaktar=šan kitta nu=ššan parā k[alankanza ēš]* ‘*p*. is laid down. Be(come) fully pacified therein/thereby! Balm/soothing is laid down. [Be] fully s[oothed] therein/thereby!’. Glocker [1997: 36—37] and the *CHD* (P 150) still regard *tallianza* as the participle of the transitive verb *talliya-*, rendering it respectively as ‘Sei gewogen gemacht!’ and ‘so be called forth’. This interpretation is precluded by the fact that the transitive verb *talliyē/a-* that typically takes deities or the spirits of the dead as its direct object *never* co-occurs with the particle *-šan*⁵. Furthermore, the parallelism of *parḥuenāš...parā tallianza* and *kalaktar...parā k[alankanza]* calls for a likewise parallel sense of *parā* as ‘completely, fully’. On this usage see the *CHD* (P 126).

For *talliyant-* as the expected participle of a stative-fientive stem *talliyē-* compare *nakkiyant-* to *nakkiyē-* ‘be heavy, weigh upon’ ([*n*]a-ak-ki-ya-an-te-eš in KBo 12.101: 3 as cited by the *CHD* L-N 369). The stative-fientive stem *talliyē(šš)-* is in fact entirely parallel to *nakkiyē(šš)-* ‘to weigh upon’ < *nakki-* ‘heavy’. Reading of the stem as *nakkiyē(šš)-* (not *nakkē(šš)-*) is assured not only by the participle just cited, but also by the incomplete example *na-ak-ki-ya-a[n-zi/te-eš]* in KUB 33.97 i 9, for which see the

³ I will soon discuss elsewhere the Hittite transitive verb *talliyē/a-*, usually translated as ‘implore, invoke’, but properly ‘to draw, allure’. See note 9.

⁴ Probably also here belongs [*kāša parḥ[uenāš... /...tal-l]i-ya-a[d-du]* in KUB 33.69: 3—4.

⁵ The transitive verb co-occurs with *-kan* only in the combination *arḥa talliya-* ‘to draw/lure away’.

CHD (L-N 368)⁶ and by the alternate form *nakkiyašzi* beside *nakkiēšzi* (CHD L-N 371). Oettinger [1979: 251] indeed already derives *talliyēšš-* from a putative *i*-stem adjective *talli-* with an approximate meaning ‘welcome, pleasant’, based on the hapax *ta-al-li-eš* in a passage in the royal funeral rites (likewise: [Tischler 1991: 58]).

However, as now shown by [Kassian et al. 2002: 516–518, 544–545], it is unlikely that such an *i*-stem adjective exists. Based on their restorations from the new fragment KBo 39.290 Ro 9-12 we may now read KUB 30.19+20+39.7 iv 17-21 as: *nu*^{NINDA} *harašpauwa*[*nduš* (^{NINDA}*talluš*)] *yanzi nu=uš PANI ALAM zikkan*[*z(i)*] § *ANA GUNNI kue harpali harpanda nu=šš*[*a*(^{NINDA}*harašpauwa*)*nduš*] *apēdaš šer zikkanzi nu kišš*[*an t/daranzi*] *kī=wa=tta talleš ašan*[*du*] ‘They make *h*.-breads (into) *t*.-breads and place them before the image. They place [(the *h*.-loaves)] on the piles that are piled up on the hearth, and [they speak] thus: «May these *talla-* be for you».’ Kassian et al. try to rescue the derivation of our verb from the actually attested (^{NINDA})*talla-* by reading NINDA *ta-al-lu-uš* ‘soft breads’, taking *talla-* as an adjective ‘soft’ and reading the derived verb as *tallešš-*. They explicitly dismiss the evidence of *tal-li-i-e-eš* in VBoT 24 iii 39 for a stem *talliyēšš-*, attributing it to the influence of the preceding *mi-i-e-eš*. However, the evidence of *tal-li-i-e-ed*[*du*] in KUB 17.10 ii 14 and of the participle *tal-li-an-z*[*a*] in KUB 33.62 ii 14 shows that the stem *talliyē(šš)-* is genuine, and it cannot be derived from an *a*-stem adjective *talla-*.

The existence of such an adjective meaning ‘soft’ is in any case highly dubious. First of all, the reading NINDA *ta-al-lu-uš*, with a logogram for a plural ‘breads’ without plural marker or phonetic complement followed by an inflected adjective, is extremely unlikely. We have rather ^{NINDA}*ta-al-lu-uš* with a determinative, just like the preceding ^{NINDA}*har-aš-pa-u-wa-an-du-uš*. Furthermore, against Kassian et al., the two kinds of bread are not separate offerings, but the same: the text says that they make the *h*-breads into *talla*-breads and place them on the hearth in front of the image of the deceased⁷. This strongly suggests that *talleš* in the last clause is part of the subject: ‘Let these *talla*-(breads) be for you/be yours.’ In any case, even if *talleš* is predicational, all evidence argues that it is a noun: ‘Let these be *talla*-(breads) for you.’

The precise meaning of (^{NINDA})*talla-* cannot be determined, but it is likely that there is a relationship to the other animate noun *talla/i-* attested at IBoT 3.1:78, 79, 81 (*tal-lu-uš* KUŠ SA₅, *tal-li-uš*, *tal-lu-uš*). Against [Tischler 1991: 56] and [Kassian et al. 2002: 545], there is no basis for supposing that this noun has anything to do with the neuter noun ^{DUG/GIŠ}*tallai-* referring to a vessel (correctly separated by Röble 2002: 168⁵⁸⁰). That a kind of bread and another object share the same appellation is not unprecedented: cf.

⁶ The CHD restores a present third plural, but the context would also permit a predicational participle. In either case, the form *nakkiya-* shows that the stative stem is *nakkiyē-*, against the CHD’s own ‘*nakke-*’. The presence of the fientive *nakkiyēšš-* argues decisively against assuming a stem *nakkiye/a-* with a ‘*ye/o-*’ suffix.

⁷ The preceding line 16 assures us that ‘before the image’ and ‘on the hearth’ refer to the same place: *n=at=šan haššī AN*[(*A PANI ALAM tianzi*)] ‘and they place it on the hearth in front of the image’.

^{NINDA}*harši-* ‘leavened bread’ and ^{DUG}*harši-* (container), for which [Puhvel 1991: 197] aptly compares the range of meanings of French ‘boule’.

The form and meaning of *talliyē(šš)-* ‘be(come) calm, quiescent’ require assumption of an unattested adjective **talli-* ‘still, calm’ < **té/ólHi-*, entirely parallel to *šalliēšš-* ‘become large’ < *šalli-* ‘large, grown’ < **sé/ólh₂i-* (for the latter see [Rieken 2005: 55—58])⁸. The PIE root **telH-* is that seen in Lithuanian *tilti* ‘fall silent’ and *tyléti* ‘be silent’, Old Irish *con-tuili* ‘sleeps’, Russian утолить and Serbo-Croatian (*u*)*tóliti* ‘satisfy (hunger), quench (thirst), alleviate (pain etc.)’, and Slovenian *tolíti* ‘console, comfort’⁹.

REFERENCES

- CHD = The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago / Ed. by H. G. Güterbock†, H. A. Hoffner, Jr., T. van den Hout. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1980 — .
- Glocker 1997 — *Glocker J.* Das Ritual für den Wettergott von Kuliwišna. Firenze: LoGisma, 1997.
- Hoffner 1987 — *Hoffner H. A., Jr.* Paskuwatti’s Ritual Against Sexual Impotence // *Aula Orientalis*. 1987. 5. P. 271—287.
- Hoffner 1998 — *Hoffner H. A., Jr.* Hittite Myths. Second edition. Atlanta: Scholars Press, 1998.
- Hoffner, Melchert 2008 — *Hoffner H. A., Jr.; Melchert H. C.* A Grammar of the Hittite Language. Winona Lake IN: Eisenbrauns, 2008.
- Kassian, Korolëv†, Sidel’tsev 2002 — *Kassian A., Korolëv A.†, Sidel’tsev A.* Hittite Funerary Ritual *šallaiš waštaiš*. Münster: Ugarit-Verlag, 2002.
- Laroche 1964 — *Laroche E.* La prière hittite: vocabulaire et typologie. École pratique des Hautes Études. V^e section, sciences religieuses. Annuaire. 1964. T. 72.
- Lebrun 1980 — *Lebrun R.* Hymnes et prières hittites. Louvain-la-Neuve: Centre d’histoire des religions, 1980.
- Oettinger 1979 — *Oettinger N.* Die Stammbildung des hethitischen Verbuns. Nürnberg: Carl, 1979.
- Puhvel 1991 — *Puhvel J.* Hittite Etymological Dictionary. Vol. 3: Words beginning with H. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1991.
- Puhvel 1997 — *Puhvel J.* Hittite Etymological Dictionary. Vol. 4: Words beginning with K. Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1997.
- Rieken 2005 — *Rieken E.* Neues zum Ursprung der anatolischen *i*-Mutation // *Historische Sprachforschung*. 2005. 118. P. 48—74.

⁸ A connection with (^{NINDA})*talla-* would be possible only with the assumption of a parallel action/result noun **tólHo-* ‘calming’ that was secondarily reinterpreted as ‘means of calming’, thus ‘object of propitiation’ or the like. In the absence of much stronger evidence for the synchronic meaning of the noun(s) *talla-* I prefer to leave aside this speculation.

⁹ I thus accept the root etymology of Eichner apud Oettinger [1979: 346] for the denominative stative-fientive verb *talliyē(šš)-* (cf.: [Ibid.: 251]), but not for the transitive verb *talliye/a-*, which in my view means ‘draw, allure’ (with [Laroche 1964: 27; Hoffner 1987: 277, 285]), not ‘gewogen/mild machen, beruhigen’.

- Rößle 2002 — *Rößle S.* Sprachvergleichende Untersuchungen zu den hethitischen *āi*-Stämmen. Ein Beitrag zu hethitischen Sprachgeschichte. PhD Dissertation. Universität Augsburg, 2002.
- Singer 2002 — *Singer I.* Hittite Prayers. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2002.
- Tischler 1991 — *Tischler J.* Hethitisches Etymologisches Glossar. Teil III. Lieferung 8. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1991.
- Watkins 1973 — *Watkins C.* Hittite and Indo-European Studies: the denominative statives in **-ē-*// Transactions of the Philological Society. 1971. P. 51—93.

NOTES ON ANATOLIAN SIBLING TERMS

Received wisdom has codified an Anatolian propensity for babblewords like *atta-*, *pap(p)a-*, *tati-* ‘father’, *anna/i-* ‘mother’, *nana/i-* ‘brother/sister’; in this instance a native appeal of such near-universal babytalk may have been reinforced by the adjacency of Akkadian *abu* and *ummu* (‘father’ and ‘mother’, not just ‘dad’ and ‘mom’), whose cognates monopolize Semitic parenthood down to contemporary idiom. Yet there is unpredictability in such intrusions of affective language. Against Wulfila’s *atta unsar* stand Jerome’s *Paternoster* and Luther’s *Vaterunser*. In ecclesiastical Latin the august Pontifex Maximus has been familiarized as *Papa* ‘pope’, and monastic brethren and sisters were truncated to *Fra/Sor* (*Angelico/a*) or known as *nonnus/nonna*. This latter babbleword in particular has wide semantic range, from Greek *nénnos* ‘uncle’, *nánna* ‘aunt’ to Russian *njanja* ‘nanny’ to Sanskrit *nanā* ‘momma’. *Nana-* is also rife in Anatolian anthroponymy, not just *Nana* who bore Attis (descended from the Phrygian sky-god *Papas*) but men’s names such as *Nannas* and compounds therewith (cf.: e. g. *L. Zgusta*. *Kleinasiatische Personennamen* [1964], 346—354).

Such a Pan-Anatolian state of affairs (from Hittite-Palaic-Luwian down to Lycian, Lydian and Hellenistic strata) has obviously supplanted basic inherited Indo-European kinship terminology. A confirmatory relic lingers in Lycian *kbatra* < **du(g)atra* ‘daughter’; in this instance Latin and Irish have conversely lost that particular cognate to innovation (Latin *fīlia* [literally ‘suckling’] vs. Oscan *fūtīr*, and Old Irish *ingen* [literally ‘in-born’] vs. Gaulish *duxtīr*). By this token the equivalents of Indo-European **bhrāter-* and **swesor-* were superseded by a common-gender *nana/i-* ‘sibling’. This word survives in Luwian *nāni(ya)-* ‘brotherly’, Lycian *nēni-* ‘brother’, and with a marked feminizing suffix in Luwian *nānasri(ya)-* ‘sisterly’, Hieroglyphic *nanasri-*, Lycian *neri-* (< **nanasri-*) ‘sister’, a derivation similar to Hittite *ishassara-* ‘mistress’ from *isha-* ‘master’. The stem *nana-* can also lurk in Hittite complementations of the sumerogram ŠEŠ, such as dative-locative ŠEŠ-*ni*.

In Hittite there is the Luwoid kinship word *anniniyami-*, reconstructible as **anni-naniya-mi-*, literally ‘mother’s brother’s offspring’, by extension ‘cousin’ generally (suffix as in Luwian *titaimi-*, Lycian *tideimi-* ‘nurseling, son’), with haplology of the kind seen in Latin *equirria* < **equi-curria* ‘horserace’ (cf. Latin *consobrīnus* < **con-swesr-īno-* ‘joint brood of sisters, maternal cousin[s]’, extended to encompass avuncular offspring). An underlying **anni-nani-* ‘mother’s brother, maternal uncle’ may have had a counterpart **tati-nani-* ‘father’s brother’, perhaps seen in the Asianic man’s name *Tedenēnis* (from the corresponding Latin word for ‘uncle’, *patruus*, was derived *patruēlis* ‘paternal

cousin', and from *amita* 'father's sister, aunt' a further 'cousin', *amitīnus*, reciprocal to 'mother's brother's brood').

In Hittite proper the brother/sister terms hide for the most part under sumerography (ŠEŠ/NIN). When phonetic spelling finally emerged, there was rare *ni-ik-na-*, *ne-ik-na-* for 'brother', *ni-ka-*, *ni-e-ka-*, *ne-ka-*, *ne-ga-* for 'sister'. In a surprising rush to judgment, a number of scholars jumped to a postulation of Proto-Anatolian **nekna-/neka-*, from which South Anatolian *nana/i-* and *-niya-* (alleged in *anni-niya-mi-*) were forcibly derived, assuming loss of the guttural occlusive. This was accompanied by an outlandish notion of an inverted «sister-man» derivation of *nekna-* from *nega-*, sometimes with attendant theorizing about «thygatrifocality» (Heiner Eichner. *Die Sprache* 34 [1988—90], 383; cf.: e. g. C. Watkins. *Festschrift für K. Strunk* [1995], 358—359).

Such overreaching discarded and disregarded Pan-Anatolian **nana/i-* and overlooked other possibilities of innovation and replacement in sibling terms. For example, in Greek *kasignētos* 'cognate' and *adelph(e)ós* 'couterine' marginalized inherited *phrātēr/éor*. In the same vein Günter Neumann (*KZ* 104 [1991], 63—63 = *Kleine Schriften* [1994], 105—108) interpreted Hittite *nikna-* as reflecting **ni-ġnEó-* 'innate', similar to Gothic *ganiþjis* 'kindred', Ogam *inigena*, Old Irish *ingen* 'daughter' (< **eni-genā*), aptly adducing as parallel the loss of *frāter/soror* in Ibero-Latin in favor of *germānus/germāna* 'birth-sibling' (Spanish *hermano/hermana*; cf. *germen* < **gen-men*; *frāter germānus/ soror germāna* occur from Plautus onward).

This approach eschews the weird derivation of *nikna-* from *nika-* but leaves the latter dangling. Neumann had much earlier (*Gedenkschrift für H. Güntert* [1974], 281—282) suggested for *nika-* a reconstruction **nanika-*, with a feminizing suffix and «aphaeretic truncation», parallel to Luwian *nanasri-* (and Lycian *neri*). It may be more plausible to adduce Hittite *annanikes* 'maternal sisters' as a haplology for **anna-nanikes*, whence an abstracted *nika-* supplanting **nanika-* as a marked feminine vis-à-vis the inherited *nikna-* which had become an alternative to **nana-* and itself occurred in the parallel compound *pappaniknes* 'paternal brothers' (cf. *parāŠEŠ.MEŠ* 'collateral brothers'), thus completing innovational transition from **nana-/nanika-* to *nikna-/nika-*.

But the true tertium of such pairings may lurk in *KUB* 57.79 Vs. 39—40, where *ni-ku-us* is preceded by the double «scissors» sign which singly denotes sumerographic PAP 'guard, protect' (Hittite *pahs-*), PA₅ 'ditch, canal' (Hittite *amiyara-*), or KÜR 'enemy' (Hittite *kurur*), but is used in iteration to mark an illegible passage or lacuna. Rather than assuming a gap immediately preceding *-ni-ku-us*, this double sign should perhaps be read phonetically, thus *pap-pa₅-ni-ku-us* 'paternal sisters', coined on the joint pattern of *annanikes* ... *pappaŠEŠ.MEŠ* (*KBo* 22.178 II 5—6), and the whole passage as ^{LÚ.MEŠ}*kainus-san* ^É*pulli sessanzi pappanikus-san* ^{LÚ.MEŠ}*GURUŠ-us* ... 'sons-in-law sleep in the *pulla* house, paternal sisters (and) young men ...'.

Such a ternary set (*annanikes/pappaniknes/pappanikes*) lacks an attested quaternary member **annaniknes* 'maternal brothers'. While clearly potentially relevant (cf. Greek *adelph(e)oi*, Sanskrit *sāgarbhyāh*), **annaniknes* may have had less actual currency than *annanikes*, since couterinity in Hittite legal terms mainly concerned mothers and daugh-

ters (as in rape legislation), and literary juxtaposition (above) comprehensively combined *annanikes* rather with *pappaniknes*. On the other hand a paterfamilias, with daughters by a variety of consorts and concubines being married to or wooed by young men, could well use an umbrella term *pappanikes* beside *pappaniknes*.

Odds and ends remain. The tongue-twisting haplogogies **anninaniyami-* > *anniniyami-* and **annananikes* > *annanikes* are comprehensible on general terms, but also find more specific support within Hittite, e.g. in the verbs *penna-* and *unna-* which are hard to explain as **pe-/u-* + *nai-* but translucent as haplogogies of its compound durative, thus e.g. **pe-nayanna-* > **penanna-* > *penna-*. There is notable correlation of usage between *nanna-* and *penna-/unna-*, e.g. *KUB* 19.18 I 24 *nu ABU-YA mahhan nannai* ‘as my father is travelling’ picking up with «conjunction reduction» the narrative of the duplicate *KBo* 14.3 IV 27 *KUR-e]-kan anda pennai* ‘he drives into the country’, or transitively *KUB* 7.54 III 11 *nu ANŠU ūnniyanzi* ‘they bring an ass’ beside *KBo* 22.2 Vs. 8 *ANŠU-in nanniyanzi*.

The postulated haplogogy of *annanika-* is early in date, as *nika-* occurs already in Old Hittite. It resembles the second element in «Cappadocian» women’s names such as *Hašušarniga* and *Šaptamaniga*. As these stretch to Nuzi and Alalah, Hurrian or Hurroid «Sirenen des Gleichklanges» may be beckoning here, as they surely are in the men’s names *Pāpanikri*, *Pāpanikki* (*KBo* 23.53.4), *Nikri*-^{DU}-*upas* (*KUB* 42.84, 14).

The postulated spelling *pap-pa₅-ni-ku-us* with phonetic values of the «scissors» sign has certain parallels in its sumerographic use as *PAP* = *pah(ha)s-*. Such use is largely confined to the last century of Hittite textual history, mostly the reigns of Tuthalijas («IV») and Suppiluliumas II. *PAP* occasionally has minimal phonetic complementation (*PAP-ri* = *pa-ah-sa-ri*, *PAP-si* = *pa-ah-si*, *PAP-du* = *pa-ah-ha-as-du*, *PAP-ru* = *pa-ah-sa-an-ta-ru*, *PAP-mar* = *pa-ah-sa-nu-mar*). More frequently moderate complementation occurs in *PAP-as-hi* (*PAP-ah-hi*), *PAP-as-ti*, *PAP-as-ta*, *PAP-an-da*, *PAP-as-ha-at* (*PAP-ah-ha-at*, *PAP-ha-ha-at*), *PAP-as-tin*, *PAP-an-du*, *PAP-an-ta-ru*, *PAP-nu-ir*, *PAP-nu-ut*, *PAP-nu-an-du*, *PAP-nu-mar*, *PAP-nu-ma-an-zi*, *PAP-nu-us-ki-*. But in a number of instances *PAP* stands in lieu of *pa-*, the entire rest of the word being spelled out phonetically: *PAP-ah-sa-an-ta-ri* beside Old Hittite *pa-a-ah-sa-an-ta*, *PAP-ah-ha-as-ha-at* beside earlier *pa-ah-ha-as-ha-at*, *PAP-ah-si* beside usual *pa-ah-si*, *PAP-ah-ha-as-tin* beside frequent *pa-ah-ha-as-tin*, *PAP-ah-sa-nu-ir* beside duplicate *pa-ah-sa-nu-ir*, *PAP-ah-sa-nu-mar* beside *pa-ah-sa-nu-mar*. It is as if, with the belated shorthand introduction of sumerographic *PAP* and *PA₅* (on top of *KÚR*), certain scribes were confused by phonetic values and merely made substitution for *pa* while retaining full phonetic spelling. At the other, stenographic extreme, *amiyaran pahsi* ‘guard the ditch!’ could be written *PA₅-an PAP-si*. The reading *pap-pa₅-ni-ku-us* beside *pa-ap-pa-ni-ik-ni-es* thus finds a measure of support in the orthographic vagaries of *pah(ha)s-*.

FOUR NOTES ON MILYAN

Several aspects of interpretation of Milyan inscriptions are discussed here.

Mil[yan], a Late Anatolian (Hittite-Luwian = Ht.-Luw.) language of Lycia (closely related to Lyc[ian]), is represented by two, relatively long and well-preserved, about 2500 years old letter-written inscriptions: 55 (Antiphellos; socle of the tomb of Pixre and his wife) and 3rd part of 44 (Xanthos Stele, or Pillar; there is the tomb of Lyc. ruler Xerēi above). Stele 44 consists of texts in Lyc. (sides a-c), Gr[reek] (central part of side c), and Mil. (sides c-d). Mil. texts represent poems; author of 55 might be Pixre; that of 44c-d might be Xerēi; they both occasionally speak in the 1st person. Their poems consist of str[ophes] indicated by Roman numerals. Xerēi's poetic work includes, actually, two texts: 44c (starting with line 32) and 44d (the whole side).

Much work on Mil. has been done lately by D. Schürr (DS) who has also performed a detailed graphic analysis of both inscriptions. D. Schürr and H. C. Melchert (CM), as well as a few other colleagues, have provided several important new suggestions about the meaning of certain Mil. words and sentences.

Still, some topics are still ignored, among them existence of allative forms in *-a* (55 & 44) and of gerund-like forms in *-ā/ēti* (such as *xrāti / xxāti* 'when transferring / passing over [some obligations / troops]', *uwēti* 'when honoring' [about some rite], (?) *kmmēti* 'when suppressing' [about tribute delivery] (if to d. sg. *erbbi km̃qi-ke* 'for fight(s) and requisition(s)', ins. *kemijedi (waxsadi)*, nom. *[k]em(i)*).

No attention has been paid to specific symmetric structure, used both in Mil. sentences and in large texts. In a sentence, the left part can be reflected in the right part (this covers word meaning, grammar; sometimes rhyming, alliteration, vowel harmony). In many cases, such symm[etric] constr[uction] has a center: one word. A symm. constr. may be 'interrupted' if there are words in the sentence which have no symmetric counterparts. A long symm. constr. may include shorter one(s).

In a text (certainly in 55, and in 44c which is based on 55), a given unit (one strophe or a group of semantically close strophes) on the left matches a symmetrically identical unit on the right; both such units are usually similar in their meaning. Each text includes a central part (where gods are active) which consists of symmetrically opposed strophes. Mil. text 44c has 14 str.; the underlying model, i.e., text 55, shows only 13 out of 14 str.; just two beginning letters of str. XIV exist. (An example of symmetrically positioned passages with similar meaning is used at the beginning of Note III).

Mil. text 44d (23 str.) consists of additions and comments to the text 44c.

**INTRODUCTION. REMARKS ON WORD DIVISION
AND SPELLING IN MILYAN INSCRIPTIONS**

Several years ago the traditional word division *ti mlu* (pronoun + acc. sg. *mlu*) in 44cVII has been abandoned, though it is supported by the text structure; *timlu* (written without a word-division mark) is considered in DLL 130 as acc. form of *timla-* (with no meaning proposed). I am satisfied that CM now agrees, in principle, with the old interpr[etation] since it is important for understanding of the whole text 44c. Pron[oun] *ti* seems to mean ‘who’ here (altern[ative interpr.]: a reflexive), as in Lycian (Mil. has *ki* ‘who’), but Mil. texts contain a fair amount of Lyc. forms. Pron. *ti* starts here a subordinate clause *ti mlu mawate : waxsadi : wizttasppazñ* ‘who had removed (*m-te*) with fight(er)s (ins[trumental] *w-di*) the power(s) / mandate of Hystaspes’ (*mlu* may originate from < IE **mleuH-* > Slav[ic] **mьlv-*; cf. acc. *plluwi mlu / mlu plluwi* ‘broad powers’ or sim.). Subj[ect] is god Natri of Turaxssa who ‘favors’ (*kupri-ti*) Lyc. high commander Xerēi (not yet Lyc. ruler), called here *ēnari* ‘Mighty’ (:Luw. *annari-*). In the next str. (cVIII), the Persian Amorges (*umrgga-* = Lyc. *humrxxa-*) is overpowered, apparently, by Xerēi; this shows that Amorges at that time was already Lycia’s enemy; cf. Lyc. texts (written earlier than Mil.) where both god Turaxssan [Natri] and Lyc. high commander Xerēi are fighting against the troops of Amorges.

In 44dVIII-IX, we have three sentences with imp[eratives] of the 2nd p. sg. *xup[di]*, *slama*, and *asxxa*; this latter appears in a short sentence *ker[i] lēpri -j- asxxa* (the preceding sentence also ends in an imp., namely, *slama*). All three sentences (where *keri* appears twice) are analyzed below, and they make good sense (each word, except *lēpri*, is also represented in other passages; noun *lēpri* matches precisely Ht. *lammar* ‘time, instant’). There is no ground to consider *asxxa* as ‘1st sg. pret. of *as-*’ (DLL 113), and *slama* as a noun (DLL 129), thus different of the v[er]b *slāma-*.

DS’s re-interpretation *slama-ke-r[b?]lē prijasxxa* is clearly unnecessary.

There is no *dijeti* (verb) + *-ke* ‘and’ in 44cXIII since d. pl. *edije tike* ‘during fete-related treat(ment)s / offerings’ here matches */tika (a)dija/* in 55.XIII; in both cases we deal with an elaborated offering rite for ‘Trqqiz’s escort / followers’ (= acc. *xrbblatā trqqñtasi* in 44 vs all[ative] or d[ative] *trqqñtasa xrbbla<ta>* in 55).

It seems, the division *ki-llete-rblē* in 55.XI (DS) contradicts the fact that both this str. and str. 55.III are semantically similar: both contain semi-identical abl.-ins. phrases; str. 55III shows vb. *leli-xa* ‘I spoke, recounted’ whereas str. 55XI shows d.l. pl. *lle* (‘[damage] to inscriptions / texts’) of *leli*; in 44c, acc. *leli* may mean ‘narrative, stele’; for *lle* < /lele/ to *leli* cf. *sse* < /sesel/ ‘for distributions / allotments’ to *sesi*, d. sg..

There is also no ‘*kille*’ (CM) here: we have acc. pron. *ki* ‘what[ever]’ + acc. sg. *terbl-ē* (‘damage’) + d.-l. pl. *l<e>l-e* + acc. sg. *terbl-ē*.

It is possible that *utetu* (44cXI) is neither imp. in *-tu* nor acc. in *-u* but represents two words: d.-l. *ute* ‘for distributions / treat(ment)s’ [as in other cases; cf. *utakija* ‘for awards

/ payments'] and imp. *tu* 'put!' (about meals, as in some other cases). If this is correct, then *wisiu* in cXI shall be re-interpreted as acc. sg. in *-u* of *wisija-* (some libation ?) and may be identical to [*wisiu*] at the beginning of cV; in both cases we would deal with Trqiz's direct address to Lyc. ruler (Xeriga in cV; Xerēi in cXI); cf. noun in d.-l. sg. *wis-id-i* in the str. dI, depicting libation *qrbbli* (here also abl. *qrbble-di*).

Some corrections of original texts are still needed. For instance, the form *sljtāmi* (55.IV) certainly represents a false spelling in the original. I think, the best solution is to amend the form to *s<ep>tāmi* 'seven'. This re-interpretation is supported by the fact that Mil. letter *e* is similar to *l*, whereas *p* is similar to *j*. There are several instances in Mil., especially in 55, when a letter is wrongly used just because it is similar in shape to a different letter. Besides, phrase */qirzē ... septāmi/* '7 shares' (acc. sg. in Mil.; altern.: '7 of shares', acc. sg. + gen. pl.) is semantically similar to other cases with *qirze-* (which is thrice used with numerals).

It is highly doubtful that in 44dVI we deal with *xu[gā...]* 'grandfather' (acc. sg.) since the structure of the whole passage indicates very clearly that [*xu.....*] is a verb of the 3rd p. sg. past (subj. is *zuse* 'Zeus' = Trqiz?); I think the only probable reconstruction is *xu[stite]* '(he) passed quickly / rushed [an object to the priest *weri*]'

On the other hand, DS's interpretation of *tasñtuwadi* as *tasñtu (u)wadi* (and not *tasñtuwadi* as I used to think) makes sense, since we deal here with animal offerings (*uwadi* means 'with bovines'; here also *uwadra* as in Lyc. *uwadra-xi* 'bovine offering'; for the latter, cf. Mil. noun in d. sg. *xapa-xi* if this is a compound; see 44cV).

I. ANIMAL OFFERINGS AND FEASTS IN MILYAN (A FEW EXAMPLES)

There are several Mil. words (derived from IE **g^hhen-*, DS) which literally mean 'killing' (*qñza*, *qzze* / *-qzzi*, *qezm̃mi*, see below), but none seems to suggest killing of people (contra DS), all refer to animal killing in connection with offerings / feasts; we may add to this list *ekānē* (see ex. below); we already know Lyc.-Mil. noun *xi-* 'animal sacrifice', verbs *xi-* and *xis-* 'make an animal sacrifice', noun *esēnē-mla* 'blood-offering' (DLL 115) with variants; once with attr[ibute] *lusasi* 'fiery'; cf. synon. *lusaliya zēna* (d. or all., not nom.-acc. pl. as in DLL 120 & 137); for 'fiery offering(s)' cf. 55.XII where a 'provider' (? *ñneri*) prepares dishes to be offered to Arma(-Trqiz) 'with full burning' (abl. *punamadije-di tuxara-di*; precise cognates in Lyc. & Luw.).

Some other words for sacrificial animals are: 55.V *qaba-lime/i-* 'fault-less' (? bovine or sheep) to Anat. **huwap-*, cf. Luw. *huipa/i-*, CLL 82-3); cf. Mil. *qetbe-leimi-*, *tuple-leimi-* 'invulnerable', lit. 'damage-less'; *uwadra* (? 'bovines'), abl.-instr. *uwadi* (from *uwa-* 'bovine', as in Lyc.) (44). It seems, adj. *qidr-asa-* relates to Luw. *huidar* 'wild animal' but rather means 'of hunting' (as in *qiqlēnire-di /qidrasa-di/* 'from hunting supplies' which were used for feasts); cf. related forms: d. sg. *qidr-al-a* 'for racing / hunting' [in raids ?]; vb. *qidr-i-* 'race (to ... with hostile intentions)'. Mil. *qidr-* shows *r* where

Ht.-Luw. shows *n*: cf. Luw. vb. **huidnai*- ‘hunt animals’, *huitnaimi*- ‘hunted one’ (about animal; USKLN 561; CLL 83). Mil. shows *r*-stem also in obl[ique] forms (where Ht.-Luw. has *n*): Mil. *lēpri* : Ht. obl. *lamn*- ‘time’; *m̃qr*- ‘ripping; prepared stuff’?, vb. *m̃qr-i-s*- : (?) Anat. obl. **mihu(wa)n*- ‘aging’; denom. vb. *padr-e*- ‘bring, provide’ (: *pidritēni* ‘provider’; Lyc. *padr̃nta*-) & *pd-ur-a*- id. : Luw. obl. *paddun*- ‘tray’ < ‘carrying’ < **padd*- ‘carry’ (CLL 175); cf. also Lyc.-Mil. *wedr*- *‘water’ (but cf. *esāna*- ‘blood’; *-n*- seems to be of a very old age here).

Let us first deal with *ek-ān-ē* which is either acc. sg. or gen. pl. and may mean ‘victim’ (:Ht. *akk*- ‘die, be killed’). In str. dV (our ex. a) somebody called [*k*]em(i), for some reason, is unable to determine (vb. *pzzi*-) offerings for gods; therefore ‘Trq̃qiz and all gods’ at the *mlati*-place become angry (similar offerings in cXIII and 55.XII-XIII):

a) *me-pe: stt[ē]ni: trq̃qiz seb(e) uwedriz: mlat[i] masaiz: [k]em(i) eke neu: zini: lelebedi plejere(-)se [xu]pe ekānē: kuprimi: pzziti: ur[a]sli* “Now, Trq̃qiz is angry (*stt[ē]ni*, DS), and all gods at *mlati*, when /*kemil*/ doesn’t determine a choice / excellent (*kuprimi*) victim (if acc. sg. *ekānē*) / the best of the victims (if gen. pl. *ekānē*) from the ‘takes’ (abl. *lelebedi* to IE **labh*- ‘grab’?) for the great offering rite (d. sg. *ura-sli*).

[Cf. cIV ... *sbirtē pzziti:lelebedi: x̃ntabasi* ‘(*tupleleimi*-Xeriga ...) determines for the command (attr. = adj. x.) share(s) (acc. sg. s.) from ‘takes’ (*l-di*)].

Now comes str. dVI where *erikle*-Xeriga is shown as an exemplary offerer:

b) *me [pd]jurade: erikle-be: trq̃q̃nti: p[.....(.)]i: qi[d]rasddi (= abl. /qidrasadi/ of adj. qidrasa-, above) tiu ñtada x̃ñije.....(.)* “Now, (when) *Erikle*(-Xeriga) presented to Trq̃qiz a treat (acc. sg. *tiu* < *tiju**, d. pl. *tije*) from hunting [supplies] (attr. in abl. *qidrasa-di*) at grandmothers’/s tombs...” [similar in 55, end: loc. *ñtete ... tunew̃ñije*].

[..] *Ju-be (e)weri: xerigazf{:}ē: zuse dd(e) xustite* “Then Zeus(-Trq̃qiz?) immediately (if *dd* = *dde*) rushed Xeriga’s [goblet] to (the libation-priest) *weri*”.

[Cf. *dde* in d60 *lijeiz : dde lupeliz* ‘as well as the grieving (:Luw *lupp-asti*- ‘grief, regret’) nymphs (acc. pl.) nearby’; certainly not *lijeiz : ddelu p<l>eliz*, DS // For *xust(t) i-* ‘to rush’ cf. noun *xust(t)i* ‘raid; rushing’, or sim. // For *tiu* cf. *tije* & *tike*].

The next str. (dVII) generally confirms the above interpr. (people are urged to provide uninterrupted offering service to god(s); cf. similar situation in Ht. texts):

c) [.....n]i *seketu: ewēne zusi: zballi t[.....(.)]l̃ē t̃bisu tustti: arm̃paimedi q̃ā[.adi: m] utla-de ñte terēi: ki tewēñ tunew̃ñ[i]* “(Offerer?) shall not break (lit. ‘cut’??) a vessel for God for drinking / to drink (?? inf. *ewēne*) during a meal / libation (zball-i as *sap-al-i* / *qrbbl-al-i* / *truj-el-i*: fetes) ! The altar-priest (*terēi*) will set twice for a clumsy-one (if [*m*]utla = *mutala*), along with the fine for Arma, whatever (*ki*) compensation (/tewēmi/) for the ‘Patron’ (*tunew̃ñi*)”. [It is not clear who is *tunew̃ñi*].

Note *xidrasadi* < *qidrasadi* at the end of 44d: this follows a statement about allotment of a grant *masxxm* (? to Ht. *maskan*- ‘gift, grant, award, tribute, compensation’; Mil. & Lyc. [x] < [k] sporadically in obstruent clusters):

d) *xupdidu: qiqlēniredi: trei xali: ki tsse (a)l[b]m̃ (< /tas-e albām-e/ ?): trisu: xidrasadi* ‘Whoever (*ki*) [is the ruler] shall gather / ‘heap up’ (imp. *xupdi-du*, see ex. e) the helpers / tax-payers (?) (acc. pl. *warasijez*) thrice during three days for treats [and] for libations / drinks from hunting-related (adj. *qidrasa-di*) supplies (*qiqlēniredi*)!’.

[D.-l. pl. /tas-e albām-e/ ‘at dishes / stands [and] drinks / vessels’? is functionally comparable with *edije tik-e* ‘during feast-related treat(ment)s’? in 44c, and with synon. / *tik-a (a)dijal* in 55; cf. also *tije qzz-e mirēñne* ‘for treats at the feasts for / of commoners’; *tike* may originate from **tija-ka*, cf. *sabaka* ‘patrol’ to *saba-* ‘protection’; *utakija* ‘for awards’ to **utaka*, cf. *ute* ‘for distribution / treats’. For *qiqlēniredi* ‘supplies, collection’, cf. 55.XIII *qelēñēti* ‘when accumulating / putting aside’, vb. *qla-* ‘accumulate’, adj. *qel-id-eli-* ‘of collection / harvest’ ?].

Cf. a very similar passage (dVII; it comes soon after the above threat ‘not to break god’s vessel for drinking ...’?) where *keri*-settlement (:Lyc. stem *ter-* < **k^wer-*) is the object of *xupdi-* ‘gather, heap up’ (< noun **xup-id-*; cf. loc. *mrGGd-i* < *mrGG-id-* ‘**margwa-gods*’ dwelling’; *wisidi* < *wis-id-*; *qelideli* < *qel-id-*); this happens, it seems, after it becomes clear that the tax-payers in localities have delivered to collectors / gathering places enough stuff to fulfil their duties:

e) *trm̃ile-be te kerī : trei xali pise : xup[di]* ‘Gather together the settlement / community (acc. sg. *kerī*) here (or rather ‘everywhere’; *-te* to Luw. *-tta*) during Lycian deliveries / payments (? d.-l. pl. *pis-e*) for three days!

qrbbli : me ije (a)lbāma : pssesi : slama Now, add / pour *albāma* (-drink) (in)to delivery-related (*psse-si*) vessel(s) / goblet(s) (= d. sg. *qrbbl-i*) for them? (d. pl. *ije*)! [Altern.: ‘... increase (s.) the (amount of) *albāma* in the ... goblet (l. sg. *qrbbl-i*) ... // For d.-l. sg. *qrbbli* ... *pssesi* cf. synon. *qelideli albā*, acc. sg. in 44d: Xerēi’s journey].

ker[i] lēpri -j- asxxa Make permanent / fix / realize (imp. *as-xx-a*) a schedule? (acc. sg. *lēpri* : Ht. *lammar / lamn-*) in the settlement / community (d.-l. sg. *ker-i*)!’.

Let us take a text (55.III) with d.-l. pl. *memleje* (attr.) ... *udrñt-e* (noun) which clearly describes an animal sacrifice (cf. *edije tike* ‘during feast-related treatments’):

f) *me uwe memleje : pri-pe trija date qirzē qabalimedi : s<ep>tāmi udrñte* ‘Now, for / during the meal-related (*memle-je*) treatments / offerings (*udrñt-e*), first, (he = priest *kuprimesi*; see g) placed, for the Triune [god]?, seven shares from faultless [animal / victim] (*qabalime-di*)’.

[*qirzē septāmi* / is either acc. sg. ‘7 shares’; usage as in Lyc., or gen. pl. *qirzē* plus numeral ‘of shares 7’; cf. gen. pl. *qirzē* ... *tbiplē* ‘of double shares’; *memleje* ... *udrñte* (adj. + noun) is structured as d.-l. pl. *psseje zi-(e)rēple* ‘toward tribute-related produce-stores’; for d. pl. *psseje* cf. d. sg. *pssesi*, ex. e].

g) *sebe kuprimesi /kñta/ (DS for kztā) ē : xi[st]te -j- epñ* ‘And later the *k-*priest was offering (it) when [there was] performance / action (? /*kñta*)’; cf. d. pl. *kñtr-e* ‘for efforts / endurance’ in 44dXIII, possibly to Ht. *kundur-ai-* ‘imbue, impress’ < IE **k^wenth-* or **k^wendh-* ‘undergo an experience, be impressed, be exposed, suffer’, HED 3, 255. [Cluster CñC as in *xuzrñta / xuzruwāta / xuzruwētiz, traqqñt-* < **trH^went-*].

Note other terms, related to *me-mleje*: *mlez* (acc. pl.), *mlē* (acc. sg. or gen. pl), d.-l. sg. *-mla* ‘offering’: Ht. *mall-* ‘grind’, *me-mal-* ‘porridge (as offering)’ <IE **melH-*.

Another root may be reflected in *ñtē-mlesi* (? a priest; cf. priests’ *kuprimesi* and *des<i>*) to Lyc. *ñtē-mle-* (DLL 46) : Luw. *malhassa-* ‘offering’. Different is Mil. *mlu* (always acc. sg.) ‘pledge, obligations, power(s), mandate’ (< IE **mleuH-*; see above).

In 44, noun *qirze-* ‘share’ refers to spoils / awards, given to warriors after a raid. Cf. acc. sg. *qirzā* at the end of 55 (governed by gerund *qelēnēti* ‘when accumulating’; cf. gerunds *xrāti*, *uwēti*); in this passage, some share of tribute deliveries is expected to be set aside for offerings to ‘Trqqiz’s [gods-]followers / escort’ (= 12 gods, ‘all gods’?):

h) *sse pssē* : *qirzā* : *trqqñtasa /tik(a) adija/* : *qelēnēti* : *ñtete* : *xrbbla<ta>* ... *tunewñni<je>* “... when accumulating / setting apart (*qelēnēti*) a share (*qirz-ā*) of deliveries (gen. pl. *pss-ē*) for allotments (d. pl. *sse* = *ses-e*; d. sg. *ses-i*) for feast-related treat(ment)s (*/tik(a) adija/*) ... at the graves / tombs of the patrons (?)” (for *ñtete*... *tunewñni<je>*, cf. *ñtada xñnije* above).

A frequent stem *m̃qr-* (noun *m̃qre-*, verb *m̃qr-i-s-* <**mihwar-* ?) seems to mean ‘prepared stuff, supply; make ready’; it appears mostly in connection with feasts and / or offerings; it is usually combined with *ute / ut / t* ‘for distribution(s)’. For instance, the sentence which precedes our passage with *qiqlēniredi* ... <*q>* *idrasadi* ‘from hunting (adj. ? *qidrasa-*) accumulations / supplies’ (ex. d) goes as follows (d67-8):

i) *mire (e)kedi (i)je qñtra* : *ilēnedi (i)je* : *t-m̃qrisñte* : *masxxm̃* “The commoners / townsmen with locals, the authorities with proprietors / landlords have prepared / apportioned (vb. *m̃.*) a grant (acc. *m.*) for distribution (*ute*) to them’ (*ije*). Next comes a description of a feast which has to be arranged ‘thrice for 3 days’ (or sim.)

[In dI, ‘both authorities and commoners’ (*ali-ke* ... *mire-ke*) act similarly, but a description of a libation comes first: (?) [*m(e)-ermjed(e) m̃qrē* : *etrqqi* (imp.) [sic! not <*ē>* *trqqi*] *tuwij<e>di* : *qrblli* : [*z*]i-(e)*reimedi* “Appropriate (some) aged stuff (acc. ? *m̃.*) from celebration-related (*tuwije-*) produce-store(s) for a libation (*q.*) during announcements / performance (?? */ermede/!*”]; then: “And let them glorify Lycia(ns) with libations / goblets’ (*qrbbledi!*”]; then: “Both authorities / high ones and commoners have prepared a grant (? *pruwa*) of meals (gen. pl. *ml-ē*) for the libation (*wis-id-i*)”. For *pruwa* cf. d.-l. sg. */epe-qzii/* ... *pru-x-ssi* ‘during’ grant-related [it is, ‘free’ ?] subsequent feasts’ (44d, Xerēi’s journey through his country): about feasts after levy. This may be one of cases where Xerēi shows his generosity; cf. also end of cXII].

II. TRQQIZ, XERIGA AND XERĒI IN MILYAN

Stormgod Trqqiz appears in 44cII (cf. also acc. *xrbblatā*: *trqqñtasi* ‘Trqqiz’s escort / company’ [= 12 gods, as *zawa qñnātba* / Lyc. *qñnākba tabahaza* ?] in cXIII, and similar in 55.XIII); possibly also as *tunewñni* in cXIV. It seems, Trqqiz addresses Xerēi in cXI (Note III). In 44d, Trqqiz is mentioned frequently. Several times he seems to be referred to as *xñtaba-* and identified with *armpa-* ‘Arma’ / *zuse-* ‘Zeus’ (d. *zusi*) / *zina-* ‘Zeus’

(called Ζην in 44c, Gr. part; Mil. d. *zini*, 44d; adj. in d. pl. *zinase*, 55). Note all. sg. *trq̄ñt-a* in 55.IV (same as *pigas-a*, 44d); in the next str. he seems to appear as ‘Triune’ (? all. *trija*). There is a possibility that Trq̄qiz (if not Pixre) appears as *qaja-wesñteli-* in 55.VII (accordingly, *xba-lada-* in this str. is either ‘Lady Hebat’, Trq̄qiz’s wife, or ‘devoted wife’ of Pixre; in this latter case, *xba-* relates to Mil.-Lyc. *xba-* ‘(be) attach(ed)’, cf. Luw. *hapi-* / *hapai-* ‘bind, attach to’).

The name of Lyc. ruler Xerēi (built as subjects *terēi*, (*a*)*lbijēi*, 44d) appears in Lyc. texts but not in Mil. In Mil., Xerēi seems to speak in the 1st person, starting with str. 44cXII (provided that Trq̄qiz, and not Xerēi, speaks in cXI); Xerēi speaks on many occasions in 44d. He appears as Lyc. high commander in Lyc. part of 44; in this capacity, he seems to be acting in Mil. cVI as *ñtuwitēni* ‘Commander’ (relates to Lyc. *ñtuweri-*), cVII as *zrētēni* ‘Protector’ (:Lyd. *sarēta-*, about Zeus) and *ēnari* ‘Mighty’ (:Luw. *an-nari-* ‘vigorous, strong’), cIX again as *zrētēni*. As for cI acc. *xñtabu* ‘leader(ship), commander(s)’, it may be a collective, referring to Lyc. command(ers), coming from raids (*xustte-di*) along with the troops (acc. *pasbā*).

Ruler Xeriga (Xerēi’s predecessor) appears under his own name in cIII and cVIII, and, probably, as *tupleleimi* in cIV (Trq̄qiz seems to address him in cV). Xeriga is mentioned several times in 44d, but only in passages which refer to old-time events.

In str. 44cII, Trq̄qiz gathers, for an animal offering / feast (*xi*), the ‘invulnerable ones?’ (gods *qetbeleimis*) at *zpli-*stand (= libation stand, source, or altar?), and *iketesi* (if indeed 2nd subj.) gathers all the accessories (*uwedris erēpliz*) to be used for the feast (similar: d.-l. sg. *erēpl-i*). Then Trq̄qiz presents the *leli* (‘narrative’ or ‘stele’?) to the ‘divine assembly / gods’ group’ (d. sg. *masasi* : *tulijewi* [sic! not *tulije*<|>*i*]).

[For d. sg. *xi* ‘for offering / feast’, cf. Mil. imp. of the 2nd p. sg. *xi* in 55.VIII *āla* : *zinase* ‘offer *āla* to those-of-*zina!*’ (= [gods-]followers of Zeus/Trq̄qiz?). In 55.XII we find var. *āala* (< **ānala* or, rather, **anala*; cf. acc. pl. *an[az]* / *ana[z]*; some treats) and 2 more forms: *abrala* (‘libation’ < **eg^wh-r-*?) and *zmp̄ra* (which may relate to Ht. *zammura-* ‘bread’). All this appears in a passage about things to be consumed by fire (instr. *tuxara-di*, cf. Luw. *tuhhara-* = some inflammable stuff, Ht. *tuhhae-* ‘produce smoke’, Gr. θύω ‘to offer by burning’ < IE **dheuH-* ‘produce smoke’)].

In str. 44cIII-IV, Xeriga arranges (*trbbdi*) the *laGra*-stands, and ‘honors’ (*uweti*), at the *mrGG(i)d*-monument, ‘the Lycian protective monument detachment / patrol’ (acc. *[saba]kssa* : *tr̄m̄m̄ilija ... pad(a) mruwasa*; same as *mrGGas*?). He controls / observes (? *seb[edi]*) in *kere*-localities, where / how they add [lit. ‘where one adds’] deliveries / increase? (acc. sg. *zrbb̄lā*) to the tribute (? *ube*); [and] *tupleleimi* (? ‘Invulnerable one’ = Xeriga?), determines (*pzziti*) commanders’ share (acc. *sbirtē ... xñtabasi*) from ‘takes’ (abl. *lelebedi*).

[Verb *trbb-* ‘gather together; provide’ may relate to Lyc. *trbbi* (loc. sg.) ‘in Bündnis’ (DS), root *trbb-* may originate from IE **derbh-* ‘bind together, plait’ (LIV 103). On the other hand, vb. *trbb-* may well mean ‘hand over’ (CM) and be akin to Luw. *tarawi(ya)-*

'hand over, deliver' // *uguwa-* seems to mean 'to drink, to libate' (a god; cf. Ht.); from Anat./IE // d.-l. pl. *kere* and d.-l. sg. *keri* refer to settlements / cities // *zrbbla-* may be related to Ht. *sāru-* 'booty, plunder', *saruwa-* 'to plunder / loot; take as plunder' < IE **sor-u-*, noun **serwā*, EDHIL 738-9), or to Hier. Luw. *sarwa-* 'increase?' (if not related to *saruwa*) // for adj. *mruwasa* (44), *mruwasi* (55), cf. Lyd. noun *mruwa-* 'stele' (CM) // monument designation *mrGG-d-* (<**mrGG-id-* = Lyd. **marw-id-*) relates to *mrGGa-s* (acc. pl.; **G* [γ^w] < IE **H^w/ *g(h)^w*) 'Margwaya-gods' (netherworld gods who protect graves; see above) // *saba-* (designation of gods-protectors of the monument?) may be genetically related to Ht. *sapasiya-* / *sapasalli-* 'patrol'; sf. synonymous Mil. *sabaka* (:attr. [*saba*]kssa = /*sabaka-sa*/) and vb. *sebe-* 'patrol, control' (or sim.) // acc. sg. coll. *pasb(b)ā* seems to relate to *pas-* 'protect' (<**paHs-*), cf. d. sg. or pl. *pas-ñt-e* 'for protection [of Pixre]' (after DS) // *le-lebe-* 'spoils, booty, 'takes'' < IE **labh-*, **lembh-* 'grab' (LIV 369-70; 'spoils' in Greek; 'goods' in Baltic, etc.), cf. acc. *wixsaba laba* 'military takes /spoils', acc. *lebi* 'taker' in a 'negative' context (? = 'thief'; altern.: *lebi* = d. sg. 'for taking /theft'); adj. *lbbeweli* 'booty-rich' // for synonyms *wixsaba laba* (44c) and *mñnusāma lajata* (55) note Lyc. *tāma()*de *zxxazije* 'for warriors trophies / (captured) weapons/fights', possibly an exact semantic match to Mil. *tmme* /*lēmēl* 'to / at the taken (l.) weapons (? t.)', cf. also Luw. *tamma-* 'captured (weapons)', CLL 203].

Str. cV may be one of two strophes of 44c where Trqqiz is addressing a ruler, in our case, Xeriga; Trqqiz seems to warn him about coming attack: see Note III.

Str. VI depicts a sudden attack against Lycians:

d *me uwe kemijedi : waxsadi : zrqiti zireime{me}medi : xbadasadi* "Now look, with pressing fight(er)s one / they loot(s) [the produce] from Lycian produce-stores.

e *kudi mawate : klleima : wijedri : ñtuwitēni : pduradi : sebe pasbā* Where one removed payments, *ñtuwitēni*-commander (Xerei ?) brings both command and troops".

[*kemi(je)-* 'strenuous, pressing' (or sim.) < IE **kem-* 'press', causative **k(o)m-éye-* 'to obstruct, inhibit', in Germanic (LIV 313) [*k*]em(i) subj. with a negative connotation, cV; *kmmēti* 'when suppressing [delivery]'; d. sg. *erbbi km̃qi-ke* 'for fights and requisitions' // *zraqi-* 'to eviscerate' < **sarh(u)wi-* // *mawa- klleima* 'to remove payments' // *wijedri* 'command(ers)', cf. IE **g^wei-* 'to win', Gr. *βία* 'violence', LIV 184 (?) // *pdura-* 'bring' < Anat. **paddur-* ?].

In the next str. (cVII = c46-8), Xerēi (called *zrētēni* 'Protector' and *ēnari* 'Mighty' < **annari-*) is favorably treated by two gods (cf. Greek poem):

f *ñt(e) ene puketi : xbidewñni : ulaxadi : zrētēni* "Kaunian [Natri] saves' (IE **bheug-*?) the Protector [= *zrētēni*] from *ul-ax-a-* ('perishing; being killed')

seb(e) ēnari : kupriti : turaxssali : na{:}tri ti mlu mawate : waxssadi : wizttaspazñ and Natri of Turaxssa, who removed (?) W.'s power(s) / mandate with fight(er)s, likes / praises the Mighty one (*ēnari*)".

[*kupri-* 'to choose, favor' or sim., cf. IE **kupro-* 'desirable' (cf. *kuprime/i-* in several ritual passages, referring to offerings for gods; *kuprimesi-* seems to mean 'offering

priest'). But d. pl. *kup-ttle* 'preparers, cooks'² rather shows IE **kweHp-* 'to smoke, boil, inundate', as in LIV 334 (Xerēi gives *alba*-drinks to *kupttl-e* during a *qezm̃mi*-feast, lit. 'killing' scarcely related to quasi-synon. *xezm̃*]).

The 1st sentence of the str. cVIII seems to describe Xerēi's victorious return from war: *ēk(e) ebe-i xustite um̃rggazñ: kkleimedi: sbirtē: xbadiz ...* "As he (*ebe* = Xerēi?) rushed there (-i) the share(s) (acc. *sbirtē*) of Amorges with payment(s) (= indemnities?), Lycians (voc.) ...". In the 2nd sentence, Xeriga provided / launched (*padrete*) a libation-rich (acc. sg. *murei*) *tuwi*-celebration for the warriors (*waxs-a*), and a purification rite (? acc. sg. *nei talã*) for / during *zrigali* (:*zriq-al-i*, booty-splitting ?); *xbadi-z* is voc. pl. 'Lycians!'.

Str. cIX depicts Xerēi as *zrētēni*-Protector who, for a long period of time (actually, 36 times), 'was galloping' (*prete* : Ht. *parh-*) from fights (*laxa-di*) 'to the [capital] City' (d. sg. *ker-i*). He (*ebe*) brings (*pdura-di*) the Lycians (= troops) for a payment / reward (*utakija*) of double shares (gen. pl. *qirz-ē ... tbipl-ē*), and [he brings] the impetuous² Turburans [for a payment / reward] of triple [shares] (gen. pl. *trppl-ē*).

The description of these events continues in the str. cX where Xerēi (= *zrētēni*) patrols (*sebe-di*) four cities during delivery (*ziw-i*) of shares (gen. pl. *qirzē*). He strengthens / invigorates (*muwa-ti* = *murēne-di* = *alba-t/di** 'libates') the [local] protectors / commanders (*zrētēni-z*) for *as-a* ('steadfastness / loyalty'?). He took (*la-de*) both the commanders (acc. sg. coll. *ali*) and the troops (*pasbb-ã*) for invigoration / libation (d.sg. *muw-i*) from additional-delivery / 'takes' (*epñtadi* to **ta-* or **appant-*).

[Note that *asa* is all. or d. 'for steadfastness', and not a conjunction; vb. *as-xx-a* 'make permanent' is based on this noun // Mil. *ali* 'high (command / authorities)' in 44 (cf. cognates in Luw.) is synon. to 55 acc. sg. *sttr̃m̃mi* : Lyc. *hr̃m̃mi** : Ht. *sara-mn-*].

III. TRQQIZ AND XERĒI SPEAK

According to H. Eichner, Trqqiz starts speaking in 44cIII; there is no real proof, though, that this assumption is correct. On the other hand, scholars seem to agree that Trqqiz speaks in both central strophes (VII-VIII) of 55. Here he seems to address an offering priest, using imp. forms of the 2nd p. sg.: *epe* 'take' (2x), *da* 'place', *xi* 'offer'.

It is possible that Trqqiz speaks in two strophes of 44c as well, namely, in 44cV (addressing Lyc. ruler Xeriga) and in 44cXI (addressing Lyc. ruler Xerēi who became Xeriga's successor). Strophes cV and cXI belong to two symmetrically positioned passages of 44c, namely, to the group of strophes cIII-IV-V (ruler Xeriga's actions) on the 'left' of the center, and to the opposed group of strophes X-XI-XII (ruler Xerei's actions) on the 'right' of the center of 44c (Mil. text). It seems, Trqqiz tries to warn Xeriga (who is busy with offerings and feasts) that an attack on Lycians is imminent:

a) 44cV. (1) (?) [*wisiu*]-*pe* : *ni-ke* : *waxsi* (d. sg.) : *pibi* (imp.) : *krese* (d. pl.) : (*a*)*r̃mpali* : *predi* : *xapaxi* : [*l[ax]*]*adi* (abl.) : *mrGGas* (acc. pl.) *uwēti* (gerund),

“But don’t give [libations ?] during the war (*waxs-i*) to the military (*k.*) (coming) from raids [&] from fights (abl. *p-di l-di*), when honoring (*u.*) the Dark gods (acc. pl. *mrGGa-s*) for Arma’s benevolence (or sim.)”

(2) *sebe nē* (< *ne + -ē?*) : *laGri* : *xñtabaimi* : *slāma* (imp.) *zrbblā*

“And this (acc. *-ē*), the produce / gain (acc. sg. *z.*), don’t add to the feast table / stand (*l.*) of the commanders (adj. *x.*, attr. to d. sg. *laGr-i*) !”

[Altern.: *xapa-xi* ‘dur. *xapa*-feast’; there may be no negation, just pron. ‘this’].

[For *wax(s)sa-* ‘fight(ers)’, cf. Ht. *wah-* ‘twirl’ (< IE **waH-*), *wahessar* ‘swinging’ // d. pl. (or sg.?) *krese* may originate from IE **krek-* ‘hit, strike’ (cf. LIV 328) or, rather, from **kor(y)o-* ‘war, army’ // verb *slāma-/slama-* ‘to add, increase’ is related to Lyc. *hlm̃mi-* ‘adding, addition, gain’; Lyc. *h* < Anat. and IE **s*].

An attack on Lyc. supplies starts in the str. cVI, but *ñtuwitēni* (? Lyc. high commander Xerēi) comes to rescue, bringing both command & troops.

[For [*wisiu*] see acc. sg. *wisiu* (if noun) in cXI (ex. b)].

Either Trqiz (addressing Xerēi) or Xerēi speaks in 44cXI.

b) (Trqiz is speaking:) *ne-pe ki wisiu* (acc.) *ute* (d.) *tu* (imp.) *ñte* (*a*)*lija* (d.):

“(1) Put (imp. *tu*) for the upper ones (*alija*) not any [regular, simple ?] *wisija**(-drink / libation)[?] for distribution (to them)”,

(2) *pidritēni* : *pirli* : *murēnedi* : *tuburiz* : *upleziz* : *siketsi arppaxusēti t̃mpewēti*

“[since] the Provider [himself] (? *pidritēni* = Trqiz) invigorates (*murēne-di*) in Aperlai (loc. sg. *pirli-i*) the noble[?] Tuburans (= Lyc. military allies), and (*s(e)*) the *iketesi*-herald (if 2nd subj.; altern.: *se iketsi* ‘and, accordingly’) [invigorates] the military (? *t̃mpewēti*) of Arppaxu” (? = Lyc. commanders of royal descent; cf. ‘Lyc. *t̃mpewēti*’ in 44dXVIII). – A support for identification *pidritēni* = Trqiz can be found in 44cII where Trqiz ‘gathers the invulnerable[?] [gods-protectors] for a fete (*xi*)’ and where *s(e) iketsi* appears as well.

[Another possibility (note slightly different word division and some differences in grammatical interpretation) seems less likely:

b) (Xerēi is speaking:) *ne-pe ki wisiu* (vb.) *utetu* (acc.) *ñtelija* (d. or all.)

“(1) I’m not ‘imposing’ any / what[ever] awards[?] (acc. sg. *ki ... utet-u*; cf. *ute* ‘for distribution / treats’) on the ‘internal ones’ [d.-l. *ñtelija*, about Aperlans ?]”.

This would imply that Aperlans didn’t fight and thus are deprived of any appropriate awards

“(2) The Provider (? *pidritēni*) invigorates (*murēne-di*) in Aperlai (l. sg. *pirli*) the ... Tuburans (= Lyc. military allies or mercenaries) and ... *t̃mpewēti* of Arppaxu”].

It is quite probable that Xerēi speaks in cXII (cf. *ēmi mawili* ‘my guards / police’ in this str.); it seems important that Xerēi makes clear that his force will protect ‘Lyc. supply stores’ during *truijele*-celebrations, so that Xeriga’s blunder (as mentioned in cV: Trqiz’s address) won’t be repeated:

c) cXII “Certainly (*kibe*), no one will race with fight toward tribute-related produce-stores (d. pl. *psseje zi-(e)rēple*); now, my guards / police (*ēmi mawili*) will send troops (*waxsa*) to the stores (*erēple*) during *truiele*-celebrations ...”. Both d-l. pl. *truijel-e* and d.-l. sg. *trujel-i* (cl) seem to refer to a celebration of the troops coming back from fights / raids (cf., in cl, abl. *xustte-di*, synon. to *pre-di* / *laxa-di* / *waxsa-di*).

IV. INTERRUPTIONS OF OFFERING RITES / FEASTS

In the inscr. 55 there is only one threat when Pixre (in the str. II-III) urges his vassals to bring their people for tribute delivery to the ‘gathering place’ (or sim.: d.-l. sg. *qlei*, a functionally match for *mlati*, 44); if this is not done, Pixre’s guards / police will destroy (? *tirbeti*) violators’ produce supplies (acc. *zirāpla*, cf. d.-l. *zi-(e)rēple*; ex. above). As for Xerēi, he uses threats and prohibitions frequently. One of prohibition types begins with *ni-ke X* ... ‘and (there shall be) no X (when / because ...)’:

a) 44dII (1) *albrāna-ke: mlati: trqqñtasa qretu-pe* “[Trlluba][?] shall fill (*qre-*: Luw. *hura*)- ‘irrigate’) Trqiz’s *a*-vessel (: *alba*- ‘libate; libation’) at the *mlati*-place!”

(2) *tulijelije putu trlluba zrppedu* “Trlluba (?) shall move (? lit. ‘push’, to **puwa-*) Sarpedon[statue] to Those-of-assembly (=gods ?)” [44 *tulijelije* = 55 *zinase* ?]

(3) *ni-ke qezm̃mi: wer[i] qleb<i> ēke : xñtabā : uweti : sukrē* “And (there shall be) no *q*-feast when / as long as *weri*-priest[?] ‘honors’ the glorious Ruler!”. (*x* = Trqiz ?). -- Apparently, a *qezm̃mi*-feast will follow thereafter.

The interruption in 44dX (next) cuts the action in two parts: Before the interruption (dIX), *muni* (offering priest?) is providing (*trbbdi*; cf. *laGra trbbdi xeriga*) Mēmre’s *tasñta** (acc. *tasñtu* to Lyc. *tahñta-*, DS), probably feast table / stand, with bovines (ins. (*u*)*wadi*). Then *mēmre* (or *muni*) is urged, as it seems, to provide second helping (lit. ‘repeat, substitute’) to people, ‘but not according to the norm(s) of the noble ones’: *trp-pali: me tu neu prijelijedi ki-be meredi* “Now put (imp. *tu*) repeat (acc. *trppali*), of course (*kibe*), not by the norms / rules of the noble ones (*prijelijedi meredi*)”.

Then comes the interruption:

b) (1) *ni-k(e) m̃qrimiz ñtuwitēni: uplesiz: waxssadi: tubu<r>iz ēke-d(e) epñ: predi: zazati: zriqali* “And (there shall be) no preparations / apportioning (*m̃*) [for distribution] when (*ēke*) later *ñtuwitēni* (‘commander’) arranges (*zazati*) the ... Tuburans, [who came] from fights, from raids, for *zriqali* (splitting of spoils ?) !”

(2) *ni-ke (e)dezi : mutala : apñ(-)tadi: tetbeti : laGra* “And (there shall be) no ‘food / meal-delivery’ (? *ede-zi*) [because] some *mutala* (= clumsy one ? [same as [*m*] *utla* ?)) may damage / break (*tetbeti*) the *laGra*-stands through additional-putting / loading[?] (or: abl. *apñta-di* ‘from takes’, to Ht. *appanta-*). --Then the narrative goes on:

c) (1) *me muni: trbbdi: tuwi: uwadra* (2) *me tu-pe (e)ne tesēni: qñza: prijelija*

(3) *m(e)-ede tu xezm̃ [qñza] xbadasa* (4) *alasi d-adu-pe: sebe pasbasi esēñm̃la*

“(1) Now *m*. provides bovines for the *tuwi*-feast (2) Now put (*tu*) this, the *tesēni* (dish / table), for the feast (lit. ‘killings [of animals]’, *qñza*) for the noble ones! (3) Now,

put this, the *xezṁ* (synon. to *tesēni* ?) [for the feasts] for Lycians! [Alternative : *xezṁ* is a variant of *qezṁmi* (DS)] (4) (He / one) shall make this (*lede*!) during a blood-offering (*esēnē-mla*) of / for the commanders and the troops". [Altern.: imp. *dadu*].

For Mil. lexics see IM (but note that many entries now need corrections).

For a preliminary translation of both Mil. inscriptions see PML.

ABBREVIATIONS

CLL = *Melchert H. C.* Cuneiform Luvian Lexicon. Chapel Hill, N.C.: 1993.

CM = *Melchert H. C.* Personal communications.

DLL = *Melchert H. C.* A Dictionary of the Lycian Language³. New York: Beech Stave Press; Ann Arbor, 2004.

DS = *Schürr D.* Personal Communications.

EDHIL = *Kloekhorst A.* Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon. Boston: Brill, Leiden, 2008.

HED = *Puhvel J.* Hittite Etymological Dictionary. Berlin; New York; Amsterdam: Mouton Publishers, 1984-.

IM = *Shevoroshkin V.* Introduction to Milyan. MOTHER TONGUE issue XIII, 2008

LIV = *Rix H.* Lexicon der indogermanischen Verben. Wiesbaden: Reichert Verlag, 1998.

NPh = *Schürr D.* Nümphen von Phellos. KADMOS Bd. 86, H. 2, 1997.

PMN = *Шеворошкин В.* К пониманию милийских надписей (to appear).

USKLN = *Starke F.* Untersuchungen zue Stammbijdung der keilschrift-luwischen Nomens. Wiesbaden : Harrassowitz, 1990

UNMASKING *GUSTAV* — ONCE AGAINI. PART: *GU-*

Name dictionaries point out that *Gustav* is Swedish, perhaps Geat (as was Beowulf), or that it might hail from the Southeast corner of the Baltic. An analysis into *Gu-stav* is undisputed, as the end can hardly be anything but the *staff/stave*-item. What is left over is the mystery of *Gu-*, and this has remained unresolved/unexplained¹.

I suggest — and I will try to give reasonable evidence for it — that the *Gu-* is the same item as in the Germanic *go-d*-word². Solmsen [1922: 12] equated Swedish *Gustav* with ON *guð-stafr* «battle stick», i.e., with the same **gund-* as in English *gun* from the Scandinavian charming Germanic feminine female name *Gunn-hildir* «Battle-Battle». Watkins [1974: 102, fn. 5] took Germanic **guda-* (< **ghu-tó-m*) not as ‘the invoked one’, but rather as ‘the poured-upon one’, and «the Germanic word for ‘god’ could refer to the spirit immanent in the heaped-up hallowed ground of a tumulus». Watkins uses the formal criterion that ‘to libate’ is *aniṭ*, ‘to call’ *seṭ*. The boundary is badly blurred between the two, and in fact Watkins later in the *American Heritage Dictionary* acknowledges the roots as **gheu-* ‘pour’ vs. **gheu(ə)-* ‘call, invoke’. Liberman [2005: 13] supplies a recent verdict on *god* that the ‘one receiving sacrifices’ is the preferred derivation³.

Sanskrit generally distinguishes formally between 1. *hu* and 2. *hū*, or in full grade 1. *hav* (*ho*) vs. 2. *hvā*. (The situation can be read off accurately enough for our purposes here in Whitney’s *Roots*). Both have passives with *hū* (V+) and intensives in *havī* (1. C; 2. V, C, and an infinitive in 2.). Both display nouns with *ho* (RV, V+). Furthermore, Germanic and Celtic have in some cases a short high vowel against the Proto-Indo-European norm: **g^wi(-)wo-* vs. **g^wi(-)wo-* ‘alive’ (*quick*, Old Irish *beo*, Welsh *byw*); **wī-ro-* vs. *wi-ro-* (Gmc **wera-*, OIr. *fer*); **ghū-to-* vs. **ghu-to-* ‘called’ (Gmc **guda-*, OIr. *guth* < **gu-tu-* ‘voice’); **sū-nu-* vs. **su-nu-* (*son*). The **h* ~ Ø variation can also be general Proto-Indo-European: **k^welh-* (Skt *carītum*) vs. **k^wel-* ‘go’ (**k^we-k^wl-o-* > Skt *cakra*, Gk *kúklos* ‘wheel’). This last doublet has immediate reflexes in loans in Finnish: *kulkea* ‘to go’ vs. *kekröi* ‘harvest festival (as a precursor to Christmas; the same form as *Yule*)’ (NB: **h* as *k!*) [Koivulehto 1991: 67—69]. In short, Germanic **guda-* ‘god’ is quite an acceptable ‘calling’ shape. Actually, a Gaulish term like *gutuater*, a name of a priestly class, should be something like ‘father/master of invocation’, a nice match to **gud-jan-* > Go. *gudja* ‘priest’.

There is the question whether one can cut out the *-*t* in **ghu-t-o/u-* and get a compound form **ghut-*, something like in Lithuanian compounds (*lāp-kritis* «leaf fall» as

‘November’, and *sùl-tekis* «sap flow» as ‘April/May’). In a **ghu-t-stobh-o-* it would not make any difference, since the second element would restore the second *-t-: *-t-st- > *-ss- → *-st- (as in Go. *wais-t* ‘you know’).

II. PART: -STAV

The forms of *staff* ~ *stave/Stab/stav* are richly attested in Germanic, although I will concentrate on Scandinavian (and give a selection even there), because of the putative home of *Gustav*. It is not important to cull out Low German loans in Swedish, or Scandinavian ones in English, because what is at issue here is the possible semantic gamut in this formally clear ‘stick’ domain.

1. **staba-* (for the above does not need much discussion. It can just be pointed out that it can designate ‘letter’ (e. g., OE *stæf*, OIc. *stafr*, Go. pl. *stabeis*; Sw. *bokstav*, Gm. *Buchstabe* «beech stick»). And from this one gets OIc. (etc.) *stafa* (*stava*) ‘to put letters together (and sounds)’; cf. Sw. *stavelse* ‘syllable’. The labial gets spelled *f* ~ *v* ~ *m* (in OIc.) — I will not be consistent (and this is not important for our semantic considerations here). I also will often «disambiguate» compounds with a hyphen.

2. **stabna-*: OIc. *stafn/stamn*, ON *stamm*, Dan. *stavn* ‘stem of the ship’, ME *stam(ne)* ‘stem, prow, trunk of tree’, Gm. *Stamm* ‘stem, trunk, bole; family, line, root’.

3. **stebna-* is the ancestor of a slew of forms in practically all Germanic languages, consider English *stevan* ‘fixed time, summons, appointed time, date fixed for a meeting, a convened assembly’ (OE *stefn* ‘citation, summons, command’); the verbs: ‘take turns, summon, make an uproar’. A variant of this shape is *stem* (and the incredible number of variant spellings for all these can be read off in the *OED*). Of note are MLG *stemne*, MD *stemme*, Mod.Du. *stem*, Sw. *stämma* ‘vote, assembly, meeting, reunion’. Then, Gm. *Stimme* and Go. *stibna* ‘voice’ are good side kicks to Modern dial. English *stevan* ‘speech, voice in petition, cry, prayer, right of speaking, speech, language, tongue, fame, report, outcry, tumult’. OIc. *stef* ‘term, time fixed’ sports just an -i-stem, but OIc. *stefna/stemna* ‘direction, course; appointed meeting, summons’, *stefning* ‘summoning, citation’ are part of the **stebhno-ā-* base, with a verb *stefna* ‘rule, go in a direction, aim at (cf. *to stem*)’, give a notice, cite, call, summon, call together, fix, appoint’. Note particularly (OIc.) *stefnu-boð* ‘summoning to a meeting’, and many other compounds with *stefnu-*.

I have practically bypassed here the historical identity of the concrete ship-part readings of *stem* and *stevan* (this is also the Low German shape giving Standard *Steven* ‘upright extension of the keel’). In modern comprehension (or lack thereof) this often seems to be quite confusing to many. Note *Webster’s Third New International Dictionary’s* (1961) explanation of the phrase *even Stephen* as preferably written with capital *S-* for the «proper name». This is allegedly used — horrible dictu — as rhyming slang! Mere rhyme does not make rhyming slang (cf. *willy-nilly*, *hurly-burly*, *artsy-fartsy*, etc.). Obviously *even steven* is quite parallel to a phrase like *on (an) even keel*, since *stem/*

stevan and *keel* can be (almost) synonymous (cf. also *level*). As for the formal variation *stem/stevan*, isn't it much easier to accept than *newt/eft* or Latin *fēc-/d-, 'do'*? (cf. [Anttila 2000: 170]).

4. Although Germanic is enough for the 'stick' component, there might be further support from Indo-Iranian and Baltic, at least as typological parallels. Skt *sta(m)bh* (*stabhnāti* V) gets glossed as 'fix firmly, support, sustain, prop (esp. heavens), stop (up), arrest, make stiff'; *stambha* 'post, pillar, column, stem'. The LIV denies a connection with Gmc **staba-*, because of the missing nasal, and does not refer to Baltic: Li. *stābas* 'pillar, post, idol', Latvian *stabs* 'pillar, post', *stebe* 'mast' (a loan from LGm.?), Li. *stābaras* 'dry stalk'. Internal nasals abound in Baltic: Li. *stem̃bti* 'put out stalks', *stem̃bras* 'stalk'. For that matter, Hittite and Greek often show «echo» nasals with nasal suffixes in verbs (cf. with the Sanskrit here). Thus **ste[m]bh-ro-* would be a very nice counterpart to **stebh-no-*, but ...

5. The semantic permutations show the development of «mental» shifts from a concrete 'stick' or 'stump' base. Scratches/carvings on beech sticks gave decorations and letters, which then went to sounds (cf. both Snorri's and Grimm's «phonologies» as *Buchstabenlehren*) and voice — and from here come even *payer* (cf. *stābas* as 'idol'), fame, and language. *Stambha* as a world-prop ends up as the wonder-machine *sampo* in the *Kalevala*, a total sustenance cornucopia, as well as a pillar and statue *sammas* [Koivulehto 1999: 230]. Such a gadget name has also spawned a male name *Sampo* (all of this connected with *sampi* 'sturgeon'), which would not be that far from *Gustav*, in the common to proper name jump. Around the Baltic Sea (the home of *Gustav*) one had pillar-like effigies, so-called Roland-statues [Klinge 1983]. The problem is that the basic **staba-* does not cover all the meanings mentioned, but at least the lexical family does — in a most solid way. This can be taken as a loose variant of the so-called Campanile situation, where compound or phrasal constituents share semantic features or even identity (see [Maher 1977: 156], and *passim*). In other words, originally the component **gu-* shared 'speaking/invoking' features (particularly) with **stebna-*, even if not with **staba-* as such (but remember *bokstav*). The 'stick/pole' features run through the whole frame **staba-/ *stabna-/ *stebna-*. Maybe a («fossilizing») proper **Gustabaz* pushed the simplex 'calling' aspect toward the common **stebna-*.

III. PARTS TOGETHER: *GU+STAV*

What we seem to have here is something parallel to the (often) decorated bone objects known as *bâtons de commandement* (with a time span from the Aurignac through the later Paleolithic). Another (much more certain) parallel is the cluster of Gm. *Lade*, *Laden*, *laden*, *einladen*, and *Vorladung* 'summons'. This is the house of *lath* in German. The summons was sent around on a wooden (square ping-pong-paddle-like) board, *Gebotbrett* 'command board' [Palmer 1972: 344—346]⁴. I suggest that *Gustav* was originally something similar, '*calling stick, summons tool', or the like. Since the terms and

concepts involved were in the center of social culture, law (in the *ting*-system, *stefnu-sök* [= *sake* ‘law case’]), and even religion, the compound as a name could bleach into a positive (non-warlike) unit. Ultimately one did not have to analyze its constituents, just to appreciate the positive cultural sum total⁵. A parallel, in a way, is also (Asker og Bærums [SW of Oslo]) *Budstikke* (Billingstad, Norway; another one in Molde) — a newspaper with a name like «Command/Message Stick» (cf. *stefnuboð* above).

That said, one must remember that the crucial phase is just the initial stage, some kind of relay baton, not the writing component that developed at some (later) point. Any kind of insignia can develop into clear indexes of cultural commands, e. g., a plain baton could signify a meeting at the next full moon (because it would have to be an indexical symbol embedded in community knowledge)⁶. More detailed encoding could easily develop, or just mere decoration (there is a fair number of anthropological / archaeological cases where one keeps on disputing between decoration and «writing»)⁷. The difference is not crucial for explanation here.

Words denoting staffs, sticks, rods, wands, batons, canes, and cudgels easily develop into indexes of authority. This is how Gk *scepter* went (note that it could be, already in Homer, a generational relay baton going from father to son). We have also residing in Latin *baculum* ‘staff, walking stick’ a ‘scepter’ and ‘lictor’s rod’, a meaning also in the diminutive *bacillum* — not the bundle of rods, as in *fasces*, which gives also ‘power of the magistrate’, and then the ‘magistrates’ themselves. This is the way English *staff* has gone (*general staff*, *command staff*, etc. — *brass* follows suit). (Lat. *imbēcillus* ‘weak, feeble’ from «without a stick», i.e., without outer support; today ‘lack of cerebral strength’: e.g., as in [he] does not play with a full deck.) — This would mean that all the **a* words here and below hail from **h₁*?! — Greek *bákrōn* ‘stick, staff’ and *baktēria* ‘staff, wand as a badge of office for judges’ (this last meaning seems to come close to **gustaba-* as a *ting*-thing, in its function as a summons to arbitrate law cases) follow the same line. These authority insignia exert(ed) «autocratic» social cohesion «from above», whereas **gustaba-* did the same thing in a «democratic» way, «from below», in the *Männerbund* way (see [McCone 1987; Anttila 2000: 47—54] and *passim*)⁸. And why would one call one’s son **Gustabaz*? I see no difficulties in this, considering the early Germanic heroic culture. Calling together, e.g., an army or any other assembly of high cultural import would be ‘noble, lordly’, and this kind of connotation could have been there, or was there (and such was?, actually?, the «destiny» of Gk *agērōkhos*; see [Anttila 2000: 145—146]) And it is this kind of situation that has given us the term and concept of *panegyric*! One easily puts expected glory in one’s son’s name, especially in a «heroic» culture. All this does not deny possible influence from, say, *Gunnar* (remember *Gunnhilde*!) (of real ‘battle’ import), and the like. Such a situation would further blot out the original exact semantic starting point (if names «have semantics» to begin with).

NOTES

1. I express my thanks to (Rauno) Kustaa (Hurmerinta) and Reijo (Peltonen). (My maternal grandfather, the only one I had a chance to know, was also Kustaa — and my foster family in Swedish Lapland during the war was Gustavsson.) The former (an old class mate and friend since Turun Lyseo) has taken me around in his boat in the Turku archipelago during past summers, and the latter has done the same further north in Kustavi (named after King Gustav III of Sweden, the one in Verdi's *Un ballo in maschera*). In the summer of 2007 Reijo transported for me a 700 liter (185 gallon) wooden tub to my house (yard, actually) in Turku (a name of Slavic origin in honor of our honoree!), made in 1784 in Kustavi (with solid wooden staves, of course). Kustavi used to be an important pivot on the «road» to Sweden, and in the Viking age some of the Gustavs no doubt Rus'ed further east. At the entrance to the Peltonens' summer-place cove lies *Keisarinkari* 'Emperor's Scar/Skerry', named after Tsar Alexander III, because he used to dry his fishing nets there, and a proper spot there is called *Keisarinnan satama* 'Empress's harbor' (for the Danish princess Dagmar, the Tsarina Maria Fyodorovna). Every time there I have skirted this scar, and have in fact been on it, under Reijo's tutelage.

These indexical ties had kept me thinking about the name(s) in question — for some time (and with these ordinals, III, alas, I can only hope to achieve third rate). Then came the chance to present this vignette to our honoree, in a genre he is a master of. He has clearly not been a lesser inspiration (an internal one) for this than Kustaa and Kustavi (the external ones — the Finnish shapes as reflections of Gustav are regular, cf. archaic 3 sg. *-V-vi* ~ modern *-V_x-V_x* [from a nominal *-va*]: *anta-vi* ~ *anta-a* 'gives', and so on). To pay some homage to Vyacheslav Ivanov's traveling feats, and to trail the clarity of his opus, I went to the edge of Antarctica, Tierra del Fuego, and Patagonia (2008) to actually write this up (at one point on 10 m high waves — shaky result, eh?). And in a way, another archipelago, the Chilean coastal one, capped this little floating history off.

2. The element *gu-* occurs also in Swedish *gu-m-ma* 'old woman' and *gu-b-be* 'old man', from the *god-mother* and *god-father* configurations (kind of kinship annexes). Earlier German also had godly shapes for these: OHG *gota*, MHG *göt(t)e*, *got(t)e*.

3. Latin gods' (plus Aeneas' and the sun's) epithet *indiges* has a history of vacillation between 'saying' and 'driving' interpretations. I have argued that the latter is more likely, as a 'driven-in' reading is functionally 'called-in' (see [Anttila 2000: 180–4]).

4. Palmer gives credit to Rudolf Meringer for this material, but fails to supply a more detailed reference. The answer should be in Meringer's journal *Wörter und Sachen*. Unfortunately I cannot trace that now. But let us take heart from his slogan of 1906: «ohne Sachwissenschaft keine Sprachwissenschaft mehr» (repeated in vol. 3.23 [1911]).

5. Note ultimately even a name like *Rudolf* «Counsel Wolf» for a reindeer, not to speak of *Konrad* «Sharp Counsel», and so on!

6. If in a certain sector of New York City «culture» you are given a dead fish, you know exactly what it means. Any written text, say, on its newspaper wrapping, is irrelevant. Similarly a plain bâton de commandement could have had the prestige to supply the beech-stick palette for futhark writing. Again it does not matter that the impetus for the alphabet came from the Mediterranean.

7. The Finnish case shows how the decorative domain gave writing terms: *kirjoa*, *kirjata*, *kirjailla* ‘decorate’, *kirjailu*, *kirjonta*, *kirjous* ‘decoration’, *kirjo* ‘spectrum, gamut’, *kirjava* ‘motley’ — *kirjoittaa* ‘write’, *kirjain* ‘letter (of ABC)’, *kirja* ‘book’, *kirje* ‘letter (message)’, *kirjallisuus* ‘literature’. (... and much more)

8. It is curious that, in a way, the angular futhark letters are mirrored in signs of rank in the army and the navy collars and sleeve-ends. And note the little rods for decoration medals worn on the left side on the breast. Weapons can develop into signs of worth, e.g., in the right to carry a sword, or even the lack thereof in that the Sam Browne (Finnish *komentohihna* «command strap») is now the sign of high «brass», even if the sword is no longer there.

REFERENCES

- Anttila 2000 — *Anttila R.* Greek and Indo-European etymology in action: Proto-Indo-European *aǵ-. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2000.
- Koivulehto 1991 — *Koivulehto J.* Uralische Evidenz für die Laryngaltheorie. Vienna: Austrian Academy of Sciences, 1991.
- Koivulehto 1999 — *Koivulehto J.* Varhaiset indoeurooppalaiskontaktit: aika ja paikka lainasanojen valossa // *Fogelberg P.* (ed.). Pohjan poluilla. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 1999. P. 207—236.
- Klinge 1983 — *Klinge M.* Muinaisuutemme merivallat. Helsinki: Otava, 1983.
- Liberman 2005 — *Liberman A.* Word origins ... and how we know them. Etymology for everyone. New York: Oxford University Press, 2005.
- LIV = Lexikon der indogermanischen Verben / Ed. by H. Rix et al. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1998.
- Maher 1977 — *Maher J. P.* Papers on language theory and history. Amsterdam: Benjamins, 1977.
- McCone 1987 — *McCone K. R.* Hund, Wolf und Krieger bei den Indogermanen // *Meid W.* (ed.). Studien zum indogermanischen Wortschatz. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, 1987. S. 101—154.
- Palmer 1972 — *Palmer L. R.* Descriptive and comparative linguistics: a critical introduction. London: Faber, 1972.
- Solmsen 1922 — *Solmsen F.* Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte / Ed. by E. Fraenkel. Heidelberg: C. Winter, 1922.
- Watkins 1974 — *Watkins C.* ‘god’ // *Antiquitates indogermanicae* / Ed. by M. Mayrhofer et al. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft, 1974. S. 101—111.

**ATHARVAVEDA-ŚAUNAKĪYA 19.49.1 =
ATHARVAVEDA-PAIPPALĀDA 14.8.1:
AN ETYMOLOGICAL NOTE ON VEDIC RĀTRĪ- ‘NIGHT’***

The origin of the Vedic word *rātrī*-¹ ‘night’ poses several problems for etymologists. In spite of the morphological transparency of the stem, which cannot be anything but an agent noun with the suffix *-tar-* + feminine suffix *-ī-* (i.e., *-tr-ī-*; see [Wackernagel, Debrunner 1954: 672, § 498c]), its semantic connections are controversial. Mayrhofer [EWAia II: 447] follows Insler [1974: 122 ff.] in explaining *rātrī-* as a derivative of the root *RĀ*³ ‘be still’ (‘ruhen, still sein’; Mayrhofer, [EWAia II: 443]). This hypothetical root is only preserved in its *l*-variant, attested in the non-causative *-āya*-present *ilāya*-ⁱⁱ ‘be still’ (< **(H)rH-eje-*)². The literal translation of *rātrī-* should be thus, according to Insler and Mayrhofer, ‘stiller, arrester’/‘still machende, beruhigende’³.

* I am thankful to Arlo Griffiths, Werner Knobl, Alexander Lubotsky and Eva Tichy for valuable comments on earlier drafts of this paper.

¹ According to [Wackernagel 1930: 185 f.; Bloomfield, Edgerton 1934: 79 f.], after the Ṛgveda, *rātrī-* also occurs with the short vowel stem (*rātri-*). Note, however, that out of 18 occurrences of the accusative form in the Śaunakīya recension of the Atharvaveda (AV), consistently transcribed in all editions as *rātrīm*, in accordance with mss. readings and pādapatha, three appear in metrically distinctive contexts. [By contexts that are ‘metrically distinctive’ for the second syllable of this form I understand those where (i) *-m* is followed by a vowel (that is, this syllable is not closed and therefore not necessarily long); and (ii) the metre requires either a long or a short syllable (i.e. is not indifferent with regard to the length).] All these three occurrences are attested in book 19 in contexts where we normally expect long syllables: AV 19.49.5a *śivāṃ *rātrīm +ah,yi sūryaṃ ca*; AV 19.50.3a **rātrīm-rātrīm ariṣyantas*; and AV 19.55.1a **rātrīm-rātrīm āprayātaṃ bhāranto*. The fourth syllable is usually long in 11 syllable pādas, as well as in the Atharvavedic variety of anuṣṭubh (see [Macdonell 1916: 439, with fn. 5]), which implies that we have good reasons to read **rātrīm* in all the three cases. Most likely, we have to revise the opinion that, from the Atharvaveda onwards, *rātrī-* appears with the short vowel stem. Apparently, in the AV it could still preserve the original length.

² On this present, see [Narten 1968; Jamison 1983: 48].

³ This interpretation parallels, to some extent, the Old Indian explanation of several words for night (such as *rāmī-*, *rāmyā-*, *rāmyā-*) in terms of the causative of the verb *ram* ‘rest, calm; be pleased, rejoice’, offered in Nirukta 2.18, as the one who pleases nocturnal creatures and puts the others to rest (*paramayati bhūtāni naktamcārīni | uparamayātītarāni*); see, in particular, [Sarup 1921: 32; Sköld 1926: 310; Michelini 1977: 109, fn. 27].

Although the semantic affinity between ‘the night time’ and ‘calming’ seems to lie on the surface, such an analysis is not without problems. First, we note that agent nouns in *-tar-* are rarely derived from intransitives, and, most importantly, they are never derived from non-agentive verbs (see [Tichy 1995: 32 f.]). Second, the transitive syntax of a *nomen agentis* derived from a fundamentally intransitive verb is hardly possible. Rather we might expect such a derivative to be based on intransitive usages of the verb: ‘being still, taking rest’ or the like. Cf., for instance, *gam* ‘go’: *gántar-* ‘going, moving’ (not ‘*sending, setting into motion’)⁴. This problem was mentioned by Insler himself [1974: 123].

*RĀ*³ ‘be still’ is not the only root that might underlie the noun *rātrī-*. There is a homonymous root, *RĀ*¹ (in Mayrhofer’s notation) ‘provide, bestow, give’, which could be relevant for the origins of this formation⁵. The interpretation of *rātrī-* as a derivative of this root has been suggested by Schulze ([1966: 848]; see also [EWAia II, 447]), though in passing, without any argumentation; in fact, this interpretation goes back as far as Nirukta⁶. Schulze translates *rātrī-* as ‘die Gewährerin’, listing this noun among other Indic epithets of the night⁷.

In what follows, I will concentrate on a passage from book 19 of the Śaunakīya recension of the Atharvaveda (AV) which furnishes some interesting evidence for this latter etymological explanation of *rātrī-*. This is the opening verse of the hymn 19.49, which is also found in the Paippalāda recension of the AV (14.8) and forms a single ‘sense-hymn’ (*arthasūkta*)⁸ with the next hymn, 19.50. Together with the two preceding hymns, 19.47—48, they are employed in a ritual of worshipping the night. Hymn 19.49 is translated in [Whitney, Lanman 1905: 978 ff.], as well as in [Ludwig 1878: 466] and by Sani (see [Orlandi, Sani 1992: 192—194]).

Stanza 19.49.1 runs as follows in Śaunakīya manuscripts:

*iṣirā yóṣā yuvatīr dāmūnā ' rātrī devāsya savitūr bhāgasya
aśvakaṣabhā suhāvā sambhṛtaśrīr ' á paprau dyāvāpṛthivī mahitvā*

⁴ On the causative and non-causative syntax of the *-tar-*derivatives, see, in particular, [Tichy 1995: 179 f., 204 ff.].

⁵ The analysis of *rātrī-* as a derivative of the root *RĀ*² ‘bark’ can of course be ruled out as improbable.

⁶ Nirukta 2.18 allows for this explanation as an alternative to the (morphologically impossible) analysis of *rātrī-* as a derivative of the root *ram* (see fn. 3 above). According to Nirukta, the word *rātrī-* may be derived from the root *rā* meaning «to provide», since dew is provided in the night time (*rāter vā syād dānakarmaṇaḥ | pradīyante śyām avaśyāyāḥ*).

⁷ It is interesting to note that the etymological explanation of *rātrī-* as a word referring to an agent of an activity is indirectly supported by its usage in the Ṛgveda. As [Michellini 1977: 101 ff., 109] argues, the noun *rātrī-* is more frequent than other words for night (*kṣāp-* etc.) in those contexts where the night is considered as an animate being, while other nouns are more common in those cases where the night is regarded as a temporal unit and/or an inanimate being («la notte in quanto entità temporale» or «la notte in quanto entità atemporale inanimata»).

⁸ On the text division in terms of *arthasūkta*, see, in particular, [Griffiths 2003: 5 f.].

Pāda a lists the merits and virtues of the goddess of night (active, young, a housewife) and poses no problems. By contrast, the syntactic structure of pāda b (*rātrī devāsya savitūr bhāgasya*) is unclear. The nominative form *rātrī* is followed by a sequence of genitives, which appear to be left syntactically «hanging». Whitney translates this pāda literally — ‘night, of god Savitar, of Bhaga’. Ludwig offers the same rendering, but with no comma between the nominative and genitives (‘Rātrī des gottes Savitar und Bhaga’s’)⁹. Neither translation gives any clue as to which kind of possessive relationships might exist between Night, on the one hand, and Savitar and Bhaga, on the other¹⁰. Sani leaves this pāda untranslated.

In fact, the connection between Night and Savitar is not uncommon. Like her sister Uṣas, Rātrī is mentioned a few times in the Ṛgvedic hymns dedicated to Savitar, in particular, at 1.35.1 (*hváyāmi rātrīm jāgato nivésanīm* ‘I invoke Night, who puts the world to rest’) and at 2.38.3, where she is called ‘Releaser’ (*ānu vratām savitūr mōky āgāt* ‘the Releaser (sc. Night) has come according to the vow of Savitar’)¹¹. Yet possessive constructions similar to the one found in AV 19.49.1 are not attested in the Ṛgveda (RV). It is only in the Taittirīya-Saṃhitā (TS), one of the Saṃhitās of the Yajurveda, that we come across a comparable collocation: *yās te rātrīḥ savitaḥ || devayānīr antarā dyāvāpṛthivīvyānti* (TS 3.5.4.1—2) ‘the nights of yours, O Savitar, which go, leading to the gods, between Heaven and Earth...’; see [Renou 1966 (EVP XV): 17].

The form *rātrī* may give an additional clue to the interpretation of the collocation in question. Alongside its standard translation (‘night’), it can be analyzed, in formal terms (as mentioned at the beginning of this paper), as the feminine agent noun derived from the verbal root *rā*. Consequently, the following genitives can be taken as the objects of this verb (*genitivus objectivus*)¹². The etymological explanation of *rātrī*— as a derivative of the root *RĀ*³ ‘be still’ (which poses some problems mentioned above) does not help here: an agent noun made from an intransitive verb cannot be constructed with a genitive¹³. It seems that a better sense obtains from the etymology which explains the meaning of *rātrī*— as ‘provider’. Under this analysis, the genitives must refer to objects of giving.

⁹ [Raghavan 1978: 269] even claims that «[hymn] 49 [...] describes her [= Night. — LK] [...] as belonging to the Sun», without offering any comment on the nature of these relations between Rātrī and Savitar.

¹⁰ Perhaps Rātrī can be considered as the housewife (cf. *dāmūnā* in pāda a) in Savitar’s household (W. Knobl, p.c.).

¹¹ Cf. [Renou 1966 (EVP XV): 18]: « la déteuse ».

¹² On constructing agent nouns in *-tar-* with *genitivus objectivus*, see especially [Tichy 1995: 82 ff., 331 ff.]. Although the acrostic *-tar-*nouns (as well as their feminine pendants in *-trī-*) are typically constructed with accusative objects, we also find a few examples of constructions with genitive objects, cf. RV 1.124.5 *gāvāṃ jānitṛī* ‘the mother of the cows’ (for details, see [Tichy 1995: 333 ff., 341]).

¹³ As mentioned above, the hypothetical transitive analysis based on the root *RĀ*³, suggested by Insler (‘calming the heavenly Savitar, Bhaga’), is syntactically unlikely. Furthermore, it makes little sense in the context.

The meaning of pāda b can thus be rendered as ‘the provider of the heavenly Savitar, of Bhaga’. ‘Providing Savitar’ should of course not be understood literally. It may refer to the fact that Night cedes to the day and thus, in a sense, provides the sun¹⁴. Bhaga (lit.: ‘share’) is a deity, which, in turn, is closely associated with providing people with goods, wealth etc. Both deities are often mentioned together and, sometimes, even identified with each other. Such an analysis appears very likely in the context of a hymn praising Night and listing her merits and virtues. In particular, in the next hymn, Rātrī is said to distribute goods¹⁵. It seems only natural that the author of a hymn dedicated to Night used the word-play ‘night’/‘provider’.

The syntactic analysis of pāda b is not the only problem posed by the verse under study. The next pāda, c, opens with an unclear sequence: the Śaunakīya manuscripts read *aśvākṣabhā*, whilst the Paippalāda has *aśvākṣatā* (in Orissa mss.) and *aśvākṣarā* (Kashmir ms.). Ed. Roth/Whitney suggests an implausible emendation ⁺*viśvāvyacāḥ* (Whitney: ‘all-expanded’; likewise Ludwig). A perspicacious but hardly more probable interpretation of the variant attested in the Śaunakīya is given by Sani (who essentially follows the indigenous commentary): ‘la Notte che risplende di occhi veloci’; this analysis suggests the emendation ⁺*āśv-akṣa-bhā*.

The original reading might be ⁺*anṛkṣarā* ‘thornless, without danger’ (the second part of which is preserved in the reading attested in Kashmir ms. of the Paippalāda: *aśvākṣarā*) — an adjective which co-occurs at RV 1.22.15 with *nivésanī* ‘calming’, a common epithet of Night (emendation suggested by A. Lubotsky, p.c.)¹⁶.

The stanza AV-Śaunakīya 19.49.1 = AV-Paippalāda 14.8.1 can be tentatively rendered as follows: ‘The active young woman, housewife, the Night (/ provider) of the heavenly Savitar, of Bhaga, thornless, easily invocable, of perfect beauty¹⁷, has filled heaven and earth with greatness¹⁸. The meaning ‘provider’, which «shimmers» through the standard semantics (‘night’), could be part of a deliberate word-play and appears to be relevant for the etymological analysis of this word.

¹⁴ Although the verb *rā* ‘provide, bestow, give’ does not occur with the accusative of Savitar, it is attested with the object *svār* ‘sun light, sun, day light’ (not identical but intimately related to Savitar, as one of his aspects) in RV 9.91.6: *evā punāno apāḥ svār gā asmābhyam tokā tānayāni bhūri | śam nah kṣétram urú jyótīṃṣi soma ' jyón nah sūryam dṛśāye rirīhi* ‘thus becoming pure, (give) us waters, sun light, cows, children and abundant offspring; for happiness give us wide space, lights, O Soma, so that we could see the sun for a long time’.

¹⁵ *yād adyā rātri subhage ' vibhājanty āyo vāsu* (AV 19.50.6ab) ‘when you, O fortunate Night, will be distributing goods...’.

¹⁶ On this adjective see, in particular, [Griffiths 2004—2005: 257 f.].

¹⁷ Lit. ‘who has assembled beauty’; see, in particular, [Oldenberg 1918: 66 (= Oldenberg 1967: 861)].

¹⁸ Note that, as in TS 3.5.4.1—2, Rātrī appears here in the context of Heaven and Earth.

REFERENCES

- Atharva Veda Saṁhita / Hrsg. von R. Roth, W.D. Whitney. Zweite, verbesserte Auflage besorgt von M. Lindenau. Berlin: Ferd. Dümmler, 1924.
- Atharvaveda (Śaunaka) with the Pada-pāṭha and Sāyaṅcārya's commentary / Ed. by Vishva Bandhu et al. Part IV. Hoshiarpur: Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 1962. (Vishveshvaranand Indological Series; 16).
- The Paippalāda Saṁhitā of the Atharvaveda. Vol. 1: Consisting of the first fifteen Kāṇḍas / Ed. by D. Bhattacharya. Calcutta, 1997. (Bibliotheca Indica; 318).
- Bloomfield, Edgerton 1934 — *Bloomfield M., Edgerton F.* Vedic variants. Vol. III. Noun and pronoun inflection. Philadelphia: Linguistic Society of America, 1934.
- EWAia — *Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Bd. I—II. Heidelberg: Winter, 1986—1996.
- Griffiths 2003 — *Griffiths A.* The textual divisions of the Paippalāda Saṁhitā // Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens. 2003. 47. S. 5—35.
- Griffiths 2004—2005 — *Griffiths A.* Tumburu: a deified tree // Bulletin d'Études Indiennes. 2004—2005. 22—23. P. 249—264.
- Inslar 1974 — *Inslar S.* Two related Sanskrit words // Die Sprache. 1974. 20/2. S. 115—124.
- Jamison 1983 — *Jamison S.W.* Function and form in the -āya-formations of the Rig Veda and Atharva Veda. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. (KZ; Ergänzungsheft 31).
- Ludwig 1878 — *Ludwig A.* Der Rigveda oder die heiligen hymnen der Brāhmana. Bd. III. Die mantraliteratur und das alte Indien als einleitung zur uebersetzung des Rigveda. Prag: F. Tempsky, 1878.
- Macdonell 1916 — *Macdonell A.* A Vedic grammar for students. Oxford: Clarendon Press, 1916.
- Michelini 1977 — *Michelini G.* Riflessioni sulla «Notte del Rigveda» // Studi italiani di linguistica teorica ed applicata. 1977. 6. P. 101—112.
- Narten 1968 — *Narten J.* Ved. *ilāyati* und seine Sippe // Indo-Iranian Journal. 1968. 10. P. 239—250. [= *Narten J.* Kleine Schriften. Bd. 1. Wiesbaden: Reichert, 1995. S. 63—74.]
- Oldenberg 1918 — *Oldenberg H.* Die vedischen Worte für «schön» und «Schönheit» und das vedische Schönheitsgefühl // Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augustus Universität zu Göttingen. Philos.-hist. Klasse. 1918. S. 35—71. [= *Oldenberg H.* Kleine Schriften. 2. Wiesbaden: Steiner, 1967. S. 830—866].
- Orlandi, Sani 1992 — Atharvaveda. Inni magici, a cura di Chatia Orlandi e Saverio Sani. Torino: Unione Tipografica — Editrice Torinese, 1992.
- Raghavan 1978 — *Raghavan V.* Rātri and Rātri Sūkta // Purāṇa. 1978. 20/2. P. 268—275.
- Renou 1966 (EVP XV) — *Renou L.* Études védiques et pāṇinéennes. Vol. XV. Paris: Boccard, 1966.
- Sarup 1921 — *Sarup L.* The Nighaṅṭu and the Nirukta: the oldest Indian treatise on etymology, philology and semantics. Vol. II: English translation and notes. London: Oxford University Press, 1921.
- Schulze 1966 — *Schulze W.* Tag und Nacht // W. Schulze. Kleine Schriften. Nachträge zur 1. Auflage von 1934 / Hrsg. von W. Wissmann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966. S. 783—848.
- Sköld 1926 — *Sköld H.* The Nirukta, its place in Old Indian literature, its etymologies. Lund: Gleerup, 1926. (Skrifter utgivna av Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund; 8).

- Tichy 1995 — *Tichy E.* Die Nomina agentis auf *-tar-* im Vedischen. Heidelberg: Winter, 1995.
- Wackernagel 1930 — *Wackernagel J.* Altindische Grammatik. Bd. III. Nominalflexion — Zahlwort — Pronomen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1930.
- Wackernagel, Debrunner 1954 — *Wackernagel J., Debrunner A.* Altindische Grammatik. Bd. II/2. Die Nominalsuffixe. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1954.
- Whitney, Lanman 1905 — *Atharva-Veda Samhitā* / Transl. into English with critical notes and exegetical commentary by W. D. Whitney [...] Revised and ed. by Ch. R. Lanman. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1905. (Harvard Oriental Series; 7—8).

SEMANTIC FIELD AND COGNATE DISTRIBUTION IN INDO-EUROPEAN

The first major modern synthesis of the Proto-Indo-European lexicon since Otto Schrader and Alfons Nehring (1917—1928) was, of course, the pioneering study of Tomas Gamkrelidze and Vyacheslav Ivanov (1984; trans. 1995). As one who frequently made recourse to *Indoevropskij jazyk i indoevropjcy* in the preparation of the compendia prepared by D. Q. Adams and myself [Mallory, Adams 1997; 2006] I hope that this brief contribution will both provide something of interest to Prof Ivanov and also engage the ‘big picture’ that his own work presented.

Anyone who has examined the evidence for the reconstructed vocabulary of the Indo-European language family encounters an obvious feature: while some semantic fields provide a reasonable number of reconstructable items, e.g., anatomy, health, speech, other areas tend to be only modestly recoverable, e. g., law, names of deities, fish. Employing the very crude semantic fields utilized in the handbook prepared by the author and D. Q. Adams (2006) we can rank the various semantic fields reconstructed to Proto-Indo-European (PIE) by the number of all cognate sets proposed (Table 1).

*Table 1: Size of Semantic Field in Proto-Indo-European
(after [Mallory, Adams 2006])*

Field	Number	Percent
Verbal actions	336	14.7
Mind-sense	242	10.6
Anatomy	272	11.9
Fauna	177	7.7
Society	165	7.2
Space-time	153	6.7
Flora	152	6.7
Speech-sound	116	5.1
Nature	98	4.3
Material	94	4.1
Kinship	93	4.1

Field	Number	Percent
Food	84	3.7
Architecture	81	3.5
Quantity	77	3.4
Textiles	53	2.3
Grammar	48	2.1
Religion	42	1.8

What is curious is that despite the variation in each cognate group's contribution and the variation in the size of all the various semantic fields, in general we do not find statistically significant biases with respect to each language group's contribution to each of the semantic fields, i.e., the number of faunal names or textiles, for example, will be normally distributed across each language group in proportion to the total number of cognates each retains [Mallory (in press.)]. In short, no group is markedly under or over-represented with respect to any particular semantic field.

Regional patterns

There is, of course, another major issue: the regional patterning of cognate sets and what they represent. The geographical distribution of cognate sets impacts on several matters. To begin with, any ascription (or not) of a cognate set to Proto-Indo-European tends to some extent to be a statement about the spatial and presumed temporal separation of the Indo-European language groups [Gamkrelidze, Ivanov 1984: 416—417]. Few if any linguists would assign a cognate set limited exclusively to Celtic and Italic to the proto-language while a set that included Celtic and Indic would be regarded as Proto-Indo-European on the presumption that a word shared by two groups so spatially removed from one another and lacking any particular close cladistic relationship must also be regarded of high antiquity. Of course, linguists have long employed different patterns of cognate distribution. For example, O. Schrader [1907: 174—175] suggested that 'high antiquity' could be established if the cognate set fell into one of the three following combinations: 1) Indo-Iranian and one European language; 2) a north and south European word (hence Schrader could embrace the 'tortoise' argument to dismiss a north European *Urheimat* [Schrader 1907: 148—150]); and 3) Greek and Latin. Yet the history of Indo-European reconstruction is also a history of disagreement. E. Hamp [1973: 509] argued that a Greek-Armenian and Baltic correspondence «assures us of original IE status» while T. Milewski [1968: 40] dismissed the cognate set of **mori* 'sea' that included Latin, Germanic, Baltic, Slavic and Celtic as merely «European».

In recognition of this, when ascribing lexemes to Proto-Indo-European in both the *Encyclopedia of Indo-European Culture* [Mallory, Adams 1997] and *The Oxford Introduction to Proto-Indo-European* [Mallory, Adams 2006] cognate patterns were classified according to a very coarse temporal-spatial set of groupings. The Indo-European groups were divided into four regional subgroups (Table 2).

Table 2: *The Indo-European Groups*

1. Anatolian
2. Northwest (NW)
 - Celtic
 - Italic
 - Germanic
 - Baltic
 - Slavic
3. Central (C)
 - Albanian
 - Greek
 - Armenian
4. Eastern (E)
 - Indo-Iranian
 - Tocharian

In this system, Proto-Indo-European is ascribed to any cognate set that involves a cognate in Anatolian *and* any other Indo-European language (on the grounds of both antiquity of attestation and cladistics) *or* a cognate set that involves at least one cognate in a NW *or* C (European) language on the one hand *and* an E (Asian) language. Where the spatial pattern of the cognates fell short of such a distribution then they were placed in one of four basic geographical provinces: NW, C, WC (when both a NW and a C correspondence was present) and E. In addition, in recognition of a long established though controversial subgroup, where a cognate set was limited to Greek and Indo-Iranian it was labelled GA, i. e., Graeco-Aryan.

The meaning of the regional patterns is far from certain. A lexeme known to PIE may, of course, have disappeared from every language save one and we would have no way of assigning it greater antiquity with the comparative method. What goes for a single language also goes for our regional subgroups; for example, a word preserved only in Celtic and Italic *might* derive from PIE but we have no right to assign it such deep antiquity. On the other hand, one can also recognize that regional groupings may have an underlying genetic basis, e. g., NW languages may exclusively share certain lexical items because they only emerged, either by independent invention or substrate borrowing, among geographically restricted speakers of late Indo-European before it differentiated into the various groups (cf.: [Meillet 1908; Gamkrelidze, Ivanov 1984: 422]).

What is of interest here is the fact that we have two tiers of reconstruction: those words where the distribution strongly suggests original PIE status and those which *might* have been later regional creations. An obvious question is the extent to which these two categories are dependent on the semantic field of the reconstruction, i. e., are certain semantic fields more or less resistant or prone to «later» regional developments?

Employing the data in Mallory and Adams [2006] that was arranged into basic semantic fields we can clearly see that the proportion of PIE to regional reconstructions is not independent of the semantic field. Table 3 provides the raw count for each semantic field and a rough index is provided by simply dividing the regional total by the absolute total (regional + PIE) so that the value may be expressed as varying in principle between 0 (no regional contribution) and 1 (total regional contribution).

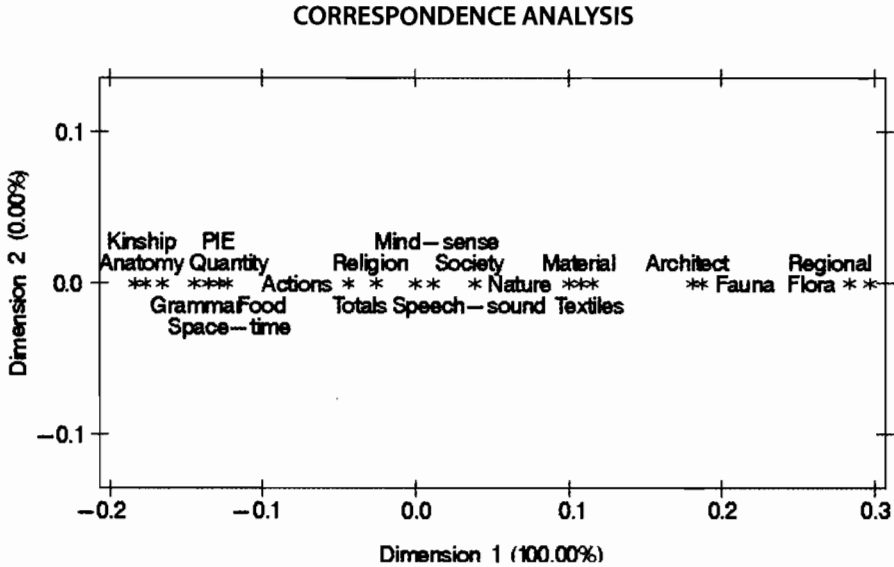
Table 3: Rank order of regional contribution by semantic field

Semantic field	PIE	Regional	Regional Index
Kinship	76	17	0.18
Anatomy	221	51	0.19
Quantity	62	15	0.19
Grammar	38	10	0.21
Food	66	18	0.21
Space-time	119	34	0.22
Actions	244	92	0.27
Religion	30	12	0.29
Mind-sense	167	75	0.31
Society	111	54	0.33
Speech-sound	78	38	0.33
Nature	62	36	0.37
Material	59	35	0.37
Textiles	33	20	0.38
Architect	47	34	0.42
Fauna	102	75	0.42
Flora	78	74	0.49

It is both visually and statistically clear (X^2 -test with $P < .0001$) that the regional contribution to the reconstructed vocabulary is semantically factored¹. This can also be represented graphically through correspondence analysis (Table 4).

¹ I would like to thank Howard Turner for assistance in preparing a number of the statistical tests employed in this paper.

Table 4: Correspondence analysis of lexical distribution and semantic field



The results of such an exercise conforms at least to some expectations. On the far left we find what are often regarded as the most innate semantic categories such as anatomical terms, kinship, grammatical elements (largely pronouns) and numerical systems where the contribution made by later regional groups is minimal². On the right side we find semantic fields that pertain to the external world such as flora and fauna. Interpretation of their position is perhaps not quite as secure as the more embedded semantic fields. One might imagine that items pertaining to flora and fauna would be quite susceptible to the creation of regionally restricted lexical items as the Indo-Europeans expanded

² Stable and unstable semantic fields

This has some implications for the presumption of stability on the types of word lists one employs in lexicostatistics. Anatomical terms, for example, constitute the largest category of words on the Swadesh word list and are certainly justified in terms of this brief study. On the other hand while categories such as sense and nature are neither particularly stable nor innovative within Indo-European, Swadesh utilized these fields to provide the second (sense = 17) and third largest categories on his 100 word list. It is also interesting that his 'basic vocabulary' only employs three words that might be related to kinship yet in Indo-European (and Basque), this is one of the fields that seems to find very little evidence for innovation. Starostin's abbreviated world list of 55 most stable words is also very heavily weighted toward words connected with anatomy and bodily functions (16) followed by grammar, quantity and nature. One of the least employed semantic categories here is again kinship (1 = 'woman') [Starostin 2000: 257].

into new environments or came into contact with substrate or adstrate populations from whom they borrowed words to describe their new environment. Substrate studies have emphasized precisely these same semantic fields in suggesting the non-IE origins for such terms as apple, hazel, willow, rye, oats [Huld 1990] or a series of western European bird names [Schrijver 1997], e. g., heron, lark, blackbird. But here there is a possible alternative explanation in that one can argue that the regional lexicon in these semantic fields in some cases may actually retain the PIE vocabulary that was lost in some (eastern) regional groups as they moved into ecologically different territories in Asia (the only Eastern isoglosses are *g(h)rewom 'reed, rush' and *gordebhós 'wild ass').

Nevertheless, there are at least some arguments that suggest that the ratio of regional words to PIE does provide a rough proxy of the ratio between 'original' and 'later/borrowed' terms. In the case of Basque where we do not generally entertain any late major migration of population/language, the most 'original' semantic fields are precisely those on the far left of our own correspondence analysis of Indo-European, i.e., numerals, pronouns, kinship and anatomy [Trask 1997: 249]. On the other hand, in the semantic field of flora, the field farthest to the right on our diagram, we find that although many indigenous plant names have been preserved in Basque, yet it is still «difficult to avoid the conclusion that a large number of ancient plant names must have been replaced by other words» [Ibid.: 303]. In short, it may be that certain semantic categories may attract innovation and not necessarily require past folk movements as the sole explanation. When we fine tune such observations they tend to reveal more specific levels of replacement. For example, when we examine more closely the nature of the architectural words that are reconstructed with a high percentage of regional terms it is not with reference to general names for buildings (house, settlement, fort) — these are generally derived from PIE — but rather it is the elements of construction, especially words associated with the general meaning of 'plank' or 'post', that constitute the majority of regional terms and might derive from local or later building traditions or materials.

The remaining items generally indicate a normal or expected distribution between PIE and regional vocabulary. The only really counter-intuitive result is perhaps 'food' which is largely PIE when one might have expected a stronger element of regional vocabulary (like architecture). While the vocabulary pertaining to hunger, eating and drinking can be expected to be primarily PIE (23 PIE, 8 regional terms) and possibly the vocabulary of food preparation, i. e., mixing, boiling, cooking (PIE 17, regional 4), it is surprising that the vocabulary of actual foods, e. g., fat, milk, honey, broth, intoxicating drinks (PIE 26, regional 6) was not better extended by regional terms. We might also note 'society' which also appears to fall into a normal distribution which is somewhat remarkable in light of B. Schlerath's study (1987) of Germanic terms of social organization that suggested that this particular semantic field experienced very rapid attrition. In fact, the vocabulary specifically associated with actual social organization is very heavily regionalized (PIE 16, Regional 15, Index 0.48) and it is only the inclusion of other sub-fields (law, exchange, etc) that reduces its index to 0.33.

Regional sub-groups

We can refine our analysis of regional groups by examining their specific spatial distribution (Table 5).

Table 5: Semantic fields by regional grouping

	PIE	NW	WC	C	GA	E
Nature	62	9	25	0	1	1
Fauna	102	25	41	5	3	1
Flora	78	24	49	0	0	1
Anatomy	221	11	32	1	4	3
Kinship	76	3	11	0	3	0
Architect	47	10	19	1	4	0
Textiles	33	5	13	0	2	0
Material	59	12	16	1	5	1
Food	66	2	15	0	1	0
Society	111	16	27	0	10	1
Space-time	119	14	16	1	2	1
Quantity	62	6	6	1	2	0
Mind-sense	167	27	31	3	13	1
Speech-sound	78	11	23	0	2	2
Actions	244	35	45	0	9	3
Religion	30	3	3	0	6	0
Grammar	38	1	6	0	3	0

This provides useful raw data but it is probably more informative to present the regional information again in terms of an index. This is provided in Table 6.

Table 6: Index values of regional groups

	PIE	NW	WC	C	GA	E
Nature	62	0.13	0.29	0.00	0.02	0.02
Fauna	102	0.20	0.29	0.05	0.03	0.01
Flora	78	0.24	0.39	0.00	0.00	0.01
Anatomy	221	0.05	0.13	0.00	0.02	0.01
Kinship	76	0.04	0.13	0.00	0.04	0.00
Architect	47	0.18	0.29	0.02	0.08	0.00
Textiles	33	0.13	0.28	0.00	0.06	0.00
Material	59	0.17	0.21	0.02	0.08	0.02
Food	66	0.03	0.19	0.00	0.01	0.00

	PIE	NW	WC	C	GA	E
Society	111	0.13	0.20	0.00	0.08	0.01
Space-time	119	0.11	0.12	0.01	0.02	0.01
Quantity	62	0.09	0.09	0.02	0.03	0.00
Mind-sense	167	0.14	0.16	0.02	0.07	0.01
Speech-sound	78	0.12	0.23	0.00	0.03	0.03
Actions	244	0.13	0.16	0.00	0.04	0.01
Religion	30	0.09	0.09	0.00	0.17	0.00
Grammar	38	0.03	0.14	0.00	0.07	0.00

Although one can discern clear general trends, there are very few associations that achieve statistical significance. The raw data of Table 5 was subjected to X^2 testing but it only revealed three associations that were significant at the level of $P < .05$. In terms of its contribution to words related to anatomy and health, the NW region is significantly poorer than any other region. On the other hand, in terms of lexical items associated with flora, the WC region is significantly overrepresented (the expected count would be 25.3 while the actual is 49) and six Graeco-Aryan cognates in the field of religion are significantly higher than the expected value (1.3).

In order to determine whether there are intrinsic differences in the semantic fields filled by each semantic group we can compare, say, the top four fields in each group. For example, in the NW languages the four semantic groups with the highest indices are (in rank order): flora, fauna, architecture, and material culture; in the WC region we find: flora, fauna, nature and architecture. These two groups are broadly similar but contrast with GA where we have: religion, society, architecture, and a tie between material, mind-sense and grammar³. The semantic weighting of Graeco-Aryan isoglosses is interesting in that it includes only one possible floral item and the faunal items rank eighth. This suggests that the GA isoglosses do not define a natural environment different from that shared by all the other IE languages but rather a horizon of shared social and religious institutions (or the antiquity of their attestation in Greek and Indo-Iranian has preserved what has been lost elsewhere) as well as some marked cognate sets in other areas, e. g., weapons where Graeco-Aryan cognates include words for archery and the cudgel.

Finally, what are the specific semantic sub-fields that are most affected by regional isoglosses? In the NW those categories that see the highest impact of a regional vocabulary are: bird names, wild plants, agricultural terms and containers, hot/cold/other qualities, and the verbal concept of 'convey'. For the WC region the greatest deviations from the expected count are found in words associated with water, birds, insects/shellfish, wild plants, construction, textiles, and binding. There are so few GA correspondences that one can hardly talk of statistical significance but the main deviations from the ex-

³ See [Polomé 1990] for a critical review of 26 proposed isoglosses which he winnows down to only 6; however, many of the isoglosses suggested in Mallory-Adams (2006) are not included in his discussion.

pected occur in family/household, dwellings, social organization, law and order, knowledge and thought, sight, bright and dark, colours, elevated speech, run and jump, deities, sacred and sacrifice, and relative pronouns.

It is clear that the distribution of semantic fields is not independent of geography and this brief survey has, I hope, suggested the value of considering entire semantic sets as a possible subject for future study. Such studies could be expanded by considering in much greater detail the structure of each semantic field with respect to both phonology and etymology. For example, if we take the sub-field of architectural construction, the regional vocabulary consists of 24 items of which at least half consists of words built on PIE verbal roots, e.g., **sth₂bho/eh_a-* ‘post’ (< **steh₂-* ‘stand’), **tengh-s-* ‘pole’ (< **ten-* ‘pull’) **sedlom* ‘seat’ (< **sed-* ‘sit’) **(s)téges* ‘roof’ (< **(s)teg-* ‘cover’) but approximately half cannot be securely etymologized, e.g., **perg-* ‘pole’, **plut-* ‘plank’, **ġhalgheh_a-* ‘pole’, **sph_aen-* ‘flat piece of wood’ and one may wonder whether a systematic examination of these might be able to distinguish between inherited IE words and those that might be explained as systematic borrowings from a non-IE source.

Indo-European and Uralic

An assessment of how universal the IE pattern is can be briefly ‘tested’ to a very limited extent if one considers the semantic categories into which the Uralic languages have been divided by Kaisa Häkkinen (2001) arranged as to whether they are reconstructable to Proto-Uralic or (presumably more recent) Finno-Ugric (FU) which will here be regarded as a very crude proxy for ‘regional’. The semantic categories do not precisely match those provided here for IE although many of the categories are quite similar. The data is presented in Table 7, arranged in ascending order employing again a regional index (FU/FU + Uralic).

Table 7: Semantic fields in Uralic

Semantic Field	Uralic	FU	Index
kinship	16	11	0.41
transport	17	15	0.47
hunting	9	8	0.47
society	2	2	0.50
flora	23	26	0.53
architect	11	13	0.54
space-time	20	24	0.55
anatomy	45	57	0.56
fauna	31	44	0.59
misc	2	3	0.60
nature	28	45	0.62
material	22	37	0.63

Semantic Field	Uralic	FU	Index
food	11	19	0.63
textiles	2	5	0.71
grammar	5	13	0.72
mind-sense	18	50	0.74
misc	6	21	0.78
speech-sound	1	5	0.83
quantity	1	12	0.92
actions	2	48	0.96
religion	0	7	1.00

When we compare the Uralic evidence with that of Indo-European, one of the most obvious differences is the magnitude of the index in that there are generally far more lexical items in the (later) Finno-Ugric set than can be constructed for Proto-Uralic. But here it is the general rank order that we are most interested in. From the perspective of stability, for the Uralic languages the most stable fields are confined to kinship, transport (both verbal actions and material devices such as skis), hunting, society and flora. The least 'stable' fields are religion, activities, quantity and speech. Because of the non-comparability of some of the semantic categories, it is not always easy to make comparisons with the Indo-European data. Obviously, the position of words concerning kinship being the most stable in both language families is important but the position of flora in both language families differs considerably where it is the most augmented field in Indo-European but relatively stable from Proto-Uralic (possibly a reflex of a more uniform north Eurasian forest environment?). Similarly, while quantity is extremely stable in Indo-European, this is one of the categories that simply does not make it beyond Finno-Ugric. And, while PIE may have been weak in reconstructed terms for religion, it is evident that Proto-Uralic is completely opaque.

CONCLUSIONS

While there are studies of the spatial distributions of typological features (e. g., [Greenberg 1966; Nichols 1992]) and cross-linguistic studies within individual semantic fields (e. g., [Berlin 1992; Berlin, Kay 1969]), wider studies of the whole range of semantic fields and how they behave has probably been neglected. As one can see from this very brief review of the evidence from Indo-European and Uralic, the behaviour of lexemes across both space and time is clearly not independent of semantic field, a conclusion obvious to anyone who has contemplated the concept of a 'basic vocabulary'. Nevertheless, a deeper examination of the spatial and temporal behaviour of semantic fields across different language families may uncover previously un contemplated patterns of either universal or historical significance.

REFERENCES

- Berlin 1992 — *Berlin B.* *Ethnobiological Classification*. Princeton: Princeton University Press, 1992.
- Berlin, Kay 1969 — *Berlin B., Kay P.* *Basic Color Terms*. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Gamkrelidze, Ivanov 1984 — *Gamkrelidze T., Ivanov V.* *Indoeuropejskij jazyk i indoeuropejcy*. Tbilisi: Tbilisi University Press, 1984. (Transl.: *Indo-European and the Indo-Europeans*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1995.)
- Greenberg 1966 — *Greenberg J.* *Language Universals*. The Hague: Mouton, 1966.
- Häkkinen 2001 — *Häkkinen K.* Prehistoric Finno-Ugric culture in the light of historical lexicology / *Carpelan C., Parpola A., Koskikallio P.* (eds.). *Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations*. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 2001. P. 169—186.
- Hamp 1973 — *Hamp E.* Fish // *Journal of Indo-European Studies*. 1973. 1. P. 507—511.
- Huld 1990 — *Huld M.* The linguistic typology of the Old European substrate in north central Europe // *Journal of Indo-European Studies*. 1990. 18. P. 389—424.
- Mallory (in press.) — *Mallory J. P.* Proto-Indo-European, Proto-Uralic, and Nostratic: A brief excursus into the comparative study of proto-languages (in press.).
- Mallory, Adams 1997 — *Mallory J. P., Adams D. Q.* *Encyclopedia of Indo-European Culture*. London: Fitzroy Dearborn, 1997.
- Mallory, Adams 2006 — *Mallory J. P., Adams D. Q.* *The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Meillet 1908 — *Meillet A.* *Les dialectes indo-européens*. Paris, 1908.
- Milewski 1968 — *Milewski T.* Die Differenzierung der indoeuropäischen Sprachen // *Lingua Posnaniensis*. 1968. № 12—13. P. 37—54.
- Nichols 1992 — *Nichols J.* *Linguistic Diversity in Space and Time*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Polomé 1990 — *Polomé E.* A few notes on Indo-Aryan-Hellenic isoglosses // *Indogermanica Europaea: Festschrift für Wolfgang Meid*. Graz: Institut für Sprachwissenschaft der Universität, 1990. P. 209—224
- Schrader 1907 — *Schrader O.* *Sprachvergleichung und Urgeschichte*. 3rd ed. Jena, 1907.
- Schrader, Nehring 1917—1928 — *Schrader O., Nehring A.* *Reallexikon der indogermansichen Altertumskunde*. Berlin: Walter de Gruyter, 1917—1928.
- Schrijver 1997 — *Schrijver P.* Animal, vegetable and mineral: some Western European substratum words // *Lubotsky A.* (ed.). *Sound Law and Analogy: Papers in honor of Robert S. P. Beekes on the occasion of his 60th birthday*. Leiden: Rodopi, 1997. P. 293—316.
- Starostin 2000 — *Starostin S.* Comparative-historical linguistics and lexicostatistics // *Renfrew C., McMahon A., Trask L.* (eds.). *Time Depth in Historical Linguistics*. Vol 1. Cambridge: McDonald Institute, 2000. P. 223—259.
- Trask 1997 — *Trask R. L.* *The History of Basque*. London; New York: Routledge, 1997.

**PIE $^*(h_1)eu\dot{h}_1dh-$ ‘excrete liquid’
and Russian Dialectal *udut* (3 pl.)**

1. It is well-established that the Proto-Indo-European word for ‘udder’ — attested in Indic, Greek, Italic, Germanic, and Balto-Slavic¹ — originally inflected as a neuter acrostatic *r/n*-stem of the *ó/é* type, with nom.-acc. sg. $^*(h_1)óuh_1dh-r$, original oblique $^*(h_1)éuh_1dh-n-$ (and secondary oblique stem $^*(h_1)uh_1dh-n-$, cf. loc. sg. $^*(h_1)uh_1dh-én$)². Like many terms for body parts, as well as other archaic *r/n*-stems, the word is often considered to be (or at least presented as) a nominal prime³. Yet an attractive root etymology has been proposed by H. C. Melchert [1986: 111, 114], based on his interpretation of Hitt. *uwa-* as ‘nurse’: that word is plausibly analyzed as an agent noun $^*(h_1)ouh_{1/3}-ó-$ to a verbal root $^*(h_1)eu\dot{h}_{1/3}-$ ‘give milk, suckle’ (or more generally ‘excrete liquid’), visible not only in the word for ‘udder’ ($^*(h_1)eu\dot{h}_{1/3}-dh-$, with root-enlargement)⁴, but also in the archaic word for ‘water’ and ‘milk’ continued in Cuneiform Luvian *wa-a-ar* ‘water’, Ved. *vār* (2x *vāar*) ‘water, milk (of the dawn cows)’, Av. *vār* ‘rain’, OIr. *fír* ‘(cow’s) milk’, these forms reflecting a «state II» root variant $^*(h_1)weh_1-$ (whence $^*(h_1)wóh_1-r$ / $^*(h_1)wéh_1-r-$ ‘water, milk’)⁵. This root etymology has recently been endorsed by C. Watkins [Watkins 2009: 225n3], in a detailed study of the Indic and Celtic material. As Watkins points out, moreover, Melchert’s analysis finds an attractive parallel in the other archaic PIE word for ‘water’, an archaic neuter *r/n*-stem $^*wód-r$ / $^*wéd-n-$ (Hitt. *wa-a-tar* etc.) belonging to the same acrostatic type and corresponding to a verbal root attested not only in the nasal-infixed stem $^*u-né-d-$ (Ved. *unátti* ‘wets’, see LIV s. v. $^*wed-$ ‘quellen’) but also in a state II version $^*(h_1)eu\dot{d}-$ (Ved. *ódatī-* ‘moistening, moist’, *ódman-* ‘floods, moisture’, etc., see *EWAia* I.279 s. v. *OD*).

2. As Watkins also points out, Melchert’s «cogent» root etymology remains unrecognized by LIV. Yet this is not surprising, since there is no certain trace of a primary verb: most of the scanty verbal remains belonging to the ‘udder’ word display the earmarks of secondary formations, as Melchert himself has already discussed [1986: 111f.], or in one

¹ IEW 347, [Gamkrelidze, Ivanov 1984: (2.)569n4, 1995: 1.486n41] (Ved. *údhār-*, Gk. *ou̓thar*, Lat. *ūber*, OSax. *ieder*, etc.).

² On the reconstruction, see [Schindler 1975: 7f.] and more recently [Nussbaum 1997: 198f.; Lamberterie 2004].

³ In addition to the sources cited in n. 1: e. g. [Mallory, Adams 2006: 179, 181].

⁴ Similarly [Mallory, Adams 1997: 82], on ‘udder’: «From $^*h_1eu\dot{h}_1dh-$ ‘swell (with fluid)’».

⁵ For a somewhat different conception of the original root shape, see [Ivanov 1997].

case is ambiguous between primary and secondary derivation. Thus, to summarize the material treated by Melchert:

(i) Lith. *ūdróti* ‘be pregnant (of swine)’, *paūdróti* ‘have a distended udder (of swine, dogs)’, and similar Baltic material based on a stem *ūdr-*, are transparently secondary to the *r/n*-stem noun ‘udder’.

(ii) The hydronym in Latium that is variously spelled *Oufens/Ofens/Ufens* in Latin sources (cf. modern *Uffente*) and which may also underlie the Roman tribal name *Ufentina* (OLat. *Oufentina*) is generally thought to belong with the Apulian hydronym *Aufidus*⁶. The intervocalic *-f-* guarantees a non-Latin (i.e. Sabellic, perhaps specifically Volscian) source, if this material belongs with Lat. *ūber*. For that reason, certain phonological and morphological details remain uncertain (on which see [Nussbaum 1997: 199n90]). Nevertheless, as Melchert and others have discussed, the unmarked interpretation of a pair *Oufens/Aufidus* would involve a stative verbal formation in *-ēre* (in Latin terms) beside parallel adjective in *-idus* (of the type Lat. *turgēns* ‘swell, be swollen’ ~ *turgidus* ‘swollen’, etc.)⁷. Italic stative formations in *-ēre* are descriptively either denominative or deverbative; yet, as Melchert observes, both are ultimately denominative in origin, strictly speaking (see now [Jasanoff 2002/3: 127, 147f.]). Still, it should be noted that the relationship between *Aufidus* and *Oufens* is far from certain (cf.: [Hamp 1970: 144]). On its own, then, (non-)Lat. *Oufent(o²)-* could in principle continue a participial stem based either on a primary thematic verb in *-ēre* or an iterative in *-ēre*⁸.

(iii) The Russian verb *údit* ‘to ripen (of grain), fill/swell up with liquid’ is attested dialectally in the Novosibirsk area⁹. Morphologically, such a form must be either denominative, or (perhaps more likely) an old iterative-causative (presumably iterative, in view of the semantics). Neither would reflect a primary verb.

3. There is, however, a recently-discovered Russian dialectal form that deserves to be considered in this connection. A 3 pl. present tense form *udut* ‘they are ripening’ is now attested twice, in a newly-published archive of 19th-century Russian peasant letters

⁶ For details, including references to the pioneering work of Krahe and others on these hydronyms, see: [Szemerényi 1955: 285]. More recently, see [Silvestri 2009: 70], [Stok 2009: 553, 555ff.].

⁷ Cf.: Watkins’ identification of the enlargement **-dh-*, in *(h)*eu*_{1/3}*-dh-*, as the «stative suffix» (on which see [Benveniste 1935: 188ff.]).

⁸ Given the development of **-eu-* to /-ou-/ in Italic, the root vocalism is ambiguous between *e*-grade (as in the plain thematic interpretation) and *o*-grade (as would be appropriate for an old iterative in **-éye/o-*). The Faliscan personal name **Ofetio** (Ve 243 = LF 3) may well be derived from the hydronym under consideration, as is often assumed (see e. g. [Vetter 1953: 287], ad loc., and [Bakkum 2009: (1.)219]), but this is no more than a possibility.

⁹ See now [Derksen 2008: 507] (s.v. **údit**), citing only Dal’ (i. e. [Dal’ 1880—1882: 4.473]); see further [Fasmer 1964—1973: 4.149] (with earlier references), [Fedorova 1979: 552], and note also the adjective *údnœ* (*zernó*) ‘ripe (grain)’ [Fasmer, loc. cit.]. For the liquid association, cf. *zerno nalivaetsja* ‘the grain is filling up’ (lit. ‘is being poured into’) = *zreet* ‘is ripening’.

from the southern Vyatka region [Yokoyama 2008: 1.179, 282, at 73ob.15 and 142.14]¹⁰. The following background information may be helpful (see [Yokoyama 2008] for additional detail).

These letters were written by five members of a single family during the period 1881—1896. The family lived in the now liquidated village of Pazdery, in the eastern part of European Russia. In terms of dialect: given certain non-normative morphological features and on the basis of an analysis of phonetic spellings, the writers can be identified as speakers of a North Russian dialect, and one which preserves some phonological and morphological features more archaic than those observed in the local dialect in this region today.

The two occurrences of 3 pl. *udut* appear in the writing of two of the sons (born in the same village in 1867 and 1872), in letters dated 1892 and 1894, respectively. In the first attestation (73ob.15), the verb occurs with pl. subject *xlebá* ‘grain’ (‘the grain [lit. pl.] is ripening’). In the second (142.14), the usage is figurative, with pl. subject *delá* ‘business’ (‘business is ripening’, i. e. ‘prospering’), comparable to synonymous figurative usages of *tekut* ‘flow’ (97.14) and *katjatsja* ‘roll along’ (109.11) elsewhere in the corpus, with the same subject.

4. The morphological difficulty in aligning a Russian 3 pl. pres. *udut* with the previously-documented infinitive *údít* (with presumed 3 pl. *údjat*) has already been signaled by Yokoyama [2008: 1.179n53]. There is, however, a suggestive parallel, pointed out to us — with characteristic erudition and generosity — by our esteemed colleague Vyacheslav Vsevolodovich Ivanov¹¹. Russ. dial. 3 pl. *udut* (beside the attested infinitive *údít*) is reminiscent of the 3 pl. form *gudút* (cf. infin. *gudét* ‘to hum, drone’ and *gudít* ‘to play a stringed instrument’), an obsolescent substandard variant of 3 pl. *gudját*. Yet 3 pl. *gudút* is found beside 3 sg. *gudět* (both forms are well-attested), suggesting a basis in a plain thematic verb (as if with infin. *gustí*), beside the standard stative verb (infin. *gudét*). Whether an infinitive *gustí* actually exists in Contemporary Russian beside 3 sg. *gudět* and 3 pl. *gudút*, as the dictionaries claim¹², such a form is clearly attested in earlier periods of the language (RCS *gusti*, cf. [Sreznevskij 1893—1906: 611]) and elsewhere in Slavic (e. g. Ukr. *gusti* and dial. *husti*, SCr. *gústi*, Sloven. *gôsti*, cf. OCS *gostí*), in part with specialized semantics (‘make a sound on a musical instrument’, cf. Russ. *gúslí* ‘zither’)¹³. Thus, while 3 pl. *gudút* might appear, from the standpoint of Contemporary Russian, to be merely a substandard variant of 3 pl. *gudját* (to infin. *gudét*), the reality is more complex, and points to an archaic primary thematic verb *gustí* (perhaps originally ‘produce a [singing, humming, etc.] sound’) beside a pendant stative *gudét* (‘give off a sound’), and perhaps an iterative in *gudít*. Moreover, Slav. **gostí* (with nasal infix) is to be compared with Lith. *gaũsti* (1 sg. *gaudžiù*) ‘make a sound, hum’, likewise a primary verb (though with a differ-

¹⁰ Given the nature of these documents, the position of the accent is of course unknown.

¹¹ Personal communication (May 4th, 2006).

¹² So e. g. the four-volume Academy Dictionary (SRJa 1.358 s.v. *gustí*), and more recently [Derksen 2008: 183] (citing also Russ. dial. *gust*).

¹³ See [Fasmer 1964—1973: 1.470] (s. v. *gudét*), ESSJa VII.85f., [Derksen 2008: 183] (s. v. **gostí*).

ent formation)¹⁴. There is at any rate little reason to believe that 3 pl. *gudūt* (much less RCS *gusti* etc.) has somehow been secondarily created beside *gudēt*’ or *gudit*’.

These considerations strongly suggest that 3 pl. *udut* — which, whatever its accent, is equally difficult to interpret as a secondary creation — should likewise be taken at face value, in which case the form is potentially of great morphological interest: as with *gudūt/gusti*, it may well reflect a genuine primary verb, i.e. a simple thematic 3 pl. (as if beside infin. **ustī*, cf. e.g. Russ. *vedū/vestī*, 3 pl. *vedūt* ‘lead’ < PIE **wédh-e/o-*, etc.) with PIE Transponat *(*h*)*éuh₂dh-o-nti* — and thus, as such, the sole surviving direct trace of a primary verb (meaning ‘excrete liquid’) underlying the PIE word for ‘udder’ (cf.: § 2. above)¹⁵. If this is so, the parallel North Russian dialectal form *údit*’ could continue the old iterative *(*h*)*ouh₂dh-éye/o-*)¹⁶, which eventually ousted the primary plain thematic form, possibly after a period of suppletive behavior in the North Russian dialect area, given 3 pl. *udut* (attested in the southern Vyatka peasant letters) beside infin. *údit*’ (Novosibirsk); cf. the synchronic appearance of *gudēt/gudūt* beside *gudēt*’ and *gudit*’. The southern Vyatka peasant letters, after all, preserve a number of other archaisms, from the point of view of East Slavic linguistic history¹⁷; nor is it unthinkable for such texts to contain a linguistic archaism of Indo-European age, as in the celebrated North Russian lexical (and partly verbal) material treated by Watkins, in a pathbreaking study of Indo-European lexis and mythopoetics ([Watkins 1975/1994: 533f.], cf. [Watkins 1995: 47n20]).

5. A final form to be noted here is Tocharian AB *pyutk-* ‘come about, occur’ (causative ‘establish, create’). The background of this verb is often considered to be obscure (so e. g. [Saito 2006: 409]), and indeed, earlier attempts are problematic in various ways: the most popular approach, based on PIE **bhuH-* ‘grow, become’, is obviously attractive semantically,¹⁸ but is distinctly unsatisfactory in formal terms, given its inability to explain directly either the dental stem or the attested facts of palatalization. D. Q. Adams has tentatively suggested an etymological analysis in terms of a preform **p(ā)-yutk-* ‘come about’ < ‘ripen, swell’, i. e. with prefixed particle **p(ā)-* followed by a «putative PIE **h₂eud-ske/o-*» [sic] comparable (with respect to the root) to Russ. *udit*’ [Adams 1999: 409]. There is as yet, however, little evidence in support of Adams’ prefix **p(ā)-*, which

¹⁴ See [IEW: 403]. At a deep level, we probably have to do with an old suffixed formation (roughly **gou[H]-dhh₂-e/o-* ‘make a sound’) built from **geuH-* ‘call, cry out’ (Gk. *goaō* ‘wail’ etc., see LIV s.v. **geuh₂-*) and **dheh₂-* ‘set, make’, comparable to a number of other such primary formations (cf. [Vine 2006: 504f.], with further references).

¹⁵ The same thematic stem might appear in (non-)Lat. *Oufent-*, although the form is multiply ambiguous, as already discussed (§ 2. (ii)).

¹⁶ Recall, again, that an iterative form might also be reflected in (non-)Lat. *Oufent-*.

¹⁷ These archaic features can be observed at all levels of grammar, including phonology (e.g. palatalized liquids in *TbRT* forms; [Yokoyama 2008: 1.382f.]), morphology (e. g. the plural forms in nominal paradigms; [Yokoyama 2008: 1.390]), morphosyntax (e. g. prepositionless oblique case usages: *perešel drugomu xozjainu* [12.5], *prošlom godu* [81.5], etc.; [Yokoyama 2008: 1.403f.]), and syntax (e. g. asyndetic constructions; [Ibid.: 1.409f.]).

¹⁸ See [Melchert 1977: 121] (following Lane and Pedersen).

renders his proposal, as interesting and attractive as it is in some respects, highly uncertain, as S. Neri has recently observed [2007: 70n184]¹⁹. For the present, then, the best candidate for a primary verb based on the root of PIE $^*(h_1)óuh_1dh-r$ ‘udder’ may be found in the recently-discovered North Russian dialectal verb form *udut*. At the very least, this new form now enters the dossier of verbal material belonging to the PIE word for ‘udder’.

REFERENCES

- Adams 1999 — *Adams D. Q.* A Dictionary of Tocharian B. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1999.
- Bakkum 2009 — *Bakkum G. C. L. M.* The Latin Dialect of the Ager Faliscus. 2 vols. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.
- Benveniste 1935 — *Benveniste E.* Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris: Maisonneuve, 1935.
- Dal’ 1880—1882 — *Dal’ V.* Tolkovyj slovar’ živago velikoruskago jazyka. Saint Petersburg; Moscow: M. O. Vol’f, 1880—1882.
- Derksen 2008 — *Derksen R.* Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden; Boston: Brill, 2008.
- ESSJa — Ètimologičeskij slovar’ slavjanskix jazykov. Moscow: Nauka, 1974ff.
- EWAia — *M. Mayrhofer.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg: Winter, 1986—2001.
- Fasmer [Vasmer] 1964—1973 — *Fasmer [Vasmer] M.* Ètimologičeskij slovar’ russkogo jazyka. 4 vols. / Transl. O. N. Trubačev. Moscow: Progress, 1964—1973.
- Fedorova 1979 — *Fedorova A. I.* Slovar’ russkix govorov novosibirskoj oblasti. Novosibirsk: Nauka, 1979.
- Gamkrelidze, Ivanov 1984 — *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* Indoevropskij jazyk i indoevropcejcy. 2 vols. Tbilisi: Izdatel’stvo Tbilisskogo Universiteta, 1984.
- Gamkrelidze, Ivanov 1995 — *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* Indo-European and the Indo-Europeans. 2 vols. Berlin: de Gruyter, 1995.
- Hamp 1970 — *Hamp E.* Latin *über* Again // *Glotta*. 48. 1970. P. 141—145.
- Hartmann 2001 — *Hartmann M.* Wiederum zu den tocharischen Verben auf *-tk-* // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. 61. 2001. P. 95—117.
- IEW — *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Tübingen; Basel: Francke, 1959 [Repr.: 1994].
- Ivanov 1997 — *Ivanov V. V.* Luwian Collective and Non-collective Neutral Nouns in *ar* // *Hegedüs I., Michalove P. A., Manaster A. Ramer* (eds.). Indo-European, Nostratic, and Beyond: Festschrift for Vitalij V. Shevoroshkin. Washington; DC: Institute for the Study of Man, JIES Monograph 22, 1997. P. 155—167.
- Jasanoff 1975 — *Jasanoff J.* Class III presents in Tocharian / *Watkins C.* (ed.). Indo-European Studies II. Cambridge (MA): Harvard Univ., 1975. P. 101—115.
- Jasanoff 1978 — *Jasanoff J.* Stative and Middle in Indo-European. Innsbruck: IBS 23, 1978.

¹⁹ This is not the place to enter into the newly controversial question of the historical interpretation of Tocharian verbs in *-tk-*: the by-now standard «Jasanoff-Melchert» account (see: [Jasanoff 1975: 111, 1978: 38f., Melchert 1977]) has recently been questioned by Hartmann [2001], but note the counterarguments to Hartmann by Pinault [2002]. Neither Hartmann nor Pinault, in any case, addresses the background of Toch. AB *pyutk-* specifically.

- Jasanoff 2002/3 — *Jasanoff J.* «Stative» *-ē- revisited // *Die Sprache*. 43. 2002/3. P. 127—170.
- Lamberterie 2004 — *Lamberterie de C.* Entry *outhar* // *Chronique d'étymologie grecque* 9. 2004. P. 169. [= *Revue de philologie* 78: 1.]
- LF — *Giacomelli G.* *La lingua falisca*. Firenze: Olschki, 1963.
- LIV — *Rix H.* (ed.). *Lexikon der indogermanischen Verben*². Wiesbaden: Reichert.
- Mallory, Adams 1997 — *Mallory J. P., Adams D. Q.* *Encyclopedia of Indo-European Culture*. London: Fitzroy Dearborn, 1997.
- Mallory, Adams 2006 — *Mallory J. P., Adams D. Q.* *The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Melchert 1977 — *Melchert H. C.* Tocharian verb stems in *-tk-* // *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*. 91. 1977. P. 93—130.
- Melchert 1986 — *Melchert H. C.* Hittite *uwaš* and Congeners // *Indogermanische Forschungen*. 91. 1986. P. 102—115.
- Nussbaum 1997 — *Nussbaum A. J.* The «Saussure Effect» in Latin and Italic // *Lubotsky A.* (ed.). *Sound Law and Analogy: Papers in honor of R. S. P. Beekes on the occasion of his 60th birthday*. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1997. P. 181—203.
- Pinault 2002 — *Pinault G.-J.* Sur l'évolution phonétique *tsk* > *tk* en tokharien commun // *Münchener Studien zur Sprachwissenschaft*. 62. 2002. P. 103—56.
- Saito 2006 — *Saito H.* *Das Partizipium Präteriti im Tocharischen*. Wiesbaden: Harrassowitz, 2006.
- Schindler 1975 — *Schindler J.* L'apophonie des thèmes indo-européens en *-r/n-* // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. 70. 1975. P. 1—10.
- Silvestri 2009 — *Silvestri D.* Le metamorfosi dell'acqua: idronimi e istanze di designazione idronimica nell'Italia antica // *Pocchetti P.* (ed.). *L'onomastica dell'Italia antica*. Rome: École française de Rome, 2009. P. 61—72.
- Sreznevskij 1893—1906 — *Sreznevskij I. I.* *Materialy dlja slovarja drevne-russkago jazyka po pis'mennym pamjatnikam*. 3 vols. [Reprint] Graz: Akademische Druck u. Verlagsanstalt, 1893—1906.
- SRJa — (Akademičeskij) *Slovar' Russkogo Jazyka* / Ed. A. P. Evgen'eva. 4 vols. Moskva: Russkij Jazyk, 1981—1984 [repr. 1985—1988].
- Stok 2009 — *Stok F.* Onomastica/toponomastica virgiliana. // *Pocchetti P.* (ed.). *L'onomastica dell'Italia antica*. Rome: École française de Rome, 2009. P. 551—561.
- Szemerényi 1955 — *Szemerényi O.* *Lat. über* // *Glotta*. 34. 1955. P. 272—287.
- Ve — Vetter 1953.
- Vetter 1953 — *Vetter E.* *Handbuch der italischen Dialekte*. Heidelberg: Winter, 1953.
- Vine 2006 — *Vine B.* Autour de sud-picénien *qolofitúr*: Étymologie et poétique // *Pinault G. J., Petit D.* (eds.). *La langue poétique indo-européenne*. Leuven; Paris: Peeters, 2006. P. 499—515.
- Watkins 1975/1994 — *Watkins C.* La famille indo-européenne de grec *órkhis*: Linguistique, poétique et mythologie // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. 70. 1975. P. 11—26. (Reprinted: *Watkins C.* *Selected Writings* / Ed. L. Oliver. Innsbruck: IBS, 1994. 2. P. 520—535.)
- Watkins 1995 — *Watkins C.* *How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics*. New York; Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Watkins 2009 — *Watkins C.* The Milk of the Dawn Cows Revisited // *Vine B., Yoshida K.* (eds.). *East and West: Papers in Indo-European Studies* (Bremen: Hempfen), 2009. P. 225—239.
- Yokoyama 2008 — *Yokoyama O. T.* *Russian Peasant Letters: Texts and Contexts*. 2 vols. Wiesbaden: Harrassowitz, 2008.

**РУС. РАЗГОВ. СЕЧЬ ‘ПОНИМАТЬ’ —
НЕОЛОГИЗМ ИЛИ АРХАИЗМ?**

Представления носителей языка о мотивационно-словообразовательных связях слов, как правило, определяются фонетическим подобием. И научная этимология, как отметил В. Н. Топоров, «нередко соскальзывает к народной этимологии (не всегда отдавая себе в этом отчет)» [Топоров 1986: 206]. Но в научной этимологии «противоядием» является осознание возможности нарушения «прямого» исторического развития этимологических гнезд вследствие их взаимодействия, обусловленного именно фонетическим и/или семантическим сходством. Роль этих отклонений в истории языка и соответственно их важность для этимологии отмечена Я. Малкиелем: «определенная степень контаминации между гнездами, сходными по форме и значению, является скорее правилом, чем исключением» [Malkiel 1954: 274]. Ниже предлагается толкование одного русского просторечия с позиций смешения этимологических гнезд.

В русской разговорной речи широко распространено употребление глагола *сечь* в значении ‘понимать, знать’. В толковых словарях этот глагол отождествляется с *сечь* ‘рубить, бить (и т. д.)’, что выражается в перечне его значений ([Кузнецов 2007: 738; Шведова 2007: 877], в последнем труде это понимание акцентировано этимологическим толкованием). Опыты опроса носителей языка обнаруживают отождествление предполагаемой в этом случае семантической связи ‘рубить’ и ‘понимать’ с развитием значения глагола *врубиться*, для которого восстанавливается следующий путь: ‘рубя, проникнуть вглубь чего-либо’ → ‘вставить контактную пластину в техническое устройство для его включения’ → ‘включить’ → ‘понять, разобраться в чем-либо’, ср. тождественную техническую мотивацию в жаргонном употреблении глагола *втыкаться* ‘понимать что-либо, разбираться’ [БСРЖ 2001: 112] и разгов. *включаться* ‘начинать понимать, действовать’ [БСРРР 2004: 78]. На первый взгляд, аналогичное развитие можно допустить и для *сечь*, учитывая близость семантики основных значений *сечь* и *рубить* и самый факт признания такой мотивации говорящими. Однако следует обратить внимание на некоторые особенности структуры и семантики *сечь* ‘понимать’.

В истории глаголов *врубаться*, *втыкаться*, *включаться* появление значения ‘понимать’ связано с этапом присоединения префикса *в-*, что соответствует технической мотивации, ср. антонимы *вырубаться*, *выключаться*; беспрефиксный глагол *рубить* в значении ‘понимать’ [Там же: 541] — вероятнее всего, результат де-

префиксации. Что касается *сечь* в значении ‘понимать’, то для него префиксальное производное с *в-* не зафиксировано. При этом беспрефиксный глагол *сечь* отмечен в жаргонном употреблении и с другими значениями: *сечь* ‘следить; заострять внимание на происходящем’ [Югановы 1997: 201], с производным *сека* ‘слежка’ [200]. В производных от *сечь* с другими (не *в-*!) префиксами фиксируется такой же набор значений: с префиксом *про-* — жарг. *просечь* (*просекать*) ‘понять что-л., разобраться в чем-л.; заметить, приметить кого-л., что-л.’ [БСРЖ 2001: 485], близко к этому употребление глагола с префиксом *за-*: разг. *засечь*, *засекать* ‘обнаружить, заметить; поймать, захватить (обычно при каком-л. неблагоприятном деле)’ [БСРРР 2004: 222]. Сходная семантика известна и русским диалектам: перм. *сечься* ‘думать’ [СлПерм 2: 333], тамб. *засекать* ‘ухаживать за кем-л.’ [СРНГ 11: 27] (последнее значение может быть производным от ‘следить, заострять внимание’). Отмеченные структурные отличия и сочетание значения ‘понимать’ с ‘замечать’ и ‘следить’ позволяют предполагать, что процесс, обусловивший это употребление *сечь*, не аналогичен истории развития семантики глагола *врубиться* и что значение ‘понимать’ у глагола *сечь* может быть производным от ‘замечать, следить’, так что *сечь* ‘понимать’ и *сечь* ‘рубить’ генетически не тождественны и являются лишь гетерогенным омонимами.

При учете возможной первичности для *сечь* семантики ‘замечать, следить’, наиболее вероятными представляются родственные связи этого глагола с глаголом *сочить*: др.-рус. *сочити* ‘искать, отыскивать’ (Новг. I л. 6737 г.), откуда далее ‘разыскивать, исследовать; требовать по суду; искать, вести тяжбу’ [Срезневский III: 471], рус. диал. *сочить* нижегор., пск., твер. и др. ‘искать, отыскивать кого-л., что-л.’, брян., смол., курск. и др. ‘выслеживать, искать по следам (зверя), ловить, хватать (вора, зверя)’, абхаз. ‘укорять, упрекать’, ‘просить, канючить, выманивать обманом’ [СРНГ 40: 93]; ср. еще перм. *ссоча*: «С той сошелся не *ссоча* не спросясь, и ету выбрал так же» — ‘необдуманно и самовольно’ [СлПерм 2: 393].

Рус. *сочить* является продолжением праслав. **sočiti*, к которому восходят также серб.-ц.-слав. *сочити* *indicare*, болг. *сѡча* ‘указывать’, сербохорв. *сѡчитити* ‘уличить, обнаружить, разыскать’, чеш. *sočiti* ‘ненавидеть’, польск. *soczyć* ‘клеветать’, *osoczyć* ‘преследовать, травить (зверя)’, укр. *сочити* ‘подкарауливать’, блр. *сачыць* ‘наблюдать, разыскивать, выслеживать’. Очевидное распределение значений этих славянских глаголов (см. выше и др.-рус.) между двумя центрами: ‘следить’ и ‘говорить’, в сочетании с наличием индоевропейских (в том числе балтийских) соответствий для каждого из них (ср., с одной стороны, лит. *šėkti* ‘выслеживать’, лат. *sequor* ‘следовать’, др.-инд. *saçate* ‘следовать’, и, с другой стороны, лит. *sakūti* ‘говорить’, др.-в.-нем. *sagen* ‘говорить’) убедительно объясняется слиянием в праславянском языке двух индоевропейских гнезд [Brückner 1970: 384—385]; впрочем, Покорный считал и.-е. **sekʷ-* ‘следовать’ и **sekʷ-* ‘видеть, указывать’ > ‘говорить’ генетически тождественными [Pokorny 1951, I: 896—898]. Очевидная семантическая близость рус. разгов. и диал. *сечь* ‘понимать, замечать, следить’ (при вторичности ‘понимать’) к первой из этих ветвей

потенциально единого индоевропейского гнезда является основанием для возведения русского глагола к данному гнезду.

Если, таким образом, рус. разгов. и диал. *сечь* 'понимать, замечать, следить' родственно русскому диал. *сочить* 'искать, выслеживать' и другим продолжениям праслав. *sočiti*, то примечателен корневой вокализм *e* в *сечь*, находящийся соответствия в индоевропейских глаголах этого гнезда (см. выше), но не отмеченный в его славянских продолжениях, что позволяет подозревать в русском глаголе праславянский диалектизм индоевропейского происхождения. Впрочем, вполне вероятно обнаружение подобных «отклонений» в разговорной и диалектной семантике глаголов, традиционно возводимых к слав. **sěkti*, в других славянских языках. Не является ли, например, таковым (то есть производным гнезда **sočit* 'следить, следовать') чеш. разгов. *seknout* 'об одежде: идти, подходить, быть к лицу' [SINespČ: 306]?

ЛИТЕРАТУРА

- БСРЖ 2001 — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2001.
- БСРРР 2004 — Химик В. В. Большой словарь русской разговорной речи. СПб., 2004.
- Кузнецов 2007 — Кузнецов С. А. Современный толковый словарь русского языка. М., 2007.
- СлПерм — Словарь пермских говоров / Сост. Г. В. Бажутина, А. Н. Борисова и др. Пермь, 2000—2002. Вып. 1—2.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1—23), Ф. П. Соколетов (вып. 24—41). Л./СПб., 1966—2007. Вып. 1—41.
- Срезневский — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958 (СПб., 1983—1903). Т. I—III.
- Топоров 1986 — Топоров В. Н. О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. М., 1986.
- Шведова 2007 — Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / Отв. ред. акад. Н. Ю. Шведова. М., 2007.
- Югановы 1997 — Юганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга. Сленговые слова и выражения 60—90-х гг. М., 1997.
- Brückner 1970 — Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1970 (= 1927).
- Malkiel 1954 — Malkiel J. Etymology and the Structure of Word Families / Word. Vol. 10. 1954. № 2—3.
- Pokorny 1951 — Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—II. Bern, 1951.
- SINespČ — Slovník nespisovné češtiny. Historie a původ slov. Praha, 2006.

Т. М. Николаева

РУССКИЙ И ХЕТТСКИЙ — ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Задача у настоящей статьи простая. И в то же время почти безумная: проверить многолетние наблюдения Вячеслава Всеволодовича Иванова об инициальных структурах высказываний древнейших языков на данных разговорного русского сегодняшнего дня.

Что меня интересует? Два вида партикулярных кластеров: а) кластеры начала, инициальные; б) кластеры внутри высказывания.

Что такое партикулы? Об этом я писала многократно и им как отдельному языковому пласту посвящена моя книга «Непарадигматическая лингвистика» [Николаева 2008]. Повторю кратко: партикулы — это минимальные единицы коммуникативного фонда, из которых слагаются демонстративы, наречия, союзы, некоторые из них становятся частицами, артиклями, детерминативами. Но ни с одним привычным таксономическим классом они не совпадают, но только пересекаются.

Эти элементы интересуют Вячеслава Всеволодовича Иванова давно.

Так, связи микенского синтаксиса и славянского (через ряд переходных этапов) посвящена много раз цитируемая работа Вяч. Вс. Иванова 1979 г. [Иванов 1979]. Обращаясь в основном к микенским данным, Иванов считает сам принцип нанизывания энклитических элементов на начальное опорное слово (речь идет в основном о местоименных элементах) общим индоевропейским принципом. Очень важно его положение о том, что «Сам по себе вводящий элемент при этом может не иметь точно фиксированного значения, поэтому он может характеризоваться тем пучком разных функций (от междометной и дейктической до союзной), которые устанавливаются и для начальных элементов славянского предложения» [Иванов 1979: 42]. Так, он, в свете этих идей, сопоставляет славянское **to-*, ср. русск. *то-же* и хетск. *ta*. Такой элемент он называет катализатором. Особое внимание в этой его работе уделено катализатору **e* (ср. русск. *э-то, э-во* и т. д.). Этот катализатор Вяч. Вс. Иванов отождествляет этимологически с аналогичной частицей **e/o*, вводящей предложение в анатолийских языках; возможно, именно он является «аугментом» при греческом аористе и имперфекте.

Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов ([Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356] и далее) выделяют «реляционные элементы», являющиеся послелогом по отношению к именной составляющей и превербам по отношению к глагольной составляющей, и собственно частицы. Первая группа в этом случае составляет правую часть (компоненту) простого предложения. Частицы же, уже обладающие заданными функциями, составляют левую компоненту. Среди них выделяются частицы

инициальные: **nu*//**no*, **t[h]o*, **so*, **e/o*. Функциональными эквивалентами, находящимися в дополнительном распределении с **no*//*nu*, то есть также занимающими инициальную позицию, являются частицы **t[h]o* и **so*//*su*. Инициальной, вводящей, была также и частица **e'o* (в лувийском выступающая как **a*). Второе позиционное место (то есть середину левой части) занимают местоименные элементы субъектно-объектного характера. Так, для 3 лица единственного числа именительный падеж представлен через **-os*, именительный-винительный среднего рода через **-ot[h]*, дательный падеж через **-se*//**si*, винительный — через **-om*. Наконец, крайнюю правую позицию левой компоненты занимают частицы, имеющие видовое или локальное значение.

Особое внимание в фундаментальном труде Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359] уделяется элементу **no*. *No* сопоставляется с древнеирл. **no*, литовским *ni-*, общеславянским **nŭ*, старославянским *nŭ*. Существенно то, что он (и его функциональная семантика) входит в современные начинательные (для высказывания в целом) сентенциальные наречия. Он, таким образом, близок и русскому *ныне*, и английскому *now*. Из «частиц», в первоначальной своей функции подчеркивающих и выделяющих одно какое-то полнозначное слово, возникал синтаксически полноценный тип присоединения высказываний в одно целое. Таковы, например, греческие частицы и сходные с ними по функции [Мейе 1938: 375]. Ср.: сходное по функции русское *же*: *Я уговаривал его попросить прощения. Он же никак не соглашался.*

Итак, *no* возводится без особых разногласий к **ni-*, коннектору-актуализатору, передающее нечто актуальное и существенное сию минуту (то есть это семантика: 'вот-здесь-сейчас').

Это связано в свою очередь с реконструируемыми двумя формулами соединения предложения в древних индоевропейских языках. Обе они выводятся из первоначального бессоюзия, а соединяющие частицеобразные дискурсивные элементы впоследствии грамматикализуются.

1) Согласно первой модели, в абсолютном начале высказывания располагается комплекс клитик, отражающий дальнейшее развитие синтаксической цепочки из полнозначных слов. Комплекс этот как бы «навешивается» на первую, абсолютно инициальную единицу: **nu*//**no*; **t[h]o*; **so*; *e/o* [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 359]

Nu- являлось в этом смысле начинательным элементом. Приведем пример хеттского текста из книги [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 356]¹:

ni-uš-ša-an A.N.A. Ma-ad-du-ua-at-ta še-er za-ah-hi-ir («И они сражались за Мадуватту»); *ni-uš-ma-aš-kán LU IGI.NU.GÁL. LU.Û.HUB pi-ra-an ar-ha[pe]-hu-da-an-zi* («И они ведут слепого и глухого перед собой»).

2) Вторая модель соединения предложений в индоевропейских языках оформлялась из начального, так же бессоюзного, примыкания. Авторы делают вывод: «Таким образом, левая компонента индоевропейского простого предложения состоит из последовательности ячеек, заполняемых соответствующими частицами в

¹ Существенно, что это хеттское *ni-* переводится ими всюду как 'и'.

строго определенном порядке. Крайне левая ячейка представлена вводящими частицами, крайняя правая — частицами с видовой и локально-эмфатической семантикой. Между ними располагаются элементы, передающие субъектно-объектные отношения, в нормальной последовательности: субъектная частица {s}, косвенно-объектная частица {ó}, объектная аккузативная частица {o}» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 361—362].

В этом очень ясном описании остается все же неопределенным вопрос о том, можно ли считать партикулами **все элементы**, в дальнейшем начинающие выполнять роль превербов или предлогов?

Более определенная позиция относительно членения индоевропейского предложения выражена Вяч. Вс. Ивановым в его книге 2004 г.: «Более вероятным для хеттского и индоевропейского праязыка была бы модель, предполагающая функционирование начального комплекса энклитик как отдельной части предложения наряду с глаголом» [Иванов 2004: 48]. См. далее: «Наибольший интерес представляет разнообразие семантики частиц, входящих в такие комплексы в анатолийском. В них выражено все существенное, как бы сокращенный сгусток грамматической информации о предложении, выносимый в его начало как резюме статьи (...). В полисинтетических языках соответствующие по смыслу морфы инкорпорируются в глагольную форму (...). В языках второго типа можно принять двучленную схему предложения, включив множество обозначений субъектно-объектных отношений в глагольную фразу. В языках типа анатолийских это невозможно и предложение не менее чем трехчленно. Те группы частиц, с которых начинается в них предложение, включают и первое слово, которое вводит предложение и может быть проклитическим» [Там же].

Современная наука определила не замечавшееся ранее совпадение ряда партикул у глагола и имени. Вяч. Вс. Иванов назвал их «субморфами» [Там же: 30]. См.: «Выделение субморфов может оказаться полезным для установления связей между морфами, позднее разошедшимися, но восходящими к одному источнику. В то же время нелегко избежать опасности ошибочного объединения морфов, исторически друг с другом не связанных» [Там же: 31].

Но я обращаюсь к современному русскому языку. Мною использован Национальный корпус русского языка, составленный при ИРЯ РАН, и весь дальнейший материал, на который я опираюсь, взят именно оттуда.

Но сначала несколько слов об особенностях русского языка. Русская кодификация предпочитает графическую дистантность партикул. Поэтому в этимологических словарях будут представлены как отдельное слово *atoli, ajakže*, но русские комбинации *a + to + ли* (*А то ли еще будет!*), *a + как + же* (*А как же моя книга?*) будут рассматриваться только как словосочетания. Для меня же словосочетание вроде *Это вот как надо делать* предстает как *э + to + (в)о/е + ть + ка + къ надо делать*. Точно также *Кто это?* предстает как *къ + to + э + to*.

Графическому оформлению способствует и такой фактор как грамматикализация партикулярных сочетаний: одни из них, соединяясь, становятся местоимения-

ми: *нѣ* + *къ* + *то*, другие — союзами: *не* + *у* + *же* + *ли*, третьи — местоименными наречиями: *та* + *мѣ*. Наконец, некоторые грамматикализовались в изолированном виде и стали союзами, частицами, артиклоидами и под.

Что же именно определялось по данным Национального корпуса русского языка?

Определялись два фактора:

- В каких случаях в высказывании в неинициальной и нефинальной позиции появлялся кластер (скопление) партикулярных элементов?
- Существуют ли в современном русском разговорном языке тенденции к оформлению начала высказывания партикулярными кластерами и с какими именно партикулами это связано?

Из данных Национального корпуса русского языка ИРЯ РАН были выбраны данные живой публичной речи (беседы на ТВ, лекции, дискуссии и под.) и данные живой непубличной речи (разговоры на улице, разговоры дома, споры подруг и т. д.).

Всего в нашем распоряжении оказалось 1276 контекстов (развернутых синтаксических целых).

Таким образом, каждая партикула исследовалась на фоне как публичной, так и непубличной речи.

Какие же именно партикулы были мною отобраны? Специально подбирались два типа партикул:

1. Те, которые могут выступать в абсолютном начале высказывания: А, И, ВО + ТЪ, НУ, НО, ДА, ЧЕ-ГО, ЧЬ-ТО;
2. Те, которые, как правило, инициальными не являются: ЖЕ, ЛИ, ТО, НЕ (последняя партикула двуфункциональна).

Результаты исследования излагаются по следующей иерархизованной схеме.

- Партикулы, как правило, **грамматикализованные** настолько, что могут употребляться изолированно и иметь свое функциональное место в грамматике.
- Партикулы, вошедшие в **фразеологизованные** словосочетания.
- Кластеры партикул, группирующиеся **вокруг местоимения**.
- **Чего?** или **Что?** — различие в функциональной нагрузке в вопросе.
- **Ну** — звукоподражательное междометие или скрытая архаика?

Можно заранее себе представить, что ряд положений, излагаемых в настоящей статье, и даже конечные ее выводы будут восприняты по крайней мере скептически (если даже не удивленно). Эти предполагаемые реакции определяются, как представляется автору, следующими презумптивными установками: во-первых, как уже говорилось выше, словосочетания рассматриваются с «точки зрения партикул», поэтому выражение вроде *Вот оно как!* предстает как (*ѵ*) + *e/o* + *t(ъ)* + *он* + *e/o* + *κ(V)* + *къ*, хотя автору прекрасно известно, что «на самом деле» с точки зрения «нормальной лингвистики» это выражение состоит из трех слов, принадлежащих к разным частям речи: частицы, местоимения и местоименного вопро-

сительного слова; во-вторых, почти невозможно представить себе, что современный русский язык может хранить в почти неизменном как в плане выражения, так и в плане содержания виде элементы самой глубокой индоевропейской архаики (прежде всего это касается частицы *ну*). Однако подобные проблемы обсуждались, как кажется, достаточно аргументированно в моей статье о «скрытой памяти» языка [Николаева 2002].

- Итак, изолированно, как правило, употребляются частицы **грамматикализованные**, то есть вошедшие в привычную частеречную таксономию. Такова, например, отрицательная частица *не*:

Какой ты сдержанный, даже не похоже на тебя; Фильмов пока новых не посмотрел; Монитор не работает с этой платой; Почему дома учиться не осталась?; Троллейбуса полчаса не было.

Таков и противительный союз *но*:

Есть просто МЗЗ, но он нужен; Есть какие-то училища, но ниче приличного; Там, конечно, красиво все, но жить там невозможно; Стажировался у Карояна, но Кароян оттуда ушел.

Грамматикализации подверглась частица *и*, превратившаяся в сочинительный союз:

Просто приходишь к Толстяку попить чаю и записываешь все; Пришел за необходимым и решил себе взять еще всякого для развлечения; И на сиденье? — И на сиденье; Голосование проходило и на официальном сайте Премии, и основной масштабный удар по голосованию был сделан на выставке-форуме.

Фамилия вам безусловно известная, кроме фонетики и фонологии он еще много занимался проблематикой языковых союзов.

Необходимо обратить внимание в последних примерах, что во всех случаях *и* выступает в функции сочинительного союза в пределах **одного** предложения.

Не всегда вопрос об изолированном употреблении частицы является столь простым. В потоке речи возникает подобие бинарного дистантного изолированного кластера частиц, каждая из которых уже грамматикализована. Такова, например, ситуация с *а* в функции сопоставительного союза, так как во всех представленных примерах *а* обязательно сопровождается частицей *не*:

Большое количество фирм не представляет на наше требование таких данных, а пытаются финансировать свою продукцию; Цены растут, а зарплата не прибавляется; Часть вопросов анкеты выглядят любопытно с точки зрения даже не коррумпции, а оценки деятельности; Сегодняшний акцент — сохранить этот строй, а не менять его.

- **Фразеологизация** в известной степени есть нечто, родственное грамматикализации. Поэтому из интересующего меня корпуса данных были удалены (и выявлены) отработанные временем фразеологизованные словосочетания

партикул, ставшие как бы единым целым. Частеречно это были, как правило, сочетания местоимения с частицей и знаменательным словом, но могли быть только сочетания партикул или даже одной партикулы со знаменательным словом:

А как вы считаете /; А вы как считаете /; А дальше что /; А что дальше /; А что это за (праздник) /; А что касается... /; А по большому счету... /; А мне кажется /; А почему /; А ты что.

(Ты больной), что ли /; (У тебя на мейле), что ли /; (Сварить), что ли, (первое ему) /; (Странноприимный дом), что ли /; (В три часа), что ли /; (Вот эти), что ли /; (Коробку эту круглую), что ли /; (Ну что здесь только один продавец, что ли).

(Там совсем другой), понимаешь ли, (образ) /; (Но в общем), понимаешь ли (это такая эстрадная манера) /; (Там), понимаешь ли, (уже тесное общение) /; (И ты), понимаешь ли (значит ну выгородка стоит ширмами).

Ну да; Ну давай; Ну ладно; Ну вот; Ну надо же.

Да ну; Ну это да; Ну как вы; Ну и что.

Не надо (здесь скандалить) /; Не знаю (?).

Да что ты /; Ну и что же /;

Да ладно /;

И что /; И что там /; И вот.

Вот такие (дополнения) /; (Общие) вот такие /;

Вот так /; Так вот /; Вот это..; Вот и все.

Вот видите (уже подобрались отличные игроки) /; Вот видите (разные мнения) /;

Это же (несерьезно) /; Это же (само получилось) /; Это же (бюджетники) /;

Опять же (вашиими словами) /; (Ну как «цапля» например там... «на цыпочках») опять же /; Опять же (хочется спросить) /; (Ходят смотря) опять же (воспитывают);

А как же.

Возможно, в русском языке таких фразеологизованных словосочетаний на базе партикул гораздо больше; возможно и то, что часть приведенных примеров — это не фразеологизмы, а настоящие партикульные кластеры. Однако в любом случае приведенные примеры опровергают распространенный тезис о том, что одни только частицы (партикулы) быть законченным высказыванием не могут.

- Двигаясь от более очевидных фактов к менее очевидным и потому, быть может, более интересным, я хочу обратить внимание на тесную связь партикульного кластера с местоимением, которое часто помещается внутри кластера, что, впрочем, необязательно.

На не совсем понятную связь местоимений друг с другом, когда наличие одного из них предполагает обязательное наличие другого, которое в других ситуациях может быть опущено, обратила внимание в своих работах о местоимении я И. Фужерон [Фужерон 2004; 2007 и др.]. Приведем несколько ее примеров: *Я тебе сразу позвоню, как только что-нибудь узнаю; Я его совсем не знала; Может быть, я чего-то не понимаю.* Во всех этих примерах я опустить нельзя.

Множество примеров подобного рода находим в Национальном корпусе русского языка:

Юрий / а *вы* что слышали; А какие *они*/ это уже другой вопрос; А почему *вы* так считаете; А уже даже сказал *кто-то*; Да *он что-то* говорил; А *вы* как к нему относитесь; А *кто* не хочет/ тот ничего и не увидит; Союз предпринимателей/ *они* сами / а не *кто-то* там еще; Подождите/ а это *что мы* не можем трактовать как меру забывчивости; Вот *мы* и пытаемся выяснить / как нам заставить *их*; Визуальный ряд / а как нам с *вами* прекрасно известно, в клипе самое главное/ это визуальный ряд; Там вообще *всем* все равно, как *кто* любит / с кем когда; Не, ну а *ты что* думаешь; А *что* это *вы* тут делаете; *Ты* дай *ей-то* что-нибудь почитать; Ааа/ ну слава Богу/ а то я уже напугалась; А то я уж подумал/ может/ заболела; А чего ж *ты* у меня не спросила; Но *ты* понимаешь/ надо это мне просто позвонить; *Вы* нашли *ему* работу-то; А как *он* достал-то; Слушай / ну как *ты* съездила-то; Я же килограмм-то лука для *меня* когда-то заказывали; Но я с *ней* решила поговорить/ ну/ интересный человек; Ну и за *кого они* будут голосовать; Нет/ я еду не к Алене/ ну, к *ней* конечно тоже; Ну *вы* помните/ *мы* собирались/ наверное/ год назад; Например.... Там... ну *меня* в этом *никто* не поддерживает; Ну, приду я к *нему* / *он* *меня* выслушает; Ну, *она* типа сказала, что я с *ней* не хочу больше встречаться из чувства мести; Это *она* мне говорила, что не глупая; Так *ты* мне договорить не дала; *Тот* мне чем-то не понравился; Только вот *мне* кажется, что *она* тут как-то здоровее, что ли; Но *она* реально симпатичная, *мне* *она* нравится.

Число приведенных примеров можно увеличить в десятки, если не сотни, раз. Анализируя их, легко увидеть две тенденции: а) местоимения тянутся друг к другу; б) местоимения почти всегда окружены партикулами: частицами, союзами, междометиями.

Интерпретировать эти данные нетрудно. Может быть, труднее выстроить иерархию причиннообразующих факторов.

Во-первых, партикулы чаще всего возникают в не первой абсолютно реплике. (Более подробно об этом будет говориться ниже.) Естественно, и местоимения, как правило, выполняющие анафорическую, то есть заменяющую функцию, встречаются также в не первом абсолютно высказывании. Для живой разговорной речи не первым можно считать и высказывание, вообще предваренное **чем-то**: например, невербальным действием. Скажем, если человек, долго отсутствующий, входит, его могут встретить фразой: *Ну, как вы отдохнули?* или *Ну, как Вам они понравились?* (если объект речи известен заранее).

Во-вторых, сами местоимения (не 1 и 2 лица обоих чисел), как уже давно определено лингвистами, сами восходят по большей части к кластеру партикул, вроде *о + нь*, *то + ть*, *къ + то* и т. д. Грамматикализовавшись, они объединяются в одной парадигме с местоимениями не партикулярного происхождения, которые тоже втягиваются в эти разговорные модели.

Наконец, напомним, что установка настоящей статьи — показать следы глубокой архаики в современном русском языке, в его живой речи. Эта попытка есть еще одно стремление выявить «скрытую память» языка. В моей статье [Николаева 2002] в качестве одного из критериев наличия «скрытой памяти» приводится возможность для носителя языка «сказать и так, и так», и обе структуры будут пра-

вильными. И в примерах, приведенных выше, можно местоимения заменить, например, на имена собственные: *Ну, приду я к Сергею / Сергей меня выслушает; Но Маша реально симпатичная, мне Маша нравится* и под. Но почему-то число таких примеров в Национальном корпусе ничтожно мало. И здесь мы сталкиваемся с той оппозицией, вернее, с тем полем, на которое еще не ступала нога лингвиста: а именно — с разницей между примерами **возможными** и **правильными** и примерами **реальными**.

- Партикулы тянутся друг к другу и без местоименного центра. И именно начало высказывания бывает украшено таким партикулярным пучком².

Ну а так вот / бежать и как бы стучать / это тоже не очень-то приветствуется;

Ну а что (че) тут сказать; А вот что значит почти / я не совсем поняла; Там понимаешь ли уже тесное общение / уже когда просто это / ну вот Маршалл она всегда вызывала такие / понимаешь/ ответную реакцию у всего зрительного зала/ но это опять-таки / это так сказать...ну...вершина что ли; Ну что ж / будет с чего начинать следующую часть нашей беседы; Ну вообще вот это / Грызлов/ орден; Ну это / прикольно/ конечно; Ну что ж это/ дождь никак не кончается; Ну так это в четверг; Чего так; Ну и чего там; Ну а чего рассказывать-то;

Но как-то чувствую/ так сказать; Да так не очень-то / на два хозяина; И вот почему; И тут / было мнение; Вот/ но как-то с Майклом я / честно говоря /не знаю.

Кластеры партикул могут быть дистантными: *Да это в принципе-то не от цвета волос зависит* (да + е + то + то); *А почему нет-то* (а + то); *А по новой переписываться / это уже только на начало сентября* (а + е + у + же + то + ли + ко); *Слушай, ну как ты съездила-то* (ну + ка + кь + то); *Так что погода-то теплая / но дождь* (та + кь + чь + то + то).

Может казаться, что кластеры возникают в центре высказывания, но на самом деле это тоже паратактическое начало, поскольку в разговорной речи внешние и внутренние союзы различаются просодически мало:

На жаре я там не хочу жариться/ но так вот / в хорошую погоду/ немножечко хоть подзагореть; Они ж целый день только на гондолах разъезжают / но они же деньги зарабатывают; ну а струнных у нас конечно очень мало/ но тем не менее в Малом зале вот мы как-то так усядемся / и.. такие не очень громкие симфонии / там ну такие как там Моцарт что-нибудь / даже там Брамс иногда играли; Она же пришла и сказала / что ей очень нравится Оля / помнишь она говорила /когда пришла / что вот Оля.. а потом поменяла мнение; Это предположим / не самое мое любимое / но это вполне себе / вкус там и так далее; И вот если там выдаст она эту возвышенную пошлятину / которую она время от времени порет/ мы ее прямо спросим об этом как это / получается.

Естественно возразить, что партикулы (часто изолированные и грамматикализованные) могут не начинать, а заканчивать высказывание: *Хоть кто-то приехал к ней / да; Что-то сильно много/ да; Но подлечили хорошо/ надо сказать / да*

² Интересно, конечно, сравнить пучки инициальных партикул в живой речи и в пьесе, пусть даже активно имитирующей живую речь.

ведь. Очень тонкий и подробный анализ заканчивающей высказывание партикулы *a* с ее побуждающей иллокутивной семантикой дано И. А. Левонтиной [Левонтина 2000]. Левонтина сравнивает *a* с другими заканчивающими высказывание компонентами, например, с *да*. Она совершенно верно говорит о невозможности перевода подобных конструкций, но все же в заключение в ее статье говорится о том, что *a* «вовлекает в диалог». Следовательно, это тоже начало, точнее мостик к началу реплики Другого, ее преддверие.

- Следующая проблема — различие в живой речи *чего?* и *что?*, как будто употребляющихся почти синонимично, причем *чего* звучит как грубая ошибка малоинтеллигентного человека, путающего родительный и именительный падежи вопросительного местоимения.

Действительно, иногда это выглядит так:

У Иванова спроси / может / он чего знает; Чего там написать можно; Вот чего я хотела сказать; Я / знаешь / чего / я вот это возьму; А чего она такого делала-то; Мам / чего мне надевать; Ты чего / Мить.

В некоторых случаях *чего* с такой же несомненностью является именно родительным падежом (см. соотв. управление): *В честь чего салют; У нас и животик, и кашель, и насморк, и чего только нет; А от чего они; А по поводу чего хотела нахамить*.

И все же в ряде случаев очевидно, что *чего* приобретает в живой разговорной речи значение ‘почему’, ‘зачем’ и несомненно является их речевым синонимом:

А чего ж ты у меня не спросила; Чего так; Чего ты мерзнешь; Чего к Пушкирковой на дачу не поехали; Ну/ чего они там встречаются; Ну, чего я тебе объясняю; Люсь/ а ты чего звонишь и т. д.

Разумеется, во многих случаях подобного рода можно (и нужно) заменить это *чего* на *что* или *почему, зачем*. Можно и, напротив, пренебрегая нормой, в ряде высказываний заменить *что* на *чего*:

А что это вы тут делаете; А ты что думаешь; Ты что не звонишь; Что мне делать с головой; Ну что ж это дождь не кончается.

Однако есть языковые ситуации, когда *что* невозможно заменить на *чего*, даже в речи малообразованных людей. Это — *что* после *verba dicendi* или близких к ним, когда *что* начинает придаточное предложение:

Ну, она типа сказала, что я с ней не хочу больше встречаться из чувства мести; Я сказал, что я мщу тока своим врагам, а она для меня уже никто; Она типа мне сказала, что это я — «никто»; Это она мне говорила, что не глупая; А мне кажется / что много; Только вот мне кажется / что она тут как-то здоровее / что ли; Почему-то я уверена/ что тут у меня будет возможность заработать на свой кусок хлеба с маслом; Вообще / мне/ конечно / говорили / что Москва / это жестокий город/ который ошибок не терпит и не прощает; А не боишься / что после универа начинать поиск уже поздно будет; Вот он решил что только так и надо;

Сказала что в воскресенье к нам заглянут; Я потому и говорю что / там мне «ой! Ну что-о вы?».

Таким образом, *что* и *чего* «состязаются» в инициальной позиции, особенно окруженные другими кластерами партикул. Более того, *чего* как бы раздвоилось: с одной стороны, оно стало родительным падежом от *что*, войдя в его парадигму, с другой стороны, оно стало его же синонимом, приобретя дополнительный оттенок вопроса о причине. Почему? И здесь необходимо обратиться к диахронии. *Че-го* содержит ту же партикулу *-го*, что и *је-го*, *сине-го* и т. д. Об этой партикуле написано довольно много.

Так, достаточно подробно об этом пишет А. Мейе [Мейе 1938: 349]: «Что касается элемента *го*, то он может быть частицей, сохранившейся в славянском языке в составе сложной частицы *не-го* (после сравнительной степени) и соответствующей скр. *gha*, подобно тому, как же соответствует скр. *ha*. Таким образом, родительный-отложительный падеж должен был иметь старую форму **ta-go*, изменившуюся в *то-го* под влиянием других форм склонения: дат. п. *томуо*, местн. п. *томь*, возможно, также под влиянием сохранившегося старого род. п. **to-so*, так как показатель **-so* сохранился в вопросительном неопределенном местоимении ЧЕСО. К тому же, вполне вероятно, что употребление *то-го* как родительного-винительного падежа является древним; в самом деле, если, как мы предположили в п. 470, старое конечное **-on* дает **to* и **ть* в зависимости от выразительности, с какой произносилось окончание, то старый вин. п. **ton* должен был дать *то*, когда хотели подчеркнуть его указательное значение, и вин. п. *то-го* должен был бы явиться фонетически. И действительно, старое **jon* дает, с одной стороны, энклитическое анафорическое (указательное) местоимение *и* (*jъ*), которое в именительном падеже имеет эту форму даже в тех случаях, когда речь идет об одушевленных предметах, а с другой — ударный винительный падеж относительного местоимения *је-го* для названий одушевленных предметов. Тот факт, что тип *то-го* сохранился для названий лиц и вообще одушевленных предметов, хорошо объясняется вопросительно-неопределенным местоимением *ко-го*, противопоставляемым род.падежу *че-со*, сохраненного для названия неодушевленного предмета. Поэтому совпадение род.-отложит. п. *togo*, (замещающего **tago*) и вин. п. *togo* можно считать чисто случайным. Таким образом, употребление общей формы для родительного-отложительного и винительного падежей единственного числа мужского рода названий одушевленных предметов становится вполне ясным».

Со времен А. Мейе по этому вопросу накопилась большая исследовательская литература. Так, например, в книге Ф. Шпехта [Specht 1947: 364] написано, что славянские генитивно-аблативные конструкции на *го* состоят «demnach aus Zusammenrückung der slav. Stämme *jo-* und *to-* mit dem Pronominalstamm *go*. Dabej verhält sie *go* zu *ko* (...). Da *k* und *g* im Anlaut wechseln, kommen Formen wie lat. *hic* aus **ho-ce* mit *ke* dem *go* in slav. *to-go* sehr nahe». [«эти конструкции состоят из комбинации славянских корней *jo-* и *to-* с прономинальным корнем *го*... Так как *k* и

g в анлауте могут заменяться, то формы типа лат. *hic* < **ho-ce* с корнем *ke* очень могут быть близки к слав. *то-го*»].

Разнообразные взгляды на этот предмет изложены в статье К. Шилдза, специально посвященной окончанию *go* у славянских местоимений в родительном падеже единственного числа [Shields 1997]. Говоря коротко, его позицию можно свести к двум основным положениям:

1. *-Го* — это одна из наиболее распространенных и частотных частиц (частиц) индоевропейских языков. («A particle in **ghe* / *o* is traditionally reconstructed for Indo-European» [Ibid: 87]). В русском языке (и других славянских), употребляемая изолированно, она известна как *же*. В своей первоначальной форме она сохраняется в сравнительной частице *не-го*.
2. Местоимения в целом отражают более архаичную парадигму, чем имена («it is generally recognized that the pronouns reflect a more ancient paradigmatic structure than nouns»).

Таким образом, генетически ЧЬ + ТО и Ч(Ь/Е) + ГО функционально являются тождественными (но *чего* в инициальной позиции заменяет бывшее архаическое *че + со*). Это еще один довод в пользу существования «скрытой памяти» языка.

Последний вопрос, затрагиваемый в настоящей статье, — это вопрос о возможности / невозможности описать семантику русской частицы *ну*. В Этимологическом словаре славянских языков [ЭССЯ 1999: 31] говорится, что «Праслав. **nu* — исконно, вероятно, междометие звукоподражательного происхождения, ср. соотносительные по функциям **na*, **no*, **ny*. На и.-е. уровне можно говорить лишь об элементарных соответствиях». Функциональная семантика этого русского слова описывается так подробно и так разнообразно (вплоть до загадочного «усиливает выразительность речи»), что вызывает некие подозрения, которые я в дальнейшем надеюсь подтвердить. В диалектной русской речи *ну* часто употребляется в функции противительного союза (впрочем, это не отрицается и в ЭССЯ 1999). Так, Р. и Л. Касаткины приводят примеры: *Девка на личность хорошая, ну маловата; Ели плохо, кормили нас — пятисотка. Ну я ее не ела, пятисотку, я всегда двести грамм добавочного получала; Она понимают по-русски, ну говорить очень чужало* и под. [Касаткины 2004: 92—93].

Национальный корпус русского языка демонстрирует богатейший свод примеров с *ну*, которое оказывается практически доминирующей не первой репликой. Под «не первой» я понимаю вербальную реакцию на что-то предшествующее. Оно может быть вербальным: *Расскажите же, как там было!* или невербальным: например, человек входит в комнату после отпуска и его встречают: *Ну, как? Понравился Таиланд?*

В отличие от предшествующих элементов, *ну* различается по тому, употребляется ли эта частица в публичной или в непубличной речи. Заранее скажем: в публичной речи ее семантика менее диффузна, и можно, хотя и с трудом, выявить несколько отличающихся друг от друга семантических параметров.

Например, *ну* может выступать, вводя **пояснение**:

Но я с ней решила поговорить / ну / интересный человек / и она начала себя вести / как больная; Но / возвращаясь к теме доклада / ну / об одной перспективе я сказал / до 15 % электората в ближайшие годы / это совсем не плохо; Ну/ им деваться некуда; Нет/, ну по крайней мере он знает / что ему хватит и на образование / и на..; Поэтому «знаменитая певица» / ну это правда / не обо мне; Ну есть первый этап / второй этап;

— вводит **пример**:

Ну / Болгария / Прибалтика вся / Польша / Словакия..; Ну / Бузникин / он разноплановый игрок; Почему нам / болельщикам / запрещают зажигать фэйера... ну использовать пиротехнические средства; Это обязательное лечение / максимально хорошее из того/ что возможно в пределах России / ну/ естественно питание/ отдых; Такие люди... ну я не знаю... как Борис Гребенщиков; Был очень хороший в конце пятидесятых / ну до конца шестидесятых; Ну вот/ например/ как бы я помогла;

ну в центре высказывания часто вводит **чужую прямую речь**:

Он говорит / ну/ нормально; Хорошо / ну «знаменитая» / это не нам судить;

ну сопровождает **реплику-ответ**:

Ну естественно; Ну / а что в этом плохого; Ну / это к вопросу о том/ что война будет / в любом случае; Ну раз это было/ я думаю/ это для нас урок; Ну/ кричать вообще не хочется; Ну конечно / бицепсы/ во-первых; Ну / и еще какие варианты; Ну/ конечно/ «Матрица».

Однако в большинстве примеров ну является неким абсолютным началом, но в то же время началом-ответом, то есть не первой репликой (лектор начинает, видя собравшуюся аудиторию):

Ну/ по той теме/ которая сегодня обозначена/ трудно сделать всеобъемлющий доклад; Ну/ для начала / конечно/ хотелось бы избежать дефиниций; Ну что ж/ будет с чего начинать следующую часть нашей беседы; Ну/ вы помните/ мы собирались/ наверное/ год назад/ и были вопросы смены цвета.

Подобные примеры можно легко умножать.

Несколько иную картину демонстрирует ну в непубличной речи. Чаще всего — это просто начало каждой реплики при разговоре:

Ну, она типа сказала, что я с ней не хочу больше встречаться из чувства мести; Ну, у нее сначала любовь-морковь была ко мне, все дела; Ну реально позвони сама туда; Ну это-то еще он заработал/ как я поняла/ в армии; Ну как можно идти на работу в такую погоду; Ну сказали / что уже к Пасхе будет тепло; Ну мы с Наташкой с сестрой ходим на балет и т. д. Только в некоторых случаях можно увидеть отчетливую семантику побуждения: Ну/ что здесь только один продавец что ли или подтверждения: Слушай/ ну кошмар/ конечно. Именно эта размытость семантики разговорного ну порождает, как кажется, обилие фразеологизмов с этой партикулой: Ну/ давай; Ну что; Ну ладно; Ну надо же; Да ну; Ну это да;

Ну как вы; Ну не знаю — чувствуется, что именно такое *ну* нуждается в подкреплении другими частицами.

Выше говорилось о несколько подозрительной по разнообразию спектров семантике *ну* в этимологических словарях. Представляется, что здесь именно применимы слова В. Н. Топорова по поводу и.-е. **lai*: «Вместо того, чтобы ориентироваться на поиск единой и достаточно четко очерченной формы, в которой можно было бы видеть первоисточник всех остальных (или, по меньшей мере, форму, наиболее близкую к нему), в данном случае целесообразно сменить установку и считать именно этот хаос первичной (или ранней, или — еще точнее — периодически возникающей и в той или иной мере всегда присутствующей) ситуацией, из которой только и можно определить — поневоле обобщенно и лишь с определенной степенью вероятности, — каким образом из флуктуирующей совокупности фактов выделился и подвергся категоризации элемент» [Топоров 1984: 426]. Таким образом, наше русское *ну* представляется некоей не имеющей точной семантики единицей.

Обратимся — сквозь тысячелетия — снова к хеттскому *ni*. Как пишет Вяч. Вс. Иванов (январь 2008; личное письмо): «С точки зрения сравнительной фонетики (вост.-)славянское “ну” отличается от “но” < др.-русс. НѢ < и.-е. Nu. Начальное “ну” < праслав. Nu должно восходить к *neu- (если бы не дифтонг, ожидался бы “ер” *ъ=и сверхкраткое, как в противительном “но”). Но такая реконструкция возможна и в случае хеттского *ni*, которое либо из **ni*, либо из **neu*». Напоминаю, что хеттское *ni* Гамкрелидзе и Иванов переводят как «и вот», «и», а семантику этой частицы Вяч. Вс. Иванов характеризует как «знак продолжения рассказа. Чаще всего что-то должно предшествовать. Но самостоятельного значения у этого знака нет» (февраль 2008, личное письмо). Вяч. Вс. Иванов прислал мне далее по почте соображения нидерландского хеттолога, женщины, работающей в Чикаго, которая считает, что *ni* все-таки имеет значение. Так, если король не знает своего преемника, он употребляет просто *kwi* ('кто'), если же в начале добавлено *ni*, преемник известен. Исследовательница спрашивает (о других языках): «Do they have the same phenomenon, or is it typically Hittite?». Итак, в современном русском, если мы спросим: *Кто у нас выбран?* (это, может быть, и никто!), но: *Ну, кто у нас выбран?* — явно предполагает избрание состоявшимся. Или другой пример: X встречает свою одноклассницу, которую не видела давно, и спрашивает: *Кто у нас родился?*, имея в виду детей или внуков, но где-то все же допуская, что не родился никто. Вопрос: *Ну, кто у нас родился?* предполагает, что X известно, что кто-то обязательно должен родиться и что сведения эти свежие (тем самым в *ну* где-то гнездится и *нынѣ*, и *now*, соотносимые с хеттским *ni*).

Заканчиваю свою статью тем, что некоторые мои соображения о сходстве русского *ну* и хеттской частицы были сообщены Вячеславу Всеволодовичу через океан и он ответил: «Очень вероятно».

ЛИТЕРАТУРА

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. Г., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. 1. Тбилиси, 1984.
- Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вс.* Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979.
- Иванов 2004 — *Иванов Вяч. Вс.* Лингвистика третьего тысячелетия. М., 2004.
- Касаткины 2004 — *Касаткина Р. Ф., Касаткин Л. Л.* Некоторые текстовые коннекторы в региональных и социальных разновидностях русского языка (*а, но, ну*) // *Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей*. М., 2004.
- Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938.
- Николаева 2002 — *Николаева Т. М.* «Скрытая память» языка: постановка проблемы // *Вопр. языкознания*. 2002. № 4.
- Николаева 2008 — *Николаева Т. М.* Непарадигматическая лингвистика (история «блуждающих частиц»). М., 2008.
- Топоров 1984 — *Топоров В. Н.* О специфике балт. **lai* и его индоевропейских параллелей: на стыке морфологии и синтаксиса // *Балто-славянские исследования*. 1983. М., 1984.
- Фужерон, Брейар 2004 — *Фужерон И., Брейар Ж.* Местоимение «я» и построение дискурсивных связей в современном русском языке // *Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей*. М., 2004.
- Фужерон 2007 — *Фужерон И. И.* «Я» и его капризы // *Язык как материя смысла: Сб. ст. в честь акад. Н. Ю. Шведовой*. М., 2007.
- Левонтина 2000 — *Левонтина И. Б.* Русское финальное *a?*: портрет невидимки // *Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к 70-летию акад. Ю. Д. Апресяна*. М., 2000.
- ЭССЯ 1999 — *Этимологический словарь славянских языков*. Вып. 26. М., 1999.
- Shields 1997 — *Shields K.* On the origin of the Slavic pronominal genitive singular ending *-go* // *International journal of Slavic linguistics and poetics*. XLI. 1997.
- Specht 1947 — *Specht Fr.* Der Ursprung der Indogermanischen Deklination. Göttingen, 1947.

ГРАММАТИКА,
ЛЕКСИКА,
ТИПОЛОГИЯ

Ю. Д. Апресян

ПРИНЦИПЫ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ*

Вячеславу Всеволодовичу Иванову с любовью

В этой статье речь пойдет о проекте активного словаря современного русского языка, работа над которым началась в 2006 году; общее представление о нем можно получить по [Апресян 2007]. Он в известной мере продолжает традиции толково-комбинаторной лексикографии (см. [Мельчук, Жолковский 1984]), но непосредственно основан на принципах, отчасти уже реализованных в [НОСС 2004].

Одной из научных задач, которую хотелось бы в нем решить, является системное описание многозначных слов. Лексическая многозначность в настоящее время достаточно хорошо изучена (см. [Апресян 1974; Падучева 2004; Кустова 2004; Розина 2005; Зализняк Анна 2006] и мн. др. работы), чтобы можно было приступить к лексикографической реализации накопленных идей.

Следует подчеркнуть, что нас в равной мере будут интересовать и научные, и прикладные аспекты начатой работы. С последним обстоятельством связана как форма изложения материала, так и упрощенность языка описания: он приближен к тому языку, который предполагается использовать в словарных статьях словаря.

1. Главный принцип разграничения лексем

Лексемой называется слово, рассматриваемое в одном из имеющихся у него значений, но во всей совокупности присущих ему в этом значении свойств. К их числу относятся фонетические, морфологические, синтаксические, комбинаторные, семантические, коммуникативно-просодические и прагматические свойства. В состав семантических свойств включаются синтагматические семантические правила, или правила взаимодействия с другими единицами языка в тексте, и па-

* Данная работа была поддержана грантами РГНФ № 06-04-00289а, 06-04-00090а и грантом программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории». По своей проблематике она примыкает к ранее опубликованной статье [Апресян 1999]. Догматическая форма изложения (без подробной аргументации, без сопоставления с другими возможными трактовками, без детального сравнения с данными других словарей) объясняется ограниченностью места. Подчеркнем, однако, что предлагаемые решения во многих отношениях принципиально отличаются от принятых в традиционной лексикографии.

радикальные семантические связи лексемы в словаре, т. е. синонимы, аналоги, антонимы, конверсивы и дериваты.

В соответствии с этим считается, что два употребления данного слова принадлежат разным лексемам, если они различаются какими-то из перечисленных свойств и при этом не могут быть получены друг из друга с помощью простого правила (такого, условия которого верифицируемы и немногочисленны). Если же одно из таких употреблений может быть получено из другого с помощью простого правила, оно считается особым употреблением той же лексемы. Технически это значит, что чем больше различий обнаруживают два употребления слова по указанному набору свойств, тем больше вероятность того, что они представляют разные лексемы слова.

Рассмотрим две лексемы слова *пример*: *пример 1* (ср. *нравственный пример для всех нас, следовать примеру отца, подавать кому-л. пример*) и *пример 2* (ср. *Поясню это на простом примере (простым примером), В качестве примера возьмем студенческие сочинения*).

Вообще говоря, возможны такие употребления слова *пример*, в которых эти две лексемы трудноразличимы и, по-видимому, представляют собою относительно редкие случаи совмещения значений. Так обстоит дело в словосочетаниях типа *учить (обучать, воспитывать) кого-л. на каких-л. примерах*; ср. *Меня воспитывали на разных положительных примерах* (В. Аксенов, Звездный билет), *Надо учить людей ... на конкретных примерах* (П. Нилин, Жестокость). Тем важнее понять, каковы различия между прототипами *примера 1* и *примера 2*.

Семантика. *Пример 1* = 'Свойства А2 человека А1, которые проявились в его поступке или поступках А3, вызывающие у других людей А4 желание подражать А1 в этом отношении'¹. *Пример 2* = 'Событие или явление А3, которое относится к классу событий или явлений А2, называемое человеком А1 с целью объяснить другому человеку А4, что такое А2, или показать свое знание А2'.

Семантические правила. Обе лексемы сочетаются с прилагательными *плохой* и *хороший*, которые, однако, имеют разные области действия (соединяется с разными смыслами) внутри их толкований. В случае *плохой (хороший) пример 1* предметом оценки являются свойства А2 или поступки А3 человека А1, между тем как в случае *плохой (хороший) пример 2* предметом оценки являются законность отнесения А3 к классу А2.

Управление. Лексема *пример 1* имеет четыре актанта, которые выражаются следующим образом: А1, *чей: ваш пример, пример старших*; А2, *чего / ПРЕДЛ: пример мужества (верности); пример (того), как хороший педагог должен вести себя с трудными детьми*; А3, *чего: пример энергичных действий*; А4, *для кого / кому / для чего: плохой пример для подчиненных (для рядовых служащих), Какой пример детям!*; *пример для подражания* (метонимическое выражение четвертого актанта). У лексемы *пример 2* тоже четыре актанта, но два из них — третий и четвертый — не

¹ По разным причинам мы предпочли переменные вида А1, А2, ..., Аi переменным вида Х, Y, Z, которые использовались в аналитических толкованиях раньше.

выражаются ее собственными синтаксическими зависимыми. Два других актанта выражаются так же, как у лексемы *пример 1*. А1, *чей: ваш пример, пример Петра*; А2, *чего / ПРЕДЛ: пример метафоры, пример удачного маневра, пример периодической дроби; В истории нет другого примера, когда бы ментальность народа изменилась столь радикальным образом за столь короткое время.*

Еще одно различие между *примером 1* и *примером 2* в области управления состоит в том, что у первой лексемы все ее четыре актанта несоподчинимы. Нельзя сказать **пример отца мужества, *папин пример мужества, *личный пример мужества, *пример отца энергичных действий, *пример отца для детей, *пример отца для подражания, *пример мужества для подражания, *пример энергичных действий для подражания. Между тем у примера 2 оба синтаксически выразимых актанта при некоторых условиях соподчинимы; ср. *Ваш пример дольщика неудачен.**

Сочетаемость. Лексема *пример 1* сочетается со следующими классами слов: а) прилагательными *заразительный* (*Такие примеры заразительны*), *собственный* и *личный* (*увлек всех личным примером*), а также с оценочными прилагательными *хороший, прекрасный, плохой, дурной, скверный* и т. п., но не с прилагательными *удачный, неудачный* и *наглядный* (ср. ниже *пример 2*); б) существительными со значением свойств, отношений и деятельностей (но, например, не занятий или состояний), обычно положительно оцениваемых; ср. *пример мужества* (*верности, великодушия, кротости*); *пример доброго обращения со стариками* (*добротного отношения к старикам*), *пример христианской любви к ближнему*; *пример правильного воспитания* (*добросовестной работы*); в) глаголами, подлежащее которых соответствует одному из актантов данной лексемы или неучастнику ситуации; ср. *показать* (*преподать*) *кому-л. какой-л. пример, воодушевлять* (*кого-л.*) *личным примером, Он был* (*служил*) *для меня примером* (подлежащее = А1); *Его доброта была* (*служила*) *для меня примером, Его энергичные действия служили для всех примером* (подлежащее = А2 или А3); *иметь перед глазами чей-л. пример, получать* (*обретать*) *пример для подражания, брать пример с кого-л., извлечь из этого примера урок, Я решил последовать его примеру* (подлежащее = А4); *ставить кого-л. в пример кому-л., приводить кого-л. в пример кому-л.* (подлежащее = неучастник ситуации); г) предлогами *по* и *на* (но не *для*) в качестве управляющих, ср. *по примеру всех христианских народов, (воспитывать) на примерах героев древней Спарты.*

Лексема *пример 2* сочетается со следующими классами слов: а) оценочными прилагательными *хороший, прекрасный, замечательный, удачный, наглядный, плохой, неудачный* и т. п., но не с прилагательными *заразительный, личный, дурной* и *скверный* (ср. выше **пример 1**); б) многими абстрактными существительными; ср. *пример метафоры, пример удачного маневра, пример периодической дроби*; в) связочными и экзистенциальными глаголами (ср. *Этого примера достаточно, Другого такого примера нет*), подлежащим которых, если исключить свободные словосочетания, может быть только первый актант лексемы: *брать* (*указать, называть, приводить*) *кого-что-л. для примера* (*Возьмем для примера хотя бы на-*

ших дипломатов); г) предложениями *для* и *на* (но не *по* в представленном выше значении) в качестве управляющих, ср. *для примера, на этом примере*.

Лексический мир. Синонимы *примера 1*: *образец (любви к ближнему), образец, эталон*; синоним *примера 2*: *иллюстрация*. У *примера 1* есть производное прилагательное *примерный* (ср. *примерное поведение*), у *примера 2* производных прилагательных нет.

2. Принципы упорядочения лексем

Словарная статья слова открывается основной лексемой. Обычно это лексема, с которой семантически связано наибольшее число других лексем данного слова. Она наиболее употребительна, обладает наиболее полной грамматической парадигмой, наиболее широким набором синтаксических конструкций, наиболее широкой сочетаемостью и наиболее нейтральна стилистически, прагматически, коммуникативно и просодически. За основной лексемой следуют другие лексеммы слова с учетом их семантической близости к основной лексеме и друг к другу; в ряде случаев они объединяются в блоки близких друг к другу лексем (см. раздел 3).

Главным средством определения степени семантической близости лексем друг к другу и, следовательно, средством их упорядочения в структуре словарной статьи слова являются толкования. Однако в практической лексикографии можно использовать некоторые более осязаемые, непосредственно очевидные, легко верифицируемые свойства лексем, отражающие их глубинные семантические свойства. Ниже они перечисляются в порядке падения их верифицируемости.

1) Формальная полнота грамматической парадигмы: при прочих равных условиях лексема располагается тем ближе к началу словарной статьи, чем более полную парадигму она имеет. Сокращение числа возможных для лексеммы грамматических форм, т. е. дефектность парадигмы свидетельствует о сдвиге лексеммы к периферии семантической структуры слова. Характерный случай дефектности парадигмы — отсутствие формы КР у некоторых качественных прилагательных. Например, у слова *больной* она возможна только для значения, представленного во фразах *больной ребенок (старик), больная лошадь, психически больная женщина*; ср. *Ребенок (старик) болен, Лошадь больна, Его жена психически больна*. Соответствующая лексема слова *больной* должна открывать словарную статью, т. е. фигурировать как основная. Остальные лексеммы слова реализуются только в полной форме и, следовательно, располагаются дальше от начала словарной статьи (оставаясь при этом качественными прилагательными); ср. *больной вид, больное воображение, больной вопрос, больное место* и т. п.

Похожим образом устроена семантическая структура прилагательного *здоровый*: форма КР допустима только в словосочетаниях *здоровый ребенок (старик), здоровая лошадь, психически вполне здоровый человек* (ср. *Ребенок (старик) абсолютно здоров, Психически они вполне здоровы* и т. п.) и, следовательно, представ-

ленная в них лексема предшествует всем остальным (*здоровый вид, здоровый румянец, здоровая пища, здоровая идея*)².

2) Семантическая полнота грамматической парадигмы: при прочих равных условиях лексема располагается тем ближе к началу словарной статьи, чем полнее набор возможных для нее грамматических значений многозначных граммем. Любое сокращение числа возможных для данной лексемы значений определенной граммемы (так сказать, дефектность семантической парадигмы) свидетельствует о сдвиге лексемы к периферии семантической структуры слова. Этот критерий имеет значение преимущественно для глаголов и, более конкретно, для граммем вида. Так, у моторно-кратных глаголов преимущество по этому критерию имеет значение разнонаправленного перемещения (*Два часа ходили по лесу*), потому что у него есть почти весь набор значений граммемы НЕСОВ — актуально-длительное (*Дети бегают по двору*), процессное (*Два часа ходили по лесу*), предстоящее (*Завтра я плаваю в бассейне «Чайка»*), узуальное (*Каждое утро он немного ездит верхом*), настоящее историческое (*Прочитав письмо, он вскакивает и долго ходит по комнате*), потенциальное (*Ребенок уже ходит, Вы ездите верхом?*), общефактическое результирующее (*Ты сегодня уже бежал (ездил верхом, катался на велосипеде, плавал)?*) и т. п. Для значения двунаправленного перемещения (*Я сегодня уже ходил в бассейн ≈ 'пошел и вернулся'*) возможны только узуальное и общефактическое результирующее значения граммемы НЕСОВ (*Он каждый день ходит (бегает, ездит) на рынок (за продуктами), Я сегодня еще не ходил за газетой*); значит, оно должно располагаться дальше от начала словарной статьи.

3) Богатство парадигматических семантических связей (лексического мира): при прочих равных условиях лексема располагается тем ближе к началу словарной статьи, чем больше у нее дериватов, синонимов, антонимов, конверсивов, а также производных и переносных значений. Глагол *беспокоить* имеет три лексемы, представленные во фразах (а) *Отсутствие вестей от мужа беспокоило ее* ('вызывать беспокойство', СОВ *обеспокоить*), (б) *Снова беспокою вас просьбами* ('причинять некоторое неудобство', СОВ *побеспокоить*), (в) *Нога не беспокоит?* ('причинять боль', СОВ нет). В МАСе лексема (а) подается на втором месте, а лексема (б) на первом. Между тем рассматриваемый критерий свидетельствует в пользу противоположного порядка. Лексема (а) превосходит лексему (б) по числу синонимов (*приводить в беспокойство, вызывать беспокойство, вызывать тревогу, стеснять душу* vs. *причинять беспокойство*) и дериватов (*беспокойство, беспокойный, беспокойно, обеспокоенный, обеспокоенность* vs. *беспокоящий*). Кроме того, у лексемы (а) есть конверсивы (*беспокоиться, волноваться, тревожиться, быть тяжело на душе, быть тяжело на сердце*) и антонимы (*Это известие обе-*

² Для словосочетаний типа *больное (здоровое) сердце*, в которых представлены, безусловно, основные лексемы обоих прилагательных, форма КР образуется менее свободно; в таких случаях следует усматривать особое употребление лексемы, которое характеризуется, в частности, как раз затрудненностью образования формы КР.

спокоило ее — *Это известие успокоило (утетишило) ее*). У лексемы (б) нет ни конверсивов, ни антонимов.

4) Богатство фразеологии: при прочих равных условиях и в той мере, в какой значение отдельных лексем различимо в составе фразеологических единиц, лексемы располагаются тем ближе к началу словарной статьи, чем больше число фразем, в которых они представлены. В МАСе у прилагательного *рабочий* выделяется два больших блока лексем: первый, связанный с существительным *рабочий* (*рабочее движение, рабочий класс, рабочие кружки, рабочий поселок*), и второй, связанный с существительным *работа* (*рабочие люди, рабочий скот, рабочие части машины, рабочее давление пара, рабочая обстановка, рабочие (и нерабочие) дни, рабочий чертеж* и т. п.). На самом деле и здесь правильный порядок — противоположный, в том числе и по рассматриваемому критерию: большая часть фразеологии прилагательного *рабочий* связана со смыслом ‘работа’, а не со смыслом ‘рабочий’. Ср. *рабочий день* (*Продолжительность рабочего дня — восемь часов*), *рабочая неделя, рабочие руки* vs. *рабочая сила* = ‘рабочие’.

5) Положение в семантической структуре языка: чем больше число семантических связей лексемы за пределами ее семантического класса, тем ближе к началу словарной статьи она располагается. По этому критерию рассмотренные выше лексемы со значением разнонаправленного перемещения (*ходить по двору*) предшествуют лексемам со значением двунаправленного перемещения (*ходить за хлебом*). Они связаны со следующими классами глаголов: а) непарными глаголами разнонаправленного перемещения типа *блуждать, витать, гулять, петлять, рыскать, шнырять*; б) глаголами локализованного движения типа *вертеться, вилять, дергаться, дрожать, моргать, трепетать, шевелиться* и т. п., ср. *Седло ездит, надо подтянуть подпругу, Он буквально катался от боли, Желваки ходят*; в) связочными и иными служебными и полуслужебными глаголами, ср. *ходить босиком (без шапки, в сапожках, в очках), ходить голодным, ходить в героях (в больших забияках)*.

6) Прагматическая важность референта в современном обществе. Так, для существительных, обозначающих фрукты (*абрикос, ананас, апельсин, банан, виноград, вишня, груша, лимон, манго, персик, слива, черешня* и т. п.), значение ‘плод X’ прагматически более важно, чем значение ‘дерево (растение), на котором растет X’. Именно это значение, вопреки существующей практике почти всех толковых словарей (за исключением словаря Ушакова), должно быть признано основным по обсуждаемому критерию.

7) Место в фундаментальной классификации предикатов. «Нормальная» последовательность значений в структуре многозначных предикатов выглядит следующим образом: действие — деятельность — занятие — процесс — положение в пространстве — локализация — состояние — свойство — существование — служебные значения. Она отражает, в частности, процесс постепенного семантического выхолащивания лексических значений. При наличии у слова каких-то из перечисленных здесь типов значений их последовательность в семантической струк-

туре слова определяется, при прочих равных условиях, местом соответствующего типа значения на указанной шкале.

Ни один из названных здесь критериев не является абсолютным. Более того, оценки места лексемы в семантической структуре слова, полученные по разным критериям, могут противоречить друг другу. Например, у моторно-кратных глаголов в значении двунаправленного перемещения более полная грамматическая парадигма, чем у тех же глаголов в значении разнонаправленного перемещения: первые имеют форму СОВ (*сходил* *сбегал*, *съездил*) в магазин), а вторые — нет. У глагола *быть* первым должно быть признано связочное значение, хотя на шкале семантической классификации предикатов оно расположено гораздо ближе к концу, чем, скажем значения локализации или посессивное. Поэтому относительно надежное решение можно получить только по совокупности оценок по всем критериям. В частности, связочное значение глагола *быть* по всем применимым к нему критериям, за исключением последнего, имеет бесспорные преимущества перед любыми другими его значениями; см. раздел 3³.

3. Блоки лексем и упорядочение блоков

Блоком лексем (или значений) называется группа таких лексем, которые семантически ближе друг к другу, чем к другим лексемам данного слова. Все такие лексем снабжаются позиционным номером, в большинстве случаев состоящим из двух позиций. Первая позиция содержит номер блока, а вторая — номер лексемы внутри блока.

Упорядочение блоков лексем подчиняется тем же правилам, что и упорядочение лексем в семантической структуре слова. Примеры (в основном, в виде синопсисов словарных статей, с объяснением того, почему блоки лексем сформированы и упорядочены именно таким образом; в «лапках» даются не аналитические толкования, а краткие пояснения):

БЫТЬ

быть 1.1 'являться': *Мой отец был архитектором.*

быть 1.2 'быть тождественным': *Это был Иван.*

быть 2.1 'находиться': *Дети были на озере.*

быть 2.2 'прибывать куда-л.': *Он сегодня будет (уже был) в два часа.*

быть 3.1 'иметься': *У него была прекрасная библиотека.*

быть 3.2 'иметь в качестве части': *У него были ноги кавалериста.*

быть 3.3 'иметь возраст': *Ему было двадцать лет.*

быть 4.1 'существовать': *Есть еще добрые люди на свете!*

быть 4.2 'иметь место, случаться': *Был (будет) дождь.*

быть 4.3 'иметь место, наступать': *Было пять часов.*

³ Ср. аналогичную структуру лингвистической аргументации по совершенно другим поводам в работах [Кинэн 1982; Зализняк 2007].

быть 5.1 ‘уверенность в неизбежности события’: *Быть грозе.*

быть 5.2 ‘уверенность в неизбежности плохого’: *Нам теперь крышка.*

быть 5.3 ‘надо прекратить воздействие’: *Будет с тебя.*

быть 6.1 ‘в составе формы БУД’: *Не буду вам мешать; Чай (сыр) будешь?*

быть 6.2 ‘в составе формы СТРАД’: *Проект был закончен.*

Как сказано выше, основным значением глагола **БЫТЬ** считается связочное значение (**быть 1.1**), которое и открывает его словарную статью. В тот же блок входит идентифицирующее связочное значение (**быть 1.2**).

В следующем блоке объединены локативные значения, а именно собственно локативное значение ‘находиться’ (**быть 2.1**) и то же значение с наращением смысла ‘начинать’ (**быть 2.2**). Помещение локативных значений сразу вслед за связочными объясняется тем, что локативные значения есть у многих других прототипически связочных глаголов; ср. *бывать несправедливым — часто бывать в городе, стать мастером спорта — стать у стены, являться ответственным — являться на призывной пункт*. С другой стороны, прототипически локативные глаголы могут иметь связочные значения (*находиться в столице — находиться под наблюдением врачей, оказаться на месте — оказаться невозможным, остаться на даче — остаться в дураках*). Эти факты свидетельствуют о большей семантической близости связочных значений к локативным, чем к каким-либо другим.

За локативными значениями следует блок посессивных значений (**быть 3.1 — быть 3.3**). Посессивные значения семантически тоже близки к связочным (ср. *У нее была какая-то агрессивная красота — Она была как-то агрессивно красива*), поэтому их естественно поместить сразу после локативных.

Далее, в порядке убывания семантической содержательности по сравнению с локативными и посессивными значениями, идет блок экзистенциальных значений (**быть 4.1 — быть 4.3**); он завершает список лексических значений глагола-связки, которые предположительно составляют типологическую универсалию (см.: [Verhaar 1967—1973]). В пятом блоке (**быть 5.1 — быть 5.3**) представлены грамматически и синтаксически связанные этноспецифичные модальные значения, а в шестом — два собственно грамматических (чисто служебных) значения. Употребления типа *Чай (сыр) будешь?* отнесены к **быть 6.1** ввиду их явной эллиптичности: в них опущен инфинитив знаменательного глагола (в нашем примере — *пить* или *есть*)⁴.

⁴ Мое внимание к таким примерам привлек Б. Л. Иомдин. После завершения этой статьи я познакомился с работой Л. Л. Иомдина «В глубинах микросинтаксиса», рассказанной на Семинаре по теоретической семантике в ИППИ РАН. В ней тоже анализировались фразы типа *Кашу будешь?*, *Чай будешь?*, *Сигарету будешь?*, *Он кофе не будет* и т. п., и было сделано много тонких наблюдений об ограничениях, налагаемых на употребление глагола *быть*: он употребляется без дополнений в партитиве (невозможно **Будешь хлеба?*), только в актуальном будущем (невозможно **Теперь два года не буду мороженое*), только когда речь идет о еде, питье или куреве, только в простейшей синтаксической конструкции (невозможны ни эллипсисы типа **Я буду с маслом*,

МОЛОДОЙ

молодой 1.1 'такой, которому немного лет': *молодая женщина*.

молодой 1.2 разг. 'более молодой и поэтому менее опытный' [только в функции сказуемого]: *Молод еще учить меня!*

молодой 1.3 'сохранивший свойства молодого': *Он все еще молод в свои 70 лет*.

молодой 1.4 'свойственный молодому возрасту': *молодой сон (задор)*.

молодой 2.1 'недавно появившийся': *молодой месяц, молодой картофель*.

молодой 2.2 'недавно изготовленный': *молодое вино, молодой сыр*.

молодой 2.3 'недавно ставший кем-то': *молодая мать, молодой ученый*.

молодой 2.4 'недавно женившиеся' [в функции СУЩ]: *Молодые уже дома*.

молодой 3 уходящ. 'принадлежащий следующему поколению': *Молодой Иванов пошел по стопам отца*.

Здесь первый блок сформирован значениями, которые так или иначе объединены идеей молодого возраста (**молодой 1.1** — **молодой 1.4**). Во второй блок помещены значения, связанные идеей недавнего времени возникновения чего-то (**молодой 2.1** — **молодой 2.4**). Очевидно, что общей для обоих блоков является идея недолгого времени существования объекта, которое измеряется абсолютно — от момента его рождения или возникновения. В отличие от этого, последнее значение — сравнительное и релятивное: возраст человека определяется в большей

ни распространенные предложения типа **Вот увидишь, он сейчас будет кофе*) и ряд других. Л. Л. Йомдин склонен усматривать в таких случаях особую синтаксическую конструкцию, формируемую глаголом *быть*. Мне же представляется, что это — особое употребление лексемы **быть 6.1**, получаемое по правилу семантической модификации, которое в самом первом приближении выглядит следующим образом: «во всех лично-числовых формах БУД в сочетании с существительными в форме ВИН со значением еды, питья, курева или — реже — принимаемых внутрь медицинских препаратов обозначает желание или намерение человека А1 и использовать А2 в соответствии с его назначением» (в состав условий этого правила должны войти и все указанные Л. Л. Йомдиным ограничения). В этом отношении лексема **быть 6.1** входит, хотя и на особых правах, в интересный семантический класс модальных глаголов русского языка, в значении которых так или иначе содержится смысл 'хотеть': *Ребенок хочет конфетку (просит молока), Мне хочется мороженого* и т. п. Более отдаленно она связана с модальными глаголами типа *налечь (на закуску (на икру, на коньяк)), предложить (Хозяйка предложила всем кофе)* и рядом других (подробнее см.: [Апресян 2006: 110—111, 116—117]). Вторая валентность всех этих глаголов (как и **быть 6.1**) прототипически заполняется предикатами (*хочу (хочется, просит) пить, предлагаю как следует поесть перед дорогой, налег на работу* и т. п.), но допускает (тоже как **быть 6.1**) метонимический эллипсис предиката в случае, если у него есть дополнение, относительно которого данный предикат является значением лексической функции REAL1: *хочу выпить чаю* ⇒ *хочу чаю*, где *(вы)пить* = REAL1(*чай*). При этом второе — непрототипическое — употребление получается по правилу модификации, которое имеет много общего с только что приведенным правилом модификации для лексемы **быть 6.1**.

мере относительно возраста другого человека, а именно его родителя, чем относительно его собственного дня рождения.

СПРОСИТЬ

спросить 1.1 ‘задать вопрос’: *спросить, который час* (что он за человек).

спросить 1.2 разг. ‘вызвать отвечать’: *Меня сегодня спрашивали по физике.*

спросить 1.3 разг. ‘узнать мнение’: *У тебя не спрашивают!; Тебя не спросили!*

спросить 2.1 уходящ. ‘попросить дать или вызвать для использования по назначению’: *спросить кружку пива; спросить в отеле администратора.*

спросить 2.2 ‘попросить разрешить’: *А ты у мамы спросил?; Принес щенка, не спросив родителей.*

спросить 3, чаще НЕСОВ, ‘предъявить требование’: *строго спрашивать с кого-л.*

спросить 4 уходящ., обычно НЕСОВ, ‘называть цену товара при продаже’: *Спрашивали за сапоги недорого.*

В первый блок слова *спросить* входят лексемы, объединенные идеей вопроса. Второй блок образуют лексемы, объединенные идеей просьбы. В основе значения лексемы **спросить 3** — идея требования. Очевидна их семантическая близость друг к другу. Наконец, лексема **спросить 4**, по-прежнему обозначающая речевой акт, стоит несколько особняком и поэтому дается на последнем месте.

В ряде случаев элементарные блоки объединяются в сверхкрупные блоки, образуя глубокие иерархические структуры (ниже они маркируются полужирными римскими цифрами). Необходимость в укрупнении блоков лексем в блоки более высокого уровня возникает в трех случаях: а) когда разные лексемы слова принадлежат разным частям речи (ср. слово *как* в функции наречия, союза и частицы); б) когда предлог управляет разными падежами (ср. предлоги *в, за, на, о* и др.); в) когда в нескольких блоках лексем обнаруживается один и тот же простой семантический компонент. Для нашей темы интересен только последний случай, который мы проиллюстрируем на примере глагола *выйти*. У него выделяются два сверхкрупных блока значений, формируемых семантическими компонентами ‘перестать’ и ‘начать’ соответственно. За их пределами остается одна лексема (**выйти 10**), которая выделяется в третий блок по «остаточному» принципу:

ВЫЙТИ

I, ‘перестать’.

выйти 1.1 ‘идя, перестать находиться где-л.’ [о человеке]: *выйти из комнаты в коридор, выйти из дома на улицу.*

выйти 1.2 ‘перемещаясь, перестать находиться где-л. [о машине или судне]: *Корабль вышел из гавани, Тяжелая техника вышла из города первой.*

выйти 1.3 ‘перемещаясь, перестать находиться за преградой’ [о светиле]: *Солнце вышло из-за туч, Луна выходит из-за облаков.*

выйти 2.1. ‘перестать заниматься чем-л.’: *Рота вышла из боя, Оба защитника «Спартака» получили травмы и вышли из игры.*

выйти 2.2. ‘перестать содержаться где-л.’: *Он выйдет из больницы (из тюрьмы) не раньше, чем через месяц.*

выйти 3.1 ‘перестать быть членом’: *выйти из состава комиссии (из правления кооператива), выйти из договора по ПРО (из коалиции).*

выйти 3.2 ‘перестать быть в состоянии’: *выйти из депрессии (из затруднения).*

выйти 3.3 ‘перестать быть объектом действия’: *выйти из употребления (из-под обстрела, из моды).*

выйти 3.4 ‘перестать быть объектом хорошего отношения’: *выйти у кого-л. из доверия.*

выйти 4 редк. или **уходящ.** ‘перестать существовать в результате использования’: *(Весь) табак (хлеб) вышел; У бойцов вышли все патроны.*

II, ‘начать’.

выйти 5 ‘начать заниматься чем-л. после перерыва’: *Когда вы выходите (выйдете) на работу?; Ваш завлаб уже вышел из отпуска?*

выйти 6 разг. ‘получить доступ к кому-то труднодоступному’: *выйти на премьерера (на вице-президента), выйти на связного.*

выйти 7 ‘стать доступным для использования’ [о книге, фильме, телепередаче, товаре и т. п.]: *выйти из печати, выйти в эфир (на экраны).*

выйти 8.1 разг. ‘стать женой’: *Она вышла за своего бывшего одноклассника, Их младшая дочь выходит за военного.*

выйти 8.2 ‘приобрести более высокий статус, чем прежде’: *Его старший сын вышел в артисты (в генералы), Она вышла в отличницы, Он вышел из низов.*

выйти 8.3 ‘превратиться в хорошего профессионала’: *Из этих студентов выйдут превосходные инженеры, Артиста из меня не выйдет.*

выйти 9.1 ‘приобрести какое-то свойство’: *На твоей фотографии Петр вышел отлично (лучше всех, хорошо, плохо), Ужин вышел невеселый.*

выйти 9.2 ‘начать существовать в результате действий’: *Уберите длинноты, и выйдет неплохой рассказ; Из этой затеи у вас ничего не выйдет.*

выйти 9.3 ‘начать существовать или иметь место’: *Вышла крупная неприятность (некрасивая история), Вышла задержка в несколько дней, Все вышло наоборот.*

III, ‘располагаться’.

выйти 10, чаще **НЕСОВ** ‘иметь определенное расположение относительно пространственных ориентиров’ [о дороге, тропе, реке и т. п.]: *Здесь дорога (река) выходит из ущелья на равнину.*

4. Структура многозначности: принцип реплицирования

Структуры многозначности слов одного и того же лексикографического типа (блоки значений, порядок блоков, порядок значений внутри блока) должны быть по возможности унифицированы. Более точно, описание всех многозначных слов

одного лексикографического типа должно строиться по единому образцу, пока материал не окажет этому сопротивления. В качестве образца внутри данного лексикографического типа выделяется слово с наиболее разветвленной многозначностью. Это и есть принцип реплицирования.

Например, прототипом для описания моторно-некратных глаголов (*бежать*, *лететь*, *плыть*, *ползти* и т. п.) является *идти* (в той мере, в какой возможно их унифицированное описание). Структура его многозначности выглядит (в самом первом приближении) следующим образом:

идти 1.1 ‘перемещаться на ногах’: *идти к реке.*

идти 1.2 ‘бежать’: *Кобыла шла плавной рысью.*

идти 1.3 ‘плыть’: *Мы долго шли на веслах (под парусом).*

идти 1.4 ‘перемещаться любым способом’: *На Москву шли отборные немецкие войска.*

идти 1.5 перен. ‘как бы идти’: *Страна идет к катастрофе.*

идти 2.1 ‘перемещаться’ [о транспортном средстве]: *Поезд идет по расписанию.*

идти 2.2 ‘перемещаться’ [о природных объектах в воде или воздухе]: *По реке шел лед, Тучи идут по небу.*

идти 2.3 ‘быть перемещаемым’: *Из Средней Азии идет хлопок.*

идти 2.4 ‘быть предназначенным для чего-л.’: *Эти вещи идут на продажу (в чистку).*

идти 3.1 ‘поступать, наниматься’: *идти в институт (в армию).*

идти 3.2 ‘быть готовым совершить что-л.’: *идти на хитрость.*

идти 4 ‘делать ход в игре’: *идти пешкой (тузом).*

идти 5.1 ‘исходить, испускаться, излучаться’: *Из трубы идет дым, От печки идет тепло.*

идти 5.2 ‘доноситься’: *С площади шел многоголосый гул.*

идти 6 спец. ‘превращаться при росте’: *Картофель идет в ботву.*

идти 7 ‘требоваться для чего-л., расходоваться на что-то’: *На платье идет три метра материи.*

идти 8.1 ‘быть к лицу кому-л.’: *Ей идет новая кофточка.*

идти 8.2 уходящ. ‘подходить, соответствовать, гармонировать’: *Тонкий голос совсем не шел к его массивной фигуре.*

идти 9 ‘пролегать в пространстве определенным образом’ [о дороге, тропе и т. п.]: *Шоссе идет по пологому склону горы.*

идти 10.1 ‘течь, протекать’ [о времени или отрезках времени]: *Годы идут; Шел третий год войны.*

идти 10.2 ‘происходить, существовать’: *Идут экзамены (переговоры).*

идти 10.3 ‘иметь место, падать’ [об осадках]: *Идет дождь (град, снег).*

идти 10.4 ‘наступать, надвигаться’: *Идет зима.*

идти 11 ‘функционировать’ [о часах]: *Часы не идут.*

идти 12 ‘доставаться’ [о картах, которые игрок получает в процессе игры]: *Карта идет (не идет)*⁵.

Тот же глагол выступает в качестве прототипа и для описания семантической структуры главного моторно-кратного глагола *ходить*, у которого есть следующие сравнимые с *идти* лексемы: *ходить вдоль берега* (≈ **идти 1.1**), *Кобыла ходит плавной рысью* (≈ **идти 1.2**), *В юности мне доводилось ходить под парусом* (≈ **идти 1.3**), *Поезда ходят по расписанию* (≈ **идти 2.1**), *Тучи ходят по небу* (≈ **идти 2.2**), *ходить пешкой (тузом)* (≈ **идти 4**, причем в этом значении моторно-некратный и моторно-кратный глаголы практически синонимичны), *Часы не ходят* (≈ **идти 11**, снова синонимия, хотя и менее точная).

Показательно, что вероятность параллелизма семантических структур тем больше, чем ближе к началу словарной статьи находится рассматриваемое значение. По мере приближения к концу словарной статьи совпадения становятся все более редкими. И в этом материале центр естественным образом оказывается сильнее периферии и обнаруживает большую способность к распространению своего влияния за пределами слова.

Ходить в свою очередь служит прототипом для описания многозначности моторно-кратных глаголов *бегать*, *летать*, *плавать*, *ползть* и т. д.

При описании каузативных глаголов перемещения, моторно-некратных и моторно-кратных (речь здесь может идти главным образом о *вести* ≈ ‘каузировать идти и идти самому’ и *водить* ≈ ‘каузировать ходить и ходить самому’, *везти* ≈ ‘каузировать ехать и ехать самому’ и *возить* ≈ ‘каузировать ездить и ездить самому’) естественно ориентироваться на семантическую структуру соответствующего некаузативного прототипа, т. е. словарные статьи глаголов *идти* и *ходить*, *ехать* и *ездить*.

Для любого глагола, у которого есть значение неавтономного перемещения (*везти*, *лететь*, *плыть*, *летать*, *перевозить*, *плавать* и т. п.), следует учитывать в качестве прототипа глаголы *ехать* и *ездить*, прежде всего, их способность управлять предложно-именными группами со значением транспортного средства вида *на* + ПР (*на самолете*, *на пароходе*, *на поезде*, *на автобусе*) и ТВОР (*самолетом*, *пароходом*, *поездом*, *автобусом*). Это важно, в частности, потому, что все лексемы со значением неавтономного перемещения сохраняют в полном объеме четыре основные особенности семантической оппозиции *на* + ПР vs. ТВОР (в значении транспортного средства):

⁵ Эта лексема заслуживает дополнительного комментария. В утвердительных предложениях **идти 12** выражает по умолчанию положительную оценку: *Карта идет* ≈ ‘Идет хорошая карта’. В отрицательных предложениях действует правило смещения отрицания: *Карта не идет* ≈ ‘Идет не хорошая карта’ = ‘Идет плохая карта’. В этом отношении лексема **идти 12** сближается с глаголами типа *пилишь*, *пишет*, *режет* и т. п. в значении функционирования соответствующих артефактов; ср. *Ручка пишет* ≈ ‘Пишет нормально’, *Ручка не пишет* ≈ ‘Пишет не нормально’ = ‘Пишет плохо’ (а, напр., не сверхзамечательно — в силу одной действующей в языке прагматической закономерности).

а) *на* + ПР обозначает любое транспортное средство (*лететь* ⟨*летать*⟩ *на самолете* ⟨*на вертолете, на «Мираже», на «Фантоме»*⟩, *плыть* ⟨*плавать*⟩ *на пароходе* ⟨*на паруснике, на шлюпке*⟩, *ехать* ⟨*ездить*⟩ *на поезде* ⟨*на трамвае, на форде, на велосипеде, на лошади*⟩). Между тем в форме ТВОР возможны преимущественно названия общественного транспорта, обычно на механической тяге; нельзя **лететь дельтапланом*, **плыть яхтой* ⟨*шлюпкой*⟩, **ездить* ⟨*мотоциклом, лошадыми*⟩ и т. п.

б) Группа *на* + ПР может иметь и конкретно-референтный (по Е. В. Падучевой), и родовой статус, а форма ТВОР тяготеет к родовому статусу. Поэтому *на* + ПР совместима с любыми значениями НЕСОВ, включая актуально-длительное, а ТВОР с актуально-длительным значением несовместима. Можно, например, сказать *Следующий отрезок пути он ехал* ⟨*ездил*⟩ *на автобусе*, *В пять часов он еще ехал на автобусе*, но не ?*В пять часов он еще ехал автобусом*.

в) Форма ТВОР, в сущности, обозначает способ перемещения и поэтому предпочитается с названиями родов транспортных средств (*самолет, поезд, пароход, автобус, трамвай, троллейбус*), а не с названиями их видов (можно *лететь* ⟨*летать*⟩ *на турбовинтовом* ⟨*реактивном*⟩ *самолете*, но не ?*лететь* ⟨*летать*⟩ *турбовинтовым* ⟨*реактивным*⟩ *самолетом*).

г) По той же причине форма ТВОР синонимична другим обозначениям аналогичных способов перемещения; ср. *Беженцев перевозили поездом* (≈ *по железной дороге*).

В словарных статьях сильно многозначных производных слов должна учитываться семантическая структура соответствующих исходных слов. В словарных статьях сильно многозначных слов, имеющих антонимы, следует учитывать семантическую структуру антонима. Пример (один на оба случая) — описание семантических структур прилагательных *точный* и *неточный* (с акцентом на параллелизме структур, а не на степени их полноты).

ТОЧНЫЙ

точный 1.1 ‘полностью соответствующий действительности’: *точный вес, точное время, точный подсчет*.

точный 1.2 ‘такой, показания которого соответствуют действительности’ [о приборах]: *точные весы* ⟨*часы*⟩, *точные измерительные приборы*.

точный 1.3 ‘содержащий всю необходимую информацию и никакой лишней’: *точный ответ, точные инструкции, точный адрес*.

точный 2.1 ‘полностью соответствующий оригиналу’: *точная копия, точный перевод; Вот его точные слова*.

точный 2.2 ‘полностью соответствующий требованиям’: *точная стрельба, точное исполнение приказа*.

точный 3 ‘аккуратный, пунктуальный’ [о человеке]: *точен во всем; Он человек точный, никогда не опаздывает*.

НЕТОЧНЫЙ

неточный 1.1 ‘не полностью соответствующий действительности’: *неточный вес, неточный подсчет.*

неточный 1.2 ‘такой, показания которого не полностью соответствуют действительности’ [о приборах]: *неточные весы (часы), неточные приборы.*

неточный 1.3 ‘содержащий неполную или не совсем правильную информацию’: *неточный ответ, неточные инструкции, неточный адрес.*

неточный 2.1 ‘отклоняющийся от оригинала’: *неточная копия, неточный перевод.*

неточный 2.2 ‘отклоняющийся от требований’: *неточная стрельба, неточное исполнение приказа.*

неточный 3 ‘неаккуратный, не пунктуальный’: *неточен во всем.*

И в этом случае идеальный параллелизм структур многозначности имеет место далеко не всегда. Пример неполного параллелизма — семантические структуры антонимичных глаголов *войти* и *выйти*. Последний имеет более разветвленную многозначность, чем *войти* (см. выше), и служит для него прототипом. Однако у *войти* полностью отсутствует большой блок значений, организованный смыслом ‘перестать’; с другой стороны, у него есть собственные значения (**войти 1.3, войти 1.4, войти 2.1, войти 2.2, войти 3.3, войти 4, войти 5.1, войти 6.1**), не имеющие параллелей в семантической структуре *выйти*.

ВОЙТИ

войти 1.1 ‘идя, начать находиться где-л.’ [о человеке]: *войти в комнату (в аудиторию, в камеру); войти в зал из вестибюля.*

войти 1.2 ‘перемещаясь, начать находиться где-л.’ [о машине или судне]: *Судно вошло в гавань, Космический корабль вошел в плотные слои атмосферы.*

войти 1.3 ‘прыгая в водоем, переместиться в него определенным способом’: *Главное — войти в воду носками.*

войти 1.4 перен. ‘приложив усилия, начать понимать’: *войти в суть дела; войти во все детали; входить в курс событий.*

войти 2.1 ‘начать находиться внутри плотного объекта’: *Заноза вошла под ноготь, Лопата вошла глубоко в землю, Штык вошел в плечо.*

войти 2.2 ‘начать находиться внутри емкости и заполнить ее’: *Все белье вошло в один чемодан.*

войти 3.1 ‘стать частью организованной совокупности’ [о людях или объектах]: *войти в список (в состав комиссии, в Думу, в редколлегия, в НАТО); Его статья не вошла в сборник.*

войти 3.2 ‘стать элементом сложного явления’: *войти в быт (в жизнь, в историю); войти в моду (в привычку); войти в язык.*

войти 3.3 [прим. НЕСОВ] ‘стать частью какой-то совокупности’ [о необходимых или предполагаемых действиях]: *входить в чьи-л. обязанности; Это в его замысел (в его намерения, в его планы) не входило.*

войти 4 ‘обратиться в высокую инстанцию’: *войти в Министерство с ходатайством, войти в дирекцию (в правительство) с предложением.*

войти 5.1 ‘начать находиться в каких-л. отношениях с кем-л.’: *войти в дружбу (в контакт) с кем-л.; войти в сделку с кем-л.*

войти 5.2 ‘стать объектом хорошего отношения’: *войти в доверие к кому-л.*

войти 6.1 ‘начать находиться в каком-л. состоянии’ [о человеке]: *войти в азарт (во вкус, в раж).*

войти 6.2 ‘начать находиться в каком-л. состоянии’ [о действии, деятельности, процессе и т. п.]: *Он понял, что разговор входит в главную фазу; Жизнь вошла в привычное (старое, спокойное) русло.*

Итак, не следует ждать идеального параллелизма между описываемым словом и прототипом. Унификацию можно проводить лишь до тех пор, пока материал не начнет оказывать этому сопротивление. Однако соблазн унификации настолько велик, что его жертвами становятся даже опытные лексикографы. Один пример. Во всех толковых словарях русского языка, кроме БАСа, у моторно-кратного глагола *кататься* первым считается значение, параллельное первому значению моторно-некратного *катиться*: *Карандашик катался по карте, разбитой на квадраты — Карандашик катился по карте, разбитой на квадраты.* Тем самым в паре *кататься* и *катиться* усматривается такой же параллелизм, как в других парах вида «моторно-кратный глагол — моторно-некратный глагол». На самом деле в этой паре произошла радикальная перестройка. На первое место у *кататься* вышло значение ‘ездить на чем-л., получая удовольствие от самой езды’ (ср. *кататься на велосипеде*), а на первом месте у *катиться* осталось значение ‘округлый предмет, вращаясь, перемещается в одном направлении’. В соответствии с принципом приоритета лексикографического портрета перед типом семантические структуры этих двух глаголов должны быть распараллелены.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1974 — Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974.
- Апресян 1999 — Апресян Ю. Д. Принципы системной лексикографии и толковый словарь // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М., 1999. С. 634—650.
- Апресян 2006 — Апресян Ю. Д. Основания системной лексикографии // Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д., Бабаева Е. Э. и др. Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006. С. 33—160.
- Апресян 2007 — Апресян Ю. Д. Теоретические основы активной лексикографии // Русский язык в странах СНГ и Балтии. М., 2007. С. 375—385.
- Зализняк 2007 — Зализняк А. А. Еще раз об энклитиках в «Слове о полку Игореве» // Вопросы языкознания. 2007. № 6. С. 3—13.
- Зализняк Анна 2006 — Зализняк Анна. Многочисленность в языке и способы ее представления. М., 2006.

- Кинэн 1982 — *Кинэн Э.Л.* К универсальному определению подлежащего // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. Современные синтаксические теории в американской лингвистике / Сост., общ. ред. и вступит. ст. А. Е. Кибрика. М., 1982. С. 236—276.
- Кустова 2004 — *Кустова Г.И.* Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.
- Мельчук, Жолковский 1984 — *Мельчук И.А., Жолковский А.К.* Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Опыт семантико-синтаксического описания русской лексики. Вена, 1984.
- НОСС 2004 — Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Авторы: *В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, М.Я. Гловинская, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон.* 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.
- Падучева 2004 — *Падучева Е.В.* Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
- Розина 2005 — *Розина Р.И.* Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге. Глагол. М., 2005.
- Verhaar 1967—1973 — *Verhaar J. W. M.* (ed.). The Verb BE and its Synonyms. Philosophical and Grammatical Studies. Parts 1—6 // Foundations of Language. Supplementary Series. 1967, vol. 1; 1968, vol. 6; 1968, vol. 8; 1969, vol. 9; 1972, vol. 14; 1973, vol. 16.

Е. В. Падучева

МЕТОНИМИЯ КАК СДВИГ ФОКУСА ВНИМАНИЯ

Лодка колотится в сонной груди.

Б. Пастернак. Сложна весла

Вступление. Метонимия и метафора

Согласно традиционным определениям, метафора — это перенос на базе ассоциации **по сходству**, а метонимия — перенос **по смежности**. Соответственно, мы усматриваем в примере (1) метафору (*долина спит* ≈ ‘долина тиха, как спящее живое существо’), а в примере (2) — метонимию (пенились и шипели не стаканы, а находящееся в них вино):

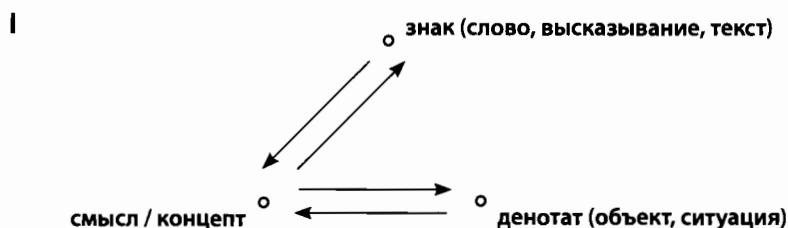
(1) Долина *спит*;

(2) *Стаканы* пенились и шипели беспрестанно (Пушкин. Выстрел).

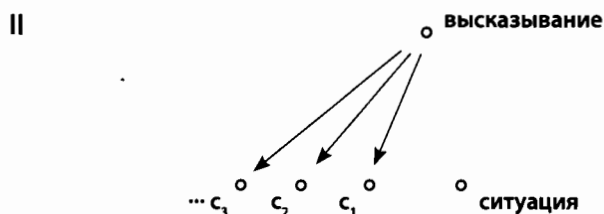
Более содержательными будут следующие определения. Метафора — это **категориальный сдвиг**; так, слово *долина* в (1) меняет свою исходную онтологическую категорию участок пространства на категорию живое существо. А метонимия — это **сдвиг фокуса внимания**, с одного предмета на другой, с о п р и с у т с т в у ю щ и й в ситуации; так, в примере (2) реально пенилось и шипело вино, а в фокус внимания попали бокалы.

Между метафорой и метонимией имеется, кроме того, следующее важное для лингвиста различие. Метафора — это сдвиг на уровне **значений**. Между тем метонимия, согласно нашим предварительным определениям, — это смежность в мире **реалий**. А к миру реалий лингвистика до последнего времени относилась крайне настороженно, и на это, конечно, есть свои основания.

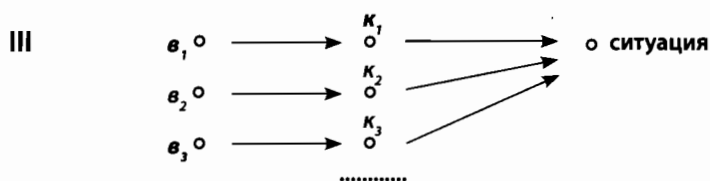
Если надо включить в рассмотрение действительность, лингвист обращается к «треугольнику Фреге». До Г. Фреге и его работы [Frege 1892/1977] в логике проводилась напрямую связь между знаком и денотатом. Фреге ввел в рассмотрение объект, который является смыслом по отношению к знаку и концептом по отношению к денотату (см. об этом: [Черч 1961: 17—20]). Треугольник Фреге показан на схеме I.



Лингвистика до последнего времени изучала **смыслы** языковых выражений, оставляя третью вершину этого треугольника в стороне, см. схему II (c_1, c_2, c_3 — это разные смыслы одного высказывания):



Нынешнюю парадигму задает схема III, где k_1, k_2, k_3 и т. д. — это разные концепты, т. е. разные концептуализации, одной и той же ситуации. Каждый концепт является смыслом соответствующего высказывания — v_1, v_2, v_3 и т. д. (другие смыслы у высказываний v_1, v_2, v_3 , естественно, могут быть, но в данной схеме не отражены):



Схему III иллюстрирует известный пример Фреге. Одному денотату (планете Венера) могут соответствовать разные знаки — каждый со своим концептом (вопрос о том, какой концепт сопоставляет знаку собственное имя, мы здесь оставляем в стороне):

- (1) а. *Утренняя звезда* → ‘утренняя звезда’ → планета Венера;
- б. *Вечерняя звезда* → ‘вечерняя звезда’ → планета Венера;
- в. *Венера* → ‘Венера’ → планета Венера.

Пример (1) показывает, что могут быть разные концепты у одного объекта. Примеры (2) и (3) демонстрируют наличие разных концептуализаций одной и той же ситуации:

- (2) а. Удой увеличился с одного литра до трех;
 б. Удой увеличился на два литра;
 в. Удой увеличился на 200 %;
 г. Удой увеличился в три раза.
- (3) а. Иван полюбил Марию;
 б. Моя дочь связалась с негодяем (пример из [Падучева 2004: 156]).

Соотношение между смыслами c_1 , c_2 , c_3 и т. д. одного знака в схеме II — это омонимия. Соотношение между концептами κ_1 , κ_2 , κ_3 одной и той же ситуации в схеме III, разумеется, не есть синонимия. Описать исчерпывающим образом (так, как мы надеемся описать синонимию) соотношение между разными концептами одной ситуации, конечно, нельзя. Но можно выявить часто используемые «ходы». Так, среди множества элементарных смысловых различий между высказываниями (3а) и (3б) есть и различия в фокусе внимания — т. е. различия, которые мы назвали метонимическим сдвигом. Ясно, например, что в (3а) в фокусе внимания Иван, а в (3б) — Мария.

Надо сказать, что предложения (2б)—(2г) тоже представляют интерес для исследователя метонимии: они подразумевают, по свидетельству И. М. Богуславского, некоего участника ситуации, обращение к которому необходимо для понимания смысла этих предложений: мы не обязаны знать значение параметра «исходный удой», но сам параметр имеем в виду; он «метонимически» присутствует в ситуации. (Понятие метонимического присутствия принадлежит Роману Якобсону, и мы еще будем иметь с ним дело в дальнейшем.)

Итак, ставится задача описать, хотя бы частично, такие соотношения между концептами κ_1 , κ_2 , κ_3 , которые сводятся всего лишь к сдвигу фокуса внимания, — что и позволяет им быть концептами одной и той же ситуации, т. е. метонимиями.

Метонимические переносы проявляются по-разному в разных сферах языка — в лексике и в синтаксисе. Особые проявления имеет метонимия в сфере дейксиса. Рассмотрим эти три сферы по отдельности.

1. Лексика

Хотелось бы, конечно, различить две вещи: «живая» метонимия, на случай, и метонимия, закрепленная как отдельное значение слова в словаре. Однако последовательно это сделать нельзя. Так, в МАС различается два значения у слова *стакан* («сосуд» и «количество жидкости, способное поместиться в сосуде»: купил два *стакана* — За ужином выпил он *стакана* два шампанского, Гоголь. Шинель), но, скажем, для слова *кружка* такого значения не указывается. Так где провести границу?

Некоторые примеры частых метонимических переносов:

сосуд — жидкость: поставь *рюмку* на стол — выпей *рюмку*;
 вместилище — содержимое: почисть *чайник* — вскипяти *чайник*;
 автор — сочинение: *Толстой* написал — читаю *Толстого*;
 вещество — изделие: изделие из *серебра* — почистить *серебро*;

ПЛОД — ДЕРЕВО: съел *грушу* — посадил *грушу*;
 НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ — НАСЕЛЕНИЕ: обошел *всю деревню* — *вся деревня* над ним смеялась;
 ПРЕДПРИЯТИЕ — ЗДАНИЕ: *фабрика* забастовала — ремонт *фабрики*;
 МЕСТО — ВРЕМЯ: вышел на *дорогу* — *всю дорогу* плакал.

В книге [Апресян 1974] есть раздел «Регулярная многозначность существительных». Тут в разделе «Актантные значения» у глагольных имен зафиксировано 12 вариантов многозначности. Это всегда метонимические переносы: от действия к участнику, от свойства — к носителю и т. д. Ср. неоднозначность слов *замена*, *ужас*, *бездарность*, *вклейка*, *выписка*, *вооружение*, *полоскание*, *зажигание*, *перевод*, *выход*, *обед*. И еще 39 пунктов в разделе «другие значения». Это тоже по преимуществу метонимия. Тем не менее в списке нет, например, переноса, который определяет употребление сочетания *черта оседлости* в значении ограниченной области, которая ограничена чертой. А между тем вполне можно сказать *в черте оседлости*.

Короче говоря, перечислить все типы переносов такого рода едва ли возможно. Ср. газетный заголовок: «Стриндберг продолжает эпатировать Москву»; в статье речь идет о том, как Москва встретила новую постановку когда-то нашумевшей пьесы Стриндберга «Игра снов» (пример из [Падучева 2004: 162]).

Обратимся теперь к таким сферам языка, где есть надежда дать исчерпывающий перечень сдвигов фокуса внимания.

2. Синтаксис

В области синтаксиса механизмом, обеспечивающим сдвиг фокуса внимания, является диатеза. Поясню, что имеется в виду.

Глагол, в каждом данном своем значении, описывает ситуацию с определенным набором участников — актантов; у каждого участника своя семантическая роль. Так, в предложении (1) у *съесть* два участника; их роли — Агенс и Пациенс:

(1) Ваня *съел* сливу.

Набор участников — это актантная структура глагола. У глагола, кроме того, имеется синтаксическая рамка (*syntactic frame*) — набор синтаксических позиций, или, что то же, синтаксически подчиненных глаголу именных (а возможно и глагольных) групп, способных занимать эти позиции: субъект, объект, датив, инструменталис; инфинитив, деепричастие и др. Соответствие между актантной структурой и синтаксической рамкой называется диатеза [Мельчук, Холодович 1970].

Главное свойство диатезы — то, что она может меняться (так что мена диатезы иногда тоже называется диатезой, это не очень удобная, но допустимая многозначность). Раньше считалось, что мена диатезы — это синонимическое преобразование. Сейчас ясно, что мена диатезы — это сдвиг фокуса внимания. Т. е. семантически мена диатезы подходит под определение метонимии. И такие сдвиги можно исчислить. Ниже следуют примеры.

2.1. Частным случаем мены диатезы является залог: залог — это мена диатезы, маркированная формой глагола. Диатеза «активный залог ⇒ пассивный залог» представлена примером (1); формула (1*) описывает суть происходящего изменения. Сокращения: отметку *Сб* получает участник, занимающий позицию Субъекта, *Об* — позицию Объекта (обе позиции центральные); *Периф* — это участник в позиции Периферия, следующий ранг — это уже за кадром.

- (1) а. Разбойники убили крестьянина;
 б. Крестьянин был убит разбойниками.
 (1*) ⟨Агенс-Сб, Пациенс-Об⟩ ⇒ ⟨Пациенс-Сб, Агенс-Периф⟩.

В (1а) в фокусе внимания разбойники, это Агенс. А в (1б) Агенс ушел из Центра в Периферию. Теперь он может быть опущен; тем самым он уйдет из перспективы в положение За кадром. Но это и есть метонимический сдвиг.

2.2. Морфологически маркированной может быть декаузативация — уход из центральной (субъектной) позиции Каузатора, который не является Агенсом (не наделен волей):

- (2) а. Постоянные войны истоцили казну;
 б. Казна истоцилась от постоянных войн.
 (2*) ⟨Каузатор-Сб, Пациенс-Об⟩ ⇒ ⟨Пациенс-Сб, Каузатор-Периф⟩.

Термин декаузативация следует понимать как производность от каузативного глагола, мотивированность каузативным глаголом (см.: [Падучева 2001]). Т. е. декаузативация не влечет исключение Каузатора из актантной структуры глагола (вопреки [Haspelmath 1993]). Предлог *от* выражает периферийного Каузатора — так же, как твор. падеж выражает периферийного Агенса. Еще несколько веков назад этого распределения не существовало — там, где Пушкин, употребляет, с целью архаизации, предлог *от*, мы бы сейчас употребили твор. падеж:

- (3) Окончен труд, завещанный *от Бога*. (Пушкин. Борис Годунов)

2.3. Декаузативация может быть морфологически не маркированная:

- (4) а. Сторож наполняет бассейн водой;
 б. Вода наполняет бассейн.
 (4*) ⟨Агенс-Сб, Место-Об, Тема-Периф⟩ ⇒ ⟨Тема-Сб, Место-Об⟩.

Каузатор оказался в позиции За кадром, без возможности проявиться на свет хотя бы в Периферии.

Перемещение из позиции объекта в позицию субъекта в русском языке невозможно без маркировки глагола, см. примеры (1) и (2). Между тем перемещение из периферийной позиции в субъектную происходит безболезненно у глаголов многих разных классов.

- У глаголов охвата (см. о них подробнее ниже):

- (5) а. Он *загородил* проход мешками;
б. Мешки *загородили* проход;

• У глаголов звука:

- (6) а. Вошедший *щелкнул* выключателем;
б. *Щелкнул* выключатель.

• У глаголов с участником Инструмент и Средство:

- (7) а. Я открыл дверь *своим ключом*;
б. *Новый ключ* открыл дверь без труда.
(8) а. Я *резал* мясо тупым ножом;
б. Нож *резал* плохо, у меня вся рука в мозолях.

Ранговое продвижение участника Средство демонстрирует пример (4) выше.

• У глаголов создания образа:

- (9) а. На рисунке *изобразили* пляшущих человечков;
б. Рисунок *изобразил* пляшущих человечков.

2.4. Ранговые сдвиги — а тем самым, метонимические переносы — ярко демонстрируют глаголы создания, у которых обязательной принадлежностью является участник Результат. Ниже следуют примеры (на базе [Апресян 1974: 205] и след.), когда глагол становится глаголом создания за счет того, что его участник Результат переходит из периферийной позиции (или даже закадровой позиции инкорпорированного участника) в позицию объекта, которая имеет ранг Центр (в примерах (3)—(7) курсивом выделен объект). В пп. а)—д) слева от стрелки ⇒ указан исходный тематический класс глагола, справа — подкласс класса глаголов создания, в который попадает глагол в результате мены диатезы.

а) ‘деформация’ ⇒ ‘разделение на части’, т. е. создание частей. В (1а) в позиции объекта Пациенс, подвергающийся деформации, в (1б) — части, Результат:

- (1) а. Он порезал *мясо* на мелкие куски;
б. Ты режешь слишком мелкие *куски*.

Глагол становится глаголом создания, а один из его участников — Результатом, ценой того, что Пациенс, т. е. материал, подвергающийся воздействию Агенса, уходит За кадр; так, в контексте (1б) для участника *мясо* уже нет синтаксической позиции при глаголе. Участник Результат вытесняет другого претендента на позицию объекта и сам становится на его место.

б) ‘деформация’ ⇒ ‘создание отверстия или полости’. В (2а) объект — Пациенс, в (2б) — Результат:

- (2) а. Пуля пробила *фуражку*; б. Пуля пробила *дырку* в фуражке;
а. прорубить *стену*; б. прорубить *окно* в стене;
а. продавить *диван*; б. продавить *ложбинку*;
а. рыть *землю*; б. вырыть (в земле) *яму*.

в) ‘деформация’ ⇒ ‘создание части’:

(3) а. выжать *лимон*; б. выжать *сок* из лимона.

г) ‘контакт’ ⇒ ‘создание формы’:

(4) а. выстроить *детей* в шеренгу; б. выстроить *шеренгу*;
а. нагромоздить *книги* грудой; б. нагромоздить *грудю* книг;
а. сложить *дрова* в поленницу; б. сложить *поленницу* дров.

д) ‘украсить X изображением’ ⇒ ‘создать изображение на X-е’:

(5) а. вышить *подушку*; б. вышить *узор* на подушке.

2.5. Особый случай рангового сдвига — рокировка прямого и косвенного дополнения (или прямого дополнения и предложной группы). Она выявляет важный класс глаголов, который можно назвать глаголами «охвата», см.: [Падучева, Розина 1993]. Это глаголы заполнения объема и покрытия поверхности, у которых прямое дополнение обозначает не перемещаемый объект, как было бы естественно, а Место, конечную цель перемещения (Goal). Обычно это место, которое «полностью охвачено» действием (отсюда название класса), см. (6а). Результатом сдвига является диатеза, где все становится на свои места — перемещаемый объект попадает в позицию прямого дополнения, т. е. в Центр, а Место получает позицию в Периферии, см. (6б).

(6) а. загрузил *грузовик* сеном;
б. загрузил сено *в грузовик*.

(6*) а. ⟨... Тема-Об, Место-Периф⟩ ⇒ б. ⟨... Место-Об, Тема-Периф⟩.

(8) а. повязал шею *платком*;
б. повязал *платок* на шею;

(9) а. обмотать шею *шарфом*;
б. обмотать *шарф* вокруг шеи.

В русском языке, с его широко развитым приставочным словообразованием, этому сдвигу подвержено небольшое число глаголов — в норме у глагола с данной приставкой диатеза закреплена, а мена возможна только в случае неоднозначности приставки. Так, глагол *наполнить* принадлежит к числу глаголов охвата (его прямое дополнение обозначает Место, а перемещаемый объект занимает позицию на периферии), но не поддается рокировке, см. пример (4а) в разделе 2.3.

2.6. Среди диатез, в которых для одного из участников недостает синтаксической позиции, следует отметить диатезу с инкорпорированным участником. Так, одним из участников ситуации с глаголом *видеть* являются глаза. В норме глаза не входят в синтаксическую рамку глагола *видеть*: участник *глаза* как бы избыточен, он инкорпорированный и занимает позицию За кадром. Однако этот участник может экскорпорироваться — возникает специальная диатеза с экскорпорацией инкорпорированного участника, см. пример (10б):

- (10) а. Я *видел* ее (*глазами);
 б. Я *видел* ее своими глазами.

Предложения (10а) и (10б) описывают одну и ту же ситуацию, но в (10а) глаза За кадром, а в (10б) они находятся в фокусе внимания.

Экскорпорированным можно считать участника в конструкции с так наз. внутренним объектом. В [Падучева 2004: 68] рассматривается глагол *осветить*: он, подобно другим глаголам с участником Инструмент, допускает диатезу, при которой этот участник переходит в позицию субъекта, см. примеры (7), (8) раздела 2.2. Д. Н. Шмелев [1973: 226], обсуждая диатетический сдвиг этого типа, когда участник в твор. падеже переходит в позицию субъекта, см. (11), выдвигает в качестве возражения пример (12), где Инструмент находится в позиции субъекта, но твор. падеж по-прежнему присутствует:

- (11) а. Гельфрейх *осветил* картину рефлектором ⇒ б. Рефлектор *осветил* картину;
 (12) Рефлектор *осветил* картину неярким светом.

Легко видеть, однако, что твор. падеж в (12) — это падеж не Инструмента, а экскорпорированного участника.

2.7. Прямая и косвенная (параметрическая) диатеза (см. [Падучева 1998] и изложение проблемы в [Тестелец 2001: 426—428]). Пример:

- (1) а. Американцы *выбрали* президентом Буша
 [прямая диатеза];
 б. Американцы *выбрали* президента
 [косвенная диатеза].

В (1а) результат выбора в фокусе внимания (а именно, в позиции прямого дополнения), а в (1б) для этого участника нет синтаксической позиции; более того, результат выбора может быть даже неизвестен говорящему; в позиции прямого дополнения находится параметр, который задает множество выбора. Другой пример:

- (2) а. решил уехать \ [прямая диатеза];
 б. решил \, что делать [косвенная диатеза].

Диатеза диктует возможности интерпретации видовой формы — косвенная диатеза допускает понимание глагола в значении актуально длящейся деятельности, а прямая — нет (см.: [Булыгина, Шмелев 1997]):

- (3) а. Американцы *выбирают* президента (как *собирают* грибы, *убирают* помещение и т. д.)
 [форма НСВ наст. имеет значение актуально длящейся деятельности];
 б. Американцы *выбирают* президентом Обаму
 [невозможно такое понимание; наст. время может быть понято только как настоящее историческое — поскольку известен результат].

Одни глаголы допускают перемещение фокуса внимания (с множества выбора на результат), другие — нет; у глагола *предпочесть* только прямая диатеза:

(4) Он *предпочел* уехать \ [нет косвенной диатезы].

Итак, мена диатезы дает перемещение фокуса внимания с одного участника ситуации на другой и может быть причислена к метонимическим сдвигам.

2.8. Продолжим наш поиск таких структур, которые различаются только фокусом внимания и потому могут соотноситься с одной и той же ситуацией. В разделах 2.1—2.7 мы имели дело с синтаксическим уровнем представления высказывания. Теперь перейдем на уровень концептов.

Значение слова или другой единицы (грамматической формы, конструкции) принято описывать толкованием. Толкование состоит из смысловых компонентов. **Метонимический сдвиг можно представить на уровне компонентов толкования: толкование часто фиксирует фокус внимания, а изменение значения состоит в том, что фокус внимания перемещается с одного компонента на другой.** Коммуникативная разметка компонентов толкования позволяет более полно описать семантику метонимического сдвига и предсказать особенности поведения глагола в контексте предложения.

Возьмем типичный глагол совершенного вида (глагол, который обозначает действие, состоящее в достижении цели). В его семантике есть два компонента — действие и результат. Например.

Х *закрыл* Y (дверь) =
компонент I, «действие»: 'X привел Y в контакт с Z (краями дверного проема)';
компонент II, «результат»: 'есть контакт'.

Компоненты I и II метонимически связаны — не только как причина и следствие, но и смежностью во времени: кончается действие, наступает состояние-результат.

Когда к глаголу присоединяется наречие (адвербиал, модификатор — англ. *modifier*), происходит фокусировка толкования, причем одни наречия ставят в фокус внимания действие, см. (1а), другие — результат, см. (1б):

- (1) а. Он *быстро* закрыл дверь [в фокусе действие];
 б. Он *плотно* закрыл дверь [в фокусе результат].

В (1а) в семантике глагола *закрывать* фокализовано действие, а в (1б) фокализован результат. Сдвиг в значении глагола *закрывать* почти не заметен. Однако в других контекстах фокусирующая роль адвербиала может быть более очевидной.

Если в толковании есть два метонимически связанных компонента и один из них фокализован **внутри** толкования, то другой может быть недоступен для **внешних** (синтаксических) модификаторов. В этом источник аномалии в (2б) (пример из [Иванова, Казенин 1993]; аналогичные примеры приводятся в [Рахилина 1993; Филипенко 1992]):

(2) а. плотно *закрыл* дверь; б. *плотно *захлопнул* дверь.

Чтобы объяснить аномалию в (2б), обратимся к структуре толкования глагола *захлопнуть*.

X захлопнул Y (дверь) =
компонент I, «действие»: 'X приводил Y в контакт с Z';
компонент II, «результат»: 'есть контакт';
компонент III, модификация компонента I: 'действие совершалось резким движением; возможно, сопровождалось звуком'.

Как легко видеть, компонент «результат», он же «контакт», в семантике глагола *закрыть* свободен для внешних модификаторов, а в семантике глагола *захлопнуть* не свободен, поскольку у него фокализован компонент «действие».

В [Падучева 2004: 93—112] было обосновано такое семантическое представление слова, когда компонентам толкования приписываются разного рода показатели коммуникативного выделения. Показано, что помимо рематического выделения (которое описывается противопоставлением ассерция — пресуппозиция), важную роль играет тематическое выделение, когда тот или иной компонент толкования фокусируется, тем самым исключая для других компонентов толкования возможность быть сферой действия того или иного синтаксического модификатора.

Аналогично взаимоисключающими могут быть два синтаксических модификатора при одном и том же глаголе:

(3) а. Окно было открыто *час назад* [в фокусе действие];
 б. Окно было открыто *пятнадцать минут* [в фокусе результат, т. е. достигнутое состояние];
 в. *Окно было открыто *час назад пятнадцать минут*.

В (3в) обстоятельство времени *час назад* фиксирует фокус внимания на действии, тем самым делая невозможной фокализацию стального компонента, который требует обстоятельство длительности *пятнадцать минут*.

Пример для размышления:

(4) Церковь Спаса на Нередице *разрушена* во время второй мировой войны.

Здесь форма *разрушена* — это, согласно Ю. С. Маслову, стальной перфект: форма обозначает состояние, которое имеет место в момент речи. Что делает предложение ложным — в настоящее время церковь восстановлена. При этом морфологический модификатор имеет сферой действия стальной компонент, а синтаксический относится к событийному, к действию. Предложение при этом вполне правильное, так что правила совместимости фокализаций должны быть более дифференцированными.

3. Дейксис

3.1. Метонимия как троп.

Метонимическое присутствие субъекта в ситуации

Роману Якобсону принадлежит открытие (именно открытие, см. [Иванов 1987: 17]) роли метонимии в прозе Пастернака. В отличие от Маяковского, для которого главный троп — метафора, лиризм Пастернака «в прозе или в поэзии, пронизан метонимическим принципом, в центре которого — ассоциация по смежности. (...) Элементарная форма ассоциации по смежности — захват ближайшего предмета. Поэт знает и другие метонимические отношения: от целого к части и наоборот, от причины к следствию и от следствия к причине (...). Но предпочтительный его прием — упоминание какого-нибудь рода деятельности вместо самого действующего лица; какого-то состояния, выражения или свойства, присущего личности, на месте и вместо самой этой личности...» [Якобсон 1987: 329—330].

Как пишет Вяч. Вс. Иванов, «[В]нимательный анализ прозы этого поэта (...) привел Якобсона к настоящему открытию. Он обнаружил, что Пастернаку свойственны образы преимущественно метонимические, устанавливающие связи между предметами не по сходству (...), а по смежности. (...) в дальнейшем творчестве Пастернака (как, добавим, и целого ряда других писателей (...) на протяжении последующих двадцати лет нарастала та метонимическая (в широком смысле слова) тенденция, которую отметил Якобсон. Многие необычные новаторские черты последующей прозы Пастернака, не раз ставившие в тупик исследователей и критиков, которым оставалась неизвестной идея Якобсона, объясняются именно подмеченной им тенденцией. Вслед за Якобсоном, говорят о метонимическом герое (...) пастернаковской прозы. Существен не герой, а мир метонимических ассоциаций, с ним связанных» ([Иванов 1987: 17]; по поводу метонимического героя Вяч. Вс. Иванов ссылается на [Auscouturier 1970]).

Понятно, что Якобсон пользуется более широким, чем обычное, определением метонимии. Однако имеет смысл следовать за Якобсоном, поскольку именно его широкое понимание метонимии получает плодотворные применения в лингвистике. По Якобсону, главная особенность Пастернака (противопоставляющая его Маяковскому) — та, что у него «**первое лицо** отодвигается на задний план. (...) Его присутствие стало метонимическим» [Якобсон 1987: 329]. М. Л. Гаспаров [1997: 406] говорит о Пастернаке другими словами, но по существу то же самое: «Субъект выражен через его отражение в окружающих предметах. Образ выводится не из состояния объекта, а из состояния субъекта, смежного с объектом»; пример М. Л. Гаспарова; первое лицо присутствует в ситуации, но оно не в фокусе, оно За кадром:

- (1) вокзал, Москва плясали (...) по насыпи, по рвам [на самом деле, это наблюдатель находится в движущемся поезде].

Образец метонимической техники Пастернака — стихотворение «Сложь весла»:

Лодка колотится в сонной груди.
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины. О, погоди,
Это ведь может со всяким случиться.

Тут связь между звуком и значением после серии метонимических переносов становится настолько сложной, что ее невозможно эксплицировать. В то же время картина в целом представляется воображению с удивительной ясностью. Кажется, что этот текст не создан человеком (т. е. не является композицией своих частей, ср. понятие композиционности в формальной семантике [Partee 1984]), а существовал **всегда**: как природное явление — как драгоценный камень или редкой красоты животное.

До последнего времени изучение метонимии было уделом поэтики. Сейчас, однако, лингвистика располагает аппаратом, который позволяет ей принять вызов. Говоря о фокусе внимания, мы ни разу не задались вопросами: А ЧЬЁ внимание? Где «внимающий» субъект? В самом деле, для довершения картины нужен субъект. И не просто субъект, а субъект **первого лица**.

3.2. Фокус внимания и наблюдатель

С моей точки зрения, одно из самых потрясающих открытий лингвистической семантики последних лет — это Наблюдатель.

Пример 1 (по статье [Апресян 1986]). Глагол *показаться* описывает ситуацию, в которой среди участников (семантических актантов) есть СУБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ, Наблюдатель (*показаться* от *показать*, а *показать* можно только кому-то):

(1) На дороге *показался* всадник.

Почему аномалия в (2)?

(2) *На дороге *показался* я.

Потому что субъект наблюдения — говорящий, и он не может «вдруг» оказаться в поле зрения самого себя.

Почему аномалия пропадает в (3) и в (4)?

(3) Считают, что именно в этот момент на дороге *показался* я [гипотаксис].

(4) (... разбойники.) Но тут на дороге *показался* я, и они в страхе разбежались [нарратив].

А дело в том, что в (4), при нарративной стратегии интерпретации, роль Наблюдателя исполняет не говорящий, а персонаж (разбойники), и аномалия пропадает. Аналогично в (3) — говорящий не выполняет роли Наблюдателя при гипотаксической интерпретации. Предложение (1) можно было бы поместить в раздел 2 как пример диатезы с Наблюдателем в позиции За кадром. Такой же участник Наблюдатель есть у глаголов *послышаться*, *выразиться* и многих других.

Пример 2. Такой же Наблюдатель есть в семантике генитивной конструкции отрицания [Падучева 2004: 458—468].

Обычно считается, что генитив возникает при отрицании бытийного предложения: бытийное предложение утверждает существование, отрицательное бытийное предложение отрицает существование. Т. е. генитив субъектной группы выражает несуществование Вещи. В самом деле, в (1б), с глаголом возникновения, генитив, а в (2б), где глагол исчезновения имеет презумпцию исходного, неотрицаемого существования объекта, генитив невозможен:

- (1) а. Возникли *сомнения*; б. *Сомнений* не возникло.
 (2) а. *Сомнения* исчезли; б. *Сомнения* не исчезли; в. **Сомнений* не исчезло.

Однако для предложения (3а), не бытийного, отрицанием будет (3б), с генитивом субъекта:

- (3) а. *Петя* дома; б. *Пети* нет дома [локативное предложение].

В чем здесь дело? Смотрим на примеры (4), (5):

- (4) а. Ни одной подлодки *не всплыло* = ‘не вошло в зону восприятия’ (пример из [Babby 1980]) [Наблюдатель на поверхности];
 б. Ни одна подлодка *не всплыла* [Наблюдатель в глубине].
 (5) а. *Ни одного звука* не вырвалось из его гортани;
 б. У меня отказали голосовые связки. Пробовал кликнуть жену — *ни один звук* не вырвался из гортани (пример из [Babby 1980: 61]).

В (4б), (5б) взгляд изнутри, в (4а), (5а) — со стороны внешнего Наблюдателя. Фраза (6а) уместна в устах человека, который находится (или имеет своего представителя) в Лондоне. А (6б) не фиксирует местоположения говорящего:

- (6) а. Вани нет в Лондоне;
 б. Ваня не в Лондоне.

Для предложения с *быть* выстраивается такая же триада, как для *показаться*:

- (7) а. Вани нет дома;
 б. **Меня* нет дома;
 в. Ему сказали, что *меня* нет дома.

В (8), при прош. времени глагола, генитивная конструкция допустима, поскольку говорящий мыслит себя дома (или в Москве), не находясь там в данный момент:

- (8) *Меня* не было дома; *Меня* не было в Москве; ср. *Меня* не было в Лондоне.

В то же время, генитив неуместен в примере (9) (контекст: женщина стоит в очереди в сбербанк; у нее звонит мобильник; она отвечает клиенту, объясняя, почему она в этот момент не может дать ему нужной справки):

(9) *Меня нет в офисе.

Здесь не имеет смысла «мыслить себя» в Месте — надо именно в нем находиться. Поэтому генитив неуместен.

Итак, языковой текст не только выражает семантику фокуса внимания, отличая то, что в фокусе, от того, что не в фокусе. Он несет в себе видимые следы того субъекта, который метонимически присутствует в ситуации в роли наблюдателя, т. е. внимающего субъекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Вернемся к соотношению метафоры и метонимии. Эти два сдвига редко встречаются в чистом виде. Метонимический сдвиг очень часто сопровождается метафорическим. Главный пример в словарной статье метонимия в «Поэтическом словаре» [Квятковский 1966]:

- (1) Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели.
Молчали желтые и синие (вагоны),
В зеленых плакали и пели (Блок. На железной дороге).

Метонимический сдвиг и как правило возникающая при этом категориальная ошибка создают образ. Так, в (1) смещение фокуса внимания с пассажиров вагона (которые на самом деле молчали) на вагоны — важный момент в проведенной в этом стихотворении внешней точке зрения на проходящие поезда: это точка зрения погибшей женщины. Но метафора, основанная на категориальной ошибке, тоже есть.

В примере (2) скорее метонимия, чем метафора:

- (2) (...) паразиты ведут свое происхождение от сакральной семантики 'еды' или, как мы теперь сказали бы, от ее метафоричности, однако позднейшие паразиты — не просто нахлебники, а полушуты, профессиональные остроумники и смехотворцы, стоящие между заправскими скоморохами и теми менестрелями, которых мы потом встречаем за столами богатых средневековых господ; связь остроумия с едой, как я уже указывала, **метафорически** органична. [О. М. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра (1935)]

Конечно, с помощью остроты можно «съесть» человека с потрохами, и тогда *съесть* — метафора. Но Фрейденберг обнаруживает между остроумием и едой **метонимическую** связь, называя ее, почему-то, метафорической.

Связь метафоры с метонимией обнаружена Г. И. Кустовой (2002) в семантике прилагательного *тяжелый*. Метафорические на первый взгляд переносы в семантике этого слова становятся более прозрачными при метонимическом подходе. А именно, многое становится понятным, если учесть, что присвоение различным ситуациям признака 'тяжело' основано на связи ситуации с внутренним состоянием участвующего в ней человека. Так, *тяжелый чемодан*, *тяжелые обя-*

занности — это ‘тяжело нести’, *тяжелый подъем* — ‘тяжело идти’; *тяжелое зрелище, известие, чувство* — это такое, которое вызывает ощущение ‘давит’ у человека.

2. Метонимический подход позволяет проникнуть в природу связей между разными значениями слова. Как известно, если слово в предложении должно быть понято одновременно в двух разных своих смыслах, то возникает ощущение каламбура; старый пример:

(3) *Шел* дождь и два студента.

Однако если между разными смыслами есть метонимическая связь, то предложение **может** допускать не аномальную интерпретацию, апеллирующую сразу к двум его значениям.

Пример 1. Слово *рот* имеет в МАС следующее толкование: «отверстие между губами, ведущее в полость между челюстями и щеками до глотки, а также сама эта полость». И действительно, слово *рот* имеет два прямых значения: *во рту* значит ‘в полости’, а *тонкий рот, в уголках рта* — приблизительно то же, что *тонкие губы, в уголках губ*, т. е. имеется в виду только отверстие. Однако попадать в фокус и активизироваться могут оба участника одновременно; так, *раскрыть рот* значит разомкнуть губы (отверстие), тем самым сделав доступной полость.

Пример 2. Слово *давно* взаимодействует одновременно с двумя компонентами значения глагола, событийным и статальным, см. пример (4в):

- (4) а. покупал *давно* [событие далеко от наст. момента];
 б. *давно* спит [состояние длится уже долго];
 в. *давно* пришел [и то и другое].

Пример 3. Слово *аудитория* выступает в своем отношении к эпитету в значении ‘помещение’, а в отношении к предикату — в значении ‘люди в помещении’ (пример Н. Н. Перцовой):

- (5) Через край полная *аудитория* была беспокойна и издавала глухой, сдвальный гул (Герцен. Былое и думы).

Однако в предложении (5), в отличие от (3), одновременное обращение к разным значениям слова не воспринимается как каламбур, и объяснение состоит в том, что эти два значения метонимически связаны. Это, однако, не всегда так, и тут еще есть над чем подумать.

Итак, метонимия, понимаемая как сдвиг фокуса внимания, позволяет увидеть общее в явлениях, которые до сих пор не воспринимались как связанные друг с другом. Имеется в виду, в первую очередь, следующее.

1) Сдвиги по смежности, типа ‘сосуд’ — ‘заключенная в нем жидкость’.

2) Диатетические сдвиги разного рода, в том числе «трансформация пассива», декаузативация, диатеза, порождающая участника Результат, параметрическая диатеза, рокировка дополнений у глаголов охвата. Мена диатезы — это, как я пыта-

лась показать, сдвиг фокуса внимания. И эти сдвиги могут быть представлены с помощью коммуникативной разметки компонентов толкования, см. [Падучева 2001].

3) Тематическое выделение компонентов толкования (на лексическом или синтаксическом уровне) и порождаемые им запреты на сочетаемость глагола с модификаторами и модификаторов друг с другом. Тематически выделенный компонент, составляющий фокус внимания одного модификатора, исключает возможность фокусировки внимания на другом компоненте, с ним метонимически связанном.

4) Наблюдатель в семантике генитивной конструкции отрицания. Такого наблюдателя естественно отождествить с «метонимическим героем» стихов и прозы Пастернака, который был обнаружен Якобсоном.

Так или иначе, метонимия, понимаемая как сдвиг фокуса внимания, позволяет связать воедино явления, которые, оставаясь отдельными, были каждый сам по себе менее понятны.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1974 — *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974.
- Апресян 1986 — *Апресян Ю. Д.* Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. Вып. 28. М., 1986. С. 5—33.
- Булыгина, Шмелев 1997 — *Булыгина Т. В., Шмелев А. Д.* Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки рус. культуры, 1997.
- Гаспаров 1997 — *Гаспаров М. Л.* Избранные труды. Т. 2. О стихах. М.: Языки рус. культуры, 1997.
- Иванов 1987 — *Иванов Вяч. Вс.* Поэтика Романа Якобсона // *Якобсон Р.* Работы по поэтике: Переводы. М.: Прогресс, 1987. С. 5—22.
- Иванова, Казенин 1993 — *Иванова С. А., Казенин К. И.* О коммуникативных ограничениях на взаимодействие значений лексем // *Вопр. языкознания.* 1993. № 5.
- Квятковский 1966 — *Квятковский А. П.* Поэтический словарь. М., 1966.
- Кустова 2002 — *Кустова Г. И.* Семантика тяжести. Семиотика и информатика. Вып. 37. М.: ВИНТИ, 2002. С. 116—146.
- Мельчук, Холодович 1970 — *Мельчук И. А., Холодович А. А.* К теории грамматического залога // *Народы Азии и Африки.* 1970. № 4. С. 111—124.
- Падучева 1999 — Метонимические и метафорические переносы в парадигме значений глагола *назначить* // *Теория и типология языка. От описания к объяснению. К 60-летию А. Е. Кибрика.* М., 1999. С. 488—502.
- Падучева 2001 — *Падучева Е. В.* Каузативные глаголы и декаузативы в русском языке // *Рус. яз. в науч. освещении.* 2001. № 1. С. 52—79.
- Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки слав. культуры, 2004.
- Рахилина 1992 — *Рахилина Е. В.* Лексическое значение и коммуникативная структура (к постановке проблемы) // *НТИ. Сер. 2.* 1992. № 6.
- Тестелец 2001 — *Тестелец Я. Г.* Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001.

- Филипенко 1992 — *Филипенко М. В.* О сочетаемости глагола с наречием // Ин-т лингвистических исследований РАН: Тезисы докл. XI конф. СПб., 1992.
- Черч 1961 — *Черч А.* Введение в математическую логику / Пер. с англ. под ред. В. А. Успенского. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.
- Якобсон 1987 — *Якобсон Р.* Заметки о прозе поэта Пастернака // *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 324—338.
- Aucouturier 1970 — *Aucouturier.* The metonymous hero, or the beginnings of Pasternak as a novelist // Books abroad, spring 1970. Oklahoma: Norman, 1970. P. 222—227.
- Babby 1980 — *Babby L. H.* Existential Sentences and Negation in Russian. Ann Arbor: Caroma Publishers, 1980.
- Haspelmath 1993 — *Haspelmath M.* More on typology of the inchoative/causative alternations // *Comrie B., Polinsky M.* (eds.). Causation and Transitivity. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1993.
- Frege 1892/1977 — *Frege G.* Sinn und Bedeutung // *Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik.* 1892. № 100. (Рус. пер.: *Фреге Г.* Смысл и денотат // Семиотика и информатика. М.: ВИНТИ, 1977. Вып. 8. С. 181—210.)
- Partee 1984 — *Partee B. H.* Compositionality // *Varieties of Formal Semantics.* Dordrecht, 1984.

О ЗАВИСИМОМ/НЕЗАВИСИМОМ СТАТУСЕ СИТУАЦИЙ*

1. В своей работе [Иванов 2004] Вяч. Вс. Иванов как бы подвел итоги развития языкознания от Панини до наших дней и обозначил те направления, которые, по его мнению, должны быть ведущими в языкознании третьего тысячелетия. Вместе с тем важность этой книги состоит еще и в том, что она призывает нас заново оценить актуальность той проблематики, которую мы разрабатываем, и, в частности, посмотреть, нет ли таких проблем, которые незаслуженно остаются в тени, хотя являются актуальными для современного языкознания. В предлагаемых вниманию читателя заметках речь как раз и пойдет об одной из таких проблем.

Без малого 60 лет тому назад в теоретической лингвистике произошли два события, которые во многом определили направление последующих исследований глагола и глагольных конструкций. Первое событие — введение в научный оборот С. Д. Кацнельсоном термина «валентность». В своей статье «О грамматической категории» он впервые указал, что «свойство слова определенным образом реализоваться в предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами можно было бы назвать синтаксической валентностью» [Кацнельсон 1948: 132]¹. Второе событие — это обнаружение Ю. С. Масловым у различных глагольных лексем акциональной специфики, которая детерминирует выбор и употребление видовых форм НСВ и СВ [Маслов 1948].

Оба эти открытия лежат в основе современных представлений об устройстве глагольного слова. В соответствии с этими представлениями знаменательный глагол в каждом из своих конкретных значений (если он многозначный) выступает как отдельная лексема, которая называет некоторую ситуацию с индивидуальным набором участников, выполняющих определенные семантические роли. Глагольные лексемы принято классифицировать по различным формальным и семантическим основаниям. С одной стороны, глагольные лексемы классифицируют по числу ва-

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 06-06-80273-а) и Программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории».

¹ Годом позже этот термин, независимо от С. Д. Кацнельсона, появился в работе [de Groot 1949: 214—215]. Затем, очевидно, не зная о работах своих предшественников, и тем самым независимо от них на десяток лет позже термин «валентность» использовал и истолковал в своей книге Л. Теньер [Tesnière 1959]. Вместе с тем существует довольно широко распространенное мнение, см., например, [Сильницкий 2007: 92], что термин «валентность» первым ввел в научный оборот именно Л. Теньер.

лентностей, т. е. по числу участников, необходимых и достаточных для толкования любой конкретной глагольной лексемы. Соответственно выделяются классы глагольных лексем, различающиеся своей валентностью (от нульвалентного до семивалентного), а сами валентности, точнее их синтаксические реализации, делятся на обязательные и необязательные (первые в отличие от вторых реализуются в тексте при любом употреблении данной конкретной лексемы). Напомним, что С. Д. Кацнельсон первым провел классификацию по числу валентностей, выделив глаголы с нулевой валентностью (*светает*), одноместные (*плакать*), двухместные (*убивать*), трехместные (*дать*). Эта классификация представлена в его посмертно опубликованной статье «К понятию типов валентности» [Кацнельсон 1987]. С другой стороны, глагольные лексемы классифицируют по их акциональным свойствам.

Первую фундаментальную классификацию глагольных лексем (точнее их употреблений), в основу которой были положены их акциональные свойства, предложил З. Вендлер [Vendler 1967]. В рамках этой, ставшей очень популярной, классификации глагольные лексемы распределяются между четырьмя акциональными классами: состояния (*states*), деятельности (*activities*), совершения (*accomplishments*), достижения (*achievements*). С того времени появился целый ряд одноуровневых и многоуровневых акциональных классификаций глагольных лексем [Булыгина 1982; Падучева 2004; Апресян 2003: 8—10; 2005; 2006; Татевосов 2005; Comrie 1976; Mourelatos 1981; Moens 1987; Chung, Timberlake 1985; Bache 1985; 1995; Bach 1986; Durst-Andersen 1992; Breu 1994; Dik 1994; Klein 1995; Smith 1997; Xiao, McEnergy 2004]. Важная особенность всех этих классификаций заключается в том, что принадлежность глагольных лексем к тому или другому акциональному классу детерминирует не только их аспектуальные свойства, но по умолчанию или эксплицитно и другие грамматические, а также сочетательные свойства.

Преодолевая свои прежние представления, сомнение в этом совсем недавно высказала Е. В. Падучева [Падучева 2004а]. По ее мнению, рационально, разумеется, на разных основаниях проводить две классификации глагольных лексем. Первая — уже упомянутая нами акциональная классификация Вендлера, а вторая классификация различает тематические классы, своего рода аналоги семантических полей. Акциональные классы отвечают за аспектуальные особенности глаголов, входящих в эти классы, а тематические классы, как правило, определяют актантную структуру — т. е. набор участников (семантических ролей) глагола и синтаксические позиции, занимаемые этими участниками. Если четырех классов Вендлеровской классификации, по мнению Е. В. Падучевой, достаточно для характеристики акциональных особенностей лексем, то сколько всего можно и нужно выделять тематических классов глагольных лексем, пока не знает никто, хотя отдельные примеры таких классов хорошо известны. В частности, примером таких тематических (читай: семантических) классов может служить класс глаголов **стандартных** пространственных положений (тела человека), в который в русском языке, как минимум, входят глаголы *лежать*, *сидеть*, *стоять*, и, может быть, *висеть* (их называют еще позиционными глаголами), а также класс гла-

голов, обозначающих переход от **стандартных** (исходных) положений к **нестандартным** (производным) типа *прислониться, облокотиться, опереться, наклониться, нагнуться* [Храковский 2007]. Сразу замечу, что проблема подобной классификации глаголов очень интересовала еще С. Д. Кацнельсона. Он, правда, говорил о глагольных лексико-грамматических разрядах, но фактически имел в виду семантические классы глаголов, которые характеризуются определенными грамматическими особенностями [Кацнельсон 2001: 593].

При наличии различных формальных и содержательных классификаций глагольных лексем до сих пор как будто бы остается в тени вопрос о логике отношений между ситуациями, называемыми глагольными лексемами, которые относятся к различным формальным и содержательным классам. Иными словами, речь идет о том, являются ли ситуации в системе языка, а соответственно и в тексте, всегда независимыми друг от друга, т. е. логически однородными, или же в определенных случаях ситуации могут зависеть друг от друга, т. е. быть логически неоднородными. В предлагаемой работе делается попытка наметить предварительное решение этого вопроса.

Разумно предположить, что ответ на поставленный вопрос целесообразно искать, анализируя простые предложения с однородными сказуемыми типа:

(1) *Мальчик глядел (НСВ) в окно и насвистывал (НСВ) любимый мотивчик,*

в которых глаголы называют ситуации, которые происходят одновременно. По мысли А. В. Бондарко, в подобных предложениях реализуется независимый таксис одновременности, поскольку в них сопрягаются два «равноправных» предиката [Бондарко 1999: 100], иными словами, ситуации, называемые глаголами в этих предложениях, связаны только отношением одновременности. Такие двуглагольные (а в принципе и многоглагольные) предложения с общим участником, занимающим позицию первого синтаксического актанта (подлежащего) и обычно выполняющим одну и ту же роль в обеих ситуациях, уже дают пищу для размышлений о логике отношений между этими ситуациями.

2. Предметом анализа в работе, кроме предложения (1), служат следующие двуглагольные предложения:

(2) *Петя завтракал (НСВ) и слушал (НСВ) радио.*

(3) *Старик боялся (НСВ) заболеть гриппом и не ездил (НСВ) в метро.*

(4) *Молодой человек сидел (НСВ) в кресле и читал (НСВ) книгу.*

(5) *Этот человек говорил (НСВ) и заикался (НСВ).*

(6) *Иванов скользил (НСВ) по льду и вычерчивал (НСВ) замысловатые фигуры.*

В этих предложениях глаголы называют ситуации, которые происходят одновременно до времени речи, и у этих ситуаций один общий участник, занимающий позицию первого синтаксического актанта (подлежащего) и выполняющий роль агенса при обоих глаголах в (1), (2), (4), (6), при втором глаголе в (3) и при первом глаголе в (5). Этот же участник выполняет роль реципиента при первом глаголе в

(3) и роль объекта при втором глаголе в (5). Тем самым эти предложения могут служить экспериментальной базой для уяснения логики отношений между обеими ситуациями. Проводимый эксперимент заключается в следующем: проверяется возможность перестановки в предложении глаголов, называющих одновременные ситуации. Если перестановка возможна, то желательно установить, приводит ли она к каким-либо семантическим и/или прагматическим последствиям. Если же перестановка невозможна, то желательно установить причины, препятствующие перестановке глаголов, называющих одновременные ситуации и имеющих одного общего основного участника этих ситуаций. Любые итоги этого эксперимента, с нашей точки зрения, должны пролить свет на логику отношений между ситуациями, выражаемыми в предложении.

3. Результаты эксперимента сводятся к следующему. В предложении (1) перестановка глаголов вполне допустима:

(1) а. *Мальчик насвистывал (НСВ) любимый мотивчик и глядел (НСВ) в окно.*

Возможность перестановки глаголов в предложении (1) свидетельствует о том, что ситуации, называемые этими глаголами, являются равноправными и независимыми (можно глядеть в окно и не насвистывать любимый мотивчик, а можно насвистывать любимый мотивчик и не глядеть в окно). Предложения (1) и (1а) синонимичны и отличаются друг от друга только коммуникативной структурой. Иначе говоря, одновременность — это единственное свойство, которое связывает эти независимые ситуации.

В предложениях (2)—(3) грамматического запрета на перестановку глаголов нет, но такая перестановка приводит, на наш взгляд, к нежелательным прагматическим последствиям.

(2) а. *Петя слушал (НСВ) радио и завтракал (НСВ);*

(3) а. *Старик не ездил (НСВ) в метро и боялся (НСВ) заболеть гриппом.*

Отсутствие грамматического запрета на перестановку глаголов в предложении (2) говорит о том, что ситуации, называемые этими глаголами, являются равноправными и независимыми (можно завтракать и не слушать радио, а можно слушать радио и не завтракать). Вместе с тем предложение (2а) при его несомненной грамматической правильности выглядит неестественным, очевидно, потому, что в нашем прагматическом восприятии мира ситуация, обозначаемая глаголом *завтракать* (ситуация приема пищи), предстает как безусловно более важная, чем ситуация, обозначаемая глаголом *слушать* (ситуация получения информации). Из двух одновременно происходящих ситуаций с общим основным участником первой по порядку должна следовать прагматически более важная ситуация. Впрочем, ничто не мешает предположить, что у отдельных представителей нашего социума ситуация, обозначаемая глаголом *слушать*, считается прагматически более важной, чем ситуация, обозначаемая глаголом *завтракать*, и соответственно для них предложение (2а) выглядит естественным, а предложе-

ние (2), напротив, неестественным. Но подобного рода исключения только подтверждают правило.

Что касается предложения (3), то в нем ситуации, называемые обоими глаголами относительно равноправны (можно не ездить в метро и при этом не бояться заболеть гриппом, а можно бояться заболеть гриппом и при этом ездить в метро). Однако одновременность не единственное свойство, которое связывает эти две ситуации. Их связывают причинно-следственные отношения, а именно: первый глагол называет ситуацию причины, а второй — ситуацию следствия. Перестановка глаголов в данном случае нарушает иконичность соотношения причины и следствия и потому, хотя такая перестановка с грамматической точки зрения возможна, она недопустима, если иметь в виду сохранение причинно-следственных отношений. Заметим, между прочим, что причинно-следственные отношения становятся более эксплицитными при следующей синонимической трансформации исходного предложения (3):

(3) б. *Старик боялся (НСВ) заболеть гриппом и поэтому не ездил (НСВ) в метро.*

В предложениях (4)—(6) перестановка глаголов, на наш взгляд, недопустима:

(4) а. **Молодой человек читал (НСВ) книгу и сидел (НСВ) в кресле.*

(5) а. **Этот человек заикался (НСВ) и говорил (НСВ).*

(6) а. **Иванов вычерчивал (НСВ) замысловатые фигуры и скользил (НСВ) по льду.*

В предложении (4) запрет на перестановку глаголов вытекает из специфической функции глагола *сидеть* и наметавшейся его грамматикализации. На первый взгляд ситуации, обозначаемые глаголами *сидеть* и *читать* равноправны и независимы, поскольку можно читать и не сидеть в кресле и можно сидеть в кресле и не читать. Однако это впечатление обманчиво. Дело в том, что ситуация, обозначаемая глаголом *сидеть* (равно как и глаголами *лежать* и *стоять*), практически почти никогда не является самоцелью. Обычно человек принимает данное положение для того, чтобы заниматься какой-то другой необходимой деятельностью. Это и определяет специфическую «обслуживающую» функцию глагола *сидеть*. Приведенному рассуждению на первый взгляд противоречат крайне редкие примеры типа

(7) *Молодой человек болел (НСВ) и лежал (НСВ) в постели,*

где глагол *лежать* следует за глаголом *болеть*, причем грамматического запрета на перестановку глаголов нет, хотя производное предложение кажется странным с прагматической точки зрения:

(7) а. ?*Молодой человек лежал (НСВ) в постели и болел (НСВ).*

Отсутствие грамматического запрета на перестановку глаголов в предложении (7) говорит о том, что ситуации, называемые этими глаголами, являются относи-

тельно равноправными и независимыми (можно болеть и не лежать в постели, а можно лежать в постели и не болеть). Однако в этом предложении глагол *лежать* не выполняет «обслуживающей» функции, а одновременность не единственное свойство, которое связывает эти две ситуации. Их, как и в предложении (3), связывают причинно-следственные отношения, а именно: первый глагол называет ситуацию причины, а второй — ситуацию следствия. Перестановка глаголов в данном случае нарушает иконичность соотношения причины и следствия и потому, хотя такая перестановка с грамматической точки зрения возможна, она недопустима, если иметь в виду сохранение причинно-следственных отношений. Добавим к сказанному, что причинно-следственные отношения становятся более эксплицитными при следующей синонимической трансформации исходного предложения (7):

(7) б. *Молодой человек болел (НСВ) и поэтому лежал (НСВ) в постели.*

В предложении (5) невозможность перестановки глаголов объясняется неравноправием ситуаций, обозначаемых глаголами *говорить* и *заикаться*. Независимой и более важной является ситуация, называемая глаголом *говорить*. Человек может говорить, но не заикаться, но заикаться может только во время говорения. Иначе говоря, ситуация заикания может сопутствовать ситуации говорения, но может и не сопутствовать, однако самостоятельно вне ситуации говорения ситуация заикания существовать не может.

В предложении (6) невозможность перестановки глаголов также объясняется неравноправием ситуаций, обозначаемых глаголами *скользить* и *вычерчивать*. Если ситуация, обозначаемая глаголом *скользить*, является независимой, то ситуация, обозначаемая глаголом *вычерчивать*, может реализоваться только при наличии первой, и при этом вторая ситуация представляет собой интерпретацию первой. Важно и то, что зависимая ситуация может представлять собой цель, которую реализуют, используя в качестве средства независимую ситуацию.

4. Проведенный эксперимент позволяет сделать следующие выводы. В общем случае одновременно происходящие ситуации могут быть равноправными и неравноправными. Равноправные ситуации могут не зависеть друг от друга, и это обеспечивает возможность перестановки глаголов, см. (1). Равноправные ситуации могут занимать различные места на прагматической шкале иерархии ситуаций, и это исключает возможность перестановки глаголов, см. (2). Равноправные ситуации могут зависеть друг от друга, и это исключает возможность перестановки глаголов, если мы хотим сохранить существующую зависимость, см. (3). При неравноправии ситуаций одна ситуация всегда является независимой, а другая — зависимой. Зависимая ситуация всегда следует за независимой. В этом случае перестановка глаголов невозможна, см. (4)—(6). Различные конкретные случаи неравноправия ситуаций уже известны в языкознании. Именно о них идет речь при описании интерпретационных глаголов [Апресян 1999], глаголов стандартных пространственных положений тела человека [Кацнельсон 2001; Литвинов 1984; Майсак 2005; Рахилина 2000; Miller 1970], при выделении специфической тесно-

ты синтаксической связи обстоятельства образа действия с глаголом [Богуславский 1977], но в общем плане вопрос о необходимости разграничения независимых (самостоятельных) и зависимых (несамостоятельных) ситуаций как будто бы не ставился.

5. Впрочем перестановку глаголов в принципе можно осуществить, не нарушая тех отношений, которые препятствуют перестановке финитных глаголов. Для этого необходимо преобразовать первый финитный глагол в соотносительную нефинитную форму (деепричастие, отглагольное имя). Оборот с такой формой вполне может следовать за финитным глаголом, который в исходном положении занимал вторую позицию. Ср.:

- (2) б. *Петя слушал (НСВ) радио за завтраком.*
- (3) б. *Старик не ездил (НСВ) в метро, боясь (НСВ) заболеть гриппом.*
- (4) б. *Молодой человек читал (НСВ) книгу, сидя (НСВ) в кресле.*
- (5) б. *Этот человек заикался (НСВ) во время разговора.*
- (6) б. *Иванов вычерчивал (НСВ) замысловатые фигуры, скользя (НСВ) по льду.*

Таким образом, можно считать, что одна из функций нефинитных форм глагола (деепричастие, отглагольное имя) заключается в том, чтобы создавать необходимую коммуникативную структуру предложения, преодолевая ту иконичную последовательность ситуаций с одним и тем же первым участником, которая не может быть нарушена при употреблении финитных глаголов.

6. Нам остается напомнить, что сочетаться в простом предложении, обозначая одновременные ситуации, могут только такие глаголы НСВ, у которых совпадают или коррелируют частные видовые значения. В частности, уже давно известно о грамматическом запрете предложений типа

- (8) **Петров заведовал (НСВ) лабораторией и принимал (НСВ) экзамен,*

который объясняется тем, что у глагола *заведовать* континуальное значение НСВ, а у глагола *принимать* актуально-длительное значение, которые не коррелируют друг с другом. В то же время грамматически правильными являются предложения типа

- (9) *Петров заведовал (НСВ) лабораторией и часто ездил (НСВ) в командировки,*

поскольку континуальное значение глагола *заведовать* сопрягается с неоднократным значением глагола *ездить* (поездки происходили во время того большого интервала, который занимает ситуация, обозначаемая глаголом *заведовать*).

Грамматическая правильность проанализированных в этой работе примеров вытекает из того, что в примерах (1)—(2), (4)—(6) у обоих глаголов НСВ одно и то же актуально-длительное значение, а в примере (3) у первого глагола континуальное значение, а у второго — неоднократное, которые коррелируют друг с другом.

ЛИТЕРАТУРА

- Апресян 1999 — *Апресян Ю. Д.* Лингвистическая терминология словаря // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1. М.: Языки рус. культуры, 1999. XVI—XXXVIII.
- Апресян 2003 — *Апресян Ю. Д.* Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействие. СПб.: Наука, 2003. С. 7—21.
- Апресян 2005 — *Апресян Ю. Д.* О московской семантической школе // Вопр. языкознания. 2005. № 1. С. 3—30.
- Апресян 2006 — *Апресян Ю. Д.* Основания системной лексикографии // Языковая картина мира и системная лексикография. М.: Языки слав. культур, 2006. С. 33—160.
- Бондарко 1999 — *Бондарко А. В.* Основы функциональной грамматики. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999.
- Богуславский 1977 — *Богуславский И. М.* О семантическом описании русских деепричастий: неопределенность или многозначность? // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1977. Т. 36. № 3. С. 270—281.
- Булыгина 1982 — *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М.: Наука, 1982. С. 7—85.
- Иванов 2004 — *Иванов Вяч. Вс.* Лингвистика третьего тысячелетия. Вопросы к будущему. М.: Языки слав. культуры, 2004.
- Кацнельсон 1948 — *Кацнельсон С. Д.* О грамматической категории // Вестник Ленинградского ун-та. 1948. № 2. С. 114—134.
- Кацнельсон 1987 — *Кацнельсон С. Д.* К понятию типов валентности // Вопр. языкознания. 1987. № 3. С. 20—32.
- Кацнельсон 2001 — *Кацнельсон С. Д.* Категории языка и мышления. М.: Языки слав. культуры, 2001.
- Литвинов 1984 — *Литвинов В. П.* Свойства эnumerативных предикатов // Прагматика и семантика синтаксических единиц. Калинин, 1984. С. 54—62.
- Майсак 2005 — *Майсак Т. А.* Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. М.: Языки слав. культуры, 2005.
- Маслов 1948 — *Маслов Ю. С.* Вид и лексическое значение глагола в русском языке // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1948. Т. 7. № 4. С. 303—316.
- Падучева 2004 — *Падучева Е. В.* Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки слав. культуры, 2004.
- Падучева 2004a — *Падучева Е. В.* О параметрах лексического значения слова: онтологическая категория и тематический класс // Русский язык сегодня. Т. 3. Проблемы русской лексикографии. М., 2004. С. 213—238.
- Рахилина 2000 — *Рахилина Е. В.* Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М.: Русские словари, 2000.
- Сильницкий 2007 — *Сильницкий Г. Г.* Многообразии лингвистических школ и поиск методологического единства современной лингвистики // Вестник Смоленского гос. ун-та. Сер. 1: Филология. Т. 1. 2007. С. 91—106.
- Татевосов 2005 — *Татевосов С. Г.* Акциональность: типология и теория // Вопр. языкознания. 2005. № 1. С. 108—141.

- Храковский 2007 — Храковский В. С. Два глагола — *наклониться* и *нагнуться* (К вопросу о соотношении глаголов, обозначающих стандартные и нестандартные положения тела человека) // Язык как материя смысла: Сб. ст. в честь акад. Н. Ю. Шведовой. М.: Азбуковник, 2007. С. 314—326.
- Bach 1986 — *Bach E.* The Algebra of Events // *Linguistics and Philosophy*. Vol. 9. 1986. P. 5—16.
- Bache 1985 — *Bache C.* Verbal Aspect: A General Theory and its Application to Present-day English. Odense, 1985.
- Bache 1995 — *Bache C.* The Study of Aspect, Tense and Action: Toward a Theory of the Semantics of Grammatical Categories. Frankfurt-am-Main, 1995.
- Breu 1994 — *Breu W.* Interactions Between Lexical, Temporal, and Aspectual Meanings // *Studies in Language*. Vol. 18. 1994. № 1. P. 23—44.
- Comrie 1976 — *Comrie B.* Aspect. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1976.
- Chung, Timberlake 1985 — *Chung S., Timberlake A.* Tense, Aspect and Mood // *Shopen T.* (ed.). *Language Typology and Syntactic Description*. Vol. III: Grammatical Categories and the Lexicon. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1985. P. 202—207.
- de Groot 1949 — *de Groot A. W.* *Structurele syntaxis*. Den Haag: Servire, 1949.
- Dik 1994 — *Dik S.* Verbal Semantics in Functional Grammar // *Bache S., Basboll H., Lindberg C.-E.* (eds.). *Tense, Aspect and Action: Empirical and Theoretical Contributions to Language Typology*. Berlin: Mouton de Gruyter, 1994. P. 23—42.
- Durst-Andersen 1992 — *Durst-Andersen P.* *Mental Grammar. Russian Aspect and Related Issues*. Columbus: Slavica, 1992.
- Klein 1995 — *Klein W.* A Time-relational Analysis of Russian Aspect // *Language*. Vol. 71. 1995. P. 669—695.
- Miller 1970 — *Miller J.* Stative verbs in Russian // *Foundations of language*. Vol. 6. 1970. № 4. P. 488—504.
- Moens 1987 — *Moens M.* *Tense, Aspect, and Temporal Reference*: Ph. D. dissertation. University of Edinburg, 1987.
- Mourelatos 1981 — *Mourelatos A. P.* Events, Processes and States // *Tedeschi P., Zaenen A.* (eds.). *Tense and Aspect (Syntax and Semantics 14)*. N. Y.: Academic Press, 1981. P. 191—212.
- Smith 1997 — *Smith C.* *The Parameter of Aspect*. Dordrecht: Kluwer, 1997.
- Tesnière 1959 — *Tesnière L.* *Eléments de syntaxe structurale*. Paris: Klincksieck, 1959.
- Vendler 1967 — *Vendler Z.* *Linguistics in philosophy*. Ithaca; N. Y.: Cornell Univ. Press, 1967.
- Xiao, McEnery 2004 — *Xiao Z., McEnery A.* A Corpus-based Two-level Model of Situation Aspect // *Journal of Linguistics*. Vol. 40. 2004. № 2. P. 325—363.

УДАРЕНИЕ ПРОСОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Как известно, две тактовые группы (в частном случае две словоформы) иногда могут объединяться в единую тактовую группу с одним ударением. Мы будем называть такую результирующую тактовую группу просодическим комплексом.

Просодический комплекс может быть как сложным словом (например, *пятьдесят*), так и словосочетанием (например, *не у кого*). Из числа сложных слов просодическими комплексами являются только те, которые возникли из словосочетаний путем одного лишь акцентного объединения, без замены целых словоформ их основами. Например, сложное слово *Нóвгород* — это просодический комплекс, а *новострóйка* — обычное сложное слово.

Акцентные явления, происходившие в истории русского языка при объединении двух тактовых групп (так называемой универбации), описаны Х. Стангом [1978]. Но Станга интересуют в основном лишь общие правила; об отклонениях от них, в частности, в сложных числительных, Станг говорит весьма коротко, констатируя только, что в XVII в. такие числительные могли акцентуироваться двумя разными способами.

В настоящей работе акцентная эволюция просодических комплексов в ходе истории рассматривается более подробно.

Для описания древнерусского состояния фундаментальным является хорошо известное различие (см., напр.: [Зализняк 1985: § 2.5]) двух классов тактовых групп (в частном случае — одиночных словоформ):

ортотонические (символ: Orth);

энклиноменные (символ: Encl).

Самую важную часть имеющих ныне просодических комплексов составляют современные сложные числительные, возникшие из прежних сочетаний простых числительных¹. Именно им посвящена основная часть последующего разбора.

Укажем в связи с этим, что среди древнерусских простых числительных:

к классу энклиноменов относились словоформы И. В. падежа числительных *дѣва*, *оба*, *трие*, *пять*, *шесть*, *девать*; кроме того, все словоформы единств. числа слов *десять*, *съто*, кроме *десятью* (тем самым, в частности, и важное

¹ Во избежание громоздких формулировок мы позволяем себе применять название «числительное» не только к собственно числительным, но и к счетным существительным (в частности, *десять*, *съто*), поскольку для нашего разбора это различие несущественно.

для дальнейшего сочетание на *десате*), а также их словоформы И. В. множ. и И. В. двойств.

к ортотоническому классу относились все словоформы числительных *одинъ, четыре, семь, осмь*, а также те словоформы слов *дѣва, оба, трие, пять, шесть, девять, десать, съто*, которые не подпадают под действие пункта об энклиноменах (например, *дѣвою, дѣвѣма, трѣхъ, пяти, шестью*).

Древний принцип акцентовки просодических комплексов

Имеющийся материал позволяет заключить, что в древнерусском языке просодические комплексы акцентуировались по общим правилам для тактовых групп (о которых см.: [Зализняк 1985: § 2.8; 2008: § 0.4]). В этом и состоит древний принцип их акцентовки.

Практически это означает, что:

два энклиномена дают единый энклиномен;

при соединении ортотонической группы с энклиноменной (в любом порядке) побеждает ударение ортотонической группы;

в случае объединения двух ортотонических групп побеждает ударение первого члена (но обычно такие две группы в древности еще не объединялись).

Можно описать ту же картину и так: при различии просодических статусов побеждает ортотоническое слово; при тождестве — первый член. Именно так описывает ее Станг, только в терминах «восходящее ударение — нисходящее ударение».

Изредка встречаются также просодические комплексы из трех членов. Их ударение определяется теми же правилами. Так, *поль* (Encl) *вътора* (Orth) *съта* (Encl) дает ударение *полтора́ста*; *полу* (Orth) *вътора* (Orth) *съта* (Encl) дает ударение *полутора́ста*.

Новый принцип акцентовки просодических комплексов

В ходе истории русского языка со временем развивается новый принцип акцентовки просодических комплексов.

Он состоит в том, что просодический комплекс получает ударение своего последнего члена, независимо от просодических характеристик его членов.

Этот принцип развивается в связи с формированием той особенности, характерной для современного русского языка, что в словосочетании из двух фонетических слов более сильное ударение (если нет какой-то эмфазы) в нормальном случае имеет второй член. Примеры (более сильное ударение отмечено акутом, более слабое — грависом): *двѣ ло́шади, дѣм ста́росты, бѣк ѓ бок, с бѣку на́ бок, друг от дру́га, земля́ и не́бо, не́бо и земля́, му́ж и жена́*.

Эта особенность согласуется с тем, что в современном русском языке действует общее правило, которое в работе [Исаченко 1967] сформулировано так: фразовое ударение падает на последнее слово интонационной группы. В значительной части случаев этот «акцентный перевес» соответствует тому, какой член более нагружен

новой информацией (и тем самым более важен в смысловом отношении). Это наиболее ясно проявляется там, где непосредственно представлено соотношение «тема — рема», например, *пришел Иван* (а не кто-либо иной) и *Иван пришел* (а мы опасались, что он не придет). Смысловое соотношение сходного типа представлено и в таких случаях, как, например, *остался доволен, пришел проститься, дорога домой* и т. п.

Но правило «акцентного перевеса» последнего члена носит общий характер, т. е. действует и в тех случаях, когда в смысловом отношении последний член явного (или даже никакого) перевеса не имеет, например, *Петр и Иван, трижды два, восемь на девять, черный дым*.

Конкуренция двух принципов акцентровки

История ударения просодических комплексов определяется взаимодействием и конкуренцией указанных двух принципов акцентровки: древнего и нового.

В том случае, когда оба принципа дают одинаковое решение, просодический комплекс имеет на всем протяжении истории вполне устойчивое ударение. Такова модель Encl + Orth, например: *пятьдесят, шестьсот*.

Там, где эти принципы находятся в конфликте, поздно сложившиеся комплексы, естественно, подчиняются новому правилу, а у древних комплексов в значительной части случаев в ходе истории происходила постепенная смена древнего ударения новым. Некоторые примеры:

сумаси́дший (модель Orth + Orth, позднее объединение);

семна́дцать (модель Orth + Encl — древнее ударение *се́мь на десяти*, новое — *семна́дцать*);

полго́да (модель Encl + Encl — древнее ударение *по́ль года*, новое — *полго́да*);

пятина́дцать (модель Encl + Encl — древнее ударение *пять на десяти*, новое — *пятина́дцать*).

Но небольшая часть древних комплексов сохраняет старое ударение, не подчиняясь новому правилу. Сюда относятся прежде всего сложения, утратившие семантическую прозрачность, например: *спаси́бо, се́годня* (модель Orth + Encl); но также и некоторые другие, например: *оди́ннадцать* (модель Orth + Encl); *триста, по́лдень, втри́дорога* (модель Encl + Encl).

В некоторых случаях прежний просодический комплекс утратил единство, то есть вернулся к состоянию двух самостоятельных тактовых групп; например, древнерусскому просодическому комплексу *три́ годы* в современном языке соответствуют две тактовых группы: *три го́да*.

Новый принцип акцентуации комплексов наиболее активно проявился в следующих случаях:

а) при соединении двух ортотонических групп;

б) при соединении двух энклиноменных групп, если при второй из них была хотя бы одна проклитика (а в поздних сложениях с *пол-* — даже и без этого дополнительного условия: *полго́да, полно́чи*).

В связи с этим внутри класса энклиноменных тактовых групп нам в дальнейшем потребуется различать два подкласса:

Епс1-1 — словоформы-энклиномены (без клитик);

Епс1-2 — энклиноменные тактовые группы, содержащие одну или несколько проклитик².

Заметим, что почти все имеющиеся примеры Епс1-2 — это сочетание *на десате* (и его потомки) в составе сложных числительных.

Важным явлением в изучаемой области является также воздействие на слово его парадигматических соседей. Это касается прежде всего числительных, которые в ряде случаев уподобляются по ударению соседним членам натурального ряда (примеры этого мы увидим ниже). Существенно то, что в таких случаях аналогическое выравнивание всегда идет в сторону, соответствующую новому принципу акцентуации.

Данные памятников

Данные акцентуированных памятников позволяют непосредственно увидеть некоторые элементы сосуществования и конкуренции старого и нового принципов акцентировки просодических комплексов. Следует, правда, учитывать, что общее количество материала здесь невелико, поскольку в памятниках числительные в подавляющем большинстве случаев записываются цифрами. В частности, к сожалению, почти нет примеров записанных полностью (и акцентуированных) сложных числительных в самом важном из древнерусских акцентуированных памятников — Чудовском Новом Завете XIV в.

Для настоящей работы использован ряд памятников из числа обследованных в книге [Зализняк 1985], с добавлением некоторых других. Для памятников, где слова разделены, слитное или раздельное написание дается в соответствии с оригиналом; в прочих случаях словоделение условно. Для примеров, встречающихся в памятнике неоднократно, как правило ограничиваемся приведением лишь одного адреса.

Ниже при изучении просодических комплексов вначале рассматривается общий случай, а затем более подробно тот частный случай, который представляет для нашего разбора наибольший интерес, а именно, сложные числительные.

Общий случай

Начнем с примеров, где в памятнике в обоих членах сочетания проставлено ударение. Такие примеры весьма многочисленны; мы ограничимся здесь очень немногими. Следует учитывать, что такая расстановка знаков ударения не всегда соответствует обычному произношению в живой речи: писцы иногда выставляли два

² Энклитик в этих случаях быть не может, так как наличие энклитики превращает любую тактовую группу в ортотоническую.

ударения вместо одного по той причине, что проговаривали про себя каждый элемент словосочетания или сложного слова раздельно.

Модель Orth + Encl-1 — Лет. к *бѣлѣ городу* 115; Косм. *ѿ полу нѣчи* 128 об., *на четыре ѳглы* 130 об.; Улож. *по шти рѣблѣвъ* 107.

Encl + Orth — *за три часа* 100 об., *за пять рѣблѣвъ* 166.

Encl + Encl-1 — Улож. *в тѣ | нѣры* 211 об.

Encl + Encl-2 — Сенн. *дрѣгѣ на дрѣга* 204 г.

Примеры, где в памятнике комплекс имеет один знак ударения.

Случаи, где древний и новый принципы акцентровки дают одинаковый результат:

Модель Encl + Orth — Косм. *две³ мѣтицы* 29 об.; Улож. *по две дѣнги* 83, *по три рѣблѣ* (часто), *за полтретьѣ* [рѣблѣ] 166.

Случаи, где два принципа акцентровки дают разные результаты.

Примеры победы древнего принципа:

Модель Orth + Orth — Улож. *по полтретьѣ [дѣнги]* 239 об., *по полѣосмѣ [дѣнге]* 241 об.

З а м е ч а н и е. Ударение *двоѳродный* (Косм. *двоѳро^нно^н бра^т* 45 об.) указывает на ударение *двоѳ роду* в исходном словосочетании (Р. дв. — Orth + Orth).

Orth+Encl-1 — Лет. к *бѣлоѳгороду* 115 об., *в ца^ргоро^н* 211 об., *во царѳградѣ* 223 об., *из црѳграда* 221; Косм. *ѿ полуночи* 137, *ѿ полудни* 2, *по всѣ дни* 28 об.; Улож. *в белѣгородѣ* 199 об., *полѣгода* (Р. ед.) 210 об. (и часто).

По модели Orth + Encl-1 акцентуируются также все словоформы слова *Новгородъ* (как если бы прилагательное *новыи* относилось к акцентной парадигме *b* — при том, что фактически оно колебалось между акцентными парадигмами *c* и *b*). Например, в Лет., где это слово встречается очень часто, оно акцентуируется так: *нѣвгородъ*, *новѣгорода*, *новѣгородѣ*, *в новѣгородѣ* (иногда выставляется еще и ритмическое ударение на последнем слоге: *новѣгорода́*, *новѣгородѣ́*, *в новѣгородѣ́*); то же и в других рукописях.

Encl + Encl-1 — Косм. *три дни* 3, *по три дни* 79 об., *в три годы* 4, *в тѣ поры* (часто); Печ. *на дрѣгѣ дрѣга* 357; Улож. *тригоды* 300, *по тридни* 178, *полгода* 301 об., *наполгода* 210 об., *в тѣпоры* (часто); Матф. *въ три дни* 232 об.

Примеры победы нового принципа (для наглядности в этих случаях указываем даты памятников):

Модель Orth + Orth — Косм. (посл. четв. XVI в.) *все полѣ* 2 об. (NB *все* вместо *всѣ*).

Encl + Encl-2 — Печ. (1605 г.) *дрѣгѣ на дрѣга* 396 об. (если только это не пропуск знака ударения в первом члене).

³ В памятнике Косм. *e* вместо *ѣ* пишется только в безударной позиции. Таким образом, написание типа *две* показывает, что слово безударно.

Сложные числительные⁴

Отметим, что наибольшее количество акцентологических сведений по этой категории комплексов содержит памятник 1647 года Ратн.⁵, описанный Х. Стангом.

Примеры, где в памятнике в обоих членах сочетания проставлено ударение.

Модель Orth+Orth — Ратн. *сѣдмь сѡтъ, ѡсмь сѡтъ, трѣхъ сѡтъ, по пяти сѡтъ, по шестѹ сѡтъ, двѣма стѹи, двема стѹами, пополутора*; Хр. *сѣмь сѡтъ* 424 об., *сѣдмь сѡтъ* 467 об.

Orth + Encl-1 — Ратн. *четыре ста́.*

Orth + Encl-2 — Ратн. *четыре на́десѹть, ѡсмь на́десѹть, трѣмь на́десѹть, двѹ на́десѹти* (Р. падеж).

Encl + Orth — Ратн. *пѹть сѡтъ*; Хр. *шѣсть сѡтъ* 753.

Encl + Encl-1 — Ратн. *дѡ стѹа́.*

Encl + Encl-2 — Ратн. *дѡ на́десѹть, трѹ на́десѹть, по́ три на́десѹть, шѣсть на́десѹть.*

Примеры, где в памятнике сложное числительное имеет один знак ударения.

Случаи, где два принципа акцентовки дают одинаковый результат:

Модель Encl + Orth — Ратн. *пѹтьдѣсѹтъ, шѣстьдѣсѹтъ, дѣвѹтьдѣсѹтъ, пѹтьсѡтъ, шѣстьсѡтъ, полторѹ*; Хр. *шѣстьсѡтъ* 375. (И так же во многих других памятниках.) Вероятно, сюда же Косм. *двадѣванѡста* 49.

Случаи, где два принципа акцентовки дают разные результаты.

Примеры победы древнего принципа:

Модель Orth + Orth — Ратн. *сѣдмьдѣсѹтъ, -тъ, ѡсмьдѣсѹтъ (вѡс-), -тъ, попятѹдѣсѹтъ, пошѣстѹдѣсѹтъ, поседмѹдѣсѹтъ, поосмѹдѣсѹтъ, подевѹтьдѣсѹтъ*; Улож. *по шти́ десѹтъ* 196.

Orth + Encl-1 — Ратн. *четыредѣсѹтъ, четы́реста.*

Orth + Encl-2 — Ратн. *одѹннатѹцѹтъ, четы́ренадѣсѹтъ, четы́рнатѹцѹти, трѣмьна́десѹти, пѹтѹна́десѹти, попятѹнатѹцѹти, шѣстѹнатѹцѹти, шти́натѹцѹти, вѡсмѹна́десѹти, ѡсмѹнатѹцѹти, поѡсмѹнатѹцѹти*; Улож. *осмѹнатѹцѹти* 80, *попѹтѹна́дцѹти* 86; Матф. *четы́ренадѣсѹте* 10об.

Encl + Encl-1 — Чуд. *дѣѡ стѹѡ* 153б, *дѣѡ | стѹѡ* 76а, Ратн. *дѡдѣсѹтъ, дѡѹцѹтъ, трѹдѣсѹтъ, трѹтѹцѹтъ, дѣѡстѹѡ (-сте, -сти), трѹста, трѹ ста*; Косм. *дѣѡсте* 90 об., *трѹста* 23 об.; Улож. *на́ двѹцѹтъ* 140. (И так же во многих других памятниках.)

⁴ В перечни примеров не включены косвенные формы, не наследующие прямо древние словосочетания, а построенные заново на основе формы именительного падежа: *пятна́дцѹтъю, семна́дцѹтъю* и т. п., а также *двадѹцѹти́, -тъю, тридѹцѹти́, -тъю* (получившие такое ударение по аналогии с *дѣвѹтъ — дѣвѹти́, -тъю* и т. п.). Не включены также формы типа *четы́ренадѣсѹти́*м 'четы́рнадцати' (Д. падеж), где ударение заимствовано у порядковых числительных.

⁵ Данные памятника Ратн. приводятся по работе [Станг 1952]; поэтому адреса примеров не приводятся (см. указанную работу).

Encl + Encl-2 — Флав. *лѣтъ три на десате* 397а; Острож. *двѣ на десате* (Мт. 26.53); Матф. *дванадесать* 3 (и часто); Ратн. *дванадесать, тринадесать, пѣтънадесать, шѣстьнадесать*.

Приведем также изредка встречающиеся примеры тройных комплексов.

Encl + Orth + Encl — Косм. *по^нторѣста* 44 об., *по^нтре^а ста* 56, *по^ншма ста* 56.

Encl + Encl + Encl — Улож. *двѣтътъпѣтъ* 103 об., *трѣтътъпѣтъ* 103 об.

Примеры победы нового принципа:

Модель Orth + Orth — Ратн. (1647 г.) *трехъсѣтъ*.

Orth + Encl-2 — Дос. (2-я четв. XVI в.) *шма на деса^а* 110 об. (если только это не пропуск знака ударения в первом члене); Улож. (1649 г.) *восьмѣтътъ* 80 (ср.: Ратн. *шма^нтътъти, пошма^нтътъти* — косвенные формы, перестроенные по II. падежу).

Encl + Encl-2 — Алекс. (посл. треть XV в.) *дванѣдесать* 67; Сенн. (1500 г.) *двѣ на деса^а* 50б, 71в (надстрочный знак в *двѣ*, по-видимому, не передает ударения); Дос. (2-я четв. XVI в.) *три на деса^а* 101, *по два на десате* 88 об.; Острож. (1581 г.) *оба на десать* (часто); М. пс. (нач. XVII в.) *два на десате* 62; Синод. (XVII в.) *два на десате* (часто); Ратн. *двенѣтътъ, тринѣдесать, потринѣтътъти, пѣтънѣтътъ, шестъ на десать, шес(т)нѣтътъ*.

Материал памятников показывает, что даже и в XVII в. древний принцип акцентовки комплексов еще господствует. Основное изменение по сравнению с древним периодом касается комплексов с Encl-2 во второй части. В энклиноменных группах класса Encl-2 (то есть с проклитикой) ударение становится более устойчивым, приближаясь в этом отношении к ударению ортогонических словоформ. Иначе говоря, вместо двойной градации по устойчивости (Orth > Encl) формируется тройная: Orth > Encl-2 > Encl-1.

В модели Encl + Encl-2 новый тип акцентовки (*два на десате* и т. д.) появляется не позднее, чем в XV в., а в XVII в. уже преобладает. Но его полная победа в русском языке относится все же к более позднему времени.

В модели Orth + Encl-2 аналогичный процесс начинается позже и развивается намного слабее; древние ударения *одѣннадцать, четѣрнадцать* устойчиво сохраняются и поныне.

Относительно поздно развивается новый тип акцентовки в модели Orth + Orth; древние ударения *сѣмьдесать, вѣсемьдесать* устойчиво сохраняются и поныне.

Ударение просодических комплексов в современном русском языке

В итоге рассмотренной выше эволюции в современном русском языке сложилась следующая ситуация.

Просодический комплекс в качестве единого ударения получает ударение либо своего первого члена, либо второго. У просодических комплексов, составленных

из слов, которые существовали уже в древнерусском, современное ударение можно описать, исходя из древних просодических характеристик их членов, с помощью следующего основного правила:

при объединении двух древнерусских тактовых групп разного просодического класса побеждает ударение более сильного класса, в соответствии с градацией (по убывающей силе) «Orth > Encl-2 > Encl-1»;

при объединении двух групп одинакового класса побеждает ударение первого члена.

Примеры из современного языка (помимо литературных, включены также некоторые диалектные слова [из СРНГ и Даля]):

Модель Orth + Orth: *сёмьдесят, вóсьмьдесят; пятьо́десятью, шестьо́десятью* и т. д.; *полу́тора; покáмест* (из варианта с ортотоническим *ка В.* мн. ср.); *нэгде, нэкогда* 'нет времени', *нэкого, нэчего, нэ к кому, нэ для чего, нэ о чем* и т. п. с древним *нѣ* 'нет, не имеется'; диалектные *сэйзимы, сегóлета*.

Orth + Encl-1: *четы́реста, пяти́десяти, шестíдесяти* и т. д., *спасíбо, сегóдня, полúдня, полúночи, Бѣлгород, Нóвгород* (см. об этом слове выше), *Стáргород, Ива́нгород* (из *Ива́ньгород*)⁶; диалектные *Велíкдень, Никóльдень, (о)номéдни, оногóдни, одногóдни, навсédни, злы́дни, добры́дни, севóгода, сесьгод, сэйгод, сэйночи* (последние два с колебанием ударения), *сэйвечер, добрáночь* (западное), *ты́ждень* (западное). Сюда же диалектное *обáпол* (*обáпопы*) из словосочетания, в составе которого энклиномен *оба* рано был заменен ортотоническим вариантом *обá* (см. об этом: [Зализняк 1985, § 2.9, п. 3]).

Orth + Encl-2: *одíннадцáть, четы́рнадцáть*.

Encl-1 + Orth: *полторá, полчасá, пятьдеся́т, шестьдеся́т, пятьсо́т, шестьсо́т, девятьсо́т*.

Encl-1 + Encl-1: *двéсти, трíста, двáдцáть, трíдцáть, трíдевя́ть*; диалектные *двáдни, двáдорога*. Сюда же *пóлдень, пóлночь*, где *поль* — это древнее неизменяемое по родам прилагательное (или существительное-приложение), т. е. древнерусское *поль днь* аналогично по структуре, например, итал. *mezzogiorno*; ср.: Р. ед. *полу дьне* (так же и *поль ночь*, Р. ед. *полу ноци*).

Encl-1 + Encl-2: *двенáдцáть, тринáдцáть, пятнáдцáть, шестнáдцáть, девятнáдцáть*.

Encl-2 + Encl-1: *втрíдорога*; диалектные *втрíдешева, втéпоры, вту́пору* (последние два с колебанием ударения).

Тройные комплексы: *полторáста, полу́тораста* (см. о них выше).

От приведенного основного правила имеются, правда, некоторые отклонения. Все они состоят в том, что победило ударение не первого члена, а второго; иначе

⁶ Внешне сходны с этими названиями такие, как *Вы́шгород, Мíргород, Звенíгород* и т. п., но это уже не просодические комплексы, а обычные сложные слова.

говоря, это эффект нового принципа акцентровки комплексов (действующего уже за рамками тех случаев, которые покрываются основным правилом).

Ясно видны два фактора, которые определили в этих случаях победу нового принципа:

- а) позднее возникновение комплекса (позднее древнерусского периода);
- б) для числительных — аналогия с соседними (по натуральному ряду) числительными.

Вот эти отклонения.

При схеме Orth + Orth: *семьсо́т, восемьсо́т* и все косвенные падежи от сотен — *двухсо́т (двумста́м, двумяста́ми), трёхсо́т, четырёхсо́т, пятисо́т, шестисо́т, семисо́т* и т. д. (аналогия с *пятьсо́т, шестьсо́т, девятьсо́т*); судя по данным памятников, это поздние объединения, то есть в древнерусский период это были еще пары самостоятельных тактовых групп;

сумасше́дший, сейча́с (поздние объединения).

При схеме Orth + Encl-2: *семна́дцать, восемна́дцать* — аналогия с *пятна́дцать, шестна́дцать, девятна́дцать*.

При схеме Encl + Encl-1: *полго́да, полно́чи, полсло́ва, вполу́ха, вполго́лоса* (поздние объединения).

Почему числительные *семна́дцать, восемна́дцать* и *семьсо́т, восемьсо́т* подверглись аналогии, а *оди́ннадцать, четы́рнадцать* — нет? По-видимому, здесь оказалось существенным то, что акцентно-слоговая структура словоформы *семь* (в эпоху после утраты фонетических различий между прежними энклиноменами и прежними начальноударными оротоническими словоформами) — такая же, как у *пять, шесть*, а у *восемь* — такая же, как у *девять*, тогда как *оди́н* и *четы́ре* имеют другую структуру.

Краткое сравнение с другими славянскими языками

Сравним теперь в общих чертах выявленную выше картину акцентной эволюции сложных числительных в русском языке с данными других славянских языков. Ограничиваемся здесь данными современных литературных языков, не углубляясь в историю и диалектологию каждого отдельного языка, поскольку для выявления общей картины в данном случае в этом нет необходимости.

Группа '11—19'.

Во всей этой группе во всех славянских языках со свободным ударением, кроме русского, ударение полностью унифицировалось, а именно, закрепилось ударение на элементе *-на-*.

В качестве образца приведем украинский: *оди́на́дцять, двана́дцять, трина́дцять, чотирна́дцять, п'ятна́дцять, шістна́дцять, сімна́дцять, вісімна́дцять, дев'ятна́дцять*.

Далее ограничиваемся приведением числительных '11' и '14'.

Белорусский: *адзіна́ццаць, чатырна́ццаць*.

Сербский: *једна́ест, четрна́ест* (где восходящее ударение — результат переноса ударения с *-на-*).

Словенский: *enájst, štirinájst*.

Болгарский: *едина́йсе(м), четирна́йсе(м)*.

Из всех этих форм ни одна не соответствует древнему принципу акцентности. Новому принципу соответствуют числительные '12', '13', '15', '16', '19'. Остальные — '11', '14', '17', '18' — получили свое нынешнее ударение по аналогии с первой группой ('12' и т. д.). Из этих данных можно заключить, что фактор «акцентного перевеса» второго члена и фактор «акцентного усиления» сочетания *на десате* были актуальны не только для русского языка, но для всех славянских.

Русский язык, в отличие от всех остальных, сохранил древнее ударение числительных '11' и '14': *оди́ннадцать, четы́рнадцать*. Но '17' и '18' переакцентованы по аналогии и в русском языке: *семи́надцать, восемна́дцать*.

Ситуация в русском языке (в частности, данные Ратн.) не позволяет объяснить единство показаний всех прочих славянских языков (а именно, одинаковость ударения во всей группе '11—19') общей инновацией праславянской эпохи. В самом деле, система Ратн. явно архаичнее, чем выровненные системы сербского, словенского, украинского, белорусского языков, поскольку она реагирует на различие древних просодических классов, а те уже нет. Соответственно, необходимо допустить параллельное изменение в разных славянских языках.

Числительные '20', '30'.

Старое ударение в основном сохраняется: укр. *два́дцять, три́дцять*; белор. *два́ццаць, тры́ццаць*; болг. *два́йсе(м), трийсе(м)*; словен. *dvâjset, trîdeset*. Сюда же примыкает болг. *чети́рице(м)*.

Но сербск. *двадесѐт, тридесѐт* (из *двадѐсѐт, тридѐсѐт*) представляют собой акцентную инновацию.

Десятки '50'—'80' (и '90' там, где оно из **девать десать*).

В ряде языков ударение в этой группе выровнено по аналогии с '50', '60':

Украинский: *п'ятдеся́т, шістдеся́т, сімдеся́т, вісімдеся́т*.

Болгарский: *петдесѐ(м), шейсѐ(м), семдесѐ(м), осемдесѐ(м), деведесѐ(м)*;

Сербский: *педѐсѐт, шездѐсѐт, седамдѐсѐт, осамдѐсѐт, деведѐсѐт*; в этот ряд перешло также *чепрдѐсѐт*.

Иная ситуация в словенском: здесь весь этот ряд выровнен по схеме «простое числительное (*štírje, pêt, šêst, sédem, ósem, devêt*) + *-deset*»: *štírideset, pêtdeset, šêstdeset, sédemdeset, ósemdeset, devêtdeset*.

Исконное акцентное противопоставление конечноударных '50', '60' и начальнударных '70', '80' сохранилось только в русском (*пятьдеся́т, шестьдеся́т, но се́мьдесят, во́семдесят*) и в белорусском (*пяцьдзе́сят, шэсцьдзе́сят, но се́мдзесят, во́семдзесят*).

Сотни.

В названиях сотен повсеместно произошло выравнивание (не только акцентное) — всеобщее или внутри двух основных групп.

Например, в украинском: *двісті, триста, чотириста; п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот*. Аналогично в белорусском.

В сербском из старых комплексов сохранились только *двѣста, трѣста*, в прочих случаях выступают свободные сочетания со словом *стѣтина* 'сотня' (*чѣтири стѣтине, пѣт стѣтїнѧ* и т. д.).

В болгарском представлена сходная схема, но с участием новых комплексов с элементом *-стотин*: *двѣсте* (и *двѣста*), *трѣста; чѣтиристотин, пѣтстотин, шѣстстотин, сѣдемстотин, џсемстотин, дѣветстотин*.

В словенском все сотни выровнены по модели «простое числительное + *-sto*»: *dvêsto, trîsto, štîristo, pêtsto, šêststo, sêdemsto, џsemsto, devêstvo*.

Как можно видеть, в отношении акцентуации числительных русский язык — самый архаичный во всем славянском мире. Акцентному выравниванию здесь подверглись только числительные *семнѧдцать, восемнѧдцать, семьсот, восемьсот*. Украинский, белорусский, болгарский, сербский, словенский уже унифицировали ударение числительных '11', '14' по всему ряду '12—19'; почти везде выровнено также ударение в ряду '50' '60', '70', '80'.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

- Алекс. — Александрия / *Истрин В. М.* Александрия русских хронографов // Чтения ОИДР. Кн. 2. Отд. 2. 1894.
- ГИМ — Государственный исторический музей в Москве.
- Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М., 1955.
- Дос. — Синайский патерик, 2-я четв. XVI в. // ГИМ. Увар. 883.
- Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк 2008 — *Зализняк А. А.* Древнерусские энклитики. М., 2008.
- Исаченко 1967 — *Исаченко А. В.* Фразовое ударение и порядок слов // To honor R. Jakobson. The Hague; Paris, 1967.
- Косм. — Космография Мартина Бельского, посл. четв. XVI в. — РГБ, ф. 152. № 2.
- Лет. — Троицкий летописец, сер. XVI в. // ГИМ. Синод. 645.
- Матф. — Толкование Феофилакта болгарского на евангелия. М., 1649 (толкование на евангелие от Матфея).
- М. пс. — Псалтирь в переводе Максима Грека, нач. XVII в. // РГБ, ф. 304, № 62.
- Острож. (Острожская библия) — Библия, сирѣчь книги Вѣтхаго и Новаго Завѣта по языку словенску. Острог, 1581. (Фототипическое переизд.: М.; Л., 1988.)
- Печ. — Минеи-четьи на сентябрь и октябрь. Печенга, 1605 г. // РГБ, ф. 138, № 17.
- Ратн. — Учение и хитрость ратнаго строенія пѣхотныхъ людей. М., 1647.
- РГБ — Российская государственная библиотека в Москве (бывш. ГБЛ).

- Сенн. — Толкование Феофилакта болгарского на евангелия от Матфея и от Марка, 1499—1500 г. // ГИМ. Синод. 302.
- Синод. (Синодальная библия) — Библия, сирѣчь книги священнаго писанїа Ветхаго и Новаго Завѣта. М., 1914.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1. М.; Л., 1965.
- Станг 1952 — *Stang Chr. La langue du livre* «Учение и хитрость ратнаго строенїа пѣхотныхъ людей». Oslo, 1952.
- Станг 1978 — *Stang Chr. Zur Frage der Betonung univerbierter Bildungen im Russischen* // *Studia linguistica Alexandro Vasilii filio Issatschenko a collegis amicisque oblata*. Lisse, 1978.
- Улож. — Соборное уложение царя Алексея Михайловича. М., 1649.
- Флав. — «История Иудейской войны» Иосифа Флавия. Древнерусский перевод. Т. 1—2. М., 2004.
- Хр. — Хронограф лицевой, посл. четв. XVI в. // РГБ, ф. 98, № 202.
- Чуд. — Чудовский Новый Завет // Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Труд святителя Алексия Митрополита Московского и всея Руси. (Фототипическое издание Леонтия, Митрополита Московского.) М., 1892.

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕНЕНИЯ И НАРЕЧИЯ С ПОСТФИКСОМ / СУФФИКСОМ *-СЯ/-СЬ* В ГОВОРАХ РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ

В 2002—2006 гг. мне удалось пять раз съездить к русским старообрядцам, живущим в Нижнем Подунавьи на территории Украины, Румынии, Болгарии. Большинство из них носит название «липоване». На Украине я был в двух экспедициях вместе с Т. Б. Юмсуновой, в одной экспедиции также и с И. И. Исаевым, в Румынии с Р. Ф. Касаткиной и Т. Б. Юмсуновой, в Болгарии с И. И. Исаевым и К. Штайнке. Мы записали на магнитофон около 230 часов звучания диалектной речи — весьма представительный корпус текстов. Приводимые ниже примеры этой речи частично записаны мною в полевой дневник во время бесед со старообрядцами, но главным образом выявлены позднее, при прослушивании магнитофонных записей, иногда с помощью специальных компьютерных программ. Таким образом проанализирована только небольшая часть всего имеющегося корпуса текстов. Дальнейший анализ этих текстов должен обнаружить новые примеры диалектных явлений и может привести к новым наблюдениям.

1. Привлекает внимание одна диалектная черта липованских говоров: здесь распространено образование неопределенных местоимений и наречий при помощи конечной морфемы *-ся (се)/сь*, варианты которой распределены позиционно: после гласного обычно употребляется *сь*, гораздо реже *-ся*, после согласного *-ся*, реже *-се*: *хтось просить*; *а етэ хтось смайна́л* ‘укра́л’; *за́тронул хтось каво́сь*; *каво́сь там ждуть*; *дом сдали како́мусь попу*; *иму вручают до́стове́рня чи што́сь тако́еча*; *на́ зиму шось пригото́вить*; *там како́юсь копеечку заробля́ла*; *булочку како́юсь, ище како́юсь ка́стру́лку*; *ковры како́иесь узял*; *како́иесь санки*; *были листочки како́иесь*; *на́до штаны како́иесь*; *больного де́сь наве́стить*; *мало́ было де́сь у каво́сь*; *охо́та же вы́йти кудáсь*; — *како́йся он был отре́ишённый*; *ко́йся хлебушек*; *на́до надели́ть че́мся*; *60 лет (мне), и с че́мсе жи́ла*; *ка́кся узял того́ дете́нка*; *ка́ксе моя́ старуха пе́кла*; *ка́ксе батю́шка гово́рить*.

Эту же особенность в русских говорах Одесщины, часть из которых — говоры липован, отметили и украинские диалектологи: **Кака́ясь**, *мест.* Какая-то, какая-нибудь. *Кака́ясь труба*, *казали*, *у землю пайде́ть* {...}. *А како́ясь симья́ и багата́ жы́ла*. **Как-си**, *нареч.* Как-то. *Шу́ряк как-си зароби́л день́ги*. **Куда́сь**, *нареч.* Куда-то. *Вовну́ стри́гуть и здаю́ть кудáсь*. В некоторых случаях подобные формы отмечены без значения неопределенности: **Отки́лься**, *откильсь*, *нареч.* Откуда.

И аткілься ани взялися? (...) Аткильсь эти люди? (...) Цвяты не знаю аткильсь взялись [СРГО].

Морфему *-ся/-сь* следует считать постфиксом у местоимений, у которых она присоединяется после окончаний, и суффиксом у наречий, присоединяемым к основе.

Мне неизвестны и, насколько я знаю, никем не описаны другие русские говоры, в которых последовательно использовался бы такой способ образования неопределенных местоимений и наречий.

В липованских говорах возможны и другие способы их образования. Так, в селе Татарице области Силистры Болгарии неопределенные местоимения и наречия могут образовываться при помощи этого постфикса/суффикса и нескольких частиц.

Постфикс/суффикс, выступающий в виде *-сь* после гласных, *-ся* после согласных в том же значении, что и частица *-то* литературного языка вместе с ее вариантами в говорах:

хтос' т'иб'э кл'ич'ит'; *штос' П'атрo пэб'иш'алсэ йэхэд' дэ н'имá; штос' йаму' истáла; пашол' у как'уйус' у свају бал'шуйу у канцьлар'ийу; с'иб'э как'уйус' прив'ос; как'йм'из' уадам'и; авар'ил'и на т'ил'ив'изэр'и | кол'к'ис' ч'илав'эк ап'ат'уб'итыи; с'ем л'еу'и скок'ис' кап'еик; кудыс' пашол'; ја кэдáс' паймáл двá цэт'л'ис'иц;*

какойс'а прáz'н'ич'ик; адна' у как'ймс'а ўорэд'и ум'ес'т'и | а друўай(а) у как'ймс'и; хл'эбá наклáл'и | как'ейс'а там м'асэ; д'ад'э (работает) у рабóч'ий т'эхн'ик'и у как'ейс'а дэ ч'эмс'а; тр'и ўодэ ш ч'эмс'а тута был; бат'к'и был'и как'ейс'а нац'иц; жыл'и кáкс'а б'из'д'этныи; мы разб'ираймс'а кáкс'а тут; наш кáкс'а кáкс'а малч'ит'.

Реже употребляется частица *-то*: *дэ ја-тэ туд знаяу; у ту-тэ (вот тут-то) усó кэ (высокая) з'имл'á; хто-й-тэ вздумал; муш'инэ-тэ Йвг'эн'ий; мн'е з'ат'там ид'э-тэ купл'áл.*

Возможно сочетание постфикса/суффикса *-ся/-сь* и частицы *-то*: *уз'илá дэ ў'ил'опэнцы штос'-тэ нэл'илá; и тák шóс'-т'а вавóд'ут' (выводят); как'уйус'-тэ с'иб'э пáрт'ийу им'ел'и; прцш'л'и как'уйус'-тэ л'уд'и; а там ұыт' жез' д'в'э как'их-с'а || рúских (церквей) || ч'и мэнáшк'и бý(д)ут' | ч'и как'уйус'-та; нашл'ис'а трц ч'ортэ ч'и ч'атыр'и кол'к'ис'-тэ туркуу; д'в'анóстэ с'им л'ев ц'стот'и нэк кол'к'ис'-тэ; бат'ка чэм-с'а || ды и кол'к'ис'-та хлапчáты | кол'к'ис'-тэ суды их; о туд д'эс'-та бýд'ит' скóрэ в'иднэ Вáрна; ан'и вз'áл'и ды студ'энтув павы'унул'и и бат'ик || дэ бат'ик кудáс'-та | а студ'энтув в С'ал'и́стру.*

Возможно образование при помощи частицы *-небыдь*: *устэвай хто-н'эбыт' там; хто-н'иит' н'ас'от'; купл'айут' у йаó и нэ ч'аó-н'эбыт' в'азуд' дамóй; какой-н'эит' кусóк; с'т'эл'иш (в гроб) пáтэру л'и как'их-н'эбыт' там крас'ив'э иш'ей; эиураиш ч'ийу-н'эбыт' у ч'ужуйу (гармонь) д'и-н'эбыт; д'е-н'эбыт' сáм'и с'ид'ат' вдвайх; а мы баймс'а | штэ wθ ў куды-н'эбыт' пайд'от'а; тут п'икул'этый | куды-н'эбыт' ивó клáд'иш (в гроб). Возможна и препозитивная частица *кое-*: *кой-кто хóд'ит' у цэркву.**

2. Морфема *-ся/-сь* у неопределенных местоимений и наречий, по-видимому, происходит от энклитического местоимения *ся* древнерусского языка.

Эта энклитика, как известно, впоследствии присоединилась к глаголу, став постфиксом возвратных глаголов. В русском литературном языке и во многих говорах произошло отпадение конечного гласного этого постфикса в позиции после гласного при сохранении его в позиции после согласного: *взяться, возьмешься, возьмется, возьмемся, возьмутся, взялся, — возьмусь, возьметесь, взялась, взялись, возьмись, возьмитесь* и т. п. И только в причастиях, свойственных письменной речи и не характерных для разговорного языка, сохраняется *-ся* во всех позициях. Однако во многих русских говорах, в том числе и в липованских, и в формах изъявительного и повелительного наклонений старые формы с *-ся* могут произноситься и после гласных (наряду с формами на *-сь*, употребление которых связано, как правило, с особыми фразовыми позициями).

Как показал А. А. Зализняк [Зализняк 2008], в древнерусском языке в соответствии с законом Вакернагеля эта энклитика наиболее последовательно располагалась в начале фонетической синтагмы¹ после местоименных слов; например: *сему чюду, чему сѧ еси не подивиль* [с. 62]; *яко кто сѧ наю ѡстанеть, то тыи будеть ѡбоимъ дѣтемъ ѿць* [92]; или *како сѧ еси не домыслиль побѣдити их...?* [93]; *а како сѧ нагадавше вси, тако же с тобою оуладимсѧ* [95]; *не на цеме сѧ кормити* [110]; *а како сѧ с ни^м оулажю* [119]; *и поставиша на томъ мѣстѣ цркъвь стго Михаила, где сѧ родиль* [179]; *а гдѣ сѧ тажа родить* [183]; *кто сѧ на^с осталъ живыхъ* [185]; *и пакы како сѧ по на^с яла* [190]; *а чемоу сѧ гнѣваеши; что сѧ оудѣть, то вы виновати; кто сѧ изоѡстанеть въ монастыри; како сѧ боудеть радиль* [196]; *то к чемоу сѧ ѡпять воротишь?* [199]; *и что сѧ стане^м впредь дела^м; чем сѧ ты здѣлаешъ, сам в томъ пострадаешъ* [201]; *да что сѧ не плачешъ? видите ли, како сѧ смѣють с демономъ своимъ; да гдѣ сѧ ему слюбить, ту шедь, видеть* [203]; *кто сѧ можетъ ѡричати добраго; да гдѣ сѧ хотать оукрыти* [204]; *какъ сѧ имъ являль многыми образы; гдѣ сѧ жемчюг родит* [206]; *а кто сѧ ѡсталъ в городѣ, а тѣ вси взати быша* [216]; *и повѣда ему, како сѧ с королемъ видиль въ здоровьи* [217].

Как пишет А. А. Зализняк, энклитика *ся* «на протяжении десяти веков (...) радикально трансформировала свои синтаксические свойства, превратившись из отдельного слова в морфему. (...) Даже беглое сравнение древнерусского языка с современным позволяет понять, что основной вектор развития в данном случае — это переход от ситуации, когда возможна как постпозиция, так и препозиция *сѧ* (по отношению к глаголу. — Л. К.), к ситуации, когда допустима уже только его контактная постпозиция при глаголе» [Там же: 169].

Однако так произошло в русском литературном языке и в большинстве русских говоров, в говорах же предков липован энклитика *ся* могла присоединиться и к ме-

¹ А. А. Зализняк, не используя этого фонетического термина, называет границу между фонетическими синтагмами ритмико-синтаксическим барьером, дополняя и уточняя таким образом закон Вакернагеля [Зализняк 2008: 47—57].

стоименным словам. Этому способствовало то, что она вместе с предшествующим местоименным словом всегда составляла одно фонетическое слово. При этом на месте вопросительного значения у этих слов возникало значение неопределенности. Произошло это благодаря тому, что *ся* не ограничивалось передачей только значения возвратности: «*са* не равнозначно *себе*. *Са* имеет гораздо более широкий круг функций, чем *себе*» [Зализняк 2008: 129].

О такой возможности говорят примеры с двойным *ся* (в том числе и с *ся*, изменившимся в *се* и *сь*) после местоименного слова и после глагола, отражающие «взаимодействие более старого и более нового правила расстановки энклитик во фразе» [Зализняк 2008: 54]: *кто са прикоснж са мнѣ; како са не имуть радоватиса и веселити; како са, ѿсподине, нами своими хрестимны попечалише; Г(осподи), что са оумножишаса стужающи мнѣ; а и товара много поимаша, что са осталось от огня; что ся учинилось нелюбие; а что са будет учинилоса; и чего са не оточтус(а)* [Там же: 189—190].

Возможно, этой особенностью прежнего *ся* объясняются случаи употребления в липованских говорах (как и в некоторых других русских говорах; см.: [Русская диалектология 2005: 154—155]) невозвратных глаголов на месте возвратных литературного языка и наоборот: *Он мне понра́вил; Я его понравила* ('я ему понравилась'); *Он понравил йету землю и воздых; Деньги наши нравю врачу* ('нравятся'); *Им ангел появи́л; С им не советовала; Посоветовали они сами с собой; Пошла договорила людей; Я уже мастеров договорила; Он договорил себе дом купить; Трошки промахнул; Будем трогать пешки* ('тронемся, пойдем пешком'); *Я встала в пять часов и всё управляла; Не сердите его* ('не сердитесь на него'); — *Там оны зимовалися; Сын звереетя, за жену заступається; Мужчина сказался: «Нет»; Песни пели и охриплися; А он же имел себе падругу, да и не бросился с ей* ('не бросил ее, не разошелся'), *узял её с собой; Я дома гляделася* ('хозяйничала'), *не вы́ла сес* ('не вылезая') *из двора*.

Возможно в этих старообрядческих говорах и отдельное употребление *ся*, *се*, которое было возможно и в древности: *Стали ся русский учить; Один чёрный как как ся размахнул* ('размахнулся'), *как дал мне суды в нос; Можно се увидим?* ('увидимся'); *Расскажу, как се делали рушники* ('делались'); *Как они се порятовали* ('спаслись'); *Пошла ся копаничку узяла; Я се сменил десять местов; Сбилися се с России; Я се липован*. Возможно двойное решение в примерах: *Для чего тогда се (тогдасе) им Румыния? Так се (таксе) и подписалась у колхоз*.

Новая функция *ся* как выразителя неопределенности у местоименных слов, возможно, возникла в связи с близостью *ся* — энклитической формы местоимения винительного падежа, имеющей вариант с утратой конечного гласного *сь*, с частицей *се/сь* — древней славянской частицей, или партикулой, как ее называет Т. М. Николаева, *se/sъ*, которая могла служить показателем неопределенности [Николаева 2008: 279]. В конце многих наречий в русских говорах находится эта бывшая партикула: *лѣтось, зѣмусь, ѹтрось, вечѣрось, нѣчьсь, нѣчесьсь, авчѣрась, сѣвѣ днись, зѣвтресь, оногдась, ономясь, товѣднѣсь, тогдась, иногдась, никогдась, тѹ*

*тость, тамось, тудась, тутокось, тамоткась, онэгдесь, втаеьсь, такжесь, — вёс-
нуса, лётося, осенёся, зимуся, утрося, ночёся, вчерася, давнёся, тадася, толдысь,
түтося, тавося, тамося, тудася, такся и др.; см.: [Инверсионный индекс к СРНГ;
Обратный словарь].*

3. Откуда у липован такой способ образования неопределенных местоимений и наречий?

Липованские говоры возникли в результате слияния двух потоков старообрядцев, уходивших от преследования официальной церкви и правительства. Один поток — это казаки-некрасовцы, бежавшие с Дона в 1708 г. после поражения Булавинского восстания сначала на Кубань, а затем в Добруджу. Другой поток образовали старообрядцы, бежавшие в Подунавье из центральных областей России, главным образом из Курско-Орловского региона.

И на Дону, и в Добрудже русские старообрядцы сталкивались с украинским населением, а известно, что в украинском языке неопределенные местоимения и наречия образуются при помощи аффикса *-сь*. Однако есть и существенное различие в характере самого явления между липованскими говорами и украинским языком, где используется только морфема *-сь* и после гласных, и после согласных: *хтось, когось, щось, десь, колись* и *якийсь, чийсь* и др. Поэтому липоване не могли заимствовать этот способ словообразования из украинского языка.

Кроме того, черта эта в липованских говорах достаточно старая, она встречается у липован в Румынии и в Болгарии, а также на Украине, куда липоване переселились из Добруджи. Не могли заимствовать эту черту русские старообрядцы, переселившиеся в Добруджу, от живших на Дунае украинцев и по другой причине: здесь между русскими и украинцами были весьма напряженные отношения из-за разногласий в вере и территориальных претензий, приводившие нередко к военным столкновениям. Прибывшие в 1740-х гг. и позднее в Нижнее Подунавье старообрядцы заняли лучшие места, богатые рыбой, лучшие плодородные земли. В конце XVIII в. на эти земли стали претендовать и украинские казаки из Задунайской Сечи, нападавшие на русских старообрядцев и захватившие в 1814 г. после кровопролитных сражений один из главных центров старообрядцев Дунавец, истребив почти поголовно его жителей; см. [Кондратович 1883: 30—40; Лупулеску 1889: 123, 332—333; Тумилевич 1961: 6—7]. Лупулеску пишет, что взаимному отчуждению «содействует в значительной степени также религиозный фанатизм липован, не только не допускающий браков с иноверцами, но заставляющий липован, особенно беспоповцев, даже не есть и не пить из одной посуды с людьми другой веры, хотя бы и христианами» [Лупулеску 1889: 333].

Не могла заимствоваться эта черта и раньше, на Дону. Предположение, что эта черта, которая могла быть в языке некрасовцев, пришедших с Дона, — наследие украинского языка, тоже должно быть отвергнуто. В XVII в. на Дону «главное ядро казачества составляли беглые из Московского государства: это были по преимуществу великоруссы. К ним присоединялись и выходцы из Малороссии. Особенно сильный прилив последних произошел после Белоцерковского мира, а также

после присоединения Малороссии к Московскому государству» в 1654 г. [Дружинин 1889: 2]. «На Дону с самого начала преобладало южнорусское население, что и обусловило определенные тенденции в процессе складывания местных говоров, окончательно сформировавшихся как говоры южновеликорусского типа» [Магин 1960: 18]. Донские казаки-старообрядцы, упорно оберегавшие свою веру и весь свой жизненный уклад, не могли изменить свой язык настолько, что заимствовали из чужого языка такую яркую черту, как образование неопределенных местоимений и наречий при помощи аффикса *-ся/-сь*.

Большинство диалектных черт липованских говоров, как и современных говоров Донской группы, ныне встречается в русских говорах Юго-Западной диалектной зоны; см.: [Касаткин и др. 2004; Касаткин 2008]. Среди них не отмечены говоры, где бы образование неопределенных местоимений и наречий было бы последовательно таким же, как в липованских говорах. Однако русские диалектные словари отмечают слова, образованные по такой модели, в том числе и в западных русских говорах:

здесь — алтайское: *Как увидела медведя, здесь и туесок оставила* [СРГА]; карельское: *Реки переходил большие, три недели проходил здесь* [СРГК]; *игдэсь* — псковское [СРНГ]; *какойся* — кубанское: *Приехал какой-ся дядька* [СРНГ]; *ктябрь* — южное [СРНГ]; *ковось* — алтайское: *Он ковось-то там украл, да и два года ему дали* [СРГА]; *когдась* — донское, кубанское: *Это когдась было, а сейчас другое дело*; ставропольское [СРНГ]; орловское: *Кумак красный кагдась у магазини купляли* [СОГ]; *когдася* — пермское [СРНГ]; *когдась* — псковское: *В гряды маленька папалола, заробиши апять з дажжэоф-та, тяперь кагдась будем ягоды брать?* [ПОС]; новгородское: *Когдась кооперативы энти появились* [НОС]; карельское: *Ведь и не ела, ушла когдась* [СРГК]; сибирское: *А когдась зашла на казёнку, за мукой, как глянула — так и обмерла; Она каудысь ишишо приходила, перед обедом; Оне когдась ишишо переехали: часах в шести я их видела под хребтом* [СРГС]; московское, пермское, тобольское, Бурятская АССР: *Когдась вы еще-то к нам приедете?* [СРНГ]; *когдася* — архангельское: *Когдася еще* [СРНГ]; *ковдысь* — печорское: *Ковдысь уш велят унести шубу, вьгниет там на огорды* [СГНП]; иркутское: *Она ковдысь еще приходила, перед обедом* [СРНГ]; *ковдыся* — тюменское [СРНГ]; *колдысь* — ср.-уральское: *Я одина [однажды] в армии сказал «колдысь», так долго смеялись*; пермское [СРНГ]; *колдыся* — пермское: *Работник колдыся уехал по дрова, ишишо с утра, а по сю пору не бывал* [СРНГ]; *кодысь* — печорское: *Сколь огурцэй снела! Кодысь сьедят. Ну это уш кодысь было!* [СГНП]; *колысь* — смоленское, брянское, куйбышевское [СРНГ]; *колысь* — курганское [СРНГ]; *кудась* — псковское: *Кудась Ваньч суйнулся?* [ПОС]; карельское: *Опашетя метла, бросят совсем, больше кудась* [СРГК]; *кудысь* — псковское: *Шьши, зараза! Кудысь тябэ лиха нясёт? А кудысь такую хряпу? Кудысь-то уехамши на край свету* [ПОС]; смоленское: *Кудысь ена ушла?* брянское: *Ужо кудысь пошла*; новосибирское: *Мол кудысь вам* [СРНГ]; *какось* — псковское: *Какось, паджылак балить, никада нага ни балела* [ПОС]; пермское: *Какось напьетя, пропало дело*

[СРНГ]; *откѣдась* — донское: *Откедась приехала, отбила хархуны, принарядилась* [СРНГ]; *откѣлесь, откѣлесья и откѣлесья* — донское [СРНГ].

Значение неопределенности у местоимений и наречий передается в русском литературном языке и во многих русских говорах при помощи частицы *-то*: *кто-то, что-то, какой-то, чей-то, сколько-то, где-то, куда-то, откуда-то, как-то* и т. п. Частица *-то* с ее вариантами по говорам может употребляться и как усилительно-выделительная: *дом-то* (или *дом-от*), *село-то, река-то* (или *река-та*), *кони-то* (или *кони-те, кони-ти*) и т. п. При этом для юго-западных говоров эта частица не характерна (отсутствует она и в украинском и белорусском языках); см.: [ДАРЯ, вып. 3, ч. 2, карта 12; Кузьмина 1993: 184—185]. Очевидно, не характерна она была для этих говоров и при местоимениях и наречиях со значением неопределенности.

Об этом может свидетельствовать образование этих слов с аффиксом *-ся (-са)/-сь* в обследованном мною вместе с И. И. Исаевым и Т. Б. Юмсуновой в 2005 г. старообрядческом говоре села Пилипы Хребтиевские Новоушицкого р-на Хмельницкой обл. Украины, основанного, по словам его жителей, выходцами из Курской губернии и не имеющего сколько-нибудь тесных связей с липованскими селами: *у нас штѣс'-та стѣрыи л'уд'и || ч'авѣс' Авакѣмэ н'и маул'и пэн'имѣт' || (...)* *а ч'авѣс' анѣ ивѣ падѣэр'ивѣл'и || (...)* *штѣс' в јѣм нѣхад'ил'и какѣйус' пр'ич'ину; уѣтѣв'ицѣ штѣс'пастѣв'ит'на стѣл; ужѣ плѣт'а давнѣ н'и нѣс'у | штѣп цѣл'нѣйѣ штѣс' такѣйѣ; па штѣс' па тр'ѣстѣ | ч'и пѣ ч'итѣр'истѣ јѣйц'налѣжывѣл'и штѣб'здѣвѣт' | сѣв'ѣцкѣйѣ влѣс'т'; л'уд'и в м'ишкѣх штѣс'н'асѣт'; ну и паиш'л'и и наишкѣд'ил'и штѣс'там | так'ѣи вѣ вѣжѣ стѣл'и шкѣд'л'ѣвыи || д'ѣс'зал'ѣз'л'и | д'ѣс'в кѣйус' | јѣ знѣйу | в кантѣру ч'и ф'с'ил'сѣв'ѣт | ч'и штѣс'там (...)* *ну там јусудѣрств'инѣйѣ там шѣс'увз'ѣл'и | к'ѣис'там жѣл'из'ѣк'и; д'ѣс'ит'рубл'ѣй м'ѣтра мат'ѣр'иш | тѣ д'ѣс' (ис) пѣт пѣлы хѣс'прѣдѣс'т'; рѣн'ишѣ л'уд'и бѣл'и как'ѣис'н'и так'ѣи; кѣч'к'и как'ѣис'нѣзывѣл'ис'ѣ в јѣх; да и н'и булѣ урѣшы | тѣк'ужѣ || тѣ с'мѣлѣкѣ там кѣтѣ кѣп'ит'какѣйу л'ѣтру хѣтѣ н'и мѣит'карѣвы | тѣ јѣйцѣ какѣис'прѣдѣш; б'ѣл'јѣ пѣлѣч'ѣлѣс'ѣ б'ѣлѣйѣ || (ѣ)нѣ так'пѣхлѣ бѣкѣм тѣм так'ѣм || к'ѣмс'ѣ; м'ѣсѣ пѣлѣч'у п'ѣн'с'ѣйу к'ѣлѣ кѣлыс'кѣп'у | да бѣриш'у навар'у; нѣдѣ д'ѣс'иу дѣстѣт' | ѣты кап'ѣич'к'и; нав'ѣрнѣ бѣлѣ такѣйѣ | ш'ѣ д'ѣс'шѣтѣ зѣуѣтѣвл'ѣл'и фс'ѣ; па д'ѣс'т'рубл'ѣй д'ѣс'зарѣбл'ѣл'и ч'и пѣ дѣвѣцт'; тѣ как тѣ пр'ѣд'иш'судѣ | т'ѣб'ѣ нѣдѣ д'ѣс'јѣхѣт'нѣ рѣбѣту; тѣкѣ тут'н'и у нас анѣ рѣстр'ѣл'ивѣл'и || тѣ анѣ д'ѣс'тѣдѣ в Ушѣц'и д'ѣс'; мѣй хѣз'ѣин'в'ѣрнѣлсѣ | д'ѣс'п'ѣр'ѣхѣвѣлсѣ | да пр'ѣшѣл; стѣјѣт'д'ѣвѣч'к'и с'мѣл'ч'ѣк'ѣм'и || ну јѣул'ѣйут' || тѣ д'ѣс'хѣд'ут'в'мѣуѣз'ѣн | тѣм кѣйс'ѣ бѣр'јѣс'т'; хѣз'ѣин'мѣй јѣз'д'ил' || ну д'ѣс'у аш'в'Бѣсарѣб'ѣйу тѣдѣ јѣхѣл || там кѣйсѣ жѣм пр'ѣвѣз'ѣл'и | бл'ѣны п'ѣкл'ѣ; — хѣ тѣ т'ѣклѣ || ад'ѣн'д'ѣдушкѣ какѣйс'ѣ с'сус'ѣд'н'ѣвѣ с'ѣлѣ | стѣр'ѣн'кѣй || ашѣвѣл; б'ѣл'ѣтѣв'н'ѣмѣ || тѣй пр'ѣшѣл'тѣвѣрн'ѣк'ѣ кѣйс'ѣ || с'ѣлѣ јѣ дѣјѣхѣлѣ; пр'ѣхѣд'ит'кѣйс'ѣ уч'ѣт'ѣл' | худѣй такѣй; јѣмнѣй ч'ѣлав'ѣк || мѣладѣй || а тѣжѣ || ак'ѣйс'ѣ || н'и јѣ н'и мѣжѣ ках'скѣзѣт'; мѣладѣй тѣ | как'врѣд'и (в) как'ѣхс'ѣ кафтѣн'ч'ѣкѣх так'ѣх хѣд'ѣл'и карѣбткѣх; рѣн'ѣшѣ пѣлѣткѣм'и (перѣвѣзѣывѣли) | а зѣрѣс'тѣ вѣд'бѣх јѣиво знѣи ч'ѣмсѣ; какс'ѣ јѣх'нѣзывѣл'и; тут'кѣкс'ѣ зѣс'т'ѣжѣч'к'и так'д'ѣлѣл'и*

| зэс'т'и үял'и || настальб называл'ис'а; сáм'и кáкс'а сал'ыл'и || боч'к'и д'елал'и | сал'ыл'и | прэсáл'ивэл'и; тады брал'и в ү'ирмáн'ийу || то кэк рáс этэ мой үод брал'и || и кáкс'а так | ја знáйу | кáк ја вы́круч'улэс'а што ја н'и пáјэхэлэ; ну д'эдэ н'и вы́слэл'и || кáкс'а тák што он вы́хэл | трошк'и в Масквú; кáкс'а тák што аны вот || к аднóму стáр'ин'кэму тут пр'ихад'ил'и; былэ рáзнэйэ кáксэ тáқ.

Следовательно, образование неопределенных местоимений и наречий при помощи аффикса *-ся/-сь* предки русских старообрядцев, живущих ныне на Украине, в Румынии и Болгарии, принесли из говоров Юго-Западной диалектной зоны².

ЛИТЕРАТУРА

- ДАРЯ — Диалектологический атлас русского языка: Центр Европейской части СССР: В 3 вып. / Под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. М.: Наука, 1986—2004.
- Дружинин 1889 — Дружинин В. Г. Раскол на Дону в конце XVII века. СПб., 1889.
- Зализняк 2008 — Зализняк А. А. Древнерусские энклитики. М.: Языки славянских культур, 2008.
- Инверсионный индекс к СРНГ — Инверсионный индекс к Словарю русских народных говоров / Сост. Ф. П. Сороколетов, Р. В. Одеков; Под ред. Ф. Гледни. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000.
- Касаткин 1999 — Касаткин Л. Л. Современная русская диалектная и литературная фонетика как источник для истории русского языка. М.: Наука; Школа «Языки русской культуры», 1999. С. 328—361.
- Касаткин 2008 — Касаткин Л. Л. Русский говор села Татарица в Болгарии // Старообрядчество: язык, история, культура. М.: Языки слав. культур, 2008.
- Касаткина, Юмсунова 2004 — Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф., Юмсунова Т. Б. Диалект липован — русских старообрядцев Нижнего Подунавья // Научный вiсник Измайлiського державного гуманiтарного унiверситету. Вип. 17. Измайл, 2004. С. 77—84.
- Кондратович 1883 — Кондратович Ф. Задунайская Сечь (по местным воспоминаниям и рассказам). Киев, 1883.
- Кузьмина 1993 — Кузьмина И. Б. Синтаксис русских говоров в лингвогеографическом аспекте. М.: Наука, 1993.
- Лупулеску 1889 — Лупулеску. Русские колонии в Добрудже (историко-этнографический очерк) // Киевская старина. Т. 24. Киев, 1889, январь-март.
- Магин — Магин В. А. Очерк черкасского говора по историческим и современным данным: фонетика и морфология. Таганрог: Таганрогский гос. пед. ин-т, 1960.
- Николаева 2008 — Николаева Т. М. Непарадигматическая лингвистика (История «блуждающих частиц»). М.: Языки слав. культур, 2008.
- НОС — Новгородский областной словарь [В 12 вып.] / Отв. ред. В. П. Строгова. Новгород: Изд-во Новгородского пед. ин-та — гос. ун-та, 1992—1995.

² О неразличении свистящих и шипящих согласных — еще одной старой диалектной черте, сохранившейся в языке старообрядцев штата Орегон США, предки которых жили в Добрудже, а более далекие предки — на территории Западной диалектной зоны, см.: [Касаткин 1999: 328—361].

- Обратный словарь — Обратный словарь архангельских говоров / Под ред. О. Г. Гецовой. М.: Наука, 2006.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Вып. 1—16, А—Л. Л./СПб.: Изд-во ЛГУ / СПб. ун-та, 1967—2004.
- Русская диалектология 2005 — Русская диалектология / Под ред. Л. Л. Касаткина. М.: Изд. центр «Академия», 2005.
- СГНП — Словарь говоров Низовой Печоры / Под ред. Л. А. Ивашко. Т. 1, А—О. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2003.
- СОГ — Словарь орловских говоров / Под ред. Т. В. Бахваловой. Вып. 1—14, А—С. Ярославль; Орел, 1989—2003.
- СРГА — Словарь русских говоров Алтая / Под ред. И. А. Воробьевой, А. И. Ивановой. Т. I—III, А—П. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1993—1997.
- СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей: В 6 вып. / Гл. ред. А. С. Герд. Вып. 1—5, А—С. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994—2002.
- СРГО — Словарь русских говоров Одесщины: В 2 т. / Отв. ред. Ю. А. Карпенко, С. Уэмура. Одесса: Астро-Принт, 2000—2001.
- СРГС — Словарь русских говоров Сибири / Сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Фёдоров; Под ред. А. И. Фёдорова. Т. 1—2, А—Н. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие РАН, 1999—2001.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов. Вып. 1—40, А—С. М.; Л. / СПб., 1965—2006.
- Тумилевич 1961 — *Тумилевич Ф.* Сказки и предания казаков-некрасовцев. Ростов н/Дону, 1961.

СУРЖИК ИЛИ СУРЖИКИ?

Можно сказать, что современная украинская литература началась в 1798 году, с публикации первой части «Энеиды» Ивана Петровича Котляревского. Однако концепция современного нормированного и кодифицированного украинского языка формировалась более извилистыми путями. На протяжении XIX века лингвисты как на Западе, так и на Востоке прилагали огромные усилия, пытаясь создать нормированный язык, способный выражать идеи и понятия из всех культурных сфер, который в этом смысле был бы равен любому другому развитому и кодифицированному европейскому языку: английскому, французскому, немецкому или русскому [Shevelov 1966; Wexler 1974; Масенко 2004].

Несмотря на все трансформации, которые претерпел украинский язык на протяжении девятнадцатого, двадцатого, а теперь уже и двадцать первого столетий, проблема создания нормативного языка не потеряла своей актуальности, хотя в последнее время украинисты с гораздо большим основанием, чем раньше, могут говорить о существовании некоего общего языкового ядра — лексического, синтаксического, морфологического, фонологического. Отчасти такое основание дают очевидная полифункциональность официального государственного языка независимой Украины, растущая роль украинского языка в публичной сфере, а также распространение образования на украинском языке во многих частях страны, в которых прежде обучение велось только на русском.

Можно заметить, что юго-восточный вариант литературного языка еще доминирует над юго-западным, но эти региональные различия вполне допустимы в рамках достаточно гибкой грамматической системы современного украинского языка. Если, скажем, носитель использует Род. п. ед. ч. *kostj* «кости» вместо *kost'i*, или *nis* [nis] «нос» вместо *nis* [n'is], грамматика будет вполне в состоянии найти соответствующую корреляцию и базовая целостность языка нисколько от этого не пострадает. Подобным же образом, обращаясь к диалектам Волыни, Подолья, центрального Полесья или Запорожья, мы довольно легко выстраиваем ряды соответствий и на их основе находим структурную корреляцию с кодифицированным украинским языком, но все же считаем эти диалекты именно диалектами, а не отдельными языками [Жилко 1966: 3—33].

Суржик — украинско-русский гибридный язык, распространенный в Украине, — имеет долгую и богатую историю, насчитывающую как минимум три столетия, однако до сих пор остается недостаточно изученным явлением. Он документирован в художественной литературе, частной переписке и других письменных фор-

мах; в более позднее время появились аудиозаписи суржика; кроме того, его часто можно услышать с телеэкранов в речи некоторых политиков и членов украинского парламента. Пространственно-временные особенности и причины распространения суржика могут варьироваться, но примечательно, насколько постоянными остаются факторы, определяющие модели взаимодействия между украинским и русским языками на территории Украины, невзирая на все изменения, претерпеваемые самими этими языками во времени и пространстве. В своих исследованиях я исхожу прежде всего из этой языковой приемственности, столь свойственной суржику.

В более ранней моей работе [Flier 2000], я дал предварительную типологию украинско-русского суржика (далее — Суржик), включающую своего рода «правила задеирования сил и средств», лежащие в основе его формирования. Речь шла о селективном включении грамматических элементов, посредством которых русский язык может оказывать влияние на украинский на лексическом, синтаксическом, морфологическом и фонологическом уровнях. Основной вывод из этого исследования заключался в том, что влияние русского языка нельзя считать ни тотальным, ни произвольным. На каждом языковом уровне обнаружились специфические иерархии, определяющие процесс гибридизации. Я сделал особый упор на структурные принципы, о которых идет речь, исследуя, в частности, динамику импликатур в грамматической системе: таким образом, еще в 2000 году я выступал с развернутой критикой расхожего представления о том, что влияние русского языка на Суржик является хаотическим, случайным и искусственным (ср.: [СУМ; Сербенська 1994]). Некоторые из укоренившихся определений Суржика пользуются такими ярлыками, как «засоренный», «смешанный», «нездоровый», «хаотический», «искусственный», «загрязненный», «изуродованный» (СУМ, s. v. *суржик*). Поскольку эти эмоционально заряженные определения возникают как субъективные проекции соответствующих оппозиций («чистый», «однородный», «здоровый», «упорядоченный», «естественный», «чистый», «целостный»), к ним едва ли стоит прибегать как к инструментам научного исследования самого феномена [Курохтина 2004: 5].

Диапазон возможных употреблений термина «суржик» столь широк, что в последнее время его стали использовать как родовое понятие для «обозначения различных нарушений [стандартов языковой — МСФ] чистоты», в основном (хотя и не исключительно) в отношении украинско-русских «синкретических языков», бытующих в Украине помимо — или вместо — кодифицированных украинского или русского языков [Bilaniuk 2005: 20]. Несмотря на это, украинистам следовало бы быть аккуратнее и избегать столь свободного и повсеместного употребления этого термина в его популярном значении. Если мы употребляем лингвистический термин «украинский» по отношению к стандартному украинскому языку, включая все его диалекты, термин «русский» — по отношению к стандартному русскому, включая все его диалекты, а термин «польский» — по отношению к стандартному польскому, включая все его диалекты, то и нынешнее расширительное использование термина «суржик» имеет смысл ограничить. Термин стоило бы применять только к случаям смешения, возникающим лишь на нескольких

определенных уровнях кодифицированного украинского языка [Flier 2000: п. 12]. Скажем, речь украинских диалектов сама по себе не может называться Суржиком, если влияние русского языка отсутствует, несмотря на то, что в ней могут присутствовать явные «нарушения [стандартов языковой] чистоты» с точки зрения нормативной лингвистики.

Дискуссии о Суржике нередко пересекаются со сферой языковой идеологии, где, среди прочего, вступают в силу такие понятия, как престиж, гордость, патриотизм, классовая принадлежность и уровень интеллигентности. Суржик может возникать, когда украинский крестьянин старается выглядеть человеком более «городским», или когда русскоговорящий житель Запорожья пытается изучать государственный язык, или когда житомирский подросток копирует «стильный» жаргон киевского диск-жокея. Уроженцы Киева могут не сознавать, что вместо украинского языка говорят на Суржике.

Для некоторых Суржик ассоциируется с тупой деревенщиной, которая то ли слишком неотесанна, то ли слишком ленива, чтобы говорить как следует [Сербенська 1994: 5—6]. Другим ничего не стоит легко и естественно перейти с правильного литературного языка на Суржик — все равно, что скользнуть в уютно разношенные домашние тапочки [Гриценко 1998: 639]. Ситуации и контексты, где бытует Суржик, потенциально неисчерпаемы, в зависимости от нашего подхода к языковым различиям. Вопрос в том, являются ли мнимые различия, которые отыскивают критики, релевантными с научной точки зрения, или же они объясняются попросту контекстуальной неоднородностью.

Связь между Суржиком и языковой идеологией, конечно же, не новость, хотя раньше она не получала должного научного освещения. Вероятно, наиболее широко известны примеры из знаменитой комедии Михаила Старицкого «За двома зайцями» (1883). В пьесе изображены два героя: Проня Сирко (Серкова), дочь лавочника, стремящаяся вскарабкаться вверх по социальной лестнице, и Свирид Голохвостый (Голохвастов), промотавшийся цирюльник, ищущий богатую жену, — оба с претензией на утонченность манер, выражающейся в попытках ввести в речь как можно больше маркеров престижа, т. е. элементов доминирующей русской культуры. При этом оба на самом деле говорят на Суржике. В действии 2, явление 15, Голохвостый признается Проне в любви:

Голохвостый. Потому здесь у меня (показує на серце) такое смертельное воспаление завелось, што аж шипить.

Сжк. potomú zd'és' u men'á takóje smert'él'noje vospal'én'ije zavelós' što až šypýt'.

Проня. Когда б заглянуть можна було вам у серце.

Сжк. kohdá b zahl'ánut' móžna buló vam u sérce.

Голохвостый. То ви би там увіділі, што золотими слав'янськими буквами написано: Проня Прокоповна Серкова. Ах, но ежелі б золотой ключ от вашего сердца та лежав у моєй душі у кармані, вот би я бив щасливий! Я би кожду мінуту, одмикав ваше серце і смотрел би; не мився б, не помадився б, не пив, даже не кури́в би по три дні, та всьо б смотрєв би!

Жжк. то вѣ бѣ там uv'id'il'i što zolotýmĕ slavjans'kýmĕ búkvamĕ napĕsano prón'a prokópovna s'erkóva. áx nó jéžel'i b zolotój kl'úč ot vášoho sérc'a tá ležáv u mojěj duší u karmán'i, vót bĕ já bĕv ščaslĕvĕj. já bĕ kóžnu m'inútu odmĕkáv váše sércе і smotr'él bĕ ne mĕvs'a b ne pomádĕvs'a b, ne pĕv, dáže ne kurĕv bĕ po trí dn'i tá vs'ó b smotr'ěv bĕ.

В приведенной здесь фонетической транскрипции основной текст написан на украинском, части, подчеркнутые одной чертой, на русском, а внутри них двумя чертами подчеркнуты части на украинском¹. Таким образом, первая реплика Голохвостого, в которой он обольщает Проню при помощи поэтических выражений, почти вся на русском, с незначительными вкраплениями украинизмов. Это своего рода русский с «украинским акцентом», в котором, как правило, редукция гласных отсутствует или слабо выражена (безударные [е, а, о] произносятся как [е, а, о], вместо звука более среднего ряда и подъема [ɘ], [ɨ], от [ə], характерного для стандартного русского языка)²; русское *g* заменено на украинское *h*; лабиализованные согласные часто произносятся как твердые (непалатализованные) перед *e*, напр. [me], [ve]; при немаркированном произношении аффрикат *c* и *č*, они могут меняться по признаку твердости / мягкости, причем украинские [c'] и [č] встречаются чаще, чем русские [c] и [č']³. Мы не можем сказать, является ли фор-

¹ Полная мягкость (палатальность) обозначена апострофом (напр., [d']). Полумягкость — точкой справа сверху после буквы (напр., [m']). Украинская буква *и* транслитерирована как ⟨y⟩, но гласная фонема переднего ряда верхне-среднего подъема (и аллофон, в котором она реализуется), которой соответствует эта буква, передается диерезисом (напр., *ÿ* и [ÿ]). Русская буква *ы* транслитерируется как ⟨y⟩, и соответствующая ей гласная фонема верхнего ряда среднего подъема транскрибируется как [y].

² Строго говоря, невозможно сказать, редуцированы ли безударные *о* и *а*, поскольку Старицкий использует этимологическое правописание. В одном месте, однако, когда Голохвостый произносит свою фамилию в русском варианте «Голохвостов» (Действие 1, явление 5), она транслитерирована как «Галахвастов», что позволяет предположить редукцию гласных (в данном случае — аканье) в первых двух слогах, а в третьем — намеренную замену ударного *о* на *а* с целью избежать ассоциации с *хвостом*. В результате, однако, возникает новая ассоциация — со словом «хватать». Что касается безударного *е*, оно время от времени транслитерируется буквой «и»: это позволяет считать, что редукция возможна, но не последовательна. Например: увіділі [uv'id'il'i] (см.: подчеркнутое *uv'id'el'i*), кармані [karmán'i] (см.: подчеркнутое *karmán'e*). Такого рода непоследовательная редукция гласных — обычное явление среди носителей украинско-русского суржика.

³ Невозможно сказать, происходит ли фонетическая ассимиляция палатализованных *t'* и *d'*, как в случае русских [t^s] and [d^z], или же они произносятся как украинские [t'] и [d'].

ма [až] украинской (поскольку [ž] остается звонкой) или русской (поскольку оглушение не передается орфографией). Последняя глагольная форма, однако, чисто украинская: русское [šyr'ít] заменено украинским [šŷr'ýt'], с уникальным украинским звуком переднего ряда верхнее-среднего подъема [ŷ] вместо русских [y] или [i] соответственно; с твердым украинским [r] вместо [r']; и с украинской морфемой {t'} в третьем лице на месте русской {t}. Проня отвечает почти полностью по-украински, за исключением первого слова [kohdá] (впрочем, испытавшим типично украинское фонетическое влияние).

В следующей реплике Голохвостый также пользуется украинским языком, однако вставляет типично русские лексические единицы, как, например, [uv'id'il'i], [što], [smotr'él] и [dáže]. В случае слов общего происхождения и близкого звучания, Голохвостый отдает предпочтение русским формам (с украинским акцентом) с устойчивыми *o* или *e*, нежели соответствующим им украинским формам с чередованиями *o* ~ *i* или *e* ~ *i*, соответственно. Так, например, в его речи звучит русское [pɔkórovna] вместо украинского [pɔkór'ivna]. Подобным же образом, он нередко предпочитает русское *e* украинскому *i* на месте старого *ě*, как в случае [s'érkova], где к тому же возникает русская суффиксация и слово становится склоняемым, в противоположность несклоняемой украинской фамилии [s'irkó]. Хотя Голохвостый вводит русские морфемы мужского рода единственного и множественного числа {l-Ø} и {l'-i} в глаголах прошедшего времени (при том что и сами формы [smotr'él] и [uv'id'il'i] являются русскими), в конце концов он склоняется к украинскому {v-Ø}: форма [smotr'év] в последней фразе процитированного отрывка как бы замыкает длинную цепь украинских сослагательных форм на {v-Ø}.

На этих коротких примерах мы можем наблюдать функционирование двух систем, или кодов, Суржика: 1) русско-украинский суржик, в основе своей русский с украинскими элементами (обозначим его здесь R/U), и 2) украинско-русский, в основе своей украинский с русскими элементами (U/R), который, собственно, мы обычно и называем Суржи́ком. Как я уже отмечал в [Flier 2000: 115], русские элементы в Суржике второго типа сами по себе украинизированы; таким образом, более адекватным символом для обозначения украинско-русского Суржика был бы U/R^u. Голохвостый начинает свой диалог с суржика R/U. Проня отвечает на Суржике U/R^u, и Голохвостый продолжает беседу также на Суржике U/R^u.

В недавних работах по социолингвистике делались попытки вычленить и описать пространственно-временные и другие параметры, которые позволили бы определить суржик контекстуально. Но все эти «определения», вместо того чтобы облегчать анализ суржика, на самом деле усугубляют терминологическую путаницу, и без того сопровождающую популярное использование этого понятия (см.: [Bilaniuk 2005: 104—105]). Коль скоро принципы, выдвигавшиеся с целью типологического перехода от «Суржика» к «суржикам» (отдельным кодам), базировались преимущественно на *экстралингвистических* критериях, имело бы смысл, отбросив их, ввести в обиход *научное* употребление термина «суржик». Его сле-

дует применять к каждому отдельному коду (код, основанный на украинском языке; код, основанный на русском языке; или же код, основанный на польском языке), порождаемому грамматикой, инкорпорирующей элементы и механизмы украинского языка (или его диалектов) и его асимметричного взаимодействия с русским языком, с одной стороны (украинско-русский или русско-украинский суржик) и польским — с другой (украинско-польский или польско-украинский суржик). И если лингвистические образцы, обнаруживаемые в современном суржике, в основе идентичны тем, которые зафиксированы в текстах предыдущих столетий, мы должны быть уверены, что социолингвистические типологии не затемняют этой целостности суржика, обнаруживающейся в единстве коррелирующих между собой вариантов.

В своей работе 2000 года [Flier 2000], я пытался продемонстрировать системную основу современного Суржика, создав фундаментальную типологию украинско-русских корреляций на уровне фонологии, морфологии, синтаксиса и лексикона. Как показывает мое исследование, несмотря на частотную вариативность русского влияния на разных носителей Суржика, взаимодействие между украинской основой и русскими вкраплениями поддается интерпретации в рамках единой, регулярной структуры элементов, отношений и иерархий. Исследуя Суржик в произведениях современных авторов (таких, как Жолдак, Ирванец, Даниленко), или в работах Александры Сербенской (Олександра Сербенська), я нахожу последовательные образцы и иерархические тенденции, в результате которых одни языковые черты всегда будут преобладать над другими. Базовая типология украинско-русского суржика охватывает следующие феномены:

(1) Структурные черты украинско-русского суржика

- a. лексические трансферы
- b. расширение лексического значения
- c. лексические кальки
- d. синтаксические кальки
- e. выбор морфологических форм
- f. морфофонематическая аттракция
- g. фонологическая интеграция

Если базовая структура суржика, представленная здесь, способна описать сущность этого феномена, включая его пространственно-временные разновидности, то нам придется делать различие между Суржиком как системой, или кодом, и случайными факторами, в т. ч. социолингвистическими, способными влиять на его формирование. Мы должны вернуться к концепции базового единства Суржика как такового, в противоположность представлению о потенциально бесконечном количестве синкретических украинско-русских и прочих суржиков.

Чтобы проверить гипотезу о единстве украинского Суржика, рассмотрим его социолингвистическую типологию (см.: (2) в [Bilaniuk 2004: 415—22]).

(2) Типология украинского суржика по Биланюк

Отличительные признаки пяти прототипов суржика
[Bilaniuk 2004: 415]⁴

Тип суржика	Историко-демографический контекст			Направление влияния	Континуум Ауэра CS ⇔ LM ⇔ FL
	Описание	Сельско-городской контекст	Хронология		
Урбанизированный сельский	Рабочий класс / урбанизированные украинские крестьяне	сельский ⇔ городской	с XIX в. по настоящее время	Украинская основа, русское влияние	FL
Сельский диалектный	Украинские деревенские жители, находящиеся в контакте с русскими администрацией и масс-медиа	сельский	с XIX в. по настоящее время	Преимущественно украинская основа, русское влияние	FL
Советизированный украинский	Кодифицированный украинский с планируемым русским влиянием	городской (институциональный)	с 1930-х гг. по настоящее время	Украинская основа, русское влияние	планируемые FL
Городской билингвизм	Городские билингвы с родным русским или украинским языком	городской	советская и пост-советская эпоха	Влияние в обоих направлениях	CS/LM
Суржик эпохи независимости	Русскоговорящие городские жители, недавно начавшие публично использовать украинский язык	городской	пост-советская эпоха	Влияние в обоих направлениях	CS/LM

Урбанизированный сельский суржик. [Bilaniuk 2004: 416] характеризует эту разновидность как «архетипический суржик... [который] возник вместе с индустриализацией и урбанизацией, по мере того как украиноговорящие крестьяне имели все больше контактов с русскоговорящей администрацией и мигрировали в города, где пытались использовать русский как более престижный язык». Исследовательница описывает этот вид суржика как результат попыток носителей русифицировать свой язык «путем внесения в украинский всех известных им русских слов или конструкций» [Ibid.]. Она замечает, что «структурные языковые сходства

⁴ В плане пользуется следующая аббревиатура: FL = fused lects [неделимые лекты], CS = code-switching [переключение кодами], LM = language mixing [смешение языков]; см. [Auer 1998/1999].

или различия урбанизированного сельского суржика в разных городах еще недостаточно исследованы. В пределах этой разновидности суржика могут обнаружиться значительные структурные вариации, поскольку она включает варианты, появляющиеся в разных контекстах, но в сходных условиях и под воздействием сходных социально-исторических сил». Однако остается скорее неясным, что это могли бы быть за языковые различия, за исключением разве что диапазона периодически встречаемых специфических диалектных форм или тенденции местных жителей предпочитать одни русские слова другим.

По-настоящему важный вопрос, который следует задать здесь, заключается в том, в самом ли деле украинско-русская интерференция на фонологическом, морфологическом и синтаксическом уровне, характерная для украинского суржика, *настолько* различна по сути своей в речи крестьян, переселяющихся в Киев, Харьков, Тернополь, Житомир или Львов, или мы имеем здесь широкий спектр общих образцов, где различия заключаются главным образом лишь в частотности использования тех или иных элементов? [Bilaniuk 2005] дает пространный пример — целых 12 предложений — из речи 70-летней урбанизированной крестьянки из Запорожья (запись сделана в 1990-х гг.). Было бы полезно проанализировать выдержки из этого текста, чтобы получить более наглядное представление о языковых особенностях, о которых здесь идет речь.

(3) Примеры урбанизированного сельского суржика (адаптировано из [Bilaniuk 2005: 127—28])⁵

a.	укр.	brát	m'ij	baháto	prac'úje	v	m'is't'i	
	Сжк.	brát	mój	mnóhə	rabóta	u	hórod'e	
	рус.	brát	mój	mnógə	rabótajit	v	górad'i	
b.	укр.	v'in	z'istajéc':a	tam				
	Сжк.	v'in	ostajóc':a	tam				
	рус.	ón	лстajóc:ə	tam				
c.	укр.	pr'ijizdžáje	dodómu	tó	vžé	vin	po-ros'ijs'kŷ	počŷnáje
	Сжк.	pr'ijizá	dodómu	tó	vžé	vin	po-rúskŷ	pačŷna
	рус.	pr'ijiz':ájit	damój	tagdá	uzé	ón	pl-rúsk'i	nač'inájit

Уже в этих трех фразах заключены практически все образцы соответствий между Суржиком, украинским и русским языками, представленные в более детальном виде в [Flier 2000]. Фонетически Суржик имеет тенденцию к сохранению украинских образцы палатализации аффрикат (отсюда сохранение мягкого [ç'] и твердого [č] в противоположность русскому твердому [c] и мягкому [č']) и непоследователь-

⁵ Таблица была слегка изменена с целью продемонстрировать более непосредственно отношения между суржиком (S) в сравнении со стандартным украинским (U) и стандартным русским (R) языками. Ударения и знаки мягкости (') и полумягкости (ŷ) были добавлены по мере необходимости.

ной редукции безударных гласных неверхнего подъема, напр. [mnóhə], но [hógod'e] вместо [hógəd'i]. Украинские морфофонематические чередования $i \sim o$ и $i \sim e$, как правило, уступают место нечередующимся o и e (напр., рус. *toj* вместо укр. *mij*). При этом здесь хорошо видны консервативные тенденции, характерные для личных местоимений (см. [Fliet 2000]), напр. *vin* вместо *on*. Украинское чередование $zd \sim ždž$, как правило, замещается чередованием $zd \sim ž$ (или $žž$). Подобным же образом, украинское h преобладает над русским g , напр. Сжк. [mnóhə] vs. рус. [mnógə]. Наконец, имеется несколько случаев лексических трансферов и корреляций, напр. Сжк. *mnoh-o*, *rabot-a-Ø*, *horod-Ø*, *ostajot'-s'a*, *po-rus'k-j*, *načyn-a-Ø*. Наиболее примечательная диалектная особенность в приведенном фрагменте — морфофонематическая замена сочетания $V_1j V_2$ на V_1 если V_2 в безударном положении, как в слове Сжк. *rabóta-Ø* (от исходного *rabót-aj-o-t'Ø*), *načyná-Ø* (от исходного *načynáj-o-t'Ø*). Это морфофонематическое чередование, являющееся результатом исторической утраты интервокального j , ассимиляции гласных и контракции, хорошо документировано в АУМ 1 (схема 258). Заметим, что морфема $-t'Ø$ 3 л. наст. или буд. вр., которая в норме выражается $Ø$ у глаголов I спряжения, сохраняется в случаях, когда за ней следует клитик $-s'a$, таким образом Сжк. *rabót-aj-o-t'Ø* \Rightarrow *rabóta-Ø*, но Сжк. *o-staj-ó-t'Ø-s'ja* \Rightarrow *o-staj-ó-t'Ø-s'ja* [ostajóc': a]⁶. Важно помнить, что употребление столь очевидных диалектных форм означает не возникновение нового языка, а их интеграцию в общую грамматику, в рамках которой осуществляется корреляция между стандартным украинским языком и его диалектами.

Сельский диалектный суржик. [Bilaniuk 2004: 417] описывает сельский диалектный и урбанизированный сельский суржики в весьма сходных терминах. Она приписывает возникновение обеих разновидностей взаимодействию с русским языком в течение XIX в. Ключевыми факторами здесь является то, что это взаимодействие предшествовало стандартизации украинского и русского языков, а также то, что носители этих диалектов оказывались достаточно невосприимчивы к последующим попыткам привить им стандартизованный язык через государственные институты (система образования, масс-медиа). Возможно, наибольшее влияние на этот тип суржика оказал русский бюрократический язык, хотя Bilaniuk не раскрывает деталей, касающихся природы этого влияния. В такой ситуации было бы логично ожидать влияния прежде всего на лексическом уровне, однако при анализе русских лексических трансферов речь идет скорее о степени усвоенности тех или иных слов, чем о масштабных структурных различиях. В самом деле, Bilaniuk замечает, что «в структурном отношении русифицированный украинский сельский диалект-суржик может быть идентичен суржику урбанизированных крестьян, и оба они могут быть связаны постольку, поскольку связь между сельскими жителями и их соотечественниками, мигрировавшими в город, не прерывается. Однако можно было бы ожидать, что сельский диалект-суржик будет иметь больше явных диалектизмов, не принадлежащих ни одному из стандартных языков, которые носители с большой вероятностью сознательно исключали бы из своей речи

⁶ Двойная стрелка (\Rightarrow) означает морфофонематическую замену.

в городском контексте, чтобы не выглядеть «деревенскими» (418). Но если эти два предполагаемых «языка»-суржика структурно идентичны и различаются в основном количеством четко выраженных диалектных форм и русских заимствований, то у нас мало оснований считать, что они имеют сколько-нибудь различную историю и могут иметь статус выраженных «синкретических языков».

Советизированный украинский суржик. [Bilaniuk 2004: 418—19] характеризует этот суржик как продукт давления со стороны советского государства в направлении русификации Украины, в особенности путем внедрения в современный украинский язык большого числа лексических трансферов (заимствований) и расширения лексического значения слов. Лексические трансферы такого рода — это русские по происхождению формы, не встречающиеся в украинском языке, например Сжк. *hvozď'i* «гвозди», *na straži* «на страже» (в противоположность укр. *c'vjaxŭ* и *na storožŭ*). Слова с расширенным лексическим значением — это формально украинские корреляты русских форм, которые расширили свою семантику и инкорпорировали значения, присущие русским эквивалентам. Напр., Сжк. *stolova* «столовая» вместо укр. *jidal'n'a*, использует украинское прилагательное *stolova* «столовая, относящаяся к столу» в расширительном значении «столовая» под влиянием русского *stolovaja*. Теперь, когда мы можем категоризировать типы русского влияния в соответствии с типологией украинского суржика, представленной в [Flier 2000], включающей, в частности, урбанизировано-сельский и сельский диалектный суржик, вновь возникает вопрос, действительно ли мы имеем дело с разными языками или с ситуационно обусловленными вариантами единого по сути украинско-русского суржика.

Городской билингвизм. По Bilaniuk [2004: 419], суржик билингвов может быть описан как «обычное в случае билингвов языковое смешение». Затем исследовательница замечает, что в действительности типы взаимодействия языков варьируются, от перехода с одного языкового кода на другой до смешения языков (разные степени переключения с русского на украинский и обратно). Она считает эту категорию наиболее размытой из всех перечисленных, поскольку здесь мы имеем дело

с неструктурированным смешением, при том что его носители, как правило, более или менее владеют обоими языками (однако переносят слова из одного языка в другой по привычке) и переходят с одного языка на другой иногда ради стилистического эффекта, иногда без всякой видимой причины. Это, вошедшее в привычку, смешение может быть результатом недостаточно высокого уровня владения языком, однако это не обязательно. Смешение украинских и русских элементов может иметь вид гибридной грамматической структуры или возникать на уровне речи. (419)

Здесь стоит прояснить несколько вопросов. Если носитель знает украинский или русский одинаково хорошо и решает по той или иной причине перейти с одного языка на другой и обратно (смена кода), получившийся результат, строго говоря, не должен был бы вовсе называться суржиком, поскольку базовая идентичность каждого из задействованных языков остается сохранный. Если замена про-

исходит на уровне отдельных лексем, периодически проникающих в их украинский или русский, такого рода смешение кодов могло бы рассматриваться как некая слабо выраженная форма суржика, при том что фонологические, морфологические и синтаксические образцы базового языка остаются в неприкосновенности. Маргинальный статус этого явления признает сама [Bilaniuk: 419]: «Позиция слушателя, оценивающего намерения говорящего и степень его владения языком, играет ключевую роль в решении вопроса, будет ли язык квалифицирован как суржик». Тот факт, что влияние может идти в обоих направлениях, означает, что такая гибридизация может соответствовать как украинско-русскому (U/R), так и русско-украинскому суржику (R/U). Последний представлен в речи русскоговорящих украинцев, которые сохраняют свой грамматически правильный русский с легким украинским акцентом (cf.: [Bilaniuk 2004: 420]). Это те носители, которые используют морфофонематическое правило замены русского *g* на *h* и обычно пренебрегают фонетическими правилами редукции гласных в русском языке, производя в результате такие формы, как [hórot] вместо [górat] или даже [hórod], если они не учитывают еще и закона оглушения конечных согласных.

[Bilaniuk 2004: 420] приводит пример городского билингвального суржика, иллюстрирующий смешение кодов прежде всего на лексическом уровне:

(4) Пример городского билингвального суржика (русские формы подчеркнуты)

S		nó	v	nášej	ród'in'e	s't'ílkŷ	l'uděj	jak'i	l'úbl'at'	ta	slúxajut'
Gloss		but	in	our	homeland	so many	people	who	like	and	listen to

S		Važku	serjóznu	muzŷku	i	tak	malo	informácŷj	pro	ce	napravl'én'ije
Gloss		Heavy	serious	music	and	so	little	information	about	this	direction

E 'But in our homeland [there are] so many people who like and listen to heavy, serious music and [there is] so little information about this tendency.'

В этом примере, взятом из письма в редакцию журнала, некоторое русское влияние проявляется на уровне орфографии, нисколько не затемняя того факта, что как только изначально более-менее русская фраза [nó v nášej ród'in'e]⁷ произнесена, предложение превращается в украинско-русский суржик, содержащий две лексические трансферы: Сжк. [informácŷj] вместо укр. [informac'ij] и Сжк. [napravl'én'ije] вместо укр. [naprávl'en':a]; обе абсолютно согласуются с типо-

⁷ Отсутствие последовательной редукции безударных гласных неверхнего подъема *e*, *o*, *a* до [ə] после твердых согласных и до [i] после мягких — общая черта украинского акцента в русском языке (см. выше: [mnóhə], [hógəd'e]). В данном случае мы видим [nášej ród'in'e] вместо русского [nášej ród'in'i]. Эти факты позволяют думать, что этот билингв говорит не на русском языке (R) и украинском суржики (U/R), а на русско-украинском суржики (R/U) и украинско-русском суржики (U/R), однако текст не дает достаточного материала, чтобы судить об этом.

логией, представленной в [Flier 2000]. Заметим еще раз, что отсутствие редукции безударной гласной неверхнего подъема *e, o, a* до [ʌ] или [э] после твердых согласных и [ɪ] после мягких является общей чертой русского языка с украинским акцентом, как в [nášej ród'in'e] вместо русского [nášəj ród'in'ɪ]. Эти фонетические факты заставляют думать, что данный билингв колеблется не между русским языком (R) и украинским суржи́ком (U/R), а между русским суржи́ком (R/U) и украинским суржи́ком (U/R). Впрочем, текст не дает достаточного материала, чтобы судить об этом.

Суржик эпохи независимости. [Bilaniuk 2004: 421] пишет, что суржик эпохи независимости связан с попытками русскоязычных носителей говорить по-украински после обретения страной независимости. В зависимости от степени их владения русским языком, эту категорию людей можно охарактеризовать как русскоговорящих (R) или носителей русско-украинского суржика (R/U) и украинско-суржика (U/R). Для Bilaniuk основная отличительная черта этого вида суржика по отношению к другим — то, что он характерен для носителей, принадлежащих политической и социально-экономической среде, близкой правительству (421). Из единственного примера, приведенного исследовательницей, можно заключить, что со структурной точки зрения этот суржик не отличается от остальных.

(5) Пример суржика эпохи независимости [Bilaniuk 2004: 421].

S		tak	mÿ	ščas	vÿkonújemo	zav'ét	lén'ina	v'iddajémo
Gloss		so	we	now	Carry out	will	of Lenin	we return
S		zém'l'u	sel'ánam	i	xto	s'ohódn'i	prótÿ	c'óho
Gloss		land	to the peasants	and	who	today	against	that
E		So we are now carrying out the will of Lenin: we are returning the land to the peasants, and who today is against that?						

В этом примере содержатся два лексических трансфера: русское разговорное [ščas], по всей видимости произносимое как украинское сочетание согласных [šč], скорее чем как русское [š':], и рус. [zav'ét]. Вероятно, данный билингв говорит на украинско-русском суржике (U/R).

Структурные различия при анализе суржика становятся по-настоящему релевантными при идентификации матричного и гостевого языка (см.: [Myers-Scotton 1997: 221]). Термин «суржик» подразумевает, что украинский задействован либо как матричный, либо как гостевой язык, точно так же, как наличие слова «тряска» позволяет предположить вовлеченность белорусского как матричного либо гостевого языка. В работе [Flier 2000] большая часть анализа посвящена украинскому языку с вкраплениями русского (U/R^U), который Bilaniuk называет русифицированным украинским суржи́ком. Этот украинско-русский суржик отличен, с одной стороны, от суржика с украинской базой и украинизированными польски-

ми вкраплениями (U/P^U), с другой — от суржика с русской базой и русифицированными украинскими вкраплениями (R/U^R). Если добавить еще польско-украинский суржик (P/U^P), окажется, что мы и в самом деле говорим о четырех типологически различных суржиках или суржиковых кодах, каждый из которых имеет «собственные правила совместимости, систему четких правил вовлечения различных грамматик, находящихся в различных позициях доминирования (базовые или интерферирующие)» [Flier 2000: 116]. Эти суржики нужно рассматривать как отдельные феномены, поскольку каждый из них строится на структурно различных матричных языках, — существенный фактор, как-то обойденный вниманием в пространственно-временной типологии Bilaniuk. Но, как мы видели выше, один и тот же носитель может колебаться между украинско-русским и русско-украинским суржилом, в зависимости от того, какой из языков — украинский или русский — доминирует в данный момент.

Когда два генетически близких языка, как украинский и русский, вступают между собой в контакт, можно ожидать, что один из них, обладающий большим культурным капиталом, будет влиять на другой посредством хорошо известных механизмов языкового взаимодействия, включая лексический трансфер, расширение лексического значения, лексическое и синтаксическое калькирование, морфологическую селекцию, морфофонематическую аттракцию, фонологическую интеграцию. Если результаты такого взаимодействия могут варьироваться, то это различие, скорее, количественного, нежели качественного порядка (более или менее устойчивые лексические трансферы, более или менее масштабное взаимодействие на уровне синтаксиса и морфологии, более или менее выраженная фонологическая интеграция). Эти различия обычно коррелируют с языковой идеологией, обусловленной исторической ситуацией, социально-экономическими и географическими особенностями, а также огромным количеством аналогичных контекстуальных факторов, каждый из которых способен влиять как на количественные, так и на качественные аспекты языковой интерференции. Все вышеперечисленное может также влиять на языковое взаимодействие как в количественном, так и в качественном отношении.

Как показывает наш краткий анализ пяти отличающихся друг от друга во временном отношении контекстов, в которых функционирует украинско-русский суржик, дескриптивный код языка, лежащий в основе всех их, остается практически неизменным. Эти «разновидности» имеет смысл различать, когда ставится задача подчеркнуть те или иные исторические, географические, социально-политические и хронологические факторы; тем не менее, они остаются вариантами одного и того же украинско-русского суржика, если матричным языком является украинский, а гостевым — русский (ср. [Стриха 1998: 633]). В сущности в этом нет ничего удивительного.

Несмотря на то, что и украинский и русский — языки динамические и условия их бытования благоприятствуют постоянному изменению, каждый из них обладает некоторым набором стандартных характеристик и корреляций, позволя-

ющих различать региональные и социальные диалекты этого языка. Если облик украинского языка начинает меняться под воздействием русского, то существует вполне ограниченное количество способов, которыми это воздействие может осуществляться фонологически, морфологически, синтаксически и лексически, независимо от временного, географического и социального контекста их взаимодействия. Так, с точки зрения фонологии, фонематически различаемые в русском языке мягкие зубные и губные согласные могут влиять на количественное распределение мягких зубных и губных перед *e* в суржике, но сам факт, что губные согласные в украинском языке не могут иметь различительной мягкости, означает, что мягкие губные не будут последовательно воспроизводиться и в суржике. Скажем, в речи Голохвостого встречается [zd'és'] с мягким [d'], но [men'á] с твердым [m]. Учитывая эти фундаментальные факты, характерные для русского и украинского языков в целом, было бы странно, если бы влияние русского и сопротивление украинского языка в этом аспекте могло бы приводить к сильно отличающимся результатам. Подобным же образом, лексическая калька, приводящая к замене в суржике украинского *нарешити* «наконец» явилась результатом многоступенчатого развития, опять-таки отражающего некоторое сопротивление украинского языка русскому варианту *nakon'éc* [nəkɫn'éc]: [nak'inéc'] ≥ [nakon'éc] ≥ [nəkɫn'éc]. Лексические трансферы, замена лексемы абсолютно отличной лексемой, не связанной с исходной, будет естественным образом отражать специфические социолингвистические факторы, приводящие к этой замене, но лингвистический факт замены затрагивает одни и те же классы форм, независимо от региона, времени или социально-политической стратегии: имена замещают имена, глаголы — глаголы, прилагательные — прилагательные. Со структурной точки зрения, замена в речи Голохвостого слова [robáčylu] словом [uv'id'il'i] эквивалентна замене слова [prac'uje] словом [rabóta] в урбанизированном сельском диалекте по Bilaniuk. В последнем случае просто действует дополнительный комплекс морфофонематических правил, в силу которых мы в конце концов получаем усеченное [rabóta] вместо [rabótaje]. А синтаксическая калька, подобная Сжк. *probáč mené* «прости меня» (*mené* = вин. п. ед. ч.), возникшая под влиянием русского *извини меня* (*m'en'á* = вин. п. ед. ч.) на месте украинского *пробач мені* (*men'i* = дат. пад. ед. ч.), наблюдается точно так же в суржике эпохи независимости, или советизированном украинском, или урбанистическом билингвальном, по классификации Bilaniuk, как и в языке XIX века.

В конечном итоге, в дескриптивном отношении более достоверные результаты даст социолингвистическая трактовка разнообразных примеров суржика, которая отражала бы количественные и качественные различия в функционировании языковой структуры как *вариации* структурно единого суржика, в то время как концепцию *суржиков* следовало бы сузить и применять этот термин лишь к гибридам с разными матричными и гостевыми языками, один из которых украинский (cf.: [Стриха 1998: 636]).

Гарвардский университет

ЛИТЕРАТУРА

- АУМ 1 = Атлас української мови: У 3 т. Т. 1 // Полісся, Середня наддніпрянина і суміжні землі. Київ: Наукова Думка, 1984.
- СУМ = Словник української мови: У 11 т. Київ: Наукова Думка, 1970—1980.
- Гриценко 1998 — *Гриценко О.* Суржик: 2. Дискурси та суспільні ролі // *Гриценко О.* (ред.). Нариси української популярної культури. Київ: Український центр культурних досліджень, 1998. С. 638—643.
- Курохтина 2004 — *Курохтина Т. Н.* Межъязыковая интерференция в условиях двуязычия («суржик» в украинской языковой ситуации). М.: МГУ, 2004.
- Магочі 1994 — *Магочі П. Р.* Языковый вопрос // *Magosci P. R.* (red.). Русинський язык. Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, 1994. С. 85—112.
- Масенко 2004 — *Масенко Л.* Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. Київ: КМ Академія, 2004.
- Рігер 1994 — *Рігер Я.* Становиско і зріжницювання 'русинських' діалектів в Карпатах // *Magosci P. R.* (red.). Русинський язык. Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, 1994. С. 39—65.
- Сербенська 1994 — *Сербенська О. А.* Антисуржик. Київ, 1994.
- Старицький 1964 — *Старицький М.* Твори: У 8 т. Т. 2: Драматичні твори. Київ: Дніпро, 1964.
- Старицький 1883 — *Старицький М.* За двома заяцями // *Старицький М.* Твори: У 8 т. Т. 2: Драматичні твори. Київ: Дніпро, 1964. С. 361—436.
- Стріха 1998 — *Стріха М.* Суржик: 1. Суржик та літературна мова // *Гриценко О.* (ред.). Нариси української популярної культури. Київ: Український центр культурних досліджень, 1998. С. 629—637, 643.
- Жилко 1966 — *Жилко Ф. Т.* Нариси з діалектології української мови. 2-е переробл. вид. Київ: Радянська школа, 1966.
- Auer 1998/1999 — *Auer P.* From code-switching via language mixing to fused lects: Toward a dynamic typology of bilingual speech // *Interaction and Linguistic Structures*. 1998. № 6. Freiburg im Breisgau. Reprinted // *International Journal of Bilingualism* 3. 1999. № 4. P. 309—32.
- Bilaniuk 2004 — *Bilaniuk L.* A typology of *surzhyk*: Mixed Ukrainian-Russian language // *International Journal of Bilingualism*. 2004. 8 (4). P. 409—25.
- Bilaniuk 2005 — *Bilaniuk L.* Contested tongues: Language politics and cultural correction in Ukraine. Ithaca; London: Cornell University Press, 2005.
- Flier 2000 — *Flier M. S.* Surzhyk: The rules of engagement // *Harvard Ukrainian Studies*. 2000. 22. P. 113—36.
- Magosci (red.) 1994 — *Magosci P. R.* (red.). Русинський язык. Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, 1994.
- Myers-Scotton 1997 — *Myers-Scotton C.* Code-switching // *The handbook of sociolinguistics* / Ed. Florian Coulmas. Oxford: Blackwell Publishers Limited, 1997. P. 217—37.
- Shevelov 1966 — *Shevelov G. Y.* Die ukrainische Schriftsprache 1798—1965. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1966.
- Shevelov 1993 — *Shevelov G. Y.* Ukrainian // *Comrie B., G. G. Corbett* (eds.). *The Slavonic Languages*. London; New York: Routledge, 1993. P. 947—998.
- Wexler 1974 — *Wexler P. N.* Purism and Language: A Study in Modern Ukrainian and Belorussian Nationalism (1840—1967). Bloomington: Indiana University Research Center for the Language Sciences, 1974.

Р. Ф. Касаткина

ЛАРИНГАЛИЗАЦИЯ В РУССКОЙ ФОНЕТИКЕ — СЕГМЕНТНЫЙ УРОВЕНЬ*

Гортанные артикуляции традиционно считаются принадлежностью древних языков¹, а также некоторых современных, преимущественно экзотических². Как показали исследования последних десятилетий, присутствуют соответствующие артикуляции и в фонетической системе современного русского языка. Эту тему в русской фонетике первыми начали разрабатывать С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова, открыв серию публикаций статьёй [Кодзасов, Кривнова 1977]. Это и все их последующие исследования русского речевого материала были направлены на выяснение роли гортанных артикуляций в русской речевой про с о д и и.

Е. А. Брызгунова в свой реестр основных русских интонационных конструкций специально ввела ИК-7, которая отличается от ИК-3 дополнительной ларингальной артикуляцией — гортанной смычкой. С. В. Кодзасов и О. Ф. Кривнова обнаружили в русской речи и другие типы гортанных фонаций (придыхание, «расслабленный» и «скрипучий» голос), вносящих дополнительные окраски в реализацию отдельных участков речи или играющих в речевом потоке дельмитативную роль.

Что же касается сегментных функций этих артикуляций, то применительно к современной русской литературной фонетике³ они не рассматривались, а считались принадлежностью фонетических систем других языков: арабского, хауса, корейского, тайского, хинди, маратхи, ненецкого, нганасанского, иберийско-кавказских и других. Отмечены сегментные гортанные артикуляции и в английском (в его британском и американском вариантах), и в немецком языках. Подробный обзор на эту тему содержится в [Ladefoged, Maddieson 1996: 48; Кривнова, Андреева 2007: 88—91].

Однако в последнее время становится все более очевидным, хотя и не исследованным до конца, также участие работы гортани и на сегментном фонетическом уровне русской звуковой системы. В статье [Добродомов 2002] содержится тща-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (грант № 07-04-00243а).

¹ См., напр.: [Иванов 1963; 1965].

² Литература на эту тему весьма обширна, см., напр., [Вернер 1969; Иванов 1971].

³ В некоторых севернорусских диалектах С. С. Высотский обнаружил гортанный смычный [-] в соответствии с фонемой /к/ русского литературного языка [Высотский 1978: 127].

тельный обзор всех исследований отечественных ученых на эту тему и оценивается роль одной из разновидностей ларингальных артикуляций — гортанной смычки, возникающей в качестве эпентезы или протезы в определенных позициях в русской сегментной фонетике.

Прецизионная классификация возможных способов работы гортани в языках мира содержится в фундаментальной работе американских исследователей П. Ладефогед и И. Меддисона [Ladefoged, Maddieson 1996]. По данным авторов, кроме *гортанной смычки* (*glottal stop*), в разных языках представлены следующие гортанные артикуляции: *скрипучий* и *хриплый голос* (*creaky & breathy voice*), а также *жесткая* (*stiff*) и *вялая* (*slack*) фонации. Авторы обращают внимание на то, что «детальное изучение работы голосовых связок показывает всю сложность этого феномена, и об этом нам еще многое предстоит узнать» [Ibid.: 49]. Для дальнейшего изложения важно подчеркнуть, что все перечисленные возможности гортанных фонаций можно разделить на две неравные группы: *гортанная смычка* противопоставлена всем другим видам ларингализации как *концентрированная* — *разлитым* (точнее было бы назвать это противопоставление *компактным* — *диффузным*, если бы эти термины уже не были заняты), поскольку *glottal stop*, подобно другим смычным согласным, характеризуется определенными временными координатами, а все другие виды ларингализации сопровождают протекание (просодию) отдельных сегментов речевой последовательности и не имеют точной локализации по времени. Тем самым, гортанная смычка — это автономный речевой сегмент, а фонации взаимодействуют с другими сегментами: сочетаются с ними, «накладываются» на них, т. е. здесь мы имеем дело с *основной* и *дополнительной* артикуляцией, если иметь в виду уровень сегментной фонетики.

Наблюдения над современной русской спонтанной речью, а также результаты интроспективного анализа показали, что в русском языке ларингальный компонент может появляться в качестве одной из позиционных реализаций фонемы /j/ [Касаткина 2007: 417]. Артикуляционная (и акустическая) «непохожесть» йотобразных и ларингальных сегментов не может, с позиции московской фонологии, служить препятствием для объединения их в одну фонему. Впрочем, с одной точки зрения у этих согласных все же имеется определенное сходство: и те, и другие могут выступать в качестве протез (*эх, јэх, эх*) или эпентез в хиатусах (ср. *иди́от, идијот, иди-от*). Кроме того, обсуждаемое аллофоническое варьирование типологически сходно с историческим чередованием /-//j/, представленным в фонетических системах ряда языков и, в частности, отмеченным Вяч. Вс. Ивановым для некоторых енисейских языков [Иванов 1971: 130—131].

Гортанные реализации /j/ в русской речи представлены двумя артикуляционными типами: гортанной смычкой и «скрипучим голосом»⁴. Рассматриваемые ла-

⁴ Ввиду неразработанности этой темы в русистике не берусь утверждать, какой именно тип гортанной фонации — *скрипучий*, *хриплый* или *жесткий* — здесь имеет место, поэтому выбор термина «скрипучий» условен.

рингальные артикуляции наблюдаются в качестве факультативных реализаций в некоторых позициях /j/: перед поствокальным [и] в хиатусах: *бой, мой* и т. п., а также в постконсонантной позиции перед [и] как ударным (*семь, стáть* и т. п.), так и безударным (*лѣсьи, рáчьи, свáтьи, сѣми* и т. п.); см.: [Касаткина 2007: 417]. В первых двух случаях возможно произношение гортанного смычного на месте /j/, но значительно вероятнее во всех перечисленных случаях появление *разлитой* ларингальной фонации на ударном гласном (*семь, стáть*) либо на всех гласных, входящих в состав слова (*сѣми, свáтьи*).

Таким образом, из всех перечисленных выше гортанных артикуляций наиболее часто представленными в русской речи являются *разлитые* формы, они представляют собой дополнительную гортанную артикуляцию.

Описание восприятия подобной артикуляции находим в статье О. Ф. Кривновой и Андреевой: «В таких, весьма отличных от нейтральной фонации, условиях гласный приобретает перцептивные свойства сдавленности, напряженности, испорченности, скрипучести» [Кривнова, Андреева 2007: 85]. На осциллограммах это отражается в виде «биений», пульсирующих перебивов, накладывающихся на основную рисунок кривой.

На рис. 1 приведена осциллограмма слова *семь* с «каноническим» [j] в соответствии с фонемой /j/, а на рис. 2 то же слово со «скрипучей» фонацией, окра-

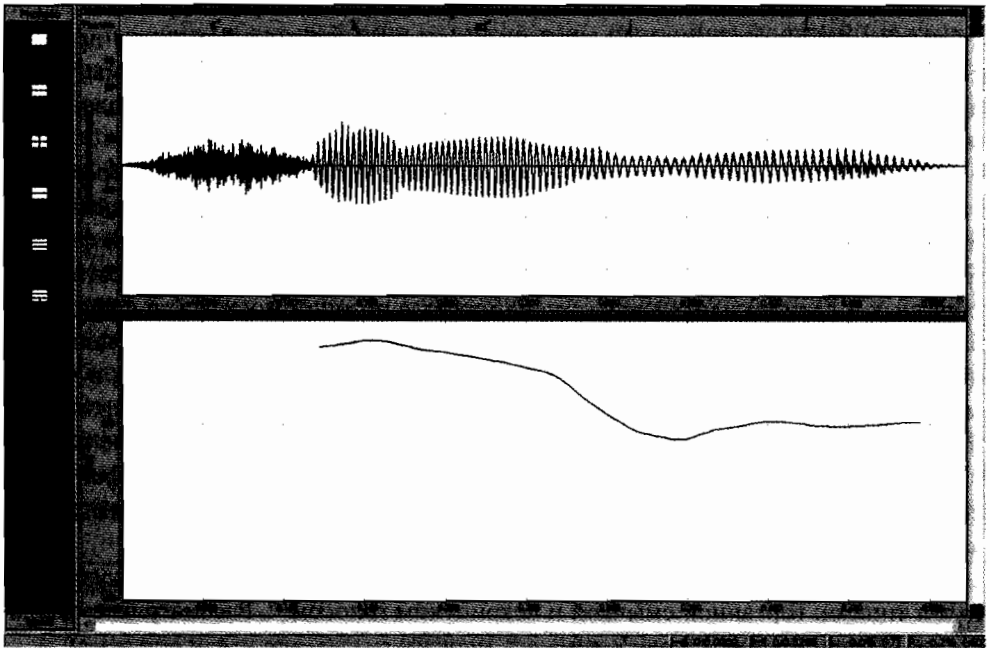
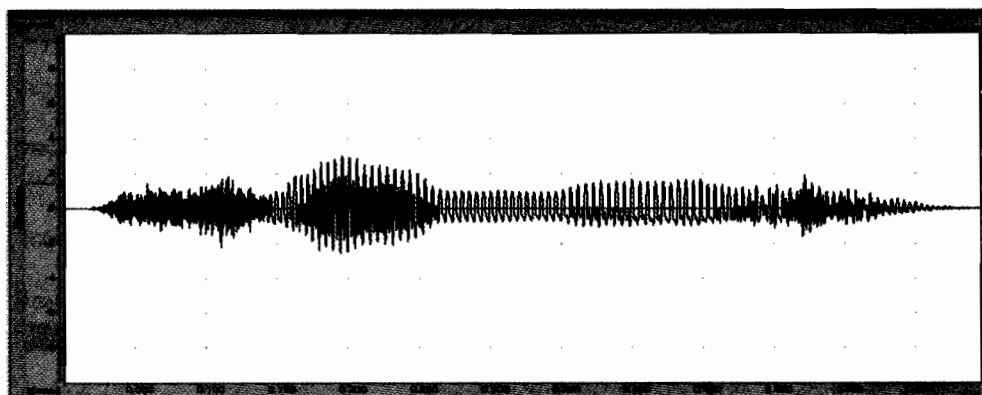


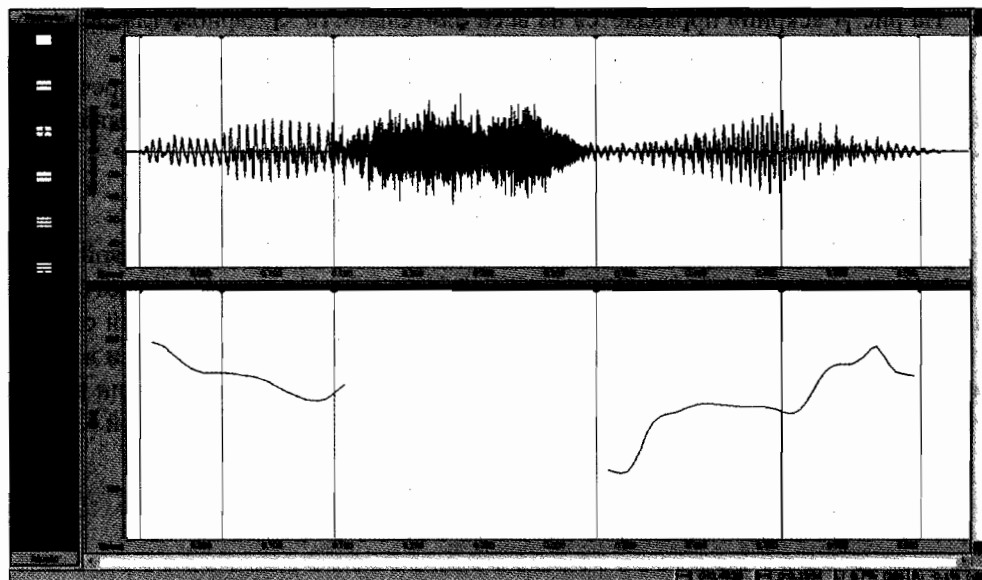
Рис. 1: *семь*

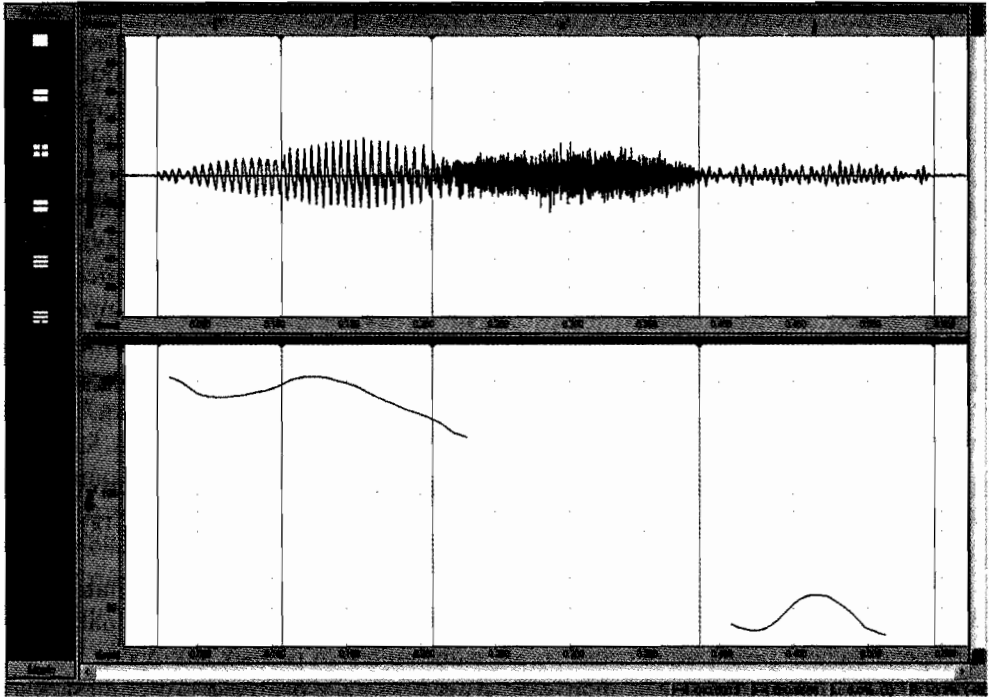
Рис. 2: *семь*

шивающей конечный гласный [и́] и часть предшествующего согласного [j]. Об этом свидетельствует появление беспорядочных колебаний на соответствующих сегментах.

Еще более ярко проявляется ларингальная «скрипучая» фонация, окрашивающая заударное *и*, при элизии предшествующего *ј*. Этот эффект можно видеть на рис. 3 и 4, где представлены реализации слова *лѣсьи*, записанного от разных дикторов.

Для большей наглядности произведена сегментация, благодаря которой можно видеть, что на рис. 3 гортанной фонацией окрашена вторая половина гласного [и].

Рис. 3: *лѣсьи*

Рис. 4: *лисы*

На рис. 4 «скрип» проявляется на всей длительности заударного гласного, который реализуется на очень низком тоне.

Представленные реализации не отличаются высокой частотностью в речи, они присущи определенным фразовым позициям. Например, возможно их появление в репликах-ответах на вопрос:

Чьи это следы? — Лисы.

Что ты принес? — Статьи.

Исследуя явления глотталидации на суперсегментном уровне русской речи, О. Ф. Кривнова отмечает, что более высокой степенью встречаемости глотталидации и значительно бóльшим разнообразием ее фонетических реализаций отличается женская речь [Кривнова, Андреева 2007: 104]. То же можно отнести и к сегментному уровню: согласно нашим наблюдениям, гортанные артикуляции в качестве реализаций фонемы *j* более свойственны женской речи, чем мужской.

ЛИТЕРАТУРА

- Вернер 1969 — *Вернер Г. К.* Звуковая система сымского диалекта кетского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1966.
- Высотский 1978 — *Высотский С. С.* Звуковые изменения, не влияющие на основные черты фонологического строя говоров // *Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах* / Отв. ред. С. С. Высотский. М.: Наука, 1978. С. 67—133.
- Добродомов 2002 — *Добродомов И. Г.* Беззаконная фонема /-/ русского языка // *Проблемы фонетики IV* / Отв. ред. Р. Ф. Касаткина. М., 2002. С. 36—52.
- Иванов 1963 — *Иванов Вяч. Вс.* Хеттский язык. М., 1963.
- Иванов 1965 — *Иванов Вяч. Вс.* Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965.
- Иванов 1971 — *Иванов Вяч. Вс.* О происхождении ларингализации — фарингализации в енисейских языках // *Фонетика. Фонология. Грамматика*. М., 1971. С. 125—136.
- Иванов, Топоров, Успенский 1968 — *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н., Успенский Б. А.* Кеты, их язык, культура, история // *Кетский сборник*. Лингвистика. М., 1968.
- Касаткина 2007 — *Касаткина Р. Ф.* О некоторых ларингальных артикуляциях в русской сегментной фонетике // *Проблемы фонетики V* / Отв. ред. Р. Ф. Касаткина. М., 2007. С. 416—417.
- Кодзасов, Кривнова 1977 — *Кодзасов С. В., Кривнова О. Ф.* Фонетические возможности гортани и их использование в русской речи // *Проблемы теоретической и экспериментальной фонетики* / Под ред. В. А. Звегинцева. М., 1977. С. 180—209.
- Кривнова, Андреева 2007 — *Кривнова О. Ф., Андреева А. М.* Ларингализация и ее функции в речи // *Проблемы фонетики V* / Отв. ред. Р. Ф. Касаткина. М., 2007. С. 71—106.
- Ladefoged, Maddieson 1996 — *Ladefoged P., Maddieson I.* The sounds of the world's languages. Oxford, 1996.

GRADUAL LOSS OF A GENDER CONTRAST

1. Introduction

In languages from the small Arawá family (spoken in Brazil and Peru), each free noun is classed as feminine (f) or masculine (m). There are also inalienably possessed nouns (PNs) which accompany a free noun and agree with it in gender. In proto-Arawá, each PN had distinct f and m forms, and this is maintained in most modern languages. However, in Jarawara and other dialects of the Madi language, there has been steady loss of gender marking on PNs — of the 175 PNs in my corpus, only 65 (37%) maintain distinct f and m forms.

We can illustrate PNs in Jarawara as they accompany free nouns *fanawi* ‘woman’ (f) and *makiti* ‘man’ (m):

<i>fanawi noki</i>	‘woman’s eye’	<i>makiti noko</i>	‘man’s eye’
<i>fanawi ate</i>	‘woman’s forehead’	<i>makiti ete</i>	‘man’s forehead’
<i>fanawi ame</i>	‘woman’s blood’	<i>makiti eme-ne</i>	‘man’s blood’
<i>fanawi tati</i>	‘woman’s head’	<i>makiti tati</i>	‘man’s head’
<i>fanawi hawi</i>	‘woman’s path’	<i>makiti hawi-ne</i>	‘man’s path’

It will be seen that for ‘eye’ it is the final vowel of the PN which indicates gender: *i* for f and *o* for m, whereas in the case of ‘forehead’ it is the vowel in the initial syllable, *-a-* for f and *-e-* for m. ‘Blood’ follows the same pattern as ‘forehead’, but with the addition of *-ne* to the m form. For ‘head’, f and m forms of the PN are identical, and for ‘path’ they differ only in that m includes final *-ne* (similar to ‘blood’).

Feminine is the functionally unmarked member of the two-term gender system [Dixon 2004a: 286—287]. PNs will be quoted as f/m; for example *noki/noko* ‘eye’, *ate/ete* ‘forehead’.

2. The proto-language

Five languages can be identified as belonging the Arawá family. The Arawá language (after which the family was named) became extinct about 1880 and is known only from one short word list. Suruwahá is still spoken but has yet to be fully described [Dixon 1995: 291]. There are good materials available on (a) Paumari, (b) on several dialects of the Kulina-Deni language, and (c) on the Jarawara, Jamamadi and Banawá dialects of the

Madi language. Since I have worked intensively on Jarawara (see: [Dixon 2004a]), material from this dialect is used here; Jamamadí and Banawá differ in only minor respects. Full bibliographical details, together with over 450 cognate sets and reconstruction of the phonological system of proto-Arawá is in Dixon [2004b]. More detailed comparative discussion of PNs is in Dixon [1995; 2004a: 311–335, 532–533]. Full information on all attested PNs in Jarawara is in Dixon [2004a: 343–360].

Each language has PNs describing parts of humans, animals and plants, orientation (for example ‘top surface of’, ‘inside of’), physical characteristics (‘itch’, ‘smell’), and things associated with people, such as ‘path’, ‘grave’, ‘companion’, etc. As reconstructed for proto-Arawá, each PN had a constant root form, to which f suffix *-ni* and m suffix *-ne* were added.

Some PNs are simple (that is, monomorphemic) with others being derived from verbs, free nouns and adjectives. Simple PNs have a much higher textual frequency than the derived variety.

Examples of proto-forms for a number of simple PNs and sets of reflexes in present-day Kulina-Dení and Jarawara are:

			PROTO-ARAWÁ	KULINA/DENÍ	JARAWARA
(1)	‘eye’	f	* <i>nokho-ni</i>	<i>nokho-ni</i>	<i>noki</i>
		m	* <i>nokho-ne</i>	<i>nokho</i>	<i>noko</i>
(2)	‘forehead’	f	* <i>atha-ni</i>	<i>atha-ni</i>	<i>ate</i>
		m	* <i>atha-ne</i>	<i>ethe</i>	<i>ete</i>
(3)	‘blood’	f	* <i>ama-ni</i>	<i>ama-ni</i>	<i>ame</i>
		m	* <i>ama-ne</i>	<i>eme-ne</i>	<i>eme-ne</i>
(4)	‘hair’	f	* <i>kona-ni</i>	<i>kona-ni</i>	<i>kone</i>
		m	* <i>kona-ne</i>	<i>kone</i>	<i>kone</i>
(5)	‘head’	f	* <i>da’di-ni</i>	<i>tati-ni</i>	<i>tati</i>
		m	* <i>da’di-ne</i>	<i>tati</i>	<i>tati</i>
(6)	‘path’	f	* <i>hagi-ni</i>	<i>hawi-ni</i>	<i>hawi</i>
		m	* <i>hagi-ne</i>	<i>hawi(-ne)</i>	<i>hawi-ne</i>

The m form for ‘path’ is *hawi-ne* in some dialects of the Kulina-Dení language, and *hawi* in other dialects.

(7)	‘blossom’	f	* <i>mowe-ni</i>	<i>mowe-ni</i>	<i>mowe</i>
		m	* <i>mowe-ne</i>	<i>mowe</i>	<i>mowe</i>
(8)	‘night’	f	* <i>jome-ni</i>	<i>jome-ni</i>	<i>jome</i>
		m	* <i>jome-ne</i>	<i>jome</i>	<i>jome-ne</i>

The meaning of this PN has shifted to ‘indistinct figure, outline’ in Jarawara.

Note that *g* has fallen together with *w* and implosive voiced stop *'d* with *t* in both Kulina-Dení and Jarawara, while aspirated *th*, *kh* and *sh* have fallen together with plain *t*, *k* and *s* in Jarawara (and *ph* has become *f*).

Proto-Arawá had four vowels (*i*, *e*, *a* and *o*) and these are retained in all modern languages save Paumarí, where *e* has fallen together with *a* medially and with *a* or *i* in final position. For example, in Paumarí, 'blood' is *ama-ni/ama-na*, see (3).

3. Changes affecting masculine suffix *-ne*

In Kulina-Dení and Jarawara, there have been two changes involving the m suffix *-ne*.

(a) **Assimilation of *a* to *e*.** There are many places in the grammars of these languages where the vowel *a* assimilates to a nearby *e* to become *e* (see [Dixon 1995: 270—3, 2004a: 17, 38—40, 49—50]) One such is the assimilation of root-final *a* to the *e* of a following m suffix *-ne*. This assimilation then spreads back to preceding *a*'s in the word. Thus in (3):

'blood-m' **ama-ne* > *eme-ne*

(b) **Loss of m suffix *-ne*.** Less than half the PNs in each language retain m suffix *-ne*. The sets of PNs which retain *-ne* in the individual languages and dialects are overlapping but not identical. This is illustrated by (6), 'path', and (8), 'night'. In all languages, *-ne* has generally dropped from PNs referring to orientation ('in front of', 'inside') and surface body parts ('nose', 'foot') but is retained on a fair proportion of other PNs ('blood', 'fat', 'pain', 'liquid, water', 'fire, firewood', 'brightness', 'companion of', etc.).

However, at an earlier stage m suffix *-ne* was probably included on most — if not all — PNs. The presence of *e*'s in the m forms for 'forehead' (*ethe* in Kulina-Dení and *ete* in Jarawara) points to an original *-ne* which triggered the assimilation *a* > *e*, before being dropped. That is, in (2):

'forehead-m' **atha-ne* > *ethe-ne* > *ethe* in Kulina-Dení
 > *ete-ne* > *ete* in Jarawara

4. Changes affecting feminine suffix *-ni*

Kulina-Dení, and also Paumarí, retain the original f suffix *-ni* on all PNs. Thus, the f/m distinction is still maintained even when *-ne* has been lost, as in (5), 'head', where proto-Arawá '*da'di-ni/da'di-ne* has become '*d'a'di-ni/da'di* in Paumarí and *tati-ni/tati* in Kulina-Dení.

However, f suffix *-ni* has been lost from all PNs in Jarawara. The loss involved the following phonological changes.

(a) Final -o-ni > -i

This is exemplified by (1) **nokho-ni* > *noki* ‘eye’ and

(9) ‘skin, bark-f’ **ataro-ni* > *atari* in Jarawara

Thus, for PNs whose proto-Arawá root ended in *o*, the f/m distinction is always maintained, marked by final *i* on the f and final *o* on the m form — *noki/noko* ‘eye’, *atari/ataro* ‘skin, bark’. For some PNs, the m suffix *-ne* is retained, providing a second indicator of gender difference. For example:

(10) proto-Arawá **jipho-ni*/*jipho-ne* > Jarawara *jifi/jifo-ne* ‘firewood, fire’.

(b) Final -a-ni > -e

Examples from the correspondence sets given above are (2) **atha-ni* > *ate* ‘forehead’, (3) **ama-ni* > *ame* ‘blood’ and (4) **kona-ni* > *kone* ‘hair’.

The interesting point is that a word-final *-e* formed by the change *-a-ni* > *-e* does not engender assimilation of a preceding *a* to *e*. For the m form of ‘forehead’ we had **ata-ne* > *ete-ne* > *ete*. but, following the creation of final *e* in the f form (by change *ata-ni* > *ate*) we do *not* get the further change *ate* > *ete*. That is, the assimilatory change *a* > *e* / *-e* (which applied to m forms) must have been completed before the change *-a-ni* > *-e* in f forms.

As a result, f and m forms of the PN may be distinguished by the vowel(s) in the non-final syllable(s), *ate/ete*. A further example is:

(11) proto-Arawá **abatha-ni*/*abatha-ne* > Jarawara *abate/ebete* ‘cheek, tongue’

Here all three *a*’s in the root have assimilated to *e* under the influence of m suffix *-ne*, before this was dropped.

If the vowel in the penultimate syllable was not *a*, then f and m forms fall together (unless the m form retains suffix *-ne*). This is shown by (4) **kona-ni*/*kona-ne* > *kone/kone* ‘hair’.

(c) Final -i-ni > -i

After a root ending in *i*, the f suffix *-ni* is simply omitted in Jarawara, without any phonological change indicating that there was an original *-ni* (as has happened for roots ending in *-o* and *-a*). If *-ne* has been dropped from the m form, then the gender distinction is lost, as seen in (5) *tati/tati* ‘head’.

(d) Final -e-ni > -e

After a root ending in *e*, the f suffix *-ni* is once more simply omitted in Jarawara, without any phonological change indicating that there was an original *-ni*. However, if the penultimate vowel in the root was *a*, then this will have assimilated to *e* in the m form, creating a vowel differentiation in the penultimate syllable. There is in the corpus one instance of this:

(12) proto-Arawá **ade-ni*/*ade-ne* > Jarawara *ate/ete* ‘trunk stalk’

Compare this with the PN mentioned above:

(2) proto-Arawá **atha-ni*/*atha-ne* > Jarawara *ate/ete* ‘forehead’

Since both **d* and **th* have become *t* in Jarawara, we find that the PNs ‘trunk. stalk’ and ‘forehead’ have fallen together as homonyms.

However, if the penultimate vowel was not *a* (and if *-ne* has been dropped from the m form), then the gender distinction is lost, as seen in (7) *mowe/mowe* ‘blossom’.

5. Loss of gender contrast due to phonological change in simple PNs

In summary, we find, for simple PNs:

(i) Gender contrast has been retained when one or more of the following applied:

- Root ended in *o* (30 PNs, 10 of these also retaining m suffix *-ne*)
- Root ended in *a* or *e*, and penultimate vowel was *a* (21 PNs, 9 also with *-ne*)
- Suffix *-ne* was retained on m form (14 PNs, in addition to those just mentioned)

(ii) Gender contrast has been lost when

- Suffix *-ne* has been dropped from m form, and one of the following applied:

Root ended in *i* (25 PNs)

Root ended in *a* or *e* and penultimate vowel was not *a* (10 PNs)

(Note that this discussion has been simplified in one quite minor detail — PNs in the three dialects of the Madi family have undergone different phonological changes depending on whether or not the last consonant in the root is *h*. Full details are in Dixon [1995: 277—8, 2004a: 319—20]).

6. Other losses of gender contrast in simple PNs

Seven simple PNs appear to have lost the original gender distinction not due to any phonological change, but just by generalising the original m form to be used also for f.

Consider the PN ‘exchange, price’ which has different forms in the Kulina and Dení dialects of the Kulina-Dení language, and in the Jamamadí, Jarawara and Banawá dialects of the Madi language:

(13)	Dení dialect	<i>manako-ni/manako-ne</i>
	Kulina dialect	<i>manako-ni/manako</i>
	Jamamadí dialect	<i>manaki/manako-ne</i>
	Jarawara and Banawá dialects	<i>manako-ne/manako-ne</i>

It appears that Dení has retained the proto-Arawá forms, **manako-ni/manako-ne*. Kulina has dropped m suffix *-ne*. In Jamamadí the f form has undergone regular change

manako-ni > *manaki*. And in Jarawara and Banawá, the m form *manako-ne* has been generalised to both genders.

The original form can also be reconstructed for:

(14) proto-Arawá **tanikho-ni*/**tanikho-ne* > Jarawara *tanakone/tanakone* ‘sweat’

The others consist of three or more syllables and end in *-ne*, suggesting a similar path of development — for example, *atahone/atahone* ‘pus, sap’ may well go back to an original **ataho-ni*/**ataho-ne* and *tamine/tamine* ‘news about; to’ **tami-ni*/**tami-ne*.

In addition, there are three PNs with irregular forms; see Dixon [2004a: 323].

7. Lack of gender contrast in derived PNs

A number of PNs are plainly derived from verbs, free nouns and adjectives [Dixon 2004a: 317, 321—5, 532]. For example

(15)	verb	<i>-sina-</i>	have strong taste	PN	<i>sinari/sinari</i>	strong-tasting
(16)	verb	<i>-siri-</i>	be cold	PN	<i>siririne/siririne</i>	coldness
(17)	noun	<i>atabo</i>	clay	PN	<i>atabori/atabori</i>	clay of
(18)	noun	<i>siki</i>	sand	PN	<i>sikirine/sikirine</i>	sand of
(19)	adjective	<i>botee</i>	old	PN	<i>boteri/boteri</i>	oldness, ancestor

All derived PNs include *-ri-*, and some also have *-ne*. One would expect that in Jarawara the f form would end in *-ri* and the m form in *-ri-ne*. In fact, all PNs have identical f and m forms. There are 57 ending in *-ri* — as in (15), (17) and (19) — and eight ending in *-rine*, as in (16) and (18). For the first set the f form, and for the second set the m form, has been generalised to apply for both genders. I can perceive no reason underlying the assignment of *-ri/-ri* to some and of *-rine/-rine* to others.

My corpus includes 65 PNs which end in *-ri/-ri* or *-rine/-rine*, in each instance added to a root of two or more syllables. For only some of this can an original verb, free noun or adjective origin be identified (and only a few have cognates in other Arawá languages). But from their forms, all 65 may tentatively be classed as derived PNs. The notable feature is that every one lacks a gender distinction, having the same form (ending in either *-ri* or *-rine*), whether functioning as modifier to an f or to an m free noun.

There are cognates in other Arawá languages for just a few of the derived (or assumed to be derived) PNs. For example:

(20)	Dení dialect	<i>washabori-ni/washabori</i>	‘lungs’
	Jarawara dialect	<i>hasabori/hasabori</i>	
	Banawá dialect	<i>wasabori/wasabori</i>	

It can be seen that Dení includes *f*-*ni* and *m* \emptyset (zero) after the putative derivational suffix *-ri*. As usual, the *-ni* has been silently dropped in Jarawara and Banawá (and Jarawara has undergone the additional change in this one word, initial *w* > *h*).

8. Summary

In the other well-described Arawá languages, Paumarí and Kulina-Dení, every possessed noun has distinct *f* and *m* forms, through the retention of *f* suffix *-ni* (contrasting with either *-ne* or zero on the *m* form).

In contrast, Jarawara has distinct *f* and *m* forms for only 37% of the 175 PNs in my corpus. All derived or apparently derived PNs — which do have a low frequency of occurrence — lack a gender contrast. Of the 110 simple PNs, 65 (59%) maintain distinct *f* and *m* forms. The remainder have neutralised the gender contrast either through phonological change or else simply by generalising one form to be used in both genders.

It is likely that — as time goes by — further neutralisations will occur, until the gender distinction comes to be lost from the whole class of PNs in Jarawara.

REFERENCES

- Dixon 1995 — *Dixon R. M. W.* Fusional development of gender marking in Arawá possessed nouns // *International Journal of American Linguistics*. 1995. 61. P. 263—294.
- Dixon 2004a — *Dixon R. M. W.* The Jarawara language of southern Amazonia. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Dixon 2004b — *Dixon R. M. W.* Proto-Arawá phonology // *Anthropological Linguistics*. 2004. 46. P. 1—83.

TYPOLOGICAL PLAUSIBILITY AND HISTORICAL RECONSTRUCTION: A PUZZLE FROM NEW GUINEA

Analyzing a previously undescribed language is fraught with difficulties. If a language has numerous homonymous forms, a linguist might try and establish connections between these, based on what is judged typologically plausible. Comparative evidence from related languages can also be handy. Typological studies help comparative linguistics; and comparative linguistics may suggest hints as to which typological analogy to follow (see: Ivanov 1988: 17; Ivanov, Gamkrelidze 1984; Dixon 1997).

But typological plausibility may turn out to be ephemeral, if historical facts revealed through a careful reconstruction uncover a different scenario. Here I focus on an example from Manambu, a previously undescribed Non-Austronesian ('Papuan') language from the Ndu family in the Sepik area of New Guinea, 'the last unknown'¹. This case study is dedicated to Vjacheslav Vsevolodovich, my role model in linguistics, to whom I owe most of my background in both typology and historical linguistics.

1. Manambu: a background

Manambu is one of the six languages from the Ndu language family — the largest family in the Sepik area of New Guinea in terms of numbers of speakers². Manambu

¹ This paper is based on over 12 years of original fieldwork on Manambu, and comparative work on other Ndu languages. I am grateful to R. M. W. Dixon for carefully reading this paper and providing invaluable comments. Thanks are due to my Manambu teachers, from the villages of Avatip and Malu, and to René van den Berg, Jim Farr and the late Cindi Farr for allowing me access to the materials on Ndu languages in the archives of the SIL, in Ukarumpa.

Abbreviations are: 1 — first person, 2 — second person, 3 — third person, ASS. NSG — associate non-singular, du — dual, masc — masculine, pl — plural, sg — singular, SUBJ — subject.

² Ndu languages are spoken by well over 100,000 people and are spread along the course of the middle Sepik River and to the north of it [Aikhenvald 2004]. A preliminary grouping was established by Kirschbaum (1922) (who used the term *Tuo* language, after the term for 'man' in Boiken). Linguistic affinity between Abelam and Iatmul was acknowledged by [Loukotka 1957: 29]. The limits of the Ndu family were established by Laycock (1965), who renamed it using the word for 'man' in Iatmul and Manambu. Manambu is spoken by about 2500 people in five villages in East Sepik Province, Ambunti district (see: Aikhenvald 2008). Other languages are (1) Iatmul, a dialect continuum spoken by about 40–50,000 people (see: Staalsen 1975; Jendraschek (forthcoming)); (2) Yelogu or Kaunga with about

preserves a number of typical features of Ndu languages, among them two genders (masculine and feminine), three numbers (singular, dual and plural) and switch-reference marking on verbs. The language is predominantly suffixing and agglutinating, with just a few prefixes.

The Manambu people are known for their traditional warfare and tendency to expand their territories at the expense of other, non-Ndu speaking people. As a result of the substrata from such unrelated languages (whose speakers the Manambu had subjugated and subsequently absorbed: see: Aikhenvald 2008; 2009), the language is in many ways more complex than other Ndu languages. Manambu is also more innovative than its relatives: it has undergone a number of phonological mergers (in the sense of Trask (2000: 210)). The Proto-Ndu contrast of word-final voiceless stops (*p*, *t* and *k*), the nasal *n* and the rhotic *r* has been lost in Manambu, all five segments merging as *r*. As a result, Manambu has a high number of morphemes with a similar form. Some of these appear to be semantically linked. But their history is often different.

We now turn to one highly versatile form, used as a suffix and as a free pronoun.

2. One form, many meanings: the versatile (-)*bər*

The form (-)*bər* is highly frequent in Manambu. It is pronounced as [ʰbər] — like most languages of New Guinea, stops in Manambu are phonetically prenasalized. The free form *bər* combines the meaning of the second and third person dual personal pronoun:

Table 1. Personal pronouns in Manambu

PERSON/GENDER	SG	DU	PL
1 feminine/masculine	<i>wun</i>	<i>an</i>	<i>ñan</i>
2 feminine	<i>ñən</i>	<i>bər</i>	<i>gwur</i>
2 masculine	<i>mən</i>		<i>dəy</i>
3 feminine	<i>lə</i>		
3 masculine	<i>də</i>		

Personal pronouns are optional, and are typically used only for emphasis and disambiguation. This is the case in many languages of the world with obligatory cross-referencing of person, number and gender on the verb.

Third person pronouns also appear as markers of agreement on adjectives and demonstratives, as shown in Table 2 (which features the adjective *numa* ‘big’). The plural agreement form *-di* is a contraction of the third person plural pronoun *dəy*.

200 speakers (also see: Laycock 1965); (3) Gala, or Ngala, spoken by about 150 people; (4) Abelam-Wosera, a dialect continuum with over 40,000 speakers, also known as Ambulas (see: Wendel 1993: 1–5; Wilson 1980); (5) Boiken (also known as Boikin, Nucum, Yangoru and Yengoru) spoken by over 30,000 people [Freudenburg 1976; 1979].

Table 2. Agreement markers used with *numa* 'big'

SINGULAR		DUAL	PLURAL
FEMININE	MASCULINE		
<i>numa-l</i>	<i>numa-d</i>	<i>numa-bər</i>	<i>numa-di</i>

Table 3 features subject markers on verbs³. These are transparently related to the personal pronouns (and presumably, have recently grammaticalized as bound morphemes).

The subject markers are easily segmentable. Singular markers consist of gender marker (feminine *-l(ə)-* or masculine *-d(ə)-*) followed by the form identical to the corresponding personal pronoun (Table 1). Non-singular markers are more complex. Some consist of the exponent of number followed by a form identical, or similar, to the corresponding personal pronoun: for instance, first person dual *-bər-an* can be analysed as consisting of the exponent of dual *-bər* and *-an* 'first person dual' (the form which appears in Table 1). The first person plural *-di-an* can be analyzed as containing *-di-* 'plural' and *-an*.

The second person plural marker *-di-gwur* contains *di-* as an exponent of plural and *gwur* 'second person plural', the form which also occurs in Table 1, as an independent pronoun. By analogy, the second person dual marker *-bər-bər* can be analyzed as containing *-bər-* 'dual' (as in 1 dual *-bər-an*) and *-bər* 'second person dual' (cf. Table 1).

Table 3. Subject markers on verbs

PERSON/GENDER	SG	Du	PL
1 feminine	<i>-l-wun</i>	<i>-bər-an</i>	<i>-di-an</i>
1 masculine	<i>-də-wun</i>		
2 feminine	<i>-lə-ñən</i>	<i>-bər-bər</i>	<i>-di-gwur</i>
2 masculine	<i>-də-mən</i>		
3 feminine	<i>-l</i>	<i>-bər</i>	<i>-di</i>
3 masculine	<i>-d</i>		

The suffix *-bər* (in bold face throughout the paper) is used in the following contexts.

(A) The suffix *-bər* marks dual number agreement on some adjectives and demonstratives as modifiers, as in (1):

- (1) **a-bər** **numa-bər** ta:kw
 that-du big-du woman
 'those two big women'

Note that dual number is not marked on the noun itself (this is a typical feature of Ndu languages).

³ These morphemes can also mark non-subject participants; see: Chapter 3 of Aikhenvald (2008) on grammatical relations in Manambu in typological perspective, and for a full paradigm of forms.

(B) The suffix *-bər* marks third person dual subject on the verb (see Table 3):

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| (2) | ta:kw | kra- bər |
| | woman | take-3duSUBJ |
| | '(They two) got married' (lit. took woman) | |

(C) The suffix *-bər* participates in marking dual number of the subject on the verb (see Table 3), as part of first person dual subject marker *-bər-an* and as part of second person dual subject marker *-bər-bər*. An example is in (3).

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| (3) | ta:kw | kra- bərbər |
| | woman | take-2duSUBJ |
| | '(You two) got married' (lit. took woman) | |

(D) The suffix *-bər* marks plural on a few kinship terms, e.g. *asa:y* 'father', *asa:y-bər* 'fathers, classificatory fathers, men of generation of one's father', *awa:y* 'maternal uncle', *awa:y-bər* 'maternal uncles'. That these forms have plural referents is corroborated by the plural agreement on verbs and other modifiers:

- | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------|--------------|
| (4) | a-di | awa:y- bər | ata | ya-di |
| | that-pl | maternal.uncle-pl | then | come-3plSUBJ |
| | 'Then those maternal uncles came' | | | |

Using dual agreement form on the demonstrative 'that' or on the verb would result in an ungrammatical sentence.

(E) The suffix *-bər* marks associative non-singular, with the meaning of 'X and associate(s)' (cf. English *The Smiths*). This meaning only surfaces when the suffix is used with personal names (see Moravcsik 2003, for a typological overview of associative plurals), e.g. *Leo-bər* 'Leo and his associates (e.g. friends, family, etc.)', *Gemajə-bər* 'Gemaj (female name) and her associates'. An associative in Manambu may refer to two people, as in (5) (where *Leo-bər* referred to Leo and one of his children):

- | | | | |
|-----|---|------|----------------|
| (5) | Leo- bər | ata | ya- bər |
| | Leo-ASS.NSG | then | come-3duSUBJ |
| | 'Leo and his child (them two) are coming' | | |

Or it may refer to more than two people — (6) describes Leo arriving with his wife and several children:

- | | | | |
|-----|---|------|--------------|
| (6) | Leo- bər | ata | ya-di |
| | Leo-ASS.NSG | then | come-3plSUBJ |
| | 'Leo and his associates (wife and children: many of them) are coming' | | |

Table 4 summarizes the meanings of the versatile morpheme *(-)bər* as a free and as a bound morpheme.

Table 4. The meanings of (-)b̄ar in Manambu

FORM		MEANING
FREE		(i) second person dual 'you two': Table 1 (ii) third person dual 'they two': Table 1
BOUND	on modifier	(iii) dual number agreement marker on modifiers: (A), (1), Table 2
	on verb	(iv) third person dual number subject agreement marker: (B), (2) (v) dual number exponent within first person dual subject agreement marker: (C), Table 3 (vi) dual number exponent of second person dual subject agreement marker: (C), (3)
	on noun	(vii) plural on some kinship and other nouns: (D), (4) (viii) associative non-singular (dual or plural) on personal names: (E), (5-6)

These eight meanings of (-)b̄ar cover:

- dual number marker: meanings (iii), (v) and (vi);
- portmanteau morpheme with the meaning of third person and dual: meanings (ii) and (iv); and of second person and dual: meaning (i);
- plural number marker: meaning (vii);
- associative non-singular number marker: meaning (viii).

3. The meanings of (-)b̄ar: typological plausibility versus historical development

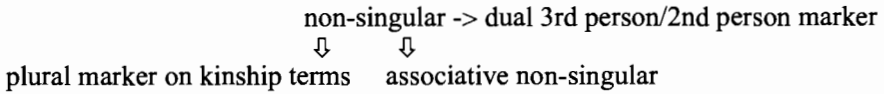
The four groups of meanings of the morpheme (-)b̄ar (see Table 4) appear to be intertwined. An inventive analyst could invoke the widespread polysemy of 2nd and 3rd person dual marking in New Guinea languages (and elsewhere) (see: Dixon 2009; Bhat 2004; Foley 1986). This would account for a link between meanings (i), (ii) and (iv).

Third person non-singular markers and pronouns often develop into exponents of a non-singular number. This has happened in Manambu — Table 2 illustrates that a third person plural pronoun has developed into a plural agreement marker on modifiers. This development accounts for a putative link between (ii) and (vii).

Non-singular marking on a personal noun often has an associative reading, as it does in English (e. g. *The Smiths*, understood as 'Smith and his associates', rather than '?many Smiths': see: Moravcsik 2003). And it is well known that nouns with high animate and human referents are more likely to be overtly marked for plural than nouns of other groups (see: Smith-Stark 1974; Stebbins 1997; Aikhenvald 2000). That is, (vii) and (viii) can be plausibly seen as two sides of one coin.

One can thus establish the following semantic chain of Manambu-internal development for a putative 'non-singular' suffix -b̄ar:

Scheme 1. Putative links between various meanings of Manambu (-)bər



That is, synchronically, (-)bər can be viewed as one morpheme with a general meaning of ‘non-singular’.

However, comparison with other Ndu languages and subsequent reconstruction tell us a different story. Proto-Ndu had three formally and semantically different morphemes, each of which gave (-)bər in Manambu as a result of a phonological merger of word-final voiceless stops, dental nasal and rhotic mentioned in § 1. (Further discussion of phonological correspondences between Manambu and Proto-Ndu is in Aikhenvald (forthcoming)).

These Proto-Ndu morphemes are as follows:

(A) Proto-Ndu *bən(e) ‘second person dual’, attested in Wosera *beni*, Abelam *béné*, Gala *ben* (see: Chapter 22 of Aikhenvald 2008; some forms are also in Laycock 1965: 152), Iatmul *bit* Staalsen, Staalsen 1973, *bi’k* (Jendraschek p. c.), Boiken *ple* Freudenburg 1979, Manambu *bər* ‘second person dual’. (Note that Manambu *gwur* ‘2pl’ corresponds to Wosera, Abelam *guni*, *guné*, Gala *gun*, Iatmul *guk*, Boiken *kle*, from Proto-Ndu *gun(e)).

The morpheme *bən(e) ‘second person dual’ could be further analyzed into *-bə- ‘dual’ and *-n(e) ‘second person’. Along similar lines, *gun(e) ‘second person plural’ could be analyzed as *-gu- ‘plural’ and *-n(e) ‘second person’. The morpheme -gu ‘plural’ is found in restricted contexts, in Manambu -Vgw (see: Chapter 6 of Aikhenvald 2008), and also in Wosera -(n)gu, Abelam -gu (Wilson 1980: 46), where it is restricted to kinship nouns.

This analysis presupposes that number marking is followed by person marking. This is indeed the case in Ndu, as can be seen from Manambu cross-referencing markers -də-wun (-masc.sg-1sg) ‘first person singular masculine subject’, or -di-gwur (-pl-2pl) ‘second person plural subject’ (see Table 3, and discussion in § 2). The morpheme *bəd ‘third person dual’ can be analyzed as consisting of *-be ‘dual’ and *-d ‘third person’.

(B) Proto-Ndu *bəd ‘third person dual’, attested in Abelam *bét*, Wosera *ber* (also see Laycock (1965: 152), Gala *bəl*, Iatmul *bit* (Staalsen and Staalsen 1973), *bik* (Jendraschek p. c.), Boiken *ple* (Freudenburg and Freudenburg 1979), Manambu -bər ‘third person dual independent pronoun and bound pronoun; dual agreement marker’. Note that the syncretism of second and third person in dual forms is found in Iatmul, Manambu and also in Boiken.

(C) Proto-Ndu *-bere ‘plural’, attested in Abelam *béré* ‘pluralizer, associative plural marker’ [Wilson 1980: 36], e. g. *du béré taakwa béré* (man PL woman PL) ‘men (and) women’ (Kundama, Sapayé and Wilson 2006: 14). In its meaning of associative plural, this marker appears to occur on personal names (e. g. *Warétarat béré* ‘Waretarat and his

associates' [Ibid.]). This marker also survives in irregular plural marker *mbri* in West Wosera ([Wendel 1993: 57—58]: the few examples given there are with kinship terms, e.g. *yapa* 'father', *yapa-mbri* 'fathers'). It is related to Manambu *-bər* 'plural marker with kinship terms', and also to the associative plural marker *-bər*.

The use of **-bere* as a plural marker and associative plural with personal names is a feature shared by Manambu and Abelam-Wosera. Associative plural is absent from other languages of the Ndu family. Yessan-Mayo, a language from Tama family, not genetically related to Manambu but in contact with it, also has an associative plural marker employed with kinship nouns and personal names *-nager*, e. g. *Kwudin-nager* 'Kwudin and her associates' (Foreman 1980: 30). As suggested in Aikhenvald (2009), this structural parallel between Yessan-Mayo and Manambu is among the features indicative of the mutual impact of language contact.

Table 5 summarizes the historical developments from the Proto-Ndu forms (A) — (C) to Manambu *(-)bər* and their varied meanings.

Table 5. From Proto-Ndu to Manambu *(-)bər*

Proto-Ndu form and its meaning	Meanings of Manambu <i>(-)bər</i>
(A) <i>*bən(e)</i> 'second person dual'	(i) second person dual 'you two'
(B) <i>*bəd</i> 'third person dual'	(ii) third person dual 'they two' (iii) dual number agreement marker on modifiers (iv) third person dual number subject agreement marker (v) dual number exponent within first person dual subject agreement marker (vi) dual number exponent within second person dual subject agreement marker
(C) <i>*-bere</i> 'plural'	(vii) plural on some kinship and other nouns (viii) associative non-singular (dual or plural) on personal names

(A) accounts for the meaning (i); while (B) underlies the meanings (ii)—(vi) and (C) is the basis for (vii) and (viii). The development of (B) suggests that a third person dual subject agreement marker arose from a free pronoun. Another Manambu-internal development involves reinterpreting a third person dual pronoun as a dual agreement marker (from (ii) to (iii), (v) and (vi)) — which is a highly common path.

4. Typological plausibility versus reconstructed history

The versatile form *(-)bər* in Manambu can be synchronically described as one polysemous morpheme, with the central meaning of 'non-singular'. Each extension of the morpheme is typologically plausible. However, comparison with related languages

shows that this analysis is spurious, from a historical perspective. This one form came about as a result of a phonological merger of three different Proto-Ndu morphemes. That the meanings of the erstwhile ancestors of the Manambu (-)bər are intertwined to an extent of being relatable to one another can be described as a semantic merger.

This is an example of how a diachronic analysis can provide additional perspective for solving synchronic conundrums in a language with pervasive polysemy and homonymy of forms. Historical reconstruction provides an ultimate proof for the limits of typological plausibility — or a typologist's imagination.

A final word is in order. The extreme genetic diversity among the non-Austronesian (or Papuan) languages in New Guinea, with numerous families interspersed with isolates, remains a puzzle for comparative linguists. The Sepik River Basin (which includes East Sepik and Sandaun Provinces) is the most complex linguistic area within New Guinea. The Sepik River Basin displays cultural as well as linguistic diversity and fragmentation, perhaps more so than any other area of New Guinea. Reasons for this include geographic diversity, inaccessible terrains, patterns of language contact and language attitudes (see: Aikhenvald 2004; Aikhenvald, Stebbins 2007), and also frequent migrations in search of further hunting and fishing grounds and sago fields. The average size of language communities is significantly lower than in the New Guinea Highlands. The area boasts about 200 languages, an extreme language density unparalleled anywhere else in the world.

A case study like this one is only possible for a language with established genetic relatives. In this way, Manambu is a lucky language. Only further descriptive and comparative studies will help solve similar puzzles for other languages in the Sepik domain.

REFERENCES

- Aikhenvald 2000 — *Aikhenvald A. Y.* Classifiers: a typology of noun categorization devices. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Aikhenvald 2004 — *Aikhenvald A. Y.* Language endangerment in the Sepik area of Papua New Guinea // *Lectures on Endangered Languages: 5 — From Tokyo and Kyoto Conferences, 2002* / Ed. by *O. Sakiyama, F. Endo*. The project «Endangered languages of the Pacific Rim». Suita; Osaka: ELPR, 2004. P. 97—142.
- Aikhenvald 2008 — *Aikhenvald A. Y.* The Manambu language from East Sepik, Papua New Guinea. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Aikhenvald (2009) — *Aikhenvald A. Y.* Language contact along the Sepik, Papua New Guinea. // *Antropological Linguistics*. 2009. № 50. P. 1—66.
- Aikhenvald (forthcoming) — *Aikhenvald A. Y.* Proto-Ndu: a reconstruction. (Forthcoming.)
- Aikhenvald, Stebbins 2007 — *Aikhenvald A. Y., Stebbins T. N.* Languages of Papua New Guinea // *Vanishing Languages of the Pacific* / Ed. by *M. Krauss, O. Miyaoaka*. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 239—66.
- Bhat 2004 — *Bhat D. N. S.* Pronouns: a cross-linguistic study. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Dixon 1997 — *Dixon R. M. W.* The rise and fall of languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

- Dixon (2010) — *Dixon R. M. W.* Basic Linguistic Theory. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Foley 1986 — *Foley W. A.* The Papuan languages of New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Foreman 1980 — *Foreman V. M.* Grammar of Yessan-Mayo // Language data. Asian-Pacific Series № 4. Santa Ana; California: Summer Institute of Linguistics, 1980.
- Freudenburg 1976 — *Freudenburg A.* The dialects of Boiken // *Loving R.* (ed.). Surveys in five Papua New Guinea Languages (Workpapers in Papua New Guinea languages, 16). Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics, 1976. P. 80—90
- Freudenburg 1979 — *Freudenburg A.* Grammar Sketch. Boiken Language. Yangoru Dialect. Ms. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics, 1979.
- Ivanov 1988 — *Ivanov V. V.* Lingvističeskij putj Romana Jakobsona // *Jakobson R.* Izbrannye raboty. M.: Progress, 1988. P. 5—29.
- Ivanov, Gamkrelidze 1984 — *Ivanov V. V., Gamkrelidze T. V.* The Indoeuropean language and Indoeuropeans. Tbilisi: Tbilisi University Press, 1984.
- Jendraschek (forthcoming) — *Jendraschek G.* A grammar of Iatmul. (Forthcoming.)
- Kirschbaum 1922 — *Kirschbaum F.* Sprachen- und Kulturgruppierungen in Deutsch-Neuguinea // *Anthropos*. 1922. 16/17. P. 1052—1053.
- Kundama, Sapayé and Wilson 2006 — *Kundama J., Sapayé A., Wilson P. R.* Ambulas dictionary. Ms., 2006.
- Laycock 1965 — *Laycock D. C.* The Ndu Language Family (Sepik District, New Guinea). Canberra: Linguistic Circle of Canberra Publications, 1965.
- Loukotka 1957 — *Loukotka Ch.* Classification des langues papoues. *Lingua Posnaniensis*. T. VI. Nadbítka. 1957.
- Moravcsik 2003 — *Moravcsik E.* A semantic analysis of associative plurals // *Studies in Language*. 2003. 27. P. 469—503.
- Smith-Stark 1974 — *Smith-Stark S.* The plurality split // *Papers from the Annual Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society*. 1974. 10. P. 657—671.
- Stebbins 1997 — *Stebbins T. N.* Asymmetrical nominal number marking: a functional account // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. 1997. 50. P. 5—47.
- Staalsen 1975 — *Staalsen P.* The Languages of the Sawos region. (New Guinea) // *Anthropos*. 1975. 70. P. 6—16.
- Staalsen and Staalsen 1973 — *Staalsen P., Staalsen L.* Iatmul-English dictionary. Ms. Ukarumpa, 1973.
- Trask 2000 — *Trask R. L.* The dictionary of historical and comparative linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.
- Wendel 1993 — *Wendel T. D.* A Preliminary Grammar of Hanga Hundi. MA thesis. University of Texas at Arlington, 1993.
- Wilson 1980 — *Wilson P. R.* Ambulas Grammar. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics, 1980.

W. R. Schmalstieg

SOME COMMON FUNCTIONS OF THE DATIVE, ACCUSATIVE, AND LOCATIVE CASES

I have proposed earlier that the attested Indo-European dative, accusative, instrumental and locative cases were originally not very clearly morphologically differentiated¹. As a typological example of the expression of what Indo-Europeanists might consider the use of a single case with multiple meanings (direct and indirect object) I would quote the Georgian example supplied by Gamkrelidze and Ivanov in their path-breaking work on Indo-European [1984: 286]. In Georgian the direct and indirect object (from the Indo-European point of view) can both be expressed by the same case (-s): *k'aci azlevs c'ign-s bavšvas* 'the man gives the book (*c'ign-s*) to the child (*bavšvas*).² In this paper I will focus primarily on the similarity of the functions of the Indo-European dative and accusative cases.

I hold the view that the Indo-European case endings derive primarily from the addition of particles with locative meaning to stems of various kinds. The meanings of these particles were not very clearly defined and the resulting cases only came to have relatively clear separate meanings in the course of time. I have written elsewhere [Schmalstieg 2000: passim.; 2004: 5—8] that for the *-o stem nouns and adjectives in Balto-Slavic there is evidence of an etymological particle *-m(-) in the dative, accusative, instrumental and locative singular. Expanding on my earlier view I would now say that in the Indo-European noun the functions of these cases derive from the assignment of different meanings to various sequences of the stem vowel plus the particles *(-)m(-) and/or *(-)i(-) and/or *(-)u(-) when attached to a root. The etymological identity of these cases is to be found in the fact that the same meaning can frequently be expressed by several cases, a phenomenon which Hopper [1991: 23] has characterized in the following way: 'The Principle of Layering refers to the prominent fact that very often more than one technique is available to serve similar or even identical functions. This formal diversity comes about because when a form or a set of forms emerges in a functional domain, it does not immediately (and may never) replace an already existing set of functionally equivalent forms, but rather that the two sets of forms co-exist.'³ Thus as the single etymological general oblique case was split into dative, accusative, instrumental, and locative cases, the old identity has left traces not only in the partial

¹ I should like to thank herewith Prof. P. Baldi for advice on Latin and Greek and Prof. V. Vasiliauskienė for advice on Lithuanian. Neither of these individuals should be held responsible for the views expressed or any errors in this paper.

similarity of the morphemic elements, but also in the fact that the several new cases deriving from the split of a single older case may continue to have the same or very similar functions.

Mažiulis [1970, 165, fn. 2] gives such Lithuanian examples as *šį kartą* (acc. sg.) *užteks* = *šiám kartui* (dat. sg.) *užteks* ‘that will be enough (for) this time’ (also possible would be *šiuo kartū* (instr. sg.) *užteks* according to my colleague Prof. V. Vasiliauskienė); *tą kartū* (acc. sg.) = *tuo kartū* (instr. sg.) ‘that time’, (note also LKŽ V 330: *tam kartė* (loc. sg.); *laūką (pievą)* (acc. sg.) *ėjo* = *laukiū (pieva)* (instr. sg.) *ėjo* ‘he went by way of the field (meadow).’

Mažvydas (edition of 1993: 96) wrote: *Leisket* (imperative) *bernelus* (acc. pl.) *manėspi eiti / ir nedrausket* (imperative) *anu* (negated gen. pl.). Mažvydas is apparently quoting Mark 10: 14 ‘Suffer the little children to come unto me, and forbid them not’ (King James translation). Father Rubšys [(1998: 1620)] translates the same passage as: *Leiskite mažutėliams* (dat. pl.) *ateiti pas mane ir netrukdykite*. Similarly the Bible Society has: *Leiskite vaikams* (dat. pl.) *eiti pas mane, neginkite jiems* (dat. pl.). Perhaps for the verbal government of *Leisket* (acc. pl.) Mažvydas was influenced partially by the German translation: *Lasset die Kindlein* (acc. pl.) *zu mir kommen*. But for the verbal government of *nedrausket* (gen. pl.) he could hardly have been influenced by German: *wehret ihnen* (dat. pl.!) *nicht*. Another possibility is, of course, that Mažvydas was influenced by the Vulgate: *Sinite parvulos* (acc. pl.) *venire ad me, et ne prohibueritis eos* (acc. pl.). In any case, Mažvydas uses the direct object cases accusative and (negated) genitive plural in contrast to the contemporary dative case usage.

For the verb *tikėti* ‘to believe’ Mažvydas uses either dative or accusative government without apparent difference in meaning. With dative government we encounter (edition of 1993: 431, 19): *Kursai...Dieva mijletu ir ijem* (dat. sg.) *tijkietu* ‘who... would love God and believe in him’; or accusative government (edition of 1993: 22, 10): *Tikiu greku atleidima* (acc. sg.) ‘I believe in the remission of sins.’ Note that Ostermeyer’s grammar (1791: 154 apud LKŽ XVI 234) has *Tikiu Dievą* (acc. sg.), *Dievui* (dat. sg.) ‘I believe in God.’

Variation in case government is encountered elsewhere in the modern language also (LKŽ XVI 966): *Draudžiama trukdyti eismą* (acc.) *važiuojant labai lėtai* ‘it is forbidden to hinder the traffic (acc.) by driving very slowly’ vs. *Trukdyti transporto eismui* (dat.) *draudžiama* ‘it is forbidden to hinder the traffic (dat.).’

In answer to a recent question about the correct government of the verb *apskambinti* in the (new) meaning ‘to telephone around (to various people)’ Mataitytė [2007: 14–15] suggests that either a dative or an accusative object is acceptable, viz. either *apskambinti kam* (dat.) or *apskambinti ką* (acc.). In principle the verb *skambinti* ‘to telephone’ requires a dative object, but the prefix *ap-* with many (but not all) intransitive verbs can authorize an accusative object. Prof. V. Vasiliauskienė (personal communication) believes that soon the accusative case will take precedence over the dative which is only possible because of the unprefixated *skambinti* which requires dative government.

The verb *atitikti* in the meaning ‘to fit (into)’ can apparently govern either the dative or accusative case (LKŽ XVI 295): *Atitiks Jurgiu* (dat.) *kepurė* ‘the cap will fit Jurgis’ and *Atitiko kirvis kotą* (acc.) ‘the axe fit the handle’.

Although not always, frequently the appearance of the difference between accusative and dative morphemes has led to a differentiation in the interpretation of the verb depending on the case of the complement, e.g., *draūsti* with the dative case can now mean ‘to forbid, not to allow,’ but with the accusative case ‘to keep from, not to engage in’ (LKŽ II, 662): *Tėvai draūdžia vaikams* (dat. pl.) *eiti...* ‘The parents forbid the children to go...’ but *Drausk savo dukrą* (acc. sg.) *nuo blogų darbų* ‘Keep your daughter from bad deeds’.

As one can see from the discussion in Piročkinas [1986: 188], the correct use of the dative of purpose construction has not always been clear to native Lithuanians, who frequently needed grammatical correction. Jonas Jablonskis regularly replaced the accusative object of an infinitive with a dative, e.g., *Įsitaisęs buvo ir mašiną tuos linus* (acc. pl.) > *tiems linams* (dat. pl.) *minti* ‘He got for himself also a machine to break up the flax’; *Nusipirko lentų apmušti sienas* (acc. pl.) > *sienoms* (dat. pl.) *apmušti* ‘He bought himself some boards to cover the walls.’ But the need to correct such sentences is felt even today. Thus Urnėžiūtė [2007: 9] would correct the following phrases found in recent local newspapers: *priemonės, skirtas apsaugoti asmens duomenis* (acc. pl.) ‘means devoted to the protection of personal data’ > *asmens duomenims* (dat. pl.) *apsaugoti*; *Reikalingi siūvėjai siūti moteriškus švarkus, paltus* (acc. pl.) ‘tailors are needed to sew women’s jackets, coats’ > *moteriškiems švarkams, paltams* (dat. pl.) *siūti*. Thus even today the obligatory ‘correct’ use of the dative of purpose is not immediately evident to all native speakers of Lithuanian.

The dative case reflects an earlier, more semantic and less transitive understanding of the verb, whereas the more modern accusative case reflects the later, more syntactic understanding. In Latvian the expression *sist suni* (acc. sg.) means ‘to beat the dog’, whereas *sist sunim* (dat. sg.) means ‘to hit a dog once or a few times’ [Mühlenbach 1902/3: 222; Schmalstieg 2000: passim.].

According to Kryš’ko [1997: 147] in Russian texts from the 11th to the 14th centuries the vacillation between the accusative and dative cases is represented by many examples, sometimes even within a single verbal construction, *БЛАГОДАРИМЪ БОУ* (dat.)... *БЛАГОДАРИМЪ ОЦЯ* (gen.-acc.) *и СНА* (gen.-acc.) *и СТОУМОУ ДХОУ* (dat.) ‘we thank God (dat.)...we thank the Father (acc.), the Son (acc.) and the Holy Ghost (dat.)’; *ИСКАХОУ ЕПИФАНА ДА ИМЪ* (dat.) *БЛГОСЛОВИТЬ* ‘they wanted Epiphanius to bless them (dat.)’; *МОЛИ ЕПИФАНА ДА И* (acc.) *БЛГОСЛОВИТЬ* ‘he prayed Epiphanius to bless him (acc.)’ Verbs capable of either a dative or an acc. complement such as *БЛАГОДАРИТИ* ‘to thank’, *БЛАГОСЛОВИТИ* ‘to bless’, *ВРЪДИТИ* ‘to harm’, *НАСИЛИТИ* ‘to oppress’, *ПОХВАЛИТИ* ‘to praise’, *СОУДИТИ* ‘to judge’ etc. for the most part denote an emotional or a physical effect on a person, although four verbs denote perception, i. e., *ВЪНИМАТИ* ‘to pay attention to’, *ПОДРАЖАТИ* ‘to imitate’, *РАЗУМѢТИ* ‘to understand’, *СЪМОТРИТИ* ‘to look at’. In all of these instances the vacillation in the choice of the form of the object is conditioned by its

semantic role: indefiniteness, the impossibility of clarifying the degree to which the object is affected by the action of the verb and therefore the difficulty of establishing either the direct or indirect character of the object meaning [Krys'ko 1997: 149]. In modern Russian, however, one case wins out, usually the accusative, but sometimes the dative. In one case, as in Lithuanian and Latvian, use has been made between the differences in the cases to supply different meanings. The verb *удовлетворять* 'to satisfy' can govern either case with a different meaning assigned to each case, e.g., *Изделие удовлетворяет требованиям* (dat.) *стандарта* 'the article satisfies the demands (dat.) of the standard' (with the meaning 'corresponds to') as opposed to *Правительство далеко не всегда удовлетворяет требования* (acc.) *депутатов* 'the government does not by far always satisfy the demands (acc.) of the deputies' (with the meaning 'fulfills, carries out') [Krys'ko 1997: 150—155].

In the older Indo-European languages the goal of motion can be expressed by either the accusative or the dative, cf., e.g., Old Indic *grāmam* (acc.) *gacchati* vs. *grāmāya* (dat.) *gacchati* 'he goes to the village' [Delbrück 1893: 177]. Note also Lat. *tollitur in caelum* (acc. sg.) *clāmor* 'a shout is raised to heaven' (Virgil, Aeneid 11, 745) as well as Lat. *it clāmor caelō* (dat. sg.) 'the shout goes heavenward' (Virgil, Aeneid 5, 451). The evidence in historical Lithuanian for the dative as the object of goal of motion is small, but Ambrazas [2006: 247] remarks that in old writings the dative of purpose coincides with the final point of motion, e. g., *Tadda usztekeia iam* (dat. sg.) *Moseschus* 'Then Moses went out to him.'

Note the following dative of purpose construction from the Rig Veda (9.61.22) *sa pavaśva* [2nd sg. middle imperative] *ya avithendram* (= *avitha* [2d sg. perfect] + *Indram* [acc. sg.]) *vṛtrāya* (dat.) *hāntave* (dat. inf.) / *vavrivāmsam* (acc. sg. [!]) perfect participle) *mahīr apāh* (acc. pl.) 'Cleanse yourself, you who helped Indra to kill Vrtra, who damned up the great waters, Очищайся [же] ты, что помог Индре убить Вритру (acc.), Запрудившего ([gen.-]acc.) великие воды' [Елизаренкова 1999: 44]. Surprisingly, the Old Indic dative singular noun object is modified by an accusative singular participle, thereby showing the early semantic proximity of the dative and the accusative. In a similar sentence in contemporary Lithuanian, as in Russian, an accusative object would be used, viz. *...kas padėjo Indrai užmušti Vtrą* (acc.), *užtvėnkusi* (acc.) *didelius vandenius*.

Further evidence of the etymological similarity of meaning of the dative, locative and the accusative is also to be found in the fact that many verbal infinitives apparently derived from cases other than the accusative case can function as the direct object of verbs which would ordinarily govern the accusative case of the noun. See Schmalstieg [2004: 5—7].

According to Jeffers [1975: 147] '...all IE infinitives are the result of the re-interpretation of some derived abstract verbal noun formation.' Stang [1942: 97] writes that the Slavic infinitive is either the dative of a *ti-* or *t-* stem or the locative of a *ti-* stem. But many Slavic transitive verbs can govern a noun in the accusative case or an infinitive (reflecting an original dative or locative case). For example both Russian *любить музыку* (acc.) 'to love music' and *любить работать* (inf.) 'to love to work' are possible. Simi-

larly, the East Baltic infinitive could derive from *-*tei*, the dative case of a **ti*- stem or *t*- stem substantive or a consonant stem locative. In favor of the dative origin, according to Zinkevičius (1981: 164), is its possible use in such constructions as Lith. *vanduõ yrà gèrti* ‘water is to drink (for drinking).’ But many Lithuanian verbs can govern either a noun in the accusative case or an infinitive, e.g. *Tėvas myli sūnų* (acc.) ‘The father loves (his) son’ and *Jis myli pajuokaut* (inf.), *pašnekèt* (inf.) ‘he loves to joke, to talk a little bit’ (LKŽ VIII 188).

With regard to Latin Baldi [1999: 407] writes: ‘Infinitives are nominals formed from a verbal root through the addition of various case suffixes. They result from the reinterpretation as a verbal form of a derived abstract verbal noun formation... Prominent among the case suffixes found in infinitive formations are the accusative, the dative, and the locative... The present active is constructed from the stem of the imperfective and the marker *-se* < **-si* in which the final **-i* appears to be from an old consonantal locative in **-i*.’

Latin examples of verbs governing either the verbal infinitive or the accusative of the noun are: *Exire* (inf.) *ex urbe priusquam lucescat volo* ‘I want to leave the city before it becomes light’ (Plautus, *Amphitruo*, 1, 3, 35 apud [Lewis, Short 1879: 2004]); *voltisne olivas* (acc.), *aut pulmentum* (acc.), *aut capparim* (acc.) ‘Don’t you want olives, or relish or caper fruit?’ (Plautus, *Curculio*, 1, 1, 90 apud [Lewis, Short 1879: 2007]); *audire* (inf.) *cupio* ‘I want to hear’ (Cicero, *Oratio pro Caecina* 12, 33, apud [Lewis, Short 1879: 499]); *cupio omnia* (acc.) *quae vis* ‘I desire all that you wish’ (Horace, *Satirae*, 1, 9. 5 apud [Lewis, Short 1879: 499]).

The Greek infinitives in *-eiv* may derive from an endingless locative of a stem in **-sen-* (a combination of *s-* and *n-* stem) and those in *-vai* from an Indo-European dative ending **-ei* [Buck 1933: 304—305]. Note the examples of a finite verb governing either an infinitive or a noun in the accusative case: *βούληται ἐλθεῖν* (inf.) ‘he wishes to go’ [Goodwin, Gulick 1958: 316]; *Τρώεσσι δὲ ἐβούλετο νίκην* (acc.) ‘he willed victory to the Trojans’ (Iliad 7.21); *φιλέει ὁ θεὸς τὰ ὑπερέχοντα κολοῦειν* (inf.) ‘God likes to abase those who are exalted’ (Herodotus 7.10 apud Liddell and Scott 1976: 973); *μάλα τοὺς* (acc.) *γε φιλεῖ ἐκάεργος Ἀπόλλων* ‘right dearly doth Apollo, that worketh from afar, love them’ (Iliad 16.94; [Murray 1976: 171]).

The Rig Veda includes examples of the Old Indic verb *vaś-* (*uś-*) ‘to be eager’ governing either the accusative case of the noun or an infinitive of dative origin: (8, 1, 16) *adhā te vaśmi suṣṭutim* (acc.) ‘Therefore I wish you splendid praise, Поэтому я желаю тебе прекрасного восхваления’ [Елизаренкова 1995: 368]; (1, 154, 6) *tā vām vāstūny uśmasi gamadhyai* (dat. inf.) ‘We wish to go to these habitations of yours, Мы хотим отправиться в эти ваши обители’ [Елизаренкова 1989: 91].

As Hopper and Thompson [1980: 294] remark: ‘Transitivity is a global property of clauses, that it is a continuum along which various points cluster and tend strongly to co-occur...’. Therefore the occurrence of datives as verbal objects (infinitives) is merely evidence of an etymological lower transitivity, which was finally raised as these etymologically semantic dative forms came to denote the syntactic direct object.

REFERENCES

- Ambrasas 2006 — *Ambrasas V.* Lietuvių kalbos istorinė sintaksė. Vilnius, 2006.
- Baldi 1999 — *Baldi Ph.* The foundations of Latin. Berlin; New York, 1999. (Trends in linguistics, Studies and monographs. 117).
- Buck 1933 — *Buck C. D.* Comparative grammar of Greek and Latin. Chicago, 1933.
- Delbrück 1893 — *Delbrück B.* Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen I. Strassburg, 1893.
- Gamkrelidze, Ivanov 1984 — *Gamkrelidze T., Ivanov V.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
- Goodwin, Gulick 1958 — *Goodwin W. W., Gulick C. B.* Greek grammar. Waltham (Mass.); Toronto; London, 1958.
- Hopper 1991 — *Hopper P. J.* On some principles of grammaticization // *Traugott E. C., Heine B.* (eds.). Approaches to grammaticalization. V. I. Focus on theoretical and methodological issues. Amsterdam; Philadelphia, 1991. P. 17—35.
- Hopper, Thompson 1980 — *Hopper P. J., Thompson S. A.* Transitivity in grammar and discourse // *Language*. 1980. 56. P. 251—299.
- Jeffers 1975 — *Jeffers R. J.* Remarks on Indo-European infinitives // *Language*. 1975. 51. P. 133—148.
- Krys'ko 1997 — *Krys'ko V.* Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. М., 1997.
- Lewis, Short 1879 — *Lewis C. T., Short C.* A Latin dictionary. Oxford, 1879.
- Liddell, Scott 1968 — *Liddell H. G., Scott R.* A Greek-English lexicon. Oxford, 1968.
- LKŽ = Lietuvių kalbos žodynas I—XX (1968—2002). Vilnius.
- Mataitytė 2007 — *Mataitytė I.* Klausimų kraitelė, *Apskambinti kam ar ką?* // *Gimtoji kalba*. 2007, December. № 12. P. 14—15.
- Mažiulis 1970 — *Mažiulis V.* Baltų ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai (Deklinacija). Vilnius, 1970.
- Mühlenbach 1902/3 — *Mühlenbach K.* Über die vermeintlichen Genitive oder Ablative auf -û, -u im Lettischen // *Indogermanische Forschungen*. 1902/3. 13. P. 220—260.
- Murray 1976 — *Murray A. T.* Homer, the Iliad with an English translation. Cambridge (Mass.); London, 1976.
- Ostermeyer 1791 — *Ostermeyer G.* Neue Littauische Grammatik ans Licht gestellt von Gottfried Ostermeyer. Königsberg, 1791.
- Piročkinas 1986 — *Piročkinas A.* Jono Jablonskio kalbos taisymai. Kaunas, 1986.
- Елизаренкова 1989 — Ригведа, Мандалы I—IV. 1989 / Transl. T. Ja. Elizarenkova. М., 1989.
- Елизаренкова 1995 — Ригведа, Мандалы V—VIII. 1995 / Transl. T. Ja. Elizarenkova. М., 1995.
- Елизаренкова 1999 — Ригведа, Мандалы IX—X. 1999 / Transl. T. Ja. Elizarenkova. М., 1999.
- Rubšys 1998 — *Senasis ir naujasis testamentas. Šventasis raštas* / Transl. by A. Rubšys. Katalikų pasaulis Press, 1998.
- Schmalstieg 2000 — *Schmalstieg W. R.* Dative or accusative, a Latvian parallel to Indo-European. Aspekte baltistischer Forschung, Schriften des Instituts für Baltistik. Vol. 1. Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Ed. by J. D. Range. Essen, 2000. P. 291—300.
- Schmalstieg 2004 — *Schmalstieg W. R.* The common origin of the *-o stem dative, accusative and instrumental cases // *Baltistica*. 2004. 39(1). P. 5—11.
- Stang 1942 — *Stang Ch. S.* Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942.

- Urnėžiūtė 2007 — *Urnėžiūtė R.* Ką parodė Kalbos švaros dienos: laikraščių kalba (I) // *Gimtoji kalba*. 2007, December, Nr. 12. P. 6—13.
- Zinkevičius 1981 — *Zinkevičius Z.* Lietuvių kalbos istorinė gramatika 2. Vilnius, 1981.

И НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО: ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПАДЕЖА С ДРУГИМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ КАТЕГОРИЯМИ

*1. Теория маркированности и нейтрализация в грамматике**

Понятие маркированности — одно из наиболее общепринятых и «уважаемых» в лингвистике (см., однако, критическую статью [Haspelmath 2006]), в особенности в типологии, где оно используется в качестве одного из основных объяснительных механизмов (ср. хотя бы: [Croft 1990; Givón 1995]). «Классическая» теория маркированности в морфосинтаксисе обязана своим существованием Р. О. Якобсону [Якобсон 1985/1932; 1985/1936], а к данным типологии ее впервые применил Дж. Гринберг [Greenberg 1966]¹. Обращаться более подробно к истории этого понятия, впервые возникшего в фонологии, и разнообразным его применениям здесь не место; хороший обзор свойств маркированных и немаркированных языковых единиц приводится в книге [Мельчук 1998: 26—27].

Понятие маркированности играет важную роль в теории нейтрализации (это понятие также проникло в морфосинтаксис из фонологии), т. е. устранения противопоставления между языковыми единицами в контексте какой-либо другой языковой единицы². Тривиальный случай морфосинтаксической нейтрализации — отсутствие категории рода во множественном числе у прилагательных и форм прошедшего времени глаголов в русском языке; здесь род является нейтрализующейся категорией, а число, в контексте одного из значений которого происходит нейтрализация, — доминантной категорией (терминология из [Hjelmslev 1935—1937]).

В качестве объяснительной теории нейтрализации был предложен следующий принцип минимизации маркированности: нейтрализация возможна в тех случаях, когда она служит снижению маркированности результирующей структуры, ср. формулировку из работы [Bierwisch 1967: 254; перевод мой]:

* Данная работа выполнена при частичной поддержке Фонда содействия отечественной науке и Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Текст во взаимодействии с социокультурной средой: уровни историко-литературной и лингвистической интерпретации».

¹ Если не считать интересного, но не оказавшего большого влияния труда [Hjelmslev 1935—1937].

² О типологии нейтрализации или, иначе, синкретизма, морфологических категорий см. недавнюю коллективную монографию [Vaerman et al. 2005].

Некоторое противопоставление (...) нейтрализуется либо только в контексте маркированного значения признака, либо в контексте и маркированного, и немаркированного значений, но никогда только в контексте немаркированного значения.

Вкупе с предположениями о том, какие значения каких грамматических признаков являются маркированными, а какие немаркированными (например, у категории числа немаркировано значение единственного числа в противоположность множественному и двойственному³; у категории падежа — именительного падежа в противоположность косвенным)⁴, данный принцип делает весьма четкие и проверяемые предсказания о том, какие типы нейтрализации грамматических противопоставлений возможны в языках мира, ср. таблицу 1.

Таблица 1. Предсказания принципа минимизации маркированности

Значение доминантной категории		
маркированное	немаркированное	
— нейтрализация	— нейтрализация	возможно
+ нейтрализация	— нейтрализация	возможно
+ нейтрализация	+ нейтрализация	возможно
— нейтрализация	+ нейтрализация	невозможно

Возвращаясь к приведенному выше примеру, принцип минимизации маркированности предсказывает, что нейтрализация рода запрещена в контексте единственного числа с сохранением противопоставления во множественном.

В настоящей статье я приведу ряд контрпримеров к принципу минимизации маркированности из области падежных систем, а именно случаев, когда нейтрализация грамматических значений наблюдается в контексте более маркированного значения доминантной категории; при этом в одних случаях падеж является нейтрализующейся категорией, в других — доминантной. Несмотря на то, что значительная часть этих примеров происходит из индоевропейских языков, я полагаю это обстоятельство несущественным — хотя бы на том основании, что все эти языки либо современные, либо существовали не ранее рубежа нашей эры и не могли ни унаследовать интересующие нас черты от общего праязыка, ни приобрести их под взаимным влиянием⁵.

³ См., однако, аргументы против в статье [Sauerland et al. 2005].

⁴ Стоит отметить, что выбор немаркированного члена у других грамматических категорий, таких как род, время, лицо и т. п., является уже далеко не столь очевидным; о сложностях и парадоксах маркированности см., в частности, статью [Tiersma 1982]; о том, что статус именительного падежа как немаркированного в ряде случаев может быть иллюзорным, см. работы [Schütze 2001] и [König 2006].

⁵ Характеристику индоевропейской падежной системы см. в [Семереньи 1980/1970: гл. VII] и [Иванов, Гамкрелидзе 1984: I, гл. 5].

2. Падеж как нейтрализующаяся категория

Примеры случаев, когда падежные противопоставления полностью или частично устраняются в контексте маркированного значения другой грамматической категории, весьма многочисленны. В иллюстративных целях приведу два примера из неиндоевропейских языков.

Пример 1. В юто-ацтекском языке яки противопоставление прямого (номинатива) и косвенного падежей нейтрализуется во множественном числе, ср. табл. 2 [Lindenfeld 1973].

Таблица 2. Нейтрализация падежей
в контексте множественного числа в яки

	Sg	Pl
Dir	<i>misi</i> 'кошка'	<i>misi-m</i>
Obl	<i>misi-ta</i>	<i>misi-m</i>

Пример 2. В древнегрузинском языке в косвенных падежах множественного числа выступает показатель *-ta*, соответствующий целому ряду падежей, формально противопоставленных в единственном числе, ср. табл. 3 [Schanidse 1982].

Таблица 3. Нейтрализация падежей
в контексте множественного числа в древнегрузинском

	Sg	Pl
основа	<i>k'ac</i> 'человек'	
Nom	<i>k'ac-i</i>	<i>k'ac-n-i</i>
Erg	<i>k'ac-man</i>	<i>k'ac-ta</i>
Dat	<i>k'ac-s</i>	<i>k'ac-ta</i>
Gen	<i>k'ac-is</i>	<i>k'ac-ta</i>
Ins	<i>k'ac-it</i>	<i>k'ac-ta</i>
Adv	<i>k'ac-ad</i>	<i>k'ac-ta</i>
Voc	<i>k'ac-o</i>	<i>k'ac-n-o</i>

Обратимся теперь к примерам иного рода. Для начала рассмотрим материал славянских языков, который, как ни странно, не вызывал никаких «подозрений» у прекрасно знакомых с ним основоположников теории маркированности.

Пример 3. В русском, польском [De Bray 1980a: 265], чешском [Ibid.: 62], словенском [De Bray 1980b: 339] и других славянских языках слова склонения на *-i* систематически различают во множественном числе больше форм, чем в единственном, ср. таблицы 4 (в нижней строке приведено число различных форм каждой из подпарадигм).

Таблица 4. *i*-склонение в славянских языках

	русский ⁷		польский		чешский		словенский ⁷	
	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl
Nom	<i>кость</i>	<i>кости</i>	<i>kość</i>	<i>kości</i>	<i>kost</i>	<i>kosti</i>	<i>kôst</i>	<i>kostî</i>
Acc	<i>кость</i>	<i>кости</i>	<i>kość</i>	<i>kości</i>	<i>kost</i>	<i>kosti</i>	<i>kôst</i>	<i>kostî</i>
Gen	<i>кости</i>	<i>костей</i>	<i>kości</i>	<i>kości</i>	<i>kosti</i>	<i>kostí</i>	<i>kostî</i>	<i>kosti</i>
Loc	<i>кости</i>	<i>костях</i>	<i>kości</i>	<i>kościach</i>	<i>kosti</i>	<i>kostech</i>	<i>kôsti</i>	<i>kostéh</i>
Dat	<i>кости</i>	<i>костям</i>	<i>kości</i>	<i>kościom</i>	<i>kosti</i>	<i>kostem</i>	<i>kôsti</i>	<i>kostém</i>
Ins	<i>костью</i>	<i>костями</i>	<i>kością</i>	<i>kości</i>	<i>kostí</i>	<i>kostmi</i>	<i>kostjô</i>	<i>kostmî</i>
форм	3	5	3	4	3	5	4	5

Особый интерес представляют в этой связи данные сербохорватского языка, где во множественном числе утратилось противопоставление дательного, творительного и местного падежей [De Bray 1980b: 253], в результате чего максимум различных падежных форм множественного числа в этом языке снизился до четырех, а в *i*-склонении, не различающем Nom и Acc, до трех. При этом в сербохорватском языке форма LocSg отличается от формы GenDatSg ударением, что создает дополнительное противопоставление в единственном числе. В результате *i*-склонение в сербохорватском нарушает общеславянскую тенденцию к большей нейтрализации падежей в единственном числе. Замечательным образом, однако, в InsSg данного типа склонения наряду с исторически исконной формой с флексией *-ju* возникает конкурирующая форма, совпадающая с GenDatSg, что «компенсирует» «лишнее» противопоставление, см. табл. 5 [De Bray 1980b: 253—254].

Таблица 5. *i*-склонение в сербохорватском языке

	Sg	Pl
Nom	<i>stvâr</i> 'вещь'	<i>stvâri</i>
Acc	<i>stvâr</i>	<i>stvâri</i>
Gen	<i>stvâri</i>	<i>stvârî</i>
Dat	<i>stvâri</i>	<i>stvârîma</i>
Loc	<i>stvâri</i>	<i>stvârîma</i>
Ins	<i>stvâri, stvârju</i>	<i>stvârîma</i>
форм	3 (4)	3

⁶ Формы «второго предложного» падежа игнорируются.

⁷ Транскрипция несколько упрощена (с сохранением всех релевантных противопоставлений).

Приведенные данные демонстрируют, что бóльшая сохранность падежных противопоставлений во множественном числе — важная характеристика славянского *i*-склонения, нечто большее, чем результат случайного фонетического развития⁸.

Пример 4. В чешском [De Gray 1980a: 65] и польском [Ibid.: 279] языках наблюдаются случаи полной нейтрализации падежных противопоставлений в единственном числе при сохранении их во множественном, см. табл. 6.

Таблица 6. Полная нейтрализация падежей в единственном числе в чешском и польском

	чешский		польский	
	Sg	Pl	Sg	Pl
Nom	<i>paní</i> ‘госпожа’	<i>paní</i>	<i>muzeum</i> ‘музей’	<i>muzea</i>
Acc	<i>paní</i>	<i>paní</i>	<i>muzeum</i>	<i>muzea</i>
Gen	<i>paní</i>	<i>paní</i>	<i>muzeum</i>	<i>muzeów</i>
Loc	<i>paní</i>	<i>paních</i>	<i>muzeum</i>	<i>muzeach</i>
Dat	<i>paní</i>	<i>paním</i>	<i>muzeum</i>	<i>muzeom</i>
Ins	<i>paní</i>	<i>panimi</i>	<i>muzeum</i>	<i>muzeami</i>

Необходимо отметить, что чешский и польский случаи содержательно совершенно различны: в чешском мы имеем дело с результатом закономерного фонетического развития, приведшего к совпадению в одном из подтипов склонения флексий, различающихся в других парадигмах; польский же демонстрирует фонетически немотивированное отсутствие склонения у гомогенного класса заимствованных слов. Тем не менее, каковы бы ни были причины, приведшие к возникновению указанных парадигм, они являют собою чрезвычайно яркий контрпример к принципу минимизации маркированности.

Пример 5. Сохранение большого количества падежных форм во множественном числе по сравнению с единственным было характерно и для германских языков эпохи раннего Средневековья. В древнеисландском [Стеблин-Каменский 1955: 50—75] и древневерхненемецком [Jolivet, Mossé 1942: 76—117] языках во множественном числе всех типов склонения различались формы Nom, Gen (с одной из них совпадал Acc) и Dat; в единственном числе, напротив, наблюдалось значительное разнообразие случаев падежного синкретизма. В зависимости от типа склонения число различных форм в единственном числе могло быть как больше, так и меньше трех, ср. табл. 7 с древнеисландскими данными и табл. 8 с древневерхненемецкими.

⁸ Стоит отметить, что такого рода асимметрия между числами унаследована славянскими языками от общеславянского языка, см. [Мейе 2000/1934: 334—335].

Таблица 7. Падежный синкретизм в древнеисландском языке

	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl
Nom	<i>armr</i> 'рука'	<i>armar</i>	<i>hersir</i> 'предводитель'	<i>hersar</i>	<i>skǫr</i> 'край'	<i>skarar</i>
Acc	<i>arm</i>	<i>arma</i>	<i>hersir</i>	<i>hersa</i>	<i>skǫr</i>	<i>skarar</i>
Gen	<i>arms</i>	<i>arma</i>	<i>hersis</i>	<i>hersa</i>	<i>skarar</i>	<i>skara</i>
Dat	<i>armi</i>	<i>ǫrmum</i>	<i>hersir</i>	<i>hersum</i>	<i>skǫr</i>	<i>skǫrum</i>
форм	4	3	3	3	2	3

Таблица 8. Падежный синкретизм в древневерхненемецком языке

	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl
Nom	<i>tag</i> 'день'	<i>taga</i>	<i>kneo</i> 'колени'	<i>kneo</i> ¹⁰	<i>herza</i> 'сердце'	<i>herzun</i>
Acc	<i>tag</i>	<i>taga</i>	<i>kneo</i>	<i>kneo</i>	<i>herza</i>	<i>herzun</i>
Gen	<i>tages</i>	<i>tago</i>	<i>knewes</i>	<i>knewo</i>	<i>herzen</i>	<i>herzōno</i>
Dat	<i>tage</i>	<i>tagum</i>	<i>knewe</i>	<i>knewum</i>	<i>herzen</i>	<i>herzōm</i>
Ins	<i>tagu</i>	<i>tagum</i>	<i>knewe</i>	<i>knewum</i>	<i>herzen</i>	<i>herzōm</i>
форм	4	3	3	3	2	3

Имеются в обоих языках и случаи полного отсутствия падежных противопоставлений в единственном числе, аналогичные приведенному выше примеру из чешского языка.

Несколько более сложная ситуация была представлена в древнеанглийском языке, где распад склонения зашел дальше, нежели в древнеисландском и древневерхненемецком. Число и разнообразие случаев падежного синкретизма было здесь еще выше, чем в двух других языках; в парадигме множественного числа была лишь одна форма, никогда не совпадавшая с какой-либо другой, — DatPl на *-m*; в единственном же числе такой формы не было вовсе (GenSg на *-s* был представлен лишь у части имен, в то время как DatPl на *-m* — у всех имен без исключения). Нормой при этом было, чтобы число различных форм единственного числа не превышало аналогичное число для множественного числа, ср. табл. 9 [Смирницкий 1955: 213—244]

⁹ Нельзя не обратить внимания на то, что парадигма лексемы *kneo* 'колени' иллюстрирует запрещенную теорией маркированности нейтрализацию противопоставления по числу в контексте немаркированных номинатива и аккузатива в противоположность маркированным косвенным падежам (см. раздел 3).

Таблица 9. Падежный синкретизм в древнеанглийском языке¹⁰

	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl
Nom	<i>scip</i> 'корабль'	<i>scipu</i>	<i>caru</i> 'забота'	<i>cara,</i> <i>care</i>	<i>wine</i> 'друг'	<i>wine,</i> <i>winas</i>	<i>sweostor</i> 'сестра'	<i>sweostor</i>
Acc	<i>scip</i>	<i>scipu</i>	<i>care</i>	<i>cara,</i> <i>care</i>	<i>wine</i>	<i>wine,</i> <i>winas</i>	<i>sweostor</i>	<i>sweostor</i>
Gen	<i>scipes</i>	<i>scipa</i>	<i>care</i>	<i>cara,</i> <i>carena</i>	<i>wines</i>	<i>winia,</i> <i>wina</i>	<i>sweostor</i>	<i>sweostra</i>
Dat	<i>scipe</i>	<i>scipum</i>	<i>care</i>	<i>carum</i>	<i>wine</i>	<i>winum</i>	<i>sweostor</i>	<i>sweostrum</i>
форм	3	3	2	2 (3)	2	3	1	3

Как мне представляется, возможное объяснение описанных фактов следует искать в хорошо заметной во всех рассмотренных языках тенденции к унификации типов склонения во множественном числе: и в германских, и в славянских языках парадигмы множественного числа демонстрируют существенно большее единство морфологического материала, и, как следствие, меньшее число моделей падежного синкретизма, нежели в единственном числе¹¹. Более того, не лишены смысла и спекуляции о том, что редукция типов склонения во множественном числе сама по себе является примером действия принципа минимизации маркированности; правда, как можно видеть, нейтрализация одного противопоставления (типов склонения) приводит, парадоксальным и одновременно закономерным образом, к лучшему сохранению другого (морфологических падежей).

Пример 6. Переместившись в Азию, можно найти немало примеров интересующего нас явления в иранских языках с двухпадежными системами¹². Так, в памирских языках — ваханском [Пахалина 1975: 41—42] и сарыкольском [Пахалина 1966: 21] противопоставление прямого и косвенного падежей представлено только во множественном числе, ср. табл. 10.

¹⁰ Реликтовый инструменталис, представленный в древнеанглийском лишь у прилагательных, я позволю себе игнорировать.

¹¹ Весьма показательны в этой связи статистические данные, приведенные в статье [Hamilton 1974]. В четырех проанализированных в этой статье славянских языках (чешском, польском, русском и сербохорватском) количество случаев падежного синкретизма в Sg существенно превышает их число в Pl. Более того, во всех этих языках число случаев синкретизма в Sg не меньше, чем в праславянском языке, а в чешском и польском даже больше; напротив, лишь в чешском языке число случаев синкретизма в Pl возросло по сравнению с праславянским, в то время как в других языках оно уменьшилось.

¹² Подробнее об особенностях двухпадежных систем см. [Аркадьев 2005; 2006; 2008].

Таблица 10. Падежный синкретизм в памирских языках

	ваханский		сарыкольский	
	Sg	Pl	Sg	Pl
Dir	xūn 'дом'	xūn-išt	wern 'баран'	wern-xeyl
Obl	xūn	xūn-əv	wern	wern-ef

Важное отличие данного случая от рассмотренных выше славянских и германских состоит в том, что в ваханском и сарыкольском синкретизм прямого и косвенного падежей в единственном числе не является принадлежностью какого-либо типа склонения и характерен для всех имен (за исключением личных местоимений).

Пример 7. В чали, одном из диалектов центрального Ирана, противопоставление прямого и косвенного падежей во множественном числе наблюдается у всех существительных, а в единственном числе — лишь в мужском роде [Yar-Shater 1969: 75—76], см. табл. 11.

Таблица 11. Падежный синкретизм в чали

	masculinum		femininum	
	Sg	Pl	Sg	Pl
Dir	bar 'дверь'	bar-e	barra 'попугай'	barr-e
Obl	bar-e	bar-ō	barra	barr-ō

Здесь также возможно предположить, что во множественном числе в чали отсутствие нейтрализации падежей «компенсируется» очевидной нейтрализацией родов¹³.

Пример 8. Такого рода объяснение, однако, не проходит для языка бурушаски, где три падежа — прямой, эргативный и общекосвенный — различают (в единственном числе) лишь имена женского рода, в то время как у слов мужского и двух неодушевленных родов Erg и Obl совпадают, см. табл. 12 [Климов, Эдельман 1970: 41—42].

Таблица 12. Падежный синкретизм в бурушаски

	masc.	neut.	fem.
Dir	hiles 'мальчик'	dan 'камень'	gus 'женщина'
Erg	hiles-e	dan-e	gus-e
Obl	hiles-e	dan-e	gus-mo

¹³ Отмечу также, что ситуация в чали, по-видимому, является промежуточным состоянием между более древней системой, выдерживающей падежные противопоставления во всех родах и числах (она представлена в родственном диалекте эштехарди [Yar-Shater 1969: 79]), и более «продвинутой» системой, устранившей падежную оппозицию во множественном числе (диалект такестани [Ibid.: 78]).

«Классическая» теория маркированности предсказывает ровно обратную ситуацию: в маркированном именном классе должно было бы быть меньше падежных форм, нежели в немаркированных.

3. Падеж как доминантная категория

Нейтрализация противопоставлений грамматических значений в контексте «маркированных» (косвенных) падежей встречается, по всей видимости, не столь часто, как падежный синкретизм. Один из очевидных примеров такого рода — отсутствие противопоставления мужского и среднего рода в косвенных падежах, наблюдающееся в индоевропейских языках с древнейшего их периода. В качестве показательного примера из неиндоевропейского языка можно привести данные чукотского языка [Скорик 1961: 140 и след.], где у неличных существительных единственное и множественное число различаются только в номинативе, нейтрализуясь в косвенных падежах.

Вспомним, однако, парадигму древневерхненемецкого слова *kneo* ‘колено’, в которой *Nom* и *Acc*, в отличие от косвенных падежей, не различали чисел. Если для германских языков такого рода ситуация скорее была исключением, то вернувшись в Центральную Азию, мы найдем аналогичные примеры с уже вполне систематическим статусом.

Пример 9. В целом ряде индоиранских языков наблюдается нейтрализация противопоставлений по числу (а также иногда по роду) в контексте прямого падежа, ср. данные из нуристанского языка кати [Грюнберг 1980: 175—176], дардского языка калаша [Эдельман 1965: 120] и литературного варианта курманджи (северо-западная подгруппа иранских языков [Цукерман 1986: 72]) в табл. 13.

Таблица 13. Нейтрализация чисел в индоиранских языках

	кати		калаша		курманджи	
	Sg	Pl	Sg	Pl	Sg	Pl
Dir	<i>vuncev</i> ‘источник’		<i>mōč</i> ‘человек’		<i>k'itêb</i> ‘книга’	
Obl	<i>vuncev-e</i>	<i>vuncev-o</i>	<i>mōč-es</i>	<i>mōč-en</i>	<i>k'itêb-ê</i>	<i>k'itêb-an</i>

Хотя систематически примеры такого рода отмечены почти исключительно в индоиранских языках, их возникновение нельзя объяснить лишь генетическими или ареальными причинами: совершенно очевидно, что никакого общего развития и тем более взаимного влияния между курманджи (Закавказье) и кати (Гиндукуш) быть не могло. Происхождение такой редкой системы, видимо, связано с массовой редуциацией конечных слогов, затронувшей в первую очередь показатели *DirSg* и *DirPl*, содержавшие меньше фонем, нежели флексии косвенных падежей [Молчанова 1975: 220—222]¹⁴.

¹⁴ Следует отметить, что, по крайней мере, в курдских диалектах происходит процесс устранения данного типа парадигмы путем обобщения показателя *OblPl -an*

Пример 10. Случай, аналогичный только что рассмотренному, представлен в старофранцузском языке, где в прямом падеже не различались единственное и множественное числа у определенного артикля мужского рода [Foulet 1990/1919: 45]. Интересно, что сочетание данного случая синкретизма с другой моделью, представленной у существительных, приводило к тому, что грамматическая характеристика именной группы восстанавливалась однозначно, ср. табл. 14 [Репина 1974: 26—27].

Таблица 14. Склонение именной группы в старофранцузском

	Sg	Pl
Dir	<i>li murs</i> 'стена'	<i>li mur</i>
Obl	<i>le mur</i>	<i>les murs</i>

4. Заключение

Приведенные в этой короткой статье факты, разумеется, можно рассматривать как курьезные исключения, возникающие в языках с нерегулярной морфологией и подверженные устранению в ходе истории. Тем не менее, даже если это так, это ни в коей мере не умаляет теоретической значимости рассмотренных данных: если принцип минимизации маркированности предсказывает, что все эти факты не должны существовать (поскольку этот принцип, фактически, запрещает диахронические переходы определенного типа, а именно такие, которые могут приводить к рассмотренным выше системам), то приходится заключить, либо что этот принцип вовсе неверен, либо что он является лишь одним из факторов, влияющих на нейтрализацию грамматических противопоставлений, и может при определенных условиях отступать на второй план. Адекватная теория морфологической нейтрализации должна и учесть факты, подобные проанализированным выше, и предложить более тонкий, нежели в «классической» теории маркированности, объяснительный аппарат.

СОКРАЩЕНИЯ

Acc — аккузатив, Adv — адвербиалис, Dat — датив, Dir — прямой падеж, Erg — эргатив, Gen — генитив, Ins — инструменталис, Loc — локатив, Nom — номинатив, Obl — косвенный падеж, Pl — множественное число, Sg — единственное число, Voc — вокатив.

на все формы множественного числа, см.: [Цукерман 1986: 72—74; McKenzie 1961: 58; 153].

ЛИТЕРАТУРА

- Аркадьев 2005 — *Аркадьев П. М.* Функционально-семантическая типология двухпадежных систем // *Вопр. языкознания*. 2005. № 4.
- Аркадьев 2006 — *Аркадьев П. М.* Двухпадежные системы в индоиранских языках: Типологическая перспектива // *Индоиранское языкознание и типология языковых ситуаций: Сб. ст. к 75-летию проф. А. Л. Грюнберга (1930—1995) / Ред. М. Н. Боголюбов СПб.: Наука, 2006.*
- Аркадьев 2008 — *Аркадьев П. М.* Теория падежного маркирования в свете данных двухпадежных систем // *Вопр. языкознания*. 2008. № 5.
- Грюнберг 1980 — *Грюнберг А. Л.* Язык кати. М.: Вост. лит., 1980.
- Иванов, Гамкрелидзе 1984 — *Иванов Вяч. Вс., Гамкрелидзе Т. В.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. I—II. Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984.
- Климов, Эдельман 1970 — *Климов Г. А., Эдельман Д. И.* Язык бурушаски. М.: Наука, 1970.
- Мейе 2000/1934 — *Мейе А.* Общеславянский язык / Пер. с франц., 2-е изд. М.: Прогресс, 2000. (*A. Meillet. Le Slave Commun. 2de éd. Paris: Champion, 1934.*)
- Мельчук 1998 — *Мельчук И. А.* Курс общей морфологии. Т. II. Ч. II: Морфологические значения / Пер. с франц. М.; Вена: Языки рус. культуры, 1998.
- Молчанова 1975 — *Молчанова Е. К.* Категория числа // *Опыт историко-типологического исследования иранских языков / Ред. В. С. Расторгуева. Т. II. М.: Наука, 1975.*
- Пахалина 1966 — *Пахалина Т. Н.* Сарыкольский язык. М.: Наука, 1966.
- Пахалина 1975 — *Пахалина Т. Н.* Ваханский язык. М.: Наука, 1975.
- Репина 1974 — *Репина Т. А.* Аналитизм романского имени (склонение существительных на западе и востоке Романии). Л.: ЛГУ, 1974.
- Семереньи 1980/1970 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1980. (*O. Szemerényi. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. Darmstadt, 1970.*)
- Скорик 1961 — *Скорик П. Я.* Грамматика чукотского языка. Ч. I. Фонетика и морфология именных частей речи. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
- Смирницкий 1955 — *Смирницкий А. И.* Древнеанглийский язык. М.: ИЛИЯ, 1955.
- Стеблин-Каменский 1955 — *Стеблин-Каменский М. И.* Древнеисландский язык. М.: ИЛИЯ, 1955.
- Цукерман 1986 — *Цукерман И. И.* Хорасанский курманджи. Исследование и тексты. М.: Наука, 1986.
- Эдельман 1965 — *Эдельман Д. И.* Дардские языки. М.: Наука, 1965.
- Якобсон 1985/1932 — *Якобсон Р. О.* О структуре русского глагола // *Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.* (*R. Jakobson. Zur Struktur der russischen Verbums // Charisteria Guillelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata. Prague, 1932.*)
- Якобсон 1985/1936 — *Якобсон Р. О.* К общему учению о падеже // *Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.* (*R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutungen der Russischen Kasus // Travaux du cercle linguistique de Prague, VI, 1936.*)
- Baerman, Brown, Corbett 2005 — *Baerman M., Brown D., Corbett G. G.* The Syntax-Morphology Interface. A Study of Syncretism. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005.

- Bierwisch 1967 — *Bierwisch M.* Syntactic features in morphology: General principles of so-called pronominal inflection in German // To Honor Roman Jakobson. Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday. Vol. I. The Hague; Paris: Mouton, 1967.
- Croft 1990 — *Croft W.* Typology and Universals. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1990.
- De Bray 1980a — *De Bray R. G. A.* Guide to the West Slavonic Languages. 3rd ed. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1980.
- De Bray 1980b — *De Bray R. G. A.* Guide to the South Slavonic Languages. 3rd ed. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1980.
- Foulet 1990/1919 — *Foulet L.* Petite syntaxe de l'ancien français. 3-ème éd. revue. Paris: Champion, 1990 (1-ère éd. Paris, 1919).
- Givón 1995 — *Givón T.* Functionalism and Grammar. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 1995.
- Greenberg 1966 — *Greenberg J. H.* Language Universals. The Hague etc.: Mouton, 1966.
- Hamilton 1974 — *Hamilton W. S.* Deep and surface changes in four Slavic noun systems // Linguistics. Vol. 127. 1974.
- Haspelmath 2006 — *Haspelmath M.* Against markedness (and what to replace it with) // Journal of Linguistics. Vol. 42. 2006. № 1.
- Hjelmslev 1935—1937 — *Hjelmslev L.* La catégorie des cas. Étude de grammaire générale. P. I. København, 1935; P. II. København, 1937.
- Jolivet, Mossé 1942 — *Jolivet A., Mossé F.* Manuel de l'allemand du Moyen Âge des origines au XVIe siècle. Aubier; Paris: Éditions Montaigne, 1942.
- König 2006 — *König Chr.* Marked nominative in Africa // Studies in Language. Vol. 30. 2006. № 4.
- Lindenfeld 1973 — *Lindenfeld J.* Yaqui Syntax. Berkeley: University of California Press, 1973.
- McKenzie 1961 — *McKenzie D. N.* Kurdish Dialect Studies, I. London: Oxford Univ. Press, 1961.
- Sauerland, Anderssen, Yatsushiro 2005 — *Sauerland U., Anderssen J., Yatsushiro K.* The Plural is semantically unmarked // Linguistic Evidence / Ed. by S. Kepser, M. Reis. Berlin: Mouton de Gruyter, 2005.
- Schanidse 1982 — *Schanidse A.* Altgerogisches Elementarbuch. Teil I. Grammatik der Altgerogischen Sprache. Tbilissi: Tbilisis universit'et'is gamomcemloba, 1982.
- Schütze 2001 — *Schütze C.* On the nature of default case // Syntax. Vol. 4. 2001. № 3.
- Tiersma 1982 — *Tiersma P. M.* Local and general markedness // Language. Vol. 58. 1982. № 4.
- Yar-Shater 1969 — *Yar-Shater E.* A Grammar of Southern Tati Dialects. The Hague; Paris: Mouton, 1969.

О ВЫРАЖЕНИИ ГРАММЕМ В СКЛОНЕНИИ ИМЕН В БУДДИЙСКОМ САНСКРИТЕ

1. Один из трудных вопросов при описании именных парадигм буддийского санскрита — вопрос о фонетическом выражении грамем. В диахроническом аспекте этот вопрос сопрягается с изучением факторов, приведших к фонетическим изменениям. Принято считать, что собственно фонетическое развитие вызвало преобразования звукового облика парадигм, но никак не исключено, что, наоборот, изменения в структуре парадигм привели к соответствующим фонетическим изменениям. Не останавливаясь здесь на разных принципах описания грамматической системы буддийского санскрита (о чем приходилось писать в другом месте)¹, отметим, что преобладающим методом в различных опытах ее описания является, как правило, исторический метод, состоящий в установлении серии изменений в фонетике классического санскрита, сопоставляемого с буддийским санскритом при привлечении данных праkritов и пали. Такой подход, обязанный своим пафосом сравнительно-историческому языкознанию младограмматической традиции, по существу приводит к пониманию буддийского санскрита как искаженного санскрита, не обладающего собственной имманентной структурой. Однако именно синхронический анализ грамматических явлений буддийского санскрита дает иное представление об этом языке и позволяет описать его специфические особенности как грамматической системы². В этой заметке речь идет о вычленении показателей грамем в избранных именных парадигмах языка буддийских текстов традиции Махасангхиков-Локоттаравадина. Такой анализ парадигм в рамках синхронического подхода создает необходимые условия для изучения функционального аспекта фонетического состава флексий. С этой целью обсуждаются формы из Махавасту (Mv)³, Бхикшуни-Виная (BhīVin)⁴ и Абхисамачарикадхарма (Abhis-Dh)⁵ —

¹ [Oguibénine 2004; (в печати)].

² Ср. более подробное обоснование плодотворности строго синхронического подхода к описанию буддийского санскрита в статье [Oguibénine 1994].

³ [Senart 1977].

⁴ [Roth 1970].

⁵ [Jinānanda 1969]. Страницы и строки цитируются по изданию: Transcription of the Abhisamācārikā-Dharma // A Guide to the Facsimile Edition of the Abhisamācārikā-Dharma of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādin / Abhisamācārikā-Dharma Study Group. The Institute for Comprehensive Study of Buddhism. Taisho University, 1998. P. 43—129 (ch. I—IV).

тексты, язык которых, согласно последним исследованиям, и следует считать буддийским санскритом⁶.

2. Именные основы на *-as*

Известны следующие формы от словарных основ м. и ср. р. на *-as*:

NomSg. *mahāyaśo*#⁷ ‘многославный’ (Mv.I.67.9), *durmano* ‘мрачный’ (Mv.I.42.3), *gatavayo* ‘пожилой’ (Mv.II.41.2), *prītamano* ‘радостный’ (Mv.I.224.12).

AccSg₁. *cetas* ‘мысль’ (реально в BḥṭVin § 152 засвидетельствована форма *cetaḥ*, где висарга появляется по правилам внешнего сандхи).

AccSg₂. *ceta* (Mv.II.124.2-3-7).

InstrSg. *cetasā* (Mv.II.124.2-3-6).

GenSg. *cetaso* (Mv.II.257.12-13 *cetaso parivitariko udapādi* ‘возникла мысль [основанная] на мысли’, ср. Mv.II.131.18-132.1 *cetaso ekotibhāvā* ‘благодаря сосредоточению мысли на одном [предмете]’ где отсутствие сандхи показывает независимость формы *cetaso* от фонетического окружения).

Возможны две трактовки этих форм. Одна состоит в том, чтобы считать, что в этом типе склонения используются две основы: основа на согласную (*-as*) и основа на гласную (*-a*). Такое решение сведется к утверждению, что в NomSg показателем грамматических значений является *-o* при усечении исхода основы *-as*; что в AccSg₁ *cetas* и в AccSg₂ *ceta* используются нулевые окончания (иначе говоря, вторая основа образуется усечением конечной согласной *s*); что в InstrSg *cetasā* и в GenSg *cetaso* значения числа и падежа выражены соответственно показателями *-ā* и *-o*, присоединяемыми к примете основы *-as*.

Вторая трактовка, которая представляется более экономной и общей, состоит в утверждении, что в данном склонении используется единая основа на *-as*. Как и при первой трактовке, NomSgm образуется усечением элемента *-as* и присоединением показателя *-o*. Для образования Acc вводятся следующие правила.

Первое определяет образование AccSg₁ *cetas* с помощью нулевого окончания, присоединяемого к примете основы *-as* (при этом не принимается во внимание автоматическое чередование *-s* и висарги). Второе предусматривает образование AccSg₂ *ceta*, где конечная согласная основы усекается. Наконец, третьим правилом предусматривается сохранение конечной согласной в косвенных падежах пе-

⁶ [von Hinüber 1989].

⁷ # обозначает паузу. Форма на *o* независима от фонетического окружения, так как та же конечная гласная является приметой NomSgm в Mv.I.42.3 *durmano vipratīśārī* ‘мрачный, полный раскаяния’ и Mv.II.41.2 *jīrṇo ahaṃ gatavayo daharo ca narottamo* ‘стар я, пожил (= ушли мои годы), лучший же из людей молод’, где она опять-таки не обусловлена начальными звонкими согласными. Помимо того, что в буддийском санскрите сандхи в последовательностях полнозначных слов — редкое явление и подчиняются особым правилам (о которых см. в монографии, упомянутой в сноске 1), следует учесть, что Mv.II.41.2 входит в версифицированный текст, в котором возможны, но не всегда используются, рифмы, объединяющие группы слов.

ред показателями \bar{a} и $-o$. Эту согласную целесообразно рассматривать как формальную единицу, не имеющую собственного грамматического значения и сигнализирующую, но не обозначающую, косвенные падежи (целесообразность такой трактовки подтверждается ниже на других примерах)⁸.

Основы на $-as$ могут склоняться по другому типу. От основы *manas-* (условный перевод в цитируемых контекстах ‘сердце’, хотя это не единственное значение этого слова) образуются следующие формы:

AccSgnt₁ *manas* (Mv.II.7.10 в действительности содержит форму *manah*).

AccSgnt₂ *manam* (Mv.II.68.8).

AccSgnt *manasam* (Mv.II.447.6).

LocSgnt *manasi* (BhīVin § 198).

Считая, как и выше, что они образованы от единой основы, распределение примет, выражающих грамматические значения AccSgnt, таково: в первом случае они выражены конечной согласной основы $-s\#$, которая перекодируется в висаргу в данной позиции; во втором случае конечная согласная $-s$ усечена, а значения выражены окончанием $a +$ анусвара; в третьем случае значения выражаются тем же сочетанием $a +$ анусвара, тогда как согласная $-s$ не имеет собственного грамматического значения и является единицей, предшествующей морфеме, выражающей все грамматические значения формы *manasam*; в четвертом случае значение местного падежа выражено конечной гласной $-i$, присоединяемой к основе. Очевидный и наиболее эмпирически приемлемый вывод из приведенных наблюдений: окончание основы $-as$ содержит фонетическую единицу $-s$, которая в приведенных падежных формах либо имеет, либо не имеет соответствия в плане грамматических значений, что зависит от ее положения в слове, т. е. от ее комбинаторных свойств.

3. Именные основы на $-i$

От основы *bhikṣu* м. р. ‘монах’ образуется NomPlm *bhikṣū* (BhīVin § 20 et passim; Mv. passim) при засвидетельствованном в тех же текстах NomPlm *bhikṣavaḥ*. NomPlm *bhikṣū* употребляется в обследованных текстах как субъект сказуемого 3 л. мн. ч., что и позволяет распознать его грамматические значения. Приметой именительного падежа множественного числа в этой форме является долгая конечная гласная, ср. NomSgm *bhikṣu* (BhīVin § 19 et passim) и *bhikṣuḥ* (BhīVin § 98

⁸ Наша трактовка фонетических единиц, подобных указанной и тем, которые обсуждаются ниже, отвечает трактовке минимальных единиц плана выражения грамматических значений, среди которых «звуковые явления, наблюдаемые внутри и на стыке слов» и «звуковые особенности междуморфемного шва по сравнению с внутренним составом морфем», по словам Р. О. Якобсона в его работе «Морфологические наблюдения над славянским склонением» [Якобсон 1985: 195]; ср.: [Jakobson 1971: 113]: «In the system of language we discern two levels: the grammatical pattern of meaningful elements and the underlying phonemic pattern of mere discriminatory marks».

bhikṣuḥ bhikṣuṇīovādaka ‘монах, наставитель монахинь’)⁹. В *BhīVin* имеется в то же время *NomSgm bhikṣū*, по своему звуковому составу полностью совпадающему с *NomPlm*, см. *BhīVin* § 22 (et passim) *koṇṭabhiṣū ti vā kṛtvā dhossabhiṣū ti vā kṛtvā vaidyabhiṣū ti* [‘Если некая монахиня, сказав так:] «У этого монаха дурные привычки, он ленивый, он шарлатан, [не поклонится ему в ноги]...». Определение грамматических значений формы *bhikṣū* как *NomSgm*, контрастирующего с внешне подобной формой *NomPlm*, оказывается возможным лишь благодаря тому, что эта форма употребляется только в сочетании с частицей *ti*, вводящей прямую речь. Из этого следует, что *ti* выполняет здесь функцию единицы, не имеющей собственной морфологической роли и только сопровождающей набор грамматических значений предшествующего слова, хотя эта частица, являющаяся усеченным вариантом *iti*, и входит в число самостоятельных служебных морфем (при изначальном лексическом значении слова *iti* ‘так’, подразумевающего глагол говорения, выражения мысли и под.). Особенность усеченного варианта состоит в том, что он автоматически вызывает продление конечной гласной предшествующего слова¹⁰. Если долгота конечной гласной и является позиционным вариантом краткой гласной основы, то это никак не противоречит тому, что при тождественности фонетического состава форм *NomPlm* и *NomSgm* различие их грамматических характеристик обеспечивается с помощью частицы *ti*, сочетающейся только с одной из этих форм.

4. Именные основы на -d

От основы *parṣad* (или *pārṣad*) ж. р. ‘собрание’ образуются две формы *GenPl*: *parṣadānām* (Mv.I.29.13) и *parṣadām* (Mv.II.496.5). Известен также фонетический вариант этой основы *parṣā*, от которого образован *GenPl parṣāṇām* (Mv.I.27.11 и *BhīVin*, passim). Флективная часть форм, выражающая грамматические значения и присоединяющаяся к основе с лексическим значением, состоит из *-ānām* или *-ām* при основе на согласную и из *-ānām* при основе на гласную. О последнем факте упоминается постольку, поскольку очевидно, что флексия *-ānām* возможна при разных основах и что *-ām* невозможно при основе на исходную гласную. Сравнение приведенных форм показывает, что в состав двусложной флексии *-ānām* входит избыточный элемент *-ān*, тогда как односложная флексия *-ām* является более экономным вариантом. Следует заключить, что слог *-ān*, состоящий из долгой гласной и зубной носовой согласной, в этой парадигме (но не в соответствующей парадигме классического санскрита) является элементом словоформы, не соотносящимся ни с каким грамматическим значением.

⁹ В приведенном сочетании отсутствует внешнее сандхи, хотя оно осуществляется в других случаях, см.: *BhīVin* § 5 *addaśāsi khu anyataro bhikṣur mahāprajāpatiṃ* ‘увидел некий монах [монахиню] Махапраджapati’, Возможен и асигматический *NomSgm*, например, в последовательности *BhīVin* § 19 *bhikṣu ca*.

¹⁰ Этот вопрос изучен в статье [Oguibénine 1997].

5. Итог

Описанные случаи сочетаемости фонетических единиц, входящих в состав морфем и фонетических единиц, лишь сочетающихся с первыми, соответствуют общей тенденции в грамматике буддийского санскрита и тем самым поучительны для полного описания его морфологии. Тенденция же заключается в том, что в этом языке употребляются фонетические элементы, не соответствующие никакому означаемому, но приобретающие значение сигналов в сочетании с элементами, имеющими определенное грамматическое значение. Подобные факты наблюдаются и в глагольной системе, о которой будет говориться отдельно¹¹.

ЛИТЕРАТУРА

- Якобсон 1985 — *Якобсон Р.* Избранные работы. М.: Прогресс, 1985.
- Ivanov, Toporov 1968 — *Ivanov V. V., Toporov V. N.* Sanskrit. М.: Nauka, 1968.
- Jakobson 1971 — *Jakobson R.* The Phonemic and Grammatical Aspects of Language in Their Interrelations // *Jakobson R.* Selected Writings. II. Paris; The Hague: Mouton, 1971. P. 103—114.
- Jinānanda 1969 — *Jinānanda B.* (ed.). *Abhisamācārikā* (Bhikṣuprakīrṇaka). Patna: K. P. Jayaswal Research Institute, 1969.
- Oguibénine 1994 — *Oguibénine B.* Towards A Synchronic Grammar of Buddhist Sanskrit (I). On Nominal Paradigms // *Wunsch C.* (Hrsg.). XXV. Deutscher Orientalistentag, Vorträge, München, 8.—13.4.1991 (ZDMG-Suppl.10). Stuttgart: Steiner, 1994. S. 356—365.
- Oguibénine 1997 — *Oguibénine B.* Sandhi et la particule *iti/ti* dans le Bhikṣuṇī-Vinaya // *Bhikkhu T. Dhammaratana, Bhikkhu Pāsādika* (dir.), Dharmadūta. Mélanges offerts au Vénérable Thích Huyên-Vi à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire. Paris: Éditions You-Feng, 1997. P. 169—182.
- Oguibénine 2004 — *Oguibénine B.* Buddhist Sanskrit, Ancient Indian Grammarians and Descriptive Tasks // *Gedenkschrift J. W. de Jong / Ed. by H. W. Bodewitz, M. Hara.* (Studia Philologica Buddhica, Monograph Series, XVII). Tokyo: The International Institute for Buddhist Studies, 2004. P. 99—120.
- Oguibénine (в печати) — *Oguibénine B.* A Descriptive Grammar of Buddhist Sanskrit. I. The language of the Mahāsāṃghika-Lokottaravādins Textual Tradition. General Introduction. Sound Patterns. Sandhi Patterns // *Journal of Indo-European Studies Monograph Series.* (в печати)
- Roth 1970 — *Roth G.* Bhikṣuṇī-Vinaya. Manual of Discipline for Buddhist Nuns. Edited and Annotated for the First Time. Patna: K. P. Jayaswal Research Institute, 1970.
- Senart 1977 — *Senart É.* Le Mahāvastu. Texte sanskrit publié pour la première fois et accompagné d'introductions et d'un commentaire. T. I—III. Tokyo: Meicho-Fukyū-Kai, 1977.
- von Hinüber 1989 — *von Hinüber O.* Origin and Varieties of Buddhist Sanskrit // *Caillat C.* (ed.). Dialectes dans les littératures indo-aryennes. Paris: Boccard, 1989. P. 41—367.

¹¹ Наш опыт анализа парадигм был бы невозможен без урока, полученного годы назад при чтении книги [Ivanov, Toporov 1968], см. особенно: анализ граммем падежных форм на с. 57 и сл. Эта статья была прочитана И. А. Мельчуком (Université de Montréal), которому автор благодарен за критику, позволившую переработать некоторые положения; не все его критические замечания были учтены, и возможные упущения — полностью на ответственности автора.

Yreki ET AUTRES ADDENDA ET CORRIGENDA-2

Настоящая работа, представляющая собой своего рода продолжение нашей заметки «*ṽ māñca-kaum* et autres addenda et corrigenda» [Burlak, Itkin 2000], посвящена уточнению значения и морфологической структуры некоторых тохарских слов, а также чтению ряда «темных мест» в тохарских А текстах.

1. А *yreki* «как, словно (?)» < *В

Тохарское А слово *yreki* раньше как будто не привлекало внимания исследователей. Представленное во фрагменте А 55 а4 в обрывочном контексте, оно, казалось бы, не оставляет никаких возможностей для интерпретации. Тем не менее его внешний облик позволяет выдвинуть вполне правдоподобную гипотезу о его происхождении.

Мы предлагаем рассматривать А *yreki* как заимствование из тохарского В, где это слово надежно членится на локативный префикс *y(n)-* и существительное *reki* (Acc Sg *reki*) «слово, речь». В тохарском В имеется целый ряд слов, образованных по модели *y(n)-* + Acc, ср., например:

ynāñm «ценный, высокочтимый»: *y(n)-* + *āñme* «собственное “я”, эго; желание» (Acc Sg *āñm*)

yñakteṃ «среди богов»: *y(n)-* + *ñakte* «бог» (Acc Pl *ñakteṃ*)

ysomo «вместе»: *y(n)-* + *še* «один» (Acc Sg f *somo*)

ynes ~ *ynesne* «явно, ясно»: *y(n)-* + *ek** «глаз» (N-Acc Du *ešane* ~ *ešne*; ср. также *eš-lmau* «слепой»).

Если это действительно так, слово *yreki* пополняет собой довольно длинный список тохарских В слов с префиксом *y(n)-*, заимствованных в тохарский А. Помимо только что приведенных *ynāñm*, *ysomo* и *ynes*, в этот список входит также слово *ynālek* «в другом месте»: ср. В *allek* (Acc Sg m *alyek*) «другой» [Van Windekens 1976: 161]. Очень интересно, что, как и *yreki*, наречие *ynālek* не засвидетельствовано в тохарском В, однако собственно-восточнотохарское происхождение для обоих этих слов совершенно исключено, ср. А *rake* «слово, речь», *ālak* «другой».

Значение и даже частеречная принадлежность слова *yreki* остаются неизвестными. Попробуем высказать некоторые аргументы в пользу предположения, что эта лексема может представлять собой сравнительный союз.

Во-первых, подобное развитие имеет параллели в других языках, ср. русский союз *словно* «как, подобно», образованный от *слово* «слово».

Во-вторых, в строке А 55 а4 представлено выражение || *yreki [š]la tu(ñk) ||||* «...с любовью». В относящемся к той же рукописи тексте № 56 то же сочетание *šla tuñk* выступает со сравнительным союзом *oki* «как, словно», ср. |||| *šla tuñk oki tseñ yokās ašānyo rinās wrassac pālkorāš* (56 б6) «словно с любовью голубыми глазами на городских жителей посмотрев...». Синонимия сравнительных союзов для тохарских А текстов обычна, ср. такой известный пример, как *kār wā šī wašt oki oñkalām* (258 а4) = (*kār wā*) *šī wašt mā ne oñkalām* (354 б6; *mā ne* вместо *mā(ñt) ne*) «как слон тростниковую хижину».

В-третьих, П. Поуха [Poucha 1955: 251], а вслед за ним и В. Томас [Thomas 1964: 22, сн. 5] не без оснований предлагают усматривать то же самое слово *yre(ki)* в следующем фрагменте, представляющем собой описание автопортрета, на котором художник изобразил себя повешенным: || *ywont lap tsru y[r]e— —ašāñ tont* (А 8 а4-5) «слегка склоненную голову ... глаза». В отличие от В. Томаса [Ibid.], мы полагаем, что это слово здесь относится не к «голове», а к «глазам» — по аналогии с фрагментом 55 а4, где оно употреблено препозитивно; значение «≈ словно» подходит к контексту довольно хорошо: «слегка склоненную голову, словно закатившиеся (или: “словно вылезшие из орбит”) глаза».

Разумеется, приведенные здесь соображения, касающиеся значения слова *yreki*, являются сугубо предварительными.

2. *A ytār-so** «сбившийся с пути (?)»

Строка А 293 а1 сохранилась в следующем виде: |||| *kār ı ašnāš milärtse tsarnāš pesāš wārcetse : ytār soš sne waste — ||||*. С учетом очевидной конъектуры *sne waste(ñ)*, предложенной уже в [Poucha 1955: 384], смысл этой строки почти полностью ясен: «...с ранеными глазами, ущербными руками и ногами, путь ..., бесприютные (люди)...». Единственное исключение составляет не представленный ни в каких других текстах отрезок *soš*.

К счастью, жанровая принадлежность текста А 293 известна: он входит в состав I акта знаменитой буддийской драмы Maitreyasamiti-Nāṭaka (MSN), в изучении которой благодаря публикации Цзи Сянь-Линем, В. Винтером и Ж.-Ж. Пино обнаруженной в 1974 г. рукописи из Яньци [Ji, Winter, Pinault 1998] ныне достигнут замечательный прогресс. Во многих случаях фрагменты текстов Берлинского собрания либо совпадают с фрагментами рукописи из Яньци, либо частично перекрываются или смыкаются с ними, позволяя восстановить связность текста. Каталогизации таких совпадений посвящена превосходная статья [Pinault 1999]; см. также [Shimin, Laut, Pinault 2004] о тексте А 261 и [Бурлак, Иткин 2004] о ранее не относившемся к MSN тексте А 446. Как указано в [Pinault 1999: 194], сохранившийся текст фрагмента А 293 «se recouvre avec celui de YQ 1.30b et se continue sur YQ 1.29...» (в [Ji, Winter, Pinault 1998] параллель между А 293 и YQ-30b по какой-то причине не отмечена).

Наблюдение Ж.-Ж. Пино можно уточнить. Строка 293 а1 представляет собой конец 1-й, 2-ю и начало 3-й строки строфы III стихотворного отрывка на мотив

etwam, состоящего из строк по 12 слогов (ритм 5/7 [Ji, Winter, Pinault 1998: 26] или, точнее, 5/4/3). Начало 1-й строки той же строфы сохранилось в строке YQ- 30 b6; что же касается строки YQ-30 b7, то ее начало замечательным образом в точности смыкается с концом строки A 293 a1. Тем самым мы располагаем текстом большей части строфы III, ср. (текст фрагмента A 293 дан прямым шрифтом, текст фрагмента YQ-30 — курсивом):

kus pat nu ānās tālo— —kāri
aśnāṣ milārtse tsarnāṣ pesāṣ wārcetse:
yār soṣ sne waste(ñ) e[kr]orñeyā lokāṣ yeñc:
pkis puk— ————— (: 3 ||)
 «Тот, кто беден и несчастен...:
 С ранеными глазами, ушибными руками и ногами,;
 Путь ..., бесприютные (люди) из-за нищеты издалека идут.;
 Всем всё...».

Перевод «they go away (free of) poverty», предложенный для фрагмента *e[kr]orñeyā lokāṣ yeñc* в [Ji, Winter, Pinault 1998: 25], не может быть принят: HL *lokāṣ*, образованный от наречия *lok* «прочь, далеко» с помощью аблативного суффикса, должен значить не «вдаль», а, наоборот, «издалека». Компонент «free of» не находит себе решительно никакого соответствия в тохарском тексте (не говоря уж о странности получающегося смысла), тогда как предполагаемое нами значение причины является для тохарского А перлатива одним из основных.

С учетом общей тематики строфы для сочетания (или композита) *yār soṣ* кажется возможным предполагать значение типа «сбившиеся с пути, заблудшие».

Композит *sne-waste** «бесприютный» представлен также в строке a7 текста A 279, входящего в состав той же рукописи, что и A 293, и относящегося к IV акту MSN [Pinault 1999: 197]: *//// [ñcās] yār•o — — sne wastes wrasas śwātsi yoktsi śu — ////*.

В [Poucha 1955: 248] последовательность *yār •o* интерпретирована как Instr Sg *yār(y)o*, однако эта конъектура не дает никакого ясного смысла. По нашему мнению, в данном фрагменте естественно усматривать ту же конструкцию «сбившиеся с пути (и) бесприютные», что и в строке 293 a1, но в форме Acc, а не Nom Pl m. Все прилагательные и причастия, в форме N Pl m оканчивающиеся на -ṣ, в форме Acc Pl m имеют окончание -ñcās; реконструкция *yār (s)o(ñcās)* как раз заполняет имеющуюся лауну в две акшары. Перед *yār (s)o(ñcās)*, возможно, стояло (*tālo*)[ñcās] Acc Pl m от *tālo* «несчастный» — ср. выше строку YQ-30 b6. Таким образом, начальная часть строки 279 a7 предстает в следующем виде: *//// (tālo)[ñcās] s yār (s)o(ñcās) sne-wastes wrasas* «(несчастных (?)), сбившихся с пути (?), бесприютных людей».

Что представляет собой элемент *so**? Несмотря на краткость, он едва ли может быть отдельной непроемной лексемой — скорее, отглагольным прилагательным или даже причастием прошедшего времени. Как ни удивительно, в тохарском А есть примеры и того, и другого рода. С одной стороны, мы можем сопоставить *yār so* с идиомой (или композитом) *senik śo* «ненадежный, не заслуживающий до-

верия»: элемент *śo* надежно связывается с глаголом *śu-* «есть» [Schmidt 1996: 277; Pinault 2002: 272—273], но — по крайней мере с синхронной точки зрения — не может являться ни одной из его форм. С другой стороны, РР нерегулярного глагола *tā-* «ставить, класть» выглядит как *to*.

Сделать выбор в пользу одного из этих вариантов происхождения формы *so** крайне сложно, поскольку соответствующий глагол, очевидно, в тохарских языках не сохранился. В этой связи представляет интерес следующий небольшой фрагмент: *//// tlune risāte yme sã[nt] ////* (132 a3). Первую часть этого отрывка можно интерпретировать как *(yã)tlune risāte* «ты оставил могущество». Что же касается второй, то, с учетом синонимичности слов *ytār* и *yme* «путь», фонетическое сходство между формами *sã[nt]* и *so** может не быть случайным. В таком случае они должны представлять собой соответственно РРА и РР гипотетического глагола **sã-*, а для выражения *yme sãnt* можно предполагать значение «прельщающий, сбивающий с пути (?)».

Наконец, не исключено, что морфологически нестандартным производным от того же глагола **sã-* является тохарское В *sawāsa** «(?)», представленное, в форме NAcc Pl *sawāsa[nta]*, ср. *sawāsa[nta] y[olai]ñenta[nts] ākesa śem* (PK-NS-48 + 258 a2-3) [Adams 1999: 679] «ты пришел как конец ... и зол»: значение «зablуждение» кажется здесь вполне приемлемым.

Сравнение со строкой 293 a1 позволяет несколько прояснить еще одно «темное место». Строка 236 a2 в [Sieg, Siegling 1921: 118] приводится в следующем виде: *//// okāt pākasyo krã[nt••]m ytār mā — — — śyām asnāš war ce ////*. Начало строки вполне понятно: *okāt pākasyo krã[nt](sã)m ytār mā* «восьмеричный хороший путь не...»; далее, очевидно, шло какое-то прилагательное с суффиксом *-ši*. Конечная же часть остается загадочной: слово *asnāš* нигде более не встречается, слово *war* «запах» совершенно не подходит к контексту.

Для дальнейшей реконструкции важное значение имеет тот факт, что слово *asnāš* написано слитно со следующим словом, причем для *š* использован «чужой знак». Между тем написание «чужого знака» перед основным в лигатуре для тохарского А языка крайне нехарактерно [Бурлак 2000: 20—29]. Такие написания встречаются лишь в тех случаях, когда вторым элементом лигатуры является согласный, не имеющий «чужого знака», и после него идет гласный *ã*. Две точки над такой лигатурой обычно выписываются, ср., например, *lçär poñšã* (253 a5) «вышли все», но есть и примеры их отсутствия, ср. *puk cem waštãš lçar* (101 a4) «все они из дома вышли», где *lçar* написано вместо *lçär*. Таким образом, написание *šwa* с необходимостью предполагает чтение *šwã*, и это позволяет увидеть в рассматриваемом отрывке уже знакомое сочетание прилагательного *wãrcets* «ущербный» с предшествующим ему Abl. Наиболее вероятным нам представляется чтение *a(š)nãš w(ã)rce(tse)* «глазами ущербные» — *s* вместо *ś* в *asnãš* может быть опiskой или ошибкой чтения; однако в принципе нельзя исключать, что эта форма — Abl Pl от некоего не засвидетельствованного в других текстах существительного.

3. В *atāne** — А?

Тохарский В дуалис *atāne** давно является объектом оживленной полемики. Несколько упрощая картину, можно сказать, что в интерпретации этого слова конкурируют две основных версии: согласно одной [Thomas 1979: 12; 1985: 122; Isebaert 1980: 152, сн. 1], *atāne** означает «≈ кандалы, путы», согласно другой [Adams 1983: 760; 1999: 42; Blažek 1999] — «≈ запястья». К настоящему моменту известны два текста, в которых встретилось это слово — в одном случае в форме *Perl Du atānesa*, в другом — в форме *Loc Du atānene*. Поскольку в понимании этих фрагментов между тохаристами, естественно, наблюдаются значительные расхождения, мы приводим перевод только заключительных частей обеих строк, не вызывающий затруднений:

watkāltsa tāne atānesa wārñai śānmāṃnmāsa kektseñe śeśānmusa (PK-12I b6)
«...путами тело связано».

//// rene atānene yamašare-ne pelene šalāre-ne (H-149.40 a5) «...и бросают его в тюрьму».

Как это ни удивительно, никто из исследователей, как кажется, до сих пор не обратил внимания на то, что фрагмент H-149.40 a5 (замечательный уже тем, что он состоит только из слов, оканчивающихся на *-ne*) находит себе очень точную параллель в тохарском А:

! prutākseñc p[a]t w(a)rm[am] ātnaṃ pat ype porāntaṃ: (A 229 a2).

Перевод начальной части строки ясен: «или в темницу заключают...». НЛ *ātnaṃ*, ранее не получивший никакого объяснения, несомненно представляет собой форму *Loc* от *Du* (вернее, *Pl* — в силу практического исчезновения дв. ч. в тохарском А [Бурлак 2003]) *ātām**, этимологического соответствия В *atāne**. Более того, точно соответствуют друг другу и конструкции с глаголом «делать» + *Loc*: В *atānene yām-*, А *ātnaṃ y-*. Как было сказано выше, В. Томас понимает это выражение как «заковывать в кандалы», а Д. К. Адамс — как «заковывать на запястья». Тохарский В материал недостаточен для выбора между этими двумя возможностями. К сожалению, интерпретация строки А 229 a2 также оказывается сильно затруднена из-за неясности слова *porāntaṃ*. В тохарском А имеется еще форма *porāntāsäṣṣ* (437 b6), однако она встретилась в настолько неясном контексте, что мы можем с уверенностью трактовать *porāntaṃ* и *porāntāsäṣṣ* как *Loc Sg* и *Abl Pl* от некоего *porānti** (или *porant** с нередким для тохарского А чередованием *a ~ ä* перед *-nt-* [Бурлак 2000: 145]), но не можем сказать ничего определенного о значении этого слова.

Тем не менее сравнение всех трех имеющихся контекстов позволяет высказать некоторые соображения в пользу второго из предлагаемых переводов В *atāne** и А *ātām**. Во-первых, фраза «...начиная с запястий, путами тело связано» кажется несравненно более естественной, чем «...начиная с кандалов, путами тело связано». Во-вторых, надежные примеры сохранения старых форм дв. ч. с окончанием *-ām* представлены в тохарском А только у слов, обозначающих парные части тела.

4. В *pär** ~ *rip** «дурно пахнущий» — А ?

Несмотря на необычность формы и загадочное колебание *ä ~ u*, тохарское В прилагательное *pär** ~ *rip** «дурно пахнущий» достаточно хорошо засвидетельствовано в текстах и включается во все крупные тохарские словари. С его тохарским А соответствием дело обстоит иначе. Д. К. Адамс [Adams 1999: 371] вообще не упоминает о его существовании. А. Й. ван Виндекенс отмечает, что «*A pär- p'est pas établi de façon sûre*» [Van Windekens 1976: 396]. В свою очередь, это утверждение А. Й. ван Виндекенса, не склонного к собственным текстологическим разысканиям, явно восходит к тохарской В части глоссария В. Томаса, где находим следующее: «**pär (*rip) [pär?] Adj. П,3 "stinkend"*» [Thomas 1964: 208].

Тохарское А *pär* обнаруживается во фрагменте А 152 а4 в составе неясного отрезка *päpškäl*, в [Poucha 1955: 171] — вслед за [Sieg, Siegling 1921: 81] — рассматриваемого как единое слово с неизвестным значением. Этот отрезок представляет собой часть стихотворной строки, конец которой не сохранился:

: *läles krākes warsasy[o] sikont päpškäl waromä ////*

Перевод этой строки связан с рядом проблем, одну из которых составляет значение НЛ *läle**. В [Poucha 1955: 266] это слово оставлено без перевода; в [Krause, Thomas 1960: 133] выдвинуто предположение о том, что А *läle** представляет собой соответствие В *laliye* «усилие», и предложен перевод «мозоль (?)». В предельно осторожной форме это сближение поддерживает и А. Й. ван Виндекенс [Van Windekens 1976: 257]. Однако глагол *sik-* означает «переливаться через край; быть залитым»: ср., напр., *mā poryo tskāmsamtär mā wäryo sikaṃtä(r)* (А 14 а1-2) «огнем не сжигается и водой не затопляется». Кроме того, синтагма *läles krākes warsasy[o]* несомненно представляет собой группу из трех однородных существительных, из которых лишь последнее стоит в форме Instr, а два других — в форме Acc Pl («групповая флексия»). Слова *krāke* «нечистоты» и *wars* «грязь, пятно» близки по значению, и естественно ожидать, что слово *läle** относится к тому же понятийному ряду. Таким образом, значение «мозоль» катастрофически не подходит к контексту, что заставляет сомневаться в реальности предложенной В. Краузе и В. Томасом этимологии. На наш взгляд, А *läle** следует рассматривать как заимствование из скр. *lālā* «слиюна».

В последовательности *waromä ////* угадывается какая-то форма прилагательного *warom** — производного с суффиксом *-om* от существительного *war* «запах» (ср.: *kašom** «многочисленный» от *kaš* «число», *wsom* «ядовитый» от *wäs* «яд»). Сочетание лексемы *pär* с этим корнем находит надежную параллель в тохарском В, ср.: *päpā-were* (В 282 а5) «дурно пахнущий». Поскольку рассматриваемая строка написана 14-сложным размером [Sieg, Siegling 1921: 81, сн. 2] и все 14 слогов сохранились, утраченная часть окончания не должна содержать гласной. Этому условию удовлетворяют формы Acc Sg m *waromä(nt)* и N Pl m *waromä(s)*. С другой стороны, форма *sikont* может представлять собой либо Acc Sg m, либо N-Acc Pl f причастия прошедшего времени. Разумеется, осмысленная синтаксическая структура

получается, только если принять реконструкцию *waromä(nt)* и рассматривать формы *sikont* и *waromä(nt)* как однородные определения.

Таким образом, хотя статус и значение элемента *škäl* остаются неясными, структура и смысл рассматриваемой строки устанавливаются вполне надежно, так что существование тохарского *A päp* «дурно пахнувший» не вызывает сомнений:

läles kräkes warsasy[o] sikont päp škäl waromä(nt :) «слиюной (?), нечистотами и грязью залитого, дурно ... пахнущего».

Несколько выходя за рамки основной темы нашей работы, отметим поразительное сходство тохарского В композита *päpā-were* с латинским существительным *papāver* «мак». Это сходство окажется еще бóльшим, если учесть, что тохарские В композиты, как правило, получали ударение на последнем слоге первого компонента — ср., например, *uwarc-īsi* [uwarcəyʃi] «полночь» (< *uwārc* «половина» + *yʃiye* «ночь»), *pälyca-pälyc* [pəlyc -pəlyc] «быстро, стремительно», — так что фонетически слово *päpā-were* должно было выглядеть примерно как [pəpəwɛrɛ] или даже [pəpəwɛrɛ].

Латинское название мака не имеет общепринятой этимологии. А. Эрну и А. Мейе характеризуют его как «*terme technique sans origine connue*» [Ernout, Meillet 1939: 730]; А. Вальде и И. Б. Хофман выделяют в слове *papāver* тот же суффикс, что и в *cadāver* «труп, падаль» (< *cado* «падать»), и рассматривают его вместе с *papula* «прыщ, волдырь» как производное от глагольного корня **pap-* «надувать» [Walde, Hofmann 1954: 249]. Эта остроумная гипотеза тем не менее может быть оспорена: если связь между *cadāver* и *cado* очевидна на синхронном уровне, то глагол **pap-* «надувать» (на наш взгляд, скорее можно было бы предполагать для него значение типа «лопаться»), как кажется, представляет собой чистую абстракцию.

Что касается возможной связи латинского и тохарского слов, то подобная гипотеза не столь немыслима, как это кажется на первый взгляд. Поскольку внутренняя форма композита *päpā-were* совершенно прозрачна, речь может идти только о заимствовании из тохарского в латынь. С учетом хорошо известных дурманящих свойств мака переход «дурно пахнувший» > «мак» не выглядит чем-то невероятным. Поскольку латинское название мака встречается уже у таких авторов, как Плавт и Катон Старший, заимствование должно было осуществиться очень рано, скорее всего, еще в пратохарскую эпоху. Это обстоятельство, однако, также нельзя считать решающим возражением: форма [pəpəwɛrɛ] практически ничем не отличается от пратохарской — разумеется, если считать, что упомянутое нами выше правило акцентуации композитов в тохарском В унаследовано от праязыкового состояния.

Бесспорно, самой вероятной причиной сходства между тохарским В *päpā-were* «дурно пахнувший» и латинским *papāver* «мак» представляется простое совпадение. Однако такая точка зрения может быть пересмотрена в случае обнаружения других свидетельств ранних культурных контактов между тохарскими языками и латынью.

5. «Капли» и «лист» в тохарском А?

Тохарское В *pältakw* «капля» представляет собой вполне очевидное синхронное производное от глагола *pält-* «капать». В тохарском А имеется НЛ *piltäk* (А 225 а1) «капля», глагол же *pält-*, как считается, не засвидетельствован.

Рассматривая соотношение между В *pältakw* и А *piltäk*, А. Й. ван Виндекенс пришел к выводу, что тохарское А слово заимствовано из тохарского В [Van Windekens 1976: 374—375]. С этим следует согласиться: тохарскому В [äkw] на конце слова в тохарском А регулярно соответствует *-uk*, ср. В *pässakw* «гирлянда» — А *psuk* (N Pl *puskāñ*) «гирлянда; жила», тогда как А *pässäk* «гирлянда» несомненно заимствовано из В [Бурлак 2000: 35—36, 85], а также В *sakw* — А *suk* «счастье». Определенную проблему при этом составляет корневое *i*: А. Й. ван Виндекенс [Van Windekens 1976: 375] считает его источником тохарский В, однако примеры с начальным *pi-* < **pä-*, на которые он ссылается: *pilta* (А *pält*) «лист», *pīle* (А *päl*) «рана», *pikul* (А *p_ukäl*) «год», *piš* (А *päñ*) «пять» и т. д., — в действительности имеют другую природу: они отражают пратохарское **p'ə-* [Бурлак 2000: 76] и практически всегда пишутся с *i*. Между тем слово *pältakw* засвидетельствовано только с *ä*. Более вероятно, что появление *i* в форме *piltäk* обусловлено колебанием *ä ~ i*, наблюдаемым в самом тохарском А. В рукописи №№ А 219—238, к которой относится текст А 225, есть несколько примеров этого колебания, ср., например, *cimplune* (221 b2) SV и *cimšā* (230 b2) 3 Sg IpF А от *cämp-* «мочь», *yiš* (230 аб) 3 Sg Pr А от *y-* «идти». Таким образом, можно думать, что слово «капля» в тохарском А имеет вид *pältäk**.

В тексте А 211, от которого сохранился крохотный фрагмент, строка а2 выглядит следующим образом: *//// ltäkwä ysāraśś•////*. Второе слово однозначно восстанавливается как *ysāraśś(äl)* Comit от *ysār* «кровь». Что касается первого, то оно скорее всего представляет собой N-Асс Pl от *pältäk** «капля» — видимая часть акшары, предшествующей *ltä*, допускает чтение [*pä*]. Выражение [*pä*] *ltäkwä ysāraśś(äl)* «капли с кровью», хотя и несколько необычное, отнюдь не выглядит невозможным; кроме того, ввиду отсутствия контекста нельзя быть уверенным, что перед нами единое словосочетание.

Интересно, что N-Асс Pl на *-wā* встречается в тохарском А чрезвычайно редко: фактически он представлен только у слов *kursār* «миля» и *pält* «лист» — N-Асс Pl *kursärwā* (наряду с *kurtsru*), *pältwā*. Включение в столь непродуктивный класс заимствованного слова может показаться неправдоподобным; однако причиной этого могло быть наличие у тохарского В *pältakw* конечного *w*, переосмысленного как элемент окончания (в тохарском А слова вообще не могут оканчиваться звуком *w*).

Что касается глагола «капать», то он, вполне возможно, представлен в форме 3 Sg Pt М *pältāt* в начале строки А 153 б6: *//// [l•]pā pältāt*. Мы предлагаем интерпретировать этот отрывок как [Л(а)пā pältāt «...вылил себе на голову (т. е. “окропил голову”»)].

6. Существует ли *A kārāšnu** «относящийся к джунглям»?

В «Тезаурусе» П. Поухи помимо хорошо известной лексемы *kārāš* «джунгли» приводится также образованное от нее прилагательное **kārāšnu* [Poucha 1955: 59]. В последующих работах, насколько нам известно, существование этого прилагательного не подтверждается, но и не оспаривается. Между тем анализ контекста, где (возможно) встретилось данное прилагательное, представляет несомненный интерес.

Речь идет о строке A 41 a1, сохранившейся в таком виде: [t]pār śāwe : kārāšānw oki sā //ll. Эта строка является частью стихотворного фрагмента, и П. Поуха явно рассматривает *kārāšānw oki* как результат метрического сандхи первоначального **kārāšnu oki*. Действительно, в тохарских А метрических текстах широко представлен переход конечных *u, i* в *w* и *y* перед начальным гласным следующего слова, ср., например:

wkām emtsw āstrām (YQ-5 b4) «избравший чистый путь» (< *wkām emtsu āstrām*)

lw oki (107 b2) «словно зверь» (< *lu oki*)

mā nāñy ār(i)ñc (107 b1) «не мое (f) сердце» (< *mā nāñi āriñc*).

Однако если в предшествующем конечному гласному слоге имеется редуцированный [ä], этот ä никогда не проясняется при девокализации, ср., напр.:

šñy āñcām (149 b4) «сам себя» (< *šñi āñcām*) — не **šāñy āñcām*, хотя ср. *šāññā* «сам собой».

ytsy onu (YQ-13 a5) «идти начавший» (< *ytsi onu*) — не **yātsy onu*, хотя ср. *yāt* «ты идешь».

Это и понятно: девокализация конечного гласного представляет собой особый поэтический прием, направленный на соблюдение требуемого числа слогов в строке. Однако при прояснении [ä] использование этого приема становится абсолютно бессмысленным, потому что общее число слогов не меняется, ср. *ytsi onu* и **yātsy onu* — то и другое по 3 слога.

Таким образом, предположение П. Поухи невозможно; прилагательное **kārāšnu* не существует. Что же представляет собой фрагмент *kārāšānw oki*? На наш взгляд, в этом фрагменте действительно представлено метрическое сандхи, но не формы прилагательного **kārāšnu*, а формы N-Асс Pl *kārāšāntu**. В пользу этого решения говорят следующие соображения:

— принадлежность слова *kārāš* именно к этому типу склонения ныне удостоверена данными рукописи MSN, ср. *kārāšāntwä wärtāntwam* (YQ-6 a7) «в джунглях и лесах» (форма *kārāšāntwä* почти наверняка представляет собой описку вместо Loc Pl *kārāšāntwam**);

— в написании *kārāšānw* вместо *kārāšāntw** нет ничего необычного: в одной только рукописи №№ А 1–54, к которой принадлежит и текст А 41, такой пропуск *t* встретился как минимум еще дважды, ср. *kāswonenwāšši* (5 a2) G Pl от *kāswone* «благо», *ñareynwāš* (34 b2) Abl Pl от *ñare* «ад»;

— общий смысл строки А 41 а1 в этом случае совершенно понятен; она содержит вполне стандартный сравнительный оборот: [t]pär šāwe ı kārāsānw oki sä /// «высокий, словно большие джунгли...».

Однако возникает и новая проблема: слово *kārās* неизменно трактуется как относящееся к женскому роду, тогда как форма N-Асс Pl m *šāwe* этому противоречит.

Прежде чем рассматривать соответствующие данные тохарского А, заметим, что тохарское В *karās* относится к категории «Sg m», ср., например: *samsārāšše karāsne* (В 212 а4) «в джунглях круга перерождений (N-Асс Sg m)». Разумеется, соответствующие друг другу тохарское А и тохарское В слово могут различаться по роду; однако противоположная ситуация является гораздо более обычной.

В тохарском А находим следующие релевантные примеры:

māka nātse kārās (60 а6) «многоопасные (N Sg) джунгли». Форма *māka-nātse*, несомненно, может быть формой N Sg m. Как выглядит у прилагательных такого типа форма N Sg f, неясно; не исключено, что эти две формы не различаются;

cam ype šim kārāsaṃ (YQ-17 b3) «в джунглях этой страны (Асс Sg)». Форма *ype-šim* представляет собой регулярный Асс Sg m. Конечно, она может представлять собой и Асс Sg f, ср., например, *wäl klyoṣ rape šim wašem* (436 b4) «царь услышал мелодичный голос» (*wašem* «голос» — достоверный *femininum*), но такие примеры сравнительно редки, скорее ожидалась бы форма *ype-šinām**;

/// *ñ tās kārāsaṃ* (321 а8). Именно на основании этого фрагмента все существующие словари относят тохарское А *kārās* к ж. р.; никаких других причин для этого, как мы только что убедились, нет. Не исключено, что слово *kārās*, подобно, например, словам *pāk* «часть» и *šāñ* «искусство» [Thomas 1964: 113, 148], испытывает колебания в роде. Однако вполне возможно, что это слово все же относится к числу *masculina* — в том случае, если форма *tās* в строке 321 а8 представляет собой не Асс Sg f от *sās* «этот, он» («в этих джунглях»), а омонимичный ему 3 Sg Conj от *nas-* «быть» («будет в джунглях»). С учетом всей совокупности данных это последнее решение представляется нам безусловно предпочтительным.

7. *A wāktasurñe* или *wāknasurñe*?

Лексема *wāktasurñe* встретилась в тохарских А текстах трижды (5 b1, 342 b3, YQ-2 а2), все три раза в составе выражения *šla wāktasurñe* «с почтением (?)». Морфологическая структура этого слова была проанализирована А. Й. ван Виндекенсом. Оно представляет собой абстрактное существительное с суффиксом *-rñe*, построенное на базе прилагательного **wāktasu*, в котором, в свою очередь, выделяется суффикс *-asu* [van Vindekens 1976: 553]. К этому можно добавить, что сочетание суффиксов *-asu-rñe* является идеально правильным, поскольку показатель *-rñe* присоединяется только к основам с исходом на *-u* и *-o*, ср., например, *yāslu* «враг» — *yāslurñe* «враждебность», *ymassu* «разумный» — *ymassurñe* «?» (*šla ymassurñe* «осмотрительно (?)» (YQ-22 b5)), *ekro* «бедный» — *ekkrorñe* «бедность», *mkälto* «маленький» — *mkältorñe** «детство» [Burlak, Itkin (в печати)]. Однако следующий деривационный шаг, предложенный ван Виндекенсом, — «l'élément **wākt-* se

rattache à i.-e. **ueq*«-», “dire, parler”» [van Vindekens 1976: 553] — не выдерживает никакой критики: тохарские А прилагательные на *-asu* не образуются от индоевропейских глаголов, они образуются от тохарских А существительных. Между тем никаких следов существительного **wkät* в тохарском А не обнаруживается; конечно, с учетом ограниченности корпуса тохарских текстов, этот факт может быть простой случайностью, однако следует считать и с возможностью того, что при анализе существительного *wäktasurñe* была допущена какая-то ошибка.

Как известно, надежное различие согласных *t* и *n* в большинстве тохарских рукописей невозможно («of course *-n-* and *-t-* are notoriously difficult to distinguish» [Adams 1999: 404]), что неоднократно приводило к неверным интерпретациям. Соответственно, вполне допустимо предположить, что вместо предложенного Э. Зиггом и В. Зиглингом *wäktasurñe* следует читать *wäknasurñe*. Более того: рукопись из Яньци относится к числу тех тохарских документов, где различие между *n* и *t* скорее выдерживается, и анализ фотографии фрагмента YQ-2a [Ji, Winter, Pinault 1998: 324] подтверждает правомерность именно такого чтения. Эта поправка обладает несомненным достоинством: мотивирующая основа для прилагательного *wäknasu** обнаруживается непосредственно в тохарском А. Разумеется, речь идет о существительном *wkäṃ* «способ».

Тохарские А прилагательные на *-su* ~ *-asu* ~ *-assu* делятся на несколько групп. Некоторые из них явно заимствованы из тохарского В, ср.: *eñkalsu* «страстный» (= В), *ymassu* «разумный» (= В), *skassu** «счастливый» (В *skwassu*), *äkessu* «последний» (YQ-9 a1; В *akessu*); наличие нехарактерного для тохарского А двойного *s* заставляет предполагать влияние тохарского В также в прилагательных *tuñkassu* «влюбленный» (< *tuñk* «любовь»; В *täñkwassu*) и *šolassu* «жизненный» (< *šol* «жизнь»; В *šaulassu*). Особняком стоят два прилагательных на *-su*: *kipsu** «стыдливый» (< *kip* «стыд»; тип склонения неизвестен) и *klopamtsu** «полный страданий» (? < *klopant* N-Acc Pl от *klop* «страдание»).

Однако ядро данного морфологического типа составляют прилагательные на *-asu*, никогда не выступающие с двойным *s* и имеющие собственно-тохарское А происхождение:

- klopasu* «страдающий» (< *klop* «страдание»)
- näkmasu* «хулительный» (< *näkäm* «хула, брань»)
- pälskasu* «мысленный» (< *pältsäk* «мысль»)
- mañkasu* «греховный» (< *mañk* «грех, недостаток»)
- spaltkasu* «старательный» (< *spaltäk* «старание, усилие»).

Существенно, что 4 из них образованы от существительных одного и того же типа склонения — с N-Acc Pl на *-ant*, ср.: *klopant*, *näkmant*, *pälskant*, *mañkant*. Эта закономерность, собственно, не имеет исключений: формы Pl слова *spaltäk* неизвестны.

Слово *wkäṃ* «способ» принадлежит к тому же типу склонения, ср. Instr Pl *wäknantyo*, удостоверяющее N-Acc Pl *wäknant**. Таким образом, существование прилагательного *wäknasu**, образованного от *wkäṃ*, представляется более чем вероятным.

Что касается семантической связи между *wkäm* и *wäknasurñe*, то, очевидно, здесь имеет место какое-то идиоматическое изменение смысла, характерное для дериватов от слов со значением «способ», ср. рус. *способ* «способ» — *способность* «способность». С учетом отсутствия промежуточного звена (прилагательного *wäknasu**) и неясности точного значения слова *wäknasurñe* более определенные заключения на этот счет представляются преждевременными.

8. А *śal* «*подошва*» без *pe* «нога»?

В тохарских А берлинских текстах несколько раз встретился композит *śal-pe** «подошва ноги», ср.: All Pl *śalpenac* (253 a3), Loc Pl (*śalpenam* (429 b7). Напротив, в рукописи MSN находим *śalam penam* (YQ-8 b5) и *śalam pem* (YQ-5 a6, YQ-12 b3). Поскольку элемент *śal** в этих примерах стоит в форме Loc Pl, ясно, что перед нами не композит, как во фрагментах А 253 и А 429, а сочетание из двух слов. Это обстоятельство позволяет задаться вопросом о том, может ли *śal* употребляться как отдельная лексическая единица, т. е. не в сочетании с *pe* «нога».

Рассмотрим с этой точки зрения строку А 48 b4: —[yā]ris yokmis śal•i t[o]rās /// [Sieg, Siegling 1921: 27]. Никаких сомнений в этой строке не вызывает только форма *yokmis* — G Sg от *yokäm* «дверь, ворота». В предшествующем — [yā]ris, на первый взгляд, едва ли можно усматривать нечто иное, нежели G Sg от *wyār* «монастырь» (< скр. *vihāra* тж.), тем более что в соседнем тексте № 49 это слово встречается многократно. Но знакомство с фотографией текста А 48 однозначно свидетельствует о правоте Э. Зига и В. Зиглинга: буква у имеет независимое, а не подписное начертание, и, таким образом, ей не может предшествовать согласная. Тем самым перед нами остается выбор из трех возможностей: либо в строке 48 b4 представлено ранее неизвестное тохарское А существительное, либо писец допустил ошибку (пропустил *w*), либо, наконец, слово «монастырь» здесь единственный раз оказалось записано в какой-то форме, более близкой к санскритскому оригиналу, например, в форме (*vi*)[yā]ris.

Судя по словоделению, предложенному публикаторами, они рассматривали *śal•i* как некоторое существительное, а *t[o]rās* — как Abs от *tā-* «ставить, класть». Однако слово *śal•i* нигде более не представлено, и смысл всего выражения остается неясным. Что касается принятой в [Poucha 1955: 128] трактовки *t[o]rās* как Abl от *tor* «пыль», то она может рассматриваться исключительно как курьез.

Мы предлагаем членить заключительную часть строки А 48 b4 иначе — *śal•it[o]rās* — и усматривать в ее составе лексему *śal*. Выражение *yokmis śal* в этом случае несомненно интерпретируется как «порог двери». Семантическое развитие «подошва» > «порог» встречается очень часто, ср. хотя бы лат. *solum* «*подошва* ноги, основание, почва, пол etc.» > современное французское *seuil* «порог». Что касается формы *•it[o]rās*, то она почти наверняка представляет собой Abs от *tsit-* «касаться». В пользу этого предположения говорит целый ряд соображений. Как показывает анализ фотографии, сохранившиеся фрагменты нижней части лигатуры, предшествующей акшаре *t[o]*, вполне допускают чтение (*t*)[*s*]. Общий смысл строки так-

же оказывается вполне понятен: —[yā]ris yokmis śal (t)[s]it[o]rāṣ /// «коснувшись порога двери монастыря (?)...». Наконец, сама выявленная нами конструкция находит себе очень точную параллель, ср. *āsānis āñc tsitorāṣ* (A 315 a3) «коснувшись низа сиденья» (наречие *āñc* «внизу, вниз», как кажется, употреблено здесь в функции существительного). Ясно, что в обоих случаях речь идет о какой-то форме выражения почтения, — скорее всего, о низком поклоне.

Итак, в тохарском А может быть выделена лексема *śal* «подошва (ноги), порог (двери)».

9. A *lepäs** «шакал»

Трудный для понимания и не слишком хорошо сохранившийся текст А 375 посвящен «кладбищенской» тематике и являет собой один из характерных образцов буддийского *contemptus mundi* — с противопоставлением былой красоты и посмертного уродства, выразительным описанием множества червей, поедающих тело умершего, и т. д. Особый интерес представляет последняя сохранившаяся строка этого текста — b5:

/// ne 1 arkāmnā-ā — krānāsī lepāsī k_vñāś yāmā—

Несколько букв, утраченных в центральной части строки, могут быть восстановлены путем ее сличения с другими тохарскими А текстами. В *krānāsī* с уверенностью узнается (*su*)*krānāsī* — G Pl от *sukrām** «какая-то хищная птица-падальщик (возможно, коршун)». Это слово, трижды встретившееся в тексте А 154, представляет собой заимствование — вероятно, через посредство какого-либо праkrita — из санскритского *śukrāṅga* (В. Томас [Thomas 1964: 155] переводит санскритское слово как «Geier»).

Для предшествующей лакуны в [Poucha 1955: 10] была предложена конъектура *arkāmnā-(s)ā*. Эта реконструкция основана на том, что в тохарских А текстах не засвидетельствовано ни само слово *arkam** «кладбище» (= В *erkau*), ни форма Pl *arkmām** (В *erkenma*), а лишь образованное от формы Pl прилагательное *arkāmnā-ṣi* «кладбищенский», ср.: *arkāmnā ṣim wārtam* (55 b5) «в кладбищенском лесу», а также *arkāmnā ṣi* /// в рассматриваемом нами тексте (375 a4). Заметим, что текст А 55 также пронизан мотивами *contemptus mundi* и имеет ряд нетривиальных лексических пересечений с текстом А 375 (см., в частности, ниже). Тем не менее реконструкция П. Поухи с очевидностью невозможна: прилагательное *arkāmnā-ṣi* просто не имеет формы **arkāmnā-ṣā* или сколько-нибудь похожей на нее. С другой стороны, сам по себе отрезок *arkāmnā* может представлять собой Perl Pl от *arkam**. Переводить эту форму, очевидно, следует как «на кладбище», что прекрасно согласуется с контекстом. Перевод «на кладбищах» менее вероятен: дело в том, что рассматриваемая лексема ведет себя фактически как *plurale tantum*. Об этом свидетельствует и внутренняя структура прилагательного *arkāmnā-ṣi*, и данные тохарского В, ср., например: *tā_v erkenmasa ṣalāre* (В 560 a2-3) «е на кладбище (Perl Pl) положили». По предположению Д. К. Адамса [Adams 1999: 95—96], форма Sg *erkau* в тохарском В представляет

собой результат обратного образования от Pl; о существовании аналогичной формы в восточнотохарском нет вообще никаких данных. Если в тексте A 375 действительно представлен Perl Pl *arkämnā*, перед нами первый пример, когда слово «кладбище» обнаруживается в тохарском A непосредственно, а не в составе производного прилагательного.

Рассмотрим теперь употребления слова *k_yñas* «ссора». Помимо текста A 375, оно встречается еще дважды:

A 238 a3: *mar wac k_yñas yāmimtār* «пусть война и ссора не делаются»

A 353 a5: *mā k_yñas upamā(ñcs)ā* «ссору не делающими».

Как видно, слово *k_yñas* встречается в тохарских A текстах **только** в составе конструкции «отрицание + *k_yñas* + глагол у- “делать”». Таким образом, загадочное (•)ā- это просто отрицание (m)ā «не».

Итак, рассматриваемый нами фрагмент приобретает вид: **! arkämnā (m)ā (su) krānāsī lepāsī k_yñas yāmā-**

«на кладбищах между стервятниками и *lepās*’ами ссора не (делается)» (в какой в точности форме стоит глагол «делать», установить невозможно).

Существительное *lepās** встречается в тохарском A еще только один раз (в форме Perl Pl) — замечательным образом, опять-таки в тексте № 55:

//// (•)räsyo śalcantrā lepāsā tāpärk : (55 b1).

Этот пример позволяет удостоверить форму рассматриваемого существительного, но — из-за фрагментарности и неясности контекста — не дает никаких сведений о его значении.

В то же время общий смысл фразы о ссоре между стервятниками и *lepās*’ами, как кажется, позволяет предполагать для слова *lepās** значение «животное-падальщик», а конкретнее — «шакал». Это предположение, основанное исключительно на логических соображениях, находит себе два чрезвычайно весомых независимых подтверждения.

Первое из них обнаруживается в предшествующей индийской традиции, а именно, в «Махабхарате». 12-я книга «Махабхараты», «Шантипарва», открывается рассказом о смерти и воскрешении брахманского мальчика [Tiwari 1979; Петрова 2005]. После того как родители умершего ребенка принесли его на кладбище посреди леса, они стали свидетелями спора КОРШУНА (*grdhra*) и ШАКАЛА (*jambuka*). Первый из них «стремится заставить родственников умершего поскорее уйти, пока не зашло солнце, а второй — остаться и ждать в надежде на чудо. Оба отличаются удивительным красноречием и ссылаются на различные источники и учения, например, Калаваду» [Петрова 2005: 186—187]. Доходящая до деталей близость между гл. 149 «Махабхараты» и фрагментом A 375 b5 исключает возможность случайного совпадения. Очень интересно, что отголосок того же сюжета обнаруживается в тексте, созданном уже в XX веке человеком, не понаслышке знакомым с индийской культурой, — в знаменитой «Балладе о Востоке и Западе» Редьярда Кипплинга, один из героев которой, Камал, говорит (выделено нами. — С. Б., И. И.):

If I had raised my bridle-hand, as I have held it low,
 The little JACKALS that flee so fast were feasting all in a row:
 If I had bowed my head on my breast, as I have held it high,
 The KITE that whistles above us now were gorged till she could not fly.

Второе подтверждение касается предполагаемой индоевропейской этимологии тохарского *A lepäs**. Кажется несомненным, что это слово входит в тот же ряд, что и греч. ἀλώπηξ «лиса», арм. *atuēs* «лиса», скр. *lopāśa* «шакал», перс. *rōpās* «лиса», возможно, также лтш. *lapsa* «лиса».

Как видно, соответствия между приведенными словами не вполне регулярны — особенно это касается вокализма, — тем не менее кажется возможным реконструировать и.-е. обозначение мелкого хищника-падальщика в виде **Wp-Vk'*; тохарское слово вполне укладывается в эту модель.

В совокупности все приведенные соображения позволяют со значительной долей уверенности говорить о существовании тохарского *A lepäs** «шакал».

Принятые сокращения и условные обозначения

3 — третье лицо глагола

арм. — армянское

гл. — глава

греч. — древнегреческое

дв. ч. — двойственное число

ж. р. — женский род

лтш. — латышское

перс. — персидское

скр. — санскритское

A — активный залог

Abl — аблатив

Abs — абсолютив (особая глагольная форма, близкая к деепричастию предшествования)

Acc — аккузатив

Adj — прилагательное

All — аллатив

Comit — комитатив

Conj — конъюнктив

Du — двойственное число

f — женский род

G — генитив

HL — ἄλαξ λεγόμενον

Instr — инструменталис

Ipf — имперфект

Loc — локатив

- m — мужской род
 M — медиальный залог
 MSN — «Maitreyasamiti-Nāṭaka» (по [Ji, Winter, Pinault 1998])
 N — номинатив
 N-Асс — номинатив-аккузатив
 Perl — перлатив
 Pl — множественное число
 PP — причастие прошедшего времени
 PPA — активное причастие настоящего времени
 Pr — презенс
 Pt — претерит
 Sg — единственное число
 SV — отглагольное существительное на *-l-une*

ЛИТЕРАТУРА

- Бурлак 2000 — Бурлак С. А. Историческая фонетика тохарских языков. М., 2000.
 Бурлак 2003 — Бурлак С. А. К вопросу о двойственном числе в тохарском А // Сравнительно-историческое исследование языков: современное состояние и перспективы: Тезисы докл. Междунар. науч. конф. М., 2003.
 Бурлак, Иткин 2004 — Бурлак С. А., Иткин И. Б. Тохарский текст А 446: еще одна рукопись тохарской версии Maitreyasamiti-Nāṭaka // Вопр. языкознания. 2004. № 3.
 Петрова 2005 — Петрова М. И. Сюжет о смерти и воскрешении брахманского мальчика: Обычай «выставления» по материалам «Махабхараты»: «Шантипарва» (кн. 12, гл. 149) // Индоевропейское языкознание и классическая филология-IX (чтения памяти И. М. Тронского): Мат-лы конф., проходившей 20—22 июня 2005 г. / Отв. ред. Н. Н. Канзский. СПб., 2005.
 Adams 1983 — Adams D. Q. Studies in Tocharian vocabulary III: three Tocharian B terms for parts of the upper body // Journal of the American Oriental Society. 103. New York; New Haven, 1983.
 Adams 1999 — Adams D. Q. A dictionary of Tocharian B. Amsterdam; Atlanta, 1999.
 Blažek 1999 — Blažek V. Tocharian — Anatolian isoglosses II (5—6) // Tocharian and Indo-European Studies. Copenhagen, 1999. Vol. 8.
 Burlak, Itkin 2000 — Burlak S. A., Itkin I. B. *ṃāñca-kaum* et autres addenda et corrigenda // Tocharian and Indo-European Studies. Copenhagen, 2000. Vol. 9.
 Burlak, Itkin (в печати) — Burlak S. A., Itkin I. B. A Grammar of Tocharian A (Phonology. Morphophonology. Morphology) (в печати).
 Ernout, Meillet 1939 — Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. P., 1939. (4^e éd. P., 1994.)
 Isebaert 1980 — Isebaert L. De Indo-Iraanse bestanddelen in de Tocharische woordenschat. Vraagstukken van fonische productinterferentie, met bijzondere aandacht voor de Indo-Iraanse diafonen *a, ā*. Diss. Leuven, 1980.

- Ji, Winter, Pinault 1998 — *Ji Xianlin* (in collab. with *W. Winter, G.-J. Pinault*). Fragments of the Tocharian A Maitreyasamiti-Nāṭaka of the Xingjiang Museum, China [Transliterated, translated and annotated by ...] (Trends in Linguistics. Studies and Monographs. Vol. 113). Berlin; New York, 1998.
- Krause, Thomas 1960 — *Krause W., Thomas W.* Tocharisches Elementarbuch. Bd. 1. Heidelberg, 1960.
- Pinault 1999 — *Pinault G.-J.* Restitution du Maitreyasamiti-Nāṭaka en tokharien A: Bilan provisoire et recherches complémentaires sur l'acte XXVI // Tocharian and Indo-European Studies. Copenhagen, 1999. Vol. 8.
- Pinault 2002 — *Pinault G.-J.* Tocharian and Indo-Iranian: relations between two linguistic areas // Indo-Iranian languages and peoples (Proceedings of the British Academy. 116). Oxford, 2002.
- Poucha 1955 — *Poucha P.* Thesaurus linguae Tocharicae dialecti A. Praha, 1955.
- Schmidt 1996 — *Schmidt K. T.* Das Tocharische *Maitreyasamitināt. aka* im Vergleich mit der uigurischen *Maitrisimit* // *Emmerick R. E. et al.* (eds.). Turfan, Khotan, Dunhuang. Vorträge der Tagung / Annemarie v. Gabain und die Turfanforschung. (Berlin, 9—12.12.1994). Berlin, 1996.
- Shimin, Laut, Pinault 2004 — *Shimin H., Laut J. P., Pinault G.-J.* Neue Ergebnisse der Maitrisimit-Forschung (I) // Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. Leipzig; Wiesbaden, 2004. Bd. 154.
- Sieg, Siegling 1921 — Tocharische Sprachreste / Hrsg. von E. Sieg, W. Siegling. Bd. 1. Die Texte. Berlin; Leipzig, 1921.
- Thomas 1964 — *Thomas W.* Tocharisches Elementarbuch. Bd. 2. Heidelberg, 1964.
- Thomas 1979 — *Thomas W.* Formale Besonderheiten in metrischen Texten des Tocharischen: Zur Verteilung von B *tane/tne* «hier» und B *ñake/ñke* «jetzt». Mainz; Wiesbaden, 1979
- Thomas 1985 — *Thomas W.* Die Erforschung des Tocharischen (1960—1984). Stuttgart, 1985.
- Tiwari 1979 — *Tiwari J. N.* Disposal of the dead in the Mahābhārata: a study in the funeral customs in ancient India. Varanasi, 1979.
- Van Windekens 1976 — *Van Windekens A. J.* Le Tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. Vol. 1: La phonétique et le vocabulaire. Louvain, 1976.
- Walde, Hofmann 1954 — *Walde A., Hofmann J. B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 2. M—Z. Heidelberg, 1954.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И СЕМИОТИКА

OF GIFTS, SOVEREIGNS, AND PHILOSOPHERS

I can substitute part of my possessions; I will not notice that some things are missing even though they were mine; yet I cannot forget the loss of certain objects, if they were my *inalienable possessions*. Vjatcheslav Ivanov claims: «the linguistic analysis of the possessive categories can be very useful in demonstrating fundamental traits of the social psychology of an era. The nature of these categories helps to describe personality and determine the boundaries of self along with phenomena that are part of its domain»¹. The affective link between a person and a thing can be so strong that one cannot exist without the other; a disappearance of an object can destroy part of self, or even cause the annihilation of one's identity. Charles Fillmore maintains that inalienable possession is a universal deep category (grammatical or semantic); implied here are *inherently relational concepts*, body parts and terms of kinship². Inalienable possession refers to acts of taking possession of the world, and is constitutive of personal identity. Thus inalienable possession mobilizes research on the «institutional dimension of life» (Pierre Legendre) as the cyclic reproduction of genealogical order. The relationship between the individual and a community is founded upon a figurative staging of this operation.

A diversity of forms of possessing has not escaped the attention of anthropologists; for they study «things located outside of social contract, non-negotiable phenomena beyond the law of reciprocity» (Maurice Godelier). Already at the beginning of *The Gifts: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies* (1923—1924), Marcel Mauss proposes a distinction between objects that are part of the exchange system and those excluded from it; the latter, even if they begin to circulate, must remain essentially connected with their original owners³. Mauss lists plaits with crests or regalia (i.e. armcoats connected with the land, clan, and family in Samoa); copper goods stamped with crests (First Nations of North West America); Maori *taonga*, coats, objects made of jade. These

¹ Иванов В. В. Синхронная и диахроническая типология посессивности // Категория посессивности в славянских и балканских языках / Ред. В. В. Иванов. М., 1989. P. 11.

² Fillmore Ch. J. Form and Meaning in Language. Vol. 1. Papers on Semantic Roles. Stanford, 2003. P. 92—94.

³ Godelier M. L'énigme du don. Paris, 1996. P. 53. A. Gregory (Gifts and commodities. London, 1982) takes inalienable possession as *differentia specifica* of the economy of primitive societies.

immeubles cannot be dissociated from the idea of residence or their consecutive owners; they constitute *richesse inalienable*⁴.

Michel Panoff has described the process of exchange of this type of goods, using the example of rings carved in the shell of the giant clam (*tridacna*) of the Maenge tribe (Melanesia). The transfer takes place on three levels, depending on the social function and type of relationship between givers and receivers. Rings neutralize the sin of homicide (*prix du sang*), serve as a *prix de la fiancée*, accompany food offerings during ceremonies, and can be traded for basic necessities. They are regarded as communal possessions, deeds of spiritual forces. «The majority of *big men* of the Maenge tribe know their actual owner, the clan associated with their history, and when last they changed hands. [...] This knowledge [...], belong among the most important non-material possessions that differentiate the clans»⁵. Names of rings are derived from the ancient lexicon: «they are part of the commonwealth of a clan or subclan [...]. The virtual reign of the community over these particulars is announced in the act of naming them»⁶. Local subclans are divided into smaller groups, each having at its disposal a trove of rings in charge of which is the *big man* or someone with equivalent authority.

Inalienable possessions form the ‘visual substitute’ of history (Weiner). Managing them is associated with authority; their brokerage is a means for the ancestors and deities to legalize the sacred, social and political orders. Genealogy and the secret knowledge of myths and rituals legitimate the identities of their owners, conferring upon them the status of individuals⁷. Societies with the central power likewise keep royal jewellery outside of circulation, for this gives them a sacred aura. The past contained within them is an antidote to destructive forces of time, a source of present and future power, a guarantor of the status quo in the constantly changing world⁸. Although they can be exchanged, become marketable goods, or be a form of payment for services, they ought not to circulate freely, allowing other things to do so. On the Triobriand Islands, priceless objects, names of lineages, and the right to land are given for a limited time (typically, a period equal to life cycle of the receiver); later, the giver or his heir request the return of the goods. So hidden remain the tjurunga stones of Aborigines; for during matrimonial ceremonies, only copies of stones are given⁹. The rule *Keeping-While-Giving* underscores the tension implied in the possible transfer: «The inherent tension in keeping-while-giving follows from two fundamental contradictions: one, the challenge to give is in the same time a challenge to the ability to

⁴ Annette B. Weiner (Inalienable Possessions. The Paradox of Keeping-While-Giving. Berkeley, 1992. P. 46) might have been the first to emphasize the importance of this distinction in Mauss' work.

⁵ Panoff M. Objets précieux et moyens de paiement chez le Maenge de Nouvelle Bretagne // L'Homme. 1980. Vol. XX/2. P. 11.

⁶ Ibid. P. 13.

⁷ Weiner A. B. La richesse inaliénable // Revue du M.A.U.S.S. 1988. № 2. P. 155—156. The inalienable object is a medium of a message: *we show who we are and where we come from* (such was the formula of the Tlingit, North America); (Inalienable... P. 103, 181).

⁸ Weiner. La richesse inaliénable. P. 126—131.

⁹ Ibid. P. 143—146; Inalienable Possessions. P. 108.

keep, and two, the challenge to surrender the documentation of difference between exchange participants is, at the same time, a challenge to the guardianship of autonomy»¹⁰. The flow of goods, seemingly balanced through the obligation of reciprocity, obscures the hierarchy of things effected thanks to inalienable possessions. Their inherent power of creating differences between things attracts other goods and effects a rivalry whose ultimate stake is an honour. Social obligations cannot be dissociated from the risks, triumphs or the loss of goods, and so from the question of prestige¹¹.

Social structure is recreated through total services, which mobilize capital, the energy of groups and individuals, and keep reproducing ceremonial rites, kinship, and relations of power. This complex social operation combines three basic mechanisms: those pertaining to marketable goods (the act of selling implies that the object and its owner are dissociated); those pertaining to valuables, which always retain their bond with original owners; finally, those pertaining to the *sacra*, excluded from exchange as gifts passed on to ancestors from deities, serving as markers of the historical identity of the group. And yet shifts between these categories are possible; and so the same object in one context included in the domain of alienability, appears as a part of valuables, and in another context — acts as *sacra*. The exchange of valuables is regulated by two complementary rules, designed to control the right of ownership: the rule of inalienable possession and the rule of alienable use (*un droit de propriété inaliénable*; *un droit d'usage aliénable* respectively). The receiver gains the right of use of an object that is alienable without gaining the exclusive right of ownership¹². Meanwhile, the flow of goods seems autonomous enough, setting up relations between individuals who observe the rules of exchange, making things behave like persons. Valuables are doubly substitutive. They serve as the substitutes of *sacra* in the process of an exchange. Yet during ceremonies like marriage, burials, and initiation rites, they replace persons, functioning as bridewealth or compensating for someone who was killed. The 'alienability' equates them with common goods, associating them with wealth. Yet the dimension of *sacrum* elevates them to the level of sovereign power. These qualities make possible the circulation of valuables; in the process, they mobilize relations of power and kinship, and help reinforce or reproduce the already existing system of bonds¹³. The belief that gifts possess souls and can influence things and people, transforms the consciousness in such a way that *universum* becomes the anthropomorphic extension of society. The microcosm (individual) contains the macrocosm (society), which in turn embraces the former and is contained within it. And so gift economy becomes a key element of the operations of the *sacrum*¹⁴.

¹⁰ Weiner. La richesse inaliénable. P. 150.

¹¹ Ibid. P. 141—143, 146.

¹² Hence the transformation of the formula *Keeping while Giving* into *Keeping-for-Giving-and-Giving-for-Keeping* (Godelier. L'énigme... P. 53).

¹³ Godelier. L'énigme... P. 139—142; Godelier M. Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l'anthropologie. Paris, 2007. P. 72—86.

¹⁴ Godelier. L'énigme... P. 145—147.

Objects possessing the aura of *sacrum* must be protected; they ought not to be sold or given away. They are inalienable and indissociable. They must not be treated as common symbols but as sources of power located outside of the human realm, giving birth to social *un-knowledge* and practices of exclusion. At play is a peculiar veil that separates the humans and their products, obscuring processes of creation and reproduction, the meat of social relations, and making the community non-transparent to itself⁵.

Godelier emphasized mechanisms of transformation — inversion — between *sacra* and persons. Arthur Maurice Hocart (1883—1939) described the mechanism of sacralisation of the human (sovereign); he writes «the earliest known religion is a belief in the divinity of kings»¹⁶. According to Hocart, the origin of the notion of soul can be found in ceremonial rites, which articulate a distinction between the authentic and incomplete life, spiritually or corporeally. No object or person inherently possesses one form of might or one type of immortal soul, but rather they partake in the principle of life-force, which is to be protected and renewed. What is necessary is a cyclical process of transference from one «container» to another having the capacity to absorb in full the transferred content¹⁷. In *Kingship* (1927), Hocart compared ceremonial rites of swearing an official and the consecration of the sovereign as a representative of the sun-god, securing the lasting power for the dynasty: «The sun-god, that is the essence of the sun, has by the sacrifice become attached to a man; it has become his other self, his soul. That man dies and this soul is transferred by another sacrifice to his successor»¹⁸. According to Hocart, the regal ritual has become a model for different ceremonies that adapted its form and structural elements. The act of consecration (the former self of the sovereign dies in the ceremonial act, giving birth to a new divine form) coincides with the burial. Hence enthronement is the basis of the belief in the immortality of the soul, the idea inscribed within the cyclic renewal of the most important element, the life itself¹⁹.

Hocart takes the original form of the ritual as associated with a transfer of power and the dead king becoming a god. This act is accompanied by the human sacrifice, real or symbolic, that captures the becoming of a king in the act of dying. The soul passes on to a descendant and this cycle is repeated endlessly; each sacrifice gives birth to a successor (the real one, sworn during a ritual ceremony)²⁰. According to the logic of the ritual, death is a source of life, of social order, and of the *sacrum*, the royal attribute. Equal in

¹⁵ Godelier. *L'énigme*.... P. 240.

¹⁶ Ivanov frequently referred to works of this incomparable but underappreciated anthropologist (Иванов В. В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. I. Знаковые системы. Кино. Поэтика. М., 1998. P. 782—787).

¹⁷ Hocart A. M. *Au commencement était le rite. De l'origine des sociétés humaines*. Paris, 2005. P. 77—78, 82; *Idem*. *Les progrès de l'homme*. Paris, 1935. P. 166—167, 224—225.

¹⁸ Hocart. *Kingship*. London, 1969. P. 231—232. The symbolism of the sun in Christianity (in Byzantine Empire and Western Europe), its relationship with Christ and the figure of the sovereign, was analyzed by Kantorowicz E. H. *Le lever du roi*. Paris, 2004.

¹⁹ Hocart. *Kingship*. P. 74—76.

²⁰ Let us bring up another cultural context. Chief assistant of shamans were human-like guardian spirits, typically a recently deceased shaman. According to another belief, when the shaman

importance to a priest, sovereign reigns over *universum*; he ought to die a ritual death in order to give forth life; and he must become the sacrificial body in order to be reborn as a god. The sacred dimension of sovereigns makes them depositaries of divine orders; the king is doubled²¹. In a Hittite ritual performed after the death of the sovereign, one spoke of the deceased king or queen as deities; the type of monument occasioned as their ceremonial representation would indicate the ceremonial origin of the formula linking death with divinity; the deceased ones passed on into a cult²².

Hocart recalls a hymn dedicated to the cosmic man Purusha and the ceremony symbolically equating the world = the human = the priest = the sacrifice. He stresses that the hymn, like the Bible, concerns the creation and death of the Human. The act makes Him the king (of the world). The sacrificer (the person in charge of the ritual, making the offering) discovers in the sacrificial body his other self, and at the same time becomes the other self of the offering. In a huge leap, Hocart takes us from the Vedas to the mysteries of Christianity. «The host is the body of Christ, a mystical body. It becomes the body of Christ by the performance of prescribed rites. But the Christ is the sacrifice. Through that body the communicant unites himself with the sacrifice who is God, and thus he attains to immortal life»²³. Sacralisation of the sovereign requires sacrifice, which in turn makes possible his apotheosis. Hocart points out the examples of treating a deceased sovereign as the offering, echoing the phenomenon known in the context of Vedic ceremonies of the sacrificer acting as the symbolic equivalent of the offering. Fictitious death of sovereign taking place during enthronement would then be a soft version of his real death²⁴. The space of the ritual is a space of play between him and his death; one dies in order that life be born. (Semantics of this circular movement was a subject of analysis for Olga Frejdenberg; note also that for Mikhail Bakhtin, carnival is a symbolic restaging of the same process of inversion.) Death elevates humans to the level of sovereigns, conferring upon them the nimbus of sacredness, making them the keystone that preserves the being of societies. The process of reproducing the *sacrum* obscures the actual violence; at the origin of the sacred remains the innocent offering²⁵. The spectacle supports the idea that the ceremonial function is a function that belongs to sovereign power, reproducing the likeness between the deity and the king. Sacralisation of the king who never

departs to the spirit land, his soul enters the body of his successor; *Алексеев Н. А.* Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт ареального исследования). Новосибирск, 1984.

²¹ *Hocart A.-M.* Rois et courtisans avec introduction de Rodney Needham. Paris, 1978. P. 264—268.

²² *Иванов В. В.* Реконструкция структуры символики и семантики индоевропейского погребального обряда // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд / Ред. В. В. Иванов, Л. Г. Невская. М., 1990. С. 6—10.

²³ *Hocart.* Kingship. P. 224.

²⁴ *Hocart.* Au commencement... P. 142—144. The symbolic ceremonial death of sovereign in traditional African societies is today a subject of intense studies; see: *Systèmes de pensée en Afrique noire* 1990. № 10: «Chefs et rois sacrés».

²⁵ In pursuing this line of thinking significant role play the works of R. Girard, V. N. Toporov.

dies has in its background the *mysterium tremendum* of the Man-God, who dies and returns from the dead as the king of the world.

Anthropology of ancient Greece helps to articulate the problem of inalienable possession in relation to the birth of philosophy. Louis Gernet pointed out a double meaning within the opposition between the visible and invisible. In religious practices, auguries reveal the invisible; from the point of view of pre-law, visible are goods that are inalienable²⁶. The legacy of *oikos*, head of the family constitutive of its identity and prestige, must remain in fixed opposition to the always shifting herds of cattle²⁷. Luxuries and extravagant objects were called *klēmata*, implying a seizure in a war or contest, or an exchange of gifts, but never trade. *Agalma* implies the wealth of nobility, and during the classical period signifies an offering, particularly a statue of a deity. Mythical tripods and rings are portrayed as gifts of supernatural origins whose possession is linked to sacred and royal powers. Hidden under ground, in a *thésaurus* — they are the emblems of glory, inspiring awe mixed with reverence, loyalty, and pride²⁸. They have a paradoxical status: they remain outside the system of exchange, yet whenever brought to light facilitate communication with the world of gods; they return there and come from there, as Gernet writes²⁹. In the Greek antiquity, the function of sovereign was similar to the sovereign of the Middle East: to consolidate power on the economical, political, and religious levels. He is the owner and giver of goods; his treasures are the source of prestige, testifying to his unique relationship with deities; like the magus, he controls the cycles of nature and weather. In his judgments-oracles *Alétheia* lines up with *Mnémosyné*, the gift of knowing future, past and present³⁰.

Toward the 6th Century BC, among the sectarians there emerges a new form of religious and philosophical thought. Different procedures and modes of thinking essentially echo the earlier forms concerning Memory and *Alétheia*, yet this time in relation with special attention to personal salvation, reincarnation, and asceticism. The function of memory shifts; memory becomes a means of transcending time while *Alétheia* symbolizes a timeless reality revealed in the form of fixed and immovable Being³¹. Though philosophy articulates itself in opposition to the thought of religious sects, it echoes religious models and practices (note the poem of Parmenides). These ideas, and the notion of soul as independent from the body, appear among the first Pythagoreans and become later associated with the philosophy of Plato. Let us list key elements pointed out by Hocart in relation with the notion of soul: the ruler as an elevated being; the idea of purification and preparation for the death. For the chosen ones, the path of life (as a myth about

²⁶ Gernet L. *Anthropologie de la Grèce antique*. Paris, 1982. P. 227—238.

²⁷ Vernant J.-P. *Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique I*. Paris, 1980. P. 156—157.

²⁸ Gernet. P. 125—135, 152—155, 169—170.

²⁹ Finley M. I. *Le monde d'Ulysse*. Paris, 1990. P. 73—74; Scheid-Tissinier E. *Les usage du don chez Homère. Vocabulaire et pratiques*. Nancy, 1994. P. 42, 60—61.

³⁰ Detienne M. *Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque*. Paris, 1967. P. 41—44.

³¹ *Ibid.* P. 124—136.

the transmigration of souls) is a means of becoming god (so think Pythagoras and Empedocles). *Alétheia* is initially a speech, the privilege of poets and augurs organized into brotherhoods, who possess the knowledge about what was and what will be. Memory had a sacred dimension: the „Master of Truth» comes in contact with the other world in order to «decipher what remains invisible in this world»³². Exercises of memory, *anamnesis*, regarded as a form of purification, refer in the thought of Empedocles and Plato to the archaic traditions of the Magi. The former described the mind using the word *prapides* (diaphragm), signifying both an organ of the body and an activity of the psyche. Such is the link between breathing techniques and the soul (breath) that can leave the body and travel to the other world, and return back to earth full of prophetic knowledge. This form of treasure echoes the image of *Zeus Ktésios* revealing himself as the cup of ambrosia, the drink meant to confer ageless immortality³³.

Hocart presents the ritual death as a central motif. Plato's philosophy, overcoming a demoniacal orientation of the mysteries, affirms immortality of an individual soul. The ritual experience and praxis become spiritual practices concerned with attention to death, *melete thanatou*, which introduces a whole new type of immortality³⁴. The immortal life is born in the act of gazing on death; it is a triumph over death, a kingdom of responsibility and freedom³⁵. Rituals studied by Hocart are related to the social institutions whose goal is to guarantee a continuity within the system of power. Greek philosophers, by contrast, perform an incredible shift. In response to the experience of death (of an individual or of the world) there emerges the idea of the core of world-being, which is neither born nor it dies. Greek thought springs forth from the reflection on that which is eternal.

Translated by Tomasz Michalak

³² *Detienne M.* Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. Paris, 1967. P. 24—27.

³³ *Vernant.* P. 95—96, 113—114.

³⁴ *Derrida J.* Donner la mort. Paris, 1999. P. 15—18, 26—27.

³⁵ See: *Patočka J.* Platon et l'Europe. Séminaire privé du semestre d'été 1973. Paris, 1997.

А. И. Коваль

РЕМЕСЛЕННИКИ СЛОВА У ФУЛЬБЕ (СУБСАХАРСКАЯ АФРИКА)

1. Употребленное в заголовке выражение *ремесленники Слова* — отнюдь не просто фигура речи. Предмет статьи составляет издавна существовавший и сегодня реально существующий социальный институт — особое ремесленное сословие, приуроченное к исполнению практики Слова — речения, сказывания, прежде всего — сказительства.

Подобные социально-ремесленные образования, часто именуемые «кастами», довольно широко представлены в разных этнокультурных средах в Африке южнее Сахары, в том числе у народов сараколе (сонинке), манден (манинка и бамана), фульбе, волоф, сонгай, хауса и др. Особо типичны они для крупных народностей, переживших в своей истории стадию собственной государственности. Каждая из этнических сред располагает своей терминологией для обозначения ремесленных «каст», но, учитывая их высокое ареальное подобие (подобие как социально-структурное, так и функциональное), не будем избегать общего термина *гриот* как уже утвердившегося и широко применяемого в литературе в значении '(африканский) ремесленник Слова, сказитель, певец, музыкант'.

Не углубляясь здесь в вопрос о первичности или заимствованности данной общественной формации у того или иного этноса (вопрос, весьма осмысленный и несомненно заслуживающий отдельного изучения), остановимся лишь на материале, касающемся одного из крупнейших народов Субсахарской Африки — *фульбе* (аутоэтноним: *ful-b'e* — форма множественного числа, *pull-o* — форма единственного числа). В литературе имеет также хождение протяженный ряд терминов для обозначения 'фульбе' — *фула, пель, фулани, феллата, тукулор* и др. Такой высокий уровень разнообразия этнообозначений в значительной степени обусловлен предысторией этноязыковой ситуации данного народа, а именно — условиями постепенного и разноместного оседания исконных скотоводов-номадов, в результате чего ныне большие и малые «острова» оседлых и полuosедлых фульбе (реже — также и кочевых групп) образуют гигантский и мало с чем сопоставимый по масштабу многомиллионный «фульбский архипелаг», простирающийся в полосе степных саванн от Атлантики на западе и до Голубого Нила на востоке.

2. В сообществах фульбе гриоты занимают достаточно определенное место в *традиционной социальной иерархии*. Согласно старой традиции, иерархическая лестница фульбского общества различает, прежде всего, три основные ступени.

Высшую ступень занимает сословие «свободных» (*римбе*), т. е. в первую очередь — собственно (чистокровные) фульбе, составляющие ядро этноса и имеющие в прототипе пастушескую деятельность, низшую ступень — сословие «несвободных», т. е. земледельцев и «слуг» — этнически гетерогенный слой населения, некогда сложившийся в условиях сервилльной зависимости от фульбе. Гриоты принадлежат к среднему, промежуточному социальному слою, объединяющему «касты» ремесленников. Кроме гриотов — мастеров **слова** к профессионально-ремесленным сословиям в фульбских обществах принадлежат мастера по **дереву** (*lawb'e* — резчики, плотники, лодочники); мастера по **коже** (по диалектам: (*w*)*aalawb'e*, или *garanke* (термин из языка сонинке), или *sakke* — скорняки, кожемяки, башмачники); **ткачи** (*maabuub'e*) и мастера по **металлу** (*waylub'e* — кузнецы). Другие ремесленные профессии, такие как гончарный или красильный промыслы, менее единообразно структурированы в фульбских социумах (горшечное дело, крашение может быть занятием женщин одной из «каст»; определенной тенденцией к обособленному оформлению исторически отмечены еще, например, рыболовы и воины). Таким образом, гриоты занимают свою нишу в традиционном «общественном разделении труда» наряду с другими мастерами-ремесленниками: профессионально манипулируя вербальным материалом, обрабатывая его, они создают свой продукт — словесные произведения. Подобно другим ремеслам, где исполнение продукции и ее «отчуждение» в пользу общества возмещается определенной платой, обычай требует и обязательного вознаграждения гриота за исполнение его произведений.

В современных государствах сословия, конечно, уравниваются в гражданских правах. Однако традиция сословного деления весьма живуча, и особенно она поддерживается эндогамностью выделяемых групп (с запретом на межсословные браки прежде всего и связано привлечение понятия «каста»). Важным маркером социальной принадлежности продолжают оставаться «клановые имена» — патронимы, или фамилии, в норме особые для каждого из сословных подразделений и сегодня хорошо удерживаемые исторической памятью народа.

3. Обращаясь к вопросу о **терминологии**, связанной с институтом гриотства у фульбе, следует прежде всего оговориться, что термин *гриот* является привнесенным, внешним по отношению к африканским этнокультурным средам (где сегодня, впрочем, он тоже получает заметное хождение); об источнике данной формы нет общепринятого мнения. «Словарь французского языка в Африке» В. Т. Клокова, предположительно определяя португальский источник, дает слово *griot* как основную репрезентацию соответствующего соционима, используя при этом дополнительные отсылки к синонимичным вокабулам — *хозяин речи* (*maître de la parole*); *традиционалист*; *сказитель* (*diseur*) и др., включая ряд обозначений-варваризмов из отдельных этнокультурных западноафриканских лексиконов [Клоков 1996: 209 и др.].

Терминология гриотского дела в фульбском словаре достаточно разнообразна, что и не удивительно, если принять во внимание широчайшую дисперсию этноса (с возможным разрывом междиалектных связей) и разнообразие культурных контактов фульбе с другими народами. Достаточно красноречив уже тот факт, что

фульбе, при единстве аутоэтнонима, не располагают общим аутолингвонимом. Этот полидиалектный язык имеет два территориально распределенных самоназвания — пулар (*pula(a)*г, западная диалектная зона) и фульфульде (*fulfulde*, центральная и восточная диалектные зоны); составной термин пулар-фульфульде, объединяющий обе формы (объединенные, отметим, и единством «этнического» корня *pul-/ful-*), по сути своей удобен и эффективен для пан-диалектного обозначения (подробнее о состоянии этно- и лингвонимики у фульбе см. [Коваль 2002]).

Соответственно, рассматриваемые далее соционимичные единицы для обозначения гриота в лексиконе пулар-фульфульде могут различаться в зависимости от диалектного ареала, в зависимости от лингвокультурных контактов, а также еще и в связи с внутренней «рубрикацией» гриотского сословия по нескольким разрядам (причем критерии этой рубрикации остаются не всегда ясными).

Наиболее общий, вероятно, фульбский термин *гауло* (*gawlo*, во множественном числе — *awlub'e* и др. фонетические варианты) может быть сопоставлен с соответствующими образованиями как в родственных языках (например, *gewel* в волоф), так и в языках контактирующих: ср., в частности диалектное арабское *гуввал*, обозначающее профессионального певца, создателя и исполнителя касыд, широко распространенных в Магрибе, особенно среди бедуинов [Завадовский 1962: 27].

Другой широко представленный в самых разных частях фульбского ареала (от Сенегала на западе и до Камеруна на востоке) термин для обозначения 'гриота' — *бамбадо* или, как вариант, *бамбаджо* (*bammbaad'o* или *bammbaajo*, форма множественного числа — *wammbaab'e*). Народная этимология уверенно связывает формы *bammb-aa-d'o* — *wammb-aa-b'e* с общефульбским глаголом *wammb-a* 'принять на спину, нести на спине', в переносном значении — 'взять на обеспечение, покровительство, заботиться' (семантический сдвиг мотивирован, в первую очередь, обыкновением матерей носить маленьких детей за спиной). Морфологически эти формы, действительно, как будто соответствуют регулярным перфект-пассивным причастиям от указанного глагола; вариантная форма *bammbaa-jo*, однако, этой этимологии не подтверждает, поскольку ее финальная флексия *-jo* не типична для причастий (ср. в этой связи собственное имя *Bammba*, которым наделяется «первый гриот» в некоторых социо-этиологических легендах). Но, даже и будучи сомнительной, трактовка наименования гриота как 'взятого на обеспечение' интересна тем, что она отражает общее представление о социальном статусе гриота как «клиента при патроне». Согласно общественному установлению, гриот (и даже целый гриотский клан) может быть связан с влиятельным «свободным» родом постоянной клиентской связью, которая налагает на обе стороны взаимные обязательства. В обязанности гриота входит не только знать генеалогию рода патрона и совершать соответствующие хвалебные оглашения, но также и исполнять различные общественные роли в интересах патрона — быть его советчиком, вести переговоры, выступать посредником в брачных делах и т. п. Патрон, в свою очередь, обязан заботиться о своем гриоте, вознаграждать его, поддерживать его семью материально, способствовать ему в его личных начинаниях.

К числу соционимов, используемых для обозначения 'гриота', следует отнести также и *ньеньо* — пуеуо (с вариантом п'еуо), исходно имеющее более широкое значение 'ремесленник (вообще), член ремесленной касты, «кастированный»'. К тому же словообразовательному гнезду, что и пуеуо-о, относятся и такие лексические единицы, как абстрактное имя пуеу-а! со значениями 'искусство; мастерство; умелость, ловкость' и глагол пуеу-а 'стать / быть умелым, ловким', а также 'стать / быть льстивым' (последнее значение уже непосредственно связано с хвалебной направленностью речей гриота). В центральном и западном ареалах фульбе слово пуеуо в значении 'гриот' встречается не реже, чем в общем значении 'ремесленник'; это показывает, что гриотская специализация индивидуума определяется в конечном счете его происхождением из ремесленного сословия. Наблюдаемое здесь синекдохическое сужение 'ремесленник' > 'гриот' обусловлено тем, что вообще гриотские функции, специфично закрепленные за *аулубе* или *вамбаве*, в социальном узусе потенциально доступны представителю любой из ремесленных «каст». Иначе говоря, гриотство как профессиональная деятельность социально детерминирована двумя факторами, наделенными разным весом: принадлежность к (любой) ремесленной «касте» является фактором разрешающим, а принадлежность к собственно гриотской касте — фактором рекомендательным, а может быть, и предписательным. От гриотской семьи *ждут*, что их дети изберут ремесло слова в качестве будущей профессии, хотя в конкретных случаях выбор может зависеть и от дополнительных соображений — либо от планов семьи, либо от личной одаренности молодого человека, его склонностей, его успехов и т. д. Общество ждет, что гриотская семья по крайней мере кому-то из потомства обеспечит профессиональную подготовку в семье или же определит его в особую школу, где мэтр-гриот обучит его мастерству сказительства и музыки.

Среди профессионально разграниченных ремесел особо сильную связь практика сказительства имеет с *ткачеством*. Многие приобретшие известность сказители (особенно практикующие героико-эпический жанр) являются выходцами из среды ткачей-*маабубе*. Связь ткачества и сказительства находит проявление и на уровне социальной терминологии: на значительной части фульбских территорий понятия 'ткач' и 'гриот' предстают почти как нечто цельное, воплощенное в слове *маабо* — *маабо* 'а) ткач, член касты ткачей; б) сказитель' (словарь Доминика Ноа дает для восточного диалекта несколько отличную форму *таабајо*, мн. ч. *тааба'ен* в сопровождении перевода 'гриот (поющий хвалы кому-л. без музыкального сопровождения)' [Noye 1989: 234]). Соотнесенность словотворчества с ткачеством, вообще, не является редкостью, она, как известно, прослеживается в самых разных этнокультурных традициях (ср. ее отголосок в наших выражениях наподобие *вплести в ткань текста*, где последний элемент восходит к латинскому *textus* < *texo* 'тку'). Для нашей темы особый интерес представляют наблюдения индоевропейцев об архаической корреляции между поэтическим речепроизводством и «техническими» ремеслами. Хотя в компаративной индоевропеистике, в отличие от африканистических наблюдений, вопрос о кастовой детерминированности данного фено-

мена не ставится, упомянутая корреляция широко прослеживается и возводится к праиндоевропейскому состоянию, находя выражение на уровне специальной лексики. На это со всей убежденностью указывают авторы труда «Индоевропейский язык и индоевропейцы»: «Одной из характерных особенностей индоевропейских металингвистических обозначений поэтической речи представляется метафорическое применение к поэтическому искусству терминов ремесленного производства» [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 835]; далее авторы подтверждают это обобщение языковыми свидетельствами, показывающими связь значений ‘сложить песнь, сочинять’ и — ‘изготавливать, плести...’; ‘песнь, песнопение’ и — ‘связывать, скручивать’; ‘связный поэтический текст, произведение’ и — ‘связывать, шить, скручивать’. Не составляет труда привести интересные примеры подобных метаязыковых метафор и из фульбского культурного словаря. Так, в двух квазисинонимичных выражениях *Miin seeki ngol jimol* \approx *Miin hetti ngol jimol* ‘Это-я сочинил эту песню’ участвуют два глагола с первично «производственной» семантикой: *seek-a* ‘рассекать, разрывать, колоть, тесать’ и *hett-a* ‘резать, кроить’. В переносном смысле первый из глаголов, *seek-a*, чаще сопрягается с творчеством музыкальной природы (ср.: *Miin seeki ndee wudere* ‘Это-я сочинил эту мелодию / этот мотив’), а второй, *hett-a*, — с креативной речемыслительной деятельностью: в «Полидиалектном словаре глагольных корней» К. Сейду последнее трактуется как ‘создать, придумать, измыслить (какое-то слово, неологизм, вымысел)’ [Seydou 1998: 275].

Наряду с уже рассмотренными характерно фульбскими соционимами ‘гриота’, для фульбской среды вполне типичны и термины, заимствованные из языков близко соседствующих этносоциумов со сложившейся традицией гриотизма. Наиболее широкое распространение получили слова *джели* (*jeli* из языка манден) и *нямакала* (с метатезой от сонинке *пуахамало* ‘зависимые, клиентела’ [Diawara 1990: 37]). Термины *джели* и *нямакала*, в силу функционально-культурного тождества, нередко используются у фульбе просто как синонимы к характерно фульбским именованиям гриотов. Наряду с этим возможно их встретить и в более специальном, собственном значении — как обозначение *иноплеменных* «людей слова», ведущих свое происхождение из соответствующих этносов (манден или сонинке), но могущих при этом практиковать свое ремесло и в иноязычной среде. Следует сказать, что вообще билингвизм (или даже полилингвизм) «мастеров слова» отнюдь не кажется неожиданностью в условиях того тесного взаимодействия (и культурного и бытового), которое характерно здешним этнически сложным сообществам, где порой для многих людей владение двумя-тремя языками составляет чуть ли не норму. Разноязычные навыки особенно востребованы для гриотов, нормально ведущих мобильный образ жизни: странствуя (поодиночке или группами, семьями) от одного селения к другому, они рассчитывают на оказию, которая позволит им продемонстрировать свое искусство и кое-что заработать. Языковые барьеры могут возникать как из-за этнической чересполосицы поселений, так и из-за разнородности населения в пределах одного населенного пункта. И в том и в другом случаях ремесленники слова играют значительную роль в межэтнической культурной коммуникации. Впрочем, бродячие гри-

оты практикуют по преимуществу «малый» жанр — простейшие хвалебствия, зачастую общего характера и не лишённые стандартности (постоянная смена «адресата» требует, конечно, своего профессионализма).

Что же касается крупных сказительских форм, серьёзно ориентированных на интересы и вкусы определенной этнической аудитории, то они, естественно, предполагают глубинное укоренение создателя/исполнителя в данной этнокультурной почве. Билингвизм гриота должен быть подкреплён и «би-культуризмом» (а также, добавим, и личным талантом гриота); отдельные случаи, когда гриот полноценно практикует сказительство на разных языках, могут иметь место, но все же это встречается достаточно редко. Обычно языковая аутентичность значительных нарративов поддерживается даже на фоне тотального бытового многоязычия. Так, суданским ученым-филологом Ал-Амином Абу Манга было опубликовано на двух языках, фульфульде и хауса, сказание «Ваажанкаго», записанное (1980 г.) публикатором от его земляка сказителя и музыканта Фашира Аббакар Хассан. Как сообщается в публикации, в той местности, где это произведение пользуется широчайшей известностью (Майвурно), царит всеобщее трехязычие (фульфульде, хауса и арабский). Тем не менее, Фашир Аббакар Хассан исполняет «Баджанкаро» лишь на фульфульде, и именно этот текст и был зафиксирован собирателем, хаусанская же версия была подготовлена им специально для данного издания, в целях «ознакомления читателей-хауса с искусством сказительства на фульфульде» [Abu-Manga 1985: 6]. Отметим, что данное издание имеет особую ценность в связи с тем, что оно отражает сказительскую традицию в самой крайней (восточной) точке фульбского ареала, отделенной не одной тысячей километров от областей высокой активности фульбских гриотов.

4. Как уже можно было заметить, гриоты имеют разный *модус общественно-го существования*. Если одни из них, как упоминалось, ведут странствующий образ жизни, другие, напротив, могут быть стабильно (и даже во многих поколениях) прикреплены ко двору влиятельной «свободной» семьи, членам которой гриот и адресует свое искусство. Гриот может вести и достаточно независимое существование, участвуя в жизни социума: его приглашают на семейные и общинные сходы, он, как правило, обязательный участник традиционных празднеств, устраиваемых по случаю свадеб, наречения новорожденных именем (аналог «крестин»), приезда важного гостя и по другим торжественным поводам. На таком празднестве гриот — один из главных его организаторов, церемониймейстер, важнейшая фигура, обеспечивающая, так сказать, ритуализованную «концертную программу» схода.

Следует заметить, что в целом едва ли возможно установить прямые и жесткие корреляции между обозначенными модусами существования гриотов и теми ремесленными категориями, терминологические обозначения которых мы рассмотрели выше. С одной стороны, от одной местности к другой эти соотношения могут не совпадать. С другой стороны, модус существования гриота, в силу тех или иных биографических обстоятельств, может измениться, что отнюдь не обязательно влечет за собой изменения в роде его деятельности. Примером этого может слу-

жить достаточно подробно представленная в книге К. Сейду история жизни знаменитого нигерского *маабо* Бубакара Тенгиджи, который долгие годы безотлучно жил при дворе одного из местных правителей, а после смерти последнего вел независимое существование, получив возможность совершать далекие путешествия [Seydou 1972: 11—15, 24].

Отраженное в терминах «суб-кастовое» членение фульбских гриотов не может породить попытки выявить признаки, по которым различаются их разряды. В качестве одного из критериев иногда предлагается, в частности, различение по социальному статусу потенциального адресата гриотской речи: например, *маабо* адресуется, будто бы, исключительно к благородным *римбе*, тогда как *гауло* менее строг в выборе и может восхвалять даже гриота *маабо* (тот же источник — [Seydou 1972: 23—25]). Возможно, и стоит признать, что фигура *гауло* относительно демократична, но если мы хотим удержать картину в целом, намного важнее заключить, что тот или иной конкретный вид гриотской деятельности в конечном счете определяется личным выбором гриота и конкретной ситуацией. Один и тот же словесный жанр может присутствовать в репертуаре гриотов, принадлежащих разным разрядам. Чтобы не оставить это утверждение голословным, сошлемся на пример с личными именами известных гриотов, чьи произведения уже получили отражение в литературе. Согласно одной из традиционных антропонимических моделей, имя человека может включать компонент, непосредственно указывающий на происхождение индивидуума. Такой компонент — *гауло* vs. *маабо* vs. *бамбадо* — мы встречаем в именах создателей и исполнителей текстов героико-эпического жанра: Самба *Гауло* Футанке (от которого производил запись Жильбер Вьейар в 1928 г.), *Маабал* Самбуру (запись Амаду Хампате Ба, опубликованная в 1968 г.) [Seydou 1972: 10], Хусейни Ам'Бамбагал [Коваль 1990] (два последних выделенных компонента, *Maabal* и *Bambagal*, представляют собой морфологические аугментативы от слов *maabo* и *bammbaad'o*, т. е. обозначают, соответственно, 'большой / великий *маабо* / *бамбадо* / гриот'). Данный пример лишний раз подтверждает правомочность рабочего применения в анализе — впредь до уточнения соответствующих делимитаций — широкого термина *гриот* как родового, перекрывающего грани видовых кастовых подразделений.

Отметим, что в вопрос о внутренних профессионально-сословных перегородках не вносят большой ясности и имеющие хождение социо-этиологические легенды о происхождении первого гриота. Известна сюжетная схема о трех братьях, разошедшихся по избранию ими разных дел: один предался пастушесству (*пулло*), второй занялся деревообделочным ремеслом (*лаббо*), третий избрал словесное ремесло, песни и музыку (это и был первый *бамбадо*). Другая, более развернутая фабула рассказывает о двух терзаемых голодом братьях; жалея младшего, старший тайно отрезал мясо с собственной ноги и накормил брата. Когда правда вышла наружу, младший в знак благодарности стал воспевать старшего брата, славя перед людьми его добродетельность и жертвенную щедрость. На роль младшего брата легенды определяют иногда *маабо*, иногда *гауло*. Что с очевидностью прослежива-

ется в этих легендах, так это общая тенденция, претендующая на возведение межсловных связей к исходному кровному родству. Но подстановка гриотов разных разрядов на идентичную роль не способствует обобщающему выводу о различиях между терминологически отмеченными разрядами.

Гриот, знающий свою роль, вооруженный индивидуальной одаренностью и должной социальной тренированностью, органично вписывается в жизнь традиционного социума. В норме позитивное отношение к гриотскому ремеслу сменяется, на уровне социальной психологии, критицизмом в тех случаях, если ремесленник, предлагая свои услуги в не самый подходящий момент, являет при этом активность излишне настойчивую, да еще и облеченную в предельно обедненную, стереотипную форму. Критические нотки этого рода иногда проскальзывают в отзывах фульбе. Но ярче всего, пожалуй, повседневность гриотского ремесла может показать «свежий взгляд со стороны», в связи с чем решимся привести свидетельство европейца-очевидца. «Реакция постороннего» отражена в нижеследующей (немалого объема) выдержке из гвинейских очерков (начало 60-х) известного польского писателя-путешественника Аркадия Фидлера (в очерках подкупает общая осведомленность автора в отношении культуры и истории страны посещения).

На вершине крутого холма над дорогой, прямо над нами, появился голый мужчина с узенькой повязкой вокруг бедер и с пестрыми лентами, замысловато заплетенными в волосы. Это был шут, скоморох, который начал весело напевать.

— Гриот! — закричал Сума с оживлением. (...)

(...) гриот (...) начал спускаться с крутой горы вниз довольно смешным способом, задом наперед, похваливаясь своей акробатической ловкостью. Десятью прыжками спрыгнув на дорогу, он выбрал меня своей целью и, остановившись поблизости, начал петь. На этот раз не на языке фульбе, а на ломаном, но кое-как понятном французском. Его глаза светились дьявольским умом. Это был человек с внешностью записного циника, но выражение лица было жалобно-просительным и одновременно нагловатым. Он сразу взял самый высокий тон и начал превозносить меня до небес в одной лишь превосходной степени: что я прекраснейший, сильнейший, богатейший, умнейший и мое присутствие здесь — честь и слава для страны. Ей-богу, так и воспевал: «честь и слава», поэтому, когда он на мгновение перевел дух, я грубовато прервал его:

— Эй, браток, не валяй дурака! Перестань, черт возьми!

В растерянности он смотрел на меня со зловецим удивлением.

— Ты ведь гриот, ты поэт, — возмутился я. — И меня, своего коллегу, ты хочешь так провести?

— И ты тоже гриот? — ахнул мальй, и лицо его приняло доброжелательное выражение.

— Не гриот, — ответил я, — потому что в моей стране нет странствующих гриотов, зато есть писатели! Я литератор и, значит, твой коллега!

— Ты сочиняешь гимны в честь властителей? — спросил он, ошеломленный.

— Стараюсь, как могу, но у других больше опыта в этом деле ...

Я сбил его с толку. Он не ожидал с моей стороны столь энергичного отпора. Он сразу обмяк, поник, циничность его пропала. Он понял, что ничего из меня не вытянет, и по его грустной физиономии было видно, что он смирился с этим фактом. Он совсем скис. Мне стало его искренне жаль.

Тем временем (...) Сума уже заводил мотор нашего ситроена. Прежде чем подойти к парому, я быстро вложил стофранковую бумажку в руку гриота. Шельма так обрадовался этому сюрпризу, что немедленно вспомнил о своих обязанностях и громким голосом запел мне вслед. И я снова услышал, какой я энергичный, на какие великие дела способен, сколько я сделал для человечества, какой я благородный писатель, благословенный талантами, создатель великих произведений, любимец богов, сеющий добро ...

Гриот пел и пел. Паром двинулся, а восторженная оценка моей литературной деятельности неслась к нам с берега реки (...). Мы уже переплыли реку, а эта позитивная критика была слышна и на другом берегу реки. Река уже скрылась за холмом, и песнь добросовестно работающего гриота, приглушенная расстоянием, стала затихать [Фидлер 1994: 218—219].

Если отбросить присущий перу А. Фидлера общий налет юмора и иронии (который строгого читателя-африканиста скорее коробит), следует признать, что писатель проявил тонкую наблюдательность, выделив в этом эпизоде довольно точные акценты, характеризующие поведение гриота. Подмечены моменты типичного театрализованного шутовства (еще только приближаясь к потенциальной аудитории, гриот движется спиной, прыгает, как бы заранее подготавливая зрителей к представлению). Подчеркнуты сообразительность, быстрые реакции гриота: избрав своей «мишенью» белого человека, он прибегает к «европейскому» языку; угроза сословного тождества заставляет его прервать славословия (в общем случае гриот не должен воспевать гриота); после получения денег его активность возобновляется, его громкий голос оглашает целую округу...

Последний момент, затрагивающий освященную обычаями схему *гриотская акция ↔ вознаграждение*, заслуживает отдельного внимания. Зачастую обязательность вознаграждения объясняют тем, что неудовлетворенный гриот может обратиться хвалу в поношение, вместо дифирамба и панегирика огласить уничтожающий памфлет. Однако по представлениям африканцев неоплаченное хвалебствие таит опасность даже и тогда, если гриот не проявляет злокозненной мстительности. Это связано с особым живущим в африканской среде отношением к Слову, а именно — с почти мистической верой в действительную силу изреченного Слова. Традиционная схема такова: изрекаемое слово — адресовано и, отчуждаясь от изрекшего, должно закономерно перейти во владение адресата. Как раз плата гриоту (эквивалент Слова) и служит знаком того, что слово «освоено» адресатом. Если же слово не вознаграждено, воцаряется коммуникационный хаос: Слово не находит хозяина, становится неуправляемым и может — так сказать, вывернувшись наизнанку — обратиться содержательно в свою противоположность. В наихудшем случае

хвала и благословение обращаются проклятием, и это в конечном счете станет достоянием общественности и не может не нанести ущерба репутации неблагодарного слушателя. И сколько бы ни говорилось о гриотах как о «презираемой касте», об их «низком социальном статусе» (что, конечно, ярче всего проявляется в запретах на брачные связи свободных с гриотами), тем не менее, убежденная вера в могущество материализованного гриотом слова придает этой фигуре вес и уважение (пополам со страхом) в глазах потребителей Слова. Вот в чем главная сила гриота.

5. Не малый культурологический интерес представляло бы выяснить, хотя бы предположительно, какой именно вид вербальной деятельности лежал у истоков гриотского ремесла. Вопрос этот весьма темен, прямые попытки к его решению пока отсутствуют. Исходя из сравнения данных о сегодняшних профессиональных отправлениях ремесленников Слова и не претендуя на абсолютную историческую глубину, можно высказать предположение, что наиболее архаичным и общим моментом является *концентрированное перечисление имен предков (и родственников)*. Как рассказывают, заучивание родословных составляет обязательный этап в профессиональной подготовке гриота (благо что у фульбе число родовых имен-фамилий не столь уж велико и в конечном счете сводимо к четырем «фратриям», или «кланам»). Особенно показательно присутствие перечней имен в *самых разных* текстах, произнесенных гриотами. Как кажется, невозможно указать какой-либо другой текстовый элемент, который с такой частотой и последовательностью вводился бы ремесленниками в тексты разного содержания и разной функциональной направленности, — при том, что гриотская практика Слова очевидно эволюционировала в жанровом (субжанровом) отношении. В разных текстах роль и вес именных перечней могут заметно не совпадать. В текстах одного рода — как, например, в собственно генеалогическом жанре — перечисление имен предков (реальных или мифических) и их деяний представляет важнейшую, конституирующую составляющую. В других же случаях (например, в героических сказаниях) именной перечень может присутствовать без видимой содержательной связи с контекстом, иногда его роль сводится лишь как к средству орнаментации изложения. Нередко оставаясь недоступным интерпретации даже со стороны самих носителей культуры, такой «полу-десемантизованный» перечень, тем не менее, говорит слушателям о многом; с его помощью создается «временной» колорит, рождающий ощущение седой старины. И конечно, герой, орнаментированный подобным образом, получает тем самым приметку знатности и родovitости. Родовой перечень, само собой разумеется, закономерно входит и в тексты собственно хвалебственного жанра (так называемые «хвалебные песни»): гриот славит «адресата», перечисляя имена его предков и родственников и одновременно восхваляя их достоинства и добродетели. Составляя регулярную часть хвалебственных текстов, перечисление предков опускается лишь в отдельных случаях (в том числе в случаях вырожденных, когда хвалебствие адресуется «чужаку»), о родословной которого ничего не известно), уступая место перечислению достоинств (известных или предполагаемых) индивидуума-адресата.

6. В функциональной парадигме словесной деятельности ремесленников важнейшее место принадлежит **большим нарративным формам**, т. е. сказительству в собственном смысле. Сколь ни велика социальная роль генеалогий и хвалебствий в этнических сообществах, но именно объемные нарративные произведения составляют главный вклад гриотского сословия в культуру — культуру как этническую, так и мировую.

В общих рамках сказительства фульбских гриотов достаточно отчетливо прослеживается внутреннее, субжанровое разветвление, позволяющее говорить о заметной тенденции к различению «исторических» преданий и героико-эпических сказаний. Различие между этими двумя разновидностями сказительства проявляется не столько в плане речестилевого построения и исполнения (которые скорее отличаются значительным подобием у гриотов «исторического» толка и у сказителей героического эпоса), сколько в выборе выдвигаемых тем, персонажей и сюжетов. Тексты «исторического» толка посвящаются, как правило, жизнеописанию и деяниям выдающихся фульбских мусульманских деятелей. Самыми главными фигурами здесь являются прославленные правители, стремившиеся (XIX в.) к теократическому объединению фульбских земель; в западном ареале это Эль-Хадж Умар Таль, в центральном — Шейх Ахмед Добрый (Секу Амаду Лоббо), на востоке — Усумани би Фодуйе Дем (Усман дан Фодио). Исторические предания в исполнении гриотов представляют собой своего рода устные «хроники», которые в этом своем качестве используются (с соответствующими, разумеется, предосторожностями) историками-учеными для реконструкции событий предшествующих веков.

Что касается «эпического времени» гриотских героических сказаний, то оно связывается с более ранней эпохой — так называемым временем «Неведения» («Джахилийя»), т. е. временем, предшествующем окончательному установлению ислама и его упрочению во всех сферах общественной жизни. Соответственно духу отображаемой эпохи распределяются и идеологические акценты: если в «исторических» преданиях очевидна установка на морально-этические требования ислама, то героическая эпика сориентирована главным образом на этнические духовные ценности и этническую нравственность.

Различны и стратегические принципы отражения в тексте сообщаемого. Исторические предания основаны все же в большей степени на рационалистических началах, и в фокус внимания гриотов не может не попадать забота о достоверности и согласованности сообщаемых фактов. В фокусе же внимания эпических сказителей, более свободно манипулирующих сюжетными деталями, находится скорее занимательность изложения, его эстетизм, «художественная» достоверность и привлекательность для слушающих.

Вместе с тем, проводимое субжанровое разграничение достаточно условно, — как условны и сами используемые термины '(исторические) *предания*' и '(эпические) *сказания*', не отличающиеся в фольклористском обиходе жесткой определенностью. Тексты того и другого рода, в обоих случаях содержательно мотивированные легендарным прошлым этноса, наследуются, преобразуются и

обнарождаются профессионалами одного и того же сословного ранга. Знаменательно, однако, что сосуществование обоих субжанров в репертуаре *одного* гриота — вещь, не типичная для фульбской традиции. Обычно репутация гриота тесно связана с конкретным жанровым выбором, заявленным в его деятельности. Оценки разных слушателей могут не совпадать, ибо у того и другого субжанра в фульбской среде есть свои приверженцы. Примечательно, что оценки гриотского сказительства варьируют главным образом по оси *(правда — вымысел)*: в категорию «правдивых», как правило, попадают рассказчики мусульманских преданий, противопоставляемые «выдумщикам» — эпическим сказителям. В интервью и беседах с малийскими фульбе чаще всего приходилось встречаться со сравнением творчества таких известнейших в Мали гриотов, как Йеро Арсукула Куяте и Хусейни Амаду Бамбагал. Многие фульбе, отдавая дань сказительскому и музыкальному таланту Хусейни Ам'Бамбагала, определяли его как «фантазера» и «выдумщика», в отличие от Йеро Арсукула — не только блестящего стилиста, но и крупнейшего эрудита, знатока истории Шейха Ахмеда и основанной им империи Маасина. В огромной популярности Йеро Арсукула (увы, — светлая ему память!) автор этих строк имел счастливую возможность убедиться в мае 1995 года, когда в Мали (г. Севаре) была созвана особая конференция, главным действующим лицом которой был этот сказитель и которая собрала многочисленную аудиторию слушателей (см. фотоснимок).



Малийский гриот Йеро Арсукула Куяте с сыновьями
во время сказывания преданий об истории государства Маасина (Ссварс, май 1995 г.)

Если попытаться представить гриотское сказительство в потенциально мыслимой перспективе культурной эволюции, то устную традицию «мусульманских» преданий можно определить как предтечу научного исторического знания, тогда как героико-эпическую традицию — как предтечу художественной литературы, *belles lettres*.

Естественно, что преимущественный интерес филологов обращен к последней форме сказительства.

7. Тексты *героико-эпического* типа слагаются и «поются» гриотами на всем пространстве фульбского ареала, во всех странах фульбской речи, от Атлантики (Сенегал, Мавритания) до долины Голубого Нила (Судан / Эфиопия). Но особенно высокого развития и наибольшей распространенности эпический жанр достиг в центральной зоне фульбского «архипелага» — в так называемой большой петле реки Нигер. Район внутренней дельты Нигера и прилегающие земли, богатые водами и травами, истари освоенные и заселенные скотоводами-фульбе, прототипически соответствуют укладу жизни пастушеского народа. По этим безбрежным заливным лугам и селеньям не раз прокатывались волны исторических событий, сыгравших важную роль в этнополитической и этнокультурной истории фульбе. Совокупность этих факторов способствовала тому, что петля Нигера стала зоной повышенной устно-словесной активности, сказительской и фольклорной. На особую ценность этого культурного очага еще в 20-х годах ушедшего века обращал внимание один из самых выдающихся фуланистов Жильбер Вьейар, замечательный энтузиаст в исследовании материальной и духовной культуры фульбе. Из своих путешествий по сбору фольклорно-гриотских текстов он сообщал: «Самое захватывающее и самое сложное — это песни гриотов... Именно здесь, по моему мнению, самый богатый источник настоящей фульбской поэзии, без — или почти без — влияния ислама, со щедрой игрой слов, с обилием редкостных слов, выражений, образов, смысл которых трудно уловить и перевести которые почти невозможно» (из письма Анри Гадену, приведено в предисловии к [Vieillard 1939: X]).

Наиболее значительный массив проникших в печать героико-эпических текстов был записан от гриотов именно этого региона. В их обнародовании и изучении особенно велика заслуга Кристиан Сейду, крупнейшего французского африканиста и фуланиста, которая не только ввела в оборот мирового эпосоведения превосходно оформленные фульбские материалы, но еще и осуществила собственную циклизацию эпических версий «вокруг» двух центральных персонажей фульбского эпического «пантеона»: один из циклов посвящен «богатырю» Силамаке Белошеему [Seydou 1972], второй — «богатырю» Хамме Красному [Seydou 1976]. Оба циклизированные собрания опубликованы исследовательницей в престижнейшей серии «Classiques africains» в сопровождении французского перевода, исследовательских эссе и комментариев, а также с приложением пластинок, позволяющих получить непосредственное представление о звучании текстов в гриотском исполнении.

Русский читатель имеет в своем распоряжении один из вполне типичных эпических текстов, записанный от знаменитого (уже упоминовавшегося) малийского гриота — *бамбадо* Хусейни Амаду Бамбагал. Поскольку первая публикация памятника накладывает на публикатора особые обязательства, остановлюсь на этом материале несколько подробнее. Текст был письменно зарегистрирован с магнитофонной пленки, привезенной в Москву из Мали моим учеником-коллегой Бурейма Амаду Нялибули, который оказал также неоценимую помощь при нотации, переводе и комментировании текста. Оригинал эпического «Сказания о распре Хаммы Аласейни Гакой и Бонговела Самба Йара» имеет объем, в письменной записи, свыше 1700 стихов, что соответствует полутора часам (или чуть более) реального звучания в исполнении гриотом. Оригинальный текст на фульфульде опубликован в книге [Коваль 1990] в сопровождении двух русских переводов — (1) пословного и (2) литературного. Посредством перевода первого типа, позволяющего поэментно соотносить словесные единицы двух языков, удастся, так сказать, «лингвистически» документировать памятник. Литературно-поэтический перевод, напротив, в достаточно свободной форме отражает содержание и стиль оригинала, — разумеется, лишь в меру способностей и возможностей переводчика. Отмечу, что данная методика двухвариантного перевода была многократно апробирована московской школой африканистики при публикации оригинальных фольклорных текстов. (Автор перевода решает позволить себе ремарку в скобках относительно реакции русских читателей на гриотский, т. е. инородный в этнокультурном отношении текст: отметим, с одной стороны, случай восьмилетней русской читательницы, увлекавшейся, несмотря на этнокультурный барьер, чтением и заучиванием «Сказания»; другой случай — заинтересованная реакция со стороны нашего виднейшего африканиста, Дмитрия Алексеевича Ольдерогге, который придавал особое значение пословному переводу как могущему служить гарантом адекватности в текстовой передаче эпического памятника.) Чтобы дать хоть некоторое представление о соотношении исходного текста с двумя версиями его перевода, используем в качестве примера небольшой фрагмент, рисующий Бонговела, приведенного в бешенство нанесенным ему бесчестьем (эпизод XXV):

D'um nyanngal mettaangal
laddewal so barminaama barme mawd'e,
fawu'aade e muud'um yo fawu'aade e masiiba!
Bonngowel Sammba Yaraa
yo laddeeru barminaandu hannden,
barme naawd'e jupprooje y'iiy'am!

1) Это свирепый разгневанный
могучий-лев что изранен ранами великими,
кинуться к нему есть кинуться в погибель!
Бонговел Самба Йара
есть лев израненный сегодня,
раны тяжкие истекающие кровью!

2) Он пребывает в ярости и гнев
подобно льву, что ранами истерзан:
того, кто подойти дерзнет, ждет верная погибель!
Бонговел Самба Йара ныне —
израненный могучий лев,
из тяжких ран рекою кровь струится!

Оглашенные в заглавии «Сказания» протагонисты принадлежат кругу тех главных героев, которые действуют и в других героико-эпических сказаниях центральной части фульбского ареала. «Эпическое время», как упоминалось, локализуется в историческом преддверии централизирующей государственности, когда на территории будущей империи Шейха Ахмеда Доброго существовали разрозненные фульбские «княжества». Их властители, князья *арбе* и послужили легендарными прототипами эпических героев, чьи имена воспевают гриоты. Это прежде всего: Силамака Йеро Эро-Данде (Ееро-Daande 'Белошей'); Хамма Аласейни Гакой; Бубу Ардо Гало; Бонговел Самба Йара; Хам-Бодеджо Хаммади Пате Йелла (Ham-Bod'eejo 'Хамма Красный'). Героико-эпические сказания «центральных» фульбе, таким образом, достаточно естественно вписываются в общую типологию эпосоведения: в отличие от архаической эпикей, отражающей глубинные мифопоэтические представления народов, в том числе и представления об истоках мироздания, героический эпос стадильно сопряжен с событиями периода предгосударственной раздробленности.

Гриотские сказания рисуют своих героев, князей *арбе*, как «богатырей», рыцарей-всадников, совершающих подвиги — либо сражаясь с иноплеменным вражеством (самый яркий пример — борьба князя Силамаки и его раба-побратима Пуллори за независимость от власти бамбарского княжества Сегу), либо верша, главным образом во имя чести, внутренние междуусобицы. Для русского читателя уместно отметить, что эти сказания как жанр устного поэтического нарратива во многих чертах весьма близки русской былине (самое заметное общее отличие в их бытовании состоит в том, что фульбские героико-эпические сказания — продукт творчества потомственных профессионалов Слова, тогда как былины в период, доступный наблюдению, создавались и воспроизводились людьми, выделившимися из общей массы русского крестьянства). Обращенные в прошлое, гриотские сказания повествуют оседлым — о событиях пастушеских времен, мусульманам — о делах доисламского времени. Эти произведения призваны осуществлять связь времен, одновременно поддерживая в слушателях-фульбе их этническую аутоидентификацию. Подобно мифологизированному Илье Муромцу, Добрыне, Алеше Поповичу, фульбские богатыри-*арбе* имеют невятные исторические корни, зато их эпические образы известны всем и каждому как сублимированное воплощение типичных и ценимых фульбских черт.

Типизация героя в гриотских сказаниях сориентирована на поведенческие стереотипы *пулааку* — специфичной этносоциальной категории, не получающего простого перевода на иные языки. Возможно, в подражание таким изофункциональным образованиям, как *славянство*, *славяница* или *русскость*, понятие *пулааку* (в диалектах тж. *пулаагу*) точнее всего могло бы быть передано новообразованными формами типа *фульбство*, *фульбскость*, *фульбщина*. К числу отражаемых в эпосе нравственных правил *пулааку* относятся такие высокие, как честь, доблесть и отвага, личная гордость (проявляющаяся в сюжетах как мотив самодостаточности героя, в экстремально опасных условиях отказывающегося от помощи), выдержанность и нарочитая не-эмоциональность, а также — щедрость (отбив

стадо у соперника и тем очистив свою честь, герой возвращает сопернику добычу). Наряду с этими высокими, традиционно приписываемыми настоящему пулло моральными проявлениями, эпические сказания выделяют как типовые и более, так сказать, «бытовые» поведенческие требования *пулааку*, такие как отношение к скоту либо отношение к пище.

Так, князь, хоть и показываемый в сюжетах окруженным толпой «своих людей» — слуг, дружинников, тем не менее в определенных ситуациях берется самостоятельно выпасать скот. Согласно поведенческим регламентациям фульбе, проявлять интерес к пище недостойно «благородного» человека, чревоугодие — удел «неблагородных». Особо выделено Молоко (об аксиологической и символической нагрузке *молока* у фульбе см.: [Коваль 2000]). Молоко составляет ту пищу, которая единственно приличествует истинному пулло. Фраза ‘*Он пьет только молоко*’ в эпическом контексте может быть уже достаточной для того, чтобы выразить смысл ‘Он (имярек) настоящий пулло [кому можно доверять и на чью помощь можно полагаться]’. Желая уязвить самолюбие Хам-Бодеджо, правителя Кунари, и тем раззадорить его геройство, одна из героинь эпоса бросила ему подобную фразу — ‘*Если ты не способен, я пойду искать Силамаку Йеро Эро-Данде: вот он-то пьет только молоко, не то что ты...*’ — и ее цель была достигнута: Хам-Бодеджо, согласно его эпической биографии, будучи фульбским князем, женился на дочери правителя бамбарского княжества Сегу, в связи с чем получил прозвище «*pullo Segu, bammbara Kunaari*», т. е. ‘пулло — в Сегу, но бамбара — в Кунари’ (что, в частности, может истолковываться и как намек на компрометирующую приверженность к хмельному, принятому у бамбара).

Прототипически фульбские «бытовые» атрибуты, такие как *коровы, молоко*, обретающие в сказаниях высоко символический смысл, способны выступать и в функции сюжетообразующего концепта. Так, на мотиве *kosam ooli* — ‘молока палевых (букв. желтых) коров’ жидется все сюжетное построение «Сказания о распре Хаммы Аласейни и Бонговела» в изложении гриота Хусейни Ам’Бамбагал. Завязкой послужила похвальба гордячки-жены Бонговела — она-де пьет молоко лишь от коров этой одной-единственной масти:

Молоко от палевых коров — моя единственная пища.

А молока, надоенного без разбору, —

хотя б и от коров, отбитых в доблестном бою, —

моя душа вовек не принимала! (...)

В обычном стаде коров не разделяют по мастям —

и бело-красная пасется рядом с черно-рябой,

а палевая — рядом с красно-рябой,

так что ж, прикажете мне пить

всю эту мешанину, что получают от такого сброда?!

Я не невольница, мой род и чист и знатен!

А та, что нечисть ест и пьет что ни попало,

пусть знает, что таких я презираю!

Когда эти провокационные речи достигли слуха Фатумы, жены Хаммы, они столь глубоко задели ее честь (а стало быть, и честь самого Хаммы), что она дала обет — «пока я не напьюсь от палевых коров, / ни пищи ни воды я не приму, / пускай хоть смерть меня постигнет!/>. Под знаком этого — специфично фульбского — мотива разворачиваются все последующие сюжетные коллизии, включая и столь типичные для героического эпоса вообще — седлание богатырского коня, богатырская вылазка Хаммы, конный поединок Хаммы с Бонговелом, далее — угон палевого стада, вплоть до развязки: Фатума вкушает *kosam ooli*, честь спасена и стадо возвращается Бонговелу.

8. Этот краткий пересказ, можно надеяться, достаточно красноречиво освещает важный общий тезис — гриоты сказывают эпос *о* фульбе и *для* фульбе. Однако гриотские сказания созвучны вкусам и умонастроению фульбской аудитории не только по их содержанию, отражающему идеологию *пулааку*. Тот же тезис приложим и к *формально*-языковым особенностям тонко обработанной речи сказителей-ремесленников. Коснемся, хотя бы вкратце, этой стороны гриотского ремесла.

В арсенале изобразительно-стилевых средств поэтической речи гриотов особое место занимают аллюзивные, «затекстового» характера обозначения важных концептов; выделяются аллюзивные приемы, базирующиеся на грамматических свойствах языка пулар-фульфульде. Подразумеваемый именной концепт может напрямую вообще в тексте не присутствовать, будучи репрезентирован грамматической формой, несущей, через механизм согласования, «намеки» на соответствующее понятие. В роли таких нагруженных аллюзией единиц чаще всего выступают (согласованные) местоимения или «автономно» (без имени) употребленные эпитеты. Дадим здесь лишь простейшие примеры. Так, сюжетный момент отправления героя в богатырскую поездку может быть выражен фразой *O panngi ngol* букв. ‘Он схватил *ee*’ = ‘Он пустился в путь’, где местоимение *ngol* аллюзивно репрезентирует имя *laawol* ‘путь, дорога’. Аналогичным образом употребляется местоимение *kaa* ‘эта’, соотносимое с именем *haala* ‘речь’ (а также — ‘тема, предмет разговора, обсуждаемая проблема’):

Kaa kaaldeten, en kaaldataa ko wanaa kaa kasen — букв.

‘Эту мы-поведем, мы не-будем-обсуждать что не-есть *эта* больше’

= ‘Только эту речь мы поведем, ни о чем кроме мы говорить не станем’.

Некоторые из таких оборотов могут быть формульно закреплены, но они могут также и творчески порождаться сказителем; «украшая» речь, он одновременно рассчитывает таким способом усилить интригующий элемент повествования и повысить интерес к сообщаемому у аудитории. Совместные прослушивания гриотских текстов не раз давали мне возможность быть свидетелем того, как подобные аллюзивные «шифровки» вызывали у слушателей-фульбе повышенно оживленную реакцию, рождая порой и дискуссионные интерпретации.

9. Гриотское *словесное* искусство тесно сопряжено с искусством *музыкальным*. Упомянем, что игра на музыкальных инструментах или даже самый род музыкального инструмента подчас используются как критерий для разграничения субкатегорий гриотов. Отличительным признаком *гауло* нередко признается тамтам, тогда как лютня *ходду* признается типичной для *бамбадо*. Однако, как кажется, это признак либо дистинктивно слабый, либо он неединообразно проявляется в разных ареалах, а скорее всего — и то и другое вместе. К примеру, по свидетельству выходцев из Северного Камеруна публичное оповещение жителей о прибытии на базар партии свежего мяса входит в функции бьющего в тамтам *бамбадо*. Достаточно приблизительно соотносится с реальностью и обобщения типа «*вамбаве* главным образом музыканты», а *аулубе* и *маабубе* суть наиболее аутентичные «ремесленники слова» [Seydou 1972: 23]. Вступают также в заметное противоречие встречающаяся дефиниция *маабо* как сказителя без инструмента, с одной стороны, и свидетельствуемые факты, с другой. Так, конспекты интервью, взятого у сказителя-*маабо* Тенгиджи, выявляют предельно эмоциональное отношение сказителя к его инструменту: истоки своего искусства он прямо связывает с овладением игрой на *ходду*. Еще в детстве унаследовав игру на *ходду* от материнской родни, Тенгиджи совершенствовал свое образование в школе *маабо* Галабу, несравненного музыканта, владевшего «секретами и магией лютни», умевшего повелевать ею и — не касаясь пальцами — заставить звучать живые струны [Ibid.: 12]. (Здесь невозможно удержаться — пусть хотя бы в скобках — от напрашивающейся аналогии со свидетельствами «Слова о полку Игореве» о «соловье старого времени», вещем *Бояне*, *Велесовом внуке*, что «своя вѣщия прѣсты на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху»; не менее знаменательны и другие параллели, в том числе и хвалебственная кода «Слова», но от комментариев мы здесь воздержимся.)

Голосовая плюс музыкальная манифестация гриотского ремесла роднит разные этнические традиции западноафриканского хинтерланда. Так, перечисляя исполнительские и структурные особенности, общие для эпоса фульбе и бамана, Кристиан Сейду подчеркивает их подобие и даже приходит к выводу, что эти эпические песни (*gestes*), «не будь языка, часто могли бы, *mutatis mutandis*, смешиваться» [Seydou 1976: 8]. Не касаясь идейно-содержательной стороны (а ее различие в двух этнических традициях не подлежит сомнению), вывод о «внешнем», исполнительском тождестве сказительства у двух соседствующих народов все же требует существенной поправки. Что касается манеры «голосоведения», она, действительно, обнаруживает высокое подобие у западноафриканских гриотов, характеризуясь особой, специфически «гриотской» настройкой голоса — голоса усиленного (недаром о гриотах иногда говорят, что они «кричат»), отмеченного сверхнормальным напряжением звукопроизводящего тракта и особыми просодическими тембрами (достигаемыми, возможно, за счет поднятия и сужения гортани). При этом, однако, именно музыкальная, мелодическая сторона сохраняет значимость параметра этнодифференцирующего. Не раз приходилось

слышать, как фульбе подчеркивают, что по услышанному издали звуку *ходды*, по самому характеру музыки они сразу и без труда определяют, «кто поет — наш или не наш». В восприятии искусственных фульбе та или иная мелодия, закрепленная традицией, автоматически ассоциируется с определенными эпическими персонажами, с определенными сюжетами или сюжетными коллизиями. Таким образом, традиционная музыка не только украшает гриотский текст, усиливая его выразительность, но также и входит, наряду со словом, в состав семиотических средств по передаче информации.

Сказитель может играть на музыкальном инструменте сам, сопровождая собственному повествованию, а может и пользоваться услугами другого лица, «музыкального ассистента». Часто такое участие оглашается сказителем (в зачине или в финале, а иногда и по ходу повествования). Тот или иной выбор — «собственная» музыка vs. помощь музыкального партнера — определяется в общем случае биографически.

Два языка — вербальный и музыкальный — по большей части звучат синхронно, поддерживая друг друга. Но иногда они и разлучаются. Речитатив гриота, даже если он звучит без сопровождения музыкальным инструментом, все-таки остается в большей или меньшей степени ритмо-мелодически организованным, — ср. обычно применяемое выражение «гриот *поет*», обусловленное отсутствием в европейских словарях более адекватного глагола для обозначения соответствующей мелодико-речитативной манеры сказителя (ср. еще ее другие обозначения, такие как *мелодекламация*, *ритмизованная проза*, *нерифмованная песня/поэзия* и др. под.).

Особенно важна роль мелодии в так называемых словесно-музыкальных *кличах*, или *девизах* — компактных отработанных текстах, гласящих, обычно в иносказательной, метафоричной, аллегоричной форме, о важнейших качествах данного человека или специфичных моментах его биографии. Это особого рода поэтизованный, символический трансформ личного имени человека знатного и/или знаменитого. Устойчиво закрепленная мелодия *клича* может исполняться гриотом и в отрыве от текста, принимая на себя всю полноту ответственности за выражение «смысла», т. е. однозначно соотнося музыкальный клич с соответствующей персонажей. Знаменитые герои эпоса имеют каждый свою мелодию как аналог их личных имен. Более того, как сообщает К. Сейду, свои собственные имена имеют и сами персональные мелодии главных героев фульбского эпоса: «Ндондоре — для Силамаки, Нджару — для Бубу Ардо Гало, Сайгаларе — для Хам-Бодеджо [Seydou 1976: 20]. Отмечу, что опрошенные мною по этому поводу носители фульбской культуры не выказали вполне отчетливых знаний, но не выказали и сомнения в том, что такие имена мелодий существуют и что они могут быть закреплены персонально за определенными героями; по всей вероятности, данный вопрос требует специальной компетенции.

Необходимо, наконец, подчеркнуть особую значимость для сказительства музыки как композиционно-организующего начала: внешнее структурирование по-

вестования может осуществляться за счет чередования вербально-музыкальных частей и чисто музыкальных интерлюдий. Наш опыт письменной фиксации звучащей речи гриота Хусейни Ам'Бамбагал показал, что перемежающие рассказ музыкальные проигрыши (сказитель сам аккомпанирует себе на лютне *ходду*) наилучшим образом обеспечивают содержательное разбиение текста на эпизоды. Введя при публикации соответствующие пометы и таким образом сохранив в точности авторское членение гриота, удалось выявить композиционное совершенство «Сказания», состоящего из тридцати разного объема частей, от зачина с возглашением темы и до концовки, плюс двадцать восемь эпизодов основного текста [Коваль 1990: 16—17].

10. То специальное внимание, которое уделено в данной статье гриотскому словию, ни в коей мере не должно, разумеется, наводить на мысль, будто деятельность гриотов покрывает *все* поле устного творчества в среде фульбе. За пределами этой деятельности (а часто и бок о бок с ней) существуют разнообразные роды устной словесности — как фольклорные в собственном смысле, так и жанры с заметно выраженным авторским началом. Так, сказка, имеющая широчайшее распространение в среде и оседлых, и кочевников, является ярким примером *внесословного* фольклорного жанра. Сказки, конечно, могут рассказываться и гриотом (и, может быть, гриотские версии в целом изощреннее «профанических»), но сказочные тексты как таковые не составляют специфики ремесленного сословия. Любой человек, имеющий к тому расположение, может выступить в роли сказочника (часто обращают внимание на то, что искусством рассказывать сказки отличаются женщины).

Не составляет труда указать и жанры «народной» поэзии, не имеющие отношения к профессиональным ремесленникам Слова. Например, в том же районе большой петли Нигера бытует особый поэтический жанр *мерги*, также имеющий внесословный характер: автором-исполнителем виршей *мерги* может стать любой человек, имеющий дар слова, вне зависимости от его происхождения и профессии. Например, из двух наиболее прославившихся в области Маасина *мергобе* (поэтов — составителей *мерги*), один, Нджидо Каудо Тамбура из Кумбе-Саре, принадлежит сословию земледельцев, а другой, Йеровал из селения Наревал, — «свободному» сословию *римбе*. Виршам *мерги* характерно разнообразие тем. Предметом стиха может быть и какой-то объект природы, и человеческие отношения в социуме; отвлеченные философские материи здесь соседствуют с комическими бытовыми реалиями. Темы *мерги*, иногда обращенные к прошлому, а иногда вращающиеся вокруг повседневных мотивов, могут трактоваться стихотворцами и в шутливой, насмешливой форме, и в тонах торжественных, приподнятых, панегирических (последнее, в частности, относится к «одам» родному языку фульфульде).

Мерги пользуются самой широкой известностью в народе. Достойно удивления то, как широко расходятся по устным каналам эти стихотворные тексты; мно-

гие помнят их наизусть, иногда, впрочем, лишь в виде отрывков. Именно в этом смысле можно говорить о *мерги* как о народной поэзии; но, в отличие от «настоящего» фольклора (ср., например, русские частушки), люди помнят не только стихи, но и имя автора, их сочинившего.

Среди устных жанров, оформившихся за пределами гриотской сферы, требует особого упоминания *поэзия пастухов* — высоко самобытное явление, теснейшим образом связанное с главным делом «этнических» фульбе, пастушеством. Стихи о коровах издревле слагались и продолжают слагаться там, где есть фульбе, но наивысшего расцвета пастушеская поэзия достигает, вероятно, все в той же центральной зоне фульбского «архипелага». В современном Мали этот жанр ныне не только не скудеет, но достигает в некотором роде «общенационального» звучания. Это связано с тем, что исполнение стихов пастухами включено, по издавна установившейся традиции, в общий ритуал празднеств по встрече стад из сезонного кочевья. Перед собравшейся публикой и особым советом (жюри конкурса) пастухи, пригоняющие коров, демонстрируют одновременно и свое пастушеское, и свое поэтическое мастерство; пальму первенства получает тот из них, чьи коровы лучше откормлены и чьи стихи признаны наиболее талантливыми. Авторский статус, таким образом, задается и поддерживается уже самой регламентированностью ситуации оглашения стихов в условиях ритуализованного публичного состязания. Содержательную канву стихов составляют впечатления, полученные пастухом от кочевья, но в центре его внимания неизменно пребывает корова — существо высоко чтимое и воспеваемое. Не жалея красок для восхваления коровы, пастух восхваляет также и ее родословную, — самый этот жанр носит у фульбе название *jamtooje na'i* — «величанья коров». Сочинительство и исполнение *jamtooje na'i* ограничено средой фульбе-пастухов, что существенно отличает этот жанр от поэзии *мерги*, свободной от сословных ограничений. Внесословный характер *мерги*, манифестируя культурное единение гетерогенного общества *пулааку*, делает этот жанр полем пересечения разнообразных устных традиций, идущих и от «безымянного» фольклора, и от профессиональной гриотской поэзии, и от поэзии пастушеской, а также — от ортодоксальной мусульманской поэзии.

Отдельного внимания заслуживает панегирическая струя, которая вообще прослеживается в текстах разных поэтических жанров, но, что примечательно, объекты хвалебствий по устным жанрам не совпадают (ср. корова — у пастухов, родной язык — у *мергобе*...). Что же касается восхваления человеческой личности, — это составляет в основном все же прерогативу мастеров Слова, гриотов. Сочинение и исполнение хвалебных песен *не* гриотом — вероятно, всегда значимое исключение. Подобное исключение, весьма сильно и специально характеризующее героев, отражено в «Сказании о распре Хаммы Аласейни Гакой и Бонговела Самба Йара», где сам Хамма играет (но не на гриотской лютне *ходду*, а на пастушеской *молияру*!) для жены мотивы «Лоббо», а та, в свою очередь, поет мужу хвалебственное приветствие:

Cuuso joom ngaari, dokko joom jawdi, kamale kab'eteed'o! Pullo ceyniid'o, gartiroowo ceunooji! Aali Fune Hamma Maana e Daraame Hamma Maana, gorko Sinngo e Sebee, Naad'i e Kobereri!	Отважный владетель быка, щедрый владетель скота, молодец воинственный! Пулло несущий радость, приводящий коров отрадных! Али Фуне Хамма Мана и Дараме Хамма Мана, муж Синго и Себе, Нади и Кобери!
--	--

Мотив игры Хаммы и славословия из уст любящей и преданной жены не раз обыгрывается в сюжете «Сказания», служа особым средством образотворчества сказителя. Другой пример этого же рода можно обнаружить в новейшей фульбской художественной прозе, которая делает пока еще первые шаги: героиня повести «Песня Даадо» Ибрагима Амаду Дикко (Мали) слагает песню, восхваляющую ее жениха за совершенный им подвиг — спасение села от львицы, терроризировавшей жителей. Здесь в авторском тексте содержится самое прямое указание на редкость сочинения хвалебной песни без участия гриотов-профессионалов: *...Bammbaajo hettanaayi mo ngol, nyeenyo wallaayi mo...* «Даадо сама сочинила эту песню, прямо здесь, на празднестве.» Гриот-бамбаджо не сочинил ее для нее, ремесленник-нъенью не помогал ей. «Песня родилась из ее любви.» [Коваль 1990: 170—171]. Присутствующее здесь восхищение нечаянной творческой удачей девушки не мешает видеть, что фульбская среда, в соответствии с ее общими ожиданиями, полагает, что подобное сочинительство нормально входит в прямую обязанность профессиональных ремесленников. (За недостаточностью убедительных данных не станем останавливаться на вопросе — случайность ли, что в обоих рассмотренных примерах славословие, обращенное к мужчине, исходит из женских уст?) К теме о панегирической линии в фульбской словесности нам еще предстоит вернуться ниже в связи с обсуждением существенного для культуры фульбе отношения *⟨оратура — литература⟩*.

II. Культурно-историческая типология сегодня сохраняет за фульбе — при условии обобщающего рассмотрения разбросанных социокультурных очагов этого народа — статус этноса с *устной доминантой* словесности. Принимая данную квалификацию, следует учитывать, что она в немалой степени обусловлена именно деятельностью гриотов — социально выделенных устных хранителей и передатчиков словесного наследия. И в то же время важно подчеркнуть, что оппозиция *⟨словесность устная — словесность письменная⟩* отнюдь не нова для большинства фульбских сообществ. Знакомство с Книгой — Кораном — и с арабской письменностью уже много веков назад вывело фульбе на перекресток этих двух традиций, устной и письменной. Не один век насчитывают и фульбские опыты по использованию арабской графики (аджами) для письма на родном языке.

Исторический приоритет здесь принадлежит Фута-Джаллону — централизованному теократическому государству фульбе (совр. Гвинея), достигшему особо значительных успехов и в области арабо-мусульманской учености, и в распростране-

нии грамотности на родном языке пулар. На более ранней стадии чтение и письмо составляло исключительную прерогативу свободного слоя фульбе-*римбе*, служа дополнительным фактором сословного размежевания между свободными, с одной стороны, и «слугами» и ремесленниками, с другой. Однако с распространением ислама и с общим ростом грамотности эта сословная грань приобретает некоторую прозрачность: исламизированные гриоты постепенно получают доступ к грамоте и письменному творчеству. Как формулирует Альфа Ибрагима Со, ученый-фуланист и уроженец Фута-Джаллона, движение в сторону грамотности «было настолько всеобщим и необратимым, что гриоты, чтобы удержаться в окружении знати, вынуждены были учиться» [Sow 1966: 13]. Соответственно, в новых условиях претерпевает определенную эволюцию и сам институт гриотов, изначально приуроченный лишь к устному созданию, изустному усвоению и устному воспроизведению текстов. Собственно, устные гриотские отправления, будучи доступными и для неграмотных и для грамотных, сохраняют свое значение. Но в то же время появляются «гриоты-интеллектуалы высокого социального и культурного уровня, которые получили образование и перевели Коран, занимались его толкованием, знают теологию и мусульманское право, участвуют в литературных дискуссиях наряду с другими образованными» [Sow 1968: 11]. Обновленный культурный статус гриота был закреплен, что особо значимо, в титулатуре: образованный гриот-эрудит получал почетный титул *фарба*. «Хроникер и повествователь, *фарба* составляет хроники (*taariix*), рассказы и новеллы, эпические генеалогии (*asko*), сказки» [Ibid.].

В данном перечне Альфа Ибрагима Со не упоминает о панегириках, возможно, трактуя их как подчиненную форму, включаемую в рамки разных жанров. Несомненно, однако, что гриоты-*фарба* не могли остаться в стороне от славословия, — тем более, что восхваления, вполне органично соответствующие диктату и духу арабо-исламской традиции, занимали важное место и в сочинениях ученых поэтов из числа фульбе-*римбе*, которые славили в своих гимнах Аллаха и его Пророка, а затем — и людей, имевших особые заслуги перед религией и обществом. Весьма вероятно, что исторически именно в этом пункте особую силу приобретала творческая взаимоподдержка гриотов, с их опытом в искусстве Слова, и «свободных» литераторов, поступательно расширявших круг своих тем — от чисто религиозных ко все более и более мирским и светским.

Приведенный только что исторический экскурс чрезвычайно важен для осмысления возможных судеб фульбского гриотизма, ибо он свидетельствует, что культурная история Фута-Джаллона представляет нам прецеденты социально оформленного смыкания устной гриотской традиции с традицией книжной учености и письменного творчества вообще.

Десятилетия тому назад работавший со мной фута-джаллонез, историк-археолог (тогда еще молодой) настойчиво обращал внимание на то, что на его родине не только олигархические семьи, но и каждая уважающая себя фульбская семья бережно, как особую святыню, хранила рукописные свитки, излагавшие историю рода; возможно, многие из этих текстов были составлены и «образованными»

гриотами. Возможно также, что многие из рукописей и сегодня продолжают храниться в фута-джаллонской среде — если, конечно, их удалось уберечь от термитов и тлетворного воздействия жаркого и влажного климата (и, добавим, от пережитых политических перипетий предшествующих десятилетий).

Известное фульбское присловье гласит: *Bolle nyolataa* ‘Слова не гниют’. Едва ли можно сомневаться, что здесь подразумевается и нетленность изреченного знания, оберегаемого его стражами и хранителями — гриотами.

Сегодня, подчиняясь общему ходу истории, на страны, где живут фульбе, неотвратимо (хоть в Африке и не очень спешно) накатывает новая волна грамотности. Весьма вероятно, что в меняющихся социокультурных условиях новое испытание на выживаемость ждет ремесленников — мастеров и хозяев Слова, уберегших и донесших до сегодняшних людей в сохранном виде редкостные памятники словесности и в целости — живую практику профессионально-творческого обращения с устным Словом — практику, которую, может быть, знали в своем прошлом многие народы, ныне ее позабывшие.

ЛИТЕРАТУРА

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984.
- Завадовский 1962 — *Завадовский Ю. Н.* Арабские диалекты Магриба. М., 1962. (Сер. Языки зарубежного Востока и Африки).
- Зубко 1970 — *Зубко Г. В.* Фольклор и литература фульбе // Фольклор и литература народов Африки. М., 1970.
- Клоков 1996 — *Клоков В. Т.* Словарь французского языка в Африке. Лингвострановедческие особенности. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1996.
- Коваль 1990 — *Коваль А. И.* Эпос и литература фульбе: К исследованию литературных форм младописьменного языка. М., 1990.
- Коваль 2000 — *Коваль А. И.* МОЛОКО у фульбе. Этнолингвистическое эссе // Под небом Африки моей. История, языки, культура народов Африки. Альманах. Вып. 1. М.: Издательский дом «Муравей», 2000.
- Коваль 2002 — *Коваль А. И.* Аутоэтнонимы и аутолингвонимы в условиях сильной языковой дисперсии (фульбе и их язык) // Формы дифференциации языка в зеркале национальных терминологических традиций. М., 2002.
- Ольдерогге 1972 — *Ольдерогге Д. А.* Об изучении эпоса народов Африки (Современное состояние) // *Africana*. Африканский этнографический сборник. IX. Л., 1972.
- Фидлер 1994 — *Фидлер А.* Новое приключение: Гвинея // *Фабриан Ф.* В стране марабу... М.: АО KAMI, 1994.
- Abu-Manga 1985 — *Abu-Manga Al-Amin. Baajankaro.* A Fulani Epic from Sudan // *Africana Marburgensia*. Special Issue 9. Marburg, 1985.
- Diawara 1990 — *Diawara M.* Le retour aux sources de l'histoire soninke. Les écoles de traditions orales des *geseru* // *Paideuma*. Mitteilungen zur Kulturkunde. 36. Stuttgart, 1990.

- Noye 1989 — *Noye D.* Dictionnaire Foulfouldé—Français. Dialecte Peul du Diamaré, Nord-Cameroun. Paris; Garoua, 1989.
- Seydou 1972 — *Seydou C.* Silâmaka et Poullôri. Récit épique peul raconté par Tinguidji // *Classiques africains*. 13. Paris: Armand Colin, 1972.
- Seydou 1976 — *Seydou C.* La geste de Ham-Bodêdio ou Hama le Rouge // *Classiques africains*. 18. Paris: Armand Colin, 1976.
- Seydou 1998 — *Seydou C.* Dictionnaire pluridialectal des racines verbales du peul. Paris, 1998.
- Sow 1966 — *Sow A. I.* La Femme, la Vache, la Foi // *Classiques africains*. 5. Paris, 1966.
- Sow 1968 — *Sow A. I.* Chroniques et récits du Fouta-Djalon. Paris: Klincksieck, 1968.
- Vieillard 1939 — *Vieillard G.* Notes sur les coutumes des Peuls au Fouta Djallon. Paris, 1939.

С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик

НЕВИДИМЫЙ И НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

1

Во время российско-монгольской фольклорной экспедиции в г. Мурун Хубсугульского аймака Монголии от 64-летнего дархата¹ Хубилая, мужа шаманки Оюун, был записан следующий текст:

Некий человек попал в Нижний мир через отверстие в земле. Там вошел в одно жилище, сел, а чай ему никто не подает². Когда около него появился какой-то ребенок, он взял его за руку, и тот потерял сознание. Одного ламу разбудили и привели в этот дом. Затем человек сел верхом на лошадиный череп³ и с земли, где [ребенок] лишился сознания, поскакал на свою прежнюю землю. Лама того человека отправил на родину силой учения — старики говорили, что это вроде бы подлинное предание. Здешние старики говорили также, что случилось это несколько тысяч лет назад. В темные ямы, отверстия в земле нельзя смотреть — бывало так, что туда утаскивает. Разве не запрещается заглядывать в зияющие черные дыры? Теперь у нас нет людей, знающих это предание [Материалы 2007, 26.08].

Согласно каталогу Ю. Е. Березкина [раздел I 56. «Духи не видят живых»], данный рассказ (человек, попадающий в иной мир, невидим для его обитателей, а его прикосновение обычно приносит болезнь) известен только сибирским народам и лишь в виде отдельных мотивов изредка встречается за пределами региона, причем в непосредственной близости от него (инупиак Северной Аляски на востоке, удмурты и казахи на западе). Для монгольских традиций он не слишком характерен. Существует только одно упоминание о бурятской версии [Михайлов 1996: 92; Поппе 1935: 54], какие-либо сведения о калмыцких вариантах отсутствуют, а единственный рассказ из северной Монголии [Потанин 1883, № 165] может опять-таки оказаться дархатским, хотя и ламаизированным, — ближайшая к нему помета указывает именно на информанта-дархата (Г. Н. Потанин имел обыкновение в каких-то случаях давать паспортизацию записи в конце последнего текста, полученного от того или иного сказителя). Дархаты, же монголизированные южносибирские тюрки, являют-

¹ О дархатах см.: работы Г. Д. Санжеева [1930; 1931].

² Практически обязательный жест радушия по отношению к любому гостю, вошедшему в монгольскую юрту.

³ Лошадиный череп используется в обряде как транспортное средство, на котором шаман отправляет духов в иной мир [Басилов 1992: 34, 36, 153, 164—165].

ся наследниками и носителями шаманских традиций Южной Сибири, а их культуру следует рассматривать как своего рода промежуточное звено между Сибирью и Центральной Азией. С этой точки район Прихубсугуль (и конкретно Дархатская впадина) представляет собой своего рода сибирский анклав в Монголии — не только в географическом, но и в культурном плане.

Сюжет представлен в традициях угро-самодийских (ненцы — 5 текстов, нганасаны — 5, селькупы — 1, манси — 1) и тунгусо-маньчжурских (эвенки — 6, ороки [уильта] — 1, негидальцы — 1); зафиксирован он у кетов в Западной Сибири (3 текста), у нивхов на Дальнем Востоке (2 текста) и у эскимосов (2 текста). Кроме того, имеются тексты тюркские (якуты — 11, долганы — 1, тофалары — 2, хакасы — 3), а также, как было сказано, бурятский (1) и монгольско-дархатские (2) варианты. Существует, наконец, отзвук того же сюжета в казахской сказке (юноша, посланный в страну пери, приближается к мальчику, и тот сразу падает мертвым, а тамошний мулла определяет, что мальчика задел человек [Дауренбеков 1979: 96—99]), и в удмуртском предании, к которому у нас еще будет случай вернуться.

По ряду признаков данные повествования довольно сильно различаются. Некоторые из них построены на тех же фабульных элементах, что и приведенное дархатское предание (нечаянное попадание в потусторонний мир; невидимость визионера для тамошних обитателей; неумышленная вредоносность его воздействия на них; приглашение местного шамана, который выдворяет непрошенного гостя назад); они, как правило, невелики по объему. Таковы, в основном, тексты тунгусо-маньчжурские (кроме двух, хотя и показательных, случаев [эвенкийск.: Василевич 1959: 166—167]), а также нивхские, селькупский, один из кетских, тофаларский, хакаские, долганский, большая часть якутских. У самодийцев (прежде всего, нганасан) и у кетов это обычно довольно длинные истории (в том числе — эпизод из большого ненецкого эпического сказа *сюдбаби*), в которых описанный сюжетный блок не составляет основы повествования, но включен в другие, причем разные композиционно-тематические структуры. О жанровой природе текстов речь пойдет ниже.

Для данного сюжета характерны также следующие мотивы:

«г о в о р я щ и й о г о н ь» (обитатели потустороннего мира воспринимают речи невидимых ими гостей, а иногда и само их появление, как резкие вспышки и треск огня в очаге: *Когда спрашивал, они говорили: «Огонь шикнул»; Он спросил ее, она не слышит. «Что-то огонь затрещал», — думает она* [эвенкийск.: Василевич 1959: 166—168]; *Она сказала: «Бабушка... Не дадите ли брату кусочек мяса?» Старуха взглянула на огонь. Испугалась и говорит: «Что случилось с огнем? Как будто шумит...»* [ненецк.: Куприянова 1965: 127]; *Тот... говорит: «Мы заблудились. Ты не слышал, где наши кочуют?» Мужчина... упал на спину, разразившись смехом: «Эй, в чуме, не слышите, огонь шипит! К чему бы это наш огонь плохо г о в о р и т?»* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 9; см. также: 2001: 150—155]; *Старший брат теперь говорит старику: «Какой ты человек?» Старик ничего не отве-*

тил... Только сказал... глядя на огонь: «Пошто это огонь пыхая горит?» Старший брат теперь много говорил. Но умершие люди ни одного слова не слышат, только на огонь смотрят [нганасанск.: Долгих 1976: № 22; см. также № 21]; Тогда человек сказал: «Это что же, сами вы есть начали, а меня не видите?» Так эти люди сказали: «Будто огонь зафыркал...» [селькупск.: Прокофьева 1976: 126]; то же у якутов [Эргис 1974: 139; Алексеев и др. 1995: № 50], манси [Лукина 1990: № 163], кетов [Алексеев 2001: № 53]; для остальных версий — тюрко-монгольских, дальневосточных, эскимосских — данный мотив не столь характерен);

еда потустороннего мира, которую просят или берут без спроса изголодавшиеся пришельцы (для местных жителей это выглядит как ее внезапное исчезновение: *Гидало взял мясо, наелся и думает: «Они меня не видят»* [эвенкийск.: там же: 167]; ...женщина рассмеялась: *«Аси-си-си-си! Правду ты говоришь, отец. Когда я вытаскивала мясо из котла, кто-то вырвал у меня из рук жирный кусок»* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10]; *Тогда старик взял мясо и начал есть. Они заметили и говорят: «С чего это мясо кончается?»* [эвенкийск.: Василевич 1959: 169]; то же у азиатских эскимосов [Меновщиков 1974: № 32; 1988: № 2]; иногда, напротив, исчезновение еды не замечается хозяевами [якутск.: Алексеев и др. 1995: № 50], либо пища вообще остается нетронутой — визионер насыщается, лишь дотрагиваясь до нее [бурятск.: Михайлов 1996: 92]; вспомним героя дархатского предания, который удивлялся, почему никто не появляется, чтобы предложить ему угощение);

предлагаемая гостям «антипища», которую они приглашаются или отказываются пробовать (*В корыте внутри было мясо давнишнее, засохшее, протухшее мясо... Девушка увидела внутри корыта мышинное мясо и мясо от мышинной ноги... Девушка говорит: «Я со вчерашнего дня ничего не ела»... Старуха... девушке протянула со своего корыта другую верхнюю часть ноги объедать. Девушка на нее посмотрела, не взяла ее мясо, все протухшее давно... Девушка и в этот день ничего не ела* [нганасанск.: Поротова 1980: 43—44]; *«У меня еды-то почти совсем не осталось. Есть в рукавице немного жиру»... Совсем старый, протухший жир. Разделила его на две части и подала каждому старику...* [нганасанск.: Долгих 1976: № 22]; *«Ну, чем ходить голодными, нате немного жиру»* [нганасанск.: там же: 119]; *Хозяйка сказала: «Вон там пришел человек, старушка. Может, она покушает?» Старушка Мариндя молчит. Тогда старик сказал: «Она, наверное, не хочет и не будет кушать. Ладно, пускай там сидит!»* [ненецк.: Лабанаускас 1995: 163]; *Хозяйка, оказывается, варит котел, наполненный мясом совы. Очень неприятный запах...; нашли голову подошедшего оленя. Старший обрадовался и говорит: «Ну, теперь хорошо поедим». А младший возразил: «Чему ты так радуешься? Это, кажется, голова падшего оленя». Старший взял голову и стал грызть, как собака* [ненецк.: там же: 186]; *Наконец, одна из женщин сварила еду, целый котел мяса, но запах — неприятный...* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10]; то же у якутов [Алексеев и др. 1995: № 50]);

еда, вынесенная за пределы «того света», превращается в нечто несъедобное или малосъедобное (*Взятая в загробном мире рыба превратилась в тухлятину / в горькую на вкус труху / в растение кислицу* [нивхск.: Березницкий 2003: 93; негидальск.: Хасанова, Певнов 2003: № 29]);

попытка контакта, эротические заигрывания с женщиной потустороннего мира, отчего та заболевает и даже умирает (*Он схватил сестру тунгуса за край парки и дернул. Она на землю повалилась, упала* [кетск.: Дульзон 1964, с. 191]; *Дернул наш человек ее за плечо... Тут девка закричала от боли: «Почему в плече колет, очень болит?»... Что ни говорил ей — не понимает. Снова тронул ее за плечо. Опять она закричала: «Какая болезнь меня поймала?»* [нганасанск.: Долгих 1976: № 33]; *Захотел он побаловаться и щекотнул под пазухой девушку. Девушка сошла с ума* [эвенкийск.: Василевич 1959: 167]; *Человек, с неба упавший, ущипнул ее за ляжку. Девка упала без памяти* [кетск.: Алексеенко 2001: № 52]; то же у якутов [Эргис 1974: 139; Алексеев и др. 1995: № 50], долган [Ефремов 2000: № 25]);

удачные или неудачные сексуальные посягательства (в первом случае приводящие к адаптации героя в ином мире, во втором — к его отторжению: *Мужчина... захотел с ней спать. Ночью влез на нее. Совершил coitus. Тогда только почувствовала его и увидала* [эвенкийск.: Василевич 1959: 167; ср.: нганасанск.: Долгих 1976, № 21]; *Девушка легла возле двери. Он к ней. Она... не дала ему. Охотник ... пошел домой* [орокск.: Березницкий 1999: 150]).

В роли визионеров выступают: мальчик, молодой человек, взрослый мужчина (без указания возраста), старик, девочка, девушка, старуха; таким образом, представлен практически полный набор возрастных и гендерных «ролей». Персонажей может быть двое (4 ненецких текста, 2 нганасанских, 1 эвенкийский), иногда это братья: два мальчика, два старика, девочка с младшим братом. В одном случае оба героя — шаманы (нганасанский текст), в другом герой является богачом (эвенкийский Гидало), но чаще герой назван или фактически является охотником, именно во время охоты зачастую и происходят описываемые события.

Удвоение центральных персонажей приводит к описанию стратегии «правильного» поведения, противопоставляемого «неправильному»; возможно, это прямо спровоцировано потребностью в разработке подобной стратегии, получающей наиболее последовательное воплощение в волшебной сказке: мотив неудачного подражания, противопоставление «истинного» и «ложного» героев и т. п. [Мелетинский и др. 2001: 19, 23—25; Новик 2001: 156—157]. Для данных повествований «неправильным» поведением, которое может привести к смертельному исходу, в первую очередь является употребление «пищи мертвых», а также сексуальные посягательства на женщин «иноного мира»: *Тогда тот мужчина, у которого нет отца, сказал: «Давай, не будем кушать! Уж больно подозрительные эти люди». А второй уже схватил кусок мяса и отправил в рот... Кажется, он съел это мясо. А второй не стал* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10; то же: 2001: 150—155]; *Стар-*

ший уже ест, глотает жир. Младший... не съел его... Мой брат оттого умер, что ел жир у мертвецов [нганасанск.: Долгих 1976: № 22]; Один, младший, съел этот жир. Когда они вышли, старший говорит: «Зачем ты взял это? Что-нибудь, ей-богу, с нами случится, если ты у мертвого взял кушать»; Пестрые чайки загробного мира говорят герою: *Иди, иди ты домой, мы тебя не тронем, потому что ты ничего плохого по дороге не делал. А твой товарищ у мертвых жир брал, девушек щипал, и поэтому мы его разорвали и съедем* [нганасанск.: Долгих 1976, № 31]. Иногда вред этой пищи для человека объясняется ее испорченностью (*Шибко уж гнила еда мертвецов* [нганасанск.: там же: 90]).

Обычно герои безымянны и обозначаются обобщенными терминами: *девочка, двое мужчин* (у ненцев), *старший брат и младший брат, старик, два старика, два шамана, два человека* (у нганасан), *наш человек* (у селькупов и кетов), *один человек* (у кетов), *человек, старик* (у эвенков), *нивхский охотник, молодой айн* (у нивхов), *охотник-эвенк* (у якутов). Лишь изредка герои названы по именам: в двух эвенкийских текстах (*Гидало 'Стрекоза' и Чарчикана*), одном нганасанском (*Кыхэ-лу 'Куропашечья парка'*), а в двух ненецких указаны имя отца персонажей (*Сэв Сэр*) и родовое имя (*Мариндя*). Кроме того, в самом пространном нганасанском предании герой обретает имя лишь в его последней фразе (выясняется, что это — шаман Костеркин из рода авамских нганасан Нгамтусо, вероятно — родоначальник этой шаманской династии). Наконец, в двух кетских текстах фигурирует (но не в роли визионера, вокруг которого строится данный эпизод, а в качестве «второго шамана») легендарный шаман кетской мифологии Дог / Дого (Дох) и далее повествование уже следует за ним, а в одном из эвенкийских преданий потусторонний шаман носит имя Бурундяк.

Вообще, фигура шамана (или шаманки — у якутов, тофаларов, бурят), присутствует примерно в половине записей, наиболее последовательно — в эвенкийских, кетских, эскимосских, якутских, а также в одном хакасском, в тофаларском, долганском и бурятском (речь идет именно о шамане, выдворяющем непрошенных гостей; иногда для этого оказывается достаточно их опознания). Шаман отсутствует в 3-х ненецких текстах и 3-х нганасанских, в обоих нивхских, в орокском и в одном из эвенкийских. В этом случае герой тем или иным путем самостоятельно покидает иной мир и возвращается домой, либо улетает на крылатом коне, данном женщиной Верхнего мира, с которой герой (Чарчикана) вступает в любовную связь [эвенкийск.: Василевич 1936: 35—36]. В ряде случаев фигура шамана удваивается (1 нганасанский, селькупский, 2 кетских и 4 эвенкийских текста, некоторые якутские), что отчасти сходно с удвоением центрального персонажа, — первый шаман не справляется с задачей увидеть и выдворить пришельца, а второму («большому») это удастся. В нганасанском предании о Костеркине, где шаманами являются сами визионеры, также обнаруживается фигура молодого шамана-неудачника, не могущего излечить умирающую девушку и обращающегося к ним за помощью. В монгольской версии на месте шамана появляется Цорджи-лама [Потанин 1883: № 165], а в казахской сказке — мулла [Дауренбеков 1979: 96—99].

Приключение описывается скорее как длительное — в разных единицах времени (дни, годы), иногда с эффектом «грота Венеры», что специально отмечается: *В чум пришел, а сыновья мои, вижу, даже бородатыми уже стали* [селькупск.: Прокофьева 1976: 126]; то же — в тофаларской и одной хакасской версиях. На небе, напротив, после трехлетнего отсутствия: *тот олень, как он был привязан (так и стоит привязанный) — голодный и без воды, даже (горло) не просохло* [кетск.: Алексеенко 2001: № 52].

Потусторонний мир может находиться в той же горизонтальной плоскости, что и мир людей, а герои попадают туда, просто заблудившись (тексты эскимосские, ненецкие, 3 нганасанских, мансийский, 1 эвенкийский, 2 хакасских). В других случаях они оказываются там в результате движения вниз: провалившись в реку или озеро (нганасанский и эвенкийский тексты), упав или спустившись в яму (бурятский, дархатский, тофаларский, хакасский, долганский, эвенкийский, селькупский, кетский тексты), разыскивая пропавшего оленя (у якутов), преследуя зверя (белку, зайца, лису), иногда — через его нору⁴ (эвенкийский, орокский и нивхский тексты), а в нганасанском предании девушку под землю утягивает мертвец, становящийся затем ее мужем⁵; соответственно, речь идет о Нижнем мире. Самым редким случаем является расположение «инога царства» на небе (монгольск., эвенкийск.), куда герой долетает на волшебной птице, запасшись пропитанием и подкармливая ее по дороге (эвенкийск.: Mot: D2135.2; V322.1). Наконец, в двух кетских текстах (тех, в которых фигурирует шаман Дох / Дог / Дого) визионером, упавшим на землю через небесную расселину, оказывается житель Верхнего мира, за которым до определенного момента и следует повествование — пока не переключается на описание приключений самого Дога и его сына.

Кроме последних случаев, речь в большинстве записей идет о стране мертвых. Она опознается по наличию некоторых характерных признаков (...*другой старик шаманить начал. Голова у него стальная будто, нет ни одного волоса, будто покойницкий череп* [селькупск.: Прокофьева 1976: 126]; ...*молодой человек в сокуе⁶ из летней оленьей шкуры облезлой, когда-то новой...* Был ли-

⁴ Вспомним путь «вниз по кроличьей норе» в первой главе сказки «Алиса в стране чудес» («Приключения Алисы под землей», согласно первоначальному варианту), бесконечный полет героини, провалившейся в вертикальный туннель, ее падение на кучу валежника и сухих листьев [Кэрролл 1982: 14—18]. Ср.: охотник в погоне за застреленной белкой срывается и оказывается в потустороннем мире, упав там на стог сена [якутск.; Алексеев и др. 1995: № 50].

⁵ Ср. особенности ритуального поведения невесты и жениха на якутской свадьбе (их «немота» и изоляция, «погребальный» тип одежды невесты), которые, «очевидно, были призваны имитировать невидимость мифического «чужого» жениха в доме «умирающей» (т. е. отходящей в загробный мир. — С. Н., Е. Н.) невесты» [Решетникова 2008: 97].

⁶ *Сокуй* — мужская зимняя глухая одежда из оленьих шкур мехом наружу с капюшоном; одевается поверх парки или малицы.

цом когда-то красивым... лицо было сейчас... наполовину⁷ съедено мышами [нганасанск.: Поротова 1980: 42]; Особенно жутко на шамана смотреть: часть его лица будто кем-то изгрызана [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10; 2001: 150—155]) или же бывает прямо так обозначена в повествовании: Заходят в первый чум. В нем похороненная женщина сидит [нганасанск.: Долгих 1976: № 31]; ...они зашли в чум умерших людей [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10]; Мы пойдем гостевать в землю мертвых людей; Это была земля всех умерших людей [нганасанск.: Долгих 1976: № 22; негидальск.: Хасанова, Певнов 2003: № 29]. Проснувшись утром, путники вместо жилищ обнаруживают гробы, поломанные нарты, истлевшие останки жертвенных оленей ([*Наутро*] оказалось — гробы четырех покойников. Маленьких гробиков было два. Нарты тоже были. Между нартами было много голов мертвых оленей. Все старое, заплесневелое [ненецк.: Куприянова 1965: 127]; В полночь проснулся мужчина, не имеющий отца, и испугался. Оказывается, они вдвоем оказались среди покойников [ненецк. Лабанаускас 1992: 10; 2001: 150—155]), а ночью наблюдают погребальные процессии — в их мифологической реальности ([*На следуюшую ночь*] с веру реки идут аргиши⁸... едут всякие-всякие старики, старухи... взрослых мужчин около десяти... ребята на собаках подгоняют вниз большое стадо оленей. [На утро девочка смотрит:] все гробы покойников: около двадцати больших гробов и десятка детских... Нарт очень много. Все ломаные. Среди них на изгибе реки много заплесневелых оленьих голов [ненецк.: Куприянова 1965: 128]). Предлагаемая героям «антипища» (падаль, старые кости, протухший жир, смрадное мясо мышей и сов) иногда (нганасанск., нивхск.) прямо именуется «едой мертвецов» (*Женщина говорит: «Ой, тогда какую еду ешь, ты живая ведь, наша еда плохая наверное»* [нганасанск.: Поротова 1980: 44]; ты у мертвого взял кушать... у мертвых жир брал, [нганасанск.: Долгих 1976: № 31]; ел жир у мертвецов [нганасанск.: там же: 90]).

Помимо получаемой, отвергаемой или похищаемой еды, часто упоминается ночлег, а также по-разному соблюдаемый или не соблюдаемый запрет спать (*Жители чума только что сварили еду и уже приготовились кушать... Покушав, жители чума легли спать* [ненецк.: Лабанаускас 1995: 163]; *Поев, хозяева улеглись спать. Гостей никто на постель не пригласил. Не имеющий отца свалился от усталости тут же на полу. Другой, положив на него голову, лишь вздремнул* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10]⁹; *Девушка не легла под одеяло, в одежде легла на бок... Девушка и в этот день ничего не ела, только ночевала в одежде* [нганасанск.: там же: 90]).

⁷ «Половинная форма», являющаяся важнейшим проявлением мифологической асимметрии и кривизны, несомненно имеет хтоническую символику [Неклюдов 1979: 135—139].

⁸ Аргиши — вереница грузовых санок, запряженных оленями.

⁹ Это лежание на полу (а не на кровати), свидетельствующее о статусе социально неполноценного человека, даже как бы не вполне живого (место на полу детей и стариков, перекалывание с кровати на пол больного и немощного старика, а также умершего [Содномпилова 2005: 125, 187; ср.: Герасимова 1989: 101]), здесь, по-видимому,

санск.: Поротова 1980: 43—45]; *Когда настала ночь, старик лег спать с одним жителем. Этот закричал и разбудил своих: «Что-то внутри колет, позовите шамана»* [эвенкийск.: Василевич 1959: 168]), что иногда, хотя и не обязательно, сопровождается сексуальными мотивами. Говорится и о родстве вновь прибывших с ранее скончавшимися обитателями загробного мира (*Впереди, в чумище умерших людей, у меня мать есть и отец. Когда-нибудь, может быть завтра, придет сюда в мой чум за мною мой отец* [нганасанск.: Долгих 1976: № 22]; *Пришли в то место, где те стояли, мертвецы построили себе юрты. Охотники нашли свою покойную старшую сестру* [эвенкийск.: Василевич, 1959: 169]; *Через некоторое время он умер и попал к своим родственникам в загробный мир* [нивхск.: Березницкий 2003: 93]).

В ряде случаев визионер не только вызывает болезни (в том числе безумие) и смерть своим прикосновением, взглядом, даже самым своим появлением, но и сам пребывает в состоянии беспамятства и прострации, из которого его выводит (или, напротив, в которое его вводит) потусторонний шаман.

Герой приходит в себя, когда он отправлен или уже прибыл домой, причем это может истолковываться как пробуждение ото сна: *От сильных ударов бубна и прыжков шамана наш человек совсем ум потерял, на улицу вышел... Шаман все время в бубен бьет и прыгает. Наш человек... поехал и поехал... Тут к нашему человеку ум вернулся* [нганасанск.: Долгих 1976: № 33]; *Шаман сказал: «Иди на свою землю». «Забыл, откуда я пришел», — сказал Гидало; Шаман начал спрашивать, как он дошел. «Я заблудился»... Шаман шаманил, шаманил, наконец, сказал: «Ты сверху пришел». Тогда человек вспомнил, как падал, и сказал: «Отправьте меня обратно»* [эвенкийск.: Василевич 1959: 167]; *Очнулся (будто спал я), смотрю — откуда давеча упал, на краю той дыры лежу* [селькупск.: Прокофьева 1976: 126]; вспомним финал дархатского предания: *Человек проснулся — он сидел на лошадином черепе...*¹⁰

2

Вернемся к вопросу жанровой принадлежности текстов. Она в значительной мере определяется их прагматикой, их иллокутивной направленностью, которая достаточно разнообразна и, как правило, проявляется ближе к концу текста. Так, заключительная фраза *Она стала духом-покровителем для людей, живущих в потустороннем мире* [ненецк.: Лабанаускас 1995: 166] свидетельствует о том, что перед нами миф, объясняющий происхождение соответствующего духа, а рассказ о муже-мертвеце [нганасанск.: Поротова 1980] можно квалифицировать как миф о происхождении смерти — благодаря его этиологическому финалу: из-за отка-

указывает на то, что живой человек в ином мире оказывается для его жителей подобен мертвецу.

¹⁰ Лошадиный череп используется в обряде как транспортное средство, на котором шаман отправляет духов в иной мир [Басилов 1992: 34, 36, 153, 164—165].

за выполнить предписание (дать своего ребенка поцеловать мертвой бабушке¹¹) не осуществляется установление двусторонней коммуникации между «этим» и «тем» светом (*теперь, с этого дня, умершие люди начали бы ходить к живым людям. Живые ходили бы в гости к умершим людям. Из-за тебя они не будут ходить в гости* [нганасанск: Поротова 1980: 48]). Мифом об утрате возможности обрести бессмертие — из-за нарушения табу (в этом смысле аналогичным неудачной попытке Гильгамеша достичь вечной жизни, согласно вавилонской версии эпоса) следует, очевидно, считать рассказ о небесном путешествии Чарчикана и его возвращении на землю: *Старуха поймала Чарчикана за руку и говорит: «В течение трех лет я говорила: потерял, смерть его взяла. За три года сносила унты»... Остался Чарчикан на земле. Его съела смерть* [эвенкийск.: Василевич 1959: 167—168].

Несомненным мифом является повествование о том, как Дог (Дого) по приглашению отправленного им наверх небесного посетителя едет на небесную зимовку (в одном варианте не вполне удачно — из-за собак, с которыми, как выяснилось, на небо не пускают¹²), о его победоносной борьбе с громами, о смерти от руки их матери и о случайной гибели его сына-гагары [кетск.: Алексеенко 2001: № 52]. На самом деле это лишь фрагмент большого мифологического цикла о Дохе, с которым соединился наш сюжетный блок. Наконец, шаманский рассказ, в котором земной посетитель потустороннего мира наиболее отчетливо характеризуется именно как дух болезни, в конечном счете оказывается мифом о происхождении болезней: герой (*наш человек*), не безвозмездно согласившийся покинуть «тот свет» и выдворенный тамошним шаманом (с помощью характерных для этой профессии приемов), войдя во вкус, не только сам становится духом болезни, но и подбивает на это своих товарищей: *Тут не наши люди они стали, а разные болезни* [нганасанск.: Долгих 1976: № 33]; сходно — в хакасском мифе о происхождении болезней (оспы и кори), которые стали приходить в Солнечную страну из Страны Оспы после того, как потусторонняя шаманка возвратила оттуда визионера вместе с тамошней девушкой, которая от его поцелуя умерла для «того» мира (и, следовательно, стала живой для «этого»?). Родителями деревянных и каменных идолов становятся персонажи предания о Кыхэ-лу [там же: № 21].

Шаманской легендой является история, которая повествует о непредумышленном хождении в загробный мир двух шаманов и о попутном спасении (исцелении) ими умирающих [там же: № 22]. Она заканчивается фразой: *Теперь-то вести этой конец. Старик этот был Костеркин, Нгамтусо* (слово *весть* в данном тексте, который был изложен по-русски, несомненно является жанровым терми-

¹¹ Сама по себе эта ситуация зеркально-симметрична по отношению к той, что представлена в удмуртском предании, в котором бабушка из мира людей приходит погостить в подводный мир на роды внучки, где также происходит нарушение запрета, связанного с ее новорожденным правнуком [Верещагин 1996: 175—177].

¹² Некоторые проблемы с собачьей упряжкой возникают и у «людей с неба», пытающихся вернуться к себе с земли, после того как полозья их нарт были осквернены мочой и калом [инупиак: Ingstad, Bergland 1987: 151—153].

ном; ср.: жанр энецкого фольклора *дёречу* ‘весть, известие’). Как предание (*тен-тыль*) определяется селькупский текст, завершающийся ссылкой на личный опыт визионера: *Рассказал — так и так вот я ездил* [Прокофьева 1976: 126]. В одном случае перед нами несомненная архаическая сказка, о чем и с содержательной, и с формальной точки зрения прямо свидетельствует ее финал: *Девушка поправилась, а потом стала женой этому мужчине. Старики одарили мужчину стадом оленей, нартами, шурами, камусом*¹³. *И вот молодые отправились в путь... А наш мужчина с тех пор зажил хорошо... Вот теперь конец моей сказки* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 11].

В ряде текстов, которые можно определить как мифологические предания или былички, какие-либо жанровые маркеры отсутствуют, повествование завершается благополучным возвращением визионера, которое описывается как вполне обыденное событие: *Шаман... стал отправлять его домой... «Вот там тропинка, иди. Пошел человек: шел, шел, видит — лестница стоит. Полез. Очень долго лез, пока не долез до того места, где провалился. Взял пешню*¹⁴, *оставленную у проруби, и пошел домой* [эвенкийск.: Василевич 1959: 169]; *Шаман накормил старика и отправил обратно* [эвенкийск.: там же: 168]; *Тот человек вернулся, нашел отверстие, vyšел на землю. Женщина [потустороннего мира, заболевшая по его вине] поправилась* [эвенкийск.: там же]; *Человек, откуда упал, там и оказался* [кетск.: Алексеенко 2001: № 53]; *Очнулся... откуда давеча упал, на краю той дыры лежу. Встал, лыжи надел и домой пошел* [селькупск.: Прокофьева 1976: 126].

В других случаях возвратившиеся рассказывают о пережитом приключении (*Гидало вернулся к родным и рассказал, как подымался на верхнюю землю* [эвенкийск.: Василевич 1959: 167]; *Мужики vyšли на землю и легли спать. Выспавшись, проснулись и направились домой... Пришли к своим и рассказали...* [эвенкийск.: там же: 169]), что, впрочем, может иметь дурные последствия: *Он утром взял на улице немного юколы*¹⁵ *и пошел домой. Рассказал про все и умер. Умер потому, что рассказывать про буну*¹⁶ *нельзя* [орокск.: Березницкий 1999: 150]; *Охотник рассказал о своем путешествии и через три дня после посещения подземного мира умер; Вернувшись домой, охотник рассказал старейшинам о том, как он был в подземном мире и пробовал пищу мертвых. Через некоторое время он умер* [нивхск.: Березницкий 2003: 93; ср.: Миддендорф 1878: 119—120 (якутск.)]. Запрет рассказывать о потустороннем мире и загробных хождениях полностью соответствует мифологической логике (произносимый текст способен претвориться в особого рода реальность, как бы материализоваться [Неклюдов 2003: 114—117]), однако здесь этот запрет накладывается на более частое в данном корпусе текстов

¹³ *Камус* — шура с ног оленя или лося с гладким коротким ворсом; использовался для шитья обуви и при обтяжке лыж, обеспечивая их легкое скольжение при движении по ровной поверхности и препятствуя скатыванию лыжи вниз при подъеме.

¹⁴ *Пешня* — четырехгранный железный лом с деревянной ручкой для выдалбливания льда.

¹⁵ *Юкола* — сушеная рыба.

¹⁶ *Буну* — потусторонний мир в мифологии тунгусо-маньчжурских народов.

объяснение причин гибели визионера: употребление в пищу «еды мертвецов». Наконец, некоторые рассказы включают и дидактические суждения: *Проснувшийся мужчина стал будить своего товарища, а тот уже умер. Так его судьба наказала* (первое проявление «неправильного» поведения этого персонажа было отмечено еще на «этом свете»: *Похоже, он не хочет помогать отцу*) [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10]; *«Говорил же я вам, играйте около чума. Почему не послушались? Если бы послушались, в беду бы не попали».* После этого сын Сэв Сэр не уходит далеко от чума. *Всегда помнит наказ отца* [ненецк.: Лабанаускас 1995: 186—187].

3

Итак, рассмотренные тексты относятся к чрезвычайно широкому классу повествований, посвященных хождениям живого человека в потусторонний мир. Как мы убедились (и это можно подтвердить на гораздо более широком материале), данная тема имеет весьма разнообразную жанровую реализацию (мифологические предания и былички, шаманские легенды, сказка, эпос), но относительно единообразно конструирует свою картину мира, точнее — ее определенный фрагмент. В стране мертвых меняются местами ночь и день (общее место для такого рода описаний), пищей служат несъедобные продукты (или переставшие быть съедобными), обитатели ходят на охоту за мышами, называя их оленями и потом разделяя их, как оленей (нигде не сказано, что пропорции загробного мира и его жителей столь изменены, однако подобная возможность все же допустима¹⁷ и согласуется с попаданием туда через маленькое отверстие, к которому ведет сужающаяся лисья или заячья нора¹⁸ [орокск.: Березницкий 1999: 150; эвенкийск.: Василевич 1959: 169; нивхск.: Березницкий 2003: 93]).

Однако специфика заинтересовавшего нас сюжета заключается в том, что структура описываемого им потустороннего мира, зеркально-симметричного миру людей, далее разрабатывается с учетом «точки зрения» тамошних обитателей. Логическая процедура, которая не может быть названа исключительно «мифологической», приводит к заключению, по-своему весьма последовательному: раз покойники *перестали быть людьми, стали они дьяволами* [нганасанск.: Долгих 1976: № 22] и появлением своим вызывают болезни у живых, то и живой человек, попавший на тот свет, должен производить такой же эффект; более того, от него, как и от «ходячего покойника», тянет холодом (*Девушка легла возле двери. Он к ней. Она говорит: «Ой, я замерзла»* [орокск.: Березницкий 1999: 150]; ...*красавице показалось, что от охотника веяло холодом* [нивхск.: Березницкий 2003: 93]). Обитатели потустороннего мира

¹⁷ Ср.: в шаманской легенде духи-помощники не могут поднять две травинки, считая их тяжелыми стволами поваленных деревьев [Басилов 1992: 138].

¹⁸ Опять-таки вспоминается эпизод из «Алисы в стране чудес» (в той же первой главе): попав через кроличью нору под землю, героиня обнаруживает там «нору, совсем узкую, не шире крысиной... в глубине виднелся сад удивительной красоты» и, чтобы туда попасть, ей надо было уменьшиться [Кэрролл 1982: 19—21].

истолковывают случившееся достаточно адекватно («Наверное, к нам гости пришли, потому у нас огонь трещит!» [нганасанск.: Долгих 1976: № 31]; «Почему это огонь щелкает? В наш чум что-то вошло. Однако, болезнь пришла»¹⁹ [нганасанск.: там же: № 33]) и реагируют вполне «по-человечески», хотя не всегда точно: «Будто огонь зафыркал, еду в огонь бросьте!» [селькупск.: Прокофьева 1976: 126]. Соответственно, выдворение опасного земного «духа» загробным «специалистом» зеркально, иногда с этнографически узнаваемыми деталями и процедурами, повторяет процесс лечения больного человека в данных культурных традициях.

Будучи призраком, живой посетитель царства мертвых не виден никому, кроме тамошнего шамана, его речи воспринимаются как потрескивание и шипение очажного пламени (знак, подлежащий интерпретации), его прикосновение не только ощутимо, но и смертельно опасно. Таким образом, из трех коммуникационных сигналов — тактильного, акустического, визуального, передаваемых через границу, разделяющую представителей «этого» и «того» миров, тактильный сигнал оказывается наиболее (и даже избыточно) «сильным», акустический нуждается в дешифровке и может быть понят неправильно, а вот визуальный остается не только самым проблемным, но и самым семантически значимым. С ним связана важнейшая мифология, характеризующая маргинальную зону между мирами и ситуацию пересечения этой границы — мифологическая слепота, в которой позиции воспринимающего и воспринимаемого как бы суммируются: слепой — не только невидящий, но и невидимый [Неклюдов 1979: 140—141]. Так, согласно Артахашастре, один из магических способов достижения невидимости «интересен тем, что надо мазать глаза себе, чтобы сделаться невидимым для других. Тот же принцип наблюдается и у современных сингалцев: для того, чтобы сделаться невидимым ночью, они мажут около глаз заговоренной смесью» (кстати, обратим внимание: при изготовлении этих магических средств используется не только ночная, но и некротическая атрибутика: надо «наполнить глазной мазью череп какого-нибудь ночного животного, вложить его в vulva мертвой женщины», место изготовления — «на какой-нибудь могиле не старше семи дней») [Корвин-Круковская 1929: 208—209]. Согласно удмуртскому преданию, бабушка, приглашенная в подводный мир повитухой на роды внучки, мажет себе правый глаз снадобьем, предназначенным для глаз потустороннего новорожденного. Вернувшись на землю, она становится невидима для окружающих (какое свойство использует для кражи товаров в лавке; когда ей этот глаз вырывают, она становится видима, а окружающие — невидимы для нее [Верещагин 1996: 175—177]).

Таким образом, мифологическая слепота — это некое качество, в равной мере присущее и субъекту и объекту коммуникации, «видящему» и «видимому» (точнее «невидящему» и «невидимому»). Отсюда мотив обоюдной слепоты представителей двух миров [ср.: Пропп 1946: 59—60; Иванов, Топоров 1975: 71], который может быть объяснен двояким образом. Покойник слеп именно потому, что мертв,

¹⁹ «Поведение» огня (вспышки, треск, выскакивающий уголек, погасание и т. д.) вообще чрезвычайно значимо и подлежит дешифровке: к гостю, к несчастью, к смерти и пр. [бурятск.: Материалы 2008, 13.08; якутск.: Романова 1997: 30].

а невидим он, поскольку после похорон невозвратно исчезает из поля зрения живых, и способен только в качестве «духа» и лишь в особых обстоятельствах давать о себе знать в этом мире — через сигналы акустические и тактильные (но, как правило, не визуальные!). Однако это простое рассуждение, очевидно, недостаточно для объяснения феномена «обоюдной слепоты», имеющего скорее всего более глубокую психологическую подоплеку. Вспомним инфантильное поведение, явно не восходящее к какому-либо культурному источнику: маленький ребенок, чтобы спрятаться (= сделаться «невидимым»), зажмуривается и прячет лицо (= делает себя «слепым»). Он как бы полностью выключает канал зрительного восприятия, который, таким образом, перестает работать «в обе стороны»²⁰.

Соответственно, если для людей невидимы подземные духи, попавшие в наш мир, а живой посетитель потустороннего мира невидим для тамошних обитателей, то и сами земные визионеры порой оказываются невидящими — в некотором смысле слепыми или, напротив, обладающими своего рода «двойным зрением» (*Младший думает: «Что с моими глазами? В одном глазу оленья голова видится как целая, а в другом — только половина»* [ненецк.: Лабанаускас 1995: 186]; *С виду вроде бы мясо, а, если посмотреть другим глазом, — давно выветренные побелевшие кости* [ненецк.: Лабанаускас 1992: 10]; *То, кажется, в руках шамана целый бубен, то — половина* [ненецк.: там же]). Именно этим, по-видимому, объясняется то, что небесному жителю, упавшему на землю, сперва кажется, что *нигде ни одного человека нет*, потом он слышит звуки шаманского бубна и только после этого *видит: чумы стоят* [кетск.: Дульзон 1964: 191], а герою дархатской легенды, вошедшему в жилище Нижнего мира, оно, вероятно, сначала кажется пустым, «прозрение» опять-таки наступает постепенно — с появлением ребенка и, наконец, приглашенного ламы, который уже способен увидеть и самого непрошенного гостя. Необходимость поэтапного переключения зрительного ракурса (через состояние «временной слепоты») отражена в наставлениях, которые муж-мертвец дает своей живой жене, провожая ее на поверхность земли сначала как бы незрячей и прозревающей лишь постепенно: *«Ты иди вперед, свои глаза закрой, когда выйдешь, не открывай к свету. Пусть привыкнут твои глаза, а когда привыкнут к свету, напротив твоего лица будет стоять твоего брата чум...»*. Так сказав, снова поднял девушку вверх [нганасанск.: Поротова 1980: 45].

Разработка этого зрительного ракурса, как и представлений о «видимом» и «невидимом» мире [ср.: Рифтин 1946: 138 и сл.], имеет в текстах культуры богатейшую историю; что же касается рассматриваемого сюжета, то он в предельной форме воплощает принципы зеркально-симметричного построения мифологического космоса и обоюдности коммуникационных каналов между его областями, с учетом позиции обитателя «иного мира» (в некотором смысле — максимально «другого»). Как было сказано, эпизоды, отражающие данную концепцию, встреча-

²⁰ Это может удерживаться и в языковой семантике, ср. значение русск. *слепой* — не только ‘незрячий’, но и ‘плохо видимый’ (например, об изображении, рисунке, написанном или напечатанном тексте [Даль 1989—1991: 229; Ушаков 1940: 262]).

ются в разных жанрах, однако лишь в некоторых текстах — прежде всего, тунгусо-маньчжурских и тюркских — она оказывается предметом особой рефлексии и специального описания. Это относится и к дархатской легенде, с рассмотрения которой была начата данная статья²¹.

Работа выполнена в рамках проектов «Ареальная дистрибуция семантических элементов устных традиций» (РФФИ, № 06-06-80420) и «A reconstruction of prehistoric Eurasian mythological motif complexes and their most ancient distribution in connection with genetic» (INTAS, № 05-1000008-7922).

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

- Березкин — *Березкин Ю. Е.* Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог [<http://www.rutenia.ru/folklore/berezkin/index.htm>].
- Материалы 2007 — Материалы монгольской фольклорной экспедиции (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ / Институт языка и литературы Монгольской академии наук) 19.08—02.09.2007 (Хубсугульский и Булганский аймаки) / Участники: А. С. Архипова, Д. Дорж, А. В. Козьмин, С. Ю. Неклюдов (рук.), И. Санжааханд (лаборант), А. А. Соловьева, Р. Чултэмсурэн.
- Материалы 2008 — Материалы монгольской фольклорной экспедиции (Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ / Институт языка и литературы Монгольской академии наук) 2—17.09.2008 (Хэнтэйский и Сухэбаторский аймаки) / Участники: А. С. Архипова, А. В. Козьмин, С. Ю. Неклюдов (рук.), И. Санжааханд (лаборант), А. А. Соловьева, Р. Чултэмсурэн.
- Алексеев и др. 1995 — Предания, легенды и мифы саха (якутов) / Сост. Н. А. Алексеев, Н. В. Емельянов, В. Т. Петров. Новосибирск, 1995.
- Алексеев 2001 — Мифы, предания, сказки кетов / Сост., предисл., коммент. и глоссарий Е. А. Алексеев. М., 2001.
- Басилов 1992 — *Басилов В. Н.* Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. М., 1992.
- Березницкий 1999 — *Березницкий С. В.* Мифология и верования орочей. СПб., 1999.
- Березницкий 2003 — *Березницкий С. В.* Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов Амура-Сахалинского региона. Владивосток, 2003.
- Василевич 1936 — Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору / Сост. Г. М. Василевич. Л., 1936.
- Василевич 1959 — *Василевич Г. М.* Ранние представления о мире у эвенков // Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований. М., 1959.
- Верещагин 1996 — *Верещагин Г. Е.* Вотяки сарапульского уезда Вятской губернии. Ижевск, 1996.
- Герасимова 1989 — *Герасимова К. М.* Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск, 1989.

²¹ Авторы признательны А. С. Архиповой за ценные дополнения, сделанные в процессе обсуждения работы.

- Даль 1989—1991 — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М., 1989—1991.
- Дауренбеков 1979 — Казахские народные сказки / Сост. Т. Дауренбеков; Пер. с казахского. Алма-Ата, 1979.
- Долгих 1976 — *Долгих Б. О.* Мифологические сказки и исторические предания нганасан / Запись и подгот. текстов, введение и коммент. Б. О. Долгих. М., 1976.
- Дульзон 1964 — *Дульзон А. П.* Очерки по грамматике кетского языка. Ч. 1. Томск, 1964.
- Ефремов 2000 — Фольклор долган / Сост. П. Е. Ефремов; Подгот. текстов, вступит. ст. и коммент. П. Е. Ефремова, Н. Л. Алексеева, при участии Г. Н. Алексеевой и С. П. Рожновой. Новосибирск, 2000.
- Иванов, Топоров 1975 — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* Инвариант и трансформация в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору. М., 1975.
- Катанов 1907 — Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов, собранные Н. Ф. Катановым (Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым. Т. IX). СПб., 1907.
- Корвин-Круковская 1929 — *Корвин-Круковская Т. А.* К истории магических и колдовских приемов в Индии // Сб. МАЭ. Т. VIII. Л., 1929. С. 196—214.
- Куприянова 1965 — Эпические песни ненцев / Сост., вступит. ст., коммент. З. Н. Куприяновой. М., 1965.
- Лабанаускас 1992 — Фольклор народов Таймыра. Вып. 2 (ненецкий фольклор) / Сост. К. И. Лабанаускас. Дудинка, 1992.
- Лабанаускас 1995 — Ненецкий фольклор: Мифы, сказки, исторические предания (Фольклор народов Таймыра. Вып. 5) / Сост. и пер. К. И. Лабанаускас. Красноярск, 1995.
- Лабанаускас 2001 — «Ямидхы» лаханку». Сказы седой старины. Ненецкая фольклорная хрестоматия / Сост. К. И. Лабанаускас. М., 2001.
- Лукина 1990 — Мифы, предания, сказки хантов и манси / Пер. с хантыйского, мансийского, ненецкого языков / Сост., предисл. и примеч. Н. В. Лукиной; Под общ. ред. Е. С. Новик. М., 1990.
- Мелетинский и др. 2001 — *Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М.* Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 11—121.
- Меновщиков 1974 — Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки (азиатские эскимосы, чукчи, керекы, коряки и ительмены) / Сост., предисл. и примеч. Г. А. Меновщикова. М., 1974.
- Меновщиков 1988 — *Меновщиков Г. А.* Материалы и исследования по языку и фольклору чаплинских эскимосов. Л., 1988.
- Миддендорф 1878 — *Миддендорф А.* Путешествие на север и восток Сибири А. Миддендорфа. Часть II. Север и восток Сибири в естественноисторическом отношении. Отдел VI. Коренные жители Сибири. СПб., 1878.
- Михайлов 1996 — *Михайлов В. А.* Религиозная мифология. Улан-Удэ, 1996.
- Неклюдов 1979 — *Неклюдов С. Ю.* О кривом обороте (к исследованию мифологической семантики фольклорного мотива) // Проблемы славянской этнографии (к 100-летию со дня рожд. чл.-корр. АН СССР Д. К. Зеленина). Л., 1979. С. 133—141.

- Неклюдов 2003 — *Неклюдов С. Ю.* Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: Звук, слово, образ / Отв. ред. Вяч. Вс. Иванов; Сост. Л. О. Зайонц, Т. В. Цивьян. М., 2003. С. 108—119.
- Новик 2001 — *Новик Е. С.* Система персонажей русской волшебной сказки // Структура волшебной сказки. М., 2001. С. 122—160.
- Попов 1949 — *Попов А. А.* Материалы по истории религии якутов бывш. Вилюйского округа // Сб. МАЭ. Т. XI. Л., 1949. С. 255—323.
- Поппе 1935 — *Попе Н. Н.* Проблемы изучения бурят-монгольского фольклора // Советский фольклор. 1935. № 2—3. С. 51—86.
- Поротова 1980 — Сказки народов Сибирского Севера. Вып. 3 / Ред. Т. И. Поротова. Томск, 1980.
- Потанин 1883 — *Потанин Г. Н.* Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. IV. Материалы этнографические. СПб., 1883.
- Прокофьева 1976 — *Прокофьева Е. Д.* Старые представления селькупов о мире // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 125—126.
- Пропт 1946 — *Пропт В. Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
- Решетникова 2008 — *Решетникова А. П.* Символическое поведение главных персонажей свадьбы: «умирающая» невеста, «невидимый» жених // Миф, символ, ритуал. Народы Сибири: Сб. статей в честь Е. С. Новик / Сост. О. Б. Христофорова. М., 2008. С. 94—102.
- Рифтин 1946 — *Рифтин А. П.* Категории видимого и невидимого мира в языке (Предварительный очерк) // Учен. зап. ЛГУ. Сер. филологическая. Вып. 10. Л., 1946. С. 136—152.
- Романова 1997 — *Романова Е. Н.* «Люди солнечных лучей с поводьями за спиной» (судьба в контексте мифоритуальной традиции якутов). М., 1997 (Б-ка российского этнограффа. Новые исследования).
- Сагалаев, Октябрьская 1990 — *Сагалаев А. М., Октябрьская И. М.* Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Новосибирск, 1990.
- Санжеев 1930 — *Санжеев Г. Д.* Дархаты. Этнографический очерк о поездке в Монголию в 1927 г. Л., 1930.
- Санжеев 1931 — *Санжеев Г. Д.* Дархатский говор и фольклор. Л., 1931.
- Содномпилова 2005 — *Содномпилова М. М.* Семантика жилища в традиционной культуре бурят. Иркутск, 2005.
- Ушаков 1934—1940 — Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1934—1940.
- Хасанова, Певнов 2003 — *Хасанова М., Певнов А.* Мифы и сказки негидальцев / Предисл. Тосиро Цумагари. Киото, 2003 (Исследования по тунгусоведению. 21).
- Эргис 1974 — *Эргис Г. У.* Очерки по якутскому фольклору. М., 1974.
- Mot — *Thompson S.* Motif-Index of Folk-Literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends / Revised and enlarged. ed. 6 vols. Copenhagen; Bloomington: Indiana University Press, 1955—1958.
- Ingstad, Bergland 1987 — *Ingstad H., Bergland K.* Nunamiut Unipkañich. Nunamiut Stories. Told in Iñupiaq Eskimo by Elijah Kakinya and Simon Paneak of Anaktuvuk Pass, Alaska. Collected 1949—1950 by Helge Ingstad / Ed. and transl. by K. Bergland. Barrow: The North Slope Borough Commission on Iñupiat History, Language and Culture, 1987.

М. В. Завьялова

**МИФОЛОГЕМА ГОРОХА И БОБА
В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНОГО МИФА
(НА БАЛТО-СЛАВЯНСКОМ МАТЕРИАЛЕ)**

*Žalią pupą sodinau,
Ją daržely auginau,
Op, op opa — pa,
Tai pupelė, tai pupa.
Kas dieneleį laisčiau ją
Kad ji augtų vis žalia.
Lapai augo vis didyn,
Stiebas kilo vis aukšтын.
Ji didžiausia iš visų
Siekia kraštą debesų
Prašom prašom pamėgint
Lipt ir pupą tą nuskint.
Kas prilips lig pat dangaus
Tas ir pupą valgyt gaus¹.*

Многие исследователи этнографии и фольклора отмечают важную роль гороха и бобов в ритуальной практике и мифологии разных народов. Это неудивительно, поскольку горох (*Pisum*) и боб (*Vicia faba*), принадлежащие к семейству бобовых (*Fabáceae*, *Leguminósae* или *Papilionaceae*), являются одними из самых древних растений на земле, употреблявшихся человеком в пищу. Как отмечает О. Фрейденберг, «это древнейшее бытовое питание, огромное количество бобов найдено под развалинами древней Трои, но эти же бобы засвидетельствованы в древнем Египте, в Индии, Персии, в Израиле и у арабов; индоевропейские ученые полагают, что эта “доисторическая” еда пришла от пеласгов и кельтов» (Фрейденберг). Видимо, неслучайно этот древний продукт оставил след в архаичном мифологическом сознании. Можно сказать даже, что образ гороха (боба) мифологически перегружен:

¹ Литовская детская песенка. Дословный перевод: «Зеленый боб я сажал, его в садике растил, оп, оп опа-па, вот так боб, так боб. Каждый день его поливал, чтобы рос зеленый. Листья росли все больше, стебель поднимался все выше. Он больше всех, достигает краев облаков, просим, просим попробовать забраться и этот боб сорвать. Кто заберется до самого неба, тот и получит боб на обед».

в языке, обрядах, фольклоре самых разных народов можно встретить многочисленные интерпретации этой культуры, причем мифологизированы все части растения: побеги, цветы, стручки, плоды и даже корни.

Не стремясь описать полностью мифологию гороха (это было бы слишком обширной темой, выходящей за рамки одной статьи) остановимся на тех ее элементах, которые соотносятся с фрагментом основного мифа о детях Громовержца, описанным Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым (см., например, [Иванов, Топоров: 30 и далее]).

Говоря об участии элементов пищевого и вегетативного кода в сюжете основного мифа, В. Н. Топоров так описал общую его структуру: «Громовержец наказывает своих детей (или жену), расчленяя, раздробляя, размельчая их и бросая на землю (или в подземное царство); в конце цикла из этих расчлененных частей вырастает некое растение, отличающееся особым плодородием; культурный герой, основатель данной традиции, обучает людей уходу за этим растением и приготовлению из его плодов особого напитка (опьяняющего, галлюциногенного, наркотического и т. п.), который приводит человека в эйфорическое состояние» [МНМ, 1: 428]. Реализацию этого мифа В. Н. Топоров наглядно показал на примере грибов (см.: [Топоров 1979]), также она была прослежена в отношении мака, перца, петрушки, конопли (см.: [Судник, Цивьян; Топоров 1977; Цивьян 1977]). В связи с этим обратимся к мифологии гороха и бобов, также имеющих немало сходных параллелей.

Здесь мы ограничимся только балто-славянскими (преимущественно балто-восточнославянскими) данными с привлечением близкого (генетически или типологически) иллюстративного материала.

Прежде чем обратиться собственно к фольклорному материалу (среди которого следует особо выделить литовский как наиболее архаичный), отметим интересный факт семантического переплетения балтийских и славянских лексем, обозначающих горох. Русское *горох* (чеш. *hrach*, польск. *groch*, болг. *grax*) восходит к др.-инд. *ghārṣati* 'трет', *ghṛṣtás* 'тертый' [Фасмер 1: 444]. В свою очередь, лит. *žirnis* 'горох' (лтш. *zirns* 'то же', др.-прусск. *syrne* 'зерно'), родственное рус. *зерно* (болг. *зърно*, чеш., словац. *zrno*, польск. *ziarno* и др.), восходит к др.-инд. *jīrnás* 'трухлявый, растертый, сморщенный, старый' (сюда же относятся лат. *grānum* 'зерно, ядро', др.-ирл. *gran* 'зернышко', первонач. 'растертое') [Фасмер 2: 95]. Типологическим подтверждением семантического перехода *горох*, *зерно* < *тереть*, *толочь* может служить лат. *pisum* 'горох' от *pinsere* 'толочь' [Фасмер 1: 444], а также лит. *grūdas* 'зерно' от лит. *grūsti* 'толочь'; 'пихать, толкать' (ср. также *grūstinė* 'толчёная крупа'; *grūstiniai* pl. 'толокно'; *grūstis* 'толкаться; тесниться'; *grūstis* 'давка, толкотня, толчая'; *grūstūvas* 'пест, толкач'; *grūstuvė* 'ступка, ступа').

Таким образом, горох, как и зерно, этимологизируется как нечто подлежащее расщеплению, толчению, растиранию, вероятно, в целях приготовления пищи. Как упоминалось выше, идея размельчения, расчленения, дробления находит отражение в описываемом сюжете основного мифа.

Остановимся на основных семиотических оппозициях, в которые входит мифологема гороха, актуальных для сюжета основного мифа.

Прежде всего это оппозиция *жизнь* — *смерть*. В славянской поминальной обрядности горох предназначался мертвым [СД 1: 525]. Белорусы кидали горох за печь для душ умерших. Магическое использование бобов и фасоли связано с архаичными представлениями о них как о пристанище душ умерших. В связи с этим люди пытались с помощью бобов связаться с «тем», загробным миром. Отсюда использование его в гаданиях, ритуальных беседах во время календарных праздников. Например, бобы вместе с горохом рассыпали по дому на Рождество [БМ: 47—48, 115]. Корни этих представлений, по-видимому, лежат в глубокой древности. Подобное значение имели бобы в философской системе пифагорейцев. «Относительно бобов орфики и пифагорейцы думали даже, что есть их означает то же, что есть человеческие тела (*καθάπερ ἀνθρώπων σαρκῶν*)» (Porphyg., De Vita Pythag., 43, цит. по: [Обидина]). Причину этого запрета Пифагор объяснял так: «когда нарушилось всеобщее начало и зарождение, то многое в земле вместе сливалось, сгущалось и перегнивало, а потом из этого вновь происходило зарождение и разделение — зарождались животные, прорастали растения, и тут-то из одного и того же перегноя возникли люди и проросли бобы. А несомненные доказательства этому он приводил такие: если боб разжевать и жвачку выставить ненадолго на солнечный зной, а потом подойти поближе, то можно почувствовать запах человеческой крови; если же в самое время цветения бобов взять цветок, уже потемневший, положить в глиняный сосуд, закрыть крышкой и закопать в землю на девяносто дней, а потом откопать и открыть, то вместо боба в нем окажется детская голова или женская матка» [Порфирий].

Запреты на употребление в пищу бобов в определенное время есть и у славян, правда в подобных предписаниях немало противоречий: с одной стороны, у славян встречается запрет есть горох на Святки и масленицу, у русских — до Ильина дня [СД 1: 524], в то же время, «у западных славян, украинцев и белорусов горох был важнейшим блюдом на Святки и в особенности на Рождество» [СД 1: 523]. А. А. Плотникова отмечает, что «в болгарском Банате, некоторых восточно-сербских и словацких областях не варили бобов в течение всего периода от Рождества до Крещения, мотивируя этот запрет возможностью заболевания, связью бобов с нечистой силой. Но гораздо чаще встречаются предписания обязательного употребления бобовых в святочно-новогодний и некоторые другие периоды календаря» [Плотникова: 51]. Как отмечал В. Н. Топоров в отношении грибов в контексте основного мифа, «в зависимости от оценки мотива, вызвавшего разъединение Громовержца с детьми, обращенными в конечном счете в грибы, последние получают две серии названий — или “божья еда” или “дьявольская еда”» [Топоров 1979: 270]. Такая амбивалентность может отражаться и в пищевых предписаниях и запретах.

Соотнесенность с миром мертвых и смертью касалась всех частей растения гороха и боба: в Польше чучело Смерти делали из гороховой соломы [СД 1: 524],

а цветы бобов считались вредными: их запах мог приводить к несчастным случаям, безумию, плохим снам и страшным видениям [de Vries: 37]. Однако спиралевидный стебель гороха (боба) ассоциировался с возрождением, реинкарнацией, цикличностью жизни, что считалось магическим средством против абсолютной смерти, символом плодородия [Ibid.].

Таким образом, горох и бобы связывались со вторым членом оппозиции *жизнь — смерть*, но могли и служить символом жизни и возрождения. О. Фрейденберг отмечает, что «бобы метафоризировались как смерть; поэтому у целого ряда племен, поздней — государств, их не ели, и они оставались только объектом культа. Так как смерть представлялась воскресением, спасением и исцелением, то и бобы служили спасительным средством; в то же время с ними было связано 'безумие' и 'глупость', древнейшее гаданье, древнейшая игра, предшествующая костям, суд, — по вполне понятной семантической близости этих метафор со смертью. Отдельная большая филиация мифов, культов и обрядов говорит о производительной стороне смерти-бобов, об их рождающей и плодородящей функциях» [Фрейденберг].

О соотносительности гороха (бобов) с первым членом оппозиции *жизнь — смерть* говорит множество ритуалов, связывающих их с плодovitостью и плодородием. В Белоруссии «отец подбрасывал горох вверх, а дети старались поймать по две горошины, чтобы овечки принесли побольше ягнят» [БМ: 115], а «на Богоявление хозяин входил с лукошком гороху в хату и обращался к семье с приветствием, в котором горох сравнивался с золотом, сыпал на стол горох, а сидящие старались поймать его. Того, кто больше всех поймал горошин, ждала удача при разведении овец» [СД 1: 523—524]. В Сочельник, на рождество, а также в день св. Люции (словац.), в канун Пасхи (варм.-мазур.) кормили горохом кур, чтобы они хорошо неслись (чеш., словац., пол.). Мораване полагали, что курица снесет столько яиц, сколько горошин склюет в Сочельник [Там же].

Горох участвовал и в свадебных ритуалах, в которых его присутствие прямо ассоциировалось с плодovitостью невесты: невесту осыпали горохом и по количеству застрявших в платье горошин судили о количестве будущих детей, горох подавали молодоженам на свадьбе, стегали их гороховыми плетями и т. д. [Там же]. Известны сказочные сюжеты о зачатии ребенка от съеденной женщиной горошины, которая стала разбухать в ее чреве (ср. сказку о богатыре Покатигорошке, к которому мы еще вернемся). Во многих языках метафора «объесться гороху» означает «забеременеть» [СД 1: 524]. Горох во многих традициях ассоциируется с зародышем, что может быть связано, с одной стороны, с его округлой формой, напоминающей плодное яйцо, с другой — с уже упоминавшимися представлениями о пребывании в плодах бобов и гороха душ: поскольку он является вместилищем душ, съевшая его женщина обретает внутри себя еще одну душу, т. е. становится беременной. Это подтверждается одним из объяснений запрета на употребление в пищу бобов в Древнем Риме: женщина, съевшая боб в День Всех Святых, могла забеременеть духом [de Vries: 37].

Что касается эротических коннотаций, связанных с горохом, и, соответственно, оппозиции *мужской* — *женский*, тут тоже возможны разночтения. С одной стороны, гороховый веночек был символом девушки, потерявшей невинность, однако, с другой стороны, тот же гороховый веночек в насмешку дарили отвергнутому жениху [СД 1: 523—524].

В фольклоре балтов и славян также проявляется неоднозначная связь гороха с представителями того или другого пола. Например, Даль приводит русские поговорки, в которых горох сравнивается с девушкой: «Горох да девка завидное дело. Мимо гороху да мимо девки так не пройдешь. Девку в доме да горох в поле не убе-речь. Горох в поле, что девка в доме: кто не пройдет, всяк шипнет» [Даль 1981—1982: 1, 381; 1957: 910]. С другой стороны, существует литовская обрядовая песня (хоровод), в которой горох сравнивается с парнем:

<i>Žyd žirniai ir vikiai</i>	‘Цветут горох и вика
<i>Žyd žirniai ir vikiai,</i>	Цветут горох и вика
<i>Kur tie mūsų jaunikai?</i>	Где наши юноши?
<i>Parvažiuoja, bulves kepe,</i>	Приезжают, картошку жарили,
<i>Išsipaiše, išsitempe</i>	Вымазанные, испачканные
<i>Žydi rūtos ir našlaitės,</i>	Цветут рута и анютины глазки,
<i>Kurgi mūsų tos mergaitės,</i>	Где же наши девушки?
<i>Žydi rūtos ir našlaitės,</i>	Цветут рута и анютины глазки,
<i>Kurgi mūsų tos mergaitės?</i>	Где же наши девушки?
<i>Parvažiuoja, rūtas skyne,</i>	Приезжают, руту рвали,
<i>Vainikėlių nusipynę.</i>	Веночек себе сплели’

[LT V: № 9678].

Горох выступает в паре с бобом (который в литовском языке женского рода) явно мужской ипостаси и в современной эротической песенке:

<i>Susitiko žirnis pupa</i>	‘Встретил горох боба
<i>ir žemyn sijaoną lupą.</i>	и вниз юбку сдирает.
— <i>Žirni, žirni ką darai?!</i>	— Горох, горох, что ты делаешь?
— <i>Nesijaudink, bus gerai!</i>	— Не волнуйся, будет хорошо!
<i>Iš pradžių pupa supyko,</i>	Сначала боб разозлилась,
<i>bet vėliau ir jai patiko...</i>	Но позднее и ей понравилось...’

[Tostai ir atvirukai]

Боб же в литовском языке (*pupa*) часто выступает в качестве метафоры женщины, девушки, ср.: *Pupa mano, uoga mano* — *po Kalėdų būsi mano!* ‘Боб моя, ягодка моя — после Рождества будешь моей!’ *Pupelė, balandelė mano, — sako iš geros širdies, kad myluoja, meilija jeib ką* ‘Боб, голубка моя, — говорят от чистого сердца, когда ласкают, желают кого-то’, но при этом: *Mano sūneli, mano puputyte, kas gi tau?* ‘Мой сынок, мой бобок, что с тобой?’ [LKŽ X: 936].

De Vries со ссылкой на Шекспира и Лукиана отмечает, что горошины (как и бобы) могли ассоциироваться с мужскими половыми органами (*testiculi*) [de Vries:

359, 37], здесь можно добавить, что подобные ассоциации мог вызывать и гороховый (бобовый) стручок. В таком случае связь гороха с зачатием и деторождением получает еще одно объяснение: помимо ассоциаций проросшего гороха с зародышем он связан и с мужской оплодотворяющей силой.

Несмотря на такую откровенно позитивную эротическую символику с помощью гороха можно было и расстроить единение пары — остановить свадебный поезд. Например:

Було таке, шо кони не йшли, ну едутъ в цэркву, а кони не йдутъ, то трэба найти струмок такий, де дэвять горошин, и казать: «Дэвять горошин и дэсята невеста, а кони не з места». А тоди тыми горошынами хрэст зробіть перед конями — и пойдуть [ПЗ: № 963]. А. А. Плотникова полагает, что свадьба расстраивалась из-за намека на внебрачную беременность, символизировавшуюся горохом [Плотникова: 49]. Может быть и так, но возможно и другое объяснение, опирающееся на амбивалентность гороха, проявляющуюся во многих ритуалах и практиках. Так, например, те же девять горошин, с помощью которых расстраивается свадьба, предвещают удачу нашедшему их в первом раскрытом стручке [de Vries: 359]. Следует отметить, что число девять, помимо своих магических свойств, отсылает к количеству детей Громовержца, низвергнутых на землю [Топоров 1979: 266]. Здесь важно подчеркнуть, что горох, в отличие от других подобных ему участников растительного кода (мака, зерна, перца), характеризуется не только множественностью элементов, но и счетностью, что определяет важную роль числа в ритуалах.

Возвращаясь к упомянутым ритуалам, мы подходим к следующей оппозиции, актуальной для гороха — это оппозиция *вред* — *польза*, в которой проявляется наиболее яркая амбивалентность этого растения.

В гадательных практиках и ритуалах горох и бобы нередко предвещали удачу, счастье и богатство. По литовским поверьям, горох — символ здоровья и долголетия. Видеть во сне сушеный горох означает скорую свадьбу. Зеленый горох, увиденный во сне, предвещает счастье и благополучие. Есть горох означает удачное окончание прибыльного дела (Sapnininkas). По другим данным, видеть во сне горох — к слезам [LKŽ XX: s. v. Žirnis]. В русских сказках забравшихся по гороховому стеблю на небо ожидает богатство [СД 1: 526].

Представления о благополучии, которое можно получить с помощью гороха, вероятно, также восходят к поверьям о связи его с миром мертвых. В Древнем Риме устраивались празднества в память о тенях умерших. «При этом исполнялся своеобразный ритуал с бобами черного цвета: ровно в полночь глава семьи обязательно босиком шел к ближайшему ручью, делал омовение рук, поворачивался к ручью спиной и, положив боб в рот, произносил 9 раз заклинание-просьбу, умоляя злые тени оставить его и его семью в покое и отвести от них несчастья» [О земледелии]. Амбивалентность бобов проявлялась и в гаданиях. Древние греки и римляне с помощью бобов определяли судьбу человека: во время суда приговор зависел от того, какого цвета боб выберет обвиняемый, а в

Древней Греции ежегодно отправляемого на смерть «козла отпущения» выбирали также с помощью черного боба путем лотереи [de Vries: 37]. Аналог этой лотереи проявляется и в выборах Бобового Короля, которым становился нашедший боб, запеченный в пироге во время праздника трех волхвов. «Бобовый король» наделялся неограниченной властью: «избирал себе “королеву”, назначал шута, все участвующие в застолье должны были беспрекословно подчиняться ему и воздавать почести. Интересна была и сама церемония разрезания и дележки пирога. Пирог разрезал мальчик, которого потом сажали под стол, откуда он выкрикивал, кому вручать очередной кусок пирога. Эта церемония была отголоском древности: мальчик исполнял роль бога-прорицателя Аполлона, от которого якобы и пошел этот обычай» [О земледелии]. Таким образом, в этом ритуале боб является скорее предвестником удачи, благотворной судьбы, ср. французское выражение *trouver la fève (au gâteau)* букв. ‘найти боб (в пироге)’ — ‘сделать находку, быть удачливым, распутать дело’ [ФРФС: 475].

Амбивалентность гороха проявлялась и в магических ритуалах. В славянской традиции горох может служить оберегом от нечистой силы: в Польше отвар гороха охранял коров от порчи, а горошина, которую человек поднял с земли и носил при себе, защищала от зла; словаки верили, что оберегом от ведьм может служить горох с трех полей, освященный на Успение, а горох, съеденный в Сочельник под открытым небом, охраняет от лешего [СД 1: 525]. В то же время поляки считали, что человек, съевший горох натошак, приобретает способность сглазить кого-либо [Там же], а из бобовых стеблей, по поверьям, ведьмы делали свои метлы (в то же время бобы использовались и против ведьм) [de Vries: 37].

Вред и польза от использования гороха ярко проявляются и в медицинской магии: он мог как вызвать болезнь, так и охранить от нее: «украинцы Полтавской губ. представляли Оспу в виде старухи, обсыпанной горохом, который она везде разбрасывала, чтобы навлечь болезнь», ср. литовское выражение *Ka raupliums sirgdavo, išdygdavo kaip žirniai* ‘Когда оспой болели, выростали [оспины] как горох’ [LKŽ XX: s. v. Žirnis]; по чешским поверьям, наслать болезнь можно было, «закопав горшок с горохом под дикой грушей в период убывания луны: у человека будет столько чирьев, сколько горошин в горшке» [СД 1: 525]. Однако именно чирей и другие кожные заболевания (бородавки, лишай, мозоли, рожу) лечили, прикасаясь к пораженным местам горошиной, после чего ее бросали в печь или в колодец. «Отваром трехлетней гороховой соломы лечили колтун — по сходству спутанных волос и побегов гороха. При зубной боли рекомендовали набрать полный рот гороха и выплюнуть зерна на могиле (Лужица)» [СД 1: 525].

Интересно, что и в белорусском заговоре зубная боль трансформируется в горошину:

...*Маком россыпся, Горошком роскатись, Зубишица, от детом отчэпись* [ПЗ: 526, *зубишица говорить*].

В заговорах и другие болезни могут излечиваться, трансформируясь в горох, причем следует отметить, что в подобных текстах горох часто соседствует с

другими элементами растительного кода, связанными с основным мифом (маком, перцем), ср.:

...*Залатнік залаты, чаго ты ўсхадзіўся: ці ты з падымку, ці з падзіўку, ці з прыстрэку, ці з прыгавору? Каціся ты пярцом, гароховым зярняткам...* [Замовы: № 786, *ад залатніка*], однако, как отмечают составители сборника «Полесские заговоры», мотив этот достаточно редок [ПЗ: 107].

В этой связи примечателен белорусский заговор, в котором в горох должна трансформироваться не болезнь, а змея:

...*Маком россытсья, Горошком роскатись, Гадюка от людыны отчэпись...* [Замовы: № 690, *гадюку шэптатъ*] (ср. такую же формулу в приведенном выше заговоре от зубной боли).

В балтийской традиции также зафиксирована трансформация болезнь — горох, ср. латышский заговор от вереда:

Trums sēd kalnā kā siena tupesis. Dievs dod tam piesisties pie pelēka akmeņa! Dievs dod tam izņikt kā zirņa graudam!... ‘Веред сидит на горе, как копна сена. Дай Бог ему наткнуться на серый камень! Дай Бог ему исчезнуть как горошине!...’ [Трейланд: № 197].

В связи с указанной формулой мы подходим к еще одной оппозиции, характерной для мифологии гороха: *маленький* — *большой*. В вышеприведенных заговорах основным свойством гороха является его мелкость и способность катиться (быстро двигаться). Именно этим определяется действенность заговора: болезнь (или вредоносный объект) должны размельчиться, раскрошиться на мелкие части и укатиться, т. е. сгинуть, исчезнуть. В то же время горох обладает возможностью быстрого роста и достижения огромных размеров: вспомним сказки о гороховом (бобовом) стебле, выросшем до неба, и о Покатигорошке, чудесным образом в короткие сроки выросшем из горошины в могучего богатыря, способного победить Дракона. Чудесный и быстрый рост (вверх), достижение невероятно больших размеров противопоставляется быстрому же движению мелкого гороха вниз. Как подчеркивает Т. В. Цивьян, способность катиться всегда связана с нисходящим движением, к неминуемой гибели: «Фразеология, связанная с *катиться*, определенно отсылает *вниз*, к гибели, реальной или метафорической: *куда ты катишься, до чего докатился, катиться по наклонной (плоскости), под гору, в пропасть*; «яблочко, куда ты котишься, ко мне в рот попадешь, не воротишься» (вариант *в Губчека попадешь*), «*катись колбаской по Малой Спасской, скажи деду, в Москву еду*» (формула изгнания; ср.: звуковое сходство, или анаграмму *колобок* — *колбаска*), *катиться катушкой* ‘убираться вон’ [СРНГ 1977: s. v. *катиться*], ср. в этом же ключе *прокатить* (на выборах), и *укатали сивку крутые горки* и т. п.» [Цивьян 2004: 315].

Обратимся в этой связи к литовским загадкам с темой катания, в которых загадывается горох:

Atrytuoja rytulys nelabai didelis per aukštus kalnus, per mūro tiltus ‘Подкатывается каток не очень большой через высокие горы, через каменные мосты’ [LMD I: 700 (185)].

Ritasi rituolis per augštus kalnus, per geležinį tiltą ‘Катится колобок через высокие горы, через железный мост’ [ЖМК: 586].

В следующих загадках явно звучит тема гибели или исчезновения:

Atsirito ridinys, nelabai didelės, per mėsų tiltą į molio pylį (žyrnis, žmogaus gerklė, pilvas) ‘Подкатился каток, не очень большой, через мясной мост в глиняный замок (горох, человеческое горло, живот)’ [JaF: 267—1322 (264°)];

Atbėga ritelis, nelabai didelės, per laukų tiltą į juodąją jūrą pakliunkit (kai žirnius verda, iki pusės varinio (puodo) uždeda lentelę, per ją ridena žirnius ir žirniai krenta į varinį) ‘Прибегают каток, не очень большой, через полевой мост в черное море плюх (когда горох варят, до половины котелка (кастрюли) кладут досочку, по которой катят горох и горошины падают в котел)’ [LTR: 1039 (2274)].

Ср. аналогичные белорусские, русские и латышские загадки:

Качаюцца каточки на ліпавым мосце, шуць у мяшок [Загадкі: № 584];

Катились каточки по липову мосточку; увидели зорю, бросились в воду [Садовников: № 506а]²;

Sabira bira, Saripa ripa Pār liepas tiltu Uz vara pili (No sieta zirņus ber podā) ‘Сыпятся-насыпаются, катятся-накатываются через липовый мост в медный замок’ [LTM: Nr. 3704a].

Описание пути гороха в литовских загадках (через высокие (глиняные, пепельные) горы, через Египетскую гору, через ровные поля, через каменный (железный, мясной, липовый, глиняный, деревянный) мост, через ивовые (липовые) леса, через острые пни, пестрые насыпи, королевскую землю, низкие склоны) само по себе очень мифологично и подразумевает движение вниз («с высокой горы»). Конечный пункт этого пути (в отгадках это или горло / живот человека, или печь) тоже ассоциируется с низом, землей (или водой), а также с закрытым пространством: в глиняный замок, глиняный дворец, глинистое место, глиняную (каменную) церковь, каменную корчму, железную квартиру, под мост, в черное море.

Примечательно, что это движение сопровождается громким звуком — звоном и стуком, что немаловажно учитывая связь с фрагментом основного мифа о низвергнутых детях Громовержца. Особенно это отражается в латышских загадках:

Zvirguļi, zvarguļi Satek vara pili ‘Бубенчики, колокольчики, стекаются в медный замок’ [LTM: Nr. 3702a];

Tirkšēdami, tarkšēdami Sabrauc dzelzs pilsetā ‘Треещащие, тарашающие, съезжаются в железный город’ [LTM: Nr. 3702c.];

Skanējās, dārdējās No liepājas Dzelzavā ‘Звоня, грохоча, с липового в железное’ [LTM: Nr. 3703].

² Подобные загадки существуют и с отгадкой «солнце», ср.: литовскую — *Atsirita ritinys per augštus kalnus per liepų kaimus ir šmakštį į molio skylę (saulę)* ‘Подкатывается каток через высокие горы, через липовые пни и прыг в глиняную дыру (солнце)’ [LMD I: 190 (41)], что также актуализирует оппозицию *верх-низ* и позволяет соотносить горох с объектами небесной сферы.

В литовских загадках звукоподражательные эпитеты отсылают к пернатым персонажам, что также актуально в связи с оппозицией *верх* — *низ*:

Czi-czi-rikos bega par lėpinį tiltelį ant molinį dvarelį (žirniai, sėtas, peczus) ‘Чи-чи-рики бегут через липовый мостик в глиняный дворец (горох, сито, печь)’ [LMD I: 456 (54)].

Оппозиция *верх* — *низ* в мифологии гороха (боба) также весьма актуальна и в связи с верхним (небесным) и нижним (хтоническим) мирами. О связи гороха с нижним миром посредством царства мертвых уже упоминалось. В славянской мифологии есть свидетельства связи его и с хтоническими мифологическими персонажами. По представлениям славян, «гороховое поле — место обитания мифологических персонажей: русалок, кикимор, Бабы Яги, железной бабы»; «по представлениям жителей Татр, Подгалья, Спиша, водяной и дивожены питались горохом и бобами» [СД 1: 525—526]. В некоторых вариантах литовской сказки «Везут в ад пирог» бедный брат относит чертам бобовый пирог [Seselskytė: 79], а «словенцы на р. Драке считали, что если в Сочельник закопать горох в землю там, где с крыши стекает вода, дьявол принесет деньги» [СД 1: 523]. Ср. литовское выражение: *Graži kaip pupų velnias* ‘Красивая как бобовый черт’ (т. е. уродливая) [LKŽ X: 936].

О принадлежности гороха и бобов к хтоническим мифологическим персонажам косвенно свидетельствует его связь со шкурой животных и животными вообще (в частности, с медведем): «участники обрядовых обходов (в Адвент, на святки, на масленицу или пятую неделю Великого поста) рядились в гороховую солому. Иногда у поляков гороховый медведь был одет в вывернутый тулуп. В конце обхода гороховую солому на «медведе» поджигали или снимали и подкладывали под кур и гусей, чтобы они лучше неслись и сидели на яйцах» [СД 1: 524]. В Рязани для хорошего урожая гороха при севе бросали шубу впереди сохи [СД 1: 525]. Эти представления имеют параллели и в генетически далеких традициях: в мифологии коми-зырян Медведь Ош, который считался сыном верховного божества Ена и жил с ним на небе, однажды прогневал своего отца и был лишен права жить на небе из-за того, что однажды увидел, как одна женщина уронила половинку горошины, слез с неба на землю и съел ее [Конаков]. Этот миф практически повторяет и индоевропейский сюжет основного мифа.

В связи с этим необходимо отметить и особую, магическую связь гороха со змеей, что проявилось в некоторых ритуалах. По русским поверьям, горох, «проспавший через голову (или тело) убитой весной змеи, обладает чудодейственной силой. Цветок такого гороха, собранный в полночь или в полдень и положенный в восковом шарике в рот, помогает узнать, что у каждого на уме»; «кто съест первый стручок такого гороха, приобретет способность понимать язык гусей (чеш.)». «Чтобы быть невидимыми и неслышимыми на охоте, браконьеры в четверг, пятницу и субботу на Страстной неделе вкладывали по одной горошине в глазные отверстия и челюсть змеи, закапывали череп, прикрывали камнем. Из боковых побегов выросшего гороха сплетали венок и надевали его под шапку, а в рот клали го-

рох, проросший через челюсти змеи (чеш.)» [СД 1: 525]. Чудодейственные свойства цветка гороха, проросшего через голову (или тело) змеи невольно наводят на мысль о таких же свойствах цветка папоротника, который, как известно, связан с Громовержцем. А его плоды, дающие человеку уникальные возможности, позволяют соотнести горох с гипнотическими, наркотическими и галлюциногенными свойствами других элементов растительного кода, соотносимых с основным мифом — грибов и мака³.

Наконец, прямая отсылка к сюжету о детях Громовержца, превращенных в хтонических персонажей, содержится в следующем ритуале: «у болгар в Родопях бездетная женщина, посадив бобы в черепахе убитой змеи, оставляла его в дупле бука и по количеству всходов определяла число будущих детей» [Плотникова: 50].

В то же время горох (боб) в рамках растительного кода (т. е. прежде всего как растение, стремящееся снизу вверх) реализует скорее первую часть оппозиции *верхний мир* — *нижний мир*. Здесь прежде всего стоит вспомнить распространенный в разных традициях сказочный сюжет о прорастании бобового (реже — горохового) стебля до неба, что делает его неким прообразом мирового дерева.

Указания на роль медиатора между небом и землей есть не только в сказках, но и в загадках, ср., например:

Ažuolas tankuolėlis, devynlapis devynšakis, viršuje mėnulis teka ‘Дуб густой, девять листьев, девять веток, наверху встает месяц’ (горох) [LTR: 6398 (140)];

Stuk, stuk, stova devinstovai viršum medžių gaidžiai gieda ‘Стук, стук, стояк девятистояк, над деревьями петухи поют’ (горох) [LTR: 1189 330—43];

Ažuolėlis bumbulėlis, šimtašakis, šimtalapis, per viršunę saulė teka ‘Дуб набалдашник, сто ветвей, сто листьев, через верхушку солнце встает’ (горох) [LTR: 37 (306)].

В связи с сюжетом основного мифа особенно интересен текст загадки, в которой упоминаются дети:

Ažuols qžuolinis, šakos garbanuotos visos šakos su lizdais, visi lizdai su vaikais ‘Дуб дубовый, ветви кудрявые, все ветви с гнездами, все гнезда с детьми’ [LTR: 3116 (545)].

К теме детей мы еще вернемся, а сейчас хотелось бы остановиться на сюжете о бобовом стебле до неба. Эта сказка (тип АТ804А) известна очень многим народам, однако, как отмечает А. Сесельските, литовские ее варианты несколько отличаются от прочих. Прежде всего она отмечает, что эта сказка наиболее распространена в Восточной Литве, непопулярна в Латвии, а варианты, записанные на территории Белоруссии, редуцированы по сравнению с литовскими аналогичными текстами [Seselskytė: 76]. В литовском наиболее распространенном варианте интере-

³ Кстати, параллелизм горох — грибы отмечается и в некоторых фольклорных данных: ср. поговорку *Этот горох не лучше грибов (бобов)* [Даль 1957: 854], загадку *В поле-то гого-гого, в лесу-то гиги-гиги (горох и гриб)* [Там же: 957]. Схожесть образов гороха и грибов в загадках отмечал и В. Н. Топоров [Топоров 1979: 256, сн. 53]. О параллелизме гороха и мака см. выше.

сен двоичный код, построенный на оппозиции *мужской* — *женский*, не встречающийся в сказках других традиций (что может служить подтверждением их архаичности): петух и курица приносят деду и бабе горошину и боб (как уже упоминалось, в лит. яз. боб женского рода, а горошина — мужского)⁴, которые вырастают до неба и взбираясь по которым дед и баба попадают на небо к Богу, там они трижды нарушают запрет притрагиваться к хлебу (меду), яблокам и повозке, в результате чего отправляются на землю. Концовка сказки бывает различной: иногда дед и баба благополучно достигают земли, иногда стебли ломаются и они погибают, есть и варианты, в которых дед (или оба) остаются на небе. Некоторые из последних вариантов интересны тем, что таким образом объясняется происхождение грома: *Dabar kai girdime griaudžiant, tai bobutė po dangų su Dievo rateliais važinėjasi, net ugnis iš ratų pilasi* ‘Сейчас когда мы слышим гром, это бабка по небу на повозке Бога разъезжает, даже огонь сыплется из-под колес’; *Štai iš kur atsirado griautinis, nok to bobos vežimuko važinėjimo* ‘Вот откуда появился гром, от разездов этой бабкиной повозки’ (LTR 3924 (231), цит. по: [Seselskytė: 78]). Получается, что дед и баба благодаря гороху и бобу попадают на небо, где исполняют функции Громовержца?

Авторы словаря белорусской мифологии отмечают, что «существуют гипотезы о принадлежности гороха к символам и атрибутам Перуна» [БМ: 115—116]. Астрологически горох также связан с Юпитером [de Vries: 359]. Однако немало и указаний на связь гороха и бобов с женскими божествами (Белой Богиней, Верховной Богиней Луны Айни у кельтов, культом Деметры [de Vries: 37]). Последнее обстоятельство как нельзя лучше соответствует основному мифу: Деметра была женой Зевса, дочь которой была похищена богом подземного царства⁵. Комплекс ассоциаций, связанных с мифом Деметры (принадлежность к божественному семейству, низвержение ребенка в подземное царство, связь с миром мертвых, культ плодородия) во многих пунктах пересекается и с мифологией гороха (о бобовых как о растениях, связанных с циклом Деметры и Персефоны, упоминают также Т. М. Судник и Т. В. Цивьян [Судник, Цивьян: 310]).

Литовские загадки о горохе с упоминанием Перкунаса практически озвучивают этот фрагмент мифа:

Trenkė perkūnas iš aukštai, trūko dožė, pabiro vaikai ‘Ударил Перкунас сверху, разорвалась коробка, рассыпались дети’ (горох) [LTR: 3518 (598)];

Trenke perkunas, kažin keno vaikai pabiri ‘Ударил Перкунас, чьи-то дети рассыпались’ (горох) [LMD I: 244 (28)];

Perkūnas trinktelėjo, triobelė sugriuvo, vaikai išbyrėjo ‘Перкунас ударил, избушка развалилась, дети рассыпались’ (горох) [LTR: 5135 (30₁₁₄)].

⁴ Стоит обратить внимание на то, что в литовском фольклоре вообще горох и боб очень часто упоминаются именно в паре, что, учитывая их разнополость, вызывает аллюзии к близнечному мифу и инцесту (см.: [Иванов, Топоров: 21, 115] и др.), ср. также приводившуюся выше литовскую эротическую песенку о соитии гороха и боба.

⁵ О связи Деметры с этим фрагментом основного мифа см.: [Иванов, Топоров: 107].

Ср. русскую загадку: *От стуку И от грома⁶ Катилися каточки По широкой дощечке; Увидали зорю, Пометались в воду* (горох) [Садовников: № 506].

Вообще тема горох = дети в литовском фольклоре необычайно популярна. Во многих загадках горох загадывается через детей:

Tėvas tutlis, motyna pamplė, vaikučiai pabiručiai ‘Отец мешок, мать шишка, детишки рассыпалки’ [ЖМК: 960];

Tėvas sieksnininkas, močia sprindininkė, o vaikiukai rutuliukai ‘Отец саженный, мать пяденная, а детишки кругляшки’ [LTR: 3265 (95)];

Čičiriko vaikai po liepynų šoko ‘Дети чичирика по липучке прыгают’ [LTR: 2727 (4)];

Популярна детская тема и в загадках о горохе других народов балто-славянского пространства:

Ср. латышские загадки:

Koks pie koka, zars pie zara, ikkurā zarā šūpulītis, ikkurā šūpulītī bērni ‘Дерево к дереву, ветка к ветке, на каждой ветке колыбелька, в каждой колыбельке детки’ [LTM: № 3700a];

Te bij kociņš, tur bij kociņš, Ik kociņā šūpulītis, šūpulītī mazi bērni ‘Здесь было деревце, там было деревце, На каждом деревце колыбелька, в колыбельке маленькие дети’ [LTM: № 3700b];

Liels liels dārzs. Tanī dārzā koki, Uz tiem kokiem šūplī, Tajos šūpljos bērni ‘Большой-большой сад, в том саду деревья, на тех деревьях колыбели, в тех колыбелях дети’ [LTM: № 3700c].

Ср. белорусские загадки:

Вырас куст, у кусце домікі, а ў доміках дзеткі. Паваяў вецер, домікі разваліліся, а дзеткі накаціліся [Загадкі: № 587];

Семдзсят парасят адну матку ссуць [Загадкі: № 590].

Ср. русские загадки:

Малы малышки, Катали катышки, Сквозь землю прошли, По тычине вползли, Синю матку нашли, Синя, синя, да и вишневая [Садовников: № 1293];

Сивая свинья На дубу гнездо свила; Детки — по веткам, А сама — в коренёк [Садовников: № 1294].

Ср. также литовские детские песенки:

Upa upa ką čia supa,

Ar čia žirni, ar čia pupa?

Nei čia žirni, nei čia pupa,

Tai vaikutį mano supa.

Šoka pupos ir žirniukai,

Striksi šarkos ir žvirbliukai.

Eina Kasparas tep tep tep

Jo kojytės lap lap lap

‘Упа, упа, кого здесь качают?’

Горошину или боб?

Ни горошину, ни боб,

Это моего ребеночка качают’

‘Прыгают бобы и горошки,

Подпрыгивают сороки и воробьи,

Идет Каспар топ-топ-топ,

Его ножки лап-лап-лап’

⁶ Вспомним здесь тему звука, грохота и треска в связи с катящимся горохом.

<i>Aš mergytė kaip pupa</i>	‘Я девочка как боб
<i>Per kiemelį o-pa-pa</i>	По дворику о-па-па
<i>Žąsinėlių sutikau</i>	Гуся встретила
<i>Labas rytas jam sakau.</i>	Доброе утро ему говорю.
<i>Žąsinėli, tu nepyk,</i>	Гусь, ты не злись,
<i>Man kojelių nežnaibyk</i>	Мне ножки не щипай’

[Bitė]

Вообще горох, боб — довольно распространенная метафора ребенка в литовском языке:

Tikras žirnis tas mūsų vaikiukas ‘Настоящая горошина этот наш ребенок’; *Pri-leis tokių žirnių (vaikų) pilnus namus* ‘Напустит таких горошин (детей) полон дом’; *Toki buvau kaip žirnis (labai maža)* ‘Я такая была как горошина (очень маленькая)’; *Laksto vaikas kaip žirnis, gaudo viščiukus* ‘Бегаёт ребенок как горошина, ловит цыплят’; *Ašiai pati kaip guba, mano vyras kaip pupa, man vaikelių kaip žirnelių po kiemelį rieda* ‘Я сама как копка, мой муж как боб’, мои детишки как горошинки по двору катаются’ [LKŽ XX: s.v. žirnis]; *Vaikų kai pupų (daug), o duonos nei plutos* ‘Детей как бобов (много), а хлеба ни корки’; *Aš mažas vaikelis, kai pupų pėdelis* ‘Я маленький ребенок как след боба’ [LKŽ X: 935—936].

Наконец, на пребывание гороха на небе указывают известные загадки, в кото-рых через горох загадываются звезды⁸. Например:

Ėjo trys broliai, pabėrė žirnius, bet mirsi nesurinksi ‘Шли три брата, рассыпали горох, но умрешь — не соберешь’ [LTR: 4185 (25)];

Rėtis sudūlėjo, žirniai išbyrėjo ‘Решето истлело, горох рассыпался’ [KDS: f4023 263];

Pilnas rėtis baltų žirnių (žvaigždės) ‘Полно решето белого гороха’ (звезды); *Viduryj žirnių kepalas (mėnulis tarp žvaigždžių)* ‘Посреди гороха буханка’ (месяц среди звезд) [LKŽ XX: s. v. Žirnis].

Ср. аналогичные русские и белорусские загадки:

Рассыпался горох По ступе дорог Никто его не сберет: Ни царь, ни царица, Ни красна девица, Ни бела-рыбца [Садовников: № 1852];

..... *Рассеян горох Никому не собрать: Ни дьякам, ни попам, Ни серебрянни-кам. Один Бог соберет, В коробеечку складет* [Садовников: № 18526];

Рассыпайся горох на тысячу дарог, ніхто не пабярэ: ні цар, ні царица, ні пятах, ні курыца [Загадки: № 79];

Уся дарожка ўсыпана гарошкам [Загадки: № 83].

⁷ В данном случае интересна инверсия по признаку пола: хотя боб в литовском языке женского рода, здесь им называется мужской персонаж.

⁸ Как отмечает В. Н. Топоров, «дети Громовержца ... могут быть обращены не только в хтонические существа, но и в небесные (звезды, Млечный Путь, радуга и под.); впрочем, превращение в звезды также нередко изображается как наказание» [Топоров 1979: 270].

Ср. также русские пословицы: *на Рождество... небо звездисто — урожай на горох* [Даль 1957: 900]; *Звездистая ночь на богоявление — урожай на горох и ягоды* [Там же: 872].

О падении гороха с неба свидетельствуют загадки, в которых через горох загадывается град (кстати, по славянским поверьям, «ведьмы высиживают град из гороха, орехов, яиц, потому и получают градины разной величины» [СД 1: 526]):

Рассыпался горох На семьдесят семь дорог; Никто его не подберет: Ни царь, ни царица, Ни красная девица (град) [Садовников: № 1938];

Рассытаўся гарох на сто дарог, ніхто не падбярэ: ні цар, ні царыца, ні красная дзявіца (град) [Загадкі: № 587].

Таким образом, собрав все фольклорные и метафорические данные, приведенные выше, можно восстановить своеобразный «мифологический путь» гороха: с неба, по которому он рассыпан звездами, он градом падает на землю, где проникает в подземный мир, царство мертвых, становится местопребыванием душ умерших и связывается с хтоническими божествами, ответственными за плодородие и богатство; отсюда прорастает мировым деревом, способным доставить культурных героев в верхний мир, а если употребляется в пищу женщиной, воплощается в ней зародышем, вырастающем в могучего великана, способного победить Дракона; в случае необычного прорастания (через череп или челюсти змеи) обладает магическими свойствами.

В контексте основного мифа, если предположить участие в нем гороха, получается, что горох (бобы) — дети Громовержца, пребывавшие на небе, низвергнутые в нижний мир, где становятся помощниками хтонических персонажей, не теряя при этом своих магических свойств (которые могут использоваться как в позитивных, так и в негативных целях) и способности быть медиатором между верхним и нижним миром.

Возвращаясь к теме оппозиций, можно подчеркнуть, что движение вниз (с неба на землю) характеризуется левой частью оппозиций (уменьшение, раздробление, исчезновение, смерть, вред) и чаще соотносится с горошиной как плодом растения; движение вверх (прорастание с земли до неба) характеризуется правой частью оппозиций (увеличение, рост, плодородие, жизнь, польза) и связано чаще с растением как с побегом. Путь «наверх», который в случае с гороховым стеблем является прямым (и который можно, видимо, сопоставить с гипотетическим путем «наверх» с помощью наркотического действия грибов), для сказочных персонажей превращается в испытание с риском для жизни. Как отмечал В. Н. Топоров в отношении мифологемы грибов, этот риск всегда возникает при соприкосновении с амбивалентными объектами, совмещающими в себе разнонаправленные начала: «... в объеме мифа в целом отмеченная выше триада жизнь — смерть — плодородие дублируется пространственными перемещениями основного объекта мифа независимо от его конкретных превращений — небо (божьи дети до грехопадения) — земля (грибы, насекомые и т. д. после наказания за грехопадение) — небо (человек, вкусивший напиток бессмертия). Эта двуаспектность гри-

бов и изофункциональных им объектов в мифе, проявляющаяся в совмещении небесного (божественного) и хтонического (дьявольского) начал, отражает тот элемент риска, с которым необходимо связана вся эволюция человеческой культуры» [Топоров 1979: 285].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- БМ — Дучыц Л., Санько С. Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік. Мінск, 2004.
 Даль 1957 — Даль В. Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957.
 Даль 1981—1982 — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981—1982. Т. I—IV.
 Загадкі — Загадкі. (БНТ: Беларуская народная творчасць). Мінск, 2004.
 Замовы — Замовы. уклад. Г. А. Барташэвіч. (БНТ: Беларуская народная творчасць). Мінск, 1992.
 Иванов, Топоров — Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
 Конаков — Конаков Н. Д. Ош — <http://www.komi.com/Folk/komi/408.htm>
 МНМ — Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. М., 1980—1982. Т. I—II.
 Обидина — Обидина Ю. С. Соотношение рационального и мистического в учении Пифагора о бессмертии души — http://credo-new.narod.ru/credonew/01_04/5.htm
 О земледелии — О земледелии. История и сельское хозяйство — <http://artemenko.com.ua/hit18/>
 ПЗ — Полесские заговоры (в записях 1970—1990-х гг.) / Сост., подгот. текстов и коммент. Т. А. Агапкиной, Е. Л. Левкиевской, А. Л. Топоркова. М., 2003.
 Плотникова — Плотникова А. А. Бобы, фасоль и горох в символике рождения и смерти // Кодови словенских культура. Бильке, 1996. година 1, број 1.
 Порфирий — Порфирий. Жизнь Пифагора — <http://epizodsspace.testipilot.ru/bibl/fant/diogenl/diogenl/txt12.htm>
 Садовников — Садовников Д. Загадки русского народа. СПб., 1901.
 СД 1 — Славянские древности: Этнолингвистический словарь в пяти томах / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995. Т. 1.
 СРНГ 1977 — Словарь русских народных говоров. Л., 1977. Вып. 13.
 Судник, Цивьян — Судник Т. М., Цивьян Т. В. Мак в растительном коде основного мифа (Balto-Balkanica) // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981.
 Топоров 1977 — Топоров В. Н. Заметки о растительном коде основного мифа (*перец, петрушка* и т. п.) // Балканский лингвистический сборник. М., 1977.
 Топоров 1979 — Топоров В. Н. Семантика мифологических представлений о грибах // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
 Трейланд — Известия императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. XL. Труды этнографического отдела. Кн. VI. Материалы по этнографии латышского племени / Под ред. О. Я. Трейланд (Бривземниакс). М., 1881.
 Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. 1—4. СПб., 1996.
 Фрейденберг — Фрейденберг О. Поэтика Сюжета и Жанра. 13. Бобово-чечевичные фарсы — <http://culture.niv.ru/doc/poetics/freydenberg/077.htm>

- ФРФС — Французско-русский фразеологический словарь / Сост. В. Г. Гак, И. А. Кунина, И. П. Лалаев, Н. А. Мовшович, Я. И. Рецкер, О. А. Хортик. М., 1963.
- Цивьян 1977 — Цивьян Т. В. «Повесть конопля»: к мифологической интерпретации одного операционного текста // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточно-славянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977.
- Цивьян 2004 — Цивьян Т. В. Роковой путь колобка // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рожд. акад. Н. И. Толстого (1923—1996). М., 2004.
- Bitė — [http://www.biteplus.lt/lt/2content.content_view_diary_other/963829.34534-=\(1276760336](http://www.biteplus.lt/lt/2content.content_view_diary_other/963829.34534-=(1276760336)
- De Vries — de Vries A. Dictionary of Symbols and Imagery. Amsterdam; London, 1976.
- JaF — A. Janulaitis. Janulaičio Augustino fondas. F267. Fondas gautas iš fondo sudarytojos Eleonos Janulaitienės, 1967 sausio 5 d., Nr. 9. Papildyta 1969—2001 m. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka.
- JMK — Jurgelionis K. Mįslių knyga. Chicago, 1913.
- KDS — Lietuvos kraštotyros draugijos darbų saugykla.
- LKŽ — Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 2002. T. XX.
- LMD — Lietuvos Mokslo Draugija (Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto archyvas).
- LT V — Lietuvių tautosaka. T. V: Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai / Medžiagą paruošė K. Grigas. Vilnius, 1968.
- LTM — Latviešu tautas mīklas / Izlase sast. A. Ancelāne. Rīga, 1954
- LTR — Lietuvių tautosakos rankraštynas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).
- Sapnininkas — <http://www.vytautas.com/index.php?dir=sapnininkas-z>
- Seselskytė — Seselskytė A. Gervėtiškių pasaka «Pupa į dangų» (Lietuvoje užrašytų variantų kontekste) // Tautosakos darbai. VI—VII (XIII—XIV). 1997.
- Tostai ir atvirukai — <http://www.tostai.lt/?l=grets&id=2651>

«ЛЕВ И ЕДИНОРОГ» В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ: К ВОПРОСУ О СЕМАНТИКЕ СИМВОЛОВ

Вячеславу Всеволодовичу Иванову в фундаментальной энциклопедии «Мифы народов мира» среди многих других статей принадлежит и статья о единороге¹. В ней кратко, но чрезвычайно емко охарактеризована история и семантика этого символа, начиная с культур долины Инда III тыс. до н. э. и до европейской литературы XX в., в т. ч. и многочисленные проявления этого образа в искусстве, и его присутствие в русской традиции. Выдвинув идею создания универсального словаря-свода символов «Symbolarium», восходящую к замыслу П. А. Флоренского, в качестве актуальной научной задачи², Вячеслав Всеволодович, безусловно, имеет в виду и описание многочисленных символов животного мира, включая фантастических животных, среди которых единорог занимает одно из первых мест. Поэтому настоящая статья является не только скромным приношением к юбилею великого ученого, посвятившему символу единорога одну из работ, но и может быть скромным вкладом в реализацию грандиозного проекта по исследованию символического языка культур.

Не останавливаясь специально на истории и символике единорога в различных культурах Азии и Европы, хотелось бы обратиться к некоторым особенностям этого символа в русской культуре, причем не только единорога как такового, а единорога в паре со львом. Эта тема не является новой для современной отечественной историографии — символика «русского» единорога, получившего особенное распространение в XVI—XVII вв., анализировалась неоднократно, в т. ч. и в специальных трудах (О. В. Белова, Р. А. Симонов, Г. В. Вилинбахов, А. Л. Хорошкевич и др.)³. Кроме того, Н. А. Мерзлютиной была сделана попытка обобщить именно

¹ *Иванов Вяч. Вс.* Единорог // Мифы народов мира. Т. 1. М., 1991. С. 429—430.

² *Иванов Вяч. Вс.* Symbolarium: предложения к словарю символов // Антропология культуры. Вып. 1. М., 2002. С. 32—38.

³ *Белова О. В.* Единорог в народных представлениях и книжной традиции славян // Живая старина. 1994. № 4. С. 11—15; *Она же.* Славянский бестиарий. М., 2001. С. 99—103, 133—134; *Вилинбахов Г. В.* Русские знамена XVII века с изображением единорога // Сообщения Гос. Эрмитажа. Вып. 47. Л., 1982. С. 22—24; *Симонов Р. А.* Единорог — соперник двуглавого орла // Гербовед. № 38. М., 1999. С. 99—107; *Он же.* Древняя государственная эмблема России — единорог // Труды ИАИ РГГУ. Т. 34. М., 2000. С. 49—78; *Калугин В. В.* Символика сюжетного средника (По материалам изданий XVI—XVII вв. Московского Печатного двора) // Герменевтика древнерусской

парные изображения льва и единорога и предложить классификацию таких композиций⁴. Однако вопрос о семантике символа единорога в России и причинах его популярности в период Московского царства нельзя еще считать достаточно проясненным. В большинстве случаев авторы ограничивались весьма общими рассуждениями, констатируя значительное разнообразие, если не сказать полярность значений образа — от единорога как символа Христа до знака-«оберега» и символа смерти. В своем фундаментальном «Славянском бестиарии» О. В. Белова выделила следующие толкования: единорог мог символизировать Христа и непорочное зачатие⁵; Христа, помогающего падшему человеку; человека, не забывающего о Боге и возносящего молитву (единорог трижды в день славит Бога, обращаясь на восток); человека, вооруженного «крепостью Христовой» против еретиков, и, наконец, даже беса, одолевающего человека, и смерть⁶. Такая широкая полисемантичность открывает большой простор для всевозможных интерпретаций, среди которых доминирующим остается самое обобщенное и не вполне определенное значение: единорог признается символом царской власти, силы, могущества и других позитивных «властных» (применительно к конкретным изображениям на царских печатях или регалиях, например) качеств. Но это объяснение, очевидно, нуждается в более глубоком осмыслении. Почему именно единорог стал воплощением этих качеств, как семантика единорога соотносилась с семантикой льва, в чем они различались, почему эта пара стала столь популярной — эти вопросы пока остаются практически без ответа. Собственно появление самой пары «лев и единорог» в русской культуре можно, конечно, объяснить европейским заимствованием (а его вероятность весьма велика), но оно — лишь повод, отнюдь не проясняющий широкую распространенность этих эмблем в Московской Руси.

Чтобы подойти к рассмотрению этой проблемы, необходимо кратко осветить фактологическую сторону вопроса и основные выдвигавшиеся в историографии

литературы. XVI — нач. XVIII вв. Сб. 2. М., 1989. С. 19—34; *Хорошкевич А. Л.* Единорог Большой государственной печати Ивана Грозного // Чтения памяти В. Б. Кобрин: Проблемы отечественной истории и культуры периода феодализма: Тез. докл. и сообщений. М., 1992. С. 188—192; *Она же.* Герб // Герб и флаг России. X—XX вв. М., 1997. С. 160—174.

⁴ *Мерзлютина Н. А.* Изображение льва и единорога в древнерусском искусстве // Проблемы изучения памятников духовной и материальной культуры. Вып. 4: Мат-лы науч. конф. ГИКМЗ. «Московский Кремль», 2000. М., 2001. С. 201—209.

⁵ Ср.: интерпретацию единорога в средневековой европейской традиции как Христа («духовного единорога»), воплотившегося в лоне Богоматери, а рога — как символа единства Христа с Богом-отцом (Средневековый бестиарий. М., 1984. С. 83; *Покровский Н. В.* Евангелие в памятниках иконографии преимущественно византийских и русских. М., 2001. С. 126—128 (символика Благовещения)). Христианским коннотациям способствовали и легенды о чудодейственной очищающей силе рога (ср. использование рога «единорога» в лекарственных целях) и о способности единорога самовозрождаться, сбрасывая рог (см.: *Белова О. В.* Славянский бестиарий. С. 99—100).

⁶ *Белова О. В.* Славянский бестиарий. С. 99—103, 133—134.

предположения. В русской культуре первое изображение единорога имеется на полях Изборника Святослава 1073 г., где оно служит обозначением зодиакального созвездия Козерога. С конца XV в. изображения единорогов появляются не только в книжной миниатюре (иллюстрации к «Повести о Варлааме и Иоасафе»), но и в произведениях декоративно-прикладного искусства, в памятниках нумизматики и сфрагистики. На золотых «корабельниках» Ивана III, прототипом которых служил английский нобль Эдуарда III, единорог занимал место четырех английских львов между концами креста⁷. На двух резных костяных посохах, которые атрибутируются московскому митрополиту Геронтию и сыну Ивана III Ивану Ивановичу, среди других изображений также помещены единороги⁸. К концу XV в. относятся две печати с единорогами (в качестве печатей на Руси широко использовались в это время античные или западноевропейские геммы). На печати верейского удельного князя Василия Михайловича Удалого, сохранившейся при договоре 1482 г., изображена борьба единорога и дракона (единорог наверху, дракон внизу)⁹. Подобная композиция помещена и на печати землевладельца владимирского уезда Прокофия Зиновьева Скурата Станищева, скрепляющей документ 1500/1501 г.¹⁰ Идущий единорог с опущенным вниз рогом украшает чарку калужского князя Семена Ивановича (1487—1518), одного из младших сыновей Ивана III¹¹. Судя по описанию, это один из наиболее ранних примеров того типа изображения, который получил позднее наибольшее распространение («шествующий единорог с опущенным вниз рогом»).

Официальный характер в русской государственной символике эмблема единорога получила в феврале 1561 г. 3 февраля 1561 г. «царь и великий князь печать старую меньшую, что была при отце его великом князе Василе Ивановиче, переменил, а учинил печать новую складную: орёл двоеглавной, а среди его человек¹² на коне, а на другой стороне орёл же двоеглавной, а среди его инърог (*единорог*)»¹³. Такая печать, в частности, скрепила договор с Данией от 7 августа 1562 г.¹⁴ Ис-

⁷ Подробнее см.: *Спаский И. Г.* Монетное и монетовидное золото в Московском государстве и первые золотые Ивана III // *Вспомогательные исторические дисциплины*. Вып. 8. Л., 1976. С. 110—131. Причем на нобле крест со львами помещался на реверсе монеты, а на «корабельнике» крест с единорогами занял аверс.

⁸ *Чернецов А. В.* Резные посохи XV в. (работа кремлевских мастеров). М., 1987. С. 5—18.

⁹ *Соболева Н. А.* Русские печати. М., 1991. С. 169, № 73.

¹⁰ Там же. С. 180, № 123. А. Л. Хорошкевич, опираясь на непроверенные данные Б. В. Кёне, предположила, что появление единорога на печати верейского князя связано с его женитьбой на племяннице Софьи Палеолог (*Хорошкевич А. Л.* Герб. С. 164—167), но наличие почти идентичного изображения на печати «рядового» уездного землевладельца делает это предположение сомнительным.

¹¹ *Хорошкевич А. Л.* Герб. С. 167.

¹² Замечу, что в этом тексте ездец, поражающий копьем змия, назван не царем или государем (как это было обычным в XVI—XVII вв.), а нейтрально — «человеком».

¹³ Цит. по: *Хорошкевич А. Л.* Герб. С. 158.

¹⁴ Снимки древних русских печатей государственных, царских, областных, городских, присутственных мест и частных лиц. Вып. 1. М., 1882. № 12; *Хорошкевич А. Л.* Герб. С. 160—161.

следователи справедливо писали о «реформе печати», а значит и государственного герба¹⁵. Ездец и орел, до того существовавшие отдельно, теперь соединились в единый эмблематический комплекс, а к двум государственным эмблемам прибавилась и третья — единорог. Единорог сохранялся на государственных печатях на протяжении царствования Ивана Грозного (на Большой печати на реверсе), но на Большой печати царя Федора Иоанновича его не было. Так, на обеих сторонах Большой печати 1589 г. в щитке на груди орла изображен ездец¹⁶. В начале XVII в., уже при Борисе Годунове, единорог вновь вернулся на реверс Большой государственной печати¹⁷ и остался там до середины XVII в., времени правления царя Алексея Михайловича. А на наградных «золотых» единорог сохранялся дольше: начиная с Ивана Грозного¹⁸ и вплоть до Федора Алексеевича включительно¹⁹. Таким образом, время наибольшего распространения этого символа в русской эмблематике относится ко второй половине XVI — первой половине XVII в. Единорог помещался и на некоторых печатях государственных учреждений и даже городов. Так, в конце XVI—XVII в. он присутствует на печатях приказа Большого прихода, а затем Большого дворца²⁰, в XVII в. на печатях Красноярского острога²¹, Московского печатного двора (противостоящие лев и единорог под короной)²².

Помимо сфрагистики и нумизматики (имеются в виду наградные «золотые», а не собственно знаки денежного обращения), изображения единорогов в данный период встречаются на очень большом числе разнообразных предметов, включая бе-

¹⁵ Хорошкевич А. Л. Герб. С. 158—159.

¹⁶ Снимки... № 24; Вилинбахов Г. В. Государственный герб России: 500 лет. СПб., 1997. С. 31.

¹⁷ Примечательно, что на печатях Бориса Годунова изображение единорога меняется: он не идет, опустив вниз голову с рогом, а скачет на двух задних лапах, подняв обе передние (Снимки... № 29; Спасский И. Г. «Золотые» — воинские награды в допетровской Руси // Труды Гос. Эрмитажа. Т. 4: Нумизматика. Вып. 2. Л., 1961. С. 115). Тем самым шествие сменяется более агрессивным движением. Позднее прежний тип изображения в сфрагистике восстанавливается.

¹⁸ Спасский И. Г. «Золотые» — воинские награды в допетровской Руси. С. 111; Мельникова А. С., Уздеников В. В., Шиканова И. С. Деньги в России: История русского денежного хозяйства с древнейших времен до 1917 г. М., 2000. С. 64; Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. М., 2003. С. 9.

¹⁹ Спасский И. Г. Монетное и монетовидное золото... С. 118, 126—127, ил. 9—11.

²⁰ Снимки... № 49; Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1963. С. 137—139; Хорошкевич А. Л. Герб. С. 173. На печати приказа Большого дворца 1638 г. под единорогом изображена ветка.

²¹ фон Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи. М., 1990. С. IV, рис. 14; Соболева Н. А. Российская городская и областная геральдика XVIII—XIX в. М., 1981. С. 169, 205; в XIX в. в официально утвержденных гербах Красноярска были уже совершенно другие эмблемы. Оригинальное объяснение символа единорога на красноярской печати предложил недавно Г. И. Королёв (*Королёв Г. И.* Красноярская печать XVII в. // Гербовед. № 84. М., 2005. С. 111—115).

²² Лакиер А. Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 116, табл. XIV, 9.

локаменный декор зданий, оружие, переплеты книг и т. д.²³ Единорог стал даже частью государственных регалий — его рог соотносился с царским посохом или со скипетром. Впервые скипетр в качестве регалии был зафиксирован Р. Ченслором и К. Адамсом в 1553 г.²⁴ Однако царский посох-жезл известен с более раннего времени. Он выполнял особую символическую функцию, являясь «осью мира, своего рода «мировым деревом», проходящим сквозь руку государя и через него скрепляющим земное пространство с небесным»²⁵. После появления скипетра посох сохранился среди регалий, хотя его значение уменьшилось. Скипетр или посох Ивана Грозного был сделан из рога единорога (скорее всего, из бивня нарвала). «Принесите мой царский жезл, сделанный из рога единорога...», — сказал Иван Грозный в присутствии Дж. Горсея, — этот жезл стоил мне 70 тысяч марок, когда я купил его у Давида Гауэра, доставшего его у богачей Аугсбурга. Найдите мне несколько пауков». «Он приказал своему лекарю Иоганну Ейлофу обвести на столе круг; пуская в этот круг пауков, он видел, как некоторые из них убегали, другие подышали. “Слишком поздно, он не уберезёт теперь меня”»²⁶. Так царский жезл использовался и с медицинскими целями — в качестве противоядия, поскольку такие свойства приписывали рогу единорога. По сообщению Ж. Маржерета, в царской казне Лжедмитрия I хранились два целых рога единорога, царский посох, сделанный также из этого материала и еще половина рога, «которой повседневно пользуются в медицинских целях»²⁷. Рога попали в руки польских захватчиков во время Смуты²⁸.

В ноябре 1562 г. наименование рога единорога даже вошло ненадолго в царский титул: «...великого государя, яко рога инрога, царя и великого князя...»²⁹ — здесь царь *непосредственно* соотнесен с рогом единорога.

То значение, которое придавали рогу единорога и самому этому зверю в христианской традиции, через западные бестиарии, византийский «Физиолог» и другие произведения подобного характера, в конечном итоге восходило к библейским текстам. В Евангелии от Луки явление Христа метафорически именуется «воздвижением рога спасения нашего» (1, 68—69), в Псалтири «вознесение» рога еди-

²³ Многочисленные примеры эмблемы единорога на различных связанных и не связанных с царским обиходом вещах конца XV—XVII в. см.: *Симонов Р. А.* Древняя государственная эмблема России — единорог. С. 56—59; *Мерзлютина Н. А.* Указ. соч. С. 202—207. К ним можно также прибавить единорогов на литой решетке, ограждающей раку царевича Дмитрия в Архангельском соборе московского кремля (первая половина XVII в.), в орнаменте волосника царицы Марии Владимировны, первой жены Михаила Федоровича (см.: *Панова Т. Д.* Кремлевские усыпальницы: История, судьба, тайна. М., 2003. С. 176, ил. 24, 54).

²⁴ Иностранцы о древней Москве. М., 1991. С. 29, 39.

²⁵ *Юзефович Л. А.* Путь посла: Русский посольский обычай. Обиход. Этикет. Церемониал: Конец XV — первая половина XVII в. СПб., 2007. С. 168.

²⁶ Иностранцы о древней Москве. С. 120.

²⁷ Там же. С. 180.

²⁸ Там же. С. 238.

²⁹ *Хорошкевич А. Л.* Герб. С. 169—170.

но рога служит метафорой приобщения к Господу и победы над врагами (91, 11: «А мой рог Ты возносишь, как рог единорога»), там же единорог олицетворяет силу гласа Господа (28, 6: «И заставляет их скакать... подобно молодому единорогу»), в Книге Иова — силу Бога и бессилие человека (39, 9—12: «Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих?...»), в Книге «Числа» освобождение евреев из египетского плена соотносится с «быстротой единорога» (23, 22; 24, 28). На библейские «образцы» опирались и русские толкования XVI в. А. Л. Хорошкевич приводит примеры из текстов 1550-х гг., в которых возвышение «христианского рога» связывается с победами над татарскими ханствами и возвеличением «христианского Российского царства». В послании же новгородского архиепископа Пимена Ивану Грозному (1563 г.) воздвижение «рога спасения нашего» сопоставляется с вручением Господом царю скипетра «Российского царствия»³⁰. Несколько сомнительным выглядит свидетельство В. Н. Татищева о надписи, сопровождающей изображение единорога на ковше Лжедмитрия I «яко единорога святилище твое на земли» с предположительной ссылкой на Псалтирь, не находящей подтверждения³¹. Татищев впервые высказал мнение, что единорог был «гербом» Ивана Грозного, но семантику символа не раскрыл. В дальнейшей историографии доминирующей стала светская, кратологическая трактовка образа, несмотря на очевидные духовные коннотации. Единорог признается символом сильной власти московского царя, его могущества и непобедимости, «царской власти в полном ее объеме», имеющим к тому же милитаристский оттенок³². Между тем духовное содержание символики единорога, исходя из толкований XVI в., представляется более актуальным для той эпохи. По мнению А. Л. Юрганова, единорог Ивана Грозного олицетворял собой власть Христа, что было особенно значимо для середины XVI в., когда (как полагает исследователь) эсхатологические ожидания «обострились до предела»³³. Анализ особенностей изображения и расположения единорога на государственных печатях, как кажется, подтверждает эту мысль³⁴. Вероятно, рог единорога, символизирующий духовную победу христианства, не только означал православный характер власти Московского царя, но отражал ее главное предназначение — стать залогом христианского Спасения, и именно Московский царь через этот символ уподоблялся Христу — грядущему Спасителю.

Оригинальную гипотезу об астрологическом значении эмблемы единорога на Руси выдвинул Р. А. Симонов: под ирогом (единорогом) подразумевался зодиакальный знак Козерога, как в Изборнике Святослава 1073 г. Поскольку московские Рюриковичи считали себя потомками рода императора Августа (по крайней мере,

³⁰ Хорошкевич А. Л. Герб. С. 168—169.

³¹ Татищев В. Н. Собрание сочинений. Т. 1: История Российская. Ч. 1. М., 1994. С. 370.

³² Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Указ. соч. С. 119; Соболева Н. А., Артамонов В. А. Символы России. М., 1993. С. 25, 28; Хорошкевич А. Л. Герб. С. 168, 171, 174.

³³ Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 345.

³⁴ Пчелов Е. В. Российский государственный герб: Композиция, стилистика и семантика в историческом контексте. М., 2005. С. 29—31.

с 1510-х гг.), а астрологическим знаком Августа был Козерог, то возможно поэтому Козерог и стал астрологическим «управителем» Руси (в XVI в. считалось, что Русь находится под астрологическим управлением Сатурна и Козерога)³⁵. При всем новаторстве этой гипотезы она вызывает ряд возражений. Ведь между Изборником Святослава и «корабельником» Ивана III, на котором единороги заменили английских львов, лежит огромная хронологическая дистанция (отождествление Козерога с единорогом в книге «Рафли» относится уже ко второй половине XVI в.), а сочетание львов и единорогов настолько очевидно для британской геральдики, что само по себе уже вполне объясняет замену первых вторыми на «корабельнике» Ивана III. Такая замена могла произойти по принципу ближайшего эмблематического «аналога», подобно появлению на русских печатях двуглавого орла, семантически аналогичному орлу Священной Римской империи, но стилистически восходящему к византийскому «типу» этой эмблемы.

Лев в символике Московского царства, как можно думать, традиционно связывался со светской властью царя. Подобно библейскому трону царя Соломона, трон Московских государей сопровождали фигуры львов, а в Коломенском дворце Алексея Михайловича механические львы даже издавали рычание, подобно львам у престола византийских императоров³⁶. Сочетание же единорога и льва имеет очень древние корни в мировой культуре, причем оно может символизировать мужское и женское начала³⁷. Для русской традиции символическим источником этого сочетания, по-видимому, был текст Псалтири (21, 22: «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов...»), а противостояние льва и единорога нашло отражение в «Голубиной книге» (два зверя борются за главенство и лев побеждает)³⁸. Между тем в изобразительном плане парная эмблема льва и единорога появляется в русской культуре позднее, чем собственно эмблема единорога. Спорадически изображения единорога и льва известны еще с 30-х гг. XIV в., но это лишь единичные случаи (Васильевские ворота Троицкого собора Александровой слободы, резные посохи конца XV в.)³⁹. К концу XVI в. относятся изображения льва и единорога на знамени Ермака (начало 1580-х гг.)⁴⁰, на среднике «Октоиха», изданного Московским Печатным двором (1594 г., если только переплет книги аутентичен времени издания)⁴¹, XVI веком датируется и железная оковка деревянных сундучков⁴². Однако наибольший «расцвет» парная эмблема приобретает со времен первых Романовых. На братине дья-

³⁵ Собственно созвездие единорога было введено только в 1624 г. немецким астрономом Якобом Барчиусом (Барчем).

³⁶ Иностранцы о древней Москве. С. 207, 217; Юзефович Л. А. Указ. соч. С. 162; Хромов О. Р. Коломенские львы // Русская речь. 1989. № 1. С. 79—85.

³⁷ Мерзлютина Н. А. Указ. соч. С. 201.

³⁸ Народные духовные стихи (Библиотека русского фольклора. Т. 14). М., 2004. С. 35.

³⁹ Мерзлютина Н. А. Указ. соч. С. 202; Симонов Р. А. Древняя государственная эмблема России — единорог. С. 70.

⁴⁰ Вилинбахов Г. В. Русские знамена XVII века с изображением единорога. С. 22.

⁴¹ Калугин В. В. Указ. соч. С. 24.

⁴² Мерзлютина Н. А. Указ. соч. С. 203.

ка Петра Третьякова, поднесенной его женой Михаилу Федоровичу в 1618 г. (очевидно, иностранной работы) лев и единорог изображены среди других эмблем, поддерживающих щитки с надписями⁴³. Особенную популярность эта пара приобретает с 1620-х гг., появившись и на военных регалиях — на луче саадака Большого наряда Михаила Федоровича 1627—1628 г., сделанном также иностранными мастерами Золотой палаты⁴⁴. В дальнейшем количество парных изображений льва и единорога возрастает. Р. А. Симонов и затем Н. А. Мерзлютина даже выделили несколько типов этих композиций. Но трактовки самого сочетания/противостояния льва и единорога применительно к русскому материалу остаются неудовлетворительными. Предположение Р. А. Симонова о символизации противостояния Владимирского и Московского Великих княжеств, базирующееся на версии, что лев на протяжении семи веков был гербом Владимирского княжества, с точки зрения исторической геральдики представляется крайне уязвимым⁴⁵. Допущение же Н. А. Мерзлютиной о сочетании царской и сатанинской (!) символики в едином контексте и вовсе кажется невероятным⁴⁶. Тем более, что ее гипотеза о пластинах костяного трона Ивана Грозного, на которых помещены лев и единорог, как прототипе последующих изображений в русской культуре, совершенно ошибочна, поскольку сами пластины, как показала И. А. Бобровницкая, сделаны не ранее XIX в. Между тем необходимо учитывать и тот факт, что в период Московского царства на различных предметах известны как одинарные изображения львов и единорогов, так и парные сочетания — единорога и льва, льва и единорога, двух единорогов и двух львов, а также сочетания двух зверей с другими животными символами (например, одноглавым орлом и грифоном). Анализ всех типов композиций до сих пор не проводился, что, безусловно, затрудняет их интерпретацию. Кроме того, семантика конкретных эмблем, как и сочетаний эмблем, во всех случаях и типах композиционного и эмблематического «решения» далеко не обязательно могла быть одинаковой.

Понимая, что реализация этой задачи — дело будущего, автор берет на себя смелость предложить объяснение хотя бы некоторым случаям парной эмблемы «единорог и лев» в русской культуре XVII в. Кажется возможным связать ее с солярно-лунарной символикой, причем не только по вероятному генезису (такое толкование отмечается в древневосточных культурах), но и по *актуальному восприятию* жителей Московского царства того времени. В самом деле, по крайней мере, в четырех случаях существует возможность предполагать это со всей очевидностью:

1. Каменные львы и единороги на Спасской башне Московского кремля, появление которых связывается с деятельностью Христофора Галовея (1620-е гг.)⁴⁷.

⁴³ *Ненарокова И. С.* Государственные музеи Московского Кремля. М., 1992. С. 20—21.

⁴⁴ Государственная Оружейная палата. М., 1988. С. 158—159 (№ 111); *Мартынова М. В.* Московская эмаль XV—XVII вв. Каталог. М., 2002. С. 64—66 (№ 34).

⁴⁵ *Симонов Р. А.* Древняя государственная эмблема России — единорог. С. 66—67.

⁴⁶ *Мерзлютина Н. А.* Указ. соч. С. 207.

⁴⁷ *Мерзлютина Н. А.* Указ. соч. С. 203; *Граценков А. В.* Скульптура Спасской башни Московского Кремля // *Московская Русь. Проблемы археологии и истории архитектуры.* М., 2008. С. 417—426.

Фигуры этих животных составляют ярус декора, как бы обрамляющего снизу циферблаты часов. Над самими часами расположены фигуры павлинов с раскрытыми хвостами, символизирующими звездное небо.

2. Единорог и лев на фасаде здания Московского Печатного двора (1640-е гг.). Фигуры животных расположены по бокам и над воротами, под и с двух сторон двуглавого орла, и сопровождаются двумя солнечными часами, предназначенными, очевидно, для определения летнего и зимнего времени⁴⁸. Вероятно, наличие льва и единорога в оформлении печатной продукции двора способствовало распространению парной эмблемы не только в декоре книжных переплетов, но и чернильниц, т. е. сделалось символом письма и книжности.

3. Единорог и лев, венчающие навершие Столовой палаты Коломенского дворца, построенной в 1681 г. По описаниям дворца, фигуры льва и единорога из белого железа были расположены по бокам глобуса, на котором сидел орел. Правда, почти на всех изображениях Коломенского дворца присутствуют два льва, но не вполне ясно, насколько сами эти изображения (довольно поздние) аутентичны XVII в. Крыша Столовой палаты была лазоревого цвета. По предположению И. Е. Забелина, на потолке палаты были изображения небесных светил, звезд, знаков зодиака, даже путей планет и т. п. — иными словами, палата представляла собой своего рода средневековый планетарий⁴⁹.

4. Начальнический прапор конца XVII в. из Эрмитажа с изображением льва и единорога в противоборстве, с солнцем и луной над ними (солнце над львом, луна над единорогом) и двуглавым орлом⁵⁰. На некоторых знаменах эмблемы льва и единорога сопровождаются звездами.

Эти случаи, когда лев и единорог соединены с часами, глобусом, символами или изображениями звезд и иной календарно-астрономической символикой, могут свидетельствовать в пользу высказанной версии. Возможно, наличие той же пары в декоре церковных зданий, по своей «функциональной принадлежности» теснейшим образом связанных с временем и его проявлениями, также вписывается в этот контекст. Солярно-лунарная символика, воплощенная в эмблемах льва и единорога, вполне могла сопровождать и государственного двуглавого орла. При этом такая интерпретация вовсе не обязательна абсолютно во всех случаях. На знаменах, например, лев и единорог вполне могли иметь и более «приземленный», военно-героический смысл⁵¹.

Что обуславливало сопряжение льва с солнцем, а единорога с луной? Здесь напрашиваются вполне очевидные параллели. Лев и солнце — распространенная символизация в мировой культуре (как например, в Иране, где это сочетание даже существовало в государственном гербе). Лев ассоциируется с золотом, как и

⁴⁸ Об истории здания см.: *Лабынцев Ю. А.* Улица 25 Октября, 15. М., 1986.

⁴⁹ *Суздальев В. Е.* Русское чудо. Царский дворец в Коломенском — шедевр русского деревянного зодчества второй половины XVII — первой четверти XVIII в. М., 2005. С. 88, 90.

⁵⁰ *Вилинбахов Г. В.* Русские знамена XVII в. с изображением единорога. С. 22.

⁵¹ Подробнее: Там же; *Малов А. В.* Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей истории 1656—1671 гг. М., 2006. С. 245—252.

солнце; единорог — с серебром, как и луна. Само изображение луны как месяца (рога луны) естественным образом соединяется с символикой рогатого животного — быка⁵². Телец мог вполне быть «замещен» единорогом⁵³, как, очевидно, имело место на саадаке Большого наряда Михаила Федоровича⁵⁴. Кроме того, луна или полумесяц в христианской традиции могли ассоциироваться с символикой Богоматери, а солнце — с Христом⁵⁵. Единорог же (как связанный с концептами целомудрия и девственности) также мог символизировать деву Марию. Лев в данном контексте уподоблялся солнцу и Христу, единорог — луне и Богоматери. Изображения львов и единорогов в качестве солярных и лунарных символов известны в европейской культуре эпохи Возрождения. Например, на гравюрах из книги Франческо Колонна «Гипнэротомехия Полифила» (Венеция, типография Альда Мануция, 1499 г.) изображены колесницы Гелиоса, которого везут львы, и Семелы, которую везут единороги.

Возможно, солярно-лунарная семантика рассматриваемой эмблематической пары может прояснить и особенности самого сочетания эмблем. Если единорог расположен слева от зрителя, а лев — справа (т. е. пара представляет собой сочетание не льва и единорога, а единорога и льва), то это может объясняться: или соотношением солнца с правой стороной, а луны с левой (и тогда соотношение правого и левого устанавливается со стороны зрителя, смотрящего на часы, сопровождаемые этими эмблемами), или соотношением единорога со скипетром, а льва — с державой (круг = солнце) (в случае, например, изображений на регалиях), или соотношением Богоматери с правой стороной, а Иоанна Крестителя — с левой (по сторонам Христа). В последних двух случаях принципиален взгляд не «извне», а «изнутри».

⁵² Об этом см.: *Успенский Б. А.* Крест и круг. Из истории христианской символики. М., 2006. С. 250—251.

⁵³ *Мерзлютина Н. А.* Указ. соч. С. 202.

⁵⁴ Подробнее см.: *Пчелов Е. В.* Ювелирно-символическое оформление саадака «Большого наряда» царя Михаила Федоровича // Ювелирное искусство и материальная культура: Тез. докл. участников XV коллоквиума. СПб., 2006. С. 72—74.

⁵⁵ *Успенский Б. А.* Указ. соч. С. 230—246.

М. Мейлах

«НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»: ГДЕ, КОГДА И ПОЗАДИ КОГО ОГЛЯНУЛАСЬ ЛОТОВА ЖЕНА?

Четыре фантома
сквозь ветер и тьму
брели из Содомы
(зачем, почему?)

Николай Харджиев

«Жена же *Лотова* оглянулась позади его и стала соляным столпом». — История, рассказанная в 19-й главе Книги Бытия, трактуется как этиологический миф, объясняющий особенности пейзажа на южных берегах Мертвого моря, который несет следы экологической катастрофы. По современным представлениям, катастрофа эта могла произойти в конце второго тысячелетия до н. э., т. е. незадолго до прихода из Месопотамии в Палестину западно-семитских племен, что отражено в повествовании о переселении в Ханаан Авраама и племянника его Лота. Наказание Содомы и Гоморры, городов, которые Бог ниспроверг за их грех, пролив с неба дождем серу и огонь¹, и как следствие, «the waste land» на их месте — мотивы эти стали повторяющимся библейским², потом европейским культурным топосом. Причудливые окаменелости самой различной формы встречаются на берегах Мертвого моря по сей день; одна из них, на горе Джебель Ушдум («Содомской»), напоминающая человеческую фигуру, традиционно считается «Лотовой женой», окаменевшей, поскольку, вопреки запрету оборачиваться (Gen 19:17), оглянулась (Gen 19:26), в традиции — на покидаемый город, подлежащий уничтожению. Как «памятник неверной души» соляной столп упоминается в неканонической Книге Премудрости Соломона (10: 7; I в. до н. э.); столп этот, с древних времен ставший достопримечательностью, которая привлекала путешественников, породивших огромную литературу, видел, по его утверждению, Иосиф Флавий (Иудейские древности, I, 11, 4). Примечательными стихами описывает этот столп позднеримский христианский поэт IV—V вв., возможно, Киприан Галл, переложивший латинскими гекзаметрами семь ветхозаветных книг (их авторство приписывалось также Тертуллиану):

¹ Города «пятиградия», в число которых входили Содом и Гоморра, по сей день археологически не локализованы (возможно, они находятся на дне Мертвого моря), а попытки отождествления их названий с топонимами в текстах из Эблы привели к полемике, весьма далекой от научной (Петтинато, Арки, Фридман).

² Deut 29:23, 32:32; Isa 1:9—10, 13:19; Jer 23:14, 49:18, 50:40; Lam 4:6; Ezek 16:44—58; Amos 4:11; Zeph 2:9; Matt 10:15, 11:24; Luke 10:12; Rom 9:29; 2 Pet 2:6; Jud 7.

in fragilem mutata salem stetit ipsa sepulchrum,
ipsa et imago sibi, formam sine corpore servans³.

Издревле существовало два основных варианта понимания, перевода и, следовательно, интерпретации Gen 19:26 (*wattabbēt ištō mē'ah'rāw*) — стиха, посвященного знаменитой оглядке Лотовой жены. Одни переводы передают форму *mē'ah'rāw* как «позади него», сохраняя значение местоименного суффикса мужского рода -w, по аналогии с предшествующим *'ištō* («жена его»), относя его, как этого требуют синтаксис и здравый смысл и как это делали классические средневековые комментаторы (Раши, Ибн Эзра), к Лоту. Таковы, среди других, King James Version («But his wife looked back from behind him»), переводы Кауча и Гункеля, таков неожиданно и русский Синодальный перевод: «жена же Лотова оглянулась *позади его* и стала соляным столпом». Согласно этому варианту, она бросила запретный взор на покидаемый родной город за спиной мужа, за которым шла следом; однако по мысли Рамбана (Нахманида, XIII в.), она «посмотрела [на то, что] за спиной (позади) Лота, замыкающего шествие всей семьи, спешащей спастись»⁴. Наконец, согласно другим древним интерпретаторам, *mē'ah'rāw* относится к Ангелу, который выводил всю семью из обреченного города и тайком от которого Лотова жена обернулась назад. Такое понимание встречается еще в Таргумах (ранних переводах-толкованиях Библии на арамейском языке). Так, в Таргуме Неофити — «оглянулась позади Ангела, чтобы узнать, что случилось с домом ее отца»⁵. Уникальная трактовка мужского суффикса принадлежит автору трактата К'li Yaakar (до 1619 г.), который предлагает следующее объяснение: поняв, что имущество ее мужа в Содоме погибло, и она и ее дети останутся без наследства, она не *назад* посмотрела, а заглянула [во времена] *после него* (т. е. *после его*, Лота, [смерти])⁶. Такое объяснение, разумеется, натянутое, тем не менее заслуживает внимания и как попытка объяснить чисто грамматическую трудность, и в связи с семантической амбивалентностью производных корня √'ḤR, сочетающих значения «назад», «позади», «после» с другими, относящимися к будущему⁷, что можно сопоставить с

³ Став ненадежной солью, стоит бестелесным обличьем — сама себе надгробие, сама себе статуя. — Carmen de Sodoma, v. 119—121 // Cypriani Galli Heptateuchos. P. 218.

⁴ Ramban (Nachmanides). Commentary on the Torah. Ad 19:26. P. 261.

⁵ Targum Neophiti 1. Genesis. 1B. P. 71. То же — в Таргуме Йонатан: The Targums of Onkelos and Jonathan ben Uzziel. P. 18.

⁶ *ah'rāw* (Job 21:21) и даже *mē'hrāw* (EkkI. 10:14) во временном значении действительно могут иметь, как и на новых языках, смысл «после него» = «после его смерти» (букв. «с момента его смерти и далее»). Цит. по: Culi Rabbi Yaakov. The Torah Anthology. P. 227.

⁷ Напр. аккадск. *'ahāru* — «оставаться позади», *ugaritск. ahr-* — «поздний», «будущий»; арамейск. *'hrh* «потомство», *'ah'rāyūtā* «будущее» и др., в пределах др.-евр. языка — напр. *'ah'rōn* — «будущее» (Isa 30:8, Prov 31:25) и др. случаи с более тонкими оттенками футуральных значений. См.: Cohen D. Dictionnaire des racines sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques. Fasc. 1. P. 15. Как бы ни трактовать глагольную

архаическими представлениями о будущем, как находящемся «позади», и о прошлом — «впереди» (см. об этом ниже и примеч. 33).

Другие переводы формой мужского рода суффикса пренебрегают, сводя значение действия к простой возвратности, как, к примеру, Вульгата (*respicensque exiit ejus post se...*) или перевод Лютера («Und sein Weib sah hinter sich...»). К такому пониманию тяготеет и уклончивая версия Септуагинты: καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, и следующего за ней славянского перевода: и озрѣся жена его вспать, и бысть столпъ сланъ, а также сирийского (Пешитта, V в.); то же — в Таргуме Онкелос (II—IV вв.): *w'stkj't 'tj'h mbtrwhj*, вар. с корнем *'ahr* — *m'hwrwhj*⁸. Другими словами, жена Лота попросту оглянулась позади себя, нарушив запрет Ангела (*'al tabbī' 'ah'rākā* — «не оглядывайся назад», ст. 17 той же главы). Чтобы приблизиться к этому смыслу, избежав при этом трудного для осмысления мужского суффикса, была предложена конъектура *mē'ah'rāhā* с суффиксом женского рода и предполагаемым значением «оглянулась позади себя»; издатели *Biblia Hebraica* помещают ее в аппарате (о невозможности или затруднительности её — ниже).

Расхождение в интерпретациях объясняется прежде всего «непривязанностью» местоименного суффикса и наличии предлога *min* / *mē-* — «от», «из», с древних времен затруднявших комментаторов⁹. Предположение же о возможной окаменелости формы *mē'ah'rāw* с утратой суффиксом родового значения не подтверждается текстами, предоставляющими формы с местоименными суффиксами обоих родов и разных лиц (ср. м. р.: *mē'ah'rāw* — «с задней стороны (трона)», 1 Kgs 10:19; ж. р.: *mē'ah'rāhā* — «с тыла (города)», «с обратной стороны (города)», Josh 8:2).

Проблемы, связанные с этим стихом и на протяжении более двух тысячелетий неизбежно вызывавшие затруднения и у переводчиков, и у еврейских, христианских и академических ученых, по сей день не получили разрешения. Хотя внимание стиху Gen 19:26 уделялось во множестве комментариев на Книгу Бытия, нам известен лишь единственный специально посвященный ему труд — это «автореферат» (*dissertatio philologica breviter delineata*) диссертации на латинском

систему др-евр. языка (синтез новых подходов — в статье: *Десницкий А.* Современные взгляды на систему глагольных «времен»...), позволительно ли сопоставить с этим грамматические особенности семитского глагола и такое явление, как «перевернутые формы» с *waw consecutivum* — «поворотным оператором» (И. И. Ревзин), дающим перфектной форме глагола статус имперфектной, и наоборот?

⁸ Ibid.; Targum Onkelos // *The Bible in Aramaic*. P. 27.

⁹ Как мы увидим, форма мужского рода *-w* остается камнем преткновения для комментаторов по сей день. В некоторых рукописях Септуагинты после слова *οπίσω* («назад») иногда добавляется местоимение мужского рода, иногда женского. См.: *La Bible d'Alexandrie*. T. I. *La Genèse*. P. 182, note. Суффикс женского рода *-h* (*-hj*) мы только что наблюдали в Таргуме Онкелос. В средневековой еврейской традиции предложить (под вопросом) женскую форму суффикса решился лишь экстравагантный составитель книги Зогар. См.: *Kasher M.M. Encyclopedia of Biblical Interpretation*. P. 75—76.

языке под названием *N^ošīb melah sive Statua salis, in quam Lothi uxor est conversa*, в 1704 году представленный на рассмотрение Упсальской королевской академии Петром Никандером и удостоенный высочайших похвал ученойшего Совета¹⁰.

На «отсутствие денотата» притяжательного суффикса *-w*, разумеется, обращала внимание и библейская критика («повисает в воздухе» — Г. Хольцингер). Согласно гипотезе покойного эстонского поэта и ориенталиста Уку Мазинга (высказанной в частном письме), в стихе инкорпорирован фрагмент, заимствованный из иного повествования¹¹. На это может указывать и своего рода непоследовательность в изложении событий в ст. 22—26. Проследим порядок их развития:

Ст. 12—13. Вечером накануне гибели городов Ангелы, посланные Богом для суда над Содомом, объявляют Лоту, что истребят «сие место», и предлагают ему вывести из него всех его родных.

Ст. 15. На заре следующего дня Ангелы торопят Лота, чтобы ему «не погибнуть за беззакония города».

Ст. 16. Т. к. Лот медлит, «мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и выставили его вне города».

Ст. 17. *Запрет на оглядку* (*'al tabbīt 'ah^arākā*) и на остановку в пути: «спасай душу свою; *не оглядывайся назад* и нигде не останавливайся в окрестности сей».

Ст. 19—21. Лот просит позволить ему бежать не на гору, а в ближайший город, и получает обещание, что этот город не будет ниспровергнут.

Ст. 22. «Поспешай, спасайся туда; *ибо я не могу сделать дела, доколе ты не придешь туда*».

Ст. 23. «Солнце возшло над землею, и *Лот пришел в Сигор*».

Ст. 24—25. Бог *ниспровергает Содом и Гоморру «и всю окрестность сию»*.

Ст. 26. «*Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом*».

Можно усмотреть некоторое противоречие в том, что оглядка и наказание Лотовой жены (ст. 26) могли произойти лишь во время бегства, т. е. на пути из Содо-

¹⁰ *Nycander P. N^ošīb melah sive Statua salis...* Ученый труд строится преимущественно на цитатах из средневековых еврейских комментариев, в частности, специально рассматривается слово *mē'ah^arāv*. Обсудив мнения Нахманида и Кимхи (см. ниже), автор присоединяется к последнему из них.

¹¹ Письмо автору от 20 марта 1972 г. Поскольку речь пойдет преимущественно о языковых возможностях такой контаминации внутри единственного стиха, оставляем в стороне специальные проблемы источников и истории формирования текста Пятикнижия, книги Бытия и интересующего нас раздела. Сама мысль о соединении в гл. 19 Книги Бытия различных источников, разумеется, не нова — история разрушения Содома и Гоморры считается отдельной «сагой», введенной в «историзированное» предание о патриархах. См.: *Westerman C. Genesis 12—36. Biblischer Kommentar...* P. 364—372. Более подробно о множественности источников см.: *Loader J.A. Sodom and Gomorrah in the Old Testament...* P. 40—48, и, включая новые подходы: *Тищенко С. Кто написал Тору? К литературной истории Пятикнижия // Библия — язык, текст, история.* С. 11—82.

ма в Сигор, но описаны тремя стихами ниже, чем указание на приход Лота в Сигор (стих 23). Конечно, библейский текст, на протяжении своей истории подвергавшийся различным редакциям, необязательно должен придерживаться линейной последовательности событий: повествователь мог выделить историю Лотовой жены в отдельное микро-повествование, вернувшись к ней после описания прихода семьи в Сигор со следующей за этим катастрофой. Но косвенным свидетельством редакции, перестановки или вставки может служить все тот же притяжательный суффикс *-w* в *mē'ah^aráw* вместо имени Лота, которое в полной форме присутствует лишь до описания катастрофы.

Можно усмотреть противоречие и более существенное. При линейном чтении действительно возникает мысль, что Лотова жена оглядывается на катастрофу, т. е. на ниспровержение городов (ст. 24—25; отсюда — объяснения многих и средневековых, и новых комментаторов, что она наказана за то, что подглядела дела Божии). Но катаклизм не мог начаться, пока путники не придут в Сигор, поскольку Лоту обещано: «Поспешай, спасайся туда; *ибо я не могу сделать дела* (т. е. ниспровергнуть два города), *доколе ты не придешь туда*» (ст. 22). Столь явное противоречие, видимо, чересчур разительное, чтобы быть замеченным, ускользало и продолжает ускользать от комментаторов уже на протяжении двух тысяч лет¹². Учитывая слова Ангела, что он не может уничтожить Содом и Гоморру, пока Лот не придет в пощаженный город, едва ли можно предположить, что жена оглянулась и погибла, придя в то самое место, безопасность которого гарантирована тем же Ангелом; к тому же запрет на оглядку по всей очевидности распространяется именно на время бегства из Содома в Сигор («не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей», ст. 17); наконец, это лишило бы смысла и этиологическую привязку соляного столпа. И тем не менее, Рамбан (XII в.) объясняет превращение Лотовой жены в соляной столп ее уподоблением тому, что она, оглянувшись, увидела (т. е. проливающимся потокам серы и пламени)¹³; современный же комментатор, сравнивая это с тем, что произошло с жителями Помпеи, описывает, как обернувшуюся Лотову жену охватывают пары серы, пролившейся с неба, под действием которых она превращается в соляной столп¹⁴. В классической европейской живописи эффектная сцена оглядки Лотовой жены на катаклизм во время бегства представлена повсеместно. У Рафаэля, Дюрера, Рубенса, у Якоба Йорданса (по Рубенсу), на рисунках Рембрандта действие разворачивается посреди горного пейзажа, то есть в пути, у Веронезе, Коро или Джона Мартина жена при этом показана сильно

¹² На него, однако, обратил внимание в своей забытой работе P. Nysander, который, исходя из анализа текста, приходит к сходным выводам: превращение случилось до катаклизма и после прихода Лота в Сигор, и, по-видимому, не в Сигоре, а на пути туда, — но как в таком случае оно совершилось вследствие оглядки за спиной мужа? — Op. cit. P. 20. Другой, католический комментатор уклончиво определяет место трансформации — «близ Сигора».

¹³ Ramban (Nachmanides). Commentary on the Torah. Genesis. Ad 26:17.

¹⁴ Westerman C. Op. cit. P. 373.

отставшей, а чтобы подчеркнуть ее «привязанность к земному», она обычно изображается несущей корзину или узел или же, как у Гюстава Доре, кувшин. Жена Лота почти всегда следует за мужем и за его спиной (*mē'ah'rāw!*) оглядывается на уничтожаемые катаклизмом «башни родного Содома»; странным образом, лишь на иллюстрации к Библии Марка Шагала на отставшую жену оглядывается Лот.

Некоторые комментаторы (напр. Гамильтон), а до них Абрабанель (XV в.) подчеркивают, что причина оглядки Лотовой жены нигде в тексте не обозначена, не запрещено смотреть и на разрушение городов, а единственная причина ее наказания — нарушение запрета на оглядку как таковую, данного в ст. 17¹⁵. Но как бы там ни было, библейское повествование, даже если его читать нелинейно, не позволяет заключить, что в тот момент, когда Лотова жена обернулась и окаменела, она действительно созерцала катастрофу.

Интересный материал к вопросу о том, как с этой точки зрения понимали данный эпизод в еще древности, дают не только переводы, но и позднеантичные латинские эпические переложения Библии, когда наследники античной культуры первых веков христианства стремились к созданию библейского эпоса наподобие Гомера и Вергилия, однако моралистического. Как запрет смотреть на гибнущий в огне город, запрет на оглядку представлен в «Родословной зла» (*Hamartigenia*) Пруденция (IV в.):

omnis ut e portis iret domus atque in apertum
dirigeret constans oculos, nec pone reflexo
lumine regnantes per moenia cerneret ignes :
«nemo ...ore
postergum verso respectet funera rerum»

(ст. 732—737)¹⁶, далее на протяжении еще тридцати стихов описывается, как праведный Лот не обернулся на горящий город со всем, что в нем, а слабая женщина не удержалась и навсегда застыла в позе вполоборота. В уже цитированной в начале этой статьи и поэтически гораздо более сильной «Песни о Содоме» (возможно, Киприана Галла, V в.) Лот, в согласии с библейским текстом, приходит в Сигор с восходом солнца (19:22), чьи лучи Бог наделил силой воспламенить Содом (попутно приводятся параллели из античной мифологии, связанные с Фазтоном и превращениями, постигшими его близких). Здесь семья оплакивает новую метаморфозу (так библейский текст искусно вводится в античный¹⁷) — жены и матери,

¹⁵ *Hamilton V. P. The Book of Genesis. P. 48.*

¹⁶ «Выйдя из городских ворот, пусть вся семья устремляет непоколебимый взор вперед, а не глядит, устремив его назад, на огонь, воцаряющийся над городскими стенами... пусть никто не поворачивает лица, чтобы увидеть гибель всего». — *Prudentius. Vol. 1. P. 256—257.*

¹⁷ Для описания бегства и оглядки Лотовой жены все эти поэты заимствуют лексику из описания оглядки Орфея у Вергилия (*pone sequens; victusque animi respexit* — IV Georg. 485—491; *respectus... Orpheos; nec rettulit intus lumina* (об Эвридике) — *Culex* 269—90), а также у Овидия (*ne flectat retro sua lumina, flexit amans oculos* — *Met. X* 51, 56) и их

потерявшей и погибшей, очевидно, до начала катастрофы или в самом ее начале, ибо «напрасно она в одиночестве обернула дерзкий взор на грохот, раздавшийся с высоты» (*ad murmura caeli / audaces oculos nequiquam sola retorsit*, ст. 116—117); дальше — замечательный прием: «превращенная в соль, она уже не сможет рассказать, что она увидела» — так автор мастерски показывает, что вопрос о том, где и как это произошло, остается открытым¹⁸. Наконец, в эпической поэме *Heptateuchos* «Семикнижие» (здесь авторство Киприана Галла несомненно) на протяжении всего пяти стихов поэтически выстроена целая новелла: дочери и жена *следуют за Лотом* (*eduxit natas coram genetrice sequentes*), далее Лот, достигнув вершины холма, полагает, что жена идет по другой его стороне, и так приходит в Сигор (другими словами, Лот и его жена разделились, что не мешает ей оставаться «позади него»), после чего начинается катаклизм, жена же тем временем оборачивается и каменеет — вопрос, случилось ли это до или после катастрофы, автором тоже искусно замаскирован (ст. 655—665)¹⁹.

В коранической же версии гибели Содома зафиксировано, по всей вероятности, восходящее к Книге Бытия устное предание, известное, несомненно, и слушателям²⁰. Милость Аллаха по отношению к Лоту (Луту) упоминается в Коране около 30 раз, его жена — 6 раз, более полный вариант изложен в трех сурах. В отличие от лаконичного библейского текста, коранический пересказ радикально морализирован. Запрет на оглядку во время бегства Лота высказан, но не получает развития, т. к. здесь жена осуждена заранее, и мотив ее трансформации отсутствует. В сурах 11-й и 15-й повествуется о том, как посланцы Аллаха (т. е. библейские Ангелы) сообщают сначала Ибрахиму (т. е. Аврааму), потом самому Лоту, что спасут его семью — за вычетом жены, которая, как обычно понимают это место (см. ниже), будет *среди оставшихся позади* (*'innahā lamina 'al-ġābirīna* — 15:60, та же формула при всех ее упоминаниях). Шествие семьи замыкает Лот (возможно, так трансформировался мотив следования жены за Лотом, который в библейском пассаже, напротив, перешел в контекст) — посланцы приказывают ему выйти ночью из города вместе с семьей: «*следуй за ними позади* (*wa-ittabī adbārahum*, 15:65) [и смотри], чтобы никто из вас не оглядывался» (*wa-lā yaltafit minkum 'aḥadun*, 11:81; 15:65). Вариант 11:81 несколько ближе к библейскому — в обещании спасти семью слова «за вычетом жены» примыкают непосредственно к запрету на оглядку («ибо ее постигнет то, что постигло их», т. е. жителей Содома»), однако ни о том, что она оглянулась, ни о превращении ничего не говорится. Вина же Лотовой жены — в том, что и она, и жена Ноя «не пове-

подражателей: *dum respicit uxor* (Sedulius, Paschale carmen, I, 121); *nec pone reflexo lumine; ne respectet funera rerum; nec moenia respicit; non respicit ultra / Loth noster, fragilis sed conjunx respicit* (Prud. Hamart. I, 733—65); *sequentes; sequatur; respicit* (Cypr. Galli Heptateuch.).

¹⁸ Carmen de Sodoma // Cypriani Galli poetae Heptateuchos. P. 217—218. Поразительно следующее далее описание «живого камня», в который превратилась Лотова жена.

¹⁹ Ibid. Heptateuchos. Genesis 19. P. 25.

²⁰ Speyer H. Die biblischen Erzählungen im Qurān. P. 146—58.

рили» (*kafarū*) и «изменили» (*fakhanatāhumā*, 66:10). В хадисах (сведениях о Мухаммеде) и тафсирах (толкованиях Корана), как и в агадической традиции и мидрашах (см. ниже), объяснения происшедшему могут даваться весьма произвольные. Лотовы дочери получают имена — Рита и Заруда; это жена известила содомлян о приходе Ангелов; она погибла, оставшись в городе, однако в одном из тафсиров всплывает мотив оглядки: услышав позади шум, она обернулась (все-таки выйдя с Лотом из города?) и была убита попавшим в нее камнем²¹.

Тексты о спасении семьи Лота (суры 7, 11, 15) пронизаны лексикой, выражающей оппозицию «следовать за» (*taba'a*, в переносном значении «быть сторонником» напр. 7:3) — vs «оставаться позади» (*gābir*, 15:60²²). Значения соответствующих слов, связанные с понятием «поворота», амбивалентны. С глаголом *taba'a* в приказании Лоту *следовать* (*wa-ittabī*) позади своей семьи сочетается *adbārahum*, букв. «им в спины» (общесемитский корень *dbr* — «спина» «зад», отсюда «поворачиваться задом», но и «следовать за кем-то»). Сам глагол *taba'a* «следовать» употреблен в прямом значении «идти за кем-то», однако в переносном может также означать «быть последователем, приверженцем» (напр. 7:3). Мотив оглядки вводится глаголом *lafata* «поворачивать», в VIII породе — «оборачиваться», «оглядываться» (с предлогом *'am* он приобретает значение «отвратить», ср.: «Не для того ли пришел ты, чтобы *отвратить нас от того* (*litalfitanā 'ammā*), в чем мы нашли наших отцов?» — 10:78).

Так или иначе, анализ самого библейского повествования недвусмысленно подводит к выводу: оглядка и наказание совершились, по всей очевидности, во время исхода семьи из Содома в Сигор и, таким образом, до катастрофы. Все же позднейшие изображения Лотовой жены, оглядывающейся на катаклизм, будь то в живописи, поэзии или у комментаторов, основаны на невнимательном чтении библейского текста, затем были подхвачены традицией и закреплены установкой на наибольшую эффектность.

Позволяют ли оба отмеченных сюжетных противоречия (в особенности второе) в сочетании с «повисшим в воздухе» притяжательным суффиксом *-w* («его») согласиться с гипотезой У. Мазинга относительно контаминации в ст. 26 фрагментов двух различных повествований? Стих, повторим, действительно, помещен не только после ст. 23 (приход Лота в Сигор), но и вслед за немедленно следующим затем описанием катаклизма (ст. 24—25), что нарушает и связность повествования, и отчасти связность грамматическую, и без того осложненную спецификой

²¹ См. также: *Leemhius F. Lūt and His People in the Koran and Its Early Commentaries.* // E. Noort, E. Tigchelaar (eds.). *Sodom's Sin: Genesis 18—19.* P. 109. Ср. ту же мотивировку оглядки услышанным позади шумом в ближайших к нашему сюжету индийской и корейской сказках (см. ниже и примеч. 27, 28), а также у Киприана Галла («обернула дерзкий взор на грохот, раздавшийся с высоты») — см. выше.

²² Этимологическое значение — «проходить»/«пройти», «уходить»/«уйти». Некоторые переводы избирают другое значение этого полисемичного глагола — «погибнуть». Можно предположить, что формула несет в себе след библейского *'hr* «позади» из Gen 19:26.

конструкции *wattabbēt ištō mē'ah^arrāw*. Но прежде чем перейти к ее грамматическому анализу, позволительно задать вопрос: если стих контаминирован, то из какого повествования мог быть заимствован выраженный в ст. 17 и 26 мотив запрета на оглядку и его нарушения, или по крайней мере, каковы к нему параллели?

Как ни странно, и в традиции, и в библейской критике интерпретация мотива оглядки Лотовой жены разработана сравнительно мало²³. Много раз указывалось, что мы имеем дело с мотивом, типологически сходным с мотивом оглядки Орфея и рядом подобных (Th. Mot. С331), однако и в библейских комментариях, и в специальных работах повторяются, как правило, более или менее одни и те же сведения, полученные из вторых или третьих рук. Наиболее полный свод параллелей приведен в книге Гастера²⁴, однако, с запретом на оглядку здесь нередко смешивается мотив запретного взгляда — например, при требовании, чтобы Одиссей, принося жертвы перед посещением Аида, т. е. соприкасаясь с хтоническими силами, «отвернулся в сторону» — ἀπονόσφι τραπέσθαι (X, 528, ср. лат. *aversio oculorum*, русск. «отвести глаза», но та же самая формула встречается и в другом требовании, где она обозначает оглядку как таковую: Одиссей, спасшись от бури с помощью данного богиней Ино волшебного покрывала, должен, не оглядываясь, выбросить его с берега обратно в море — V, 350). То же смешение и в указываемом Гастером японском мифе об Идзанаки и Изанами в царстве мертвых, а в также упомянутом Гастером эпизоде возвращения Энея из Аида мотив оглядки и вовсе отсутствует. Среди параллелей в различных культурах упоминают, среди прочего, ведийский погребальный ритуал²⁵, но больше всего приводят ссылок на античные тексты, в том числе гомеровские. В новей-

²³ Наряду с библейскими комментариями, большее или меньшее внимание нашему стиху уделяется в специальных работах, посвященных всему эпизоду рассказа о гибели Содомы и Гоморры, шире — истории Авраама (гл. 11—24): *Letellier R. I. Day in Mamre, Night in Sodom: Abraham and Lot in Genesis 18 and 19, и T. Rudin-O'Brasky. The Patriarchs in Hebron and Sodom (Genesis 18—19). Jerusalem Biblical Studies, Jerusalem, 1982. P. 132 sq.; Gordon J. W. Genesis 16—50 // Word Biblical Commentary. Vol. 1. Genesis; Sarna Y. The Salt Saga: Lot's Wife or Sodom Itself; Tomson P. Mercy without Covenant: A Literary Analysis of Genesis 19; Fields W. W. Sodom and Gomorrah: History and Motif in Biblical Narrative; Loader J. A. Sodom and Gomorrah in the Old Testament... P. 116—7, 138—40. E. Noort, E. Tigchelaar (eds.). Sodom's Sin: Genesis 18—19 and its Interpretation (там же см.: Bibliography of Genesis 18—19 and Judges since 1990. P. 189—193).*

²⁴ *Gaster Th. H. Myth, Legend and Custom in the Old Testament. Ch. 57, Taboo on looking back (Gen. 19 :17, 26). P. 159—160 и 365, примеч.*

²⁵ Гастер ссылается на исследование: *Caland W. Die altindischen Toten- und Bestattungsgebräuche. С. 23, 73—75. Действительно, при описаниях погребального шествия, затем перехода к месту очистительных обрядов, в источниках, в частности, в Бхарадваджа Грихьясутра и Манава Грихьясутра употребляются соответственно формулы *pr̥ṣṭhato anavekṣamāṇah* («не оглядываясь назад») и *krtvanapekṣamāṇah* («совершив [сожжение останков], не оглядываясь...»); однако эти формулы, как и *tibjī 'ahrā-*, могут также иметь переносное значение «не заботясь (о том, что) позади».*

шем же сборнике статей, посвященных гл. 18—19 Книги Бытия, мотив оглядки Лотовой жены рассматривается в единственной статье Й. Бреммера, но скорее как параллель к многочисленным манифестациям того же мотива в античном мире. На этом материале он разрабатывает следующую классификацию (несколько беспорядочную) мотивов запрета на оглядку (на практике часто переплетающихся): 1) при общении с хтоническими силами, шире — с силами потусторонними, превосходящими мир человека и вызывающими ужас; 2) при магических действиях; 3) при очистительных обрядах; 4) отправляясь в путь (добавим, в том числе в изгнание) — при этом варианте мотив сопряжен с требованием поспешности (ср. русск. «бежать без оглядки»)²⁶; 5) как сопровождающий акты творения (наиболее известен миф о Девкалионе и Пирре). Подробнее же всего Бреммер анализирует миф об оглядке Орфея, впервые получивший выражение в IV Георгике Вергилия (а до этого — в его юношеской поэме «Комар», подлинность которой оспаривается) и вскоре за тем в «Метаморфозах» Овидия (X) и, добавим, ставший благодаря им одним из «европейских мифов» нового времени. Тем не менее, несмотря на упреки, сделанные библеистам, сам автор сводит случай Лотовой едва ли не к единственному мотиву поспешного бегства с учетом должествующего произойти за ее спиной устрашающего акта возмездия.

Мотив собственно оглядки примыкает к исключительно емкому мотиву возвращения, который может насыщаться самым различным содержанием. Запрет на оглядку (частный случай запрета смотреть на что-либо) следует истолковывать как форму испытания, а наказанием за его нарушение могут быть различные трансформации. В фольклоре представлен мотив, как правило, также этиологический, такого наказания в виде петрификации (Th. Mot. C961.1). Легенда, достаточно близкая к истории Лотовой жены (она включает мотивы гостеприимства, вознагражденного спасением от катастрофы, запрета на оглядку при бегстве и окаменения как наказания за его нарушение) выявлена в индийском фольклоре²⁷, а совсем недавно был указан корейский ее вариант²⁸.

В истории Лотовой жены присутствует, разумеется, мотив соприкосновения со сферой сакрального, который систематически сопровождается запретом на

²⁶ *Bremmer J. Don't Look Back: From the Wife of Lot to Orpheus and Eurydice // E. Tigchelaar (eds.). Sodom's Sin: Genesis 18—19 and its Interpretation... P. 131—148.* Автор упоминает среди прочего восходящий к пифагорейской традиции пассаж, к которому мы сочли за благо обратиться специально, поскольку он воспринимается почти как психологический подтекст многочисленных морализаторских интерпретаций истории оглядки Лотовой жены, в том числе в Еванг. от Луки 17:26—32: «Если кому-то приснится голова, повернутая назад, чтобы видеть то, что позади (*ἀπεστραμμένην ἰδεῖν τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν, ὥστε τὰ ὀπίσω βλέπειν*), то это не только не даст ему покинуть родину, предвещая, что решение удалиться из дому он изменит, но и вообще не позволит ничего предпринять, ибо требует *устремить взгляд не на то, что пристало сейчас, а в будущее*» (*τὰ μέλλοντα βλέπειν*). — *Artemidori Daldiani Oniroticon*, I, 36. Ср. примеч. 31.

²⁷ *Hartland A. The Legend of Perseus. Vol. III. P. 132.*

²⁸ *Cheon S. Filling the Gap in the Story of Lot's Wife... P. 14—23.*

оглядку. А. Серпье указывает на существование подобных запретов в восточном Средиземноморье, соотносимых со священным актом начала весенней пахоты: «вспахивая первую борозду, пахарь... не должен оглядываться и возвращаться назад» (ср. то же, что и в Gen 19:26 в Септуагинте, выражение — $\beta\lambda\acute{\epsilon}\pi\omega\nu \epsilon\iota\varsigma \tau\grave{\alpha} \omicron\pi\iota\sigma\omega$ — в ответе Христа на просьбу некоего человека разрешить ему, прежде чем следовать за Ним, проститься с домашними: «положивший руку на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царства Божия», Lk 9:62. — М. М.)²⁹. Точно так же не могут оглядываться участники погребального шествия: «здесь присутствуют невидимые силы, которые... могут быть раздражены, если их, обернувшись, заметят при взгляде через плечо»³⁰. Другого рода мотивировка сводится к тому, что оглядывающийся попадает во власть злых духов, скрывающихся у него за спиной (применялась она и по отношению к Лотовой жене — см. немного ниже). В вырожденной форме запрет на оглядку при магических действиях дошел до наших дней в отражении правил этикета, поведения в церкви, воспитательных навыков («не вертись!») и т. п.

В семитских культурах запрет на оглядку встречается в аккадских магических текстах ритуалов Намбурби, нейтрализующих дурные влияния (VIII — VI вв. до н. э.). В них мы находим повторяющиеся формулы *ana EGIR-šú NU IGI-mar* (в обряде защиты от зла, наносимого воющей собакой — бросив в воду глиняную фигурку собаки и прочитав заклинания, человек «не оборачивается» и уходит); *ana EGIR-šú NU IGI. BAR* — «не глядя назад» уходит по дороге иной, чем та, по какой пришел; обрызгивает себя водой из реки и уходит³¹. Аналогичная формула [*lē*] *āppa uizzi* — «пусть не возвращается обратно» — встречается в хеттских ритуалах Амбацци, где зло (демон) перемещается в животное, которое должно его унести прочь (ср. библейский обряд «козла отпущения» — Lev. 16, 21—22, описание изгнания бесов, которым Христос приказывает войти в стадо свиней — Lk 8, 26:39 и др. Интересно — память жанра? — что глагол *στρέφω*, употребляемый, как мы видели, с различными префиксами для обозначения мотива оглядки, здесь, хотя и в другом контексте и со значением «возвратиться», трижды употреблен с пристав-

²⁹ Реминисценция эпизода призвания пророком Илией Елисея, в котором на протяжении четырех стихов четырежды употребляется интересующее нас слово. Елисей в тот момент пахал, но тотчас «оставил волов и побежал за Илиею» (*wjrs 'hrj 'ljhu*), однако просил разрешения поцеловать мать и отца, а затем следовать за ним (*w'lkh 'hrk*). Елисей возвратился [домой «от следования за ним»] (*wjšb m 'hrw*), устроил прощальный пир, и наконец «пошел за Илиею (*w'lk 'hrj 'ljhu*) и служил ему» (1 Kgs 19:20—21). Христос такого разрешения не дает не только человеку, пожелавшему сделать то же самое, но и другому, хотевшему «прежде пойти и похоронить отца своего» (Lk 9:59—60).

³⁰ *Serpier A. Les portes de l'année. P.162. Ср. выше и примеч. 25.*

³¹ *Caplice R. Namburbi Texts... N° 12, l. 21 (36, 1967, p. 4); N° 15, l. 12 (ibid., p. 15), N°35, l. 14 (39, 1970, p. 113). То же требование после молитвы Мардуку об исцелении: King L. W. Babylonian Magic... P. 63. Близкие параллели в поверьях североамериканских индейцев: Looking taboo, in: Funk & Wagnalls.... P. 643.*

кой *ὄψο*- на протяжении четырех стихов, следующих немедленно за эпизодом изгнания бесов — Lk 8:37—40)³².

Заметим, что на месопотамских цилиндрических печатях события, относящиеся к прошлому, изображались перед лицом персонажа, как ему уже известные, тогда как относящиеся к неведомому будущему — *scire nefas* — позади его (см. выше по поводу амбивалентности производных корня *'hr*, сочетающих основное значение «позади» со значениями, связанными с будущим временем)³³, потому оглядка может приобретать и значение нечестивого заглядывания в будущее, которое является прерогативой богов.

Запрет Лоту (а следовательно, и всем, кто с ним) оглядываться во время бегства из Содома некоторые старые библейские комментаторы также истолковывали, исходя из симпатической магии. Раши (XI в.) поясняет, что семья Лота, которая получает спасение за заслуги Авраама, не должна видеть гибель грешного Содома. Развивая его мысль и выражая распространенное убеждение, что заразные болезни, как чума и проказа, передаются через созерцание больных, и что больной водобоязнь видит в зеркале вместо своего лица укусившую его бешеную собаку, Рамбан, как мы видели, трактует превращение Лотовой жены в соляной столп ее уподоблением тому, что она, оглянувшись, увидела (в pendant потокам серы и пламени)³⁴. Далее, однако, ссылаясь на Предания Отцов, он гово-

³² KUB XXVII.67. iv. 3; ANET, 348; *Christiansen B.* Die Ritualtradition der Ambazzi. P. 56—57. Хеттское *āpa* соответствует и. е. **e/opi* (Chantraine, Szemerényi, Melchert), а не **apo* (Рокоту, р. 53). Хеттскому *appizziya* («позже») соответствует многократно цитировавшиеся в наших контекстах греческое *ὀπίσσω* («назад») < **opityō*.

³³ См. примеч. 7. Ср. «злато слово» Святослава в «Слове о полку Игореве»: «мужаимъся сами, преднюю славу сами похитимъ, а заднюю ся сами подѣлимъ!» (текст А. Зализняка) и другие примеры. См.: *Лухачев Д. С.* «Слово о полку Игореве и культура его времени». Л. 1985. С. 254—261; *Лотман Ю. М.* «Звонячи в прадедную славу» // *Избранные статьи: В 3 т. Т. II.* Таллинн, 1992. С. 107—110. Здесь, может быть, уместно вспомнить идеи о многомерности времени Гюрджиева — Успенского (*Ouspensky P. D.* The New Model of the Universe). Свидетельство того, что эти вопросы еще в древности были предметом восходящей к пифагореизму рефлексии, можно найти все том же «Соннике» Артемидора (III—IV вв.) — см. окончание цитаты в примеч. 26, а также: «Если кому-то приснится лысина на затылке, это означает, что в старости его ждет бедность и полная нищета, ибо все, что позади, является знаком будущего» (*πᾶν μὲν γὰρ τὸ ὀπίσω τοῦ μέλλοντός ἐστι σημαντικόν χρόνου*). — *Artemidori Daldiani Onirocriticon*, I, 21. Значение *ὀπίσω* «назад», «позади», «после» во временном употреблении может также относиться к тому, что наступит после, т. е. к будущему (у Гомера, Сафо, см. Chantraine, р. 808).

³⁴ См. примеч. 13. Подобное толкование, но без мотива превращения, в кораническом пересказе отсутствующего, а в связи с гибелью в потоках серы, изливающейся на Содом — в некоторых тафсирах к Корану. Более тонко, современный комментатор поясняет, что, превратившись в соляной столп, Лотова жена стала частью того, о чем сожалела, то есть уничтоженного города. — *Letellier R. I.* Day in Mamre, Night in Sodom. P. 173.

рит о запретности оглядки в силу Божьего присутствия при акте наказания Содома, сам же, по аналогии с эпизодом, где Ангел Господень, готовый за грех царя Давида уничтожить Иерусалим, стоит «между небом и землей» (1 Chron. 21:16), полагает, что Ангел-истребитель стоял и здесь и что Лотова жена, обернувшись, окаменела, т. к. его увидела (другие комментаторы говорят о присутствии при уничтожении городов Шехины, или Славы Божией). В библейском контексте мотив запрета на оглядку соотносится с чрезвычайно резко выраженными мотивами абсолютной трансцендентности Бога и потому невозможности для смертных видеть Его. В книге Зогар содержится более приземленное объяснение: ангел-истребитель, встретившись лицом к лицу с грешником, чьи грехи написаны у него на лбу, имеет право его убить.

Однако, уже позднейшие библейские книги, потом мидраши, затем в равной степени и христианская патристическая традиция дают эпизоду истолкование моралистическое *par excellence*.

Выше цитировалась Книга премудрости Соломона, где соляной столп назван «памятником неверной души» (10:7). Позднейшая еврейская традиция не пощадила Лотову жену, привязав к ее личности всяческие небылицы. Без каких-либо на то оснований предание объявило ее содомлянкой по имени Адит (иногда Ирит, вследствие смешения схожих букв далет и реш). Во время бегства она стала думать о своих замужних дочерях, оставшихся в Содоме (так как зятьям Лота, которых он звал с собой, «показалось, что он шутит»), и оглянулась, чтобы поглядеть, не пошли ли они следом. Хуже того, для объяснения ее превращения в соляной столп Раши приводит часто цитируемую причину: когда Лот попросил для гостей соли, она стала с ним препираться. По другим объяснениям, милосердие — соль жизни, а она милосердна якобы не была.

Что же касается Отцов Церкви, то Ориген, например, противопоставляет Лотову жену, как поступающую «по плоти», самому Лоту, а бл. Августин — ап. Павлу, навсегда порвавшему со своим прошлым. Оба ссылаются на вышеприведенные слова Христа (Lk 9:62) и на эпизод, где по поводу грядущего второго пришествия и конца света Он вспоминает историю Ноя, потом историю Лота, предупреждая, — «тот, кто будет в поле, не обращай назад» (*μη ἐπιστρέψατω εἰς τὰ ὀπίσω*), и завершая ее словами: «Вспоминайте жену Лотову» (Lk 17:26—32). Нетрудно заметить, что в обоих евангельских пассажах воспроизводится лексика библейского эпизода, которому Беда Достопочтенный впоследствии противопоставит апостола Павла: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, *забывая заднее* (*τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθάνόμενος*) и *простираясь вперед* (*τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπλεκτινόμενος*), стремлюсь к цели...» (Phil. 3:13—14)³⁵. Подобное же понятие ἔκτασις — нечто вроде «напряженного усилия, направленного вперед» разрабатывал, в частности, в своем комментарии к «Песни Песней» (2:13) Григо-

³⁵ См. сводку: Biblia. I libri della Bibbia interpretati dalla grande Tradizione. P. 273—374; Cornelli a Lapidi Commentarii in Sacram Scripturam. P. 191—194.

рий Нисский, говоря об «упоении, в котором человек от вещественного осуществляет свою тягу к Божественному»³⁶.

Если фольклорные и мифологические параллели к истории Лотовой жены в основном прослежены, а традиционные интерпретации в большой мере выявлены и обследованы, то, насколько нам известно, мысль У. Мазинга о контаминации непосредственно в ст. 26 фрагментов двух повествований: истории спасения семьи Лота с одной стороны, и с другой — ее оглядки, никем ранее не высказывалась и не обосновывалась. В области же лингвистики текста здесь происходит путаница не меньшая, чем по поводу того, оглянулась ли Лотова жена на родной город до или во время катастрофы. Для того, чтобы попытаться, в меру наших сил, в ней разобраться, необходимо провести анализ дистрибуции значений (*mē*) *'aḥ^arā-* в сочетании с различными морфологическими, лексическими и синтаксическими элементами.

В качестве предложного слова *'aḥar*, с его этимологическим значением «сзади», «позади», «назад» (акк. *'uḥḥuru* и ар. *'aḥḥara* «оставаться позади», *'uḥḥurun* «задняя часть», угар. *'ḥr* «позади» и «позже» и др.), обладает примечательной семантической амбивалентностью. Помимо того, что слово употребляется и в пространственном, и во временном значении, на оформление его семантики влияют разнообразные элементы — значение управляющего глагола, присоединение дополнительных предлогов — *me-* (*min*) — «от», *l^e* — «к», *b^e* — «у», «в», например, *šwb* («возвращаться»)... *mē'aḥ^arā-* в противопоставлении к *b'*, *hlk* («идти»)... *'aḥ^arā-*. С *verba movendi*, в зависимости от заложенного в глаголе вектора направленности движения, его значение развивается от «назад» — к «после», вплоть до прямо противоположного значения «следования за»: таковы многочисленные примеры типа *wjb 'w 'p-'ḥrjw* — «и тоже шли за ним» (2 Sam 20:14). Дистрибуция значений *'aḥ^arā-*, *mē'aḥ^arā-* по признаку направленности меняется исходя не только из семантики глагола, но и за счет его грамматической формы — породы, наклонения, залога. Значение их зависит не только от семантики и формы управляющего глагола, но и от субъектно-объектных отношений, выражаемых присоединяемыми к нему притяжательными суффиксами. Так, совпадение субъектов подлежащего и дополнения (соответствующее категории возвратности) обеспечивает значение «назад» (как в формуле запрета — *'al tabbī 'aḥ^arākā* Gen 19:17, — «не смотри назад», букв. «позади себя», т. е. «не оглядывайся»), тогда как при несогласовании объекта с субъектом возникает значение «вслед» (напр. *wtbjtw 'ḥrj mšh* — Exod 33:8 — «смотрели вслед Моисею»). Что касается предлогов *me-* (*min*) — «от», заметим, что *verba respiciendi* часто употребляются в Библии с *'aḥar* / *'aḥ^arā-*, тогда как *me'aḥar* / *me'aḥ^arā-* встречается преимущественно при *verba movendi*; ср. особенно такую группу примеров на протяжении девяти

³⁶ Gregorii Nysseni Commentarius in *Canticum Canticorum*. P. 156. В рукописях, а вслед за ними в изданиях и в переводах наблюдается неизбежная путаница ἔκτασις (от ἔκτείνω) с ἔξτασις (ἐκ-στάσις, om ἴστημι).

ти стихов, как: «лук Ионафана не возвращался назад» (Синод. перевод), букв. из ⟨мест, что⟩ позади, 2 Sam 2:22; «отстань от меня» — ст. 21; «преследовать» — ст. 19 и 26, «возвратился от преследования» — ст. 30.

Далее начинается область переносных значений, которая еще более обогащает семантическую палитру этого предложного слова. Так, в ст. 17 — «...спасай душу свою; не оглядывайся назад и не останавливайся» (Синодальн. перевод) — слова *'al tabbīṭ 'aḥ'rākā* могли иметь не прямое значение «не оглядывайся назад», а переносное — «не оглядывайся (на прошлое)», «не обращай внимания на то, что ты оставил позади»³⁷ (ср. напр. совершенно аналогичный разброс значений между англ. *to look back* — оглянуться и *to look after* — «заботиться», ср. выше об арабском глаголе *taba'a*), либо просто «не медли», «не теряй времени»³⁸. Если в ст. 17 запрет на оглядку имел переносное значение, гипотеза о том, что в ст. 26 он был переосмыслен под влиянием мотива, сходного с «орфическим мифом», приобретает большую вероятность.

Изложенное позволяет заключить, что значение *'hr* исключительно подвижно — потенциальные его значения колеблются в пределах противоположностей, что, в частности, объясняет обилие различных толкований Gen 19:26 в истории экзегетики, некоторые из которых вступают в противоречие с функцией предлога *min* (*mē-*). Обсуждавшиеся интерпретации и переводы первой части стиха Gen 19:26 (*wattabbēṭ 'išṭō 'aḥ'rāw*), зависящие и от различных значений предложного слова *'hr* (с соответствующими суффиксами и предлогами), и от семантики глагола, можно суммировать следующим образом:

А. Прямые значения

1) Возвратное: жена его *оглянулась* [позади себя] : *wattabbēṭ* [*'aḥ'rāhā*]. — Септуагинта, Вульгата, Славянский перевод и др. Значение тексту не соответствует и его обедняет.

2) Значения, по-разному располагающие Лотову жену в пространстве по отношению к Лоту:

³⁷ Из старых комментаторов Исаак бен Иуда Абрабанель (ок. 1500) специально указывает, что смысл запрета — не сожалеть об оставляемом имуществе, и что Ангел не запрещал смотреть на уничтожение городов.

³⁸ *Plaut W., Gunther et al. The Torah. A Modern Commentary. P. 130.* Насколько легко такой перенос совершается и в живых языках, прекрасно видно из того, что опубликованное в 1924 году стихотворение Ахматовой, посвященное оглядке Лотовой жены, социологически интерпретировалось критикой того времени как «оглядка» самого поэта на собственное прошлое, доказывающая ее «органическую связанность с погибшим старым миром» и «нутряную антиреволюционность». — *Тименчик Р.* Анна Ахматова в 1960-е годы. С. 433; *Idem.* Из «Именного указателя...». С. 215—224. Но мотив оглядки как «оглядки на прошлое» действительно занимает большое место в творчестве Ахматовой. См.: *М. Б. Мейлах, В. Н. Топоров.* Ахматова и Данте // *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. The Hague: Mouton. Vol. 15. С. 67—71.*

а) Лот замыкает шествие, жена, находясь впереди Лота, бросает взгляд на то, что позади него ([*'aḥ^{ra}râw*]). — Рамбан. Также игнорируется предлог *min* (*mē-*). Лоту приказано также следовать за его семьей в кораническом пересказе (сура 15:65).

б) жена его бросила взгляд, посмотрела, взглянула [назад], [находясь] *позади него*, т. е. за спиной своего мужа (*wattabbēt... mē' aḥ^{ra}râw*). — Синодальный и мн. др. переводы и комментарии. Предлог *min* (*mē-*) учитывается, а глагол «быть», «находиться» закономерно опускается.

с) Лотова жена бросила взгляд, посмотрела, взглянула [назад], следуя за своим мужем. Ближе к 2б), но домысливается отсутствующий глагол движения. В последних трех случаях *hiph'il* глагола *nbṭ* истолковывается в прямом значении «смотреть», Поскольку значение *'aḥ^{ra}r-* поглощается обозначением положения Лотовой жены по отношению к мужу, в этих трех случаях направление оглядки, восстанавливаемое по аналогии со ст. 17, выражается от обратного через предлог *min* (*mē-*).

3) Значения, по-разному располагающие Лотову жену в пространстве по отношению к Ангелу:

а) Лотова жена бросила взгляд, подсмотрела, взглянула [назад], следуя за Ангелом. — Таргум Неофити, Таргум Йонатан.

б) Лотова жена окаменела, когда, оглянувшись, увидела позади Ангела истребителя. — Рамбан.

4) Значение временное: жена его заглянула [во времена] *после него*. — Только в позднем трактате К'li Yakar (см. выше), толкование представляется натянутым, но предлог допустим.

В) Контекстуально имплицированные переносные значения предложного слова *'aḥ^{ra}r* :

5) Бытовое значение:

Лотова жена *замешкалась*, «потеряла время» (*wattabbēt... ['hrjh]*). — Абрабанель, современные комментарии.

6) Морализирующее значение:

Лотова жена *оглянулась* [«на свое прошлое»] в греховном городе, которое следовало оставить позади, т. е. *вернулась к прошлому* (*wattabbēt... ['hrjh]*). — Ряд комментариев (см. также ниже).

Дополнительное примечание. Иосиф Флавий, следуя за библейским текстом, помещает описание катастрофы до оглядки жены. Только у него (за вычетом поэтов) мы встречаем уникальную интенсификацию и, по смыслу, мультипликацию мотива оглядки: «Жена Лота, которая во время бегства, вопреки запрещению Господа Бога, *постоянно обращалась назад* в сторону города, выражая страшное

любопытство (ἀναστρεφόμενη καὶ πολυπραγμονοῦσα), была обращена в соляной столб» (перевод Г. Генкеля)³⁹.

Подходы А1 и 2б пробовал примирить еще традиционный французский раввин и писатель-эзегет Рабби Даввид Кимхи (Радак, XII—XIII в.), один из основоположников филологического анализа библейского текста, который поясняет: «'štw šhjth *m'hrjw* hbjth '*hrjha*, — «жена его, будучи позади него (*mē'ah'rāw*), поглядела позади себя (*'ah'rāhā*)». Но почему «будучи позади него» он передает как *mē'ah'rāw*, а не *ah'rāw*, остается непонятным. Все то же смешение *mē'ah'rāw*, *me'ah'rāhā*, '*ahar* / '*ah'rāhā* продолжается и сейчас, семьсот лет спустя. Автор научного перевода и комментатор «Книги Бытия» В. П. Гамильтон в примечании к 19:26 замечает, что *mē'ah'rāw* не может иметь возвратного значения, т. к. тогда форма была бы *mē'ah'rāhā*⁴⁰, хотя на невозможность этого обратил внимание еще Гезениус, а, например, в католическом комментарии, выполненном под эгидой Societatis Jesu при папе Льве XIII, пояснялось: «Non *mē'ah'rāhā*, «post se ipsam», neque enim id commendat parallelismus cum v. 17 ... cum ibi habeatur '*ah'rākā* sine praepos. *mn*; sed *mē'ah'rāw*, «de post ipso» sc. Lot... qui jam paulo fuit progressus, respexit», т. е. «оглянулась не позади себя, а [находясь] позади него (Лота), ушедшего вперед»⁴¹. Если бы смысл Gen 19, 26 сводился к обозначению простой оглядки Лотовой жены позади себя (подразумевающей нарушение запрета, данного Ангелом), то по аналогии с Gen. 19, 17 ('*al tabbīt 'ah'rākā* — не смотри позади себя, т. е. «не оглядывайся», ср. также 2 Sam 2:20 — *wjpn 'bnr 'hrjw* «и оглянулся Авенир назад», иди же 1 Sam 24:8 — *wjbī š'wl 'hrjw* «Саул оглянулся назад»), мы ожидали бы здесь формы *'*ah'rāhā* (позади себя), но никак не предложенной в качестве конъектуры⁴² *mē'ah'rāhā*, логически абсурдной. Тем не менее, несмотря на то, что предлог *min* несовместим с возвратным значением, конъектура *mē'ah'rāhā* продолжает обсуждаться по сей день.

Как видим, каждая из перечисленных интерпретаций страдает своими недостатками: все они, за вычетом А 2b, с, в наибольшей степени удовлетворяющих масоретскому тексту, требуют иной формы предложного слова *ah'rā-*, *me'ah'rā-* (без предлога и / или с женским суффиксом). Но и А 2a отличается известной натянутостью (сочетание *hiph'il* глагола *nbī* в сочетании с *me'ah'rā-* — единственный в библейском тексте случай), кроме того, если значение *mē'ah'rāw* — пространственное и определяет, откуда посмотрела Лотова жена («позади, за спиной своего

³⁹ Иосиф Флавий. Иудейские древности, I, 11, 4. Для мотива оглядки Флавий употребляет иной глагол, нежели в Септуагинте. Мотивировка любопытством, почерпнутая, как можно предполагать, из аггадической традиции, утвердилась, через ранних христианских писателей, в европейской традиции вплоть до Джойса (см. примеч. 53). См. также: Avioz M. Josephus's Portrayal of Lot and His Family. P. 9—10.

⁴⁰ Hamilton V. P. The Book of Genesis. Chapters 18—50. P. 45, примеч. 3.

⁴¹ Hummelauer F. de (auctor). Commentarius in Genesim auctore. P. 416.

⁴² Однако, в Таргуме Онкелос мы находим соответствующую арамейскую форму с суффиксом женского рода и предлогом *m-*: *mbtrwhj*. См. выше и примеч. 8.

мужа)), то значение собственно оглядки (контекстуально совершенно ясное и легко восстанавливаемое по аналогии со ст. 17) во фразе остается непроявленным, как невыявленным остается собственно грамматическое значение конструкции, о чем немного ниже. Пока же повторим — именно потенциальное семантическое богатство предложного слова *'aḥrā-*, его способность принимать разнообразные значения вплоть до прямо противоположных (и, как оборотная сторона этого, его собственная смысловая аморфность) и обеспечили столь разительное многообразие интерпретаций. Более того, значения, даже не обеспеченные соответствием грамматическому узусу, но смутно присутствующие в сознании, в силу как раз этой аморфности могут выступать в сочетании друг с другом, расплываясь и диффундируясь. Такой разброс значений и вызвал множество разнообразных объяснений.

Вернемся к гипотезе У. Мазинга, видевшего в Gen 19, 26 контаминацию двух различных текстов, то есть фрагмента, заключающего более обычную конструкцию *aḥrāw* с одним из *verba movendi* («шла за ним») — с другим, содержащим мотив запретной оглядки позади себя («оглянулась»), за девять стихов до этого обозначенный приказанием *'al tabbīt 'aḥrākā* («не оглядывайся!»). По этой логике, изначально (в основном повествовании) глагол движения мог стоять с *'aḥrāw*, а во вставном фрагменте из истории об оглядке глагол *nbṭ* мог стоять с *'aḥrāhā* («поглядела назад / оглянулась»). Другими словами, форма *me 'aḥrāw* могла появиться для обозначения направления взгляда как противоположного направлению движения (нечто вроде: «[шла *позади* мужа...] и оглянулась *в обратную сторону*»). Далее глагол движения мог подвергнуться эллипсу, а *me 'aḥrāw* стало относиться к *wattabbēt* («оглянулась»).

Необязательно, однако, пытаться реконструировать реальную контаминацию текстов, поскольку на грамматическом уровне случай может укладываться в фигуру *constructio praegnans*, окрашенную значением невыраженного в тексте, но сопутствующего по смыслу глагола⁴³, и служащую примером присущей древнееврейскому языку тенденции к грамматической и семантической компрессии. Приведем лишь примеры с интересующими нас предлогами *min* + *'aḥrā-*, как Hos 1:2 : *kj'znh tznh ḥ'rṣ m'ḥrj jhwh* — «...ибо сильно блудодействует земля, от[стунув] от [следования] за Яхве», ср.: *kj'znyt m'l 'lhjk* — «блудодействуешь, [удалившись] от [следования] за Господом твоим» (Hos 9:1). *Constructio praegnans* часто употребляется с этими предлогами при *verba movendi* — так, в 2 Chron 28:32 описывается, как, когда начальники колесниц, преследовавшие Иосафата, царя Иудейского, увидели, что это не царь Израильский — *wjšbw mē'aḥrāw*, букв. «поворотили от-за-ним», т. е. повернули, прекратив его *преследовать* (King John Version: „... they turned back again from pursuing him“); *wjkḥnj jhwh m'ḥrj ḥṣ'n* — «И Яхве взял меня от [пасомого мной] стада» (от стада, за которым я ходил, «And the LORD took me as I followed the flock», KJV), Amos 7:15. *Constructio praegnans* постоянно встречается с этими предлогами при глаголах *šwb*, *swr* при выражении мотива отступничества от Бога, как в Deut 7:4 : *kj'jsjr 't bnk m'ḥrj* — «ибо он отвратит сына

⁴³ См.: Gesenius W., Kautzsch E. Hebrew Grammar. § 119, x, y, ff, gg. P. 382—384.

твоего от служения Мне» (букв. от-за-Мной, т. е. от следования за мной, «For they will turn away thy son from following me», KJV). Ср. Deut 7:4, Num 14:43, Josh 22:16, 1 Sam 15:11, 2 Sam 2:22, 1 Kgs 9:6 и мн. др. («it is used especially when one leaves what he has before followed» — помета в BDB, s. v. 'aḥar).

Можно только удивляться тому, что ни один библейский комментатор не рассмотрел с этой точки зрения полустигшие *wattabbēt 'ištō mē 'aḥrāw*, хотя к подобному его прочтению (обычно при сочетании *mē 'aḥrāw* с *verba movendi*) интуитивно подходили переводчики. Близко к такому решению подошли упоминавшийся уже В. П. Гамильтон, а ранее лингвист-семитолог Э. Спайзер, автор комментария и перевода «Книги Бытия» в монументальной серии «Anchor Books». Оба они — Гамильтон в самом переводе «His wife, [who followed] behind him, looked back...», а Спайзер — в комментарии, вставляя в скобках «who followed», причем едва ли не с извинениями: «I inserted 'who followed' in parentheses only for sense»⁴⁴; «Unless something like 'who followed behind him' is intended, the pronominal suffix was originally feminine; cf. also vs. 17. The present translation leaves the matter open»⁴⁵.

Но можно пойти еще дальше, как это сделала петербургский семитолог А. В. Немировская, которая находит более простое решение: «Если сравнить Gen 19:26 с контекстом Exod 33:8 (*whbjṭw 'hrj mšh* — «смотрели вслед Моисею»), то *hibbēt 'aḥrā-* означает дословно «смотреть (кому-л.) вслед». В Gen 19:26 составной предлог — с типичным использованием предлога *min* для передачи аблативности — передает то, что жена Лота, по всей видимости, шедшая за ним и, соответственно, смотревшая ему вслед, взглянула дословно “от-вслед ему”, т. е. отвернулась от него, посмотрела в обратную сторону, или, давая эквивалентный данному контексту перевод, «обернулась позади него»⁴⁶. При такой интерпретации мотив следования жены за Лотом остается в контексте (что все же вписывается в *constructio praegnans*, ср. выше Deut 7:4), а предлог *min* меняет направление взгляда на обратное.

Выше уже указывались возможные аналоги мифа, фрагмент которого мог инкорпорироваться в историю Лота тем легче, что исход его семьи не только происходит при участии сакральных вестников, но и самое уничтожение Содома является непосредственным и прямым актом Божественного возмездия (Gen 19:24). При том, что во фрагменте *wattabbēt 'ištō mē 'aḥrāw* неизбежно домысливается элемент движения (действие происходит, так сказать, на ходу), на формирование морализирующего подхода могли повлиять переносные значения сочетаний глаголов движения с *'aḥrāw / mē 'aḥrāw*. Вспомним имплицированный в Gen 19:26 восточный обычай следовать в пути друг за другом, окрасивший семантическую трансформацию конструкции типа *hlk 'hrj-*, приобретающую моралистическое

⁴⁴ Hamilton V. P. Loc. cit.

⁴⁵ Speiser E. A. Genesis. P. 141.

⁴⁶ Письмо автору от 15 сентября 2009.

значение «быть сторонником», «следовать за кем-то»⁴⁷ (ср. Exod 23:2; 2 Sam 2:10; 1 Kgs 12:20). Точно так же, конструкции типа *šwr, swr... m 'hrj-* — получают, как мы только что видели, переносное значение «измены», «отступничества», особенно от Бога или его предначертаний; именно эти значения могли служить фоном, на котором, возможно, происходила контаминация собственно истории исхода семьи Лота, изначально морализаторская, с вариантом «орфического» мифа. В дошедшем до нас тексте стиха 26, с его обычным для фольклора (особенно для волшебной сказки) мотивом нарушения запрета, оглядка развивает мотив запрета из ст. 17, где Ангел, обещая Лоту вывести его и его семью из обреченного города, запрещает оглядываться на пути. Возможно, однако, что мотив собственно оглядки Лотовой жены (как нарушения запрета и понесенного за это наказания) мог изначально «не предусматриваться», но был подсказан двусмысленностью *'al tabbīt 'aḥ^arākā* в ст 17, где, как уже пояснялось, выражение могло изначально иметь переносный смысл «не медлить», «не задерживаться», «не думать о прошедшем». Но остается вопрос, не является ли такой же вставкой и сам запрет на оглядку, высказанный в ст. 17 и нарушенный в ст. 26? Ответ на него может зависеть от того, был ли *hiph'il* глагола *nbṭ* в сочетании с *'aḥ^arākā* употреблен в ст. 17 в расширенном смысле «не медлить», «не задерживаться», или же в прямом значении запрета на оглядку (именно так ссылаются на это место словари). Если изначально эти слова здесь присутствовали в их широком значении, то для присоединения мотива оглядки (в прямом смысле) достаточно было их всего лишь переосмыслить, однако при переносе их в ст. 26, где, вероятно, описывалось шествие семьи Лота, и который мог изначально стоять до описания катастрофы, возникли вышеописанные грамматические неясности, на которые дополнительно наложились затруднения, связанные с примысленным соотношением оглядки с катастрофой (повторим — катаклизм не может произойти до прибытия путников, в том числе и Лотовой жены, в Сигор, но настигает ее по пути в Сигор). Зато повествование обогатилось сразу несколькими чрезвычайно емкими мотивами, образующими самостоятельный мифологический сюжет (испытание, запрет на оглядку — метаморфоза как наказание за его нарушение), имеющий к тому же дополнительную этиологическую привязку (соляной столп) и колоссальную этическую нагрузку; по поводу Gen 19:26 удачно замечено, что, «широта и энергия психологического обобщения в этом стихе не имеют себе равных»⁴⁸.

Какое же место, в свете рассмотренного материала, занимает история оглядки Лотовой жены в ряду многочисленных параллелей к этому сюжету? Ответ, конечно, будет заключаться в определении того, на что запрещено оглядываться, и при каких обстоятельствах это происходит. Очевидно, что оглядка Лотовой жены отли-

⁴⁷ По поводу перевода сочетания *hlk 'hr* словарь Келера-Баумгартнера специально поясняет: «whereas in Palestine people walk behind the other, we prefer to say 'walk together'. — Koehler L., Baumgartner W., Richardson M. E. J. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the OT: s. v. 'hr B, d.

⁴⁸ Жажоян Манук. Случай Орфея. С. 221.

чается и от оглядки, запрещенной после магических действий в вавилонских ритуалах, и от оглядки Орфея на *Эвридику* (как еще принадлежащую к миру хтоническому), и от оглядки в наиболее близкой по сюжету индийской (корейской) сказке, где женщина спасается одна. Не является в данном случае запрет на оглядку и запретом на созерцание сакрального присутствия при творимом Богом разрушении городов, т. к. оно происходит позже. Лоту (и тем самым, всем кто с ним) запрещено оглядываться не на что-либо, а оглядываться в ситуации осуществления акта спасения. При предельной лаконичности библейского текста («не оглядывайся!», ст. 17 — «оглянулась позади него», ст. 26) решающее значение приобретает противопоставление *mē'ah^arāw* — простому *'ah^arāhā* с возвратно-притяжательным суффиксом 3 лица женского рода *-hā* (в который должен был бы перейти в повествовании возвратно-притяжательный суффикс 2-го лица *-kā* из прямой речи запрета, и который напрасно пытаются восстановить комментаторы). Суффикс мужского рода позиционирует Лотову жену по отношению к праведнику-мужу (исполняющему Божественное предназначение, а именно, быть спасенным из осужденного места) как смотрящую ему вслед (т. е. вперед, к спасению), *следуя за ним* и, стало быть, исполняя это предназначение вместе с ним. Функция же «поворотного оператора», разворачивающего ее направленный *вслед за мужем* взгляд *в обратную сторону*, ложится на предлог *min*. Взгляд, обращенный в сторону, обратную пути к спасению, равносильен выпадению из акта спасения, и метафорой этого является трансформация в соляной столп. Так простейшие грамматические значения насыщаются сложнейшими контекстными смыслами.

Заметим в заключение, что невозможно, разумеется, установить, когда и в каком порядке возникали эти элементы в повествовании и как они трансформировались. В тексте же памятником этого процесса осталось «окаменевшее», подобно самой Лотовой жене, слово *mē'ah^arāw*⁴⁹.

Если история Лотовой жены послужила в свое время для Григория Сковороды отправной точкой для толкований в духе крайнего аллегоризма⁵⁰, то в литературе двадцатого века морализирующее осмысление оглядки Лотовой жены оказывается по преимуществу утраченным⁵¹. У обоих величайших писателей двадцатого века, Пруста и Джойса, история эта служит лишь отправной точкой — у первого для одной из его остранинно-иронических дигрессий, в которой он предлагает свою версию судьбы жителей осужденного города⁵², у второго, вслед за Иосифом

⁴⁹ Выражаю искреннюю благодарность А. В. Немировской, Л. Е. Когану и Б. Л. Огибенину за консультации и ценные советы при подготовке этой работы.

⁵⁰ *Григорій Сковорода*. Книжечка о чтеніи Священнаго Писання, нареченна Лотова жена // *Повне зібрання творів*: У 2 т. Киев, 1973. Т. 2. С. 32—58.

⁵¹ См., в частности: *Harris M.* NY. *Forgetting Lot's Wife. On Destructive Spectatorship*. Fordham University Press. 2007.

⁵² «Au contraire, on laissa s'enfuir tous les Sodomistes honteux, même si, apercevant un jeune garçon, ils détournèrent la tête, comme la femme de Loth, sans être pour cela changés comme elle en statues de sel. De sorte qu'ils eurent une nombreuse postérité chez qui ce geste est

Флавием и Мильтоном, для пассажа по поводу женского любопытства⁵³. В своем знаменитом стихотворении «Лотова жена» (по поводу которого хочется сказать нечто подобное тому, как кто-то отозвался о фильме Кокто «Царь Эдип»: наконец-то мы узнали, как это было на самом деле) Ахматова полностью сочувствует героине, отдавшей «жизнь за единственный взгляд», причем превращение в соляной столп постигает ее не в качестве наказания за нарушение запрета, а вследствие горечи, испытываемой после изгнания из «родного Содома» (Пастернак в посвященном Ахматовой стихотворении связывает, хотя и от обратного, воспетый ею «испуг оглядки» с нею самой). Заметим, что вопреки традиции Ахматова не только не делает героиню свидетельницей катастрофы, но и вызываясь мотивирует ее оглядку привязанностью к обреченному городу — «Не поздно, ты можешь еще посмотреть / На площадь, где пела, / На красные башни родного Содома, / На площадь, где пела, на двор, где пряла, / На окна пустые высокого дома, / Где милому мужу детей родила»⁵⁴. (Прибегать к авторитету Ахматовой как интерпретатора Библии нам представляется тем более позволительным, что, как нам рассказывал И. Д. Амузин, для своих истолкований ветхозаветных апокрифов она сама могла обращаться, наравне с текстами, к гравюрам Гюстава Доре). Из поэзии XX века отметим также написанную во время второй мировой войны поэму «Lot's wife» американского поэта-сюрреалиста Эдуарда Родити и стихотворение Виславы Шимборской «*Zona Lota*».

С подобных же гуманистических позиций описывает Лотову жену Мария Лей-Пескатор в одноименном романе, а Эфраим Кишон дает своему сатирическому роману иронизирующее название «Оглянитесь, миссис Лот!». Роману предшествует эпиграф:

Mrs Lot could safely look back nowadays.
On the site where sinful Sodom and Gomorrah stood,
She would see only the Dead Sea Potash Works,
Whose sole sin is that they are loosing money.

resté habituel, pareil à celui des femmes débauchées qui, en ayant l'air de regarder un étalage de chaussures placées derrière une vitrine, *retournent la tête vers un étudiant*. — Marcel Proust. «Sodome et Gomorrhe».

⁵³ «I suggested to him about a transparent show cart with two smart girls sitting inside writing letters, copybooks, envelopes, blotting paper. I bet that would have caught on. Smart girls writing something catch the eye at once. Everyone dying to know what she's writing. Get twenty of them round you if you stare at nothing. Have a finger in the pie. Women too. *Curiosity. Pillar of salt*». — James Joyce. «Ulysses». 8 («Lestrigonians»).

⁵⁴ Пользуемся случаем указать на не отмечавшийся до сих пор анаколуп, точнее силленс (неправильное согласование по падежу, роду, числу) в первых двух строках: И *праведник* шел за посланником Бога, // *Огромный и светлый*, по черной горе. По смыслу определение относится к *посланнику Бога*, а отнюдь не к праведнику (Лоту).

ЛИТЕРАТУРА

- Десницкий А. Современные взгляды на систему глагольных «времен» библейского иврита // Библия — язык, текст, история: Литературные и лингвистические исследования. Вып. 1. М.: РГГУ, 1998. С. 245—270.
- Жажоян М. Случай Орфея // Случай Орфея. Стихи, эссе, рецензии, дневники. СПб., 2000. С. 319—234.
- Тименчик Р. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Торонто, 2005.
- Тименчик Р. Из «Именного указателя» к «Записным книжкам» А. Ахматовой // *Quadrivium. Festschrift in Honour of Professor Wolf Moskovich. The Hebrew University of Jerusalem*, 2006. P. 215—224.
- Тищенко С. Кто написал Тору? К литературной истории Пятикнижия // Библия — язык, текст, история: Литературные и лингвистические исследования. Вып. 1. С. 11—82.
- ANET — Goetze A. Hittite Myths, Epics, and Legends // Pritchard J. (ed.). *Ancient Near East Texts Relating to the Old Testament*. Princeton University Press, 1955.
- Artemidori Daldiani Onirocriticon Libri V / Ed. R. Pack. Teubner, 1963.
- Avioz M. Josephus's Portrayal of Lot and His Family // *Journal for the Study of the Pseudepigrapha*. 2006, sept. Vol. 16. P. 3—13.
- La Bible d'Alexandrie. T. I. La Genèse / Traduction, introduction et notes par Marguerite Harl. Paris: CERF, 1986.
- The Bible in Aramaic. I. Pentateuch / Ed. A. Sperber. Leiden, 1959.
- Biblia. I libri della Bibbia interpretati dalla grande Tradizione. AT 1. Genesi, a cura di U. Neri. Gribaudi, Torino, 1986.
- Biblia Hebraica Stuttgartensia / Ed. K. Elliger, W. Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.
- BDB — Brown F., Driver S., Briggs C., Gesenius W. Hebrew-English Lexicon. Hendrickson Publishers, 1996.
- Caplice R. Namburbi Texts from the British Museum // *Orientalia*. 1965. Vol. 34. P. 105—131; 1967. Vol. 36. P. 1—38, 273—298; 1970. Vol. 39. P. 111—151.
- Cheon S. Filling the Gap in the Story of Lot's Wife (Genesis 19:1—29) // *Asia Journal of Theology*. 2001. 15.1. P. 14—23.
- Christiansen B. Die Ritualtradition der Ambazzi. Studien zu den Bogazkoy-Texten. Vol. 48. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006.
- Cohen D. Dictionnaire des racines sémitiques. Fasc. 1—9. Peeters, 1994—2010.
- Cornelii a Lapidi R. P. C. Commentarii in Sacram Scripturam. T. I. Pentateuchum complectens. Melitae, 1843.
- Culi, Rabbi Yaakov. Genesis // *The Torah Anthology (Me'am Lo'ez)* / Transl. by Rabbi Aryeh Kaplan. N. Y.; Jerusalem: Maznaim, 1977.
- Cypriani Galli poetae Heptateuchos / Ed. R. Peiper // *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum*. Vol. 23. Praga, 1891.
- Encyclopaedia Biblica: a critical dictionary of the literary, political and religious history, the archæology, geography, and natural history of the Bible / Ed. by T. K. Ceyne, J. S. Black. N. Y.; London, 1899—1903. S. v. *Lot*, vol. 3; s. v. *Sodom*, vol. 4.
- Fields W. W. Sodom and Gomorrah: History and Motif in Biblical Narrative (JSOTSS 231). Sheffield Academic Press, 1997.
- Flavii Josephi Opera graece et latine / Rec. G. Dindorfius. Paris, 1929.
- Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend. Harper & Row, 1984.

- Gaster Th. H. *Myth, Legend and Custom in the Old Testament*. London: G. Duckworth, 1969.
- Gesenius W., Kautsch E., Cowley A. E. *Hebrew Grammar*. 2nd ed. 2009 (1910) reprint, Dover Publications, s.a.
- Gordon J. W. *Genesis 16—50 // Word Biblical Commentary*. Vol. 1. Genesis. Dallas: Word Books, 1998.
- Gregorii Nysseni *Commentarius in Canticum Canticorum // Gregorii Nysseni Opera / Ed. H. Langerbeck*. Vol. VI. Leiden: Brill, 1960.
- Hachut hameshulash: commentaries on the Torah by... rabbi David Kimchi... translated and annotated by Eliyahu Munk. Vol. I—VI. Jerusalem; New York: Lambda Publishers, 2003.
- Hamilton V. P. *The Book of Genesis*. Chapt. 18—50. W. B. Eerdmans Publ., Grand Rapids, Mich, 1995.
- Hartland A. *The Legend of Perseus*. Vol. I—III. London, 1894.
- Hummelauer F. de. *Commentarius in Genesim*. Parisiis, 1895.
- King L. W. *Babylonian Magic and Sorcery*. London, 1986 (reprint 2000).
- Kishon E. *Look Back, Mrs. Lot! / Transl. from the Hebrew by Y. Goldman*. London: André Deutsch Ltd, 1961.
- Kasher M. M. *Genesis // Encyclopedia of Biblical Interpretation. A millennial anthology*. Vol. III. N. Y., 1957.
- Koehler L., Baumgartner W., Richardson M. E. J. *The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament*. Leiden Brill, 1994.
- Letellier R. I. *Day in Mamre, Night in Sodom: Abraham and Lot in Genesis 18 and 19 (Biblical Interpretation Series 10)*. Leiden: Brill, 1995.
- Loader J. A. *Sodom and Gomorrah in the Old Testament. Early Jewish and Early Christian Traditions*. Kok; Kampen; 1990.
- Noort E., Tigchelaar E. (eds.). *Sodom's Sin: Genesis 18—19 and its Interpretation (Themes in Biblical Narrative, 7)*. Leiden: E. J. Brill, 2004.
- Nycander P. *N^ošib melaḥ sive Statua salis...* Uppsala, 1707.
- Ouspensky P. D. *The New Model of the Universe*. Dover Publications, 1997.
- Plaut W. G. et al. *The Torah. A Modern Commentary*. Union of American Hebrew Congregations. N. Y., 1981.
- Prudentius. *Works / Ed. T. E. Page et al*. Vol. 1—2. The Loeb Classical Library. London, 1949.
- Ramban (Nachmanides). *Commentary on the Torah. Genesis / Transl. an annotated... by Rabbi Dr. Ch. B. Chavel*. N. Y.: Shilo Publ., 1971.
- Sarna Y. *The Salt Saga: Lot's Wife or Sodom Itself // Nachalah: Yeshiva University Journal for the Study of Bible*. 1999. 1.
- Serpiet A. *Les portes de l'année*. Paris, 1962. P. 162.
- Speiser E. A. *Genesis: Introduction, Translation and Notes. The Anchor Bible*. Vol. 1. N. Y.: Doubleday and C^o, 1964.
- Sperber A. A. *Historical Grammar of Biblical Hebrew*. Brill; Leiden, 1966.
- Speyer H. *Die biblischen Erzählungen im Qurān*. Gräfenhainichen, 1931 (reprint 1961). P. 146—158.
- Targum Neophiti 1. *Genesis / Ed. by M. McNamarra*. Edinburgh, 1992.
- The Targums of Onkelos and Jonathan ben Uzziel on the Pentateuch / Ed. by J. W. Etheidge*. N. Y., 1968.
- Tomson P. *Mercy Without Covenant: A Literary Analysis of Genesis 19 // Journal of the Study of the Old Testament*. 2001. 95. P. 95—116.
- Westermann Cl. *Genesis // Biblischer Kommentar Altes Testament*. Neukirchner Verlag, 1974.

БОГИНИ ИЗВАЯНЬЕ

В архиве В. Н. Топорова, в папке «Петербург 1» — подготовительные материалы к *Петербуржскому тексту* — хранятся три библиографические карточки, написанные черной ручкой с обеих сторон и пронумерованные (начиная с цифры 2 — вторая сторона первой карточки)¹. Они посвящены его эрмитажным впечатлениям от нескольких античных статуй Афродиты².

/1/ Эрмитаж. 20 IV 89

«Третья Афродита»³

Из 3-х Афродит в ... зале⁴ меня более всего привлекает 3-я, та около к(отор)ой никто спец(иаль)но не остан(авливает)ся, а если случайн(ый) посетитель на мгнов(ение) вдруг остан(овит)ся, то сразу же, как получит свои 1-ые впечатл(ени)я, почти зримо отбрасывает их и направл(яет)ся куда угодно дальше. Более всего смотрят Венеру Таврич(ескую), остан(авливают)ся перед Эрмит(ажной) Венерой. Но эта Афр(одита), собств(енно), не имеет и особ(ого) назв(ания) — Афр(одита), богиня красоты и любви, III—II в. до н. э. Римская работа по греч(ескому) оригиналу. Она невыгодно отличается и от кажд(ой) из этих 2-х Афрод(ит), и от них обеих. Те — «красавицы», и не только потому, что признаются такими, но потому, что сами знают (на них это написано), что они таковы. Они выше, стройнее, изящнее, женств(еннее) ее. Их тела прекрасны. Обе они наги абсолютно, и если Эрм(итажная) Афр(одита) «для вида» закрыв(ает) свои женск(ие) прелести /2/ обеими руками, то эта третья — наименее нага и наим(енее) телесна. У нее тело девочки, еще не вошедш(ей) в пору цветения. Более того, похоже, оно никогда не будет цветущ(им), роскошн(ым), привлекат(ельным). Едва обозначенная грудь, худые руки, между локтем и плечом как бы неск(олько) выскобл(енные), вогнут(ые), с прогибом. Она не наклонилась к зрителю, но стоит прямо, статуарно, что подчеркн(уто) столбом — подст(авкой)-жертв(енни)ком, к к(оторо)й прильнула ее лев(ая) нога и на к(оторо)ую положена ее лев(ая) рука. Она, действ(ительно), закрывает заботл(иво) свое лоно — прав(ой) рукой, в кот(орой) /3/ часть ткани, охватывающей ее сзади и продолжающейся на другом конце в лев(ой) руке — так, что

- ¹ Архивные материалы публикуются с любезного разрешения Т. В. и А. В. Топоровых.
- ² Можно быть уверенными, что В. Н. не напечатал бы эти записи в таком необработанном виде. Я решаюсь на это, поскольку мне они кажутся важными в связи с целым рядом существенных идей и положений, о которых см. ниже.
- ³ Раскрыты сокращения и исправлены явные описки. В косых скобках замечания публикатора.
- ⁴ Зал Диониса, № 108; сейчас там две Афродиты; третья (с дельфином) находится в зале № 121.

ткань вот-вот готова соединиться и спереди, сомкнувшись и плотно укрыв тело. В глазах 3-ей Афр(одиты) некот(орый) испуг, недоумен(ие), отсутствие чувства сцены, подмостков, зрителя. Черты лица неск(олько) аморфны, оно слегка припухло, как у девочки-подростка, но в лице дев(очки)-подростка уже обозначился и какой-то элем(ент) отцветшести. Молодость не гарант(ирует) ей ни красоты, ни обаяния. Она не знает, что делать со своей наготой и поэтому неск(олько) смущена, как женщ(ина), не привыкшая к вним(анию) и не знающ(ая), что делать дальше. Она отчасти жалка в своей /4/ неуверенности, и две жалкие косички волос, спадающ(ие) на плечи и не достигающие груди, образуют контраст с пышно-претенциозн(ым), но едва ли умелым высок(им) сооруж(ением) из волос на темени [Régnier Puella...]. Мужч(ина) д(олжен) испытывать предел(енную) неловкость при взгляде на эту бедную наготу и от невозм(ожности) ответить на этот робкий, если не призыв, то покорность подчиниться дальнейшему.

Я не знаю, плох ли художник, плоха ли модель, или что-то плохо в нашем понимании. Но я думаю, что независ(имо) от всего этого в 3-й Афр(одите) есть нечто принцип(иаль)но новое, что оставляет в нас — незав(исимо) от всего — чувство какого-то неудовлетв(орения). В тело «богини красоты и любви» /5/ вопреки всякой логике вошло нечто иное, в корне противоположное изнач(ально)му замыслу этого образа, его конструкции и его смыслу.

Что же это такое?

Буд(ущая) мать, смерть, рожд(ение), земля, Персеф(она), Анастасия соединяются здесь с Матерью-Землей и, хотя и очень туманно и более чем приблизительно, заставляют вспомнить о другой матери — Бога, Богородице, узнавшей соединение в себе божеств(енного) и челов(еческо)го, роды и зрение смерти и воскрес(ения) сына. Как «Бронз(овый) век» Родена, 3-я Афр(одита) что-то отдаленное чувствует, но оно скрыто от нее туманом, какой-то земляной, непрониц(аемой) /6/ тяжестью. Придя любоваться и восхищ(ать)ся ею, мы возвращаемся совсем к друг(ому) строю мыслей.

К этому тексту добавляются хранящиеся в той же папке еще две карточки, датируемые следующим днем: они уточняют предыдущее впечатление /описание и добавляют новых персонажей (В. Н. пришел в Эрмитаж явно ради этого).

/1/ Эрмитаж 21 IV 89 | 3042 А.139

Афродита. | Богиня красоты и любви. III—II в. до н.э.

Римск(ая) работа по греч(ескому) оригин(алу). | Мрамор.

Приобретена Импер(атором) Петром I в 1719 году

опорн(ая) нога левая

маленьк(ий) рот

смотрит прямо на зрителя

предельно статуарна

лоно закрыто складчат(ой) тканью и рукой.

Волосы собраны в сложн(ое) сооруж(ение) на темени.

Спина почти по пояс закрыта тканью.

Тело плосковатое.

Между руками и тулов(ищем) очень мал(енький) зазор.

Пучок, косицы идут от пучка.

Прав(ая) нога в колене, как и нижн(ая) часть живота неск(олько) вперед
/2/ Ткань идет от прав(ой) руки назад и вниз через спину, пропускается между
тулов(ищем) и локтем лев(ой) руки и подхват(ывается) лев(ой) рукой.

Волосы волнист(ые). Ткань складчат(ая)

Плечи очень узкие. Щски не проработ(аны).

Зрачки подняты к верхн(ей) части глаза, прав(ый) зрачок неск(олько) сдвин(ут)
к носу.

Афродита, т(ак) наз(ываемая) «Венера Эрмит(ажная)» III в до н. э. Рим(ская)
раб(ота) по греч(ескому) оригин(алу). Мрамор. А.276. 4137.

У лев(ой) ноги, неск(олько) сзади, дельфин.

Смотрит сильно вправо

Пальцы изящно прикрыв(ают) грудь

Пальцы идут паралл(ельно), но неск(олько) разьединены

Рот полуоткрыт, волосы изящнее, но и проще.

/3/ Афрод(ита) Венера Таврич(еская). III в. до н.э.

Маленьк(ая) голова, полуоткр(ытые) губы.

Смотрит вправо (от зрителя), влево от себя. Лев(ое) колено сильно выдвин(уто)
вперед. Шея длинн(ая). Две косицы, но только по плечам, причем левая со
стор(оны) спины.

Прав(ая) нога только пальцами кас(ает)ся земли.

Хорошо чувствуется подкожн(ая) фактура, тяга, игра масс, переливание объе-
мов, некот(орая) нервность.

Афрод(ита) кон(ца) V в. до н. э.

Римск(ая) раб(ота) по греч(ескому) обр(азцу) мастера Алкамена (ученика Фи-
дия). Мрам(орный) торс без головы, покрыт(ый) весь тканью (/зал/ где «лекифы»)⁵

/4/ Персефона, богиня подз(емного) ц(арст)ва

Греч(еская) раб(ота) IV в. до н.э. Мрамор.

Слева фигурка мужч(ины), едва достигающ(ая) ей по пояс.

П(ерсефона) вся в своб(одно) спадающ(ей) ткани

В лев(ой) руке что-то вроде палки. /?/ Смотрит практич(ески) прямо, чуть вле-
во. Лицо — «землистое».

Зал 113 (143?)⁶

Через четыре года вновь возникают те же фигуры (записи на двух таких же би-
блиографических карточках, в той же папке):

19 V 93. Эрмитаж.

Афродита, III—II в. до н. э. Рим(ская) раб(ота) по греч(ескому) ориг(иналу).
Приобретена в 1719 Петром I.

Прав(ая) рука неск(олько) судор(ож)но прикрыв(ает) пеплум(ом) (?)⁷ лоно, пле-
чи узк(ие) и недостат(очно) покаты(ые)

⁵ Зал № 113.

⁶ Зал № 113.

⁷ Скорее, это гиматий.

Девичье наивн(ое), но неск(олько) напряж(енное) /лицо/.

Прическа чуть экстраваг(антна), как у неофитки моды, к(отор)ой до нее по сути дела нет особ(енного) дела.

Припухл(ость) щеки.

Смотрит прямо по оси (2 друг(ие) Афрод(иты) → влево). Стоит слишком прямо и напряж(ен)но, без отклон(ений) от вертика(альной) оси (поэтому провал — вогнут(ый) живот не мотивир(ован), как у Вен(еры) Таврич(еской)).

Лев(ая) рука (локоть) на колонке, пальцы зажали друг(ой) конец пеплума. Спина прямая. Жалковата. Две жалк(ие) косицы по плечам.

/запись сбоку по вертикали/

Ср. Параскеву и Анастас(ию). Связь с нижн(им)миром.

И еще одна запись от того же числа (последние строки на карточке с описанием белых лекифов).

19 V 93. Эрмитаж

Стат(уя) Персеф(оны) греч(еская) раб(ота) IV в. Прав(ая) рука на маленьком ч(еловек)е, левая держит шест, древко? Тяжел(ый) могил(ьный) !?! взгляд.

Три Афродиты — Персефона — Параскева и Анастасия. И Богоматерь. К этому «Бронзовый век Родена» и стихотворение Анри де Ренье «Девочка» (Puella). Мы приводим их далее, начав со стихотворения Ренье, наиболее точно указывающего на 3-ю Афродиту.

Henri de Régnier
Puella
(*Médaille d'argile*)

Plains-moi, car je n'eus rien à donner à l'Amour,
Ni fleurs de mon Été, ni fruits de mon Automne,
Et la terre où naquit mon destin sans couronne
N'a pas porté pour moi la rose ou l'épi lourd.

Les Fileuses qui font nos heures et nos jours
N'ont pas tissé non plus, pour que je la lui donne,
La tunique fertile où, naïve Pomone,
La vierge de ses seins sent mûrir le contour.

Je n'ai pu même offrir à ta divinité
La colombe de ma chétive nudité,
Car ma chair sans duvet n'eût pas tiédi ta main.

Amour! tends-la au moins à l'obole fragile
Et prends cette médaille où, profil enfantin,
Mon visage anxieux sourit à fleur d'argile.

Анри де Ренье
Девочка
(Надгробная медаль)

О, пожалей меня — мне нечего отдать Эроту —
 Ни летнего цветка, ни плода осени:
 Земля, где выпал мой жребий неувенчанный,
 Не вырастила мне ни колоса, ни розы,
 А Парки, ткущие часы и дни,
 Не выткали, как дань ему, тунику
 Плодоносную — наивная Помона,
 Под которой зреет очерк груди девичьей.
 Я даже не могу отдать, как жертву богу,
 Голубку моей убогой наготы, —
 Ибо плоть моя неопушенная не может согреть твоей руки,
 Но протяни ее, Эрот, к оболу, —
 Прими сию медаль, где профиль детский —
 Мое лицо тревожное — цветет на хрупкой глине.

Пер. М. А. Волошина

Я решаюсь приложить еще три иллюстрации — по памяти рассказов Владимира Николаевича.

К Параскеве и Анастасии — икону Новгородской школы (XV в.) из Русского музея.

К Богоматери — очень любимую В. Н. эрмитажную картину Сурбарана «Отрочество Богоматери» (XVII век).

К статуе — статуе «Расе» из Царского села.

На этом можно было бы закончить публикацию, исправив некоторые неточности. Конечно, запись В. Н. не профессиональное искусствоведческое описание; к тому же за эти почти 20 лет многое изменилось.

Так, 29 мая 2005 в прессе появилось сообщение о новой атрибуции Венеры Таврической (тип Венеры Медицейской): «Прежде на ней было написано, что это — “эллинистическо-римская работа”, теперь этикетка свидетельствует, что Венера Таврическая — “греческая работа II в. до новой эры”. “Это не римская копия, а греческий подлинник”, — сообщил ИМА-пресс сотрудник отдела античности Государственного Эрмитажа Александр Круглов. Такой вывод позволили сделать проведенные исследования. В частности, в ушах богини есть отверстия. “Там когда-то были золотые серьги”, — уточнил Александр Круглов. Это означает, что статуя являлась не декоративным произведением для украшения нимфея или терм, а культовой статуей. Есть еще немало научно доказанных свидетельств, но уже только по этому можно говорить о Венере Таврической «как не о заказном римском произведении, а о греческом подлиннике, о почитаемой издавна статуе, перевезенной в Рим», — заявил Александр Круглов»⁸.

⁸ http://www.imapress.spb.ru/news/operative/operative_2397.html

В записях В. Н. Топорова Эрмитажной Венерой ошибочно названа Венера Гатчинская, античное повторение Венеры Капитолийской. Она стояла в Сильвии Гатчинского парка. В описи 1859 года дается ее описание: под № 1605 «Группа из паросского мрамора античной Венеры, около нее с левой стороны Амур, ползущий по дельфину; очень много поломана и некоторых частей не достает — 44 вершка». В Эрмитаже статуя после реставрации появилась в 1885 г.⁹

Хотелось бы, пусть отчасти, проникнуть в этот текст, многонаправленный, как и все тексты В. Н. Топорова. Здесь эта многонаправленность находится прежде всего в русле совместных с Вяч. Вс. Ивановым работ по реконструкции мифологических (не только славянских) древностей, в частности, перемещений/метаморфоз мифологических персонажей в разных мирах.

1-е направление связано с мифологией более опосредованно: это не-совершенство / незавершенность, которая отсылает, в частности, к мотиву *mois praematura*. Мотив идет из древности, но параллели В. Н. нашел в XX веке — в незавершенности эрмитажного «Бронзового века» (первоначально «Раненый раб») Родена и особенно у Ренье, увидев в 3-й Афродите, девочке-подростке, которая не только не вошла в пору цветения, но и вряд ли ее достигнет (в ее лице «уже обозначился и какой-то элем(ент) отцветшести»), его бедную *puella* 'у. Ей ничего не предстоит, ничего не суждено — конечно, это никак не вписывается в образ прекрасной и роскошной Афродиты.

2-е направление отчасти вытекает из 1-го — это тема смерти. Но здесь смерть — *rite de passage*, переход в иной мир — обозначает и потенциальную связь с этим миром, т. е. хтоничность, возможность превращения в Мать—Землю. Отсюда переход к Персефоне, с ее «земляным», «землистым», «могильным» лицом (ср.: «земляную непроницаемую тяжесть» у 3-й Афродиты и вообще частотность лексемы *земля* в тексте). Но ведь и Персефона превратилась в грозную богиню (и в эрмитажной статуе — статуарную; статуарность В. Н. подчеркивает и в 3-й Афродите) из несформировавшейся девочки, собиравшей наивные букетики на лугу. Таким образом, осуществление судьбы исполняется с помощью превращения: но это происходит уже в нижнем мире¹⁰.

3-е направление, пожалуй, несколько более сложное, хотя, в общем, далеко не новое: в обобщении, это — связь языческого и христианского, чрезвычайно прочная и, конечно, не ограниченная универсальностью народного двоеверия. Из огромного списка литературных, исторических, философских текстов и изображений, посвященных конфликту или примирению языческого и христианского, приведу здесь почти случайно выбранный (но оставленный по связи с Эрмита-

⁹ Хмелева Е. Н. Скульптура Гатчинского парка // Исторический журнал «Гатчина сквозь столетия» / <http://history-Gatchina.ru/parks/parksculpture/ps2.htm>

¹⁰ Вспомним балканскую Пеперуду, описанную в совместных работах Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова.

жем) пассаж из книги Акима Вольтинского «Леонардо да Винчи», где он сравнивает эрмитажную картину Леонардо «Мадонна Литта» и картину в миланском музее Польди Пеццолли «Madonna che allatta il bambino», очень схожие друг с другом. Однако, по его мнению: «На эрмитажной картине... ребенок смотрит мягче и мечтательнее. Характер его совершенно согласован с благочестиво-созерцательным характером Мадонны. Это один аккорд, одно настроение. Обстановка в обеих картинах тоже различна. На эрмитажной картине природа, в голубых тонах, глядит в комнату только через два небольших окна. На миланской картине Мадонна изображена как бы стоящей на балконе, голова ее вырисовывается на фоне приподнятого занавеса, за которым разворачивается широкий, чудесный пейзаж. Здесь природе как бы открыт широкий доступ к человеческому существу, и, свободно обвивая его, она несет его на своих волнах. Эта Мадонна как бы Венера древнего мира, Венера-мать, которую Ренессанс, в своем смелом синтетическом порыве, хотел слить с христианской»¹¹.

В публикуемом тексте В. Н. Топорова первый шаг к этому слиянию, как представляется, можно видеть в новгородской иконе (см. выше), святых Анастасии, связанной с Воскресением, и Параскевы, с ее «персефонным» слоем.

Есть еще один мифологизирующий мотив, проступающий здесь, может быть, не так явно — мотив живой / оживающей статуи, который очень занимал В. Н. Топорова. В его архиве есть рукопись незаконченной статьи «О границах и мере “человеческого” и о встрече человека со знаком самого себя (образ статуи у Анненского)» (1994). Статья, посвященная анализу трагедии Анненского «Лаодамия», едва ли не в большей степени касается философских вопросов, связанных с сутью скульптуры и ее отношений с пространством и местом (одна из наиболее важных для В. Н. Топорова тем), и открывается цитатой из «Der Kunst und der Raum» Гейдеггера. Эта же тема в связи с Гейдеггером затронута в статье В. Н. о фальконетовском памятнике Петру I¹², в набросках к теме венецианского стекла и его противопоставления скульптуре — в их отношениях к пространству и с пространством¹³ — и просматривается в «3-й Афродите» и сопутствующих записях в подробном описании выпуклостей, вогнутостей, «выскобленности», зазоров, игры масс, переливания объемов и т. д.

Темы скульптуры я не касаюсь, но к Анненскому обращаюсь (и здесь уже перехожу на уровень интертекста) в связи с одним его стихотворением. Это, конечно, «Расе. Статуя мира» из Трилистника «В парке» (а набросок В. Н. можно на-

¹¹ Вольтинский А. Л. Жизнь Леонардо да Винчи. СПб., 1900. Гл. 11. Новые материалы. 3 / http://www.leonardodavinci.ru/5/tezaurus/41/statia_1258.html

¹² Топоров В. Н. О динамическом пространстве «трехмерных» произведений изобразительного искусства (семиотический взгляд). Фальконетовский памятник Петру I // Лотмановский сборник 1. М., 1994.

¹³ Цивьян Т. В. Хрупкость стекла. // Габриэлиада: К 65-летию Г. Г. Суперфина (2008). <http://www.ruthenia.ru/document/545574.html>.

звать Трилистником «В Эрмитаже»), цитата из которого была выбрана для названия моей статьи:

Не знаю почему — богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...

Здесь не только число 3 и прямая цитата «Я не знаю...» (ср. еще отчасти — внимание к волосам / прическе, «ноги сжатые», заброшенность), но тот же «протестный выбор»: вместо броского и роскошного, привлекающего всех — «несовершенное», «обиженное» («Люблю обиду в ней...»), почти отвергнутое¹⁴.

Надо напомнить, что такого рода мысленный диалог со статуей, при этом полемический по отношению к другим зрителям, имеет более ранний литературный образец. Это рассказ Глеба Успенского «Выпрямила», из «Записок Тяпушкина» (1885), о том как бедный учитель из провинциальной глуши чудом оказался в Лувре и испытал катартическое счастье перед статуей Венеры Милосской. Полемизируя с Фетом, увидевшим в Венере только чувственную красоту (стихотворение «Венера Милосская» — «пафосская страсть» «божественного тела»), Тяпушкин так определяет цель создателя статуи: «Ему нужно было и людям своего времени, и всем векам, и всем народам вековечно и нерушимо запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить человека — мужчину, женщину, ребенка, старика — с ощущением счастья быть человеком, показать всем нам и обрадовать нас видимой для всех нас возможностью быть прекрасными — вот какая огромная цель владела его душой и руководила рукой».

Тема интертекста не может не привести к *Петербуржскому тексту* (ПТ) — концепту, феномену, конструкту, созданному В. Н. Топоровым (собственно говоря, ПТ уже возник в связи с Анненским). Мне уже случалось цитировать статью С. Г. Бочарова, предваряющую «петербургскую» книгу В. Н. Топорова, составленную по его плану и по его архиву: «Владимир Николаевич открыл в нашей культуре такое сверхъявление, как ее *петербургский текст*. Но можно с уверенностью сказать, что он *создал* для нас его, эту мысленную реальность, что он сотворил и выстроил собственный петербургский текст в большом цикле работ, запечатлевших то, что он сам назвал в одной из этих работ своим полувековым петербургским “романом” — и исследовательским, и душевным»¹⁵. Идя дальше, можно сказать, что В. Н. был и автором, и персонажем ПТ и свои тексты (особенно предварительные наброски и конспекты) вольно или невольно ориентировал на петербургский сюжет, им же самим сконструированный. И, пожалуй, основным образчиком был для него Досто-

¹⁴ Но еще при Комаровском был исправлен «ужасный нос» царскосельской Расе и исчезли ее раны (что поэт и засвидетельствовал: «Отремонтирован ее “ужасный” нос / Ремесленным резцом, и выбелены раны, / Что накопили ей холодные туманы...»), а сейчас, на новом месте, на кургине перед Екатерининским дворцом, она выглядит великолепной и, действительно, гордой своей красотой.

¹⁵ Бочаров С. Г. Петербургский текст Владимира Топорова // Топоров В. Н. Петербургский текст. М., 2009. С. 5.

евский (у В. Н. есть термин «достоевски-образные тексты»), с темой обиды, жалости / жалкости (точнее, жалкости, вызывающей пронзающую жалость). Присоединяясь и к Анненскому, и к В. Н. с их «не знаю почему», «я не знаю», означающими, среди прочего, невозможность объяснить возникающие чувства, мысли и ассоциации, и я *не знаю*, почему описание жалкости фигуры (хочется сказать «фигурки») 3-й Афродиты и особенно ее кажущейся В. Н. нелепой прически («две жалкие косички волос, спадающ(ие) на плечи, образуют контраст с пышно-претенциозн(ым), но едва ли умелым высок(им) сооруж(ением) из волос на темени»; «Прическа чуть экстраваг(антна), как у неофитки моды, к(отор)ой до нее по сути дела нет особ(енного) дела»; «Мужч(ина) д(олжен) испытывать определ(енную) неловкость при взгляде на эту бедную наготу и от невозм(ожности) ответить на этот робкий, если не призыв, то покорность подчиниться дальнейшему») вызывает у меня в памяти сцену первого появления Сони в «Преступлении и наказании» (ч. II, гл. 7):

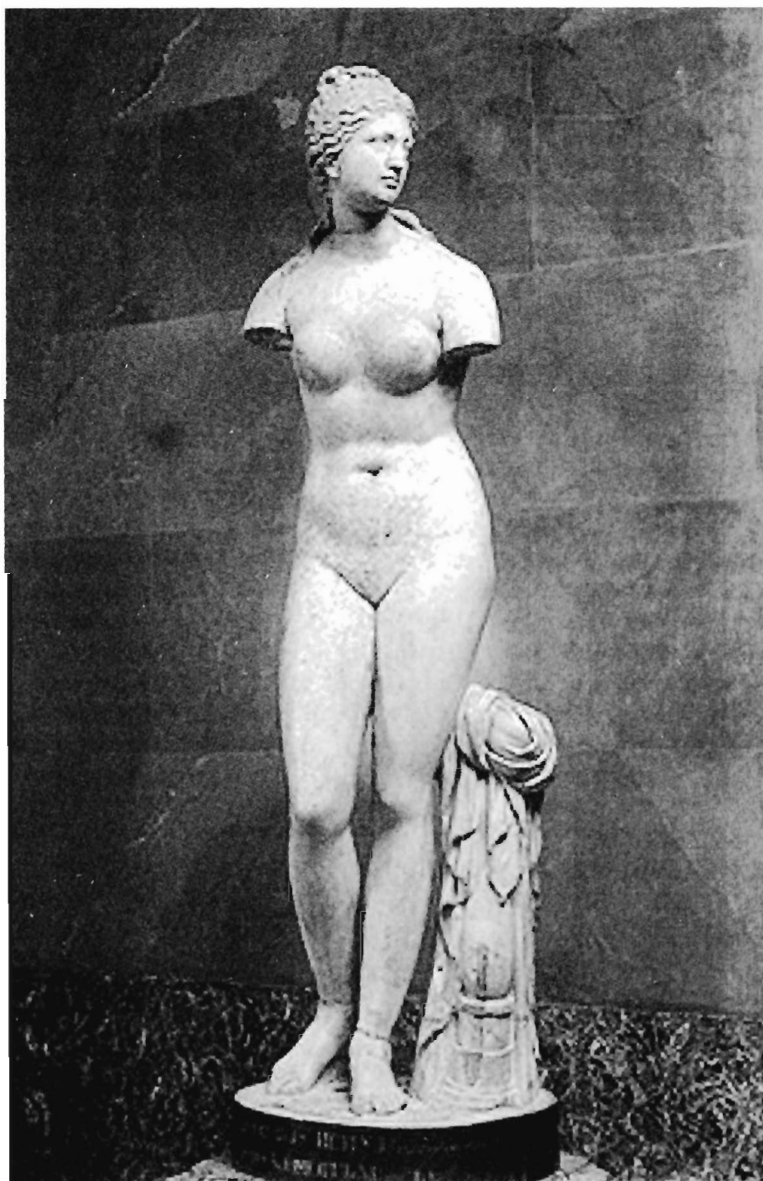
Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный по уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надежной мальчишески набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами.

* * *

Разные слои анализа здесь только намечены, и конечно, ценность имеет сам текст — но не только в сугубо научном плане. Он воскрешает уединенные поездки В. Н. в Петербург, его совершенно особое общение с городом («один на один»), а в нем — фрагмент общения с произведениями искусства¹⁶, в котором явственно проступает и та «романтическая составляющая», которая заставляет вспомнить о любимых им Тике, Вакенродере и Новалисе и увидеть в его художественных впечатлениях, среди всего прочего, «*Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders*»¹⁷.

¹⁶ Это далеко не единственные записи В. Н., посвященные музейным впечатлениям, прежде всего эрмитажным.

¹⁷ Моя глубокая благодарность за искусствоведческие консультации и помощь Л. И. Акимовой (ГМИИ им. Пушкина) и М. М. Макареву за помощь в подборе иллюстраций.



Афродита (Венера Таврическая)



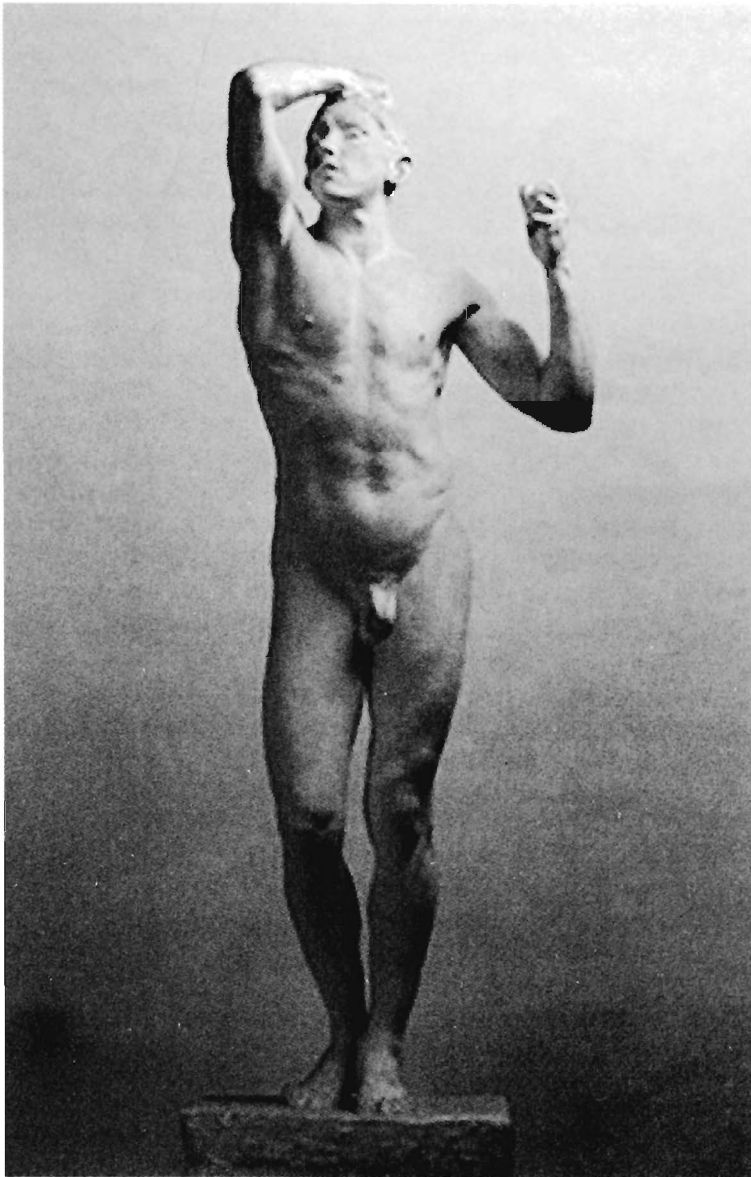
Афродита (Венера Гатчинская)



Третья Афродита



Персефона



Огюст Роден. Бронзовый век



Параскева и Анастасия. Новгородская школа XV в.



Ф. Сурбаран. Отрочество Богоматери. XVII в.



Статуя Раса «Мир» в парке Екатерининского дворца в Царском селе

И. А. Протопопова

МЕТАФОРА «ВОСКОВОГО ОТПЕЧАТКА» В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Ортега-и-Гассет в статье под названием «Две великие метафоры»¹, посвященной двухсотлетию со дня рождения Канта, широкими мазками набрасывает историю европейской философии как историю разворачивания двух «главных метафор»: по его мнению, это метафора *восковой дощечки с отпечатками* и метафора *сосуда с его содержимым*. В качестве основных метафор *сознания* первая, по словам Ортеги, свойственна т. н. «реализму», вторая — «идеализму».

Ортега считает, что вся античная мыслительная традиция проходит под знаком «реализма», и ориентиром здесь служит именно метафора печати с оттиснутым на воске следом: «столкнувшись с разумом, предмет оставляет на нем отпечаток. Сознание — это впечатление»². При этом, говорит Ортега, субъект и объект ведут себя так же, как два любых физических тела — материальное и нематериальное здесь уравниваются: «мы относимся к ним абсолютно одинаково, иначе говоря, воспринимаем сравнение с воском и печатью буквально»³. Отсюда, по мнению Ортеги, — все античное понимание мира: “Быть” — для античности значит находиться среди других предметов. Личность всего лишь один из таких предметов, погруженных, по словам Данте, в “великое море бытия”. Сознание — крошечное зеркало, где отражается только внешность вещей»⁴.

Философия Нового времени, говорит Ортега, видит отношения субъекта и объекта совсем иначе и берет на вооружение метафору сосуда и содержимого, означающую, что «вещи не входят в сознание извне, они содержатся в нем как идеи»⁵. Таким образом, делает вывод Ортега, если для античности в «сознании» важнее всего восприятие, то для Нового времени — воображение; коренным образом меняется и роль личности, становящейся теперь главной ценностью⁶.

¹ Н. Д. Арутюнова переводит *Las dos grandes metaforas* как «Две великие метафоры» (см. ее перевод этой статьи в кн.: Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 68—81), Б. В. Дубин — «Две главные метафоры» (см. его перевод статьи в кн.: *Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры*. М.: Искусство, 1991. С. 203—218).

² Там же. С. 215.

³ Там же. С. 216.

⁴ Там же.

⁵ Там же. С. 217.

⁶ Там же. С. 217, 218.

Подобные обобщенные противопоставления кажутся нам весьма рискованными — в античности, к примеру, действительно популярная метафора восковой таблички использовалась и трактовалась совсем не однозначно. Попробуем показать, как в различных интерпретациях этой метафоры отражалась разница философских доктрин.

«Восковая» метафора фигурирует в греческой философии в двух основных вариантах: это образ восковой дощечки для письма, на которой возникают изображения букв, и образ оттиска, оставляемого печаткой-перстнем на воске. Для обозначения «отпечатка» в греческом языке чаще всего использовалось слово *τύπος* (τύπος). Его значения могут быть следующими: удар; знак, след, отпечаток (перстня), оттиск, резное изображение; форма, образец, тип; очерк, очертание, общий вид. Обратим внимание, что *τύπος* может означать как отпечаток, так и образец, чекан, оставляющий след на поверхности⁷. Глагол τυπόω значит «придавать форму», «образовывать». А глагол τύπτω, от которого упомянутые слова происходят, значит просто «бить, ударять», то есть языковая подоплека образа отпечатка усиливает смысл физической «вмятины», подразумевающей материальное соприкосновение предметов.

Именно это «прямое» значение *τύποσα* как вмятины использует Демокрит в своей концепции зрения. По Демокриту, человек воспринимает глазами не сам предмет, а исходящий от него поток мельчайших материальных частиц (атомов), формирующих различные отпечатки в воздухе. Отражение, говорит Демокрит, не прямо возникает в зрачке, но «воздух между глазом и видимым [предметом] отпечатывается (τυποῦσθαι), сдавливаясь видимым и выдающим» [Democr. Test. fr. 135 9—10]. Демокрит сравнивает образование отпечатков в воздухе с образованием отпечатков на воске (τῆν ἐντύπωσιν οἶον εἰ ἐκμάξειας εἰς κηρόν [Democr. Test. fr. 135 20]).

Последователь Аристотеля Феофраст, приводя эти воззрения Демокрита, критикует его, говоря, что отпечатки в воздухе — нелепость (ἄτοπος). Если уж мы проводим аналогию с воском, следует, чтобы среда, «запечатываемое» (τὸ τυπούμενον), имела плотность и не рассеивалась, — в этом смысле вода, которая плотнее воздуха, была бы более пригодной для отпечатков, говорит Феофраст; однако в воде мы видим хуже [Democr. Test. fr. 135 20—22]. Ни воздух, ни вода не годятся на роль «подкладки» образов.

Позднее «восковую метафору» в духе Демокрита используют стоики, но не в теории зрения, а в своей теории восприятия. Душа, в соответствии с доктриной стоиков, материальна, причем они называют ее «чувствительным испарением» (αἰσθητικὴν ἀναθυμίασιν); руководящая же часть души (τὸ ἡγούμενον) — пневма (πνεῦμα; «дыхание», «дуновение»), тончайшая огненно-воздушная субстанция, способная принимать отпечатки (τὰς τυπώσεις) вещей (Zen. Test. et fr. 141): таким образом, здесь, как и говорит Ортега, взаимодействуют тела.

⁷ Заметим, что эквивалент русского «печатать» — греческое σφραγίς: печать как «печатка», «чекан» и одновременно «печатать» как оттиск; в русском языке «печатать» тоже может подразумевать и оттиск, и матрицу.

Подобно тому как Феофраст критикует теорию зрения Демокрита, Плутарх критикует учение стоиков о впечатлениях души: «Представление (у стоиков. — *И. П.*) (ἡ ἔννοιά) есть некое впечатление (φαντασία), впечатление же — отпечаток в душе (τύπωσις ἐν ψυχῇ). Природа души — испарение, которое крайне трудно “запечатать” (τυπωθῆναι) из-за его разреженности, воспринятый же отпечаток сохранить невозможно. Однако они настолько невнимательны к своим же словам, что определяют представления как некие хранящиеся мысли, а воспоминания как стойкие и удерживающие(ся) отпечатки, знания же как совершенно затвердевающие, обладающие незаблемостью и прочностью — и затем полагают основой и обителью таких вещей сущность неустойчивую, рассеивающуюся, всегда носимую и текучую» [Plut. De commun. 1084f3—1085b5].

В смысле «натуралистичности» понимания этой метафоры дальше всех из стоиков (по известным нам источникам) заходит, похоже, Клеанф. Как передает Секст Эмпирик, Клеанф утверждал, что впечатление в душе — это отпечаток в смысле *выемки* (εἰσοχή) и *выпуклости* (ἐξοχήν), как в отпечатках перстней на воске (ὡσπερ καὶ <τὴν> διὰ τῶν δακτυλίων γινομένην τοῦ κηροῦ τύπωσιν; Sext. Adv. math. VII 228 2 — 229 1). Но ведь если главенствующая часть души, пневма, есть нечто наитончайшее, — замечает Секст, — «то невозможно помыслить в ней какой-либо отпечаток ни как выпуклость и углубление, как мы видим на печатях, ни как диковинную изменчивость» (κατὰ τὴν τερατολογουμένην ἑτεροιωτική; Sext. Ryp. hypot. II 70 5—10).

Иными словами, образ и субстанция, в которой он «оттиснут», должны соответствовать своему предназначению: если субстанция неустойчива, образ не может быть зафиксирован; если же признать, что этот образ, т. е. запечатлеваемое в душе «представление» (ἡ ἔννοιά) — нечто неуловимое и постоянно меняющееся, то вместо «логики», к сфере которой у стоиков относятся рассуждения о впечатлениях, мы попадаем в царство тератологии.

Но как же решить вопрос «впечатлений»? Что, как и чем мы воспринимаем? Популярность «восковой» метафоры показывает, насколько трудно отойти от «подкладывания» под воспринимаемое некой субстанции, поверхности, чего-то пространственного, — ведь если мы не примыслим такую «поверхность» (как бы она ни звалась), то образы окажутся как бы «нигде», хотя наглядно они присутствуют.

Совершенно иначе по сравнению со стоиками подходит к «восковой» метафоре Аристотель, — и не удивительно, ведь у него иные представления о душе.

Сначала отметим упоминание метафоры в трактате «О памяти и припоминании» — здесь ее трактовка не слишком специфична. Отвечая на вопрос, как можно помнить отсутствующее, Аристотель говорит, что в душе возникает как бы некое изображение (οἶον ζωγράφημα τι), оно отпечатывается словно отпечаток какого-либо ощущения (ἐνσημαίνεται οἶον τύπον τινὰ τοῦ αἰσθήματος), как нечто, запечатываемое перстнями (καθάπερ οἱ σφραγιζόμενοι τοῖς δακτυλίοις; De mem. 450a25-b7). Однако, — подчеркнем, — это не материальный отпечаток, как у стоиков, а «как бы (οἶον) отпечаток». Для Аристотеля память — это не суб-

станция, а способность. Продолжая метафору с воском, Аристотель говорит, что отпечатки не возникают ни в чем-то слишком подвижном, ни в слишком твердом; поэтому младенцы и старики беспамятны — у первых представления не остаются в душе из-за ее подвижности (как в воде), у вторых не схватываются из-за того, что душа «отвердела».

Другие употребления этой метафоры лучше иллюстрируют оригинальные воззрения Стагирита. Любое ощущение, по Аристотелю, «способно воспринимать формы ощущаемого без его материи, подобно тому как воск принимает отпечаток перстня без железа или золота» ([De anim. 424a19]; зд. и далее пер. П. С. Попова), — пишет он в трактате «О душе». Как воск отпечатывает не железо или золото, а то, что вырезано на перстне, то есть чекан, образец, так и душа — будучи, по Аристотелю, нематериальной, она воспринимает не телесные отпечатки, а формы — *логосы* — вещей. Ощущение, подчеркивает Аристотель, не является пространственной величиной [De anim. 424a25].

Рассуждая об отношениях души и тела, Аристотель тоже пользуется этой метафорой, но с другим акцентом: «не следует спрашивать, есть ли душа и тело нечто единое, как не следует спрашивать это ни относительно воска и отпечатка на нем (τὸν κηρὸν καὶ τὸ σχῆμα), ни вообще относительно любой материи и того, материя чего она есть (οὐδ' ὁλως τὴν ἐκάστου ὕλην καὶ τὸ οὐ ἢ ὕλη [De anim. 412b4-8]).

Здесь образ воска/отпечатка служит аналогией паре тело/душа и одновременно паре материя/форма. По Аристотелю, есть две сущности: материя (ὕλη) и форма или образ (μορφήν καὶ εἶδος [De anim. 412a7-8]). Душа — это «сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью» [De anim. 412a19-20]; она существует лишь в неразрывной связи с телом; правда, тело может быть неодушевленным, — но вне формы оно не существует. Говоря, что душа есть сущность как форма, а это — суть бытия определенного тела, Аристотель приводит в пример топор: «сущностью его было бы бытие топором, и оно было бы его душой. И если ее отделить, то топор уже перестал бы быть топором и был бы таковым лишь по имени» [De anim. 412b12-15]. Затем он говорит о глазе: «Если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение. Ведь зрение и есть сущность глаза как его форма (глаз же есть материя зрения); с утратой зрения глаз уже не глаз, разве только по имени, так же как глаз из камня или нарисованный глаз» [De anim. 412b18-22].

Для иллюстрации таких представлений, казалось бы, очень подходит «восковая метафора». Отпечаток не может существовать без воска как душа без тела и форма без материи; материя без формы тоже невозможна — все это и подчеркивает Аристотель употреблением метафоры в этом месте трактата. Однако аналогия здесь не полная — воск ведь вполне может существовать без отпечатков, — пусть он перестанет быть «печатью», он останется воском; если следовать логике метафоры, материя может существовать «сама по себе», что противоречит теории.

Однако именно это представление о чистом воске Аристотель использует, говоря об уме «в возможности» (δυνάμει): это как на дощечке для письма, на кото-

рой ничего еще не написано (οὕτως ὥσπερ ἐν γραμματεῖᾳ ᾧ μὴθὲν ἐνυπάρχει ἐντελεχεῖα γεγραμμένον [De anim. 429b31-430a2])⁸. Здесь возникает «ненужная» коннотация ума и пространства — ум у Аристотеля, как и душа, бестелесен.

Итак, у Аристотеля «восковая метафора» встречается в рассуждениях о памяти, об ощущениях, о материи и форме, об уме: он гораздо тоньше и разнообразнее использует возможности образа, нежели стоики.

Платон, разумеется, не менее, чем Аристотель, изощрен в употреблении метафор. Метафора «восковой дощечки», правда, встречается у него только один раз — но в развернутом виде, в диалоге «Тезет», где собеседники выясняют, что такое знание, и касаются вопроса о памяти: «вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка (κτῆρινον ἐκμαγεῖον); у кого-то она побольше, у кого-то поменьше, у одного из более чистого воска, у другого — из более грязного или у некоторых он более жесткий, а у других помягче, но есть у кого и в меру. Скажем теперь, что это дар матери Муз Мнемосины, и, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем отгиск того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней. И то, что застывает в этом воске, мы помним и знаем, пока сохраняется изображение этого, когда же оно стирается или нет уже места для новых отпечатков, тогда мы забываем и больше уже не знаем...» ([Thaet. 191c8-e]; пер. Т. В. Васильевой).

Несколько далее Сократ ссылается на Гомера, который говорит о «сердце души», в котором возникают впечатления; Сократ подчеркивает, что у Гомера этот орган называется «κέαρ», — словесным сходством, по мнению Сократа, Гомер хочет намекнуть на сходство с воском (ἀνιπτόμενος τὴν τοῦ κηροῦ ὁμοιότητα 194c7-8). Дальше, развивая тему способностей, Сократ говорит, что в зависимости от свойств воска (глубокий, гладкий, жесткий, мягкий, шершавый и т. д.) и отпечатки получаются разные. Однако, как это постоянно происходит у Платона, в дальнейшем собеседники отвергают собственные выводы: выясняется, что идея знания как сличения отпечатка с ощущением не выдерживает критики. Сократ издевается над образом восковых отпечатков, говоря, что было сооружено «неведомо какое восковое изваяние» (197 d 4-5), называет этот образ смехотворным (200b7-c1). Впоследствии Плотин прямо утверждает, что память и восприятие — это не буквы на табличках или дощечках [Enn. IV 6 3 74—78]; ведь если принять концепцию отпечатков, то либо в конце концов все будет заполнено и для новых отпечатков не останется места, либо, если старые будут уступать место новым, это уже нельзя назвать памятью [Enn. IV 7 6 37—43].

Действительно, теории отпечатков базируются на представлении о душе и уме как чем-то телесном или «пространственным», как некоем «вместилище». Платон говорит о «пространстве» и «отпечатках» в «Тимее», когда рассуждает о трех ро-

⁸ Образ *tabula rasa*, «чистой доски», не теряет свою популярность и в последующие эпохи; ср. трактовки *tabula rasa* у Альберта Великого (*De intellectu et intelligibili* I 1 1), у Фрэнсиса Бэкона в *Великом Восстановлении Наук*, у Локка (*Опыт о человеческом разуме* II, 1,2).

дах сущего: один род — это «отец», *чекан, образец, исходная форма*, второй — «сын», *отпечаток этой формы*, а третий род, «мать» — *субстанция, принимающая этот отпечаток*, она кормилица и восприемница всего, она не имеет собственной формы и вида и существует только в чем-то ином, но не сама по себе, она странная и неуловимая и мы видим ее словно во сне (Tim.52 a-d). Платон называет ее *хорой* (χώρα) — в контексте темы отпечатков она как бы занимает место воска. Воск ведь всегда наталкивает на «телесные» коннотации, как это было видно по вышеприведенным примерам, — и Платон вводит новое обозначение, своего рода метафорическую абстракцию. Платон говорит, что отпечатки возникают в *хоре* «удивительным и неизъяснимым» способом — это подчеркивает ее «нематериальность», хотя по своему свойству быть «восприемницей» она близка к тому, что Аристотель называет материей (ύλη). Материя сама по себе не существует, явлена только посредством образа, отпечатка, которому она «предоставляет» себя как некое квазиместо — в такой оригинальный образ трансформируется у Платона «восковая метафора».

Тут стоит обратить внимание на то, как употребляется слово τύπος у Платона. Он, конечно, использует его и в значении отпечатка, но достаточно редко, например, в «Тезетете» он чаще употребляет слово «знак», σημεῖον. А вот в «Государстве» он практически везде употребляет τύπος в значении *чекана, образца* (Resp. 383a2-5, 383c6-7, 387c10, 398b3, 398d5, 402d3, 403e1, 412b2-3, 443b7-c2). Здесь *тюпосами* оказываются те общие принципы, которые он описывает, рассказывая, каким должно быть, например, воспитание, словесное искусство или само государство. Эти *тюпосы-образцы* у него практически всегда оказываются метафорами — *мифами*, которые он сам придумывает, поскольку, как он постоянно подчеркивает, о первопринципах очень трудно говорить прямо, — только *образ* поможет приблизить нас к пониманию *тюпоса* как *образца*. Если развить эту метафору, то можно сказать, что образ как миф — это отпечаток, «сын», письмо; невидимый *отец* — автор как первопринцип, а *хорой* оказывается тот, кто этот миф-образ воспринимает, т. е. слушатель или читатель. Именно в «Тимее» встречается упоминание о рассказе, который отпечатался в памяти как выжженная огнем по воску картина [Tim. 26C3].

Воск, превратившийся в хору, — такая трансформация «восковой» метафоры приводит к нетривиальному углублению античных представлений о душе, которая приобретает акцентуацию *хоры*.

ОТКЛИКИ В РУССКОМ ПАРИЖЕ НА «ЗИМНЮЮ ВОЙНУ»

Заключение советско-германского пакта в августе 1939 года и последовавшие за этим события привели к глубоким переменам в политических настроениях русской эмигрантской общественности. Газета *Возрождение* — ведущий орган правого лагеря в Париже, — в течение ряда лет делавшая ставку на гитлеровскую Германию как на единственную силу, способную устранить сталинскую диктатуру и положить конец мировому коммунизму, обвинила Гитлера в авантюризме¹ и перенесла все свои симпатии на фашистскую Италию. Находящиеся на противоположном *Возрождению* полюсе политической мысли представители демократического лагеря отреагировали на пакт различным образом. *Новая Россия* А. Ф. Керенского, возмущаясь аморализмом советского правительства², усматривала в братании Сталина с Гитлером проявление коренного родства двух тоталитарных режимов. Напомнив, что обвинения в преступных контактах с немецкими фашистами фигурировали на «больших процессах» 1936—1939 гг., и процитировав, в этой связи, статью газеты *Правда* от 22 февраля 1938 г., В. М. Зензинов писал: «Если сравнить по существу содержание тех обвинений, которые были предъявлены расстрелянным по процессам Зиновьева-Каменева и Пятакова-Радека, с тем, что было совершено Сталиным в августе-октябре 1939 года, то окажется, что Сталин в своих действиях пошел неизмеримо дальше тех намерений, которые он приписывал своим врагам»³. Газета же П. Н. Милукова *Последние Новости*, на протяжении 1930-х годов неизменно — из опасений перед ростом гитлеризма — поддерживавшая все те сталинские меры, которые вели к укреплению государственной мощи СССР и к его сближению с правительствами демократических стран Запада, проявляла некоторую двойственность. Ярким примером этому могло служить отношение к польской трагедии. При том, что вступление советских войск в Польшу было квалифицировано как «преступное безумие»⁴, газета не скрывала своего ликования по поводу перехода «кресов» к советской Украине и Белоруссии⁵.

¹ Любимов Л. Перечитывая «Мейн Кампф» // *Возрождение*. 1939, 6 октября. С. 4.

² Алданов М. О московском договоре // *Новая Россия*. 1939, 1 октября. № 71. С. 4—5.

³ Зензинов В. За что же их расстреливали? // *Новая Россия*. 1939, 1 ноября. № 72. С. 5.

⁴ См. передовую статью в «Последних Новостях», 1939, 19 сентября. С. 2.

⁵ См.: Вакар Н. Белоруссия // *Последние Новости*. 1939, 27 сентября. С. 3. В своем дневнике в те дни Н. П. Вакар сообщал: «(...) замечательно то, что и в “белогвардейских” кругах, например, у галиполийцев, Сталин сейчас — первый человек, герой! На каком-то полковом обеде какой-то капитан даже пить предлагал “за здоровье Сталина”. А сам

Поглощение восточных польских областей, как и шаги, предпринятые Советским правительством в конце сентября — начале октября в отношении балтийских государств, П. Н. Милюков расценивал как меры, безусловно оправданные и исторически, и политически: сталинская политика, по его словам, — просто возвращение того, что несправедливо было отобрано у России Брест-Литовским договором. В связи с советскими ультиматумами, предъявленными балтийским странам, Милюков, принимая в те дни желаемое за действительное, предрекал: «Хотел Сталин или не хотел, но *он уже поставил себя в ряды противников Гитлера*. И в дальнейшем, под угрозой потерять все, что приобрел, и оказаться перед ужасами германского разгрома, он должен будет все определеннее направлять свою политику в сторону, противоположную заключенному им союзу»⁶. С платформой милюковской газеты частично перекликались высказывания младороссов в их газете *Бодрость*. Веря в то, что перерождение большевизма неминуемо и что оно приведет к восстановлению в России монархии, младороссы, называвшие себя «второй советской партией» и провозглашавшие антигерманскую, антигитлеровскую линию, осудили пакт Молотова-Риббентропа, но приветствовали возвращение России утраченных ею после Первой мировой войны территорий. Еще летом 1939 г. — до пакта — *Бодрость* поместила ряд статей о балтийских странах, где доказывала необходимость для русского государства укрепить свои позиции в этом регионе.

Между тем ни польская катастрофа, ни переход балтийских стран под контроль СССР не вызвали такой тревоги и такого возмущения в эмиграции, как нажим, которому Советский Союз подверг Финляндию. Отозвавшись на сообщения о прекращении переговоров между Молотовым и финской делегацией, *Последние Новости*, за две недели до военного вторжения, уверяли, что СССР не посмеет бросить вызов всему цивилизованному миру и что вместо военного похода он прибегнет просто к использованию «революционных», коминтерновских рычагов:

Распространенное мнение заключается в том, что советская власть в действительности не собирается предпринимать *военного* наступления на Финляндию, а думает «взорвать» эту последнюю и ее друзей — не только Швецию, но и Данию — при помощи «взнуздывания» знаменитого «льва революции». Пропаганда этого рода уже началась⁷.

С середины ноября в газете печаталась серия статей Милюкова «Правая и левая рука СССР», ставивших своей целью доказать наличие двух сторон в текущей советской действительности, — одна из которых («правая рука») противостояла планам гитлеризма и тем самым служила коренным интересам и западных держав, а другая («левая рука») выражала агрессивную природу коммунистического

не только пил, но совсем напился...» (*Вакар Н. П.* Дневник (1938—1940) / Подгот. текста, вступит. ст. и коммент. О. Р. Демидовой // *Минувшее. Исторический альманах*. 24. СПб.: Atheneum-Феникс, 1998. С. 590).

⁶ Милюков П. Политика СССР // *Последние Новости*. 1939, 25 октября. С. 3.

⁷ Вопрос о Финляндии // *Последние Новости*. 1939, 16 ноября. С. 2.

режима. По этим статьям видно, каким ударом явилось для автора известие о вступлении советских войск в Финляндию 30 ноября, с параллельной «революционной» интригой — провозглашением «народного правительства» в Териоки⁸. Миллюков писал:

Прежде чем попала в печать эта очередная статья, совершилось событие, которого самые злейшие враги СССР *не хотели* предвидеть. Не хотел и я, как видно из моих заявлений в предыдущих статьях. СССР, не объявляя войны, произвел вооруженное нападение на мирную страну по самым точным образцам гитлеровских захватов. Мы не верили в эту возможность, ибо с трудом допускали предположение, что советская власть перейдет добровольно ту роковую границу, за которой меняется смысл всего, что было сделано до сих пор ее «правой рукой» и создает во всем мире то же самое настроение против себя, которое вызвано было против Гитлера зверскими расправами с Австрией, с Чехословакией, с Польшей⁹.

«Левая рука», по Миллюкову, принялась ныне действовать самостоятельно, независимо от «правой». Оппоненты Миллюкова с облегчением увидели в его признаниях, прозвучавших по поводу финляндских событий, возможность преодоления раскола в демократическом лагере эмиграции между «пораженцами» (к которым в первую очередь принадлежали эсеры во главе с А. Ф. Керенским), понимавшими, что положить конец сталинской преступной политике может только военная сила, и «оборонцами» в окружении П. Н. Миллюкова, находившими разумные мотивы и стороны в советской внешней политике и в своей трактовке ее апеллировавшими к русскому патриотизму и державным идеалам. Язвительно упомянув прежние усилия Миллюкова различать «в уголовной деятельности Сталина благодетельные результаты действий “правой руки” и зловердные результаты действий “левой”», С. М. Соловейчик писал:

Нападение Сталина на Финляндию вызвало единодушный и резкий протест *всей* демократической русской эмиграции (...) И хотя политика СССР по отношению к Финляндии является непосредственным развитием его политики по отношению к Польше, Эстонии, Латвии и Литве, однако на этот раз защитников «чисторусской политики» Молотова среди русской демократической эмиграции не нашлось (...) Можно с удовлетворением констатировать, что вторжение Сталина в Финляндию восстановило прорванный было ультра-«национальными» увлечениями демократический антисталинский фронт русской эмиграции»¹⁰.

⁸ См. о правительстве О. Куусинена: *Мельтюхов М.* Правители без подданных. Как пытались экспортировать революцию // *Родина*. 1995. № 12. С. 60—63; *Барышников Н. И.* Рождение и крах Териоцкого правительства. 1939—1940 г. СПб.; Хельсинки: Johan Beckman Institute, 2003.

⁹ *Миллюков П.* Правая и левая рука СССР. III. Борьба или сотрудничество // *Последние Новости*. 1939, 7 декабря. С. 3. 10.

¹⁰ *Соловейчик С.* Не Великая Россия, а Большой СССР // *Новая Россия*. 1939, 20 декабря. № 74—75. С. 9—10.

В ситуации, когда всю Финляндию могла ожидать судьба восточных областей только что разгромленной Польши, не одни лишь демократические круги в русском Париже встали на защиту жертвы советской агрессии. Подчеркивая, что именно поддержке Российской империи Финляндия была обязана освобождением от господства шведской государственности, подъемом национального самосознания, обретением национальной независимостью, обозреватель *Возрождения* С. С. Ольденбург разъяснял: «Географические соображения не должны служить поводом для отказа в признании финской независимости. Вражды между Россией и Финляндией нет, а для будущей России несравненно существеннее искренняя дружба Финляндии, чем то или иное “стратегическое” начертание границ. (...) В борьбе с большевиками, которая сейчас началась, Финляндия и Россия должны быть заодно»¹¹. С Ольденбургом резко разошлись в интерпретации прошлого авторы *Бодрости*, согласно которым независимость Финляндии — дело рук германских войск в 1918 г. И все же, признавая интересы Сталина законными, и младороссы назвали методы их проведения в жизнь преступными, и считали, что СССР напрасно пошел на войну с Финляндией, поддавшись провокации Гитлера и обрекая себя на мировую изоляцию.

Сколь сильно ни отличались исходные позиции эмигрантских публицистов, все они, как мы видим, подвергли резкому публичному осуждению советскую агрессию в Финляндии. С этой единодушной позицией эмигрантской прессы оказалось в переключке открытое письмо, опубликованное в *Последних Новостях* в канун Нового, 1940 года:

Протест против вторжения в Финляндию

В эти дни, когда правительство СССР несет смерть, разрушение, ложь в пределы мирной Финляндии, мы, нижеподписавшиеся, считаем себя обязанными заявить самый решительный протест против этого безумного преступления. Позор, которым снова покрывает себя сталинское правительство, напрасно переносится на поработанный им русский народ, не несущий ответственности за его действия. Преступлениям, совершаемым ныне в Финляндии, предшествовали бесчисленные, такие же и еще худшие, преступления, совершенные теми же людьми в самой России.

Мы утверждаем, что ни малейшей враждебности к финскому народу и к его правительству, ныне героически защищающим свою землю, у русских людей никогда не было и быть не может. Между Россией и Финляндией не существует таких вопросов, которые не могли бы быть разрешены полюбовно, по мирному соглашению. Вместо этого, сталинское правительство, не имеющее никакого права говорить от имени русского народа, проливает, с благословения Гитлера, русскую и финскую кровь. Ради темных замыслов, ради выгод либо мнимых, либо ничтожных, оно готовит России катастрофу; за его преступления, быть может, придется расплачиваться русскому народу.

Мы утверждаем, что Россия, освободившаяся от коммунистической диктатуры, легко договорится с Финляндией, не нарушив своих интересов и проявив пол-

¹¹ *Ольденбург С. С. Финляндия и Россия // Возрождение. 1940, 8 декабря. С. 5.*

ное уважение к правам и интересам этой страны, которой мы выражаем глубокое сочувствие.

З. Гиппиус, Н. Тэффи, Н. Бердяев, Ив. Бунин, Б. Зайцев, М. Алданов, Дм. Мережковский, А. Ремизов, С. Рахманинов, В. Сирин¹².

Коллективные письма на политические темы были крайне редки в зарубежной русской прессе в тридцатые годы. Необычным это выступление было и потому, что текст подписали лица, принадлежавшие к разным группам эмигрантской общественности. Борис Зайцев и Д. Мережковский были сотрудниками *Возрождения* и на страницах *Последних Новостей* почти не появлялись. Присутствие имен Н. А. Бердяева и С. В. Рахманинова выводило за пределы чисто литературного круга. Н. А. Бердяев вообще к эмиграции себя не причислял¹³. Алексей Ремизов имел устойчивую репутацию человека, избегавшего политических заявлений. Не раз, как известно, декларировал аполитичный характер литературного творчества и его антипод Владимир Сирин¹⁴ — это был едва ли не единственный случай, когда он позволил себе участвовать в таком групповом манифесте на политическую тему. Выглядело его участие тем необычайнее, что он был единственным представителем своего поколения среди остальных лиц гораздо более старших и по возрасту, и по литературно-общественному влиянию.

«Протест» не прошел незамеченным. Спустя неделю его перепечатала газета *Наше Дело*, которую Г. А. Алексинский стал выпускать осенью 1939 г., вскоре после начала Второй мировой войны, и которая в первую очередь адресовалась мобилизованным во французскую армию русским. Здесь коллективной заметке было отведено даже больше внимания, чем в *Последних Новостях*: она была помещена на первой полосе вместе с французским переводом и снабжена преамбулой редактора, выделившей нюансы, наиболее существенные, в его глазах, для аудитории *Нашего Дела*:

Публикуя приводимое ниже заявление видных русских писателей и знаменитого музыканта Рахманинова, мы рады констатировать, что эти выдающиеся представители нашей интеллигенции не только осуждают разбойничье нападение Сталина, угнетателя русского народа, на свободный и мирный финский народ, но указывают в то же время, что нападение это производится «с благословения Хитлера».

Такая постановка вопроса совершенно правильна, ибо большевистская власть, с самого дня своего рождения и по сей день, была и есть орудие немецкой политики, немецкого господства над Россией.

¹² Последние Новости. 1939, 31 декабря. С. 3.

¹³ 6 мая 1939 г. Л. Ю. Бердяева записала в дневнике разговор с мужем. Сославшись на то, что «Мережковский в ряде статей поносил меня, называя большевиком...», философ заключал: «Как видишь, я имел основания избегать общения с русскими» // *Бердяева Л.* Профессия: жена философа. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 173.

¹⁴ Ср.: *Heller M.* Набоков и политика // *Vladimir Nabokov et l'émigration / Sous la direction de Nora Buks (Cahiers de l'émigration russe. 2) Paris: Institut d'études slaves, 1993. P. 11—17.*

Сталин — приказчик Хитлера, и Хитлер непосредственно ответственен за международные преступления, совершаемые его верным слугой Сталиным.

Г. Алексинский¹⁵.

А спустя 30 лет о «Протесте» вспомнил, как об одном из самых знаменательных событий предвоенной жизни и ярчайшем свидетельстве отношения русской демократической интеллигенции к советско-финской войне, М. В. Вишняк¹⁶. При этом ни текст заметки, ни история его возникновения анализу в исторических исследованиях не подвергались, как если бы ничего проблематического они в себе содержать и не могли.

Ясность эта не так уж, однако, очевидна. При неизвестности, каковы были обстоятельства создания заметки и кто был ее инициатором, она оказалась включенной сразу в несколько персональных писательских библиографий, фигурируя в качестве полноправного элемента в каждой из них¹⁷. Проставление на первом месте имен З. Гиппиус и Н. Тэффи не следовало бы, конечно, воспринимать, как указание на их доминирующую роль в сочинении «Протеста» или сборе подписей под ним: скорее всего причины были чисто «рыцарскими». Можно допустить, что активную роль в выдвижении идеи публикации «Протеста» или мобилизации подписей сыграл М. А. Алданов. Будучи главным политическим публицистом в журнале А. Ф. Керенского *Новая Россия*, он продолжал тесно сотрудничать и с редакцией миллиоковских *Последних Новостей* и с ноября добивался назначения в действующую армию в качестве военного корреспондента от нее. Но отождествить его с составителем текста обращения, напечатанного в газете, невозможно, поскольку по своему жанровому характеру и стилистике оно совершенно отличалось от его статей — и, в частности, от его статьи о советско-финляндской войне, только что помещенной в *Новой России*¹⁸. Вообще же письмо, по-видимому, подверглось — под воздействием цензурных опасений военного времени — редакторской нивелировке.

Вопрос об «авторском» весе или роли каждого из участников коллективного выступления не заслуживал бы внимания, если закулисные источники не указывали на острые противоречия в демократическом лагере эмигрантской интеллигенции перед появлением этого документа. Живое представление об этих противоре-

¹⁵ Наше Дело. Еженедельная газета под ред. Г. А. Алексинского. 1940, 6 января. № 7. С. 1.

¹⁶ *Vishniak M. Years of Emigration. 1919—1969. Paris — New York [Вишняк М. Годы эмиграции. 1919—1969. Париж — Нью-Йорк (Воспоминания)]. Stanford: Hoover Institution Press, 1970. P. 119.*

¹⁷ См.: *Bibliographie des œuvres de Marc Aldanov / Établie par D. et H. Critesco; sous la direction de T. Ossorguine; introd. de Marc Slonim. Paris: Institut d'études slaves, 1976; Bibliographie des œuvres de Nicolas Berdiaev / Établie par T. Klépinine; introd. de P. Pascal. Paris: YMCA-Press, 1978; Bibliographie des œuvres de Boris Zaitsev / Établie par R. Guerra; introd. de W. Weidlé. Paris: Institut d'études slaves, 1982; Juliar M. Vladimir Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York; London: Garland Publishing Inc., 1986.*

¹⁸ Алданов М. После вторжения в Финляндию // *Новая Россия*. 1939, 20 декабря. № 74—75. С. 5—9.

циях дает дневниковая запись Н. П. Вакара с датой 30 ноября 1939 г. Не подвергая сомнению правомерность советских территориальных притязаний (как, впрочем, будучи убежденным также в близкой победе «союзников» в схватке с Германией) и обрушиваясь на «пораженцев» в среде своих коллег по редакции *Последних Новостей* («благородный вой и негодование»), журналист пытался угадать рациональные причины, стоявшие за советским решением ввести вооруженные силы в Финляндию в тот именно момент:

30 ноября.

Финская война. Что заставило Сталина переменить методу и ускорить события, идя при том на немалый риск? «Экономическим удушением» Москва, несомненно, получила бы от финнов к весне все, что полагается (Ганге, Бьерке, Печенегу и Карельский перешеек). Очевидно, случилось нечто, что не позволяет ждать. Или Сталина увлекли воинственные настроения командиров, взыскующих немедленной и дешевой славы? Этому трудно поверить.

Толкнуть Москву на поспешность могли, стало быть, только «дурные вести» из Германии. Пока Германия воюет, торопиться нам некуда. Выгоднее держаться весны. Но если, правда, немцы не продержатся? Если европейская война идет к концу? В таком случае и нам нужно спешить. Укрепиться в Балтийском море *необходимо до того, как соберется вторая мирная конференция в Версале*. После победы демократий над Германией задача станет трудной, почти невыполнимой. Если таков расчет Сталина, то он прав. И если так, то это признал скорого окончания (к весне) западноевропейской войны.

Или просто все сие — проба сил Москвы? Выдвинуть аванпост «мировой революции». Отсель грозить мы будем шведу?.. Если так, то это может иметь неисчислимые последствия для России и — для режима. (...)

Нападение на финнов может быть оправдано только в том случае, если Германия трещит, и сведения об этом верны в Москве. Иначе расходы не окупят выгоду — не только с точки зрения России, но даже и с точки зрения «сталинизма». Финны злопамятны. И жаль финнов. И стыдно обезьянничать с немцев¹⁹. Если была малейшая возможность ждать весны, то Москва, потеряв терпение, подлинно совершила преступление. Интересы России требуют иной сноровки, иных приемов. Ведь мало пробиться на берег Балтики; нужно укрепиться там прочно. А какая уж прочность, если озлобленные, оскорбленные финны будут бродить вокруг с ножом в кармане? На *это* можно было идти только в условиях крайности. Принудила ли Москву *такая крайность*? Об этом расскажет история.

Но у нас, разумеется, благородный вой и негодование. Вопим о преступлении перед человечеством, цивилизацией, Европой. И ни слова о жизненных нуждах России! Особенно удручен, потрясен Алданов²⁰.

¹⁹ Под «обезьянничанием с немцев» Вакар понимал разительное сходство в использовании языка ультиматумов, наглой лжи и провокации, как последнего довода к развязыванию войны и при нападении Гитлера на Польшу, и при вторжении Красной армии на Финляндию. Ср.: *Исцало С.* Выстрелов в Майнила не было // *От войны к миру: СССР и Финляндия в 1939—1944 гг.*: Сб. ст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 66—68.

²⁰ *Вакар Н. П.* Дневник (1938—1940). С. 606.

«Протест» появился через месяц, и за это время в международной ситуации обозначились новые существенные моменты. Во-первых, очень скоро стало ясно, что наступление захлебнулось, что блиц-криг не состоялся и поставленная, по слухам, задача победоносного завершения кампании к 21 декабря, ко дню 60-летия Сталина, достигнута не будет. 26 декабря пришло известие, что на одном участке фронта военные действия были перенесены на советскую территорию²¹. Голоса «пораженцев» — то есть ярких противников сталинской политики («благородный вой и негодование») — возобладали в редакции *Последних Новостей*, заглушая аргументы «национальных патриотов». Сам Милюков, главная опора «оборонцев», в статье, напечатанной 30 декабря, писал по поводу финских событий, что потерпев моральное поражение, СССР терпит ныне и физическое и, напомнив, что «врагом № 1» по-прежнему остается Гитлер, добавлял, что с ним связал себя и СССР из-за преступной политики Сталина²².

Не менее твердую позицию заняло и право-монархическое *Возрождение*. Под впечатлением от сталинской агрессии в Финляндии оно, отбросив былой скептицизм по адресу парламентских режимов, теперь прямо заявляло, что «место русской национальной эмиграции» — в поддержке общего фронта демократических стран Европы против Гитлера и Сталина, усматривая в этом «ближайший путь к освобождению России»²³. Слова эти не были пустой риторикой. Они подразумевали совершенно определенные события, происходившие за кулисами публичной политической жизни: обращение Русского Общевоинского Союза (РОВС) к маршалу Маннергейму²⁴ с предложением предоставить русских добровольцев в распоряжение финской армии, а также с идеей ведения борьбы с Красной армией отдельны-

²¹ Война в Финляндии. Финны перенесли военные действия на советскую территорию // *Последние Новости*. 1939, 26 декабря. С. 1. «New Year's Eve could not have been a cheerful occasion in the Kremlin», говорит Макс Якобсон по поводу декабрьских неудач Красной армии. См.: *Jakobson M. Finland Survived. An Account of the Finnish-Soviet Winter War, 1939—1940.* Helsinki: The Ottawa Publishing Co., 1984. P. 174.

²² *Милюков П.* «Европа» и «мы» // *Последние Новости*. 1939, 30 декабря. С. 3.

²³ Дела, толки, слухи... // *Возрождение*. 1939, 22 декабря. С. 1. Ср.: Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и вторая мировая война. М.: РГГУ, 2004. С. 137—138.

²⁴ В рядах белого офицерства Г. Маннергейм и его блестящая военная карьера в российской императорской армии всегда были предметом экзальтированного культа. См., в частности: *Орехов В.* Фельдмаршал Барон Маннергейм (К 50-летию со дня производства в офицеры) // *Часовой*. 1939, 10 сентября. № 243. С. 1—2. Когда разразилась война, тот же автор писал: «В 1918 году Финляндия сыграла роль барьера против продвижения коммунизма на запад. Теперь во главе финляндской армии стоит тот же вождь, безупречный начальник, рыцарь духа, фельдмаршал барон Маннергейм. Да ни-спошлет ему Всевышний отстоять свою страну от ужасов большевицкого нашествия. А в будущем — мы верим, что, когда падет презренная власть III Интернационала, Двуглавый Орел и Финляндский Лев найдут в добром согласии общие пути и формы совместной жизни» — *Орехов В. В.* Советское вторжение в Финляндию // *Часовой*. 1939, 5 декабря. № 246. С. 2.

ми отрядами белых эмигрантов²⁵. Хотя Маннергейм ответил, что на том этапе надежности в предложенной РОВСом помощи нет, и в финских правительственных верхах склонялись к тому, чтобы добровольцев из числа русских вообще не принимать²⁶, это обращение РОВСа, поддержанное редакцией *Возрождения* и Высшим Монархическим Советом, привело к отправке в Финляндию Б. Бажанова в середине января с планом создания русской армии из пленных красноармейцев²⁷. О такой инициативе правого, «белого» лагеря стало немедленно известно и в *Последних Новостях*. 22 декабря Н. П. Вакар записал в дневнике разговор с представителем РОВСа по этому поводу²⁸.

²⁵ Детали этих переговоров раскрыты были в докладной записке главы РОВСа генерал-майора А. П. Архангельского от 30 марта 1940 г. См.: «Мы должны учесть наш опыт в Финляндии...» Из Бахметьевского архива Колумбийского университета, США / Публ. подгот. Н. А. Ломагиным // Россия и Финляндия в XX веке: К 80-летию независимости Финляндской Республики. СПб.: Европейский Дом, 1997. С. 317—333.

²⁶ Ср.: *Tanner V. Former Foreign Minister of Finland. The Winter War. Finland Against Russia 1939—1940.* Stanford: Stanford University Press, 1957. P. 133; *Nevakivi J. The Appeal That Was Never Made. The Allies, Scandinavia and the Finnish Winter War 1939—1940.* London: C. Hurst & Company, 1972. P. 174. Объясняя отказ финляндского правительства от предложения РОВСа, А. П. Архангельский писал: «Советская власть объявила войну не Финляндии и финскому народу, а выступила с “поддержкой” искусственно созданного ею “народного правительства” Куусинена против “белобандитов и клики Таннера-Маннергейма”, т. е. советское правительство начало борьбу на платформе *гражданской войны* в Финляндии, борьбы красных против белых. (...) Финскому правительству было необходимо сохранить полное единение своего народа, а этого можно было достичь, лишь ведя войну *национально-оборонительную* против русских. (...) Ведением войны национальной-оборонительной против “русских” единство нации действительно было сохранено и в стране был вызван огромный национальный подъем.

При таких условиях участие русских, да еще окрашенных в “белый” цвет, для Финляндии было недопустимо — оно не только внесло бы известное недоумение в стране, но и дало бы повод советской власти вести агитацию о “захватно-белогвардейских” планах финнов, “поддерживаемых русскими белогвардейцами”. При этом финны считали, что вред от такой агитации не может быть компенсирован значительностью наших сил на фронте» (С. 323—324).

²⁷ Об этой миссии подробно рассказано в мемуарах Бажанова. См.: *Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина.* М.: III тысячелетие, 2002. С. 282—287.

²⁸ «Был полк. Т. И. Ганчиков и рассказывал, будто в кругах РОВСа возникла инициатива собрать русских добровольцев для помощи финнам против Красной Армии. Разговаривали об этом будто бы в финляндском посольстве и говорят с французами. Пришел спросить мое мнение.

Я терпеливо и подробно объяснил ему, что нельзя искупать грех Сталина, впадая в грех против России; против финнов сражается, правильно или неправильно, но русская армия; доблесть финнов вызывает восторг, но дерутся с ними наши русские, и тут уж дело не в Сталине и большевиках, а в том, умеют ли русские драться. Поражение Красной Армии есть не только поражение Сталина (этот-то устоит!), но и позор русского имени, а прилагать к этому русские руки отсюда еще больший позор.

Параллельно с начала декабря муссировался и вопрос о формировании — в противовес провозглашенному 1 декабря «народному правительству Финляндии» во главе с О. В. Куусиненом — альтернативного российского правительства. Горячим энтузиастом этой идеи был маршал Маннергейм и серьезно ее взвешивал министр иностранных дел В. Таннер. 15 декабря вопрос даже обсуждался в Государственном Совете Финляндии. Одним из кандидатов в премьер-министры предлагавшегося правительства выдвинут был А. Ф. Керенский, выступивший 3 декабря (во время визита в США) с заявлением о полной поддержке борьбы финского народа²⁹. Другим возможным кандидатом считался Л. Д. Троцкий, живший тогда в Мексике и сразу выступивший по радио со столь же резким, как Керенский, осуждением сталинской агрессии³⁰. Наконец, по разошедшимся в Париже слухам, стать во главе Российского правительства предлагалось генералу Н. Н. Головину, школьному товарищу Г. Маннергейма, причем на пост министра иностранных дел якобы был приглашен В. Ф. Зеелер, а на пост министра просвещения А. В. Карташев³¹. В западной печати в те дни рассматривался вопрос об интервенции в СССР и об отправке регулярных войск союзников в Финляндию.

На фоне этих фактов и слухов открытое письмо представителей эмигрантской интеллигенции, помещенное в *Последних Новостях* в канун Нового года, будучи безусловно искренним проявлением возмущения по поводу советской агрессии, явилось в то же время и продуманным шагом в редакционной политике газеты. Политической активности, связанной с обсуждением перспектив образования русского «правительства» в Карелии, а также «авантюристическим» планам белого офицера³² воспользоваться финскими событиями для возобновления вооруженной борьбы с советской Россией милокувский лагерь решил противопоставить декларацию ведущих представителей эмигрантской интеллигенции, отмежевывающую

Он согласен со мной (...)» — Вакар Н. П. Дневник (1938—1940). С. 607—608.

²⁹ Kerensky Assails Stalin's Invasion. Appeals to Americans Not to Confuse Attack on Finns With Real Russian Wishes. Denies Emigres Approve. Former Premier Emphasizes the Masses Are in Ignorance of Kremlin's Move // *New York Times*. 1939, December 4. P. 4. Текст этого выступления открывался декабрьский номер *Новой России*. См.: Заявление, сделанное американской печати А. Ф. Керенским о нападении Сталина на Финляндию // *Новая Россия*. 1939, 20 декабря. № 74—75. С. 1.

³⁰ *Барышников В. Н.* К вопросу о различиях в подходе к образованию так называемого «русского правительства» у руководства Финляндии в период «зимней войны» // Санкт-Петербург и страны Северной Европы: Мат-лы пятой ежегодной Междунар. науч. конф. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 2004. С. 59—61.

³¹ Запись в дневнике Н. П. Вакара от 6 января 1940. С. 613. Разговоры о возможном «русском правительстве» смолкли, когда в середине января по неофициальным каналам на Запад стали поступать сигналы о готовности Кремля прекратить деятельность правительства Куусинена. См.: *Зимняя война 1939—1940*. Кн. 1. Политическая история. М.: Наука, 1998. С. 254—255.

³² «Подозрительной авантюрой» планы эти были названы в передовице «Нового Дела» 17 февраля 1940.

ся от преступной политики советского руководства. По-видимому, непосредственным толчком к составлению письма послужило сообщение о призыве писателей трех скандинавских стран (включая двух нобелевских лауреатов — Сельму Лагерлеф и Зигрид Ундсет) оказать помощь Финляндии, обнаруженном в Стокгольме 23 декабря. Но если в скандинавском меморандуме говорилось о недостаточности одной лишь моральной поддержки и предлагалось оказать поддержку и материальную³³, то русский документ о материальной помощи не обмолвился и словом. Косвенным образом с публикацией «Протеста» оказалось связанным решение *Последних Новостей* принять участие в организации командировки В. М. Зензинова в Финляндию, и тот выехал 20 января³⁴ корреспондентом не только *Новой России* (в редакции которой он состоял), но и *Последних Новостей*³⁵.

В то время как «Протест» может сегодня выглядеть чисто эмоциональным излиянием группы русской интеллигенции, осудившей военное вторжение в Финляндию и опровергавшей подозрения на Западе о солидарности эмиграции с кремлевским агрессором, более внимательное погружение в текст позволяет заметить вкрапленные в него «кивки» в сторону патриотов-«оборонцев». Таким кивком являются намеки в тексте на территориальные потребности великой державы. Если мы вспомним восклицание Вакара в дневнике: «И ни слова о жизненных нуждах России!», то станет ясно, почему эта сторона дела при составлении «Протеста» проигнорирована быть не могла.

Поэтому приходится заключить, что решающим фактором в подготовке коллективного письма был не тот или иной подписавший, а редакция газеты, озабоченная соблюдением баланса важных для нее политических принципов. Между тем, по странной прихоти истории, ныне явочным порядком, фатально выпячивается одно — последнее — имя в общем списке — В. Сирин. Борис Носик в своей биографии Набокова, с излишней прямолинейностью воспринимая публицистический пафос «свободомыслящих интеллигентов России», почти целиком привел текст «Про-

³³ Призыв скандинавских писателей // *Последние Новости*. 1939, 24 декабря. С. 1.

³⁴ *Зензинов М.* Встреча с Россией. Как и чем живут в Советском Союзе. Письма в Красную армию. 1939—1940. Нью-Йорк, 1944. С. 5.

³⁵ «Будет беседовать с пленными. Но я не хотел бы быть в его шкуре», — замечает в этой связи Вакар. См.: *Вакар Н. П.* Дневник (1938—1940). С. 615. См. также: «Дорогой и милый Одиссей...» Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова / Вступит. ст., публ. и коммент. Г. Б. Глушанок // *Наше Наследие*. 2000. 53. С. 77—115. Помимо Бажанова и Зензинова, в Финляндию отправились тогда из других стран и такие представители российской эмиграции, как И. Л. Солоневич, вождь русских фашистов в Германии А. В. Меллер-Закомельский, представитель Антикоммунистической Лиги Ю. И. Лодыженский, лингвист и педагог С. И. Карцевский и видный деятель украинских сепаратистов Александр Шульгин. См.: *Лодыженский Ю. И.* Из впечатлений миссии в Финляндии, январь-февраль 1940 г. // *Новый Путь*. Орган Русского христианского национального движения. Женева, 1940. № 82. С. 1—14 (перепеч. в кн.: *Лодыженский Ю. И.* От Красного Креста к борьбе с Коммунистическим Интернационалом. М.: Айрис-пресс, 2007. С. 469—488).

теста», по непонятным причинам изменив порядок подписей и выпустив несколько фраз. Одна, по крайней мере, из них — «Между Россией и Финляндией не существует таких вопросов, которые не могли бы быть разрешены полюбовно, по мирному соглашению» — устранена из цитаты из-за ее, очевидно, «согласительского» характера, не понравившегося биографу³⁶. Открытое письмо полностью помещено в новейшем многотомном издании сочинений Набокова³⁷. При этом комментатор (Г. Б. Глушанок) резонно отмечает: «Степень личного участия Набокова в создании текста не определена. Возможно, что текст был предложен для подписи редакцией газеты “Последние Новости”. Это был редкий для Набокова, демонстрирующего свою непричастность к политике, поступок: участие в коллективной подписи под политическим документом, тем более, что некоторые из подписавшихся не были его литературными сотрудниками (З. Гиппиус, А. Ремизов)»³⁸. На вопрос, прямо вытекающий из рассуждений Г. Б. Глушанок, почему все же Набоков согласился дать свою подпись, можно ответить предположением, что не столько само по себе идейное содержание «Протеста» побудило его пойти на это, сколько личная просьба Алданова, который незадолго перед тем упрекнул молодого писателя в отрешенности от мировых политических бурь и который свел его с Г. Э. Ланцем, обеспечив приглашение на преподавательскую позицию в Стэнфорде, открывавшее путь из объятай пламенем войны Европы в США³⁹.

Примечательно, однако, что какова бы ни была роль Набокова в публикации или причина его присоединения, именно к нему был обращен единственный дошедший до нас развернутый критический отклик на групповое письмо. Автором отклика был Юрий Анненков, известный художник, писатель, режиссер-постановщик и театральный деятель. Приводим его по копии, сохранившейся в архиве М. В. Вишняка:

Письмо к В. Сирину

Дорогой Владимир Владимирович.

Вы правильно сказали как-то, что я — не маркиза де-Севинье⁴⁰. Действительно, написать письмо — для меня вещь трудная. Если я пишу сейчас, то, значит, потребность заговорить с вами чрезвычайна сильна. Думаю, однако, что на этот раз мое письмо покажется Вам неуместным. Прошу заранее простить меня.

Дня три тому назад я прочел в «Последних Новостях» воззвание группы русских писателей, «протестующих» против советского вторжения в Финляндию, и до

³⁶ *Носик Б.* Мир и дар Набокова. Первая русская биография писателя. М.: Пенаты, 1995. С. 389.

³⁷ См.: *Набоков В. (В. Сирин).* Собрание сочинений русского периода. Т. 5. 1938—1977. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 590—591.

³⁸ Там же. С. 785.

³⁹ *Boyd V.* Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton: Princeton University Press, 1990. P. 510—511; 514.

⁴⁰ Сорт французского шоколада.

сих пор не могу успокоиться. Увидев заглавие и подписи, я испытал глубокое удовлетворение от сознания, что русские писатели, всегда являвшиеся носителями высокого чувства человеческой справедливости, не отказались и в эмиграции от этой духовной традиции и подняли свой голос в защиту крохотной свободной страны, подвергшейся нападению гиганта. Но, прочитав письмо целиком, я был поражен его содержанием. Где хоть одно слово, хоть один маленький намек на необходимость помочь героическому народу? О чем говорится в этом «воззвании», которому можно без натяжки присвоить знаменитый эпитет «ножа в спину» Финляндии?

С грехом пополам можно было бы еще понять мотивы, побудившие русских писателей выступить с этим заявлением, если бы оно ограничилось его первым абзацем, где высказывается опасение, что позор сталинской политики может перенестись на «порабощенный русский народ, не несущий ответственности за его (Сталина) действия» (что весьма спорно). Но все дальнейшее — недопустимо для русского писателя, так как посвящено оправданию советского нападения и таит под Эзоповой формой слишком отчетливо захватнические планы, направленные против страны, всегда дававшей убежище каждому русскому писателю и, вообще, русскому культурному деятелю, слово которого слишком свободно звучало в России.

Вы знаете, что, насильственно присоединенная в свое время к императорской России, Финляндия всегда ненавидела своих поработителей, всегда хранила и воспитывала в себе идею освобождения, идею самостоятельного культурного и национального существования, которого была вполне достойна. Вам известно, что, наконец, путем кровавой борьбы, Финляндия вырвала свою независимость из рук захватчика и зажила самостоятельно, никому не угрожая и не предъявляя ни к кому никаких претензий.

На какие же такие «вопросы», которые, по-Вашему, остается еще разрешить «полюбовно, по мирному соглашению» между Россией и Финляндией, — вы — писатели *снова* намекаете и почему — только намекаете, а не говорите открыто? О чем, собственно, «Россия, освободившаяся от коммунистической диктатуры», могла бы «легко договориться с Финляндией, не нарушив *своих* интересов и проявив полное уважение к правам и интересам этой страны»?

Не о том ли, чтобы Финляндия отодвинула свою границу на «несколько десятков километров» от Сестры-реки? Не о том ли, чтобы Финляндия уступила «демократической» России Аландские острова и незамерзающий порт Петсамо в Ледовитом океане? Не о том ли, чтобы Финляндия добровольно согласилась снова войти в состав русских «провинций»?

Неужели вы искренно думаете, что захватнические, империалистические намерения окрасились бы в другие, благородные, морально приемлемые цвета, если бы этими намерениями руководился не Сталин, а некое «демократическое правительство»? Будьте уверены, что тем самым «позором, которым снова покрывает себя сталинское правительство», покрывало бы себя в данном случае и демократическое правительство. Больше того: до Вашего письма позор ложился только на советское правительство, но после опубликования Вашего «голоса народной совести» справедливый наблюдатель событий вправе распространить этот позор на весь русский народ.

С другой стороны, неужели Вы настолько наивны, чтобы предположить, что Финляндия, утвердившая свою независимость, пошла бы ради прекрасных глаз

какого-то демократического правительства на те уступки, которые она отказалась сделать ради прекрасных глаз грузинского прохвоста?*

Вы скажете, что я рассуждаю не-государственно. Но если рассуждать «государственно» означает посягать на независимость крохотного культурного народа, то в таком случае — в чем заключается разница между Вами и Гитлером? Если рассуждать «государственно» означает посягать на независимость какого-либо народа, хотя бы самого малочисленного, то — по совести — должен сказать, что предпочитаю рассуждать «анти-государственно», будучи уверен, что в жизни существуют ценности, несравнимо более высокие и более нуждающиеся в нашей защите, чем такая странная «государственность».

Я могу объяснить себе собрание маститых имен под вашим письмом: не каждому художнику дано донести до старости чистоту мысли и чувства, как это удалось, скажем, Толстому или Тициану. Но присутствие Вашей подписи, подписи тончайшего, удивительнейшего молодого русского писателя, меня взволновало до крайности! Я надеюсь, что Вы согласились «подмахнуть» это письмо, не вникнув в его содержание или просто доверившись кому-нибудь на слово.

Засим, дорогой Владимир Владимирович, я приветствую Вас с наступившим новым годом и еще раз прошу простить меня за непрошенное душеизъявление, — может быть, простительное для нашего времени.

Ваш Б. Темирязов.

3-I-40⁴¹

* Достоин внимания также и то обстоятельство, что чуткая совесть русских писателей пробудилась с таким опозданием: не в те дни, когда над «мирной Финляндией» нависла смертельная угроза и даже не тогда, когда свершилось нападение, но лишь через месяц после нападения, то есть — в момент, когда платоническое сочувствие к Финляндии (на которое авторы письма так щедры) стало превращаться на Западе в реальные формы военной поддержки.

Б. Т.

Ю. П. Анненков и В. В. Набоков⁴², и в дореволюционные петербургские годы, и в пореволюционный период принадлежавшие к далеким друг от друга литературно-художественным и общественным кругам, лишь изредка и случайно пересекавшимися, ближе сошлись в пору работы Анненкова над постановкой новой пьесы В. Сирина «Событие», прошедшей в марте 1938 г. Как известно, Анненков должен был сразу после этого, осенью 1938 г., работать и над другой новой пьесой Сирина — «Изобретение Вальса», но планы эти не осуществились. Публикуемый документ представляет собой машинопись (точнее — второй или третий экземпляр под копирку), с вписанным от руки под астериском примечанием. Совершенно очевидно, что автор придавал ему не частный, а широкий общественный характер и предназначал его для пе-

⁴¹ Hoover Institution Archives. M. Vishniak Papers. Box 1.

⁴² Сопоставление их литературного облика см. в работе: *Данилевский А.* Из наблюдений над поэтикой «Повести о пустяках» Юрия Анненкова. Ст. 2: Анненков и Набоков // *Культура русской диаспоры: Владимир Набоков — 100: Мат-лы науч. конф.* Таллинн—Тарту, 14—17 января 1999. Таллинн, 2000. С. 159—194.

чати. Уже самый выбор подписи, использование литературного псевдонима — Б. Темирязов — свидетельствовал об этом. Текст письма был отпечатан на одной машинке вместе с приложенным текстом коллективного «Протеста».

Но «письмо Б. Темиряева к В. Сирину», насколько нам известно, в печати не появилось, и можно догадываться почему. С какой стати обе русские газеты, напечатывавшие «Протест», стали бы предоставлять место новому письму, которое дискредитировало само начинание и сводило на нет весь смысл предпринятой ими с такой тщательностью (*Последние Новости*) и преподнесенной с такой торжественностью (*Наше Дело*) акции? Общественная репутация «Б. Темиряева» — вне зависимости от того, известно ли было, кто скрылся за этой подписью, или нет — не оправдывало бы, в глазах редакций этих газет, обнародования его мнения, тем более, что ограничение адресации одним лишь В. Сириным усиливало оскорбительный характер выпада против коллективного «Протеста».

То, что документ этот оказался среди бумаг М. Вишняка, заставляет полагать, что Анненков искал возможности опубликовать свое письмо в *Современных Записках*, отдавая себе отчет в том, что высказанная им позиция гораздо ближе к той, которую заняли лидеры эсеров, чем к линии *Последних Новостей*, а с другой стороны, предпочитая, конечно, «толстый» литературно-общественный журнал тому партийному, чисто политическому бюллетеню, каким являлась *Новая Россия* А. Ф. Керенского. Но Анненков, по-видимому, не знал, что Вишняк уже ушел из редакции (последняя книжка *Современных Записок*, изданная в начале 1940 г., выпущена была одним В. В. Рудневым). На чьем-то редакторском столе этот экземпляр письма, однако, побывал: в нем два характерных отчеркивания на полях, с восклицательным знаком, против фраз, вызвавших, видимо, особую настороженность читавшего: 1) «Будьте уверены, что тем самым “позором, которым снова покрывает себя сталинское правительство”, покрыло бы себя в данном случае и демократическое правительство. Больше того: до Вашего письма позор ложился только на советское правительство, но после опубликования Вашего “голоса народной совести” справедливый наблюдатель событий вправе распространить этот позор на весь русский народ»; 2) «Если рассуждать “государственно” означает посягать на независимость какого-либо народа, хотя бы самого малочисленного, то — по совести — должен сказать, что предпочитаю рассуждать “анти-государственно”, будучи уверен, что в жизни существуют ценности, несравнимо более высокие и более нуждающиеся в нашей защите, чем такая странная “государственность”». Как бы то ни было, развитие событий на полях битвы скоро сделало содержание письма неактуальным.

Это не умаляет ни исторического значения описываемого эпизода, ни вескости выдвинутых Анненковым положений. В то время как его художественная работа и литературные произведения стали предметом тщательного изучения, о его политических позициях эпохи «Повести о пустяках» составить сколько-нибудь ясное представление было невозможно⁴³. Сохраняя советское подданство и ценя соб-

⁴³ Ср.: «...Курсировали из Москвы в Париж...»: Из переписки Юрия Анненкова и Льва Никулина // Публ. И. В. Обуховой-Зелинской. Диаспора. Новые материалы. IV.

ственный «не-эмигрантский» статус, Анненков в это время избегал каких-либо публичных высказываний на политические темы. Будь «письмо Б. Темирязева В. Сирину» обнародовано, оно приподняло бы завесу над таинственным псевдонимом и стало бы первым публичным изъяснением политических позиций Юрия Анненкова в парижский период.

Просматривая свой архив спустя много лет и наткнувшись на этот документ, М. В. Вишняк снабдил его двумя пояснениями. Во-первых, на своем машинописном экземпляре он — на всякий случай, для будущего архивного исследователя — раскрыл псевдоним автора письма: «Юрий Анненков (художник) под своим литературным псевдонимом “Б. Темирязов” (см., н(а)пр(имер), “Соврем. Записки”) (копия)»⁴⁴. А в конце, после подписи, повторяя ту же справку, Вишняк счел нужным присовокупить дополнительную информацию: «(Ю. Анненков — после 1945 г. “приявший” все советские экспансии)».

Сжатая справка эта обнажала историческую иронию резкой трансформации политических позиций художника. Исследователей и сегодня смущают парадоксальные колебания его между противоположными политическими тенденциями и нередкие проявления амбивалентного или даже презрительного отношения к эмигрантскому окружению. В краткий период (1944—1946 гг.) почти полного «растворения» парижской эмиграции в мощной советофильской волне общественных настроений на Западе, в эйфории по случаю победы Красной Армии над фашистской Германией, Юрий Анненков всю свою энергию посвятил участию в этом движении, вкладывая в пропаганду пером новой советской действительности, кажется, не меньше усилий, чем в воспевание революции кистью в период жизни в Советской России. Он не просто печатался во всех трех парижских русских газетах «советской» ориентации — *Честный Слон*, *Русский (Советский) Патриот* и *Русские Новости*, но был в них едва ли не главным публицистом, одним из самых ярких авторов, выступая как под собственным своим именем⁴⁵, так и под прежним псевдонимом Б. Темирязов. И если в 1920—30-е годы появление этого псевдонима было

Париж; СПб.: Atheneum-Феникс, 2002. С. 624; Янгиров Р. Юрий Анненков и Илья Эренбург: биография и репутация // In memoriam: Сб. памяти Владимира Аллоя. СПб.; Париж: Феникс-Atheneum, 2005. С. 299—360.

⁴⁴ Вишняк подразумевает первые литературные выступления Анненкова под этим псевдонимом — его рассказы «Домик на 5-ой Рождественской» и «Сны» // *Современные Записки*. № 37 и 39, 1928 и 1929. Ср. отзыв Набокова о первом из них в рецензии, напечатанной в «Руле» 30 января 1939 г. См.: *Набоков В. (В. Сирин)*. Собрание сочинений русского периода. Т. 2. 1926—1930. СПб.: Симпозиум, 1999. С. 670. Об отрицательном отношении Набокова к советской технике «монтажа» в прозе и возможном пародировании «Повести о пустяках» в «Даре» см.: *Долинин А.* Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // В.В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного ин-та, 1997. С. 730—731.

⁴⁵ См., в частности, его отклик на взятие Берлина: *Анненков Ю.* Берлин // *Честный Слон*. 1945, 5 мая. № 10. С. 1.

предопределено необходимостью отделить лояльного по отношению к СССР, стоявшего вне политики художника, от его занятий литературой в эмигрантской среде, то ныне он употреблялся в чисто политическом (подчеркнуто доброжелательном по отношению к социалистическому государству) контексте⁴⁶.

Замечательно при этом, что в новых условиях, когда со всех сторон раздавались голоса об исчезновении русской эмиграции с исторической арены и неминуемом слиянии ее с советской родиной, Анненков выступил — в просоветской печати — с прокламированием «иммунитета для художников», безусловно еретическим в глазах московских властей. Повторив обычные в те дни заявления об упадке и жалкой, трагической судьбе «консервативной» русской послереволюционной эмиграции, он обособлял «русских художников, живописцев, скульпторов»:

Их уход из России обусловлен не политическими идеями, не материальными трудностями революционных лет, не злобой, не обидой, не страхом, не следствием проигранной борьбы и не биографической ошибкой. Их уход не связан с крутым поворотом русской истории: он является логическим и необходимым звеном их творческого пути, и если некоторые из русских художников перешли советскую границу нелегально, то лишь потому, что получение заграничного паспорта в те годы было еще невозможно по целому ряду причин, да и советский паспорт во Франции считался тогда еще не действительным. Обстановкой времени русские художники оказались втиснутыми в рубрику «рефюжье русс».

В статье проскальзывали утверждения, явно имевшие глубокий личный, конкретно-автобиографический подтекст:

Подлинное искусство никогда не бывает реакционным. Подлинный художник никогда не может быть реакционером. Эти понятия взаимно исключают друг друга. Вот почему подлинные русские художники — в России и за границей — всегда были и остались на стороне революции. Художники, ушедшие из России, могут каяться лишь в нарушении административных правил, касающихся паспортных норм, разрешений на выезд за границу, сроков пребывания там и в излишней торопливости. (...) Единственной причиной ухода русских художников за границу являлась непреодолимая, притягательная сила Парижа. Если нужно присваивать Парижу какие-либо эпитеты, то одним из его определений должно быть название Парижа «международной лабораторией художественной формы»⁴⁷.

⁴⁶ В своей статье, помещенной в качестве передовицы в газете, Б. Темиряев, например, писал:

«Необходимо до конца проникнуть в смысл и причины глубочайших и всесторонних реформ, характеризующих Советский Союз, благодаря которым восстановление Патриаршей Церкви или прославление Александра Невского, Суворова и Кутузова могут сожительствовать с плановой экономикой или с национальным равенством народов, входящих в состав Советского Союза, а культ Пушкина не противоречит переименованию Триумфальной площади в Москве — в площадь Владимира Маяковского.

Без такого понимания дальнейшее выпрямление эмиграции неосуществимо» //

Темиряев Б. Неофобия // Советский Патриот. 1945, 9 июня. С. 1.

⁴⁷ Анненков Ю. Лабораторные заметки // Честный Слон. 1945, 19 мая. № 12. С. 2.

Смысл статьи, казалось, состоял в призыве к советским властям отказаться от приложения к искусству и художнику обычных политических и административно-бюрократических критериев и штампов. И, в этом плане, совершенно естественным выглядит отказ Анненкова от «советско-патриотических» иллюзий в ответ на резкий перелом в климате культурной жизни СССР в августе 1946 г.⁴⁸, его присоединение к лагерю западной антикоммунистической интеллигенции, сформировавшему Конгресс за свободу культуры в ответ на мощное международное идеологическое наступление, предпринятое советским государством, и активное участие (в качестве и художника, и литератора) в главном печатном органе этого лагеря — в парижском журнале *Preuves* уже в 1952 г., на самой ранней стадии его существования. Логическим следствием этого было и «возвращение», новое вхождение Анненкова в эмиграцию в конце 50-х годов, с тяготением, на сей раз, к самому правому ее политическому крылу (*Возрождение*). Во всем этом проявилось то же неприятие «сталинизма» в искусстве и в жизни и осуждение сознательных или невольных уступок ему, которые вызвали появление письма Б. Темиряева к В. Сирину.

⁴⁸ См. публикацию этих материалов: «Положение литературы и печати в Советском Союзе», «Центральный Комитет коммунистической партии осуждает Анну Ахматову и М. Зощенко», «Ленинградские писатели присоединяются к этому осуждению» // Русские Новости. 1946, 6 сентября. С. 6.

СТРУКТУРА ТЕКСТА

М. Ланглебен

РАССКАЗ И. БУНИНА «СНЫ» И ОТКРОВЕНИЕ СВ. ИОАННА

Предвестия революции отражены в предоктябрьском творчестве Бунина с трезвой ясностью, по тем временам беспрецедентной¹. За несколько лет до революции он хорошо представлял себе ее будущие эксцессы и неизбежные результаты («Ночной разговор», «Деревня»). Облик нового мира не удивил его и вызвал лишь безмерное отвращение («Окаянные дни»). Позже, через двадцатилетие, крушение империи ретроспективно видится ему в иных, менее рациональных формах. После революционное существование уходит в призрачный «Элизей минувшего» («Несрочная весна», 1923). Удаляясь во времени, революция отделяется от событий, теряет реальные очертания и, как необъяснимая злая воля, внезапно вторгается в беззаботно текущую жизнь. В рассказах, написанных в эмиграции, революция метафоризируется или представляется в полусонной грезе, невидимой силой, толкающей «вселенную на край гибели, смерти», «страшной тучей, черным адом обступающей радостный солнечный мир» («Именины», 1924)². Безотчетно-мистическое отношение к народной революции, наряду с предельно четким представлением о ее сущности, по-видимому, складывалось у Бунина задолго до Февраля и Октября. Запредельные сигналы надвигающейся всеобщей беды слышались ему еще в самом начале века. Самое раннее из предчувствий революции можно видеть в рас-

¹ Дневники предреволюционной эпохи и более поздние воспоминания о ней свидетельствуют об общем для всей интеллигенции нетерпеливом ожидании желанного переворота. Просвещенные россияне видели в народной революции «что-то прекрасное ... ради чего только и стоит жить» [Гусев-Оренбургский 1909: 38], «Мечтали о том, как рассеется тьма, как скинет с себя цепи русский народ, как он заживет спокойной, полной и культурной жизнью» [Князев 1991: 101] и встретили Февраль как «нечто сверхъестественное, восхитительное» (письмо А. Блока [Бекетова 1990: 153—154]), как «день общего сиянья» [Осоргин 1989: 114]. О том же говорят дневники З. Гиппиус [1999, 1: 464, 485—486 («Синяя тетрадь»); 2: 185 («Черная тетрадь»)], воспоминания А. Белого [1924/1971: 14], письма Вл. Ходасевича [1996: 359, 362]. Об отношении русской интеллигенции к революции в историческом аспекте см. лекцию П. Струве, прочитанную им в 1919 г. [Струве 1921: 22—37].

² Свойственная Бунину обостренность памяти усиливается в эмиграции; прошлое принимает особый оттенок идеальной вневременности. Об отношении Бунина к прошлому см. [Гречнев 2003; Woodward 1981: 167—171; Richards 1971; Briker 1998; Ясенский 1996], о метафоризации разоренных домов в миниатюрах 1926—1930 гг. см. [Langleben 1994].

сказе «Сны», написанном в 1903 г. (то есть еще до русско-японской войны, до событий 1905 г. и последовавшего за ними террора).

«Сны» — рассказ недлинный (7 страниц) и сюжетно несложный. Безымянный повествователь — назовем его NN — после долгого ожидания на захолустном вокзале, садится в ночной поезд, «переполненный спящим народом». Там, с трудом найдя себе сидячее место у двери в другое отделение, он, через нечаянно растворившуюся дверь, увидел «тесную кучку» мужиков, внимательно слушавших рассказ о видении, посетившем некоего старичка-священника из «самого несчастного села». Будто бы ночью, после обедни, священника разбудила его дочь-покойница и велела немедленно идти в церковь. В пустой церкви ему являются три кочета: первый — «агромальный красный», второй — «белый, как кипень» и третий — «черный, как головешка». Кочеты выходят из алтаря, один за другим, каждый поет трижды и исчезает. Последний, черный, поет особенно «жутко и строго» и вдобавок светится своим гребешком. Священник в страхе падает на колени и читает молитву. Тогда появляется «седенький монашек» и говорит ему тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела!». Тут вспыхивает спор между слушателями, и рассказ прерывается. Когда же монолог возобновляется, то NN пытается подойти к мужикам поближе послушать продолжение. Но получает резкий отпор: «Не господское это дело мужицкие побаски слушать». Все же NN удалось расслышать, как рассказчик повторил предсказание «больших дел», но продолжение тонет «в ропоте колес и тяжком храпе спящих».

«Сны» были опубликованы в *Сборнике товарищества «Знание» за 1903 г.*, в цикле из двух рассказов, озаглавленном «Чернозем» [Бунин 1903]. Первую часть «Чернозема» составляет «Золотое дно», вторую — «Сны». Поэтому первые читатели «Снов» должны были видеть в этом рассказе продолжение «Золотого дна», открыто объявленная тема которого — катастрофическое состояние сельской России. «Уже не оскудение, а *запустение*»³ всех хозяйств — как помещичьих, так и крестьянских. Состояние это тем более трагично, что противоречит разуму, ибо земля здесь, по единодушному мнению, золотое дно. Тотальное обнищание плодородной земли необъяснимо и неостановимо. Помещики продают свои усадьбы, и земля, по словам кучера Корнея, расходуется «по городским купчишкам да лавошникам, (...) без настоящего хозяина остается». На месте дедовской усадьбы — «нежилой хутор», на месте «большого села, три четверти которого ушла в Сибирь», — «семь приземистых избушек». Те, кто еще живет в этих местах, не ждут помощи ниоткуда, но в глубине безнадежности тлеет жажда больших перемен. В своих беседах с Корнеем барин-повествователь дважды наталкивается на глухую угрозу. В первый раз, в середине текста, гнев Корнея направлен против ненастоящих хозяев земли, «купчишек да лавошников». Вторая, молчаливая угроза заканчивает рассказ:

³ [Бунин 1903: 113], курсив Бунина.

— И как вы только живете тут!

Корней завертывает цыгарку, глядя в землю, и долго молчит. Потом сдержанно отвечает:

— Живем пока...

— То-есть как «пока»? А потом-то что ж?

— Потом — что Бог даст. Все что-нибудь будет...

— Что же?

— Да что-нибудь будет... Не век же тут сидеть, — чертям оборки вить! Разойдется народ по другим местам, либо еще как...

— А как?

При свете месяца ясно видно лицо Корнея, но, подняв голову, он сдвигает брови и отводит глаза куда-то в сторону.

— Как иначе-то? — повторяю я вопрос.

— Там видно будет, — отвечает Корней уже совсем хмуро. — Поедемте, барин, — не рано!

И молча влезает на козлы [Бунин 1903: 121—122].

Хмурый ответ Корнея составляет естественную преамбулу к «Снам». Допрашивая мужика, барин вводит читателя в вагонное отделение 3-го класса, где невысказанное в «Золотом дне» получает словесное выражение в монологе и споре о грядущих «больших делах». «Сны» предупреждают, что надвигается народная революция с жестокими последствиями, — тогда как будущие ее жертвы крепко спят. Эта грозная весть получает тайную поддержку со стороны *Откровения св. Иоанна*.

* * *

В центре «Снов» стоит рассказ священника о трех петухах⁴:

Стою ни жив ни мертв, вдруг — р-раз! — отдернулась занавесь на Царских вратах, растворяются этак широко и тихо двери, и выходит из темени, из самого, значит, алтаря, огромный *красный* кочет. Вышел, остановился, затрепыхал крыльями и как закричит на всю церкву: ку-ка-ре-ку! Пропел до трех раз и пропал. И только, значит, пропал, выходит из алтаря *другой, белый*, как кипень, и запел еще громче прежнего. И опять до трех раз... У меня, рассказывал священник поутру, руки, ноги отнялись, а я все стою и жду, что будет дальше, а дальше выходит и *третий: черный*, как головешка, только гребешок светится, и запел он, братцы мои, таково жутко и строго, что опустился я на коленки и говорю этак внятно и раздельно на всю церкву: «Да воскреснет Бог и расточатся враги Его!»

В 1953 г., редактируя «Сны» для своего последнего сборника, Бунин добавил к рассказу постскриптум, в котором сообщает, что

Весь он вымысел, кроме того, что в нем главное, — вещее и даже злое, ибо уже не далек был роковой 1905 год, начало гибели России, — это сон

⁴ Здесь и далее текст «Снов» цитируется по [Бунин 1954]. Курсив всюду мой (М. Л.), если не оговорено иначе.

старичка-священника, те три петуха, которых он будто бы видел и слышал ночью в своей церкви. Разговоры о них шли тогда в народе упорно, а лично я о них слышал в нашем уездном городе, в Ельце, в базарном трактире, от мещан, пивших там чай⁵.

Народное происхождение этой истории подтверждает А. Белый: эти же петухи, в том же порядке, появляются в его 2-й Симфонии (1905), отразившей ту же эпоху и пронизанной предчувствиями грандиозных перемен:

3. Над Москвой чуть было не разразилось ужасное бедствие. 4. С товарным поездом приехала в Москву старушка. Выйдя на площадку с корзиной в руке, она остановила обер-кондуктора и вытащила из корзины черного петуха. 5. На вопрос изумленного кондуктора, что это значит, ответила: «В прошлом году некто видел сон: отверзлись в церкви трижды Царския врата и выходили трижды оттуда петухи: белый, красный и черный». 6. «Белый означал урожай, красный — войну, а черный — болезнь». 7. «Мы ели хлеб, мы дрались с желтым монголом, а теперь мы будем умирать...». 8. Вредная старушка была удалена из Москвы, а про петуха забыли. 9. Он стал бегать по Москве, и с тех пор начались чумные заболевания. 10. Но энергичные меры пресекли ужас (конец 4-й ч. [Белый 1905: 321]).

Встраивая петухов в апокалиптический контекст «Симфонии»⁶, Белый детализирует их значение, как бы давая краткую оценку недавнего прошлого и близкого будущего. Бунин же, не вдаваясь в подробности, предсказывает бурное будущее («большие дела»). Но в обеих версиях разноцветные петухи имеют провиденциальное значение и напоминают четырех апокалиптических коней — белого, рыжего, вороного и бледного, которые, один за другим, предстают перед св. Иоанном в [Откр 6: 1—7]. Разумеется, между видением священника в «Снах» и выходом коней в *Откровении* есть различия — но, как кажется, эти различия только подчеркивают сходство двух сцен:

- По сравнению и с *Откровением*, и с 2-й «Симфонией» белый цвет в «Снах» утратил свое ведущее место в параде: первым из алтаря выходит не очистительный белый кочет, а пожарный красный, который, видимо должен соответствовать рыжему коню. Но в оригинале этот конь — огненный, *ἵπλος πυρρός*. Замена огненного цвета красным фразеологически оправдана, так как *красный петух* намекает на огонь — поджоги, с которых начнутся «большие дела» [Михайлов 1976: 76]. В светящемся гребешке черного кочета пламя повторено, а в цвете волос рыжего мужика, самого агрессивного из слушателей, огонь перекидывается из видения священника в реальный вагон.

- Молитва священника прерывает действие, и четвертому коню нет соответствия. Кульминация приходится на черного петуха, который становится самым

⁵ [Бунин 1954: 382], разрядка Бунина.

⁶ О своих замыслах 1901 г. Белый пишет: «апокалиптики особенно интересовали меня, ибо мои будущие “Симфонии” должны были их отразить» («Начало века» [Белый 1990: 156]).

жутким. Возможно, что четвертый кочет не появился потому, что для тотальной гибели, которую символизирует бледный конь⁷, еще не настало время.

• Все три кочета громко поют, тогда как кони молчат. Звуковое оповещение в *Откровении* поручено другим существам — животным, «исполненным очей спереди и сзади» и «говорящим как бы громовым голосом». Животных — четыре, каждое из них прикреплено к одному из четырех коней и каждое своим громовым голосом произносит стандартное заявление: «иди и смотри»⁸ [*Откр* 6: 1, 3, 5, 7]. Голосистые петухи сами о себе объявляют, поэтому каждый из петухов представляет собой как бы гибрид апокалиптического коня и соответствующего ему говорящего животного. Цвет петухов — от коней, громкие голоса — от животных.

*

Пересказывая «мужицкую побаску» о петухах, Бунин окружает ее целым рядом менее явных совпадений и аллюзий, отсылающих читателя «Снов» к *Откровению*:

• *Характеристика реципиента видения.* Представляясь своим читателям, автор *Откровения* пишет: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Христа» [*Откр* 1: 9]. Герой петушиной легенды, старичок-священник из «самого разнесчастливого села», пьющий, неимущий бессребренник, он тоже несомненный брат своим прихожанам и соучастник в их общей скорби. Личность его в этом смысле вполне безукоризненна, он именно тот человек, который может, как Иоанн, удостоиться пророческого видения. Сам до крайности несчастный, больной, одинокий, этот священник, по его собственным словам, удручен не своей нуждой, а горем всенародным: «Только дюже (...) *везде* горя много, и ужли никакой тому перемены не буде?». Прихожане, жители разнесчастливого села, ценят его бескорыстное соучастие:

А старичок-то пить-то пил, да оказался такой, что лучше и не надо. «Сколько, мол, отец Петр, за кстины аль за похороны берет?» — «Не я, свет, беру, а нуждишка! Сколько силы твоей есть...»

• *Общее горе и личное страдание.* Слушатели легенды о священнике — это, по всей видимости, те самые крестьяне, о которых печалится священник, и они воспринимают пророчество как благую весть. Но между ними затесался непохожий на них горемыка, погруженный в свое собственное, отдельное от всех несчастье. Это богатый мещанин, который едет в том же вагоне за доктором для жены, умирающей в родах, — едет, зная, что не успеет ее спасти. Его несчастье не только никого не трогает, но, наоборот, вызывает злорадство. Мещанин не верит сказанию о видении священника, он вступает в спор с мужиками, и тут его личное горе сталкивается с горем народным: он обрушивает на себя ярость мужиков. Столкновение личного страдания с общественным вскрывает жестокую сущность пророчества.

⁷ Точнее, конь бледно-зеленый — ἵπλος χλωρός.

⁸ Букв. «иди», ἔρχου.

В самом деле, петухи и возвещаемые ими *большие дела* — это переворот общественный, который займется горем всенародным — повальной нищетой, оскудением земли. А что же отдельный человек, с его личным страданием, вызванным не всеобщим неустройством, а единственно его касающимися несчастьями — болезнью, смертью, обманом, предательством? Выясняется, что апокалиптический путь решения народных проблем непригоден для проблем личных. Спасение отдельных утопающих — дело рук самих утопающих. Мещанин — это именно такой самостоятельно утопающий, которому не полагается никакого сочувствия от «общественно» страдающих попутчиков. Антипод мещанину — старичок-священник, который печется лишь об обществе и не горюет ни о смерти дочери, ни о своих собственных болезнях и близящейся смерти. Потому-то священник избран быть народным пророком, мещанин же с вагонным обществом сойтись не может. В разгаре спора с мужиками он бранит их «таким тоном, точно был в вагоне один». После безуспешной попытки объяснить им свое состояние, не дослушав продолжения легенды о «больших делах», мещанин засыпает. Во сне, наедине с собой, он войдет в общение с потусторонними силами и получит свой ответ. Предвещенные «большие дела» назначены для глобальных проблем, но и личное страдание разрешается не иначе как мистически. Мещанин не верит в песни петухов, зато у него есть своя, индивидуальная магическая опора — гадания и вещие сны.

Отвержение личного страдания вполне соответствует духу *Откровения*. Всевышний печется лишь о массах, но не о личностях. Так, когда души праведников, убиенных за слово Божие, требуют возмездия, им велено подождать, пока не соберется достаточное число таких мучеников:

И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополняют число [*Откр* 6: 10—11].

Массовый подход к спасению проявляется и в том, каким образом кладутся «печати на челах рабов Божиих» [*Откр* 7: 3]. Охранительная печать ставится разом двенадцати тысячам избранных от каждого из двенадцати колен Израилевых — и неясно, дается ли она по личным заслугам или просто гуртом по запланированной норме:

Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова ..., из колена Асирова ... , из колена Неффалимова ..., из колена Манассиина ..., из колена Симеонова ..., из колена Левиина ..., из колена Иссахарова ..., из колена Завулонова ..., из колена Иосифова ..., из колена Вениаминова... [*Откр* 7: 4—10].

• *День, к которому приурочено видение.* Как в *Откровении*, так и в «Снах», видение назначено на праздничный день Божий. Ср.:

[Откр 1: 10]. Я был в духе в день воскресный⁹ и слышал позади себя громкий голос

«Сны»: вышел он на Покров после обедни к народу — и простился со всеми

• *Видение — не личная собственность пророка:* он обязан как можно шире распространить среди своих собратьев данную ему весть. Божественный Вестник, явившийся св. Иоанну, велел ему записать свое видение и разослать по всей Азии, а затем положил на него «десницу свою» и сказал ему: «не бойся». Функции вестника в «Снах» разделили между собой дочь-покойница и монашек, на обоих — отсвет сияющих седин вестника. Они обращаются к священнику с теми же императивами, что и вестник к Иоанну. Дочь поднимает священника с ложа, она же кладет ему руку на руку, а монашек успокаивает священника, толкует видение и велит объявить его «всему народу». Ср.:

Откровение

Бунин. «Сны»

1:11. *То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии: в Эфес и в Смирну, (...)*

1:12. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, увидел (...) подобного Сыну Человеческому, (...)

1:14. Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; (...)

1:17. И Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся; (...)

1:19. Итак напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после того

и входит ко мне дочь-покойница. (...) А она проходит прямо ко мне и кладет мне руку на руку. Сама вся в черном, а лицо белая, белая да красивая! И этак вполголоса: «Встань, говорит, батюшка, иди поскорее в церковь».

И только, это, сказал я, — нет тебе никаких кочетов, а стоит передо мною седенький-седенький монашек и говорит мне тихим голосом: «Не пужайся, служитель Божий, а объяви всему народу, что, мол, означает твоя видение. А означает она ба-альшие дела!»

• *Исполнение задания.* Подобно св. Иоанну, священник выполнил возложенную на него миссию. Он, как и сам предсказал, вскоре умер, но успел объявить свое видение кому-то, кто, по цепочке, понес его далее в народ. Цепочка бесконечна, одно из ее звеньев составляет вагонный рассказ, и возможное следующее звено уже реально проглядывается в рыжем мужике, которому, из уст в уста, передается весть о готовящихся «больших делах»: «Мужик, рассказывавший про петухов, сидел, подавшись вперед к рыжему, и что-то негромко, но горячо говорил». Этот рыжий понесет зажигательную весть дальше и, может быть, осуществит ее.

• *Звуковые сигналы.* Текст роздан по частям нескольким наблюдателям, членам разных сословий: господин NN, вокзальный сторож, рассказчик в вагоне, его слушатели — рыжий мужик и мещанин и наконец старичок-священник и его служка. Наблюдатели сменяются, и NN предоставляет слово каждому из них, не вмешиваясь в его рассказ. Сторож рассказывает о мещанине и его жене; мещанин — о

⁹ Точнее, «в день, принадлежащий Богу», ἐν ἡμέρῃ ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρῃ

самом себе; рассказчик в вагоне — о священнике; священник же разговаривает со своими прихожанами и служкой и рассказывает о своем видении. Поля наблюдения расположены концентрически, причем явление петухов в церкви составляет самый внутренний круг, и наблюдатель в нем — один только священник. Его видение — это сердцевина «Снов», погруженная в контекст сказания, доложенного вагонным рассказчиком. А это сказание, в свою очередь, погружено в контекст всей поездки, о которой рассказывает пассажир из господского отделения — NN, главный Наблюдатель и представитель автора.

Этот последний, внешний круг наблюдения, охватывающий все события авторским зрением, до краев переполнен *сном и шумом*. Множество людей крепко спит, спящие тяжело храпят, задыхаются. Разнообразные железнодорожные сигналы — звуковые и световые — совершенно не мешают спать пассажирам, однако то и дело чувствительно встряхивают текст. Сигналов этих так много, они прерывают ткань повествования так часто, что в конце концов свинчиваются в почти самостоятельное единство, со своим собственным содержанием.

И сон, и сигналы вступают в текст еще в самом его начале, до посадки в поезд: в зале ожидания спит сторож, и сам NN, перейдя в господское отделение вокзала, засыпает. Затем тишина разрывается группой сигналов, идущих косяком, один за другим: бьют часы, хлопает дверь, жалобно ноет звонок. Слышен тяжелый шум проезжающего товарного поезда. И наконец, подходит долгожданный пассажирский:

Наконец, сотрясая зазвеневшие рельсы, загорелся в тумане своими огромными красными глазами пассажирский паровоз.

Это, конечно, вполне реалистический поезд, однако тому, кто читает рассказ повторно (т. е. тому, кто уже знаком с видением о петухах и с его апокалиптическими аллюзиями), шумное, помпезное приближение поезда должно напомнить о других звуках — а именно, о той симфонии громов, которая предшествовала видению св. Иоанна и сопровождала его:

И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников горело перед престолом [Откр 4: 5].

Появлением поезда серия предваряющих сигналов оканчивается. Но звуко-световая маркировка текста продолжается до самого конца «Снов». Громкие сигналы то и дело вторгаются в спящую жизнь бегущего поезда — неожиданные звуки раздаются изнутри и извне, они порождаются самим поездом, его колесами, дверьми и его персоналом — кондуктором, истопником. Хлопают двери, кричит кондуктор, звенят на станциях звонки, и, перекрывая все эти резкие, дискретные звуки, звучит непрерывный «гул под полом бегущего вагона».

Гул — это главный из всех сигналов — непрерывающийся, неумолимый, неотменимый. Однако, по ходу поезда, качество этого постоянного звука заметно меняется: слышный сначала как гул, после рассказа о петухах он превращается в *говор колес* (ср. *говор мужиков*), затем в *глухое гудение вагона*, и наконец возвра-

щается уже как *ропот колес*, вбирающий в себя продолжение рассказа о «больших делах»: «Тщетно я вслушивался — все тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих».

Звуковые сигналы все раздаются во внешнем кругу повествования. Во внутренний круг, в разговор о священнике, они не проникают. Беседующие мужики, хотя и бодрствуют, на вагонные шумы не реагируют. Однако похоже, что есть обратное влияние — мужицкой беседы на вагонный гул. Во всяком случае, подспудная связь проглядывается в изменяющемся настроении гула. Динамика изменений (*гул под полом > говор колес > глухое гудение вагона > ропот колес*) создает впечатление, что вагон, присоединившись к группе мужиков, тоже слушает историю о священнике и, постепенно заряжаясь мужицким гневом, начинает роптать и готовиться к «большим делам». Привычный вагонный звук одушевляется и становится скорее гневным гласом стихии, нежели механическим порождением цивилизации. Непрерывный гул выдвигается вперед как ведущая стихийная сила, которая повелевает остальными, мгновенными сигналами. Ведь все эти сигналы — железнодорожные, а значит, подвластные гудящему гласу вагонного бога.

Зависимость между вагонным гулом и сказанием о священнике намечает невидимую, но тесную связь сигналов внешнего круга повествования с его сердцевиной. Звуко-световые сигналы в «Снах» не только составляют осмысленный и необходимый контекст, поддерживающий и усиливающий центральную идею, но и активно участвуют в действии как самостоятельная сила — царственная, владетельная. Природа в этом рассказе оттеснена вагонными сигналами, которые заняли ее знаковое место¹⁰. Сигналы эти аналогичны звуко-световым эффектам в *Откровении*, где упорядоченное, детальное разрушение мира начинается с громов и молний и дирижируется семью Ангелами, по очереди трубящими в семь труб:

И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; (...). Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, (...) Четвертый Ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была — так, как и ночи [Откр 8: 5—12].

Скопления сигналов во внешнем кругу рассказа обращены к пассажирам, которые их не замечают. Бодрствуют, помимо NN, лишь те немногие, кто слушает рассказ о видении священника — а они внимают сигналам, исходящим из это-

¹⁰ Э. А. Полоцкая (1973: 74) отмечает, что в рассказах этого периода Бунин «всегда ищет в природе “знак” (хороший или плохой) какого-то общего явления».

го видения, и никаким другим. Те же, кто спят в отделении 2-го класса — спят несмотря ни на какие сигналы. Колесные и человеческие шумы неоднократно и упорно соединяются в тексте, — то ли для того, чтобы совместной мощью пробудить спящих, то ли для того, чтобы прочной звуковой стеной оградить покой бессознания. Нейтрализуя оппозицию сна и шума, храп спящих вступает в союз с гудением вагона:

- глухо гудел ропот колес, сливающийся с храпом и сонным дыханием [зачеркнуто при правке 1953 г.],
- И опять наступила тишина с глухим говором колес, храпом и задыханием спящих.
- Тщетно я вслушивался — всё тонуло в ропоте колес и в тяжком храпе спящих.
- Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза,

В конце концов стихийные сигналы удаляются вон из вагона; последний, прощальный свисток раздаётся извне, издалека, и ему удается извлечь из глубокого сна одного пассажира 2-го класса, но лишь на мгновение:

Заслышав сквозь этот ропот и храп далекий заунывный свисток паровоза, возмущавший о станции, с лавки возле меня поспешно вскочил юнкер в очках, оглянулся вокруг себя странными глазами и, опять быстро опустившись на скамью и облокотившись на свой сундучок, тотчас же опять заснул.

*

Поверхностный текст «Снов» устроен в точном соответствии с полями наблюдения и представляет собой серию разговоров (устных повествований), следующих друг за другом и сцепленных письменным повествованием г-на NN. Обратив внимание на соотношение разнообразных разговоров с звуковыми сигналами, обнаруживаем, что рассказ делится на несколько частей, сходных по строению:

- *Диалог*: сторож рассказывает о несчастье и сне мещанина. Тема: личное горе («у всякого свое горе»).
- *Монолог*: рассказ о священнике. Тема: общее горе («всюду»).
 - (а) *Диалог* с прихожанами. Тема: ничтожность личных нужд.
 - (б) *Диалог* со служкой. Тема: ничтожность личного горя.
- Продолжение *монолога*:
 - (а) рассказ о сне священника. Тема: общее горе.
 - (б) рассказ самого священника о трех кочетах. Тема: пророчество.
- *Полилог*: мещанин против всех. Тема: личное горе.
- Неслышный *монолог*. Тема: «большие дела», которые покончат с общим горем.

Каждый из разговорных отрезков обрамлен сигналами, о которых докладывает NN. Все разговоры посвящены человеческому страданию, которое расщепляется на две несовместимости — страдание общественное и личное. Исключение — как тематически, так и структурно — составляет пророческий Ich-Erzählung священника. К тому моменту, когда слово передается священнику, все стихийные шумы

исчезают, и роль сигналов выполняют песни кочетов, которые не обрамляют монолог, а прорезают его, — и докладывает о них сам священник¹¹.

Все линии «Снов» сходятся в NN, который сшивает все части и участвует в действии, не раскрывая себя. Управляя текстом, он держится на расстоянии от событий и лишен личных свойств. Читателю позволено узнать о нем только то, что он, во-первых, из господ:

в начале: Я прошел в комнату для *господ*

в конце: — А тебе, *господин*, что надо? — Послушать хотел, — ответил я. — Не *господское* это дело мужицкие побаски слушать.

во-вторых, живет где-то в окрестности этой станции («в пустом вокзале *нашей* захолустной станции»), но не близко, так как прибыл на станцию «утомленный *тяжелой дорогой* под дождем и снегом». Как он добрался до станции, куда и зачем едет — неизвестно. Создается впечатление, что он садится в поезд с одной лишь целью: наблюдать. Свои ощущения NN склонен передавать тому, что он видит вокруг. Вагонный мир предстает ему в различных оттенках сумрака, которые соответствуют его состоянию. Войдя в вагон из «темноты сырой и ветреной ночи», усталый и в полусне, он видит свое спящее отделение в *зыбком* сумраке, как бы нереальное. Услышанное в вагоне, должно быть, отогнало от него сон, и к концу рассказа он видит не спящих, а серьезных и злых мужиков в ином, *дымном* сумраке. Дым от махорки, вероятно, смыкается с размышлениями о будущих пожарах. Оттенки сумрака расположены симметрично, в начале и в конце рассказа:

в начале: *В зыбком сумраке* вокруг меня беспорядочно темнели лежащие на лавках и на поднятых спинках лавок, под полом гудели колеса, и, *закрывая глаза*, я все терял представление, в какую сторону идет поезд.

в конце: Несколько полшубков стеснились вокруг рассказчика, несколько *серьезных* глаз блестело в *дымном сумраке* глухо гудящего и бегущего вагона.

{...}

когда я *настораживался*, чтобы расслышать, что он говорит, из *дымного сумрака* против меня ничего не было слышно, только блестели *серьезные и злые* глаза.

NN внимательно рассматривает всё и всех, всем дает высказаться, сам же нейтрален — но бесконечно печален. Причем печален он тоже отстраненно, метонимически. Вместо того, чтобы сказать, что он опечален, он говорит, что печальны объекты, соприкоснувшиеся с его мыслями и зрением. Эти печальные объекты, так же как и оттенки сумрака, стратегически расположены в начале и конце текста:

в начале: «И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей», — *вспомнилась мне печальная строка* из какой-то старой русской книги.

¹¹ Ограниченный объем этой статьи не позволяет показать, с какой точностью распределены все сигналы относительно разговоров.

в конце: «Лежащие, мешки, сундуки и полушубки составляли грубую и печальную картину, которая раскачивалась *передо мною*».

Спящие в вагоне противопоставлены бодрствующей группе мужиков. Но NN не принадлежит ни к тем, ни к другим. Он единственный, кто слышит сигналы и внимательно следит за ними и понимает их смысл. Он знает, что спящие господа, не внимающие грозным предупреждениям, в решительный момент не получат охранных печатей и, соответственно, будут все скопом ввергнуты в пучину бедствий. Один он не в силах предотвратить «большие дела». Но, соединив свое свидетельство с *Откровением*, он пытается открыть свое знание о будущем, опираясь на авторитет св. Иоанна.

* * *

Рецепция современников как бы повторила ситуацию рассказа: «Сны» были приняты относительно благосклонно¹², и спящие не были разбужены. Сам Бунин, судя по всему, этим рассказом был доволен, так как из всей прозы, опубликованной им до 1911 г., только «Сны» удостоились переиздания в сборнике 1954 г.¹³, с небольшими исправлениями, в результате которых рассказ укоротился на целую страницу. Наиболее существенная купюра — это семь строчек накаленного диалога между мещанином и рыжим мужиком, в котором обмен взаимными угрозами сочетался с прозрачными политическими намеками. Вся остальная правка микроскопична, однако здание текста существенно укрепилось и яснее стали глубинные цели. Так, например, правка отнимает у NN его *полушубок* и *вещи*, тем самым начисто освобождая его от внешних признаков, ср.:

До правки:

Не снимая полушубка, я лег на вытертый плюшевый диван (...).

Захватив вещи, я направился в полутемный, теплый и воноющий вагон (...).

После правки:

Я лег на вытертый плюшевый диван (...).

Я поднялся в полутемный, теплый и воноющий вагон (...).

Таким же способом, зачеркивая отдельные слова и фразы, Бунин изменяет качество времени в тексте. Первоначальный вариант начинается с приблизительного

¹² См.: [Михайлов 1965].

¹³ Непосредственной причиной выбора именно «Снов» был похвальный отзыв Чехова, в письме к А. В. Амфитеатрову 13.4.1904 [Чехов 1951: 267—8]: «Сегодня читал “Сборник” изд. “Знания” (...) прочел там и великолепный рассказ Бунина “Чернозем”. Это в самом деле превосходный рассказ, есть места просто на удивление». Этот отзыв Бунин цитирует в своем пространном P. S. (см. [Бунин 1954: 382]), опустив название рассказа — вероятно потому, что оценивал «Сны» выше, чем «Золотое дно». «Сны» должны были сопровождать воспоминания о Чехове, которые Бунин предполагал включить в сб. «Петлистые уши», но не успел закончить.

указания времени при подходе к станции: «Еще не было и пяти часов». В господской комнате ожидания в поле зрения сразу попадают стенные часы, которые затем дважды уточняют время. В первый раз они просто показывают время, второй же раз — бьют, причем одновременно с другими вокзальными звуками:

Я прошел в комнату для господ — там медленно постукивали в полусумраке *стенные часы*, (...) Я лег (...) и тотчас уснул (...) открыв глаза, с тоской увидел, что на часах всего *половина седьмого*. (...)

Когда часы нерешительно, *точно раздумывая*, *пробили восемь*, где-то *завизжала* и *гулко хлопнула* дверь, а на платформе *жалобно занял звонок*.

Начиная с этого места, текст 1903 г. испещрен был разнообразными показателями времени: «не будет конца этому вечеру», «Медленно текли минуты за минутами», «ночь на дворе», «посмотрев на часы», «далеко за полночь», «в это время», «уж день скоро», «тотчас же», «теперь». В редакции 1953 г. из всех показателей времени остались только стенные часы, нерешительное раздумье которых неслучайно. Как мыслящее существо, часы сознательно передают эстафету времени звуковым и световым сигналам. Сигналы повысились в ранге, они стали временем, и, вплоть до самого конца рассказа, единолично и ответственно выполняют возложенную на них обязанность. Все события в вагоне теперь происходят не в обычном времени, а в сигнальном.

* * *

В 1901 г. Бунин опубликовал рассказ «Новая дорога», который своими деталями и их словесным оформлением разительно напоминает «Сны». Петухов там нет, но есть повествователь, который ходит «из вагона в вагон», есть «дрожащий сумрак», храпящие пассажиры, кучка курящих мужиков, обилие поездных шумов, дым и пламя. Этот рассказ, с его размышлениями о «замученном народе», много откровеннее, чем «Сны». Но ниточки, ведущей к *Откровению*, в «Новой дороге» нет. И, что важнее всего, нет структуры, одушевляющей шуму и гибко сплетающей сигналы с человеческой речью. Связь «Снов» с Новозаветным пророчеством преобразует все поездные детали, но остается неявной — потому, что Бунин опирает свой рассказ на одни только сигнальные элементы *Откровения*. Он уклоняется от всех предвещаемых событий, от тотального разрушения мира до нисхождения Нового Иерусалима, оставляя от Апокалипсиса только его сигнальный силуэт. Содержание пророчества сжато в единый, нерасчлененный знак, и мрачная тень, которую оно отбрасывает на «Сны», неопознаваема. Рассказ Бунина — это по мерке построенная пустая сигнальная рамка, которую будущее должно было заполнить апокалиптическими событиями¹⁴.

¹⁴ Возможно, что диалог мещанина и рыжего, откровенно сталкивающий враждебные классы, при правке был изъят потому, что нарушал идеальную пустоту рамки.

ЛИТЕРАТУРА

- Бекетова 1990 — *Бекетова М. А.* Александр Блок: Биографический очерк (1922, 1929) // *Бекетова М. А.* Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990. С. 19—204.
- Белый 1905 — *Белый А.* Симфония 2-я (драматическая) // *Белый А.* Четыре симфонии. М., 1905, 1908, 1917. (Репринт: München: Wilgelm Fink, 1971. С. 122—326.)
- Белый 1990 — *Белый А.* Начало века. М.: Худ. лит., 1990.
- Белый 1924 — *Белый А.* Одна из обителей царства теней. Л.: Госиздат, 1924. (Репринт: *Bely A.* In the Kingdom of Shadows. Leichworth: Prideaux Press, 1971.)
- Бунин 1904 — *Бунин И. А.* Чернозем // Сборник товарищества «ЗНАНИЕ» за 1903 годъ. СПб.: Изд. товарищества «ЗНАНИЕ», 1904. С. 113—131.
- Бунин 1954 — *Бунин И. А.* Петлистые уши и другие рассказы. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1954. С. 375—382.
- Гиппиус 1999 — *Гиппиус З.* Дневники. Т. 1, 2. М.: НПК Интелвак, 1999.
- Гречнев 2003 — *Гречнев В.* Рассказ И. Бунина «Далекое» // Русская литература. 2003. № 3. С. 133—137.
- Гусев-Оренбургский 1909 — *Гусев-Оренбургский С. И.* Грани // Современный мир. 1909. № 7.
- Князев 1922/1991 — *Князев Г. А.* Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 1915—19 гг. // Русское прошлое. 1991. 2. С. 97—199; 1993. 4. С. 35—149.
- Михайлов 1965 — *Михайлов О.* Примечания к «Снам» // *Бунин И. А.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 2. 1965. С. 517—518.
- Михайлов 1976 — *Михайлов О.* Строгий талант. М.: Современник, 1976.
- Осоргин 1989 — *Осоргин М. А.* Времена. (Автобиографическое повествование. Романы.) М.: Современник, 1989. С. 12—153.
- Полоцкая 1973 — *Полоцкая Э. А.* Чехов в художественном развитии Бунина / 1890—1910-е годы // Лит. наследство. М.: Наука, 1973. Т. 84 (2). С. 7—21.
- Струве 1919/1921 — *Струве П.* Размышления о русской революции // Русская мысль. София, 1921. Кн. I, II. С. 7—37.
- Ходасевич 1996 — *Ходасевич В. Ф.* Некрополь. Литература и Власть. Письма Садовскому. М.: СС, 1996.
- Чехов 1951 — *Чехов А. П.* Письмо к Амфитеатрову // *Чехов А. П.* Полное собрание сочинений и писем. Т. XX. М.: Худ. лит., 1951. С. 267—268.
- Ясенский 1996 — *Ясенский С. Ю.* Пассеизм Бунина как эстетическая проблема // Русская литература. 1996. 4. С. 111—116.
- Briker 1998 — *Briker B.* Time, History and Fairy Tale in Ivan Bunin's «A Cold Autumn» // Canadian Slavonic Papers. 1998. XL (1). С. 125—136.
- Langleben 1994 — *Langleben M.* The Guilty House: A textlinguistic approach to the shortest prose // *I. A. Bunin.* Elementa. Vol. 1. 1994. № 3. P. 265—304.
- Richards 1971 — *Richards D.* Memory and Time Past: A Theme in the Works of Ivan Bunin // Forum for Modern Language Studies. 1971. 7. 2. P. 158—169.
- Woodward 1981 — *Woodward J. B.* Ivan Bunin: A Study of his Fiction. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1981.

Г. А. Левинтон

ЗАМЕТКИ ОБ ИВАНОВЫХ

ср. различие между разговорным
русским *Всеволодыч* и *Иванов сын*¹

Для непомнящих Иванов,
Не имеющих родства,
Все равно какой Иванов,
Безразлично — трын-трава.

Георгий Иванов.
*Паспорт мой сгорел когда-то*²

1. Вяч. Иванов, Пушкин и Петрарка

Розы Вячеслава Иванова —
Солнцем лобызаемые уста.
Алая радость святого куста —
Розы Вячеслава Иванова!
В них яркая кровь полдня рдяного...

Ф. Сологуб. Триолет

В недавней работе, посвященной истории формулы *блажен, кто...*³, я должен был мимоходом коснуться и некоторых «смежных» форм, таких как *благословен...*, *блаженство*, *благодать* и т. п. Среди таких примеров обращает на себя внимание предикативное и начальное *Благословен* в зачине и далее в тексте перевода Вяч. Иванова из Петрарки (1915) — LXI сонета на жизнь Мадонны Лауры⁴:

¹ *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание: Доклады советской делегации: V Междунар. съезд славистов. М.: Наука, 1963. С. 136.

² *Иванов Г.* Собр. соч. М., 1994. Т. 1. С. 537.

³ *Левинтон Г. А.* *Блажен, кто...* К истории формулы // Русская судьба крылатых слов. СПб.: Наука, 2010. С. 141—239.

⁴ В. Т. Данченко называет всего 15 переводов этого сонета, из которых перевод Вяч. Иванова перепечатывается намного чаще остальных (*Данченко В. Т.* Франческо Петрарка: Библиографический указатель русских переводов и критической литературы на русском языке. М.: Книга. 1986. С. 19—21).

Благословен день, месяц, лето, час⁵
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край, и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!

Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце бог, тайком разящий нас!

Благословенны жалобы и стоны,
Какими оглашал я сон дубрав,
Будя отзвучья именем Мадонны!

Благословенны вы, что столько слав
Стяжали ей, певучие канцоны, —
Дум золотых о ней, единой, сплав!

Benedetto sia 'l giorno, e 'l mese, et l'anno,
et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto,
e 'l bel paese, e 'l loco ov'io fui giunto
da' duo begli occhi che legato m'anno;

et benedetto il primo dolce affanno
ch'i' ebbi ad esser con Amor congiunto,
et l'arco, et le saette ond'i' fui punto,
et le piaghe che 'nfin al cor mi vanno.

Benedette le voci tante ch'io
chiamando il nome de mia donna ò sparte,
e i sospiri, et le lagrime, e 'l desio;

et benedette sian tutte le carte
ov'io fama l'acquisto, e 'l pensier mio,
ch'è sol di lei, sí ch'altra non v'à parte.

Благословен — с вариациями окончаний — повторяется в переводе в ст. 1, 3, 5 (*благословенна*), 9, 12 (оба — *благословенны*). В оригинале Петрарки несколько сложнее: ₁Benedetto sia 'l giorno; ₅et benedetto ₉Benedette; ₁₂et benedette. Повторы 1—2 Vs 3—4 объединены числом, а четные (2, 4) противопоставлены нечетным (1, 3) наличием союза, при этом 1 и 4 объединены тем, что за ними следует один и

⁵ Первый стих перевода Вяч. Иванова отразился, например, в стихах В. Маккавейского «Ямбы»: «И прадед в подмосковном парке, / Молясь на звезд иконостас, / Благословляя вослед Петрарке / Великий День, и Миг, и Час» (*Маккавейский В. Стилоз Александрии*. Киев, 1918. *Он же*. Избранные сочинения. Киев, 2000. С. 74, ср.: *Левинтон Г. А.* «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама. // *Russian Literature*. Vol. V. № 2. С. 225, прим. 152).

тот же глагол: ,sia, ₁₂sian). Таким образом, анафора как в оригинале так и в переводе выделяет начало всех частей сонета: обоих катренов (ст. 1 и 5) и обоих терцетов (ст. 9 и 12), но у Вяч. Иванова добавлен еще повтор в начале 2-го двуступишия первого катрена, видимо, для того, чтобы сохранить грамматическое тождество, отличающее первый повтор, т. к. в ст. 5 появляется женский род.

Не исключено, что прямым источником Иванова могла быть строка Пушкинского черновика, первого наброска стихотворения, печатаемого в Большом академическом собрании под конъектурным названием «(Фазил-хану)»

Благословен и день и час
Когда в горах Кавказа
Судьба соединила нас⁶.

Фрагмент этот посвящен персидскому поэту из свиты Хосрова-Мирзы, ставшему персонажем «Путешествия в Арзрум»⁷. Слово *Благословен* было, несомненно, ключевым в этом замысле, оно появляется в первом же черновом наброске, повторяется в нескольких разных контекстах (Благословен твой путь, Благословен твой путь; б. Благословен твой новый путь)⁸ и в последнем слое остается начальным словом стихотворения:

Благословен твой подвиг новый,
Твой путь на север наш суровый,
Где кратко царствует весна,⁹ —

и оно, несомненно, взаимосвязано с диалогом в «Путешествии в Арзрум»¹⁰, вернее двумя связанными между собой диалогами. В гл. I Пушкин встречает Фазил-хана, адресата несостоявшегося стихотворения:

Ждали персидского принца¹¹. (...) конвойный офицер объявил нам, что он провозжает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощью переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неумест-

⁶ Пушкин А. С. Другие редакции и варианты: Стихотворения, 1828—1836. Сказки // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 3, кн. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 729.

⁷ См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Л.: Наука, 1988. С. 461.

⁸ Там же. С. 729 и сн. 3а и б.

⁹ Там же. Т. 3, кн. 1. С. 160.

¹⁰ На эту связь (и на переключку первого эпизода с темой Грибоедова) обратил внимание, в частности, автор интересной статьи: Хржановский А. Ю. А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 г. Проекция на экран // Проблема синтеза в художественной культуре. М.: Наука, 1985. С. 186.

¹¹ Речь идет о Хосрове-Мирзе, как известно, направлявшемся в Петербург с «искупительным посольством».

ную затейливость простою, умной учтивостью порядочного человека!¹² (...) Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей *papaxe** и по крашеным ногтям.

Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы¹³.

Первый набросок стихотворения датирован «25 мая Коби», т. е. если верить хронологии «Путешествия», непосредственно после встречи с Фазил-ханом. Между тем турецкий паша, встреченный позже, обращается к Пушкину именно с таким приветствием, которое было осуждено тремя главами ранее:

(...) он спросил кто я таков. П(ущин) дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. (...)».

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось¹⁴.

Эти слова отзываются в «Путешествии» дважды: тематически — несколькими строками ниже, в последнем предложении гл. 4: «Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали»¹⁵, и чисто лексически — выше, в конце гл. 1, где то же слово появляется в атрибутивной функции: «К счастью нашел я в кармане дорожную, доказывавшую, что я

¹² «[П]орядочный человек — здесь дословный перевод, замена английского слова gentleman и французского gentilhomme» (Тынянов Ю. Н. О «Путешествии в Арзрум» // Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современник. М.: Наука, 1968. С. 204).

* Так называются персидские шапки (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8, кн. 1. С. 453, сноски).

¹³ Там же. Т. 8, кн. 1. С. 452—453. Эпизод не входил в текст «Путешествия» в «Современнике», а напечатан отдельно в «Литературной газете» в 1830 г. (о нем см.: Белкин Д. И. Встреча Пушкина с персидским стихотворцем Фазыл-ханом // Литературные связи и традиции. Вып. 4. Горький, 1974; Эйдельман Н. Я. Быть может за хребтом Кавказа. М.: Наука, 1990. С. 195). Первоначальный вариант (1829 г.) см. в реконструкции «Дневника» Пушкина: Левкович Я. Л. Кавказский дневник Пушкина // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XI. Л., 1983, С. 25. Говоря о хронологии заполнения «арзрумской тетради» исследовательница утверждает, что дата «25 мая. Коби» (в указ. изд. Т. 3, ч. 2. С. 729 — без точки) не относится к стихотворению, а «является дневниковой записью» (Там же. С. 9, ср.: Левкович Я. Л. Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 841 (История заполнения) // Там же. Т. XII. 1986. С. 244, 249), аргументация: «на этом листе оно только начато», — не вполне убедительна, ср. далее: «Затем поэт переворачивает страницу и начинает записи на л. 127: сверху набрасывает три черновые строки послания Фазиль-хану (“Благословен и ты поэт”)). Такого варианта в большом академическом собрании найти не удалось, в следующей работе (Левкович Я. Л. Рабочая тетрадь Пушкина. С. 249) текст дан по Полн. собр. соч.

¹⁴ Там же. С. 475 (пунктуация акад. издания, курсив мой. — Г. Л.). Собственно, диахроническая интерпретация этого более или менее очевидна (если, повторим, доверять хронологии путешествия): Пушкин начал стихи к Фазил-хану, но не стал продолжать, а формулу «восточного приветствия» отдал турецкому паше.

¹⁵ Там же. С. 476.

мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдони. *Благословенная хартия* возымела тотчас свое действие»¹⁶.

Этот эпизод лаконично, но емко прокомментирован Тыняновым¹⁷ и отразился в «Смерти Вазир-Мухтара» — в эпизоде приема у Фетх-Али-шаха¹⁸ и в финале романа, в описании посольства Хосрова-Мирзы (в романе — *Хозрев-Мирзы*)¹⁹. Каков был источник Тынянова для первой (Тегеранской) сцены, неясно. Мне не встретилось вообще никаких упоминаний о Фазил-хане в справочных работах о Грибоедове и в указателях к его сочинениям. Ближайший аналог — запись в «Летописи жизни и творчества А. С. Грибоедова»²⁰: «1819 Июля 14. Г. смотрел на факира, который расположился около их палатки; слушал стихи поэта Фехт-Али-Хана. (Соч. Г., 418.)». Речь идет о записи Грибоедова, как будто предвосхищающей тему «поэт — брат дerviша»: «(Июля). 14. Возле нашей палатки факир с утра до вечера кланяется к востоку и произносит: “Ей Али” и, обратившись в другую сторону, — “Имам Риза”. Поэт Фехт-Али-хан, лет около 60, кротость в обращении, приятность лица, тихий голос, любит рассказывать. Шах за одну оду положил ему горсть бриллиантов в рот»²¹.

¹⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 8, кн. 1. С. 455.

¹⁷ Тынянов Ю. Н. О «Путешествии в Арзрум». С. 204.

¹⁸ Тынянов Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара. Л.: Сов. писатель, 1975. С. 334: «Это был придворный поэт Фазиль-хан. В обязанность его входило чтение стихов шаху, министрам и знатым иностранцам, а также и плохое качество стихов», 335—336: «Фазиль-хан мелкими шажками подошел к Грибоедову и сказал ему по-французски: — Ваше превосходительство не посетует на поэта, приветствующего знаменитого сына великой страны. (...) он декламировал похоже на Шаховского — подвывая. Против ожидания стихи были порядочные (...) — Прекрасно. Я тронут. Ваши стихи можно сравнить со стихами нашего знаменитого поэта, сиятельного графа Хвостова. И Фазиль-хан покраснел от удовольствия». — Это одна из ситуаций, где Грибоедов в романе «превосходит» Пушкина, который принимает персидского поэта всерьез (за пределами романа, в заметке для «Литературной газеты», включенной Тыняновым в текст «Путешествия в Арзрум», — я благодарю А. А. Долинина, познакомившего меня с предварительными результатами своей работы над текстологией «Путешествия в Арзрум»). Сцена в Тегеране во многих отношениях соотнесена со сценой в Петербурге (С. 406), где Хвостов в присутствии Фазиль-хана читает приветствие Хозреву-мирзе. В последней части романа имя Фазиль-хана становится лейтмотивом при описании свиты персидского принца (С. 397, 398, 400).

¹⁹ Ср. краткую сводку сведений: Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников / Ред. и прим. З. Давыдова. Л., 1929. С. 326, прим. 122 (зд. *Хозрев-Мирза*, в тексте Н. Муравьева-Карского — *Хозрой-Мирза*).

²⁰ Пиксанов Н. К. Летопись жизни и творчества А. С. Грибоедова. 1791—1829. М., 2000. С. 28.

²¹ Путевые записки // *Грибоедов А. С. Сочинения* / Подгот. текста, предисл. и коммент. В. Орлова. М.; Л.: Гослитиздат, 1959. С. 418. Пиксанов ссылается на это издание, хотя этот эпизод был и в Собрании сочинений Шляпкина и Пиксанова (1911—1917), здесь эта запись включена в «Путешествие с Шахом» (*Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений*: [В 3 т.]. Т. 3. Пг.: Изд. Разряда изящной словесности Акад. наук,

Из нее, вообще говоря, не следует, что Грибоедов слушал стихи²², скорее — рассказы придворного поэта²³. Однако не исключено, что Тынянов понял ее так же, как Пиксанов, а в романе заменил одного поэта другим и передвинул само событие из 1819 г. в 1828²⁴.

Вяч. Иванов, вероятно, знал стихотворный черновой набросок Пушкина: он был опубликован В. Е. Якушкиным в описании рукописей Пушкина в 1884 г.²⁵,

1917. С. 58). В хронологической канве: *Пиксанов Н. К.* Избранные хронологические даты к биографии А. С. Грибоедова // Там же. Т. 3. С. 366—374 — этот эпизод не упомянут.

²² Не очевидно и то, что Грибоедов в 1819 г. уже мог слушать стихи по-персидски, Ю. Е. Борщевский, иранист, проявлявший интерес к персидским делам Грибоедова, считал, что знание Грибоедовым персидского языка Тынянов сильно преувеличил.

²³ Остается неясным, упоминаются ли в заметках и письмах Грибоедова (см.: Полн. собр. соч. Т. 3. С. 191, 53, 58, 140, 250, 291, 314, 361) один персонаж или два. Разные написания (Фет-Али, Фехт-Али, Фатхали, Фетхали и т. д.) у Грибоедова и в новых источниках обусловлены различием транскрипции (так, в кн.: *Фомичев С.* Грибоедов. Энциклопедия. СПб.: Нестор-История, 2007. С. 356—357 на соседних страницах встречаем Фетх-Али-шах и Фатх-Али-шах — несомненно, об одном и том же лице). Об одном персонаже, губернаторе Тебриза и поэте, говорят комментари Н. К. Пиксанова и В. Н. Орлова к названному собранию сочинений, см. также: *Фомичев С.* Грибоедов. Энциклопедия. С. 356—357 и его коммент. в изд.: *Грибоедов А. С.* Сочинения / Вступит. ст., коммент, сост. и подгот. текста С. А. Фомичева. М.: Худ. лит., 1988). Двумя разными лицам их считают составители именного указателя к «Летописи» Пиксанова П. С. Краснов и А. Л. Гришунин, в указателе есть и «Фет-Али-Хан (Беглер-бек), губернатор Тавриза, поэт» и «Фехт-Али-Хан, глава придворных поэтов, автор поэмы “Шахиншах-наме”, посвященной царствованию Фет-Али-шаха — 28, 104» (даже если это разные лица, то на с. 104 речь все же, бесспорно, идет о губернаторе Тебриза). Нужно, однако, отметить, что Грибоедов в самом деле пишет об этих людях несколько по-разному, и похоже, что запись от 14 июля (у Фомичева в Энциклопедии — 16 июля, хотя в его изд. Сочинений, 1988, с. 412 стоит 14 июля) говорит о новом знакомстве. Если Грибоедов, действительно, встретил придворного поэта и даже главу придворных поэтов, писавшего под псевдонимом Саба (Сахаб по: *Бертельс Е. Э.* Очерк истории Персидской литературы. Л., 1928. С. 80—81), то речь, видимо, должна идти о разных людях, т. к. Саба, насколько я мог установить, был губернатором не Тебриза, а провинций Кум и Кашан (*Дорри Дж.* Саба // КЛЭ. Т. 6. М., 1971. Стлб. 581; *Рипка Я.* История персидской и таджикской литературы. М., 1970. С. 301—303). Если же он всюду пишет об одном человеке, то это никак не может быть Саба, автор «Шахиншахнаме», как полагает С. А. Фомичев, поскольку Саба умер в 1822 г. (*Дорри Дж.* Указ. соч., у Бертельса указан 1807/1808 год) и не мог фигурировать в записке «О Гилани», которую Пиксанов, Орлов и Фомичев датируют 1827 г. (Полн. собр. соч. Т. 3. С. 363).

²⁴ О таком совмещении персонажей и сжатии хронологии в «Смерти Вазир-Мухтара» см.: *Левинтон Г. А.* Источники и подтексты романа «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 7—15; *Он же.* Грибоедовские подтексты в романе «Смерть Вазир-Мухтара» // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 21—34.

²⁵ Русская Старина. 1884, ноябрь. С. 371.

факсимильно воспроизведен в 1899²⁶ и с 1909 г. входит в собрания сочинений Пушкина²⁷.

Однако совпадение с пушкинским текстом имеет, как кажется, ретроспективную объяснительную силу: вполне допустимо предположение, что первый вариант Пушкина непосредственно отражал итальянский текст Петрарки, начало его сонета: «Benedetto sia 'l giorno, et 'l mese, et l'anno, / et la stagione, e 'l tempo, et l'ora, e 'l punto...». Не исключено, что именно неуместность петрарковского зачина в этом контексте и побудила Пушкина отказаться от замысла стихов к Фазил-хану и освободить слово *благословен* от контекста и вызываемых им ассоциаций.

Пушкин мог также помнить и некоторые европейские продолжения петрарковского зачина. Его, как известно, повторил с минимальным варьированием Боккаччо:

Benedetto sia l'anno e 'l mese e 'l giorno,
e l'ora e 'l tempo, ed ancor la stagione,
che fu creato questo viso adorno
e l'altre membra con tanta ragione!

Год, месяц, день и час благословенны
То время, место, где сотворено
Все: этот лик, столь дивно совершенный,
И тело, мудрой стройности полно²⁸.

Он же был спародирован Дю Белле (*Les Regrets*, 25):

Malheureux l'an, le mois, le jour, l'heure, & le point,
Et malheureuse soit la fleteuse esperance,
Quand pour venir icy j'abandonnay la France:
La France, & mon Anjou dont le desir me poingt.

Этот сонет, видимо, включен в особую игру, которая, присутствует в *Les Regrets* и связана с зачинами «Блажен / благословен, кто» (*Heureux qui*), т. е. продолжениями так называемых макаризмов. В сборнике Дю Белле три сонета начинаются непосредственно с *Heureux*: сонет 20 (*Heureux, de qui la mort de sa gloire est suivie*), сонет 31 (*Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage*) и 94 (*Heureux celui qui peut longtemps suivre la guerre*)²⁹. Кроме того, еще четыре сонета содержат ту же формулу

²⁶ Русский Вестник. 1899, июнь. С. 387.

²⁷ См. комментарий // *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. Т. 3, кн. 2. 1949. С. 1181—1182.

²⁸ *Боккаччо Дж.* Фьезоланские нимфы [*Vossaccio G. Il ninfale fiisolano*], строфа CCLXXIV. Перевод Ю. Н. Верховского // *Боккаччо Дж.* Фьямметта. Фьезоланские нимфы / Изд. подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов, А. Д. Михайлов. М., 1968. С. 45 (Литературные памятники); Коммент. А. Д. Михайлова, прим. 39: «Здесь Боккаччо перифразирует известный сонет Петрарки: *Благословен день, месяц, лето, час (...)*».

²⁹ В этом сонете формула настойчиво повторяется и варьируется **Heureux celui qui peut longtemps suivre la guerre / Sans mort, ou sans blessure, ou sans longue prison! / Heureux qui (...)** **Sans dépendre son bien ou sans vendre sa terre! // Heureux qui peut en cour**

с некоторыми вариациями в анакрузе перед основным словом: сонет 24 (*Qu'heureux tu es, Baif, heureux & plus qu'heureux*), сонет 38 (*Ô qu'heureux est celui qui peut passer son âge*), 48 (*Ô combien est heureux qui n'est contraint de feindre*) — этот последний сонет, по мнению О. Ронена, полемически обыгрывается в «Домике в Коломне»³⁰ — и сонет 115 (*O que tu es heureux, si tu cognois ton heur*). Но при двух из этих сонетов появляются еще и негативные варианты. После сонета 24 следует цитированный сонет 25, пародирующий Петрарку, а сонету 115 предшествует сонет 114 с тем же прилагательным, что и в 25-м, но пародирующий уже не Петрарковский зачин а «количественную» разновидность макаризма: *трижды блажен, стократ блажен* (в частности, в «Гавриилиаде») или, как в данном случае, *трижды и четырежды блажен* — соответственно, в негативном варианте *трижды и четырежды злосчастен*: «O trois & quatre fois malheureuse la terre, / Dont le prince ne voit que par les yeux d'autrui». Можно предположить, что непосредственным предметом пародирования для Дю Белле была «Энеида» I, 94—99:

Talia voce refert: O terque quaterque beati!
 Quis ante ora patrum Trojæ sub mœnibus altis
 Contigit oppetere! o Danaum fortissime gentis
 Tydide, mene Iliacis occumbere campis
 Non potuisse, tuaque animam hanc effundere dextra!
 Sævus ubi Æacidæ telo jacet Hector {...}³¹

он [Эней] молвит голосом громким:

«Трижды, четырежды тот блажен, кто под стенами Трои,
 Перед очами отцов в бою повстречался со смертью!
 О Диомед, о Тидид, из народа данайцев храбрейший!

quelque faveur acquerre / Sans crainte de l'envie / **Heureux qui peut longtemps sans danger de poison (...)** // **Heureux qui sans péril peut la mer fréquenter ! / Heureux qui sans procès le palais peut hanter! / Heureux qui peut sans mal vivre l'âge d'un homme ! // Heureux qui sans souci peut garder son trésor, / (...)** et **plus heureux** encor / Qui a pu sans peler vivre trois ans à Rome! (финал перекликается с римской темой в сонете 31: «Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin, / Plus mon petit Liré, que le mont Palatin, / Et plus que l'air marin la douceur Angevine»).

³⁰ «... блажен, кто крепко словом правит | И держит мысль на привязи свою, — инверсия тоскливого Сонета 48 Дю Белле из *Les Regrets*: “O combien est heureux qui n'est contraint de feindre, | Ce que la vérité le contraint de penser, | Et à qui le respect d'un qu'on n'ose offenser | Ne peut la liberté de sa plume contraindre!”» (*Ronen O. An Approach to Mandel'stam. Jerusalem, 1982. P. 201, fn. 168*).

³¹ Есть некоторые основания предполагать (хотя автор не считает себя достаточно компетентным, чтобы проверить эту догадку), что Диомед, названный «по отчеству» и в соседстве с Ахиллом мог появиться здесь под влиянием схолии Калистрата (II в до н. э.) в честь Гармодия и Аристокитона, где эти герои появляются как жители Островов блаженных: «Нет, дорогой Гармодий, ты не умер, / Тебя на тех Блаженных островах, / Находит песня, где Ахилл быстрейший / И Диомед, Тидея сын живут» (пер. В. С. Крестовского // *Древне-греческие поэты в биографиях и образцах* / Сост. В. Алексеев. СПб., 1895. С. 9).

О, когда бы и мне довелось на полях илионских
 Дух испустить под ударом твоей могучей десницы,
 Там где Гектор сражен Ахилла копьем <...>³²

Уже на правах совсем отдаленного сходства позволим себе предположить, что два из цитированных здесь источника могли своеобразно отразиться в еще одном русском стихотворении, также связанном с Пушкиным, а именно «Лицейская годовщина 19 октября 1837 г.» Кюхельбекера. Его начало «Блажен, кто пал, как юноша Ахилл» может отражать упоминание Ахилла в «Энеиде» рядом с *terque quaterque beati* (на этом фоне начальная строка выглядит как сокращенная, но узнаваемая цитата из Вергилия: «тот блажен кто <...> повстречался со смертью <...> Там, где Гектор сражен Ахилла копьем» — конечно, с инверсией, т. к. Эней завидует судьбе павших троянцев, а не ахейн), а сама конструкция напоминает начало 31 сонета Дю Белле: «Heureux qui, comme Ulysse...».

2. Нечто об Иванове-Разумнике

— Почему Ив́анов? Ивано́в!
 — Степан — Степа́нов, Демьян — Демьянов,
 Иван — Ив́анов; почему же Ивано́в?
 Аргумент этот настолько поразил дежурного
 своею неожиданностью, что он не стал
 спорить <...> По крайней мере, поздно
 вечером, выкликая меня для посадки в
 «Черный ворон», он провозгласил: — Ив́анов!

Р. В. Иванов-Разумник. Тюрмы и ссылки

Статья Р. В. Иванова-Разумника: Ипполит Удушьев. Взгляд и нечто. Отрывок (К столетию «Горя от Ума»)³³ — сравнительно недавно обсуждалась в книге Омри Ронена о *серебряном веке*³⁴. Она играет здесь важную роль как локус первого появления (и контекст для первичной интерпретации) самого сочетания *серебряный век*. Перечислив основных авторов сборника «Современная литература», собранного тем же Ивановым-Разумником³⁵, Ронен замечает: «Но основной пафос книги

³² Пер С. Ошерова под ред. Ф. Петровского // *Вергилий*. Буколики. Георгики. Энеида. М., 1979.

³³ *Удушьев И.* Взгляд и нечто. Отрывок (К столетию «Горя от Ума») // Современная литература. Сборник статей. Л.: Мысль, 1925. С. 154—182. Перепечатано также в: *Белоус В. Г.* ВОЛЬФИЛА [Петроградская вольная философская ассоциация] 1919—1924. М., 2005. Кн. 2. С. 512—547. Замечательно, что этот псевдоним отражен в словаре Масанова.

³⁴ *Ronen O.* The Fallacy of Silver Age. Amsterdam, 1997. P. 65—77; *Ронен О.* Серебряный век как умысел и вымысел. М.: ОГИ, 2000. С. 97—110.

³⁵ См., например, его письмо к А. Белому от 21 января 1924 г. и комментариев к нему: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., вступит. ст. и коммент.

задан ее обрамлением: посмертной статьей Александра Блока “Без божества, без вдохновенья”, открывающей сборник, и “отрывком” “Взгляд и Нечто” Ипполита Удушьева³⁶. Ронена статья Удушьева интересует прежде всего как пасквиль на акмеизм, хотя пафос ее, как он отмечает, шире:

Иванов-Разумник всегда имел репутацию отличного редактора (...). Предоставляя на страницах своего сборника достаточно места таким вероятным оппонентам, как «опытный репетитор» Серапионовых братьев Евгений Замятин или осторожнейший и наименее вызывающий из формальной школы Б. В. Томашевский (...) бывший редактор «Заветов» и вождь «Скифов» обрушил шквал своего радикально-народнического негодования на трех главных врагов великого и священного, свыше вдохновенного и задушевного, национального и народного социально значимого искусства. Эти враги истинно русского искусства (...) Серапионовы братья, формалисты и в особенности акмеисты и другие наследники идей Николая Гумилева³⁷.

Всякий, кто ориентируется на поэзию постсимволистского поколения, видимо, склонен, несмотря на временную дистанцию, воспринимать статью Иванова-Разумника с такой же неприязнью, что и О. Ронен в своей книге³⁸. Те «болотные испарения русской критики, тяжелый ядовитый туман Иванова-Разумника», о которых говорил Мандельштам³⁹, вполне очевидны в «отрывке»

А. В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб.: Феникс: Atheneum, 1998. С. 277—278; Ронен О. Указ. соч. С. 98.

³⁶ Ронен О. Указ. соч. С. 99.

³⁷ Там же. Относительно национального и истинно русского искусства — кажется, можно увидеть продолжение этой темы в письме к А. Л. Бему, написанном почти через 20 лет, где также сравниваются деградирующие «поколения»: «Давно, еще лет двадцать тому назад, я слышал от вернувшегося из-за границы Андрея Белого, что в эмиграции великим поэтом прослыл Александр Гликберг (вместо Андрея Белого — Саша Черный!)» (Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. Л. Бему / Публ. Ж. Шерона и Л. Шерон // Звезда. 2002. № 10. С. 122).

³⁸ Замечательно, что так же реагировал на эту статью (через 53 года после ее появления) и Д. Е. Максимов, человек скорее символистской ориентации (он отметил и слова «серебряный век») — см.: Белоус В. Г. ВОЛЬФИЛА. Кн. 2. С. 547—549.

³⁹ Мандельштам О. А. Блок (7 августа 21 г. — 2 августа 22 г.) // Россия. 1922. № 1. С. 28; Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1993. С. 252. К контексту ср.: Ронен О. Указ. соч. С. 105—106, отчасти ср.: Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Paris. YMCA-Press, 1978. С. 24—25 — впрочем, сообщение о полном неприятии Мандельштамом террора с.-р. и народовольцев плохо согласуется со свидетельствами самого поэта в «Шуме времени». Ср. также отзыв бывшего члена той же партии с.-р.: «Я ненавижу Иванова-Разумника, Горнфельда, Василевских всех сортов, убийцу русской литературы (неудачного) Белинского. Я ненавижу всю газетную мелочь — критиков современности. Если бы у меня была лошадь я ездил бы на ней и ею топтал бы их» (Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Берлин., 1924. С. 131 — в советском изд. 1929 г. выпущено), чуть ниже (С. 134) упоминается Мандельштам. «Василевские всех сортов» — видимо, имеются в виду «Буква» и «Небуква», намерение топтать критиков восходит к пушкинской автоцитате «На критиков я еду, не свищу, Как древний

Удушьева:⁴⁰ выпады — далеко выходящие за границы приличия, даже по отношению к живым — против формалистов, Серапионов, Замятина⁴¹, а тем более Гумилева, расстрелянного, в сущности, недавними попутчиками социалиста-революционера Иванова-Разумника, — своего рода «стравливание покойников» (публикация статьи «Без божества, без вдохновенья», которой суждена была своеобразная роль в советской борьбе с акмеизмом)⁴². Нас здесь интересует, прежде всего, один аспект этой полемики — антиформалистический; в статье Удушьева он сосредоточен в главке «Нечто о методе»⁴³. По нашему предположению, один из участников сборника «Современная литература», выступивший в нем с «некрологом» формализму⁴⁴, через четверть века вспомнил эту полемику и перевел ее в чи-

богатырь. ...» («Домик в Коломне»). О переключках этого места с «Четвертой прозой» см.: *Гаспаров Б. М. «Извиняюсь» // Культура русского модернизма: Статьи, эссе и публикации в приношение В. Ф. Маркову / Readings in Russian Modernism. To Honor V. F. Markov / Ed. by R. Vroon, J. Malmstad, M., 1993 С. 114—115; Шиндин С. Г. Мандельштам и Шкловский: Фрагменты диалога // Тыняновский сборник. Вып. 13. XII—XIII—XIV тыняновские чтения. М., 2009. С. 360.*

⁴⁰ Кое-где его пафос положительно напоминает набоковского Моргуса, например: «Прошли наивные времена, когда сенсацию производила рифма с enjambement у Сологуба —

Один взойду на помост
Росистым утром я,
Пока спокоен дома
Строгий судия, —

когда трехдольный паузник приводил в ужас профессоров литературы, когда новинками были гипердактилические рифмы. (...) Но тогда — тогда был Sturm und Drang Period русской поэзии, тогда за трехдольным паузником Блока, за четкостью кажущейся простоты Сологуба, за техническими новшествами Брюсова — стояло еще что-то, у всякого свое. Было что-то за душой, и что-то — иногда огромное» (*Удушьев И. Взгляд и Нечто. С. 269*).

⁴¹ Тоже участника сборника: *Замятин Евг. Белая любовь [речь, произнесенная на юбилейном чествовании (Ф.) Сологуба 11 февраля 1924] // Современная литература. С. 76—81.*

⁴² О ней см.: *Лекманов О. А. «Пусть они теперь слушают...» о статье Ал. Блока “Без божества, без вдохновенья” (Цех акменстов)» // НЛО. 2007. № 8.*

⁴³ *Удушьев И. Взгляд и Нечто. С. 174—179.*

⁴⁴ *Томашевский Б. Формальный метод (Вместо некролога) // Современная литература. С. 144—153. Переиздание см.: Хрестоматия по теоретическому литературоведению. I / Изд. подгот. И. Чернов. Тарту, 1976. С. 27—36. Статья, прочитанная как доклад в ВОЛЬФИЛЕ, вочине Иванова-Разумника, в декабре 1922 г. (см.: *Белоус В. Г. ВОЛЬФИЛА. Кн. 1. С. 801—842*) и, видимо, поэтому выбранная для сборника, в самом деле, довольно мирная, хотя и разделяет общий ОПОЯЗовский полемический тон (из прямых адресатов полемики уместно назвать Горнфельда). В частности, с позицией редактора сборника контрастируют такие пассажи: «Да, формализм выдвигал проблему методологии, но в форме конкретного испытания историко-литературных методов в работе, а не в форме той методологии, которой прикрываются по существу*

сто профессиональный план⁴⁵, уличив Иванова-Разумника в литературоведческой безграмотности.

В оглавлении сборника статья названа: Ипполит Удушьев. Взгляд и нечто. Отрывок (К столетию «Горя от Ума»), с. 154—182. В эпиграфе Иванов-Разумник цитирует текст Грибоедова, то есть две последние строки соответствующей реплики Репетилова, следующим образом:

Удушьев, Ипполит Маркелыч
 (...) Его Отрывок — «Взгляд и Нечто»
 О чем бишь *Нечто*? — обо всем...⁴⁶

То же находим в тексте статьи: «Удушьев, Ипполит Маркелыч опять пишет отрывок — “Взгляд и Нечто” о современной русской литературе, и все эти сто лет

праздные разговоры о том, что такое литература, в каком отношении находится она к общим вопросам духа, гносеологии и метафизики (...). Но возникает вопрос: самое ли «нужное» они делают — и многие склоняются к тому, что изучение общественных течений нужнее. Но и это — самое ли нужное? Может быть, многим еще нужнее фунт хлеба. Это не снимает с очереди затрагиваемых научных проблем» (С. 148. Хрестоматия. С. 32) «уточнение вопросов и требование их конкретной постановки (...) лишило читателя модных и популярных разглагольствований по поводу литературы (...). И рядовой читатель зашевелился. Он помнил, что формализм окреп в революционные годы, и в слепом обывательском гневе соединил представление о формализме и революционном быте в одно пугающее слово «максимализм». Формалисты — максималисты. Да, формальный метод сыграл, может быть, революционную роль, и мы не стыдимся этого. Но о революционной его роли не следует говорить тоном трамвайных и «очередных» разговоров до-нэповского периода (С. 149—150. Хрестоматия. С. 33). Рядом с именем Горнфельда как «исследователя новых словечек и старых слов» (С. 151. Хрестоматия. С. 34) этот «язык трамвайных перебранок», кажется, ведет к Мандельштаму (о связи соответствующих текстов Мандельштама с брошюрой Горнфельда, задолго до их конфликта, см.: *Гаспаров Б. М. «Извиняюсь»*. С. 109—120).

⁴⁵ Ср., например, ответ Томашевского В. Ф. Ходасевичу на его «антикритику» по поводу «Поэтического хозяйства Пушкина»: «моя первая работа появилась в печати в журнале «Аполлон» за 1915 год, т. е. в том же журнале и в то время, где и когда появилась в печати вторая историко-литературная работа Ходасевича» (Письм[о] в редакцию // *Русский современник*. 1924. № 4. С. 283). Нет ли отголоска этой полемики в словах: «Позволю себе заговорить с Горнфельдом на несколько неожиданном для него производственном языке — мой переводческий стаж — свыше 30 томов за 10 лет — дает мне на это право (...) я, русский поэт и литератор, поднявший за 20 лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда (...)» (*Мандельштам О. Письмо в редакцию газеты «Вечерняя Москва» // Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. С. 102—103*).

⁴⁶ *Удушьев И. Указ. соч. С. 154.*

писал под разными псевдонимами “критиков” и “идеологов” — “о чем бишь *Нечто?* — обо всем”...⁴⁷

Как ответ на это выглядит пространный текстологический пассаж Б. В. Томашевского в позднейшей статье «Об издании классиков» (1951)⁴⁸:

Когда-то русская книга не знала выделения разрядкой и пользовалась только курсивом. При этом курсив имел две разные функции: 1) выделения в современном смысле слова⁴⁹ (подчеркивание слов, к которым привлекалось особое внимание читателя); 2) выделение цитат, названий, иностранных слов и т. п.

Когда русской полиграфией завладели немцы, они ввели свои обычаи. Во фактурном (готическом) шрифте нет курсива. Они заменили его разрядкой, но только в первой функции — выделения. Цитаты и названия отмечались кавычками.

Теперь технические редакторы механически заменяют курсивы разрядкой. Вот каковы результаты.

У Грибоедова имеется стих:

Его отрывок, взгляд и нечто.

Каждое слово подчеркнуто отдельно. Союз «и» не подчеркнут. Это три названия трех произведений Удушьева⁵⁰, что явствует из следующего стиха:

⁴⁷ Удушьев И. Указ. соч. С. 155. Любопытно, что в ранней редакции статьи (сентябрь 1922) не было того привычного искажения, о котором говорит Томашевский (см. ниже), название представляло собой модификацию последней реплики Репетилова, причем в качестве его «перевода» выступало название другой драмы: *Иванов-Разумник* Р. В. Нечто о ничем. Much Ado About Nothing / Вступит. ст. и публ. В. Г. Белоуса // Литературное обозрение. 1993. № 1—2. С. 47—50.

⁴⁸ Томашевский Б. В. Писатель и книга. Очерк текстологии. 2-е изд. М: Искусство, 1959. С. 236—237 (Приложения). Подчеркивания в тексте — мои. — Г. Л.

⁴⁹ Ср.: Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М.: Наука, 1982.

⁵⁰ Едва ли продуктивны попытки найти конкретный источник этих названий (не тип заголовка, а конкретные тексты). Ср.: Кошелев В. А. А. С. Грибоедов и К. Н. Батюшков: (К творческой истории комедии «Студент») // А. С. Грибоедов: Материалы к биографии: Сб. научн. тр. Л.: Наука, 1989. С. 199—219 ([http://feb-web.ru/feb/griboed/critics/fom89/str_199.htm?cmd=#2\\$\\$\\$f21_40](http://feb-web.ru/feb/griboed/critics/fom89/str_199.htm?cmd=#2$$$f21_40)): «Наконец, “Отрывок, Взгляд и Нечто”. С. А. Фомичев в комментарии к “Горю от ума” перечислил статьи Н. И. Греча, появившиеся в “Сыне Отечества” в 1824 г., в названии которых содержатся эти элементы (Фомичев С. А. Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума”: Комментарий. М., 1983. С. 171). Пример явно случайный: в традициях русской журналистики в начале 1820-х гг. довольно прочно утвердилась эта система обозначений прозаических статей. Но сама эта традиция восходила опять-таки к “Опытам в прозе” Батюшкова, где было представлено своеобразное единение “отрывка”, “взгляда” и “нечто”. “Нечто... обо всем” — это уже прямой намек на статьи Батюшкова: “Нечто о поэте и поэзии”, “Нечто о морали, основанной на философии и религии”, “О лучших свойствах сердца”, “О характере Ломоносова” и т. д. — действительно “нечто обо всем”!». Не только Грибоедов намекал на Батюшкова, но и Батюшков предвосхищал Грибоедова: «Перечисление будущих дел Филалета дано от лица персонажа, но так, что в его речи чуть-чуть сквозит насмешливая интонация автора {...}. Невольно предвосхищается более поздняя фраза Грибоедова: “Взгляд и нечто. Об чем бишь Нечто? — обо всем...”» (Манин

О чем бишь нечто? Обо всем.

В издании 1945 года⁵¹, по примеру многих других изданий, на стр. 107 курсив заменен разрядкой, причем заодно и первое слово набрано разрядкой.

Его отрывок, взгляд и нечто.

Состоящий из одной буквы союз «и» разрядкой выделяется механически, наравне с остальными словами стиха. Получается впечатление сплошного неразделенного выделения, как будто речь идет о чем-то одном. И читатель понимает, что речь идет об одной вещи. Можно решительно утверждать, что подавляющая масса читателей понимает этот стих, как если бы он был напечатан:

Его отрывок: «Взгляд и нечто»

От такого неправильного понимания родилась поговорка: «Взгляд и нечто»⁵². Между тем правильнее было бы печатать:

Его «Отрывок», «Взгляд» и «Нечто».

Таким образом был бы сохранен смысл, вложенный в стих автором.

Естественно полагать, что Иванов-Разумник цитировал «Горе о ума» по недавно вышедшему авторитетному изданию под редакцией Шляпкина и Пиксанова⁵³. Это издание дает как бы непосредственную иллюстрацию к наблюдению То-

Ю. «Странствователь и домосед» Батюшкова // Динамика русского романтизма: В. Жуковский, К. Батюшков, А. Пушкин: Пособие для учителей, студентов-филологов и преподавателей гуманитарных вузов. М., 1995. С. 331) (<http://www.booksite.ru/batyushkov/mann.htm>)

⁵¹ Издание под ред. Н. К. Пиксанова — о нем подробнее: *Томашеский Б. В.* Писатель и книга. С. 232.

⁵² Это «крылатое слово» приводится в: *Скогорев В. А.* Афоризмы комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова // Сравнительно-исторические исследования русского языка. Воронеж: Изд. Воронеж. ун-та, 1980; *Коваленко С.* Крылатые строки русской поэзии: Очерки истории. М.: Современник, 1989. С. 123, 124. Количество цитат и особенно заголовков такого рода — огромно (ср.: *Михельсон М. И.* Русская мысль и речь. Т. I [СПб., 1902], репр. М., 1994, С. 102: «Взгляд и нечто — известное заглавие литературных статей» — замечательно, что «заглавие» само состоит из типовых элементов заглавий), перечислять их нет возможности, упомянем старый пример: *Чуковский К.* Взгляд и нечто. О чем, бишь, нечто? // Одесские Новости. 1902. 25 окт. (<http://www.chukfamily.ru/Kornei/Critica/Kritika1.htm>); а также нетривиальную модификацию: *Аносов Д. В.* Взгляд на математику и нечто из неё. 2-е изд., испр. (Сер. Библиотека «Математическое просвещение». Вып. 3). М.: МЦНМО, 2003.

⁵³ *Грибоедов А. С.* Полное собрание сочинений: [В 3 т.]. Т. 2. 1913. С. 85, 195. Любопытно, что Пиксанов сам упоминал Иванова-Разумника в связи с текстологией, вернее «творческой историей», а именно, о его статье «Евгений Онегин» (*Иванов-Разумник Р. В.* «Евгений Онегин» // Библиотека великих писателей / Под ред. С. А. Венгерова. Пушкин / Изд. Брокгауз-Ефрона. Т. III. СПб., 1909; То же // *Пушкин А. С.* Евгений Онегин / Со вступит. ст. и примеч. Р. В. Иванова-Разумника (Историко-литературная Библиотека под ред. Иванова-Разумника, № 39). СПб., 1911; То же // *Иванов-Разумник Р. В.* Сочинения. Т. V: Пушкин и Белинский. Статьи историко-литературные.

машевского. В основном тексте (т. 2, с. 85) эти слова действительно напечатаны в разрядку, так что «взгляд и нечто» читается как одно название⁵⁴ :

Въ журналахъ можешь ты однако отыскать
Его Отрывокъ, Взглядъ и Нѣчто.
Объ чемъ бишь Нѣчто? — обо всемъ,

Но рядом, в тексте Музейного автографа (с. 195) те же слова даны курсивом, и текст читается в соответствии с оригиналом:

Въ Журналахъ можешь ты однако отыскать
Его *отрывокъ, взглядъ и нѣчто*.
Объ чемъ-бишь нѣчто? — обо всемъ.

Замечательно, что, говоря о Б. В. Томашевском, Ю. М. Лотман вводит упомянутый («незаконный») фразеологизм именно в контекст противостояния символистской критике, чьим ярким представителем и был Иванов-Разумник:

Надо помнить, что пришедшее на смену того литературоведения, корни которого уходили в эпоху символизма, литературоведение в годы победоносного шествия формального метода принципиально отказалось от глобальных идей и головокругительных обобщений. «Приличными» считались те исследования, заглавия которых начинались сакральной формулой: «К вопросу о...» или «Несколько вводных замечаний к проблеме...» Такая установка была не только своего рода полемичной, но и содержала серьезные обоснования: из области тематики упомянутого Грибоедовым автора сочинения «Взгляд и нечто», потомки которого населили массовое литературоведение эпохи символизма, литературоведение вступило в период увлечения конкретными, строго обоснованными, но слишком частными разысканиями⁵⁵.

Пг.: Тип. Стасюлевича, 1916): «Иванов-Разумник не принадлежал к цеховым историкам литературы и не претендовал на это; его работы по литературе явились типичными образчиками публицистической критики. Однако статья об «Онегине» составляет исключение и в ней критик-публицист сделал удачную попытку исторического изложения. Работа оказалась самым обстоятельным опытом по изучению истории «Онегина» {...}. И все же для текстовой и творческой истории Иванов-Разумник дает очень мало {...}. Как видим, это — главным образом историко-биографическое изучение идейности». (Пиксанов Н. К. Творческая история Горя от ума». 2-е изд. / Подгот. текста и коммент. А. Л. Гришунина. М.: Наука, 1971. С. 26—28, 1-е изд.: Творческая история «Горя от ума». М.; Л., 1928).

⁵⁴ Кстати, в «Фундаментальной электронной библиотеке» при цитировании (например, при отсылках из словаря языка Грибоедова) эта разрядка трансформируется в курсив, союз и при этом, естественно, остается курсивным.

⁵⁵ Лотман Ю. М. Двойной портрет. Томашевский и Гуковский // Лотмановской сб. I. М., 1995. С. 56. <http://www.ruthenia.ru/lotman/mem1/Lotman2portret.html#0>

AKHMATOVA'S TWO IMITATIONS OF I. F. ANNENSKII

Akhmatova's «Подражание И. Ф. Анненскому», dated 1911, was published first in *Вечер* (1912). A revised version appeared in 1940 (*Из шести книг*), with changes in five out of sixteen lines. Subsequent collections of Akhmatova's work usually give the later version of «Подражание» among the poems of *Вечер*, with the earlier date¹. But the two versions are not equivalent, and as an imitation of Annenskii each is idiosyncratic.

Подражание И. Ф. Анненскому

И с тобой, моей первой причудой,
Я простился. Чернела вода.
Просто молвила: «Я не забуду».
Я так странно поверил тогда.

Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнул уголок?

И всегда открывается книга
В том же месте. Не знаю зачем!
Я люблю только радости мига
И цветы голубых хризантем.

О, сказавший, что сердце из камня,
Знал наверно: оно из огня...
Никогда не пойму, ты близка мне
Или только любила меня.

Я простился. Восток голубел.

Я не сразу поверил тебе.

В том же месте. И странно тогда:
Все как будто с прощального мига
Не прошли невозвратно года.

1911

1940

¹ See, for example: [Ахматова 1976; 1984]. In [Ахматова 1967], the later version of «Подражание» is given without a date. In [Ахматова 1997], the later version is given with the date 20 February 1911. In [Ахматова 1998], the original is given with that date.

The poem is a pastiche of passages from Annenskii's verse². In the 1911 version, each of the four stanzas contains at least two references to his work³.

Чернела вода: «Надо мной зеленеет вода» («Я на дне»); «И черней твоих не видел вод» («Ты опять со мной»); see also «И парков черные, бездонные пруды» («Сентябрь»)⁴.

Я так странно поверил тогда: «О, как этот воздух странно нов» («Ты опять со мной»).

Возникают, стираются лица: Cf. «В тених меняются лица» («Закатный звон в поле»). R. D. Timenchik [Тименчик 1981: 179—180] compares Akhatova's line to Gumilev's Annensian «Я вижу не лица, а платья».

Мил сегодня, а завтра далек: «Нет, не о тех, увы! кому столь недостойно, Ревниво, бережно и страстно был я мил» («Моя Тоска»).

Отчего же на этой странице Я когда-то загнул уголок? И всегда открывается книга В том же месте: «Мне всегда открывается та же Залитая чернилом страница» («Тоска припоминания»).

Я люблю только: «Я люблю только ночь и цветы» («Тринадцать строк»); see also «Я люблю», like «Подражание» in anapestic trimeter with alternating feminine and masculine rhymes; and «Тоска припоминания» (in anapestic trimeter but with alternating feminine rhymes): «...Я люблю, когда в доме есть дети И когда по ночам они плачут»⁵.

² The opening line, with the initial coordinating conjunction, is typical of Akhatova but not Annenskii. A comparison of the alphabetized indexes to their respective collections in the edition *Biblioteka poeta, bol'shaia seriia* [Анненский 1959; 1990; Ахматова 1976] reveals four poems beginning with «и» in Annenskii's volume (one of these is an inscription in a copy of *Тихие песни*) and sixty-one in Akhatova's. Figures for other coordinating conjunctions provide supporting anecdotal evidence: Annenskii has no poems beginning with «а» and one beginning with «но»; Akhatova has eighteen beginning with «а» and two beginning with «но».

³ Others who identified or discussed some of these references include Sonia Ketchian [Ketchian 1986: 121—138] and Catriona Kelly [Kelly 1990: 2, 231—245]. See also [Ахматова 1998: 714—716].

⁴ Omry Ronen [Ronen 1977: 171], in his analysis of Mandel'shtam's «Умывался ночью на дворе», refers to «the icy water from the barrel, which is colored black in Annenskij's tradition», citing «Сентябрь» and «Ты опять со мной» and comparing «Ахматова's Annensian lines» — including the first two lines of the 1911 «Подражание» and also «Сон» (1915). In that poem «черный» is joined with «голубой», the color that substitutes for it in the 1940 revision of «Подражание»: «Мутный фонарь голубел... Под ногами чернела вода...».

⁵ Cf. Akhatova's «Не люблю только час пред закатом», in the «trefoil» «В Царском Селе», with its multiple echoes of Annenskii; see also «Он любил три вещи на свете...».

радости мига: «Пусть миражного круженья Через миг погаснут светы... Пусть я — радость отраженья» («Миражи»).

И цветы голубых хризантем: «На ветвях, В фонарях догорела мечта Голубых хризантем» («Струя резеды в темном вагоне»).

О, сказавший, что сердце из камня, Знал наверно — оно из огня: «Я думал, что сердце из камня, Что пусто оно и мертво: Пусть в сердце огонь языками Походит — ему ничего».

Никогда не пойму, ты близка мне, Или только любила меня: «Я не люблю ее — и мне она близка» («Моя Тоска»). See also «только» following «любить» above (stanza 3, line 3).

Moreover, Akhmatova's masculine first-person singular subject reveals the bewilderment — identified as «недоумение» in «Моя Тоска» — that is characteristic of Annenskii's lyrical hero. The speaker's perplexity is reinforced by a series of phrases distributed one per stanza: «Я так странно поверил...» (1); «Отчего же...?» (2); «Не знаю зачем!» (3); «Никогда не пойму...» (4). While lacking the obvious specificity of the subtexts cited, such phrases are typically Annensian, the verbal tics of his late verse (*Кипарисовый ларец* rather than *Тихие песни*)⁶.

Yet here first of all «Подражание» reveals Akhmatova's sharp break from her teacher. For all the textual evidence of bewilderment in his poems, Annenskii countered the confusion of the lyrical hero with the poet's consciousness⁷. The distinction, crucial to his poetics (and relevant to Akhmatova's work of the same period; see, e. g., «По аллее проводят лошадок...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи»)⁸, is reflected in the last stanza of «Моя Тоска»: «Я выдумал ее⁹ — и все ж она виденье, Я не люблю ее — и мне она близка»¹⁰. In «Подражание», Akhmatova redistributed the features of this double perspective. The lyrical hero's incomprehension becomes an element of her own characteristic early plot of the male protagonist whose limitations (aesthetic or ethical) must be confronted by the heroine¹¹. His incapacity is

⁶ Another such «tic» is represented by Akhmatova's two instances of «только»; that word occurs fifty-one times in *Кипарисовый ларец*, including six times in «В марте».

⁷ Mandel'shtam attributed to Annenskii a nocturnal watchfulness: «Все спали, когда Анненский бодрствовал» («О природе слова»).

⁸ A striking example is Annenskii's «Я на дне», where the protagonist, the «sad fragment» of a marble statue, is perplexed as to his origins; the poet gives all the information necessary for the reader to solve the puzzle.

⁹ Cf. Annenskii's professed inability to «invent himself»: «И был бы, верно, я поэт, Когда бы выдумал себя» («Человек»).

¹⁰ «Моя Тоска» is the poem Akhmatova identified as reflecting Annenskii's despair at the rejection of his poems for publication in *Apollon* in the fall of 1909; in her view, this event was the immediate cause of Annenskii's sudden death on November 30 [Анненский 1987: 540].

¹¹ Another doubtful male protagonist is the addressee of «Из памяти твоей я выну этот день» (1915), who will spend a lifetime puzzled and thinking about the speaker.

juxtaposed to her power — specifically, the power of memory. Thus, while the gender of the first person speaker is masculine, the poet's role in «Подражание» is retained by the female addressee.

The lyrical hero considers the addressee a «whimsy» or «caprice», and indeed the «first», apparently of a series of brief, chance attachments; he himself may be «dear today, tomorrow far». The understanding of the one who «said the heart was made of stone» and «surely knew it was made of fire», and who can be identified as Annenskii's poetic consciousness, finally eludes him¹². The lyrical hero's uncertainty is the last word: «Никогда не пойму, ты близка мне Или только любила меня». In 1940, though that conclusion remains as testimony to his confusion, Akhmatova provided a clear countering instance, substituting in stanza 3 the lines about the recollection of a past moment for the lines about the amusements of the present¹³.

The constant is the first rhyme word, the genitive «мига», formally identical though functionally different in the two versions. In neither version is the lyrical hero's attempt to make sense of the «moment» consistent with Annenskii's perception. Annenskii's relation to the moment is wistful rather than joyful: «Хочу ль понять, тоскою пожираем, Тот мир, тот миг с его миражным раем... Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет...» («Черный силуэт»). In the lines from «Миражи» that Akhmatova recalled in 1911, «радость» is juxtaposed to «миг», but not joined to it. Annenskii understood the beloved interval to be singular and fleeting («Миг», «Тоска мимолетности»), not, like Mandel'shtam's «moment of recognition» («узнавания миг»), a superimposition and a reiteration (cf. «радость повторенья»)¹⁴. The repeated attempt to recollect in «Тоска припоминания», the source of the central four lines of «Подражание», does not lead to the recovery of the memory but is cut short as the lyrical subject is brought back to consciousness by crying children. The return of «friend autumn» in «Ты опять со мной» is accompanied by an alteration acknowledged at least in the language and imagery of Akhmatova's 1911 poem: «Я печальнее твоих отречий И черней твоих не видел вод... О, как этот воздух странно нов». Along with the «black waters» («Чернела вода»), the peculiar use of the same adverb («Я так странно поверил тогда») is reminiscent of Annenskii's, though even these allusions to Annenskii's account of irrevocable change are concealed in the revision¹⁵. Annenskii is closer to the poet of his 1899 anniversary speech, «Пушкин и Царское Село»: «Если он хотел иногда взглянуть прежними глазами, почувствовать себя прежним человеком, он не мог этого сделать: его воспоминания были сознани-

¹² This mode of unacknowledged recognition (the two levels of awareness, here both discovered in another and revealed in the speaker) is characteristic of Annenskii.

¹³ Viach. Vs. Ivanov [Иванов 1989: 411] notes (with particular reference to the revised version): «герой стихотворения не сразу поверил в постоянство памяти героини, но постоянной неожиданно оказывается его собственная память о ней».

¹⁴ «Tristia», «Слово и культура».

¹⁵ «Чернела вода» → «Восток голубел»; «Я так странно поверил тогда» → «И странно тогда».

ем чувства невозвратности» ([Анненский 1979: 316] — Annenskii's emphasis)¹⁶. In her revision of «Подражание» — the same year she reread Annenskii¹⁷ and began writing *Поэма без героя*, with its return to the early 1910s — Akhmatova reversed Annenskii's irreversibility, attributing an Acmeist perspective to the lyrical hero: «И странно тогда: Все как будто с прощального мига Не прошли невозвратно года» («странно») is shifted to an unremarkable construction and indicates not change but constancy). In the «Introduction» to *Поэма без героя* Akhmatova referred to another renewed farewell: «Из года сорокового, Как с башни, на все гляжу. Как будто прощаюся снова С тем, с чем давно простилась».

In the 1911 version of «Подражание», contrasting «цветы голубых хризантем», along with the syntactically parallel «радости мига», to the constancy of the book («И всегда открывается книга В том же месте»), Akhmatova appears to understand the «flowers» as a symbol of transitory and perhaps illusory pleasure¹⁸. Yet as their improbable color suggests, the «blue chrysanthemums» of the source, Annenskii's «Струя резеды в темном вагоне», are not exactly flowers: «На ветвях, В фонарях догорела мечта Голубых хризантем...»¹⁹. And although the «dream of blue chrysanthemums» is brought to life for a maenad-muse²⁰, the ritual envisioned in «Струя резеды...» is far from hedonistic revelry²¹. It is, as Annenskii indicates for the summoning of the god of vegetation in the late winter Dionysian procession at Delphi²², a therapeutic purification or catharsis: «Ты оч-

¹⁶ See also «сознание безвозвратности пережитого» [Анненский 1979: 310]. I. P. Smirnov [Смирнов 1977: 74] commented on a similar relation to time in Annenskii's verse: «Движение времени в “Кипарисовом ларце” необратимо, и поэтому события, оставшиеся в прошлом, не могут быть репродуцированы ни в будущем, ни в настоящем». Omry Ronen's discussion of «Квадратные окошки» [Ронен 2001] illuminates this perspective.

¹⁷ This is noted by Mikhail Kralin [Кралин 2004], who finds echoes of Annenskii in *Поэма без героя*; so does Ronen [Ронен 2001].

¹⁸ A funereal chrysanthemum, reminiscent of Annenskii's in «Хризантема» (see also «Перед панихидой» and «Невозможно»), appears in the central stanza of «Решка» in a comparison to the poet's «theme»: «И была для меня та тема, Как раздавленная хризантема, На полу, когда гроб несут».

¹⁹ Cf. «И огней нетленные цветы Я один увижу голубыми...» («Аромат лилеи мне тяжел»).

²⁰ «Но сама — вся дрожащая — встань!»; cf., in Annenskii's translation of Euripides's *Vacchae*: «В прах упадите, менады дрожащие, Телом дрожащие в прах!» (*Вакханки*, lines 600—601).

²¹ Cf. Annenskii's emphasis, in *История античной драмы*, on the non-orgiastic aspect of Dionysian rites, with particular reference to the Bacchantes [Анненский 2003: 55]. This characterization is evident in his *Вакханки*: «А женщин скромности учить В делах любовных Дионис не должен! Стыдливость — это их природный дар, И скромная не развратится в пляске» [lines 315—318].

²² The lights in «Струя резеды...» («В голубых фонарях, Меж листов на ветвях, Без числа Восковые сиянья плывут») might be compared with the illumination of Mount Parnassus and the Corycian Cave by the lantern-bearing celebrants: «...эффект факелов, которыми отмечались абрис двухвершинной выси Парнасса и впадина Корикийской пещеры, надолго остался в поэзии — он глубоко действовал на фантазию эллинов, которые,

нешья, свежа и чиста...»²³. The meaning of this episode must be explored in part through a comparison of the addressee of «Струя резеды...» with two others, *алмея* in «Дальние руки» and *невеста* in «Невозможно». All three represent aspects of an experience that cannot survive if revealed; only in «Струя резеды...» is that experience («Как минуты — часы Не таймой и нежной красы») glimpsed without injury or loss.

REFERENCES

- Анненский 1959 — *Анненский И.* Стихотворения и трагедии. Л.: Сов. писатель, 1959.
 Анненский 1979 — *Анненский И.* Книги отражений. М.: Наука, 1979.
 Анненский 1987 — *Анненский И.* Избранное. М.: Правда, 1987.
 Анненский 1990 — *Анненский И.* Стихотворения и трагедии. Л.: Сов. писатель, 1990.
 Анненский 2003 — *Анненский И.* История античной драмы. СПб: Гиперион, 2003.
 Ахматова 1967 — *Ахматова А.* Сочинения. Международное литературное содружество, 1967. Т. 1.
 Ахматова 1976 — *Ахматова А.* Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1976.
 Ахматова 1984 — *Ахматова А.* Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1984.
 Ахматова 1997 — *Ахматова А.* Сочинения: В 2 т. М.: Цитадель, 1997. Т. 1.
 Ахматова 1998 — *Ахматова А.* Собрание сочинений: В 6 т. М.: Эллис Лак, 1998. Т. 1.
 Иванов 1989 — *Иванов Вяч. Вс.* Ахматова и Пастернак. Основные проблемы изучения их литературных взаимоотношений // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1989. Т. 48. № 5.
 Кралин 2004 — *Кралин М.* Победившее смерть слово, 2004. <http://www.akhmatova.org/bio/kralin/kralin04.htm>
 Ронен 2001 — *Ронен О.* Идеал: О стихотворении Анненского «Квадратные окошки» // Звезда. 2001. № 5.
 Смирнов 1977 — *Смирнов И. П.* Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977.
 Тименчик 1981 — *Тименчик Р. Д.* Заметки об акмеизме. III // Russian Literature. 1981. Vol. IX.
 Kelly 1990 — *Kelly C.* The Impossibility of Imitation: Anna Akhmatova and Innokentii Annenskii // The Speech of Unknown Eyes: Akhmatova's Readers on Her Poetry. Vol. 2. Astra Press, 1990.
 Ketchian 1986 — *Ketchian S.* The Poetry of Anna Akhmatova: The Conquest of Space and Time. Munich: Otto Sagner, 1986.
 Ronen 1977 — *Ronen O.* A Beam Upon the Axe // Slavic Hierosolymitana. 1977. Vol. 1.

конечно, из всей процессии только и могли видеть, как мужчины, что далекие огоньки снизу» [Анненский 2003: 75; see also 57—58]. Cf. in *Вакханки*: «Верь, будет день, когда в твоих глазах Двуглавою Парнасскую вершину, При свете факелов и потрясая тирсом, Стопою резвою Вахх будет попирачь, И будет всей Элладю прославлен Бог Дионис» (lines 306—311).

²³ See, e. g., [Анненский 2003: 63; 105—106]. Annenskii's comments on the illuminating effect of art (e. g., in his essay «Портрет» [Анненский 1979: 14—15]) echo his discussion of the Aristotelian definition of tragedy, with its emphasis on «pity and fear» («жалость» or «сострадание» and «страх»).

R. Vroon

**NETS, STARS AND NUMBERS: SOME NOTES
ON VELIMIR KHLEBNIKOV'S COSMOLOGY**

Кротким людям страшны сети
Злого сумрака тенет.

V. Khlebnikov, «И и Э»

Velimir Khlebnikov engaged in a life-long pursuit of what he called the «laws of time», a series of mathematical formulae that could define the precise intervals at which certain types of events occurred and, by implication, would continue to occur in human history and, more broadly, in the life of the cosmos. This project, utopian in its essence, was based on the conviction that all nature, including time itself, would ultimately yield its secrets. It inspired an astonishingly optimistic vision of the future, one to which he assigned the unforgettable name «Ladomir». Against the background of this inspired quest it is surprising, therefore, that at the midpoint of his writing career (if we assign its starting point to his literary debut in 1908) he composed a memorable poem about time's passage that has none of the optimism one might expect:

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Звезды — призраки у тьмы.

How can one account for the pessimistic spirit of the poem? Certainly the historical circumstances under which it was written played a role. Composed either in 1915 [Хлебников 1986: 94] or 1916 [CC I: 379], it reflects the mood of a nation at war and a young man facing — or already undergoing — the hardships of conscription. Many of the poems that make up the «sverkhpovest'» «Voina v myshelovke» are similar in tone. But there may be other reasons as well, ones that have to do with the very nature of the utopian project Khebnikov undertook. The following remarks address this hypothesis.

The editors of CC indicate that «Gody, liudi i narody...» was «написано в связи со столетием смерти Г.Р. Державина (1743—1816) и продолжает тему последнего его стихотворения, “Река времен в своем стремленьи...”...». A comparison of the two poems might therefore serve as an appropriate introduction to an analysis of Khlebnikov's piece.

Both consist of two thematic blocks, each contained within a graphically unmarked stanzaic unit: two quatrains in iambic tetrameter for Derzhavin and two tercets in trochaic tetrameter for Khlebnikov. This coincidence compels a comparison of how and why these thematic blocks are juxtaposed. The first tercet of Khlebnikov's poem most obviously elaborates Derzhavin's theme, *tempus edax rerum*, which in turn builds on the Heraclitian aphorism, πάντα ρεῖ καὶ οὐδὲν μένει (Plato, *Cratylus* 402a): «Река времен в своем стремленьи / Уносит все дела людей / И топит в пропасти забвенья / Народы, царства и царей» [Державин 2002: 541—542]. The common thematic stream bifurcates, however, after the first stanza. Derzhavin's poem goes on to claim, in contravention to the whole spirit of his earlier «Pamiatnik», that «если что и остается / Через звуки лиры и трубы, / То вечности жерлом пожрется / И общей не уйдет судьбы». Khlebnikov's poem veers in another direction altogether, one that is similarly pessimistic but not quite so readily deciphered.

Two other subtexts, both mentioned by the editors of the *Collected Works*, shed light on the direction taken in the second tercet. The first of these is a passage from D. S. Merezhkovskii's novel, *Iulian Otstupnik*, in which one of the characters, a fictionalized incarnation of the Syrian neoplatonist Iamblichus of Chalcis (C. 245—325) shares his cosmological vision with the young Flavius Claudius Iulianus — Julian the Apostate (the meeting of the two, we might note in passing, is an anachronism: Julian, born in 331 or 332, was only five or six years old at the time of Iamblichus' death). He says, «Чему уподоблю мир, все эти солнца и звезды? Сети уподоблю их, закинутой в море. Бог объемлет вселенную, как вода объемлет сеть; сеть движется, но не может остановить воду; мир хочет и не может уловить Бога. Сеть движется, но Бог спокоен, как вода, в которую закинута сеть» [Мережковский 1989: 52—53]. When we compare this passage to the second tercet of «Gody, ljudi i narody...», it is evident that Khlebnikov has borrowed some important metaphors, in particular the comparison of the stars to a net. But the meaning and pathos of his poem differ substantially from that of the words uttered by Merezhkovskii's Iamblichus. For the latter the net represents all created matter (the suns and stars are merely a convenient example) and the sea — the omnipresence of the Divine. For Khlebnikov the watery medium represents time rather than the Divine, and his attention is focused, not on the relationship between created matter and time, but between the stars and humankind, metaphorized as a net and fish. Moreover the gods, who for Iamblichus are important intermediaries between the Absolute and the material universe, are for Khlebnikov nothing more than «призраки у тьмы». By quoting Iamblichus Khlebnikov is, if anything, calling our attention to the failure of Iamblichus' (and Julian's) project — to resuscitate the gods and the omnipresence of the Divine in human life. The full title of Merezhkovskii's novel, after all, is *Smert' bogov* (*Julian Otstupnik*).

The relationship of net and fish is the focus of a third subtext mentioned by the editors of CC, a passage from the old Russian translation of the *Physiologus* (2nd–4th c. AD; Khlebnikov may have consulted the text published in 1890 by A. Karneev). A somewhat broader context than that given in [CC I: 524] is needed to determine the significance of this allusion for our understanding of the poem. The relevant passage reads:

О утропѣ. Утропѣ имать от пулу и до выше образ коневъ, а поль его и до ниже образъ рыбий китовъ. Ходить же в мори и есть воевода всѣм рыбам. На странѣ же крайнѣй земли стоить рыба злата и не приходит от мѣста своего, да погрѣшится ловцем, ходя ко утропу. Да то акы воевода сый рыбам, идет на крайнюю землю ко златой той рыбѣ. Облизеть ю и того паку облизают вси мужи рыбии. И отходят на своа мѣста мужи прежде, а жены послѣди. И помѣтают сѣмя мужи, а жены идучи послѣди, берутъ ѣ и будут чреваты. И за седми деньми раждають. Егда же ходят на крайны земли, ставят рыбаи мрежа своя на пропутіе рыбаь. Понеже будут чреваты, потоле не влавляют их.

Утроп же сказаемо есть *Моисий* начал пророчества. Море же весь миръ, а рыбы чловѣци. Златаа рыба сказаеться вход правовѣрню. Ходят бо прежде пророци и облизаються Святаго Духа. Лижуще бо чловѣци от учения пророчества, последующе берут духовную благодать. Рыбари же суть бѣси. Мрежа же есть пагуба и льстиваа вождеваа, иже не идоша во слѣд утропа, сиречь Моисеова закона, но отдалишася и впадоша во мрежа рыбаь тѣх и погыбоша. А шедших во слѣд пророкъ ни сътъ, ни мрежа не постиже их.

[Физиолог 2006—2007]; ср.: [Карнеев 1890].

What appears to underlie the allegory set forth in the *Physiologus* is a pneumatology still under construction in the early church, one that sees the workings of the Holy Spirit first in the giving of the law, and subsequently in the words of the prophets, both of which guide man and help him to avoid being ensnared by the passions, i. e. the nets cast into the waters by demons. The law and the prophets, in turn, are followed by Christ's proclamation of the Kingdom of God: «Закон и пророцы до Иоанна: оттоле Царствие Божие благовестуется, и всяк в не нудится» (Luke 16: 16). Not surprisingly, the same sort of allegory is adopted in the primary texts of the Gospels and the Liturgy, only now the net is made to represent, not the passions that lead to destruction, but the power of God working through the apostles. In one gospel passage Christ promises his disciples that he will make them «fishers of men» («Сотворю вы ловца человеком» — (Matt. 4: 19)) and in the second he likens the Kingdom of Heaven to a net that gathers human beings like fish: «Подобно есть царствие небесное неводу, ввержену в море и от всякаго рода собравшу» (Matt. 13: 47). These biblical texts in turn underlie one of the core liturgical hymns of the Orthodox Pentecostarion, the troparion for Trinity Sunday, which reads: «Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную...». What the *Physiologus* and the canonical religious texts have in common — and the principal way in which they differ from the formulation of Iamblichus' philosophy in Merezhkovskii's novel — is the deployment of the metaphor of the fishing net to designate instrumentality or control: human «fish» may either be caught in the net of temptations or the net of the Kingdom of Heaven.

But there are also differences between this paradigm and that which we see in Khlebnikov's poem. The «fishermen» at work in the *Physiologus* are demons and those in the in the biblical and liturgical texts are the apostles. In Khlebnikov's there are no fishermen whatsoever. We are simply told that the cosmos is like flowing water in which the stars are like nets cast by an unnamed force, and human beings fish.

The key to this conceit is clearly the widespread belief that stars guide human destiny. The view is not alien to Iamblichus, who writes in his *Theurgia* that the Egyptian magi «attribute to motion of the stars whatever may relate to us. They bind everything, I know not how, in the indissoluble bonds of necessity, which they term Fate, or allotment...» [Iamblichus 1989: 19]. The stars, in effect, imprison man in the same way that a net ensnares fish. The star : net metaphor, we should note in passing, may also have a visual motivation, though it is not made explicit here. In an early poem, «Zmei poezda» (1910), for example, we read: «Но сеть звездами расположенных колючек/ Испугала меня, и я заплакал, не крича» [CC III: 44]. A more positive visual connection is explored in «Роёв»: «...идите / Речной волной бежать сквозь сети / Или нести созвездий нити / В глубинах темного собора / Широкой росписью стены, / Или жилищами волны / Скитаться вы обречены» [CC III: 209].

The mythopoetic role assigned to stars and nets in Khlebnikov's idiolect in turn implicates the world of numbers, which he viewed as the ultimate reality, the equivalent of the Divine in both the neoplatonic and Christian traditions. His views on this score are neatly summed up in the words, «И звезды это числа, и судьбы это числа, и смерти это числа, и нравы это числа», and his oft-repeated claim that in the modern world «мера» must take the place of «vera» (see [CC VI-2: 94]). This fixation on Number is, of course, a function of the poet's aforementioned quest for those mathematical formulae that can account for — and thus in principle be used to predict — all events, be they cosmic or cultural, historic or pre-historic, and both stars and nets may be read as «stand-ins» for numbers. But the way Khlebnikov deploys the images in «Gody, liudi i narody...» suggests a certain disquiet, implying that human beings may be prisoners of a deterministic universe where the star-net of numbers controls every man's destiny. We may see this disquiet in Khlebnikov's deployment of the net/star metaphor in other poems. Perhaps the most striking example is the passage in «Kamennaja baba», where the poet writes: «И это я забился в сетях / На сетке Млечного Пути. / Когда краснела кровью Висла / И покраснел от крови Тисс, / Тогда рыдающие числа / Над бедным миром пронеслись» [CC III: 193]. The laws of time here dictate the inevitability of the horrors associated with the Civil War (the poem was composed in 1919). In other words, such events can in principle be predicted (if one knows the right formulae), but not averted, because the laws of time cannot be broken or abrogated.

Two other poems that frame Khlebnikov's literary career, one composed in 1911—1912 and the other in 1921—1922, incorporate lines that both affirm and protest against the vision of a future that is fundamentally deterministic. In «Razgovor dush» one of the poem's protagonists asserts: «Мы потоком звезд одеты. / Вокруг нас ночная тьма. / Где же клятвы? Где обеты? / Чарования ума? [...]: “Кто сетку из чисел / Набросил на мир, / Разве он ум наш возвысил? / Нет, стал наш ум еще более сир”» [CC IV: 53]. A decade later, when Khlebnikov's concerns had grown more global in scope, the second of the two quatrains cited above was transposed into «Zangezi» in the following context (the words belong to Zangezi himself, Khlebnikov's *alter ego*): «Вперед, шары земные! / Если кто сетку из чисел / Набросил на мир, / Разве он ум наш

восвысил? / Нет, стал наш ум еще более сир! / Раньше улитки и слизи — / Нынче орлиные жизни» [CC V: 343—344]. As V. P. Grigor'ev has noted, the reiteration of these lines underscores Khlebnikov's concerns that the «“законы времени” и другие устанавливаемые числовые соотношения и закономерности выглядят как слишком жесткие, прямолинейно детерминирующие будущее» [Григорьев 2000: 150]. Zangezi's response to the danger of fatalism is poetic rather than logical. The passage continues: «Более радуг в цвета! / Та — та! / Будет земля занята / Сетью крылатых дорог! / Та — та! / Ежели скажут: ты Бог, — / Гневно ответь: клевета, / Мне он лишь только до ног» [CC V: 344]. Thus the net of necessity, whether of Divine or purely mathematical origin, is transferred to the hands of man, who may now proceed to impose it on his own creations.

SOURCES CITED

- Державин 2002 — *Державин Г. П.* Сочинения / Вступит. ст., сост., подгот. текста и примеч. Г. Н. Ионина. СПб.: Академический проект, 2002. (Новая Библиотека поэта.)
- Григорев 2000 — *Григорьев В. П.* Будетлянин. М.: Языки рус. культуры, 2000.
- Карнеев 1890 — *Карнеев А.* Физиолог (Материалы и заметки по литературной истории «Физиолога»). СПб., 1890. (Памятники древней письменности, ХСП.)
- Мережковский 1989 — *Мережковский Д. С.* Христос и антихрист: Трилогия. Т. 1. Смерть богов (Юлиан Отступник). М.: Книга, 1989. (Из литературного наследия.)
- СС I—VI (1—2) — *Хлебников В. В.* Собрание сочинений: В 6 т. / Сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арензона, Р. В. Дуганова. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2000—2006.
- Физиолог 2006—2007 — Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН.
- Хлебников 1986 — *Хлебников В. В.* Творения / Сост., подгот. текста и коммент. В. П. Григорьева, А. Е. Парниса. М.: Сов. писатель, 1986.
- Iamblichus 1989 — Iamblichus of Chalcis. On the Mysteries / De mysteriis Aegyptiorum / Ed. by S. Ronan, Tr. T. Taylor, A. Wilder. Hastings: Chthonios Books, 1989.
<http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4967>.

**О ЗНАЧЕНИИ ОБРАЗА «ГЛУХОЙ ВСЕЛЕННОЙ»
В КОНТЕКСТЕ ЦИКЛА «ЗАНЯТЬЕ ФИЛОСОФИЕЙ»
БОРИСА ПАСТЕРНАКА**

В специальной литературе, посвященной характеристике поэтической системы Пастернака, не раз отмечалась закономерность, состоящая в том, что реализация образного смысла поэтических тропов не «умещается» в пределах сюжета одного стихотворения, а выходя за его пределы, требует широкого «лирического простора», охватывающего композицию целых циклов или же целых книг стихотворений. Орудием ступенчатого смыслового развертывания этих многоярусных образных структур часто являются синтаксические конструкции, носящие поливалентный смысловой статус, и поэтому потенциально заключающие в себе несколько вариантов интерпретации (см. [Björling 1976; Иванов 1992]). В этой закономерности синтаксического построения образных комплексов запечатлевается особый механизм деятельности творческого сознания, охарактеризованный в специальной литературе как симультанный тип поэтического восприятия, который в свою очередь органически связан с феноменологической интенциональностью лирического сознания [Флейшман 1975; Иванов 1988]. На уровне структуры и семантики поэтических образов эта закономерность проявляется в том, что практически нет локальных семантических единиц, т. е. замкнутых тропеических или фразеологических конструкций. Каждый «локальный» троп является узловым пунктом, точкой пересечения разных перцептивных зон, и вследствие этого точкой перекрещения разнонаправленных семантических каналов. Основной отличительной чертой локальных синтаксических и образных единиц является их «готовность» развернуть свое смысловое ядро и создать более крупные орнаментальные словесные образования, т. е. реализовать свою смыслопорождающую энергию в композиционно-сюжетном воплощении широкого охвата (см. [Лежнев 1926; Обломиевский 1934; Смирнов 1972; Фатеева 1995]).

На основе опыта анализа образного и синтаксического строя цикла «Занятие философией» представляется возможным установить, что в стихотворениях Пастернака можно различать два основных типа поэтического акта называния, и соответствующие этим актам способы их словесного развертывания. На уровне локального сюжета создается иллюзия, что непосредственно воспринимаемые в своей моментальной данности явления природного или предметного окружения определяются актом прямого называния, и благодаря этому создается иллюзия

люзия импрессионистической свежести улавливаемых вещей. Однако эти же явления существуют и в другом измерении, не только в своей моментальной данности, но и в своем потенциальном, эйдетическом бытии. Этот модус их бытия уже не может быть определен путем прямого названия, а только путем перифрастических описаний, реализованных посредством многократных попыток повторного названия, при которых улавливаются все новые и новые аспекты бытия называемой вещи или явления. Акт истинного названия, т. е. субстанциального определения вещи может совершаться только тогда, когда в лирическом сознании уже осуществилась интеграция всех плоскостей бытия воспринимаемого явления, которое таким образом уже приобретает статус не чувственной, а смысловой реальности.

Эти два модуса бытия вещей и соответствующие им два уровня поэтического акта названия опираются на мировоззренческие предпосылки, на переосмысление взаимоотношения эмпирического и эйдетического бытия в поэтическом космосе Пастернака. В поэтической вселенной Пастернака нет иерархической ценностной шкалы, по которой упорядочились бы различные пласты бытия. Бессмертие из сферы незыблемого трансцендентального мира переводится в земное измерение, и этим земным миром правит закон вечного динамического становления. Эйдетическое бытие вещей предполагается не в трансцендентальной сфере абсолютных ценностей, оно содержится как новый потенциальный модус бытия во внутреннем смысловом ядре самих вещей и проявляет готовность развернуться в реализованное, действительное бытие при встречной направленности «силового луча» творческого сознания. Этот новый модус бытия вещей зависит от интенциональности сознания, в поле восприятия которого они вовлекаются, поэтому он может быть назван интенциональным бытием в духе феноменологической философии. Поскольку интенциональное бытие является категорией коррелятивности, в этом модусе преодолевается дуализм познающего субъекта и объекта познания. Кроме этого, интенциональное бытие является смежным статусом бытия, поскольку оно и не идеальное бытие в чистом виде, и не эмпирическое бытие в его непосредственной данности, а промежуточное бытие, располагающееся между этими двумя сферами, поэтому оно может быть сопоставимо с эстетическим бытием, вернее особым модусом бытия вещей в эстетической сфере (см.: [Шпет 1922—1923; Mathauser 1999]).

Таким образом, закономерности онтологического построения мира и закономерности деятельности творческого сознания в поэтическом мире Пастернака находятся в коррелятивном отношении. Эти же закономерности «разыгрываются» в поэтических текстах на уровне словесных приемов. Основным словесным оператором, способствующим действию закона вечного становления в смысловом пространстве стихотворений, является «метонимическая метафора», построенная на смежности вещей. Согласно сопоставительной характеристике двух видов метафорической образности, изложенной в ранней статье Пастернака «Вассерманова реакция», если метафоры, построенные на сходстве, лишь фиксируют устоявши-

еся законы бытия и поэтому консервируют явления в их статическом модусе бытия, то метафоры, построенные на законе смежности, вырывают вещи из этих абстрактных форм бытия, сдвигают их с привычного, статического места и включают их в новые формы сочетаемости, посредством которых их индивидуальное бытие предстает в новом свете взаимного истолкования, непрерывного диалога самих вещей. Поэтому и акт «образного улавливания» явлений — это многоступенчатый динамический процесс, метаморфоза бытия вещей из моментального в бессмертное происходит путем их вовлечения в силовое поле лирического сознания, в пределах которого и разворачивается вся динамическая система всеобщей связанности явлений мира.

Поэтому «перетасовка» явлений с их привычного места посредством метонимических сдвигов (см. [Якобсон 1935]) происходит в поэзии Пастернака не только на уровне локальных тропов, но и на уровне более крупных фразеологических и синтаксических единиц. Пастернак часто пользуется приемом расподобления составных компонентов устойчивых фразеологических сочетаний ради того, чтобы ставшие независимыми от прежних форм сочетаемости словесные единицы — наподобие вещам, вырываемым из форм устойчивых сочетаний, — могли включиться в неожиданные и непривычные формы сочетания и смогли реализовать свои доныне скрытые семантические потенции. Семантический механизм расподобления прежде связанных словесных представлений в пределах одного фразеологического сочетания и создание новых поэтических фразеологизмов из «отрезанных» членов прежних сочетаний в некотором отношении проявляют аналогию с теми словесными процедурами, которые Роман Якобсон называет «реализацией тропа» на примере поэзии Хлебникова. Анализируя семантическую структуру сравнений у Хлебникова, Якобсон отмечает, что сочетание сравниваемого и сравнивающего в их структуре на уровне микросемантики локального тропа кажется немотивированным, однако в контексте макросемантики целого произведения это сочетание приобретает смысловую мотивацию [Якобсон 1919]. Подобным же образом, сочетание словесных представлений в поэтических фразеологизмах Пастернака при всей видимости их синтаксической правильности часто производит впечатление в смысловом отношении немотивированного парадокса, однако включаясь в динамический ряд смысловых трансформаций, они получают глубинную мотивацию в контексте более крупных смысловых единиц.

Не только отдельные образные комплексы и синтаксические конфигурации, но и само название цикла «Занятие философией» позволяют представить как минимум два прочтения: одно — персональное («мои занятия философией», или же «как занимается философией лирический поэт»), второе — имперсональное («*Studium philosophiae*», или же «что значит заниматься философией в области поэзии»). Однако в обоих случаях вопрос ставится о возможности переводимости двух различных дискурсов — поэтического и философского и соответствующих им двух различных типов восприятия, симультанного действия спонтанной перцепции и рефлектирующей на это же восприятие апперцепции. Именно в итоге

синкретического переплетения двух различных уровней деятельности сознания возникает в пределах цикла своеобразная персональная онтология посредством онтологизации интенциональных актов сознания, в смысловом пространстве которой каждую вещественную реалию и каждый словесный знак можно воспринимать и интерпретировать и в плане поэтической космологии, и в плане философии творчества и языка, и в плане персонально-экзистенциальном.

Сама логика построения цикла наталкивает на такие возможности в интерпретации словесных образов. То смысловое кольцо, которое описывает композиционный рисунок цикла, движется от всеобщей онтологической модели мира (которая в духе положительных эстетических учений совпадает со смысловой моделью поэтического произведения) через поиски тех начал, которые движут этой космической и заодно поэтической вселенной к сугубо персональному опыту любви и к образу носительницы энергетичных токов любовной страсти, которой подлежит трансформироваться в творческую страсть, в источник созидания поэтического произведения. Композиционно-смысловое движение цикла может быть интерпретировано как процесс поисков новой причинности, как опыт определения того начала, которое является двигателем мироздания в его вечном становлении. Поскольку это начало не может быть постигнуто и определено в своей метафизической отвлеченности, а только в своей индивидуально-персональной воплощенности, оно конкретизируется в образе самозабвенно танцующей женщины в стихотворении «Заместительница» [Иванов 1989].

Вяч. Вс. Иванов в своей статье «Русская поэтическая традиция и футуризм (из опыта раннего Пастернака)» характеризует композиционное построение стихотворения «Определение поэзии» как пример переплетения русской и европейской поэтической традиции и применения новых, футуристических приемов. Анализируя синтаксическое построение первых двух строф, состоящих из шести номинативных и одной глагольной конструкций, начинающихся с местоимения *Это*, ученый отмечает, что первые образы, открывающие стихотворение, связаны со звуковыми восприятиями *свиста* и *щелканья*. Интерпретируя формы образной и логической сочетаемости этих звуковых эффектов в локальном контексте данного стихотворения, а также в контексте книг «Сестра моя — жизнь» и «Темы и вариации», Вяч. Вс. Иванов связывает их с образными рядами *птиц*, и прежде всего, с образом *соловья*, а также с образом *ночного небосвода*. Поскольку с *небосводом* связаны *звезды*, иносказательное название которых появляется уже в первой композиционной части стихотворения (*Это — слезы вселенной в лопатках*), ученый считает, что именно *звезды* становятся основным предметом образного развертывания в поэтическом сюжете стихотворения. Именно в этом духе интерпретирует исследователь первое четверостишие второй композиционной половины стихотворения (*Все, что ночи так важно сыскать / На глубоких купальных доньях, / И звезду донести до садка / На трепещущих мокрых ладонях*), где образ ночного небосвода развертывается в своей зрительной и смысловой полноте: «Главным действующим лицом всего этого (третьего) четверостишия оказывается ночь, поэтому оно

прямо продолжает третью строку первого четверостишия. Но здесь ночной небосвод видится отраженным в воде: водоем, в котором можно купаться, уподобляется садку, а звезда — рыбе в этом садке...» [Иванов 1992: 343]. Именно в последнем четверостишии стихотворения (*Площе досок в воде — духота. / Небосвод завалился ольхою. / Этим звездам к лицу бы хохотать, / Ан вселенная — место глухое*) при характеристике *ночного небосвода*, уподобляемого склоняющейся над прудом ольхе, появляются отрицательные начала «духоты» и «глухоты», которые, по мнению ученого, составляют контраст «с громким и мажорным звучанием предшествующих строк» [Иванов 1992: 343—344].

Нам представляется возможным интерпретировать развернутый образ *ночного небосвода*, стремящегося отыскать свою тайну в земном измерении в собственных отражениях на дне купальни, и в аллегорическом смысле. В этом случае ночной небосвод будет образным аналогом лирического сознания, опознающего себя в собственных проекциях, заполняющих весь природный мир. Такая возможная интерпретация образного смысла этой картины соответствует новой модели поэтической вселенной в поэзии Пастернака, где сфера бывшего трансцендентального мира спускается на землю и переносит туда «на трепещущих мокрых ладонях» все свои тайны. Соответственно, и «пение звезд», «музыка сфер» замолкли в небесных высотах, она должна заново зазвучать в земном измерении, которое и стало сферой бессмертия, полем действия «бессмертной жизни».

Стихотворение «Определение поэзии» завершается номинативной синтаксической конструкцией, построенной на акте отождествления, подобно синтаксическим конструкциям, заполняющим первую композиционную половину стихотворения. Но если в первых двух четверостишиях сущность поэзии определяется через ряд моментальных восприятий, в основном слуховых и зрительных, то в этой последней строке весь суммарный образ вселенной, развернутый в предыдущих строках, отождествляется с *глухим местом*. Вяч. Вс. Иванов считает этот финальный образ неожиданно мрачным и при этом отмечает содержащиеся в нем смысловые оттенки, позволяющие его различные интерпретации: «Глухое место понимается в двух смыслах — и как не слышащее (не воспринимающее) и как заброшенное (звезды до этого определены как сладкий заглухший горох; в пользу этого разговорного значения говорит народное *Ан*)» [Иванов 1992: 344].

Если мы отдаем первенство этому второму смысловому оттенку и интерпретируем *глухое место* как «место заброшенное», «мертвый край», «захолустное место», тогда открывается возможность провести аналогию с одним из центральных образов постсимволистской поэзии, с образом «пустой трансценденции» (например, с пустым холстом небес в поэзии Мандельштама), лишенной своих прежних тайн, символом которой были *звезды*. В этом случае перед нами предстает такая поэтическая модель мира, в которой трансценденция из центральной ценностной сферы мироздания становится его периферией.

Интерпретация смысла «глухого места» зависит и от того, в каком смысловом ключе мы понимаем предыдущую строку: «*Этим звездам к лицу бы хохотать*».

Если мы интерпретируем этот оборот с отрицательным значением, где речь идет о звездах, которые не могут разразиться хохотом, т. е. об онемевших звездах, о замолкшей музыке сфер, тогда «глухое место» можно понимать как немое место, которое не может издавать звуки, только отдается гулом, является только эхом других голосов. В качестве аргументации может быть приведена первая строка стихотворения, запечатлившая интенсивное и резкое слуховое восприятие: *«круто налившийся свист»*. Этот звуковой эффект в равной мере характеризует и качество звука, и объем пространства, где этот звук разрастается. Резко вторгаясь в тишину космического пространства, этот звук преодолевает свою точечность, начинает расширяться в пространстве наподобие концентрических кругов и заполняет всю вселенную. Согласно этой логике, резкий *свист*, вызывает эхо во всем глухом пространстве, «озвучивает» немое мироздание. Однако, если мы осмысливаем оборот *«Этим звездам к лицу бы хохотать»* не в локальном контексте первого стихотворения, а в более широком контексте всего цикла, тогда эта строка может восприниматься в положительном смысле, и тогда она повествует о звездах, которым подошло бы, если бы они смогли разразиться хохотом (см. начало стихотворения «Болезни земли»: *«...Раздастся ль только хохот»*).

Образ глухого мироздания и «онемевших звезд» может вызывать и другой ассоциативный ряд, который отсылает нас к образному строю стихотворений «Определение души» и «Определение творчества». Образ звезд, которым к лицу было бы хохотать в ретроспективном смысловом освещении, идущем от последующих стихотворений, может ассоциироваться со звездами, которые захлебываются от немоты, задыхаются от невозможности петь. Эта возможность интерпретации подтверждается уподоблением отражающихся в садовом пруде *звезд рыбам* в финальном образе стихотворения «Определение поэзии». Немота звезд, задыхающихся от неспособности запеть, с одной стороны, отсылает нас к образу *листа*, расставшегося с суком, к которому обращено предупреждение *«Сумасброд — задохнется в сухом!»* в стихотворении «Определение души», с другой стороны, звезды, которым хотелось бы «залиться соловьем», отсылают нас к третьей строфе стихотворения «Определение творчества».

В комплексных образных и синтаксических структурах второй композиционной половины этого стихотворения нет изолированных рядов восприятия зрения, слуха, обоняния: *«А в саду, где из погреба, со льду, Звезды благоуханно разохались, / Соловьем над лозою Изольды / Захлебнулась Тристанова Захолодь»*. В синкретическом образе *«звезды благоуханно разохались»* происходит симульганизация зрительного ряда (отражение звезд на льду в погребе), обонятельного ряда (благоухать) и слухового («звезды разохались»). Образ «звезды разохались» при регрессивном и ретроспективном семантическом сдвиге отсылает нас к концовке стихотворения «Определение поэзии», где только ожидается «хохот звезд» (*«этим звездам к лицу бы хохотать»*), с другой стороны, к началу предыдущего стихотворения «Болезни земли» (*«Раздастся ли хохот...»*). Если же учесть, что «звезды» есть не что иное, как «слезы вселенной», тогда все эти разнонаправленные смыс-

ловые каналы могут быть сплетены в соединении двух таких синтаксических конструкций, как «захлебываться от слез» и «захлебываться от хохота».

Прослеживая различные способы претворения поэтической традиции Лермонтова в поэзии Пастернака на примере анализа стихотворений из книги «Сестра моя — жизнь» Вяч. Вс. Иванова доказывает, что ключевые слова этой книги *Жизнь* и *Страсть* тоже связаны с лермонтовской преемственной линией русской поэзии. В этом духе интерпретирует ученый и финал стихотворения «Определение творчества»: «*И сады, и пруды, и ограды, / И кипящее белыми воплями / Мирозданье — лишь страсти разряды, / Человеческим сердцем накопленной*». Вяч. Вс. Иванов справедливо отмечает, что в этих строках мы уже напрасно ищем реальные контуры мироздания, и даже такие первоначально действительные реалии пейзажа, как сады, пруды и ограды, теряют свою предметность и растворяются в потоке страсти, и в итоге на месте мироздания и реального пейзажа остается одна страсть в чистом своем энергетичном бытии [Иванов 1992: 336].

Нам бы хотелось эту закономерность, сформулированную в статье Вяч. Вс. Иванова, пополнить характеристикой семантических трансформаций, реализуемых посредством поэтического синтаксиса. Нам кажется, что именно эти смысловые превращения способствуют процессу растворения предметных контуров явлений в творческой страсти. Такая вереница смысловых смещений и трансформаций происходит в синтаксической конструкции, составляющей многослойный образный комплекс: «*Соловьем над лозю Изольды / Захлебнулась Тристанова Захолодь*». В структуре поэтического фразеологизма, позволяющего несколько возможных интерпретаций, разлагается первоначальное устойчивое словосочетание «захлебнуться соловьем», которое имело идиоматическое значение «запеть во всю силу». Составные элементы этого устойчивого словосочетания не только разводятся путем расподобления, но их первоначальный порядок становится инверсивным. В итоге этих синтаксических и семантических сдвигов слово «соловей» освобождается от сочетаемости со словом «захлебнуться» и становится заглавным словом стихотворного периода. Но поскольку оно сохраняет грамматическую форму творительного падежа, наподобие другим вариантам этого излюбленного поэтического приема Пастернака, оно может интерпретироваться как конструкция, выражающая в равной мере и тождество и подобие (см. [Арутюнова 1983]).

Если творительный падеж мы воспринимаем как акт сравнения, тогда в этом образе преобладают конкретные ощущения, прежде всего слуховые. В этом случае поющий соловей сравнивается с воскресшим из мертвых Тристаном и таким образом проводится сопоставление между явлением природы (пение соловья) и между явлением культуры (музыка Вагнера). При такой возможной интерпретации уподобляемые явления сохраняют свою относительную самостоятельность и свою относительную конкретность. Этот способ осмысления позволяет создать представление об «озвучивании», о заполнении пением соловья и музыкой Вагнера «глухой вселенной».

Если мы понимаем творительный падеж в значении «в виде соловья», то есть как акт отождествления различных воплощений того же единого начала, тогда происходит образное отождествление поющего соловья и Тристана, и такой акт позволяет опознать в соловье, в природном явлении, трансформацию явления культуры, образа Тристана. Это и значит, что природные явления должны терять свои вещественные, пластические контуры, потому что они являются не чем иным, как перевоплощением тех сил, которые прививаются природе культурой. В природе продолжают жить человеческие «страсти», и этой страстью движимо мироздание. Такой способ осмысления позволяет создать представление об «очеловечивании» и «одухотворении» земного космоса.

Все эти смысловые трансформации осуществляются посредством синтаксического приема деконструкции устойчивых фразеологических сочетаний. Составные компоненты словосочетания «хохотать до слез» разведены в смысловом пространстве целостного цикла таким образом, что один структурный элемент словосочетания помещен в конце первого стихотворения цикла (*«Этим звездам к лицу бы хохотать»*) в стихотворении «Определение поэзии»), а второй — в финале последнего стихотворения цикла (*«Им, им — и от души смеши, / И до упаду в лоск, / На зависть мчащимся мешкам, До слез, — до слез!»*) в стихотворении «Заместительница»). Именно благодаря этому синтаксическому приему становится возможным соотнести расподобленные компоненты разложенного фразеологического сочетания с различными субъектами: «хохот» соотнесен со «звездами» в первом стихотворении, а «слезы» — с образом самозабвенно танцующей «заместительницы».

Общим смысловым компонентом этих «разложенных» фразеологизмов является глагол «захлебываться», который встречается в контексте целостного цикла в своей смысловой полифункциональности: например, в стихотворении «Определение души» глагол «задохнется» выступает синонимом глагола «захлебнуться». В частности, этот глагол является узловым моментом и фразеологизма «захлебываться слезами», который в смысловом отношении является синонимом фразеологизма «заливаться слезами». А глагол «заливаться» в свою очередь будет узловым моментом в двух новых словосочетаниях, в фразеологизмах «заливаться слезами» и «заливаться соловьем». Таким образом, прием расподобления составных компонентов устойчивых фразеологических сочетаний на уровне поэтического синтаксиса способствует реализации тех перемещений и трансформаций, которые происходят в мире вещей и в структуре поэтической вселенной.

ЛИТЕРАТУРА

- Альфонсов 1990 — *Альфонсов В. Н.* Поэзия Б. Пастернака. Л., 1990.
- Арутюнова 1983 — *Арутюнова Н. Д.* Тожество или подобие? // Проблемы структурной лингвистики 1981. М., 1983. С. 3—22.
- Бройтман 2007 — *Бройтман С. Н.* Поэтика книги Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь». М., 2007.
- Иванов 1988 — *Иванов Вяч. Вс.* Пастернак и ОПОЯЗ. К постановке вопроса // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 70—83.
- Иванов 1989 — *Иванов Вяч. Вс.* О книге Пастернака «Сестра моя — жизнь» (фрагмент) // Russian Literature and History: In Honour of Professor I. Serman. Jerusalem, 1989. С. 83—89.
- Иванов 1992 — *Иванов Вяч. Вс.* Русская поэтическая традиция и футуризм (из опыта раннего Б. Пастернака) // Связь времен. Проблемы преемственности в русской литературе конца XIX — начала XX в. М., 1992. С. 329—348.
- Ковтунова 1995 — *Ковтунова И. И.* О поэтических образах Бориса Пастернака // Очерки истории языка русской поэзии XX в. Вып. 5. Опыты описания идиостилей. М., 1995. С. 132—207.
- Лежнев 1926 — *Лежнев А.* Борис Пастернак (1926) // *Лежнев А.* О литературе: Статьи. М., 1987. С. 187—202.
- Некрасова 1982 — *Некрасова Е. А.* Сравнения в контексте творчества Б. Пастернака // *Некрасова Е. А., Бакина М. А.* Языковые процессы в современной русской поэзии. М., 1982. С. 5—189.
- Обломиевский 1934 — *Обломиевский Д.* Борис Пастернак // Литературный современник. 1934. 4. С. 127—142.
- Синявский 1965 — *Синявский А. Д.* Поэзия Пастернака // *Пастернак Б.* Стихотворения и поэмы. М. Л., 1965. С. 9—62. (Библиотека поэта. Большая серия).
- Смирнов 1972 — *Смирнов И. П.* Причинно-следственные структуры поэтических произведений // Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972. С. 212—247.
- Фарыно 2002 — *Фарыно Е.* Три заметки к «определениям» поэзии, творчества и души Пастернака // Алфавит: Филологический сб. Смоленск, 2002. С. 123—136.
- Фатеева 1995 — *Фатеева Н. А.* Семантические преобразования в поэзии и прозе одного автора и в системе поэтического языка // Очерки истории языка русской поэзии XX в. Вып. 4. Образные средства поэтического языка и их трансформации. М., 1995. С. 178—259.
- Флейшман 1975 — *Флейшман Л.* К характеристике раннего Пастернака // Russian Literature. 1975. 12. С. 79—114.
- Шпет 1922—1923 — *Шпет Г. Г.* Эстетические фрагменты (1922—1923) // *Шпет Г. Г.* Сочинения. Приложение к журналу «Вопросы философии». М., 1989. С. 345—475.
- Якобсон 1919 — *Якобсон Р.* Новейшая русская поэзия (1919) // *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987. С. 272—317.
- Якобсон 1935 — *Якобсон Р.* Заметки о прозе поэта Пастернака (1935) // *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М., 1987. С. 324—339.
- Aroutunova 1977 — *Aroutunova В.* Земля и небо. Наблюдения над категориями пространства и времени в ранней лирике Пастернака // Boris Pasternak. Colloque de Cerisy-la Salle. Paris, 1977. С. 195—224.

- Björling 1976 — *Björling F.* Aspects of Poetic Syntax. Analysis of the Poem «Sestra moja — žizn' i segodnja v razlive» by B. Pasternak // *B. Pasternak. Essays / Ed. by N. Åke Nilsson.* (Stockholm Studies in Russian Literature. 7.) Stockholm, 1976. P. 162—179.
- Нан 2001 — *Han A.* Поэтическая вселенная. Анализ стихотворения Бориса Пастернака «Определение поэзии» // *Studia Russica. XIX.* Budapest, 2001. С. 169—189.
- Jensen 1987 — *Jensen P. A.* Boris Pasternak's «Opređenje poezii» // *Text and Context. Essays to Honor Nils Åke Nilsson.* Stockholm, 1987. P. 96—111.
- Mathauser 1999 — *Mathauser Z.* Estetika racionálního zření. Praha, 1999.
- Medarić 2001 — *Medarić M.* The Place of Simultaneity in Nabokov's and Pasternak's Aesthetics // *Studia Russica. XIX.* Budapest, 2001. С. 384—391.
- Tiernan O'Connor 1988 — *Tiernan O'Connor C. B.* Pasternak: My Pursuit of Philosophy // *Tiernan O'Connor C.* Boris Pasternak's «My Sister — Life». The Illusion of Narrative. Ann Arbor, 1988. P. 79—96.
- Užarević 2001 — *Užarević J.* Лирический цикл: Пастернак и Мандельштам // *Studia Russica XIX.* Budapest, 2001. С. 284—290.

Д. М. Сегал

«ДОКТОР ЖИВАГО» — ЕВРЕЙСКИЙ РОМАН?

Еврейская идентификация и самоидентификация Бориса Пастернака обретает со временем все новые перспективы рассмотрения. Новые материалы на эту тему появились в объемистой переписке, напечатанной в последнем одиннадцатитомном полном собрании сочинений поэта. Но все, что было сказано по этому поводу критикой (в том числе и автором настоящей заметки), основывалось на данных, представленных, так сказать, самим поэтом и его творчеством, особенно романом «Доктор Живаго». В настоящей заметке, которую я посвящаю Вячеславу Всеволодовичу Иванову, великому ученому и замечательному интерпретатору творчества Бориса Пастернака, я хочу попытаться перенести рассмотрение с индивидуальной фигуры поэта на коллективную фигуру еврейского народа. Следует поставить вопрос, могло ли творчество Бориса Пастернака стать частью судьбы еврейского народа, причем не с субъективной точки зрения (самого поэта, его критиков или читателей), а с точки зрения объективной.

Такую точку зрения, такую систему смысловых координат представляет жанровая система, внутри которой бытуют произведения Пастернака.

В этой связи я хочу обсудить проблему принадлежности романа «Доктор Живаго» к одному достаточно диффузному, но интуитивно вполне четко определяемому жанровому объединению, которое я называю «еврейский роман». Представляется, что смысловая система «еврейского романа» может послужить смысловым полем сравнения для романа «Доктор Живаго». С самого начала, еще до того, как я попытаюсь очертить рамки этого объединения, я хочу оговориться, что возможное вхождение «Доктора Живаго» в категорию «еврейского романа» вовсе не означает, что он относится лишь к одной этой категории. Таких жанровых категорий много. Одна из них, например, — это роман о художнике (например, «Жан-Кристоф» Ромен Роллана), другая — это антитоталитарный роман (например, «1984» Джорджа Оруэлла), третья — биографический роман эпохи русских революций (например, «Жизнь Клима Самгина» Горького). Кроме того, у других «еврейских романов» вполне могут быть такие черты, которые «Доктору Живаго» не присущи.

«Еврейский роман» — это жанр романа, в котором так или иначе ставятся и обсуждаются некоторые кардинальные проблемы, связанные с судьбой еврейского народа, так что их обсуждение носит характер сущностный, затрагивающий судьбы героев романа, их личность и отношения друг с другом. «Еврейский роман», в моем понимании, должен быть чем-то большим, чем просто обсуждением конкретной судьбы еврейских героев, в нем должна обсуждаться коллективная судьба

еврейского народа в целом, его перспективы и предназначение. В этом смысле «еврейский роман» есть явление *sui generis*. Наибольшая концентрация произведений этого жанра наблюдается, естественно, в новой ивритской литературе, в произведениях таких классиков, как Ш.-Й. Агнон («Гость в поисках ночлега», «Вчера, позавчера»), и у современных писателей (Дан Цалка «Тысяча сердец», Амос Оз «Повесть о мраке и любви»). Есть они и в литературах на других языках, например роман «Даниэль Деронда» английской писательницы викторианской эпохи Джордж Элиот. В русской литературе двадцатого века таких произведений было совсем немного по вполне понятным историческим и политическим причинам. Как пример одного такого произведения на память сразу приходит многострадальный, как и роман Б. Л. Пастернака, роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Определяя роман «Доктор Живаго» как «еврейский роман», я исхожу из целого ряда факторов — как внутренне структурных и композиционных, так и идейно-философских, а также факторов, связанных с рецепцией романа и его судьбой. Но начать следует с авторской интенции. По свидетельству самого Б. Л. Пастернака, содержащемся в его письме к О. М. Фрейденберг от 13 октября 1946 года («Роман пока называется “Мальчики и девочки”. Я в нем свожу счеты с еврейством»¹), мысль о необходимости сформулировать в романе свое понимание «еврейского вопроса», несомненно, присутствовала в общей концепции романа. При этом сама структура формулировки этого вопроса в окончательной версии романа (распределение высказываний по этому поводу по самым разным местам романа, обязательное помещение этих высказываний в контекст диалога между героями, причем героями как главными, так и второстепенными, или в несобственно-прямую речь, и, наконец, поручение наиболее философски нагруженных высказываний, отражающих авторскую позицию, герою-еврею, не обладающему, тем не менее, полным авторским доверием) свидетельствует о том, что автор стремился придать этой идейно-художественной линии максимум объективности. Отметим также, что в отброшенных автором вариантах текста высказываний по еврейскому вопросу было больше, чем в окончательном тексте. Поскольку отброшенные куски содержали, как правило, критические по отношению к евреям суждения, можно сделать вывод, что автор действительно старался сделать этот дискурс, как ему казалось, как можно более объективным.

Мы не будем здесь обсуждать сколь-нибудь подробно собственно содержание пастернаковского «послания евреям», тем более что оно уже послужило темой целого ряда историософских, философских, литературоведческих и публицистических комментариев (в частности, в моей собственной работе 1977 года, в мемуарных заметках и статьях Генрика Бирнбаума, в послесловии Петра Криксунова к последнему переводу романа на иврит в 2006 году и др.). Отметим лишь, что если на фоне исторического времени, когда был написан роман, призыв к евангелизации звучал наивно и неуместно хотя бы в свете истребления значительной части еврей-

¹ Письмо Б. Л. Пастернака О. М. Фрейденберг от 13 октября 1946 года // Пастернак Б. Полн. собр. соч. с приложениями. Т. IX. М.: Слово, 2005. С. 472.

ского народа во время Второй мировой войны, то в контексте жанра «еврейский роман» обсуждение такой возможности не являлось чем-то из ряда вон выходящим.

Историософская концепция, развиваемая в романе многими своими положениями (в особенности идеей о том, что история есть «установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению») обязана Владимиру Соловьеву. Отсюда сущностная связь историософского уровня романа с его лирическим сюжетом, отсюда, в частности, центральное место образа Лары как ипостаси Вечной Женственности в этой исторической и метафизической картине.

Образ Лары впитал в себя не только различные прототипические импульсы пастернаковского лирического опыта, но и все эмоциональное и духовное богатство его общения с образами России, с ее природой, ее душой. В своем романе поэт вложил много сил и труда в прозаическое воссоздание русской жизни, природы, исторического борения и страдания России. Эти страницы романа, которые первоначально не во всех своих аспектах (я имею в виду пастернаковские опыты обрисовки людей из народа и их речи) вызвали благоприятную реакцию даже у весьма благожелательных читателей, по прошествии времени все более и более встают в своем замечательном величии. Но истинная, сокровенная, пережитая лично связь с Россией, конечно, заключена в образе Лары. Недаром только Ларе отдал автор наиболее сильные, интимно пережитые и поданные поистине изнутри опыты внутреннего монолога («плач Лары»). В этом плане в трактовке образа Юрия Живаго мы видим, как мне кажется, отсутствие симметрии. Оно связано с принципиальным отличием характера этого образа именно в плане его причастности или непричастности такому же цельному пласту народного, национального переживания, который присутствует в образе Лары.

Герой романа явно принадлежит русскому народу. Автор (следуя образцам именно западного представления о России) подчеркивает как почвенное, исконно-русское происхождение и образ жизни его отца: его разгул, купеческую, сибирскую ширь, его, наконец, алкоголизм, так и русскую, дворянскую природу его нежной и утонченной матери. Сама внешность героя — типично русская. С другой стороны, обстоятельства рождения и воспитания Юрия, его сугубо интеллигентная и поэтическая натура, его незатронутость всем тем грубым, причастным насилью обиходом, который так культивировала тогдашняя (да и не только тогдашняя!) русская жизнь во всех классах и сословиях (см. критику русского общества с этой точки зрения в сборнике «Вехи!»), — все это представляет героя романа как человека, совершенно автономного, отдельного, независимого духовно и эмоционально от окружающей его эмпирической русской среды. Характерно, что Юрий не употребляет в своей речи тот народный говорок, который так органичен для Лары, не говоря уже о других народных персонажах романа (и который так не нравился некоторым критикам). У него полный иммунитет и к послеоктябрьскому советскому жаргону, который успешно перенимают его друзья-интеллигенты. Перед нами, таким образом, типичный «герой-индивидуалист» не только по внутренней уста-

новке, которая у него, конечно, присутствует, но и по органическим чертам своего рождения и воспитания. Он — индивидуалист, не желающий внутренне сливаться ни с социальным, ни с народно-этнографическим фоном. При этом совершенно уникальным в традиции русской прозы, к которой принадлежит роман, является полное авторское восхищение таким индивидуализмом.

Если эта характеристика справедлива, а мне кажется, что она такова, то доктор Живаго по своим типологическим свойствам может быть включен не только в группу литературных героев, принадлежащих к категории «герой-художник», «герой-поэт», «герой-артист» (таких, например, как Вильгельм Мейстер Гёте, Генрих фон Офтердинген Новалиса или Жан Кристоф Ромен Роллана), но и к категории «герой еврейского романа». В моей статье «Pro domo sua», опубликованной в сборнике «Slavica Hierosolymitana» в 1977 году, мне уже приходилось указывать на тот факт, что эволюция образа Юрия Живаго в романе такова, что к концу романа (и к концу жизни персонажа) он становится все более похожим на еврея, как его представляет себе в своих рассуждениях по «еврейскому вопросу» Лара. Он становится раздражительным, подозрительным, он намеренно от всех отдалекается. Он болен и досаждал своим друзьям постоянными разговорами о своей болезни в точности, как старики и больные, с которыми Лара ранее сравнивает евреев. Он не испытывает более внутреннего счастья (этого типичного признака христиана, согласно авторским утверждениям, разбросанным в разных местах романа) и предпочитает погрузиться в свои несчастья — черта, также свойственная именно евреям, согласно Ларе. Так Живаго реализует теперь в собственных словах и поступках многие из тех негативных, неприятных черт, которые Лара и Гордон прежде приписывали евреям. Оказывается, недостаточно искреннего желания слиться с «остальными». Нужно, чтобы эти «остальные» были подходящей средой для такого слияния, а, кроме того — чтобы они были готовы принять в свою среду одинокого индивидуалиста, не требуя от него такого «слияния».

Иначе говоря, проповедуя необходимость ассимиляции в плане национальном, роман упрямо отстаивает личностную самобытность и автономию и показывает невозможность ассимиляции в плане социально-культурном. Могут заметить, правда, что эта невозможность — невозможность индивидуальная. Это — данный конкретный человек не может целиком раствориться в народно-национальной массе. Ведь такое растворение, говорит роман, возможно, во-первых, в плане коллективном, когда друзья Живаго в конце романа, после всех страданий и мытарств, выпавших на их долю, вполне становятся частью огромного советского коллектива, а, во-вторых, оно возможно в плане, если угодно, биосоциальном, когда дочь Живаго, потеряв свою подлинную идентичность, становится частью того самого народа, который изверг ее отца из своей среды. Однако устами Лары поэт оплакивает жестокую участь человека, которого принуждают отказаться от своего лица, заставляют подавить в себе живой родник творчества, ибо кенозис Живаго в романе — это как раз результат насильственной попытки ассимиляции свободного индивидуалиста. Заметим также, что это растворение в народе все равно неполное,

ибо в осадок выпадает творчество Живаго, чудесным образом сохраненное и востребованное лишь через много лет после его смерти.

Во времена написания «Доктора Живаго» обсуждение желательности ассимиляции, особенно применительно к еврейскому народу, было частью интеллектуального багажа европейской мысли. В частности, тема эта очень занимала — как часть общей проблемы судеб еврейского народа в двадцатом веке — другого нобелевского лауреата, еврейского писателя Исаака Башевиса-Зингера. Она, так или иначе, фигурирует во всех его произведениях. Роман, о котором я хочу здесь сказать, «Семья Мушкат», напечатанный в 1950 году на идиш и на английском, трактует эту тему в высшей степени интересно и поучительно. Перед нами роман, который создавался примерно в те же годы, что и роман Пастернака, правда, в других условиях и в другой стране — в Соединенных Штатах. Применительно к еврейскому народу Башевис-Зингер показывает различные варианты ассимиляции: от полной, с изменением религии и имени, через так называемую современную, либеральную, когда человек формально остается евреем, но отказывается от еврейской культуры и религии по существу, но сохраняет еврейскую самоидентификацию, до попыток сохранить, иногда в совершенно невозможных условиях, все самые строгие признаки еврейской религии и традиционного образа жизни. Логика событий, описываемых в романе, — крушение еврейского общества в Польше в первую половину двадцатого века, закончившееся катастрофой Второй мировой войны, — такова, что перед лицом надвигающегося тотального уничтожения никакой путь, по которому могли идти евреи тогда, не мог считаться предпочтительным: их всех ждало уничтожение. Авторская точка зрения показывает их всех с одинаковой, довольно трезвой, иногда язвительной объективностью и, главное, с бесконечным сочувствием.

Высказывалось суждение, что суть пастернаковского «послания евреям» в том, что оно обращено не ко всем представителям еврейского народа, а только к тем, кто жил и живет в России. Думается, что, даже если это так (а есть большие сомнения по этому поводу, учитывая мысли Гордона о том, что еврейский народ «в течение веков» был обречен его «национальной мыслью (...) оставаться народом и только народом» — если «в течение веков», то, несомненно, речь идет о еврейском народе в целом), так вот, даже если ассимиляция рекомендовалась для российского еврейства по хронологии романа в 1914, а по времени написания — после 1945 года, то для современного состояния вещей этот проект уже неосуществим: большинство бывших российских евреев сейчас в Израиле.

Но «Семья Мушкат» привлекла мое внимание не только этим, достаточно общим аспектом своего содержания. Примечательно то, что по многим крупным и мелким чертам своей литературной структуры оба эти романа, при всей непохожести их авторов, их среды, судьбы, характера и прочее, типологически довольно схожи, если не сказать близки. Ниже я постараюсь проследить черты этой близости (не ручаюсь, что я заметил все!), одновременно показывая находящиеся рядом с этими чертами элементы несхожести, контраста, ибо сходное интересно всегда на фоне индивидуального и непохожего.

Начнем с самого заглавия, включающего в обоих романах собственные имена: Живаго и Мушкат. Обе фамилии носят очень специфический национальный и социальный характер. Русская фамилия носит типично русский, но не дворянский, а простонародный характер (купеческий или церковный), а еврейская сразу обозначает польское происхождение этой еврейской семьи: Muszkat — так по-польски называется мускатный орех, что выдает происхождение ее из рода торговцев пряностями (занятие в прошлом, скорее, престижное среди евреев, кстати, по-английски эта фамилия передана как Moskat, что не передает оригинального смысла, но подчеркивает экзотизм). Отметим и тот факт, что как семья Живаго, так и семья Мушкат принадлежат к торговому классу. Если в случае еврейского общества это типично, ибо статистическое большинство евреев в Российской империи, а затем в Польше были заняты торговлей, то для России факт принадлежности интеллигента к торговому сословию является, скорее, исключением. В русском названии герой обозначен своей профессией — доктор, хотя собственно медицинское призвание Юрия Андреевича, при всей его значительности для сюжета, не передает главного смысла его существования.

В названии романа Башевиса-Зингера выделено слово «семья». В «Докторе Живаго» семейное начало — это то, от чего герой все время уходит, чтобы, в конце концов, покинуть его навсегда. В еврейском романе семья — это главный семиотический топос и главная проблема. Она — и источник всего доброго, источник всех больших духовных ценностей, оплот и помощь в беде, но она же и оковы, тюрьма, груз на ногах. В чем-то взгляд на семью в обоих романах в этом аспекте схож, но различие — в ценностном центре: для еврейского романа он именно в семье, а не в отдельных героях, как бы они ни были интересны, колоритны, сложны или даже обаятельны; для русского романа — он в герое, и именно в нем. Заметим попутно, что в собственно русском романе — Толстой, Достоевский, Горький — семья почти всегда подается в отрицательном плане, сравним с этим сочувственное описание семьи Громеко и даже трагической, но в чем-то привлекательной семьи отца Юры в «Докторе Живаго».

Теперь перейдем к основному пункту сходства, который концентрируется вокруг образа главного героя. Собственно говоря, в романе «Семья Мушкат» выведена целая галерея действующих лиц, каждое из которых занимает центральное место в данном композиционном отрезке романа: мужчины (реб Мешулам Мушкат, его зять Абрам Шапиро, Герц Яновер), женщины (Адель, Маша Заржицка, Барбара), но есть один герой, который, подобно Юрию Живаго, проходит через все перипетии романа Зингера. Это — молодой человек по имени Аса-Гешель Баннет. Конечно, он не похож на Юрия, как его автор не похож на Бориса Пастернака, но его место в романе, его личностные черты, наконец, многие сюжетные ходы, с ним связанные, кажутся почти списанными с русского «прототипа» — или наоборот (ни того, ни другого, конечно, быть никак не могло!). Как и Юрий, Аса-Гешель мгновенно вызывает к себе симпатию всех окружающих его людей, далеких и близких, особенно — молодых женщин. Как и Юрий, Аса-Гешель — человек мягкий, ин-

тelligentный, но одновременно мужественный и верный своему призванию, человек «творческой складки», духовно развитый и тем самым привлекающий к себе других. Правда, его творчество, в отличие от поэзии «арийца» — как тогда принято было говорить — Юрия, носит типично еврейский характер. Это — философствование «про себя», совершенно в духе еврейского комментирования религиозных книг. «Эпикорос» Аса-Гешель (так на иврите называют ушедших от религии свободомыслящих людей — от имени философа Эпикура) философствует не по поводу религиозных трактатов, а по поводу философии Спинозы, а также смысла истории, смысла человеческого существования. Заметим, что и Юрий Живаго в последний период жизни тоже отдает дань свободному философствованию и даже выпускает небольшие брошюры с изложением своих взглядов — что-то в духе еврейских «контрасов», небольших брошюр назидательно божественного содержания, которые можно найти в религиозных книжных магазинах в ортодоксальных кварталах Иерусалима.

Как и Юрий Андреевич, Аса-Гешель принимает участие в Первой мировой войне — но как рядовой солдат русской армии, а не военный врач! После Октябрьской революции Аса-Гешель — так же, как и Юрий Андреевич! — проводит некоторое время, восхищаясь смелостью и мужеством большевиков в решении вековых проблем, но довольно быстро обнаруживает, что эти смелость и мужество перерождаются в неразборчивость в средствах и презрение к человеческой жизни. Любопытно, что, подобно доктору Живаго, Аса-Гешель становится свидетелем надругательств русской армии над еврейским населением прифронтовой полосы, но, будучи евреем сам, он также становится его жертвой. Очень похожи друг на друга обстоятельства романтической жизни обоих героев. Как я уже сказал, оба они обаятельны и притягивают к себе женщин, но каждый, конечно, по-своему. Каждый независим в своих мнениях и отношениях с людьми (Юрий Андреевич кажется более спокойным и излучающим авторитет, а Аса-Гешель полон внутренних сомнений, его гложет постоянная неуверенность в себе), женщины готовы исполнять их любое желание и принимают их решения как нечто само собой разумеющееся (при этом Юрий Андреевич никогда не ссорится со своими возлюбленными и, даже покинув их, сохраняет к ним нежность и доброе отношение, а Аса-Гешель, скорее, позволяет им себя любить и смиренно терпит то, как его «пилит» одна возлюбленная за другой, но вдруг непонятным образом исчезает и пропадает надолго; он то невнимателен, то проявляет чудеса доброты, самопожертвования и чуткости). Другая общая черта обоих героев — это их пассивность в житейских и общественных делах, их готовность терпеть и примиряться с обстоятельствами, их постоянное «подставление другой щеки».

Схожи в чем-то и обстоятельства знакомства и любви Аса-Гешеля и его «Лары» — девушки по имени Хадасса, внучки патриарха семьи Мушкат Мешулама. Юрий видит Лару впервые, когда она еще совсем молоденькой девушкой обменивается взглядами с ее соблазнителем Комаровским, а затем, через много лет на балу, где она стреляет в Комаровского. Юрий сразу обращает внимание на ее кра-

соту: «Как она горделиво хороша!». В дальнейшем их встречи и любовь — это, скорее, результат того, что сама жизнь, помимо их воли, все время сталкивает их друг с другом. Аса-Гешель также видит свою будущую возлюбленную случайно, когда он в первый день своего пребывания в большом городе — Варшаве, куда он попадает из захолустного еврейского местечка, не планируя этого, совершенно случайно оказался в доме одного из членов семьи Мушкат. Его также поражает необыкновенная красота девушки, но он так же, как Юрий, вначале еще совсем не отдает себе отчета в том, какого сорта чувства она в нем пробуждает. В дальнейшем так же, как и в «Докторе Живаго», многое в отношениях этих героев «Семьи Мушкат» будет зависеть от бурных перипетий времени, но само содержание их отношений будет иным. Во-первых, не похожи сами героини. Конечно, обе красивы и обаятельны, но Лара — «раба любви» в том смысле, что зависит от мужчин и от собственных интимных отношений с ними, а Хадасса от мужчин не зависит, она презирает мужа, навязанного ей семьей, сама содержит свою семью, но внутренне, душою привязана только к Аса-Гешелю, который то находится от нее далеко, то близости, то совсем близко, и она вступает с ним в брак, рождает от него ребенка, то он снова удаляется, уезжает за море, потом возвращается, уходит к другой, снова возвращается к Хадассе, снова покидает ее и так — вплоть до трагического финала романа, где героиня гибнет во время немецкой бомбежки Варшавы.

Центральное место в обоих романах занимает и отношение его героев, особенно главных, к истории. Здесь можно было бы говорить очень много, поскольку сам материал позволяет проводить интересные параллельные сравнения судеб людей похожей складки в катастрофической действительности первой половины XX века (войны, революции, преследования и репрессии). Ограничимся тем, что отметим одно существенное различие: роман Пастернака пронизан историософским оптимизмом, истоки которого лежат, наверное, в учении Соловьева (а, может быть, и в специфике его поэтического дара). Роман Башевиса-Зингера глубоко пессимистичен, полон подлинно мрачного отчаяния. Любопытно одно обстоятельство, выявляющее его типологическую эволюцию. Первоначально — в издании на идиш — концовка романа, так же как и «Доктор Живаго», содержала некоторое подобие оптимистического завершения: описание превратностей судеб некоторых из героев, в том числе Аса-Гешеля, во время их бегства из военной и оккупированной Польши, гибель большинства из них, но — в конечном итоге — спасение и отплытие немногих оставшихся в живых на нелегальном корабле, уже после войны, в Палестину. Но английский, то есть окончательный вариант заканчивается совсем не этим, а прибытием в Варшаву немцев. Завершается роман следующими словами: «“Скоро придет Мессия”. Аса-Гешель посмотрел на него [имеется в виду Герц Яновер, один из героев романа. — Д. С.] в изумлении: “Что ты имеешь в виду?” “Смерть — это Мессия. Вот настоящая правда”».

При своем появлении роман Башевиса-Зингера вызвал в еврейской прессе нарекания, похожие на те, которые несколько лет спустя выпали на долю романа Пастернака (главным образом, по поводу клеветы автора на еврейское общество, пас-

сивности и необидительности главного героя), правда, без тех «оргвыводов», которые сопровождали критику в Советском Союзе. Остается сказать, что после сложных и бурных перипетий рецепции романа Пастернака в Израиле сразу после его появления (напомним слова Давида Бен-Гуриона, что роман — это «самое позорное произведение, которое мог написать о своем народе писатель еврейского происхождения»), в наши дни выход (в 2006 году) нового издания «Доктора Живаго» в переводе на иврит Петра Криксунова, с его подробными комментариями и объемным и содержательным послесловием, был с интересом и уважением встречен ивритской критикой как еще один примечательный и достойный еврейский роман. Молодые ивритские читатели сегодняшнего дня увидели в романе Пастернака гимн любви и верности, замечательный сплав еврейской чувствительности, любви к людям и сострадания к их судьбе и русской отзывчивости к природе, безграничной стойкости перед испытаниями.

Возвращаясь к вопросу, поставленному в самом начале настоящей заметки, а именно, могло ли каким-либо образом творчество Бориса Пастернака стать частью судьбы еврейства, хочется ответить, что так и случилось, и творчество Пастернака действительно стало частью судьбы еврейского народа в двух аспектах. Один аспект — это актуальная история нашего народа, которая стала бы совсем иной, если бы не великое переселение более чем миллиона бывших советских евреев в Израиль, начиная с 1973 года вплоть до сегодняшнего дня. Роль творчества Пастернака в этом процессе сложна и противоречива, но всегда — центральна — от «дела Пастернака» конца пятидесятых годов и его ключевой роли в усилении кризисных моментов в эволюции советского общества, до важнейшей роли лирики Пастернака в духовном багаже тех молодых советских евреев конца 60-х годов, которые создали и возглавили тогдашнее движение за отъезд в Израиль. Немалую роль в этом духовном багаже составило и желание на собственном примере, действием доказать неуместность пастернаковского «послания к евреям».

Но сейчас актуализировался второй аспект влияния творчества Пастернака на еврейскую судьбу. Он относится как раз к тем сторонам творчества Пастернака, которые были так горячо восприняты молодыми читателями нынешнего ивритского перевода «Доктора Живаго». Услышать голос любви и пространства — вот дар Пастернака всему миру, в том числе и еврейскому народу. Нам еще предстоит этот дар по-настоящему почувствовать и понять.

Ф. Б. Успенский

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НЕЯВНОЙ ИКОНИЧНОСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И образ мира в слове явленный...

Б. Пастернак

Представим себе двух неутомимых антагонистов — восторженного читателя и пытливого исследователя. Первый готов отстаивать нерасчленимость и самодостаточность поэтического текста, тогда как второй видит его в качестве сложного шифра, к каждому фрагменту которого должен быть подобран ключ, превращающий таинственное в очевидное.

Примирить их непросто. Наш читатель готов даже допустить необходимость исторического или биографического комментария, но попытки представить стихотворение исключительно как сумму приемов, набор поэтических техник, вызывает у него такое отторжение, что он готов отрицать полезность каких бы то ни было формальных подходов для понимания стиха. Исследователь же, увлекшись отгадыванием загадок, не может помыслить ни единой поэтической строки без многоступенчатого объяснения, причем нередко, открыв некое эффективное аналитическое средство, чрезмерно полагается на его универсальность, применимость ко всем текстам определенной традиции, а то и ко всему поэтическому корпусу.

Разумеется, взявшись за исследование стихотворного текста, невозможно сохранить в полной мере первозданную невинность читательского восприятия. Тем не менее, представленный нами антагонизм, к счастью, все-таки условен, и человек, профессионально работающий со стихами, осознает, что живая магия текста создается не только и не столько за счет продуманных экспериментов и привычных кунштюков. Большинство из средств, участвующих в создании этой магии, ни на уровне литературы в целом, ни даже в творчестве того или иного автора не тиражируются до масштабов приема.

В нашей работе нас будут интересовать некоторые поэтические средства, по определению лишённые универсальности, не объединяющиеся по своей внутренней структуре ни в какую целостную группу. Характеристика таких явлений не может быть легкой, потому что они находятся на грани того, что поддается формализации, и того, что ей практически не подлежит. Дополнительная трудность здесь заключается в том, что в каждом конкретном стихотворении такое средство оказывается почти необязательным, почти факультативным.

Попытаемся двигаться эмпирически, отталкиваясь от частных примеров и иногда переходя с позиций исследователя в стан наивных читателей. Из всего разно-

образа такого рода штучных, порой уникальных, а зачастую почти окказиональных средств порождения поэтического текста нас будут интересовать более всего иконические — те, что участвуют в создании непосредственных зрительных или акустических образов. Чтобы сразу проиллюстрировать, что мы вкладываем в понятие «иконического», «иконичности»¹, начнем с примера, принадлежащего не поэзии XX в., а русской классической прозе. Правда, рассматриваемый нами случай в каком-то смысле неотделим от русской поэтической традиции, так как взят он из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Всем памятен знаменитый фрак Чичикова «наваринского пламени с дымом», который он, наконец, смог пошить себе во второй части поэмы. Каков же этот фрак на вид? Каковы его цвет и фактура? Если мы обратимся к истории костюма, то относительно цвета взамен искомой ясности мы обречем лишь россыпь существенно отличающихся друг от друга возможностей². С точки зрения истории событий эпитет «наваринский» скорее всего отсылает нас к пламени и дыму сражения в Наваринской бухте, где в 1827 г. русская эскадра действовала совместно с французским и английским флотом. Что же касается фактуры ткани, то здесь немало нам может дать и сама структура именованного этого замечательного предмета у Гоголя. В самом деле, чисто статистически он чаще всего характеризуется именно с помощью привычной формулы — «наваринского пламени с дымом». Однако это обозначение по ходу текста складывается далеко не сразу, как не сразу складывается и самый фрак.

В лавке, в виде сукна, когда купец выносит его на свет, чтобы показать по-лучше, цвет назван «наваринского дыму с пламенем»³, а в момент, когда Чичи-

¹ Об иконичности в структуре поэтического текста см. также: [Жолковский, Щеглов 1996: 77—92].

² Русская система цветообозначений оставляет здесь достаточно большой простор для всевозможных догадок. Исследователям не удалось обнаружить интересующего нас наименования «наваринского пламени с дымом» в русских источниках того времени, посвященных моде и одежде. В разделе «Парижские моды» журнала «Московский телеграф» (1828 г.), однако, есть два родственных обозначения — «наваринского дыма» и «наваринского пепла». Первый из них на цветной иллюстрации изображен как коричневый (см. подробнее: [Чернышев 1970, II: 307—308]), но это скорее всего результат ошибки русского художника или редактора, так как цвет «наваринского дыму» охарактеризован как темно-красный [Кирсанова 1995: 169—171]. Именование «наваринского пепла» снабжено вполне определенной французской характеристикой и обозначает «мышинный серый цвет». Цвет же пламени, так или иначе, остается загадкой. Репарки Гоголя, которые характеризуют цветовые пристрастия Чичикова до того, как они выкристаллизовались в устойчивую конструкцию «наваринского пламени с дымом», помогают лишь отчасти. Попытка сочетать одновременно оливковые цвета, брусничные и бутылочные с искрою, возможно, намекает на то, что Чичиков предпочитал сукно, отливающее разными цветами. Итак, парадоксальным образом, обстоятельная формула «наваринского пламени с дымом» не дает читателю позднейшего времени воочию увидеть цвет вождельного чичиковского фрака.

³ См. [Гоголь 1952—1953, V: 360, 425]. Здесь и далее курсив наш. — Ф. У.

кову приносят фрак, пошитый из этого сукна, и он впервые держит его в руках и примеривает перед зеркалом, перед нами чередование «наваринского *пламени* с дымом», «наваринского *дыму* с пламенем» и опять «наваринского *пламени* с дымом»⁴. Откуда такая едва уловимая вариативность в именовании цвета на относительно малом текстовом пространстве? Не есть ли это издержки черновика или авторской забывчивости?

Как кажется, одна ткань, ткань поэмы, на этом отрезке выработана уже столь тщательно, что нет и речи о небрежности, недоделанности другой ткани — ткани фрака. Дело, скорее, в другом: перестановка элементов синтагмы обозначает не что иное, на наш взгляд, как переливы цвета, недаром чичиковский фрак блестит как шелк и цвет его двусоставен. Конечно, это должно быть особенно заметно, когда сукно выносят из лавки на яркий свет, или когда герой поворачивается во фраке поочередно одним и другим боком.

Не исключено, что особую роль играет здесь то обстоятельство, что Чичиков наблюдает оттенки сукна и на самом себе, и в зеркальном отражении. Тогда чередование в описании цвета как бы словесно поддерживает эффект зеркальности в этой мизансцене. И лишь чуть позже, с того момента, когда перед Чичиковым появляется «страшилище с усами», лошадиным хвостом на голове и перевязью с палашом через плечо, наряд нашего героя, как вытщенная из воды рыба, тускнеет и застывает в одной своей ипостаси. Дальше уже он именуется только «наваринского *пламени* с дымом», причем эта характеристика дается с предельной регулярностью, почти навязчивостью. Замечательно, что новый фрак, сшитый по выходе из тюрьмы, будучи, казалось бы, точным клоном старого, уже не играет цветами и именуется единообразно⁵.

Подчеркнем, что если мы правы в своем допущении и разница в порядке слов отражает особый зрительный эффект изменяющейся, переливающейся ткани, то речь здесь не идет о шифре или шараде, которые непременно должен раскрыть читатель. Эффект мерцания и перелива создается вне зависимости от того, замечаем ли мы словесную инверсию или нет. С другой стороны, — и для нас это не менее существенно — данное изобразительное средство вовсе не обязательно должно оставаться всецело в области подсознательного. Оно вполне может отмечаться исследователем или внимательным читателем в процессе медленного чтения⁶.

⁴ [Гоголь 1952—1953, V: 367, 368].

⁵ Там же. С. 369, 370, 371, 372, 387.

⁶ С точки зрения практики исследовательского и читательского восприятия любопытно, что однажды заметив это иконическое средство, позднее мы обнаружили краткое упоминание о нем, сделанное восьмьюдесятью годами ранее, в заключительных строках небольшой статьи В. Ф. Бояновского «Об одном из вещных символов у Гоголя». Сосредотачиваясь в основном на социальной символике чичиковского фрака, автор одной фразой обозначает функцию интересующего нас чередования практически так же, как это было сделано нами выше: «мастерский прием, передающий очень тонкий оттенок — переливчатости цвета сукна» [Бояновский 1928: 106]. Для наших заметок об иконичности небезынтересна личность автора данной статьи. Будучи писателем,

Итак, чередование *дыма* и *пламени* создает некоторый дополнительный обертон, ритмизирующий повествование в пределах довольно большого отрезка текста и в то же время участвующий в создании картинки, когда автор дает возможность читателю не представить за словом что-то свое, а наделяет его способностью видеть предмет таким же, каким видит его сам автор, способностью, конечно, всегда неполной и ускользающей. Упрощая дело, можно сказать, что если Гоголь и впрямь ставил перед собой такую задачу, то по прошествии столетия с передачей фактуры ткани ему повезло, а с передачей цвета — все оказалось значительно сложнее⁷.

Здесь авторская интенция важнее, нежели достижимость цели, а такого рода неочевидные средства уникальны по определению. Попробуем показать теперь совсем другой изобразительный ход, работающий в совсем ином тексте. Речь пойдет о строке из стихотворения позднего Пастернака «В больнице». Как мы помним, стихотворение начинается с описания того, как человека увозят на скорой помощи. В частности, там есть такие строфы:

публицистом и историком литературы, в своих статьях он отчасти избрал для себя роль медиатора между читателем и академическим исследователем. Этой роли он придерживается и в своей статье о Гоголе.

⁷ Любопытно, что представления читателя или исследователя о чичиковском фраке находятся в прямой зависимости от его представлений о поэтике Гоголя как таковой. Условно говоря, можно отметить, что в XIX и в первой половине XX в. преобладало представление о Гоголе как о блестящем бытописателе, реалисте в деталях. Читателю (а вместе с ним и исследователю) предстояло понять, какой конкретный, хотя, возможно, и необычный цвет стоит за конструкцией «наваринского пламени с дымом». Подобного рода попытки отражены, например, в мемуарах Смирновой-Россет: «Заиграли полонез, в первой паре пошли г-жа Зеа с Георгом Дармштадтским, он был во фраке странного цвета, наваринского пламени с дымом» ([Смирнова-Россет 1989: 463]; этот пример взят нами из работы: [Кирсанова 1995]). Герой «Города Эн» Л. Добычина следующим образом описывает свое представление о гоголевской цветовой формуле: «В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом». В. И. Чернышев, сочетая исторические сведения о том, каков мог быть цвет «наваринского дыма» с собственными представлениями о дополнительных оттенках, вносимых словом «пламя», полагает, что цвет фрака был светлых оттенков коричневого [Чернышев 1970, II: 308], тогда как в комментариях к изданию Гоголя 1934 г. речь идет, скорее, об оттенках темно-красного [Кирсанова 1995: 169]. Однако с начала XX в. исследователи все больше сосредотачиваются на исследовании сугубо виртуального, фантастического, символического в поэтике Гоголя. Соответственно, «наваринское пламя с дымом» трактуется как чисто вербальная конструкция, не отсылающая ни к какой цветовой конкретике и являющаяся то ли пародией, то ли символом, то ли интертекстуальной связкой. В интернете, например, можно встретить упоминание о том, что этот предмет был темно-серым (и в таком случае он ассоциируется с цветом наполеоновского сюртука) или даже оранжево-черным, так как он связан с цветами георгиевской ленты. Неожиданность двух последних ассоциаций, как кажется, говорит о том, в какой мере чичиковский фрак из детали костюма превратился для исследователей в деталь художественного контекста.

И скорая помощь миную
 Панели, подъезды, зевак,
 Сумятицу улиц ночную,
 Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
 Мелькали в свету фонаря.
 Покачивалась фельдшерлица
 Со склянкою нашатыря⁸.

Больше всего нас интересует строка с последовательным ступенчатым усечением «милиция, улицы, лица». Это, пожалуй, единственный отрезок во всем стихотворении, который хоть немного выделяется своим формальным изыском на фоне крайне скупого на внешние эффекты, почти прозаического повествования. Может даже возникнуть соблазн связать ее с ранним творчеством Пастернака, чуть ли не с его футуристическим увлечением. Например, она могла бы быть соотнесена со знаменитыми урбанистическими строками Маяковского из стихотворения «Из улицы в улицу», где есть и «фонарь»⁹, и известное обыгрывание «улица — лица»¹⁰.

Однако сходство с Маяковским, на наш взгляд, не является мотивирующим и исчерпывающим для этого текста из позднего Пастернака. Вернее, футуристический опыт и футуристический арсенал приемов используются в данном случае как некий первичный строительный материал для передачи зрительного впечатления.

Строго говоря, даже выделенность этой строки в стихотворении достаточно относительна, у нее есть структурно близкий аналог — «к палатам, полам и халатам / присматривался новичок», где усечение («палатам — полам») разворачивается, скорее, в перераспределение слогов и чередование согласных. Устройство же нашей строчки «милиция, улицы, лица» в чем-то проще и в то же время репрезентативнее с точки зрения иконической функции слова.

В самом деле, последовательное перечисление столь разномасштабных объектов — милиция, улицы, лица — само по себе не формирует целостной картинки, хотя бы и подвижной, они не могут на равных мелькать перед глазами человека. Однако никакого эффекта бессмысленности и несообразности здесь не подразумевается — футуристическая традиция частичной десемантизации слова, обращения к чисто фонетическим перетеканиям и выращивание новых смыслов на основе фонетических соответствий делает свое дело.

Основная нагрузка приходится здесь не на номинацию объектов (хотя каждый из них, взятый в отдельности, вполне уместен и реалистичен в изображаемой ситуации), а пресловутое ступенчатое усечение слова, которое призвано передать постепенно удаляющуюся перспективу, уменьшение и смещение

⁸ [Пастернак 1985, I: 443].

⁹ Ср. «Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок».

¹⁰ «У-лица. / Лица у догов годов / рез-че / че-рез / железных коней / с окон бегущих домов / прыгнули первые кубы».

предметов, увиденных глазами больного. Человек лежит на носилках в машине скорой помощи и видит удаляющийся внешний мир в рамке заднего окна¹¹. Напомним, что тема мира, оставшегося снаружи, ограниченного окном, вообще является сквозной для всего стихотворения, дальше эти окна все время называются эксплицитно: «Окно обнимало квадратом / часть сада и неба клочок...», «Тогда он взглянул благодарно / в окно, за которым стена / была точно искрой пожарной / из города озарена». Самое первое окно в этом ряду — окно скорой помощи — напрямую не названо, оно появляется только благодаря ступенчатому усечению. Замечательно, что почти все реалии внешнего мира, обозначенные в этой строчке, — это своего рода повтор, езда по улицам ночного города, в сущности, уже описана в предыдущей строфе. Однако именно эта строка задает точку наблюдения, точку измененной перспективы.

Вообще говоря, изменение перспективы это едва ли не главный стержень всего стихотворения. Автор хочет, чтобы читатель видел лишь то, что может видеть протагонист, в одно мгновение превратившийся в беспомощного лежачего больного, который следит за происходящим только взглядом, не приподнимая головы. И снова, как и в случае с Гоголем, здесь налицо некое средство, заведомо неброское, почти не выделяющееся на фоне основного текста, ведь объекты в этой строке перечисляются примерно те же самые, что уже упоминались раньше. Действует оно, как кажется, вне зависимости от того, было ли оно отмечено читательским вниманием. Более того, специальная рефлексия даже как будто бы вредит его работе.

Такие, почти избыточные средства могут быть столь же действенны и для завершения образа акустического. Возможно, здесь они еще более актуальны — заставить читателя услышать именно то, что задал автор с помощью одного только описания звука, едва ли не труднее, чем добиться нужной зрительной картинки. За тридцать четыре года до создания стихотворения «В больнице» Пастернак написал не менее известные стихи под названием «Поэзия» (1922 г.). Особый способ актуализации звука появляется в заключительной строфе:

Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,

¹¹ Эффект движения описывает вся строфа, но первые две строчки посвящены тому, что больной может видеть в окно, т. е. наружному пространству, тогда как последние две строчки этой строфы («Покачивалась фельдшерница / со склянкою нашатыря») связаны с замкнутым пространством кареты скорой помощи. Переход от одного к другому маркирован ритмическими изменениями, на которые обратил внимание К. Ф. Тарановский — «Интересен и ритмический рисунок этой строфы: в первых двух строчках все три сильные места ударны, в последних двух среднее ударение пропущено. Эта неожиданная смена ритмического движения имеет кинетическое значение и переключается (как мне кажется) с содержанием, с качанием кареты скорой помощи» [Тарановский 2000: 217]. Таким образом, изменение ритма передает характер движения, а усечения слов — изменение зрительной перспективы, произошедшей с началом пути.

То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена, — струись!¹²

О какой именно струе идет речь, сказано довольно ясно, струя, льющаяся из крана в пустое цинковое ведро — это ли не полное ее описание? В последних строках есть и вполне заурядная аллитерация, переключка «с» и «т», которая, строго говоря, может быть связана со звуком льющейся воды. Некоторая магия, на наш взгляд, содержится при этом в слове «трюизм». Оно слегка неожиданно (хотя, что может быть названо неожиданным у молодого Пастернака?), но при всей своей новизне для русского поэтического языка вполне мотивировано текстом стихотворения, где поэзия настойчиво соотносится с разными ликами обыденности, незатейливости, почти заурядности. Однако помимо всего прочего у слова «трюизм», на наш взгляд, имеется и другая функция — фонетически оно с максимальной буквальностью изображает звук, получающийся, когда тугая струя ударяет в металлическое дно пустого ведра.

Можно считать, что мы имеем здесь дело с доведенной до предельной емкости звукописью, звукописью, скромпресированной до одного слова. Кроме того, что перед нами крайне успешное решение задачи, ставившейся футуристами, когда фонетический облик слова должен был соответствовать образным и смысловым характеристикам, которые с его помощью передавались (достаточно вспомнить здесь хотя бы хрестоматийное хлебниковское «Бозоби пелись губы»). Футуристам зачастую приходилось для этого изобретать искусственные слова или прибегать к глубокой деконструкции семантики готовых слов. Пастернак же использует лексему, в языке вполне существующую, в ее нормальном словарном значении. Для нас такая неброскость, формальная неприметность и контекстуальная оправданность средства изображения звука может быть всего важнее. Возможно, перед нами зародыш будущей эстетики простоты у Пастернака, проступающий уже в его ранних стихах на фоне общей тенденции к обнажению формальных средств и приемов.

Поэзия Осипа Мандельштама представляется нам благодарной почвой для поисков иконического прежде всего потому, что он сам, как кажется, демонстративно признавал за собой способность творить стихом вполне осязаемые объекты: в знаменитом письме Тихонову от 1936 г., прилагавшемся к посланному в журнал стихотворению «Оттого все неудачи...», он сообщал, в частности: «Посылаю Вам еще две новых пьесы. Одна из них Кашеев Кот. В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы “ща” и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота. Язык русский на чудеса способен, лишь бы ему стих повиновался, учился у него и — смело с ним боролся. Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение!»¹³.

¹² [Пастернак 1985, I: 153].

¹³ [Мандельштам 1990, I: 553—554]. Отметим, помимо всего прочего, что некая аллитерация на «ща» присутствует и в самом прозаическом тексте процитированного только что письма, как бы продолжая и обыгрывая звукопись посылаемого стихотворения.

Однако пример, который я собираюсь рассмотреть ниже, связан не с куском золота и вообще не с этим текстом¹⁴, а с изобразительным рядом в стихотворении 1937 г. «Как светотени мученик Рембрандт...», собственно с одной его строкой:

Простишь ли ты меня, великолепный брат
 И мастер и отец черно-зеленой теми, —
 Но око соколиного пера
 И жаркие ларцы у полночи в гареме
 Смущают не к добру, смущают без добра
 Меха́ми сумрака взволнованное племя¹⁵.

Что такое «око соколиного пера»? Только ли метафора зоркости, обладание острым зрением (как это отмечается в некоторых комментариях)? Мне бы казалось, что здесь мы сталкиваемся не только и не столько с абстракцией зрения, сколько с изображением предмета — перед нами и в самом деле птичье перо, вернее даже малая его часть, кружок или глазок на пере птицы. Для эмпазы этого чисто зрительного эффекта «око» и графически, и фонетически удваивается, как бы эхом отражается в слове «соколиного», а напоследок еще и подчеркивается кружочковостью самой графемы «о»¹⁶.

Но почему перо, глазок на пере оказывается у Мандельштама одним из, так сказать, геральдических признаков живописи Рембрандта?

Вообще говоря, перьев на картинах великого голландца не перечесть: начиная от пера в руках размышляющего апостола Павла, который считается автопортретом художника, и кончая, например, перьями на шляпе в автопортрете с Саскией или пером на тюрбане Амана с картины «Артаксеркс, Эсфирь и Аман». В определенном смысле, глазастое перо, как это часто бывает у Мандельштама, вызывает к жизни весь этот сложный птичье-перый ряд. Как ни странно (но при этом тоже для Мандельштама весьма характерно), в этом графико-фонетическом изображении есть нарочитая неточность, потому что сокол понадобился не сам по себе, а в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть и выделить око на пере, ведь перья сокола, как известно, пестры и скорее полосаты — полосы на их нижнем крае можно увидеть как глазки, но лишь с некоторой натяжкой. В первую очередь, глазастое перо ассоциируется, конечно же, с павлином, весьма нередким гостем на картинах Рембрандта. Здесь возникает невольная ассоциация со своеобразным воплощением «черно-зеленой теми», со знаменитым натюрмортом, изображающим мертвых павлинов, хотя я бы настаивал на том, что мы не можем говорить о какой-то одной картине, с которой это зрячее перо слетело в интересующий нас текст. Преслову-

¹⁴ Подробности о письме Мандельштама Тихонову и проблеме иконического в стихотворении «Кашеев кот» см.: [Успенский 2010: 142—154].

¹⁵ [Мандельштам 1990, I: 238].

¹⁶ Кстати говоря, в старых букварях именно слово «око» было едва ли не самой устойчивой иллюстрацией буквы «о» в русском алфавите, тогда как сама она могла изображаться с точкой внутри.

тая изощренная неточность Манделъштама позволяет ассоциировать этот предмет со всей рембрандтовской живописью сразу.

В заключение, приведем еще один пример, где попытка прямого изображения смысла обладает, так сказать, двойным дном или, если угодно, работает сразу на два фронта. В 1937 г. Осип Манделъштам написал стихотворение «Клейкой клятовой липнут почки», где вдруг единожды появляется явный сбой ритма:

Подмигнув на полуслове,
Запнулась зарница,
Старший брат нахмурил брови,
Жалится сестрица¹⁷.

Ритмический сбой, запинка ритма приходится в точности на глагол «запнуться» и, соответственно, семантика глагола поддерживается здесь перебоем ритма, эта связь отмечалась, в частности, в комментариях Н. И. Харджиева¹⁸. Таким образом, перед нами классический пример единства ритма и смысла, не имеющий, казалось бы, прямого отношения к той теме штучных, почти уникальных изобразительных средств, о которой мы говорим. Однако в данном случае речь, возможно, идет о более сложном и при этом зрительном соответствии.

В самом деле, сбой ритма мотивирован глаголом «запнулась», но чем мотивировано появление самого глагола, ведь его роль в данном контексте («запнулась зарница») довольно неясна? Возможный ответ на этот вопрос, на наш взгляд, таков: здесь передается физический облик того, к кому обращено стихотворение, Натальи Штемпель. Как известно, вследствие перенесенного в детстве туберкулеза тазобедренного сустава Штемпель хромала, и не что иное, как ее хромота и заставляет спотыкаться ритм, порождает глагол «запнулась». Более того, не исключено, что хромота — это одна из имплицитных тем всего стихотворения, и, к примеру, строки «Будет зыбка под ногою / легкая качаться» читаются под таким углом зрения двояко — зыбка как люлька или колыбель, которую качают ногой, сочетается с зыбкостью почвы под ногой хромой девушки.

Конечно, на это легко возразить, что сугубо биографические детали — не лучший ключ к пониманию образного мира стихотворения. В самом деле, читатель имеет полное право не знать манеры и особенностей походки Натальи Штемпель, предполагается, что красота стиха должна быть ему доступна и без этого. Правда, рассматриваемое стихотворение подчеркнуто адресное, и героиня в нем даже называется по имени. Однако в данном случае мы апеллируем не к мемуарам и фактографическим подробностям, безусловно внешним по отношению к литературе.

Дело в том, что это стихотворение входит в очень туго спаянный цикл стихов, которые писались в течение двух дней и, судя по всему, создавались как нечто единое. Во всяком случае, они сшиты прямым перетеканием, лексическим и тематическим. Кульминацией этого цикла становятся стихотворения «К пустой земле не-

¹⁷ [Манделъштам 1990, I: 256].

¹⁸ [Харджиев 1973: 305] (№ 221).

вольно припадая» и «Есть женщины, сырой земле родные», где хромота Штемпель явлена напрямую, а в одном из них становится главной темой. Иными словами, зыбкость, запинка в сочетании со сбоем ритма незримо и неявно заранее подводят к тому, что потом зазвучит полно и открыто.

Все изложенные в работе примеры можно охарактеризовать как стремление добиться невербального эффекта вербальными средствами. Примечательно, что всюду мы имеем дело не с заумью, не с почти обесценивающими смысл играми с формой, а с текстами, где есть детализированные, так сказать, классические описания видимого и слышимого мира. Изобразительные средства подобного рода именно в силу своей иконичности нередко ускользают от внимания читателя. Это и не удивительно, так как функционально они в чем-то сродни так называемому «двадцать пятому кадру» — будучи почти незаметны сами по себе, они параллельно с разворачиванием всего остального текста порождают в сознании самостоятельный оптический или акустический образ. От исследователей же такие явления зачастую ускользают в силу своей нерегулярности, непоследовательности. На первых порах определенная изолированность анализируемых примеров нам представляется наиболее продуктивной, она помогает избежать соблазна экстраполяции, упорядочивания и универсализации того, что на деле лишено признаков системности.

ЛИТЕРАТУРА

- Боцяновский 1928 — *Боцяновский В. Ф.* Один из вечных символов у Гоголя // Статьи по славянской филологии и русской словесности: Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского. Л., 1928. С. 103—106. (Сборник Отд. рус. яз. и словесности АН СССР, т. 101, № 3.)
- Гоголь 1952—1953 — *Гоголь Н. В.* Собрание сочинений. Т. I—VI. М., 1952—1953.
- Жолковский, Щеглов 1996 — *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Работы по поэтике выразительности. М., 1996.
- Кирсанова 1995 — *Кирсанова Р. М.* Превращения фрака «наваринского дыму с пламенем» // Новое литературное обозрение. 1995. № 11.
- Мандельштам 1990 — *Мандельштам О. Э.* Сочинения / Вступит. ст. С. С. Аверинцева; Сост. С. С. Аверинцева и П. М. Нерлера; Подгот. текста и коммент. А. Д. Михайлова, П. М. Нерлера. Т. I—II. М., 1990.
- Пастернак 1985 — *Пастернак Б.* Избранное / Вступит. ст. Д. С. Лихачева; Сост., подгот. текста и коммент. Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернак. Т. I—II. М., 1985.
- Тарановский 2000 — *Тарановский К.* О поэзии и поэтике. М., 2000.
- Успенский 2010 — *Успенский Ф. Б.* «Кашеев кот» Осипа Мандельштама в эпистолярном контексте // *Toronto Slavic Quarterly*. 2010. № 32: Spring. (http://www.utoronto.ca/tsq/32/tsq_32_uspenski_kasheev_kot.pdf)
- Харджиев 1973 — *Харджиев Н. И.* Примечания // *Мандельштам О.* Стихотворения / Вступит. ст. А. Л. Дымшица; Сост., подгот. текста и примеч. Н. И. Харджиева. Л., 1973. (Библиотека поэта. Большая серия.)
- Чернышев 1970 — *Чернышев В. И.* Избранные труды. Т. I—II. М., 1970.

ЭКФРАСИС В «ПУТЕШЕСТВИИ В АРМЕНИЮ» МАНДЕЛЬШТАМА: ПРОБЛЕМА РЕФЕРЕНЦИИ

Одной из наиболее острых проблем в современном исследовании экфрасиса является проблема референта — его наличия или отсутствия. Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы хотя бы частично ослабить непреложность этой альтернативы посредством введения понятий внешней и внутренней референции. Материалом для размышлений послужил один из фрагментов «Путешествия в Армению» Мандельштама (1932). Представленные наблюдения сделаны с целью удовлетворить наивное любопытство читателя-искусствоведа: какой именно изобразительный ряд мог бы стоять за описаниями живописных полотен. Именно этот аспект — проблема синестезии и взаимодействия разных искусств в рамках единой семиотической системы — всегда остается в центре внимания Вячеслава Всеволодовича Иванова в его работах по культуре XX века.

Экфрасис у Мандельштама представляется тем более значимым для понимания его творчества, что в целом визуальность в арсенале средств художественной выразительности не занимает у поэта ведущего места. Между тем значение зрительной топики поэта исследователями никогда не оспаривалась. Следует отметить важную роль цвета в семантике его поэзии: он фигурирует в самых разных функциях — от чисто формальной (аудиовизуальной контаминации) до расширенно-семантической с отсылкой к широкому идеокультурному фону, о чем пойдет речь ниже. К элементам визуального кода в его первоосновах можно отнести и мотив рисунка и линии. В строках из стихотворения воронежского цикла *Мало в нем было линейного / Нрава он был не лилейного* слово *линейное* обнаруживает знакомство с книгой Вельфлина о графическом и живописном началах в истории европейской живописи, которая была в те годы очень популярна и которую Мандельштам мог читать по-немецки¹.

Собственно экфрасис встречается в виде описания архитектурного произведения (стихотворения «Айя София», «Notre Dame», «Адмиралтейство»), где он формально-типологически, а именно, монохромной гаммой и геометричной лапидарностью, отсылает к графике начала века, ассоциируясь с графическими листами Добужинского, Бенуа и Бакста. Один из немногочисленных примеров описания живописи — стихотворение «Импрессионизм» (1932), анализировавшееся с точки зрения имманентной поэтики [Фарыно 1974] и поэтического языка [Панова 2002].

¹ За данное замечание благодарю юбиляра этого сборника.

В «Путешествии в Армению» — этой метафорически уплотненной прозе поэта — обращение к изобразительному искусству возникает многократно. В наиболее сгущенном виде экфрасис появляется в главе «Французы», где непосредственно говорится о впечатлениях рассказчика от московского музейного зала французской живописи. Данный фрагмент поставлен в контекст общей темы обращения к древним слоям цивилизации, символического нисхождения по биологической лестнице, на которой посредством этой виртуальной инволюции происходит возвращение к базовой телесности зрения. Внешний референт достаточно ясно обозначен и, казалось бы, имеет четкие и вполне однозначные адреса: «Ночное кафе» и «Пейзаж» Ван Гога, «Игра в шахматы» Матисса, «Бульвар Сен-Дени» Писарро, «Нищий и мальчик» Пикассо, «Натюрморт» Озанфана и другие. Все эти полотна и теперь можно увидеть в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Однако анализ текста убеждает в том, что внешний референт является лишь ширмой, за которой скрывается нечто иное. Это иное не лежит на поверхности и требует дешифровки, ибо чрезвычайно важно для более глубокого понимания как данного фрагмента, так и всего произведения мастера.

Фрагмент тематически членится на несколько эпизодов, объединенных рамочной мотивной конструкцией (тема растягивающегося в начале и сжимающегося в конце поля зрения) и словами, и аллитерациями, которые как скобами скрепляют переход от одного эпизода к другому. Попробуем проследить это движение.

Начальная часть — описание расширения зрения, построенного на метафоре *око = море* и метафорическом сравнении оксюморонного типа (по признаку размера) *рюмка / море*, и благодаря соположению этих фигур происходит уподобление *ока рюмке*:

...я растягивал зрение и окунал глаз в широкую рюмку моря, чтобы вышла из него наружу всякая соринка и слеза.

Я растягивал зрение, как лайковую перчатку, напяливал ее на колодку — на синий морской околодок...

Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема.

Так опускают глаз в налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка.

Уже в первых трех фразах аллитерационно варьируется морфема *око* (*окунал-колодка-околодок-окоема*) на фоне агентов акцентированного зрительного кода и концепта глаза (*зрение-зрение-осмотрел-глаз*). Затем тема переходит ко времени, и здесь снова возникает *рюмка*, благодаря которой возникает переключка с предыдущим рассуждением об *оке = море*, и зрение уподобляется наполняемым и опорожняемым сосудам *песочных часов*, которые уже предвосхищены дважды упомянутой прежде *соринкой* (*песок = сор = неясное зрение*). Благодаря помещению в контекст как спациональный, так и темпоральный, зрение обретает роль координата вселенной, а его прояснение — упорядочения мира. Вместе с тем песочные часы как знак быстрого времени указывают на то, что автор создает вербальный натюрморт

по образцу изобразительного. О последнем известно, что он по своей жанрово-семиотической природе иррадирует значение *vanitas* [Gombrich 1978; Григорьева 2002]. Песочные часы — важный атрибут в собственно жанре *vanitas* — вводят тему смерти в ее барочно-эмблематической форме.

Переход к следующему эпизоду о Сезанне усилен мотивной связкой с предыдущим эпизодом *vanitas* посредством введения темы *завещания*: *Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Она незаблема, как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти*. Эпизод весь пронизан аллитерацией, обыгрывающей звуковые сочетания **же(л,н)** и **жи**, отсылающие к *желтизне живописи*: *труженник — желудь — живопись — желтоватого — мороженого*. Семантика *желтизны* — основная палитра живописи реального Сезанна — в Сезанне мандельштамовском укрепляется семантикой дерева (с восставлением внутренней формы посредством однокоренного *деревенский*), дуба, леса, плоти, изделия из дерева (плотницкого ремесла). *Желтизна* дополнена *розой*: *Но меня-то пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Ни дать ни взять — катышки желтоватого сливочного мороженого*. Основы **рез-** и **роз-** в их соположении с мотивом дерева формируют облик художника-ремесленника, режущего и рубящего лес, в его противостоянии природе (метафора борьбы поэта со словом). Но прежде всего срезанная роза — это возвращение к символической традиции и знак насильственной утраты девственности, эвфимизм пролитой (инициальной, ритуальной?) крови.

Возникшая лишь как намек в связи с Сезанном, тема насилия и крови становится ключевой в следующем эпизоде, посвященном Матиссу и построенном на варьировании **к** и **р**: *красная краска, ковровые, кровь*. Ему вторит и другой паронимический ряд: **ж-ш-щ-ч**, по выражению рассказчика, передающий злобное шипение содой: *красная краска его холстов шипит содой*. Эпизод завершается внутренней рифмой: *шахматы — шахские*:

*Уж эти мне ковровые шахматы и одалиски!
Шахские прихоти парижского мэтра!*

Мотив налитого — посредством красной краски — кровью глаза (*бычью силу ему придает ... глаз наливаются кровью*) акцентирует телесность зрения и передает комплекс значений, связанных с брутальной телесностью: физической силой, агрессией, властью, то есть всем комплексом маскулинности (*бык, шах, мэтр*).

Мотив крови в связи с живописью Матисса в свою очередь перебрасывает мостик к следующему эпизоду — с Ван Гогом: тот *харкает кровью*. Зловеще каркающие звуки **хр**, **кр**, **гр** в различных сочетаниях разлиты по всему пассажиу:

*Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся как желоб в электрическом бешенстве. И узкое корыто бильярда напоминает колоду гроба.
Я никогда не видел такого лающего колорита.*

А его огородные кондукторские пейзажи! С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов.

Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны, как зрительные пособия — карты из школы Берлица.

Агрессия крови Матисса, таким образом, ведет к гробу Ван Гога. Иконичная звукопись порождает аудиовизуальную синтестезию вывода: *Я никогда не видал такого лающего колорита.* Этот вывод исподволь подведен мотивом приусадебного хозяйства: овощные краски, огородные пейзажи, пригородные поезда, лай (дворовых собак) — и дан как снижение мотива смерти посредством тривиализации темы. Контаминация огородно-пищевого и фюнерального кодов имеет место и в других экфрастических вставках «Путешествия», например: *бледно-зеленые капустные бомбы, нагроможденные в безбожном изобилии, отдаленно мне напоминали пирамиду черепов на скучной картине Верещагина.* Нагнетение негативной экзистенциальной топики в сочетании со сниженным значением смерти разряжается в финальном оксюмороне — *яичница катастрофы.* *Яйцо* мифологически родственно *глазу*, и опять зрительный код — *наглядны, зрительные пособия.* Зрительно-пищевой код заводит автора в метафорический треугольник: это ироническое глядывание-всматривание в собственную кончину. Эпизод закономерно начинается темой самоубийства: *Ван Гог ... как самоубийца из меблированных комнат*, разворачивает индивидуальную гибель до масштабов всеобщей, а затем снимает патетику самоиронией.

Яичница катастрофы — кульминация экфрастического пассажа, после которого в ритмике и смыслах повествования наступает существенный перелом. В следующем эпизоде эпическо-драматическое течение экфрасиса впервые перебивается текстом реальности посредством введения *посетителей, объяснительницы картин и двери.* Ускоренный дробный темп иконичен, задан темой посетителей, которые передвигаются *мелкими церковными шажками*, и определяется множеством торопливо перечисляемых имен с минимальными характеристиками каждого из них — *Клод Моне, Ренуар, Синьяк, Озанфан, Пикассо, Писсарро.* Звукопись обыгрывает параллелизм фамилии художников и особенностей колорита и сюжетов их картин: *синий Пикассо, бульвары Писсарро.*

Заданное конечной фразой движение к выходу (*В дверях уже скучает обобщение*), перекидывает мотивный мост к следующему эпизоду, рамочно перекликающемуся с вводной частью главы: мотив *глаза = моря.* Идя по нарастающей, движение опять резко укрупняет масштаб и от *церковных шажков* переходит к *прогулочному шагу по бульварам*, а затем — к *рассеканию волн.* Такого укрупнения требует внутреннее зрение, которым схватывается суть происходящего на полотнах. Погруженный в *волны пространства*, глаз уже не сравнивается с *ромкой-морем*, а отождествляется с океаническим началом (*рассечение волн* отсылает к межконтинентальным путешествиям, планетарному масштабу) — мифопоэтическими / пренатальными водами мирового океана [Топоров 1995]. Переход от прогулки по музейным залам к низинам архаического выводит живописное к телесному, досозна-

тельному основанию культуры. Метафоры еды получают свое обоснование: пищевой код ставится в один ряд со зрительной перцепцией (*живопись — это деятельность внутренней секреции, а не внешней апперцепции*). Завершает эпизод еще одна деталь в рамках пищевого кода — *пучок редиски, который матушка сухоточного сына... совала... в ридикуль... в дверях кооператива*. Тризной акцентируется фюнеральность этого экфрасиса реальности: сын и мать — оба в трауре.

Последний аккорд фрагмента — удвоенное зрение (бинокль) в связи с негативно трактованной утопической проекцией: *Конец улицы, как будто смятый биноклем, сбился в прищуренный комок, — и все это — отдаленное и липовое — было напихано в веревочную сетку*. *Отдаленное и липовое* в сочетании с банальной повседневностью — *пучка редиски, кооператива, сетки* — рождает дистопический модус: *конец улицы* (тупик) замкнут сетью-решеткой (*веревочная сетка*), откуда нет выхода. Двууровневость образа очевидна в свете нагнетения катастрофически-дистопического предыдущих эпизодов и звучит апокалипсически-провиденциально: решетка преграждает путь в будущее.

Мотивное развитие фрагмента, таким образом, реализует следующую цепочку значений: от *vanitas* к крови и насилию, и от них к индивидуальной смерти и всеобщей катастрофе, из которой нет выхода, ибо здесь — как в загробном мире — господствует негативный императив: *Ни в коем случае не входить как в часовню. Не млет, не стынуть, не приклеиваться к холстам...* Затем следующая инструкция *выздоровливающим от реализма*: 1. *Погрузить глаз в новую для него материальную среду*; 2. *Установить холодный договор с картиной* на основе поднятия глазом картины до себя; 3. *Очная ставка с замыслом*: расширенным зрением увидеть суженную действительность. Вспоминается пастернаковское *...даль пугается ... воздух синь как узелок с бельем у выписавшегося из больницы*. И там и тут — мотивы *выздоровления, дали* (пугающейся или прищуренной) и *узелка / ридикуля / сетки* как альтернативы открытому пространству.

Дистопическая доминанта экфрасиса усилена мотивом *черного солнца*: он возникает в кульминационном эпизоде с Ван Гогом в рядоположенности слов *сажа* и *яичница катастрофы*, то есть желтого и черного (мотивная аттракция по модели аттракции паронимической — [Григорьев 1979]), а затем в конце — как *затмение* (в форме оксюморона *свет... показался мне фазой... затмения*) и завернутого в *серебряную бумагу* солнца.

Существенно, что апокалипсическая модальность *завернутого солнца* и замкнутого *сеткой* пространства возникает, когда наступает *последний этап вхождения в картину — очная ставка с замыслом*. Мыслимое и зримое тем самым оказываются разведенными по разные стороны барьера-противопоставления и одновременно связанными посредством кода зрения, который реализуется в форме стертой метафоры *очная ставка* и ставит *очность* в позицию равнозначной изначальности мира, его начала и конца.

Антиномический эпитет *черное солнце* в поэтике Манделштама часто возводится — по признаку желто-черной гаммы — к иудаистской символике и его пе-

тербургскому тексту, пушкинской теме [Панова 2003; Сурат 2002], также к античному мотиву Федры [Иванов 2000]. В мотиве *черного солнца* можно усмотреть и архаический субстрат *земляного* солнца, выраженного в индоевропейской богине-солнце земли в хеттских текстах [Иванов 2008; Archi 2008]. Аналогично «Путешествию» акустическое и цветовое выступают в синестезии и в финале стихотворения «Ламарк» 1932 года: *зеленая могила / красное дыхание, гибкий смех*, обнаруживаемые на низшей ступени биологической эволюции, отсылают к архетипической семантике, а дополнительность красного и зеленого попадает в ряд таких фундаментальных оппозиций, как *жизнь / смерть* и *верх / низ*².

Архаизирующая семантика дает ключ и к символическому прочтению центрального мотива *глаза*. В мифологической картине мира *солнце* и *глаз* эквивалентны [Иванов 1980]. *Черное солнце* отсылает к топике мира мертвых, видящих, но не узнающих друг друга людей: не случайно как и в «Путешествии» в стихотворении «Ламарк» *рюмка* возникает в связи со зрением и имеет место констатация состояния мира внизу, то есть там, где *зрения нет* и где наступает *глухота научья*, перекодированные в главе «Французь» в *конец улицы*. Несомненны социальные коннотации фрагмента, завершающегося темой затмения, траура и тупика зримого (*смятого биноклем*) и зрящего (*прищуренный комок*), то есть в его объектно-субъектном модусе³. Мотив изначальности зрения приходит к его конечности, а тем самым и тупиковости эволюции и замысла творца.

Как видно из предпринятого разбора, данный экфрасис моделирует мир в категориях личной и всеобщей катастрофы, что приходит в разительное противоречие с внешним референтом — напоенной жизнеутверждением, светом и триумфом чувственности французской живописью. Понятно, что такого рода эмоциональная гамма является составной частью поэтического строя позднего периода творчества поэта. Однако трудно избежать искушения и поисков внутреннего референта этого описания. В ряду возможных зрительных аналогий особое место занимает советская живопись переходного периода середины и конца 1920-х годов — новой фигурации позднего авангарда, основанной в значительной степени на опыте авангарда исторического и при этом образующей ему противофазу. В этот период радикальность плана выражения, будучи исчерпанной внутренне и обескровленной внешними обстоятельствами художественной жизни, смещается в план содер-

² Следует отметить, что в стихотворении «Мой щегол, я голову закину» (1936) цветообозначение также ориентировано на создание синестезии звука и цвета.

³ *Прищуренный комок конца улицы* в Путешествии в Армению перекликается с щурящимся солнцем в контексте мотивики зрения в стихотворении 1937 года: *В лицо морозу я гляжу один ... А солнце щурится в крахмальной нищете ... И снег хрустит в глазах*, чем не только упрочивается мотивная связка *солнца* и *глаза*, но и применительно к *отдаленному* и *липовому* в сопряжении с *солнцем* отмечается еще раз дистопическая топика *зримого / зрящего* пространства. Ср. аналогичное: *Глазами Сталина раздвинута гора / И вдаль прищурилась равнина* [Ода Сталину, 1937], *Уже не взгляну прищурясь / На дорожный шатер Арарата и Лазурь да глина, глина да лазурь / Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь* (1930).

жания (если условно иметь в виду под первым — форму, в под вторым — мотиву изобразительного искусства). Возникает широкий поток визуального нарратива черной волны — темы страха, апокалипсическая символика, мотивы отчаяния, телесного ущерба и всеобщей катастрофы. Среди наиболее характерных примеров такого рода живописи — позднее творчество Малевича и Филонова, а также живопись Тышлера, Редько, Никритина, Лучишкина и многих других мастеров. Из барочного подсознания авангарда в эти годы всплывает и материализуется как частая тема в живописи фигуративный натюрморт *vanitas*. Мотивы еды и застолья вторят устоявшейся со времен западного Возрождения иконографии «Тайной вечери», то есть актуализируют фюнеральный и код и мотив надвигающейся катастрофы [Злыднева 2008]. Такого рода продуктивное противоречие (с глубинной опорой на авангард и его отрицанием) мы находим и в экфрасисе Мандельштама начала 1930-х годов, ведь современная живопись не могла пройти стороной от творчества поэта.

Известно, что к авангарду Мандельштам относился отрицательно (исключение составлял Хлебников). Среди упоминаемых в поэзии Мандельштама живописцев прошлого — в основном наследие классики: Рафаэль, Рембрандт, Микельанджело, Тициан. Обращение к теме импрессионизма и течений непосредственно к нему примыкающих (пуантилизм Синьяка, постимпрессионизм Ван Гога, фовизм Матисса и ряд других) — это чуть ли не предельная точка позитивно воспринимаемой им современности. Между тем то обстоятельство, что зрительный опыт связывается для Мандельштама с самым начальным этапом эволюции, объективно перекидывает мост между его поэзией и поэтикой исторического авангарда с его поисками докультурных первооснов цвета и линии. В своей архаизирующей топике Мандельштам следовал по стопам именно авангарда: его цвето-акустический опыт в исследуемом экфрасисе (глаз, обладающий акустикой) ставит поэта в один ряд с такими экспериментаторами в области цвето-звукового синтеза, как, например, Матюшин. Этот опыт исторического авангарда соединяется в данном фрагменте с апокалипсической мотивикой, что соответствует зрительному ряду живописи новой фигурации позднего авангарда.

Таким образом, в рассматриваемом тексте при мотивной безусловности внешнего референта внутренний референт выступает как данность нарративной стратегии. То есть опираясь на французскую живопись, Мандельштам создает описание современного ему искусства в наиболее драматичную для последнего переходную пору, причем в то время как внешний референт адресен и дескриптивен, внутренний — тот, в котором сосредоточена квинтэссенция смысла, — безадресен и концептуален.

ЛИТЕРАТУРА

- Григорьев 1979 — Григорьев В. П. Поэтика слова. М., 1979.
- Григорьева 2002 — Григорьева Е. Образование смысла в натюрморте // Лотмановский конгресс. Тарту, 2002.
- Злыднева 2008 — Злыднева Н. В. Еда в танатопозитике 20-х: Докл. на конф. Загребского университета «От голода до обжорства». Ловран (Хорватия), 2008. Рукопись.
- Иванов 1980 — Иванов Вяч. Вс. Глаз // Мифы народов мира. Т. I. М., 1980. С. 306—307.
- Иванов 2000 — Иванов Вяч. Вс. Современность античности. «Черное солнце» Федры // Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по истории семиотики и культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 442—448.
- Иванов 2008 — Иванов Вяч. Вс. Доклад в Институте славяноведения РАН. Июнь, 2008.
- Панова 2002 — Панова Л. Космология в поэтическом языке О. Мандельштама. М., 2002. С. 99—101.
- Сураг 2003 — Сураг И. Смерть поэта. Мандельштам и Пушкин // Новый мир. 2003.
- Топоров 1995 — Топоров В. Н. О «поэтическом» комплексе моря и его психофизических основах // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 575—622.
- Фарыно 1974 — Фарыно Е. Семиотические аспекты поэзии о живописи // Russian Literature. 1979. VII. 1. С. 65—94.
- Archi 2008 — Archi A. The soul has to leave the land of the living // www.brill.nl
- Gombrich 1978 — Gombrich E. H. Das Stilleben in der europäischen Kunst. Zur Ästhetik und Geschichte einer Kunstgattung. Meditationen über ein Steckenpferd. Von den Wurzeln und Grenzen der Kunst. Frankfurt am Main, 1978.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ УТОПИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ В ТВОРЧЕСТВЕ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА

«Мой отец Всеволод Иванов жил преимущественно в мире поэтических образов и фантазий», — пишет академик Вяч. Вс. Иванов [2000: 504], вопреки сложившемуся в исследовательской литературе мнению о писателе как об авторе хрестоматийных произведений о гражданской войне. Художественный метод Вс. Иванова, как и А. Платонова, и М. Булгакова в литературе советского периода, Вяч. Вс. Иванов определяет как «фантастический реализм».

Взаимопроникновение фантастики и реальности было свойственно произведениям Вс. Иванова, созданным в разные периоды его художественного творчества: и ранним сибирским рассказам 1916—1919 гг., и написанным в 1940—1960-е гг. романам, повестям и рассказам, объединенным автором в фантастический цикл. В настоящей статье мы обратимся к одному из фантастических жанров, получившему развитие в творчестве Вс. Иванова, — к жанру утопии.

В написанном в Сибири рассказе «На горе Ыйк» (1917) можно найти первую в творчестве Вс. Иванова так называемую «историческую утопию»: «Голубые кони бросили шамана и не слушаются его, и дух, благословлявший их, ушел от белого хребта гор Абакана, ушел от отдыха в тени березы с червонными листьями. (...) Ничего не осталось, ничего нет — сглодало железо ваших ружей нашу свободу, а духи скрылись. Помню, (...) приходили тут ваши люди, да со значками, разорвали землю и кровь выпили... (...) Кровь побежала, земляная кровь — отняли у нас землю — хотят пустить огненные телеги... [железные дороги. — *примеч. Вс. Иванова*]. Все наши ушли туда, ... к людским коробам, — деньги утащили их» [Иванов 1917].

Читая эти строки и пытаюсь представить себе духовную жизнь молодого писателя, надо учитывать причудливое сочетание разных религиозных представлений, которые сформировали мышление Вс. Иванова. Влияние отца — учителя церковноприходской школы пос. Лебяжье, Павлодарского уезда, побывавшего в Иерусалиме и собиравшегося с паломниками посетить Мекку; юношеская мечта об Индии — стране удивительных чудес и духовных возможностей человека; серьезные занятия йогой; знакомство с жизнью раскольничьих скитов — один из ближайших друзей юности, поэт Кондратий Худяков, был из семьи староверов; влияние фольклорной культуры Сибири, в том числе языческих представлений — вспомним «Алтайские сказки» Вс. Иванова (1920).

Возвращаясь к рассказу 1917 г. «На горе Ёык», отметим, что уже эта первая утопия в творчестве писателя, наряду с сибирскими фольклорными образами, имеет некоторые черты русских народно-утопических легенд, традиции которых будут определять все случаи обращения Вс. Иванова к данному жанру вплоть до 1929 г. Уже прозвучат в этом описании «золотого века» темы земли — духовной опоры, утраченной народом; власти «железной» цивилизации, противопоставленной природному, естественному бытию, и другие.

Как убедительно доказали К. В. Чистов, А. И. Клибанов, С. Калмыков, в основе утопических легенд лежал древнерусский идеал Правды, понимаемой как «правда — истина, правда — справедливость, правда — праведность, правда — безгрешность» [Вечное солнце 1979: 10]. В древнем споре Правды и Кривды последняя «осталась на земле», а Правда «ушла на небо» [Клибанов 1977: 9], но идеал Правды в народном сознании «сохранил свою действительную силу» [Там же]. Правда, как и Земля, ничьи, — они Божьи, значит, принадлежат всем, но насильственно отчуждены от людей. Однако вернуть «предельно-совершенное состояние», являющееся «изначальным и непреходящим достоянием человеческого рода на Земле» [Там же], возможно. Именно здесь и следует искать корни русских народных утопий. На основе анализа памятников древнерусской письменности А. И. Клибанов выделяет «два цикла утопических легенд»: в соответствии с одним представлением, «идеал больше объект надежды и веры, нежели солидарного действия во имя его осуществления», другой предполагает включение в идеал «понятия о грядущем осуществлении его как деле ума и рук его носителей» [Там же: 27].

Эти представления нашли отражение в литературе первых десятилетий после революции 1917 г.: традиционные для русской культуры образы Китеж-града, Светлограда в лирике крестьянских поэтов, увидевших в революции осуществление народных чаяний, «Инония» С. Есенина и «Белая Индия» Н. Клюева, «Ладомир» В. Хлебникова и «Голубые города» А. Толстого. Первый петроградский сборник рассказов Иванова «Седьмой берег» также буквально пронизан утопическими мотивами. Напоминает об утопическом идеале уже само название, отсылающее к легенде о седьмом берегу счастья. О сокровенном Граде, о богатом Индийском царстве грезят герои рассказов 1920—1921 гг. «Сказывают — за Сыр-Дарьей открылась земля такая — полая Арапия. Дожди там, как посеешь — так три недели подряд. И всех пускают бесплатно, иди только. Земли много (...) Кто первый поспеет, тому *близко* (курсив автора) землю вырежут. Трава там медовая, пчелиная...» — «Полая Арапия» [Иванов 1923а: 95]. «Читай молитвы кто каки имеет! Главное — сорок раз обойти (озеро. — *Е. П.*), чтобы плоть блюсти, поститься и толды на сороковой раз раступится, грит, камыш, — и пойдет себе крещеный люд на спокойную землю» — «Лоскутное озеро» [Там же: 110—111]. В душе мужика Кузьмы из рассказа «Жаровня архангела Гавриила» «одна только мысль о чудесном городе Верном билась». Говорил Кузьма: «Иду в город Верный, он бают, сквозь землю провалился...» [Там же: 219]. Начало рассказа «Дитё» напоминает о мечте уйти «за Китай и Индию в синие непознаваемые страны» [Там же: 281].

Отметим характерную черту: традиционные народные утопические идеалы связаны в рассказах Вс. Иванова с утверждающимся в России новым идеалом — «Коммунией»: «Над Кузьмой ухмылялись — верит, пушай верит, большевицких неизвестных вер человек» — «Жаровня архангела Гавриила» [Иванов 1923а: 228] и т. д.

Но уже в рассказах 1920—1921 гг. прозвучали в адрес нового утопического идеала тревожный вопрос и сомнение. «Не имеет права человек свет перестраивать без объяснения своей жизни. (...) И веровать в вас нечего, веровать в Бога надо... а у вас и душа-то разграфленная. Никакой цены такой душе нету! У нас в России таких правителей не было» [Там же: 62], — обращается дьякон Полугодье к упродкомиссару в рассказе «Глиняная шуба» и получает недвусмысленный ответ: «Я ведь правитель самодельный и человек жестокий» [Там же: 64]. Так в 1921 г. молодой писатель откликнулся на «ересь утопизма» (С. Франк), обратив внимание на антихристианский пафос новой утопии и ее возможные кровавые последствия.

В своем первом романе «Голубые пески» (1922—1923) Вс. Иванов вновь вернется к высказанным сомнениям. Легенда о голубых песках звучит на последних страницах: «...есть в скалах гор пустыни Убы золотая дорога, ведущая наверх, к счастью, там, вверху, кому нужно, — будет хлеб, масло и сыр, женщины и кони, юрты и постели» [Иванов 1923б: 318] — обещает страдающему народу Зоршинкид: «Молодежь собрала силы и побежала вверх по дороге. Все они расшиблись, и на голубых песках было много крови» [Там же]. Сам Зоршинкид уходит в горы и, видимо, погибает. Народ, устав его ждать, возвращается к прежним жилищам. Эта далеко не революционная легенда тем не менее у Вс. Иванова напрямую связана с революцией. Связь эту можно проследить и в ироническом замечании: «Произошло это задолго до Карла Маркса и даже до Корана» [Там же: 318], и в описании последствий осуществления новой утопии в сибирском поселке Лебяжье: «А в поселке — обгорелые хаты. Почти всю родню постреляли: чернобандиты, белые, партизаны, зеленые... все приложили руки. Поп остригся и ходит в пиджаке. Рыба в Иртыше чахнет» [Там же: 298]. Естественно возникающая параллель между Зоршиндом и комиссаром Запусом позволяет по-иному прочесть его судьбу в романе «Голубые пески». В конце романа читателю сообщается, что Василий Запус уехал учиться в Петербург, однако в заключительных сценах романа описано, например, как комиссар ночью внезапно спрыгивает с кровати, начинает палить в стены из револьвера, стремясь убить уже расстрелянного по приговору революционного суда атамана. «Мужики считают его больным» [Там же: 305], — мимоходом сообщает автор. «Болезнь» героя Иванова сродни «болезни» Мити Векшина из опубликованного через пять лет романа Л. Леонова «Вор», герой которого также спотыкается о главный вопрос времени: «можно убить человека... безоружного» [Леонов 1927: 19]. Так и ивановский Запус раздумывает: Все придется с начала учить. Параллелограмм... ромб... И насчет смерти: убивать имеем право или нет. И насчет жизни» [Иванов 1923а: 168]. Отсылающий напрямую к Достоевскому вопрос Запуса заставляет вспомнить размышления писателя о цене мировой гармонии и в этом контексте прочесть утопическую легенду Вс. Иванова.

* * *

В 1925 г. Вс. Иванов, живший в Москве и тесно общавшийся с С. Есениным, был внутренне более, чем во все остальные периоды своего творчества, обращен к находящимся под угрозой уничтожения русским национальным традициям. При этом отношение его к новой социальной утопии не улучшилось. Произведения, а также письма к М. Горькому и К. Федину этого периода свидетельствуют о стремлении писателя осмыслить раскол, происходящий в стране, и попытках на трагическом переломе эпох найти духовную опору. Отражением этих мыслей стала повесть «Бегствующий остров», отсылающая читателя, с одной стороны, к народной утопической легенде о Беловодье, а с другой — к произведениям русских писателей — предшественников (А. Мельникову-Печерскому, А. Чапыгину, А. Новоселову) и современников (Н. Клюеву, А. Платонову и другим).

Описанная в повести Иванова раскольничья обитель Белый остров имеет свои корни в легенде о Беловодье, происхождение которой напрямую связано со старообрядцами. Вс. Иванов хорошо знал быт и веру раскольников, о чем свидетельствуют его письма и автобиографии 1920-х гг. Рассказывая о Белом Острове, писатель акцентирует реальность утопии. Вспомним, что и бегуны, принимавшие активное участие в создании легенды о Беловодье, «по-крестьянски жаждали “царства Божьего на земле” и “грядущему Граду” придавали вполне реальное практическое выражение» [Чистов 1967: 249]. Как убедительно показали исследователи беловодской легенды, Беловодье было «земным царством» с идеальным строем общественных отношений: без светской, но с праведной духовной властью, без попов, осуждаемых в народе за стяжательство, без «татьбы и тяжбы». Несмотря на изобилие земных благ, оно не было царством веселия и безделья — в отличие от западноевропейских утопий, в русских народных утопиях отсутствовал мотив избавления от труда на земле. Жизнь в Беловодье проходила в молитвах и служении.

В соответствии с народной легендой и описывает свой Белый Остров Иванов: в 1685 г., спасаясь от преследований царских властей, Семен Выпорков возглавляет бегство раскольников на Белый Остров, находящийся между крепостями Тюменью и Тобольском. Используя поэтику заговора, Вс. Иванов передает скрытность Белого Острова от людских глаз: «...будете вы ровнять снег, чтобы не было ни следов, ни колея, ни памяти людей, не было ни дороги, ни троп, один снеговой сугроб! Замкните ворота таежные. Спустите засовы болотные, — и заклатье положу я на ту дорогу» [Иванов 1927: 141]. Живут раскольники на горе Благодати в пещерах, схимниками-пустынниками, или в кельях, на полянах. Возглавляет общину кроткая старица Александра-киновиарх.

С нескрываемым интересом и уважением всматривается писатель XX в. в созданную им на основе реальных народных упований утопическую модель. Не забудем, что уже семь лет как в России строится иная социальная утопия, черты которой также отражены в повести: «Улицы-то широкие, как елани, дома сплошь кирпич-

ные, гладкие, а среди них народишко спешит, подпрыгивает (...) Город-то каких-нибудь пять верст, а спешки у людей на тысячу» [Иванов 1927: 179]; «По лику — Русь, а по одеже — чисто черти (...) А девки стриженные, юбки в насмешку над верой колоколом сшиты» [Там же]; «Двери в Совете табачищем пропахли. Стоят в каждую комнату люди в затылок. Ругаются, плюются, вонь от них» [Там же: 180].

Противопоставление двух утопий в повести Вс. Иванова очевидно. Однако далеко не однозначна авторская позиция, прояснить ее помогает как анализ текста самой повести, так и выявление литературной традиции, которой следовал писатель.

Мотив «блудного пира» вводится не только в характеристику Тобольского совета, но и в описание жизни Белого острова. Правда, автор по отношению к старцам гораздо более снисходителен, чем к «чертям» и «голоруким девкам» из Тобольска. Согрешившие пустынноики «всем миром встали посреди улицы на колени (...) три дня подряд молились. От такой молитвы показалось им, что образа просветлели, улыбнулся им кроткий лик Христа, — все мы, дескать, люди, все человеки» [Там же: 176]. Но, тем не менее, и для читателя, и для писателя очевидно, что жизнь в пустыни далеко не так благочестива, как в легендарном Беловодье. При этом под сомнение Вс. Ивановым ставится даже не столько «праведность» земли, сколько праведность людей, стремящихся к ней и не умеющих жить по ее законам.

Своеобразие авторской позиции проясняет и сопоставление «Бегствующего острова» с двумя литературными источниками, — известными Вс. Иванову повестями сибирских писателей А. Чапыгина «Белый скит» (1914) и А. Новоселова «Беловодье» (1917). От названных произведений повесть Вс. Иванова отличается прежде всего тем, что в них Беловодье предстает как мечта о «божьем берегу», но не как реальное, земное «царство». И повесть Чапыгина, и повесть Новоселова заканчиваются на том этапе страннического пути героев, когда среди вод открывается «тихая обитель». Но есть важные точки соприкосновения у повести Иванова и произведений указанных авторов. А. Чапыгин вводит мотив смертного греха — пролитой крови: Афонька убивает брата. Тот же мотив появляется в кульминационной сцене повести Иванова, где встреча старообрядцев и комиссара Запуща, начавшись с непонимания, завершается смертью раскольника Гавриила. Кстати сказать, и герой А. Чапыгина, Афонька, ищущий Бога, но сомневающийся в нем, близок утратившим веру героям книги Вс. Иванова «Тайное тайных». В отличие от этих персонажей Панфил (А. Новоселов «Беловодье») верен древнему благочестию до конца: ему единственному, не отступившему от своего пути, и открывается озеро. С этой повестью у Вс. Иванова другие точки соприкосновения: и он, и Новоселов противопоставляют живую жизнь с любовью и материнством аскетическому служению истинной вере. У Новоселова Иван и Акулина отказываются идти в Беловодье, хотят вернуться в мир: жить «по-людски» в деревне, растить детей. В повести Вс. Иванова в мир бежит с Белого острова дочь старицы Александры Саша, чтобы рожать «румяных детей», которых не бывает в скитах.

Два этих мотива — грех пролитой крови и отсутствие живой жизни — также определяют в повести Иванова конец старой веры, символически переданный через гибель трех вековых сосен — «Трех Святителей».

Очевидно, что слова «старая» и «новая» вера имеют в произведении Иванова, как и других его современников (Н. Клюева, С. Клычкова, А. Платонова, Л. Леонова, А. Толстого и др.), символический смысл и связаны не столько с расколом XVII в., сколько с расколом в XX в. традиционной русской жизни. Но если, скажем, для Н. Клюева «индустриальные небеса» новой Советской России, где «нет ни святых, ни злодеев», однозначно неприемлемы и им противопоставлены «Мать — Русь» и «Китеж родной» как поруганные, но все же незыблемые ценности, то у Иванова в 1925 г., видимо, позиция иная. Новая, замешенная на крови утопия была для него сомнительна с самого начала: вопреки всему ивановедению XX в. нужно, наконец, признать, что автор «Бронепоезда» никогда не обольщался революционными идеями. Но и принимать за «золотой век» «Избяную Русь» и ратовать за создание крестьянской утопии он тоже не готов. Конец книги носит характер тоскливого размышления над вопросами, ответы на которые Иванов не знает: «Мука-то не отсюда начинается, мука начинается с другого» [Иванов 1927: 189]. Раскольники вернулись на Белый остров, он не погибает, но явно утрачивает в сознании автора статус «праведной земли».

* * *

1927 годом, во многом ставшим началом «перелома» и в жизни страны, и в биографии писателя, можно датировать последнюю попытку Иванова воплотить в произведении народную утопию — в повести «Гибель Железной». Вновь Иванов поставит рядом два варианта воплощения народной мечты о земле обетованной, но на этот раз с описания новой веры снимет ироническую окраску, придав ей трагическое звучание.

Применительно к этой повести писателя с полным правом можно говорить о «фантастическом реализме», одной из структурообразующих черт поэтики которого, по мнению Вяч. Вс. Иванова, является «соединение фантастичности и гротескности общего замысла с реалистической проработанностью деталей» [Иванов 2000: 474—475]. При написании повести Вс. Иванов воспользовался мемуарами начальника политотдела 58-й дивизии Красной Армии Л. Дегтярева «Политотдел в отступлении» (1924). В очерке Дегтярева, описывающем один из этапов войны с белополяками 1920 г., упоминается «Половецкая республика, независимая при всех властях» [Дегтярев 1924: 233]. Видимо, среди многочисленных, временно возникших в 1919—1920 гг. на территории Украины независимых правительств действительно была такая республика, но поскольку она не упомянута ни в одном из большого числа исторических исследований о гражданской войне на Украине, можно предположить, что существование ее не было слишком продолжительным и серьезного значения в политической жизни страны она не имела. Под пером Вс. Ива-

нова эпизод вырастает в символический образ с мощной силой обобщения. В повести «Гибель Железной» под «низким», «пустым», «тусклым», «реденьким, как плохой ситчик, небом» (обратим внимание на эпитеты) создается крестьянская религиозная республика во главе с «мужицким царем» — анархистом Бессоновым, о котором сказано: «после переворота (...) отдал и поместье, и деньги, и хлеб мужикам, и сам ушел в мужики и стал пахать» [Иванов 1928: 49]. Мужики бегут из Красной Армии в Половецкую республику, вселяющую страх в бригаду Железной дивизии. После расстрела Бессонова руководители бригады принимают безумное решение: труп мужицкого царя кладут в громадную черную колоду, обложенную бочонками со льдом, везут по территории Половецкой республики для устрашения верных ему крестьян, а затем без погребения бросают в болото. «Все это было страшно, нелепо и походило на дикий сон» [Там же: 73], — отмечает автор. Дикая сон, впрочем, напоминает в повести и путь политотдела дивизии, состоящей по большей части из сибирских мужиков. Железная дивизия — символический образ с не меньшей, чем Половецкая республика, силой обобщения: «Ваша дивизия мужицкая, она всем мужикам счастье несет и освобождение. Ее одну поэтому *вся земля* (курсив мой. — Е. П.) прозвала Железной» [Там же: 32]. Две веры вновь сталкиваются в произведении Вс. Иванова, но теперь автор акцентирует внимание на том, что обе они — крестьянские, созданные на основе народных утопических традиций. Так, в образе мужицкого царя Бессонова угадывается «царь от нищеты» русских утопических легенд, а мужики Железной дивизии, как упоминает автор, родом из Бухтарминской долины — именно эту долину в Сибири, в середине XVIII в. имевшую свое общинно-артельное управление, называли в народе Беловодьем.

Однако ни одна из этих продолженных в 1920-е гг. утопических традиций, по мысли писателя, не ведет к обретению народного рая. Фантазмагорическая повесть Вс. Иванова завершается гибелью Железной. Вновь отступление от исторической правды: 58-я дивизия не гибнет на штурме Киева в 1920 г. Строки, завершающие повесть, напоминают народные поминальные плачи — в данном случае о гибели крестьянской мечты. На смерть мужики «идут спокойные, покрытые сединой, как идут спокойные хлеба в печь. Снаряды рвут мужицкие тела и удивляются: как же мало нательных крестиков на этих телах, седых, старых» [Там же: 93].

Несмотря на всю фантастичность, повесть Вс. Иванова «Гибель Железной» имела в своей основе вполне реальные сюжеты как из прошлой, так и из недавней русской жизни. «В 40-х и 60-х гг. XIX в. в разных географических пунктах России возникают и функционируют крестьянские общежития. (...) “Любовь Братства”, основоположенное сельским дьяконом Николаем Поповым; общежитие, созданное Михаилом Поповым в качестве опыта претворения в жизнь его социально-утопического учения об “Общем уповании” общежитие “Союзное братство”, устроенное последователем Михаила Попова, крестьянином Иваном Григорьевым» [Клибанов 1977: 327] и другие. Создатель учения об «Общем Уповании» М. Попов, которого крестьяне называли «праведный царь Михаил Акинтъич», в конце 1830-х гг. был сослан в Сибирь, где продолжал дело по созданию крестьянской утопии. Там же про-

должал свою деятельность сосланный в Сибирь еще один защитник народного идеала Правды — Тимофей Бондарев. Ни одна из этих «утопий не просуществовала долго, но память о них хранилась в народе, и Иванову, исходившему в 1910-е гг. всю Сибирь, эти факты могли быть известны. Случайно ли, например, что один из героев «Гибели Железной», крестьянин из Барнаульского уезда, носит имя Тимофей Болдарев? Что касается более близких к времени написания повести «Гибель Железной» попыток создания крестьянских утопий, то и здесь мы можем назвать некоторые факты, возможно, послужившие материалом для писателя. Несмотря на то, что действие повести происходит на Украине, корни Половецкой республики стоит поискать не только там, но и в Сибири (по словам Иванова, в основу сюжета, помимо похода 58-й дивизии, легла история одного из полков алтайских партизан). Вероятно, судьба Половецкой республики и образ крестьянского царя вобрали в себя, если говорить об Украине, реалии Пашковецкой республики — независимого анархического правительства на территории Пашковской волости (весна 1919 г.); историю мятежа Григорьева (май 1919), банды атамана Зеленого (июнь 1919), движения махновцев (1918—1921) и т. п. Повсеместно в 1919—1920 гг. вспыхивали крестьянские восстания против всех властей с попытками создания своей власти и в Сибири, среди них наиболее близки к описанному Вс. Ивановым Бухтарминский мятеж (июль 1920), в котором участвовали крестьяне-старообрядцы; анархическое восстание в мае-июне 1920 г. под руководством Плотникова и Кожина, которые отстаивали идею автономной Сибири и требовали созыва «Крестьянского союза». Судьба Плотникова, надо сказать, завершилась не менее страшно и фантазмагорично, чем судьба крестьянского царя Бессонова: 20 октября 1920 г. после убийства Плотникова командир отряда особого назначения «приказал труп (...) везти для показа кулакам и эсерам села Боровского, где был центр восстания. Труп не повезли, но отрубили голову и привезли через восставшие села на концах шашек» [Сибирская Вандея... 2000: 267—268].

Вновь обратим внимание на то, насколько взгляд Вс. Иванова в повести «Гибель Железной» на революцию как на попытку создания народного справедливого царства близок позиции новокрестьянских писателей. Но как и Есенину («Песнь о великом походе», 1924), как и Н. Клюеву, в поэме «Погорельщина» (1927—1928) создавшему реквием стольному городу Лидде «на славном Индийском помории», так и Вс. Иванову во второй половине 1920-х гг. было уже ясно, что утопии суждено навеки остаться утопией. В отличие от названных произведений, финал повести Вс. Иванова, кажется, самый безотрадный. *Н. Клюев*: «Где ты, город-розан, — // Волжская береза, // Лебединый крик // И, ордой иссечен, // Осиянно вечен // Материнский лик?!» [Клюев 1998: 248]. *С. Есенин*: «Корабли плывут, будто в Индию...» [Есенин 1998: 138]. Вс. Иванов завершает «Гибель Железной» упоминанием о записной книжке, со страниц которой водой смыты все записи о произошедших событиях. Книжка становится пустой.

От этой пустоты всего один шаг до абсолютно безысходного рассказа Иванова «Барабанщики и фокусник Матцуками» (1929), где трагический гротеск положен

автором в основу создания Нового Града Советской республики. Не важно, Рязань ли это — «город собой большой, красивый, а народ все какой-то хилый и смутный и все страх как друг друга хоронить любят» [Иванов 1929: 7]; или Саратов — «город большой, красивый, а народ в нем тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и каждый на заседание спешит, а на заседаниях тех буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят» [Там же]. Характерно, что описания городов выдержаны Ивановым в традициях тех же русских народных утопических легенд. Например, описание утопического «города Игната»: «Город у них большой, пять церквей в нем, обнесен он высокой стеной: четверо ворот (...) Ворота все закрыты» [Чистов 1967: 300].

Взыскание Града оборачивается в фантастическом рассказе вереницей страшных городов и вереницей смертей, а самым счастливым человеком в Советской России оказывается нищий, который сидит на площади Града, «сам с собой заседает и сам на себя доносит». Несмотря на обилие элементов поэтики сказочной фантастики и общий гротескно-пародийный тон повествования, в рассказе можно прочесть далеко не смешную мысль автора, вложенную в уста мужика из деревни Вяземы: «Вот шил я сапоги людям на свое горе, без сапог они бы меньше по земле ходили, сидели бы они на одном месте и думали бы да заботились о своем счастье, а не занимались бы устройством чужого» [Иванов 1929: 7].

Можно было бы высказать предположение, что тема, появившаяся в творчестве Иванова как осмысление судьбы народного утопического представления о «праведной земле» в новую эпоху, с течением времени исчерпала себя, выродившись в гротескные формы антиутопии (роман «У», рассказ «Странный случай в Теплом переулке», роман «Сокровища Александра Македонского» — «ташкентский вариант» 1942—1943 гг. и др.). Причем по мере уменьшения веры автора увеличивалась художественная образность его утопий, становившихся все более уродливыми и все более уходившими от народного идеала Правды. Однако тема все-таки не оставляла писателя, болезненным вопросом появляясь в разных произведениях, — ведь что такое, например, несатирические варианты романа «Сокровища Александра Македонского» разных лет, от 1943 до 1962 г., как не возвращение к древнерусской «Александрии», в которой заложена мечта царя Александра о грядущем справедливым царстве?

* * *

И. А. Ильин писал о едва ли не важнейшей черте русского национального характера: «...к самому естеству русской народной души принадлежит это взыскание Града. Она вечно прислушивается к поддонным колоколам града Китежа, она всегда готова начать паломничество к далекой и близкой святыне...» [Ильин 1995: 8]. Всеволод Иванов, начав в 1916 г. свой путь одного из правдоискателей русской литературы «Легендами об ушедшей Сибири», прошел через искушение социалистической утопией, через надежду, а затем разочарование в возможности осуществления на дорогах революции мечты о мужицком рае. Один, рожденный еще в

юности образ недостижимой Индии дольше всего жил на страницах произведений писателя, неизменно сохраняя свою привлекательность. И лишь в 1956 г. в романе «Мы идем в Индию» автобиографический герой Вс. Иванова конечным пунктом своего странствия назовет другое место — Россию. Финальные страницы романа повествуют об отказе идти в Индию: «И я с наслаждением думаю, что скоро увижу Оренбург, Самару, Волгу, снежную Россию. Слезу где-нибудь у Волги — прямо по горло в снег! Ах, как хорошо! (...) Индия, пока прощай!» [Иванов 1976: 592].

ЛИТЕРАТУРА

- Вечное солнце 1979 — Вечное солнце. Русская социально-утопическая и научная фантастика. М., 1979.
- Дегтярев 1924 — *Дегтярев Л.* Политотдел в отступлении // Пролетарская революция. 1924. № 12.
- Есенин 1998 — *Есенин С.* Полн. собр. соч. Т. 3. М., 1998.
- Иванов 1917 — *Иванов Вс.* Зеленое пламя. Курган; Омск, 1917 (Архив Всеволода Иванова).
- Иванов 1923а — *Иванов Вс.* Седьмой берег. М.; Пг., 1923.
- Иванов 1923б — *Иванов Вс.* Голубые пески. М.; Пг., 1923.
- Иванов 1927 — *Иванов Вс.* Тайное тайных. М., 1927.
- Иванов 1928 — *Иванов Вс.* Гибель Железной. М., 1928.
- Иванов 1929 — *Иванов Вс.* Барабанщики и фокусник Матцуками // Красная новь. 1929. № 2.
- Иванов 1976 — *Иванов Вс.* Мы идем в Индию // *Иванов Вс.* Собр. соч. Т. 7. М., 1976.
- Иванов 2000 — *Иванов Вяч. Вс.* Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. II. М., 2000.
- Ильин 1995 — *Ильин И. А.* О России. М., 1995.
- Клибанов 1977 — *Клибанов А. И.* Народная социальная утопия в России. М., 1977.
- Клюев 1998 — *Клюев Н.* Избранное. М., 1998.
- Леонов 1927 — *Леонов Л.* Вор // Красная новь. 1927. № 7.
- Сибирская Вандея... 2000 — Сибирская Вандея 1919—1920. Документы. М., 2000.
- Чистов 1967 — *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967.

LES MÉCANISMES DU DIALOGUE: POLYPHONIE, PONCTUATION, ÉNONCIATION

«...Ce mot [synthétique] est comparable à une masse plastique qui se découpe en deux lignes parallèles, en deux séries dont chacune monte comme une chaîne de montagnes avec ses pics... Ces deux chaînes sont en effet une seule, et les pics sont les mêmes, mais dans la langue ils se dédoublent et se présentent comme les deux, inévitablement»¹.

Dans la même époque que M. Bakhtine, dans un article datant de 1922, le futur auteur de la *Perspective inversée* Pavel Florensky parlait des mots et des signes 'synthétiques', et c'est avec cette citation que nous voudrions commencer notre étude consacrée à la polyphonie et à la ponctuation.

1. La polyphonie

La théorie de la polyphonie (gr. Πολυφωνία — de nombreux sons, pluralité des voix) se base sur la co-présence ou la superposition des plusieurs voix ou des lignes mélodiques dans un fragment de l'œuvre musicale. Les voix et les lignes se superposent selon les règles du *contrepoint* (*punctus contra punctum* — note contre note ou, par extension, mélodie contre mélodie), du mouvement contraire: «les parties cessant d'être parallèles, l'une monte lorsque l'autre descend»².

Le terme a été introduite dans la littérature linguistique par M. Bakhtine: dans ses deux ouvrages principaux, *Le marxisme et la philosophie du langage* et *La poétique de Dostoïevski*, il reconnaît une catégorie des textes littéraires dans lesquels *plusieurs voix parlent simultanément, sans que l'une entre elles soit prépondérante et juge les autres* (tel est le cas, par exemple, de la littérature carnavalesque où l'auteur prend une série des masques différentes). Cette conception bakhtinienne a été appliquée généralement aux textes tout entiers, pour caractériser le style de l'auteur. Comme écrit le linguiste, «la pluralité des voix et des consciences indépendantes et distinctes, la polyphonie authentique des voix à part entière, constituent en effet un trait fondamental des romans de Dostoïevski»³.

¹ Florensky P. A. Sotchinenija. T. 2 [Œuvres. V. 2]. M.: Pravda, 1922/1990. P. 209. Nous allons utiliser plutôt le terme «mot syncrétique» qui rend plus explicite l'idée de la superposition des 'chaînes' ou des couches différentes. Cf.: plus bas. P. 7.

² Candé R. de. Dictionnaire de Musique. Paris: Seuil, 1997. P. 211.

³ Bakhtine M. Le marxisme et la philosophie du langage. Paris: Minuit, 1977. [Marksizm i filosofija jazyka. Leningrad: Priboï, 1929.]

En même temps, fait remarquer M. Bakhtine, on peut observer la polyphonie dans n'importe quelle partie signifiante de l'énoncé, par exemple à l'intérieur d'un mot (c'est ici qu'on rejoint la position de Florensky). La seule condition nécessaire est que le mot (*bivocal* dans la terminologie de Bakhtine) marque la voix et la position de l'Autre, qu'il y ait des relations dialogiques entre deux voix. Il s'agit dans ce cas-là de la mémoire discursive qui conserve la vie du mot, son passage d'un locuteur à un autre, d'un contexte à un autre: «...le mot n'oublie jamais son trajet, ne peut se débarasser entièrement de l'emprise des contextes concrets dont il fait partie. (...) Tout membre d'une collectivité parlante trouve non pas des mots neutres 'linguistiques', libres des appréciations et des orientations d'autrui, mais des mots habités par des voix autres. Il les reçoit par la voix d'autrui, emplis de la voix d'autrui. (...) Sa pensée ne rencontre que des mots déjà occupés»⁴.

Le terme «position de l'Autre» peut être interprété au sens large, par exemple lorsque le sujet parlant «dissocie» sa paternité, prend une distance avec ce qu'il vient de dire. Le mot dialogique ou bivocal de Bakhtine est en effet le mot événementiel, le mot-énoncé, qui a retenu l'attention d'O. Ducrot et lui a fait suggérer d'appliquer la théorie bakhtinienne non seulement aux textes, mais aux énoncés-mêmes qui les constituent. De cette façon, il a mis en doute le postulat de *l'unicité du sujet parlant* selon lequel «un énoncé isolé fait entendre une seule voix»⁵.

Si on se pose la question: «Pourquoi il est possible de se servir de mots pour exercer une influence, pourquoi certaines paroles, dans certaines circonstances, sont douées d'efficacité?»⁶, on comprend qu'il ne s'agit plus de ce qu'on fait en parlant, mais de ce que la parole est censée faire. De l'avis de Ducrot, la réponse, à titre d'hypothèse, sera la suivante: l'invitation à agir ou l'obligation de répondre sont données *comme des effets de l'énonciation*. De plus, tout en traitant le phénomène de l'énonciation comme un événement, comme le fait d'apparition d'un énoncé, le linguiste postule que c'est la *superposition des différentes voix* (la polyphonie) qui contribue à l'efficacité de la parole prononcée. Ainsi, il propose de distinguer à l'intérieur de celui qui parle les catégories suivantes: *le sujet parlant, le locuteur, l'énonciateur*.

Le sujet parlant est compris avant tout en tant qu'un élément de l'expérience. *Le locuteur*, au contraire, n'est qu'une fiction discursive, un être qui, dans le sens même de

⁴ Bakhtine M. La poétique de Dostoïevski [Problemy poetiki Dostojevskogo, 1929 et 1963 pour la 2ème éd.]. Paris: Seuil, 1970. P. 87.

⁵ O. Ducrot. Le Dire et le Dit. Paris: Ed. de Minuit, 1984. P. 171. Cette idée sera reprise dans son ouvrage *Dire et ne pas dire*: «...tout énoncé est polyphonique, c'est-à-dire qu'il donne la parole simultanément à différents énonciateurs disant des choses différentes, même si le locuteur ne s'identifie et si l'allocutaire ne s'intéresse qu'à certains ou même un seul entre eux (ainsi tous les énoncés de «Ma voiture est en panne» font entendre à la fois des assertions portant sur l'existence de la voiture et sur celle de la panne, même si la plupart du temps, c'est la panne seule qui est prise en compte dans la 'valeur immédiate') // O. Ducrot. *Dire et ne pas dire*. Principes de sémantique linguistique. Paris: Hermann, 1991. P. 317.

⁶ Ibid. P. 173.

l'énoncé, est présenté comme son responsable. C'est à lui que réfèrent le pronom *je* et les autres marques de la première personne.

Une fois que le locuteur (être de discours) a été distingué du sujet parlant (être empirique), O. Ducrot propose encore de distinguer, à l'intérieur de la notion de locuteur, le «locuteur en tant que tel» (L) et le «locuteur en tant qu'être du monde»(λ).

Enfin, *les énonciateurs* seront ces êtres qui sont censés s'exprimer à travers l'énonciation, sans que pour autant on leur attribue des mots précis; «s'ils 'parlent', c'est seulement en ce sens que l'énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur position, leur attitude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs paroles»⁷.

Du point de vue de la sémiotique contemporaine, on pourrait distinguer ces types selon les processus dont ils sont responsables:

- L — production concrète de l'objet sémiotique;
- λ — mise en situation matérielle complexe et position dans le monde naturel;
- E — orientation cognitive, affective et modale du discours.

L'exemple remarquable de la scission du sujet parlant au niveau de l'énoncé même donne l'insertion du 'hélas' dans la défense de fumer: «supposons, écrit Ducrot, que je ne sois pas moi-même fumeur. La tristesse du 'Il est hélas défendu de fumer' n'est alors plus celle du locuteur, mais celle de l'ami auquel je m'adresse: on a donc deux énonciateurs, l'administration et l'ami, qui ne peuvent être ni l'un ni l'autre assimilés au sujet communiquant»⁸.

Dans l'analyse polyphonique proposée par Ducrot et développée par ses disciples l'unité de base est la notion de *point de vue*. L'élargissement ou la «radicalisation»⁹ de la théorie de la polyphonie commence là, avec l'apparition des «éléments 'atomiques'»¹⁰ — les points de vue — permettant de nuancer le rapprochement brusque des terminologies musicale et linguistique. Bakhtine lui-même indiquait le danger de prendre littéralement la comparaison: «Les matériaux de la musique et du roman sont trop différents pour qu'il puisse s'agir d'autre chose que de comparaison approximative, de métaphore. Nous nous servons cependant de cette image dans l'expression 'roman polyphonique', car nous ne trouvons pas d'appellation plus adéquate»¹¹.

En outre, comme le suggère Ducrot, les fonctions de *locuteur* (responsable de l'énoncé) et d'*énonciateur* (origine des points de vue) servent à caractériser l'énonciation même à propos de laquelle ils apparaissent. Cet aspect métalinguistique de la construction proposée (SP — λ — L — E) occupe une place centrale dans la conception polyphonique ducrotienne: «non seulement j'admets (...) que leur <L-E> réalité est intra-

⁷ Ibid. P. 204.

⁸ O. Ducrot. Logique, structure, énonciation. Lectures sur le langage. Paris: Ed. de Minuit, 1989. P. 190.

⁹ O. Ducrot utilise ce terme à propos des travaux de Ch. Bally qu'il cite parmi les prédecesseurs de la théorie: O. Ducrot. Logique, structure, énonciation. Op. cit. P. 190.

¹⁰ Nous reprenons l'expression de H. Nolke: «La polyphonie comme théorie linguistique» // Les facettes du dire. Hommage à O. Ducrot. Paris: Ed. Kimé, 2002. P. 218.

¹¹ Bakhtine M. La poétique de Dostoïevski. Op. cit. P. 53.

linguistique, qu'ils sont des éléments du sens, mais ils ne sauraient relever, pour moi, de l'image du monde véhiculée par l'énoncé: j'y vois (...) une caractérisation, par l'énoncé, de sa propre énonciation»¹².

En suivant Ducrot, les membres de la ScaPoLine (Théorie Scandinave de la Polyphonie Linguistique) affirment que l'objet immédiat de leur étude est la «phrase qui véhicule des instructions permettant de construire le sens de son énoncé. (...) La polyphonie fait partie du sens, or la phrase fournit le plus souvent des instructions relatives à cette polyphonie observable»¹³. La présence des instructions permet de distinguer deux niveaux d'analyse linguistique: «la configuration (polyphonique), qui est liée au niveau de l'énoncé et est ainsi un observable, et la structure (polyphonique), qui est un fait de langue»¹⁴. Ainsi, en analysant l'exemple classique 'Ce mur n'est pas blanc', H. Nolke remarque que la configuration polyphonique comporte deux points de vue — 1. 'ce mur est blanc' et 2. 'point de vue 1 est injustifié' - et que c'est la forme linguistique même (l'existence des deux points de vue) qui détermine l'interprétation polyphonique de la configuration.

«La polyphonie est (re)devenue à la mode, remarquent les polyphonistes scandinaves. La popularité du terme (...) s'explique sans doute par la souplesse de la notion à laquelle il prétend renvoyer. Le terme correspond à une intuition immédiate. On a l'impression que la polyphonie de la langue correspond à une certaine réalité. Pourtant, (...) un aperçu — même rapide — de ses emplois révèle vite que la polyphonie joue à plusieurs niveaux d'analyse et qu'il y a presque autant de conceptions de cette notion que d'auteurs qui s'en servent»¹⁵.

L'étude que nous proposons ici a pour objectif de montrer une forme particulière de la polyphonie: pas celle des «voix» de l'œuvre (amenant ensuite à un dialogue intertextuel) et non plus celle des «parties» ou «fonctions» du sujet parlant, mais celle d'une structure «à plusieurs couches» observable au niveau graphique de l'énoncé. De toutes les conceptions présentées on voudrait attirer l'attention sur quelques points importants pour notre approche:

- a) la superposition des lignes dans le même espace limité;
- b) le côté «commentatif» ou métalinguistique de la construction polyphonique;
- c) la distinction entre la structure et la configuration.

Ces trois points nous aideront à montrer comment fonctionne la structure graphique; pour l'instant, on va présenter ses composants.

2. Les signes périphériques de la ponctuation

Lorsqu'on regarde la page écrite du texte littéraire, on comprend que certains procédés de la mise en page, comme la disposition et la forme des caractères, n'ont pas de morphologie stable, et que leur étude ne peut se faire que dans le cadre d'une théorie

¹² Ducrot O. Logique, structure, énonciation. Op. cit. P. 182.

¹³ Nolke H. Op. cit. P. 216.

¹⁴ Ibid. P. 216.

¹⁵ Ibid. P. 215.

énonciative qui les présente à deux niveaux: d'abord, niveau «grammatical» et «stable», puis, niveau des «exposants», pour reprendre la formule de L. Hjelmslev. Dans une étude consacrée à la graphie et à l'énonciation¹⁶ nous avons proposé de placer ces procédés à la périphérie de la ponctuation.

La question de la possibilité d'utiliser le terme *signe périphérique de la ponctuation* se formule de la façon suivante: quels signes du système faut-il regrouper sous ce terme?

Traditionnellement, on appelle *ponctuation* les signes qui «ponctuent» la phrase et assurent les liens entre les segments textuels: point, virgule, deux points etc. Pourtant, on remarque que les frontières du territoire de la ponctuation sont aussi mouvantes que le sens des signes qui la comportent. Comme dit J. Drillon, par exemple, «la guerre de frontière qu'elle mène avec la pure typographie n'est pas près de s'achever. On ne sait pas toujours s'il faut appeler «ponctuation» une apostrophe, un trait d'union, un alinéa»¹⁷.

Pour résoudre le problème, il faudra diviser le territoire de la ponctuation en centre et en périphérie ce qui va permettre de classer les signes centraux et périphériques.

Les phénomènes du centre et de la périphérie linguistique ont été étudiés en détail par B. A. Uspenski¹⁸. Son analyse peut être présentée en quelques thèses:

- L'opposition du centre et de la périphérie n'est pas liée à un niveau concret de la langue: on peut trouver des éléments centraux et périphériques à chaque niveau linguistique;
- On place un élément linguistique dans la sphère de la périphérie selon un critère de fonctionnement irrégulier par rapport aux autres éléments du système. L'opposition entre le centre et la périphérie est caractérisée par deux tendances: le centre tend à l'*économie*, la périphérie à la *complication*;
- Le chaos et l'inconséquence de la périphérie n'excluent pas les conformités périphériques; en s'opposant au centre, la périphérie forme déjà *un système particulier*.

D'après le principe de l'universalité sémiotique de R. Jakobson, chaque système sémiotique doit posséder un modèle (*pattern*), un schéma structural particulier. Sous cet angle de vue, la ponctuation en tant que système linguistique autonome doit avoir des modèles centraux et périphériques. Autrement dit, le placement des signes de ponctuation dans le centre ou dans la périphérie est une des conditions de l'existence même du système.

Pour la première fois le terme *signe périphérique de la ponctuation* a été proposé par A. A. Refformatski qui divisait le système de ponctuation européenne en centre et en périphérie¹⁹. Ainsi, dans le **centre** ont été placés les signes de ponctuation du

¹⁶ Merkoulova I. Graphie et énonciation. Les signes périphériques de la ponctuation dans la prose française contemporaine. Thèse de doctorat en sciences du langage. Limoges, 2001.

¹⁷ Drillon J. Traité de la ponctuation française. Paris: Gallimard, 1991. P. 12.

¹⁸ Uspenski B. A. Izbrannyje raboty po jazykoznaniju [Travaux en philologie]. M.: Shkola YARK, 1997.

¹⁹ Refformatski A. A. O transformatsii kommuniktsionnyh sistem [Sur la transformation des systèmes de communication]. M.: Nauka, 1967.

niveau interphrastique et du niveau intraphrastique. Par exemple, les signes tels que la virgule, les deux points et le tiret fonctionnent à l'intérieur de la phrase. Le point et les points de suspension, à leur tour, assurent les liens entre les séquences textuelles. Selon Refformatski, la vocation de la **périphérie** de la ponctuation est *l'organisation graphique* du texte écrit. On y inclut les différents caractères tels que romains/ italiques/ gras, les images telles que cube et rond, les blancs, les alinéas et la disposition des caractères sur la page: horizontalement, verticalement, symétriquement, asymétriquement.

L'approche de Refformatski du système de ponctuation est large: il nomme 'ponctuation' tout ce qui n'est pas lettres, chiffres ou hiéroglyphes dans le texte graphiquement organisé.

En suivant la tradition de Refformatski, L. G. Vedenina inclut dans le système de la ponctuation *les moyens supplémentaires de l'organisation graphique* du texte — différents caractères, blancs et dessins²⁰. Elle parle aussi de la *disposition* des signes sur la page à laquelle est attribué le rôle d'un moyen supplémentaire de l'organisation graphique textuelle. Il s'agit avant tout de la *dérogation* à la construction horizontale traditionnelle des lignes où l'information graphique est complétée par l'information visuelle. A titre d'exemple on peut citer la «poésie typographique» de G. Apollinaire dont le texte représente une image.

Dans la tradition française on trouve l'approche binaire chez Nina Catach qui reconnaît une certaine hiérarchie des signes de ponctuation et distingue les signes de *premier* et de *second régime*²¹. Le premier régime correspond chez elle au centre du système de ponctuation, le second — à la périphérie où sont mis majuscules, abréviations, traits d'union, apostrophes, blancs, soulignés, caractères italiques. Leur destination est considérée comme *supplémentaire*: graphiquement organiser le texte déjà divisé à l'aide des signes de premier régime.

Fr. Vanoye parle de l'importance de la perception visuelle des différents signes du système de la ponctuation. Il divise tout le système de ponctuation en «*micro-ponctuation*» que l'on ne perçoit presque pas et «*macro-ponctuation*», toujours bien perçue²². Dans ce «*macro-système*» entrent le dessin des caractères, la dimension et la place des lignes sur la page. Ces dernières peuvent être présentées dans le «corps» du texte aussi bien que sur les marges.

Dans cette approche est avancée l'idée du **statut frontalier** des *signes de macro-ponctuation* qui appartiennent simultanément aux domaines du visible et du lisible. Nous pouvons traiter ce phénomène comme une double sémiotisation de la même perception:

- une sémiotisation «plastique» et graphique;
- une sémiotisation «verbale» et symbolique.

²⁰ Vedenina L. G. Punktuatsija frantsuzskogo jazyka [La ponctuation en français]. M.: Vyshaja shkola, 1975. P. 82.

²¹ Catach N. La ponctuation. P.: PUF, «Que sais-je?», 1994. P. 72.

²² Vanoye F. Récit écrit, récit filmique. Paris: Nathan, 1989. P. 75.

C'est le statut même de l'écriture qui est en cause: double statut sémiotique. Les mécanismes que schématise l'écriture sont de deux natures: d'une part, ceux qui «renvoient aux processus désignés comme linguistiques», d'autre part, ceux qui sont «autonomes par rapport à la langue»²³. Dans le cas qui nous concerne, l'écrit en quelque sorte «gère» le verbal et le visuel en introduisant une tension entre les deux.

En soutenant l'opinion des chercheurs qui reconnaissent deux types de signes à l'intérieur du système de ponctuation, nous proposons de considérer **les différents caractères, leur disposition sur la page, les blancs et les alinéas**, d'abord, comme *signes de ponctuation*, puis, comme *signes périphériques*.

Le terme *signe périphérique* permet d'adopter le *modèle de la sémiosphère*²⁴ de J. Lotman et de considérer le dialogue entre deux sémiotiques concurrentes (verbale et visuelle) comme un dialogue entre deux sémiosphères.

Du point de vue de la *sémiotique verbale* les signes à valeur visuelle et de mise en page (*signes périphériques*) qui sont placés à la *frontière* entre la ponctuation et la typographie fonctionnent *irrégulièrement*.

Si on adopte le point de vue de la *sémiotique visuelle*, alors ce sont les signes de la ponctuation-segmentation (*signes centraux*) qui résultent d'une *réduction à une sémiotique verbale*.

Du point de vue du *dialogue intersémiotique* tout ce qui se trouve à la «périphérie» du système de la ponctuation est lié à «l'intensification du processus sémiotique». C'est «un lieu de dialogue incessant» entre les éléments qui se dirigent *vers le centre* du système et ceux qui sont tournés *vers l'extérieur*. Il s'ensuit que les espaces périphériques sont *les plus révolutionnaires*: ici les éléments acquièrent des fonctions supplémentaires, ici apparaissent de nouveaux genres.

3. La structure polyphonique du signe périphérique

Comment et pourquoi la polyphonie peut se manifester au niveau graphique, à l'aide des signes périphériques, dans «le corps» du texte? Pour répondre à cette question, nous allons examiner la micro-structure de ces signes — éléments de la macro-structure sémiotique textuelle.

La corrélation du lisible et du visible à l'intérieur du signe écrit dicte deux approches du problème.

D'une part, l'approche où l'image (l'analogie) est traitée «à la remorque de l'écriture»²⁵. Sous cet angle de vue, on analyse les relations entre le visuel et le verbal

²³ Klinkenberg J.-M. Discours pluricodes et nouvelles technologies. L'exemple de l'écriture, Eutopias, 2a Epoca, Documents de travail de Centro de Semiótica y Teoría del espectáculo. U. de Valencia, 1992. Vol. 48. P. 7.

²⁴ Lotman J. Sémiosphère, trad. fr. d'A. Ledenko. Limoges: Pulim, Nouveaux actes sémiotiques, 1999.

²⁵ Un des textes pionniers a été publié par P. Fresnault-Deruelle et J.-D. Urbain dans Langages. N°75. Lettres et icônes. Paris: Larousse, 1984. Vol. 48.6.

en termes d'**ordre / désordre**: le texte «contrôle» l'image, lui donne une stabilité et une information complémentaire. Le texte et l'image sont compris comme deux manières différentes de raconter le monde.

D'autre part, l'approche qui consiste à «réinterroger la dialectique de l'**analogue** et du **digital**». Les représentants de ce point de vue visent à montrer que l'écriture n'est plus détachée de l'image. Le but ne sera toutefois pas d'insister sur la priorité et la place hiérarchique de l'une ou de l'autre. Le modèle des relations entre le visuel et le verbal aura la forme d'un **lieu d'échanges**, avec toute la variété des positions des composants: mélanges, conversions, mutations etc.²⁶

L'emploi du signe périphérique de la ponctuation dans le texte nous donne la possibilité d'analyser sa structure de deux manières.

Premièrement, on insistera sur *la différence* des logiques ou «types de rationalité» qui gèrent le visuel et le verbal. Pour analyser des relations entre le visible et le lisible on proposera donc les termes spatiaux: lieu d'échanges, certes, mais à *la distance*. La base de cette première approche est à rechercher dans les études du *visuel-en-tant-que-tel* (groupe de recherches d'A.-M. Christin²⁷), c'est-à-dire le rapport entre de vraies images et de l'écrit. Mais les résultats de l'analyse du *visuel-en-tant-que-tel* s'appliquent aussi à notre problématique: *le-visuel-en-tant-que-page-écrite*.

La deuxième manière d'analyser la corrélation visible / lisible c'est la tentative de présenter le **lieu d'échanges** comme une structure mixte. La distance entre les composants s'efface, la structure passe en état de «contamination» et de «mutation». La valeur négative des termes utilisés sera la réponse à une question implicite: quelles sont les conséquences du bouleversement des frontières des deux systèmes sémiotiques? Dans le cas de la mutation, le lieu d'échanges ou le texte semble dénaturé et ambigu, perd en quelque sorte son identité et son autonomie. Traité comme image, a-t-il le droit encore de s'appeler «texte»? En se posant cette question, ce n'est pas par hasard que les chercheurs comparent le résultat de la mutation — *texte-hybride* — avec le processus théâtral²⁸. «La mise en scène de l'écrit», tout comme la mise en scène théâtrale, *spatialise* le mot et le texte; en utilisant toutes les potentialités de l'espace, le texte mentionné devient un spectacle.

Les deux possibilités d'étudier les relations entre le visible et le lisible sont, évidemment, les points extrêmes du processus de l'interaction: de la simple **co-présence** du visuel dans le verbal et vice versa à l'**hybridation** du lieu d'échanges. Y a-t-il un stade-compromis entre les deux?

A notre avis, ce sera une telle structure du signe écrit (signe périphérique de la ponctuation) où les éléments des deux systèmes sémiotiques, *tout en étant en interaction, ne*

²⁶ Comme l'a fait remarquer par exemple M. Costantini lors de sa communication au colloque à Lyon. Les relations sémiotiques, 16—18 décembre 1999.

²⁷ Christin A.-M. L'image écrite ou la déraison graphique. Paris: Flammarion, 1995.

²⁸ Cf.: l'étude de M.-H. Milano consacrée à la mutation textuelle // Milano M.-H. L'iconisation du verbal. La danse des signes... Euro RSCG Publishing et la Sorbonne: Hatier, 1999. P. 59.

se confondent pas, gardent chacun sa spécificité propre. Dans les termes de J. Géninasca²⁹, il ne s'agit plus de l'action *synthétique* mais de l'action *synchrétique*: elle n'unifie pas, elle *superpose*. Lorsque deux réalités hétérogènes sont co-présentes dans le même espace, soit-il le texte tout entier ou la structure du signe, c'est bien leur superposition qui va créer un sens. On insistera bien sur ce terme, car pour rendre compte de la dynamique des sémiotiques en présence il ne suffit pas de parler de leur juxtaposition³⁰.

Nous avons montré que *la superposition des composants gardant leur spécificité* sert de base pour la polyphonie. L'énoncé du sujet parlant est polyphonique car les «voix» ou les points de vue y coexistent, sont en mouvement rythmique, chaque voix a son thème.

Au niveau du système de la ponctuation la périphérie est polyphonique puisque les fonctions visuelles des signes empruntées à la typographie *se superposent* sur les fonctions traditionnelles, coexistent avec elles. La polyphonie se manifeste aussi *au niveau de la structure* du signe périphérique où coexistent les éléments verbaux et visuels.

Un élément dans lequel le visuel et le verbal coexistent d'une manière polyphonique doit certainement changer la structure du texte sans amener à la mutation, à la transformation du texte en image. Dans les exemples présentés ci-dessous (M. Tournier, A. Saumont) on peut voir comment la structure des signes périphériques — **différents caractères (italiques, gras, majuscules), blancs et moyens de la disposition spatiale du texte** — définit leur fonction textuelle: être le marqueur graphique de l'énonciation polyphonique.

1.

[...] ébranlé tout de même par les merveilles qu'il entendait conter sur cette Californie, il eut recours à son procédé habituel: il ouvrit sa Bible au hasard pour trouver la lumière qu'il cherchait. Or le hasard — ou plutôt la Providence — voulut qu'il tombât sur ces lignes de l'Exode:

Je suis descendu pour délivrer mon peuple des mains des Egyptiens et pour le faire monter dans une terre fertile et spacieuse où coulent le lait et le miel, le pays de Canaan.

Il fut aussitôt frappé par la similitude évidente des mots *Canaan* et *Californie*. Et n'était-ce pas comme d'une terre fertile et spacieuse où coulent le lait et le miel que tout le monde autour de lui parlait de cette merveilleuse Californie? [...]

(M. Tournier. *Eléazar ou La source et le buisson*. P.: Gallimard folio, 1996)

2.

J-, Hôtel de l'Univers

Prix de la chambre à la nuit

Double320 F

Single270 F

²⁹ Cf.: *Géninasca J.* «Intersémiotité et sémiotique de la parole», communication au colloque. Les relations sémiotiques, 16—18 décembre, 1999.

³⁰ Comme dirait M. Arabyan, «la question reste posée de savoir ce qui se passe lorsque deux natures de signe (il faut entendre ici du même signe) se superposent (et non pas se juxtaposent) au fil du texte» / *Arabyan M.* La forme de la lettre et sa part motivée. Dossier HDR, 2001. P. 17.

Single. C'est cher. Pour personne seule. Je pense à toi je pense à toi sans cesse.[...] *Petit déjeuner à la chambre de 7 heures à 10 heures.*

Le garçon d'étage m'a servi un plateau garni. [...]

V -, Auberge du Centre

La direction pourra exiger que le client justifie de son identité.

A la réception on nous avait seulement demandé de libérer la chambre le lendemain avant midi.[...]

(A. Saumont. *Chambres, Les voilà quel bonheur*. P.: Julliard, 1993)

Dans le premier exemple (texte de M. Tournier) les italiques marquent deux voix de la narration: celle de l'Autorité (le Dieu / la Bible), indiquée par l'italique, et celle du personnage principal, Eléazar (les caractères romains). Le sujet parlant *prend en charge* le mot biblique à l'aide de la comparaison. Avec les recherches de l'analogie commence le processus de l'assomption du mot de l'Autre, ce qui se manifeste dans les questions suivantes: Eléazar ne pouvait-il se croire *ainsi* placé sous le génie tutélaire du prophète? [...] Et n'était-ce pas *comme* d'une terre fertile et spacieuse où coulent le lait et le miel [...]?

Dans le second exemple (texte d'A. Saumont) la polyphonie de l'énonciation est une véritable «rupture du contexte monologique», lorsque deux énoncés également et directement orientés vers l'objet se rencontrent et se trouvent superposés à l'intérieur d'un même contexte. Les signes périphériques ont ici un statut double:

- de *traduction intersémiotique* (simulacre du formulaire de l'hôtel);
- de *commentaire* (légende).

En outre, la forme graphique de la nouvelle permet de lire les parties-formulaires en toute liberté: **N -**, **Fimotel** [...]; **B -**, **Relais de poste** [...]; **S -**, **Hôtel des Voyageurs** [...] etc.

Pourtant, la polyphonie graphique ne se limite pas à une simple superposition des couches. Au niveau de la structure des signes périphériques de la ponctuation il existe un *micro-programme*³¹ pour articuler les sémiotiques en présence, destiné à être développé par l'énonciation. Le programme est celui de corrélation polyphonique du lisible et du visible (niveau de la perception) ou du visuel et du graphique (niveau de la sémiotisation) amenant à un *méta-commentaire interne*³².

³¹ Nous utilisons cette expression par analogie avec des «mini-programmes argumentatifs» des mots dans la conception instructionnelle de la sémantique. Voir plus en détail / P.-Y. Raccah. *Lexique et idéologie. Les points de vue qui s'expriment avant qu'on ait parlé* // Les facettes du dire. Hommage à O. Ducrot. Op. cit. P. 242.

³² Ce processus peut être qualifié aussi comme «modélisation interne de la graphie» // *Merkoulova I.* De l'activité méta-sémiotique de la graphie: un modèle polyphonique. Communication au Séminaire intersémiotique à l'Institut Universitaire de France. Paris, 2002.

L'apparition de la dimension méta- au niveau graphique prouve encore une fois que «les énoncés méta-sémiotiques sont toujours manifestés simultanément avec ceux qu'ils permettent d'élaborer»³³ et que les connecteurs méta-linguistiques ne sont que «la trace visible et observable d'une activité sous-jacente et permanente, qui affleure aux moments critiques, ou pour satisfaire des objectifs stratégiques»³⁴. C'est ainsi qu'une troisième couche ou «voix» s'ajoute dans la structure, ce qui donne le droit de parler d'une polyphonie plus proche du champ musical: on connaît bien ce phénomène qui consiste en ce que la troisième voix qui s'entend n'est pas chantée mais résulte de la présence double et différenciée des deux voix qui chantent. La particularité de la polyphonie graphique consiste donc en cette dimension méta-, déterminée par des contraintes graphiques qui entrent dans un nombre des contraintes linguistiques³⁵.

4. Les fenêtres dans l'espace sémiotique

Revenons à P. Florensky dont la citation nous a servi de point de départ. En développant sa caractéristique du mot 'synthétique' ('syncrétique' dans notre terminologie), il le qualifie comme un «noeud des processus composant un discours vivant»³⁶. La comparaison avec un noeud nous semble intéressante parce que c'est de cette façon qu'on peut expliquer le parcours amenant du micro-programme polyphonique de la structure du signe à la macro-polyphonie graphique de la page.

Les deux «chaînes» ou lignes superposées au niveau de la *structure* du signe prennent la forme du noeud au niveau de sa *configuration* observable. Ce n'est pas un noeud statique mais un *point de bifurcation* du lisible et du visible: «le point dans lequel le développement futur peut se réaliser en deux ou plusieurs directions, et il est impossible de prévoir laquelle sera effectivement choisie»³⁷. Dans les points de bifurcation les éléments (ou les événements) visuels suscitent concrètement un mouvement incessant entre la représentation verbale conventionnelle de la fiction et toutes sortes d'expériences sous-jacentes (sensorielles etc.) Cette activation d'un arrière-plan non verbal et incomplètement sémiotisé est le contenu dont les signes périphériques sont l'expression.

³³ Klinkenberg J.-M. Discours pluricodes et nouvelles technologies. L'exemple de l'écriture. Op. cit. P. 26.

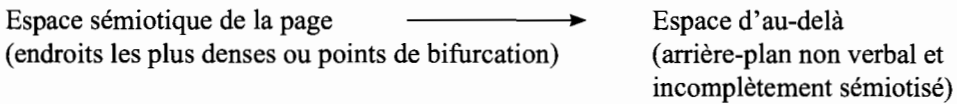
³⁴ Fontanille J. Énonciation et modélisation. Texte d'introduction au Séminaire intersémiotique à IUF. Année, 2001—2002: Les modèles sémiotique — II.

³⁵ Notre réflexion va dans le même sens que celle de J.-M. Klinkenberg lorsqu'il parle de «l'expansion des discours métasémiotiques, produisant un type inédit de discursivité syncrétique» // Klinkenberg J.-M. Discours pluricodes et nouvelles technologies. L'exemple de l'écriture. Op. cit. P. 27.

³⁶ Florensky P. A. Op. cit. P. 208.

³⁷ Lotman J. Kultura kak subjekt i sama sebe objekt (La culture comme sujet et objet auto-suffisant) // Lotman J. Semiosfera (Sémiosphère). Saint-Petersbourg: Iskusstvo-Spb., 2000. P. 644. Sur la conception des points de bifurcation voir aussi: Prigogine J. L'ordre par fluctuation et le système social. Paris, 1976.

L'espace sémiotique de la page n'est pas partout de même densité. Paradoxalement, les endroits plus «denses» manifestant «la non-univocité des signes»³⁸ — les passages en italiques ou en gras — sont à la fois plus ouverts, et ils jouent le rôle des «fenêtres» ou des brèches dans un espace d'au-delà³⁹. La polyphonie graphique (de *macro-structure*, assurée par *micro-structure* du signe) représente alors une *forme d'accueil* ou *moyen* pour passer directement de l'expression à l'arrière-plan de l'expérience sensible, au «vécu» qui se trouve derrière le plan de la narrativisation verbale. Le processus peut se présenter ainsi:



Pourquoi est-il possible de parler d'un passage direct entre les espaces? La réponse est à rechercher dans la 'dimension cognitive' des signes graphiques périphériques: comme le souligne E. Koubriakova, «le corps du signe comprend non seulement sa structure mais aussi ses traits cognitifs»⁴⁰.

Lorsque nous parlons de l'arrière-plan incomplètement sémiotisé, nous l'interprétons dans l'esprit de Lotman, comme *un espace dynamique* qui résiste à la mise à la langue et à la sémiotisation et qui ne peut être saisi que dans cette résistance. Selon la conception lotmanienne, la résistance de l'espace extra-sémiotique ne peut être éprouvée que dans une activité permanente de traduction pour laquelle il faut au minimum deux langues, et ce sont «les zones d'intraductibilité ou de traductibilité restreinte [qui] fournissent le lieu d'expérience optimal de l'existence extra-sémiotique»⁴¹. Dans le cas qui nous concerne, le rôle des zones de traductibilité restreinte sera attribué aux signes périphériques, avec la superposition du lisible et du visible qui leur est propre. Mais, comme nous l'avons déjà souligné, dans ces 'points de bifurcation' une troisième dimension apparaît: celle du méta-commentaire. Les traits cognitifs de ce type de signes se manifestent justement au niveau «commentatif»: dans les termes de J. Fontanille, il ne s'agit pas de la manière d'«être signe» mais plutôt de celle de «faire signe»⁴².

Pour analyser les particularités de la dimension méta-, nous allons introduire ici ce que P.-Y. Raccah appelle *l'hypothèse de l'abstraction cognitive* selon laquelle «les structures de l'expression linguistique sont la trace, dans le domaine de la langue, des structures plus abstraites (appelons-les cognitives), dont d'autres traces peuvent être trouvées dans

³⁸ L'expression de *Authier-Revuz J.* Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles énonciatives et non-coïncidences du dire. I—II. Paris: Larousse, 1995. T. 1. P. 803.

³⁹ Sur la théorie des fenêtres sémiotiques voir: *Lotman J.* L'explosion et la culture / Trad. française d'I. Merkoulouva; révision de J. Fontanille. Limoges: Pulim, 2004.

⁴⁰ *Koubriakova E. S.* O svjaziakh kognitivnoj nauki s semiotikoj. (Sur les liens entre la sémiotique et les sciences cognitives). Jazyk i kultura. Fakty i tsehnosti (La langue et la culture. Les faits et les valeurs). Moscou: JASK, 2001. P. 284.

⁴¹ Fontanille J. Préface à J. Lotman. L'explosion et la culture. Op. cit. P. 4.

⁴² *Fontanille J.* Sémiotique du discours. Limoges: Pulim, 1999. P. 255.

d'autres domaines, par exemple, celui de l'esprit ou celui de l'intelligence artificielle»⁴³. Cette hypothèse permet d'interpréter la polyphonie graphique non seulement comme un moyen de passage à l'arrière-plan de l'expérience sensible, mais aussi comme *une trace* des structures prototypiques qui peuvent se dessiner sur cet arrière-plan⁴⁴. Si on admet que la 'structure-trace' a la forme d'un espace (de la page) avec les endroits plus denses (points de bifurcation), alors les structures de l'arrière-plan doivent avoir une forme semblable. Une des reponses possibles sur la nature de cette forme peut être trouvée dans les travaux du cognitiviste M. Minsky. Selon lui, le processus de l'organisation de l'expérience humaine a le caractère d'une toile d'araignée (*web-like character*), avec des points d'intersection entre différents canaux sensoriels:

*For (I think) the only way a person can understand anything very complicated is to understand it at each moment only locally — like the spider itself, seeing but a few threads and crossing from each viewpoint. Strand by strand, we build within our minds these webs of theory, from hard-earned locally intelligible fragments. The man-spider's theory is correct to the extent that the model in his head corresponds to the mechanism in his head*⁴⁵.

Admettre qu'il existe un isomorphisme entre les 'points de bifurcation' de l'espace de la page, d'une part, et les points d'intersection de la «toile d'araignée», d'autre part, permet de reconsidérer les rapports entre ce type de signes (périphériques) et la cognition: la polyphonie graphique représente un 'espace cognitif'⁴⁶ à deux dimensions — celle du méta-commentaire et celle de la trace — et c'est l'union de ces deux dimensions qui rend la signification observable.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Altmann (ed.) 1990 — *Altmann G. T. M. Cognitive Models of speech processing. Psycholinguistic & computational perspectives.* Massachusetts Institute of Technology, 1990.
- Arabyan 2000 — *Arabyan M. Lire l'image. Emission, réception, interprétation des messages visuels.* Paris, l'Harmattan, «Sémantiques». 2000.
- Authier-Revuz 1995 — *Authier-Revuz J. Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles énonciatives et non-coïncidences du dire. I—II.* Paris: Larousse, 1995. T. 1.

⁴³ *Raccah P.-Y. Expertise et gradualité: connaissances et champs topiques // Sémantique et cognition. Catégories, prototypes, typicalité.* Sous la direction de D. Dubois, coll. «Sciences du langage». CNRS éditions, 1993. P. 193.

⁴⁴ Comme le remarque J. Fontanille, «organiser l'expérience pour en faire un discours, c'est avant tout y découvrir (ou y projeter) une *rationalité* — une direction, un ordre, une forme intertextuelle, voire une structure» // *Sémiotique du discours.* Op. cit. P. 183.

⁴⁵ *M. Minsky. Jokes and the logic of the cognitive unconscious // Cognitive Constraints on Communication / Ed. By L. Vaina, J. Hintikka.* Dordrecht, 1984. P. 191.

⁴⁶ L'expression utilisée par A. J. Greimas et J. Courtès: *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage.* Paris: Hachette, 1979. Art. Cognitif. P. 41.

- Bakhtine 1977 — *Bakhtine M.* Le marxisme et la philosophie du langage. Paris: Minuit, 1977. (Marksizm i filosofija jazyka. Leningrad: Priboi, 1929.)
- Bakhtine 1970 — *Bakhtine M.* La poétique de Dostoïevski [Problemy poetiki Dostojevskogo. 1929 et 1963 pour la 2ème éd.]. Paris: Seuil, 1970.
- de Candé 1997 — *de Candé R.* Dictionnaire de Musique. Paris: Seuil; Polyphonie, 1997. P. 209—213.
- Catach 1994 — *Catach N.* La ponctuation. Paris: PUF, «Que sais-je?», 1994.
- Christin 1995 — *Christin A.-M.* L'image écrite ou la déraison graphique. Paris: Flammarion, 1995.
- Drillon 1991 — *Drillon J.* Traité de la ponctuation française. Paris: Gallimard, 1991.
- Ducrot 1984 — *Ducrot O.* Le Dire et le Dit. Paris: Ed. de Minuit, 1984.
- Ducrot 1989 — *Ducrot O.* Logique, structure, énonciation. Lectures sur le langage. Paris: Ed. de Minuit, 1989.
- Fontanille 1999 — *Fontanille J.* Sémiotique du discours. Limoges: Pulim, 1999.
- Fontanille 2002 — *Fontanille J.* Énonciation et modélisation. Texte d'introduction au Séminaire intersémiotique à l'Institut Universitaire de France. Paris: Année, 2001—2002 (Les modèles sémiotiques —II).
- Greimas, Courtès 1979 — *Greimas A. J., Courtès J.* Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris: Hachette, art. Cognitif, 1979. P. 41.
- Fresnault-Deruelle, Urbain 1984 — *Fresnault-Deruelle P., Urbain J.-D.* Présentation // Langages. N° 75. Lettres et icônes. Paris: Larousse, 1984. P. 1—6.
- Ivanov 2007 — *Ivanov V.* Vs. Izbrannye trudy po semiotike i istorii kulturey. T. IV // Semiotika kulturey, iskusstva, nauki. [Travaux choisis sur la sémiotique et l'histoire de la culture. Vol. IV. Sémiotique de la culture, de l'art, de la science]. M.: JASK, 2007.
- Klinkenberg 1992 — *Klinkenberg J.-M.* Discours pluricodes et nouvelles technologies. L'exemple de l'écriture // Eutopias. 2a Epoca. Documents de travail de Centro de Semiótica y Teoría del espectáculo. U. de Valencia, 1992. Vol. 48. P. 1—31.
- Koubriakova 2001 — *Koubriakova E. S.* O svjaziakh kognitivnoj nauki s semiotikoj (Sur les liens entre la sémiotique et les sciences cognitives) // Jazyk i kultura. Fakty i tsennosti [La langue et la culture. Les faits et les valeurs]. M.: JASK, 2001. P. 283—293.
- Lotman 2004 — *Lotman J.* L'explosion et la culture / Trad. fr. d'I. Merkoulouva, révision de J. Fontanille. Limoges: Pulim, 2004.
- Lotman 2000 — *Lotman J.* Kultura kak subjekt i sama sebe objekt (La culture comme sujet et objet auto-suffisant) // *Lotman J.* Semiosfera [Sémiosphère]. SPb.: Iskusstvo-Spb, 2000.
- Lotman 1999 — *Lotman J.* Sémiosphère / Trad. fr. d'A. Ledenko. Limoges; Pulim: Nouveaux actes sémiotiques, 1999.
- Merkoulouva 2001 — *Merkoulouva I.* Graphie et énonciation. Les signes périphériques de la ponctuation dans la prose française contemporaine. Thèse de doctorat en sciences du langage. Limoges, 2001.
- Merkoulouva I. 2002 — *Merkoulouva I.* De l'activité méta-sémiotique de la graphie: un modèle polyphonique // Communication au Séminaire intersémiotique à l'Institut Universitaire de France. Paris: Année, 2001—2002 (Les modèles sémiotiques —II).
- Milano 1999 — *Milano M.-H.* L'iconisation du verbal // La danse des signes... Euro RSCG Publishing et la Sorbonne; Hatier, 1999. P. 82—95.
- Minsky 1984 — *Minsky M.* Jokes and the logic of the cognitive unconscious // Cognitive Constraints on Communication / Ed. by L. Vaina, J. Hintikka. Dordrecht, 1984. P. 175—200.

- Nolke 2002 — *Nolke H.* La polyphonie comme théorie linguistique // Les facettes du dire. Hommage à O. Ducrot. Paris: Ed. Kimé, 2002. P. 215—224.
- Prigogine 1976 — *Prigogine J.* L'ordre par fluctuation et le système social. Paris, 1976.
- Raccah 1993 — *Raccah P.-Y.* Expertise et gradualité: connaissances et champs topiques // Sémantique et cognition. Catégories, prototypes, typicalité. Sous la direction de D. Dubois, coll. «Sciences du langage». CNRS éditions, 1993. P. 189—203.
- Raccah 2002 — *Raccah P.-Y.* Lexique et idéologie. Les points de vue qui s'expriment avant qu'on ait parlé // Les facettes du dire. Hommage à O. Ducrot. Paris: Ed. Kimé, 2002. P. 241—268.
- Reformatski 1967 — *Reformatski A. A.* O transformatsii kommunikatsionnyh sistem (Sur la transformation des systèmes de communication). M.: Nauka, 1967.
- Florensky 1990 — *Florensky P. A.* Sochinenija. T. 2 [Œuvres. V. 2]. M.: Pravda, Termin [Terme], 1990. P. 200—229.
- Vanoye 1989 — *Vanoye F.* Récit écrit, récit filmique. Paris: Nathan, 1989.
- Vedenina 1975 — *Vedenina L. G.* Puntuatsija frantsuzskogo jazyka [La ponctuation en français]. M.: Vyshaja shkola, 1975.
- Uspenski 1997 — *Uspenski B. A.* Izbrannyje raboty po jazykoznaniju [Travaux en philologie]. M.: Shkola YARK, 1997.

JAKOBSON IN MY LIFE: AN EXCERPT FROM *THE BLUE BEAST*

The following chapter from Vyacheslav Vsevolodovich's memoir, Goluboi zver' (The Blue Beast), is devoted to his friendship and scholarly interaction with Roman Jakobson (1896—1982)¹. I have chosen to translate it for the Festschrift both because I trust it will be of interest to a broad range of scholars who may not know Russian (for whom I have provided notes on the Russian writers and scholars Vyacheslav Vsevolodovich alludes to) and because, given the personal nature of the Festschrift genre, I can consider Jakobson an important presence in my own life during my years as a graduate student. Michael Henry Heim, University of California, Los Angeles.

Roman Osipovich Jakobson had a permanent influence on my work in linguistics, poetics, and semiotics not only through his writings but also — and primarily — through his person. He first came to Moscow during the momentous thaw that followed the Twentieth Congress². Like other well-known Slavists who had stayed away from Russia for years, he used a meeting held by the International Committee of Slavists, which was preparing its upcoming international congress in Moscow, as an excuse. I remember standing with Toporov³ watching the foreign guests file into the auditorium of the Academy of Sciences presidium. Toporov turned his head in the direction of a rather short, not particularly elderly looking man with a brisk, resolute step: That's Jakobson.

We met at his numerous talks (he was a remarkable speaker), at the home of Lilya Brik⁴ (as she later told me, she was the one who first spoke to him about me, and he had every confidence in her), then at Pasternak's⁵. (The two had known each other since their youth, and Pasternak told me he remembered him as a red-haired young man reading a

¹ V. V. Ivanov, *Goluboi zver'*, *Zvezda* (1—3, 1995). The excerpt translated here appears in the third volume (March 1995), 171—73.

² At the Twentieth Congress of the Communist Party in October 1956 Nikita Khrushchev initiated a campaign of de-Stalinization, blaming Stalin's "personality cult" for the ills of Soviet society and ushering in a more liberal political atmosphere.

³ Vladimir Toporov (1928—2005) was a leading philologist and, together with Vyacheslav Vsevolodovich, a prominent member of Yury Lotman's Tartu school of semiotics.

⁴ Lilya Brik (née Kagan, 1891—1978) belonged to the pre- and post-revolutionary avant-garde circles by dint of a *ménage à trois* with her husband Osip Brik and the poet Vladimir Mayakovsky (see note 6 below).

⁵ Major writers like Boris Pasternak (1890—1960) and Vyacheslav Vsevolodovich's father, Vsevolod Ivanov (1895—1963), had dachas in Peredelkino, a writers' colony outside Moscow, and the Pasternaks and Ivanovs were neighbors and longtime friends.

French translation of «A Cloud in Trousers»⁶. That did not prevent my persecutors at the University from accusing me of having introduced them)⁷.

Later we corresponded and exchanged papers. (Jakobson read everything and responded promptly.) We met many times and in various circumstances, always spending long periods together. I recall seeing him late one evening in Oslo before his talk at the opening plenary session of the International Congress of Slavists. He entered the café just as it was closing: his plane had been caught in a storm over Newfoundland and got in late. When I told a friend about it, he observed that like certain other scholars Jakobson had a habit of getting caught in storms. But to deliver a brilliant talk to a thousand scholars the very next day — that was something only Jakobson could do!

Jakobson and I shared a number of scholarly and poetic interests centering on semiotics in the broadest sense of the term. By the time of his first return to Moscow he had completed work on a universal system of phonological distinctive features, and his attempt to integrate it into the theory of information was close to our concerns. He was also interested in setting up analogous binary oppositions in non-linguistic sign systems such as mythology. The two books on Slavic mythology I wrote with Toporov show the influence of the conversations I had with Jakobson on the topic. Some conclusions we reached simultaneously: shortly after finishing a long article on the Indo-European correspondences of the Slavic name for the thunder god Perun, I received an offprint of an article by Jakobson proposing the very comparison with the Hittite name I had proposed.

I have since encountered a number of such congruencies with important scholars working in the same fields. I am inclined to explain them by Popper's third-world theory. Besides the world of objects, where we live, and the world of cultural artifacts, which we create, there is a third world of discoveries not yet made, books not yet written, symphonies not yet performed. They exist as Platonic ideas. The development of culture consists in our mulling them over, so to speak, inching up to them. Two scholars working in the same field often undergo the process at nearly the same time. That is what happened with Jakobson and me.

I have written several articles on Jakobson's work including lengthy forewords to two collections of his contributions to linguistics and poetics that came out in Russia not too long ago. Preparation for the first began before his death, but for political reasons it could not come out until the reforms had begun. But even the second, which dates from the more liberal period, bore the brunt of the times: the editor was afraid to include what was probably Jakobson's best article on poetry, his response to Mayakovsky's suicide, «On a Generation That Squandered Its Poets». It finally came out recently with my in-

⁶ «A Cloud in Trousers» (*Oblako v shtanakh*) is one of the signature pieces of the Futurist poet Vladimir Mayakovsky (1893—1930).

⁷ As he relates earlier in the memoir (3, 159—62), Vyacheslav Vsevolodovich was hounded out of his position at Moscow University in 1958 for «ideological errors».

roduction in *Voprosy literary*⁸. Jakobson wished to return to Russia in person as well as in his writings. He was unhappy about the obstacles placed on his path in and (as he felt for a time) to Russia. On one of the offprints he sent me he made reference to them by quoting a line from Mayakovsky: «I want to be understood...»

Jakobson was disliked by more than the officials at the Academy of Sciences. He was viewed as a competitor by Vinogradov, who insisted that Serebrennikov's vicious attack on Jakobson's talk at the International Congress of Linguists in Oslo be published in *Voprosy iazykoznaviia*⁹. I protested against the article. In the end it was published in tandem with my rebuttal. Serebrennikov, furious, wrote an official denunciation of me at the time I was starting to be harassed for my friendship with Pasternak. The gist of it was that I had opposed the line of the Soviet delegation by coming out in favor of Jakobson's talk. (Since the talk was about the use of various typological methods in comparative historical linguistics, it took an inflamed imagination to make the allegation). I learned of it from Vinogradov. Serebrennikov's biography — he was a half-mad, gifted but ignorant polyglot, a Party member and an anti-Semite — was consistent with and characteristic of the biographies of many future academicians: according to the newspaper on the Linguistics Institute notice board he had been with the KGB during the war, and he was an expert in going after scholars like Abaev¹⁰. But in the case of Jakobson he was more the tool of the persecutors than their leader. It was Vinogradov, not he, who urged and even forced many Slavists (including decent people like the historical linguist Sidorov) to attack Jakobson at the International Congress of Slavists. At the time it was still official policy (I heard it second hand from Petrovsky, the rector of Moscow State University, when he explained to me why he had been asked to dismiss me) to maintain that there were two kinds of linguistics: Marxist (which for years claimed Vinogradov, who secretly despised Marxism, as its main proponent) and bourgeois. Jakobson was identified with the latter. It caused him great suffering and made him wonder whether he should refuse the official invitation to return to Russia.

During his first visit he claimed to have rediscovered the dyed-in-the-wool Muscovite in him. He liked the direction our young scholars' work was taking, having followed the careers of a number of them (Paducheva, Melchuk, Zaliznyak)¹¹ from their earliest triumphs. He felt his true disciples and successors were in Russia, and he was right. It was here that his broad range of contemporary knowledge and the unexpected connections he made between what at first seemed distant fields, the links between his scientific approach and the poetry to which he was devoted, found a sympathetic reception. He al-

⁸ «O pokolenii, rastrativshem svoikh poetov», *Voprosy literary* (1992). It is available in English in Victor Erlich, ed., *Twentieth-Century Russian Literary Criticism* (New Haven: Yale University Press, 1975).

⁹ Viktor Vinogradov (1895—1969) was a prolific Russian philologist who for the last ten years of his life headed the Institute for the Russian Language, which now bears his name.

¹⁰ Vasily Abaev (1900—2001) was a prominent Russian Iranianist.

¹¹ Yelena Paducheva is known for her work on syntax and semantics, Igor Melchuk for his meaning-text theory, Andrei Zaliznyak for his studies of grammatical categories.

ways thought of Khlebnikov as the finest poet of the century¹². But his taste in poetry was as all-encompassing as his scholarly interests. Just before visiting Akhmatova during one of his last stays (in her words it turned out to be a “non-visit”: she spoke about the memoirs of Mayakovsky’s last mistress, Polonskaya, while he preferred his own view of Mayakovsky and was sorry to have agreed to see her), he told me he wanted to tell her about his plan to study the verse of Count Vasily Komarovsky¹³. (Unfortunately he never wrote that chapter for the book containing interpretations of poets from various periods.)

At a birthday celebration at my dacha in 1967 Jakobson heard readings by Joseph Brodsky, who was by then a friend of mine, and Viktor Sosnora, whom our neighbor Lilya Brik had brought, and at the end of the evening I read him and his wife, Krystyna Pomorska, my own free, anti-regime verse¹⁴. The next day Jakobson told me he appreciated all three poets’ anarchistic relationship to the state they lived in.

He provided a detailed critique of my poetry during his last visit to the USSR, when we were attending an international conference on the unconscious in Tbilisi and spent an evening together at the house of common friends. I read him the poems I had written during the eleven years since we had last seen each other. (After the Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968, which Jakobson experienced in Prague while attending the International Congress of Slavists, he made only this one last trip.) He saw them as a development of what he had admired in their predecessors. By then neither he nor Krystyna harbored any illusions about the regime, and they offered to help me and Svetlana should we make up our minds to emigrate¹⁵.

For all his interest in and understanding of poetry Jakobson was primarily a scholar, and what he found most interesting in image-based exposition was the logical structure of what was being described. (That was what attracted him to Pierce, the American philosopher and founder of the logical school in semiotics, who, Jakobson often pointed out, had been unappreciated in America during his lifetime). The difference between the poetic and scholarly approach became clear to me as I followed Jakobson’s first meeting with Pasternak in Peredelkino. Pasternak began by thanking Jakobson for an early (and

¹² Velemir Khlebnikov (1885—1922), a poet trained in mathematics and the natural sciences, created a «trans-sense» (*zaum*’) verse and other neological experiments meant to retrieve the inherent, primordial meaning from sounds. He also proposed a radical utopianism based on the elucidation of historical and cosmic cycles.

¹³ Count Vasily Komarovsky (1881—1914) was a minor Silver-Age poet.

¹⁴ Joseph Brodsky (1940—96), who at the time in question had recently returned from a year and a half of hard labor in Arkhangelsk for “parasitism,” that is, claiming to be a poet without the sanction of the official Writers Union, was later forced into emigration, where he was awarded the Nobel Prize for literature and made Poet Laureate of the United States. Victor Sosnora is a poet of complex metaphors and sound associations in the Khlebnikovian tradition. Krystyna Pomorska (1928—86) was a literary scholar who applied Jakobsonian poetics to the study of Russian and Polish prose.

¹⁵ Svetlana Ivanova, Vsevolod Vyachevslavovich’s wife, is a literary critic and experimental photographer.

highly remarkable) article on his prose¹⁶. (It has recently come out in a Russian translation by Olga Sedakova.) But he immediately turned to a problem vitally important to him at the time: he was unhappy with what he had been writing and wanted to change. Jakobson listened carefully to his agitated, metaphorical speech and summarized its content in the tone of a physician making a diagnosis using his own jargon: But such is always the case when the Romantic pose is rejected. He casually put his hands behind his head to show how sure he was of himself and his words, which contrasted so with Pasternak's impassioned ramblings. He made an enormous impression on Pasternak. The next time he went to Peredelkino (during his second visit to Russia a year and a half later) Pasternak said to his wife, Zinaida Nikolaevna, with a nod in Jakobson's direction while he was delivering a monologue, «Interesting, isn't he, Zina».

We all very much hoped that Jakobson and Pomorska would take part in the regular summer session of the semiotics school in Kääriku outside Tartu, but foreigners were not welcome in Tartu at the time and it proved impossible for him to get permission in Moscow, where he was attending the International Congress of Psychologists. He tried again in Leningrad, where we had gone together for a symposium on speech perception connected with the Congress. It turned out the Leningrad authorities were willing to grant permission if he had an escort. We decided I would play the role. Jakobson liked to tell the story of how I performed it. Before checking out of the hotel, I had to phone the local Intourist agency and say we were on our way. I was asked what kind of a mood he was in. In the coded political jargon of the time that meant, What is his attitude to everything he sees around him? Jakobson remembers my saying, «His mood is lot better than mine». And it was true: as so often in those years I was on the brink of despair, especially when it came to public life, which was particularly important to me then. Jakobson complained about my depression — it was beginning to bring *him* down, he said — and did what he could to lift me out of it. He held up Shakhmatov as an example¹⁷: Shakhmatov was heavily involved in public life and never gave way to despair.

We got to Tallinn safe and sound and were about to change trains for Tartu when the man sent to meet us got cold feet and asked permission of some official or other (which was always a bad idea in the former Soviet Union). We were forbidden to leave the city and told to take rooms at a hotel and await the approval of the local authorities. During the two days that passed before we could finally take the train- and car-trip to Kääriku, we managed to talk over a number of scholarly issues — to say nothing of the steady stream of Roman's reminiscences of Khodasevich, Tsvetaeva, Mayakovsky, and the Kagan sisters, Elza and Lilya¹⁸. Then there was the conference, where for the first

¹⁶ «Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak», *Slavische Rundschau* 7 (1935), 357—74. Reprinted in Roman Jakobson, *Selected Writings*, Vol. 5 (The Hague: Mouton, 1979), 416—32.

¹⁷ Alexei Shakhmatov (1864—1920) was a pioneering Russian linguist who laid the groundwork for the study of Russian phonetics and textology.

¹⁸ Vladislav Khodosevich (1886—1939) was a poet and critic celebrated for his fidelity to the Russian classical tradition. He emigrated in 1922. Marina Tsvetaeva (1892—1941), one of

time in years Jakobson must have felt at home among his disciples and followers. (He told me he did not have that feeling in America.) He gave a talk on Radishchev's verse¹⁹, responded to nearly every other talk, and made detailed comments on prospective Tartu-school projects.

I attended many international conferences in which Jakobson took part. He was always the center of attention (even in Oslo, where he was joined by other major scholars of his generation such as Benveniste, Kuriłowicz, and Hjelmslev, with each of whom I was able to have lengthy conversations). But in Kääriku he concentrated on the proceedings. Not everything was to his liking: he complained to me about the essayistic impressionism of some of the literary discussions. Yet like all of us at the time he was certain that we were on the right path, that we were moving towards a unified methodology for all branches of science dealing with signs and texts, and we found the «festive» nature of his approach to scholarship infectious.

Our final meeting — at the conference about the unconscious — and, above all, our farewell left a bitter taste in my mouth. He was physically weak by then. He had excruciating pain in his legs, especially when he had to stand. I realized we were parting forever, while he, the eternal optimist, spoke of trips and projects to come and outlined his schedule for the next few months. He asked to see me when he was dying, but I could not yet travel freely at the time. (Another person he asked to see before his death, Lévi-Strauss, could not go for different reasons.)

Jakobson liked to emphasize the playful nature of his scholarly approach, which he shared with all his youthful colleagues. He would say he could not understand why people wrote such fat books with such endless bibliographies. His was, in Nietzsche's formulation, a gay science. He thoroughly enjoyed it as he enjoyed life and women. He was envious of the generation of Pasternak and Trubetzkoy²⁰ (who were several years his junior) because it had come to professional maturity by the time the wars and revolutions began (this was the generation in which he included Joyce, Stanislavsky, and Braque), whereas I saw him as belonging to the period in the broadest sense, the period that determined the basic direction of the entire century. The brilliance of its representatives makes competition difficult. They opened the curtain a crack. We must look farther. It is no simple task.

Translated from Russian by Michael Henry Heim

the great innovators in Russian twentieth-century poetry, also emigrated in 1922 but returned in 1939 only to commit suicide two years later. Elza Kagan (1896—1970), Lilya Brik's younger sister and better known to the world as Elsa Triolet, became a popular French novelist and the first woman to be awarded the prestigious Prix Goncourt.

¹⁹ Alexander Radishchev (1749—1802), best known for his Enlightenment-oriented political and philosophical essays such as *Journey from Petersburg to Moscow*, also wrote political and philosophical verse.

²⁰ Prince Nikolai Trubetzkoy (1890—1938) was, with Jakobson, the co-founder of the Prague Linguistics Circle and an early practitioner of structural linguistics.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМИОТИКЕ

Сборник статей к юбилею Вяч. Вс. Иванова

Издатель А. Кошелев

Зав. редакцией М. Тимофеева

Корректор З. Полосухина

Оператор Е. Зуева

Оригинал-макет подготовлен Б. Абакумовым
Художественное оформление переплета С. Жигалкина

Подписано в печать 11.10.2010. Формат 70×100 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.
Усл. печ. л. 49,665. Тираж 800. Заказ № К-4497.

Издательство «Языки славянских культур».
№ госрегистрации 1037789030641.
Тел.: 959-52-60. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

Отпечатано в ГУП «ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13.

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел./факс: 8 (499) 255-77-57, тел.: 8 (499) 246-05-48, e-mail: gnosis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Зубовский проезд, 2, стр. 1 (Метро «Парк культуры»)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЛИНГВИСТИКЕ И СЕМИОТИКЕ

СБОРНИК СТАТЕЙ
К ЮБИЛЕЮ
Вяч. Вс. ИВАНОВА